1

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ



Федор Достоевский

# ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.

Портрет работы В. Г. Перова. 1872 г.
Государственная Третьяковская галерея (Москва).

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



# Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В ТРИДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

2-Е ИЗДАНИЕ,
ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОМА 1—17

Санкт-Петербург
«НАУКА»
2013

# Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

## БЕДНЫЕ ЛЮДИ
## ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1844—1846

Санкт-Петербург
«НАУКА»
2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
Д70

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ:

*В. Г. Базанов* (главный редактор), *В. В. Виноградов*, *Ф. Я. Прийма*, *Г. М. Фридлендер* (заместитель главного редактора), *М. Б. Храпченко*

Текст подготовили и примечания составили:
*Т. И. Орнатская*, *Г. М. Фридлендер*

Редактор 1-го тома *Г. М. Фридлендер*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВТОРОГО ИЗДАНИЯ:

*В. Е. Багно* (главный редактор), *И. А. Битюгова*, *Н. Ф. Буданова*, *В. Д. Рак*, *И. Д. Якубович*

Тексты подготовили, примечания исправили и дополнили:
*К. А. Баршт*, *С. В. Березкина*, *П. Р. Заборов*, *Н. А. Кашурников*, *И. А. Кравчук*, *Т. И. Орнатская*, *В. Д. Рак*, *А. В. Тоичкина*

Редактор 1-го тома *В. Д. Рак*

Контрольный рецензент *И. А. Битюгова*

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012—2018 годы)»*

© К. А. Баршт, С. В. Березкина, П. Р. Заборов, Н. А. Кашурников, И. А. Кравчук, Т. И. Орнатская, В. Д. Рак, А. В. Тоичкина, составление, подготовка текстов, примечания, 2013
© Российская Академия наук, 2013
© Редакционно-издательское оформление. Издательство «Наука», 2013

ISBN 978-5-02-038289-3 (т. 1)
ISBN 978-5-02-038288-6

# ОТ РЕДАКЦИИ[1]

Каждая эпоха, каждое десятилетие читают произведения Ф. М. Достоевского своими глазами и воспринимают их в свете своих мировоззренческих, философских и религиозных, литературных и художественных, и иных представлений. Каждому времени нужны свои издания, откликающиеся на современные тенденции осмысления творческого наследия писателя. Новое академическое Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского в 35 томах (далее: *Акад. ПСС*$_2$), предпринимаемое Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) как исправленное и дополненное издание выпущенного Институтом в 1972—1990 гг. Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в 30 томах (далее: *Акад. ПСС*), вызвано к жизни резкой сменой читательских и научно-исследовательских интересов и приоритетов в условиях коренным образом преобразившейся в стране после 1991 года идеологической и культурной обстановки. В этом качестве *Акад. ПСС*$_2$ становится очередным, необходимым звеном в истории эдиционного освоения наследия Достоевского.

Достоевский сам положил начало изданию своих сочинений. Первое двухтомное издание их, в которое вошли ранние повести и рассказы 1846—1859 гг., было осуществлено под его наблюдением в 1860 г. московским книгоиздателем Н. А. Основским.[2] Через несколько лет, в 1865—1870 гг., в Петербурге вышло «Полное собрание сочинений» Достоевского, выпущенное Ф. Т. Стеллов-

---

[1] Вступительная статья включает текст (с опущением нескольких начальных идеологических абзацев) одноименной статьи, открывавшей первое академическое Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского (автор Г. М. Фридлендер), и дополнения редколлегии второго издания, излагающие его цели и особенности.

[2] *Достоевский Ф. М.* Сочинения. М.: Изд. Н. А. Основского, 1860. Т. 1—2.

ским.[3] В отличие от первого издания в него вошли произведения Достоевского, написанные до 1866 г. (включая романы «Преступление и наказание» и «Игрок»). Для обоих названных изданий автор просматривал текст и вел над ним творческую работу. Тем не менее в оба издания проникли многочисленные типографские погрешности и опечатки. Особенно много их в издании Стелловского — «спекулянта» и «ровно ничего не понимающего издателя», по характеристике самого Достоевского (см. письмо к А. А. Корвин-Круковской от 17 июня 1866 г. — *Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 2. С. 159). Писатель был вынужден продать Стелловскому право на издание своих сочинений против воли, из-за тяжелых материальных условий, в которых он оказался в 1865 г. после смерти старшего брата М. М. Достоевского и прекращения журнала «Эпоха».[4]

После 1870 г. Достоевский выпускал свои романы отдельными изданиями, внося при этом в текст поправки по сравнению с журнальными их публикациями, но приступить к изданию нового собрания сочинений ему уже не удалось. Первое полное собрание сочинений Достоевского, куда — наряду с произведениями, включенными в издание Стелловского, — вошли романы и повести, написанные после завершения этого издания, «Дневник писателя», избранные письма (а из ранних произведений 1840—1850-х годов, не входивших в издание Стелловского, также рассказы «Роман в девяти письмах» и «Ползунков» и стихотворение «На европейские события в 1854 году»), вышло посмертно в четырнадцати томах в 1882—1883 гг.[5] Оно было подготовлено вдовой писателя А. Г. Достоевской при участии его друзей — историка литературы О. Ф. Миллера и критика Н. Н. Страхова. Выход этого первого посмертного издания сочинений явился крупным событием в истории собирания и изучения наследия Достоевского. Оно впервые объединило в своем составе все основные его художественные произведения, изданные при жизни, и тем самым дало читателю возможность составить целостное впечатление о его творческом пути. Наряду с художественными произведениями в посмертное издание

---

[3] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. / Вновь просмотренное и доп. самим автором издание. СПб.: Изд. Ф. Стелловского, 1865—1870. Т. 1—4.

[4] См.: *Паншев Н. В.* 1) Из записок библиофила: (О прижизненных изданиях Ф. М. Достоевского // Достоевский и современность: Тезисы выступлений на «Старорусских чтениях 1991 г.». Новгород, 1992. Ч. 1. С. 103—109; 2) Достоевский в изданиях Стелловского // Там же. Ч. 2. С. 108—112; 3) О прижизненных изданиях Ф. М. Достоевского // Волга. 1996. № 8/9. С. 95—112.

[5] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. СПб.: Изд. А. Г. Достоевской, 1882—1883. Т. 1—14.

были включены, как уже упоминалось выше, «Дневник писателя» и образцы более ранней публицистики Достоевского 1860-х гг. (объявления об издании журнала «Время»).

Опубликованные А. Г. Достоевской в первом томе посмертного издания обширный свод писем писателя и отрывки из его записной книжки 1880—1881 гг., а также предпосланные этому тому «Материалы для жизнеописания Достоевского» (до 1861 г.) О. Ф. Миллера и продолжающие их «Воспоминания о Ф. М. Достоевском» Н. Н. Страхова явились надолго основой для биографов Достоевского и до сих пор сохраняют свое значение первоисточника.

Тем не менее посмертное издание не ставило (да еще и не могло ставить) задачи всестороннего критического изучения текста, исправления погрешностей прижизненных изданий сочинений Достоевского.

Последующие дореволюционные издания полного собрания сочинений Достоевского в текстологическом отношении основывались на издании 1882—1883 гг., повторяя его состав (за исключением не входивших в них писем, отрывков из записной книжки и других материалов биографического порядка), и отличались от него лишь новыми типографскими опечатками. Специального упоминания из их числа заслуживают лишь шестое (юбилейное) издание[6] и последнее из дореволюционных изданий, осуществленное издательством «Просвещение».[7] В состав первого из названных изданий А. Г. Достоевской были включены фрагмент из неопубликованной в то время «Исповеди Ставрогина» («У Тихона») и отрывки из записных тетрадей к «Бесам» (т. 8). В последних двух томах издания 1911—1918 гг., выпущенных уже после революции, Л. П. Гроссман суммировал результаты начатой им и другими исследователями (В. Л. Комаровичем, В. К. Астровым-Савеловым) в последние предоктябрьские годы работы над изучением истории текста отдельных художественных произведений («Двойника», «Неточки Незвановой» и др.) и над определением авторства Достоевского в отношении анонимных статей, напечатанных во «Времени» и в других журналах. Выход этих томов не разрешил важнейших проблем текстологии Достоевского, но остро поставил вопрос о необходимости пересмотра старых традиций и о будущей подготовке издания сочинений писателя на новой научной основе.

Первое издание сочинений Достоевского, подготовленное на подобной основе, было осуществлено Б. В. Томашевским и К. И. Ха-

---

[6] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Изд. 6-е. СПб.: Изд. А. Г. Достоевской, 1904—1906. Т. 1—14.

[7] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. СПб.; Пг.: Просвещение, 1911—[1918]. Т. 1—23.

лабаевым в 1926—1930 гг.[8] К этому времени в СССР были выработаны принципы научной подготовки текста и был накоплен значительный опыт критического издания классиков. Задуманное вначале редакторами как собрание лишь одних художественных произведений, оно включило позднее в свой состав также «Дневник писателя» и критически проверенный свод журнальных статей, заметок и фельетонов. Параллельно с изданием сочинений Достоевского было начато полное четырехтомное комментированное издание его писем под редакцией А. С. Долинина, завершенное в 1959 г.[9]

К началу 1970-х гг. издание сочинений Достоевского под редакцией Томашевского и Халабаева и четырехтомник его писем под редакцией Долинина оставались лучшими в текстологическом отношении, наиболее полными и совершенными изданиями художественного и эпистолярного наследия писателя. Все же и они были далеки от полноты. В то время, когда Б. В. Томашевский приступил к работе над изданием 1926—1930 гг., рукописное наследие Достоевского было изучено и опубликовано лишь частично и в указанной области предстояла еще большая работа. Это заставило Б. В. Томашевского с самого начала сознательно отказаться от обращения к рукописям и ограничиться печатными источниками текста; отступления от этого правила были сделаны лишь для главы из «Бесов» «Исповедь Ставрогина» («У Тихона»), двух фрагментов — из «Записок из Мертвого дома» и «Дневника писателя», не публиковавшихся при жизни писателя. Огромное рукописное наследие Достоевского осталось, таким образом, за пределами издания. Оно не нашло отражения и в разделе вариантов (ограниченном лишь разночтениями печатных изданий). Недостаточная изученность к началу 1930-х гг. журналов Достоевского и спорность тогдашних методов атрибуции анонимных статей заставили Б. В. Томашевского воздержаться от включения в состав издания также тех журнальных статей Достоевского, принадлежность которых писателю не могла быть в то время строго доказана.

Ряд отдельных ценных исправлений и уточнений к изданию сочинений под редакцией Томашевского и Халабаева был сделан для текста художественных произведений Достоевского в позднейшем десятитомном собрании сочинений, осуществленном Государственным издательством художественной литературы в 1956—

---

[8] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. художественных произведений / Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. М.; Л.: Госиздат, 1926—1930. Т. 1—13. Загл. т. 11—12: «Дневник писателя»; т. 13: Статьи.

[9] *Достоевский Ф. М.* Письма / Под ред. и с примеч. А. С. Долинина. М.; Л.: Госиздат; Academia; Гослитиздат, 1928—1959. Т. 1—4.

1958 гг.[10] Задуманное как издание основных, наиболее читаемых произведений Достоевского и рассчитанное на широкого читателя, оно в текстологическом отношении было, естественно, также основано лишь на печатных источниках и не претендовало на полноту. Тем не менее при его подготовке была проделана новая солидная текстологическая работа. Кроме того, в отличие от издания 1926—1930 гг. (которое содержало лишь текстологический комментарий) десятитомник Гослитиздата явился первым опытом издания текстов Достоевского, снабженных систематическим, хотя и сжатым, историко-литературным и реальным комментарием.

Как свидетельствует сделанный обзор основных изданий сочинений Достоевского, вышедших до 1970-х гг., ни одно из них не преследовало цели объединить в своем составе его печатное и рукописное наследие. Между тем, как было отмечено выше, уже вскоре после смерти писателя начали появляться первые публикации отдельных страниц его рукописного наследия, подготовленные А. Г. Достоевской.[11] Объем и число таких публикаций до 1917 г. были незначительны. Но после того как по постановлению Советского правительства те рукописи Достоевского, которые до этого находились в частных руках и практически были недоступны исследователям, перешли в государственные архивохранилища, положение резко изменилось. Уже в 1919—1923 гг. были изданы полный текст ненапечатанной главы из «Бесов» («Исповедь Ставрогина»), план романа «Житие великого грешника» и другие ценные рукописные источники текста.[12] В 1920—1930-е гг. И. И. Гливенко, П. Н. Сакулиным, Н. Ф. Бельчиковым, В. Л. Комаровичем, А. С. Долининым, Е. Н. Коншиной и другими исследователями были напечатаны черновые материалы к важнейшим художественным произведениям Достоевского, многочисленные страницы его записных тетрадей и книжек.[13] Часть этих материалов по мере

---

[10] *Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: В 10 т. / Под общ. ред. Л. П. Гроссмана, А. С. Долинина и др. М.: Гослитиздат, 1956—1958.

[11] Кроме названного выше первого тома посмертного Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского (1883), рукописные материалы Достоевского публиковались в журналах: Северный вестник. 1891. № 11; Новый путь. 1904. № 1—2; Былое. 1907. № 8; и др.

[12] См.: *Гроссман Л. П.* Библиотека Достоевского. Одесса, 1919; Документы по истории литературы и общественности / Центрархив РСФСР. М., 1922. Вып. 1. Ф. М. Достоевский; Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Пб.: Мысль, 1922. Сб. 1; Недра: Лит.-худож. сборники. М.: Новая Москва, 1923. Кн. 2; и др.

[13] См.: Рукописные варианты романа «Подросток» / Сообщ. В. Л. Комарович // Начала. 1922. № 2. С. 217—230; *Dostojewski F. M.* Die Urgestalt der Brüder Karamasoff: Dostojewskis Quellen, Entwürfe und Fragmente / Erläutert von W. Komarowitsch. München, 1928; Из архива Ф. М. Достоевского: Преступление и наказание: Неизданные материа-

их публикации переводилась на иностранные языки и вошла в широкий международный научный обиход.[14] Однако издания этих материалов осуществлялись в разное время и принципы (а также качество) их подготовки были весьма различны, что создавало серьезные трудности для исследователей, к ним обращавшихся. Как свидетельствует анализ названных изданий, ни одно из них не могло считаться полным, не давало последовательного чтения всех слоев известного нам рукописного материала, относящегося к тому или другому из романов Достоевского (и, таким образом, не отражало всего хода творческой работы над ним).

Параллельно с работой нескольких поколений советских исследователей над расшифровкой и изданием рукописного наследия Достоевского В. В. Виноградовым и Л. П. Гроссманом была подвергнута новому дополнительному изучению журнальная проза Достоевского и было установлено его авторство для ряда анонимных статей и заметок, не входивших в прежние издания.[15] В 1957 г. вышло полное описание рукописей Ф. М. Достоевского, находящихся в государственных — центральных и местных — архивах СССР, составленное группой источниковедов-архивистов под редакцией В. С. Нечаевой.[16] Новый этап в работе над выявлением, расшифровкой и комментированием материалов Достоевского составила работа, проведенная в 1950—1960-е гг. редакцией «Литературного наследства», подготовившей ценные публикации черновых материалов Достоевского к «Подростку»,[17] записных книжек и

---

лы / Подгот. к печати И. И. Гливенко. М.; Л.: ГИХЛ, 1931; Из архива Ф. М. Достоевского: Идиот: Неизданные материалы / Ред. П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. М.; Л.: ГИХЛ, 1931; Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долинина. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1935 (материалы к «Бесам» и «Братьям Карамазовым»); Записные тетради Ф. М. Достоевского / Подгот. к печати Е. Н. Коншиной; Коммент. Н. И. Игнатовой и Е. Н. Коншиной. М.; Л.: Academia, 1935 (материалы к «Бесам»).

[14] Еще в 1920—1930-х гг. многие из них были опубликованы на немецком языке издательством Пипер. Позднее появились французские и американские издания тех же материалов.

[15] См.: *Гроссман Л. П.* 1) Семинарий по Достоевскому. М.; Пг.: ГИЗ, 1922. С. 82—92; 2) Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.; Л.: Academia, 1935. С. 221, 231—232, 346; *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М.: Гослитиздат, 1961. С. 487—611.

[16] Описание рукописей Ф. М. Достоевского / Б-ка СССР им. В. И. Ленина; Центр. гос. архив литературы и искусства СССР; Ин-т русской литературы / Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957.

[17] Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток»: Творческие рукописи / Публ. и коммент. А. С. Долинина. М.: Наука, 1965. (Литературное наследство. Т. 77).

тетрадей писателя,[18] фрагментов художественных и публицистических произведений, новонайденных и забытых писем.[19] Отдельные ценные публикации автографов Достоевского (а после завершения четырехтомного собрания писем под редакцией А. С. Долинина также и писем, оставшихся неизвестными к моменту окончания этого издания и не вошедших в него) появились в тот же период и за рубежом.[20] Все это подготовило необходимые предпосылки для осуществления академического полного собрания сочинений Достоевского, над которым работа началась в 1965 г.

Явившись первым собранием сочинений Достоевского, подготовленным на основе критического изучения всех выявленных ко времени работы над ним источников текстов, печатных и рукописных, и представив в своем составе все известное художественное, публицистическое и эпистолярное наследие писателя, *Акад. ПСС* стало одним из высших достижений российского литературоведения, «предметом законной гордости Пушкинского Дома, всей нашей академической литературной науки».[21] Своим появлением в полном составе оно выполнило важнейшую общественную и культурную задачу окончательного, бесповоротного разрушения заградительной стены отчуждения одного из величайших гениев русской литературы от его читателей, упорно воздвигавшуюся после 1917 г. и капитально укрепленную на исходе 1940-х гг.[22] ревни-

---

[18] Неизданный Достоевский: Записные книжки и тетради 1860—1881 гг. М.: Наука, 1971. (Литературное наследство. Т. 83).

[19] Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1973. (Литературное наследство. Т. 86). С. 11—152.

[20] Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956. С. 59—81 (отрывок из наборной рукописи «Записок из Мертвого дома»); Oxford Slavonic Papers. 1960. Vol. 9. P. 64—65 (письмо Достоевского к неустановленному лицу от 5 декабря 1863 г.); Sborník Národního Muzea v Praze. 1962. Sv. 7, č. 4. S. 220—223 (пять писем Достоевского к Н. П. Вагнеру 1875—1877 гг.); Literárne archiv. Praha, 1967. R. 2. S. 98 (письмо Достоевского к Н. П. Вагнеру от 17 января 1877 г.); и др.

[21] *Скатов Н. Н.* Вместо предисловия // Pro memoria: Памяти акад. Г. М. Фридлендера (1915—1995). СПб., 2003. С. 7.

[22] В ноябре 1946 г. было отмечено статьями во многих центральных и областных газетах 125-летие со дня рождения Достоевского, а с начала 1947 г. как реакция на проявление обществом любви и уважения к неугодному писателю развернулась кампания по его дискредитации, о которой дают представление, например, следующие публикации: *Волков А. А.* О преподавании литературы в вузах // Известия. 1947. 31 янв. (протест против включения романа «Бесы» в программу по литературе для учительских институтов); *Потапов К.* Институт, оторванный от жизни // Правда. 1947. 18 июля (об исследовании Л. П. Гроссмана «Образ Раскольникова в мировой литературе»); *Заславский Д.* Против идеализации реакционных взглядов Достоевского // Культура и жизнь.

телями коммунистической идеологии. Своей фундаментальностью оно, с выхода первого тома, завоевало широкое признание как текстологическая и комментаторская база общих и частных исследований творчества Достоевского, проводимых в рамках самых разных литературоведческих интересов и направлений. В научных работах, в том числе публикуемых под эгидой Международного общества Достоевского, и в разнообразных массовых изданиях произведений писателя в качестве источника текстов используется именно *Акад. ПСС* или изданное Пушкинским Домом на его основе в 1988—1996 гг. Собрание сочинений Ф. М. Достоевского в 15 томах,[23] в котором были учтены накопившиеся ко времени его выхода уточнения, исправления и дополнения, в том числе устранены или по крайней мере смягчены вынужденные идеологические напластования, резко диссонирующие с подлинной научной историко-литературной оценкой творчества великого писателя. Уже четыре десятилетия *Акад. ПСС* успешно выполняет свои научные и просветительские функции и при взвешенной его корректировке и дополнении будет еще долгое время востребованным и специалистами литературоведами, и обществом. Необходимая его актуализация применительно к новым общественным и культурным условиям поставлены главными целями предпринимаемого издания *Акад. ПСС*$_2$.[24]

---

1947. 20 дек. С. 3—4; Против идеализации творчества Достоевского: (На заседании Кафедры русской литературы Ленинградского университета) // Ленингр. правда. 1948. 20 янв.; *Ермилов В. В.* Против реакционных идей в творчестве Ф. М. Достоевского: Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве. М.: Правда, 1948. (Всесоюз. о-во по распространению политич. и науч. знаний). Об этой кампании см.: *Туниманов В. А.* Дон Искоз // Долинин А. С. Достоевский и другие: Статьи и исследования о русской классической литературе. Л., 1989. С. 21—26; *Якубович И. Д.* Достоевский в Пушкинском Доме // *Д*, Материалы и исследования. Т. 18. С. 10—11.

[23] *Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: В 15 т. / Акад. наук СССР; Рос. Акад. наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Л.; СПб.: Наука, 1988—1996. Далее: *Акад. Собр. соч. (15)*.

[24] Опубликованные в печати основные положения проекта Концепции второго академического издания Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского и Инструкция по его подготовке вызвали резкую критику оппонентов, предлагавших издавать радикально новое Полное собрание сочинений на принципах, во многом отличных от лежащих в основе *Акад. ПСС*. В той ее части, которая не разрушала замысла *Акад. ПСС*$_2$, эта критика была учтена при доработке и последующей корректировке названных документов. См.: *Багно В. Е., Рак В. Д.* О втором издании Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского // *РЛ*. 2009. № 3. С. 60—68; *Ветловская В. Е., Тихомиров Б. Н.* Об академическом Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского (изд. 2-е, исправленное и дополненное) // Там же. С. 69—73; *Будано-*

Основными задачами *Акад. ПСС*$_2$, как и *Акад. ПСС*, являются:

— публикация на основе всех имеющихся источников полного корпуса критически установленных, научно проверенных художественных, критических, публицистических, эпистолярных и иных (нереализованные замыслы, оставшиеся в планах и набросках, записные тетради, дарственные надписи и пр.) текстов Достоевского;

— восстановление истории каждого текста посредством публикации всех сохранившихся материалов, к нему относящихся (планы, конспекты, подготовительные записи, черновые наброски, разные редакции, варианты рукописей и прижизненных изданий и пр.);

— научное комментирование текстов.

*Акад. ПСС*$_2$ продолжает осуществленное коллективом *Акад. ПСС* историко-литературное изучение творческого наследия Достоевского, что предполагает, с одной стороны, проведение углубленных научных исследований вопросов, не получивших освещения в достоевсковедении, и с другой — критический учет и отражение разнообразных дополнений и уточнений, введенных в научный оборот после выхода отдельных томов *Акад. ПСС* и его завершения, исправление выявленных неточностей, ошибок и иных вкравшихся, к сожалению, погрешностей. Сведения подобного рода накопились и продолжают умножаться в достоевсковедческих исследовательских и справочных изданиях Пушкинского Дома,[25] Международного[26] и Российского[27] обществ Достоевского, Фонда Достоевского,[28]

---

*ва Н. Ф.* К спорам о втором издании Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского // Там же. 2010. № 2. С. 32—40.

[25] Достоевский: Материалы и исследования / Акад. наук СССР; Рос. Акад. наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Л.; СПб.: Наука, 1974—2010. Т. 1—19 (издание продолжается); Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского: В 3 т. / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Рос. Акад. наук; Под ред. Н. Ф. Будановой и Г. М. Фридлендера. СПб.: Академический проект, 1993—1995; Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции, науч. описание / Рос. Акад. наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Н. Ф. Буданова. СПб.: Наука, 2005.

[26] Dostoevsky Studies: The Journal of the International Dostoevsky Society. 1980—1988. Vol. 1—9; new ser. 1993—1998. Vol. 1—6; new ser. 1998—2009. Vol. 2—13 (издание продолжается); Dostoevsky Monographs: A Series of the International Dostoevsky Society. 2008—. Vol. 1—.

[27] Достоевский и мировая культура: Альманах / О-во Достоевского; Лит.-мемориал. музей Ф. М. Достоевского в С.-Петербурге. СПб.; М., 1993—2012. № 1—29. (Издание продолжается).

[28] Ф. М. Достоевский в современном мире: Материалы международного симпозиума (Москва, 2001). М.: ИНИОН РАН, 2002 (Литературоведческий журнал; № 16); Русская словесность в мировом культурном контексте. 1) Международный конгресс, Москва, 14—19 декабря 2004 г. Материалы / Фонд Достоевского. М., 2004; 2) Международный симпозиум, 2-й, Москва, 15—18 декабря 2006 г. Избр. доклады

других отечественных[29] и зарубежных[30] организаций и индивидуальных ученых, в новейших комментариях к переизданиям воспоминаний современников о Достоевском и трудов ушедших из жизни ученых, как советских, так и находившихся в эмиграции, наконец — в публикациях по результатам лексикографического изучения языка произведений Достоевского.[31] Выходят собрания сочинений Достоевского, реализующие иные, чем *Акад. ПСС* и *Акад. Собр. соч. (15)*, текстологические и комментаторские принципы,

---

и тезисы. М.: Фонд Достоевского, 2008. Материалы конгресса и симпозиума публиковались также в изд.: Литературоведческий журнал. М.: ИНИОН РАН, 2005. № 19; 2007. № 21. Официальное название организации: Региональный общественный гуманитарный фонд содействия изучению жизни и творчества Ф. М. Достоевского.

[29] Достоевский и современность: Тезисы выступлений на «Старорусских чтениях» / Новгород. гос. объед. музей-заповедник, Дом-музей Ф. М. Достоевского. Новгород, 1988—1992. [Вып. 1—7]: Чтения 1988, 1989, 1990 (ч. 1—2), 1991 (ч. 1—2); Достоевский и современность: Материалы Международных Старорусских чтений / Новгород. гос. объед. музей-заповедник, Дом-музей Ф. М. Достоевского. Великий Новгород; Старая Русса, 1994—2010. Чтения 8-е — 24-е (издание продолжается); Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-справочник / Челяб. гос. ун-т; сост.: Г. К. Щенников, А. А. Алексеев; Науч. ред. Г. К. Щенников. Челябинск: Металл, 1997; Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник / Рос. Акад. наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Сост. и науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб.: Пушкинский дом, 2008; *Белов С. В.* Ф. М. Достоевский и его окружение: Энциклопедический словарь / Рос. нац. б-ка. СПб.: Алетейя, 2001. Т. 1—2.

[30] The Dostoevsky Journal: An Independent Review. Idyllwild, CA, 2000—2009/2010. Vol. 1—10/11. (Издание продолжается).

[31] Конкорданс (указатель слов в контексте) к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» / Сост. А. Андо, Я. Ураи, Т. Мохизуки = A Concordance to Dostoevsky's *Crime and Punishment* / Ed. by A. Ando, Y. Urai, T. Mochizuki. Sapporo: Hokkaido University, Slavic Research Center, 1994. Т. 1—3; Словарь языка Достоевского: Лексический строй идиолекта / Рос. акад. наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова; Авт.-сост. Е. Л. Гинзбург и др.; Гл. ред. Ю. Н. Караулов. М.: Азбуковник, 2001—2003. Вып. 1—3; *Шайкевич А. Я., Андрющенко В. М., Ребецкая Н. А.* Статистический словарь языка Достоевского / Рос. акад. наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. М.: Языки славянской культуры, 2003; Аннотированный конкорданс к роману Ф. М. Достоевского «Идиот» = A Lemmatized Concordance to *The Idiot* of F. M. Dostoevsky / Сост. А. Андо, Я. Ураи и А. Л. Ренанский. Саппоро: Ун-т Хоккайдо, 2003—2004. Т. 1—5 (доп.); Словарь языка Достоевского: Идиоглоссарий / Учреждение Рос. акад. наук Институт русского языка им. В. В. Виноградова; Авт.-сост. Е. Л. Гинзбург и др.; Гл. ред. Ю. Н. Караулов. М.: Азбуковник, 2008. [Т.] А—В. (Издание продолжается).

как-то: скрупулезное воспроизведение орфографии и пунктуации источника текста, принимаемых безусловно за авторские без учета вероятной правки корректора в печатных изданиях; расширенное применение для исправлений текстов разработанной в 1920-е гг. Б. В. Томашевским теории ошибок типографского набора и классификации опечаток; интерпретация каждого нарушения принятых во время Достоевского правил правописания и расстановки знаков препинания как сознательного авторского приема; публикация записных и рабочих тетрадей писателя в целостном виде, без выделения, в отличие от *Акад. ПСС*, материалов, относящихся к разным творческим замыслам, бытовых записей личного характера и заметок для памяти и др.[32] «Безбрежное многообразие»[33] фактов, наблюдений, интерпретаций, гипотез, текстовых конъектур, догадок, выдумок и пр., приведенных и высказанных в последние десятилетия во множестве общих и частных исследований отечественных и зарубежных ученых, изучающих наследие Достоевского в самых различных аспектах (биографическом, художественном, философском, идеологическом, религиозном и др.), должно пройти тщательную аналитическую оценку для отбора из него материалов, отвечающих статусу научного аппарата академического собрания сочинений писателя и долженствующих быть включенными в *Акад. ПСС*$_2$.

В сложившейся после 1991 г. общественной и культурной жизни безоговорочно отвергнуты изменившимся сознанием и требуют обязательной корректировки присутствующие в *Акад. ПСС* неизбежные идеологические наслоения советской эпохи, вызванные тем, что в условиях того времени сотрудники издания, против собственных убеждений, были вынуждены перестановкой акцентов, предписывавшимися им для использования оценочными характеристиками, частичной недосказанностью и даже полным умолчанием ретушировать и не вполне адекватно освещать некоторые черты личности и отдельные стороны мировоззрения писателя, идейные и художественные особенности его произведений, без чего постоянно висевшая над *Акад. ПСС* угроза его принудительного прекращения могла в любой момент быть приведена в испол-

---

[32] См.: *Достоевский Ф. М.* 1) Полн. собр. соч.: Изд. в авт. орфографии и пунктуации: Канонические тексты / Под ред. В. Н. Захарова. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995—2010. Т. 1—9 (издание продолжается); 2) Полн. собр. соч.: В 18 т. / Под ред. В. Н. Захарова. М.: Воскресенье, 2003—2007. Т. 1—18; Прил. Т. 1—5; 3) Собр. соч.: В 9 т. / Подгот. текста, сост., примеч., вступ. статья, коммент. Т. А. Касаткиной. М.: Астрель-АСТ, 2003—2004 (переизд.: 2007).

[33] Меткое выражение, употребленное Н. Ф. Будановой, см.: *Д. Материалы и исследования*. Т. 17. С. 346.

нение.[34] Партийные и советские смотрители за неукоснительным соблюдением спускавшихся свыше идеологических предписаний, подчиненная им цензура и подобострастные ревнители идейной «чистоты» и «правильности» общественной и научной мысли чутко улавливали опасную своей убедительностью крамолу в творениях, проникнутых глубокой христианской религиозностью, духом неуклонного православия и нетерпимостью к революционной «бесовщине»; для них Достоевский был писателем неугодным и опасным, подрывающим устои режима, который они старались утвердить «на вечные времена», разрушителем насаждаемого ими утопического представления о светлом и радостном коммунистическом будущем человечества. С наибольшей жесткостью и последовательностью идеологический диктат проявлялся в той части комментария, где шла речь об отражении в творчестве Достоевского его политических взглядов и религиозных убеждений, и соответственно именно эти разделы подлежат наиболее существенному пересмотру и дополнениям. Вместе с тем основной состав *Акад. ПСС*, как в целом, так и по отдельным томам и внутренним их разделам, составляют добротные текстовые и историко-литературные материалы, устойчивые к девальвации при смене идеологических, литературно-теоретических, художественных и других преференций и доказавшие способность сохранять в разных общественных и культурных условиях научную, исследовательскую и информационную содержательность.

Состав и композиция *Акад. ПСС*$_2$ в основном сохраняют сложившееся в *Акад. ПСС* распределение материала по томам и по разделам внутри томов.

В *Акад. ПСС*$_2$ включаются — с распределением по томам — все выявленные после выхода соответствующих томов или завершения *Акад. ПСС* в целом творческие и иные тексты Достоевского, рукописные и печатные, в том числе дубиальные, атрибутируемые с достаточно высокой степенью вероятности.

*Акад. ПСС*$_2$ издается в 35 томах, которые группируются в серии:

Т. 1—17: Художественные произведения (законченные и опубликованные самим Достоевским произведения, все черновые материалы к ним, другие редакции, варианты рукописей и прижизненных изданий; все оставшиеся в рукописях художественные наброски, планы, стихотворные фрагменты, подготовительные ма-

---

[34] О гнетущей идеологической атмосфере вокруг издания и чинившихся ему препонах см.: «С подлинным уважением к гению Достоевского...»: Беседа с академиком РАН Г. М. Фридлендером // Достоевский в конце XX века / Сост. и ред. К. Степанян. М., 1996. С. 16—18; *Архипова А. В.* Как мы издавали академического Достоевского // Достоевский и мировая культура. № 16. С. 225—236; *Скатов Н. Н.* Вместо предисловия. С. 7.

териалы напечатанных и незавершенных произведений). В т. 1 включается не вошедший в *Акад. ПСС* выполненный Достоевским перевод романа О. де Бальзака «Евгения Гранде» (1844). Рукописные редакции романа «Подросток» и комментарии к нему (*Акад. ПСС*, т. 16—17), оказавшиеся вследствие очередной попытки закрыть издание оторванными от основного текста произведения (т. 13), за которым следовали два тома «Братьев Карамазовых» (т. 14—15),[35] возвращаются на полагающееся им место (*Акад. ПСС*$_2$, т. 14—15) с соответствующим перемещением «Братьев Карамазовых» (т. 16—17).

Т. 18—27: Публицистика (критические и публицистические статьи, редакционные примечания в журналах «Время», «Эпоха», «Гражданин», объявления, «Дневник писателя», все материалы по истории текста публицистических произведений).

Т. 28—32: Письма (к отдельным адресатам и официальные).

Распределение материала внутри каждой из этих трех серий — хронологическое, с отступлением от него в отдельных необходимых случаях, там, где речь идет о крупных произведениях (романах) или циклах («Дневник писателя»), не поддающихся дроблению.

Каждый том строится по одному общему принципу и включает в себя четыре раздела: 1) основные тексты произведений; 2) другие редакции (сюда включаются все материалы по истории текста, в том числе особенно важные для Достоевского творческие разработки, наброски и планы, предшествующие определению окончательной формы произведения); 3) варианты; 4) примечания. Первый из названных разделов в свою очередь делится на два подраздела: а) произведения данного времени, завершенные и опубликованные Достоевским при жизни; б) планы и наброски не осуществленных и не законченных писателем произведений того же периода.

Три последних тома содержат следующие материалы:

Т. 33: Произведения, в отношении которых авторство Достоевского хотя и вероятно, но его нельзя считать вполне установленным (Dubia); материалы, обнаруженные после выхода томов *Акад. ПСС*$_2$, к которым они относятся; объяснения и показания Достоевского по делу петрашевцев и связанные с этим делом документы; выдержки личного характера из записных тетрадей; альбомные записи, дарственные надписи на книгах и фотографиях; деловые бумаги; и др. В Приложении помещается обзор «Статьи и заметки, приписывавшиеся Ф. М. Достоевскому», в котором

---

[35] Подробно об этом см.: «С подлинным уважением к гению Достоевского...». С. 18; *Архипова А. В.* Как мы издавали академического Достоевского. С. 231—232.

мотивируется отказ от включения в *Акад. ПСС*$_2$ произведений, авторство которых в других изданиях приписывалось Достоевскому.

Т. 34: Рисунки Достоевского.

Т. 35: Справочный том, содержащий: а) алфавитный список произведений Достоевского (для каждого с указанием тома, в котором оно напечатано); б) хронологический указатель произведений Достоевского; в) общий ко всем томам указатель упоминаний произведений Достоевского; г) общий ко всем томам указатель имен, названий современных Достоевскому периодических изданий и анонимных произведений (включая раскрытые в комментариях фамилии авторов цитат, приведенных Достоевским анонимно, а также цитируемые книги Библии); д) общий указатель адресатов писем и деловых бумаг; е) общий указатель адресатов несохранившихся и ненайденных писем.

Все тексты Достоевского (основные тексты художественных произведений и статей, подготовительные материалы, рукописные редакции, варианты рукописных и печатных источников, письма и др.), как перепечатываемые из *Акад. ПСС*, так и впервые включаемые в академическое собрание сочинений, в том числе опубликованные исследователями в разных научных и других изданиях, проходят фронтальную сверку с их печатными и рукописными источниками, в ходе которой исправляются вновь выявляемые и уже отмеченные в печати погрешности, вкравшиеся в *Акад. ПСС* и в другие публикации (ошибки и неточности подготовки текста, опечатки, опровергнутые конъектуры, неразобранные фрагменты рукописей, неправомерное вмешательство корректора, и др.). При оценке корректности напечатанных в *Акад. ПСС* текстов учитываются и подвергаются критическому анализу отступления от них и новации, принятые в собраниях сочинений Достоевского, которые появились после завершения *Акад. ПСС*, и в других заслуживающих в этом отношении рассмотрения изданиях. Текстуальные изменения, вносимые в *Акад. ПСС*$_2$, соответствуют основным текстологическим принципам, установленным для *Акад. ПСС*.[36]

Тексты, опубликованные Достоевским при жизни, печатаются, как правило, по последнему авторизованному изданию. Остальные произведения и письма печатаются по автографам, а в случае их отсутствия — по стенографическим записям А. Г. Достоевской,

---

[36] Изложение и обоснование этих принципов см.: *Фридлендер Г. М.* 1) О текстологических принципах Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского // Текстология славянских литератур. Л., 1973. С. 59—70; 2) О научных принципах и задачах академического издания русских классиков: (На материале Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1991. Т. 50. № 5. С. 401—413.

авторитетным копиям, посмертным публикациям и другим источникам. Из текста принятой для печати редакции на основании сличения всех первоисточников устраняются явные описки, типографские опечатки, а также цензурные искажения и другие отступления от подлинного авторского текста. Исправления, внесенные в текст в результате этого сличения, оговариваются в комментариях (кроме исправления явных описок и опечаток).

Тексты сочинений Достоевского (за исключением случаев, где отклонения от обычной орфографии и пунктуации вызваны художественно-стилистическими соображениями) печатаются по правилам современной орфографии и пунктуации с сохранением наиболее важных особенностей, свойственных писателю и его эпохе. При этом в тексте черновых набросков, записных тетрадей и писем Достоевского индивидуальные особенности его орфографии сохраняются в большей степени, чем в основном тексте художественных произведений и публицистики (сравнение прижизненных изданий сочинений Достоевского показывает, что индивидуальные особенности его орфографии и пунктуации сильнее выражены в ранних изданиях; в позднейших же изданиях сильнее ощущается влияние общих орфографических норм эпохи, а чисто индивидуальные черты орфографии и пунктуации писателя выражены менее явственно).[37] Понятию «важные особенности орфографии и пунк-

---

[37] Применение в *Акад. ПСС* сформулированного в данном абзаце принципа навлекло на это собрание сочинений жесткую критику оппонентов, утверждающих, что тем самым тексты Достоевского были безнадежно искажены, а его подлинная мысль стала недоступной в своих глубинных, тонких оттенках, что выявить ее во всей полноте может лишь орфография и пунктуация источников, воспроизведенная в мельчайших подробностях, таких как диакритические значки, односторонние кавычки, отсутствие тире между прямой речью и словами автора и пр. (см.: *Достоевский Ф. М.* Бесы: Роман в 3 ч. / Подгот. текста, вступ. статья, послесл. и примеч. В. Н. Захарова. Петрозаводск: Карелия, 1990. С. 680—682; *Захаров В. Н.* 1) Канонический текст Достоевского // Новые аспекты изучения Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 355—359; 2) Текстология как технология // Проблемы текстологии Ф. М. Достоевского. Петрозаводск, 2009. Вып. 1. С. 3—12; *Касаткина Т. А.* Пунктуация как художественный прием: к проблеме текстологии произведений Ф. М. Достоевского в XX веке // Достоевский: Дополнения к комментарию. М.: Наука, 2005. С. 7—26; возражения: *Фридлендер Г. М.* 1) От редактора // *Д. Материалы и исследования*. Т. 12. С. 4; 2) «С подлинным уважением к гению Достоевского...». С. 19—20; *Якубович И. Д.* Достоевский в Пушкинском доме. С. 16—17; *Березкина С. В.* «Униженные и оскорбленные» Достоевского: Три текста, три издания // *РЛ*. 2011. № 3. С. 97—109. Однако оба принципа — и реализованный в *Акад. ПСС*, и декларируемый его оппонентами — апробированы в разных вариантах мировой эдиционной практикой, оба доказали свою правомерность и жизнеспособность, оба являются равноправно научными,

туации» придается в *Акад. ПСС*$_2$ более расширенный по сравнению с *Акад. ПСС* смысл, вследствие чего тексты могут быть освобождены от цензурного насилия, корректорского ригоризма и ошибок чтения и понимания и во всех признанных необходимыми случаях возвращены написания и знаки препинания источника.

Вслед за основными текстами произведений Достоевского печатаются их имеющие самостоятельное значение первоначальные редакции, а также наброски, планы, конспекты и другие подготовительные материалы к ним. Далее — в следующем разделе — помещаются все варианты автографов и печатных изданий, имеющие творческий характер.

Справочный аппарат каждого тома состоит из вводных заметок (преамбул) и примечаний к текстам сочинений и писем Достоевского. В примечаниях к каждому произведению даются сведения обо всех рукописных и печатных источниках текста, мотивируются выбор основного текста и внесенные в него исправления, освещаются история создания и печатания данного произведения, его место в творчестве писателя, отзывы о нем современной Достоевскому критики. Построчный историко-литературный и реальный комментарий должен сделать текст, там где это требуется, понятным современному читателю. Притом что в разделе «Примечания» в *Акад. ПСС*$_2$ текстовую основу статей (преамбул) и реальных (построчных) комментариев образуют, как правило, соответствующие статьи и комментарии, опубликованные в *Акад. ПСС*, в них вносятся не ограничиваемые ни тематикой, ни объемом все необходимые историко-литературные исправления и дополнения, которые продиктованы вновь привлекаемыми для раскрытия творческой истории комментируемого текста и объяснения содержащихся в нем реалий, намеков, подтекста и тому подобного материалами. Для внесения исправлений и дополнений обязательно наличие прочного историко-литературного обоснования. Комментарий в *Акад. ПСС*$_2$ подается с идеологически нейтральной позиции. Авторская принадлежность мелких и малообъемных вставных редакторских[38] уточнений и дополнений оговаривается обобщенно в ре-

---

имеют каждый свои градации и ограничения своих возможностей, раскрывают аспекты, не уловимые другим способом, но одновременно затушевывают те, что выявляются иным образом. Не соглашаясь с огульным отрицанием применения в *Акад. ПСС* современной орфографии и пунктуации как испортивших тексты Достоевского и следуя в новом издании этому же принципу с поправками, предписываемыми последней модификацией правил и снимающими ряд важных возражений оппонентов, редколлегия и сотрудники *Акад. ПСС*$_2$ учитывают все сделанные по этой части конкретные замечания и в должных случаях вносят необходимые исправления.

[38] Под редактором здесь понимается сотрудник *Акад. ПСС*$_2$, выполняющий работу по корректировке и дополнению преамбул и реальных

дакционном предисловии к разделу примечаний. Пространное редакторское дополнение к преамбуле, содержащее материал, не освещенный в *Акад. ПСС* или подвергшийся после его выхода существенному переосмыслению и потребовавший поэтому кардинальной переработки, оформляется в виде отдельного раздела, который может разрывать текст преамбулы; такой раздел получает свой порядковый номер, и его авторство указывается отдельно в редакционном предисловии.

Комментарий в *Акад. ПСС*$_2$ подается с идеологически нейтральной позиции. Для интерпретационных (герменевтических) дополнений обязательно наличие прочного историко-литературного обоснования.

Ссылки на труднодоступные в оригинальных изданиях современные Достоевскому критические статьи, воспоминания о нем его современников, давние их републикации и старые научные работы приводятся по новейшим переизданиям при наличии таковых; в том числе на последние переиздания переведены ссылки в примечаниях, воспроизводимых дословно из *Акад. ПСС*.

Редакционная коллегия издания просит всех лиц в России и за рубежом, располагающих неизвестными ей вновь открытыми автографами Достоевского (или сведениями о местонахождении таких автографов), оказать ей возможное содействие в работе присылкой копий с соответствующих рукописей или сообщением сведений о них по адресу: 199164, Санкт-Петербург, набережная Макарова, д. 4, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Редколлегия Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. Редколлегия пользуется случаем заранее выразить свою благодарность всем тем, кто отзовется на ее просьбу.

---

(постраничных) комментариев, написанных и составленных сотрудником *Акад. ПСС*, который сам не принимает участия в подготовке своих материалов для переиздания в составе *Акад. ПСС*$_2$.

# БЕДНЫЕ ЛЮДИ

РОМАН

Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле выры-вают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: чита-ешь... невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдет в го-лову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил.

*Кн. В. Ф. Одоевский*

Апреля 8.

Бесценная моя Варвара Алексеевна!

Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счаст-лив! Вы хоть раз в жизни, упрямица, меня послушались. Вече-ром, часов в восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я ча-сочек-другой люблю поспать после должности), свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю гла-за, — право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы-таки поняли, чего мне хотелось, чего сердчишку моему хотелось! Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином, точнехонько так, как я вам тогда наме-кал; тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, что мило-видного личика-то вашего я не мог разглядеть хорошенько! Было время, когда и мы светло видели, маточка. Не радость старость, родная моя! Вот и теперь всё как-то рябит в глазах; чуть порабо-

таешь вечером, попишешь что-нибудь, наутро и глаза раскраснеются, и слезы текут, так что даже совестно перед чужими бывает. Однако же в воображении моем так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик, ваша добренькая, приветливая улыбочка; и на сердце моем было точно такое ощущение, как тогда, как я поцеловал вас, Варенька, — помните ли, ангельчик? Знаете ли, голубчик мой, мне даже показалось, что вы там мне пальчиком погрозили? Так ли, шалунья? Непременно вы это всё опишите подробнее в вашем письме.

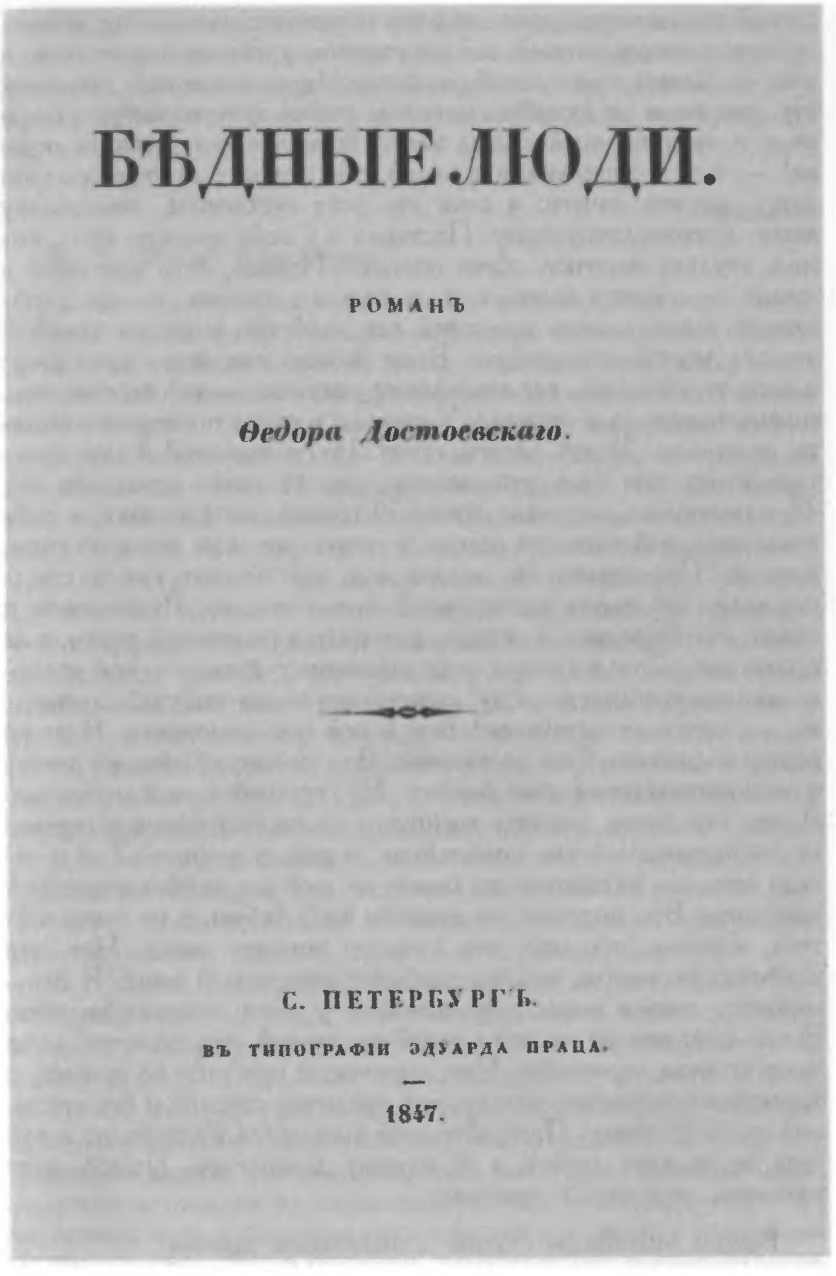
Ну, а какова наша придумочка насчет занавески вашей, Варенька? Премило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли и уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опу́стите занавеску — значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора! Подымете — значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, каково-то вы спали, или: каково-то вы в вашем здоровье, Макар Алексеевич? Что же до меня касается, то я, слава Творцу, здорова и благополучна! Видите ли, душечка моя, как это ловко придумано; и писем не нужно! Хитро, не правда ли? А ведь придумочка-то моя! А что́, каков я на эти дела, Варвара Алексеевна?

Доложу я вам, маточка моя, Варвара Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен; хотя на новых квартирах, с новоселья, и всегда как-то не спится; всё что-то так, да не так! Встал я сегодня таким ясным соколом — любо-весело! Что это какое утро сегодня хорошее, маточка! У нас растворили окошко; солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется — ну, и остальное там всё было тоже соответственное; всё в порядке, по-весеннему. Я даже и помечтал сегодня довольно приятно, и всё об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастию небесных птиц, — ну, и остальное всё такое же, сему же подобное; т. е. я всё такие сравнения отдаленные делал. У меня там книжка есть одна, Варенька, так в ней то же самое, всё такое же весьма подробно описано. Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка. А вот теперь весна, так и мысли всё такие приятные, острые, затейливые, и мечтания приходят нежные; всё в розовом цвете. Я к тому и написал это всё; а впрочем, я это всё взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стишках и пишет —

Ну и т. д. Там и еще есть разные мысли, да Бог с ними! А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я еще и в должность не сбирался, а вы, уж подлинно как пташка весенняя, порхнули из комнаты и по двору прошли такая веселенькая. Как мне-то было весело, на вас глядя! Ах, Варенька, Варенька! вы не грустите; слезами горю помочь нельзя; это я знаю, маточка моя, это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно, да и здоровьем вы немного поправились. Ну, что ваша Федора? Ах, какая же она добрая женщина! Вы мне, Варенька, напишите, как вы с нею там живете теперь и всем ли вы довольны? Федора-то немного ворчлива; да вы на это не смотрите, Варенька. Бог с нею! Она такая добрая.

Я уже вам писал о здешней Терезе, — тоже и добрая и верная женщина. А уж как я беспокоился об наших письмах! Как они передаваться-то будут? А вот как тут послал Господь на наше счастие Терезу. Она женщина добрая, кроткая, бессловесная. Но наша хозяйка просто безжалостная. Затирает ее в работу словно ветошку какую-нибудь.

Ну, в какую же я трущобу попал, Варвара Алексеевна! Ну, уж квартира! Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знаете: смирно, тихо; у меня, бывало, муха летит, так и муху слышно. А здесь шум, крик, гвалт! Да ведь вы еще и не знаете, как это всё здесь устроено. Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую всё двери да двери, точно нумера, всё так в ряд простираются. Ну, вот и нанимают эти нумера, а в них по одной комнатке в каждом; живут в одной и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте — Ноев ковчег! Впрочем, кажется, люди хорошие, всё такие образованные, ученые. Чиновник один есть (он где-то по литературной части), человек начитанный: и о Гомере, и о Брамбеусе, и о разных у них там сочинителях говорит, обо всем говорит, — умный человек! Два офицера живут и всё в карты играют. Мичман живет; англичанин-учитель живет. Постойте, я вас потешу, маточка; опишу их в будущем письме сатирически, т. е. как они там сами по себе, со всею подробностию. Хозяйка наша, — очень маленькая и нечистая старушонка, — целый день в туфлях да в шлафроке ходит и целый день всё кричит на Терезу. Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот как: тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок такой скромный... т. е., или еще лучше сказать, кухня большая в три окна, так у меня вдоль попе-


БѢДНЫЕ ЛЮДИ.

РОМАНЪ

Ѳедора Достоевскаго.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА.

1847.

«Бедные люди». Титульный лист первого отдельного издания. 1847 г.

речной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната, нумер сверхштатный; всё просторное, удобное, и окно есть, и всё, — одним словом, всё удобное. Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кухня! — т. е. я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучше, — может быть, есть и гораздо лучшие, — да удобство-то главное; ведь это я всё для удобства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь — всё веселее мне, горемычному, да и дешевле. У нас здесь самая последняя комната, со столом, 35 руб. ассигн. стоит. Не по карману! А моя квартира стоит мне семь руб. ассигн., да стол пять целковых: вот 24 с полтиною, а прежде ровно 30 платил, зато во многом себе отказывал; чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь всё народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона; а по мне всё равно, я не прихотлив. Положите так, для карманных денег — всё сколько-нибудь требуется — ну, сапожишки какие-нибудь, платьишко — много ль останется? Вот и всё мое жалованье. Я-то не ропщу и доволен. Оно достаточно. Вот уже несколько лет достаточно; награждения тоже бывают. Ну, прощайте, мой ангельчик. Я вам там купил парочку горшков с бальзаминчиком и геранькy — недорого. А вы, может быть, и резеду любите? Так и резеда есть, вы напишите; да знаете ли, всё как можно подробнее напишите. Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибет. Нет, маточка, я про себя не промах, и характера совершенно такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку. Прощайте, мой ангельчик! Расписался я вам чуть не на двух листах, а на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, и пребываю

Вашим нижайшим слугою и вернейшим другом
*Макаром Девушкиным.*

P. S. Об одном прошу: отвечайте мне, ангельчик мой, как можно подробнее. Я вам при сем посылаю, Варенька, фунтик конфект; так вы их скушайте на здоровье, да, ради Бога, обо мне не заботьтесь и не будьте в претензии. Ну, так прощайте же, маточка.

Апреля 8.

М. Г. Макар Алексеевич!

Знаете ли, что придется наконец совсем поссориться с вами? Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и отказов в необходимейшем себе самому. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего; что я не в силах вам воздать и за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаминчики еще ничего, а геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как напр. об этой герани, уж вы тотчас и купите; ведь, верно, дорого? Что за прелесть на ней цветы! Пунсовые крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посредине окна поставила, на самом видном месте; на полу же поставлю скамейку, а на скамейку еще цветов поставлю; вот только дайте мне самой разбогатеть! Федора не нарадуется; у нас теперь словно рай в комнате, — чисто, светло! Ну, а конфекты зачем? И право, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-нибудь да не так — и рай, и весна, и благоухания летают, и птички чирикают. Что это, я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь, право, одних стихов и недостает в письме вашем, Макар Алексеевич! И ощущения нежные, и мечтания в розовом цвете — всё здесь есть! Про занавеску и не думала; она, верно, сама зацепилась, когда я горшки переставляла; вот вам!

Ах, Макар Алексеевич! Что вы там ни говорите, как ни рассчитывайте свои доходы, чтоб обмануть меня, чтобы показать, что они все сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите и не скроете ничего. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня. Что это вам вздумалось, напр., такую квартиру нанять? Ведь вас беспокоят, тревожат; вам тесно, неудобно. Вы любите уединение, а тут и чего-чего нет около вас! А вы бы могли гораздо лучше жить, судя по жалованью вашему. Федора говорит, что вы прежде и не в пример лучше теперешнего жили. Неужели ж вы так всю свою жизнь прожили, в одиночестве, в лишениях, без радости, без дружеского приветливого слова, у чужих людей углы нанимая? Ах, добрый друг, как мне жаль вас! Щадите хоть здоровье свое, Макар Алексеевич! Вы говорите, что у вас глаза

слабеют, так не пишите при свечах; зачем писать? Ваша ревность к службе и без того, вероятно, известна начальникам вашим.

Еще раз умоляю вас, не тратьте на меня столько денег. Знаю, что вы меня любите, да сами-то вы не богаты... Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо; Федора давно уже работала, да и мне работу достала. Я так обрадовалась; сходила только шелку купить, да и принялась за работу. Целое утро мне было так легко на душе, я так была весела! А теперь опять всё черные мысли, грустно; всё сердце изныло.

Ах, что-то будет со мною, какова-то будет моя судьба! Тяжело то, что я в такой неизвестности, что я не имею будущности, что я и предугадывать не могу о том, что со мной станется. Назад и посмотреть страшно. Там всё такое горе, что сердце пополам рвется при одном воспоминании. Век буду я плакаться на злых людей, меня погубивших!

Смеркается. Пора за работу. Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить. Конечно, письма хорошее дело; всё не так скучно. А зачем вы сами к нам никогда не зайдете? Отчего это, Макар Алексеевич? Ведь теперь вам близко, да и время иногда у вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста! Я видела вашу Терезу. Она, кажется, такая больная; жалко было ее; я ей дала 20 копеек. Да! чуть было не забыла: непременно напишите всё, как можно подробнее, о вашем житье-бытье. Что за люди такие кругом вас, и ладно ли вы с ними живете? Мне очень хочется всё это знать. Смотрите же, непременно напишите! Сегодня уж я нарочно угол загну. Ложитесь пораньше; вчера я до полночи у вас огонь видела. Ну, прощайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно! Знать, уж день такой! Прощайте.

Ваша

*Варвара Доброселова.*

Апреля 8.

Милостивая государыня,
Варвара Алексеевна!

Да, маточка, да, родная моя, знать, уж денек такой на мою долю горемычную выдался! Да; подшутили вы надо мной, стариком, Варвара Алексеевна! Впрочем, сам виноват, кругом виноват! Не пускаться бы на старости лет с клочком волос в амуры да в экивоки... И еще скажу, маточка: чуден иногда человек, очень чуден. И, святые вы мои! о чем заговорит, занесет подчас! А что выходит-то, что следует-то из этого? Да ровно ничего не

следует, а выходит такая дрянь, что убереги меня, Господи! Я, маточка, я не сержусь, а так досадно только очень вспоминать обо всем, досадно, что я вам написал так фигурно и глупо. И в должность-то пошел сегодня таким гоголем-щеголем; сияние такое было на сердце. На душе ни с того ни с сего такой праздник был; весело было! За бумаги принялся рачительно — да что вышло-то потом из этого! Уж потом только как осмотрелся, так всё стало по-прежнему — и серенько и темненько. Всё те же чернильные пятна, всё те же столы и бумаги, да и я всё такой же; так, каким был, совершенно таким же и остался, — так чего же тут было на Пегасе-то ездить? Да из чего это вышло-то всё? Что солнышко проглянуло да небо полазоревело! от этого, что ли? Да и что за ароматы такие, когда на нашем дворе под окнами и чему-чему не случается быть! Знать, это мне всё сдуру так показалось. А ведь случается же иногда заблудиться так человеку в собственных чувствах своих да занести околесную. Это ни от чего иного происходит, как от излишней, глупой горячности сердца. Домой-то я не пришел, а приплелся; ни с того ни с сего голова у меня разболелась; уж это, знать, всё одно к одному. (В спину, что ли, надуло мне.) Я весне-то обрадовался, дурак дураком, да в холодной шинели пошел. И в чувствах-то вы моих ошиблись, родная моя! Излияние-то их совершенно в другую сторону приняли. Отеческая приязнь одушевляла меня, единственно чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна; ибо я занимаю у вас место отца родного, по горькому сиротству вашему; говорю это от души, от чистого сердца, по-родственному. Уж как бы там ни было, а я вам хоть дальний родной, хоть, по пословице, и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник, и теперь ближайший родственник и покровитель; ибо там, где вы ближе всего имели право искать покровительства и защиты, нашли вы предательство и обиду. А насчет стишков скажу я вам, маточка, что неприлично мне на старости лет в составлении стихов упражняться. Стихи вздор! За стишки и в школах теперь ребятишек секут... вот оно что, родная моя.

Что это вы пишете мне, Варвара Алексеевна, про удобства, про покой и про разные разности? Маточка моя, я не брюзглив и не требователен, никогда лучше теперешнего не жил; так чего же на старости-то лет привередничать? Я сыт, одет, обут; да и куда нам затеи затевать! Не графского рода! Родитель мой был не из дворянского звания и со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу. Я не неженка! Впрочем, если на правду пошло, то на старой квартире моей всё было не в пример лучше; поприволь-нее было, маточка. Конечно, и теперешняя моя квартира хороша, даже в некотором отношении веселее и, если хотите, разнообраз-

нее; я против этого ничего не говорю, да всё старой жаль. Мы, старые, т. е. пожилые люди, к старым вещам, как к родному чему, привыкаем. Квартирка-то была, знаете, маленькая такая; стены были... ну, да что говорить! — стены были, как и все стены, не в них и дело, а вот воспоминания-то обо всем моем прежнем на меня тоску нагоняют... Странное дело — тяжело, а воспоминания как будто приятные. Даже что дурно было, на что подчас и досадовал, и то в воспоминаниях как-то очищается от дурного и предстает воображению моему в привлекательном виде. Тихо жили мы, Варенька; я да хозяйка моя, старушка, покойница. Вот и старушку-то мою с грустным чувством припоминаю теперь! Хорошая была она женщина и недорого брала за квартиру. Она, бывало, всё вязала из лоскутков разных одеяла на аршинных спицах; только этим и занималась. Огонь-то мы с нею вместе держали, так за одним столом и работали. Внучка у ней Маша была — ребенком еще помню ее — лет тринадцати теперь будет девочка. Такая шалунья была, веселенькая, всё нас смешила; вот мы втроем так и жили. Бывало, в длинный зимний вечер присядем к круглому столу, выпьем чайку, а потом и за дело примемся. А старушка, чтоб Маше не скучно было да чтоб не шалила шалунья, сказки, бывало, начнет сказывать. И какие сказки-то были! Не то что дитя, и толковый и умный человек заслушается. Чего! сам я, бывало, закурю себе трубочку, да так заслушаюсь, что и про дело забуду. А дитя-то, шалунья-то наша, призадумается; подопрет ручонкой розовую щечку, ротик свой раскроет хорошенький и, чуть страшная сказка, так жмется, жмется к старушке. А нам-то любо было смотреть на нее; и не увидишь, как свечка нагорит, не слышишь, как на дворе подчас и вьюга злится и метель метет. Хорошо было нам жить, Варенька; и вот так-то мы чуть ли не двадцать лет вместе прожили. Да что я тут заболтался! Вам, может быть, такая материя не нравится, да и мне вспоминать не так-то легко, — особливо теперь: время сумерки. Тереза с чем-то возится, у меня болит голова, да и спина немного болит, да и мысли-то такие чудные, как будто и они тоже болят; грустно мне сегодня, Варенька! Что же это вы пишете, родная моя? Как же я к вам приду? Голубчик мой, что люди-то скажут? Ведь вот через двор перейти нужно будет, наши заметят, расспрашивать станут, — толки пойдут, сплетни пойдут, делу дадут другой смысл. Нет, ангельчик мой, я уж вас лучше завтра у всенощной увижу; это будет благоразумнее и для обоих нас безвреднее. Да не взыщите на мне, маточка, за то, что я вам такое письмо написал; как перечел, так и вижу, что всё такое бессвязное. Я, Варенька, старый, неученый человек; смолоду не выучился, а теперь и в ум ничего не пойдет, коли снова учить-

ся начинать. Сознаюсь, маточка, не мастер описывать, и знаю, без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать позатейливее, так вздору нагорожу. Видел вас у окна сегодня, видел, как вы стору опустили. Прощайте, прощайте, храни вас Господь! Прощайте, Варвара Алексеевна.

Ваш бескорыстный друг
*Макар Девушкин.*

P. S. Я, родная моя, сатиры-то ни об ком не пишу теперь. Стар я стал, матушка, Варвара Алексеевна, чтоб попусту зубы скалить! и надо мной засмеются, по русской пословице: кто, дескать, другому яму роет, так тот... и сам туда же.

Апреля 9.

Милостивый государь,
Макар Алексеевич!

Ну, как вам не стыдно, друг мой и благодетель, Макар Алексеевич, так закручиниться и закапризничать. Неужели вы обиделись! Ах, я часто бываю неосторожна, но не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашими годами и над вашим характером. Случилось же это всё по моей ветрености, а более потому, что ужасно скучно, а от скуки и за что не возьмешься? Я же полагала, что вы сами в своем письме хотели посмеяться. Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы недовольны мною. Нет, добрый друг мой и благодетель, вы ошибетесь, если будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности. Я умею оценить в моем сердце всё, что вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти. Я вечно буду за вас Бога молить, и если моя молитва доходна к Богу и Небо внемлет ей, то вы будете счастливы.

Я сегодня чувствую себя очень нездоровою. Во мне жар и озноб попеременно. Федора за меня очень беспокоится. Вы напрасно стыдитесь ходить к нам, Макар Алексеевич. Какое другим дело! Вы с нами знакомы, и дело с концом!.. Прощайте, Макар Алексеевич. Более писать теперь не о чем, да и не могу: ужасно нездоровится. Прошу вас еще раз не сердиться на меня и быть уверену в том всегдашнем почтении и в той привязанности,

с каковыми честь имею пребыть
наипреданнейшею и покорнейшею услужницей вашей
*Варварой Доброселовой.*

Апреля 12.

Милостивая государыня,
Варвара Алексеевна!

Ах, маточка моя, что это с вами! Ведь вот каждый-то раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтоб вы берегли-сь, чтоб вы кутались, чтоб не выходили в дурную погоду, осторожность во всем наблюдали бы, — а вы, ангельчик мой, меня и не слушаетесь. Ах, голубчик мой, ну, словно вы дитя какое-нибудь! Ведь вы слабенькие, как соломинка слабенькие, это я знаю. Чуть ветерочек какой, так уж вы и хвораете. Так остерегаться нужно, самой о себе стараться, опасностей избегать и друзей своих в горе и в уныние не вводить.

Изъявляете желание, маточка, в подробности узнать о моем житье-бытье и обо всем меня окружающем. С радостию спешу исполнить ваше желание, родная моя. Начну с начала, маточка: больше порядку будет. Во-первых, в доме у нас, на чистом входе, лестницы весьма посредственные; особливо парадная — чистая, светлая, широкая, всё чугун да красное дерево. Зато уж про черную и не спрашивайте: винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, ветошки развешаны, окна повыбиты; лоханки стоят со всякою нечистью, с грязью, с сором, с яичною скорлупою да с рыбьими пузырями; запах дурной... одним словом, нехорошо.

Я уже описывал вам расположение комнат; оно, нечего сказать, удобно, это правда, но как-то в них душно, то есть не то чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, остро-услащенный запах какой-то. На первый раз впечатление невыгодное, но это всё ничего; стоит только минуты две побыть у нас, так и пройдет, и не почувствуешь, как всё пройдет, потому что и сам как-то дурно пропахнешь, и платье пропахнет, и руки пропахнут, и всё пропахнет, — ну, и привыкнешь. У нас чижики так и мрут. Мичман уж пятого покупает, — не живут в нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют и намочат везде, зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната недалеко, то есть почти примыкает к кухне, то запах от белья меня беспокоит немного; но ничего: поживешь и попривыкнешь.

С самого раннего утра, Варенька, у нас возня начинается, встают, ходят, стучат, — это поднимаются все, кому надо, кто в

службе или так, сам по себе; все пить чай начинают. Самовары у нас хозяйские, большею частию, мало их, ну так мы все очередь держим; а кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому голову вымоют. Вот я было попал в первый раз, да... впрочем, что же писать! Тут-то я со всеми и познакомился. С мичманом с первым познакомился; откровенный такой, всё мне рассказал: про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за тульским заседателем, и про город Кронштадт. Обещал мне во всем покровительствовать и тут же меня к себе на чай пригласил. Отыскал я его в той самой комнате, где у нас обыкновенно в карты играют. Там мне дали чаю и непременно хотели, чтоб я в азартную игру с ними играл. Смеялись ли они, нет ли надо мною, не знаю; только сами они всю ночь напролет проиграли, и когда я вошел, так тоже играли. Мел, карты, дым такой ходил по всей комнате, что глаза ело. Играть я не стал, и мне сейчас заметили, что я про философию говорю. Потом уж никто со мною и не говорил всё время; да я, по правде, рад был тому. Не пойду к ним теперь; азарт у них, чистый азарт! Вот у чиновника по литературной части бывают также собрания по вечерам. Ну, у того хорошо, скромно, невинно и деликатно; всё на тонкой ноге.

Ну, Варенька, замечу вам еще мимоходом, что прегадкая женщина наша хозяйка, к тому же сущая ведьма. Вы видели Терезу. Ну, что она такое на самом-то деле? Худая, как общипанный, чахлый цыпленок. В доме и людей-то всего двое: Тереза да Фальдони, хозяйский слуга. Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут. Он рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый, грубиян: всё с Терезой бранится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жить мне здесь не так чтобы совсем было хорошо... Чтоб этак всем разом ночью заснуть и успокоиться — этого никогда не бывает. Уж вечно где-нибудь сидят да играют, а иногда и такое делается, что зазорно рассказывать. Теперь уж я все-таки пообвык, а вот удивляюсь, как в таком содоме семейные люди уживаются. Целая семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату нанимает, только не рядом с другими нумерами, а по другую сторону, в углу, отдельно. Люди смирные! Об них никто ничего и не слышит. Живут они в одной комнатке, огородясь в ней перегородкою. Он какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому исключенный за что-то. Фамилья его Горшков; такой седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть; куда хуже моего! Жалкий, хилый такой (встречаемся мы с ним иногда в коридоре); коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, Бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой; уж я за-

стенчив подчас, а этот еще хуже. Семейства у него — жена и трое детей. Старший, мальчик, весь в отца, тоже такой чахлый. Жена была когда-то собою весьма недурна, и теперь заметно; ходит, бедная, в таком жалком отребье. Они, я слышал, задолжали хозяйке; она с ними что-то не слишком ласкова. Слышал тоже, что у самого-то Горшкова неприятности есть какие-то, по которым он и места лишился... процесс не процесс, под судом не под судом, под следствием каким-то, что ли — уж истинно не могу вам сказать. Бедны-то они, бедны — Господи, Бог мой! Всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не живет никто. Даже детей не слышно. И не бывает этого, чтобы когда-нибудь порезвились, поиграли дети, а уж это худой знак. Как-то мне раз, вечером, случилось мимо их дверей пройти; на ту пору в доме стало что-то не по-обычному тихо; слышу всхлипывание, потом шепот, потом опять всхлипывание, точно как будто плачут, да так тихо, так жалко, что у меня всё сердце надорвалось, и потом всю ночь мысль об этих бедняках меня не покидала, так что и заснуть не удалось хорошенько.

Ну, прощайте, дружочек бесценный мой, Варенька! Описал я вам всё, как умел. Сегодня я весь день всё только об вас и думаю. У меня за вас, родная моя, всё сердце изныло. Ведь вот, душечка моя, я вот знаю, что у вас теплого салопа нет. Уж эти мне петербургские весны, ветры да дождички со снежочком, — уж это смерть моя, Варенька! Такое благорастворение воздухов, что убереги меня, Господи! Не взыщите, душечка, на писании; слогу нет, Варенька, слогу нет никакого. Хоть бы какой-нибудь был! Пишу, что на ум взбредет, так, чтобы вас только поразвеселить чем-нибудь. Ведь вот если б я учился как-нибудь, дело другое; а то ведь как я учился? даже и не на медные деньги.

Ваш всегдашний и верный друг

*Макар Девушкин.*

Апреля 25.

М. г. Макар Алексеевич!

Сегодня я двоюродную сестру мою Сашу встретила! Ужас! и она погибнет, бедная! Услышала я тоже со стороны, что Анна Федоровна всё обо мне выведывает. Она, кажется, никогда не перестанет меня преследовать. Она говорит, что хочет *простить меня*, забыть всё прошедшее и что непременно сама навестит меня. Говорит, что вы мне вовсе не родственник, что она ближе мне родственница, что в семейные отношения наши вы не имеете

никакого права входить и что мне стыдно и неприлично жить вашей милостыней и на вашем содержании... говорит, что я забыла ее хлеб-соль, что она меня с матушкой, может быть, от голодной смерти избавила, что она нас поила-кормила и с лишком два с половиною года на нас убыточилась, что она нам сверх всего этого долг простила. И матушку-то она пощадить не хотела! А если бы знала бедная матушка, что они со мною сделали! Бог видит!.. Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастия удержать не умела, что она сама меня на счастие наводила, что она ни в чем остальном не виновата и что я сама за честь свою не умела, а может быть, и не хотела вступиться. А кто же тут виноват, Боже великий! Она говорит, что господин Быков прав совершенно и что не на всякой же жениться, которая... да что писать! Жестоко слышать такую неправду, Макар Алексеевич! Я не знаю, что со мной теперь делается. Я дрожу, плачу, рыдаю; это письмо я вам два часа писала. Я думала, что она по крайней мере сознает свою вину предо мною; а она вот как теперь! Ради Бога, не тревожьтесь, друг мой, единственный доброжелатель мой! Федора всё преувеличивает: я не больна. Я только простудилась немного вчера, когда ходила на Волково к матушке панихиду служить. Зачем вы не пошли вместе со мною; я вас так просила. Ах, бедная, бедная моя матушка, если б ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мною сделали!..

*В. Д.*

Мая 20.

Голубчик мой, Варенька!

Посылаю вам винограду немного, душечка; для выздоравливающей это, говорят, хорошо, да и доктор рекомендует для утоления жажды, так только единственно для жажды. Вам розанчиков намедни захотелось, маточка; так вот я вам их теперь посылаю. Есть ли у вас аппетит, душечка? — вот что главное. Впрочем, слава Богу, что всё прошло и кончилось и что несчастия наши тоже совершенно оканчиваются. Воздадим благодарение Небу! А что до книжек касается, то достать покамест нигде не могу. Есть тут, говорят, хорошая книжка одна и весьма высоким слогом написанная; говорят, что хороша, я сам не читал, а здесь очень хвалят. Я просил ее для себя; обещались препроводить. Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счет привередница; трудно угодить на ваш вкус, уж я вас знаю, голубчик вы мой; вам, верно, всё стихотворство надобно, воздыха-

ний, амуров, — ну, и стихов достану, всего достану; там есть тетрадка одна переписанная.

Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам насказала на меня, так всё это вздор; вы ей скажите, что она налгала, непременно скажите ей, сплетнице!.. Я нового вицмундира совсем не продавал. Да и зачем, сами рассудите, зачем продавать? Вот, говорят, мне сорок рублей серебром награждения выходит, так зачем же продавать? Вы, маточка, не беспокойтесь; она мнительна, Федора-то, она мнительна. Заживем мы, голубчик мой! Только вы-то, ангельчик, выздоравливайте, ради Бога, выздоравливайте, не огорчите старика. Кто это говорит вам, что я похудел? Клевета, опять клевета! здоровехонек и растолстел так, что самому становится совестно, сыт и доволен по горло; вот только бы вы-то выздоравливали! Ну, прощайте, мой ангельчик; целую все ваши пальчики и пребываю

вашим вечным, неизменным другом
*Макаром Девушкиным.*

P. S. Ах, душенька моя, что это вы опять в самом деле стали писать?.. О чем вы блажите-то! да как же мне ходить к вам так часто, маточка, как? я вас спрашиваю. Разве темнотою ночною пользуясь; да вот теперь и ночей-то почти не бывает: время такое. Я и то, маточка моя, ангельчик, вас почти совсем не покидал во всё время болезни вашей, во время беспамятства-то вашего; но и тут я и сам уж не знаю, как я все эти дела обделывал; да и то потом перестал ходить; ибо любопытствовать и расспрашивать начали. Здесь уж и без того сплетня заплелась какая-то. Я на Терезу надеюсь; она не болтлива; но всё же, сами рассудите вы, маточка, каково это будет, когда они всё узнают про нас? Что-то они подумают и что они скажут тогда? Так вот вы скрепите сердечко, маточка, да переждите до выздоровления; а мы потом уж так вне дома, где-нибудь рандеву дадим.

Июня 1.

Любезнейший Макар Алексеевич!

Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодное и приятное за все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я решилась наконец на скуку порыться в моем комоде и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала ее еще в счастливое время жизни моей. Вы часто с любопытст-

вом расспрашивали о моем прежнем житье-бытье, о матушке, о Покровском, о моем пребывании у Анны Федоровны и, наконец, о недавних несчастиях моих и так нетерпеливо желали прочесть эту тетрадь, где мне вздумалось, Бог знает для чего, отметить кое-какие мгновения из моей жизни, что я не сомневаюсь принести вам большое удовольствие моею посылкою. Мне же как-то грустно было перечитывать это. Мне кажется, что я уже вдвое постарела, с тех пор как написала в этих записках последнюю строчку. Всё это писано в разные сроки. Прощайте, Макар Алексеевич! Мне ужасно скучно теперь, и меня часто мучит бессонница. Прескучное выздоровление!

*В. Д.*

# I

Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П—го, в Т—й губернии. Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо... Я была такая резвая маленькая; только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяйством; меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам — и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвешь свое платье, — дома после бранят, а мне и ничего.

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я еще дитею принуждена была оставить родные места. Мне было еще только двенадцать лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала; говорили, что надобно, что дела этого требовали. Старый князь П—й умер. Наследники отказали батюшке от должности. У батюшки были кой-какие деньги в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. Надеясь поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное здесь присутствие. Всё это я узнала после от матушки. Мы

здесь поселились на Петербургской стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки.

Как тяжело было мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц; всё было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморось, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых! Кое-как мы устроились. Помню, все так суетились у нас, все хлопотали, обзаводились новым хозяйством. Батюшки всё не было дома, у матушки не было покойной минуты — меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру, после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то желтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно.

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было. С Анной Федоровной батюшка был в ссоре. (Он был ей что-то должен.) Ходили к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым; по целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку — смирно, тихо, пошевелиться, бывало, не смею.

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали в пансион. Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! Всё так сухо, неприветливо было; — гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно! Часы на всё положенные, общий стол, скучные учителя — всё это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать не могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами или вокабулами, шевельнуться не смею, а сама всё думаю про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки... ах, как сгрустнется! Об самой пустой вещице в доме, и о той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь-думаешь: вот как бы хорошо теперь было дома! Сидела бы я в маленькой комнатке нашей, у самовара, вместе с нашими; было бы так тепло, хорошо, знакомо. Как бы, думаешь, обняла теперь матушку, крепко-крепко, горячо-горячо! Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько с тоски,

давя в груди слезы, и нейдут на ум вокабулы. Как к завтра урока не выучишь; всю ночь снятся учитель, мадам, девицы; всю ночь во сне уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставят на колени, дадут одно кушанье. Я была такая невеселая, скучная. Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы в рядах шли к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что ни про что гувернантке. Зато какой рай, когда няня придет, бывало, за мной в субботу вечером. Так и обниму, бывало, мою старушку в исступлении радости. Она меня оденет, укутает, дорогою не поспевает за мной, а я ей всё болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду веселая, радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы; со всеми здороваешься, смеешься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой начнутся разговоры серьезные, о науках, о наших учителях, о французском языке, о грамматике Ломонда — и все мы так веселы, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих минутах. Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился Бог знает как. С каждым днем он становился всё мрачнее, недовольнее, сердитее; характер его совсем испортился: дела не удавались, долгов было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сделалась больная такая; всё худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона — всё такие грустные лица; матушка потихоньку плачет, батюшка сердится. Начнутся упреки, укоры. Батюшка начнет говорить, что я ему не доставляю никаких радостей, никаких утешений; что они из-за меня последнего лишаются, а я до сих пор не говорю по-французски; одним словом, все неудачи, все несчастия, всё, всё вымещалось на мне и на матушке. А как можно было мучить бедную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало: щеки ее ввалились, глаза впали, в лице был такой чахоточный цвет. Мне доставалось больше всех. Начиналось всегда из пустяков, а потом уж Бог знает до чего доходило; часто я даже не понимала, о чем идет дело. Чего не причиталось!.. И французский язык, и что я большая дура, и что содержательница нашего пансиона нерадивая, глупая женщина; что она об нашей нравственности не заботится; что батюшка службы себе до сих пор не может найти и что грамматика Ломонда скверная грамматика, а Запольского гораздо лучше; что на меня денег много бросили по-пустому; что я, видно, бесчувственная, каменная, — одним словом, я, бедная, из всех сил билась, твердя разговоры и вокабулы, а во всем была виновата, за всё отвечала! И это совсем не оттого, чтобы батюш-

ка не любил меня: во мне и матушке он души не слышал. Но уж это так, характер был такой.

Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно, что мы все несколько дней были вне себя от удара. Матушка была в каком-то оцепенении; я даже боялась за ее рассудок. Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам как из земли, нахлынули гурьбою. Всё, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на Петербургской стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, был также продан. Не знаю, как уладили остальное, но сами мы остались без крова, без пристанища, без пропитания. Матушка страдала изнурительною болезнию, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она всё говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднёю. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с матушкой.

После долгих вступлений и предуведомлений Анна Федоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила наконец Анне Федоровне, что ее предложение мы принимаем с благодарностию. Как теперь помню утро, в которое мы перебирались с Петербургской стороны на Васильевский остров. Утро было осеннее, ясное, сухое, морозное. Матушка плакала; мне было ужасно грустно; грудь у меня разрывалась, душу томило от какой-то неизъяснимой, страшной тоски... Тяжкое было время. . . . . .

. . . . . .

## II

Сначала, покамест еще мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила в собственном доме, в Шестой линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трех из них жила Анна Федоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, — ребенок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать; но состояние ее было загадочно, так же как и ее занятия. Она всегда суетилась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по нескольку раз в день; но что она делала, о чем заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. К ней всё, бывало, гости ездили, и всё Бог знает какие люди, всегда по каким-то делам и на минутку. Матушка всегда уводила меня в нашу комнату, бывало, только что зазвенит колокольчик. Анна Федоровна ужасно сердилась за это на матушку и беспрерывно твердила, что уж мы слишком горды, что не по силам горды, что было бы еще чем гордиться, и по целым часам не умолкала. Я не понимала тогда этих упреков в гордости; точно так же я только теперь узнала или по крайней мере предугадываю, почему матушка не решалась жить у Анны Федоровны. Злая женщина была Анна Федоровна; она беспрерывно нас мучила. До сих пор для меня тайна, зачем именно она приглашала нас к себе? Сначала она была с нами довольно ласкова, — а потом уж и выказала свой настоящий характер вполне, как увидала, что мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада; было ли бы еще у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила; говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так еще Бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с го-

лоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно было ее слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье ее становилось день от дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Федоровне; она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, нужно было на непредвидимые расходы откладывать, нужно было непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. Но матушка последнее здоровье свое потеряла на работе: она слабела с каждым днем. Болезнь, как червь, видимо подтачивала жизнь ее и близила к гробу. Я всё видела, всё чувствовала, всё выстрадала; всё это было на глазах моих!

Дни проходили за днями, и каждый новый день был похож на предыдущий. Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Федоровна мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать свое владычество. Ей, впрочем, никогда и никто не думал прекословить. В нашей комнате мы были отделены от ее половины коридором, а рядом с нами, как я уже упоминала, жил Покровский. Он учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории, географии — всем наукам, как говорила Анна Федоровна, и за то получал от нее квартиру и стол; Саша была препонятливая девочка, хотя резвая и шалунья; ей было тогда лет тринадцать. Анна Федоровна заметила матушке, что недурно бы было, если бы и я стала учиться, затем что в пансионе меня недоучили. Матушка с радостию согласилась, и я целый год училась у Покровского вместе с Сашей.

Покровский был бедный, очень бедный молодой человек; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так, по привычке только, звали у нас студентом. Жил он скромно, смирно, тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой странный; так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не могла. Саша беспрерывно над ним проказничала, особенно когда он нам уроки давал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно сердился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и часто, не докончив урока, рассерженный уходил в свою комнату. У себя же он по целым дням сидел за книгами. У него было много книг, и всё такие дорогие, редкие книги. Он кое-где еще учил, получал кое-какую плату, так что чуть, бывало, у него заведутся деньги, так он тотчас идет себе книг покупать.

Со временем я узнала его лучше, короче. Он был добрейший, достойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встре-

чать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для меня был лучшим из друзей, — разумеется, после матушки.

Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бывало, по целым часам ломаем головы, как бы раздразнить и вывесть его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно забавно. (Мне даже и вспоминать это стыдно.) Раз мы раздразнили его чем-то чуть не до слез, и я слышала ясно, как он прошептал: «Злые дети». Я вдруг смутилась; мне стало и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснела до ушей и чуть не со слезами на глазах стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями, но он закрыл книгу, не докончил нам урока и ушел в свою комнату. Я целый день надрывалась от раскаяния. Мысль о том, что мы, дети, своими жестокостями довели его до слез, была для меня нестерпима. Мы, стало быть, ждали его слез. Нам, стало быть, их хотелось; стало быть, мы успели его из последнего терпения вывесть; стало быть, мы насильно заставили его, несчастного, бедного, о своем лютом жребии вспомнить! Я всю ночь не спала от досады, от грусти, от раскаянья. Говорят, что раскаянье облегчает душу, — напротив. Не знаю, как примешалось к моему горю и самолюбие. Мне не хотелось, чтобы он считал меня за ребенка. Мне тогда было уже пятнадцать лет.

С этого дня я начала мучить воображение мое, создавая тысячи планов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить свое мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива; в настоящем положении моем я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями (и Бог знает какими мечтаниями!). Я перестала только проказничать вместе с Сашей; он перестал на нас сердиться; но для самолюбия моего этого было мало.

Теперь скажу несколько слов об одном самом странном, самом любопытном и самом жалком человеке из всех, которых когда-либо мне случалось встречать. Потому говорю о нем теперь, именно в этом месте моих записок, что до самой этой эпохи я почти не обращала на него никакого внимания; — так всё, касавшееся Покровского, стало для меня вдруг занимательно!

У нас в доме являлся иногда старичок, запачканный, дурно одетый, маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним словом, странный донельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. Оттого он всё как-то ежился, как-то кривлялся; такие ухватки, ужимки были у него, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что он не в своем уме. Придет, бывало, к нам, да стоит в сенях у стеклянных дверей и в дом

войти не смеет. Кто из нас мимо пройдет — я или Саша, или из слуг, кого он знал подобрее к нему, — то он сейчас машет, манит к себе, делает разные знаки, и разве только когда кивнешь ему головою и позовешь его — условный знак, что в доме нет никого постороннего и что ему можно войти, когда ему угодно, — только тогда старик тихонько отворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от удовольствия и на цыпочках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец.

Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. Когда умерла первая его жена (мать студента Покровского), то он вздумал жениться во второй раз и женился на мещанке. При новой жене в доме всё пошло вверх дном; никому житья от нее не стало; она всех к рукам прибрала. Студент Покровский был тогда еще ребенком, лет десяти. Мачеха его возненавидела. Но маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребенка под свое покровительство и поместил его в какую-то школу. Интересовался же он им потому, что знал его покойную мать, которая еще в девушках была облагодетельствована Анной Федоровной и выдана ею замуж за чиновника Покровского. Господин Быков, друг и короткий знакомый Анны Федоровны, движимый великодушием, дал за невестой пять тысяч рублей приданого. Куда эти деньги пошли — неизвестно. Так мне рассказывала всё это Анна Федоровна; сам же студент Покровский никогда не любил говорить о своих семейных обстоятельствах. Говорят, что его мать была очень хороша собою, и мне странно кажется, почему она так неудачно вышла замуж, за такого незначительного человека... Она умерла еще в молодых летах, года четыре спустя после замужества.

Из школы молодой Покровский поступил в какую-то гимназию и потом в университет. Господин Быков, весьма часто приезжавший в Петербург, и тут не оставил его своим покровительством. За расстроенным здоровьем своим Покровский не мог продолжать занятий своих в университете. Господин Быков познакомил его с Анной Федоровной, сам рекомендовал его, и таким образом молодой Покровский был принят на хлебы, с уговором учить Сашу всему, чему ни потребуется.

Старик же Покровский, с горя от жестокостей жены своей, предался самому дурному пороку и почти всегда бывал в нетрезвом виде. Жена его бивала, сослала жить в кухню и до того довела, что он наконец привык к побоям и дурному обхождению и не жаловался. Он был еще не очень старый человек, но от дур-

ных наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды на покойную мать свою. Не воспоминания ли о прежней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему? Старик и говорить больше ни о чем не мог, как о сыне, и постоянно два раза в неделю навещал его. Чаще же приходить он не смел, потому что молодой Покровский терпеть не мог отцовских посещений. Из всех его недостатков, бесспорно, первым и важнейшим было неуважение к отцу. Впрочем, и старик был подчас пренесноснейшим существом на свете. Во-первых, он был ужасно любопытен, во-вторых, разговорами и расспросами, самыми пустыми и бестолковыми, он поминутно мешал сыну заниматься и, наконец, являлся иногда в нетрезвом виде. Сын понемногу отучал старика от пороков, от любопытства и от поминутного болтания и наконец довел до того, что тот слушал его во всем, как оракула, и рта не смел разинуть без его позволения.

Бедный старик не мог надивиться и нарадоваться на своего Петеньку (так он называл сына). Когда он приходил к нему в гости, то почти всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид, вероятно от неизвестности, как-то его примет сын, обыкновенно долго не решался войти, и если я тут случалась, так он меня минут двадцать, бывало, расспрашивал — что, каков Петенька? здоров ли он? в каком именно расположении духа и не занимается ли чем-нибудь важным? Что он именно делает? Пишет ли, читает ли, или размышлениями какими занимается? Когда я его достаточно ободряла и успокоивала, то старик наконец решался войти и тихо-тихо, осторожно-осторожно отворял двери, просовывал сначала одну голову, и если видел, что сын не сердится и кивнул ему головой, то тихонько проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными полями, — всё вешал на крюк, всё делал тихо, неслышно; потом садился где-нибудь осторожно на стул и с сына глаз не спускал, все движения его ловил, желая угадать расположение духа своего Петеньки. Если сын чуть-чуть был не в духе и старик примечал это, то тотчас приподымался с места и объяснял, «что, дескать, я так, Петенька, я на минутку. Я вот далеко ходил, проходил мимо и отдохнуть зашел». И потом безмолвно, покорно брал свою шинельку, шляпенку, опять потихоньку отворял дверь и уходил, улыбаясь через силу, чтобы удержать в душе накипевшее горе и не выказать его сыну.

Но когда сын примет, бывало, отца хорошо, то старик себя не слышит от радости. Удовольствие проглядывало в его лице, в

его жестах, в его движениях. Если сын с ним заговаривал, то старик всегда приподымался немного со стула и отвечал тихо, подобострастно, почти с благоговением и всегда стараясь употреблять отборнейшие, т. е. самые смешные выражения. Но дар слова ему не давался: всегда смешается и сробеет, так что не знает, куда руки девать, куда себя девать, и после еще долго про себя ответ шепчет, как бы желая поправиться. Если же удавалось отвечать хорошо, то старик охорашивался, оправлял на себе жилетку, галстух, фрак и принимал вид собственного достоинства. А бывало, до того ободрялся, до того простирал свою смелость, что тихонько вставал со стула, подходил к полке с книгами, брал какую-нибудь книжку и даже тут же прочитывал что-нибудь, какая бы ни была книга. Всё это он делал с видом притворного равнодушия и хладнокровия, как будто бы он и всегда мог так хозяйничать с сыновними книгами, как будто ему и не в диковину ласка сына. Но мне раз случилось видеть, как бедняк испугался, когда Покровский попросил его не трогать книг. Он смешался, заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел поправиться, перевернул и поставил обрезом наружу, улыбался, краснел и не знал, чем загладить свое преступление. Покровский своими советами отучал понемногу старика от дурных наклонностей, и как только видел его раза три сряду в трезвом виде, то при первом посещении давал ему на прощанье по четвертачку, по полтинничку или больше. Иногда покупал ему сапоги, галстух или жилетку. Зато старик в своей обнове был горд, как петух. Иногда он заходил к нам. Приносил мне и Саше пряничных петушков, яблоков и всё, бывало, толкует с нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться, говорил, что Петенька добрый сын, примерный сын и вдобавок ученый сын. Тут он так, бывало, смешно нам подмигивал левым глазком, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души. Маменька его очень любила. Но старик ненавидел Анну Федоровну, хотя был пред нею тише воды, ниже травы.

Скоро я перестала учиться у Покровского. Меня он по-прежнему считал ребенком, резвой девочкой, на одном ряду с Сашей. Мне было это очень больно, потому что я всеми силами старалась загладить мое прежнее поведение. Но меня не замечали. Это раздражало меня более и более. Я никогда почти не говорила с Покровским вне классов, да и не могла говорить. Я краснела, мешалась и потом где-нибудь в уголку плакала от досады.

Я не знаю, чем бы это всё кончилось, если б сближению нашему не помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечером, когда матушка сидела у Анны Федоровны, я тихонько во-

шла в комнату Покровского. Я знала, что его не было дома, и, право, не знаю, отчего мне вздумалось войти к нему. До сих пор я никогда и не заглядывала к нему, хотя мы прожили рядом уже с лишком год. В этот раз сердце у меня билось так сильно, так сильно, что, казалось, из груди хотело выпрыгнуть. Я осмотрелась кругом с каким-то особенным любопытством. Комната Покровского была весьма бедно убрана; порядка было мало. На стенах прибито было пять длинных полок с книгами. На столе и на стульях лежали бумаги. Книги да бумаги! Меня посетила странная мысль, и вместе с тем какое-то неприятное чувство досады овладело мною. Мне казалось, что моей дружбы, моего любящего сердца было мало ему. Он был учен, а я была глупа и ничего не знала, ничего не читала, ни одной книги... Тут я завистливо поглядела на длинные полки, которые ломились под книгами. Мною овладела досада, тоска, какое-то бешенство. Мне захотелось, и я тут же решилась прочесть его книги, все до одной, и как можно скорее. Не знаю, может быть, я думала, что, научившись всему, что он знал, буду достойнее его дружбы. Я бросилась к первой полке; не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся запыленный, старый том и, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, решившись прочесть ее ночью, у ночника, когда заснет матушка.

Но как же мне стало досадно, когда я, придя в нашу комнату, торопливо развернула книгу и увидала какое-то старое, полусгнившее, всё изъеденное червями латинское сочинение. Я воротилась, не теряя времени. Только что я хотела поставить книгу на полку, послышался шум в коридоре и чьи-то близкие шаги. Я заспешила, заторопилась, но несносная книга была так плотно поставлена в ряд, что, когда я вынула одну, все остальные раздались сами собою и сплотнились так, что теперь для прежнего их товарища не оставалось более места. Втиснуть книгу у меня недоставало сил. Однако ж я толкнула книги как только могла сильнее. Ржавый гвоздь, на котором крепилась полка и который, кажется, нарочно ждал этой минуты, чтоб сломаться, — сломался. Полка полетела одним концом вниз. Книги с шумом посыпались на пол. Дверь отворилась, и Покровский вошел в комнату.

Нужно заметить, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь хозяйничал в его владениях. Беда тому, кто дотрогивался до книг его! Судите же о моем ужасе, когда книги, маленькие, большие, всевозможных форматов, всевозможной величины и толщины, ринулись с полки, полетели, запрыгали под столом, под стульями, по всей комнате. Я было хотела бежать, но было поздно. «Кончено, думаю, кончено! Я пропала, погибла! Я балую, резв-

люсь, как десятилетний ребенок; я глупая девчонка! Я большая дура!!» Покровский рассердился ужасно. «Ну вот, этого недоставало еще! — закричал он. — Ну, не стыдно ли вам так шалить!.. Уймитесь ли вы когда-нибудь?» И сам бросился подбирать книги. Я было нагнулась помогать ему. «Не нужно, не нужно, — закричал он. — Лучше бы вы сделали, если б не ходили туда, куда вас не просят». Но, впрочем, немного смягченный моим покорным движением, он продолжал уже тише, в недавнем наставническом тоне, пользуясь недавним правом учителя: «Ну, когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь уж вы не ребенок, не маленькая девочка, ведь вам уже пятнадцать лет!» И тут, вероятно, желая поверить, справедливо ли то, что я уж не маленькая, он взглянул на меня и покраснел до ушей. Я не понимала; я стояла перед ним и смотрела на него во все глаза в изумлении. Он привстал, подошел с смущенным видом ко мне, смешался ужасно, что-то заговорил, кажется в чем-то извинялся, может быть в том, что только теперь заметил, что я такая большая девушка. Наконец я поняла. Я не помню, что со мной тогда сталось; я смешалась, потерялась, покраснела еще больше Покровского, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

Я не знала, что мне оставалось делать, куда было деваться от стыда. Одно то, что он застал меня в своей комнате! Целых три дня я на него взглянуть не могла. Я краснела до слез. Мысли самые странные, мысли смешные вертелись в голове моей. Одна из них, самая сумасбродная, была та, что я хотела идти к нему, объясниться с ним, признаться ему во всем, откровенно рассказать ему всё и уверить его, что я поступила не как глупая девочка, но с добрым намерением. Я было и совсем решилась идти, но, слава Богу, смелости недостало. Воображаю, что бы я наделала! Мне и теперь обо всем этом вспоминать совестно.

Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. Она уже два дня не вставала с постели и на третью ночь была в жару и в бреду. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой, сидела у ее кровати, подносила ей питье и давала в определенные часы лекарства. На вторую ночь я измучилась совершенно. По временам меня клонил сон, в глазах зеленело, голова шла кругом, и я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые стоны матери пробуждали меня, я вздрагивала, просыпалась на мгновение, а потом дремота опять одолевала меня. Я мучилась. Я не знаю — я не могу припомнить себе, — но какой-то страшный сон, какое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову в томительную минуту борьбы сна с бдением. Я проснулась в ужасе. В комнате было темно,

ночник погасал, полосы света то вдруг обливали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали совсем. Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на меня; воображение мое взволновано было ужасным сном; тоска сдавила мое сердце... Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного, страшно тягостного чувства. В это время отворилась дверь, и Покровский вошел к нам в комнату.

Я помню только то, что я очнулась на его руках. Он бережно посадил меня в кресла, подал мне стакан воды и засыпал вопросами. Не помню, что я ему отвечала. «Вы больны, вы сами очень больны, — сказал он, взяв меня за руку, — у вас жар, вы себя губите, вы своего здоровья не щадите; успокойтесь, лягте, заснite. Я вас разбужу через два часа, успокойтесь немного... Ложитесь же, ложитесь!» — продолжал он, не давая мне выговорить ни одного слова в возражение. Усталость отняла у меня последние силы; глаза мои закрывались от слабости. Я прилегла в кресла, решившись заснуть только на полчаса, и проспала до утра. Покровский разбудил меня только тогда, когда пришло время давать матушке лекарство.

На другой день, когда я, отдохнув немного днем, приготовилась опять сидеть в креслах у постели матушки, твердо решившись в этот раз не засыпать, Покровский часов в одиннадцать постучался в нашу комнату. Я отворила. «Вам скучно сидеть одной, — сказал он мне, — вот вам книга; возьмите; всё не так скучно будет». Я взяла; я не помню, какая эта была книга; вряд ли я тогда в нее заглянула, хоть всю ночь не спала. Странное внутреннее волнение не давало мне спать; я не могла оставаться на одном месте; несколько раз вставала с кресел и начинала ходить по комнате. Какое-то внутреннее довольство разливалось по всему существу моему. Я так была рада вниманию Покровского. Я гордилась беспокойством и заботами его обо мне. Я продумала и промечтала всю ночь. Покровский не заходил более; и я знала, что он не придет, и загадывала о будущем вечере.

В следующий вечер, когда в доме уж все улеглись, Покровский отворил свою дверь и начал со мной разговаривать, стоя у порога своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова из того, что мы сказали тогда друг другу; помню только, что я робела, мешалась, досадовала на себя и с нетерпением ожидала окончания разговора, хотя сама всеми силами желала его, целый день мечтала о нем и сочиняла мои вопросы и ответы... С этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. Во всё продолжение болезни матушки мы каждую ночь по нескольку часов проводили вместе. Я мало-помалу победила свою застенчивость, хотя, после каждого разговора нашего, всё еще было за что на

себя подосадовать. Впрочем, я с тайною радостию и с гордым удовольствием видела, что он из-за меня забывал свои несносные книги. Случайно, в шутку, разговор зашел раз о падении их с полки. Минута была странная, я как-то *слишком* была откровенна и чистосердечна; горячность, странная восторженность увлекли меня, и я призналась ему во всем... в том, что мне хотелось учиться, что-нибудь знать, что мне досадно было, что меня считают девочкой, ребенком... Повторяю, что я была в престранном расположении духа; сердце мое было мягко, в глазах стояли слезы, — я не утаила ничего и рассказала всё, всё — про мою дружбу к нему, про желание любить его, жить с ним заодно сердцем, утешить его, успокоить его. Он посмотрел на меня как-то странно, с замешательством, с изумлением и не сказал мне ни слова. Мне стало вдруг ужасно больно, грустно. Мне показалось, что он меня не понимает, что он, может быть, надо мною смеется. Я заплакала вдруг, как дитя, зарыдала, сама себя удержать не могла; точно я была в каком-то припадке. Он схватил мои руки, целовал их, прижимал к груди своей, уговаривал, утешал меня; он был сильно тронут; не помню, что он мне говорил, но только я и плакала, и смеялась, и опять плакала, краснела, не могла слова вымолвить от радости. Впрочем, несмотря на волнение мое, я заметила, что в Покровском все-таки оставалось какое-то смущение и принуждение. Кажется, он не мог надивиться моему увлечению, моему восторгу, такой внезапной, горячей, пламенной дружбе. Может быть, ему было только любопытно сначала; впоследствии нерешительность его исчезла, и он, с таким же простым, прямым чувством, как и я, принимал мою привязанность к нему, мои приветливые слова, мое внимание и отвечал на всё это тем же вниманием, так же дружелюбно и приветливо, как искренний друг мой, как родной брат мой. Моему сердцу было так тепло, так хорошо!.. Я не скрывалась, не таилась ни в чем; он всё это видел и с каждым днем всё более и более привязывался ко мне.

И право, не помню, о чем мы не переговорили с ним в эти мучительные и вместе сладкие часы наших свиданий, ночью, при дрожащем свете лампадки и почти у самой постели моей бедной больной матушки?.. Обо всем, что на ум приходило, что с сердца срывалось, что просилось высказаться, — и мы почти были счастливы... Ох, это было и грустное и радостное время — всё вместе; и мне и грустно и радостно теперь вспоминать о нем. Воспоминания, радостные ли, горькие ли, всегда мучительны; по крайней мере так у меня; но и мучение это сладостно. И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно, грустно, тогда воспоминания свежат и живят его, как капли росы в влажный вечер, по-

сле жаркого дня, свежат и живят бедный, чахлый цветок, сгоревший от зноя дневного.

Матушка выздоравливала, но я еще продолжала сидеть по ночам у ее постели. Часто Покровский давал мне книги; я читала, сначала чтоб не заснуть, потом внимательнее, потом с жадностию; передо мной внезапно открылось много нового, доселе неведомого, незнакомого мне. Новые мысли, новые впечатления разом, обильным потоком прихлынули к моему сердцу. И чем более волнения, чем более смущения и труда стоил мне прием новых впечатлений, тем милее они были мне, тем сладостнее потрясали всю душу. Разом, вдруг, втолпились они в мое сердце, не давая ему отдохнуть. Какой-то странный хаос стал возмущать всё существо мое. Но это духовное насилие не могло и не в силах было расстроить меня совершенно. Я была слишком мечтательна, и это спасло меня.

Когда кончилась болезнь матушки, наши вечерние свидания и длинные разговоры прекратились; нам удавалось иногда меняться словами, часто пустыми и малозначащими, но мне любо было давать всему свое значение, свою цену особую, подразумеваемую. Жизнь моя была полна, я была счастлива, покойно, тихо счастлива. Так прошло несколько недель...

Как-то раз зашел к нам старик Покровский. Он долго с нами болтал, был не по-обыкновенному весел, бодр, разговорчив; смеялся, острил по-своему и наконец разрешил загадку своего восторга и объявил нам, что ровно через неделю будет день рождения Петеньки и что по сему случаю он непременно придет к сыну; что он наденет новую жилетку и что жена обещалась купить ему новые сапоги. Одним словом, старик был счастлив вполне и болтал обо всем, что ему на ум попадалось.

День его рождения! Этот день рождения не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Я непременно решилась напомнить о своей дружбе Покровскому и что-нибудь подарить ему. Но что? Наконец я выдумала подарить ему книг. Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина, в последнем издании, и я решила купить Пушкина. У меня своих собственных денег было рублей тридцать, заработанных рукодельем. Эти деньги были отложены у меня на новое платье. Тотчас я послала нашу кухарку, старуху Матрену, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена всех одиннадцати книг, присовокупив сюда издержки на переплет, была по крайней мере рублей шестьдесят. Где взять денег? Я думала-думала и не знала, на что решиться. У матушки просить не хотелось. Конечно, матушка мне непременно бы помогла; но тогда все бы в доме узнали о нашем подарке; да к тому же этот подарок обратился бы в благодарность, в плату

за целый год трудов Покровского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех. А за труды его со мною я хотела быть ему навсегда одолженною без какой бы то ни было уплаты, кроме дружбы моей. Наконец я выдумала, как выйти из затруднения.

Я знала, что у букинистов в Гостином дворе можно купить книгу иногда в полцены дешевле, если только поторговаться, часто малоподержанную и почти совершенно новую. Я положила непременно отправиться в Гостиный двор. Так и случилось; назавтра же встретилась какая-то надобность и у нас и у Анны Федоровны. Матушке понездоровилось, Анна Федоровна очень кстати поленилась, так что пришлось все поручения возложить на меня, и я отправилась вместе с Матреной.

К моему счастию, я нашла весьма скоро Пушкина, и в весьма красивом переплете. Я начала торговаться. Сначала запросили дороже, чем в лавках; но потом, впрочем не без труда, уходя несколько раз, я довела купца до того, что он сбавил цену и ограничил свои требования только десятью рублями серебром. Как мне весело было торговаться!.. Бедная Матрена не понимала, что со мной делается и зачем я вздумала покупать столько книг. Но ужас! Весь мой капитал был в тридцать рублей ассигнациями, а купец никак не соглашался уступить дешевле. Наконец я начала упрашивать, просила-просила его, наконец упросила. Он уступил, но только два с полтиною, и побожился, что и эту уступку он только ради меня делает, что я такая барышня хорошая, а что для другого кого он ни за что бы не уступил. Двух с половиною рублей недоставало! Я готова была заплакать с досады. Но самое неожиданное обстоятельство помогло мне в моем горе.

Недалеко от меня, у другого стола с книгами, я увидала старика Покровского. Вокруг него столпились четверо или пятеро букинистов; они его сбили с последнего толку, затормошили совсем. Всякий из них предлагал ему свой товар, и чего-чего не предлагали они ему, и чего-чего не хотел он купить! Бедный старик стоял посреди их, как будто забитый какой-нибудь, и не знал, за что взяться из того, что ему предлагали. Я подошла к нему и спросила — что он здесь делает? Старик мне очень обрадовался; он любил меня без памяти, может быть, не менее Петеньки. «Да вот книжки покупаю, Варвара Алексеевна, — отвечал он мне, — Петеньке покупаю книжки. Вот его день рождения скоро будет, а он любит книжки, так вот я и покупаю их для него...» Старик и всегда смешно изъяснялся, а теперь вдобавок был в ужаснейшем замешательстве. К чему ни приценится, всё рубль серебром, два рубля, три рубля серебром; уж он к большим книгам и не приценивался, а так только завистливо на них

посматривал, перебирал пальцами листочки, вертел в руках и опять их ставил на место. «Нет, нет, это дорого, — говорил он вполголоса, — а вот разве отсюдова что-нибудь», — и тут он начинал перебирать тоненькие тетрадки, песенники, альманахи; это всё было очень дешево. «Да зачем вы это всё покупаете, — спросила я его, — это всё ужасные пустяки». — «Ах, нет, — отвечал он, — нет, вы посмотрите только, какие здесь есть хорошие книжки; очень, очень хорошие есть книжки!» И последние слова он так жалобно протянул нараспев, что мне показалось, что он заплакать готов от досады, зачем книжки хорошие дороги, и что вот сейчас капнет слезинка с его бледных щек на красный нос. Я спросила, много ли у него денег? «Да вот, — тут бедненький вынул все свои деньги, завернутые в засаленную газетную бумажку, — вот полтинничек, двугривенничек, меди копеек двадцать». Я его тотчас потащила к моему букинисту. «Вот целых одиннадцать книг стоит всего-то тридцать два рубля с полтиною; у меня есть тридцать; приложите два с полтиною, и мы купим все эти книги и подарим вместе». Старик обезумел от радости, высыпал все свои деньги, и букинист навьючил на него всю нашу общую библиотеку. Мой старичок наложил книг во все карманы, набрал в обе руки, под мышки и унес всё к себе, дав мне слово принести все книги на другой день тихонько ко мне.

На другой день старик пришел к сыну, с часочек посидел у него по обыкновению, потом зашел к нам и подсел ко мне с прекомическим таинственным видом. Сначала с улыбкой, потирая руки от гордого удовольствия владеть какой-нибудь тайной, он объявил мне, что книжки все пренезаметно перенесены к нам и стоят в уголку, в кухне, под покровительством Матрены. Потом разговор естественно перешел на ожидаемый праздник; потом старик распространился о том, как мы будем дарить, и чем далее углублялся он в свой предмет, чем более о нем говорил, тем приметнее мне становилось, что у него есть что-то на душе, о чем он не может, не смеет, даже боится выразиться. Я всё ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствие, что я легко читала доселе в его странных ухватках, гримасничанье, подмигиванье левым глазком, исчезли. Он делался поминутно всё беспокойнее и тоскливее; наконец он не выдержал.

— Послушайте, — начал он робко, вполголоса, — послушайте, Варвара Алексеевна... знаете ли что, Варвара Алексеевна?.. — старик был в ужасном замешательстве. — Видите: вы, как придет день его рождения, возьмите десять книжек и подарите их ему сами, т. е. от себя, с своей стороны; я же возьму тогда одну одиннадцатую и уж тоже подарю от себя, т. е. собственно с своей стороны. Так вот, видите ли — и у вас будет что-ни-

будь подарить и у меня будет что-нибудь подарить; у нас обоих будет что-нибудь подарить. — Тут старик смешался и замолчал. Я взглянула на него; он с робким ожиданием ожидал моего приговора. «Да зачем же вы хотите, чтоб мы не вместе дарили, Захар Петрович?» — «Да так, Варвара Алексеевна, уж это так... я ведь оно того...» — одним словом, старик замешался, покраснел, завяз в своей фразе и не мог сдвинуться с места.

— Видите ли, — объяснился он наконец. — Я, Варвара Алексеевна, балуюсь подчас... т. е. я хочу доложить вам, что я почти и всё балуюсь и всегда балуюсь... придерживаюсь того, что нехорошо... т. е., знаете, этак на дворе такие холода бывают, также иногда неприятности бывают разные, или там как-нибудь грустно сделается, или что-нибудь из нехорошего случится, так я и не удержусь подчас, и забалуюсь, и выпью иногда лишнее. Петруше это очень неприятно. Он, вот видите ли, Варвара Алексеевна, сердится, бранит меня и мне морали разные читает. Так вот бы мне и хотелось теперь самому доказать ему подарком моим, что я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо. Что вот я копил, чтобы книжку купить, долго копил, потому что у меня и денег-то почти никогда не бывает, разве, случится, Петруша коекогда даст. Он это знает. Следовательно, вот он увидит употребление денег моих и узнает, что всё это я для него одного делаю.

Мне стало ужасно жаль старика. Я думала недолго. Старик смотрел на меня с беспокойством. «Да слушайте, Захар Петрович, — сказала я, — вы подарите их ему все». — «Как все? т. е. книжки все?» — «Ну да, книжки все». — «И от себя?» — «От себя». — «От одного себя? то есть от своего имени?» — «Ну да, от своего имени...» Я, кажется, очень ясно толковала, но старик очень долго не мог понять меня.

«Ну да, — говорил он, задумавшись, — да! это будет очень хорошо, это было бы весьма хорошо, только вы-то как же, Варвара Алексеевна?» — «Ну, да я ничего не подарю». — «Как! — закричал старик, почти испугавшись, — так вы ничего Петеньке не подарите, так вы ему ничего дарить не хотите?» Старик испугался; в эту минуту он, кажется, готов был отказаться от своего предложения затем, чтобы и я могла чем-нибудь подарить его сына. Добряк был этот старик! Я уверила его, что я бы рада была подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствия. «Если сын ваш будет доволен, — прибавила я, — и вы будете рады, то и я буду рада, потому что втайне-то, в сердце-то моем, буду чувствовать, как будто и на самом деле я подарила». Этим старик совершенно успокоился. Он пробыл у нас еще два часа, но всё это время на месте не мог усидеть, вставал, возился, шумел, шалил с Сашей, целовал меня

украдкой, щипал меня за руку и делал тихонько гримасы Анне Федоровне. Анна Федоровна прогнала его наконец из дома. Одним словом, старик от восторга так расходился, как, может быть, никогда еще не бывало с ним.

В торжественный день он явился ровно в одиннадцать часов, прямо от обедни, во фраке, прилично заштопанном, и действительно в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках было у него по связке книг. Мы все сидели тогда в зале у Анны Федоровны и пили кофе (было воскресенье). Старик начал, кажется, с того, что Пушкин был весьма хороший стихотворец; потом, сбиваясь и мешаясь, перешел вдруг на то, что нужно вести себя хорошо и что если человек не ведет себя хорошо, то значит, что он балуется; что дурные наклонности губят и уничтожают человека; исчислил даже несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совершенно исправился и что теперь ведет себя примерно хорошо. Что он и прежде чувствовал справедливость сыновних наставлений, что он всё это давно чувствовал и всё на сердце слагал, но теперь и на деле стал удерживаться. В доказательство чего дарит книги на скопленные им, в продолжение долгого времени, деньги.

Я не могла удержаться от слез и смеха, слушая бедного старика; ведь умел же налгать, когда нужда пришла! Книги были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас угадал истину. Старика пригласили обедать. Этот день мы все были так веселы. После обеда играли в фанты, в карты; Саша резвилась, я от нее не отставала. Покровский был ко мне внимателен и всё искал случая поговорить со мною наедине, но я не давалась. Это был лучший день в целые четыре года моей жизни.

А теперь всё пойдут грустные, тяжелые воспоминания; начнется повесть о моих черных днях. Вот отчего, может быть, перо мое начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать далее. Вот отчего, может быть, я с таким увлечением и с такою любовью переходила в памяти моей малейшие подробности моего маленького житья-бытья в счастливые дни мои. Эти дни были так недолги; их сменило горе, черное горе, которое Бог один знает когда кончится.

Несчастия мои начались болезнию и смертию Покровского.

Он заболел два месяца спустя после последних происшествий, мною здесь описанных. В эти два месяца он неутомимо хлопотал о способах жизни, ибо до сих пор он еще не имел определенного положения. Как и все чахоточные, он не расставался, до последней минуты своей, с надеждою жить очень долго. Ему выходило куда-то место в учителя; но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь в казенном месте он не мог за

нездоровьем. К тому же долго бы нужно было ждать первого оклада жалованья. Короче, Покровский видел везде только одни неудачи; характер его портился. Здоровье его расстраивалось; он этого не примечал. Подступила осень. Каждый день выходил он в своей легкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь места — что его внутренне мучило; промачивал ноги, мок под дождем и наконец слег в постель, с которой не вставал уже более... Он умер в глубокую осень, в конце октября месяца.

Я почти не оставляла его комнаты во всё продолжение его болезни, ухаживала за ним и прислуживала ему. Часто не спала целые ночи. Он редко был в памяти; часто был в бреду; говорил Бог знает о чем: о своем месте, о своих книгах, обо мне, об отце... и тут-то я услышала многое из его обстоятельств, чего прежде не знала и о чем даже не догадывалась. В первое время болезни его все наши смотрели на меня как-то странно; Анна Федоровна качала головою. Но я посмотрела всем прямо в глаза, и за участие мое к Покровскому меня не стали осуждать более — по крайней мере матушка.

Иногда Покровский узнавал меня, но это было редко. Он был почти всё время в беспамятстве. Иногда по целым ночам он говорил с кем-то долго-долго, неясными темными словами, и хриплый голос его глухо отдавался в тесной его комнате, словно в гробу; мне тогда становилось страшно. Особенно в последнюю ночь он был как исступленный; он ужасно страдал, тосковал; стоны его терзали мою душу. Все в доме были в каком-то испуге. Анна Федоровна всё молилась, чтоб Бог его прибрал поскорее. Призвали доктора. Доктор сказал, что больной умрет к утру непременно.

Старик Покровский целую ночь провел в коридоре, у самой двери в комнату сына; тут ему постлали какую-то рогожку. Он поминутно входил в комнату; на него страшно было смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал и всё что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам с собою. Мне казалось, что он с ума сойдет с горя.

Перед рассветом старик, усталый от душевной боли, заснул на своей рогожке как убитый. В восьмом часу сын стал умирать; я разбудила отца. Покровский был в полной памяти и простился со всеми нами. Чудно! Я не могла плакать; но душа моя разрывалась на части.

Но всего более истерзали и измучили меня его последние мгновения. Он чего-то всё просил долго, долго, коснеющим языком своим, а я ничего не могла разобрать из слов его. Сердце

мое надрывалось от боли! Целый час он был беспокоен, об чем-то всё тосковал, силился сделать какой-то знак охолоделыми руками своими и потом опять начинал просить жалобно, хриплым, глухим голосом; но слова его были одни бессвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всех наших, давала ему пить; но он всё грустно качал головою. Наконец я поняла, чего он хотел. Он просил поднять занавес у окна и открыть ставни. Ему, верно, хотелось взглянуть в последний раз на день, на свет Божий, на солнце. Я отдернула занавес; но начинающийся день был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь умирающего. Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленою; оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкий дождь дробил в стекла и омывал их струями холодной, грязной воды; было тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва оспаривали дрожащий свет лампадки, затепленной перед образом. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно и покачал головою. Через минуту он умер.

Похоронами распорядилась сама Анна Федоровна. Купили гроб простой-простой и наняли ломового извозчика. В обеспечение издержек Анна Федоровна захватила все книги и все вещи покойного. Старик с ней спорил, шумел, отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, носился с ними все три дни и даже не расстался с ними и тогда, когда нужно было идти в церковь. Все эти дни он был как беспамятный, как одурелый и с какою-то странною заботливостию всё хлопотал около гроба: то оправлял венчик на покойнике, то зажигал и снимал свечи. Видно было, что мысли его ни на чем не могли остановиться порядком. Ни матушка, ни Анна Федоровна не были в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Федоровна совсем было уж собралась, да поссорилась со стариком Покровским и осталась. Была только одна я да старик. Во время службы на меня напал какой-то страх — словно предчувствие будущего. Я едва могла выстоять в церкви. Наконец гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал; плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла от дождя; поднимался ветер; изморозь секла и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал непогоды и с плачем перебегал с одной стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья. Из всех карманов торчали книги; в руках его была какая-то огромная книга, за которую он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные оста-

навливались и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю; он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом. На углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха. Телега поворотила наконец за угол и скрылась от глаз моих. Я пошла домой. Я бросилась в страшной тоске на грудь матушки. Я сжимала ее крепко-крепко в руках своих, целовала ее и навзрыд плакала, боязливо прижимаясь к ней, как бы стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и не отдавать его смерти... Но смерть уже стояла над бедной матушкой! . . . . . .

. . . . . .

Июня 11.

Как я благодарна вам за вчерашнюю прогулку на острова, Макар Алексеевич! Как там свежо, хорошо, какая там зелень! Я так давно не видала зелени; когда я была больна, мне всё казалось, что я умереть должна и что умру непременно; судите же, что́ я должна была вчера ощущать, как чувствовать! Вы не сердитесь на меня за то, что я была вчера такая грустная; мне было очень хорошо, очень легко, но в самые лучшие минуты мои мне всегда отчего-то грустно. А что я плакала, так это пустяки; я и сама не знаю, отчего я всё плачу. Я больно, раздражительно чувствую; впечатления мои болезненны. Безоблачное, бледное небо, закат солнца, вечернее затишье, — всё это, — я уж не знаю, — но я как-то настроена была вчера принимать все впечатления тяжело и мучительно, так что сердце переполнялось и душа просила слез. Но зачем я вам всё это пишу? Всё это трудно сердцу сказывается, а пересказывать еще труднее. Но вы меня, может быть, и поймете. — И грусть и смех! Какой вы, право, добрый, Макар Алексеевич! Вчера вы так и смотрели мне в глаза, чтоб прочитать в них то, что я чувствую, и восхищались восторгом моим. Кусточек ли, аллея, полоса воды — уж вы тут; так и стоите передо мной, охорашиваясь, и всё в глаза мне заглядываете, точно вы мне свои владения показывали. Это доказывает, что у вас доброе сердце, Макар Алексеевич. За это-то я вас и люблю. Ну, прощайте. Я сегодня опять больна; вчера я ноги промочила и оттого простудилась; Федора тоже чем-то больна, так что мы обе теперь хворые. Не забывайте меня, заходите почаще.

Ваша

*В. Д.*

Июня 12.

Голубчик мой, Варвара Алексеевна!

А я-то думал, маточка, что вы мне всё вчерашнее настоящими стихами опишете, а у вас и всего-то вышел один простой листик. Я к тому говорю, что вы хотя и мало мне в листке вашем написали, но зато необыкновенно хорошо и сладко описали. И природа, и разные картины сельские, и всё остальное про чувства — одним словом, всё это вы очень хорошо описали. А вот у меня так нет таланту. Хоть десять страниц намарай, никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж пробовал. Пишете вы мне, родная моя, что я человек добрый, незлобивый, ко вреду ближнего неспособный и благость Господню, в природе являемую, разумеющий, и разные, наконец, похвалы воздаете мне. Всё это правда, маточка, всё это совершенная правда; я и действительно таков, как вы говорите, и сам это знаю; но как прочтешь такое, как вы пишете, так поневоле умилится сердце, а потом разные тягостные рассуждения придут. А вот прислушайте меня, маточка, я кое-что расскажу вам, родная моя.

Начну с того, что было мне всего семнадцать годочков, когда я на службу явился, и вот уже скоро тридцать лет стукнет моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать, износил я вицмундиров довольно; возмужал, поумнел, людей посмотрел; пожил, могу сказать, что пожил на свете, так, что меня хотели даже раз к получению креста представить. Вы, может быть, не верите, а я вам, право, не лгу. Так что же, маточка, — нашлись на всё это злые люди! А скажу я вам, родная моя, что я хоть и темный человек, глупый человек, пожалуй, но сердце-то у меня такое же, как и у другого кого. Так знаете ли, Варенька, что сделал мне злой человек? А срамно сказать, что он сделал; спро́сите — отчего сделал? А оттого, что я смирненький, а оттого, что я тихонький, а оттого, что добренький! Не пришелся им по нраву, так вот и пошло на меня. Сначала началось тем, что, «дескать, вы, Макар Алексеевич, того да сего»; а потом стало — «что, дескать, у Макара Алексеевича и не спрашивайте». А теперь заключили тем, что, «уж конечно, это Макар Алексеевич!» Вот, маточка, видите ли, как дело пошло: всё на Макара Алексеевича; они только и умели сделать, что в пословицу ввели Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Да мало того, что из меня пословицу и чуть ли не бранное слово сделали, — до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: всё не по них, всё переделать нужно! И ведь это всё с незапамятных времен каждый Божий день повторяется. Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смирный человек, потому что я

маленький человек; но, однако же, за что это всё? Что я кому дурного сделал? Чин перехватил у кого-нибудь, что ли? Перед высшими кого-нибудь очернил? Награждение перепросил! Кабалу стряпал, что ли, какую-нибудь? Да грех вам и подумать-то такое, маточка! Ну куда мне всё это? Да вы только рассмотрите, родная моя, имею ли я способности, достаточные для коварства и честолюбия? Так за что же напасти такие на меня, прости Господи? Ведь вы же находите меня человеком достойным, а вы не в пример лучше их всех, маточка. Ведь какая самая наибольшая гражданская добродетель? Отнеслись намедни в частном разговоре Евстафий Иванович, что наиважнейшая добродетель гражданская — деньгу уметь зашибить. Говорили они шуточкой (я знаю, что шуточкой), нравоучение же то, что не нужно быть никому в тягость собою; а я никому не в тягость! У меня кусок хлеба есть свой; правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый; но он есть, трудами добытый, законно и безукоризненно употребляемый. Ну что ж делать! Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю; да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю. Ну что ж тут в самом деле такого, что переписываю! Что, грех переписывать, что ли? «Он, дескать, переписывает!» «Эта, дескать, крыса чиновник переписывает!» Да что же тут бесчестного такого? Письмо такое четкое, хорошее, приятно смотреть, и его превосходительство довольны; я для них самые важные бумаги переписываю. Ну, слогу нет, ведь я это сам знаю, что нет его, проклятого; вот потому-то я и службой не взял, и даже вот к вам теперь, родная моя, пишу спроста, без затей и так, как мне мысль на сердце ложится... Я это всё знаю; да, однако же, если бы все сочинять стали, так кто же бы стал переписывать? Я вот какой вопрос делаю и вас прошу отвечать на него, маточка. Ну, так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим и что нечего вздором человека с толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли! Да крыса-то эта нужна, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держатся, да крысе-то этой награждение выходит, — вот она крыса какая! Впрочем, довольно об этой материи, родная моя; я ведь и не о том хотел говорить, да так, погорячился немного. Все-таки приятно от времени до времени себе справедливость воздать. Прощайте, родная моя, голубчик мой, утешительница вы моя добренькая! Зайду, непременно к вам зайду, проведаю вас, моя ясочка. А вы не скучайте покамест. Книжку вам принесу. Ну, прощайте же, Варенька.

Ваш сердечный доброжелатель

*Макар Девушкин.*

Июня 20.

М. Г. Макар Алексеевич!

Пишу я к вам наскоро, спешу, работу к сроку кончаю. Видите ли, в чем дело: можно покупку сделать хорошую. Федора говорит, что продается у ее знакомого какого-то вицмундир форменный, совершенно новехонький, нижнее платье, жилетка и фуражка, и, говорят, всё весьма дешево; так вот вы бы купили. Ведь вы теперь не нуждаетесь, да и деньги у вас есть; вы сами говорите, что есть. Полноте, пожалуйста, не скупитесь; ведь это всё нужное. Посмотрите-ка на себя, в каком вы старом платье ходите. Срам! всё в заплатках. Нового-то у вас нет; это я знаю, хоть вы и уверяете, что есть. Уж Бог знает, куда вы его с рук сбыли. Так послушайтесь же меня, купите, пожалуйста. Для меня это сделайте; коли меня любите, так купите.

Вы мне прислали белья в подарок; но послушайте, Макар Алексеевич, ведь вы разоряетесь. Шутка ли, сколько вы на меня истратили, — ужас сколько денег! Ах, как же вы любите мотать! Мне не нужно; всё это было совершенно лишнее. Я знаю, я уверена, что вы меня любите; право, лишнее напоминать мне это подарками; а мне тяжело их принимать от вас; я знаю, чего они вам стоят. Единожды навсегда — полноте; слышите ли? Прошу вас, умоляю вас. Просите вы меня, Макар Алексеевич, прислать продолжение записок моих; желаете, чтоб я их докончила. Я не знаю, как написалось у меня и то, что у меня написано! Но у меня сил недостанет говорить теперь о моем прошедшем; я и думать об нем не желаю; мне страшно становится от этих воспоминаний. Говорить же о бедной моей матушке, оставившей свое бедное дитя в добычу этим чудовищам, мне тяжелее всего. У меня сердце кровью обливается при одном воспоминании. Всё это еще так свежо; я не успела одуматься, не только успокоиться, хотя всему этому уже с лишком год. Но вы знаете всё.

Я вам говорила о теперешних мыслях Анны Федоровны; она меня же винит в неблагодарности и отвергает всякое обвинение о сообществе ее с господином Быковым! Она зовет меня к себе; говорит, что я христарадничаю, что я по худой дороге пошла. Говорит, что если я ворочусь к ней, то она берется уладить всё дело с господином Быковым и заставит его загладить всю вину его передо мною. Она говорит, что г. Быков хочет мне дать приданое. Бог с ними! Мне хорошо и здесь с вами, у доброй моей Федоры, которая своею привязанностию ко мне напоминает мне мою покойницу няню. Вы хоть дальний родственник мой, но защищаете меня своим именем. А их я не знаю; я позабуду их,

если смогу. Чего еще они хотят от меня? Федора говорит, что это всё сплетни, что они оставят наконец меня. Дай-то Бог!

*В. Д.*

Июня 21.

Голубушка моя, маточка!

Хочу писать, а не знаю, с чего и начать. Ведь вот как же это странно, маточка, что мы теперь так с вами живем. Я к тому говорю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семейством меня благословил Господь! Деточка вы моя, хорошенькая! да что это вы там толкуете про четыре рубашечки-то, которые я вам послал. Ведь надобно же вам их было, — я от Федоры узнал. Да мне, маточка, это особое счастие вас удовлетворять; уж это мое удовольствие, уж вы меня оставьте, маточка; не троньте меня и не прекословьте мне. Никогда со мною не бывало такого, маточка. Я вот в свет пустился теперь. Во-первых, живу вдвойне, потому что и вы тоже живете весьма близко от меня и на утеху мне; а во-вторых, пригласил меня сегодня на чай один жилец, сосед мой, Ратазяев, тот самый чиновник, у которого сочинительские вечера бывают. Сегодня собрание; будем литературу читать. Вот мы теперь как, маточка, — вот! Ну, прощайте. Я ведь это всё так написал, безо всякой видимой цели и единственно для того, чтоб уведомить вас о моем благополучии. Приказали вы, душенька, через Терезу сказать, что вам шелчку цветного для вышиванья нужно; куплю, маточка, куплю, и шелчку куплю. Завтра же буду иметь наслаждение удовлетворить вас вполне. Я и купить-то где знаю. А сам теперь пребываю

другом вашим искренним
*Макаром Девушкиным.*

Июня 22.

М. г. Варвара Алексеевна!

Уведомляю вас, родная моя, что у нас в квартире случилось прежалостное происшествие, истинно-истинно жалости достойное! Сегодня, в пятом часу утра, умер у Горшкова маленький. Я не знаю только от чего, скарлатина, что ли, была какая-то, Господь его знает! Навестил я этих Горшковых. Ну, маточка, вот бедно-то у них! И какой беспорядок! Да и не диво: всё се-

мейство живет в одной комнате, только что ширмочками для благопристойности разгороженной. У них уж и гробик стоит — простенький, но довольно хорошенький гробик; готовый купили, мальчик-то был лет девяти; надежды, говорят, подавал. А жалость смотреть на них, Варенька! Мать не плачет, но такая грустная, бедная. Им, может быть, и легче, что вот уж один с плеч долой; — а у них еще двое осталось, грудной да девочка маленькая, так лет шести будет с небольшим. Что за приятность, в самом деле, видеть, что вот де страдает ребенок, да еще детище родное, а ему и помочь даже нечем! Отец сидит в старом, засаленном фраке, на изломанном стуле. Слезы текут у него, да, может быть, и не от горести, а так, по привычке, глаза гноятся. Такой он чудной! Всё краснеет, когда с ним заговоришь, смешается и не знает, что отвечать. Маленькая девочка, дочка, стоит прислонившись к гробу, да такая, бедняжка, скучная, задумчивая! А не люблю я, маточка Варенька, когда ребенок задумывается; смотреть неприятно! Кукла какая-то из тряпок на полу возле нее лежит, — не играет; на губах пальчик держит; стоит себе — не пошевелится. Ей хозяйка конфетку дала; взяла, а не ела. Грустно, Варенька — а?

*Макар Девушкин.*

Июня 25.

Любезнейший Макар Алексеевич! Посылаю вам вашу книжку обратно. Это пренегодная книжонка! — и в руки брать нельзя. Откуда выкопали вы такую драгоценность? Кроме шуток, неужели вам нравятся такие книжки, Макар Алексеевич? Вот мне так обещались на днях достать чего-нибудь почитать. Я и с вами поделюсь, если хотите. А теперь до свидания. Право, некогда писать более.

*В. Д.*

Июня 26.

Милая Варенька! Дело-то в том, что я действительно не читал этой книжонки, маточка. Правда, прочел несколько, вижу, что блажь, так, ради смехотворства одного написано, чтобы людей смешить; ну, думаю, оно, должно быть, и в самом деле весело; авось и Вареньке понравится; взял да и послал ее вам.

А вот обещался мне Ратазяев дать почитать чего-нибудь настоящего литературного, ну, вот вы и будете с книжками, маточ-

ка. Ратазяев-то смекает, — дока; сам пишет, ух как пишет! Перо такое бойкое и слогу пропасть, т. е. этак в каждом слове, — чего-чего, — в самом пустом, вот-вот в самом обыкновенном, подлом слове, что хоть бы и я иногда Фальдони или Терезе сказал, вот и тут у него слог есть. Я и на вечерах у него бываю. Мы табак курим, а он нам читает, часов по пяти читает, а мы всё слушаем. Объядение, а не литература! Прелесть такая, цветы, просто цветы; со всякой страницы букет вяжи! Он обходительный такой, добрый, ласковый. Ну, что я перед ним, ну что? — Ничего. Он человек с репутацией, а я что? — Просто — не существую; а и ко мне благоволит. Я ему кое-что переписываю. Вы только не думайте, Варенька, что тут проделка какая-нибудь, что он вот именно оттого и благоволит ко мне, что я переписываю. Вы сплетням-то не верьте, маточка, вы сплетням-то подлым не верьте! Нет, это я сам от себя, по своей воле, для его удовольствия делаю, а что он ко мне благоволит, так это уж он для моего удовольствия делает. Я деликатность-то поступка понимаю, маточка. Он добрый, очень добрый человек и бесподобный писатель.

А хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая; это я от них третьего дня узнал. Глубокая вещь! Сердце людей укрепляющая, поучающая, и — разное там еще обо всем об этом в книжке у них написано. Очень хорошо написано! Литература — это картина, т. е. в некотором роде картина и зеркало; страсти выраженье, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ. Это я всё у них наметался. Откровенно скажу вам, маточка, что ведь сидишь между ними, слушаешь (тоже, как и они, трубку куришь, пожалуй), — а как начнут они состязаться да спорить об разных материях, так уж тут я просто пасую, тут, маточка, нам с вами чисто пасовать придется. Тут я просто болван болваном оказываюсь, самого себя стыдно, так что целый вечер приискиваешь, как бы в общую-то материю хоть полсловечка ввернуть, да вот этого-то полсловечка как нарочно и нет! И пожалеешь, Варенька, о себе, что сам-то не того да не так; что, по пословице — вырос, а ума не вынес. Ведь что я теперь в свободное время делаю? Сплю, дурак дураком. А то бы вместо спанья-то ненужного можно было бы и приятным заняться; этак сесть бы да и пописать. И себе полезно и другим хорошо. Да что, маточка, вы посмотрите-ка только, сколько берут они, прости им Господь! Вот хоть бы и Ратазяев, — как берет! Что ему лист написать? Да он в иной день и по пяти писывал, а по триста рублей, говорит, за лист берет. Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного что-нибудь — пятьсот, дай не дай, хоть тресни, да дай! а нет — так мы и по тысяче другой раз в карман кладем!

Каково, Варвара Алексеевна? Да что! Там у него стишков тетрадочка есть, и стишок всё такой небольшой, — семь тысяч, маточка, семь тысяч просит, подумайте. Да ведь это имение недвижимое, дом капитальный! Говорит, что пять тысяч дают ему, да он не берет. Я его урезониваю, говорю — возьмите, дескать, батюшка, пять-то тысяч от них, да и плюньте им, — ведь деньги пять тысяч! Нет, говорит, семь дадут, мошенники. — Увертливый, право, такой!

А что, маточка, уж если на то пошло, так я вам, так и быть, выпишу из «Итальянских страстей» местечко. Это у него сочинение так называется. Вот прочтите-ка, Варенька, да посудите сами.

«...Владимир вздрогнул, и страсти бешено заклокотали в нем, и кровь вскипела...

— Графиня, — вскричал он, — графиня! Знаете ли вы, как ужасна эта страсть, как беспредельно это безумие? Нет, мои мечты меня не обманывали! Я люблю, люблю восторженно, бешено, безумно! Вся кровь твоего мужа не зальет бешеного, клокочущего восторга души моей! Ничтожные препятствия не остановят всеразрывающего, адского огня, бороздящего мою истомленную грудь. О Зинаида, Зинаида!..

— Владимир!.. — прошептала графиня вне себя, склоняясь к нему на плечо...

— Зинаида! — закричал восторженный Смельский.

Из груди его испарился вздох. Пожар вспыхнул ярким пламенем на алтаре любви и взбороздил грудь несчастных страдальцев.

— Владимир!.. — шептала в упоении графиня. Грудь ее вздымалась, щеки ее багровели, очи горели...

Новый, ужасный брак был совершен! . . . . . .

. . . . . .

Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей.

— А что, душечка, не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить? — сказал он, потрепав жену по щеке».

Ну вот, я вас спрошу, маточка, после этого — ну, как вы находите? Правда, немножко вольно, в этом спору нет, но зато хорошо. Уж что хорошо, так хорошо! А вот, позвольте, я вам еще отрывочек выпишу из повести «Ермак и Зюлейка».

Представьте себе, маточка, что казак Ермак, дикий и грозный завоеватель Сибири, влюблен в Зюлейку, дочь сибирского царя Кучума, им в полон взятую. Событие прямо из времен Ивана Грозного, как вы видите. Вот разговор Ермака и Зюлейки:

«— Ты любишь меня, Зюлейка! О, повтори, повтори!..

— Я люблю тебя, Ермак, — прошептала Зюлейка.

— Небо и земля, благодарю вас! я счастлив!.. Вы дали мне всё, всё, к чему с отроческих лет стремился взволнованный дух мой. Так вот куда вела ты меня, моя звезда путеводная; так вот для чего ты привела меня сюда, за Каменный Пояс! Я покажу всему свету мою Зюлейку, и люди, бешеные чудовища, не посмеют обвинить меня! О, если им понятны эти тайные страдания ее нежной души, если они способны видеть целую поэму в одной слезинке моей Зюлейки! О, дай мне стереть поцелуями эту слезинку, дай мне выпить ее, эту небесную слезинку... неземная!

— Ермак, — сказала Зюлейка, — свет зол, люди несправедливы! Они будут гнать, они осудят нас, мой милый Ермак! Что будет делать бедная дева, взросшая среди родных снегов Сибири, в юрте отца своего, в вашем холодном, ледяном, бездушном, самолюбивом свете? Люди не поймут меня, желанный мой, мой возлюбленный!

— Тогда казацкая сабля взовьется над ними и свистнет! — вскричал Ермак, дико блуждая глазами».

Каков же теперь Ермак, Варенька, когда он узнает, что его Зюлейка зарезана. Слепой старец Кучум, пользуясь темнотою ночи, прокрался, в отсутствие Ермака, в его шатер и зарезал дочь свою, желая нанесть смертельный удар Ермаку, лишившему его скипетра и короны.

«— Любо мне шаркать железом о камень! — закричал Ермак в диком остервенении, точа булатный нож свой о шаманский камень. — Мне нужно их крови, крови! Их нужно пилить, пилить, пилить!!!»

И после всего этого Ермак, будучи не в силах пережить свою Зюлейку, бросается в Иртыш, и тем всё кончается.

Ну, а это, например, так, маленький отрывочек, в шуточно-описательном роде, собственно для смехотворства написанный:

«Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот самый, что укусил за ногу Прокофия Ивановича. Иван Прокофьевич человек крутого характера, но зато редких добродетелей; напротив того, Прокофий Иванович чрезвычайно любит редьку с медом. Вот когда еще была с ним знакома Пелагея Антоновна... А вы знаете Пелагею Антоновну? Ну, вот та самая, которая всегда юбку надевает наизнанку».

Да ведь это умора, Варенька, просто умора! Мы со смеху катались, когда он читал нам это. Этакой он, прости его Господи! Впрочем, маточка, оно хоть и немного затейливо и уж слишком игриво, но зато невинно, без малейшего вольнодумства и либеральных мыслей. Нужно заметить, маточка, что Ратазяев прекрасного поведения и потому превосходный писатель, не то что другие писатели.

А что, в самом деле, ведь вот иногда придет же мысль в голову... ну что, если б я написал что-нибудь, ну что тогда будет? Ну вот, например, положим, что вдруг, ни с того ни с сего, вышла бы в свет книжка под титулом — «Стихотворения Макара Девушкина»! Ну что бы вы тогда сказали, мой ангельчик? Как бы вам это представилось и подумалось? А я про себя скажу, маточка, что как моя книжка-то вышла бы в свет, так я бы решительно тогда на Невский не смел бы показаться. Ведь каково это было бы, когда бы всякий сказал, что вот-де идет сочинитель литературы и пиита Девушкин, что вот, дескать, это и есть сам Девушкин! Ну что бы я тогда, например, с моими сапогами стал делать? Они у меня, замечу вам мимоходом, маточка, почти всегда в заплатках, да и подметки, по правде сказать, отстают иногда весьма неблагопристойно. Ну что тогда б было, когда бы все узнали, что вот у сочинителя Девушкина сапоги в заплатках! Какая-нибудь там контесса-дюшесса узнала бы, ну что бы она-то, душка, сказала? Она-то, может быть, и не заметила бы; ибо, как я полагаю, контессы не занимаются сапогами, к тому же чиновничьими сапогами (потому что ведь сапоги сапогам рознь), да ей бы рассказали про всё, свои бы приятели меня выдали. Да вот Ратазяев бы первый выдал; он к графине В. ездит; говорит, что каждый раз бывает у ней, и запросто бывает. Говорит, душка такая она, литературная, говорит, дама такая. Петля этот Ратазяев!

Да, впрочем, довольно об этой материи; я ведь это всё так пишу, ангельчик мой, ради баловства, чтобы вас потешить. Прощайте, голубчик мой! Много я вам тут настрочил, но это собственно оттого, что я сегодня в самом веселом душевном расположении. Обедали-то мы все вместе сегодня у Ратазяева, так (шалуны они, маточка!) пустили в ход такой романеи... ну да уж что вам писать об этом! Вы только смотрите не придумайте там чего про меня, Варенька. Я ведь это всё так. Книжек пришлю, непременно пришлю... Ходит здесь по рукам Поль де Кока одно сочинение, только Поль де Кока-то вам, маточка, и не будет... Ни-ни! для вас Поль де Кок не годится. Говорят про него, маточка, что он всех критиков петербургских в благородное негодование приводит. Посылаю вам фунтик конфеток, — нарочно для вас купил. Скушайте, душечка, да при каждой конфетке меня поминайте. Только леденец-то вы не грызите, а так пососите его только, а то зубки разболятся. А вы, может быть, и цукаты любите? — вы напишите. Ну, прощайте же, прощайте. Христос с вами, голубчик мой. А я пребуду навсегда

вашим вернейшим другом
*Макаром Девушкиным.*

Июня 27.

Милостивый государь,
Макар Алексеевич!

Федора говорит, что если я захочу, то некоторые люди с удовольствием примут участие в моем положении и выхлопочут мне очень хорошее место в один дом, в гувернантки. Как вы думаете, друг мой, — идти или нет? Конечно, я вам тогда не буду в тягость, да и место, кажется, выгодное; но, с другой стороны, как-то жутко идти в незнакомый дом. Они какие-то помещики. Станут обо мне узнавать, начнут расспрашивать, любопытствовать — ну что я скажу тогда? К тому же я такая нелюдимка, дикарка; люблю пообжиться в привычном угле надолго. Как-то лучше там, где привыкнешь: хоть и с горем пополам живешь, а все-таки лучше. К тому же на выезд; да еще Бог знает, какая должность будет; может быть, просто детей нянчить заставят. Да и люди-то такие: меняют уж третью гувернантку в два года. Посоветуйте же мне, Макар Алексеевич, ради Бога, идти или нет? Да что вы никогда сами не зайдете ко мне? изредка только глаза покажете. Почти только по воскресеньям у обедни и видимся. Экой же вы нелюдим какой! Вы точно как я! А ведь я вам почти родная. Не любите вы меня, Макар Алексеевич, а мне иногда одной очень грустно бывает. Иной раз, особенно в сумерки, сидишь себе одна-одинешенька. Федора уйдет куда-нибудь. Сидишь, думаешь-думаешь, — вспоминаешь всё старое, и радостное, и грустное, — всё идет перед глазами, всё мелькает, как из тумана. Знакомые лица являются (я почти наяву начинаю видеть), — матушку вижу чаще всего... А какие бывают сны у меня! Я чувствую, что здоровье мое расстроено; я так слаба; вот и сегодня, когда вставала утром с постели, мне дурно сделалось; сверх того, у меня такой дурной кашель! Я чувствую, я знаю, что скоро умру. Кто-то меня похоронит? Кто-то за гробом моим пойдет? Кто-то обо мне пожалеет?.. И вот придется, может быть, умереть в чужом месте, в чужом доме, в чужом угле!.. Боже мой, как грустно жить, Макар Алексеевич! Что вы меня, друг мой, всё конфектами кормите? Я, право, не знаю, откудова вы денег столько берете? Ах, друг мой, берегите деньги, ради Бога, берегите их. Федора продает ковер, который я вышила; дают 50 руб. ассигн. Это очень хорошо: я думала, меньше будет. Я Федоре дам три целковых да себе сошью платьице, так, простенькое, потеплее. Вам жилетку сделаю, сама сделаю и материи хорошей выберу.

Федора мне достала книжку — «Повести Белкина», которую вам посылаю, если захотите читать. Пожалуйста, только не

запачкайте и не задержите: книга чужая; это Пушкина сочинение. Два года тому назад мы читали эти повести вместе с матушкой, и теперь мне так грустно было их перечитывать. Если у вас есть какие-нибудь книги, то пришлите мне, — только в таком случае, когда вы их не от Ратазяева получили. Он, наверно, даст своего сочинения, если он что-нибудь напечатал. Как это вам нравятся его сочинения, Макар Алексеевич? Такие пустяки... Ну, прощайте! как я заболталась! Когда мне грустно, так я рада болтать, хоть об чем-нибудь. Это лекарство: тотчас легче сделается, а особливо если выскажешь всё, что лежит на сердце. Прощайте, прощайте, мой друг!

Ваша
*В. Д.*

Июня 28.

Маточка, Варвара Алексеевна!

Полно кручиниться! Как же это не стыдно вам! Ну полноте, ангельчик мой; как это вам такие мысли приходят? Вы не больны, душечка, вовсе не больны; вы цветете, право, цветете; бледненьки немножко, а все-таки цветете. И что это у вас за сны да за видения такие! Стыдно, голубчик мой, полноте; вы плюньте на сны-то эти, просто плюньте. Отчего же я сплю хорошо? Отчего же мне ничего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себе, сплю покойно, здоровехонек, молодец молодцом, любо смотреть. Полноте, полноте, душечка, стыдно. Исправьтесь. Я ведь головку-то вашу знаю, маточка, чуть что-нибудь найдет, вы уж и пошли мечтать да тосковать о чем-то. Ради меня перестаньте, душенька. В люди идти? — никогда! Нет, нет и нет! Да и что это вам думается такое, что это находит на вас? Да еще и на выезд! Да нет же, маточка, не позволю, вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой фрак старый продам и в одной рубашке стану ходить по улицам, а уж вы у нас нуждаться не будете. Нет, Варенька, нет; уж я знаю вас! Это блажь, чистая блажь! А что верно, так это то, что во всем Федора одна виновата: она, видно, глупая баба, вас на всё надоумила. А вы ей, маточка, не верьте. Да вы еще, верно, не знаете всего-то, душенька?.. Она баба глупая, сварливая, вздорная; она и мужа своего покойника со свету выжила. Или она, верно, вас рассердила там как-нибудь? Нет, нет, маточка, ни за что! И я-то как же буду тогда, что мне-то останется делать? Нет, Варенька, душенька, вы это из головки-то выкиньте. Чего вам недостает у нас? Мы на вас не нарадуемся, вы нас лю-

бите — так и живите себе там смирненько; шейте или читайте, а пожалуй, и не шейте, — всё равно, только с нами живите. А то вы сами посудите, ну на что это будет похоже тогда?.. Вот я вам книжек достану, а потом, пожалуй, и опять куда-нибудь гулять соберемся. Только вы-то полноте, маточка, полноте, наберитесь ума и из пустяков не блажите! Я к вам приду, и в весьма скором времени, только вы за это мое прямое и откровенное признание примите: нехорошо, душенька, очень нехорошо! Я, конечно, неученый человек и сам знаю, что неученый, что на медные деньги учился, да я не к тому и речь клоню, не во мне тут и дело-то, а за Ратазяева заступлюсь, воля ваша. Он мне друг, потому я за него и заступлюсь. Он хорошо пишет, очень, очень и опять-таки очень хорошо пишет. Не соглашаюсь я с вами и никак не могу согласиться. Писано цветисто, отрывисто, с фигурами, разные мысли есть; очень хорошо! Вы, может быть, без чувства читали, Варенька, или не в духе были, когда читали, на Федору за что-нибудь рассердились, или что-нибудь у вас там нехорошее вышло. Нет, вы прочтите-ка это с чувством, получше, когда вы довольны и веселы и в расположении духа приятном находитесь, вот, наприм., когда конфетку во рту держите, — вот когда прочтите. Я не спорю (кто же против этого), есть и лучше Ратазяева писатели, есть даже и очень лучшие, но и они хороши, и Ратазяев хорош; они хорошо пишут, и он хорошо пишет. Он себе особо, он так себе пописывает, и очень хорошо делает, что пописывает. Ну, прощайте, маточка; писать более не могу; нужно спешить, дело есть. Смотрите же, маточка, ясочка ненаглядная, успокойтесь, и Господь да пребудет с вами, а я пребываю

вашим верным другом
*Макаром Девушкиным.*

P. S. Спасибо за книжку, родная моя, прочтем и Пушкина; а сегодня я, повечеру, непременно зайду к вам.

Июля 1.

Дорогой мой Макар Алексеевич!

Нет, друг мой, нет, мне не житье между вами. Я раздумала и нашла, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. Там будет у меня по крайней мере хоть верный кусок хлеба; я буду стараться, я заслужу ласку чужих людей, даже постараюсь переменить свой характер, если будет надобно. Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, скрываться и принуждать себя, да Бог мне поможет. Не

оставаться же век нелюдимкой. Со мною уж бывали такие же случаи. Я помню, когда я, бывало, еще маленькая, в пансион хаживала. Бывало, всё воскресенье дома резвишься, прыгаешь, иной раз и побранит матушка, — всё ничего, всё хорошо на сердце, светло на душе. Станет подходить вечер, и грусть нападет смертельная, нужно в девять часов в пансион идти, а там всё чужое, холодное, строгое, гувернантки по понедельникам такие сердитые, так и щемит, бывало, за душу, плакать хочется; пойдешь в уголок и поплачешь одна-одинешенька, слезы скрываешь, — скажут, ленивая; а я вовсе не о том и плачу, бывало, что учиться надобно. Ну, что ж? я привыкла, и потом, когда выходила из пансиона, так тоже плакала, прощаясь с подружками. Да и нехорошо я делаю, что живу в тягость обоим вам. Эта мысль — мне мученье. Я вам откровенно говорю всё это, потому что привыкла быть с вами откровенною. Разве я не вижу, как Федора встает каждый день раным-ранехонько, да за стирку свою принимается и до поздней ночи работает? — а старые кости любят покой. Разве я не вижу, что вы на меня разоряетесь, последнюю копейку ребром ставите да на меня ее тратите? не с вашим состоянием, мой друг! Пишете вы, что последнее продадите, а меня в нужде не оставите. Верю, друг мой, я верю в ваше доброе сердце — но это вы теперь так говорите. Теперь у вас есть деньги неожиданные, вы получили награждение; но потом что будет, потом? Вы знаете сами — я больная всегда; я не могу так же, как и вы, работать, хотя бы душою рада была, да и работа не всегда бывает. Что же мне остается? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих, сердечных. Чем я могу оказать вам хоть малейшую пользу? И отчего я вам так необходима, друг мой? Что я вам хорошего сделала? Я только привязана к вам всею душою, люблю вас крепко, сильно, всем сердцем, но — горька судьба моя! — я умею любить и могу любить, но только, а не творить добро, не платить вам за ваши благодеяния. Не держите же меня более, подумайте и скажите ваше последнее мнение. В ожидании пребываю

вас любящая
*В. Д.*

Июля 1.

Блажь, блажь, Варенька, просто блажь! Оставь вас так, так вы там головкой своей и чего-чего не передумаете. И то не так и это не так! А я вижу теперь, что это всё блажь. Да чего же вам недостает у нас, маточка, вы только это скажите! Вас любят, вы

нас любите, мы все довольны и счастливы — чего же более? Ну! а что вы в чужих-то людях будете делать? Ведь вы, верно, еще не знаете, что такое чужой человек?.. Нет, вы меня извольте-ка порасспросить, так я вам скажу, что такое чужой человек. Знаю я его, маточка; хорошо знаю; случалось хлеб его есть. Зол он, Варенька, зол, уж так зол, что сердечка твоего недостанет, так он его истерзает укором, попреком да взглядом дурным. У нас вам тепло, хорошо, — словно в гнездышке приютились. Да и нас-то вы как без головы оставите. Ну что мы будем делать без вас; что я, старик, буду делать тогда? Вы нам не нужны? Не полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите, как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы этакое влияние имеете благотворное... Вот я об вас думаю теперь, и мне весело... Я вам иной раз письмо напишу и все чувства в нем изложу, на что подробный ответ от вас получаю. Гардеробцу вам накупил, шляпку сделал; от вас комиссия подчас выходит какая-нибудь, я и комиссию... Нет, как же вы не полезны? Да и что я один буду делать на старости, на что годиться буду? Вы, может быть, об этом и не подумали, Варенька; нет, вы именно об этом подумайте — что вот, дескать, на что он будет без меня-то годиться? Я привык к вам, родная моя. А то что из этого будет? Пойду к Неве, да и дело с концом. Да, право же, будет такое, Варенька; что же мне без вас делать останется! Ах, душечка моя, Варенька! Хочется, видно, вам, чтобы меня ломовой извозчик на Волково свез; чтобы какая-нибудь там нищая старуха-пошлепница одна мой гроб провожала, чтобы меня там песком засыпали, да прочь пошли, да одного там оставили. Грешно, грешно, маточка! Право, грешно, ей-Богу, грешно! Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой, Варенька, и если вы, дружочек мой, спросите мнения моего насчет вашей книжки, то я скажу, что в жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Спрашиваю я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олухом, прости Господи? Что делал? Из каких я лесов? Ведь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю! совсем ничего не знаю! Я вам, Варенька, спроста скажу, — я человек неученый; читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего: «Картину человека», умное сочинение, читал; «Мальчика, наигрывающего разные штучки на колокольчиках» читал да «Ивиковы журавли», — вот только и всего, а больше ничего никогда не читал. Теперь я «Станционного смотрителя» здесь в вашей книжке прочел; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как

начнешь читать в такой книжке, так сам всё помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку: иное творение, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз хоть тресни — так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, — я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, — словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям вывороти изнанкой, да и описал всё подробно — вот как! Да и дело-то простое, Бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано всё! Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный, так, что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным тулупом, да горе пуншиком захлебывает, да плачет жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, об дочке Дуняше! Нет, это натурально! вы прочтите-ка; это натурально! это живет! Я сам это видал, — это вот всё около меня живет; вот хоть Тереза — да чего далеко ходить! — вот хоть бы и наш бедный чиновник, — ведь он, может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия, *Горшков*. Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться. И граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, так только казаться будет другим, потому что у них всё по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое, всё может случиться, и со мною то же самое может случиться. Вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить хотите; да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя. Ах, ясочка вы моя, выкиньте, ради Бога, из головки своей все эти вольные мысли и не терзайте меня напрасно. Ну где же, птенчик вы мой слабенький, неоперившийся, где же вам самое себя прокормить, от погибели себя удержать, от злодеев защититься! Полноте, Варенька, поправьтесь; вздорных советов и наговоров не слушайте, а книжку вашу еще раз прочтите, со вниманием прочтите: вам это пользу принесет.

Говорил я про «Станционного смотрителя» Ратазяеву. Он мне сказал, что это всё старое и что теперь всё пошли книжки с картинками и с разными описаниями; уж я, право, в толк не взял хорошенько, что он тут говорил такое. Заключил же, что Пушкин хорош и что он святую Русь прославил, и много еще мне про

него говорил. Да, очень хорошо, Варенька, очень хорошо; прочтите-ка книжку еще раз со вниманием, советам моим последуйте и послушанием своим меня, старика, осчастливьте. Тогда сам Господь наградит вас, моя родная, непременно наградит.

Ваш искренний друг
*Макар Девушкин.*

Июля 6.

М. Г. Макар Алексеевич.

Федора принесла мне сегодня пятнадцать рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей три целковых дала! Пишу вам наскоро. Я теперь крою вам жилетку, — прелесть какая материя, — желтенькая с цветочками. Посылаю вам одну книжку; тут всё разные повести; я прочла кое-какие; прочтите одну из них под названием «Шинель». Вы меня уговариваете в театр идти вместе с вами; не дорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею. Я уж очень давно не была в театре, да и, право, не помню когда. Только опять всё боюсь, не дорого ли будет стоить эта затея? Федора только головой покачивает. Она говорит, что вы совсем не по достаткам жить начали; да я и сама это вижу; сколько вы на меня одну истратили! Смотрите, друг мой, не было бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи — что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей денег; я очень боюсь за вас. Ну, прощайте; я спешу. Дело есть маленькое; я переменяю ленты на шляпке.

*В. Д.*

P. S. Знаете ли, если мы пойдем в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плеча черную мантилью. Хорошо ли это будет?

Июля 7.

М. Г. Варвара Алексеевна!

...Так вот я всё про вчерашнее. Да, маточка, и на нас в оно время блажь находила. Врезался в эту актрисочку, по уши врезался, да это бы еще ничего; а самое-то чудное то, что я ее почти совсем не видал и в театре был всего один раз, а при всем том врезался. Жили тогда со мною стенка об стенку человек пятеро молодого, раззадорного народу. Сошелся я с ними, поневоле сошелся, хотя всегда был от них в пристойных границах. Ну, чтобы не отстать, я и сам им во всем поддакиваю. Насказали они

мне об этой актриске! Каждый вечер, как только театр идет, вся компания — на нужное у них никогда гроша не бывало — вся компания отправлялась в театр, в галерею, и уж хлопают-хлопают, вызывают-вызывают эту актриску — просто беснуются! А потом и заснуть не дадут; всю ночь напролет об ней толкуют, всякий ее своей Глашей зовет, все в одну в нее влюблены, у всех одна канарейка на сердце. Раззадорили они и меня, беззащитного; я тогда еще молоденек был. Сам не знаю, как очутился я с ними в театре, в четвертом ярусе, в галерее. Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато всё слышал. У актрисочки, точно, голосок был хорошенький, — звонкий, соловьиный, медовый! Мы все руки у себя отхлопали, кричали-кричали, — одним словом, до нас чуть не добрались, одного уж и вывели, правда. Пришел я домой, — как в чаду хожу! в кармане только один целковый рубль оставался, а до жалованья еще добрых дней десять. Так как бы вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмёру французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал — уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, а всё мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. Полтора месяца я ходил таким образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и всё мимо ее окон концы давал; замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило! Так вот что актриска из порядочного человека сделать в состоянии, маточка! Впрочем, молоденек-то я, молоденек был тогда!..

*М. Д.*

Июля 8.

Милостивая государыня моя,
Варвара Алексеевна!

Книжку вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем спешу в сем письме моем объясниться с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, маточка: всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устро-

ены самим Богом. — Состою я уже около тридцати лет на службе; служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны; и хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос; греха за собою большого не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы грешны, маточка! Но в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия, в этом я никогда не замечен, этого не было; даже крестик выходил — ну да уж что! Всё это вы по совести должны бы были знать, маточка, и он должен бы был знать; уж как взялся описывать, так должен бы был всё знать. Нет, я этого не ожидал от вас, маточка; нет, Варенька! вот от вас-то именно такого и не ожидал.

Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, — каков уж он там ни есть, — жить водой не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх Божий да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели — что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?.. Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где мостовая плоховата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу! Зачем писать про другого, что вот-де он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить! Да разве я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там кусок жует? Кого же я обижал таким образом? Нет, маточка, зачем же других обижать, когда тебя не затрогивают! Ну, и вот вам пример, Варвара Алексеевна, вот что значит оно: служишь-служишь, ревностно, усердно, — чего! — и начальство само тебя уважает (уж как бы там ни было, а все-таки уважает), — и вот кто-нибудь под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того ни с сего, испечет тебе пасквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь себе что-нибудь новое, — радуешься, не спишь, а радуешься, сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь — это правда, я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу в тонком щегольском сапоге, — это верно описано! Но я все-таки истинно удивляюсь, как Федор-то Федорович без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились. Правда, что он еще молодой сановник и лю-

бит подчас покричать; но отчего же и не покричать? Отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь. Ну да положим и так, например, для тона распечь — ну и для тона можно; нужно приучать; нужно острастку давать; потому что — между нами будь это, Варенька, — наш брат ничего без острастки не сделает, всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот, дескать, я там-то и там-то, а от дела-то бочком да стороночкой. А так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный, — это в порядке вещей! Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял и порядка бы не было. Истинно удивляюсь, как Федор Федорович такую обиду пропустили без внимания!

И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать — куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, всё напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это всё так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в Бога и умер (если ему хочется, чтобы он уж непременно умер) — оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья, так что, видите ли, как бы это было: зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал; а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподоб-

но, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться.

Покорнейший слуга ваш
*Макар Девушкин.*

Июля 27.

М. Г. Макар Алексеевич!

Последние происшествия и письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение, а рассказы Федоры объяснили мне всё. Но зачем же было так отчаиваться и вдруг упасть в такую бездну, в какую вы упали, Макар Алексеевич? Ваши объяснения вовсе не удовольствовали меня. Видите ли, была ли я права, когда настаивала взять то выгодное место, которое мне предлагали? К тому же и последнее мое приключение пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне заставила вас таиться от меня. Я и тогда уже видела, что многим обязана вам, когда вы уверяли, что издерживаете на меня только запасные деньги свои, которые, как говорили, у вас в ломбарде на всякий случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у вас вовсе не было никаких денег, что вы, случайно узнавши о моем бедственном положении и тронувшись им, решились издержать свое жалованье, забрав его вперед, и продали даже свое платье, когда я больна была, — теперь я, открытием всего этого, поставлена в такое мучительное положение, что до сих пор не знаю, как принять всё это и что думать об этом. Ах! Макар Алексеевич! вы должны были остановиться на первых благодеяниях своих, внушенных вам состраданием и родственною любовью, а не расточать деньги впоследствии на ненужное. Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со мною, и теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфекты, на прогулки, на театр и на книги, — то за всё это я теперь дорого плачу сожалением о своей непростительной ветрености (ибо я принимала от вас всё, не заботясь о вас самих); и всё то, чем вы хотели доставить мне удовольствие, обратилось теперь в горе для меня и оставило по себе одно бесполезное сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне и в ум не входило. Как! вы до такой уже степени могли упасть духом, Макар Алексеевич! Но что теперь о вас подумают, что теперь скажут о вас все, кто вас знает? Вы, которого я и все уважали за доброту души, скромность и благоразумие, вы

теперь вдруг впали в такой отвратительный порок, в котором, кажется, никогда не были замечены прежде. Что со мною было, когда Федора рассказала мне, что вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией! Я остолбенела от изумления, хотя и ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы четыре дня пропадали. Но подумали ли вы, Макар Алексеевич, что скажут ваши начальники, когда узнают настоящую причину вашего отсутствия? Вы говорите, что над вами смеются все, что все узнали о нашей связи и что и меня упоминают в насмешках своих соседи ваши. Не обращайте внимания на это, Макар Алексеевич, и, ради Бога, успокойтесь. Меня пугает еще ваша история с этими офицерами; я об ней темно слышала. Растолкуйте мне, что это всё значит? Пишете вы, что боялись открыться мне, боялись потерять вашим признанием мою дружбу, что были в отчаянии, не зная, чем помочь мне в моей болезни, что продали всё, чтобы поддержать меня и не пускать в больницу, что задолжали сколько возможно задолжать и имеете каждый день неприятности с хозяйкой, — но, скрывая всё это от меня, вы выбрали худшее. Но ведь теперь же я всё узнала. Вы совестились заставить меня сознаться, что я была причиною вашего несчастного положения, а теперь вдвое более принесли мне горя своим поведением. Всё это меня поразило, Макар Алексеевич. Ах, друг мой! несчастие — заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг от друга, чтоб еще более не заразиться. Я принесла вам такие несчастия, которых вы и не испытывали прежде в вашей скромной и уединенной жизни. Всё это мучит и убивает меня.

Напишите мне теперь всё откровенно, что с вами было и как вы решились на такой поступок. Успокойте меня, если можно. Не самолюбие заставляет меня писать теперь о моем спокойствии, но моя дружба и любовь к вам, которые ничем не изгладятся из моего сердца. Прощайте. Жду ответа вашего с нетерпением. Вы худо думали обо мне, Макар Алексеевич.

Вас сердечно любящая
*Варвара Доброселова.*

Июля 28.

Бесценная моя Варвара Алексеевна!

Ну уж, как теперь всё кончено и всё мало-помалу приходит в прежнее положение, то вот что скажу я вам, маточка: вы беспокоитесь об том, что обо мне подумают, на что спешу объявить

вам, Варвара Алексеевна, что амбиция моя мне дороже всего. Вследствие чего и донося вам об несчастиях моих и всех этих беспорядках, уведомляю вас, что из начальства еще никто ничего не знает, да и не будет знать, так что они все будут питать ко мне уважение по-прежнему. Одного боюсь: сплетень боюсь. Дома у нас хозяйка кричит, а теперь, когда я с помощию ваших десяти рублей уплатил ей часть долга, только ворчит, а более ничего. Что же касается до прочих, то и они ничего; у них только не нужно денег взаймы просить, а то и они ничего. А в заключение объяснений моих скажу вам, маточка, что ваше уважение ко мне считаю я выше всего на свете и тем утешаюсь теперь во временных беспорядках моих. Слава Богу, что первый удар и первые передряги миновали и вы приняли это так, что не считаете меня вероломным другом и себялюбцем за то, что я вас у себя держал и обманывал вас, не в силах будучи с вами расстаться и любя вас, как моего ангельчика. Рачительно теперь принялся за службу и должность свою стал исправлять хорошо. Евстафий Иванович хоть бы слово сказал, когда я мимо их вчера проходил. Не скрою от вас, маточка, что убивают меня долги мои и худое положение моего гардероба, но это опять ничего, и об этом тоже, молю вас — не отчаивайтесь, маточка. Посылаете мне еще полтинничек, Варенька, и этот полтинничек мне мое сердце пронзил. Так так-то оно теперь стало, так вот оно как! т. е. это не я, старый дурак, вам, ангельчику, помогаю, а вы, сироточка моя бедненькая, мне! Хорошо сделала Федора, что достала денег. Я покамест не имею надежд никаких, маточка, на получение, а если чуть возродятся какие-нибудь надежды, то отпишу вам обо всем подробно. Но сплетни, сплетни меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик. Целую вашу ручку и умоляю вас выздоравливать. Пишу оттого не подробно, что в должность спешу, ибо старанием и рачением хочу загладить все вины мои в упущении по службе; дальнейшее же повествование о всех происшествиях и о приключении с офицерами откладываю до вечера.

Вас уважающий и вас сердечно любящий

*Макар Девушкин.*

Июля 28.

Эх, Варенька, Варенька! Вот именно-то теперь грех на вашей стороне и на совести вашей останется. Письмецом-то своим вы меня с толку последнего сбили, озадачили, да уж только теперь, как я на досуге во внутренность сердца моего проник, так и уви-

дел, что прав был, совершенно был прав. Я не про дебош мой говорю (ну его, маточка, ну его!), а про то, что я люблю вас и что вовсе не неблагоразумно мне было любить вас, вовсе не неблагоразумно. Вы, маточка, не знаете ничего; а вот если бы знали только, отчего это всё, отчего это я должен вас любить, так вы бы не то сказали. Вы это всё резонное-то только так говорите, а я уверен, что на сердце-то у вас вовсе не то.

Маточка моя, я и сам-то не знаю и не помню хорошо всего, что было у меня с офицерами. Нужно вам заметить, ангельчик мой, что до того времени я был в смущении ужаснейшем. Вообразите себе, что уже целый месяц, так сказать, на одной ниточке крепился. Положение было пребедственное. От вас-то я скрывался, да и дома тоже, но хозяйка моя шуму и крику наделала. Оно бы мне и ничего. Пусть бы кричала баба негодная, да одно то, что срам, а второе то, что она, Господь ее знает как, об нашей связи узнала и такое про нее на весь дом кричала, что я обомлел да и уши заткнул. Да дело-то в том, что другие своих ушей не затыкали, а, напротив, развесили их. Я и теперь, маточка, куда мне деваться, не знаю...

И вот, ангельчик мой, всё-то это, весь-то этот сброд всяческого бедствия и доконал меня окончательно. Вдруг странные вещи слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель и оскорбил вас недостойным предложением; что он вас оскорбил, глубоко оскорбил, я по себе сужу, маточка, потому что и я сам глубоко оскорбился. Тут-то я, ангельчик вы мой, и свихнулся, тут-то я и потерялся и пропал совершенно. Я, друг вы мой, Варенька, выбежал в бешенстве каком-то неслыханном, я к нему хотел идти, греховоднику; я уж и не знал, что я делать хотел, потому что я не хочу, чтобы вас, ангельчика моего, обижали! Ну, грустно было! а на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная!.. Я было уж воротиться хотел... Тут-то я и пал, маточка. Я Емелю встретил, Емельяна Ильича, он чиновник, т. е. был чиновник, а теперь уж не чиновник, потому что его от нас выключили. Он уж, я и не знаю, что делает, как-то там мается; вот мы с ним и пошли. Тут — ну, да что вам, Варенька, ну, весело, что ли, про несчастия друга своего читать, бедствия его и историю искушений, им претерпенных? На третий день, вечером, уж это Емеля подбил меня, я и пошел к нему, к офицеру-то. Адрес-то я у нашего дворника спросил. Я, маточка, уж если к слову сказать пришлось, давно за этим молодцом примечал; следил его, когда еще он в доме у нас квартировал. Теперь-то я вижу, что я неприличие сделал, потому что я не в своем виде был, когда обо мне ему доложили. Я, Варенька, ничего, по правде, и не помню; помню только, что у него было очень много офицеров,

или это двоилось у меня — Бог знает. Я не помню также, что я говорил, только я знаю, что я много говорил в благородном негодовании моем. Ну, тут-то меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно не то чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали. Вы уж знаете, Варенька, как я воротился; вот оно и всё. Конечно, я себя уронил и амбиция моя пострадала, но ведь этого никто не знает, из посторонних-то никто, кроме вас, не знает; ну, а в таком случае это всё равно что как бы его и не было. Может быть, это и так, Варенька, как вы думаете? Что мне только достоверно известно, так это то, что прошлый год у нас Аксентий Осипович таким же образом дерзнул на личность Петра Петровича, но по секрету, он это сделал по секрету. Он его зазвал в сторожевскую комнату, я это всё в щелочку видел; да уж там он как надобно было и распорядился, но благородным образом, потому что этого никто не видал, кроме меня; ну, а я ничего, то есть я хочу сказать, что я не объявлял никому. Ну, а после этого Петр Петрович и Аксентий Осипович ничего. Петр Петрович, знаете, амбиционный такой, так он и никому не сказал, так что они теперь и кланяются и руки жмут. Я не спорю, я, Варенька, с вами спорить не смею, я глубоко упал и, что всего ужаснее, в собственном мнении своем проиграл, но уж это, верно, мне так на роду было написано, уж это, верно, судьба, — а от судьбы не убежишь, сами знаете. Ну, вот и подробное объяснение несчастий моих и бедствий, Варенька, вот — всё такое, что хоть бы и не читать, так в ту же пору. Я немного нездоров, маточка моя, и всей игривости чувств лишился. Посему теперь, свидетельствуя вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивая государыня моя, Варвара Алексеевна,

покорнейшим слугою вашим
*Макаром Девушкиным.*

Июля 29.

Милостивый государь,
Макар Алексеевич!

Я прочла ваши оба письма, да так и ахнула! Послушайте, друг мой, вы или от меня умалчиваете что-нибудь и написали мне только часть всех неприятностей ваших, или... право, Макар Алексеевич, письма ваши еще отзываются каким-то расстройством... Приходите ко мне, ради Бога, приходите сегодня; да послушайте, вы знаете, уж так прямо приходите к нам обедать. Я уж и не знаю, как вы там живете и как с хозяйкой вашей ула-

дились. Вы об этом обо всем ничего не пишете и как будто с намерением умалчиваете. Так до свидания, друг мой; заходите к нам непременно сегодня; да уж лучше бы вы сделали, если б и всегда приходили к нам обедать. Федора готовит очень хорошо. Прощайте.

Ваша
*Варвара Доброселова.*

Августа 1.

Матушка, Варвара Алексеевна!

Рады вы, маточка, что Бог вам случай послал в свою очередь за добро добром отслужить и меня отблагодарить. Я этому верю, Варенька, и в доброту ангельского сердечка вашего верю, и не в укор вам говорю, — только не попрекайте меня, как тогда, что я на старости лет замотался. Ну, уж был грех такой, что ж делать! — если уж хотите непременно, чтобы тут грех какой был; только вот от вас-то, дружочек мой, слушать такое мне многого стоит! А вы на меня не сердитесь, что я это говорю; у меня в груди-то, маточка, всё изныло. Бедные люди капризны, — это уж так от природы устроено. Я это и прежде чувствовал, а теперь еще более почувствовал. Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет-то Божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову, — дескать, не про него ли там что говорят? Что вот, дескать, что же он такой неказистый? что бы он такое именно чувствовал? что вот, например, каков он будет с этого боку, каков будет с того боку? И ведомо каждому, Варенька, что бедный человек хуже ветошки и никакого ни от кого уважения получить не может, что уж там ни пиши! они-то, пачкуны-то эти, что уж там ни пиши — всё будет в бедном человеке так, как и было. А отчего же так и будет по-прежнему? А оттого, что уж у бедного человека, по-ихнему, всё наизнанку должно быть; что уж у него ничего не должно быть заветного, там амбиции какой-нибудь ни-ни-ни! Вон Емеля говорил намедни, что ему где-то подписку делали, так ему за каждый гривенник, в некотором роде, официальный осмотр делали. Они думали, что они даром свои гривенники ему дают — ан нет: они заплатили за то, что им бедного человека показывали. Нынче, маточка, и благодеяния-то как-то чудно делаются... а может быть, и всегда так делались, кто их знает! Или не умеют они делать, или уж мастера большие — одно из двух. Вы, может быть, этого не знали, ну, так вот вам! В чем другом мы пас, а уж в

этом известны! А почему бедный человек знает всё это да думает всё такое? А почему? — ну, по опыту! А оттого, например, что он знает, что есть под боком у него такой господин, что вот идет куда-нибудь к ресторану да говорит сам с собой: что вот, дескать, эта голь чиновник что будет есть сегодня? а я соте-папильйот буду есть, а он, может быть, кашу без масла есть будет. А какое ему дело, что я буду кашу без масла есть? Бывает такой человек, Варенька, бывает, что только об таком и думает. И они ходят, пасквиланты неприличные, да смотрят, что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь али носочком одним; что-де вот у такого-то чиновника, такого-то ведомства, титулярного советника, из сапога голые пальцы торчат, что вот у него локти продраны — и потом там себе это всё и описывают и дрянь такую печатают... А какое тебе дело, что у меня локти продраны? Да уж если вы мне простите, Варенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми — грубое-то словцо мое простите — разоблачаться не станете; вот так точно и бедный человек не любит, чтобы в его конуру заглядывали, что, дескать, каковы-то там его отношения будут семейные, — вот. А то что́ было тогда обижать меня, Варенька, купно со врагами моими, на честь и амбицию честного человека посягающими!

Да и в присутствии-то я сегодня сидел таким медвежонком, таким воробьем ощипанным, что чуть сам за себя со стыда не сгорел. Стыдненько мне было, Варенька! Да уж натурально робеешь, когда сквозь одежду голые локти светятся да пуговки на ниточках мотаются. А у меня, как нарочно, всё это было в таком беспорядке! Поневоле упадаешь духом. Чего!.. сам Степан Карлович сегодня начал было по делу со мной говорить, говорил-говорил, да как будто невзначай и прибавил: «Эх вы, батюшка Макар Алексеевич!» — да и не договорил остального-то, об чем он думал, а только я уж сам обо всем догадался да так покраснел, что даже лысина моя покраснела. Оно в сущности-то и ничего, да все-таки беспокойно, на размышления наводит тяжкие. Уж не проведали ли чего они! А Боже сохрани, ну, как об чем-нибудь проведали! Я, признаюсь, подозреваю, сильно подозреваю одного человечка. Ведь этим злодеям нипочем! выдадут! всю частную твою жизнь ни за грош выдадут; святого ничего не имеется.

Я знаю теперь, чья это штука: это Ратазяева штука. Он с кем-то знаком в нашем ведомстве, да, верно, так, между разговором, и передал ему всё с прибавлениями; или, пожалуй, рассказал в своем ведомстве, а оно выползло в наше ведомство. А в

квартире у нас все всё до последнего знают и к вам в окно пальцем показывают; это уж я знаю, что показывают. А как я вчера к вам обедать пошел, то все они из окон повысовывались, а хозяйка сказала, что вот, дескать, черт с младенцем связались, да и вас она назвала потом неприлично. Но всё же это ничто перед гнусным намерением Ратазяева нас с вами в литературу свою поместить и в тонкой сатире нас описать: он это сам говорил, а мне добрые люди из наших пересказали. Я уж и думать ни о чем не могу, маточка, и решиться не знаю на что. Нечего греха таить, прогневили мы Господа Бога, ангельчик мой! Вы, маточка, мне книжку какую-то хотели, ради скуки, прислать. А ну ее, книжку, маточка! Что она, книжка? Она небылица в лицах! И роман вздор, и для вздора написан, так, праздным людям читать: поверьте мне, маточка, опытности моей многолетней поверьте. И что там, если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, в литературе Шекспир есть, — так и Шекспир вздор, всё это сущий вздор, и всё для одного пасквиля сделано!

Ваш
*Макар Девушкин.*

Августа 2.

М. Г. Макар Алексеевич!

Не беспокойтесь ни об чем; даст Господь Бог, всё уладится. Федора достала и себе и мне кучу работы, и мы превесело принялись за дело; может быть, и всё поправим. Подозревает она, что все мои последние неприятности не чужды Анны Федоровны; но теперь мне всё равно. Мне сегодня как-то необыкновенно весело. Вы хотите занимать деньги, — сохрани вас Господи! после не оберетесь беды, когда отдавать будет нужно. Лучше живите-ка с нами покороче, приходите к нам почаще и не обращайте внимания на вашу хозяйку. Что же касается до остальных врагов и недоброжелателей ваших, то я уверена, что вы мучаетесь напрасными сомнениями, Макар Алексеевич! Смотрите, ведь я вам говорила прошедший раз, что у вас слог чрезвычайно неровный. Ну, прощайте, до свиданья. Жду вас непременно к себе.

Ваша
*В. Д.*

Августа 3.

Ангельчик мой, Варвара Алексеевна!

Спешу вам сообщить, жизнёночек вы мой, что у меня надежды родились кое-какие. Да позвольте, дочечка вы моя, — пишете, ангельчик, чтоб мне займов не делать? Голубчик вы мой, невозможно без них; уж и мне-то худо, да и с вами-то, чего доброго, что-нибудь вдруг да не так! ведь вы слабенькие; так вот я к тому и пишу, что занять-то непременно нужно. Ну, так я и продолжаю.

Замечу вам, Варвара Алексеевна, что в присутствии я сижу рядом с Емельяном Ивановичем. Это не с тем Емельяном, которого вы знаете. Этот, так же как и я, титулярный советник, и мы с ним во всем нашем ведомстве чуть ли не самые старые, коренные служивые. Он добрая душа, бескорыстная душа, да неразговорчивый такой и всегда настоящим медведем смотрит. Зато деловой, перо у него — чистый английский почерк, и если уж всю правду сказать, то не хуже меня пишет, — достойный человек! Коротко мы с ним никогда не сходились, а так только, по обычаю, прощайте да здравствуйте; да если подчас мне ножичек надобился, то, случалось, попрошу — дескать, дайте, Емельян Иванович, ножичка, одним словом, было только то, что общежитием требуется. Вот он и говорит мне сегодня: Макар Алексеевич, что, дескать, вы так призадумались? Я вижу, что добра желает мне человек, да и открылся ему — дескать, так и так, Емельян Иванович, т. е. всего не сказал, да и Боже сохрани, никогда не скажу, потому что сказать-то нет духу, а так кое в чем открылся ему, что вот, дескать, стеснен и тому подобное. «А вы бы, батюшка, — говорит Емельян Иванович, — вы бы заняли; вот хоть бы у Петра Петровича заняли, он дает на проценты; я занимал; и процент берет пристойный — неотягчительный». Ну, Варенька, вспрыгнуло у меня сердечко. Думаю-думаю, авось Господь ему на душу положит, Петру Петровичу благодетелю, да и даст он мне взаймы. Сам уж и рассчитываю, что вот бы-де и хозяйке-то заплатил, и вам бы помог, да и сам бы кругом обчинился, а то такой срам: жутко даже на месте сидеть, кроме того, что вот зубоскалы-то наши смеются, Бог с ними! Да и его-то превосходительство мимо нашего стола иногда проходят; ну, сохрани Боже, бросят взор на меня да приметят, что я одет неприлично! А у них главное — чистота и опрятность. Они-то, пожалуй, и ничего не скажут, да я-то от стыда умру, — вот как это будет. Вследствие чего я, скрепившись и спрятав свой стыд в дырявый карман, направился к Петру Петровичу, и надежды-то полн, и ни жив ни мертв от ожидания — всё вместе. Ну, что же,

Варенька, ведь всё вздором и кончилось! Он что-то был занят, говорил с Федосеем Ивановичем. Я к нему подошел сбоку, да и дернул его за рукав: дескать, Петр Петрович, а Петр Петрович! Он оглянулся, а я продолжаю: что, дескать, вот так и так, рублей тридцать и т. д. Он сначала было не понял меня, а потом, когда я объяснил ему всё, так он и засмеялся, да и ничего, замолчал. Я опять к нему с тем же. А он мне — заклад у вас есть? А сам уткнулся в свою бумагу, пишет и на меня не глядит. Я немного оторопел. Нет, говорю, Петр Петрович, заклада нет, да и объясняю ему — что вот, дескать, как будет жалованье, так я и отдам, непременно отдам, первым долгом почту. Тут его кто-то позвал, я подождал его, он воротился, да и стал перо чинить, а меня как будто не замечает. А я всё про свое — что, дескать, Петр Петрович, нельзя ли как-нибудь? Он молчит и как будто не слышит, я постоял-постоял, ну, думаю, попробую в последний раз, да и дернул его за рукав. Он хоть бы что-нибудь вымолвил, очинил перо, да и стал писать; я и отошел. Они, маточка, видите ли, может быть, и достойные люди все, да гордые, очень гордые, — что мне! Куда нам до них, Варенька! Я к тому вам и писал всё это. Емельян Иванович тоже засмеялся да головой покачал, зато обнадежил меня, сердечный. Емельян Иванович достойный человек. Обещал он меня рекомендовать одному человеку; человек-то этот, Варенька, на Выборгской живет, тоже дает на проценты, 14-го класса какой-то. Емельян Иванович говорит, что этот уже непременно даст; я завтра, ангельчик мой, пойду, — а? Как вы думаете? Ведь беда не занять! Хозяйка меня чуть с квартиры не гонит и обедать мне давать не соглашается. Да и сапоги-то у меня больно худы, маточка, да и пуговок нет... да того ли еще нет у меня! а ну как из начальства-то кто-нибудь заметит подобное неприличие? Беда, Варенька, беда, просто беда!

*Макар Девушкин.*

Августа 4.

Любезный Макар Алексеевич!

Ради Бога, Макар Алексеевич, как только можно скорее займите сколько-нибудь денег; я бы ни за что не попросила у вас помощи в теперешних обстоятельствах, но если бы вы знали, каково мое положение! В этой квартире нам никак нельзя оставаться. У меня случились ужаснейшие неприятности, и если бы вы знали, в каком я теперь расстройстве и волнении! Вообразите, друг мой: сегодня утром входит к нам человек незнакомый, по-

жилых лет, почти старик, с орденами. Я изумилась, не понимая, чего ему нужно у нас? Федора вышла в это время в лавочку. Он стал меня расспрашивать, как я живу и что делаю, и, не дождавшись ответа, объявил мне, что он дядя того офицера; что он очень сердит на племянника за его дурное поведение и за то, что он ославил нас на весь дом; сказал, что племянник его мальчишка и ветрогон и что он готов взять меня под свою защиту; не советовал мне слушать молодых людей, прибавил, что он соболезнует обо мне как отец, что он питает ко мне отеческие чувства и готов мне во всем помогать. Я вся краснела, не знала что и подумать, но не спешила благодарить. Он взял меня насильно за руку, потрепал меня по щеке, сказал, что я прехорошенькая и что он чрезвычайно доволен тем, что у меня есть на щеках ямочки (Бог знает, что он говорил!), и наконец хотел меня поцеловать, говоря, что он уже старик (он был такой гадкий!). Тут вошла Федора. Он немного смутился и опять заговорил, что чувствует ко мне уважение за мою скромность и благонравие и что очень желает, чтобы я его не чуждалась. Потом отозвал в сторону Федору и под каким-то странным предлогом хотел дать ей сколько-то денег. Федора, разумеется, не взяла. Наконец он собрался домой, повторил еще раз все свои уверения, сказал, что еще раз ко мне приедет и привезет мне сережки (кажется, он сам был очень смущен); советовал мне переменить квартиру и рекомендовал мне одну прекрасную квартиру, которая у него на примете и которая мне ничего не будет стоить; сказал, что он очень полюбил меня, затем что я честная и благоразумная девушка, советовал остерегаться развратной молодежи и наконец объявил, что знает Анну Федоровну и что Анна Федоровна поручила ему сказать мне, что она сама навестит меня. Тут я всё поняла. Я не знаю, что со мною сталось; в первый раз в жизни я испытывала такое положение; я из себя вышла; я застыдила его совсем. Федора помогла мне и почти выгнала его из квартиры. Мы решили, что это всё дело Анны Федоровны: иначе с какой стороны ему знать о нас?

Теперь я к вам обращаюсь, Макар Алексеевич, и молю вас о помощи. Не оставляйте меня, ради Бога, в таком положении! Займите; пожалуйста, хоть сколько-нибудь достаньте денег, нам не на что съехать с квартиры, а оставаться здесь никак нельзя более: так и Федора советует. Нам нужно по крайней мере рублей двадцать пять; я вам эти деньги отдам; я их заработаю; Федора мне на днях еще работы достанет, так что если вас будут останавливать большие проценты, то вы не смотрите на них и согласитесь на всё. Я вам всё отдам, только, ради Бога, не оставьте меня помощию. Мне многого стоит беспокоить вас теперь,

когда вы в таких обстоятельствах, но на вас одного вся надежда моя! Прощайте, Макар Алексеевич, подумайте обо мне, и дай вам Бог успеха!

*В. Д.*

Августа 4.

Голубчик мой, Варвара Алексеевна!

Вот эти-то все удары неожиданные и потрясают меня! Вот такие-то бедствия страшные и убивают дух мой! Кроме того, что сброд этих лизоблюдников разных и старикашек негодных вас, моего ангельчика, на болезненный одр свести хочет, кроме этого всего — они и меня, лизоблюды-то эти, извести хотят. И изведут, клятву кладу, что изведут! Ведь вот я теперь скорее умереть готов, чем вам не помочь! Не помоги я вам, так уж тут смерть моя, Варенька, тут уж чистая, настоящая смерть, а помоги, так вы тогда у меня улетите, как пташка из гнездышка, которую совы-то эти, хищные птицы заклевать собрались. Вот это-то меня и мучает, маточка. Да и вы-то, Варенька, вы-то какие жестокие! Как же вы это? Вас мучают, вас обижают, вы, птенчик мой, страдаете, да еще горюете, что меня беспокоить нужно, да еще обещаетесь долг заработать, то есть, по правде сказать, убиваться будете с вашим здоровьем слабеньким, чтоб меня к сроку выручить. Да ведь вы, Варенька, только подумайте, о чем вы толкуете! Да зачем же вам шить, зачем же работать, головку свою бедную заботою мучить, ваши глазки хорошенькие портить и здоровье свое убивать? Ах, Варенька, Варенька! видите ли, голубчик мой, я никуда не гожусь, и сам знаю, что никуда не гожусь, но я сделаю так, что буду годиться! Я всё превозмогу, я сам работы посторонней достану, переписывать буду разные бумаги разным литераторам, пойду к ним, сам пойду, навяжусь на работу; потому что ведь они, маточка, ищут хороших писцов, я это знаю, что ищут, а вам себя изнурять не дам; пагубного такого намерения не дам вам исполнить. Я, ангельчик мой, непременно займу, и скорее умру, чем не займу. И пишете, голубушка вы моя, чтобы я проценту не испугался большого, — и не испугаюсь, маточка, не испугаюсь, ничего теперь не испугаюсь. Я, маточка, попрошу 40 рублей ассигнациями; ведь не много, Варенька, как вы думаете? Можно ли сорок-то рублей мне с первого слова поверить? то есть, я хочу сказать, считаете ли вы меня способным внушить, с первого взгляда, вероятие и доверенность? По физиономии-то, по первому взгляду, можно ли судить обо мне благоприятным образом? Вы припомните, ангельчик,

способен ли я ко внушению-то? Как вы там от себя полагаете? Знаете ли, страх такой чувствуется, — болезненно, истинно сказать болезненно! Из сорока рублей двадцать пять отлагаю на вас, Варенька; два целковых хозяйке, а остальное назначено для собственной траты. Видите ли, хозяйке-то следовало бы дать и побольше, даже необходимо; но вы сообразите всё дело, маточка, перечтите-ка все мои нужды, так и увидите, что уж никак нельзя более дать, следовательно, нечего и говорить об этом, да и упоминать не нужно. На рубль серебром куплю сапоги; я уж и не знаю, способен ли я буду в старых-то завтра в должность явиться. Платочек шейный тоже был бы необходим, ибо старому скоро год минет; но так как вы мне из старого фартучка вашего не только платок, но и манишку выкроить обещались, то я о платке и думать больше не буду. Так вот, сапоги и платок есть. Теперь пуговки, дружок мой! ведь вы согласитесь, крошечка моя, что мне без пуговок быть нельзя; а у меня чуть ли не половина борта обсыпалась! Я трепещу, когда подумаю, что его превосходительство могут такой беспорядок заметить да скажут — да что скажут! Я, маточка, и не услышу, что скажут; ибо умру, умру, на месте умру, так-таки возьму да и умру от стыда, от мысли одной! Ох, маточка! Да вот еще останется от всех необходимостей трехрублевик; так вот это на жизнь и на полфунтика табачку; потому что, ангельчик мой, я без табаку-то жить не могу, а уж вот девятый день трубки в рот не брал. Я бы, по совести говоря, купил бы, да и вам ничего не сказал, да совестно. Вот у вас там беда, вы последнего лишаетесь, а я здесь разными удовольствиями наслаждаюсь; так вот для того и говорю вам всё это, чтобы угрызения совести не мучили. Я вам откровенно признаюсь, Варенька, я теперь в крайне бедственном положении, то есть решительно ничего подобного никогда со мной не бывало. Хозяйка презирает меня, уважения ни от кого нет никакого; недостатки страшнейшие, долги; а в должности, где от своего брата чиновника и прежде мне не было масленицы, — теперь, маточка, и говорить нечего. Я скрываю, я тщательно от всех всё скрываю, и сам скрываюсь, и в должность-то вхожу когда, так бочком-бочком, сторонюсь от всех. Ведь это вам только признаться достает у меня силы душевной... А ну, как не даст! Ну, нет, лучше, Варенька, и не думать об этом и такими мыслями заранее не убивать души своей. К тому и пишу это, чтобы предостеречь вас, чтобы сами вы об этом не думали и мыслию злою не мучились. Ах, Боже мой, что это с вами-то будет тогда! Оно правда и то, что вы тогда с этой квартиры не съедете, и я буду с вами, — да нет, уж я и не ворочусь тогда, я просто сгину куда-нибудь, пропаду. Вот я вам здесь расписался, а побриться бы нужно, оно всё благооб-

разнее, а благообразие всегда умеет найти. Ну, дай-то Господи! Помолюсь, да и в путь!

*М. Девушкин.*

Августа 5.

Любезнейший Макар Алексеевич!

Уж хоть вы-то бы не отчаивались! И так горя довольно. Посылаю вам тридцать копеек серебром; больше никак не могу. Купите себе там что вам более нужно, чтобы хоть до завтра прожить как-нибудь. У нас у самих почти ничего не осталось, а завтра уж и не знаю, что будет. Грустно, Макар Алексеевич! Впрочем, не грустите; не удалось, так что ж делать! Федора говорит, что еще не беда, что можно до времени и на этой квартире остаться, что если бы и переехали, так всё бы немного выгадали, и что если захотят, так везде нас найдут. Да только всё как-то нехорошо здесь оставаться теперь. Если бы не грустно было, я бы вам кое-что написала.

Какой у вас странный характер, Макар Алексеевич! Вы уж слишком сильно всё принимаете к сердцу; от этого вы всегда будете несчастнейшим человеком. Я внимательно читаю все ваши письма и вижу, что в каждом письме вы обо мне так мучаетесь и заботитесь, как никогда о себе не заботились. Все, конечно, скажут, что у вас доброе сердце, но я скажу, что оно уж слишком доброе. Я вам даю дружеский совет, Макар Алексеевич. Я вам благодарна, очень благодарна за всё, что вы для меня сделали, я всё это очень чувствую; так судите же, каково мне видеть, что вы и теперь, после всех ваших бедствий, которых я была невольною причиною, — что и теперь живете только тем, что я живу: моими радостями, моими горестями, моим сердцем! Если принимать всё чужое так к сердцу и если так сильно всему сочувствовать, то, право, есть отчего быть несчастнейшим человеком. Сегодня, когда вы вошли ко мне после должности, я испугалась, глядя на вас. Вы были такой бледный, перепуганный, отчаянный: на вас лица не было, — и всё оттого, что вы боялись мне рассказать о своей неудаче, боялись меня огорчить, меня испугать, а как увидели, что я чуть не засмеялась, то у вас почти всё отлегло от сердца. Макар Алексеевич! вы не печальтесь, не отчаивайтесь, будьте благоразумнее, — прошу вас, умоляю вас об этом. Ну, вот вы увидите, что всё будет хорошо, всё переменится к лучшему; а то вам тяжело будет жить, вечно тоскуя и болея чужим горем. Прощайте, мой друг; умоляю вас, не беспокойтесь слишком обо мне.

*В. Д.*

Августа 5.

Голубчик мой, Варенька!

Ну, хорошо, ангельчик мой, хорошо! Вы решили, что еще не беда оттого, что я денег не достал. Ну, хорошо, я спокоен, я счастлив на ваш счет. Даже рад, что вы меня, старика, не покидаете и на этой квартире останетесь. Да уж если всё говорить, так и сердце-то мое всё радостию переполнилось, когда я увидел, что вы обо мне в своем письмеце так хорошо написали и чувствам моим должную похвалу воздали. Я это не от гордости говорю, но оттого, что вижу, как вы меня любите, когда об сердце моем так беспокоитесь. Ну, хорошо; что уж теперь об сердце-то моем говорить! Сердце само по себе; а вот вы наказываете, маточка, чтобы я малодушным не был. Да, ангельчик мой, пожалуй, и сам скажу, что не нужно его, малодушия-то; да при всем этом, решите сами, маточка моя, в каких сапогах я завтра на службу пойду! Вот оно что, маточка; а ведь подобная мысль погубить человека может, совершенно погубить. А главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю; по мне всё равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю и всё вынесу, мне ничего; человек-то я простой, маленький, — но что люди скажут? Враги-то мои, злые-то языки эти все что заговорят, когда без шинели пойдешь? Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь. Сапоги в таком случае, маточка, душечка вы моя, нужны мне для поддержки чести и доброго имени; в дырявых же сапогах и то и другое пропало, — поверьте, маточка, опытности моей многолетней поверьте; меня, старика, знающего свет и людей, послушайте, а не пачкунов каких-нибудь и марателей.

А я вам еще и не рассказывал в подробности, маточка, как это в сущности всё было сегодня, чего я натерпелся сегодня. А того я натерпелся, столько тяготы душевной в одно утро вынес, чего иной и в целый год не вынесет. Вот оно было как: пошел, во-первых, я раным-ранешенько, чтобы и его-то застать да и на службу поспеть. Дождь был такой, слякоть такая была сегодня! Я, ясочка моя, в шинель-то закутался, иду-иду да всё думаю: «Господи! прости, дескать, мои согрешения и пошли исполнение желаний». Мимо —ской церкви прошел, перекрестился, во всех грехах покаялся да вспомнил, что недостойно мне с Господом Богом уговариваться. Погрузился я в себя самого, и глядеть ни на что не хотелось; так уж, не разбирая дороги, пошел. На улицах было пусто, а кто встречался, так всё такие занятые, озабоченные, да и не диво: кто в такую пору раннюю и в такую погоду гулять пойдет! Артель работников испачканных повстречалась со

мною; затолкали меня мужичье! Робость нашла на меня, жутко становилось, уж я об деньгах-то и думать, по правде, не хотел, — на авось, так на авось! У самого Воскресенского моста у меня подошва отстала, так что уж и сам не знаю, на чем я пошел. А тут наш писарь Ермолаев повстречался со мною, вытянулся, стоит, глазами провожает, словно на водку просит; эх, братец, подумал я, на водку, уж какая тут водка! Устал я ужасно, приостановился, отдохнул немного, да и потянулся дальше. Нарочно разглядывал, к чему бы мыслями прилепиться, развлечься, приободриться: да нет — ни одной мысли ни к чему не мог прилепить, да и загрязнился вдобавок так, что самого себя стыдно стало. Увидел наконец я издали дом деревянный, желтый, с мезонином вроде бельведера — ну, так, думаю, так оно и есть, так и Емельян Иванович говорил, — Маркова дом. (Он и есть этот Марков, маточка, что на проценты дает.) Я уж и себя тут не вспомнил, и ведь знал, что Маркова дом, а спросил-таки будочника — чей, дескать, это, братец, дом? Будочник такой грубиян, говорит нехотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цедит, — да уж так, говорит, это Маркова дом. Будочники эти все такие нечувствительные, а что мне будочник? — А вот всё как-то было впечатление дурное и неприятное, словом, всё одно к одному; изо всего что-нибудь выведешь сходное с своим положением, и это всегда так бывает. Мимо дома-то я три конца дал по улице, и чем больше хожу, тем хуже становится, — нет, думаю, не даст, ни за что не даст! И человек-то я незнакомый, и дело-то мое щекотливое, и фигурой я не беру, — ну, думаю, как судьба решит; чтобы после только не каяться, за попытку не съедят же меня, — да и отворил потихоньку калитку. А тут другая беда: навязалась на меня дрянная, глупая собачонка дворная; лезет из кожи, заливается! И вот такие-то подлые, мелкие случаи и взбесят всегда человека, маточка, и робость на него наведут, и всю решимость, которую заране обдумал, уничтожат; так что я вошел в дом ни жив ни мертв, вошел да прямо еще на беду — не разглядел, что такое внизу впотьмах у порога, ступил да и споткнулся об какую-то бабу, а баба молоко из подойника в кувшины цедила и всё молоко пролила. Завизжала, затрещала глупая баба, — дескать, куда ты, батюшка, лезешь, чего тебе надо? да и пошла причитать про нелегкое. Я, маточка, это к тому замечаю, что всегда со мной такое же случалось в подобного рода делах; знать, уж мне написано так; вечно-то я зацеплюсь за что-нибудь постороннее. Высунулась на шум старая ведьма и чухонка хозяйка, я прямо к ней, — здесь, дескать, Марков живет? Нет, говорит; постояла, оглядела меня хорошенько. «А вам что до него?» Я объясняю ей, что, дескать, так и так, Емельян

Иванович, — ну, и про остальное, — говорю, дельце есть. Старуха кликнула дочку — вышла и дочка, девочка в летах, босоногая, — «кликни отца; он наверху у жильцов, — пожалуйте». Вошел я. Комната ничего, на стенах картинки висят, всё генералов каких-то портреты, диван стоит, стол круглый, резеда, бальзаминчики, — думаю-думаю, не убраться ли, полно, мне подобру-поздорову, уйти или нет? и ведь, ей-ей, маточка, хотел убежать! Я лучше, думаю, завтра приду; и погода лучше будет, и я-то пережду, — а сегодня вон и молоко пролито, и генералы-то смотрят такие сердитые... Я уж и к двери, да он-то вошел — так себе, седенький, глазки такие вороватенькие, в халате засаленном и веревкой подпоясан. Осведомился к чему и как, а я ему: дескать, так и так, вот Емельян Иванович, — рублей сорок, говорю; дело такое, — да и не договорил. Из глаз его увидал, что проиграно дело. «Нет, уж что, говорит, дело, у меня денег нет; а что у вас заклад, что ли, какой?» Я было стал объяснять, что, дескать, заклада нет, а вот Емельян Иванович, — объясняю, одним словом, что нужно. Выслушав всё, — нет, говорит, что Емельян Иванович! у меня денег нет. — Ну, думаю, так, всё так; знал я про это, предчувствовал — ну, просто, Варенька, лучше бы было, если бы земля подо мной расступилась; холод такой, ноги окоченели, мурашки по спине пробежали. Я на него смотрю, а он на меня смотрит да чуть не говорит — что, дескать, ступай-ка ты, брат, здесь тебе нечего делать, — так что, если б в другом случае было бы такое же, так совсем бы засовестился. Да что вам, зачем деньги надобны? (Ведь вот про что спросил, маточка!) Я было рот разинул, чтобы только так не стоять даром, да он и слушать не стал — нет, говорит, денег нет; я бы, говорит, с удовольствием. Уж я ему представлял, представлял, говорю, что ведь я немножко, я, дескать, говорю, вам отдам, в срок отдам, и что я еще до срока отдам, что и процент пусть какой угодно берет и что я, ей-Богу, отдам. Я, маточка, в это мгновение вас вспомнил, все ваши несчастия и нужды вспомнил, ваш полтинничек вспомнил, — да нет, говорит, что проценты, вот если б заклад! А то у меня денег нет, ей-Богу нет; я бы, говорит, с удовольствием, — еще и побожился, разбойник!

Ну, тут уж, родная моя, я и не помню, как вышел, как прошел Выборгскую, как на Воскресенский мост попал, устал ужасно, прозяб, продрог и только в десять часов в должность успел явиться. Хотел было себя пообчистить от грязи, да Снегирев, сторож, сказал, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, казенная. Вот они как теперь, маточка, так что я и у этих господ чуть ли не хуже ветошки, об которую ноги обтирают. Ведь меня что, Варенька, убивает? Не деньги меня убивают,

а все эти тревоги житейские, все эти шепоты, улыбочки, шуточки. Его превосходительство невзначай как-нибудь могут отнестись на мой счет, — ох, маточка, времена-то мои прошли золотые! Сегодня перечитал я все ваши письма; грустно, маточка! Прощайте, родная, Господь вас храни!

*М. Девушкин.*

P. S. Горе-то мое, Варенька, хотел я вам описать пополам с шуточкой, только, видно, она не дается мне, шуточка-то. Вам хотелось угодить. Я к вам зайду, маточка, непременно зайду, завтра зайду.

Августа 11.

Варвара Алексеевна! голубчик мой, маточка! Пропал я, пропали мы оба, оба вместе, безвозвратно пропали. Моя репутация, амбиция — всё потеряно! Я погиб, и вы погибли, маточка, и вы, вместе со мной, безвозвратно погибли! Это я, я вас в погибель ввел! Меня гонят, маточка, презирают, на смех подымают, а хозяйка просто меня бранить стала; кричала, кричала на меня сегодня, распекала, распекала меня, ниже щепки поставила. А вечером у Ратазяева кто-то из них стал вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал, да выронил невзначай из кармана. Матушка моя, какую они насмешку подняли! Величали, величали нас, хохотали, хохотали, предатели! Я вошел к ним и уличил Ратазяева в вероломстве; сказал ему, что он предатель! А Ратазяев отвечал мне, что я сам предатель, что я конкетами разными занимаюсь; говорит, — вы скрывались от нас, вы, дескать, Ловелас; и теперь все меня Ловеласом зовут, и имени другого нет у меня! Слышите ли, ангельчик мой, слышите ли, — они теперь всё знают, обо всем известны, и об вас, родная моя, знают, и обо всем, что ни есть у вас, обо всем знают! Да чего! и Фальдони туда же, и он заодно с ними; послал я его сегодня в колбасную, так, принести кой-чего; не идет да и только, дело есть, говорит! «Да ведь ты ж обязан», — я говорю. «Да нет же, говорит, не обязан, вы вон моей барыне денег не платите, так я вам и не обязан». Я не вытерпел от него, от необразованного мужика, оскорбления, да и сказал ему дурака; а он мне — «от дурака слышал». Я думаю, что он с пьяных глаз мне такую грубость сказал — да и говорю, ты, дескать, пьян, мужик ты этакой! а он мне: «Вы, что ли, мне поднесли-то? У самих-то есть ли на что опохмелиться; сами у какой-то по гривенничку христарадничаете, — да еще прибавил: — Эх, дескать, а еще барин!»

Вот, маточка, вот до чего дошло дело! Жить, Варенька, совестно! точно оглашенный какой-нибудь; хуже чем беспаспортному бродяге какому-нибудь. Бедствия тяжкие! — погиб я, просто погиб! безвозвратно погиб.

*М. Д.*

Августа 13.

Любезнейший Макар Алексеевич! Над нами всё беды да беды, я уж и сама не знаю, что делать! Что с вами-то будет теперь, а на меня надежда плохая; я сегодня обожгла себе утюгом левую руку; уронила нечаянно, и ушибла и обожгла, всё вместе. Работать никак нельзя, а Федора уж третий день хворает. Я в мучительном беспокойстве. Посылаю вам тридцать копеек серебром; это почти всё последнее наше, а я, Бог видит, как желала бы вам помочь теперь в ваших нуждах. До слез досадно! Прощайте, друг мой! Весьма бы вы утешили меня, если б пришли к нам сегодня.

*В. Д.*

Августа 14.

Макар Алексеевич! что это с вами? Бога вы не боитесь, верно! Вы меня просто с ума сведете. Не стыдно ли вам! Вы себя губите, вы подумайте только о своей репутации! Вы человек честный, благородный, амбиционный — ну, как все узнают про вас! Да вы просто со стыда должны будете умереть! Или не жаль вам седых волос ваших? Ну, боитесь ли вы Бога! Федора сказала, что уже теперь не будет вам более помогать, да и я тоже вам денег давать не буду. До чего вы меня довели, Макар Алексеевич! Вы думаете, верно, что мне ничего, что вы так дурно ведете себя; вы еще не знаете, что я из-за вас терплю! Мне по нашей лестнице и пройти нельзя: все на меня смотрят, пальцем на меня указывают и такие страшные вещи говорят; да, прямо говорят, что *связалась я с пьяницей*. Каково это слышать! Когда вас привозят, то на вас все жильцы с презрением указывают: вот, говорят, того чиновника привезли. А мне-то за вас мочи нет как совестно. Клянусь вам, что я перееду отсюда. Пойду куда-нибудь в горничные, в прачки, а здесь не останусь. Я вам писала, чтоб вы зашли ко мне, а вы не зашли. Знать, вам ничего мои слезы и просьбы, Макар Алексеевич! И откуда вы денег достали? Ради Создателя, поберегитесь. Ведь пропадете,

ни за что пропадете! И стыд-то и срам-то какой! Вас хозяйка и впустить вчера не хотела, вы в сенях ночевали: я всё знаю. Если б вы знали, как мне тяжело было, когда я всё это узнала. Приходите ко мне, вам будет у нас весело: мы будем вместе читать, будем старое вспоминать. Федора о своих богомольных странствиях рассказывать будет. Ради меня, голубчик мой, не губите себя и меня не губите. Ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами. Так-то вы теперь! Будьте благородным человеком, твердым в несчастиях; помните, что бедность не порок. Да и чего отчаиваться: это всё временное! Даст Бог — всё поправится, только вы-то удержитесь теперь. Посылаю вам двугривенный, купите себе табаку или всего, что вам захочется, только, ради Бога, на дурное не тратьте. Приходите к нам, непременно приходите. Вам, может быть, как и прежде, стыдно будет, но вы не стыдитесь: это ложный стыд. Только бы вы искреннее раскаяние принесли. Надейтесь на Бога. Он всё устроит к лучшему.

*В. Д.*

Августа 19.

Варвара Алексеевна, маточка!

Стыдно мне, ясочка моя, Варвара Алексеевна, совсем застыдился. Впрочем, что ж тут такого, маточка, особенного? Отчего же сердца своего не поразвеселить? Я тогда про подошвы мои и не думаю, потому что подошва вздор и всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. Да и сапоги тоже вздор! И мудрецы греческие без сапог хаживали, так чего же нашему-то брату с таким недостойным предметом нянчиться? За что ж обижать, за что ж презирать меня в таком случае? Эх! маточка, маточка, нашли что писать! А Федоре скажите, что она баба вздорная, беспокойная, буйная и вдобавок глупая, невыразимо глупая! Что же касается до седины моей, то и в этом вы ошибаетесь, родная моя, потому что я вовсе не такой старик, как вы думаете. Емеля вам кланяется. Пишете вы, что сокрушались и плакали; а я вам пишу, что я тоже сокрушался и плакал. В заключение желаю вам всякого здоровья и благополучия, а что до меня касается, то я тоже здоров и благополучен и пребываю вашим, ангельчик мой, другом

*Макаром Девушкиным.*

Августа 21.

Милостивая государыня и любезный друг
Варвара Алексеевна!

Чувствую, что я виноват, чувствую, что я провинился пред вами, да и, по-моему, выгоды-то из этого нет никакой, маточка, что я всё это чувствую, уж что вы там ни говорите. Я и прежде проступка моего всё это чувствовал, но вот упал же духом, с сознанием вины упал. Маточка моя, я не зол и не жестокосерден; а для того чтобы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть не более, не менее как кровожадным тигром, ну, а у меня сердце овечье, и я, как и вам известно, не имею позыва к кровожадности; следственно, ангельчик мой, я и не совсем виноват в проступке моем, так же как и ни сердце, ни мысли мои не виноваты; а уж так, я и не знаю, что виновато. Уж такое дело темное, маточка! Тридцать копеек серебром мне прислали, а потом прислали двугривенничек; у меня сердце и заныло, глядя на ваши сиротские денежки. Сами ручку свою обожгли, голодать скоро будете, а пишете, чтоб я табаку купил. Ну, как же мне было поступить в таком случае? Или уж так, без зазрения совести, подобно разбойнику, вас, сироточку, начать грабить! Тут-то я и упал духом, маточка, т. е. сначала, чувствуя поневоле, что никуда не гожусь и что я сам немногим разве получше подошвы своей, счел неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а напротив, самого себя стал считать чем-то неприличным и в некоторой степени неблагопристойным. Ну, а как потерял к себе самому уважение, как предался отрицанию добрых качеств своих и своего достоинства, так уж тут и всё пропадай, тут уж и падение! Это так уже судьбою определено, и я в этом не виноват. Я сначала вышел немножко поосвежиться. Тут уж всё пришлось одно к одному: и природа была такая слезливая, и погода холодная, и дождь, ну и Емеля тут же случился. Он, Варенька, уже всё заложил что имел, всё у него пошло в свое место, и как я его встретил, так он уже двое суток маковой росинки во рту не видал, так что уж хотел такое закладывать, чего никак и заложить нельзя, затем что и закладов таких не бывает. Ну, что же, Варенька, уступил я более из сострадания к человечеству, чем по собственному влечению. Так вот как грех этот произошел, маточка! Мы уж как вместе с ним плакали! Вас вспоминали. Он предобрый, он очень добрый человек, и весьма чувствительный человек. Я, маточка, сам всё это чувствую; со мной потому и случается-то всё такое, что я очень всё это чувствую. Я знаю, чем я вам, голубчик вы мой, обязан! Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя лучше знать и вас стал любить; а до вас, ангельчик мой,

я был одинок и как будто спал, а не жил на свете. Они, злодеи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гнушались мною, ну, и я стал гнушаться собою; говорили, что я туп, я и в самом деле думал, что я туп, а как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную, так что и сердце и душа моя осветились, и я обрел душевный покой и узнал, что и я не хуже других, что только так, не блещу ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек, что сердцем и мыслями я человек. Ну, а теперь, почувствовав, что я гоним судьбою, что, униженный ею, предался отрицанию собственного своего достоинства, я, удрученный моими бедствиями, и упал духом. И так как вы теперь всё знаете, маточка, то я умоляю вас слезно не любопытствовать более об этой материи, ибо сердце мое разрывается, и горько, тягостно.

Свидетельствую, маточка, вам почтение мое и пребываю вашим верным

*Макаром Девушкиным.*

Сентября 3.

Я не докончила прошлого письма, Макар Алексеевич, потому что мне было тяжело писать. Иногда бывают со мной минуты, когда я рада быть одной, одной грустить, одной тосковать, без раздела, и такие минуты начинают находить на меня всё чаще и чаще. В воспоминаниях моих есть что-то такое необъяснимое для меня, что увлекает меня так безотчетно, так сильно, что я по нескольку часов бываю бесчувственна ко всему меня окружающему и забываю всё, всё настоящее. И нет впечатления в теперешней жизни моей, приятного ль, тяжелого, грустного, которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моем, и чаще всего мое детство, мое золотое детство! Но мне становится всегда тяжело после подобных мгновений. Я как-то слабею, моя мечтательность изнуряет меня, а здоровье мое и без того всё хуже и хуже становится.

Но сегодня свежее, яркое, блестящее утро, каких мало здесь осенью, оживило меня, и я радостно его встретила. Итак, у нас уже осень! Как я любила осень в деревне! Я еще ребенком была, но и тогда уже много чувствовала. Осенний вечер я любила больше, чем утро. Я помню, в двух шагах от нашего дома, под горой, было озеро. Это озеро, — я как будто вижу его теперь, — это озеро было такое широкое, светлое, чистое, как хрусталь! Бывало, если вечер тих, — озеро покойно; на деревах, что по берегу росли, не шелохнет, вода неподвижна, словно зер-

кало. Свежо! холодно! Падает роса на траву, в избах на берегу засветятся огоньки, стадо пригонят — тут-то я и ускользну тихонько из дому, чтобы посмотреть на мое озеро, и засмотрюсь, бывало. Какая-нибудь вязанка хворосту горит у рыбаков у самой воды, и свет далеко-далеко по воде льется. Небо такое холодное, синее и по краям разведено всё красными, огненными полосами, и эти полосы всё бледнее и бледнее становятся; выходит месяц; воздух такой звонкий, порхнет ли испуганная пташка, камыш ли зазвенит от легонького ветерка, или рыба всплеснется в воде, — всё, бывало, слышно. По синей воде встает белый пар, тонкий, прозрачный. Даль темнеет; всё как-то тонет в тумане, а вблизи так всё резко обточено, словно резцом обрезано, — лодка, берег, острова; бочка какая-нибудь, брошенная, забытая у самого берега, чуть-чуть колышется на воде, ветка ракитовая с пожелтелыми листьями путается в камыше, — вспорхнет чайка запоздалая, то окунется в холодной воде, то опять вспорхнет и утонет в тумане. Я засматривалась, заслушивалась, — чудно хорошо было мне! А я еще была ребенок, дитя!..

Я так любила осень, — позднюю осень, когда уже уберут хлеба, окончат все работы, когда уже в избах начнутся посиделки, когда уже все ждут зимы. Тогда всё становится мрачнее, небо хмурится облаками, желтые листья стелятся тропами по краям обнаженного леса, а лес синеет, чернеет, — особенно вечером, когда спустится сырой туман и деревья мелькают из тумана, как великаны, как безобразные, страшные привидения. Запоздаешь, бывало, на прогулке, отстанешь от других, идешь одна, спешишь, — жутко! Сама дрожишь как лист; вот, думаешь, того и гляди выглянет кто-нибудь страшный из-за этого дупла; между тем ветер пронесется по лесу, загудит, зашумит, завоет так жалобно, сорвет тучу листьев с чахлых веток, закрутит ими по воздуху, и за ними длинною, широкою, шумною стаей, с диким пронзительным криком, пронесутся птицы, так что небо чернеет и всё застилается ими. Страшно станет, а тут, — точно как будто заслышишь кого-то, — чей-то голос, как будто кто-то шепчет: «Беги, беги, дитя, не опаздывай; страшно здесь будет тотчас, беги, дитя!» — ужас пройдет по сердцу, и бежишь-бежишь так, что дух занимается. Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; раздадут нам, всем детям, работу: горох или мак щелушить. Сырые дрова трещат в печи; матушка весело смотрит за нашей веселой работой; старая няня Ульяна рассказывает про старое время или страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим разом... чу! шум! как будто кто-то стучит! Ничего не бывало; это гудит

самопрялка у старой Фроловны; сколько смеху бывало! А потом ночью не спим от страха; находят такие страшные сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь и до рассвета дрогнешь под одеялом. Утром встанешь свежа, как цветочек. Посмотришь в окно: морозом прохватило всё поле; тонкий, осенний иней повис на обнаженных сучьях; тонким, как лист, льдом подернулось озеро; встает белый пар по озеру; кричат веселые птицы. Солнце светит кругом яркими лучами, и лучи разбивают, как стекло, тонкий лед. Светло, ярко, весело! В печке опять трещит огонь; подсядем все к самовару, а в окна посматривает продрогшая ночью черная наша собака Полкан и приветливо махает хвостом. Мужичок проедет мимо окон на бодрой лошадке в лес за дровами. Все так довольны, так веселы!.. Ах, какое золотое было детство мое!..

Вот я и расплакалась теперь, как дитя, увлекаясь моими воспоминаниями. Я так живо, так живо всё припомнила, так ярко стало передо мною всё прошедшее, а настоящее так тускло, так темно!.. Чем это кончится, чем это всё кончится? Знаете ли, у меня есть какое-то убеждение, какая-то уверенность, что я умру нынче осенью. Я очень, очень больна. Я часто думаю о том, что умру, но всё бы мне не хотелось так умереть, — в здешней земле лежать. Может быть, я опять слягу в постель, как и тогда, весной, а я еще оправиться не успела. Вот и теперь мне очень тяжело. Федора сегодня ушла куда-то на целый день, и я сижу одна. А с некоторого времени я боюсь оставаться одной; мне всё кажется, что со мной в комнате кто-то бывает другой, что кто-то со мной говорит; особенно когда я об чем-нибудь задумаюсь и вдруг очнусь от задумчивости, так что мне страшно становится. Вот почему я вам такое большое письмо написала; когда я пишу, это проходит. Прощайте: кончаю письмо, потому что и бумаги и времени нет. Из вырученных денег за платья мои да за шляпку остался у меня только рубль серебром. Вы дали хозяйке два рубля серебром; это очень хорошо; она замолчит теперь на время.

Поправьте себе как-нибудь платье. Прощайте; я так устала; не понимаю, отчего я становлюсь такая слабая; малейшее занятие меня утомляет. Случится работа — как работать? Вот это-то и убивает меня.

*В. Д.*

Сентября 5.

Голубчик мой, Варенька!

Я сегодня, ангельчик мой, много испытал впечатлений. Во-первых, у меня голова целый день болела. Чтобы как-нибудь освежиться, вышел я походить по Фонтанке. Вечер был такой темный, сырой. В шестом часу уж смеркается, — вот как теперь! Дождя не было, зато был туман, не хуже доброго дождя. По небу ходили длинными, широкими полосами тучи. Народу ходила бездна по набережной, и народ-то как нарочно был с такими страшными, уныние наводящими лицами, пьяные мужики, курносые бабы-чухонки, в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш брат по какой-нибудь надобности; мальчишки, какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, чахлый, с лицом, выкупанным в копченом масле, с замком в руке; солдат отставной в сажень ростом, — вот какова была публика. Час-то, видно, был такой, что другой публики и быть не могло. Судоходный канал Фонтанка! Барок такая бездна, что не понимаешь, где всё это могло поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками да с гнилыми яблоками, и всё такие грязные, мокрые бабы. Скучно по Фонтанке гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые; под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня.

Когда я поворотил в Гороховую, так уж смерклось совсем и газ зажигать стали. Я давненько-таки не был в Гороховой, — не удавалось. Шумная улица! Какие лавки, магазины богатые; всё так и блестит и горит, материя, цветы под стеклами, разные шляпки с лентами. Подумаешь, что это всё так, для красы разложено — так нет же: ведь есть люди, что всё это покупают и своим женам дарят. — Богатая улица! Немецких булочников очень много живет в Гороховой; тоже, должно быть, народ весьма достаточный. Сколько карет поминутно ездит; как это всё мостовая выносит! Пышные экипажи такие, стекла, как зеркало, внутри бархат и шелк; лакеи дворянские, в эполетах, при шпаге. Я во все кареты заглядывал, всё дамы сидят, такие разодетые, может быть и княжны и графини. Верно, час был такой, что все на балы и в собрания спешили. Любопытно увидеть княгиню и вообще знатную даму вблизи; должно быть, очень хорошо; я никогда не видал; разве вот так, как теперь, в карету заглянешь. Про вас я тут вспомнил. — Ах, голубчик мой, родная моя! как вспомню теперь про вас, так всё сердце изнывает! Отчего вы, Варенька, такая несчастная? Ангельчик мой! да чем же вы-то хуже их всех? Вы у меня добрая, прекрасная, ученая; отчего же

вам такая злая судьба выпадает на долю? Отчего это так всё случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастие само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, зачем одному еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой! Грешно, маточка, оно грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет. Ездили бы и вы в карете такой же, родная моя, ясочка. Взгляда благосклонного вашего генералы ловили бы, — не то что наш брат; ходили бы вы не в холстинковом ветхом платьице, а в шелку да в золоте. Были бы вы не худенькие, не чахленькие, как теперь, а как фигурка сахарная, свеженькая, румяная, полная. А уж я бы тогда и тем одним счастлив был, что хоть бы с улицы на вас в ярко освещенные окна взглянул, что хоть бы тень вашу увидал; от одной мысли, что вам там счастливо и весело, птичка вы моя хорошенькая, и я бы повеселел. А теперь что! Мало того, что злые люди вас погубили, какая-нибудь там дрянь, забулдыга вас обижает. Что фрак-то на нем сидит гоголем, что в лорнетку-то золотую он на вас смотрит, бесстыдник, так уж ему всё с рук сходит, так уж и речь его непристойную снисходительно слушать надо! Полно, так ли, голубчики! А отчего же это всё? А оттого, что вы сирота, оттого, что вы беззащитная, оттого, что нет у вас друга сильного, который бы вам опору пристойную дал. А ведь что это за человек, что это за люди, которым сироту оскорбить нипочем? Это какая-то дрянь, а не люди, просто дрянь; так себе, только числятся, а на деле их нет, и в этом я уверен. Вот они каковы, эти люди! А по-моему, родная моя, вот тот шарманщик, которого я сегодня в Гороховой встретил, скорее к себе почтение внушит, чем они. Он хоть целый день ходит да мается, ждет залежалого, негодного гроша на пропитание, да зато он сам себе господин, сам себя кормит. Он милостыни просить не хочет; зато он для удовольствия людского трудится, как заведенная машина, — вот, дескать, чем могу, принесу удовольствие. Нищий, нищий он, правда, всё тот же нищий; но зато благородный нищий; он устал, он прозяб, но всё трудится, хоть по-своему, а все-таки трудится. И много есть честных людей, маточка, которые хоть немного заработывают по мере и полезности труда своего, но никому не кланяются, ни у кого хлеба не просят. Вот и я точно так же, как и этот шарманщик, т. е. я не то, вовсе

не так, как он, но в своем смысле, в благородном-то, в дворянском-то отношении точно так же, как и он, по мере сил тружусь, чем могу, дескать. Большего нет от меня; ну, да на нет и суда нет.

Я к тому про шарманщика этого заговорил, маточка, что случилось мне бедность свою вдвойне испытать сегодня. Остановился я посмотреть на шарманщика. Мысли такие лезли в голову, — так я, чтобы рассеяться, остановился. Стою я, стоят извозчики, девка какая-то, да еще маленькая девочка, вся такая запачканная. Шарманщик расположился перед чьими-то окнами. Замечаю малютку, мальчика, так себе лет десяти; был бы хорошенький, да на вид больной такой, чахленький, в одной рубашонке да еще в чем-то, чуть ли не босой стоит, разиня рот музыку слушает — детский возраст! загляделся, как у немца куклы танцуют, а у самого и руки и ноги окоченели, дрожит да кончик рукава грызет. Примечаю, что в руках у него бумажечка какая-то. Прошел один господин и бросил шарманщику какую-то маленькую монетку; монетка прямо упала в тот ящик с огородочкой, в котором представлен француз, танцующий с дамами. Только что звякнула монетка, встрепенулся мой мальчик, робко осмотрелся кругом да, видно, на меня подумал, что я деньги дал. Подбежал он ко мне, ручонки дрожат у него, голосенок дрожит, протянул он ко мне бумажку и говорит: записка! Развернул я записку — ну что, всё известное: дескать, благодетели мои, мать у детей умирает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите; а вот как я умру, так за то, что птенцов моих теперь не забыли, на том свете вас, благодетели мои, не забуду. Ну, что тут; дело ясное, дело житейское, а что мне им дать? Ну, и не дал ему ничего. А как было жаль! Мальчик бедненький, посинелый от холода, может быть и голодный, и не врет, ей-ей, не врет; я это дело знаю. Но только то дурно, что зачем эти гадкие матери детей не берегут и полуголых с записками на такой холод посылают. Она, может быть, глупая баба, характера не имеет; да за нее и постараться, может быть, некому, так она и сидит, поджав ноги, может быть, и вправду больная. Ну, да всё обратиться бы, куда следует; а впрочем, может быть, и просто мошенница, нарочно голодного и чахлого ребенка обманывать народ посылает, на болезнь наводит. И чему научится бедный мальчик с этими записками? Только сердце его ожесточается; ходит он, бегает, просит. Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные; слова их жестокие. «Прочь! убирайся! шалишь!» Вот что слышит он от всех, и ожесточается сердце ребенка, и дрожит напрасно на холоде бедненький, запуганный мальчик, словно птенчик, из разбитого гнездышка выпавший. Зябнут у него руки и ноги; дух за-

нимается. Посмотришь, вот он уж и кашляет; тут недалеко ждать, и болезнь, как гад нечистый, заползет ему в грудь, а там, глядишь, и смерть уж стоит над ним, где-нибудь в смрадном углу, без ухода, без помощи — вот и вся его жизнь! Вот какова она, жизнь-то бывает! Ох, Варенька, мучительно слышать Христа ради, и мимо пройти, и не дать ничего, сказать ему: «Бог подаст». Иное Христа ради еще ничего. (И Христа ради-то разные бывают, маточка.) Иное долгое, протяжное, привычное, заученное, прямо нищенское; этому еще не так мучительно не подать, это долгий нищий, давнишний, по ремеслу нищий, этот привык, думаешь, он переможет и знает, как перемочь. А иное Христа ради непривычное, грубое, страшное, — вот как сегодня, когда я было от мальчика записку взял, тут же у забора какой-то стоял, не у всех и просил, говорит мне: «Дай, барин, грош ради Христа!» — да таким отрывистым, грубым голосом, что я вздрогнул от какого-то страшного чувства, а не дал гроша: не было. А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались, — дескать, они беспокоят, они-де назойливы! Да и всегда бедность назойлива, — спать, что ли, мешают их стоны голодные!

Признательно вам сказать, родная моя, начал я вам описывать это всё частию, чтоб сердце отвести, а более для того, чтоб вам образец хорошего слогу моих сочинений показать. Потому что вы, верно, сами сознаетесь, маточка, что у меня с недавнего времени слог формируется. Но теперь на меня такая тоска нашла, что я сам моим мыслям до глубины души стал сочувствовать, и хотя я сам знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмешь, но все-таки некоторым образом справедливость воздашь себе. И подлинно, родная моя, часто самого себя безо всякой причины уничтожаешь, в грош не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнением выразиться, так это, может быть, оттого происходит, что я сам запуган и загнан, как хоть бы и этот бедненький мальчик, что милостыни у меня просил. Теперь я вам, примерно, иносказательно буду говорить, маточка; вот послушайте-ка меня: случается мне, моя родная, рано утром, на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гремит, — тут иногда так перед таким зрелищем умалишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою и рукой махнешь! Теперь же разглядите-ка, что в этих черных, закоптелых, больших капитальных домах делается, вникните в это, и тогда сами рассудите, справедливо ли было без толку сортировать себя и в недостойное смущение входить. Заметьте, Варенька, что я ино-

сказательно говорю, не в прямом смысле. Ну, посмотрим, что там такое в этих домах? Там в каком-нибудь дымном углу, в конуре сырой какой-нибудь, которая, по нужде, за квартиру считается, мастеровой какой-нибудь от сна пробудился; а во сне-то ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились, что вчера он подрезал нечаянно, как будто именно такая дрянь и должна человеку сниться! Ну да ведь он мастеровой, он сапожник: ему простительно всё об одном предмете своем думать. У него там дети пищат и жена голодная; и не одни сапожники встают иногда так, родная моя. Это бы и ничего, и писать бы об этом не стоило, но вот какое выходит тут обстоятельство, маточка: тут же, в этом же доме, этажом выше или ниже, в позлащенных палатах, и богатейшему лицу всё те же сапоги, может быть, ночью снились, то есть на другой манер сапоги, фасона другого, но все-таки сапоги; ибо в смысле-то, здесь мною подразумеваемом, маточка, все мы, родная моя, выходим немного сапожники. И это бы всё ничего, но только то дурно, что нет никого подле этого богатейшего лица, нет человека, который бы шепнул ему на ухо, что «полно, дескать, о таком думать, о себе одном думать, для себя одного жить; ты, дескать, не сапожник, у тебя дети здоровы и жена есть не просит, оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем свои сапоги!» Вот что хотел я сказать вам иносказательно, Варенька. Это, может быть, слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бывает, иногда приходит и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается. И потому не от чего было в грош себя оценять, испугавшись одного шума и грома! Заключу же тем, маточка, что вы, может быть, подумаете, что я вам клевету говорю, или что это так, хандра на меня нашла, или что я это из книжки какой выписал? Нет, маточка, вы разуверьтесь, — не то: клеветою гнушаюсь, хандра не находила и ни из какой книжки ничего не выписывал, — вот что!

Пришел я в грустном расположении духа домой, присел к столу, нагрел себе чайник, да и приготовился стаканчик-другой чайку хлебнуть. Вдруг, смотрю, входит ко мне Горшков, наш бедный постоялец. Я еще утром заметил, что он всё что-то около жильцов шныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу, маточка, что их житье-бытье не в пример моего хуже. Куда! жена, дети! Так что если бы я был Горшков, так уж я не знаю, что бы я на его месте сделал! Ну, так вот, вошел мой Горшков, кланяется, слезинка у него, как и всегда, на ресницах гноится, шаркает ногами, а сам слова не может сказать. Я его посадил на стул, правда на изломанный, да другого не было. Чайку предложил. Он извинялся, долго извинялся, наконец, однако же, взял

стакан. Хотел было без сахару пить, начал опять извиняться, когда я стал уверять его, что нужно взять сахару, долго спорил, отказываясь, наконец положил в свой стакан самый маленький кусочек и стал уверять, что чай необыкновенно сладок. Эк, до уничижения какого доводит людей нищета! «Ну, как же, что, батюшка»? — сказал я ему. «Да вот так и так, дескать, благодетель вы мой, Макар Алексеевич, явите милость Господню, окажите помощь семейству несчастному; дети и жена, есть нечего; отцу-то, мне-то, говорит, каково!» Я было хотел говорить, да он меня прервал: «Я, дескать, всех боюсь здесь, Макар Алексеевич, то есть не то что боюсь, а так, знаете, совестно; люди-то они всё гордые и кичливые. Я бы, говорит, вас, батюшка и благодетель мой, и утруждать бы не стал: знаю, что у вас самих неприятности были, знаю, что вы многого и не можете дать, но хоть что-нибудь взаймы одолжите; и потому, говорит, просить вас осмелился, что знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бедствия испытываете — и что сердце-то ваше потому и чувствует сострадание». Заключил же он тем, что, дескать, простите мою дерзость и мое неприличие, Макар Алексеевич. Я отвечаю ему, что рад бы душой, да что нет у меня ничего, ровно нет ничего. «Батюшка, Макар Алексеевич, — говорит он мне, — я многого и не прошу, а вот так и так (тут он весь покраснел), жена, говорит, дети, — голодно — хоть гривенничек какой-нибудь». Ну, тут уж мне самому сердце защемило. Куда, думаю, меня перещеголяли! А всего-то у меня и оставалось двадцать копеек, да я на них рассчитывал: хотел завтра на свои крайние нужды истратить. «Нет, голубчик мой, не могу; вот так и так», — говорю. «Батюшка, Макар Алексеевич, хоть что хотите, говорит, хоть десять копеечек». Ну, я ему и вынул из ящика и отдал свои двадцать копеек, маточка, всё доброе дело! Эк, нищета-то! Разговорился я с ним: да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались, да еще при таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперед за три месяца; да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда ни сюда ему, бедному. Ждал он, что дело его к этому времени кончится. А дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька, за что-то перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, который сплутовал подрядом с казною; обман открыли, купца под суд, а он в дело-то свое разбойничье и Горшкова запутал, который тут как-то также случился. А по правде-то Горшков виновен только в нерадении, в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казенного интереса. Уж несколько лет дело идет: всё препятствия разные встречаются против Горшко-

ва. «В бесчестии же, на меня взводимом, — говорит мне Горшков, — неповинен, нисколько неповинен, в плутовстве и грабеже неповинен». Дело это его замарало немного; его исключили из службы, и хотя не нашли, что он капитально виновен, но, до совершенного своего оправдания, он до сих пор не может выправить с купца какой-то знатной суммы денег, ему следуемой и перед судом у него оспариваемой. Я ему верю, да суд-то ему на слово не верит; дело-то оно такое, что всё в крючках да в узлах таких, что во сто лет не распутаешь. Чуть немного распутают, а купец еще крючок да еще крючок. Я принимаю сердечное участие в Горшкове, родная моя, соболезную ему. Человек без должности; за ненадежность никуда не принимается; что было запасу, проели; дело запутано, а между тем жить было нужно; а между тем ни с того ни с сего, совершенно некстати, ребенок родился, — ну, вот издержки; сын заболел — издержки, умер — издержки; жена больна; он нездоров застарелой болезнью какой-то: одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет на днях благоприятного решения своего дела и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. Жаль, жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный; покровительства ищет, так вот я его и обласкал. Ну, прощайте же, маточка, Христос с вами, будьте здоровы. Голубчик вы мой! Как вспомню об вас, так точно лекарство приложу к больной душе моей, и хоть страдаю за вас, но и страдать за вас мне легко.

Ваш истинный друг
*Макар Девушкин.*

Сентября 9.

Матушка, Варвара Алексеевна!

Пишу вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что всё кругом меня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу вам теперь! Вот мы и не предчувствовали этого. Нет, я не верю, чтобы я не предчувствовал; я всё это предчувствовал. Всё это заранее слышалось моему сердцу! Я даже намедни во сне что-то видел подобное.

Вот что случилось! — Расскажу вам без слога, а так, как мне на душу Господь положит. Пошел я сегодня в должность. Пришел, сижу, пишу. А нужно вам знать, маточка, что я и вчера писал тоже. Ну, так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Ива-

нович и лично изволит наказывать, что — вот, дескать, бумага нужная, спешная. Перепишите, говорит, Макар Алексеевич, почище, поспешно и тщательно: сегодня к подписанию идет. — Заметить вам нужно, ангельчик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не хотелось; грусть, тоска такая напала! На сердце холодно, на душе темно; в памяти всё вы были, моя бедная ясочка. Ну, вот, я принялся переписывать; переписал чисто, хорошо, только уж не знаю, как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами какими определено было, или просто так должно было сделаться, — только пропустил я целую строчку; смысл-то и вышел Господь его знает какой, просто никакого не вышло. С бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписание его превосходительству только сегодня. Я как ни в чем не бывало являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь рядком с Емельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего совеститься и в стыд приходить. Я в последнее время и не глядел ни на кого. Чуть стул заскрипит у кого-нибудь, так уж я и ни жив ни мертв. Вот точно так сегодня, приник, присмирел, ежом сижу, так что Ефим Акимович (такой задирала, какого и на свете до него не было) сказал во всеуслышание: что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите таким у-у-у? да тут такую гримасу скорчил, что все, кто около него и меня ни были, так и покатились со смеху, и, уж разумеется, на мой счет. И пошли, и пошли! Я и уши прижал и глаза зажмурил, сижу себе, не пошевелюсь. Таков уж обычай мой; они этак скорей отстают. Вдруг слышу шум, беготня, суетня; слышу — не обманываются ли уши мои? зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я так испугался, как никогда еще в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, — и как ни в чем не бывало, точно и не я. Но вот опять начали, ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! где Девушкин? Подымаю глаза: передо мною Евстафий Иванович; говорит: «Макар Алексеевич, к его превосходительству, скорее! Беды вы с бумагой наделали!» Только это одно и сказал, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду — ну, да уж просто ни жив ни мертв отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет — предстал! Положительного отчета, об чем я тогда думал, я вам дать не могу. Вижу, стоят его превосходительство, вокруг него все они. Я, кажется, не поклонился; позабыл. Оторопел так, что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во-первых, совестно;

я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем. Может быть, слышали, так, мельком, что есть у них в ведомстве Девушкин, но в кратчайшие сего сношения никогда не входили.

Начали гневно: «Как же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно к спеху, а вы ее портите. И как же вы это», — тут его превосходительство обратились к Евстафию Ивановичу. Я только слышу, как до меня звуки слов долетают: «Нераденье! неосмотрительность! Вводите в неприятности!» Я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог, убежать — покуситься не смел, и тут... тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. Моя пуговка — ну ее к бесу — пуговка, что висела у меня на ниточке, — вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания! Вот и всё было мое оправдание, всё извинение, весь ответ, всё, что я собирался сказать его превосходительству! Последствия были ужасны! Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале: я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! Нагнулся, хочу взять пуговку, — катается, вертится, не могу поймать, словом, и в отношении ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют, что уж всё, всё потеряно! Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж, коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам! Так нет же: начал пуговку к оторванным ниткам прилаживать, точно оттого она и пристанет, да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потом опять на меня взглянули — слышу, говорят Евстафию Ивановичу: «Как же?.. посмотрите, в каком он виде!.. как он!.. что он!..» Ах, родная моя, что уж тут — как он? Да что он? отличился! Слышу, Евстафий Иванович говорит: «Не замечен, ни в чем не замечен, поведения примерного, жалованья достаточно, по окладу...» — «Ну, облегчить его как-нибудь, — говорит его превосходительство. — Выдать ему вперед...» — «Да забрал, говорят, забрал, вот за столько-то времени вперед забрал. Обстоятельства, верно, такие, а поведения хорошего и не замечен, никогда не замечен». Я, ангельчик мой, горел, я в адском огне горел! Я умирал! «Ну, — говорят его превосходительство громко, —

переписать же вновь поскорее; Девушкин, подойдите сюда, перепишите опять вновь без ошибки; да послушайте...» Тут его превосходительство обернулись к прочим, роздали приказания разные, и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно вынимают книжник и из него сторублевую. «Вот, — говорят они, — чем могу, считайте, как хотите...» — да и всунул мне в руку. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было схватить их ручку хотел. А он-то весь покраснел, мой голубчик, да — вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная моя: взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу. «Ступайте, говорит, чем могу... Ошибок не делайте, а теперь грех пополам».

Теперь, маточка, вот как я решил: вас и Федору прошу, и если бы дети у меня были, то и им бы повелел, чтобы Богу молились, то есть вот как: за родного отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вечно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю — слушайте меня, маточка, хорошенько — клянусь, что как ни погибал я от скорби душевной в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение мое и мою неспособность, несмотря на всё это, клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали, и я твердо уверен, что я как ни грешен перед Всевышним, но молитва о счастии и благополучии его превосходительства дойдет до престола Его!..

Маточка! Я теперь в душевном расстройстве ужасном, в волнении ужасном! Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть. И я сам, как-то весь, как будто ослаб. — Посылаю вам 45 руб. ассигнац., 20 рублей хозяйке даю, у себя 35 оставляю: на 20 платье поправлю, а 15 оставлю на житье-бытье. А только теперь все эти впечатления-то утренние потрясли всё существование мое. Я прилягу. Мне, впрочем, покойно, очень покойно. Только душу ломит, и слышно там, в глубине, душа моя дрожит, трепещет, шевелится. Я приду к вам; а теперь я просто хмелен от всех ощущений этих... Бог видит всё, маточка вы моя, голубушка вы моя бесценная!

Ваш достойный друг

*Макар Девушкин.*

Сентября 10.

Любезный мой Макар Алексеевич!

Я несказанно рада вашему счастию и умею ценить добродетели вашего начальника, друг мой. Итак, теперь вы отдохнете от горя! Но только, ради Бога, не тратьте опять денег попусту. Живите тихонько, как можно скромнее, и с этого же дня начинайте всегда хоть что-нибудь откладывать, чтоб несчастия не застали вас опять внезапно. Об нас, ради Бога, не беспокойтесь. Мы с Федорой кое-как проживем. К чему вы нам денег столько прислали, Макар Алексеевич? Нам вовсе не нужно. Мы довольны и тем, что есть у нас. Правда, нам скоро понадобятся деньги на переезд с этой квартиры, но Федора надеется получить с кого-то давнишний, старый долг. Оставляю, впрочем, себе двадцать рублей на крайние надобности. Остальные посылаю вам назад. Берегите, пожалуйста, деньги, Макар Алексеевич. Прощайте. Живите теперь покойно, будьте здоровы и веселы. Я писала бы вам более, но чувствую ужасную усталость, вчера я целый день не вставала с постели. Хорошо сделали, что обещались зайти. Навестите меня, пожалуйста, Макар Алексеевич.

*В. Д.*

Сентября 11.

Милая моя Варвара Алексеевна!

Умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен. Голубчик мой! Вы Федору не слушайте, а я буду всё, что вам угодно, делать; буду вести себя хорошо, из одного уважения к его превосходительству буду вести себя хорошо и отчетливо; мы опять будем писать друг другу счастливые письма, будем поверять друг другу наши мысли, наши радости, наши заботы, если будут заботы; будем жить вдвоем согласно и счастливо. Займемся литературою... Ангельчик мой! В моей судьбе всё переменилось, и всё к лучшему переменилось. Хозяйка стала сговорчивее, Тереза умнее, даже сам Фальдони стал какой-то проворный. С Ратазяевым я помирился. Сам, на радостях, пошел к нему. Он, право, добрый малый, маточка, и что про него говорили дурного, то всё это был вздор. Я открыл теперь, что всё это была гнусная клевета. Он вовсе и не думал нас описывать: он мне это сам говорил. Читал мне новое сочинение. А что тогда Ловласом-то он меня назвал, так это вовсе не брань или название какое неприличное:

он мне объяснил. Это слово в слово с иностранного взято и значит *проворный малой*, и если покрасивее сказать, политературнее, так значит *парень плохо не клади* — вот! а не что-нибудь там такое. Шутка невинная была, ангельчик мой. Я-то, неуч, сдуру и обиделся. Да уж я теперь перед ним извинился... И погода-то такая замечательная сегодня, Варенька, хорошая такая. Правда, утром была небольшая изморось, как будто сквозь сито сеяло. Ничего! Зато воздух стал посвежее немножко. Ходил я покупать сапоги и купил удивительные сапоги. Прошелся по Невскому. «Пчелку» прочел. Да! про главное я и забываю вам рассказать.

Видите ли что:

Сегодня поутру разговорился я с Емельяном Ивановичем и с Аксентием Михайловичем об его превосходительстве. Да, Варенька, они не с одним мною так обошлись милостиво. Они не одного меня облагодетельствовали и добротою сердца своего всему свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы воссылаются и слезы благодарности льются. У них сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее: выдали за человека известного, за чиновника одного, который по особым поручениям при их же превосходительстве находился. Сына одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили и много еще благодеяний разных оказали. Я, маточка, почел за обязанность тут же и мою лепту положить, всем во всеуслышание поступок его превосходительства рассказал; я всё им рассказал и ничего не утаил. Я стыд-то в карман спрятал. Какой тут стыд, что за амбиция такая при таком обстоятельстве! Так-таки вслух — да будут славны дела его превосходительства! Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про всё рассказал (про вас только благоразумно умолчал, маточка), и про хозяйку мою, и про Фальдони, и про Ратазяева, и про сапоги, и про Маркова — всё рассказал. Кое-кто там пересмеивались, да, правда, и все они пересмеивались. Только это в моей фигуре, верно, они что-нибудь смешное нашли или насчет сапогов моих — именно насчет сапогов. А с дурным каким-нибудь намерением они не могли этого сделать. Это так, молодость, или оттого, что они люди богатые, но с дурным, с злым намерением они никак не могли мою речь осмеивать. То есть что-нибудь насчет его превосходительства — этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Варенька?

Я всё до сих пор не могу как-то опомниться, маточка. Все эти происшествия так смутили меня! Есть ли у вас дрова? Не простудитесь, Варенька; долго ли простудиться. Ох, маточка моя, вы с вашими грустными мыслями меня убиваете. Я уж Бога

молю, как молю его за вас, маточка! Например, есть ли у вас шерстяные чулочки, или так, из одежды что-нибудь потеплее. Смотрите, голубчик мой. Если вам что-нибудь там нужно будет, так уж вы, ради Создателя, старика не обижайте. Так-таки прямо и ступайте ко мне. Теперь дурные времена прошли. Насчет меня вы не беспокойтесь. Впереди всё так светло, хорошо!

А грустное было время, Варенька! Ну да уж всё равно, прошло! Года пройдут, так и про это время вздохнем. Помню я свои молодые годы. Куда! Копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело, да и только. Утром пройдешься по Невскому, личико встретишь хорошенькое, и на целый день счастлив. Славное, славное было время, маточка! Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы простил мне Господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве. Вы одни, ангельчик, укрепляли меня, вы одни утешали меня, напутствовали советами благими и наставлениями. Я этого, маточка, никогда забыть не могу. Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой! Ну, прощайте, маточка. Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное. Так вот я немножко наведаюсь. Прощайте же, ангельчик. Прощайте!

Вам душевно преданный
*Макар Девушкин.*

Сентября 15.

Милостивый государь,
Макар Алексеевич!

Я вся в ужасном волнении. Послушайте-ка, что у нас было. Я что-то роковое предчувствую. Вот посудите сами, мой бесценный друг: господин Быков в Петербурге. Федора его встретила. Он ехал, приказал остановить дрожки, подошел сам к Федоре и стал наведываться, где она живет. Та сначала не сказывала. Потом он сказал, усмехаясь, что он знает, кто у ней живет. (Видно, Анна Федоровна всё ему рассказала.) Тогда Федора не вытерпела и тут же на улице стала его упрекать, укорять, сказала ему, что он человек безнравственный, что он причина всех несчастий моих. Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастие мое навсегда потеряно, что я к тому

же больна и скоро умру. На это он заметил, что я еще слишком молода, что у меня еще в голове бродит и *что и наши добродетели потускнели* (его слова). Мы с Федорой думали, что он не знает нашей квартиры, как вдруг, вчера, только что я вышла для закупок в Гостиный двор, он входит к нам в комнату; ему, кажется, не хотелось застать меня дома. Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; всё рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: «Какой же это чиновник, который с вами знаком?» На ту пору вы чрез двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся. Федора упрашивала его уйти, сказала ему, что я и так уже нездорова от огорчений и что видеть его у нас мне будет весьма неприятно. Он промолчал; сказал, что он так приходил, от нечего делать, и хотел дать Федоре двадцать пять рублей; та, разумеется, не взяла. Что бы это значило? Зачем это он приходил к нам? Я понять не могу, откуда он всё про нас знает! Я теряюсь в догадках. Федора говорит, что Аксинья, ее золовка, которая ходит к нам, знакома с прачкой Настасьей, а Настасьин двоюродный брат сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника Анны Федоровны, так вот не переползла ли как-нибудь сплетня? Впрочем, очень может быть, что Федора и ошибается; мы не знаем, что придумать. Неужели он к нам опять придет! Одна мысль эта ужасает меня! Когда Федора рассказала всё это вчера, так я так испугалась, что чуть было в обморок не упала от страха. Чего еще им надобно? Я теперь их знать не хочу! Что им за дело до меня, бедной! Ах! в каком я страхе теперь; так вот и думаю, что войдет сию минуту Быков. Что со мною будет! Что еще мне готовит судьба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич. Зайдите, ради Бога, зайдите.

*В. Д.*

Сентября 18.

Маточка, Варвара Алексеевна!

Сего числа случилось у нас в квартире донельзя горестное, ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков (заметить вам нужно, маточка) совершенно оправдался. Решение-то уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нем за нерадение и неосмотрительность — на всё вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу с купца знатную сумму денег, так что он и

обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась, и все стало лучше, — одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришел он сегодня в три часа домой. На нем лица не было, бледный как полотно, губы у него трясутся, а сам улыбается — обнял жену, детей. Мы все гурьбою ходили к нему поздравлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся на все стороны, жал у каждого из нас руку по нескольку раз. Мне даже показалось, что он и вырос-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком, бедный. Двух минут на месте не мог простоять; брал в руки всё, что ему ни попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался и кланялся, садился, вставал, опять садился, говорил Бог знает что такое — говорит: «Честь моя, честь, доброе имя, дети мои», — и как говорил-то! даже заплакал. Мы тоже большею частию прослезились. Ратазяев, видно, хотел его ободрить и сказал: «Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное; вот за что Бога благодарите!» — и тут же его по плечу потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся, т. е. не то чтобы прямо неудовольствие высказал, а только посмотрел как-то странно на Ратазяева да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочем, различные бывают характеры. Вот я, например, на таких радостях гордецом бы не выказался; ведь чего, родная моя, иногда и поклон лишний и унижение изъявляешь не от чего иного, как от припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца... но, впрочем, не во мне тут и дело! «Да, говорит, и деньги хорошо; слава Богу, слава Богу!» — и потом всё время, как мы у него были, твердил: «Слава Богу, слава Богу!..» Жена его заказала обед поделикатнее и пообильнее. Хозяйка наша сама для них стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты, звали ль, не звали его. Так себе войдет, улыбнется, присядет на стул, скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет — и уйдет. У мичмана даже карты в руки взял; его и усадили играть за четвертого. Он поиграл, поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал три-четыре хода и бросил играть. «Нет, говорит, ведь я так, я, говорит, это только так», — и ушел от них. Меня встретил в коридоре, взял меня за обе руки, посмотрел мне прямо в глаза, только так чудно; пожал мне руку и отошел, и всё улыбаясь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала от радости; весело так всё у них было, по-праздничному. Пообедали они скоро. Вот после обеда он и говорит жене: «Послушайте, душенька, вот я немного прилягу», — да и пошел на постель. Подозвал к себе

дочку, положил ей на головку руку и долго, долго гладил по головке ребенка. Потом опять оборотился к жене: «А что ж Петенька? Петя наш, говорит, Петенька?..» Жена перекрестилась, да и отвечает, что ведь он же умер. «Да, да, знаю, всё знаю, Петенька теперь в царстве небесном». Жена видит, что он сам не свой, что происшествие-то его потрясло совершенно, и говорит ему: «Вы бы, душенька, заснули». — «Да, хорошо, я сейчас... я немножко», — тут он отвернулся, полежал немного, потом оборотился, хотел сказать что-то. Жена не расслышала, спросила его: «Что, мой друг?» А он не отвечает. Она подождала немножко — ну, думает, уснул, и вышла на часок к хозяйке. Через час времени воротилась — видит, муж еще не проснулся и лежит себе, не шелохнется. Она думала, что спит, села и стала работать что-то. Она рассказывает, что она работала с полчаса и так погрузилась в размышление, что даже не помнит, о чем она думала, говорит только, что она позабыла об муже. Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, и гробовая тишина в комнате поразила ее прежде всего. Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит всё в одном положении. Она подошла к нему, сдернула одеяло, смотрит — а уж он холодехонек — умер, маточка, умер Горшков, внезапно умер, словно его громом убило! А отчего умер — Бог его знает. Меня это так сразило, Варенька, что я до сих пор опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так просто мог умереть человек. Этакой бедняга, горемыка этот Горшков! Ах, судьба-то, судьба какая! Жена в слезах, такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. У них там суматоха такая идет; следствие медицинское будут делать... уж не могу вам наверно сказать. Только жалко, ох как жалко! Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь... Погибаешь этак ни за что...

Ваш
*Макар Девушкин.*

Сентября 19.

Милостивая государыня,
Варвара Алексеевна!

Спешу вас уведомить, друг мой, что Ратазяев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись — слава Богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело приняться; требуют поскорее. Что-то всё об таком писано, что

как будто и не понимаешь... По сорок копеек с листа уговорились. Я к тому всё это пишу вам, родная моя, что будут теперь посторонние деньги. Ну, а теперь прощайте, маточка. Я уж прямо и за работу.

Ваш верный друг
*Макар Девушкин.*

Сентября 23.

Дорогой друг мой,
Макар Алексеевич!

Я вам уже третий день, мой друг, ничего не писала, а у меня было много, много забот, много тревоги.

Третьего дня был у меня Быков. Я была одна, Федора куда-то ходила. Я отворила ему и так испугалась, когда его увидела, что не могла тронуться с места. Я чувствовала, что я побледнела. Он вошел по своему обыкновению с громким смехом, взял стул и сел. Я долго не могла опомниться, наконец села в угол за работу. Он скоро перестал смеяться. Кажется, мой вид поразил его. Я так похудела в последнее время; щеки и глаза мои ввалились, я была бледна, как платок... действительно, меня трудно узнать тому, кто знал меня год тому назад. Он долго и пристально смотрел на меня, наконец опять развеселился. Сказал что-то такое; я не помню, что отвечала ему, и он опять засмеялся. Он сидел у меня целый час; долго говорил со мной; кой о чем расспрашивал. Наконец, перед прощанием, он взял меня за руку и сказал (я вам пишу от слова и до слова): «Варвара Алексеевна! Между нами сказать, Анна Федоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и приятельница, преподлая женщина». (Тут он еще назвал ее одним неприличным словом.) «Совратила она и двоюродную вашу сестрицу с пути, и вас погубила. С моей стороны и я в этом случае подлецом оказался, да ведь что, дело житейское». Тут он захохотал что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорить не мастер, и что главное, что объяснить было нужно и об чем обязанности благородства повелевали ему не умалчивать, уж он объявил, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возвратить мне честь, что он богат, что он увезет меня после свадьбы в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить; что он более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и собственно для этого слу-

чая, т. е. желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это главная причина его сватовства. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге, предрек мне неминуемую смерть, если я хоть месяц еще так останусь, сказал, что в Петербурге квартиры гадкие и, наконец, что не надо ли мне чего?

Я так была поражена его предложением, что, сама не знаю отчего, заплакала. Он принял мои слезы за благодарность и сказал мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и ученая девица, но что он не прежде, впрочем, решился на сию мер у, как разузнав со всею подробностию о моем теперешнем поведении. Тут он расспрашивал о вас, сказал, что про всё слышал, что вы благородных правил человек, что он с своей стороны не хочет быть у вас в долгу и что довольно ли вам будет пятисот рублей за всё, что вы для меня сделали? Когда же я ему объяснила, что вы для меня то сделали, чего никакими деньгами не заплатишь, то он сказал мне, что всё вздор, что всё это романы, что я еще молода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг; советовал прожить его годы и тогда об людях говорить; «тогда, — прибавил он, — и людей узнаете». Потом он сказал, чтобы я поразмыслила хорошенько об его предложениях, что ему весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно, прибавил, что необдуманность и увлечение губят юность неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благоприятного ответа, что, наконец, в противном случае, он принужден будет жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, я присягнул негодяя племянника лишить наследства. Он оставил насильно у меня на пальцах пятьсот рублей, как он сказал, на конфекты; сказал, что в деревне я растолстею, как лепешка, что буду у него как сыр в масле кататься, что у него теперь ужасно много хлопот, что он целый день по делам протаскался и что теперь между делом забежал ко мне. Тут он ушел. Я долго думала, я много передумала, я мучилась, думая, друг мой, наконец я решилась. Друг мой, я выйду за него, я должна согласиться на его предложение. Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастия в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы? Федора говорит, что своего счастия терять не нужно; говорит — что же в таком случае и называется счастием? Я по крайней мере не нахожу другого пути для себя, бесценный друг мой. Что мне делать? Работою я и так всё здоровье испортила; работать постоянно я не могу. В люди идти? —

я с тоски исчахну, к тому же я никому не угожу. Я хворая от природы и потому всегда буду бременем на чужих руках. Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой, что же мне делать? Из чего выбирать мне?

Я не просила у вас советов. Я хотела обдумать одна. Решение, которое вы прочли сейчас, неизменно, и я немедленно объявляю его Быкову, который и без того торопит меня окончательным решением. Он сказал, что у него дела не ждут, что ему нужно ехать и что не откладывать же их из-за пустяков. Знает Бог, буду ли я счастлива, в Его святой, неисповедимой власти судьбы мои, но я решилась. Говорят, что Быков человек добрый; он будет уважать меня; может быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать более от нашего брака?

Уведомляю вас обо всем, Макар Алексеевич. Я уверена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце всё, что принудило меня так поступить. Я очень тревожилась сначала, но теперь я спокойнее. Что впереди, я не знаю. Что будет, то будет; как Бог пошлет!..

Пришел Быков; я бросаю письмо неоконченным. Много еще хотела сказать вам. Быков уж здесь!

*В. Д.*

Сентября 23.

Маточка, Варвара Алексеевна!

Я, маточка, спешу вам отвечать; я, маточка, спешу вам объявить, что я изумлен. Всё это как-то не того... Вчера мы похоронили Горшкова. Да, это так, Варенька, это так; Быков поступил благородно; только вот, видите ли, родная моя, так вы и соглашаетесь. Конечно, во всем воля Божия; это так, это непременно должно быть так, т. е. тут воля-то Божия непременно должна быть; и промысл Творца небесного, конечно, и благ и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое. Федора тоже в вас участие принимает. Конечно, вы счастливы теперь будете, маточка, в довольстве будете, моя голубочка, ясочка моя, ненаглядная вы моя, ангельчик мой, — только вот, видите ли, Варенька, как же это так скоро?.. Да, дела... у господина Быкова есть дела — конечно, у кого нет дел, и у него тоже они могут случиться... видел я его, как он от вас выходил. Видный, видный мужчина; даже уж и очень видный мужчина. Только всё это как-то не так, дело-то не в том именно, что он видный мужчина, да и я-то теперь как-то сам не свой. Только вот как же мы будем теперь пись-

ма-то друг к другу писать? Я-то, я-то как же один останусь? Я, ангельчик мой, всё взвешиваю, всё взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце-то моем всё это взвешиваю, причины-то эти. Я уже двадцатый лист оканчивал переписывать, а между тем эти происшествия-то нашли! Маточка, ведь вот вы едете, так и закупки-то вам различные сделать нужно, башмачки разные, платьице, а вот у меня, кстати, и магазин есть знакомый в Гороховой; помните, как я вам еще его всё описывал. Да нет же! Как же вы, маточка, что вы! ведь вам нельзя теперь ехать, совершенно невозможно, никак невозможно. Ведь вам нужно покупки большие делать, да и экипаж заводить. К тому же и погода теперь дурная; вы посмотрите-ка, дождь как из ведра льет, и такой мокрый дождь, да еще... еще то, что вам холодно будет, мой ангельчик; сердечку-то вашему будет холодно! Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь? Да вот Федора говорит, что вас счастие ожидает большое... да ведь она баба буйная и меня погубить желает. Пойдете ли вы ко всенощной сегодня, маточка? Я бы вас пошел посмотреть. Оно, правда, маточка, совершенная правда, что вы девица ученая, добродетельная и чувствительная, только пусть уж он лучше женится на купчихе! Как вы думаете, маточка? пусть уж лучше на купчихе-то женится! Я к вам, Варенька вы моя, как смеркнется, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, так я и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь ждете Быкова, а как он уйдет, так тогда... Вот подождите, маточка, я забегу...

*Макар Девушкин.*

Сентября 27.

Друг мой, Макар Алексеевич!

Господин Быков сказал, что у меня непременно должно быть на три дюжины рубашек голландского полотна. Так нужно как можно скорее приискать белошвеек для двух дюжин, а времени у нас очень мало. Господин Быков сердится, говорит, что с этими тряпками ужасно много возни. Свадьба наша через пять дней, а на другой день после свадьбы мы едем. Господин Быков торопится, говорит, что на вздор много времени не нужно терять. Я измучилась от хлопот и чуть на ногах стою. Дела страшная куча, а, право, лучше, если б этого ничего не было. Да еще: у нас недостает блонд и кружева, так вот нужно бы прикупить, потому что господин Быков говорит, что он не хочет, чтобы жена его как кухарка ходила, и что я непременно должна «утереть нос

всем помещицам». Так он сам говорит. Так вот, Макар Алексеевич, адресуйтесь, пожалуйста, к мадам Шифон в Гороховую и попросите, во-первых, прислать к нам белошвеек, а во-вторых, чтоб и сама потрудилась заехать. Я сегодня больна. На новой квартире у нас так холодно и беспорядки ужасные. Тетушка господина Быкова чуть-чуть дышит от старости. Я боюсь, чтобы не умерла до нашего отъезда, но господин Быков говорит, что ничего, очнется. В доме у нас беспорядки ужасные. Господин Быков с нами не живет, так люди все разбегаются, Бог знает куда. Случается, что одна Федора нам прислуживает: а камердинер господина Быкова, который смотрит за всем, уже третий день неизвестно где пропадает. Господин Быков заезжает каждое утро, всё сердится и вчера побил приказчика дома, за что имел неприятности с полицией... Не с кем было к вам и письма-то послать. Пишу по городской почте. Да! Чуть было не забыла самого важного. Скажите мадам Шифон, чтобы блонды она непременно переменила, сообразуясь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый выбор. Да скажите еще, что я раздумала насчет канзу; что его нужно вышивать крошью. Да еще: буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром; слышите ли? тамбуром, а не гладью. Смотрите же, не забудьте, что тамбуром! Вот еще чуть было не забыла! Передайте ей, ради Бога, чтобы листики на пелерине шить возвышенно, усики и шипы кордонне, а потом обшить воротник кружевом или широкой фальбалой. Пожалуйста, передайте, Макар Алексеевич.

Ваша
*В. Д.*

P. S. Мне так совестно, что я всё вас мучаю моими комиссиями. Вот и третьего дня вы целое утро бегали. Но что делать! У нас в доме нет никакого порядка, а я сама нездорова. Так не досадуйте на меня, Макар Алексеевич. Такая тоска! Ах, что это будет, друг мой, милый мой, добрый мой Макар Алексеевич! Я и заглянуть боюсь в мое будущее. Я всё что-то предчувствую и точно в чаду в каком-то живу.

P. S. Ради Бога, мой друг, не позабудьте чего-нибудь из того, что я вам теперь говорила. Я всё боюсь, чтобы вы как-нибудь не ошиблись. Помните же, тамбуром, а не гладью.

*В. Д.*

Сентября 27.

Милостивая государыня,
Варвара Алексеевна!

Комиссии ваши все исполнил рачительно. Мадам Шифон говорит, что она уже сама думала обшивать тамбуром; что это приличнее, что ли, уж не знаю, в толк не взял хорошенько. Да еще, вы там фальбалу написали, так она и про фальбалу говорила. Только я, маточка, и позабыл, что она мне про фальбалу говорила. Только помню, очень много говорила; такая скверная баба! Что бишь такое? Да вот она вам сама всё расскажет. Я, маточка моя, совсем замотался. Сегодня я и в должность не ходил. Только вы-то, родная моя, напрасно отчаиваетесь. Для вашего спокойствия я готов все магазины обегать. Вы пишете, что в будущее заглянуть боитесь. Да ведь сегодня в седьмом часу всё узнаете. Мадам Шифон сама к вам приедет. Так вы и не отчаивайтесь; надейтесь, маточка; авось и все-то устроится к лучшему — вот. Так того-то, я всё фальбалу-то проклятую — эх, мне эта фальбала, фальбала! Я бы к вам забежал, ангельчик, забежал бы, непременно бы забежал; я уж и так к воротам вашего дома раза два подходил. Да всё Быков, то есть, я хочу сказать, что господин Быков всё сердитый такой, так вот оно и не того... Ну, да уж что!

*Макар Девушкин.*

Сентября 28.

Милостивый государь,
Макар Алексеевич!

Ради Бога, бегите сейчас к брильянтщику. Скажите ему, что серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится; говорит, что ему и так в карман стало и что мы его грабим, а вчера сказал, что если бы вперед знал да ведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчают, так сейчас и уедем, что гостей не будет и чтобы я вертеться и плясать не надеялась, что еще далеко до праздников. Вот он как говорит! А Бог видит, нужно ли мне всё это! Сам же господин Быков всё заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею: он горячий такой. Что со мною будет!

*В. Д.*

Сентября 28.

Голубчик мой, Варвара Алексеевна!

Я — то есть брильянтщик говорит — хорошо; а я про себя хотел сначала сказать, что я заболел и встать не могу с постели. Вот теперь, как время пришло хлопотливое, нужное, так и простуды напали, враг их возьми! Тоже уведомляю вас, что к довершению несчастий моих и его превосходительство изволили быть строгими, и на Емельяна Ивановича много сердились и кричали, и под конец совсем измучились, бедненькие. Вот я вас и уведомляю обо всем. Да еще хотел вам написать что-нибудь, только вас утруждать боюсь. Ведь я, маточка, человек глупый, простой, пишу себе что ни попало, так, может быть, вы там чего-нибудь и такого — ну, да уж что!

Ваш
*Макар Девушкин.*

Сентября 29.

Варвара Алексеевна, родная моя!

Я сегодня Федору видел, голубчик мой. Она говорит, что вас уже завтра венчают, а послезавтра вы едете и что господин Быков уже лошадей нанимает. Насчет его превосходительства я уже уведомлял вас, маточка. Да еще: счеты из магазина в Гороховой я проверил; всё верно, да только очень дорого. Только за что же господин-то Быков на вас сердится? Ну, будьте счастливы, маточка! Я рад; да, я буду рад, если вы будете счастливы. Я бы пришел в церковь, маточка, да не могу, болит поясница. Так вот я всё насчет писем: ведь вот кто же теперь их передавать-то нам будет, маточка? Да! Вы Федору-то облагодетельствовали, родная моя! Это доброе дело вы сделали, друг мой; это вы очень хорошо сделали. Доброе дело! А за каждое доброе дело вас Господь благословлять будет. Добрые дела не остаются без награды, и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости Божией, рано ли, поздно ли. Маточка! Я бы вам много хотел написать, так, каждый час, каждую минуту всё бы писал, всё бы писал! У меня еще ваша книжка осталась одна, «Белкина повести», так вы ее, знаете, маточка, не берите ее у меня, подарите ее мне, мой голубчик. Это не потому, что уж мне так ее читать хочется. Но сами вы знаете, маточка, подходит зима; вечера будут длинные; грустно будет, так вот бы и почитать. Я, маточка, перееду с моей квартиры на вашу старую и буду нанимать у Федоры. Я с этой честной женщиной теперь ни за что не расстанусь;

к тому же она такая работящая. Я вашу квартиру опустевшую вчера подробно осматривал. Там, как были ваши пялечки, а на них шитье, так они и остались нетронутые: в углу стоят. Я ваше шитье рассматривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмецо мое вы ниточки начали было наматывать. В столике нашел бумажки листочек, а на бумажке написано: «Милостивый государь, Макар Алексеевич, спешу» — и только. Видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кроватка стоит... Голубчик вы мой!!! Ну, прощайте, прощайте; ради Бога, отвечайте мне что-нибудь на это письмецо поскорее.

*Макар Девушкин.*

Сентября 30.

Бесценный друг мой,
Макар Алексеевич!

Всё совершилось! Выпал мой жребий; не знаю какой, но я воле Господа покорна. Завтра мы едем. Прощаюсь с вами в последний раз, бесценный мой, друг мой, благодетель мой, родной мой! Не горюйте обо мне, живите счастливо, помните обо мне, и да снизойдет на вас благословение Божие! Я буду вспоминать вас часто в мыслях моих, в молитвах моих. Вот и кончилось это время! Я мало отрадного унесу в новую жизнь из воспоминаний прошедшего; тем драгоценнее будет воспоминание об вас, тем драгоценнее будете вы моему сердцу. Вы единственный друг мой; вы только одни здесь любили меня. Ведь я всё видела, я ведь знала, как вы любили меня! Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма моего. Вам нужно будет теперь отвыкать от меня! Как вы одни здесь останетесь! На кого вы здесь останетесь, добрый, бесценный, единственный друг мой! Оставляю вам книжку, пяльцы, начатое письмо; когда будете смотреть на эти начатые строчки, то мыслями читайте дальше всё, что бы хотелось вам услышать или прочесть от меня, всё, что я ни написала бы вам; а чего бы я не написала теперь! Вспоминайте о бедной вашей Вареньке, которая вас так крепко любила. Все ваши письма остались в комоде у Федоры, в верхнем ящике. Вы пишете, что вы больны, а господин Быков меня сегодня никуда не пускает. Я буду вам писать, друг мой, я обещаюсь, но ведь один Бог знает, что может случиться. Итак, простимся теперь навсегда, друг мой, голубчик мой, родной мой, навсегда!.. Ох, как бы я теперь обняла вас! Прощайте, мой друг, прощайте, прощайте. Живите счастливо; будьте здоровы. Моя

молитва будет вечно об вас. О! как мне грустно, как давит всю мою душу. Господин Быков зовет меня. Вас вечно любящая

*В.*

P. S. Моя душа так полна, так полна теперь слезами...
Слезы теснят меня, рвут меня. Прощайте.
Боже! как грустно!
Помните, помните вашу бедную Вареньку!

---

Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя! Вас увозят, вы едете! Да теперь лучше бы сердце они из груди моей вырвали, чем вас у меня! Как же вы это! Вот вы плачете, и вы едете?! Вот я от вас письмецо сейчас получил, всё слезами закапанное. Стало быть, вам не хочется ехать; стало быть, вас насильно увозят, стало быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите! Да как же, с кем же вы теперь будете? Там вашему сердечку будет грустно, тошно и холодно. Тоска его высосет, грусть его пополам разорвет. Вы там умрете, вас там в сыру землю положат; об вас и поплакать будет некому там! Г-н Быков будет всё зайцев травить... Ах, маточка, маточка! на что же вы это решились, как же вы на такую меру решиться могли? Что вы сделали, что вы сделали, что вы над собой сделали! Ведь вас там в гроб сведут; они заморят вас там, ангельчик. Ведь вы, маточка, как перышко слабенькие! И я-то где был? Чего я тут, дурак, глазел! Вижу, дитя блажит, у дитяти просто головка болит! Чем бы тут попросту — так нет же, дурак дураком, и не думаю ничего, и не вижу ничего, как будто и прав, как будто и дело до меня не касается; и еще за фальбалой бегал!.. Нет, я, Варенька, встану; я к завтрашнему дню, может быть, выздоровлю, так вот я и встану!.. Я, маточка, под колеса брошусь; я вас не пущу уезжать! Да нет, что же это в самом деле такое? По какому праву всё это делается? Я с вами уеду; я за каретой вашей побегу, если меня не возьмете, и буду бежать что есть мочи, покамест дух из меня выйдет. Да вы знаете ли только, что там такое, куда вы едете-то, маточка? Вы, может быть, этого не знаете, так меня спросите! Там степь, родная моя, там степь, голая степь; вот как моя ладонь голая! Там ходит баба бесчувственная да мужик необразованный, пьяница ходит. Там теперь листья с дерев осыпались, там дожди, там холодно, — а вы туда едете! Ну, господину Быкову там есть занятие: он там будет с зайцами; а вы что? Вы помещицей хотите быть, маточка? Но, херувимчик вы мой! вы поглядите-ка

на себя, похожи ли вы на помещицу?.. Да как же может быть такое, Варенька! К кому же я письма буду писать, маточка? Да! вот вы возьмите-ка в соображение, маточка, — дескать, к кому же он письма будет писать? Кого же я маточкой называть буду; именем-то любезным таким кого называть буду? Где мне вас найти потом, ангельчик мой? Я умру, Варенька, непременно умру; не перенесет мое сердце такого несчастия! Я вас, как свет Господень, любил, как дочку родную любил, я всё в вас любил, маточка, родная моя! и сам для вас только и жил одних! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаге передавал в виде дружеских писем, всё оттого, что вы, маточка, здесь, напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали, а это всё было именно так! Да, послушайте, маточка, вы рассудите, голубчик мой миленький, как же это может быть, чтобы вы от нас уехали? Родная моя, ведь вам ехать нельзя, невозможно; просто решительно никакой возможности нет! Ведь вот дождь идет, а вы слабенькие, вы простудитесь. Ваша карета промокнет; она непременно промокнет. Она, только что вы за заставу выедете, и сломается; нарочно сломается. Ведь здесь в Петербурге прескверно кареты делают! Я и каретников этих всех знаю; они только чтоб фасончик, игрушечку там какую-нибудь смастерить, а непрочно! присягну, что непрочно делают! Я, маточка, на колени перед господином Быковым брошусь; я ему докажу, всё докажу! И вы, маточка, докажите; резоном докажите ему! Скажите, что вы остаетесь и что вы не можете ехать!.. Ах, зачем это он в Москве на купчихе не женился? Уж пусть бы он там на ней-то женился! Ему купчиха лучше, ему она гораздо лучше бы шла; уж это я знаю почему! А я бы вас здесь у себя держал. Да что он вам-то, маточка, Быков-то? Чем он для вас вдруг мил сделался? Вы, может быть, оттого, что он вам фальбалу-то всё закупает, вы, может быть, от этого! Да ведь что же фальбала? зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор! Тут речь идет о жизни человеческой, а ведь она, маточка, тряпка — фальбала; она, маточка, фальбала-то — тряпица. Да я вот вам сам, вот только что жалованье получу, фальбалы накуплю; я вам ее накуплю, маточка; у меня там вот и магазинчик знакомый есть; вот только жалованья дайте дождаться мне, херувимчик мой, Варенька! Ах, Господи, Господи! Так вы это непременно в степь с господином Быковым уезжаете, безвозвратно уезжаете! Ах, маточка!.. Нет, вы мне еще напишите, еще мне письмецо напишите обо всем, и когда уедете, так и оттуда письмо напишите. А то ведь, ангел небесный мой, это будет последнее письмо; а ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее. Ведь вот как же, так вдруг, именно, непременно последнее! Да

нет же, я буду писать, да и вы-то пишите... А то у меня и слог теперь формируется... Ах, родная моя, что слог! Ведь вот я теперь и не знаю, что это я пишу, никак не знаю, ничего не знаю, и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только бы писать, только бы вам написать побольше... Голубчик мой, родная моя, маточка вы моя!

# ДВОЙНИК

## ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЭМА

### *Глава I*

Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек не вполне еще уверенный, проснулся ли он или всё еще спит, наяву ли и в действительности ли всё, что около него теперь совершается, или — продолжение его беспорядочных сонных грез. Вскоре, однако ж, чувства господина Голядкина стали яснее и отчетливее принимать свои привычные, обыденные впечатления. Знакомо глянули на него зеленовато-грязноватые, закоптелые, пыльные стены его маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное дерево, стол, окрашенный красною краскою, клеенчатый турецкий диван красноватого цвета с зелененькими цветочками и, наконец, вчера впопыхах снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, в четвертом этаже одного весьма большого, капитального дома, в собственной квартире своей. Сделав такое важное открытие, господин Голядкин судорожно закрыл глаза, как бы сожалея о недавнем сне и желая его воротить на минутку. Но через минуту он одним скачком выпрыгнул из постели, вероятно попав наконец в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, не приведенные в над-

лежащий порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комоде. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничьего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале. «Вот бы штука была, — сказал господин Голядкин вполголоса, — вот бы штука была, если б я сегодня манкировал в чем-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь не так, — прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность; впрочем, покамест недурно; покамест всё идет хорошо». Очень обрадовавшись тому, что всё идет хорошо, господин Голядкин поставил зеркало на прежнее место, а сам, несмотря на то что был босиком и сохранял на себе тот костюм, в котором имел обыкновение отходить ко сну, подбежал к окошку и с большим участием начал что-то отыскивать глазами на дворе дома, на который выходили окна квартиры его. По-видимому, и то, что он отыскал на дворе, совершенно его удовлетворило; лицо его просияло самодовольной улыбкою. Потом, — заглянув, впрочем, сначала за перегородку в каморку Петрушки, своего камердинера, и уверившись, что в ней нет Петрушки, — на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем уголку этого ящика, вынул наконец из-под старых пожелтевших бумаг и кой-какой дряни зеленый истертый бумажник, открыл его осторожно — и бережно и с наслаждением заглянул в самый дальный, потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед собою на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. Наконец, он вынул ее, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, и, в сотый раз впрочем, считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и указательным пальцами. «Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями! — окончил он наконец полушепотом. — Семьсот пятьдесят рублей... знатная сумма! Это приятная сумма, — продолжал он дрожащим, немного расслабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно, — это весьма приятная сумма! Хоть кому приятная сумма! Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожною суммою? Такая сумма может далеко повести человека...»

«Однако что же это такое? — подумал господин Голядкин, — да где же Петрушка?» Всё еще сохраняя тот же костюм, заглянул он другой раз за перегородку. Петрушки опять не нашлось за перегородкой, а сердился, горячился и выходил из себя лишь один поставленный там на полу самовар, беспрерывно угрожая сбежать, и что-то с жаром, быстро болтал на своем мудреном языке, картавя и шепелявя господину Голядкину, — вероятно, то, что, дескать, возьмите же меня, добрые люди, ведь я совершенно поспел и готов.

«Черти бы взяли! — подумал господин Голядкин. — Эта ленивая бестия может, наконец, вывесть человека из последних границ; где он шатается?» В справедливом негодовании вошел он в переднюю, состоявшую из маленького коридора, в конце которого находилась дверь в сени, крошечку приотворил эту дверь и увидел своего служителя, окруженного порядочной кучкой всякого лакейского, домашнего и случайного сброда. Петрушка что-то рассказывал, прочие слушали. По-видимому, ни тема разговора, ни самый разговор не понравились господину Голядкину. Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату совсем недовольный, даже расстроенный. «Эта бестия ни за грош готова продать человека, а тем более барина, —подумал он про себя, — и продал, непременно продал, пари готов держать, что ни за копейку продал».

— Ну, что?..

— Ливрею принесли, сударь.

— Надень и пошел сюда.

Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно донельзя. На нем была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея, с золотыми обсыпавшимися галунами и, по-видимому, шитая на человека ростом на целый аршин выше Петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с галунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакейский меч в кожаных ножнах.

Наконец, для полноты картины Петрушка, следуя любимому своему обыкновению ходить всегда в неглиже, по-домашнему, был и теперь босиком. Господин Голядкин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался доволен. Ливрея, очевидно, была взята напрокат для какого-то торжественного случая. Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Голядкина.

— Ну, а карета?

— И карета приехала.

— На весь день?

— На весь день. Двадцать пять, ассигнацией.
— И сапоги принесли?
— И сапоги принесли.
— Болван! не можешь сказать принесли-с. Давай их сюда.

Изъявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин Голядкин спросил чаю, умываться и бриться. Обрился он весьма тщательно и таким же образом вымылся, хлебнул чаю наскоро и приступил к своему главному, окончательному облачению: надел панталоны почти совершенно новые; потом манишку с бронзовыми пуговками, жилетку с весьма яркими и приятными цветочками; на шею повязал пестрый шелковый галстух и, наконец, натянул вицмундир, тоже новехонький и тщательно вычищенный. Одеваясь, он несколько раз с любовью взглядывал на свои сапоги, поминутно приподымал то ту, то другую ногу, любовался фасоном и что-то всё шептал себе под нос, изредка подмигивая своей думке выразительною гримаскою. Впрочем, в это утро господин Голядкин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счет помогавшего ему одеваться Петрушки. Наконец, справив всё, что следовало, совершенно одевшись, господин Голядкин положил в карман свой бумажник, полюбовался окончательно на Петрушку, надевшего сапоги и бывшего таким образом тоже в совершенной готовности, и, заметив, что всё уже сделано и ждать уже более нечего, торопливо, суетливо, с маленьким трепетанием сердца сбежал с своей лестницы. Голубая извозчичья карета, с какими-то гербами, с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету; непривычным голосом и едва сдерживая дурацкий смех, крикнул: «Пошел!», вскочил на запятки, и всё это, с шумом и громом, звеня и треща, покатилось на Невский проспект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Голядкин судорожно потер себе руки и залился тихим, неслышным смехом, как человек веселого характера, которому удалось сыграть славную штуку и которой штуке он сам рад-радехонек. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменился каким-то странным озабоченным выражением в лице господина Голядкина. Несмотря на то что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. На повороте с Литейной на Невский проспект он вздрогнул от одного самого неприятного ощущения и, сморщась, как бедняга, которому наступили нечаянно на мозоль, торопливо, даже со страхом прижался в самый темный уголок своего экипажа. Дело

в том, что он встретил двух сослуживцев своих, двух молодых чиновников того ведомства, в котором сам состоял на службе. Чиновники же, как показалось господину Голядкину, были тоже, с своей стороны, в крайнем недоумении, встретив таким образом своего сотоварища; даже один из них указал пальцем на господина Голядкина. Господину Голядкину показалось даже, что другой кликнул его громко по имени, что, разумеется, было весьма неприлично на улице. Герой наш притаился и не отозвался. «Что за мальчишки! — начал он рассуждать сам с собою. — Ну что же такого тут странного? Человек в экипаже; человеку нужно быть в экипаже, вот он и взял экипаж. Просто дрянь! Я их знаю, — просто мальчишки, которых еще нужно посечь! Им бы только в орлянку при жалованье да где-нибудь потаскаться, вот это их дело. Сказал бы им всем кое-что, да уж только...» Господин Голядкин не докончил и обмер. Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Голядкину, запряженных в щегольские дрожки, быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин, сидевший на дрожках, нечаянно увидев лицо господина Голядкина, довольно неосторожно высунувшего свою голову из окошка кареты, тоже, по-видимому, крайне был изумлен такой неожиданной встречей и, нагнувшись сколько мог, с величайшим любопытством и участием стал заглядывать в тот угол кареты, куда герой наш поспешил было спрятаться. Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения в том служебном месте, в котором числился и господин Голядкин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. «Поклониться иль нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? — думал в неописанной тоске наш герой, — или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! — говорил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз. — Я, я ничего, — шептал он через силу, — я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и только». Скоро, однако ж, дрожки обогнали карету, и магнетизм начальнических взоров прекратился. Однако он всё еще краснел, улыбался, что-то бормотал про себя... «Дурак я был, что не отозвался, — подумал он наконец, — следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишенною благородства: дескать, так и так, Андрей Филиппович, тоже приглашен на обед, да и только!» Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул как огонь, нахмурил брови и бросил страшный вызывающий взгляд в

передний угол кареты, взгляд, так и назначенный с тем, чтоб испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец, вдруг, по вдохновению какому-то, дернул он за снурок, привязанный к локтю извозчика-кучера, остановил карету и приказал поворотить назад, на Литейную. Дело в том, что господину Голядкину немедленно понадобилось, для собственного же спокойствия вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу. И хотя с Крестьяном Ивановичем был он знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе, вследствие кой-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник, — скрываться было бы глупо, а знать пациента — его же обязанность. «Так ли, впрочем, будет всё это, — продолжал наш герой, выходя из кареты у подъезда одного пятиэтажного дома на Литейной, возле которого приказал остановить свой экипаж, — так ли будет всё это? Прилично ли будет? Кстати ли будет? Впрочем, ведь что же, — продолжал он, подымаясь на лестницу, переводя дух и сдерживая биение сердца, имевшего у него привычку биться на всех чужих лестницах, — что же? ведь я про свое, и предосудительного здесь ничего не имеется... Скрываться было бы глупо. Я вот таким-то образом и сделаю вид, что я ничего, а что так, мимоездом... Он, и увидит, что так тому и следует быть».

Так рассуждая, господин Голядкин поднялся до второго этажа и остановился перед квартирою пятого нумера, на дверях которого помещена была красивая медная дощечка с надписью:

*Крестьян Иванович Рутеншпиц,*
*доктор медицины и хирургии.*

Остановившись, герой наш поспешил придать своей физиономии приличный, развязный, не без некоторой любезности вид и приготовился дернуть за снурок колокольчика. Приготовившись дернуть за снурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати рассудил, что не лучше ли завтра и что теперь покамест надобности большой не имеется. Но так как господин Голядкин услышал вдруг на лестнице чьи-то шаги, то немедленно переменил новое решение свое и уже так, заодно, впрочем с самым решительным видом, позвонил у дверей Крестьяна Ивановича.

## *Глава II*

Доктор медицины и хирургии, Крестьян Иванович Рутеншпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми седеющими бровями и бакенбардами, выразительным,

сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни, и, наконец, значительным орденом, сидел в это утро у себя в кабинете, в покойных креслах своих, пил кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей, курил сигару и прописывал от времени до времени рецепты своим пациентам. Прописав последний пузырек одному старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив страждущего старичка в боковые двери, Крестьян Иванович уселся в ожидании следующего посещения. Вошел господин Голядкин.

По-видимому, Крестьян Иванович нисколько не ожидал, да и не желал видеть пред собою господина Голядкина, потому что он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже, можно сказать, недовольную мину. Так как, с своей стороны, господин Голядкин почти всегда как-то некстати опадал и терялся в те мгновения, в которые случалось ему абордировать кого-нибудь ради собственных делишек своих, то и теперь, не приготовив первой фразы, бывшей для него в таких случаях настоящим камнем преткновения, сконфузился препорядочно, что-то пробормотал, — впрочем, кажется, извинение, — и, не зная, что далее делать, взял стул и сел. Но, вспомнив, что уселся без приглашения, тотчас же почувствовал свое неприличие и поспешил поправить ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав с занятого им без приглашения места. Потом, опомнившись и смутно заметив, что сделал две глупости разом, решился, нимало не медля, на третью, то есть попробовал было принести оправдание, пробормотал кое-что, улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал и наконец сел окончательно и уже не вставал более, а так только, на всякий случай, обеспечил себя тем же самым вызывающим взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять в прах всех врагов господина Голядкина. Сверх того, этот взгляд вполне выражал независимость господина Голядкина, то есть говорил ясно, что господин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба во всяком случае с краю. Крестьян Иванович кашлянул, крякнул, по-видимому в знак одобрения и согласия своего на всё это, и устремил инспекторский, вопросительный взгляд на господина Голядкина.

— Я, Крестьян Иванович, — начал господин Голядкин с улыбкою, — пришел вас беспокоить вторично и теперь вторично осмеливаюсь просить вашего снисхождения... — Господин Голядкин очевидно затруднялся в словах.

— Гм... да! — проговорил Крестьян Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол, — но вам нужно

предписаний держаться; я ведь вам объяснял, что пользование ваше должно состоять в изменении привычек... Ну, развлечения; ну, там, друзей и знакомых должно посещать, а вместе с тем и бутылки врагом не бывать; равномерно держаться веселой компании.

Господин Голядкин, всё еще улыбаясь, поспешил заметить, что ему кажется, что он, как и все, что он у себя, что развлечения у него, как и у всех... что он, конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как и все, средства имеет, что днем он в должности, а вечером у себя, что он совсем ничего; даже заметил тут же мимоходом, что он, сколько ему кажется, не хуже других, что он живет дома, у себя на квартире, и что, наконец, у него есть Петрушка. Тут господин Голядкин запнулся.

— Гм, нет, такой порядок не то, и я вас совсем не то хотел спрашивать. Я вообще знать интересуюсь, что вы большой ли любитель веселой компании, пользуетесь ли весело временем... Ну, там, меланхолический или веселый образ жизни теперь продолжаете?

— Я, Крестьян Иванович...

— Гм... я говорю, — перебил доктор, — что вам нужно коренное преобразование всей вашей жизни иметь и в некотором смысле переломить свой характер. (Крестьян Иванович сильно ударил на слово «переломить» и остановился на минуту с весьма значительным видом.) Не чуждаться жизни веселой; спектакли и клуб посещать и во всяком случае бутылки врагом не бывать. Дома сидеть не годится... вам дома сидеть никак невозможно.

— Я, Крестьян Иванович, люблю тишину, — проговорил господин Голядкин, бросая значительный взгляд на Крестьяна Ивановича и, очевидно, ища слов для удачнейшего выражения мысли своей, — в квартире только я да Петрушка... я хочу сказать: мой человек, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, Крестьян Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой, Крестьян Иванович. Я себе особо и, сколько мне кажется, ни от кого не завишу. Я, Крестьян Иванович, тоже гулять выхожу.

— Как?.. Да! Ну, нынче гулять не составляет никакой приятности; климат весьма нехороший.

— Да-с, Крестьян Иванович. Я, Крестьян Иванович, хоть и смирный человек, как я уже вам, кажется, имел честь объяснить, но дорога моя отдельно идет, Крестьян Иванович. Путь жизни широк... Я хочу... я хочу, Крестьян Иванович, сказать этим... Извините меня, Крестьян Иванович, я не мастер красно говорить.

— Гм... вы говорите...

— Я говорю, чтоб вы меня извинили, Крестьян Иванович, в том, что я, сколько мне кажется, не мастер красно говорить, —

сказал господин Голядкин полуобиженным тоном, немного сбиваясь и путаясь. — В этом отношении я, Крестьян Иванович, не так, как другие, — прибавил он с какою-то особенною улыбкою, — и много говорить не умею; придавать слогу красоту не учился. Зато я, Крестьян Иванович, действую; зато я действую, Крестьян Иванович!

— Гм... Как же это... вы действуете? — отозвался Крестьян Иванович. Затем, на минутку, последовало молчание. Доктор как-то странно и недоверчиво взглянул на господина Голядкина. Господин Голядкин тоже в свою очередь довольно недоверчиво покосился на доктора.

— Я, Крестьян Иванович, — стал продолжать господин Голядкин всё в прежнем тоне, немного раздраженный и озадаченный крайним упорством Крестьяна Ивановича, — я, Крестьян Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно уметь паркеты лощить сапогами... (тут господин Голядкин немного пришаркнул по полу ножкой), там это спрашивают-с, и каламбур тоже спрашивают... комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с... вот что там спрашивают. А я этому не учился, Крестьян Иванович, — хитростям этим всем я не учился; некогда было. Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного нет во мне. В этом, Крестьян Иванович, я полагаю оружие; я кладу его, говоря в этом смысле. — Всё это господин Голядкин проговорил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, что герой наш вовсе не жалеет о том, что кладет в этом смысле оружие и что он хитростям не учился, но что даже совершенно напротив. Крестьян Иванович, слушая его, смотрел вниз с весьма неприятной гримасой в лице и как будто заранее что-то предчувствовал. За тирадою господина Голядкина последовало довольно долгое и значительное молчание.

— Вы, кажется, немного отвлеклись от предмета, — сказал наконец Крестьян Иванович вполголоса, — я, признаюсь вам, не мог вас совершенно понять.

— Я не мастер красно говорить, Крестьян Иванович; я уже вам имел честь доложить, Крестьян Иванович, что я не мастер красно говорить, — сказал господин Голядкин, на этот раз резким и решительным тоном.

— Гм...

— Крестьян Иванович! — начал опять господин Голядкин тихим, но многозначащим голосом, отчасти в торжественном роде и останавливаясь на каждом пункте. — Крестьян Иванович! вошедши сюда, я начал извинениями. Теперь повторяю прежнее и опять прошу вашего снисхождения на время. Мне,

Крестьян Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами вы знаете; но, к счастию моему, не жалею о том, что я маленький человек. Даже напротив, Крестьян Иванович; и, чтоб всё сказать, я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький. Не интригант — и этим тоже горжусь. Действую не втихомолку, а открыто, без хитростей, и хотя бы мог вредить в свою очередь, и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как это сделать, Крестьян Иванович, но не хочу замарать себя и в этом смысле умываю руки. В этом смысле, говорю, я их умываю, Крестьян Иванович! — Господин Голядкин на мгновение выразительно замолчал; говорил он с кротким одушевлением.

— Иду я, Крестьян Иванович, — стал продолжать наш герой, — прямо, открыто и без окольных путей, потому что их презираю и предоставляю это другим. Не стараюсь унизить тех, которые, может быть, нас с вами почище... то есть я хочу сказать нас с ними, Крестьян Иванович, я не хотел сказать с вами. Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалую; клеветою и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Крестьян Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, — тому, кого бы вы считали таким? — заключил господин Голядкин, бросив вызывающий взгляд на Крестьяна Ивановича.

Хотя господин Голядкин проговорил всё это донельзя отчетливо, ясно, с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая на вернейший эффект, но между тем с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел теперь на Крестьяна Ивановича. Теперь он обратился весь в зрение и робко, с досадным, тоскливым нетерпением ожидал ответа Крестьяна Ивановича. Но, к изумлению и к совершенному поражению господина Голядкина, Крестьян Иванович что-то пробормотал себе под нос; потом придвинул кресла к столу и довольно сухо, но, впрочем, учтиво объявил ему что-то вроде того, что ему время дорого, что он как-то не совсем понимает; что, впрочем, он, чем может, готов служить, по силам, но что всё дальнейшее и до него не касающееся он оставляет. Тут он взял перо, придвинул бумагу, выкроил из нее докторской формы лоскутик и объявил, что тотчас пропишет что следует.

— Нет-с, не следует, Крестьян Иванович! нет-с, это вовсе не следует! — проговорил господин Голядкин, привстав с места и хватая Крестьяна Ивановича за правую руку, — этого, Крестьян Иванович, здесь вовсе не надобно...

А между тем, покамест говорил это всё господин Голядкин, в нем произошла какая-то странная перемена. Серые глаза его

как-то странно блеснули, губы его задрожали, все мускулы, все черты лица его заходили, задвигались. Сам он весь дрожал. Последовав первому движению своему и остановив руку Крестьяна Ивановича, господин Голядкин стоял теперь неподвижно, как будто сам не доверяя себе и ожидая вдохновения для дальнейших поступков.

Тогда произошла довольно странная сцена.

Немного озадаченный, Крестьян Иванович на мгновение будто прирос к своему креслу и, потерявшись, смотрел во все глаза господину Голядкину, который таким же образом смотрел на него. Наконец Крестьян Иванович встал, придерживаясь немного за лацкан вицмундира господина Голядкина. Несколько секунд стояли они таким образом оба, неподвижно и не сводя глаз друг с друга. Тогда, впрочем необыкновенно странным образом, разрешилось и второе движение господина Голядкина. Губы его затряслись, подбородок запрыгал, и герой наш заплакал совсем неожиданно. Всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левой схватив тоже за лацкан домашней одежды Крестьяна Ивановича, хотел было он говорить и в чем-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец Крестьян Иванович опомнился от своего изумления.

— Полноте, успокойтесь, садитесь! — проговорил он наконец, стараясь посадить господина Голядкина в кресла.

— У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть враги; у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись... — отвечал господин Голядкин боязливо и шепотом.

— Полноте, полноте; что враги! не нужно врагов поминать! это совершенно не нужно. Садитесь, садитесь, — продолжал Крестьян Иванович, усаживая господина Голядкина окончательно в кресла.

Господин Голядкин уселся наконец, не сводя глаз с Крестьяна Ивановича. Крестьян Иванович с крайне недовольным видом стал шагать из угла в угол своего кабинета. Последовало долгое молчание.

— Я вам благодарен, Крестьян Иванович, весьма благодарен и весьма чувствую всё, что вы для меня теперь сделали. По гроб не забуду я ласки вашей, Крестьян Иванович, — сказал наконец господин Голядкин, с обиженным видом вставая со стула.

— Полноте, полноте! я вам говорю, полноте! — отвечал довольно строго Крестьян Иванович на выходку господина Голядкина, еще раз усаживая его на место.

— Ну, что у вас? Расскажите мне, что у вас есть там теперь неприятного, — продолжал Крестьян Иванович, — и о каких врагах говорите вы? Что у вас есть там такое?

— Нет, Крестьян Иванович, мы лучше это оставим теперь, — отвечал господин Голядкин, опустив глаза в землю, — лучше отложим всё это в сторону, до времени... до другого времени, Крестьян Иванович, до более удобного времени, когда всё обнаружится, и маска спадет с некоторых лиц, и кое-что обнажится. А теперь, покамест, разумеется, после того, что с нами случилось... вы согласитесь сами, Крестьян Иванович... Позвольте пожелать вам доброго утра, Крестьян Иванович, — сказал господин Голядкин, в этот раз решительно и серьезно вставая с места и хватаясь за шляпу.

— А, ну... как хотите... гм... (Последовало минутное молчание.) Я, с моей стороны, вы знаете, что могу... и искренно вам добра желаю.

— Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю; я вас совершенно понимаю теперь... Во всяком случае, извините меня, что я вас обеспокоил, Крестьян Иванович.

— Гм... Нет, я вам не то хотел говорить. Впрочем, как угодно. Медикаменты по-прежнему продолжайте...

— Буду продолжать медикаменты, как вы говорите, Крестьян Иванович, буду продолжать и в той же аптеке брать буду... Нынче и аптекарем быть, Крестьян Иванович, уже важное дело...

— Как? в каком смысле вы хотите сказать?

— В весьма обыкновенном смысле, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, что нынче так свет пошел...

— Гм...

— И что всякий мальчишка, не только аптекарский, перед порядочным человеком нос задирает теперь.

— Гм. Как же вы это понимаете?

— Я говорю, Крестьян Иванович, про известного человека... про общего нам знакомого, Крестьян Иванович, например хоть про Владимира Семеновича...

— А!..

— Да, Крестьян Иванович; и я знаю некоторых людей, Крестьян Иванович, которые не слишком-то держатся общего мнения, чтоб иногда правду сказать.

— А!.. Как же это?

— Да уж так-с; это, впрочем, постороннее дело; умеют этак иногда поднести коку с соком.

— Что? что поднести?

— Коку с соком, Крестьян Иванович; это пословица русская. Умеют иногда кстати поздравить кого-нибудь, например; есть такие люди, Крестьян Иванович.

— Поздравить?

— Да-с, поздравить, Крестьян Иванович, как сделал на днях один из моих коротких знакомых...

— Один из ваших коротких знакомых... а! как же это? — сказал Крестьян Иванович, внимательно взглянув на господина Голядкина.

— Да-с, один из моих близких знакомых поздравил с чином, с получением асессорского чина, другого весьма близкого тоже знакомого, и вдобавок приятеля, как говорится, сладчайшего друга. Этак к слову пришлось. «Чувствительно, дескать, говорит, рад случаю принести вам, Владимир Семенович, мое поздравление, *искреннее* мое поздравление в получении чина. И тем более рад, что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые ворожат». Тут господин Голядкин плутовски кивнул головой и, прищурясь, посмотрел на Крестьяна Ивановича...

— Гм. Так это сказал...

— Сказал, Крестьян Иванович, сказал, да тут же и взглянул на Андрея Филипповича, на дядю-то нашего нещечка, Владимира Семеновича. Да что мне, Крестьян Иванович, что он асессором сделан? Мне-то что тут? Да жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло. Так-таки и сказал. Дескать, говорю, Владимир Семенович! Я теперь всё сказал; позвольте же мне удалиться.

— Гм...

— Да, Крестьян Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. Да тут, чтоб уж разом двух воробьев одним камнем убить, — как срезал молодца-то на бабушках, — и обращаюсь к Кларе Олсуфьевне (дело-то было третьего дня у Олсуфья Ивановича), — а она только что романс пропела чувствительный, — говорю, дескать, «чувствительно пропеть вы романсы изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердца». И намекаю тем ясно, понимаете, Крестьян Иванович, намекаю тем ясно, что ищут-то теперь не в ней, а подальше...

— А! ну что же он?..

— Лимон съел, Крестьян Иванович, как по пословице говорится.

— Гм...

— Да-с, Крестьян Иванович. Тоже и старику самому говорю, — дескать, Олсуфий Иванович, говорю, я знаю, чем обязан я вам, ценю вполне благодеяния ваши, которыми почти с детских лет моих вы осыпали меня. Но откройте глаза, Олсуфий Иванович, говорю. Посмотрите. Я сам дело начистоту и открыто веду, Олсуфий Иванович.

— А, вот как!

— Да, Крестьян Иванович. Оно вот как...

— Что ж он?

— Да что он, Крестьян Иванович! мямлит; и того, и сего, и я тебя знаю, и что его превосходительство благодетельный человек — и пошел, и размазался... Да ведь что ж? от старости, как говорится, покачнулся порядком.

— А! так вот как теперь!

— Да, Крестьян Иванович. И все-то мы так, чего! старикашка! в гроб смотрит, дышит на ладан, как говорится, а сплетню бабью заплетут какую-нибудь, так он уж тут слушает; без него невозможно...

— Сплетню, вы говорите?

— Да, Крестьян Иванович, заплели они сплетню. Замешал свою руку сюда и наш медведь и племянник его, наше нещечко; связались они с старухами, разумеется, и состряпали дело. Как бы вы думали? Что они выдумали, чтоб убить человека?..

— Чтоб убить человека?

— Да, Крестьян Иванович, чтоб убить человека, нравственно убить человека. Распустили они... я всё про моего близкого знакомого говорю...

Крестьян Иванович кивнул головою.

— Распустили они насчет его слух... Признаюсь вам, мне даже совестно говорить, Крестьян Иванович...

— Гм...

— Распустили они слух, что он уже дал подписку жениться, что он уже жених с другой стороны... И как бы вы думали, Крестьян Иванович, на ком?

— Право?

— На кухмистерше, на одной неблагопристойной немке, у которой обеды берет; вместо заплаты долгов руку ей предлагает.

— Это они говорят?

— Верите ли, Крестьян Иванович? Немка, подлая, гадкая, бесстыдная немка, Каролина Ивановна, если известно вам...

— Я, признаюсь, с моей стороны...

— Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю и с своей стороны это чувствую...

— Скажите мне, пожалуйста, где вы живете теперь?

— Где я живу теперь, Крестьян Иванович?

— Да... я хочу... вы прежде, кажется, жили...

— Жил, Крестьян Иванович, жил, жил и прежде. Как же не жить! — отвечал господин Голядкин, сопровождая слова свои маленьким смехом и немного смутив ответом своим Крестьяна Ивановича.

— Нет, вы не так это приняли; я хотел с своей стороны...

— Я тоже хотел, Крестьян Иванович, с своей стороны, я тоже хотел, — смеясь, продолжал господин Голядкин. — Однако ж я, Крестьян Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь... пожелать вам доброго утра...

— Гм...

— Да, Крестьян Иванович, я вас понимаю; я вас теперь вполне понимаю, — сказал наш герой, немного рисуясь перед Крестьяном Ивановичем... — Итак, позвольте вам пожелать доброго утра...

Тут герой наш шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем изумлении Крестьяна Ивановича. Сходя с докторской лестницы, он улыбался и радостно потирал себе руки. На крыльце, дохнув свежим воздухом и почувствовав себя на свободе, он даже действительно готов был признать себя счастливейшим смертным и потом прямо отправиться в департамент, — как вдруг у подъезда загремела его карета; он взглянул и всё вспомнил. Петрушка отворял уже дверцы. Какое-то странное и крайне неприятное ощущение охватило всего господина Голядкина. Он как будто бы покраснел на мгновение. Что-то кольнуло его. Он уже стал было заносить свою ногу на подножку кареты, как вдруг обернулся и посмотрел на окна Крестьяна Ивановича. Так и есть! Крестьян Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой свои бакенбарды и довольно любопытно смотрел на героя нашего.

«Этот доктор глуп, — подумал господин Голядкин, забиваясь в карету, — крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных лечит, а все-таки... глуп, как бревно». Господин Голядкин уселся, Петрушка крикнул: «Пошел!» — и карета покатилась опять на Невский проспект.

## *Глава III*

Всё это утро прошло в страшных хлопотах у господина Голядкина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у Гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побежал он под аркаду, в сопровождении Петрушки, и пошел прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по одному виду господина Голядкина, что у него хлопот полон рот и дела страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз с лишком на тысячу пятьсот рублей ассигнациями и выторговав себе в эту же сумму затейливой формы сигарочницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, прицепившись наконец еще к кое-каким в своем роде полезным и приятным

вещицам, господин Голядкин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня прислать за сторгованным, взял нумер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое время и задаточек. После чего он поспешно распростился с недоумевавшим купцом и пошел вдоль по линии, преследуемый целой стаей сидельцев, поминутно оглядываясь назад на Петрушку и тщательно отыскивая какую-то новую лавку. Мимоходом забежал он в меняльную лавочку и разменял всю свою крупную бумагу на мелкую, и хотя потерял на промене, но зато все-таки разменял, и бумажник его значительно потолстел, что, по-видимому, доставило ему крайнее удовольствие. Наконец остановился он в магазине разных дамских материй. Наторговав опять на знатную сумму, господин Голядкин и здесь обещал купцу зайти непременно, взял нумер лавки и, на вопрос о задаточке, опять повторил, что будет в свое время и задаточек. Потом посетил и еще несколько лавок; во всех торговал, приценялся к разным вещицам, спорил иногда долго с купцами, уходил из лавки и раза по три возвращался, — одним словом, оказывал необыкновенную деятельность. Из Гостиного двора герой наш отправился в один известный мебельный магазин, где сторговал мебели на шесть комнат, полюбовался одним модным и весьма затейливым дамским туалетом в последнем вкусе и, уверив купца, что пришлет за всем непременно, вышел из магазина, по своему обычаю, с обещанием задаточка, потом заехал еще кое-куда и поторговал кое-что. Одним словом, не было, по-видимому, конца его хлопотам. Наконец всё это, кажется, сильно стало надоедать самому господину Голядкину. Даже и Бог знает по какому случаю стали его терзать ни с того ни с сего угрызения совести. Ни за что бы не согласился он теперь встретиться, например, с Андреем Филипповичем или хоть с Крестьяном Ивановичем. Наконец городские часы пробили три пополудни. Когда господин Голядкин сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалась в действительности лишь одна пара перчаток и стклянка духов в полтора рубля ассигнациями. Так как для господина Голядкина было еще довольно рано, то он и приказал своему кучеру остановиться возле одного известного ресторана на Невском проспекте, о котором доселе он знал лишь понаслышке, вышел из кареты и побежал закусить, отдохнуть и выждать известное время.

Закусив так, как закусывает человек, у которого в перспективе богатый званый обед, то есть перехватив кое-что, чтобы, как говорится, червячка заморить, и выпив одну рюмочку водки, господин Голядкин уселся в креслах и, скромно осмотревшись кругом, мирно пристроился к одной тощей национальной газетке.

Прочтя строчки две, он встал, посмотрелся в зеркало, оправился и огладился; потом подошел к окну и поглядел, тут ли его карета... потом опять сел на место и взял газету. Заметно было, что герой наш был в крайнем волнении. Взглянув на часы и видя, что еще только четверть четвертого, следовательно, еще остается порядочно ждать, а вместе с тем и рассудив, что так сидеть неприлично, господин Голядкин приказал подать себе шоколаду, к которому, впрочем, в настоящее время большой охоты не чувствовал. Выпив шоколад и заметив, что время немного подвинулось, вышел он расплатиться. Вдруг кто-то ударил его по плечу.

Он обернулся и увидел пред собою двух своих сослуживцев-товарищей, тех самых, с которыми встретился утром на Литейной, — ребят еще весьма молодых и по летам и по чину. Герой наш был с ними ни то ни се, ни в дружбе, ни в открытой вражде. Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон; дальнейшего же сближения не было, да и быть не могло. Встреча в настоящее время была крайне неприятна господину Голядкину. Он немного поморщился и на минутку смешался.

— Яков Петрович, Яков Петрович! — защебетали оба регистратора, — вы здесь? по какому...

— А! это вы, господа! — перебил поспешно господин Голядкин, немного сконфузясь и скандализируясь изумлением чиновников и вместе с тем короткостию их обращения, но, впрочем, делая развязного и молодца поневоле. — Дезертировали, господа, хе-хе-хе!.. — Тут даже, чтоб не уронить себя и снизойти до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных границах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу; но популярность в этом случае не удалась господину Голядкину, и, вместо прилично-короткого жеста, вышло что-то совершенно другое.

— Ну, а что, медведь наш сидит?..

— Кто это, Яков Петрович?

— Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?.. — Господин Голядкин засмеялся и отвернулся к приказчику взять с него сдачу. — Я говорю про Андрея Филипповича, господа, — продолжал он, кончив с приказчиком и на этот раз с весьма серьезным видом обратившись к чиновникам. Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом.

— Сидит еще и вас спрашивал, Яков Петрович, — отвечал один из них.

— Сидит, а! В таком случае пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, а?

— Спрашивал, Яков Петрович; да что это с вами, раздушены, распомажены, франтом таким?..

— Так, господа, это так! Полноте... — отвечал господин Голядкин, смотря в сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, что господин Голядкин улыбается, чиновники расхохотались. Господин Голядкин немного надулся.

— Я вам скажу, господа, по-дружески, — сказал, немного помолчав, наш герой, как будто (так уж и быть) решившись открыть что-то чиновникам, — вы, господа, все меня знаете, но до сих пор знали только с одной стороны. Пенять в этом случае не на кого, и отчасти, сознаюсь, я был сам виноват.

Господин Голядкин сжал губы и значительно взглянул на чиновников. Чиновники снова перемигнулись.

— До сих пор, господа, вы меня не знали. Объясняться теперь и здесь будет не совсем-то кстати. Скажу вам только кое-что мимоходом и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят окольных путей и маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видят прямого человеческого назначения в ловком уменье лощить паркет сапогами. Есть и такие люди, господа, которые не будут говорить, что счастливы и живут вполне, когда, например, на них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, люди, которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают... Я, господа, сказал почти всё; позвольте ж мне теперь удалиться...

Господин Голядкин остановился. Так как господа регистраторы были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне неучтиво покатились со смеха. Господин Голядкин вспыхнул.

— Смейтесь, господа, смейтесь покамест! Поживете — увидите, — сказал он с чувством оскорбленного достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь к дверям.

— Но скажу более, господа, — прибавил он, обращаясь в последний раз к господам регистраторам, — скажу более — оба вы здесь со мной глаз на глаз. Вот, господа, мои правила: не удастся — креплюсь, удастся — держусь и во всяком случае никого не подкапываю. Не интригант — и этим горжусь. В дипломаты бы я не годился. Говорят еще, господа, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться: но кто здесь охотник, кто птица? Это еще вопрос, господа!

Господин Голядкин красноречиво умолк и с самой значительной миной, то есть подняв брови и сжав губы донельзя, раскланялся с господами чиновниками и потом вышел, оставя их в крайнем изумлении.

— Куда прикажете? — спросил довольно сурово Петрушка, которому уже наскучило, вероятно, таскаться по холоду. — Куда прикажете? — спросил он господина Голядкина, встречая

его страшный, всеуничтожающий взгляд, которым герой наш уже два раза обеспечивал себя в это утро и к которому прибегнул теперь в третий раз, сходя с лестницы.

— К Измайловскому мосту.

— К Измайловскому мосту! Пошел!

«Обед у них начнется не раньше как в пятом или даже в пять часов, — думал господин Голядкин, — не рано ль теперь? Впрочем, ведь я могу и пораньше; да к тому же и семейный обед. Я этак могу сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Отчего же бы мне нельзя сан-фасон? Медведь наш тоже говорил, что будет всё сан-фасон, а потому и я тоже...» Так думал господин Голядкин; а между тем волнение его всё более и более увеличивалось. Заметно было, что он готовился к чему-то весьма хлопотливому, чтоб не сказать более, шептал про себя, жестикулировал правой рукой, беспрерывно поглядывал в окна кареты, так что, смотря теперь на господина Голядкина, право бы никто не сказал, что он сбирается хорошо пообедать, запросто, да еще в своем семейном кругу, — сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Наконец у самого Измайловского моста господин Голядкин указал на один дом; карета с громом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Голядкин послал ей рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что решительно был ни жив ни мертв в эту минуту. Из кареты он вышел бледный, растерянный; взошел на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице.

— Олсуфий Иванович? — спросил он отворившего ему человека.

— Дома-с, то есть нет-с, их нет дома-с.

— Как? что ты, мой милый? Я — я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь?

— Как не знать-с! Принимать вас не велено-с.

— Ты... ты, братец... ты, верно, ошибаешься, братец. Это я. Я, братец, приглашен; я на обед, — проговорил господин Голядкин, сбрасывая шинель и показывая очевидное намерение отправиться в комнаты.

— Позвольте-с, нельзя-с. Не велено принимать-с, вам отказывать велено. Вот как!

Господин Голядкин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась и вошел Герасимыч, старый камердинер Олсуфия Ивановича.

— Вот они, Емельян Герасимович, войти хотят, а я...

— А вы дурак, Алексеич. Ступайте в комнаты, а сюда пришлите подлеца Семеныча. Нельзя-с, — сказал он учтиво, но решительно обращаясь к господину Голядкину. — Никак невозможно-с. Просят извинить-с; не могут принять-с.

— Они так и сказали, что не могут принять? — нерешительно спросил господин Голядкин. — Вы извините, Герасимыч. Отчего же никак невозможно?

— Никак невозможно-с. Я докладывал-с; сказали: проси извинить. Не могут, дескать, принять-с.

— Отчего же? как же это? как...

— Позвольте, позвольте!..

— Однако как же это так? Так нельзя! Доложите... Как же это так? я на обед...

— Позвольте, позвольте!..

— А, ну, впрочем, это дело другое — извинить просят; однако ж позвольте, Герасимыч, как же это, Герасимыч?

— Позвольте, позвольте! — возразил Герасимыч, весьма решительно отстраняя рукой господина Голядкина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую. Входившие господа были: Андрей Филиппович и племянник его, Владимир Семенович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Голядкина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин Голядкин уже решился; он уже выходил из прихожей Олсуфия Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией.

— Я зайду после, Герасимыч; я объяснюсь; я надеюсь, что всё это не замедлит своевременно объясниться, — проговорил он на пороге и отчасти на лестнице...

— Яков Петрович, Яков Петрович!.. — послышался голос последовавшего за господином Голядкиным Андрея Филипповича.

Господин Голядкин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро оборотился к Андрею Филипповичу.

— Что вам угодно, Андрей Филиппович? — сказал он довольно решительным тоном.

— Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?..

— Ничего-с, Андрей Филиппович. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппович.

— Что такое-с?

— Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь и что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосудительного касательно официальных отношений моих.

— Как! касательно официальных... Что с вами, сударь, такое?

— Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего; дерзкая девчонка, больше ничего...

— Что!.. что?! — Андрей Филиппович потерялся от изумления. Господин Голядкин, который доселе, разговаривая с низу лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза, — видя, что начальник отделения немного смешался, сделал, почти неведомо себе, шаг вперед. Андрей Филиппович подался назад. Господин Голядкин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Голядкин вдруг быстро поднялся на лестницу. Еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Голядкин остался один. В глазах у него потемнело. Он сбился совсем и стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье, как будто припоминая о каком-то тоже крайне бестолковом обстоятельстве, весьма недавно случившемся. «Эх, эх!» — прошептал он, улыбаясь с натуги. Между тем на лестнице, внизу, послышались голоса и шаги, вероятно новых гостей, приглашенных Олсуфьем Ивановичем. Господин Голядкин отчасти опомнился, поскорее поднял повыше свой енотовый воротник, прикрылся им по возможности — и стал, ковыляя, семеня, торопясь и спотыкаясь, сходить с лестницы. Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение. Смущение его было в такой сильной степени, что, вышед на крыльцо, он не подождал и кареты, а сам пошел прямо через грязный двор до своего экипажа. Подойдя к своему экипажу и приготовляясь в нем поместиться, господин Голядкин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю или спрятаться хоть в мышиную щелочку вместе с каретой. Ему казалось, что всё, что ни есть в доме Олсуфия Ивановича, вот так и смотрит теперь на него из всех окон. Он знал, что непременно тут же на месте умрет, если обернется назад.

— Что ты смеешься, болван? — сказал он скороговоркой Петрушке, который приготовился было его подсадить в карету.

— Да что мне смеяться-то? я ничего; куда теперь ехать?

— Ступай домой, поезжай...

— Пошел домой! — крикнул Петрушка, взмостясь на запятки.

«Экое горло воронье!» — подумал господин Голядкин. Между тем карета уже довольно далеко отъехала за Измайловский мост. Вдруг герой наш из всей силы дернул снурок и закричал своему кучеру немедленно воротиться назад. Кучер поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор к Олсуфию Ивановичу. «Не нужно, дурак, не нужно; назад!» — прокричал господин Голядкин, — и кучер словно ожидал такого

приказания: не возражая ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, выехал снова на улицу.

Домой господин Голядкин не поехал, а, миновав Семеновский мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, герой наш расплатился с извозчиком и таким образом избавился наконец от своего экипажа, Петрушке приказал идти домой и ждать его возвращения, сам же вошел в трактир, взял особенный нумер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал он себя весьма дурно, а голову свою в полнейшем разброде и в хаосе. Долго ходил он в волнении по комнате; наконец сел на стул, подпер себе лоб руками и начал всеми силами стараться обсудить и разрешить кое-что относительно настоящего своего положения...

## *Глава IV*

День, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, в оно время благодетеля господина Голядкина, — день, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом, таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста и около, — обедом, который походил более на какой-то пир вальтасаровский, чем на обед, — который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, с шампанским-клико, с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновною табелью о рангах, — этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блистательным балом, семейным, маленьким, родственным балом, но все-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. Конечно, я совершенно согласен, такие балы бывают, но редко. Такие балы, более похожие на семейные радости, чем на балы, могут лишь даваться в таких домах, как например дом статского советника Берендеева. Скажу более: я даже сомневаюсь, чтоб у всех статских советников могли даваться такие балы. О, если бы я был поэт! — разумеется, по крайней мере такой, как Гомер или Пушкин; с меньшим талантом соваться нельзя — я бы непременно изобразил вам яркими красками и широкою кистью, о читатели! весь этот высокоторжественный день. Нет, я бы начал свою поэму обедом, я особенно бы налег на то поразительное и вместе с тем торжественное мгновение, когда поднялась первая заздравная чаша в честь царицы праздника. Я изоб-

разил бы вам, во-первых, этих гостей, погруженных в благоговейное молчание и ожидание, более похожее на демосфеновское красноречие, чем на молчание. Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными седине орденами, вставшего с места и поднявшего над головою заздравный бокал с искрометным вином, — вином, нарочно привозимым из одного отдаленного королевства, чтоб запивать им подобные мгновения, — вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино. Я изобразил бы вам гостей и счастливых родителей царицы праздника, поднявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филипповичем и устремивших на него полные ожидания очи. Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие... Но, сознаюсь, вполне сознаюсь, не мог бы я изобразить всего торжества — той минуты, когда сама царица праздника, Клара Олсуфьевна, краснея, как вешняя роза, румянцем блаженства и стыдливости, от полноты чувств упала в объятия нежной матери, как прослезилась нежная мать и как зарыдал при сем случае сам отец, маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребления ног на долговременной службе и вознагражденный судьбою за таковое усердие капитальцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью, — зарыдал как ребенок и провозгласил сквозь слезы, что его превосходительство благодетельный человек. Я бы не мог, да, именно не мог бы изобразить вам и неукоснительно последовавшего за сей минутой всеобщего увлечения сердец, — увлечения, ясно выразившегося даже поведением одного юного регистратора (который в это мгновение походил более на статского советника, чем на регистратора), тоже прослезившегося, внимая Андрею Филипповичу. В свою очередь Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, — нет, он казался чем-то другим... я не знаю только, чем именно, но не коллежским советником. Он был выше! Наконец... о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога торжественного, для изображения всех этих прекрасных и назидательных моментов человеческой жизни, как будто нарочно устроенных для доказательства, как иногда торжествует добродетель над неблагонамеренностью, вольнодумством, пороком и завистью! Я ничего не скажу, но молча — что будет лучше всякого красноречия — укажу вам на этого счастливого юношу, вступающего в свою двадцать шестую весну, — на Владимира Семеновича,

племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что всё в этом юноше, — который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгодном для него отношении, — всё, начиная с цветущих ланит до самого асессорского, на нем лежавшего чина, всё это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонравие довести человека! Я не буду описывать, как, наконец, Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента, сослуживец Андрея Филипповича и некогда Олсуфия Ивановича, вместе с тем старинный друг дома и крестный отец Клары Олсуфьевны, — старичок, как лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и проговорил веселые вирши; как он таким приличным забвением приличия, если можно так выразиться, рассмешил до слез целое общество и как сама Клара Олсуфьевна за таковую веселость и любезность поцеловала его, по приказанию родителей. Скажу только, что, наконец, гости, которые после такого обеда, естественно, должны были чувствовать себя друг другу родными и братьями, встали из-за стола; как потом старички и люди солидные, после недолгого времени, употребленного на дружеский разговор и даже на кое-какие, разумеется, весьма приличные и любезные откровенности, чинно прошли в другую комнату и, не теряя золотого времени, разделившись на партии, с чувством собственного достоинства сели за столы, обтянутые зеленым сукном; как дамы, усевшись в гостиной, стали вдруг все необыкновенно любезны и начали разговаривать о разных материях; как, наконец, сам высокоуважаемый хозяин дома, лишившийся употребления ног на службе верою и правдою и награжденный за это всем, чем выше упомянуто было, стал расхаживать на костылях между гостями своими, поддерживаемый Владимиром Семеновичем и Кларой Олсуфьевной, и как, вдруг сделавшись тоже необыкновенно любезным, решился импровизировать маленький скромный бал, несмотря на издержки; как для сей цели командирован был один расторопный юноша (тот самый, который за обедом более похож был на статского советника, чем на юношу) за музыкантами; как потом прибыли музыканты в числе целых одиннадцати штук и как, наконец, ровно в половине девятого раздались призывные звуки французской кадрили и прочих различных танцев... Нечего уже

и говорить, что перо мое слабо, вяло и тупо для приличного изображения бала, импровизированного необыкновенною любезностью седовласого хозяина. Да и как, спрошу я, как могу я, скромный повествователь весьма, впрочем, любопытных в своем роде приключений господина Голядкина, — как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солидности и солидной любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, — говоря в выгодном для них отношении, — с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резво-игривыми, гомеопатическими, говоря высоким слогом, ножками? Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, веселых и солидных, юношей и степенных, радостных и прилично-туманных, курящих в антрактах между танцами в маленькой отдаленной зеленой комнате трубку и не курящих в антрактах трубки, — кавалеров, имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и фамилию, — кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного и чувством собственного достоинства, — кавалеров, говорящих большею частию на французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, — кавалеров, разве только в трубочной позволявших себе некоторые любезные отступления от языка высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной короткости, вроде таких, например: «что, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку откалывал», или: «что, дескать, ты, такой-сякой, Вася, пришпандорил-таки свою дамочку, как хотел». На всё это, как уже выше имел я честь объяснить вам, о читатели! недостает пера моего, и потому я молчу. Обратимся лучше к господину Голядкину, единственному, истинному герою весьма правдивой повести нашей.

Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтоб не сказать более, положении. Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь — даже странно сказать — стоит он теперь в сенях, на черной лестнице квартиры Олсуфья Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стоит в уголку, забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь; он, господа, тоже ведь может войти... почему же не войти? Стоит

только шагнуть, и войдет, и весьма ловко войдет. Сейчас только, — выстаивая, впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между всяким хламом, дрязгом и рухлядью, — цитировал он, в собственное оправдание свое, одну фразу блаженной памяти французского министра Виллеля, что «всё, дескать, придет своим чередом, если выждать есть сметка». Фразу эту вычитал господин Голядкин когда-то из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел ее себе на память. Фраза, во-первых, очень хорошо шла к настоящему его положению, а во-вторых, чего же не придет в голову человеку, выжидающему счастливой развязки обстоятельств своих почти битые три часа в сенях, в темноте и на холоде? Цитировав, как уже сказано было, весьма кстати фразу бывшего французского министра Виллеля, господин Голядкин тут же, неизвестно почему, припомнил и о бывшем турецком визире Марцимирисе, равно как и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых читал он тоже когда-то в книжке. Потом пришло ему на память, что иезуиты поставили даже правилом своим считать все средства годящимися, лишь бы цель могла быть достигнута. Обнадежив себя немного подобным историческим пунктом, господин Голядкин сказал сам себе, что, дескать, что́ иезуиты? Иезуиты все до одного были величайшие дураки, что он сам их всех заткнет за пояс, что вот только бы хоть на минуту опустела буфетная (та комната, которой дверь выходила прямо в сени, на черную лестницу, и где господин Голядкин находился теперь), так он, несмотря на всех иезуитов, возьмет — да прямо и пройдет, сначала из буфетной в чайную, потом в ту комнату, где теперь в карты играют, а там прямо в залу, где теперь польку танцуют. И пройдет, непременно пройдет, ни на что не смотря пройдет, проскользнет — да и только, и никто не заметит; а там уж он сам знает, что ему делать. Вот в таком-то положении, господа, находим мы теперь героя совершенно правдивой истории нашей, хотя, впрочем, трудно объяснить, что именно делалось с ним в настоящее время. Дело-то в том, что он до сеней и до лестницы добраться умел, по той причине, что, дескать, почему ж не добраться, что все добираются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел... не потому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому что сам не хотел, потому что ему лучше хотелось быть втихомолочку. Вот он, господа, и выжидает теперь тихомолочки, и выжидает ее ровно два часа с половиною. Отчего ж и не выждать? И сам Виллель выжидал. «Да что тут Виллель! — думал господин Голядкин, — какой тут Виллель? А вот как бы мне теперь того... взять да и проникнуть?.. Эх ты, фигурант ты этакой! — сказал господин Голядкин, ущипнув себя

окоченевшею рукою за окоченевшую щеку, — дурашка ты этакой, Голядка ты этакой, — фамилия твоя такова!..» Впрочем, это ласкательство собственной особе своей в настоящую минуту было лишь так себе, мимоходом, без всякой видимой цели. Вот было он сунулся и подался вперед; минута настала; буфетная опустела, и в ней нет никого; господин Голядкин видел всё это в окошко; в два шага очутился он у двери и уже стал отворять ее. «Идти или нет? Ну, идти или нет? Пойду... отчего ж не пойти? Смелому дорога везде!» Обнадежив себя таким образом, герой наш вдруг и совсем неожиданно ретировался за ширмы. «Нет, — думал он, — а ну как войдет кто-нибудь? Так и есть, вошли; чего ж я зевал, когда народу не было? Этак бы взять да и проникнуть!.. Нет, уж что проникнуть, когда характер у человека такой! Эка ведь тенденция подлая! Струсил, как курица. Струсить-то наше дело, вот оно что! Нагадить-то всегда наше дело: об этом вы нас и не спрашивайте. Вот и стой здесь, как чурбан, да и только! Дома бы чаю теперь выпить чашечку... Оно бы и приятно этак было выпить бы чашечку. Позже прийти, так Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти ли домой? Черти бы взяли всё это! Иду, да и только!» Разрешив таким образом свое положение, господин Голядкин быстро подался вперед, словно пружину какую кто тронул в нем; с двух шагов очутился в буфетной, сбросил шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это всё в угол, оправился и огладился; потом... потом двинулся в чайную, из чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками; потом... потом... тут господин Голядкин позабыл всё, что вокруг него делается, и прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу.

Как нарочно в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами. Мужчины сбивались в кружки или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Голядкин не замечал этого ничего. Видел он только Клару Олсуфьевну; возле нее Андрея Филипповича, потом Владимира Семеновича, да еще двух или трех офицеров, да еще двух или трех молодых людей, тоже весьма интересных, подающих или уже осуществивших, как можно было по первому взгляду судить, кое-какие надежды... Видел он и еще кой-кого. Или нет; он уже никого не видал, ни на кого не глядел... а двигаемый тою же самой пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед; наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдавил ему ногу; кстати уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и еще кой-кого и, не заметив всего этого или, лучше сказать, заметив, но уж так, заодно, не

глядя ни на кого, пробираясь всё далее и далее вперед, вдруг очутился перед самой Кларой Олсуфьевной. Без всякого сомнения, глазком не мигнув, он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но что сделано было, того не воротишь... ведь уж никак не воротишь. Что же было делать? Не удастся — держись, а удастся — крепись. Господин Голядкин, уж разумеется, был не интригант и лощить паркет сапогами не мастер... Так уж случилось. К тому же и иезуиты как-то тут подмешались... Но не до них, впрочем, было господину Голядкину! Всё, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как бы по мановению какому, затихло и мало-помалу столпилось около господина Голядкина. Господин Голядкин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал, он не мог смотреть... он ни за что не мог смотреть; он опустил глаза в землю да так и стоял себе, дав себе, впрочем мимоходом, честное слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Голядкин мысленно сказал себе: «Была не была!» — и, к собственному своему величайшему изумлению, совсем неожиданно начал вдруг говорить.

Начал господин Голядкин поздравлениями и приличными пожеланиями. Поздравления прошли хорошо, а на пожеланиях герой наш запнулся. Чувствовал он, что если запнется, то всё сразу к черту пойдет. Так и вышло — запнулся и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом и — и обмер... Всё стояло, всё молчало, всё выжидало; немного подальше зашептало; немного поближе захохотало. Господин Голядкин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину Голядкину таким взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, — если б это было только возможно. Молчание длилось.

— Это более относится к домашним обстоятельствам и к частной жизни моей, Андрей Филиппович, — едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Голядкин, — это не официальное приключение, Андрей Филиппович...

— Стыдитесь, сударь, стыдитесь! — проговорил Андрей Филиппович полушепотом, с невыразимою миной негодования, — проговорил, взял за руку Клару Олсуфьевну и отвернулся от господина Голядкина.

— Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович, — отвечал господин Голядкин также полушепотом, обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе средины и социального своего положения.

— Ну, и ничего, ну, и ничего, господа! ну, что ж такое? ну, и со всяким может случиться, — шептал господин Голядкин, сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошел между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. Рок увлекал его. Господин Голядкин сам это чувствовал, что рок-то его увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность находиться теперь, без нарушения приличий, на прежней стоянке своей в сенях, возле черной лестницы; но так как это было решительно невозможно, то он и начал стараться улизнуть куда-нибудь в уголок да так и стоять себе там — скромно, прилично, особо, никого не затрогивая, не обращая на себя исключительного внимания, но вместе с тем снискав благорасположение гостей и хозяина. Впрочем, господин Голядкин чувствовал, что его как будто бы подмывает что-то, как будто он колеблется, падает. Наконец он добрался до одного уголка и стал в нем как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель, опершись руками на спинки двух стульев, захватив их таким образом в свое полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на сгруппировавшихся около него гостей Олсуфья Ивановича. Ближе всех стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый малый, пред которым господин Голядкин почувствовал себя настоящей букашкой.

— Эти два стула, поручик, назначены: один для Клары Олсуфьевны, а другой для танцующей здесь же княжны Чевчехановой; я их, поручик, теперь для них берегу, — задыхаясь проговорил господин Голядкин, обращая умоляющий взор на господина поручика. Поручик молча и с убийственной улыбкой отворотился. Осекшись в одном месте, герой наш попробовал было попытать счастье где-нибудь с другой стороны и обратился прямо к одному важному советнику с значительным крестом на шее. Но советник обмерил его таким холодным взглядом, что господин Голядкин ясно почувствовал, что его вдруг окатили целым ушатом холодной воды. Господин Голядкин затих. Он решился лучше смолчать, не заговаривать, показать, что он так себе, что он тоже так, как и все, и что положение его, сколько ему кажется по крайней мере, тоже приличное. С этою целью он приковал свой взгляд к обшлагам своего вицмундира, потом поднял глаза и остановил их на одном весьма почтенной наружности господине. «На этом господине парик, — подумал господин Голядкин, — а если снять этот парик, так будет голая голова, точь-в-точь как ладонь моя голая». Сделав такое важное открытие, господин Голядкин вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять с головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего

с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая, безволосая голова. Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господин Голядкин дошел и до туфлей турецких и тут же кстати вспомнил, что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги. Заметно было, что господин Голядкин отчасти освоился с своим положением. «Вот если б эта люстра, — мелькнуло в голове господина Голядкина, — вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Олсуфьевну. Спасши ее, сказал бы ей: „Не беспокойтесь, сударыня; это ничего-с, а спаситель ваш я". Потом...» Тут господин Голядкин повернул глаза в сторону, отыскивая Клару Олсуфьевну, и увидел Герасимыча, старого камердинера Олсуфия Ивановича. Герасимыч с самым заботливым, с самым официально-торжественным видом пробирался прямо к нему. Господин Голядкин вздрогнул и поморщился от какого-то безотчетного и вместе с тем самого неприятного ощущения. Машинально осмотрелся кругом: ему пришло было на мысль как-нибудь, этак под рукой, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак взять — да и стушеваться, то есть сделать так, как будто бы он ни в одном глазу, как будто бы вовсе не в нем было и дело. Однако, прежде чем наш герой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним.

— Видите ли, Герасимыч, — сказал наш герой, с улыбочкой обращаясь к Герасимычу, — вы возьмите да и прикажите, — вот видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, — она сейчас упадет: так вы, знаете ли, прикажите поправить ее; она, право, сейчас упадет, Герасимыч...

— Свечка-с? нет-с, свечка прямо стоит-с; а вот вас кто-то там спрашивает-с.

— Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч?

— А уж, право, не знаю-с, кто именно-с. Человек от каких-то-с. Здесь, дескать, находится Яков Петрович Голядкин? Так вызовите, говорит, его по весьма нужному и спешному делу... вот как-с.

— Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь; в этом вы, Герасимыч, ошибаетесь.

— Сумнительно-с...

— Нет, Герасимыч, не сумнительно; тут, Герасимыч, ничего нет сумнительного. Никто меня не спрашивает, Герасимыч, меня некому спрашивать, а я здесь у себя, то есть на своем месте, Герасимыч.

Господин Голядкин перевел дух и осмотрелся кругом. Так и есть! Всё, что ни было в зале, все так и устремились на него взо-

ром и слухом в каком-то торжественном ожидании. Мужчины толпились поближе и прислушивались. Подальше тревожно перешептывались дамы. Сам хозяин явился в весьма недальнем расстоянии от господина Голядкина, и хотя по виду его нельзя было заметить, что он тоже в свою очередь принимает прямое и непосредственное участие в обстоятельствах господина Голядкина, потому что всё это делалось на деликатную ногу, но тем не менее всё это дало ясно почувствовать герою повести нашей, что минута для него настала решительная. Господин Голядкин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его. Господин Голядкин был в волнении. Господин Голядкин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Герасимычу:

— Нет, мой друг, меня никто не зовет. Ты ошибаешься. Скажу более, ты ошибался и утром сегодня, уверяя меня... осмеливаясь уверять меня, говорю я (господин Голядкин возвысил голос), что Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца родительского. (Господин Голядкин самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слезы.) Повторяю, мой друг, — заключил наш герой, — ты ошибался, ты жестоко, непростительно ошибался...

Минута была торжественная. Господин Голядкин чувствовал, что эффект был вернейший. Господин Голядкин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий Олсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение; даже сам непоколебимый и ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумнительно-с»... как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку. Всё пропало, всё на ветер пошло. Господин Голядкин вздрогнул, Герасимыч отшатнулся назад, всё, что ни было в зале, заволновалось, как море, и Владимир Семенович уже несся в первой паре с Кларой Олсуфьевной, а красивый поручик с княжной Чевчехановой. Зрители с любопытством и восторгом теснились взглянуть на танцующих польку — танец интересный, новый, модный, круживший всем головы. Господин Голядкин был на время забыт. Но вдруг всё заволновалось, замешалось, засуетилось; музыка умолкла... случилось странное происшествие. Утомленная танцем, Клара Олсуфьевна, едва переводя дух от усталости, с пылающими щеками и глубоко волнующеюся грудью упала наконец в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили наперерыв приветствовать ее и благодарить за оказанное удовольствие, — вдруг перед нею очутился господин Голядкин. Господин Голядкин был бле-

ден, крайне расстроен; казалось, он тоже был в каком-то изнеможении, он едва двигался. Он отчего-то улыбался, он просительно протягивал руку. Клара Олсуфьевна в изумлении не успела отдернуть руки своей и машинально встала на приглашение господина Голядкина. Господин Голядкин покачнулся вперед, сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся... он тоже хотел танцевать с Кларой Олсуфьевной. Клара Олсуфьевна вскрикнула; все бросились освобождать ее руку из руки господина Голядкина, и разом герой наш был оттеснен толпою едва ли не на десять шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Послышался визг и крик двух старух, которых господин Голядкин едва не опрокинул в ретираде. Смятение было ужасное; всё спрашивало, всё кричало, всё рассуждало. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально, отчасти улыбаясь, что-то бормотал про себя, что, «дескать, отчего ж и нет и что, дескать, полька, сколько ему по крайней мере кажется, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам... но что если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться». Но согласия господина Голядкина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какою-то особенною заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец он заметил, что идет прямо к дверям. Господин Голядкин хотел было что-то сказать, что-то сделать... Но нет, он уже ничего не хотел. Он только машинально отсмеивался. Наконец он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу; что наконец — он почувствовал себя в сенях, в темноте и на холоде, наконец и на лестнице. Наконец он споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было вскрикнуть — и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него, он на минутку приостановился; в самое это мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. Господин Голядкин вдруг вспомнил всё; казалось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят...

## *Глава V*

На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь, когда господин Голядкин, вне себя, выбежал на набережную Фонтанки, близ самого Измай-

ловского моста, спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, на него занесенных, от крика встревоженных старух, от оханья и аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея Филипповича. Господин Голядкин был убит, — убит вполне, в полном смысле слова, и если сохранил в настоящую минуту способность бежать, то единственно по какому-то чуду, по чуду, которому он сам, наконец, верить отказывался. Ночь была ужасная, ноябрьская, — мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов — одним словом, всеми дарами петербургского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки и задорно потрогивая тощие фонари набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям тоненьким, пронзительным скрипом, что составляло бесконечный, пискливый, дребезжащий концерт, весьма знакомый каждому петербургскому жителю. Шел дождь и снег разом. Прорываемые ветром струи дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, словно из пожарной трубы, и кололи и секли лицо несчастного господина Голядкина, как тысячи булавок и шпилек. Среди ночного безмолвия, прерываемого лишь отдаленным гулом карет, воем ветра и скрипом фонарей, уныло слышались хлест и журчание воды, стекавшей со всех крыш, крылечек, желобов и карнизов на гранитный помост тротуара. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, да казалось, что и быть не могло в такую пору и в такую погоду. Итак, один только господин Голядкин, один с своим отчаянием, трусил в это время по тротуару Фонтанки своим обыкновенным мелким и частым шажком, спеша добежать как можно скорее в свою Шестилавочную улицу, в свой четвертый этаж, к себе на квартиру.

Хотя снег, дождь и всё то, чему даже имени не бывает, когда разыграется вьюга и хмара под петербургским ноябрьским небом, разом, вдруг атаковали и без того убитого несчастиями господина Голядкина, не давая ему ни малейшей пощады и отдыха, пронимая его до костей, залепляя глаза, продувая со всех сторон, сбивая с пути и с последнего толка, хоть всё это разом опрокинулось на господина Голядкина, как бы нарочно сообщась и согласясь со всеми врагами его отработать ему денек, вечерок и ночку на славу, — несмотря на всё это, господин Голядкин остался почти нечувствителен к этому последнему доказательству гонения судьбы: так сильно потрясло и поразило его всё происшедшее с ним несколько минут назад у господина статского советника Берендеева! Если б теперь посторонний, неинтересованный какой-нибудь наблюдатель взглянул бы так себе, сбоку, на тоскливую побежку господина Голядкина, то и

тот бы разом проникнулся всем страшным ужасом его бедствий и непременно сказал бы, что господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет. Да! оно было действительно так. Скажем более: господин Голядкин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимал ничего, что вокруг него делается, и смотрел так, как будто бы для него не существовало на самом деле ни неприятностей ненастной ночи, ни долгого пути, ни дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой непогоды. Калоша, отставшая от сапога с правой ноги господина Голядкина, тут же и осталась в грязи и снегу, на тротуаре Фонтанки, а господин Голядкин и не подумал воротиться за нею и не приметил пропажи ее. Он был так озадачен, что несколько раз, вдруг, несмотря ни на что окружающее, проникнутый вполне идеей своего недавнего страшного падения, останавливался неподвижно, как столб, посреди тротуара; в это мгновение он умирал, исчезал; потом вдруг срывался как бешеный с места и бежал, бежал без оглядки, как будто спасаясь от чьей-то погони, от какого-то еще более ужасного бедствия... Действительно, положение было ужасное!.. Наконец, в истощении сил, господин Голядкин остановился, оперся на перила набережной в положении человека, у которого вдруг, совсем неожиданно, потекла носом кровь, и пристально стал смотреть на мутную, черную воду Фонтанки. Неизвестно, сколько именно времени проведено было им в этом занятии. Известно только, что в это мгновение господин Голядкин дошел до такого отчаяния, так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа, что позабыл обо всем: и об Измайловском мосте, и о Шестилавочной улице, и о настоящем своем... Что ж в самом деле? ведь ему было всё равно: дело сделано, кончено, решение скреплено и подписано; что ж ему?.. Вдруг... вдруг он вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага на два в сторону. С неизъяснимым беспокойством начал он озираться кругом; но никого не было, ничего не случилось особенного, — а между тем... между тем ему показалось, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь, около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной, и — чудное дело! — даже что-то сказал ему, что-то скоро сказал, отрывисто, не совсем понятно, но о чем-то весьма к нему близком, до него относящемся. «Что ж, это мне почудилось, что ли? — сказал господин Голядкин, еще раз озираясь кругом. — Да я-то где же стою?.. Эх, эх!» — заключил он, покачав головою,

а между тем с беспокойным, тоскливым чувством, даже со страхом стал вглядываться в мутную, влажную даль, напрягая всеми силами зрение и всеми силами стараясь пронзить близоруким взором своим мокрую средину, перед ним расстилавшуюся. Однако ж ничего не было нового, ничего особенного не бросилось в глаза господину Голядкину. Казалось, всё было в порядке, как следует, то есть снег валил еще сильнее, крупнее и гуще; на расстоянии двадцати шагов не было видно ни зги; фонари скрипели еще пронзительнее прежнего, и ветер, казалось, еще плачевнее, еще жалостнее затягивал тоскливую песню свою, словно неотвязчивый нищий, вымаливающий медный грош на свое пропитание. «Эх, эх! да что ж это со мною такое?» — повторил опять господин Голядкин, пускаясь снова в дорогу и всё слегка озираясь кругом. А между тем какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина: тоска не тоска, страх не страх... лихорадочный трепет пробежал по жилам его. Минута была невыносимо неприятная! «Ну, ничего, — проговорил он, чтоб себя ободрить, — ну, ничего; может быть, это и совсем ничего и чести ничьей не марает. Может быть, оно так и надобно было, — продолжал он, сам не понимая, что говорит, — может быть, всё это в свое время устроится к лучшему, и претендовать будет не на что, и всех оправдает». Таким образом говоря и словами себя облегчая, господин Голядкин отряхнулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившиеся густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстух, на сапоги и на всё, — но странного чувства, странной темной тоски своей всё еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. «Эка погодка, — подумал герой наш, — чу! не будет ли наводнения? видно, вода поднялась слишком сильно». Только что сказал или подумал это господин Голядкин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего, тоже, вероятно, как и он, по какому-нибудь случаю запоздалого. Дело бы, кажется, пустое, случайное; но неизвестно почему господин Голядкин смутился и даже струсил, потерялся немного. Не то чтоб он боялся недоброго человека, а так, может быть... «Да и кто его знает, этого запоздалого, — промелькнуло в голове господина Голядкина, — может быть, и он то же самое, может быть, он-то тут и самое главное дело, и недаром идет, а с целью идет, дорогу мою переходит и меня задевает». Может быть, впрочем, господин Голядкин и не подумал именно этого, а так только ощутил мгновенно что-то подобное и весьма неприятное. Думать-то и ощущать, впрочем, некогда было; прохожий уже был в двух шагах. Господин Голядкин

тотчас, по всегдашнему обыкновению своему, поспешил принять вид совершенно особенный, вид, ясно выражавший, что он, Голядкин, сам по себе, что он ничего, что дорога для всех довольно широкая и что ведь он, Голядкин, сам никого не затрогивает. Вдруг он остановился, как вкопанный, как будто молнией пораженный, и быстро потом обернулся назад, вслед прохожему, едва только его минувшему, — обернулся с таким видом, как будто что его дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер. Прохожий быстро исчезал в снежной метелице. Он тоже шел торопливо, тоже, как и господин Голядкин, был одет и укутан с головы до ног и так же, как и он, дробил и семенил по тротуару Фонтанки частым, мелким шажком, немного с притрусочкой. «Что, что это?» — шептал господин Голядкин, недоверчиво улыбаясь, — однако ж дрогнул всем телом. Морозом подернуло у него по спине. Между тем прохожий исчез совершенно, не стало уже слышно и шагов его, а господин Голядкин всё еще стоял и глядел ему вслед. Однако ж наконец он мало-помалу опомнился. «Да что ж это такое, — подумал он с досадою, — что ж это я, с ума, что ли, в самом деле, сошел?» — обернулся и пошел своею дорогою, ускоряя и частя более и более шаги и стараясь уж лучше вовсе ни о чем не думать. Даже и глаза наконец закрыл с сею целью. Вдруг, сквозь завывания ветра и шум непогоды, до слуха его долетел опять шум чьих-то весьма недалеких шагов. Он вздрогнул и открыл глаза. Перед ним опять, шагах в двадцати от него, чернелся какой-то быстро приближавшийся к нему человечек. Человечек этот спешил, частил, торопился; расстояние быстро уменьшалось. Господин Голядкин уже мог даже совсем разглядеть своего нового запоздалого товарища, — разглядел и вскрикнул от изумления и ужаса; ноги его подкосились. Это был тот самый знакомый ему пешеход, которого он, минут с десять назад, пропустил мимо себя и который вдруг, совсем неожиданно, теперь опять перед ним появился. Но не одно это чудо поразило господина Голядкина, — а поражен господин Голядкин был так, что остановился, вскрикнул, хотел было что-то сказать — и пустился догонять незнакомца, даже закричал ему что-то, вероятно желая остановить его поскорее. Незнакомец остановился действительно, так — шагах в десяти от господина Голядкина, и так, что свет близ стоявшего фонаря совершенно падал на всю фигуру его, — остановился, обернулся к господину Голядкину и с нетерпеливо-озабоченным видом ждал, что он скажет. «Извините, я, может, и ошибся», — дрожащим голосом проговорил наш герой. Незнакомец молча и с досадою повернулся и быстро пошел своею дорогою, как будто спеша нагнать поте-

рянные две секунды с господином Голядкиным. Что же касается до господина Голядкина, то у него задрожали все жилки, колени его подогнулись, ослабли, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. Впрочем, действительно, было от чего прийти в такое смущение. Дело в том, что незнакомец этот показался ему теперь как-то знакомым. Это бы еще всё ничего. Но он узнал, почти совсем узнал теперь этого человека. Он его часто видывал, этого человека, когда-то видывал, даже недавно весьма; где же бы это? уж не вчера ли? Впрочем, и опять не в том было главное дело, что господин Голядкин его видывал часто; да и особенного-то в этом человеке почти не было ничего, — особенного внимания решительно ничьего не возбуждал с первого взгляда этот человек. Так, человек был, как и все, порядочный, разумеется, как и все люди порядочные, и, может быть, имел там кое-какие и даже довольно значительные достоинства, — одним словом: был сам по себе человек. Господин Голядкин не питал даже ни ненависти, ни вражды, ни даже никакой самой легкой неприязни к этому человеку, даже напротив, казалось бы, — а между тем (и в этом-то вот обстоятельстве была главная сила), а между тем ни за какие сокровища мира не желал бы встретиться с ним и особенно встретиться так, как теперь, например. Скажем более: господин Голядкин знал вполне этого человека; он даже знал, как зовут его, как фамилия этого человека; а между тем ни за что, и опять-таки ни за какие сокровища в мире, не захотел бы назвать его, согласиться признать, что вот, дескать, его так-то зовут, что он так-то по батюшке и так по фамилии. Много ли, мало ли продолжалось недоразумение господина Голядкина, долго ли именно он сидел на тротуарном столбу, — не могу сказать, но только, наконец, маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки, что силы в нем было; дух его занимался; он споткнулся два раза, чуть не упал — и при этом обстоятельстве осиротел другой сапог господина Голядкина, тоже покинутый своею калошею. Наконец, господин Голядкин сбавил шагу немножко, чтоб дух перевести, торопливо осмотрелся кругом и увидел, что уже перебежал, не замечая того, весь свой путь по Фонтанке, перешел Аничков мост, миновал часть Невского и теперь стоит на повороте в Литейную. Господин Голядкин поворотил в Литейную. Положение его в это мгновение походило на положение человека, стоящего над страшной стремниной, когда земля под ним обрывается, уж покачнулась, уж двинулась, в последний раз колышется, падает, увлекает его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости духа отскочить назад, отвесть свои глаза от зияющей пропасти;

бездна тянет его, и он прыгает наконец в нее сам, сам ускоряя минуту своей же погибели. Господин Голядкин знал, чувствовал и был совершенно уверен, что с ним непременно совершится дорогой еще что-то недоброе, что разразится над ним еще какая-нибудь неприятность, что, например, он встретит опять своего незнакомца; но — странное дело, он даже желал этой встречи, считал ее неизбежною и просил только, чтоб поскорее всё это кончилось, чтоб положение-то его разрешилось хоть как-нибудь, но только б скорее. А между тем он всё бежал да бежал, и словно двигаемый какою-то постороннею силою, ибо во всем существе своем чувствовал какое-то ослабление и онемение; думать ни о чем он не мог, хотя идеи его цеплялись за всё, как терновник. Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господином Голядкиным и тоже бежала около него бочком, торопливо, поджав хвост и уши, по временам робко и понятливо на него поглядывая. Какая-то далекая, давно уж забытая идея, — воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве, — пришла теперь ему в голову, стучала, словно молоточком, в его голове, досаждала ему, не отвязывалась прочь от него. «Эх, эта скверная собачонка!» — шептал господин Голядкин, сам не понимая себя. Наконец он увидел своего незнакомца на повороте в Итальянскую улицу. Только теперь незнакомец уже шел не навстречу ему, а в ту же самую сторону, как и он, и тоже бежал, несколько шагов впереди. Наконец вошли в Шестилавочную. У господина Голядкина дух захватило. Незнакомец остановился прямо перед тем домом, в котором квартировал господин Голядкин. Послышался звон колокольчика и почти в то же время скрип железной задвижки. Калитка отворилась, незнакомец нагнулся, мелькнул и исчез. Почти в то же самое мгновение поспел и господин Голядкин и, как стрелка, влетел под ворота. Не слушая заворчавшего дворника, запыхавшись, вбежал он на двор и тотчас же увидал своего интересного спутника, на минуту потерянного. Незнакомец мелькнул при входе на ту лестницу, которая вела в квартиру господина Голядкина. Господин Голядкин бросился вслед за ним. Лестница была темная, сырая и грязная. На всех поворотах нагромождена была бездна всякого жилецкого хлама, так что чужой, не бывалый человек, попавши на эту лестницу в темное время, принуждаем был по ней с полчаса путешествовать, рискуя сломать себе ноги и проклиная вместе с лестницей и знакомых своих, неудобно так поселившихся. Но спутник господина Голядкина был словно знакомый, словно домашний; взбегал легко, без затруднений и с совершенным знанием местности. Господин Голядкин почти совсем нагонял

его; даже раза два или три подол шинели незнакомца ударил его по носу. Сердце в нем замирало. Таинственный человек остановился прямо против дверей квартиры господина Голядкина, стукнул, и (что, впрочем, удивило бы в другое время господина Голядкина) Петрушка, словно ждал и спать не ложился, тотчас отворил дверь и пошел за вошедшим человеком со свечою в руках. Вне себя вбежал в жилище свое герой нашей повести; не снимая шинели и шляпы, прошел он коридорчик и, словно громом пораженный, остановился на пороге своей комнаты. Все предчувствия господина Голядкина сбылись совершенно. Всё, чего опасался он и что предугадывал, совершилось теперь наяву. Дыхание его порвалось, голова закружилась. Незнакомец сидел перед ним, тоже в шинели и в шляпе, на его же постели, слегка улыбаясь, и, прищурясь немного, дружески кивал ему головою. Господин Голядкин хотел закричать, но не мог, — протестовать каким-нибудь образом, но сил не хватило. Волосы встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на месте от ужаса. Да и было от чего, впрочем. Господин Голядкин совершенно узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель его был не кто иной, как он сам, — сам господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, — одним словом, что называется, двойник его во всех отношениях. . . . . .
. . . . . .

## *Глава VI*

На другой день, ровно в восемь часов, господин Голядкин очнулся на своей постели. Тотчас же все необыкновенные вещи вчерашнего дня и вся невероятная, дикая ночь, с ее почти невозможными приключениями, разом, вдруг, во всей ужасающей полноте, явились его воображению и памяти. Такая ожесточенная адская злоба врагов его и особенно последнее доказательство этой злобы оледенили сердце господина Голядкина. Но и вместе с тем всё это было так странно, непонятно, дико, казалось так невозможным, что действительно трудно было веру дать всему этому делу; господин Голядкин даже сам готов был признать всё это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображения, отемнением ума, если б, к счастию своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба может довести человека, — до чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за честь и амбицию. К тому же разбитые члены господина Голядкина, чадная голова, изломанная поясница и злокаче-

ственный насморк сильно свидетельствовали и отстаивали всю вероятность вчерашней ночной прогулки, а частию и всего прочего, приключившегося во время этой прогулки. Да и, наконец, господин Голядкин уже давным-давно знал, что у них там что-то приготовляется, что у них там есть кто-то другой. Но — что же? Хорошенько раздумав, господин Голядкин решился смолчать, покориться и не протестовать по этому делу до времени. «Так, может быть, только попугать меня вздумали, а как увидят, что я ничего, не протестую и совершенно смиряюсь, с смирением переношу, так и отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся».

Так вот такие-то мысли были в голове господина Голядкина, когда он, потягиваясь в постели своей и расправляя разбитые члены, ждал этот раз обычного появления Петрушки в своей комнате. Ждал он уже с четверть часа; слышал, как ленивец Петрушка возится за перегородкой с самоваром, а между тем никак не решался позвать его. Скажем более: господин Голядкин даже немного боялся теперь очной ставки с Петрушкою. «Ведь Бог знает, — думал он, — ведь Бог знает, как теперь смотрит на всё это дело этот мошенник. Он там молчит-молчит, а сам себе на уме». Наконец дверь заскрипела и явился Петрушка с подносом в руках. Господин Голядкин робко на него покосился, с нетерпением ожидая, что будет, ожидая, не скажет ли он наконец чего-нибудь насчет известного обстоятельства. Но Петрушка ничего не сказал, а напротив, был как-то молчаливее, суровее и сердитее обыкновенного, косился на всё исподлобья; вообще видно было, что он чем-то крайне недоволен; даже ни разу не взглянул на своего барина, что, мимоходом сказать, немного кольнуло господина Голядкина; поставил на стол всё, что принес с собой, повернулся и ушел молча за свою перегородку. «Знает, знает, всё знает, бездельник!» — ворчал господин Голядкин, принимаясь за чай. Однако ж герой наш ровно ничего не расспросил у своего человека, хотя Петрушка несколько раз потом входил в его комнату за разными надобностями. В самом тревожном положении духа был господин Голядкин. Жутко было еще идти в департамент. Сильное предчувствие было, что вот именно там-то что-нибудь да не так. «Ведь вот пойдешь, — думал он, — да как наткнешься на что-нибудь? Не лучше ли теперь потерпеть? Не лучше ли теперь подождать? Они там — пускай себе как хотят; а я бы сегодня здесь подождал, собрался бы с силами, оправился бы, размыслил получше обо всем этом деле, да потом улучил бы минутку, да всем им как снег на голову, а сам ни в одном глазу». Раздумывая таким образом, господин Голядкин выкуривал трубку за трубкой; время летело; было

уже почти половина десятого. «Ведь вот уже половина десятого, — думал господин Голядкин, — и являться-то поздно. Да к тому же я болен, разумеется болен, непременно болен; кто же скажет, что нет? Что мне! А пришлют свидетельствовать, а пусть придет экзекутор; да и что же мне в самом деле? У меня вот спина болит, кашель, насморк; да и наконец, и нельзя мне идти, никак нельзя по этой погоде; я могу заболеть, а потом и умереть, пожалуй; нынче особенно смертность такая...» Такими резонами господин Голядкин успокоил наконец вполне свою совесть и заранее оправдался сам перед собою в нагоняе, ожидаемом от Андрея Филипповича за нерадение по службе. Вообще во всех подобных обстоятельствах крайне любил наш герой оправдывать себя в собственных глазах своих разными неотразимыми резонами и успокоивать таким образом вполне свою совесть. Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, набил ее и, только что начал порядочно раскуривать, — быстро вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, натянул на себя вицмундир и всё прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент.

Вошел господин Голядкин в свое отделение робко, с трепещущим ожиданием чего-то весьма нехорошего, — ожиданием хотя бессознательным, темным, но вместе с тем и неприятным; робко присел он на свое всегдашнее место возле столоначальника, Антона Антоновича Сеточкина. Ни на что не глядя, не развлекаясь ничем, вникнул он в содержание лежавших перед ним бумаг. Решился он и дал себе слово как можно сторониться от всего вызывающего, от всего могущего сильно его компрометировать, как-то: от нескромных вопросов, от чьих-нибудь шуточек и неприличных намеков насчет всех обстоятельств вчерашнего вечера; решился даже отстраниться от обычных учтивостей с сослуживцами, то есть вопросов о здоровье и прочее. Но очевидно тоже, что так оставаться было нельзя, невозможно. Беспокойство и неведение о чем-нибудь, близко его задевающем, всегда его мучило более, нежели самое задевающее. И вот почему, несмотря на данное себе слово не входить ни во что, что бы ни делалось, и сторониться от всего, что бы ни было, господин Голядкин изредка, украдкой, тихонько-тихонько приподымал голову и исподтишка поглядывал на стороны, направо, налево, заглядывал в физиономии своих сослуживцев и по ним уже старался заключить, нет ли чего нового и особенного, до него относящегося и от него с какими-нибудь неблаговидными целями скрываемого. Предполагал он непременную связь всего своего вчерашнего обстоятельства со всем теперь его окружающим. Наконец, в тоске своей, он начал желать, чтоб хоть Бог знает как, да только раз-

решилось бы всё поскорее; хоть и бедой какой-нибудь — нужды нет! Как тут судьба поймала господина Голядкина: не успел он пожелать, как сомнения его вдруг разрешились, но зато самым странным и самым неожиданным образом.

Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула тихо и робко, как бы рекомендуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочем весьма знакомая господину Голядкину, застенчиво явилась перед самым тем столом, за которым помещался герой наш. Герой наш не подымал головы, — нет, он наглядел эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, но уже всё узнал, понял всё, до малейших подробностей. Он сгорел от стыда и уткнул в бумагу свою победную голову, совершенно с тою же самою целью, с которою страус, преследуемый охотником, прячет свою в горячий песок. Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу, и вслед затем послышался голос форменно-ласковый, такой, каким говорят начальники во всех служебных местах с новопоступившими подчиненными. «Сядьте вот здесь, — проговорил Андрей Филиппович, указывая новичку на стол Антона Антоновича, — вот здесь, напротив господина Голядкина, а делом мы вас тотчас займем». Андрей Филиппович заключил тем, что сделал новоприбывшему скорый прилично-увещательный жест, а потом немедленно углубился в сущность разных бумаг, которых перед ним была целая куча.

Господин Голядкин поднял наконец глаза, и если не упал в обморок, то единственно оттого, что уже сперва всё дело предчувствовал, что уже сперва был обо всем предуведомлен, угадав пришельца в душе. Первым движением господина Голядкина было быстро осмотреться кругом, — нет ли там какого шушуканья, не отливается ли на этот счет какая-нибудь острота канцелярская, не искривилось ли чье лицо удивлением, не упал ли, наконец, кто-нибудь под стол от испуга. Но, к величайшему удивлению господина Голядкина, ни в ком не обнаружилось ничего подобного. Поведение господ товарищей и сослуживцев господина Голядкина поразило его. Оно казалось вне здравого смысла. Господин Голядкин даже испугался такого необыкновенного молчания. Существенность за себя говорила; дело было странное, безобразное, дикое. Было от чего шевельнуться. Всё это, разумеется, только мелькнуло в голове господина Голядкина. Сам же он горел на мелком огне. Да и было от чего, впрочем. Тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был — ужас господина Голядкина, был — стыд господина Голядкина, был — вчерашний кошмар господина Голядкина, одним словом, был сам господин Голядкин, — не тот господин Голядкин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и с застывшим пе-

ром в руке; не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника; не тот, который любит стушеваться и зарыться в толпе; не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает: «Не троньте меня, и я вас трогать не буду», или: «Не троньте меня, ведь я вас не затрогиваю», — нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, — такого же роста, такого же склада, так же одетый, с такой же лысиной, — одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто для совершенного сходства, так что если б взять да поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который именно настоящий Голядкин, а который поддельный, кто старенький и кто новенький, кто оригинал и кто копия.

Герой наш, если возможно сравнение, был теперь в положении человека, над которым забавлялся проказник какой-нибудь, для шутки наводя на него исподтишка зажигательное стекло. «Что ж это, сон или нет, — думал он, — настоящее или продолжение вчерашнего? Да как же? по какому же праву всё это делается? кто разрешил такого чиновника, кто дал право на это? Сплю ли я, грежу ли я?» Господин Голядкин попробовал ущипнуть самого себя, даже попробовал вознамериться ущипнуть другого кого-нибудь... Нет, не сон, да и только. Господин Голядкин почувствовал, что пот с него градом льется, что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное, и по тому самому, к довершению несчастия, неприличное, ибо господин Голядкин понимал и ощущал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым примером. Он даже стал наконец сомневаться в собственном существовании своем, и хотя заранее был ко всему приготовлен и сам желал, чтоб хоть каким-нибудь образом разрешились его сомнения, но самая-то сущность обстоятельства уж конечно стоила неожиданности. Тоска его давила и мучила. Порой он совершенно лишался и смысла и памяти. Очнувшись после такого мгновения, он замечал, что машинально и бессознательно водит пером по бумаге. Не доверяя себе, он начинал поверять всё написанное — и не понимал ничего. Наконец другой господин Голядкин, сидевший до сих пор чинно и смирно, встал и исчез в дверях другого отделения за каким-то делом. Господин Голядкин оглянулся кругом, — ничего, всё тихо; слышен лишь скрип перьев, шум переворачиваемых листов и говор в уголках поотдаленнее от седалища Андрея Филипповича. Господин Голядкин взглянул на Антона Антоновича, и так как, по всей вероятности, физиономия нашего героя вполне отзывалась его настоящим и гармонировала со всем смыслом дела, следовательно, в некотором отношении была весьма замечательна, то добрый Ан-

тон Антонович, отложив перо в сторону, с каким-то необыкновенным участием осведомился о здоровье господина Голядкина.

— Я, Антон Антонович, слава Богу, — заикаясь, проговорил господин Голядкин. — Я, Антон Антонович, совершенно здоров; я, Антон Антонович, теперь ничего, — прибавил он нерешительно, не совсем еще доверяя часто поминаемому им Антону Антоновичу.

— А! А мне показалось, что вы нездоровы; впрочем, немудрено, чего доброго! Нынче же особенно всё такие поветрия. Знаете ли...

— Да, Антон Антонович, я знаю, что существуют такие поветрия... Я, Антон Антонович, не оттого, — продолжал господин Голядкин, пристально вглядываясь в Антона Антоновича, — я, видите ли, Антон Антонович, даже не знаю, как вам, то есть, я хочу сказать, с которой стороны за это дело приняться, Антон Антонович...

— Что-с? Я вас... знаете ли... я, признаюсь вам, не так-то хорошо понимаю; вы... знаете, вы объяснитесь подробнее, в каком отношении вы здесь затрудняетесь, — сказал Антон Антонович, сам затрудняясь немножко, видя, что у господина Голядкина даже слезы на глазах выступили.

— Я, право... здесь, Антон Антонович... тут — чиновник, Антон Антонович...

— Ну-с! Всё еще не понимаю.

— Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник.

— Да-с, есть-с; однофамилец ваш.

— Как? — вскрикнул господин Голядкин.

— Я говорю: ваш однофамилец; тоже Голядкин. Не братец ли ваш?

— Нет-с, Антон Антонович, я...

— Гм! скажите, пожалуйста, а мне показалось, что, должно быть, близкий ваш родственник. Знаете ли, есть такое, фамильное в некотором роде, сходство.

Господин Голядкин остолбенел от изумления, и на время у него язык отнялся. Так легко трактовать такую безобразную, невиданную вещь, вещь действительно редкую в своем роде, вещь, которая поразила бы даже самого неинтересованного наблюдателя, говорить о фамильном сходстве тогда, когда тут видно, как в зеркале!

— Я, знаете ли, что посоветую вам, Яков Петрович, — продолжал Антон Антонович. — Вы сходите-ка к доктору да посоветуйтесь с ним. Знаете ли, вы как-то *выглядите* совсем нездорово. У вас глаза особенно... знаете, особенное какое-то выражение есть.

— Нет-с, Антон Антонович, я, конечно, чувствую... то есть я хочу всё спросить, как же этот чиновник?

— Ну-с?

— То есть вы не замечали ли, Антон Антонович, чего-нибудь в нем особенного... слишком чего-нибудь выразительного?

— То есть?

— То есть я хочу сказать, Антон Антонович, поразительного сходства такого с кем-нибудь, например, то есть со мной, например. Вы вот сейчас, Антон Антонович, сказали про фамильное сходство, замечание вскользь сделали... Знаете ли, этак иногда близнецы бывают, то есть совершенно как две капли воды, так что и отличить нельзя? Ну, вот, я про это-с.

— Да-с, — сказал Антон Антонович, немного подумав и как будто в первый раз пораженный таким обстоятельством, — да-с! справедливо-с. Сходство в самом деле разительное, и вы безошибочно рассудили, так что и действительно можно принять одного за другого, — продолжал он, более и более открывая глаза. — И знаете ли, Яков Петрович, это даже чудесное сходство, фантастическое, как иногда говорится, то есть совершенно, как вы... Вы заметили ли, Яков Петрович? Я даже сам хотел просить у вас объяснения, да, признаюсь, не обратил должного внимания сначала. Чудо, действительно чудо! А знаете ли, Яков Петрович, вы ведь не здешний родом, я говорю?

— Нет-с.

— Он также ведь не из здешних. Может быть, из одних с вами мест. Ваша матушка, смею спросить, где большею частию проживала?

— Вы сказали... вы сказали, Антон Антонович, что он не из здешних?

— Да-с, не из здешних мест. А и в самом деле, как же это чудно, — продолжал словоохотливый Антон Антонович, которому поболтать о чем-нибудь было истинным праздником, — действительно способно завлечь любопытство; и ведь как часто мимо пройдешь, заденешь, толкнешь его, а не заметишь. Впрочем, вы не смущайтесь. Это бывает. Это, знаете ли, — вот я вам расскажу, — то же самое случилось с моей тетушкой с матерней стороны; она тоже перед смертию себя вдвойне видела...

— Нет-с, я, — извините, что прерываю вас, Антон Антонович, — я, Антон Антонович, хотел бы узнать, как же этот чиновник, то есть на каком он здесь основании?

— А на место Семена Ивановича покойника, на вакантное место; вакансия открылась, так вот и заместили. Ведь вот, право, сердечный этот Семен-то Иванович покойник троих детей, говорят, оставил — мал мала меньше. Вдова падала к ногам его пре-

восходительства. Говорят, впрочем, она таит: у ней есть деньжонки, да она их таит...

— Нет-с, я, Антон Антонович, я вот всё о том обстоятельстве.

— То есть? Ну, да! да что же вы-то так интересуетесь этим? Говорю вам: вы не смущайтесь. Это всё временное отчасти. Что ж? ведь вы сторона; это уж так сам Господь Бог устроил, это уж Его воля была, и роптать на это грешно. На этом Его премудрость видна. А вы же тут, Яков Петрович, сколько я понимаю, не виноваты нисколько. Мало ли чудес есть на свете! Мать-природа щедра; а с вас за это ответа не спросят, отвечать за это не будете. Ведь вот, для примера, кстати сказать, слыхали, надеюсь, как их, как бишь их там, да, сиамские близнецы, срослись себе спинами, так и живут, и едят, и спят вместе; деньги, говорят, большие берут.

— Позвольте, Антон Антонович...

— Понимаю вас, понимаю! Да! ну да, что ж? — ничего! Я говорю, по крайнему моему разумению, что смущаться тут нечего. Что ж? он чиновник как чиновник; кажется, что деловой человек. Говорит, что Голядкин, не из здешних мест, говорит, титулярный советник. Лично с его превосходительством объяснялся.

— А ну, как же-с?

— Ничего-с; говорят, что достаточно объяснился, резоны представил; говорит, что вот, дескать, так и так, ваше превосходительство, и что нет состояния, а желаю служить и особенно под вашим лестным начальством... ну, и там всё, что следует, знаете ли, ловко всё выразил. Умный человек, должно быть. Ну, разумеется, явился с рекомендацией; без нее ведь нельзя...

— Ну-с, от кого же-с... то есть я хочу сказать, кто тут именно в это срамное дело руку свою замешал?

— Да-с. Хорошая, говорят, рекомендация; его превосходительство, говорят, посмеялись с Андреем Филипповичем.

— Посмеялись с Андреем Филипповичем?

— Да-с; только так улыбнулись и сказали, что хорошо, и пожалуй, и что они с их стороны не прочь, только бы верно служил...

— Ну-с, дальше-с. Вы меня оживляете отчасти, Антон Антонович; умоляю вас — дальше-с.

— Позвольте, я опять что-то вас... Ну-с, да-с; ну, и ничего-с; обстоятельство немудреное; вы, я вам говорю, не смущайтесь, и сумнительного в этом нечего находить...

— Нет-с. Я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что, его превосходительство ничего больше не прибавили... насчет меня, например?

— То есть как же-с! Да-с! Ну, нет, ничего; можете быть совершенно спокойны. Знаете, оно, конечно, разумеется, обстоятельство довольно разительное и сначала... да вот я, например, сначала я и не заметил почти. Не знаю, право, отчего не заметил до тех пор, покамест вы не напомнили. Но, впрочем, можете быть совершенно спокойны. Ничего особенного, ровно ничего не сказали, — прибавил добренький Антон Антонович, вставая со стула.

— Так вот-с я, Антон Антонович...

— Ах, вы меня извините-с. Я и так о пустяках проболтал, а вот дело есть важное, спешное. Нужно вот справиться.

— Антон Антонович! — раздался учтиво-призывный голос Андрея Филипповича, — его превосходительство спрашивал.

— Сейчас, сейчас, Андрей Филиппович, сейчас иду-с. — И Антон Антонович, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала к Андрею Филипповичу, а потом в кабинет его превосходительства.

«Так как же это? — думал про себя господин Голядкин, — так вот у нас игра какова! Так вот у нас какой ветерок теперь подувает... Это недурно; это, стало быть, наиприятнейший оборот дела приняли, — говорил про себя герой наш, потирая руки и не слыша под собою стула от радости. — Так дело-то наше обыкновенное дело. Так всё пустячками кончается, ничем разрешается. В самом деле, никто ничего, и не пикнут, разбойники, сидят и делами занимаются; славно, славно! я доброго человека люблю, любил и всегда готов уважать... Впрочем, ведь оно и того, как подумать, этот Антон-от Антонович... доверяться-то страшно: сед чересчур и от старости покачнулся порядком. Самое, впрочем, славное и громадное дело то, что его превосходительство ничего не сказали и так пропустили: оно хорошо! одобряю! Только Андрей-то Филиппович чего ж тут с своими смешками мешается? Ему-то тут что? Старая петля! всегда на пути моем, всегда черной кошкой норовит перебежать человеку дорогу, всегда-то поперек да в пику человеку; человеку-то в пику да поперек...»

Господин Голядкин опять оглянулся кругом и опять оживился надеждой. Чувствовал он, впрочем, что его все-таки смущает одна отдаленная мысль, какая-то недобрая мысль. Ему даже пришло было в голову самому как-нибудь подбиться к чиновникам, забежать вперед зайцем, даже (там как-нибудь при выходе из должности или подойдя как будто бы за делами), между разговором, и намекнуть — что вот, дескать, господа, так и так, вот такое-то сходство разительное, обстоятельство странное, комедия пасквильная — то есть подтрунить самому над всем этим да и

сондировать таким образом глубину опасности. «А то ведь в тихом-то омуте черти водятся!» — мысленно заключил наш герой. Впрочем, господин Голядкин это только подумал; зато одумался вовремя. Понял он, что это значит махнуть далеко. «Натура-то твоя такова! — сказал он про себя, щелкнув себя легонько по лбу рукою, — сейчас заиграешь, обрадовался! душа ты правдивая! Нет, уж лучше мы с тобой потерпим, Яков Петрович, подождем да потерпим!» Тем не менее, и как мы уже упомянули, господин Голядкин возродился полной надеждой, точно из мертвых воскрес. «Ничего, — думал он, — словно пятьсот пудов с груди сорвалось! Ведь вот обстоятельство! А ларчик-то просто ведь открывался. Крылов-то и прав, Крылов-то и прав... дока, петля этот Крылов и баснописец великий! А что до того, так пусть его служит, пусть его служит себе на здоровье, лишь бы никому не мешал и никого не затрогивал; пусть его служит, — согласен и аппробую!»

А между тем часы проходили, летели, и незаметно стукнуло четыре часа. Присутствие закрылось; Андрей Филиппович взялся за шляпу, и, как водится, все последовали его примеру. Господин Голядкин помедлил немножко, нужное время, и вышел нарочно позже всех, самым последним, когда уже все разбрелись по разным дорогам. Вышед на улицу, он почувствовал себя точно в раю, так, что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Невскому. «Ведь вот судьба! — говорил наш герой, — неожиданный переворот всего дела. И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку, славно уживается с морозом русский человек! Я люблю русского человека. И снежочек и первая пороша, как сказал бы охотник; вот бы тут зайца по первой пороше! Эхма! да ну, ничего!»

Так-то выражался восторг господина Голядкина, а между тем что-то всё еще щекотало у него в голове, тоска не тоска — а порой так сердце насасывало, что господин Голядкин не знал, чем утешить себя. «Впрочем, подождем-ка мы дня и тогда будем радоваться. А впрочем, ведь что же такое? Ну, рассудим, посмотрим. Ну, давай рассуждать, молодой друг мой, ну, давай рассуждать. Ну, такой же, как и ты, человек, во-первых, совершенно такой же. Ну, да что ж тут такого? Коли такой человек, так мне и плакать? Мне-то что? Я в стороне; свищу себе, да и только! На то пошел, да и только! Пусть его служит! Ну, чудо и странность, там говорят, что сиамские близнецы... Ну, да зачем их, сиамских-то? положим, они близнецы, но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Суворов пел петухом... Ну, да он там это всё из по-

литики; и великие полководцы... да, впрочем, что ж полководцы? А вот я сам по себе, да и только, и знать никого не хочу, и в невинности моей врага презираю. Не интригант, и этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, приятен, незлобив...»

Вдруг господин Голядкин умолк, осекся и как лист задрожал, даже закрыл глаза на мгновение. Надеясь, впрочем, что предмет его страха просто иллюзия, открыл он наконец глаза и робко покосился направо. Нет, не иллюзия!.. Рядом с ним семенил утренний знакомец его, улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор. Разговор, впрочем, не начинался. Оба они прошли шагов пятьдесят таким образом. Всё старание господина Голядкина было как можно плотнее закутаться, зарыться в шинель и нахлобучить на глаза шляпу до последней возможности. К довершению обиды даже и шинель и шляпа его приятеля были точно такие же, как будто сейчас с плеча господина Голядкина.

— Милостивый государь, — произнес наконец наш герой, стараясь говорить почти шепотом и не глядя на своего приятеля, — мы, кажется, идем по разным дорогам... Я даже уверен в этом, — сказал он, помолчав немножко. — Наконец, я уверен, что вы меня поняли совершенно, — довольно строго прибавил он в заключение.

— Я бы желал, — проговорил наконец приятель господина Голядкина, — я бы желал... вы, вероятно, великодушно извините меня... я не знаю, к кому обратиться здесь... мои обстоятельства, — я надеюсь, что вы извините мне мою дерзость, — мне даже показалось, что вы, движимые состраданием, принимали во мне сегодня утром участие. С своей стороны, я с первого взгляда почувствовал к вам влечение, я... — Тут господин Голядкин мысленно пожелал своему новому сослуживцу провалиться сквозь землю. — Если бы я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, меня снисходительно изволите выслушать...

— Мы — мы здесь — мы... лучше пойдемте ко мне, — отвечал господин Голядкин, — мы теперь перейдем на ту сторону Невского, там нам будет удобнее с вами, а потом переулочком... мы лучше возьмем переулочком.

— Хорошо-с. Пожалуй, возьмем переулочком-с, — робко сказал смиренный спутник господина Голядкина, как будто намекая тоном ответа, что где ему разбирать и что, в его положении, он и переулочком готов удовольствоваться. Что же касается до господина Голядкина, то он совершенно не понимал, что с ним делалось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего изумления.

## *Глава VII*

Опомнился он немного на лестнице, при входе в квартиру свою. «Ах я баран-голова! — ругнул он себя мысленно, — ну, куда ж я веду его? Сам я голову в петлю кладу. Что же подумает Петрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? а он подозрителен...» Но уже поздно было раскаиваться; господин Голядкин постучался, дверь отворилась, и Петрушка начал снимать шинели с гостя и барина. Господин Голядкин посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на Петрушку, стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его мысли. Но, к величайшему своему удивлению, увидел он, что служитель его и не думает удивляться и даже, напротив, словно ждал чего-то подобного. Конечно, он и теперь смотрел волком, косил на сторону и как будто кого-то съесть собирался. «Уж не околдовал ли их кто всех сегодня, — думал герой наш, — бес какой-нибудь обежал! Непременно что-нибудь особенное должно быть во всем народе сегодня. Черт возьми, экая мука какая!» Вот всё-то таким образом думая и раздумывая, господин Голядкин ввел гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень робел, покорно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его, так что он, если позволят сравнение, довольно походил в эту минуту на того человека, который, за неимением своего платья, оделся в чужое: рукава лезут наверх, талия почти на затылке, а он то поминутно оправляет на себе короткий жилетишко, то виляет бочком и сторонится, то норовит куда-нибудь спрятаться, то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его, — и краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция... Господин Голядкин поставил свою шляпу на окно; от неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тотчас же бросился ее поднимать, счистил всю пыль, бережно поставил на прежнее место, а свою на полу, возле стула, на краюшке которого смиренно сам поместился. Это маленькое обстоятельство открыло отчасти глаза господину Голядкину; понял он, что нужда в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как начать с своим гостем, предоставив это всё, как и следовало, ему самому. Гость же, с своей стороны, тоже не начинал ничего, робел ли, стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начина хозяйского, — неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошел Петрушка, остановился в дверях и уставился

глазами в сторону, совершенно противоположную той, в которой помещались и гость и барин его.

— Обеда две порции прикажете брать? — проговорил он небрежно и сиповатым голосом.

— Я, я не знаю... вы — да, возьми, брат, две порции.

Петрушка ушел. Господин Голядкин взглянул на своего гостя. Гость его покраснел до ушей. Господин Голядкин был добрый человек и потому, по доброте души своей, тотчас же составил теорию: «Бедный человек, — думал он, — да и на месте-то всего один день; в свое время пострадал, вероятно; может быть, только и добра-то, что приличное платьишко, а самому и пообедать-то нечем. Эк его, какой он забитый! Ну, ничего; это отчасти и лучше...»

— Извините меня, что я, — начал господин Голядкин, — впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас?

— Я... я... Яков Петровичем, — почти прошептал гость его, словно совестясь и стыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже Яковом Петровичем.

— Яков Петрович! — повторил наш герой, не в силах будучи скрыть своего смущения.

— Да-с, точно так-с... Тезка вам-с, — отвечал смиренный гость господина Голядкина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее. Но тут же и оселся назад, приняв вид самый серьезный и немного, впрочем, смущенный, замечая, что хозяину его теперь не до шуточек.

— Вы... позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь...

— Зная ваше великодушие и добродетели ваши, — быстро, но робким голосом прервал его гость, немного приподымаясь со стула, — осмелился я обратиться к вам и просить вашего... знакомства и покровительства... — заключил его гость, очевидно затрудняясь в своих выражениях и выбирая слова не слишком льстивые и унизительные, чтоб не окомпрометировать себя в отношении амбиции, но и не слишком смелые, отзывающиеся неприличным равенством. Вообще можно сказать, что гость господина Голядкина вел себя как благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует протягивать руку.

— Вы смущаете меня, — отвечал господин Голядкин, оглядывая себя, свои стены и гостя, — чем же я мог бы... я, то есть, хочу сказать, в каком именно отношении могу я вам услужить в чем-нибудь?

— Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого взгляда и, простите меня великодушно, на вас понадеялся, —

осмелился понадеяться, Яков Петрович. Я... я человек здесь затерянный, Яков Петрович, бедный, пострадал весьма много, Яков Петрович, и здесь еще внове. Узнав, что вы, при обыкновенных, врожденных вам качествах вашей прекрасной души, однофамилец мой...

Господин Голядкин поморщился.

— Однофамилец мой и родом из одних со мною мест, решился я обратиться к вам и изложить вам затруднительное мое положение.

— Хорошо-с, хорошо-с; право, я не знаю, что вам сказать, — отвечал смущенным голосом господин Голядкин, — вот, после обеда, мы потолкуем...

Гость поклонился; обед принесли. Петрушка собрал на стол, и гость вместе с хозяином принялись насыщать себя. Обед продолжался недолго; оба они торопились — хозяин потому, что был не в обыкновенной тарелке своей, да к тому же и совестился, что обед был дурной, — совестился же отчасти оттого, что хотелось гостя хорошо покормить, а частию оттого, что хотелось показать, что он не как нищий живет. С своей стороны, гость был в крайнем смущении и крайне конфузился. Взяв один раз хлеба и съев свой ломоть, он уже боялся протягивать руку к другому ломтю, совестился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден, что обед был прекрасный и что он, с своей стороны, совершенно доволен и по гроб будет чувствовать. Когда еда кончилась, господин Голядкин закурил свою трубочку, предложил другую, заведенную для приятеля, гостю, — оба уселись друг против друга, и гость начал рассказывать свои приключения.

Рассказ господина Голядкина-младшего продолжался часа три или четыре. История приключений его была, впрочем, составлена из самых пустейших, из самых мизернейших, если можно сказать, обстоятельств. Дело шло о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-каких канцелярских интригах, о развратe души одного из повытчиков, о ревизоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Голядкин-второй пострадал совершенно безвинно; о престарелой тетушке его, Пелагее Семеновне; о том, как он, по разным интригам врагов своих, места лишился и пешком пришел в Петербург; о том, как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, как бесплодно долгое время места искал, прожился, исхарчился, жил чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими, спал на голом полу и, наконец, как кто-то из добрых людей взялся хлопотать о нем, рекомендовал и великодушно к новому месту пристроил. Гость господина Голядкина плакал,

рассказывая, и утирал слезы синим клетчатым платком, весьма походившим на клеенку. Заключил же он тем, что открылся вполне господину Голядкину и признался, что ему не только нечем покамест жить и прилично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на что; что вот, включил он, даже на сапожишки не мог сколотиться и что вицмундир взят им у кого-то на подержание на малое время.

Господин Голядкин был в умилении, был истинно тронут. Впрочем, и даже несмотря на то, что история его гостя была самая пустая история, все слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная. Дело в том, что господин Голядкин забывал последние сомнения свои, разрешил свое сердце на свободу и радость и, наконец, мысленно сам себя пожаловал в дураки. Всё было так натурально! И было от чего сокрушаться, бить такую тревогу! Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство, — да ведь оно не беда: оно не может замарать человека, амбицию его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват человек, когда сама природа сюда замешалась. К тому же гость просил покровительства, гость плакал, гость судьбу обвинял, казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, ничтожным и, кажется, сам теперь совестился, хотя, может быть, и в другом отношении, странным сходством лица своего с хозяйским лицом. Вел он себя донельзя благонадежно, так и смотрел угодить своему хозяину и смотрел так, как смотрит человек, который терзается угрызениями совести и чувствует, что виноват перед другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением господина Голядкина. Если же как-нибудь, по ошибке, заходил мнением своим в контру господину Голядкину и потом замечал, что сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся и давал немедленно знать, что он всё разумеет точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и смотрит на всё совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, гость употреблял всевозможные усилия «найти» в господине Голядкине, так что господин Голядкин решил наконец, что гость его должен быть весьма любезный человек во всех отношениях. Между прочим, подали чай; час был девятый. Господин Голядкин чувствовал себя в прекрасном расположении духа, развеселился, разыгрался, расходился понемножку и пустился наконец в самый живой и занимательный разговор с своим гостем. Господин Голядкин, под веселую руку, любил иногда рассказать что-нибудь интересное. Так и теперь: рассказал гостю много о столице, об увеселениях и красотах ее, о театре, о клубах, о картине Брюллова; о том, как два англичанина приехали

нарочно из Англии в Петербург, чтоб посмотреть на решетку Летнего сада, и тотчас уехали; о службе, об Олсуфье Ивановиче и об Андрее Филипповиче; о том, что Россия с часу на час идет к совершенству и что «тут

Словесные науки днесь цветут»;

об анекдотце, прочитанном недавно в «Северной пчеле», и что в Индии есть змея удав необыкновенной силы; наконец, о бароне Брамбеусе и т. д. и т. д. Словом, господин Голядкин вполне был доволен, во-первых, потому, что был совершенно спокоен; во-вторых, что не только не боялся врагов своих, но даже готов был теперь всех их вызвать на самый решительный бой; в-третьих, что сам своею особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе дело. Сознавался он, впрочем, в душе своей, что еще не совсем счастлив в эту минуту, что сидит в нем еще один червячок, самый маленький впрочем, и точит даже и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере у Олсуфья Ивановича. Много бы дал он теперь, если б не было кой-чего из того, что было вчера. «Впрочем, ведь оно ничего!» — заключил наконец наш герой и решился твердо в душе вести себя вперед хорошо и не впадать в подобные промахи. Так как господин Голядкин теперь расходился вполне и стал вдруг почти совершенно счастлив, то вздумалось ему даже и пожуировать жизнию. Принесен был Петрушкою ром, и составился пунш. Гость и хозяин осушили по стакану и по два. Гость оказался еще любезнее прежнего и с своей стороны показал не одно доказательство прямодушия и счастливого характера своего, сильно входил в удовольствие господина Голядкина, казалось, радовался только одною его радостью и смотрел на него как на истинного и единственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек бумажки, он попросил господина Голядкина не смотреть на то, что он будет писать, и потом, когда кончил, сам показал хозяину своему всё написанное. Оказалось, что это было четверостишие, написанное довольно чувствительно, впрочем прекрасным слогом и почерком, и, как видно, сочинение самого любезного гостя. Стишки были следующие:

Если ты меня забудешь,
Не забуду я тебя;
В жизни может всё случиться,
Не забудь и ты меня!

Со слезами на глазах обнял своего гостя господин Голядкин и, расчувствовавшись наконец вполне, сам посвятил своего гостя в некоторые секреты и тайны свои, причем речь сильно напиралась на Андрея Филипповича и на Клару Олсуфьевну. «Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, — говорил наш герой своему гостю, — мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику им... в пику-то им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся. Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю; ведь ты как раз всё расскажешь, душа ты правдивая! Ты, брат, сторонись от них всех». Гость вполне соглашался, благодарил господина Голядкина и тоже наконец прослезился. «Ты, знаешь ли, Яша, — продолжал господин Голядкин дрожащим, расслабленным голосом, — ты, Яша, поселись у меня на время, или навсегда поселись. Мы сойдемся. Что, брат, тебе, а? А ты не смущайся и не ропщи на то, что вот между нами такое странное теперь обстоятельство: роптать, брат, грешно; это природа! А мать-природа щедра, вот что, брат Яша! Любя тебя, братски любя тебя, говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы им утрем». Пунш наконец дошел до третьих и четвертых стаканов на брата, и тогда господин Голядкин стал испытывать два ощущения: одно то, что необыкновенно счастлив, а другое — что уже не может стоять на ногах. Гость, разумеется, был приглашен ночевать. Кровать была кое-как составлена из двух рядов стульев. Господин Голядкин-младший объявил, что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что, с своей стороны, он заснет, где придется, с покорностью и признательностью; что теперь он в раю и что, наконец, он много перенес на своем веку несчастий и горя, на всё посмотрел, всего перетерпел, и — кто знает будущность? — может быть, еще перетерпит. Господин Голядкин-старший протестовал против этого и начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на Бога. Гость вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как Бог. Тут господин Голядкин-старший заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая даже во сне имя Божие. Потом, не соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеветах, взводимых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая его в своем роде великим политиком, господин Голядкин перешел к весьма интересному описанию алжирской цирюльни, о которой читал в какой-то книжке, в «Смеси». Гость и хозяин много смеялись над простодушием турков; впрочем, не могли не отдать должной дани удивления

их фанатизму, возбуждаемому опиумом... Гость стал наконец раздеваться, а господин Голядкин вышел за перегородку, частию по доброте души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочной нет, так чтоб не сконфузить и без того уже пострадавшего человека, а частию для того, чтоб увериться по возможности в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человека, чтоб уж все были счастливы и чтоб не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка всё еще немного смущал господина Голядкина.

— Ты, Петр, ложись теперь спать, — кротко сказал господин Голядкин, входя в отделение своего служителя, — ты теперь ложись спать, а завтра в восемь часов ты меня и разбуди. Понимаешь, Петруша?

Господин Голядкин говорил необыкновенно мягко и ласково. Но Петрушка молчал. Он в это время возился около своей кровати и даже не обернулся к своему барину, что бы должен был сделать, впрочем, из одного к нему уважения.

— Ты, Петр, меня слышал? — продолжал господин Голядкин. — Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и разбуди меня в восемь часов; понимаешь?

— Да уж помню, уж что тут! — проворчал себе под нос Петрушка.

— Ну то-то, Петруша; я это только так говорю, чтоб и ты был спокоен и счастлив. Вот мы теперь все счастливы, так чтоб и ты был спокоен и счастлив. А теперь спокойной ночи желаю тебе. Усни, Петруша, усни; мы все трудиться должны... Ты, брат, знаешь, не думай чего-нибудь...

Господин Голядкин начал было, да и остановился. «Не слишком ли будет, — подумал он, — не далеко ли я замахнул? Так-то всегда; всегда-то я пересыплю». Герой наш вышел от Петрушки весьма недовольный собою. К тому же грубостью и неподатливостью Петрушки он немного обиделся. «С шельмецом заигрывают, шельмецу барин честь делает, а он не чувствует, — подумал господин Голядкин. — Впрочем, такая уж тенденция подлая у всего этого рода!» Отчасти покачиваясь, воротился он в комнату и, видя, что гость его улегся совсем, присел на минутку к нему на постель. «А ведь признайся, Яша, — начал он шепотом и курнякая головой, — ведь ты, подлец, предо мной виноват? ведь ты, тезка, знаешь, того...» — продолжал он, довольно фамильярно заигрывая с своим гостем. Наконец, распростившись с ним дружески, господин Голядкин отправился спать. Гость между тем захрапел. Господин Голядкин в свою очередь начал ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя:

«Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты такой, Голядка ты этакой, — фамилья твоя такова!! Ну, чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая: что мне делать с тобой!» Тут довольно странное ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина, что-то похожее на сомнение или раскаяние. «Расходился ж я, — думал он, — ведь вот теперь шумит в голове и я пьян; и не удержался, дурачина ты этакая! и вздору с три короба намолол да еще хитрить, подлец, собирался. Конечно, прощение и забвение обид есть первейшая добродетель, но всё ж оно плохо! вот оно как!» Тут господин Голядкин привстал, взял свечу и на цыпочках еще раз пошел взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. «Картина неприятная! пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом!»

Наконец господин Голядкин улегся совсем. В голове у него шумело, трещало, звонило. Он стал забываться — забываться... силился было о чем-то думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрешить что-то такое весьма важное, какое-то щекотливое дело, — но не мог. Сон налетел на его победную голову, и он заснул так, как обыкновенно спят люди, с непривычки употребившие вдруг пять стаканов пунша на какой-нибудь дружеской вечеринке.

## *Глава VIII*

Как обыкновенно, на другой день господин Голядкин проснулся в восемь часов; проснувшись же, тотчас припомнил все происшествия вчерашнего вечера, — припомнил и поморщился. «Эк я разыгрался вчера каким дураком!» — подумал он, приподымаясь с постели и взглянув на постель своего гостя. Но каково же было его удивление, когда не только гостя, но даже и постели, на которой спал гость, не было в комнате! «Что ж это такое? — чуть не вскрикнул господин Голядкин, — что ж бы это было такое? Что же означает теперь это новое обстоятельство?» Покамест господин Голядкин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опустелое место, скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным подносом. «Где же, где же?» — проговорил чуть слышным голосом наш герой, указывая пальцем на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел на своего барина, а поворотил свои глаза в угол направо, так что господин Голядкин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка сиповатым и грубым голосом ответил — «что барина дома нет».

— Дурак ты; да ведь я твой барин, Петрушка, — проговорил господин Голядкин прерывистым голосом и во все глаза смотря на своего служителя.

Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Голядкина, что тот покраснел до ушей, — посмотрел с какою-то оскорбительною укоризною, похожею на чистую брань. Господин Голядкин и руки опустил, как говорится. Наконец Петрушка объявил, что *другой* уж часа с полтора как ушел и не хотел дожидаться. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен; видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слово *другой*, употребленное им, были лишь следствием всего известного гнусного обстоятельства, но все-таки он понимал, хоть и смутно, что тут что-нибудь да не так и что судьба готовит ему еще какой-то гостинец, не совсем-то приятный. «Хорошо, мы посмотрим, — думал он про себя, — мы увидим, мы своевременно раскусим всё это... Ах ты, Господи Боже мой! — простонал он в заключение уже совсем другим голосом, — и зачем я это приглашал его, на какой конец я всё это делал? ведь истинно сам голову сую в петлю их воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты голова, голова! ведь и утерпеть-то не можешь ты, чтоб не провраться, как мальчишка какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь, тряпка, ветошка гнилая какая-нибудь, сплетник ты этакой, баба ты этакая!.. Святые вы мои! И стишки, шельмец, написал и в любви ко мне изъяснился! Как бы этак, того... Как бы ему, шельмецу, приличнее на дверь указать, коли воротится? Разумеется, много есть разных оборотов и способов. Так и так, дескать, при моем ограниченном жалованье... Или там припугнуть его как-нибудь, что, дескать, взяв в соображение вот то-то и то-то, принужден изъясниться... дескать, нужно в половине платить за квартиру и стол и деньги вперед отдавать. Гм! нет, черт возьми, нет! Это меня замарает. Оно не совсем деликатно! Разве как-нибудь там вот этак бы сделать: взять бы да и надоумить Петрушку, чтоб Петрушка ему насолил как-нибудь, неглижировал бы с ним как-нибудь, сгрубил ему, да и выжить его таким образом? Стравить бы их этак вместе... Нет, черт возьми, нет! Это опасно, да и опять, если с этакой точки зренья смотреть — ну, да, вовсе нехорошо! Совсем нехорошо! А ну, если он не придет? и это плохо будет? проврался я ему вчера вечером!.. Эх, плохо, плохо! Эх, дело-то наше как плоховато! Ах я голова, голова окаянная! взубрить-то ты чего следует не можешь себе, резону-то вгвоздить туда не можешь себе! Ну, как он придет и откажется? А дай-то Господи, если б пришел! весьма был бы рад я, если б пришел он; много бы дал я, если б пришел...» Так рассуждал господин Голядкин, глотая

свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. «Без четверти девять теперь; ведь вот уж пора идти. А что-то будет такое; что-то тут будет? Желал бы я знать, что здесь именно особенного такого скрывается, — этак цель, направление и разные там закавыки. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы и каков-то будет их первый шаг...» Господин Голядкин не мог долее вытерпеть, бросил недокуренную трубку, оделся и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. А опасность была: это уж он сам знал, что опасность была. «А вот мы ее... и раскусим, — говорил господин Голядкин, снимая шинель и калоши в передней, — вот мы и проникнем сейчас во все эти дела». Решившись таким образом действовать, герой наш оправился, принял вид приличный и форменный и только что хотел было проникнуть в соседнюю комнату, как вдруг, в самых дверях, столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель его. Господин Голядкин-младший, кажется, не замечал господина Голядкина-старшего, хотя и сошелся с ним почти носом к носу. Господин Голядкин-младший был, кажется, занят, куда-то спешил, запыхался; вид имел такой официальный, такой деловой, что, казалось, всякий мог прямо прочесть на лице его — «командирован по особому поручению...»

— Ах, это вы, Яков Петрович! — сказал наш герой, хватая своего вчерашнего гостя за руку.

— После, после, извините меня, расскажете после, — закричал господин Голядкин-младший, порываясь вперед...

— Однако позвольте; вы, кажется, хотели, Яков Петрович, того-с...

— Что-с? Объясните скорее-с. — Тут вчерашний гость господина Голядкина остановился как бы через силу и нехотя и подставил ухо свое прямо к носу господина Голядкина.

— Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему... приему, какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать.

— На всё есть известная форма-с. Явитесь к секретарю его превосходительства и потом отнеситесь, как следует, к господину правителю канцелярии. Просьба есть?..

— Вы, я не знаю, Яков Петрович! вы меня просто изумляете, Яков Петрович! вы, верно, не узнаете меня или шутите, по врожденной веселости характера вашего.

— А, это вы! — сказал господин Голядкин-младший, как будто только что сейчас разглядев господина Голядкина-старшего, — так это вы? Ну, что ж, хорошо ли вы почивали? — Тут господин Голядкин-младший, улыбнувшись немного, официально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало

(потому что ведь во всяком случае он одолжен же был благодарностью господину Голядкину-старшему), — и так улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он с своей стороны весьма рад, что господин Голядкин хорошо почивал; потом наклонился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели.

— Вот-те и штука!.. — прошептал наш герой, остолбенев на мгновение, — вот-те и штука! Так вот такое-то здесь обстоятельство!.. — Тут господин Голядкин почувствовал, что у него отчего-то заходили мурашки по телу. — Впрочем, — продолжал он про себя, пробираясь в свое отделение, — впрочем, ведь я уже давно говорил о таком обстоятельстве; я уже давно предчувствовал, что он по особому поручению, — именно вот вчера говорил, что непременно по чьему-нибудь особому поручению употреблен человек...

— Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу? — спросил Антон Антонович Сеточкин усевшегося подле него господина Голядкина. — У вас здесь она?

— Здесь, — прошептал господин Голядкин, смотря на своего столоначальника отчасти с потерявшимся видом.

— То-то-с. Я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два раза спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потребует...

— Нет-с, она кончена-с...

— Ну-с, хорошо-с.

— Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует и радею о порученных мне начальством делах-с, занимаюсь ими рачительно.

— Да-с. Ну-с, что же вы хотите этим сказать-с?

— Я ничего-с, Антон Антонович. Я только, Антон Антонович, хочу объяснить, что я... то есть я хотел выразить, что иногда неблагонамеренность и зависть не щадят никакого лица, ища своей повседневной отвратительной пищи-с...

— Извините, я вас не совсем-то понимаю. То есть на какое лицо вы теперь намекаете?

— То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я иду прямым путем, а окольным путем ходить презираю, что я не интригант и что сим, если позволено только будет мне выразиться, могу весьма справедливо гордиться...

— Да-с. Это всё так-с, и, по крайнему моему разумению, отдаю полную справедливость рассуждению вашему; но позвольте же и мне вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хоро-

шем обществе не совсем позволительны-с; что за глаза я, например, готов снести, — потому что за глаза и кого ж не бранят! — но в глаза, воля ваша, и я, сударь мой, например, себе дерзостей говорить не позволю. Я, сударь мой, поседел на государственной службе и дерзостей на старости лет говорить себе не позволю-с...

— Нет-с, я, Антон Антонович-с, вы, видите ли, Антон Антонович, вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то уразумели-с. А я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороны могу только за честь поставить-с...

— Да уж и нас тоже прошу извинить-с. Учены мы по-старинному-с. А по-вашему, по-новому, учиться нам поздно. На службе отечеству разумения доселе нам, кажется, доставало. У меня, сударь мой, как вы сами знаете, есть знак за двадцатилетнюю беспорочную службу-с...

— Я чувствую, Антон Антонович, я с моей стороны совершенно всё это чувствую-с. Но я не про то-с, я про маску говорил, Антон Антонович-с...

— Про маску-с?

— То есть вы опять... я опасаюсь, что вы и тут примете в другую сторону смысл, то есть смысл речей моих, как вы сами говорите, Антон Антонович. Я только тем развиваю, то есть пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали не редки-с и что теперь трудно под маской узнать человека-с...

— Ну-с, знаете ли-с, оно не совсем-то и трудно-с. Иногда и довольно легко-с, иногда и искать недалеко нужно ходить-с.

— Нет-с, знаете ли-с, я, Антон Антонович, говорю-с, про себя говорю, что я, например, маску надеваю, лишь когда нужда в ней бывает, то есть единственно для карнавала и веселых собраний, говоря в прямом смысле, но что не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, более скрытном смысле-с. Вот что я хотел сказать, Антон Антонович-с.

— Ну, да мы покамест оставим всё это; да мне же и некогда-с, — сказал Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кой-какие бумаги для доклада его превосходительству. — Дело же ваше, как я полагаю, не замедлит своевременно объясниться. Сами же увидите вы, на кого вам пенять и кого обвинять, а затем прошу вас покорнейше уволить меня от дальнейших частных и вредящих службе объяснений и толков-с...

— Нет-с, я, Антон Антонович, — начал побледневший немного господин Голядкин вслед удаляющемуся Антону Антоновичу, — я, Антон Антонович, того-с, и не думал-с. «Что же это такое? — продолжал уже про себя наш герой, оставшись один. — Что же это за ветры такие здесь подувают и что озна-

чает этот новый крючок?» В то самое время, как потерянный и полуубитый герой наш готовился было разрешить этот новый вопрос, в соседней комнате послышался шум, обнаружилось какое-то деловое движение, дверь отворилась, и Андрей Филиппович, только что перед тем отлучившийся по делам в кабинет его превосходительства, запыхавшись, появился в дверях и крикнул господина Голядкина. Зная в чем дело и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, господин Голядкин вскочил с своего места и, как следует, немедленно засуетился на чем свет стоит, обготовляя и обхоливая окончательно требуемую тетрадку, да и сам приготовляясь отправиться, вслед за тетрадкой и Андреем Филипповичем, в кабинет его превосходительства. Вдруг, и почти из-под руки Андрея Филипповича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату господин Голядкин-младший, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе, с важным решительно-форменным видом, и прямо подкатился к господину Голядкину-старшему, менее всего ожидавшему подобного нападения...

— Бумаги, Яков Петрович, бумаги... его превосходительство изволили спрашивать, готовы ль у вас? — защебетал вполголоса и скороговоркой приятель господина Голядкина-старшего. — Андрей Филиппович вас ожидает...

— Знаю и без вас, что ожидают, — проговорил господин Голядкин-старший тоже скороговоркой и шепотом.

— Нет, я, Яков Петрович, не то; я, Яков Петрович, совсем не то; я сочувствую, Яков Петрович, и подвигнут душевным участием.

— От которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, позвольте-с...

— Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович, а третью-то страничку вы заложите закладкой, позвольте, Яков Петрович...

— Да позвольте же вы, наконец...

— Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович, вы заметили ль чернильное пятнышко?..

Тут Андрей Филиппович второй раз кликнул господина Голядкина.

— Сейчас, Андрей Филиппович; я вот только немножко, вот здесь... Милостивый государь, понимаете ли вы русский язык?

— Лучше всего будет ножичком снять, Яков Петрович, вы лучше на меня положитесь: вы лучше не трогайте сами, Яков Петрович, а на меня положитесь, — я же отчасти тут ножичком...

Андрей Филиппович третий раз кликнул господина Голядкина.

— Да, помилуйте, где же тут пятнышко? Ведь, кажется, вовсе нету здесь пятнышка?

— И огромное пятнышко, вот оно! вот, позвольте, я здесь его видел; вот, позвольте... вы только позвольте мне, Яков Петрович, я отчасти здесь ножичком, я из участия, Яков Петрович, и ножичком от чистого сердца... вот так, вот и дело с концом...

Тут, и совсем неожиданно, господин Голядкин-младший, вдруг ни с того ни с сего, осилив господина Голядкина-старшего в мгновенной борьбе, между ними возникшей, и во всяком случае совершенно против воли его, овладел требуемой начальством бумагой и, вместо того чтоб поскоблить ее ножичком от чистого сердца, как вероломно уверял он господина Голядкина-старшего, — быстро свернул ее, сунул под мышку, в два скачка очутился возле Андрея Филипповича, не заметившего ни одной из проделок его, и полетел с ним в директорский кабинет. Господин Голядкин-старший остался как бы прикованным к месту, держа в руках ножичек и как будто приготовляясь что-то скоблить им...

Герой наш еще не совсем понимал свое новое обстоятельство. Он еще не опомнился. Он почувствовал удар, но думал, что это что-нибудь так. В страшной, неописанной тоске сорвался он наконец с места и бросился прямо в директорский кабинет, моля, впрочем, небо дорогою, чтоб это устроилось всё как-нибудь к лучшему и было бы так, ничего... В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он, прямо нос с носом, с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались: господин Голядкин посторонился. Андрей Филиппович говорил улыбаясь и весело. Однофамилец господина Голядкина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш всё положение дел. Дело в том, что работа его (как он после узнал) почти превзошла ожидания его превосходительства и поспела действительно к сроку и вовремя. Его превосходительство были крайне довольны. Говорили даже, что его превосходительство сказали спасибо господину Голядкину-младшему, крепкое спасибо; сказали, что вспомнят при случае и никак не забудут... Разумеется, что первым делом господина Голядкина было протестовать, протестовать всеми силами, до последней возможности. Почти не помня себя и бледный как смерть, бросился он к Андрею Филипповичу. Но Андрей Филиппович, услышав, что дело господина Голядкина было частное дело, отказался слушать, решительно замечая, что у него нет ни минуты свободной и для собственных надобностей.

Сухость тона и резкость отказа поразили господина Голядкина. «А вот лучше я как-нибудь с другой стороны... вот я лучше к Антону Антоновичу». К несчастию господина Голядкина, и Антона Антоновича не оказалось в наличности: он тоже где-то был чем-то занят. «А ведь не без намерения просил уволить себя от объяснений и толков! — подумал герой наш. — Вот куда метил — старая петля! В таком случае я просто дерзну умолять его превосходительство».

Всё еще бледный и чувствуя в совершенном разброде всю свою голову, крепко недоумевая, на что именно нужно решиться, присел господин Голядкин на стул. «Гораздо было бы лучше, если б всё это было лишь так только, — беспрерывно думал он про себя. — Действительно, подобное темное дело было даже невероятно совсем. Это, во-первых, и вздор, а во-вторых, и случиться не может. Это, вероятно, как-нибудь там померещилось, или вышло что-нибудь другое, а не то, что действительно было; или, верно, это я сам ходил... и себя как-нибудь там принял совсем за другого... одним словом, это совершенно невозможное дело».

Только что господин Голядкин решил, что это совсем невозможное дело, как вдруг в комнату влетел господин Голядкин-младший с бумагами в обеих руках и под мышкой. Сказав мимоходом какие-то нужные два слова Андрею Филипповичу, перемолвив и еще кое с кем, полюбезничав кое с кем, пофамильярничав кое с кем, господин Голядкин-младший, по-видимому не имевший лишнего времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, выйти из комнаты, но, к счастию господина Голядкина-старшего, остановился в самых дверях и заговорил мимоходом с двумя или тремя случившимися тут же молодыми чиновниками. Господин Голядкин-старший бросился прямо к нему. Только что увидел господин Голядкин-младший маневр господина Голядкина-старшего, тотчас же начал с большим беспокойством осматриваться, куда бы ему поскорей улизнуть. Но герой наш уже держался за рукава своего вчерашнего гостя. Чиновники, окружавшие двух титулярных советников, расступились и с любопытством ожидали, что будет. Старый титулярный советник понимал хорошо, что доброе мнение теперь не на его стороне, понимал хорошо, что под него интригуют: тем более нужно было теперь поддержать себя. Минута была решительная.

— Ну-с? — проговорил господин Голядкин-младший, довольно дерзко смотря на господина Голядкина-старшего.

Господин Голядкин-старший едва дышал.

— Я не знаю, милостивый государь, — начал он, — каким образом вам теперь объяснить странность вашего поведения со мною.

— Ну-с. Продолжайте-с. — Тут господин Голядкин-младший оглянулся кругом и мигнул глазом окружавшим их чиновникам, как бы давая знать, что вот именно сейчас и начнется комедия.

— Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со мною в настоящем случае еще более вас обличают... чем все слова мои. Не надейтесь на вашу игру: она плоховата...

— Ну, Яков Петрович, теперь скажите-ка мне, каково-то вы почивали? — отвечал Голядкин-младший, прямо смотря в глаза господину Голядкину-старшему.

— Вы, милостивый государь, забываетесь, — сказал совершенно потерявшийся титулярный советник, едва слыша пол под собою, — я надеюсь, что вы перемените тон...

— Душка мой!! — проговорил господин Голядкин-младший, скорчив довольно неблагопристойную гримасу господину Голядкину-старшему, и вдруг, совсем неожиданно, под видом ласкательства, ухватил его двумя пальцами за довольно пухлую правую щеку. Герой наш вспыхнул как огонь... Только что приятель господина Голядкина-старшего приметил, что противник его, трясясь всеми членами, немой от исступления, красный как рак и наконец доведенный до последних границ, может даже решиться на формальное нападение, то немедленно, и самым бесстыдным образом, предупредил его в свою очередь. Потрепав его еще раза два по щеке, пощекотав его еще раза два, поиграв с ним, неподвижным и обезумевшим от бешенства, еще несколько секунд таким образом, к немалой утехе окружающей их молодежи, господин Голядкин-младший с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно господина Голядкина-старшего по крутому брюшку и с самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой проговорил ему: «Шалишь, братец, Яков Петрович; шалишь! хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить». Потом, и прежде чем герой наш успел мало-мальски прийти в себя от последней атаки, господин Голядкин-младший вдруг (предварительно отпустив только улыбочку окружавшим их зрителям) принял на себя вид самый занятой, самый деловой, самый форменный, опустил глаза в землю, съежился, сжался и, быстро проговорив «по особому поручению», лягнул своей коротенькой ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату. Герой наш не верил глазам и всё еще был не в состоянии опомниться...

Наконец он опомнился. Сознав в один миг, что погиб, уничтожился в некотором смысле, что замарал себя и запачкал свою репутацию, что осмеян и оплеван в присутствии посторонних лиц, что предательски поруган тем, кого еще вчера считал пер-

вейшим и надежнейшим другом своим, что срезался, наконец, на чем свет стоит, — господин Голядкин бросился в погоню за своим неприятелем. В настоящее мгновение он уже и думать не хотел о свидетелях своего поругания. «Это всё в стачке друг с другом, — говорил он сам про себя, — один за другого стоит и один другого на меня натравляет». Однако ж, сделав десять шагов, герой наш ясно увидел, что все преследования остались пустыми и тщетными, и потому воротился. «Не уйдешь, — думал он, — попадешь под сюркуп своевременно, отольются волку овечьи слезы». С яростным хладнокровием и с самою энергическою решимостью дошел господин Голядкин до стула и уселся на нем. «Не уйдешь!» — сказал он опять. Теперь дело шло не о пассивной обороне какой-нибудь: пахнуло решительным, наступательным, и кто видел господина Голядкина в ту минуту, как он, краснея и едва сдерживая волнение свое, кольнул пером в чернильницу и с какой яростью принялся строчить на бумаге, тот мог уже заранее решить, что дело так не пройдет и простым, каким-нибудь бабьим образом не может окончиться. В глубине души своей сложил он одно решение и в глубине сердца своего поклялся исполнить его. По правде-то, он еще не совсем хорошо знал, как ему поступить, то есть, лучше сказать, вовсе не знал; но всё равно, ничего! «А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго». Несмотря на это последнее обстоятельство, господин Голядкин положил ждать до тех пор, покамест маска спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Для сего нужно было, во-первых, чтоб кончились как можно скорее часы присутствия, а до тех пор герой наш положил не предпринимать ничего. Потом же, когда кончатся часы присутствия, он примет меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, приняв эту меру, как расположить весь план своих действий, чтоб сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия. Позволить же затереть себя, как ветошку, об которую грязные сапоги обтирают, господин Голядкин не мог. Согласиться на это не мог он, и особенно в настоящем случае. Не будь последнего посрамления, герой наш, может быть, и решился бы скрепить свое сердце, может быть, он и решился бы смолчать, покориться и не протестовать слишком упорно; так, поспорил бы, попретендовал бы немножко, доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил немножко, потом, может быть, и еще немножко бы уступил, потом согласился бы совсем, потом, и особенно тогда, когда про-

тивная сторона признала бы торжественно, что он в своем праве, потом, может быть, и помирился бы даже, даже умилился бы немножко, даже, — кто бы мог знать, — может быть, возродилась бы новая дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, чем вчерашняя дружба, так что эта дружба совершенно могла бы затмить, наконец, неприятность довольно неблагопристойного сходства двух лиц, так, что оба титулярные советника были бы крайне как рады и прожили бы, наконец, до ста лет, и т. д. Скажем всё, наконец: господин Голядкин даже начинал немного раскаиваться, что вступился за себя и за право свое и тут же получил за то неприятность. «Покорись он, — думал господин Голядкин, — скажи, что пошутил, — простил бы ему, даже более простил бы ему, только бы в этом громко признался. Но, как ветошку, себя затирать я не дам. И не таким людям не давал я себя затирать, тем более не позволю покуситься на это человеку развращенному. Я не ветошка; я, сударь мой, не ветошка!» Одним словом, герой наш решился. «Сами вы, сударь вы мой, виноваты!» Решился же он протестовать, и протестовать всеми силами до последней возможности. Такой уж был человек! Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более дозволить себя затереть, как ветошку, и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку. Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если б кто захотел, если б уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в ветошку господина Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказанно (господин Голядкин сам в иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин, — так, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы с амбицией, ветошка-то эта была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией и с безответными чувствами и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами...

Часы длились невероятно долго; наконец пробило четыре. Спустя немного все встали и вслед за начальником двинулись к себе, по домам. Господин Голядкин вмешался в толпу; глаз его не дремал и не упускал кого нужно из виду. Наконец наш герой увидал, что приятель его подбежал к канцелярским сторожам, раздававшим шинели, и, по подлому обыкновению своему, юлит около них в ожидании своей. Минута была решительная. Кое-как протеснился господин Голядкин сквозь толпу и, не желая отставать, тоже захлопотал о шинели. Но шинель подалась сперва приятелю и другу господина Голядкина, затем что и здесь успел он по-своему подбиться, приласкаться, нашептать и наподличать.

Накинув шинель, господин Голядкин-младший, иронически взглянув на господина Голядкина-старшего, действуя таким образом открыто и дерзко ему в пику, потом, с свойственною ему наглостью, осмотрелся кругом, посеменил окончательно, — вероятно чтоб оставить выгодное по себе впечатление, — около чиновников, сказал словцо одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбку четвертому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. Господин Голядкин-старший за ним и, к неописанному своему удовольствию, таки нагнал его на последней ступеньке и схватил за воротник его шинели. Казалось, что господин Голядкин-младший немного оторопел и посмотрел кругом с потерянным видом.

— Как понимать мне вас? — прошептал он наконец слабым голосом господину Голядкину.

— Милостивый государь, если вы только благородный человек, то надеюсь, что вспомните про вчерашние дружеские наши сношения, — проговорил наш герой.

— А, да. Ну, что ж? хорошо ли вы почивали-с?

Бешенство отняло на минуту язык у господина Голядкина-старшего.

— Я-то почивал хорошо-с... Но позвольте же и вам сказать, милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана...

— Кто это говорит? Это враги мои говорят, — отвечал отрывисто тот, кто называл себя господином Голядкиным, и вместе с словом этим неожиданно освободился из слабых рук настоящего господина Голядкина. Освободившись, он бросился с лестницы, оглянулся кругом, увидев извозчика, подбежал к нему, сел на дрожки и в одно мгновение скрылся из глаз господина Голядкина-старшего. Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, уничтожившись, съежившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди тротуара. Казалось, что всё погибло для господина Голядкина...

## *Глава IX*

Всё, по-видимому, и даже природа сама, вооружилось против господина Голядкина; но он еще был на ногах и не побежден; он это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такою энергией потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду госпо-

дина Голядкина заключить можно было, что он не уступит. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; господин Голядкин и это чувствовал; да как за нее взяться, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, «что, дескать, не оставить ли всё это так, не отступиться ли запросто? Ну, что ж? ну, и ничего. Я буду особо, как будто не я, — думал господин Голядкин, — пропускаю всё мимо; не я, да и только; он тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как! Я смирением возьму. Да и где же опасность? ну, какая опасность? Желал бы я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом деле опасность? Плёвое дело! обыкновенное дело!..» Здесь господин Голядкин осекся. Слова у него на языке замерли; он даже ругнул себя за эту мысль; даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль; однако дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что решиться на что-нибудь в настоящую минуту было для него сущею необходимостью; даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно нужно решиться. Ну, да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. На всякий случай, чтоб времени не терять, нанял он извозчика и полетел домой. «Что? каково-то ты теперь себя чувствуешь? — подумал он сам в себе. — Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков Петрович? Что-то ты сделаешь? что-то сделаешь ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь!» Так поддразнивал себя господин Голядкин, подпрыгивая на тряском экипаже своего ваньки. Поддразнивать себя и растравлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Голядкина, даже чуть ли не сладострастием. «Ну, если б там теперь, — думал он, — волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь этак пришлось, да сказали бы: дай, Голядкин, палец с правой руки — и квиты с тобой; не будет другого Голядкина, и ты будешь счастлив, только пальца не будет, — так отдал бы палец, непременно бы отдал, не поморщась бы отдал. Черти бы взяли всё это! — вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник, — ну, зачем всё это? ну, надобно было всему этому быть; вот непременно этому, вот именно этому, как будто нельзя было другому чему! И всё было хорошо сначала, все были довольны и счастливы; так вот нет же, надобно было! Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь. Нужно действовать».

Итак, почти решившись на что-то, господин Голядкин, войдя в свою квартиру, нимало не медля схватился за трубку и, наса-

сывая ее из всех сил, раскидывая клочья дыма направо и налево, начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. Между тем Петрушка стал сбирать на стол. Наконец господин Голядкин решился совсем, вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал вон из квартиры. На лестнице нагнал его, запыхавшись, Петрушка, держа в руках забытую им шляпу. Господин Голядкин взял шляпу, хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, чтоб не подумал чего Петрушка особенного, — что вот, дескать, такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл и т. д., — но так как Петрушка и глядеть не хотел и тотчас ушел, то и господин Голядкин, без дальнейших объяснений, надел свою шляпу, сбежал с лестницы и, приговаривая, что всё, может быть, к лучшему будет и что дело устроится как-нибудь, хотя чувствовал, между прочим, даже у себя в пятках озноб, вышел на улицу, нанял извозчика и полетел к Андрею Филипповичу. «Впрочем, не лучше ли завтра? — думал господин Голядкин, хватаясь за снурок колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича, — да и что же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. Дело-то такое мизерное, да оно, наконец, и действительно мизерное, плёвое, то есть почти плёвое дело... ведь вот оно, как это всё, обстоятельство-то...» Вдруг господин Голядкин дернул за колокольчик; колокольчик зазвенел, изнутри послышались чьи-то шаги... Тут господин Голядкин даже проклял себя, отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Голядкин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филипповичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было поздно: дверь отворилась. К счастию господина Голядкина, отвечали ему, что Андрей Филиппович и домой не приезжал из должности, и не обедает дома. «Знаю, где он обедает: он у Измайловского моста обедает», — подумал герой наш и страх как обрадовался. На вопрос слуги, как об вас доложить, сказал, что, дескать, я, мой друг, хорошо, что, дескать, я, мой друг, после, и даже с некоторою бодростью сбежал вниз по лестнице. Выйдя на улицу, он решился отпустить экипаж и расплатился с извозчиком. Когда же извозчик попросил о прибавке, — дескать, ждал, сударь, долго и рысачка для вашей милости не жалел, — то дал и прибавочки пятачок, и даже с большою охотою; сам же пешком пошел.

«Дело-то оно, правда, такое, — думал господин Голядкин, — что ведь так оставить нельзя; однако ж, если так рассудить, этак здраво рассудить, так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну, нет, однако ж, я буду всё про то говорить, из чего же мне хлопотать? из чего мне маяться, биться, мучиться,

себя убивать? Во-первых, дело сделано, и его не воротишь... ведь не воротишь! Рассудим так: является человек, — является человек с достаточной рекомендацией, дескать, способный чиновник, хорошего поведения, только беден и потерпел разные неприятности, — передряги там этакие, — ну, да ведь бедность не порок; стало быть, я в стороне. Ну, в самом деле, что ж за вздор такой? Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился так человек, что две капли воды похож на другого человека, что совершенная копия с другого человека: так уж его за это и не принимать в департамент?! Коли уж судьба, коли одна судьба, коли одна слепая фортуна тут виновата, — так уж его и затереть, как ветошку, так уж и служить ему не давать... да где же тут после этого справедливость будет? Человек же он бедный, затерянный, запуганный; тут сердце болит, тут сострадание его призреть велит! Да! нечего сказать, хороши бы были начальники, если б так рассуждали, как я, забубённая голова! Эка ведь башка у меня! На десятерых подчас глупости хватит! Нет, нет! и сделали хорошо, и спасибо им, что призрели бедного горемыку... Ну, да, положим, например, что мы близнецы, что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, да и только, — вот оно как! Ну, что же такое? Ну, и ничего! Можно всех чиновников приучить... а посторонний кто, войдя в наше ведомство, уж верно не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умилительное; что вот, дескать, мысль-то какая: что, дескать, промысл Божий создал двух совершенно подобных, а начальство благодетельное, видя промысл Божий, приютило двух близнецов. Оно, конечно, — продолжал господин Голядкин, переводя дух и немного понизив голос, — оно, конечно... оно, конечно, лучше бы было, кабы не было ничего этого, умилительного, и близнецов никаких тоже бы не было... Черт бы побрал всё это! И на что это нужно было? И что за надобность тут была такая особенная и никакого отлагательства не терпящая?! Господи Бог мой! Эк ведь черти заварили кашу какую! Вот ведь, однако ж, у него и характер такой, нрава он такого игривого, скверного, — подлец он такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюд, Голядкин он этакой! Пожалуй, еще дурно себя поведет да фамилью мою замарает, мерзавец. Вот теперь и смотри за ним и ухаживай! Эк ведь наказание какое! Впрочем, что ж? ну, и нужды нет! Ну, он подлец, — ну, пусть он подлец, а другой зато честный. Ну, вот он подлец будет, а я буду честный, — и скажут, что вот этот Голядкин подлец, на него не смотрите и его с другим не мешайте; а этот вот честный, добродетельный, кроткий, незлобивый, весьма надежный по службе и к повышению чином достойный; вот оно как! Ну, хоро-

шо... а как того... А как они там того... да и перемешают! От него ведь всё станется! Ах ты, Господи Боже мой!.. И подменит человека, подменит, подлец такой, — как ветошку человека подменит и не рассудит, что человек не ветошка. Ах ты, Господи Боже мой! Эко несчастие какое!..»

Вот таким-то образом рассуждая и сетуя, бежал господин Голядкин, не разбирая дороги и сам почти не зная куда. Очнулся он на Невском проспекте, и то по тому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко и плотно, что только искры посыпались. Господин Голядкин, не поднимая головы, пробормотал извинение, и только тогда, когда прохожий, проворчав что-то не слишком лестное, отошел уже на расстояние значительное, поднял нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив, что находится именно возле того ресторана, в котором отдыхал, приготовляясь к званому обеду у Олсуфия Ивановича, герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку, вспомнил, что не обедал, званого же обеда не предстояло нигде, и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по лестнице в ресторан перехватить что-нибудь поскорее и как можно торопясь не замешкать. И хотя в ресторане было всё дорогонько, но это маленькое обстоятельство не остановило на этот раз господина Голядкина; да и останавливаться-то теперь на подобных безделицах некогда было. В ярко освещенной комнате, у прилавка, на котором лежала разнообразная груда всего того, что потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, сдавать и принимать деньги. Господин Голядкин подождал своей очереди и, выждав, скромно протянул свою руку к пирожку-расстегайчику. Отойдя в уголок, оборотясь спиною к присутствующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром и положил на прилавок монетку, ловя взгляды конторщика, чтоб указать ему: «что вот, дескать, монетка лежит; один расстегайчик» и т. д.

— С вас рубль десять копеек, — процедил сквозь зубы конторщик.

Господин Голядкин порядочно изумился.

— Вы мне говорите?.. Я... я, кажется, взял один пирожок.

— Одиннадцать взяли, — с уверенностью возразил конторщик.

— Вы... сколько мне кажется... вы, кажется, ошибаетесь... Я, право, кажется, взял один пирожок.

— Я считал; вы взяли одиннадцать штук. Когда взяли, так нужно платить; у нас даром ничего не дают.

Господин Голядкин был ошеломлен. «Что ж это, колдовство, что ль, какое надо мной совершается?» — подумал он. Между тем конторщик ожидал решения господина Голядкина; господина Голядкина обступили; господин Голядкин уже полез было в карман, чтоб вынуть рубль серебром, чтоб расплатиться немедленно, чтоб от греха-то подальше быть. «Ну, одиннадцать так одиннадцать, — думал он, краснея как рак, — ну, что же такого тут, что съедено одиннадцать пирожков? ну, голоден человек, так и съел одиннадцать пирожков; ну, и пусть ест себе на здоровье; ну, и дивиться тут нечему и смеяться тут нечему...» Вдруг как будто что-то кольнуло господина Голядкина; он поднял глаза и — разом понял загадку, понял все колдовство; разом разрешились все затруднения... В дверях в соседнюю комнату, почти прямо за спиною конторщика и лицом к господину Голядкину, в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человечек, — стоял он, стоял сам господин Голядкин, — не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин. Другой господин Голядкин находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. Он улыбался господину Голядкину первому, кивал ему головою, подмигивал глазками, семенил немного ногами и глядел так, что чуть что, — так он и стушуется, так он и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того... и все преследования останутся тщетными. В руках его был последний кусок десятого расстегая, который он, в глазах же господина Голядкина, отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия. «Подменил, подлец! — подумал господин Голядкин, вспыхнув как огонь от стыда, — не постыдился публичности! Видят ли его? Кажется, не замечает никто...» Господин Голядкин бросил рубль серебром так, как будто бы об него все пальцы обжег, и, не замечая значительно-наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выдрался из толпы и бросился вон без оглядки. «Спасибо за то, что хоть не компрометировал окончательно человека! — подумал старший господин Голядкин. — Спасибо разбойнику, и ему и судьбе, что еще хорошо всё уладилось. Нагрубил лишь конторщик. Да что ж, ведь он был в своем праве! Рубль десять следовало, так и был в своем праве. Дескать, без денег у нас никому не дают! Хоть бы был поучтивей, бездельник!..»

Всё это говорил господин Голядкин, сходя с лестницы на крыльцо. Однако же на последней ступеньке он остановился как вкопанный и вдруг покраснел так, что даже слезы выступили у него на глазах от припадка страдания амбиции. Простояв с полминуты столбом, он вдруг решительно топнул ногою, в один

прыжок соскочил с крыльца на улицу и без оглядки, задыхаясь, не слыша усталости, пустился к себе домой, в Шестилавочную улицу. Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, вопреки привычке своей быть у себя по-домашнему, не взяв даже предварительно трубки, уселся он немедленно на диване, придвинул чернильницу, взял перо, достал лист почтовой бумаги и принялся строчить дрожащею от внутреннего волнения рукой следующее послание:

«Милостивый государь мой,
Яков Петрович!

Никак бы не взял я пера, если бы обстоятельства мои и вы сами, милостивый государь мой, меня к тому не принудили. Верьте, что необходимость одна понудила меня вступить с вами в подобное объяснение, и потому прежде всего прошу считать эту меру мою не как умышленным намерением к вашему, милостивый государь мой, оскорблению, но как необходимым следствием связующих нас теперь обстоятельств».

«Кажется, хорошо, прилично, вежливо, хотя не без силы и твердости?.. Обижаться ему тут, кажется, нечем. К тому же я в своем праве», — подумал господин Голядкин, перечитывая написанное.

«Неожиданное и странное появление ваше, милостивый государь мой, в бурную ночь, после грубого и неприличного со мною поступка врагов моих, коих имя умалчиваю из презрения к ним, было зародышем всех недоразумений, в настоящее время между нами существующих. Упорное же ваше, милостивый государь, желание стоять на своем и насильственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни выступает даже за пределы, требуемые одною лишь вежливостью и простым общежитием. Я думаю, нечего упоминать здесь о похищении вами, милостивый государь мой, бумаги моей и собственного моего честного имени, для приобретения ласки начальства,— ласки, не заслуженной вами. Нечего упоминать здесь и об умышленных и обидных уклонениях ваших от необходимых по сему случаю объяснений. Наконец, чтобы всё сказать, не упоминаю здесь и о последнем странном, можно сказать, непонятном поступке вашем со мною в кофейном доме. Далек от того, чтоб сетовать о бесполезной для меня утрате рубля серебром; но не могу не выказать всего негодования моего при воспоминании о явном посягательстве вашем, милостивый государь, в ущерб моей чести и вдобавок в присутствии нескольких персон, хотя не знакомых мне, но вместе с тем весьма хорошего тона...»

«Не далеко ли я захожу? — подумал господин Голядкин. — Не много ли будет; не слишком ли это обидчиво, — этот намек

на хороший тон, например?.. Ну, да ничего! Нужно показать ему твердость характера. Впрочем, ему можно, для смягчения, этак польстить и подмаслить в конце. А вот мы посмотрим».

«Но не стал бы я, милостивый государь мой, утомлять вас письмом моим, если бы не был твердо уверен, что благородство сердечных чувств и открытый, прямодушный характер ваш укажут вам самому средства поправить все упущения и восстановить всё по-прежнему.

В полной надежде я смею оставаться уверенным, что вы не примете письма моего в обидную для вас сторону, а вместе с тем и не откажетесь объясниться нарочито по этому случаю письменно, через посредство моего человека.

В ожидании, честь имею пребыть,
милостивый государь,
покорнейшим вашим слугою
*Я. Голядкиным*».

«Ну, вот и всё хорошо. Дело сделано; дошло и до письменного. Но кто ж виноват? Он сам виноват: сам доводит человека до необходимости требовать письменных документов. А я в своем праве...»

Перечитав последний раз письмо, господин Голядкин сложил его, запечатал и позвал Петрушку. Петрушка явился, по обыкновению своему, с заспанными глазами и на что-то крайне сердитый.

— Ты, братец, вот, возьмешь это письмо... понимаешь?

Петрушка молчал.

— Возьмешь его и отнесешь в департамент; там отыщешь дежурного, губернского секретаря Вахрамеева. Вахрамеев сегодня дежурный. Понимаешь ты это?

— Понимаю.

— Понимаю! Не можешь сказать: понимаю-*с*. Спросишь чиновника Вахрамеева и скажешь ему, что, дескать, вот так и так, дескать, барин приказал вам кланяться и покорнейше попросить вас справиться в адресной нашего ведомства книге — где, дескать, живет титулярный советник Голядкин?

Петрушка промолчал и, как показалось господину Голядкину, улыбнулся.

— Ну, так вот ты, Петр, спросишь у них адрес и узнаешь, где, дескать, живет новопоступивший чиновник Голядкин?

— Слушаю.

— Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо; понимаешь?

— Понимаю.

— Если там... вот куда ты письмо отнесешь, — тот господин, кому письмо это дашь, Голядкин-то... Чего смеешься, болван?

— Да чего мне смеяться-то? Что мне! Я ничего-с. Нечего нашему брату смеяться...

— Ну, так вот... если тот господин будет спрашивать, дескать, как же твой барин, как же он там; что, дескать, он того... ну, там, что-нибудь будет выспрашивать, — так ты молчи и отвечай, дескать, барин мой ничего, а просят, дескать, ответа от вас своеручного. Понимаешь?

— Понимаю-с.

— Ну, так вот, дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, дескать, и здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается; а от вас, дескать, они ответа просят письменного. Понимаешь?

— Понимаю.

— Ну, ступай.

«Ведь вот еще с этим болваном работа! смеется себе, да и кончено. Чему ж он смеется? Дожил я до беды, дожил я вот таким-то образом до беды! Впрочем, может быть, оно обратится всё к лучшему... Этот мошенник, верно, часа два будет таскаться теперь, пропадет еще где-нибудь. Послать нельзя никуда. Эка беда ведь какая!.. эка ведь беда одолела какая!..»

Чувствуя таким образом вполне беду свою, герой наш решился на пассивную двухчасовую роль в ожидании Петрушки. С час времени ходил он по комнате, курил, потом бросил трубку и сел за какую-то книжку, потом прилег на диван, потом опять взялся за трубку, потом опять начал бегать по комнате. Хотел было он рассуждать, но рассуждать не мог решительно ни о чем. Наконец агония пассивного состояния его возросла до последнего градуса, и господин Голядкин решился принять одну меру. «Петрушка придет еще через час, — думал он, — можно ключ отдать дворнику, а сам я покамест и того... исследую дело, по своей части исследую дело». Не теряя времени и спеша исследовать дело, господин Голядкин взял свою шляпу, вышел из комнаты, запер квартиру, зашел к дворнику, вручил ему ключ вместе с гривенником, — господин Голядкин стал как-то необыкновенно щедр, — и пустился, куда ему следовало. Господин Голядкин пустился пешком, сперва к Измайловскому мосту. В ходьбе прошло с полчаса. Дойдя до цели своего путешествия, он вошел прямо во двор своего знакомого дома и взглянул на окна квартиры статского советника Берендеева. Кроме трех завешенных красными гардинами окон, остальные все были темны. «У Олсуфья Ивановича сегодня, верно, нет гостей, — подумал господин Голядкин, — они, верно, все одни теперь дома сидят». Постояв несколько времени на дворе, герой наш хотел было уже

на что-то решиться. Но решению не суждено было состояться, по-видимому. Господин Голядкин отдумал, махнул рукой и воротился на улицу. «Нет, не сюда мне нужно было идти. Что же я буду здесь делать?.. А вот я лучше теперь того... и собственноличноисследую дело». Приняв такое решение, господин Голядкин пустился в свой департамент. Путь был не близок, вдобавок была страшная грязь и мокрый снег валил самыми густыми хлопьями. Но для героя нашего в настоящее время затруднений, кажется, не было. Измок-то он измок, правда, да и загрязнился немало, «да уж так, заодно, зато цель достигнута». И действительно, господин Голядкин уже подходил к своей цели. Темная масса огромного казенного строения уже зачернела вдали перед ним. «Стой! — подумал он, — куда ж я иду и что я буду здесь делать? Положим, узнаю, где он живет; а между тем Петрушка уже, верно, вернулся и ответ мне принес. Время-то я мое дорогое только даром теряю, время-то я мое только так потерял. Ну, ничего; еще всё это можно исправить. Однако, и в самом деле, не зайти ль к Вахрамееву? Ну, да нет! я уж после... Эк! выходить-то было вовсе не нужно. Да нет, уж характер такой! Сноровка такая, что нужда ли, нет ли, вечно норовлю как-нибудь вперед забежать. Гм... который-то час? уж верно, есть девять. Петрушка может прийти и не найдет меня дома. Сделал я чистую глупость, что вышел... Эх, право, комиссия!»

Искренно сознавшись таким образом, что сделал чистую глупость, герой наш побежал обратно к себе в Шестилавочную. Добежал он усталый, измученный. Еще от дворника узнал он, что Петрушка и не думал являться. «Ну, так! уж я предчувствовал это, — подумал герой наш, — а между тем уже девять часов. Эк ведь негодяй он какой! Уж вечно где-нибудь пьянствует! Господи Бог мой! экой ведь денек выдался на долю мою горемычную!» Таким-то образом размышляя и сетуя, господин Голядкин отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил трубку и, истощенный, усталый, разбитый, голодный, прилег на диван в ожидании Петрушки. Свеча нагорала тускло, свет трепетал на стенах... Господин Голядкин глядел-глядел, думал-думал, да и заснул наконец как убитый.

Проснулся он уже поздно. Свеча совсем почти догорела, дымилась и готова была тотчас совершенно потухнуть. Господин Голядкин вскочил, встрепенулся и вспомнил всё, решительно всё. За перегородкой раздавался густой храп Петрушки. Господин Голядкин бросился к окну — нигде ни огонька. Отворил форточку — тихо; город словно вымер, спит. Стало быть, часа два или три; так и есть: часы за перегородкой понатужились и пробили два. Господин Голядкин бросился за перегородку.

Кое-как, впрочем после долгих усилий, растолкал он Петрушку и успел посадить его на постель. В это время свечка совершенно потухла. Минут с десять прошло, покамест господин Голядкин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть сызнова. «Мерзавец ты этакой, негодяй ты такой! — проговорил господин Голядкин, снова его расталкивая, — встанешь ли ты, проснешься ли ты?» После получасовых усилий господин Голядкин успел, однако же, расшевелить совершенно своего служителя и вытащить его из-за перегородки. Тут только увидел герой наш, что Петрушка был, как говорится, мертвецки пьян и едва на ногах держался.

— Бездельник ты этакой! — закричал господин Голядкин. — Разбойник ты этакой! голову ты срезал с меня! Господи, куда же это он письмо-то сбыл с рук? Ахти, Создатель мой, ну, как оно... И зачем я его написал? и нужно было мне его написать! Расскакался, дуралей, я с амбицией! Туда же полез за амбицией! Вот тебе и амбиция, подлец ты этакой, вот и амбиция!.. Ну, ты! куда же ты письмо-то дел, разбойник ты этакой? Кому же ты отдал его?..

— Никому я не отдавал никакого письма; и не было у меня никакого письма... вот как!

Господин Голядкин ломал руки с отчаяния.

— Слушай ты, Петр... ты послушай, ты слушай меня...

— Слушаю...

— Ты куда ходил? — отвечай...

— Куда ходил... к добрым людям ходил! что мне!

— Ах ты, Господи Боже мой! Куда сначала ходил? был в департаменте?.. Ты послушай, Петр; ты, может быть, пьян?

— Я пьян? Вот хоть сейчас с места не сойти, мак-мак-маковой — вот...

— Нет, нет, это ничего, что ты пьян... Я только так спросил; это хорошо, что ты пьян; я ничего, Петруша, я ничего... Ты, может быть, только так позабыл, а всё помнишь. Ну-ка, вспомни-ка, был ты у Вахрамеева, чиновника, — был или нет?

— И не был, и чиновника такого не бывало. Вот хоть сейчас...

— Нет, нет, Петр! Нет, Петруша, ведь я ничего. Ведь ты видишь, что я ничего... Ну, что ж такое! Ну, на дворе холодно, сыро, ну, выпил человек маленько, ну, и ничего... Я не сержусь. Я сам, брат, выпил сегодня... Ты признайся, вспомни-ка, брат: был ты у чиновника Вахрамеева?

— Ну, как теперь, вот этак пошло, так право слово — вот был же, вот хоть сейчас...

— Ну, хорошо, Петруша, хорошо, что был. Ты видишь, я не сержусь... Ну, ну, — продолжал наш герой, еще более задабри-

вая своего служителя, трепля его по плечу и улыбаясь ему, — ну, клюкнул, мерзавец, маленько... на гривенник, что ли, клюкнул? плут ты этакой! Ну, и ничего; ну, ты видишь, что я не сержусь... я не сержусь, братец, я не сержусь...

— Нет, я не плут, как хотите-с... К добрым людям только зашел, а не плут, и плутом никогда не бывал...

— Да нет же, нет, Петруша! ты послушай, Петр: ведь я ничего, ведь я тебя не ругаю, что плутом называю. Ведь это я в утешение тебе говорю, в благородном смысле про это говорю. Ведь это значит, Петруша, польстить иному человеку, как сказать ему, что он петля этакая, продувной малой, что он малой не промах и никому надуть себя не позволит. Это любит иной человек... Ну, ну, ничего! ну, скажи же ты мне, Петруша, теперь, без утайки, откровенно, как другу... ну, был ты у чиновника Вахрамеева и адрес он дал тебе?

— И адрес дал, тоже и адрес дал. Хороший чиновник! И барин твой, говорит, хороший человек, очень хороший, говорит, человек; я, дескать, скажи, говорит, кланяйся, говорит, своему барину, благодари и скажи, что я, дескать, люблю, вот, дескать, как уважаю твоего барина! за то, что, говорит, ты, барин твой, говорит, Петруша, хороший человек, говорит, и ты, говорит, тоже хороший человек, Петруша, — вот...

— Ах ты, Господи Боже мой! А адрес-то, адрес-то, Иуда ты этакой? — Последние слова господин Голядкин проговорил почти шепотом.

— И адрес... и адрес дал.

— Дал? Ну, где же живет он, Голядкин, чиновник Голядкин, титулярный советник?

— А Голядкин будет тебе, говорит, в Шестилавочной улице. Вот как пойдешь, говорит, в Шестилавочную, так направо, на лестницу, в четвертый этаж. Вот тут тебе, говорит, и будет Голядкин...

— Мошенник ты этакой! — закричал наконец вышедший из терпения герой наш, — разбойник ты этакой! да это ведь я; ведь это ты про меня говоришь. А то другой есть Голядкин; я про другого говорю, мошенник ты этакой!

— Ну, как хотите! что мне! Вы как хотите — вот!..

— А письмо-то, письмо...

— Какое письмо? и не было никакого письма, и не видал я никакого письма.

— Да куда же ты дел его — шельмец ты такой!?..

— Отдал его, отдал письмо. Кланяйся, говорит, благодари; хороший твой, говорит, барин. Кланяйся, говорит, твоему барину...

— Да кто же это сказал? Это Голядкин сказал?

Петрушка помолчал немного и усмехнулся во весь рот, глядя прямо в глаза своему барину.

— Слушай, ты, разбойник ты этакой! — начал господин Голядкин, задыхаясь, теряясь от бешенства, — что ты сделал со мной! Говори ты мне, что ты сделал со мной! Срезал ты меня, злодей ты такой! Голову с плеч моих снял, Иуда ты этакой!

— Ну, теперь как хотите! что мне! — сказал решительным тоном Петрушка, ретируясь за перегородку.

— Пошел сюда, пошел сюда, разбойник ты этакой!..

— И не пойду я к вам теперь, совсем не пойду. Что мне! Я к добрым людям пойду... А добрые люди живут по честности, добрые люди без фальши живут и по двое никогда не бывают...

У господина Голядкина и руки и ноги оледенели, и дух занялся...

— Да-с, — продолжал Петрушка, — их по двое никогда не бывает, Бога и честных людей не обижают...

— Ты бездельник, ты пьян! Ты спи теперь, разбойник ты этакой! А вот завтра и будет тебе, — едва слышным голосом проговорил господин Голядкин. Что же касается до Петрушки, то он пробормотал еще что-то; потом слышно было, как он налег на кровать, так что кровать затрещала, протяжно зевнул, потянулся и наконец захрапел сном невинности, как говорится. Ни жив ни мертв был господин Голядкин. Поведение Петрушки, намеки его весьма странные, хотя и отдаленные, на которые сердиться, следственно, нечего было, тем более что пьяный человек говорил, и, наконец, весь злокачественный оборот, принимаемый делом, — всё это потрясло до основания Голядкина. «И дернуло меня его распекать среди ночи, — говорил наш герой, дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения. — И подсунуло меня с пьяным человеком связаться! Какого толку ждать от пьяного человека! что ни слово, то врет. На что это, впрочем, он намекал, разбойник он этакой? Господи Боже мой! И зачем я все эти письма писал, я-то, душегубец; я-то, самоубийца я этакой! Нельзя помолчать! Надо было провраться! Ведь уж чего! Погибаешь, ветошке подобишься, так ведь нет же, туда же с амбицией, дескать, честь моя страждет, дескать, честь тебе свою нужно спасать! Самоубийца я этакой!»

Так говорил господин Голядкин, сидя на диване своем и не смея пошевелиться от страха. Вдруг глаза его остановились на одном предмете, в высочайшей степени возбудившем его внимание. В страхе — не иллюзия ли, не обман ли воображения предмет, возбудивший внимание его, — протянул он к нему руку, с надеждою, с робостию, с любопытством неописанным... Нет, не обман! не иллюзия! Письмо, точно письмо, непременно письмо, и

к нему адресованное... Господин Голядкин взял письмо со стола. Сердце в нем страшно билось. «Это, верно, тот мошенник принес, — подумал он, — и тут положил, а потом и забыл; верно, так всё случилось; это, верно, именно так всё случилось...» Письмо было от чиновника Вахрамеева, молодого сослуживца и некогда приятеля господина Голядкина. «Впрочем, я всё это заранее предчувствовал, — подумал герой наш, — и всё то, что в письме теперь будет, также предчувствовал...» Письмо было следующее:

«Милостивый государь,
Яков Петрович!

Человек ваш пьян, и путного от него не дождешься; по сей причине предпочитаю отвечать письменно. Спешу вам объявить, что поручение, вами на меня возлагаемое и состоящее в передаче известной вам особе через мои руки письма, согласен исполнить во всей верности и точности. Квартирует же сия особа, весьма вам известная и теперь заменившая мне друга, коей имя при сем умалчиваю (затем что не хочу напрасно чернить репутацию совершенно невинного человека), вместе с нами, в квартире Каролины Ивановны, в том самом нумере, где прежде еще, в бытность вашу у нас, квартировал заезжий из Тамбова пехотный офицер. Впрочем, особу сию можете найти везде между честных и искренних сердцем людей, чего об иных сказать невозможно. Связи мои с вами намерен я с сего числа прекратить; в дружественном же тоне и в прежнем согласном виде товарищества нашего нам оставаться нельзя, и потому прошу вас, милостивый государь мой, немедленно по получении сего откровенного письма моего, выслать следуемые мне два целковых за бритвы иностранной работы, проданные мною, если запомнить изволите, семь месяцев тому назад, в долг, еще во время жительства вашего с нами у Каролины Ивановны, которую я от всей души моей уважаю. Действую же я таким образом потому, что вы, по рассказам умных людей, потеряли амбицию и репутацию и стали опасны для нравственности невинных и незараженных людей, ибо некоторые особы живут не по правде и, сверх того, слова их — фальшь и благонамеренный вид подозрителен. Вступиться же за обиду Каролины Ивановны, которая всегда была благонравного поведения, а во-вторых, честная женщина и вдобавок девица, хотя не молодых лет, но зато хорошей иностранной фамилии, — людей способных можно найти всегда и везде, о чем просили меня некоторые особы упомянуть в сем письме моем мимоходом и говоря от своего лица. Во всяком же случае вы всё узнаете своевременно, если теперь не узнали, несмотря на то что ослави-

ли себя, по рассказам умных людей, во всех концах столицы и, следовательно, уже во многих местах могли получить надлежащие о себе, милостивый государь, сведения. В заключение письма моего объявляю вам, милостивый мой государь, что известная вам особа, коей имя не упоминаю здесь по известным благородным причинам, весьма уважаема людьми благомыслящими; сверх того, характера веселого и приятного, успевает как на службе, так и между всеми здравомыслящими людьми, верна своему слову и дружбе и не обижает заочно тех, с кем в глаза находится в приятельских отношениях.

Во всяком случае пребываю
покорным слугою вашим
*Н. Вахрамеевым.*

P. S. Вы вашего человека сгоните: он пьяница и приносит вам, по всей вероятности, много хлопот, а возьмите Евстафия, служившего прежде у нас и находящегося на сей раз без места. Теперешний же служитель ваш не только пьяница, но, сверх того, вор, ибо еще на прошлой неделе продал фунт сахару, в виде кусков, Каролине Ивановне за уменьшенную цену, что, по моему мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным образом, по-малому и в разные сроки. Пишу вам сие, желая добра, несмотря на то что некоторые особы умеют только обижать и обманывать всех людей, преимущественно же честных и обладающих добрым характером; сверх того, заочно поносят их и представляют их в обратном смысле, единственно из зависти и потому, что сами себя не могут назвать таковыми.

*В.*»

Прочтя письмо Вахрамеева, герой наш долго еще оставался в неподвижном положении на диване своем. Какой-то новый свет пробивался сквозь весь неясный и загадочный туман, уже два дня окружавший его. Герой наш отчасти начинал понимать... Попробовал было он встать с дивана и пройтись раз и другой по комнате, чтоб освежить себя, собрать кое-как разбитые мысли, устремить их на известный предмет и потом, поправив себя немного, зрело обдумать свое положение. Но только что хотел было он привстать, как тут же, в немощи и бессилии, упал опять на прежнее место. «Оно, конечно, я это всё заранее предчувствовал; однако же как же он пишет и каков прямой смысл этих слов? Смысл-то я, положим, и знаю; но куда это поведет? Сказал бы прямо: вот, дескать, так-то и так-то, требуется то-то и то-то, я бы и исполнил. Турнюра-то,

оборот-то, принимаемый делом, такой неприятный выходит! Ах, как бы поскорее добраться до завтра и поскорее добраться до дела! теперь же я знаю, что делать. Дескать, так и так, скажу, на резоны согласен, чести моей не продам, а того... пожалуй; впрочем, он-то, особа-то эта известная, лицо-то неблагоприятное как же сюда подмешалось? и зачем именно подмешалось сюда? Ах, как бы до завтра скорей! Ославят они меня до тех пор, интригуют они, в пику работают! Главное — времени не нужно терять, а теперь, например, хоть письмо написать и только пропустить, что, дескать, то-то и то-то и вот на то-то и то-то согласен. А завтра чем свет отослать, и самому пораньше того... и с другой стороны им в контру пойти, и предупредить их, голубчиков... Ославят они меня, да и только!»

Господин Голядкин подвинул бумагу, взял перо и написал следующее послание в ответ на письмо губернского секретаря Вахрамеева:

«Милостивый государь,
Нестор Игнатьевич!

С прискорбным сердцу моему удивлением прочел я оскорбительное для меня письмо ваше, ибо ясно вижу, что под именем некоторых неблагопристойных особ и иных с ложною благонамеренностью людей разумеете вы меня. С истинною горестию вижу, как скоро, успешно и какие далекие корни пустила клевета, в ущерб моему благоденствию, моей чести и доброму моему имени. И тем более прискорбно и оскорбительно это, что даже честные люди, с истинно благородным образом мыслей и, главное, одаренные прямым и открытым характером, отступают от интересов благородных людей и прилепляются лучшими качествами сердца своего к зловредной тле, — к несчастию в наше тяжелое и безнравственное время расплодившейся сильно и крайне неблагонамеренно. В заключение скажу, что вами означенный долг мой, два рубля серебром, почту святою обязанностию возвратить вам во всей его целости.

Что же касается до ваших, милостивый государь мой, намеков насчет известной особы женского пола, насчет намерений, расчетов и разных замыслов этой особы, то скажу вам, милостивый государь мой, что я смутно и неясно понял все эти намеки. Позвольте мне, милостивый государь мой, благородный образ мыслей моих и честное имя мое сохранить незапятнанными. Во всяком же случае готов снизойти до объяснения лично, предпочитая верность личного письменному, и, сверх того, готов войти в разные миролюбивые, обоюдные разумеется, соглашения. На сей конец прошу вас, милостивый мой государь, передать сей

особе готовность мою для соглашения личного и, сверх того, просить ее назначить время и место свидания. Горько мне было читать, милостивый государь мой, намеки на то, что будто бы вас оскорбил, изменил нашей первобытной дружбе и отзывался о вас с дурной стороны. Приписываю всё сие недоразумению, гнусной клевете, зависти и недоброжелательству тех, коих справедливо могу наименовать ожесточеннейшими врагами моими. Но они, вероятно, не знают, что невинность сильна уже своею невинностью, что бесстыдство, наглость и возмущающая душу фамильярность иных особ, рано ли, поздно ли, заслужит себе всеобщее клеймо презрения и что эти особы погибнут не иначе как от собственной неблагопристойности и развращенности сердца. В заключение прошу вас, милостивый государь мой, передать сим особам, что странная претензия их и неблагородное фантастическое желание вытеснять других из пределов, занимаемых сими другими своим бытием в этом мире, и занять их место, заслуживают изумления, презрения, сожаления и, сверх того, сумасшедшего дома; что, сверх того, такие отношения запрещены строго законами, что, по моему мнению, совершенно справедливо, ибо всякий должен быть доволен своим собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то шутка неблагопристойная, скажу более: совершенно безнравственная, ибо смею уверить вас, милостивый государь мой, что идеи мои, выше распространенные насчет *своих мест*, чисто нравственные.

Во всяком случае честь имею пребыть
вашим покорным слугою

*Я. Голядкин*».

## *Глава X*

Вообще можно сказать, что происшествия вчерашнего дня до основания потрясли господина Голядкина. Почивал наш герой весьма нехорошо, то есть никак не мог даже на пять минут заснуть совершенно: словно проказник какой-нибудь насыпал ему резаной щетины в постель. Всю ночь провел он в каком-то полусне, полубдении, переворачиваясь со стороны на сторону, с боку на бок, охая, кряхтя, на минутку засыпая, через минутку опять просыпаясь, и всё это сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями, — одним словом, всем, что только можно найти неприятного... То появлялась перед ним, в каком-то странном, загадочном полусвете, фигура Андрея Филипповича, — сухая фигура, сердитая фигура,

с сухим, жестким взглядом и с черство-учтивой побранкой... И только что господин Голядкин начинал было подходить к Андрею Филипповичу, чтоб перед ним каким-нибудь образом, так или этак, оправдаться и доказать ему, что он вовсе не таков, как его враги расписали, что он вот такой-то да сякой-то и даже обладает, сверх обыкновенных, врожденных качеств своих, вот тем-то и тем-то; но как тут и являлось известное своим неблагопристойным направлением лицо и каким-нибудь самым возмущающим душу средством сразу разрушало все предначинания господина Голядкина, тут же, почти на глазах же господина Голядкина, очерняло досконально его репутацию, втаптывало в грязь его амбицию и потом немедленно занимало место его на службе и в обществе. То чесалась голова господина Голядкина от какого-нибудь щелчка, недавно благоприобретенного и уничиженно принятого, полученного или в общежитии, или как-нибудь там, по обязанности, на который щелчок протестовать было трудно... И между тем как господин Голядкин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчок, — между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь другую форму, — в форму какой-нибудь известной маленькой или довольно значительной подлости, виденной, слышанной или самим недавно исполненной, — и часто исполненной-то даже и не на подлом основании, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, а так, — иногда, например, по случаю, — из деликатности, другой раз из ради совершенной своей беззащитности, ну и, наконец, потому... потому, одним словом, уж это господин Голядкин знал хорошо *почему*! Тут господин Голядкин краснел сквозь сон и, подавляя краску свою, бормотал про себя, что, дескать, здесь, например, можно бы показать твердость характера, значительную бы можно было показать в этом случае твердость характера... а потом и заключал, что, «дескать, что же твердость характера!.. дескать, зачем ее теперь поминать!..» Но всего более бесило и раздражало господина Голядкина то, что как тут, и непременно в такую минуту, звали ль, не звали ль его, являлось известное безобразием и пасквильностью своего направления лицо и тоже, несмотря на то что уже, кажется, дело было известное, — тоже туда же бормотало с неблагопристойной улыбочкой, что, «дескать, что уж тут твердость характера! какая, дескать, у нас с тобой, Яков Петрович, будет твердость характера!..» То грезилось господину Голядкину, что находится он в одной прекрасной компании, известной своим остроумием и благородным тоном всех лиц, ее составляющих; что господин Голядкин в свою очередь отличился в отношении любезности и остро-

умия, что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших тут же, его полюбили, что очень приятно было господину Голядкину; что все ему отдали первенство и что, наконец, сам господин Голядкин с приятностью подслушал, как хозяин тут же, отведя в сторону кой-кого из гостей, похвалил господина Голядкина... и вдруг, ни с того ни с сего, опять явилось известное своею неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо, в виде господина Голядкина-младшего, и тут же, сразу, в один миг, одним появлением своим Голядкин-младший разрушал всё торжество и всю славу господина Голядкина-старшего, затмил собою Голядкина-старшего, втоптал в грязь Голядкина-старшего и, наконец, ясно доказал, что Голядкин-старший и вместе с тем настоящий — вовсе не настоящий, а поддельный, а что он настоящий, что, наконец, Голядкин-старший вовсе не то, чем он кажется, а такой-то и сякой-то, и, следовательно, не должен и не имеет права принадлежать к обществу людей благонамеренных и хорошего тона. И всё это до того быстро сделалось, что господин Голядкин-старший и рта раскрыть не успел, как уже все и душою и телом предались безобразному и поддельному господину Голядкину и с глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного господина Голядкина. Не оставалось лица, которого мнение не переделал бы в один миг безобразный господин Голядкин по-своему. Не оставалось лица, даже самого незначительного из целой компании, к которому бы не подлизался бесполезный и фальшивый господин Голядкин по-своему, самым сладчайшим манером, к которому бы не подбился по-своему, перед которым бы он не покурил, по своему обыкновению, чем-нибудь самым приятным и сладким, так что обкуриваемое лицо только нюхало и чихало до слез в знак высочайшего удовольствия. И, главное, всё это делалось мигом: быстрота хода подозрительного и бесполезного господина Голядкина была удивительная! Чуть успеет, например, полизаться с одним, заслужить благорасположение его, — и глазком не мигнешь, как уж он у другого. Полижется-полижется с другим втихомолочку, сорвет улыбочку благоволения, лягнет своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, дубоватенькой ножкой, — и вот уж и с третьим, и куртизанит уж третьего, с ним тоже лижется по-приятельски; рта раскрыть не успеваешь, в изумление не успеешь прийти, — а уж он у четвертого, и с четвертым уже на тех же кондициях, — ужас: колдовство, да и только! И все рады ему, и все любят его, и все превозносят его, и все провозглашают хором, что любезность и сатирическое ума его направление не в пример лучше любезности и сатирического направления настоящего господина Голядкина, и стыдят этим настоящего и невинного господина Го-

лядкина, и отвергают правдолюбивого господина Голядкина, и уже гонят в толчки благонамеренного господина Голядкина, и уже сыплют щелчки в известного любовию к ближнему настоящего господина Голядкина!.. В тоске, в ужасе, в бешенстве выбежал многострадальный господин Голядкин на улицу и стал нанимать извозчика, чтоб прямо лететь к его превосходительству, а если не так, то уж по крайней мере к Андрею Филипповичу, но — ужас! извозчики никак не соглашались везти господина Голядкина: «дескать, барин, нельзя везти двух совершенно подобных; дескать, ваше благородие, хороший человек норовит жить по честности, а не как-нибудь, и вдвойне никогда не бывает». В исступлении стыда оглядывался кругом совершенно честный господин Голядкин и действительно уверялся, сам, своими глазами, что извозчики и стакнувшийся с ними Петрушка все в своем праве; ибо развращенный господин Голядкин находился действительно тут же, возле него, не в дальнем от него расстоянии, и, следуя подлым обычаям нравов своих, и тут, и в этом критическом случае, непременно готовился сделать что-то весьма неприличное и нисколько не обличавшее особенного благородства характера, получаемого обыкновенно при воспитании, — благородства, которым так величался при всяком удобном случае отвратительный господин Голядкин второй. Не помня себя, в стыде и в отчаянии, бросился погибший и совершенно справедливый господин Голядкин куда глаза глядят, на волю судьбы, куда бы ни вынесло; но с каждым шагом его, с каждым ударом ноги в гранит тротуара, выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно, совершенно подобному и отвратительному развращенностию сердца господину Голядкину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим и длинною цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убежать от совершенно подобных, — так что дух захватывало всячески достойному сожаления господину Голядкину от ужаса, — так что народилась наконец страшная бездна совершенно подобных, — так что вся столица запрудилась наконец совершенно подобными, и полицейский служитель, видя таковое нарушение приличия, принужден был взять этих всех совершенно подобных за шиворот и посадить в случившуюся у него под боком будку... Цепенея и леденея от ужаса, просыпался герой наш и, цепенея и леденея от ужаса, чувствовал, что и наяву едва ли веселее проводится время... Тяжело, мучительно было... Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди...

Наконец господин Голядкин не мог долее вытерпеть. «Не будет же этого!» — закричал он, с решимостью припо-

дымаясь с постели, и вслед за этим восклицанием совершенно очнулся.

День, по-видимому, уже давно начался. В комнате было как-то не по-обыкновенному светло; солнечные лучи густо процеживались сквозь заиндевевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по комнате, что немало удивило господина Голядкина; ибо разве только в полдень заглядывало к нему солнце своим чередом; прежде же таких исключений в течении небесного светила, сколько по крайней мере господин Голядкин сам мог припомнить, почти никогда не бывало. Только что успел подивиться на это герой наш, как зажужжали за перегородкой стенные часы и таким образом совершенно приготовились бить. «А, вот!» — подумал господин Голядкин и с тоскливым ожиданием приготовился слушать... Но, к совершенному и окончательному поражению господина Голядкина, часы его понатужились и ударили всего один раз. «Это что за история?» — вскричал наш герой, выскакивая совсем из постели. Так, как был, не веря ушам своим, бросился он за перегородку. На часах был действительно час. Господин Голядкин взглянул на кровать Петрушки; но в комнате даже не пахло Петрушкой: постель его, по-видимому, давно уже была прибрана и оставлена; сапогов его тоже нигде не было, — несомненный признак, что Петрушки действительно не было дома. Господин Голядкин бросился к дверям: двери заперты. «Да где же Петрушка?» — продолжал он шепотом, весь в страшном волнении и чувствуя довольно значительную дрожь во всех членах... Вдруг одна мысль пронеслась в голове его... Господин Голядкин бросился к столу своему, оглядел его, обшарил кругом, — так и есть: вчерашнего письма его к Вахрамееву не было... Петрушки за перегородкой тоже совсем не было; на стенных часах был час, а во вчерашнем письме Вахрамеева были введены какие-то новые пункты, весьма, впрочем, с первого взгляда неясные пункты, но теперь совершенно объяснившиеся. Наконец, и Петрушка — очевидно подкупленный Петрушка! Да, да, это так!

«Так это там-то главный узел завязывался! — вскричал господин Голядкин, ударив себя по лбу и всё более и более открывая глаза, — так это в гнезде этой скаредной немки кроется теперь вся главная нечистая сила! Так это, стало быть, она только стратегическую диверсию делала, указывая мне на Измайловский мост, — глаза отводила, смущала меня (негодная ведьма!) и вот таким-то образом подкопы вела!!! Да, это так! Если только с этой стороны на дело взглянуть, то всё это и будет вот именно так! и появление мерзавца тоже теперь вполне объясняется: это всё одно к одному. Они его давно уж держали, приготовляли и

на черный день припасали. Ведь вот оно как теперь, как оказалось-то всё! Как разрешилось-то всё! А ну, ничего! Еще не потеряно время!..» Тут господин Голядкин с ужасом вспомнил, что уже второй час пополудни. «Что, если они теперь и успели... — Стон вырвался у него из груди... — Да нет же, врут, не успели, — посмотрим...» Кое-как он оделся, схватил бумагу, перо и настрочил следующее послание:

«Милостивый государь мой,
Яков Петрович!

Либо вы, либо я, а вместе нам невозможно! И потому объявляю вам, что странное, смешное и, вместе, невозможное желание ваше казаться моим близнецом и выдавать себя за такового послужит не к чему иному, как к совершенному вашему бесчестию и поражению. И потому прошу вас, ради собственной же выгоды вашей, посторониться и дать путь людям истинно благородным и с целями благонамеренными. В противном же случае готов решиться даже на самые крайние меры. Кладу перо и ожидаю... Впрочем, пребываю готовым на услуги и — на пистолеты.

*Я. Голядкин*».

Энергически потер себе руки герой наш, когда кончил записку. Затем, натянув шинель и надев шляпу, отпер другим, запасным ключом квартиру и пустился в департамент. До департамента он дошел, но войти не решился; действительно, было уже слишком поздно; половину третьего показывали часы господина Голядкина. Вдруг одно, по-видимому, весьма маловажное обстоятельство разрешило некоторые сомнения господина Голядкина: из-за угла департаментского здания вдруг показалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся фигурка и украдкой, крысиной походкой шмыгнула на крыльцо и потом тотчас же в сени. Это был писарь Остафьев, человек весьма знакомый господину Голядкину, человек отчасти нужный и за гривенник готовый на всё. Зная нежную струну Остафьева и смекнув, что он, после отлучки за самонужнейшей надобностью, вероятно, стал еще более прежнего падок на гривенники, герой наш решился их не жалеть и тотчас же шмыгнул на крыльцо, а потом и в сени вслед за Остафьевым, кликнул его и с таинственным видом пригласил в сторонку, в укромный уголок, за огромную железную печку. Заведя его туда, герой наш начал расспрашивать.

— Ну, что, мой друг, как этак там, того... ты меня понимаешь?..

— Слушаю, ваше благородие, здравия желаю вашему благородию.

— Хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый друг. Ну, вот видишь, как же, мой друг?

— Что изволите спрашивать-с? — Тут Остафьев попридержал немного рукою свой нечаянно раскрывшийся рот.

— Я, вот видишь ли, мой друг, я того... а ты не думай чего-нибудь... Ну что, Андрей Филиппович здесь?..

— Здесь-с.

— И чиновники здесь?

— И чиновники тоже-с, как следует-с.

— И его превосходительство тоже?

— И его превосходительство тоже-с. — Тут писарь еще другой раз попридержал свой опять раскрывшийся рот и как-то любопытно и странно посмотрел на господина Голядкина. Герою нашему по крайней мере так показалось.

— И ничего особенного такого нету, мой друг?

— Нет-с; никак нет-с.

— Этак обо мне, милый друг, нет ли чего-нибудь там, этак чего-нибудь только... а? только так, мой друг, понимаешь?

— Нет-с, еще ничего не слышно покамест. — Тут писарь опять попридержал свой рот и опять как-то странно взглянул на господина Голядкина. Дело в том, что герой наш старался теперь проникнуть в физиономию Остафьева, прочесть на ней кое-что, не таится ли чего-нибудь. И действительно, как будто что-то такое таилось; дело в том, что Остафьев становился всё как-то грубее и суше и не с таким уже участием, как с начала разговора, входил теперь в интересы господина Голядкина. «Он отчасти в своем праве, — подумал господин Голядкин, — ведь что ж я ему? Он, может быть, уже и получил с другой стороны, а потому и отлучился по самонужнейшей-то. А вот я ему и того...» Господин Голядкин понял, что время гривенников наступило.

— Вот тебе, милый друг...

— Чувствительно благодарен вашему благородию.

— Еще более дам.

— Слушаю, ваше благородие.

— Теперь, сейчас еще более дам и, когда дело кончится, еще столько же дам. Понимаешь?

Писарь молчал, стоял в струнку и неподвижно смотрел на господина Голядкина.

— Ну, теперь говори: про меня ничего не слышно?..

— Кажется, что еще, покамест... того-с... ничего нет покамест-с. — Остафьев отвечал с расстановкой, тоже, как и господин Голядкин, наблюдая немного таинственный вид, подергивая

немного бровями, смотря в землю, стараясь попасть в надлежащий тон и, одним словом, всеми силами стараясь наработать обещанное, потому что данное он уже считал за собою и окончательно приобретенным.

— И неизвестно ничего?

— Покамест еще нет-с.

— А послушай... того... оно, может быть, будет известно?

— Потом, разумеется, может быть, будет известно-с.

«Плохо!» — подумал герой наш. — Послушай, вот тебе еще, милый мой.

— Чувствительно благодарен вашему благородию.

— Вахрамеев был вчера здесь?..

— Были-с.

— А другого кого-нибудь не было ли?.. Припомни-ка, братец?

Писарь порылся с минутку в своих воспоминаниях и надлежащего ничего не припомнил.

— Нет-с, никого другого не было-с.

— Гм! — Последовало молчание.

— Послушай, братец, вот тебе еще; говори всё, всю подноготную.

— Слушаю-с. — Остафьев стоял теперь точно шелковый: того надобно было господину Голядкину.

— Объясни мне, братец, теперь, на какой он ноге?

— Ничего-с, хорошо-с, — отвечал писарь, во все глаза смотря на господина Голядкина.

— То есть как хорошо?

— То есть так-с. — Тут Остафьев значительно подернул бровями. Впрочем, он решительно становился в тупик и не знал, что ему еще говорить. «Плохо!» — подумал господин Голядкин.

— Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахрамеевым-то?

— Да и всё, как и прежде-с.

— Подумай-ка.

— Есть, говорят-с.

— А ну, что же такое?

Остафьев попридержал рукою свой рот.

— Письма оттудова нет ли ко мне?

— А сегодня сторож Михеев ходил к Вахрамееву на квартиру, туда-с, к немке ихней-с, так вот я пойду и спрошу, если надобно.

— Сделай одолжение, братец, ради Создателя!.. Я только так... Ты, брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, братец, разузнай, не приготовляется ли что-нибудь там

на мой счет. Он-то как действует? вот мне что нужно; вот это ты и узнай, милый друг, а я тебя потом и поблагодарю, милый друг...

— Слушаю-с, ваше благородие, а на вашем месте Иван Семеныч сели сегодня-с.

— Иван Семеныч? А! да! неужели?

— Андрей Филиппович указали им сесть-с...

— Неужели? по какому же случаю? Разузнай это, братец, ради Создателя, разузнай это, братец; разузнай это всё — а я тебя поблагодарю, милый мой; вот что мне нужно... А ты не думай чего-нибудь, братец...

— Слушаю-с, слушаю-с, тотчас сойду сюда-с. Да вы, ваше благородие, разве не войдете сегодня?

— Нет, мой друг; я только так, я ведь так только, я посмотреть только пришел, милый друг, а потом я тебя и поблагодарю, милый мой.

— Слушаю-с. — Писарь быстро и усердно побежал вверх по лестнице, а господин Голядкин остался один.

«Плохо, — подумал он. — Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то наше... как теперь плоховато! Что бы это значило всё? что именно значили некоторые намеки этого пьяницы, например, и чья это штука? А! я теперь знаю, чья это штука. Это вот какая штука. Они, верно, узнали, да и посадили... Впрочем, что ж, — посадили? это Андрей Филиппович его посадил, Ивана-то Семеновича; да, впрочем, зачем же он его посадил и с какою именно целью посадил? Вероятно, узнали... Это Вахрамеев работает, то есть не Вахрамеев, он глуп, как простое осиновое бревно, Вахрамеев-то; а это они все за него работают, да и шельмеца-то за тем же самым сюда натравили; а немка нажаловалась, одноглазая! Я всегда подозревал, что вся эта интрига неспроста и что во всей этой бабьей, старушьей сплетне непременно есть что-нибудь; то же самое я и Крестьяну Ивановичу говорил, что, дескать, поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, человека да и ухватились за Каролину Ивановну. Нет, тут мастера работают видно! Тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахрамеев. Уже сказано, что глуп Вахрамеев, а это... я знаю теперь, кто здесь за них всех работает: это шельмец работает, самозванец работает! На этом одном он и лепится, что доказывает отчасти и успехи его в высшем обществе. А действительно, желательно бы знать было, на какой он ноге теперь... что-то он там у них? Только зачем же они там взяли Ивана-то Семеновича? на какой им черт было нужно Ивана Семеновича? точно нельзя уж было достать другого кого. Впрочем, кого ни посади, всё было бы то же самое; а что я только знаю, так это то, что он, Иван-то Семенович, был

мне давно подозрителен, я про него давно замечал: старикашка такой скверный, гадкий такой, — говорят, на проценты дает и жидовские проценты берет. А ведь это всё медведь мастерит. Во всё это обстоятельство медведь замешался. Началось-то оно таким образом. У Измайловского моста оно началось; вот оно как началось...» Тут господин Голядкин сморщился, словно лимон разгрыз, вероятно припомнив что-нибудь весьма неприятное. «Ну, да ничего, впрочем! — подумал он. — А вот только я всё про свое. Что же это Остафьев нейдет? Вероятно, засел или был остановлен там как-нибудь. Это ведь и хорошо отчасти, что я так интригую и с своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривенник нужно дать, так он и того... и на моей стороне. Только вот дело в чем: точно ли он на моей стороне; может быть, они его тоже с своей стороны... и, с своей стороны согласясь с ним, интригу ведут. Ведь разбойником смотрит, мошенник, чистым разбойником! Таится, шельмец! „Нет, ничего, говорит, и чувствительно, дескать, вам, ваше благородие, говорит, благодарен". Разбойник ты этакой!»

Послышался шум... господин Голядкин съежился и прыгнул за печку. Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. «Кто бы это так отправлялся теперь?» — подумал про себя наш герой. Через минутку послышались опять чьи-то шаги... Тут господин Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего брустверa маленький-маленький кончик носу, — высунул и тотчас же осекся назад, словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил известно кто, то есть шельмец, интригант и развратник, — проходил по обыкновению своим подленьким частым шажком, присеменивая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то лягнуть. «Подлец!» — проговорил про себя наш герой. Впрочем, господин Голядкин не мог не заметить, что у подлеца под мышкой был огромный зеленый портфель, принадлежавший его превосходительству. «Он это опять по особому», — подумал господин Голядкин, покраснев и съежившись еще более прежнего от досады. Только что господин Голядкин-младший промелькнул мимо господина Голядкина-старшего, совсем не заметив его, как послышались в третий раз чьи-то шаги, и на этот раз господин Голядкин догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку; фигурка, впрочем, была не Остафьева, а другого писаря, Писаренки по прозванию. Это изумило господина Голядкина. «Зачем же это он других в секрет замешал? — подумал герой наш. — Экие варвары! святого у них ничего не имеется!»

— Ну, что, мой друг? — проговорил он, обращаясь к Писаренке, — ты, мой друг, от кого?..

— Вот-с, по вашему дельцу-с. Ни от кого известий покамест нет никаких-с. А если будут, уведомим-с.

— А Остафьев?..

— Да ему, ваше благородие, никак нельзя-с. Его превосходительство уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь некогда.

— Спасибо, милый мой, спасибо тебе... Только ты мне скажи...

— Ей-Богу же, некогда-с... Поминутно нас спрашивают-с... А вот вы извольте здесь еще постоять-с, так если будет что-нибудь относительно вашего дельца-с, так мы вас уведомим-с...

— Нет, ты, мой друг, ты скажи...

— Позвольте-с; мне некогда-с, — говорил Писаренко, порываясь от ухватившего его за полу господина Голядкина, — право, нельзя-с. Вы извольте здесь еще постоять-с, так мы и уведомим.

— Сейчас, сейчас, друг мой! сейчас, милый друг! Вот что теперь: вот письмо, мой друг; а я тебя поблагодарю, милый мой.

— Слушаюсь-с.

— Постарайся отдать, милый мой, господину Голядкину.

— Голядкину?

— Да, мой друг, господину Голядкину.

— Хорошо-с; вот как уберусь, так снесу-с. А вы здесь стойте покамест. Здесь никто не увидит...

— Нет, я, мой друг, ты не думай... я ведь здесь стою не для того, чтоб кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь... буду вот здесь в переулочке. Кофейная есть здесь одна; так я там буду ждать, а ты, если случится что, и уведомляй меня обо всем, понимаешь?

— Хорошо-с. Пустите только; я понимаю...

— А я тебя поблагодарю, милый мой! — кричал господин Голядкин вслед освободившемуся наконец Писаренке... «Шельмец, кажется, грубее стал после, — подумал герой наш, украдкой выходя из-за печки. — Тут еще есть крючок. Это ясно... Сначала был и того, и сего... Впрочем, он и действительно торопился; может быть, дела там много. И его превосходительство два раза ходили по отделению... По какому бы это случаю было?.. Ух! да ну, ничего! оно, впрочем, и ничего, может быть, а вот мы теперь и посмотрим...»

Тут господин Голядкин отворил было дверь и хотел уже выйти на улицу, как вдруг, в это самое мгновение, у крыльца загремела карета его превосходительства. Не успел господин Голядкин опомниться, как отворились изнутри дверцы кареты и сидевший в ней господин выпрыгнул на крыльцо. Приехавший был

не кто иной, как тот же господин Голядкин-младший, минут десять тому назад отлучившийся. Господин Голядкин-старший вспомнил, что квартира директора была в двух шагах. «Это он по особому», — подумал наш герой про себя. Между тем господин Голядкин-младший, захватив из кареты толстый зеленый портфёль и еще какие-то бумаги, приказав наконец что-то кучеру, отворил дверь, почти толкнув ею господина Голядкина-старшего, и, нарочно не заметив его и, следовательно, действуя таким образом ему в пику, пустился скоробежкой вверх по департаментской лестнице. «Плохо! — подумал господин Голядкин, — эх, дельце-то наше чего прихватило теперь! Ишь его, Господи Бог мой!» С полминутки еще простоял наш герой неподвижно; наконец он решился. Долго не думая, чувствуя, впрочем, сильное трепетание сердца и дрожь во всех членах, побежал он вслед за приятелем своим вверх по лестнице. «А! была не была; что же мне-то такое? я сторона в этом деле», — думал он, снимая шляпу, шинель и калоши в передней.

Когда господин Голядкин вошел в свое отделение, были уже полные сумерки. Ни Андрея Филипповича, ни Антона Антоновича не было в комнате. Оба они находились в директорском кабинете с докладами; директор же, как по слухам известно было, в свою очередь спешил к его высокопревосходительству. Вследствие таковых обстоятельств, да еще потому, что и сумерки сюда подмешались и кончалось время присутствия, некоторые из чиновников, преимущественно же молодежь, в ту самую минуту, когда вошел наш герой, занимались некоторого рода бездействием, сходились, разговаривали, толковали, смеялись, и даже кое-кто из самых юнейших, то есть из самых бесчиновных чиновников, втихомолочку и под общий шумок составили орлянку в углу, у окошка. Зная приличие и чувствуя в настоящее время какую-то особенную надобность приобресть и «найти», господин Голядкин немедленно подошел кой к кому, с кем ладил получше, чтоб пожелать доброго дня и т. д. Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие господина Голядкина. Неприятно был он поражен какою-то всеобщею холодностью, сухостью, даже, можно сказать, какою-то строгостью приема. Руки ему не дал никто. Иные просто сказали «здравствуйте» и прочь отошли; другие лишь головою кивнули, кое-кто просто отвернулся и показал, что ничего не заметил; наконец, некоторые, — и что было всего обиднее господину Голядкину, некоторые из самой бесчиновной молодежи, ребята, которые, как справедливо выразился о них господин Голядкин, умеют лишь в орлянку поиграть при случае да где-нибудь потаскаться, — мало-помалу окружили господина Голядкина, сгруппировались около него и почти за-

перли ему выход. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любопытством.

Знак был дурной. Господин Голядкин чувствовал это и благоразумно приготовился с своей стороны ничего не заметить. Вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство совсем, как говорится, доконало и уничтожило господина Голядкина.

В кучке молодых окружавших его сослуживцев вдруг, и, словно нарочно, в самую тоскливую минуту для господина Голядкина, появился господин Голядкин-младший, веселый по-всегдашнему, с улыбочкой по-всегдашнему, вертлявый тоже по-всегдашнему, одним словом: шалун, прыгун, лизун, хохотун, легок на язычок и на ножку, как и всегда, как прежде, точно так, как и вчера, например, в одну весьма неприятную минутку для господина Голядкина-старшего. Осклабившись, вертясь, семеня, с улыбочкой, которая так и говорила всем «доброго вечера», втерся он в кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу потрепал, третьего обнял слегка, четвертому объяснил, по какому именно случаю был его превосходительством употреблен, куда ездил, что сделал, что с собою привез; пятого, и, вероятно, своего лучшего друга, чмокнул в самые губки, — одним словом, всё происходило точь-в-точь как во сне господина Голядкина-старшего. Напрыгавшись досыта, покончив со всяким по-своему, обделав их всех в свою пользу, нужно ль, не нужно ли было, нализавшись всласть с ними со всеми, господин Голядкин-младший вдруг, и, вероятно, ошибкой, еще не успев заметить до сих пор своего старейшего друга, протянул руку и господину Голядкину-старшему. Вероятно, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить неблагородного господина Голядкина-младшего, тотчас же жадно схватил наш герой простертую ему так неожиданно руку и пожал ее самым крепким, самым дружеским образом, пожал ее с каким-то странным, совсем неожиданным внутренним движением, с каким-то слезящимся чувством. Был ли обманут герой наш первым движением неблагопристойного врага своего, или так, не нашелся, или почувствовал и сознал в глубине души своей всю степень своей беззащитности, — трудно сказать. Факт тот, что господин Голядкин-старший, в здравом виде, по собственной воле своей и при свидетелях, торжественно пожал руку того, кого называл смертельным врагом своим. Но каково же было изумление, исступление и бешенство, каков же был ужас и стыд господина Голядкина-старшего, когда неприятель и смертельный враг его, неблагородный господин Голядкин-младший, заметив ошибку свою, тут же, в собственных же глазах преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека, без всякого стыда, без чувств, без сострадания и совести,

вдруг с нестерпимым нахальством и с грубостию вырвал свою руку из руки господина Голядкина-старшего; мало того, — стряхнул свою руку, как будто замарал ее через то в чем-то совсем нехорошем; мало того, — плюнул на сторону, сопровождая всё это самым оскорбительным жестом; мало того, — вынул платок свой и тут же, самым бесчиннейшим образом, вытер им все пальцы свои, побывавшие на минутку в руке господина Голядкина-старшего. Действуя таким образом, господин Голядкин-младший, по подленькому обыкновению своему, нарочно осматривался кругом, делал так, чтоб все видели его поведение, заглядывал всем в глаза и очевидно старался о внушении всем всего самого неблагоприятного относительно господина Голядкина. Казалось, что поведение отвратительного господина Голядкина-младшего возбудило всеобщее негодование окружавших чиновников; даже ветреная молодежь показала свое неудовольствие. Кругом поднялся ропот и говор. Всеобщее движение не могло миновать ушей господина Голядкина-старшего; но вдруг кстати подоспевшая шуточка, накипевшая, между прочим, в устах господина Голядкина-младшего, разбила, уничтожила последние надежды героя нашего и наклонила баланс опять в пользу смертельного и бесполезного врага его.

— Это наш русский Фоблаз, господа; позвольте вам рекомендовать молодого Фоблаза, — запищал господин Голядкин-младший, с свойственною ему наглостью семеня и вьюня меж чиновниками и указывая им на оцепеневшего и вместе с тем исступленного настоящего господина Голядкина. «Поцелуемся, душка!» — продолжал он с нестерпимою фамильярностию, подвигаясь к предательски оскорбленному им человеку. Шуточка бесполезного господина Голядкина-младшего, кажется, нашла отголосок, где следовало, тем более что в ней заключался коварный намек на одно обстоятельство, по-видимому уже гласное и известное всем. Герой наш тяжко почувствовал руку врагов на плечах своих. Впрочем, он уже решился. С пылающим взором, с бледным лицом, с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы и неровными, учащенными шагами направил свой путь прямо к кабинету его превосходительства. В предпоследней комнате встретился с ним только что выходивший от его превосходительства Андрей Филиппович, и хотя тут же в комнате было порядочно всяких других, совершенно посторонних в настоящую минуту для господина Голядкина лиц, но герой наш и внимания не хотел обратить на подобное обстоятельство. Прямо, решительно, смело, почти сам себе удивляясь и внутренно себя за смелость похваливая, абордировал он, не теряя времени, Андрея Филипповича, порядочно изумленного таким нечаянным нападением.

— А!.. что вы... что вам угодно? — спросил начальник отделения, не слушая запнувшегося на чем-то господина Голядкина.

— Андрей Филиппович, я... могу ли я, Андрей Филиппович, иметь теперь, тотчас же и глаз на глаз, разговор с его превосходительством? — речисто и отчетливо проговорил наш герой, устремив самый решительный взгляд на Андрея Филипповича.

— Что-с? конечно нет-с. — Андрей Филиппович с ног до головы обмерил взглядом своим господина Голядкина.

— Я, Андрей Филиппович, всё это к тому говорю, что удивляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца.

— Что-о-с?

— Подлеца, Андрей Филиппович.

— О ком же это угодно таким образом относиться?

— Об известном лице, Андрей Филиппович. Я, Андрей Филиппович, на известное лицо намекаю; я в своем праве... Я думаю, Андрей Филиппович, что начальство должно было бы поощрять подобные движения, — прибавил господин Голядкин, очевидно не помня себя, — Андрей Филиппович... вы, вероятно, сами видите, Андрей Филиппович, что это благородное движение и всяческую мою благонамеренность означает, — принять начальника за отца, Андрей Филиппович, принимаю, дескать, благодетельное начальство за отца и слепо вверяю судьбу свою. Так и так, дескать... вот как... — Тут голос господина Голядкина задрожал, лицо его раскраснелось, и две слезы набежали на обеих ресницах его.

Андрей Филиппович, слушая господина Голядкина, до того удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. Потом с беспокойством осмотрелся кругом... Трудно сказать, чем бы кончилось дело... Но вдруг дверь из кабинета его превосходительства отворилась, и он сам вышел, в сопровождении некоторых чиновников. За ним потянулись все, кто ни был в комнате. Его превосходительство подозвал Андрея Филипповича и пошел с ним рядом, заведя разговор о каких-то делах. Когда все тронулись и пошли вон из комнаты, опомнился и господин Голядкин. Присмирев, приютился он под крылышко Антона Антоновича Сеточкина, который сзади всех ковылял в свою очередь и, как показалось господину Голядкину, с самым строгим и озабоченным видом. «Проврался я и тут, нагадил и тут, — подумал он про себя, — да ну, ничего».

— Надеюсь, что по крайней мере вы, Антон Антонович, согласитесь прослушать меня и вникнуть в мои обстоятельства, — проговорил он тихо и еще немного дрожащим от волнения голосом. — Отверженный всеми, обращаюсь я к вам. Недоумеваю

до сих пор, что значили слова Андрея Филипповича, Антон Антонович. Объясните мне их, если можно...

— Своевременно всё объяснится-с, — строго и с расстановкою отвечал Антон Антонович и, как показалось господину Голядкину, с таким видом, который ясно давал знать, что Антон Антонович вовсе не желает продолжать разговора. — Узнаете в скором времени всё-с. Сегодня же форменно обо всем известитесь.

— Что же такое форменно, Антон Антонович? почему же так именно форменно-с? — робко спросил наш герой.

— Не нам с вами рассуждать, Яков Петрович, как начальство решает.

— Почему же начальство, Антон Антонович, — проговорил господин Голядкин, оробев еще более, — почему же начальство? Я не вижу причины, почему же тут нужно беспокоить начальство, Антон Антонович... Вы, может быть, что-нибудь относительно вчерашнего хотите сказать, Антон Антонович?

— Да нет-с, не вчерашнее-с; тут кое-что другое хромает-с у вас.

— Что же хромает, Антон Антонович? мне кажется, Антон Антонович, что у меня ничего не хромает.

— А хитрить-то с кем собирались? — резко пересек Антон Антонович совершенно оторопевшего господина Голядкина. Господин Голядкин вздрогнул и побледнел как платок.

— Конечно, Антон Антонович, — проговорил он едва слышным голосом, — если внимать голосу клеветы и слушать врагов наших, не приняв оправдания с другой стороны, то, конечно... конечно, Антон Антонович, тогда можно и пострадать, Антон Антонович, безвинно и ни за что пострадать.

— То-то-с; а неблагопристойный поступок ваш во вред репутации благородной девицы того добродетельного, почтенного и известного семейства, которое вам благодетельствовало?

— Какой же это поступок, Антон Антонович?

— То-то-с. А относительно другой девицы, хотя бедной, но зато честного иностранного происхождения, похвального поступка своего тоже не знаете-с?

— Позвольте, Антон Антонович... благоволите, Антон Антонович, выслушать...

— А вероломный поступок ваш и клевета на другое лицо — обвинение другого лица в том, в чем сами грешка прихватили? а? это как называется?

— Я, Антон Антонович, не выгонял его, — проговорил, затрепетав, наш герой, — и Петрушку, то есть человека моего, подобному ничему не учил-с... Он ел мой хлеб, Антон Антонович;

он пользовался гостеприимством моим, — прибавил выразительно и с глубоким чувством герой наш, так что подбородок его запрыгал немножко и слезы готовы были опять навернуться.

— Это вы, Яков Петрович, только так говорите, что он хлеб-то ваш ел, — отвечал, осклабляясь, Антон Антонович, и в голосе его было слышно лукавство, так что по сердцу скребнуло у господина Голядкина.

— Позвольте еще вас, Антон Антонович, нижайше спросить: известны ли обо всем этом деле его превосходительство?

— Как же-с! Впрочем, вы теперь пустите меня-с. Мне с вами тут некогда... Сегодня же обо всем узнаете, что вам следует знать-с.

— Позвольте, ради Бога, еще на минутку, Антон Антонович...

— После расскажете-с...

— Нет-с, Антон Антонович; я-с, видите-с, прислушайте только, Антон Антонович... Я совсем не вольнодумство, Антон Антонович, я бегу вольнодумства; я совершенно готов с своей стороны и даже пропускал ту идею...

— Хорошо-с, хорошо-с. Я уж слышал-с...

— Нет-с, этого вы не слыхали, Антон Антонович. Это другое, Антон Антонович, это хорошо, право хорошо, и приятно слышать... Я пропускал, как выше объяснил, ту идею, Антон Антонович, что вот промысл Божий создал двух совершенно подобных, а благодетельное начальство, видя промысл Божий, приютили двух близнецов-с. Это хорошо, Антон Антонович. Вы видите, что это очень хорошо, Антон Антонович, и что я далек вольнодумства. Принимаю благодетельное начальство за отца. Так и так, дескать, благодетельное начальство, а вы того... дескать... молодому человеку нужно служить... Поддержите меня, Антон Антонович, заступитесь за меня, Антон Антонович... Я ничего-с... Антон Антонович, ради Бога, еще одно словечко... Антон Антонович...

Но уже Антон Антонович был далеко от господина Голядкина... Герой же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним сделалось и что еще будут делать с ним, — так смутило его и потрясло всё им слышанное и всё с ним случившееся.

Умоляющим взором отыскивал он в толпе чиновников Антона Антоновича, чтоб еще более оправдаться в глазах его и сказать ему что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благородное и приятное относительно себя самого... Впрочем, мало-помалу, новый свет начинал пробиваться сквозь смущение господина Голядкина, новый, ужасный свет, озаривший перед ним вдруг, разом, целую перспективу совершенно неведомых доселе и даже

нисколько не подозреваемых обстоятельств... В эту минуту кто-то толкнул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он оглянулся. Перед ним стоял Писаренко.

— Письмо-с, ваше благородие.

— А!.. ты уже сходил, милый мой?

— Нет, это еще утром в десять часов сюда принесли-с. Сергей Михеев, сторож, принес-с с квартиры губернского секретаря Вахрамеева.

— Хорошо, мой друг, хорошо, а я тебя поблагодарю, милый мой.

Сказав это, господин Голядкин спрятал письмо в боковой карман своего вицмундира и застегнул его на все пуговицы; потом осмотрелся кругом и, к удивлению своему, заметил, что уже находится в сенях департаментских, в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончилось присутствие. Господин Голядкин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоятельства, но даже не заметил и не помнил того, каким образом он вдруг очутился в шинели, в калошах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том, что его превосходительство остановился в низу лестницы, в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа, и вел весьма интересный разговор с двумя советниками и с Андреем Филипповичем. Немного поодаль от двух советников и Андрея Филипповича стоял Антон Антонович Сеточкин и кое-кто из других чиновников, которые весьма улыбались, видя, что его превосходительство изволит шутить и смеяться. Столпившиеся на верху лестницы чиновники тоже улыбались и ждали, покамест его превосходительство опять засмеются. Не улыбался лишь только один Федосеич, толстопузый швейцар, державшийся у ручки дверей, вытянувшийся в струнку и с нетерпением ожидавший порции своего обыденного удовольствия, состоявшего в том, чтоб разом, одним взмахом руки, широко откинуть одну половинку дверей и потом, согнувшись в дугу, почтительно пропустить мимо себя его превосходительство. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг господина Голядкина. Он в это мгновение даже позабыл всех чиновников, даже оставил вьюнить и семенить между ними, по своему подленькому обыкновению, даже позабыл, пользуясь случаем, подлизаться к кому-нибудь в это мгновение. Он обратился весь в слух и зрение, как-то странно съежился, вероятно чтоб удобнее слушать, не спуская глаз с его превосходительства, и изредка только подергивало его руки, ноги и голову какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внутренние, сокровенные движения души его.

«Ишь его разбирает! — подумал герой наш, — фаворитом смотрит, мошенник! Желал бы я знать, чем он именно берет в обществе высокого тона? Ни ума, ни характера, ни образования, ни чувства; везет шельмецу! Господи Боже! ведь как это скоро может пойти человек, как подумаешь, и „найти" во всех людях! И пойдет человек, клятву даю, что пойдет далеко, шельмец, доберется, — везет шельмецу! Желал бы я еще узнать, что именно такое он всем им нашептывает? Какие тайны у него со всем этим народом заводятся и про какие секреты они говорят? Господи Боже! Как бы мне этак, того... и с ними бы тоже немножко... дескать, так и так, попросить его разве... дескать, так и так, а я больше не буду; дескать, я виноват, а молодому человеку, ваше превосходительство, нужно служить в наше время; обстоятельством же темным моим я отнюдь не смущаюсь, — вот оно как! протестовать там каким-нибудь образом тоже не буду, и всё с терпением и смирением снесу, — вот как! Вот разве так поступить?.. Да, впрочем, его не проймешь, шельмеца, никаким словом не пробьешь; резону-то ему вгвоздить нельзя в забубённую голову... А впрочем, попробуем. Случится, что в добрый час попаду, так вот и попробовать...»

В беспокойстве своем, в тоске и смущении, чувствуя, что так оставаться нельзя, что наступает минута решительная, что нужно же с кем-нибудь объясниться, герой наш стал было понемножку подвигаться к тому месту, где стоял недостойный и загадочный приятель его; но в самое это время у подъезда загремел давно ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рванул дверь и, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство мимо себя. Все ожидавшие разом хлынули к выходу и оттеснили на мгновение господина Голядкина-старшего от господина Голядкина-младшего. «Не уйдешь!» — говорил наш герой, прорываясь сквозь толпу и не спуская глаз с кого следовало. Наконец толпа раздалась. Герой наш почувствовал себя на свободе и ринулся в погоню за своим неприятелем.

## *Глава XI*

Дух занимался в груди господина Голядкина; словно на крыльях летел он вслед за своим быстро удалявшимся неприятелем. Чувствовал он в себе присутствие страшной энергии. Впрочем, несмотря на присутствие страшной энергии, господин Голядкин мог смело надеяться, что в настоящую минуту даже простой комар, если бы только он мог в такое время жить в Петербурге, весьма бы удобно перешиб его крылом своим. Чувствовал он

еще, что опал и ослаб совершенно, что несет его какою-то совершенно особенною и постороннею силою, что он вовсе не сам идет, что, напротив, его ноги подкашиваются и служить отказываются. Впрочем, это всё могло бы устроиться к лучшему. «К лучшему — не к лучшему, — думал господин Голядкин, почти задыхаясь от скорого бега, — но что дело проиграно, так в том теперь и сомнения малейшего нет; что пропал я совсем, так уж это известно, определено, решено и подписано». Несмотря на всё это, герой наш словно из мертвых воскрес, словно баталию выдержал, словно победу схватил, когда пришлось ему уцепиться за шинель своего неприятеля, уже заносившего одну ногу на дрожки куда-то только что сговоренного им ваньки. «Милостивый государь! милостивый государь! — закричал он наконец настигнутому им неблагородному господину Голядкину-младшему. — Милостивый государь, я надеюсь, что вы...»

— Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не надейтесь, — уклончиво отвечал бесчувственный неприятель господина Голядкина, стоя одною ногою на одной ступеньке дрожек, а другою изо всех сил порываясь попасть на другую сторону экипажа, тщетно махая ею по воздуху, стараясь сохранить экилибр и вместе с тем стараясь всеми силами отцепить шинель свою от господина Голядкина-старшего, за которую тот, с своей стороны, уцепился всеми данными ему природою средствами.

— Яков Петрович! только десять минут...

— Извините, мне некогда-с.

— Согласитесь сами, Яков Петрович... пожалуйста, Яков Петрович... ради Бога, Яков Петрович... так и так — объясниться... на смелую ногу... Секундочку, Яков Петрович!..

— Голубчик мой, некогда, — отвечал с неучтивою фамильярностью, но под видом душевной доброты, ложно благородный неприятель господина Голядкина, — в другое время, поверьте, от полноты души и от чистого сердца; но теперь — вот, право ж, нельзя.

«Подлец!» — подумал герой наш.

— Яков Петрович! — закричал он тоскливо, — я вашим врагом никогда не бывал. Злые же люди несправедливо меня описали... С своей стороны я готов... Яков Петрович, угодно, мы с вами, Яков Петрович, вот тотчас зайдем?.. И там, от чистого сердца, как справедливо сказали вы тотчас, и языком прямым, благородным... вот в эту кофейную: тогда всё само собой объяснится, — вот как, Яков Петрович! Тогда непременно всё само собой объяснится...

— В кофейную? хорошо-с. Я не прочь, зайдем в кофейную, с одним только условием, радость моя, с единым условием, —

что там всё само собой объяснится. Дескать, так и так, душка, — проговорил господин Голядкин-младший, слезая с дрожек и бесстыдно потрепав героя нашего по плечу, — дружище ты этакой; для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком (как справедливо в оно время вы, Яков Петрович, заметить изволили). Ведь вот плут, право, что захочет, то и делает с человеком! — продолжал ложный друг господина Голядкина, с легкой улыбочкой вертясь и увиваясь около него.

Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Голядкина, была в эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая немка появилась у прилавка, едва только заслышался звон колокольчика. Господин Голядкин и недостойный неприятель его прошли во вторую комнату, где одутловатый и остриженный под гребенку мальчишка возился с вязанкою щепок около печки, силясь возобновить в ней погасавший огонь. По требованию господина Голядкина-младшего подан был шоколад.

— А пресдобная бабенка, — проговорил господин Голядкин-младший, плутовски мигнув господину Голядкину-старшему.

Герой наш покраснел и смолчал.

— А, да, позабыл, извините. Знаю ваш вкус. Мы, сударь, лакомы до тоненьких немочек; мы, дескать, душа ты правдивая, Яков Петрович, лакомы с тобою до тоненьких, хотя, впрочем, и не лишенных еще приятности немочек; квартиры у них нанимаем, их нравственность соблазняем, за бир-суп да мильх-суп наше сердце им посвящаем да разные подписки даем, — вот что мы делаем, Фоблаз ты такой, предатель ты этакой!

Всё это проговорил господин Голядкин-младший, делая таким образом совершенно бесполезный, хотя, впрочем, и злодейски хитрый намек на известную особу женского пола, увиваясь около господина Голядкина, улыбаясь ему под видом любезности, ложно показывая таким образом радушие к нему и радость при встрече с ним. Замечая же, что господин Голядкин-старший вовсе не так глуп и вовсе не до того лишен образованности и манер хорошего тона, чтоб сразу поверить ему, неблагородный человек решился переменить свою тактику и повести дела на открытую ногу. Тут же, проговорив свою гнусность, фальшивый господин Голядкин заключил тем, что с возмущающим душу бесстыдством и фамильярностью потрепал солидного господина Голядкина по плечу и, не удовольствовавшись этим, пустился заигрывать с ним совершенно неприличным в обществе хорошего тона образом, именно вознамерился повторить свою прежнюю гнусность, то есть, несмотря на сопротивление и легкие крики возмущенного господина Голядкина-старшего, ущипнуть его за

щеку. При виде такого разврата герой наш вскипел и смолчал... до времени, впрочем.

— Это речь врагов моих, — ответил он наконец, благоразумно сдерживая себя, трепещущим голосом. В то же самое время герой наш с беспокойством оглянулся на дверь. Дело в том, что господин Голядкин-младший был, по-видимому, в превосходном расположении духа и в готовности пуститься на разные шуточки, непозволительные в общественном месте и, вообще говоря, не допускаемые законами света, и преимущественно в обществе высокого тона.

— А, ну, в таком случае, как хотите, — серьезно возразил господин Голядкин-младший на мысль господина Голядкина-старшего, поставив свою опустелую чашку, выпитую им с неприличною жадностью, на стол. — Ну-с, мне с вами долго нечего, впрочем... Ну-с, каково-то вы теперь поживаете, Яков Петрович?

— Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович, — хладнокровно и с достоинством отвечал наш герой, — врагом вашим я никогда не бывал.

— Гм... ну, а Петрушка? как бишь! Петрушка ведь, кажется? — ну, да! что, каков? хорошо? по-прежнему?

— И он тоже по-прежнему, Яков Петрович, — отвечал немного изумленный господин Голядкин-старший. — Я не знаю, Яков Петрович... с моей стороны... с благородной, с откровенной стороны, Яков Петрович, согласитесь сами, Яков Петрович...

— Да-с. Но вы сами знаете, Яков Петрович, — отвечал тихим и выразительным голосом господин Голядкин-младший, фальшиво изображая собою таким образом грустного, полного раскаяния и сожаления достойного человека, — сами вы знаете, время наше тяжелое... Я на вас пошлюсь, Яков Петрович; человек вы умный и справедливо рассудите, — включил господин Голядкин-младший, подло льстя господину Голядкину-старшему. — Жизнь не игрушка, сами вы знаете, Яков Петрович, — многозначительно заключил господин Голядкин-младший, прикидываясь таким образом умным и ученым человеком, который может рассуждать о высоких предметах.

— С своей стороны, Яков Петрович, — с одушевлением отвечал наш герой, — с своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благородным и поставив всё дело на благородную доску, скажу вам, могу открыто и благородно утверждать, Яков Петрович, что я чист совершенно и что, сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное заблуждение, — всё может быть, — суд света, мнение раболепной толпы... Я говорю откровенно, Яков Петрович, всё может быть.

Еще скажу, Яков Петрович, если так судить, если с благородной и высокой точки зрения на дело смотреть, то смело скажу, без ложного стыда скажу, Яков Петрович, мне даже приятно будет открыть, что я заблуждался, мне даже приятно будет сознаться в том. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того благородный. Без стыда, без ложного стыда готов в этом сознаться... — с достоинством и благородством заключил наш герой.

— Рок, судьба! Яков Петрович... но оставим всё это, — со вздохом проговорил господин Голядкин-младший. — Употребим лучше краткие минуты нашей встречи на более полезный и приятный разговор, как следует между двумя сослуживцами... Право, мне как-то не удавалось с вами двух слов сказать во всё это время... В этом не я виноват, Яков Петрович...

— И не я, — с жаром перебил наш герой, — и не я! Сердце мое говорит мне, Яков Петрович, что не я виноват во всем этом. Будем обвинять судьбу во всем этом, Яков Петрович, — прибавил господин Голядкин-старший совершенно примирительным тоном. Голос его начинал мало-помалу слабеть и дрожать.

— Ну, что? как вообще ваше здоровье? — произнес заблудшийся сладким голосом.

— Немного покашливаю, — отвечал еще слаще герой наш.

— Берегитесь. Теперь всё такие поветрия, немудрено схватить жабу, и я, признаюсь вам, начинаю уже кутаться во фланель.

— Действительно, Яков Петрович, немудрено схватить жабу-с... Яков Петрович! — произнес после кроткого молчания герой наш. — Яков Петрович! я вижу, что я заблуждался... Я с умилением вспоминаю о тех счастливых минутах, которые удалось нам провести вместе под бедным, но, смею сказать, радушным кровом моим...

— В письме вашем вы, впрочем, не то написали, — отчасти с укоризною проговорил совершенно справедливый (впрочем, единственно только в этом отношении совершенно справедливый) господин Голядкин-младший.

— Яков Петрович! я заблуждался... Ясно вижу теперь, что заблуждался и в этом несчастном письме моем. Яков Петрович, мне совестно смотреть на вас, Яков Петрович, вы не поверите... Дайте мне это письмо, чтоб разорвать его, в ваших же глазах, Яков Петрович, или если уж этого никак невозможно, то умоляю вас читать его наоборот, — совсем наоборот, то есть нарочно с намерением дружеским, давая обратный смысл всем словам письма моего. Я заблуждался. Простите меня, Яков Петрович, я совсем... я горестно заблуждался, Яков Петрович.

— Вы говорите? — довольно рассеянно и равнодушно спросил вероломный друг господина Голядкина-старшего.

— Я говорю, что я совсем заблуждался, Яков Петрович, и что с моей стороны я совершенно без ложного стыда...

— А, ну, хорошо! Это очень хорошо, что вы заблуждались, — грубо отвечал господин Голядкин-младший.

— У меня, Яков Петрович, даже идея была, — прибавил благородным образом откровенный герой наш, совершенно не замечая ужасного вероломства своего ложного друга, — у меня даже идея была, что, дескать, вот, создались два совершенно подобные...

— А! это ваша идея!..

Тут известный своею бесполезностью господин Голядкин-младший встал и схватился за шляпу. Всё еще не замечая обмана, встал и господин Голядкин-старший, простодушно и благородно и улыбаясь своему лжеприятелю, стараясь, в невинности своей, его приласкать, ободрить и завязать с ним таким образом новую дружбу...

— Прощайте, ваше превосходительство! — вскрикнул вдруг господин Голядкин-младший. Герой наш вздрогнул, заметив в лице врага своего что-то даже вакхическое, — и, единственно чтоб только отвязаться, сунул в простертую ему руку безнравственного два пальца своей руки; но тут... тут бесстыдство господина Голядкина-младшего превзошло все ступени. Схватив два пальца руки господина Голядкина-старшего и сначала пожав их, недостойный тут же, в глазах же господина Голядкина, решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. Мера человеческого терпения была истощена...

Он уже прятал платок, которым обтер свои пальцы, в карман, когда господин Голядкин-старший опомнился и ринулся вслед за ним в соседнюю комнату, куда, по скверной привычке своей, тотчас же поспешил улизнуть непримиримый враг его. Как будто ни в одном глазу, он стоял себе у прилавка, ел пирожки и преспокойно, как добродетельный человек, любезничал с немкой-кондитершей. «При дамах нельзя», — подумал герой наш и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения.

— А ведь действительно бабенка-то недурна! Как вы думаете? — снова начал свои неприличные выходки господин Голядкин-младший, вероятно рассчитывая на бесконечное терпение господина Голядкина. Толстая же немка, с своей стороны, смотрела на обоих своих посетителей оловянно-бессмысленными глазами, очевидно не понимая русского языка и приветливо улыбаясь. Герой наш вспыхнул как огонь от слов не знающего стыда господина Голядкина-младшего и, не в силах владеть собою, бросился наконец на него с очевидным намерением растерзать его и повершить с ним таким образом окончательно; но господин

Голядкин-младший, по подлому обыкновению своему, уже был далеко: он дал тягу, он уже был на крыльце. Само собой разумеется, что после первого мгновенного столбняка, естественно нашедшего на господина Голядкина-старшего, он опомнился и бросился со всех ног за обидчиком, который уже садился на поджидавшего его и, очевидно, во всем согласившегося с ним ваньку. Но в это самое мгновенье толстая немка, видя бегство двух посетителей, взвизгнула и позвонила что было силы в свой колокольчик. Герой наш почти на лету обернулся назад, бросил ей деньги за себя и за незаплатившего бесстыдного человека, не требуя сдачи, и, несмотря на то что промешкал, все-таки успел, хотя и опять на лету только, подхватить своего неприятеля. Уцепившись за крыло дрожек всеми данными ему природою средствами, герой наш несся некоторое время по улице, карабкаясь на экипаж, отстаиваемый из всех сил господином Голядкиным-младшим. Извозчик между тем и кнутом, и вожжой, и ногой, и словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась вскачь, закусив удила и лягаясь, по скверной привычке своей, задними ногами на каждом третьем шагу. Наконец наш герой успел-таки взмоститься на дрожки, лицом к своему неприятелю, спиной упираясь в извозчика, коленками в коленки бесстыдного, а правой рукой своей всеми средствами вцепившись в весьма скверный меховой воротник шинели развратного и ожесточеннейшего своего неприятеля...

Враги неслись и некоторое время молчали. Герой наш едва переводил дух; дорога была прескверная, и он подскакивал на каждом шагу с опасностию сломить себе шею. Сверх того, ожесточенный неприятель его всё еще не соглашался признать себя побежденным и старался спихнуть в грязь своего противника. К довершению всех неприятностей погода была ужаснейшая. Снег валил хлопьями и всячески старался, с своей стороны, каким-нибудь образом залезть под распахнувшуюся шинель настоящего господина Голядкина. Кругом было мутно и не видно ни зги. Трудно было отличить, куда и по каким улицам несутся они... Господину Голядкину показалось, что сбывается с ним что-то знакомое. Одно мгновение он старался припомнить, не предчувствовал ли он чего-нибудь вчера... во сне например... Наконец тоска его доросла до последней степени своей агонии. Налегши на беспощадного противника своего, он начал было кричать. Но крик его замирал у него на губах... Была минута, когда господин Голядкин всё позабыл и решил, что всё это совсем ничего, и что это так только, как-нибудь, необъяснимым образом делается, и протестовать по этому случаю было бы лишним и совершенно потерянным делом... Но вдруг, и почти в то самое мгновение,

как герой наш заключал это всё, какой-то неосторожный толчок переменил весь смысл дела. Господин Голядкин, как куль муки, свалился с дрожек и покатился куда-то, совершенно справедливо сознаваясь в минуту падения, что действительно и весьма некстати погорячился. Вскочив наконец, он увидел, что куда-то приехали; дрожки стояли среди чьего-то двора, и герой наш с первого взгляда заметил, что это двор того самого дома, в котором квартирует Олсуфий Иванович. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его пробирается уже на крыльцо и, вероятно, к Олсуфью Ивановичу. В неописанной тоске своей бросился было он догонять своего неприятеля, но, к счастию своему, благоразумно одумался вовремя. Не забыв расплатиться с извозчиком, бросился господин Голядкин на улицу и побежал что есть мочи куда глаза глядят. Снег валил по-прежнему хлопьями, по-прежнему было мутно, мокро и темно. Герой наш не шел, а летел, опрокидывая всех на дороге, — мужиков, и баб, и детей, и сам в свою очередь отскакивая от баб, мужиков и детей. Кругом и вслед ему слышался пугливый говор, визг, крик... Но господин Голядкин, казалось, был без памяти и внимания ни на что не хотел обратить... Опомнился он, впрочем, уже у Семеновского моста, да и то по тому только случаю, что успел как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб с их каким-то походным товаром, а вместе с тем и сам повалиться. «Это ничего, — подумал господин Голядкин, — всё это еще весьма может устроиться к лучшему», — и тут же полез в свой карман, желая отделаться рублем серебра за просыпанные пряники, яблоки, горох и разные разности. Вдруг новым светом озарило господина Голядкина; в кармане ощупал он письмо, переданное ему поутру писарем. Вспомнив, между прочим, что есть у него недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, не медля ни минуты пристроился к столику, освещенному сальною свечкою, и, не обращая ни на что внимания, не слушая полового, явившегося за приказаниями, сломал печать и начал читать нижеследующее, окончательно его поразившее:

«Благородный, за меня страдающий и навеки милый
сердцу моему человек!

Я страдаю, я погибаю, — спаси меня! Клеветник, интригант и известный бесполезностью своего направления человек опутал меня сетями своими, и я погибла! Я пала! Но он мне противен, а ты!.. Нас разлучали, мои письма к тебе перехватывали — и всё это сделал безнравственный, воспользовавшись одним своим лучшим качеством, — сходством с тобою. Во всяком же случае можно быть дурным собою, но пленять умом, сильным чувством

и приятными манерами... Я погибаю! Меня отдают насильно, и всего более интригует здесь родитель, благодетель мой и статский советник Олсуфий Иванович, вероятно желая занять мое место и мои отношения в обществе высокого тона... Но я решилась и протестую всеми данными мне природою средствами. Жди меня с каретой своей сегодня, ровно в девять часов, у окон квартиры Олсуфия Ивановича. У нас опять бал и будет красивый поручик. Я выйду, и мы полетим. К тому же есть и другие служебные места, где еще можно приносить пользу отечеству. Во всяком случае вспомни, мой друг, что невинность сильна уже своею невинностью. Прощай. Жди с каретой у подъезда. Брошусь под защиту объятий твоих ровно в два часа пополуночи.

Твоя до гроба

*Клара Олсуфьевна*».

Прочтя письмо, герой наш остался на несколько минут как бы пораженный. В страшной тоске, в страшном волнении, бледный как платок, с письмом в руках, прошелся он несколько раз по комнате; к довершению бедствия своего положения, герой наш не заметил, что был в настоящую минуту предметом исключительного внимания всех находившихся в комнате. Вероятно, беспорядок костюма его, несдерживаемое волнение, ходьба или, лучше сказать, беготня, жестикуляция обеими руками, может быть, несколько загадочных слов, сказанных на ветер и в забывчивости, — вероятно, всё это весьма плохо зарекомендовало господина Голядкина в мнении всех посетителей; и даже сам половой начинал поглядывать на него подозрительно. Очнувшись, герой наш заметил, что стоит посреди комнаты и почти неприличным, невежливым образом смотрит на одного весьма почтенной наружности старичка, который, пообедав и помолясь перед образом Богу, уселся опять и, с своей стороны, тоже не сводил глаз с господина Голядкина. Смутно оглянулся кругом наш герой и заметил, что все, решительно все смотрят на него с видом самым зловещим и подозрительным. Вдруг один отставной военный, с красным воротником, громко потребовал «Полицейские ведомости». Господин Голядкин вздрогнул и покраснел: как-то нечаянно опустил он глаза в землю и увидел, что был в таком неприличном костюме, в котором и у себя дома ему быть нельзя, не только в общественном месте. Сапоги, панталоны и весь левый бок его были совершенно в грязи, штрипка на правой ноге оторвана, а фрак даже разорван во многих местах. В неистощимой тоске своей подошел наш герой к столу, за которым читал, и увидел, что к нему подходит

трактирный служитель с каким-то странным и дерзко-настоятельным выражением в лице. Потерявшись и опав совершенно, герой наш начал рассматривать стол, за которым стоял теперь. На столе стояли неубранные тарелки после чьего-то обеда, лежала замаранная салфетка и валялись только что бывшие в употреблении нож, вилка и ложка. «Кто ж это обедал? — подумал герой наш. — Неужели я? А всё может быть! Пообедал, да так и не заметил себе; как же мне быть?» Подняв глаза, господин Голядкин увидел опять подле себя полового, который собирался ему что-то сказать.

— Сколько с меня, братец? — спросил наш герой трепещущим голосом.

Громкий смех раздался кругом господина Голядкина; сам половой усмехнулся. Господин Голядкин понял, что и на этом срезался и сделал какую-то страшную глупость. Поняв всё это, он до того сконфузился, что принужден был полезть в карман за платком своим, вероятно чтобы что-нибудь сделать и так не стоять; но, к неописанному своему и всех окружавших его изумлению, вынул вместо платка стклянку с каким-то лекарством, дня четыре тому назад прописанным Крестьяном Ивановичем. «Медикаменты в той же аптеке», — пронеслось в голове господина Голядкина... Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проливался... Темная, красновато-отвратительная жидкость зловещим отсветом блеснула в глаза господину Голядкину... Пузырек выпал у него из рук и тут же разбился. Герой наш вскрикнул и отскочил шага на два назад от пролившейся жидкости... он дрожал всеми членами, и пот пробивался у него на висках и на лбу. «Стало быть, жизнь в опасности!» Между тем в комнате произошло движение, смятение; все окружали господина Голядкина, все говорили господину Голядкину, некоторые даже хватали господина Голядкина. Но герой наш был нем и недвижим, не видя ничего, не слыша ничего, не чувствуя ничего... Наконец, как будто с места сорвавшись, бросился он вон из трактира, растолкал всех и каждого из стремившихся удержать его, почти без чувств упал на первые попавшиеся ему извозчичьи дрожки и полетел на квартиру.

В сенях квартиры своей встретил он Михеева, сторожа департаментского, с казенным пакетом в руках. «Знаю, друг мой, всё знаю, — отвечал слабым, тоскливым голосом изнуренный герой наш, — это официальное...» В пакете действительно было предписание господину Голядкину, за подписью Андрея Филипповича, сдать находившиеся у него на руках дела Ивану Семеновичу. Взяв пакет и дав сторожу гривенник, господин Голядкин пришел в квартиру свою и увидел, что Петрушка готовит и соби-

рает в одну кучу весь свой дрязг и хлам, все свои вещи, очевидно намереваясь оставить господина Голядкина и переехать от него к переманившей его Каролине Ивановне, чтоб заменить ей Евстафия.

## *Глава XII*

Петрушка вошел, покачиваясь, держась как-то странно-небрежно и с какой-то холопски-торжественной миной в лице. Видно было, что он что-то задумал, чувствовал себя вполне в своем праве и смотрел совершенно посторонним человеком, то есть чьим-то другим служителем, но только никак не прежним служителем господина Голядкина.

— Ну, вот видишь, мой милый, — начал, задыхаясь, герой наш, — который теперь час, милый мой?

Петрушка молча отправился за перегородку, потом воротился и довольно независимым тоном объявил, что уж скоро половина восьмого.

— Ну, хорошо, мой милый, хорошо. Ну, видишь, мой милый... позволь тебе сказать, милый мой, что между нами, кажется, теперь кончено всё.

Петрушка молчал.

— Ну, теперь, как уж всё между нами кончилось, скажи ты мне теперь откровенно, как другу скажи, где ты был, братец?

— Где был? Между добрых людей-с.

— Знаю, мой друг, знаю. Я тобою был постоянно доволен, мой милый, и аттестат тебе дам... Ну, что же ты у них теперь?

— Что же, сударь! сами изволите знать-с. Известно-с, добрый человек худому тебя не научит.

— Знаю, мой милый, знаю. Нынче добрые люди редки, мой друг; цени их, мой друг. Ну, как же они?

— Известно-с, как-с... Только я у вас, сударь, больше служить теперь не могу-с; сами изволите знать-с.

— Знаю, милый мой, знаю; твою ревность и усердие знаю; я видел всё это, друг мой, я замечал. Я, мой друг, тебя уважаю. Я доброго и честного человека, будь он и лакей, уважаю.

— Что ж, известно-с! Наш брат, конечно, сами изволите знать-с, где лучше. Уж так оно-с. Что мне! Известно, сударь, что уж без доброго человека нельзя-с.

— Ну, хорошо, братец, хорошо; я это чувствую... Ну, вот твои деньги и вот твой аттестат. Теперь поцелуемся, братец, простимся с тобою...

—Ну, теперь, милый мой, я у тебя попрошу одной услуги, последней услуги, — сказал господин Голядкин торжественным

тоном. — Видишь ли, милый мой, всякое бывает. Горе, друг мой, кроется и в позлащенных палатах, и от него никуда не уйдешь. Ты знаешь, мой друг, я, кажется, с тобою всегда ласков был...

Петрушка молчал.

— Я, кажется, с тобой всегда ласков был, милый мой... Ну, сколько у нас теперь белья, милый мой?

— Да всё налицо-с. Рубашек холстинковых шесть-с; карпеток три пары; четыре манишки-с; фуфайка фланелевая; из нижнего платья две штуки-с. Сами знаете, всё-с. Я, сударь, вашего ничего-с... Я, сударь, барское добро берегу-с. Я вами, сударь, того-с... известно-с... а греха какого за мной — никогда, сударь; уж это сами знаете, сударь...

— Верю, друг мой, верю. Я не про то, мой друг, не про то; видишь ли, вот что, мой друг...

— Известно, сударь-с; уж это мы знаем-с. Я вот когда еще у генерала Столбнякова служил-с, так отпускали меня, уезжали сами в Саратов... вотчина там у них...

— Нет, мой друг, не про то; я ничего... ты не думай чего, милый друг мой...

— Известно-с. Что уж нашего брата-с, сами изволите знать-с, долго ли поклепать человека-с. А мною были довольны везде-с. Были министры, генералы, сенаторы, графы-с. Бывал у всех-с, у князя Свинчаткина-с, у Переборкина, полковника-с, у Недобарова, генерала, тоже ходили-с, в вотчину ездили к нашим-с. Известно-с...

— Да, мой друг, да; хорошо, мой друг, хорошо. Вот и я теперь, мой друг, уезжаю... Путь всякому разный лежит, милый мой, и неизвестно, на какую дорогу каждый человек попасть может. Ну, мой друг, дай же ты мне одеться теперь; да, ты вицмундир мой тоже положишь... брюки другие, простыни, одеяла, подушки...

— В узел прикажете всё завязать-с?

— Да, мой друг, да; пожалуй, и в узел... Кто знает, что может с нами случиться. Ну, теперь, милый мой, сходишь и приищешь карету...

— Карету-с?..

— Да, мой друг, карету, просторнее и на известное время. А ты, мой друг, не думай чего-нибудь...

— А далеко уезжать хотите-с?

— Не знаю, мой друг, этого тоже не знаю. Перину тоже, я думаю, туда же положить нужно будет. Как ты сам думаешь, друг мой? я на тебя полагаюсь, мой милый...

— Нешто сейчас изволите уезжать-с?

— Да, мой друг, да! Обстоятельство вышло такое... вот оно как, милый мой, вот оно как...

— Известно, сударь; вот у нас в полку с поручиком то же самое было-с; там у помещика-с... увезли-с...

— Увез?.. Как! милый мой, ты...

— Да-с, увезли-с и в другой усадьбе венчались. Всё было заране готово-с. Погоня была-с; князь тут только-с вступились, покойник-с, — ну, и уладили дело-с...

— Венчались, да... ты как же, мой милый? ты-то каким же образом, милый мой, знаешь?

— Да уж известно-с, что-с! Слухом земля, сударь, полнится. Знаем, сударь, мы всё-с... конечно, с кем же греха не бывало. Только я вам скажу теперь, сударь, позвольте мне попросту, сударь, по-холопски сказать; уж коль теперь на то пошло, так уж я вам скажу, сударь: есть у вас враг, — суперника вы, сударь, имеете, сильный суперник, вот-с...

— Знаю, мой друг, знаю; сам ты, милый мой, знаешь... Ну, так вот я на тебя полагаюсь. Как же нам теперь делать, мой друг? как ты мне посоветуешь?

— А вот, сударь, если вы так теперь, таким, примерно сказать, манером пошли, сударь, так вот вам понадобится там что покупать-с, — ну, там простыни, подушки, перину-другую-с, двуспальную-с, одеяло хорошее-с, — так вот здесь у соседки-с, внизу-с: мещанка, сударь, она; лисий салоп есть хороший; так можно его посмотреть и купить, можно сейчас сходить посмотреть-с. Оно же вам надобно, сударь, теперь-с; хороший салоп-с, атласом крытый-с, на лисьем меху-с...

— Ну, хорошо, мой друг, хорошо; я согласен, мой друг, я на тебя полагаюсь, вполне полагаюсь; пожалуй, хоть и салоп, милый мой... Только поскорей, поскорей! ради Бога, поскорей! Я и салоп куплю, только, пожалуйста, поскорей! Скоро восемь часов, скорей, ради Бога, мой друг! поторопись, поскорее, мой друг!..

Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяла, простынь и всякого дрязгу, что стал было вместе сбирать и увязывать, и стремглав бросился вон из комнаты. Господин Голядкин между тем схватился еще раз за письмо — но читать его он не мог. Схватив в обе руки свою победную голову, он в изумлении прислонился к стене. Думать ни о чем он не мог, делать что-нибудь тоже не мог; он и сам не знал, что с ним делается. Наконец, видя, что время проходит, а ни Петрушки, ни салопа еще не являлось, господин Голядкин решился пойти сам. Растворив дверь в сени, он услышал внизу шум, говор, спор и толки... Несколько соседок болтали, кричали, судили, рядили о чем-то, — уж это господин Голядкин знал, о чем именно. Слы-

шался голос Петрушки; потом послышались чьи-то шаги. «Боже ты мой! Они сюда весь свет созовут!» — простонал господин Голядкин, ломая руки в отчаянии и бросаясь назад в свою комнату. Прибежав в свою комнату, он упал, почти не помня себя, на диван, лицом в подушку. С минутку полежав таким образом, он вскочил и, не дожидаясь Петрушки, надел свои калоши, шляпу, шинель, захватил свой бумажник и побежал стремглав с лестницы. «Ничего не нужно, ничего, милый мой! я сам, я всё сам. Тебя покамест не нужно, а между тем дело, может быть, и уладится к лучшему», — пробормотал господин Голядкин Петрушке, встретив его на лестнице; потом выбежал на двор и вон из дому; сердце его замирало; он еще не решался... Как ему быть, что ему делать, как ему в настоящем и критическом случае поступить...

— Ведь вот: как поступить, Господи Бог мой? И нужно же было быть всему этому! — вскричал он наконец в отчаянии, куда глаза глядят, наудачу ковыляя по улице, — нужно же было быть всему этому! Ведь вот не будь этого, вот именно этого, так всё бы уладилось; разом, одним ударом, одним ловким, энергическим, твердым ударом уладилось бы. Палец даю на отсечение, что уладилось бы! И даже знаю, каким именно образом уладилось бы. Оно бы вот как всё сделалось: я бы тут и того — дескать, так и так, а мне, сударь мой, с позволения сказать, ни туда ни сюда; дескать, дела так не делаются; дескать, сударь вы мой, милостивый мой государь, дела так не делаются и самозванством у нас не возьмешь; самозванец, сударь вы мой, человек того — бесполезный и пользы отечеству не приносящий. Понимаете ли вы это? Дескать, понимаете ли вы это, милостивый мой государь?! Вот бы как оно и того... Да нет, впрочем, что же... оно вовсе ведь не того, совсем не того... Я-то что вру, дурак дураком! я-то, самоубийца я этакой! Оно, дескать, самоубийца ты этакой, совсем не того... Вот, однако, развращенный ты человек, вот оно как теперь делается!.. Ну, куда я денусь теперь? ну, что я, например, буду делать теперь над собой? ну, куда я гожусь теперь? ну, куда ты, примером сказать, годишься теперь, Голядкин ты этакой, недостойный ты этакой! Ну, что теперь? карету брать нужно; возьми, дескать, да подай ей карету сюда; дескать, ножки замочим, если кареты не будет... И вот, кто бы подумать мог? Ай да барышня, ай сударыня вы моя! ай да благонравного поведения девица! ай да хваленая наша. Отличились, сударыня, нечего сказать, отличились!.. А это всё происходит от безнравственности воспитания; а я, как теперь порассмотрел да пораскусил это всё, так и вижу, что это не от иного чего происходит, как от безнравственности. Чем бы смолоду ее того... да и розгой под-

час, а они ее конфектами, а они ее сластями разными пичкают, и сам старикашка нюнит над ней: дескать, ты такая моя да сякая моя, ты хорошая, дескать, за графа отдам тебя!.. А вот она и вышла у них и показала нам теперь свои карты; дескать, вот у нас игра какова! чем бы дома держать ее смолоду, а они ее в пансион, к мадам француженке, к эмигрантке Фальбала там какой-нибудь; а она там добру всякому учится у эмигрантки-то Фальбала, — вот оно и выходит таким-то всё образом. Дескать, подите, порадуйтесь! Дескать, будьте в карете вот в таком-то часу перед окнами и романс чувствительный по-испански пропойте; жду вас, и знаю, что любите, и убежим с вами вместе, и будем жить в хижине. Да, наконец, оно и нельзя; оно, сударыня вы моя, — если на то уж пошло, — так оно и нельзя, так оно и законами запрещено честную и невинную девицу из родительского дома увозить без согласия родителей! Да, наконец, и зачем, почему и какая тут надобность? Ну, вышла бы там себе за кого следует, за кого судьбой предназначено, так и дело с концом. А я человек служащий; а я место мое могу потерять из-за этого; я, сударыня вы моя, под суд могу попасть из-за этого! вот оно что! коль не знали. Это немка работает. Это от нее, ведьмы, всё происходит, все сыры-боры от нее загораются. Потому что оклеветали человека, потому что выдумали на него сплетню бабью, небылицу в лицах, по совету Андрея Филипповича, оттого и происходит. Иначе почему же Петрушке тут вмешиваться? ему-то тут что? шельмецу-то какая тут надобность? Нет, я не могу, сударыня, никак не могу, ни за что не могу... А вы меня, сударыня, на этот раз уж как-нибудь там извините. Это от вас, сударыня, всё происходит, это не от немки всё происходит, вовсе не от ведьмы, а чисто от вас, потому что ведьма добрая женщина, потому что ведьма не виновата ни в чем, а вы, сударыня вы моя, виноваты, — вот оно как! Вы, сударыня, вы меня в напраслину вводите... Тут человек пропадает, тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдержать, — какая тут свадьба! И как это кончится всё? и как это теперь устроится? Дорого бы я дал, чтоб узнать это всё!..

Так рассуждал в отчаянии своем наш герой. Очнувшись вдруг, заметил он, что где-то стоит на Литейной. Погода была ужасная: была оттепель, валил снег, шел дождь, — ну точь-в-точь как в то незабвенное время, когда, в страшный полночный час, начались все несчастия господина Голядкина. «Какой тут вояж! — думал господин Голядкин, смотря на погоду, — тут всеобщая смерть... Господи Бог мой! ну где мне, например, здесь карету сыскать? Вон там на углу, кажется, что-то чернеется. Посмотрим, исследуем... Господи Бог мой! — про-

должал наш герой, направив слабые и шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то похожее на карету. — Нет, я вот как сделаю: отправлюсь, паду к ногам, если можно, униженно буду испрашивать. Дескать, так и так; в ваши руки судьбу свою предаю, в руки начальства; дескать, ваше превосходительство, защитите и облагодетельствуйте человека; так и так, дескать, вот то-то и то-то, противозаконный поступок; не погубите, принимаю вас за отца, не оставьте... амбицию, честь, имя и фамилию спасите... и от злодея, развращенного человека, спасите... Он другой человек, ваше превосходительство, а я тоже другой человек; он особо, и я тоже сам по себе; право, сам по себе, ваше превосходительство, право, сам по себе; дескать, вот оно как. Дескать, походить на него не могу; перемените, благоволите, велите переменить — и безбожный, самовольный подмен уничтожить... не в пример другим, ваше превосходительство. Принимаю вас за отца; начальство, конечно, благодетельное и попечительное начальство подобные движения должно поощрять... Тут есть даже несколько рыцарского. Дескать, принимаю вас, благодетельное начальство, за отца и вверяю судьбу свою и прекословить не буду, вверяюсь и сам отстраняюсь от дел... дескать, вот оно как!»

— Ну, что, мой милый, извозчик?

— Извозчик...

— Карету, брат, на вечер...

— А далеко ли ехать изволите-с?

— На вечер, на вечер; куда б ни пришлось, милый мой, куда б ни пришлось.

— Нешто за город ехать изволите?

— Да, мой друг, может, и за город. Я еще сам наверно не знаю, мой друг, не могу тебе наверно сказать, милый мой. Оно, видишь ли, милый мой, может быть, всё и уладится к лучшему. Известно, мой друг...

— Да, уж известно, сударь, конечно; дай Бог всякому.

— Да, мой друг, да; благодарю тебя, милый мой; ну, что же ты возьмешь, милый мой?..

— Сейчас изволите ехать-с?

— Да, сейчас, то есть нет, подождешь в одном месте... так, немножко, недолго подождешь, милый мой...

— Да если уж на всё время берете-с, так уж меньше шести целковых, по погоде, нельзя-с...

— Ну, хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый мой. Ну, так вот ты меня и повезешь теперь, милый мой.

— Садитесь; позвольте, вот я здесь оправлю маленько; извольте садиться теперь. Куда ехать прикажете?

— К Измайловскому мосту, мой друг.

Извозчик-кучер взгромоздился на козла и тронул было пару тощих кляч, которых насилу оторвал от корыта с сеном, к Измайловскому мосту. Но вдруг господин Голядкин дернул снурок, остановил карету и попросил умоляющим голосом поворотить назад, не к Измайловскому мосту, а в одну другую улицу. Кучер поворотил в другую улицу, и чрез десять минут новоприобретенный экипаж господина Голядкина остановился перед домом, в котором квартировал его превосходительство. Господин Голядкин вышел из кареты, попросил своего кучера убедительно подождать и сам взбежал с замирающим сердцем вверх, во второй этаж, дернул за снурок, дверь отворилась, и наш герой очутился в передней его превосходительства.

— Его превосходительство дома изволят быть? — спросил господин Голядкин, адресуясь таким образом к отворившему ему человеку.

— А вам чего-с? — спросил лакей, оглядывая с ног до головы господина Голядкина.

— А я, мой друг, того... Голядкин, чиновник, титулярный советник Голядкин. Дескать, так и так, объясниться...

— Обождите; нельзя-с...

— Друг мой, я не могу обождать: мое дело важное, не терпящее отлагательства дело...

— Да вы от кого? Вы с бумагами?..

— Нет, я, мой друг, сам по себе... Доложи, мой друг, дескать, так и так, объясниться. А я тебя поблагодарю, милый мой...

— Нельзя-с. Не велено принимать; у них гости-с. Пожалуйте утром в десять часов-с...

— Доложите же, милый мой; мне нельзя, невозможно мне ждать... Вы, милый мой, за это ответите...

— Да ступай, доложи; что тебе: сапогов жаль, что ли? — проговорил другой лакей, развалившийся на залавке и до сих пор не сказавший ни слова.

— Сапогов топтать! Не велел принимать, знаешь? Ихняя череда по утрам.

— Доложи. Язык, что ли, отвалится?

— Да я-то доложу: язык не отвалится. Не велел: сказано — не велел. Войдите в комнату-то.

Господин Голядкин вошел в первую комнату; на столе стояли часы. Он взглянул: половина девятого. Сердце у него заныло в груди. Он было уже хотел воротиться; но в эту самую минуту долговязый лакей, став на пороге следующей комнаты, громко провозгласил фамилью господина Голядкина. «Эко ведь гор-

ло! — подумал в неописанной тоске наш герой... — Ну, сказал бы ты: того... дескать, так и так, покорнейше и смиренно пришел объясниться, — того... благоволите принять... А теперь вот и дело испорчено, вот и всё мое дело на ветер пошло; впрочем... да, ну — ничего...» Рассуждать, впрочем, нечего было. Лакей воротился, сказал «пожалуйте» и ввел господина Голядкина в кабинет.

Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, ибо решительно ничего не видал. Мелькнули, впрочем, две-три фигуры в глазах: «Ну, да это гости», — мелькнуло у господина Голядкина в голове. Наконец наш герой стал ясно отличать звезду на черном фраке его превосходительства, потом, сохраняя постепенность, перешел и к черному фраку, наконец получил способность полного созерцания...

— Что-с? — проговорил знакомый голос над господином Голядкиным.

— Титулярный советник Голядкин, ваше превосходительство.

— Ну?

— Пришел объясниться...

— Как?.. Что?..

— Да уж так. Дескать, так и так, пришел объясниться, ваше превосходительство-с...

— Да вы... да кто вы такой?..

— Го-го-господин Голядкин, ваше превосходительство, титулярный советник.

— Ну, так чего же вам нужно?

— Дескать, так и так, принимаю его за отца; сам отстраняюсь от дел, и от врага защитите, — вот как!

— Что такое?..

— Известно...

— Что известно?

Господин Голядкин молчал; подбородок его начинало понемногу подергивать...

— Ну?

— Я думал, рыцарское, ваше превосходительство... Что здесь, дескать, рыцарское, и начальника за отца принимаю... дескать, так и так, защитите, сле... слезно м...молю, и что такие дви...движения долж...но по...по...поощрять...

Его превосходительство отвернулся. Герой наш несколько мгновений не мог ничего разглядеть своими глазами. Грудь его теснило. Дух занимался. Он не знал, где стоял... Было как-то стыдно и грустно ему. Бог знает, что было после... Очнувшись, герой наш заметил, что его превосходительство говорит с своими гостями и как будто резко и сильно рассуждает с ними о чем-то.

Одного из гостей господин Голядкин тотчас узнал. Это был Андрей Филиппович; другого же нет; впрочем, лицо было как будто тоже знакомое, — высокая, плотная фигура, лет пожилых, одаренная весьма густыми бровями и бакенбардами и выразительным, резким взглядом. На шее незнакомца был орден, а во рту сигарка. Незнакомец курил и, не вынимая сигары изо рта, значительно кивал головою, взглядывая по временам на господина Голядкина. Господину Голядкину стало как-то неловко; он отвел свои глаза в сторону и тут же увидел еще одного весьма странного гостя. В дверях, которые герой наш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случилось с ним, появился *он*, — известно кто, весьма короткий знакомый и друг господина Голядкина. Господин Голядкин-младший действительно находился до сих пор в другой маленькой комнатке и что-то спешно писал; теперь, видно, понадобилось — и он явился, с бумагами под мышкой, подошел к его превосходительству и весьма ловко, в ожидании исключительного к своей особе внимания, успел втереться в разговор и совет, заняв свое место немного по-за спиной Андрея Филипповича и отчасти маскируясь незнакомцем, курящим сигарку. По-видимому, господин Голядкин-младший принимал крайнее участие в разговоре, который подслушивал теперь благородным образом, кивал головою, семенил ножками, улыбался, поминутно взглядывал на его превосходительство, как будто бы умолял взором, чтоб и ему тоже позволили ввернуть свои полсловечка. «Подлец!» — подумал господин Голядкин и невольно ступил шаг вперед. В это время генерал оборотился и сам довольно нерешительно подошел к господину Голядкину.

— Ну, хорошо, хорошо; ступайте с Богом. Я порассмотрю ваше дело, а вас велю проводить... — Тут генерал взглянул на незнакомца с густыми бакенбардами. Тот, в знак согласия, кивнул головою.

Господин Голядкин чувствовал и понимал ясно, что его принимают за что-то другое, а вовсе не так, как бы следовало. «Так или этак, а объясниться ведь нужно, — подумал он, — так и так, дескать, ваше превосходительство». Тут в недоумении своем опустил он глаза в землю и, к крайнему своему изумлению, увидел на сапогах его превосходительства значительное белое пятно. «Неужели лопнули?» — подумал господин Голядкин. Вскоре, однако ж, господин Голядкин открыл, что сапоги его превосходительства вовсе не лопнули, а только сильно отсвечивали, — феномен, совершенно объяснившийся тем, что сапоги были лакированные и сильно блестели. «Это называется *блик*, — подумал герой наш, — особенно же сохраняется это название в мастерских художников; в других же местах этот отсвет называется

*светлым ребром*». Тут господин Голядкин поднял глаза и увидел, что пора говорить, потому что дело весьма могло повернуться к худому концу... Герой наш ступил шаг вперед.

— Дескать, так и так, ваше превосходительство, — сказал он, — а самозванством в наш век не возьмешь.

Генерал ничего не отвечал, а сильно позвонил за снурок колокольчика. Герой наш еще ступил шаг вперед.

— Он подлый и развращенный человек, ваше превосходительство, — сказал наш герой, не помня себя, замирая от страха и при всем том смело и решительно указывая на недостойного близнеца своего, семенившего в это мгновение около его превосходительства, — так и так, дескать, а я на известное лицо намекаю.

Последовало всеобщее движение за словами господина Голядкина. Андрей Филиппович и незнакомая фигура закивали своими головами; его превосходительство дергал в нетерпении из всех сил за снурок колокольчика, дозываясь людей. Тут господин Голядкин-младший выступил вперед в свою очередь.

— Ваше превосходительство, — сказал он, — униженно прошу позволения вашего говорить. — В голосе господина Голядкина-младшего было что-то крайне решительное; всё в нем показывало, что он чувствует себя совершенно в праве своем.

— Позвольте спросить вас, — начал он снова, предупреждая усердием своим ответ его превосходительства и обращаясь в этот раз к господину Голядкину, — позвольте спросить вас, в чьем присутствии вы так объясняетесь? перед кем вы стоите, в чьем кабинете находитесь?.. — Господин Голядкин-младший был весь в необыкновенном волнении, весь красный и пылающий от негодования и гнева; даже слезы в его глазах показались.

— Господа Бассаврюковы! — проревел во всё горло лакей, появившись в дверях кабинета. «Хорошая дворянская фамилья, выходцы из Малороссии», — подумал господин Голядкин и тут же почувствовал, что кто-то весьма дружеским образом налег ему одною рукою на спину; потом и другая рука налегла ему на спину; подлый близнец господина Голядкина юлил впереди, показывая дорогу, и герой наш ясно увидел, что его, кажется, направляют к большим дверям кабинета. «Точь-в-точь как у Олсуфия Ивановича», — подумал он и очутился в передней. Оглянувшись, он увидел подле себя двух лакеев его превосходительства и одного близнеца.

— Шинель, шинель, шинель, шинель друга моего! шинель моего лучшего друга! — защебетал развратный человек, вырывая из рук одного человека шинель и набрасывая ее, для подлой и неблагоприятной насмешки, прямо на голову господину Голядкину.

Выбиваясь из-под шинели своей, господин Голядкин-старший ясно услышал смех двух лакеев. Но, не слушая ничего и не внимая ничему постороннему, он уж выходил из передней и очутился на освещенной лестнице. Господин Голядкин-младший — за ним.

— Прощайте, ваше превосходительство! — закричал он вслед господину Голядкину-старшему.

— Подлец! — проговорил вне себя наш герой.

— Ну, и подлец...

— Развратный человек!

— Ну, и развратный человек... — отвечал таким образом достойному господину Голядкину недостойный неприятель его и, по свойственной ему подлости, глядел с высоты лестницы, прямо и не смигнув глазом, в глаза господину Голядкину, как будто прося его продолжать. Герой наш плюнул от негодования и выбежал на крыльцо; он был так убит, что совершенно не помнил, кто и как посадил его в карету. Очнувшись, увидел он, что его везут по Фонтанке. «Стало быть, к Измайловскому мосту? — подумал господин Голядкин... Тут господину Голядкину захотелось еще о чем-то подумать, но нельзя было; а было что-то такое ужасное, чего и объяснить невозможно... — Ну, ничего!» — заключил наш герой и поехал к Измайловскому мосту.

## *Глава XIII*

...Казалось, что погода хотела перемениться к лучшему. Действительно, мокрый снег, валивший доселе целыми тучами, начал мало-помалу редеть, редеть и наконец почти совсем перестал. Стало видно небо, и на нем там и сям заискрились звездочки. Было только мокро, грязно, сыро и удушливо, особенно для господина Голядкина, который и без того уже едва дух переводил. Вымокшая и отяжелевшая шинель его пронимала все его члены какою-то неприятно теплою сыростью и тяжестью своею подламывала и без того уже сильно ослабевшие ноги его. Какая-то лихорадочная дрожь гуляла острыми и едкими мурашками по всему его телу; изнеможение точило из него холодный болезненный пот, так что господин Голядкин позабыл уже при сем удобном случае повторить с свойственною ему твердостью и решимостью свою любимую фразу, что оно и всё-то авось, может быть, как-нибудь, наверное непременно, возьмет да и уладится к лучшему. «Впрочем, это всё еще ничего покамест», — прибавил крепкий и не унывающий духом герой наш, отирая с лица своего капли холодной воды, струившейся по всем направлениям с полей круглой и до того взмокшей шляпы его, что уже вода не дер-

жалась на ней. Прибавив, что это всё еще ничего, герой наш попробовал было присесть на довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся возле кучи дров на дворе Олсуфья Ивановича. Конечно, об испанских серенадах и о шелковых лестницах нечего уже было думать; но об укромном уголке, хотя и не совсем теплом, но зато уютном и скрытном, нужно же было подумать. Сильно соблазнял его, мимоходом сказать, тот самый уголок в сенях квартиры Олсуфья Ивановича, где прежде еще, почти в начале сей правдивой истории, выстоял свои два часа наш герой, между шкафом и старыми ширмами, между всяким домашним и ненужным дрязгом, хламом и рухлядью. Дело в том, что и теперь господин Голядкин стоял и выжидал уже целые два часа на дворе Олсуфья Ивановича. Но относительно укромного и уютного прежнего уголка существовали теперь некоторые неудобства, прежде не существовавшие. Первое неудобство — то, что, вероятно, это место теперь замечено и приняты насчет его некоторые предохранительные меры со времени истории на последнем бале у Олсуфья Ивановича; а во-вторых, должно же было ждать условного знака от Клары Олсуфьевны, потому что непременно должен же был существовать какой-нибудь этакой знак условный. Так всегда делалось, и, «дескать, не нами началось, не нами и кончится». Господин Голядкин тут же кстати мимоходом припомнил какой-то роман, уже давно им прочитанный, где героиня подала условный знак Альфреду совершенно в подобном же обстоятельстве, привязав к окну розовую ленточку. Но розовая ленточка теперь, ночью, и при санкт-петербургском климате, известном своею сыростью и ненадежностию, в дело идти не могла и, одним словом, была совсем невозможна. «Нет, тут не до шелковых лестниц, — подумал герой наш, — а я лучше здесь так себе, укромно и втихомолочку... я лучше вот, например, здесь стану», — и выбрал местечко на дворе, против самых окон, около кучи складенных дров. Конечно, на дворе ходило много посторонних людей, форейторов, кучеров; к тому же стучали колеса и фыркали лошади и т. д.; но все-таки место было удобное: заметят ли, не заметят ли, а теперь по крайней мере выгода та, что дело происходит некоторым образом в тени и господина Голядкина не видит никто; сам же он мог видеть решительно всё. Окна были сильно освещены; был какой-то торжественный съезд у Олсуфья Ивановича. Музыки, впрочем, еще не было слышно. «Стало быть, это не бал, а так, по какому-нибудь другому случаю съехались, — думал, отчасти замирая, герой наш. — Да сегодня ли, впрочем? — пронеслось в его голове. — Не ошибка ли в числе? Может быть, всё может быть... Оно вот это как может быть всё... Оно еще, может быть,

вчера было письмо-то написано, а ко мне не дошло, и потому не дошло, что Петрушка сюда замешался, шельмец он такой! Или завтра написано, то есть, что́ я... что завтра нужно было всё сделать, то есть с каретой-то ждать...» Тут герой наш похолодел окончательно и полез в свой карман за письмом, чтоб справиться. Но письма, к удивлению его, не оказалось в кармане. «Как же это? — прошептал полумертвый господин Голядкин, — где же это я оставил его? Стало быть, я его потерял? — этого еще недоставало! — простонал он наконец в заключение. — Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет? (Да, может, попало уже!) Господи! что из этого воспоследует! Будет такое, что уж... Ах ты, судьба ты моя ненавистная!» Тут господин Голядкин как лист задрожал при мысли, что, может быть, неблагопристойный близнец его, набрасывая ему шинель на голову, имел именно целью похитить письмо, о котором как-нибудь там пронюхал от врагов господина Голядкина. «К тому же он перехватывает, — подумал герой наш, — доказательством же... да что доказательством!..» После первого припадка и столбняка ужаса кровь бросилась в голову господина Голядкина. Со стоном и скрежеща зубами схватил он себя за горячую голову, опустился на свой обрубок и начал думать о чем-то... Но мысли как-то ни о чем не вязались в его голове. Мелькали какие-то лица, припоминались то неясно, то резко какие-то давно забытые происшествия, лезли в голову какие-то мотивы каких-то глупых песен... Тоска, тоска была неестественная! «Боже мой! Боже мой! — подумал, несколько очнувшись, герой наш, подавляя глухое рыдание в груди, — подай мне твердость духа в неистощимой глубине моих бедствий! Что пропал я, исчез совершенно — в этом уж нет никакого сомнения, и это всё в порядке вещей, ибо и быть не может никаким другим образом. Во-первых, я места лишился, непременно лишился, никак не мог не лишиться... Ну, да положим, оно и уладится как-нибудь там. Деньжонок же моих, положим, и достанет на первый раз; там — квартиренку другую какую-нибудь, мебелишки какой-нибудь нужно же... Петрушки же, во-первых, не будет со мной. Я могу и без шельмеца... этак от жильцов; ну, хорошо! И входишь и уходишь, когда мне угодно, да и Петрушка не будет ворчать, что поздно приходишь, — вот оно как; вот почему от жильцов хорошо... Ну, да положим, это всё хорошо; только как же я всё не про то говорю, вовсе не про то говорю?» Тут мысль о настоящем положении опять озарила память господина Голядкина. Он оглянулся кругом. «Ах ты, Господи Бог мой! Господи Бог мой! да о чем же это я теперь говорю?» — подумал он, растерявшись совсем и хватая себя за свою горячую голову...

— Нешто скоро, сударь, изволите ехать? — произнес голос над господином Голядкиным. Господин Голядкин вздрогнул; но перед ним стоял его извозчик, тоже весь до нитки измокший и продрогший, от нетерпения и от нечего делать вздумавший заглянуть к господину Голядкину за дрова.

— Я, мой друг, ничего... я, мой друг, скоро, очень скоро, а ты подожди...

Извозчик ушел, ворча себе под нос. «Об чем же он это ворчит? — думал сквозь слезы господин Голядкин. — Ведь я его нанял же на вечер, ведь я того... в своем праве теперь... вот оно как! на вечер нанял, так и дело с концом. Хоть и так простоишь, всё равно. Всё в моей воле. Волѐн ехать и волѐн не ехать. И что вот здесь за дровами стою, так и это совсем ничего... и не смеешь ничего говорить; дескать, барину хочется за дровами стоять, вот он и стоит за дровами... и чести ничьей не марает, — вот оно как! Вот оно как, сударыня вы моя, если только это вам хочется знать. А в хижине, сударыня вы моя, дескать, так и так, в наш век никто не живет. Оно вот что! А без благонравия в наш промышленный век, сударыня вы моя, не возьмешь, чему сами теперь служите пагубным примером... Дескать, повытчиком нужно служить и в хижине жить, на морском берегу. Во-первых, сударыня вы моя, на морских берегах нет повытчиков, а во-вторых, и достать его нам с вами нельзя, повытчика-то. Ибо, положим, примерно сказать, вот я просьбу подаю, являюсь — дескать, так и так, в повытчики, дескать, того... и от врага защитите... а вам скажут, сударыня, дескать, того... повытчиков много и что вы здесь не у эмигрантки Фальбала, где вы благонравию учились, чему сами служите пагубным примером. Благонравие же, сударыня, значит дома сидеть, отца уважать и не думать о женишках прежде времени. Женишки же, сударыня, в свое время найдутся, — вот оно как! Конечно, разным талантам бесспорно нужно уметь, как-то: на фортепьянах иногда поиграть, по-французски говорить, истории, географии, закону Божию и арифметике, — вот оно как! — а больше не нужно. К тому же и кухня; непременно в область ведения всякой благонравной девицы должна входить кухня! А то что тут? во-первых, красавица вы моя, милостивая моя государыня, вас не пустят, а пустят за вами погоню, и потом под сюркуп, в монастырь. Тогда что, сударыня вы моя? тогда мне-то что делать прикажете? прикажете мне, сударыня вы моя, следуя некоторым глупым романам, на ближний холм приходить и таять в слезах, смотря на хладные стены вашего заключения, и наконец умереть, следуя привычке некоторых скверных немецких поэтов и романистов, так ли, сударыня? Да, во-первых, позвольте сказать вам по-дружески, что

дела так не делаются, а во-вторых, и вас, да и родителей-то ваших посек бы препорядочно за то, что французские-то книжки вам давали читать; ибо французские книжки добру не научат. Там яд... яд тлетворный, сударыня вы моя! Или вы думаете, позвольте спросить вас, или вы думаете, что, дескать, так и так, убежим безнаказанно, да и того... дескать, хижинку вам на берегу моря; да и ворковать начнем и об чувствах разных рассуждать, да так и всю жизнь проведем, в довольстве и счастии; да потом заведется птенец, так мы и того... дескать, так и так, родитель наш и статский советник, Олсуфий Иванович, вот, дескать, птенец завелся, так вы по сему удобному случаю снимите проклятие да благословите чету? Нет, сударыня, и опять-таки дела так не делаются, и первое дело то, что воркования не будет, не извольте надеяться. Нынче муж, сударыня вы моя, господин, и добрая, благовоспитанная жена должна во всем угождать ему. А нежностей, сударыня, нынче не любят, в наш промышленный век; дескать, прошли времена Жан-Жака Руссо. Муж, например, нынче приходит голодный из должности, — дескать, душенька, нет ли чего закусить, водочки выпить, селедочки съесть? так у вас, сударыня, должны быть сейчас наготове и водочка, и селедочка. Муж закусит себе с аппетитом, да на вас и не взглянет, а скажет: поди-тка, дескать, на кухню, котеночек, да присмотри за обедом, да разве-разве в неделю разок поцелует, да и то равнодушно... Вот оно как по-нашему-то, сударыня вы моя! да и то, дескать, равнодушно!.. Вот оно как будет, если так рассуждать, если уж на то пошло, что таким-то вот образом начать на дело смотреть... Да и я-то тут что? меня-то, сударыня, в ваши капризы зачем подмешали? „Дескать, благодетельный, за меня страждущий и всячески милый сердцу моему человек и так далее". Да, во-первых, я, сударыня вы моя, я для вас не гожусь, сами знаете, комплиментам не мастер, дамские там разные раздушенные пустячки говорить не люблю, селадонов не жалую, да и фигурою, признаться, не взял. Ложного-то хвастовства и стыда вы в нас не найдете, а признаемся вам теперь во всей искренности. Дескать, вот оно как, обладаем лишь прямым и открытым характером да здравым рассудком; интригами не занимаемся. Не интригант, дескать, и этим горжусь, — вот оно как!.. Хожу без маски между добрых людей и, чтоб всё вам сказать...»

Вдруг господин Голядкин вздрогнул. Рыжая и взмокшая окончательно борода его кучера опять глянула к нему за дрова...

— Я сейчас, мой друг; я, мой друг, знаешь, тотчас; я, мой друг, тотчас же, — отвечал господин Голядкин трепещущим и изнывающим голосом.

Кучер почесал в затылке, потом погладил свою бороду, потом шагнул шаг вперед... остановился и недоверчиво взглянул на господина Голядкина.

— Я сейчас, мой друг; я, видишь... мой друг... я немножко, я, видишь, мой друг, только секундочку здесь... видишь, мой друг...

— Нешто совсем не поедете? — сказал наконец кучер, решительно и окончательно приступая к господину Голядкину...

— Нет, мой друг, я сейчас. Я, видишь, мой друг, дожидаюсь...

— Так-с...

— Я, видишь, мой друг... ты из какой деревни, мой милый?

— Мы господские...

— И добрых господ?..

— Нешто́...

— Да, мой друг; ты постой здесь, мой друг. Ты, видишь, мой друг, ты давно в Петербурге?

— Да уж год езжу...

— И хорошо тебе, друг мой?

— Нешто́.

— Да, мой друг, да. Благодари Провидение, мой друг. Ты, мой друг, доброго человека ищи. Нынче добрые люди стали редки, мой милый; он обмоет, накормит и напоит тебя, милый мой, добрый-то человек... А иногда ты видишь, что и через золото слезы льются, мой друг... видишь плачевный пример; вот оно как, милый мой...

Извозчику как будто стало жалко господина Голядкина.

— Да извольте, я подожду-с. Нешто долго ждать будете-с?

— Нет, мой друг, нет; я уж, знаешь, того... я уж не буду ждать, милый мой. Как ты думаешь, друг мой? Я на тебя полагаюсь. Я уж не буду здесь ждать...

— Нешто совсем не поедете?

— Нет, мой друг; нет, а я тебя поблагодарю, милый мой... вот оно как. Тебе сколько следует, милый мой?

— Да уж за что рядились, сударь, то и пожалуете. Ждал, сударь, долго; уж вы человека не обидите, сударь.

— Ну, вот тебе, милый мой, вот тебе. — Тут господин Голядкин отдал все шесть рублей серебром извозчику и, серьезно решившись не терять более времени, то есть уйти подобру-поздорову, тем более что уже окончательно решено было дело и извозчик отпущен был и, следовательно, ждать более нечего, пустился со двора, вышел за ворота, поворотил налево и без оглядки, задыхаясь и радуясь, пустился бежать. «Оно, может быть, и всё устроится к лучшему, — думал он, — а я вот таким-то обра-

зом беды избежал». Действительно, как-то вдруг стало необыкновенно легко в душе господина Голядкина. «Ах, кабы устроилось к лучшему! — подумал герой наш, сам, впрочем, мало себе на слово веря. — Вот я и того... — думал он. — Нет, я лучше вот как, и с другой стороны... Или лучше вот этак мне сделать?..» Таким-то образом сомневаясь и ища ключа и разрешения сомнений своих, герой наш добежал до Семеновского моста, а добежав до Семеновского моста, благоразумно и окончательно положил воротиться. «Оно и лучше, — подумал он. — Я лучше с другой стороны, то есть вот как. Я буду так — наблюдателем посторонним буду, да и дело с концом; дескать, я наблюдатель, лицо постороннее — и только, а там, что ни случись, — не я виноват. Вот оно как! Вот оно таким-то образом и будет теперь».

Положив воротиться, герой наш действительно воротился, тем более что, по счастливой мысли своей, ставил себя теперь лицом совсем посторонним. «Оно же и лучше: и не отвечаешь ни за что, да и увидишь, что следовало... вот оно как!» То есть расчет был вернейший, да и дело с концом. Успокоившись, забрался он опять под мирную сень своей успокоительной и охранительной кучи дров и внимательно стал смотреть на окна. В этот раз смотреть и дожидаться пришлось ему недолго. Вдруг, во всех окнах разом, обнаружилось какое-то странное движение, замелькали фигуры, открылись занавесы, целые группы людей толпились в окнах Олсуфия Ивановича, все искали и выглядывали чего-то на дворе. Обеспеченный своею кучею дров, герой наш тоже в свою очередь с любопытством стал следить за всеобщим движением и с участием вытягивать направо и налево свою голову, сколько по крайней мере позволяла ему короткая тень от дровяной кучи, его прикрывавшая. Вдруг он оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса. Ему показалось, — одним словом, он догадался вполне, — что искали-то не что-нибудь и не кого-нибудь: искали просто его, господина Голядкина. Все смотрят в его сторону, все указывают в его сторону. Бежать было невозможно: увидят... Оторопевший господин Голядкин прижался как можно плотнее к дровам и тут только заметил, что предательская тень изменяла, что прикрывала она не всего его. С величайшим удовольствием согласился бы наш герой пролезть теперь в какую-нибудь мышиную щелочку между дровами, да там и сидеть себе смирно, если б только это было возможно. Но было решительно невозможно. В агонии своей он стал наконец решительно и прямо смотреть на все окна разом; оно же и лучше... И вдруг сгорел со стыда окончательно. Его совершенно заметили, все разом заметили, все манят его руками, все кивают ему головами, все зовут его; вот щелкнуло и отворилось несколь-

ко форточек; несколько голосов разом что-то начали кричать ему... «Удивляюсь, как этих девчонок не секут еще с детства», — бормотал про себя наш герой, совсем потерявшись. Вдруг с крыльца сбежал *он* (известно кто), в одном вицмундире, без шляпы, запыхавшись, юля, семеня и подпрыгивая, вероломно изъявляя ужаснейшую радость о том, что увидел наконец господина Голядкина.

— Яков Петрович, — защебетал известный своей бесполезностью человек, — Яков Петрович, вы здесь? Вы простудитесь. Здесь холодно, Яков Петрович. Пожалуйте в комнату.

— Яков Петрович! Нет-с, я ничего, Яков Петрович, — покорным голосом пробормотал наш герой.

— Нет-с, нельзя, Яков Петрович; просят, покорнейше просят, ждут нас. «Осчастливьте, дескать, и приведите сюда Якова Петровича». Вот как-с.

— Нет, Яков Петрович; я, видите ли, я бы лучше сделал... Мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович... — говорил наш герой, горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса, всё в одно время.

— Ни-ни-ни-ни! — защебетал отвратительный человек. — Ни-ни-ни, ни за что! Идем! — сказал он решительно и потащил к крыльцу господина Голядкина-старшего. Господин Голядкин-старший хотел было вовсе не идти; но так как смотрели все и сопротивляться и упираться было бы глупо, то герой наш пошел, — впрочем, нельзя сказать, чтоб пошел, потому что решительно сам не знал, что с ним делается. Да уж так ничего, заодно!

Прежде нежели герой наш успел кое-как оправиться и опомниться, очутился он в зале. Он был бледен, растрепан, растерзан; мутными глазами окинул он всю толпу, — ужас! Зала, все комнаты — всё, всё было полным-полнехонько. Людей было бездна, дам целая оранжерея; всё это теснилось около господина Голядкина, всё это стремилось к господину Голядкину, всё это выносило на плечах своих господина Голядкина, весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону. «Ведь не к дверям», — пронеслось в голове господина Голядкина. Действительно, упирали его не к дверям, а прямо к покойным креслам Олсуфия Ивановича. Возле кресел с одной стороны стояла Клара Олсуфьевна, бледная, томная, грустная, впрочем пышно убранная. Особенно бросились в глаза господину Голядкину маленькие беленькие цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семенович, в черном фраке, с новым своим орденом в петличке. Господина Голядкина вели под руки, и, как сказано

было выше, прямо на Олсуфия Ивановича, — с одной стороны господин Голядкин-младший, принявший на себя вид чрезвычайно благопристойный и благонамеренный, чему наш герой донельзя обрадовался, с другой же стороны руководил его Андрей Филиппович с самой торжественной миной в лице. «Что бы это?» — подумал господин Голядкин. Когда же он увидал, что ведут его к Олсуфию Ивановичу, то его вдруг как будто молнией озарило. Мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его... В неистощимой агонии предстал наш герой перед кресла Олсуфия Ивановича. «Как мне теперь? — подумал он про себя. — Разумеется, этак всё на смелую ногу, то есть с откровенностью, не лишенною благородства; дескать, так и так и так далее». Но чего боялся, по-видимому, герой наш, то и не случилось. Олсуфий Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина Голядкина и, хотя не протянул ему руки своей, но по крайней мере, смотря на него, покачал своею седовласою и внушающею всякое уважение головою, — покачал с каким-то торжественно-печальным, но вместе с тем благосклонным видом. Так по крайней мере показалось господину Голядкину. Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Олсуфия Ивановича; он поднял глаза и увидел, что и на ресницах Клары Олсуфьевны, тут же стоявшей, тоже как будто блеснула слезинка, — что и в глазах Владимира Семеновича тоже как будто бы было что-то подобное, — что, наконец, ненарушимое и спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общего слезящегося участия, — что, наконец, юноша, когда-то весьма походивший на важного советника, уже горько рыдал, пользуясь настоящей минутой... Или это всё, может быть, только так показалось господину Голядкину, потому что он сам весьма прослезился и ясно слышал, как текли его горячие слезы по его холодным щекам... Голосом, полным рыданий, примиренный с людьми и судьбою и крайне любя в настоящее мгновение не только Олсуфия Ивановича, не только всех гостей, взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего, который теперь, по-видимому, вовсе был не зловредным и даже не близнецом господину Голядкину, но совершенно посторонним и крайне любезным самим по себе человеком, обратился было наш герой к Олсуфию Ивановичу с трогательным излиянием души своей; но от полноты всего, в нем накопившегося, не мог ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча указал на свое сердце... Наконец Андрей Филиппович, вероятно желая пощадить чувствительность седовласого старца, отвел господина Голядкина немного в сторону и оставил его, впрочем, кажется, в совершенно независимом положении. Улыбаясь, что-то бормоча себе под нос,

немного недоумевая, но во всяком случае почти совершенно примиренный с людьми и судьбою, начал пробираться герой наш куда-то сквозь густую массу гостей. Все ему давали дорогу, все смотрели на него с каким-то странным любопытством и с каким-то необъяснимым, загадочным участием. Герой наш прошел в другую комнату — то же внимание везде; он глухо слышал, как целая толпа теснилась по следам его, как замечали его каждый шаг, как втихомолку все между собою толковали о чем-то весьма занимательном, качали головами, говорили, судили, рядили и шептались. Господину Голядкину весьма бы хотелось узнать, о чем они все так судят, и рядят, и шепчутся. Оглянувшись, герой наш заметил подле себя господина Голядкина-младшего. Почувствовав необходимость схватить его руку и отвести его в сторону, господин Голядкин убедительнейше попросил другого Якова Петровича содействовать ему при всех будущих начинаниях и не оставлять его в критическом случае. Господин Голядкин-младший важно кивнул головою и крепко сжал руку господина Голядкина-старшего. Сердце затрепетало от избытка чувств в груди героя нашего. Впрочем, он задыхался, он чувствовал, что его так теснит, теснит; что все эти глаза, на него обращенные, как-то гнетут и давят его... Господин Голядкин увидал мимоходом того советника, который носил парик на голове. Советник глядел на него строгим, испытующим взглядом, вовсе не смягченным от всеобщего участия... Герой наш решился было идти к нему прямо, чтоб улыбнуться ему и немедленно с ним объясниться; но дело как-то не удалось. На одно мгновение господин Голядкин почти забылся совсем, потерял и память, и чувства... Очнувшись, заметил он, что вертится в широком кругу его обступивших гостей. Вдруг из другой комнаты крикнули господина Голядкина; крик разом пронесся по всей толпе. Всё заволновалось, всё зашумело, все ринулись к дверям первой залы; героя нашего почти вынесли на руках, причем твердосердый советник в парике очутился бок о бок с господином Голядкиным. Наконец он взял его за руку и посадил возле себя, напротив седалища Олсуфия Ивановича, в довольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, кто ни были в комнатах, все уселись в нескольких рядах кругом господина Голядкина и Олсуфия Ивановича. Всё затихло и присмирело, все наблюдали торжественное молчание, все взглядывали на Олсуфия Ивановича, очевидно ожидая чего-то не совсем обыкновенного. Господин Голядкин заметил, что возле кресел Олсуфия Ивановича, и тоже прямо против советника, поместился другой господин Голядкин с Андреем Филипповичем. Молчание длилось; чего-то действительно ожидали. «Точь-в-точь как в семье какой-нибудь, при отъезде

кого-нибудь в дальний путь; стоит только встать да помолиться теперь», — подумал герой наш. Вдруг обнаружилось необыкновенное движение и прервало все размышления господина Голядкина. Случилось что-то давно ожидаемое. «Едет, едет!» — пронеслось по толпе. «Кто это едет?» — пронеслось в голове господина Голядкина, и он вздрогнул от какого-то странного ощущения. «Пора!» — сказал советник, внимательно посмотрев на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович, с своей стороны, взглянул на Олсуфия Ивановича. Важно и торжественно кивнул головой Олсуфий Иванович. «Встанем», — проговорил советник, подымая господина Голядкина. Все встали. Тогда советник взял за руку господина Голядкина-старшего, а Андрей Филиппович господина Голядкина-младшего, и оба торжественно свели двух совершенно подобных среди обставшей их кругом и устремившейся в ожидании толпы. Герой наш с недоумением осмотрелся кругом, но его тотчас остановили и указали ему на господина Голядкина-младшего, который протянул ему руку. «Это мирить нас хотят», — подумал герой наш и с умилением протянул свою руку господину Голядкину-младшему; потом, потом протянул к нему свою голову. То же сделал и другой господин Голядкин... Тут господину Голядкину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается, что бегло и плутовски мигнул всей окружавшей их толпе, что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного господина Голядкина-младшего, что даже он отпустил гримасу какую-то в минуту иудина своего поцелуя... В голове зазвонило у господина Голядкина, в глазах потемнело; ему показалось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Голядкиных с шумом вламываются во все двери комнаты; но было поздно... Звонкий предательский поцелуй раздался, и...

Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство... Двери в залу растворились с шумом, и на пороге показался человек, которого один вид оледенил господина Голядкина. Ноги его приросли к земле. Крик замер в его стесненной груди. Впрочем, господин Голядкин знал всё заранее и давно уже предчувствовал что-то подобное. Незнакомец важно и торжественно приближался к господину Голядкину... Господин Голядкин эту фигуру очень хорошо знал. Он ее видел, очень часто видал, еще сегодня видел... Незнакомец был высокий, плотный человек, в черном фраке, с значительным крестом на шее и одаренный густыми, весьма черными бакенбардами; недоставало только сигарки во рту для дальнейшего сходства... Зато взгляд незнакомца, как уже сказано было, оледенил ужасом господина Голядкина. С важной и торжественной миной подошел страшный человек к плачевному герою повести нашей... Герой наш протянул ему руку; незнако-

мец взял его руку и потащил за собою... С потерянным, с убитым лицом оглянулся кругом наш герой...

— Это, это Крестьян Иванович Рутеншпиц, доктор медицины и хирургии, ваш давнишний знакомец, Яков Петрович! — защебетал чей-то противный голос под самым ухом господина Голядкина. Он оглянулся: то был отвратительный подлыми качествами души своей близнец господина Голядкина. Неблагопристойная, зловещая радость сияла в лице его; с восторгом он тер свои руки, с восторгом повертывал кругом свою голову, с восторгом семенил кругом всех и каждого; казалось, готов был тут же начать танцевать от восторга; наконец он прыгнул вперед, выхватил свечку у одного из слуг и пошел вперед, освещая дорогу господину Голядкину и Крестьяну Ивановичу. Господин Голядкин слышал ясно, как всё, что ни было в зале, ринулось вслед за ним, как все теснились, давили друг друга и все вместе, в голос, начинали повторять за господином Голядкиным: «что это ничего; что не бойтесь, Яков Петрович, что это ведь старинный друг и знакомец ваш, Крестьян Иванович Рутеншпиц...» Наконец вышли на парадную, ярко освещенную лестницу; на лестнице была тоже куча народа; с шумом растворились двери на крыльцо, и господин Голядкин очутился на крыльце вместе с Крестьяном Ивановичем. У подъезда стояла карета, запряженная четверней лошадей, которые фыркали от нетерпения. Злорадственный господин Голядкин-младший в три прыжка сбежал с лестницы и сам отворил карету. Крестьян Иванович увещательным жестом попросил садиться господина Голядкина. Впрочем, увещательного жеста было вовсе не нужно; было довольно народу подсаживать... Замирая от ужаса, оглянулся господин Голядкин назад: вся ярко освещенная лестница была унизана народом; любопытные глаза глядели на него отвсюду; сам Олсуфий Иванович председал на самой верхней площадке лестницы, в своих покойных креслах, и внимательно, с сильным участием, смотрел на всё совершавшееся. Все ждали. Ропот нетерпения пробежал по толпе, когда господин Голядкин оглянулся назад.

— Я надеюсь, что здесь нет ничего... ничего предосудительного... или могущего возбудить строгость... и внимание всех касательно официальных отношений моих? — проговорил, потерявшись, герой наш. Говор и шум поднялся кругом; все отрицательно закивали головами своими. Слезы брызнули из глаз господина Голядкина.

— В таком случае, я готов... я вверяюсь вполне... и вручаю судьбу мою Крестьяну Ивановичу...

Только что проговорил господин Голядкин, что он вручает вполне свою судьбу Крестьяну Ивановичу, как страшный, оглу-

шительный, радостный крик вырвался у всех окружавших его и самым зловещим откликом прокатился по всей ожидавшей толпе. Тут Крестьян Иванович с одной стороны, а с другой — Андрей Филиппович взяли под руки господина Голядкина и стали сажать в карету; двойник же, по подленькому обыкновению своему, подсаживал сзади. Несчастный господин Голядкин-старший бросил свой последний взгляд на всех и на всё и, дрожа, как котенок, которого окатили холодной водой, — если позволят сравнение, — влез в карету; за ним тотчас же сел и Крестьян Иванович. Карета захлопнулась; послышался удар кнута по лошадям, лошади рванули экипаж с места... всё ринулось вслед за господином Голядкиным. Пронзительные, неистовые крики всех врагов его покатились ему вслед в виде напутствия. Некоторое время еще мелькали кое-какие лица кругом кареты, уносившей господина Голядкина; но мало-помалу стали отставать-отставать и наконец исчезли совсем. Долее всех оставался неблагопристойный близнец господина Голядкина. Заложа руки в боковые карманы своих зеленых форменных брюк, бежал он с довольным видом, подпрыгивая то с одной, то с другой стороны экипажа; иногда же, схватившись за рамку окна и повиснув на ней, просовывал в окно свою голову и, в знак прощания, посылал господину Голядкину поцелуйчики; но и он стал уставать, всё реже и реже появлялся и наконец исчез совершенно. Глухо занывало сердце в груди господина Голядкина; кровь горячим ключом била ему в голову; ему было душно, ему хотелось расстегнуться, обнажить свою грудь, обсыпать ее снегом и облить холодной водой. Он впал наконец в забытье... Когда же очнулся, то увидел, что лошади несут его по какой-то ему незнакомой дороге. Направо и налево чернелись леса; было глухо и пусто. Вдруг он обмер: два огненные глаза смотрели на него в темноте, и зловещею, адскою радостию блестели эти два глаза. Это не Крестьян Иванович! Кто это? Или это он? Он! Это Крестьян Иванович, но только не прежний, это другой Крестьян Иванович! Это ужасный Крестьян Иванович!..

— Крестьян Иванович, я... я, кажется, ничего, Крестьян Иванович, — начал было робко и трепеща наш герой, желая хоть сколько-нибудь покорностию и смирением умилосердить ужасного Крестьяна Ивановича.

— Ви получаит казенный квартир, с дровами, с лихт и с прислугой, чего ви недостоин, — строго и ужасно, как приговор, прозвучал ответ Крестьяна Ивановича.

Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы! он это давно уже предчувствовал!

# РОМАН В ДЕВЯТИ ПИСЬМАХ

## I

*(От Петра Иваныча к Ивану Петровичу)*

Милостивый государь и драгоценнейший друг,
Иван Петрович!

Вот уже третий день, как я, можно сказать, гоняюсь за вами, драгоценнейший друг мой, имея переговорить о наинужнейшем деле, и нигде не встречаю вас. Жена моя вчера, в бытность нашу у Семена Алексеича, весьма кстати подшутила над вами, говоря, что вас с Татьяной Петровной вышла парочка непоседов. Трех месяцев нет, как женаты, а уже неглижируете домашними своими пенатами. Мы все много смеялись, — от полноты искреннего расположения нашего к вам, разумеется, — но, кроме шуток, бесценнейший мой, задали вы мне хлопот. Говорит мне Семен Алексеич, что не в клубе ли вы Соединенного общества на бале? Оставляю жену у супруги Семена Алексеича, сам же лечу в Соединенное общество. Смех и горе! представьте мое положение: я на бал — и один, без жены! Иван Андреич, встретившийся со мною в швейцарской, увидев меня одного, немедленно заключил (злодей!) о необыкновенной страсти моей к танцевальным собраниям и, подхватив меня под руку, хотел было уже насильно тащить в танц-класс, говоря, что в Соединенном обществе тесно ему, развернуться негде молодецкой душе и что от пачули с резедою у него голова разболелась. Не нахожу ни вас, ни Татьяны Петровны. Иван Андреич уверяет и божится, что вы непременно на «Горе от ума» в Александрынском театре.

Лечу в Александрынский театр: нет и там. Сегодня утром думал вас найти у Чистоганова — не тут-то было. Чистоганов шлет к Перепалкиным — то же самое. Одним словом, измучил-

ся совершенно; судите, как я хлопотал! Теперь пишу к вам (нечего делать!). Дело-то мое отнюдь не литературное (вы меня понимаете); лучше бы с глазу на глаз, крайне нужно объясниться с вами, и как можно скорее, и потому прошу ко мне сегодня на чай и на вечернюю беседу вместе с Татьяной Петровной. Моя Анна Михайловна будет крайне обрадована посещением вашим. Истинно, как говорится, по гроб одолжите.

Кстати, бесценнейший друг мой, — коли дело дошло до пера, то всё в строку, — нахожусь вынужденным теперь же попенять вам отчасти и даже укорить вас, почтеннейший друг мой, в одной, по-видимому, весьма невинной проделочке, которою вы зло надо мной подшутили... злодей вы, бессовестный человек! Около половины прошедшего месяца вводите вы в дом мой одного знакомого вашего, именно Евгения Николаича, ассюрируете его дружеской и для меня, разумеется, священнейшей рекомендацией вашей; я радуюсь случаю, принимаю молодого человека с распростертыми объятиями и вместе с тем кладу голову в петлю. Петля не петля, а вышла, что называется, штука хорошая. Объяснять теперь некогда, да на пере и неловко, а только нижайшая просьба до вас, злорадственный друг и приятель, нельзя ли каким-нибудь образом, поделикатнее, в скобках, на ушко, втихомолочку, пошептать вашему молодому человеку, что есть в столице много домов, кроме нашего. Мочи нет, батюшка! Падам до ног, как говорит приятель наш Симоневич. Свидимся, я вам всё расскажу. Не в том смысле говорю, что молодой человек не взял, например, на фасоне или душевными качествами или в чем-нибудь там другом оплошал. Напротив, он даже малый любезный и милый; но вот погодите, увидимся; а между тем, если встретите его, то шепните ему, ради Бога, почтеннейший. Я бы и сам это сделал, но вы знаете, характер такой: не могу, да и только. Вы же рекомендовали его. Впрочем, вечером, во всяком случае, подробнее объяснимся. А теперь до свидания. Остаюсь и пр.

P. S. Маленький у меня уже с неделю прихварывает, и с каждым днем всё хуже и хуже. Страдает зубенками; вырезываются. Жена всё нянчится с ним и грустит, бедняжка. Приезжайте. Истинно обрадуете нас, драгоценнейший друг мой.

## II

*(От Ивана Петровича к Петру Иванычу)*

Милостивый государь, Петр Иваныч!

Получаю вчера письмо ваше, читаю и недоумеваю. Ищете меня Бог знает в каких местах, а я просто был дома. До десяти часов ожидал Ивана Иваныча Толоконова. Тотчас же беру жену, нанимаю извозчика, трачусь и являюсь к вам временем около половины седьмого. Вас дома нет, а встречает нас ваша супруга. Жду вас до половины одиннадцатого; долее невозможно. Беру жену, трачусь, нанимаю извозчика, завожу ее домой, а сам отправляюсь к Перепалкиным, думая, не встречу ли там, но опять ошибаюсь в расчетах. Приезжаю домой, не сплю всю ночь, беспокоюсь, утром заезжаю к вам три раза, в девять, в десять и в одиннадцать часов, три раза трачусь, нанимаю извозчиков, и опять вы меня оставляете с носом.

Читая же ваше письмо, удивлялся. Пишете о Евгении Николаиче, просите шепнуть и не упоминаете почему. Хвалю осторожность, но бумага бумаге рознь, а я нужных бумаг на папильотки жене не даю. Недоумеваю, наконец, в каком смысле изволили мне это всё написать. Впрочем, если на то пошло, то чего же меня-то мешать в это дело? Я носа своего не сую во всякую всячину. Отказать могли сами, вижу только, что объясниться нужно мне с вами короче, решительнее, да к тому же и время проходит. А я стеснен и не знаю, что делать придется, коли неглижировать условиями будете. Дорога на носу, дорога чего-нибудь стоит, а тут еще жена хнычет: сшей ей бархатный капот по модному вкусу. Насчет же Евгения Николаича спешу вам заметить: навел я вчера, не теряя времени, окончательно справки, в бытность мою у Павла Семеныча Перепалкина. У него своих пятьсот душ в Ярославской губернии, да от бабушки есть надежда получить в триста душ подмосковную. Денег же сколько, не знаю, а я думаю, что вам это лучше знать. Окончательно прошу вас назначить мне место свидания. Встретили вчера Ивана Андреича и пишете, что объявил он вам, что я в Александрынском театре с женою. Я же пишу, что он врет, и тем более ему веры нельзя иметь в подобных делах, что он, не далее как третьего дня, провел свою бабушку на осьмистах рублях ассигнациями. Затем имею честь пребыть.

P. S. Жена моя забеременела; к тому же она пуглива и чувствует подчас меланхолию. В театральные же представления иногда вводят пальбу и искусственно машинами сделан-

ный гром. И потому, боясь испугать жену, в театры ее не вожу. Сам же до театральных представлений охоты большой не имею.

## III

### (*От Петра Иваныча к Ивану Петровичу*)

Бесценнейший друг мой,
Иван Петрович!

Виноват, виноват и тысячу раз виноват, но спешу оправдаться. Вчера в шестом часу, и как раз в то самое время, как мы с истинным участием сердца о вас вспоминали, прискакал нарочный от дядюшки Степана Алексеича с известием, что с тетушкой худо. Боясь перепугать жену, не говоря ей ни слова, претекстую постороннее нужное дело и еду в дом тетушки. Нахожу ее едва живу. Ровно в пять часов последовал с нею удар, уже третий в два года. Карл Федорыч, медик их дома, объявил, что, может быть, она не проживет и ночи одной. Судите о моем положении, драгоценнейший друг мой. Целую ночь на ногах, в хлопотах и горе! Утром только, истощив свои силы и удрученный телесною и душевною немощью, прилег я у них же на диване, забыл сказать, чтобы вовремя меня разбудили, и проснулся в половине двенадцатого. Тетушке лучше. Еду к жене; она, бедная, истерзалась, ожидая меня. Перехватил кусок кой-чего, обнял малютку, разуверил жену и отправился к вам. Вас нет дома. Нахожу же у вас Евгения Николаича. Отправляюсь домой, беру перо и теперь к вам пишу. Не ропщите и не сердитесь на меня, искренний друг мой. Бейте, рубите голову повинную с плеч, но не лишайте благорасположения вашего. От вашей супруги узнал, что вечером вы у Славяновых. Буду там непременно. С величайшим нетерпением ожидаю вас.

Теперь же остаюсь и т. д.

P. S. Маленький наш повергает нас в истинное отчаяние. Карл Федорыч прописал ему ревеньку. Стонет, вчера не узнавал никого. Сегодня же стал узнавать и лепечет всё — папа, мама, бу... Жена в слезах целое утро.

## IV

### (*От Ивана Петровича к Петру Иванычу*)

Милостивый государь мой, Петр Иваныч!

Пишу к вам у вас, в вашей комнате, на вашем бюро; а прежде чем взялся за перо, прождал вас с лишком два часа с половиною. Теперь позвольте же вам прямо сказать, Петр Иваныч, мое открытое мнение насчет всего этого скаредного обстоятельства. Из вашего последнего письма заключаю, что вас ждут у Славяновых, зовете меня туда, являюсь, сижу пять часов, а вас не бывало. Что ж, я людей смешить, что ли, по-вашему, должен? Позвольте, милостивый государь... Являюсь к вам утром, надеясь застать вас и не подражая таким манером некоторым обманчивым лицам, которые ищут людей Бог знает по каким местам, когда их можно застать дома во всякое прилично выбранное время. Дома и духа вашего не было. Не знаю, что удерживает меня теперь высказать вам всю резкую правду. Скажу только то, что вижу вас, кажется, на попятном дворе относительно наших известных условий. И теперь только, соображая всё дело, не могу не признаться, что решительно удивляюсь хитростному вашего ума направлению. Ясно вижу теперь, что неблагоприятное намерение свое питали вы с давних пор. Доказательством же такому моему предположению служит то, что вы еще на прошлой неделе, почти непозволительным образом, овладели тем письмом вашим, на имя мое адресованным, в котором сами изложили, хотя и довольно темно и нескладно, условия наши насчет весьма известного вам обстоятельства. Боитесь документов, их уничтожаете, а меня в дураках оставляете. Но я в дураках себя считать не позволю, ибо за такового меня доселе никто не считал, и все насчет этого обстоятельства обо мне с хорошей стороны относились. Открываю глаза. Сбиваете меня с толку, туманите меня Евгением Николаичем, и когда я, с неразгаданным мною доселе письмом вашим от седьмого сего месяца, ищу объясниться с вами, вы назначаете мне ложные свидания, а сами скрываетесь. Не думаете ли вы, милостивый государь, что я всего этого заметить не в силах? Обещаете вознаградить меня за весьма хорошо вам известные услуги относительно рекомендации разных лиц, а между тем, и неизвестно каким образом, устроиваете так, что сами у меня деньги берете без расписки знатными суммами, что было не далее как на прошлой неделе. Теперь же, взяв деньги, скрываетесь, да еще отрекаетесь от услуги моей, вам оказанной относительно Евгения Николаича. Рассчитываете, может быть, на скорый отъезд мой в Симбирск и думаете, что не успеем кон-

цов свести с вами. Но объявляю вам торжественно и свидетельствуясь при том честным словом моим, что если пойдет на то, то я нарочно готов буду еще целых два месяца прожить в Петербурге, а дела своего добьюсь, цели достигну и вас отыщу. И мы умеем подчас действовать в пику. В заключение же объявляю вам, что если вы сегодня же не объяснитесь со мною удовлетворительно, сперва на письме, а потом личным образом, с глазу на глаз, и не изложите в вашем письме вновь всех главных условий, существовавших между нами, и не объясните окончательно мыслей ваших насчет Евгения Николаича, то я принужден буду прибегнуть к мерам, вам весьма неблагоприятным и даже самому мне противным.

Позвольте пребыть и т. д.

## V

(*От Петра Иваныча к Ивану Петровичу*)

Ноября 11-го.

Любезнейший, почтеннейший друг мой,
Иван Петрович!

До глубины души моей я был огорчен письмом вашим. И не совестно было вам, дорогой, но несправедливый друг мой, так поступать с лучшим доброжелателем вашим. Поторопиться, не объяснить всего дела и, наконец, оскорбить меня такими обидными подозрениями?! Но спешу отвечать на обвинения ваши. Не застали вы меня, Иван Петрович, вчера потому, что я вдруг и совсем неожиданно позван был к одру умирающей. Тетушка Евфимия Николавна преставилась вчера вечером, в одиннадцать часов пополудни. Общим голосом родственников избран я был распорядителем всей плачевной и горестной церемонии. Дел было столько, что я и поутру сегодня не успел увидеться с вами, ниже уведомить хоть строчкой письма. Скорбею душевно о недоразумении, вышедшем между нами. Слова мои о Евгении Николаевиче, высказанные мною шутливо и мимоходом, приняли вы в совершенно противную сторону, а делу всему дали глубоко обижающий меня смысл. Упоминаете о деньгах и выказываете о них свое беспокойство. Но, не обинуясь, готов удовлетворить всем вашим желаниям и требованиям, хотя здесь, мимоходом, и не могу не напомнить вам, что деньги, триста пятьдесят рублей серебром, взяты мною у вас на прошлой неделе на известных условиях, а не заимообразно. В последнем же случае непременно

бы существовала расписка. Не снисхожу до объяснений касательно остальных пунктов, изложенных в вашем письме. Вижу, что это недоразумение, вижу в этом вашу обычную скорость, горячность и прямоту. Знаю, что благодушие и открытый характер ваш не позволят оставаться сомнению в сердце вашем и что наконец вы же сами протянете первый мне руку вашу. Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне ошиблись!

Несмотря на то что письмо ваше глубоко уязвило меня, я первый, и сегодня же, готов бы был к вам явиться с повинною, но я нахожусь в таких хлопотах с самого вчерашнего дня, что убит теперь совершенно и едва стою на ногах. К довершению бедствий моих жена слегла в постель; боюсь серьезной болезни. Что же касается до маленького, то ему, слава Богу, получше. Но бросаю перо... дела зовут, а их целая куча.

Позвольте, бесценнейший друг мой, пребыть, и проч.

## VI

### (*От Ивана Петровича к Петру Иванычу*)

Ноября 14-го.

Милостивый мой государь, Петр Иваныч!

Я выждал три дня; употребить постарался их с пользою, — между тем, чувствуя, что вежливость и приличие суть первые украшения всякого человека, с самого последнего письма моего, от десятого числа сего месяца, не напоминал вам о себе ни словом, ни делом, частию для того, чтобы дать вам исполнить безмятежно христианский долг относительно тетушки вашей, частию же потому, что для некоторых соображений и изысканий по известному делу имел во времени надобность. Теперь же спешу с вами окончательным и решительным образом объясниться.

Признаюсь вам откровенно, что при чтении первых двух писем ваших я серьезно думал, что вы не понимаете, чего я хочу; вот по какому случаю наиболее искал я свидания с вами и объяснения с глазу на глаз, боялся пера и обвинял себя в неясности способа выражения мыслей моих на бумаге. Известно вам, что воспитания и манеров хороших я не имею и пустозвонного щегольства я чуждаюсь, потому что по горькому опыту познал наконец, сколь обманчива иногда бывает наружность и что под цветами иногда таится змея. Но вы меня понимали; не отвечали же мне так, как следует, потому, что вероломством души своей положили заране изменить своему честному слову и существо-

вавшим между нами приятельским отношениям. Совершенно же доказали вы это гнусным поведением вашим относительно меня в последнее время, поведением, пагубным для моего интереса, чего не ожидал я и чему верить никак не хотел до настоящей минуты; ибо, плененный в самом начале знакомства нашего умными манерами вашими, тонкостию вашего обращения, знанием дел и выгодами, имевшими быть мне от сообщества с вами, я полагал, что нашел истинного друга, приятеля и доброжелателя. Теперь же ясно познал, что есть много людей, под льстивою и блестящею наружностью скрывающих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на устроение козней ближнему и на непозволительный обман и потому боящихся пера и бумаги, а вместе с тем и употребляющих слог свой не на пользу ближнего и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка тех, кои вошли с ними в разные дела и условия. Вероломство ваше, милостивый государь мой, относительно меня ясно можно видеть из нижеследующего.

Во-первых, когда я в ясных и отчетливых выражениях письма моего изображал вам, милостивый государь мой, свое положение, а вместе с тем спрашивал вас в первом письме моем, что вы хотите разуметь под некоторыми выражениями и намерениями вашими, преимущественно же относительно Евгения Николаича, то вы по большей части старались умалчивать и, возмутив меня раз подозрениями и сомнениями, спокойно сторонились от дела. Потом, наделав со мной таких дел, которых и приличным словом назвать нельзя, стали писать, что вы огорчаетесь. Как это назвать прикажете, милостивый мой государь? Потом, когда каждая минута была для меня дорога и когда вы заставляли меня гоняться за вами на протяжении всей столицы, писали вы под личиною дружбы мне письма, в которых, нарочно умалчивая о деле, говорили о совершенно посторонних вещах: именно о болезнях во всяком случае уважаемой мною вашей супруги и о том, что вашему малютке ревеню дали и что-де по сему случаю у него прорезался зуб. Обо всем этом упоминали вы в каждом письме своем с гнусною и обидною для меня регулярностью. Конечно, готов согласиться, что страдания родного детища терзают душу отца, но для чего же упоминать об этом тогда, когда нужно было совершенно другое, более нужное и интересное. Я молчал и терпел; теперь же, когда время прошло, долгом почел объясниться. Наконец, несколько раз вероломно обманувши меня ложным назначением свиданий, заставили меня играть, по-видимому, роль вашего дурака и потешителя, чем я быть никогда не намерен. Потом, и пригласив меня к себе предварительно и как следует обманув, уведомляете меня, что отозваны были к страдающей тетушке вашей, получившей удар ровно в пять часов, изъясняясь

таким образом и тут с постыдною точностью. К счастью моему, милостивый мой государь, в эти три дня я успел навесть справки и по ним узнал, что тетушку вашу постиг удар еще накануне осьмого числа, незадолго до полночи. По сему случаю вижу, что вы употребили святость родственных отношений для обмана совершенно посторонних людей. Наконец, в последнем письме своем упоминаете и о смерти родственницы вашей, как бы приключившейся именно в то самое время, когда я должен был явиться к вам для совещаний об известных делах. Но здесь гнусность расчетов и выдумок ваших превосходит даже всякое вероятие, ибо по достовернейшим справкам, к которым по счастливейшему для меня случаю успел я прибегнуть и кстати и вовремя, узнал я, что тетушка ваша скончалась ровно целые сутки спустя после безбожно определенного вами в письме своем срока для кончины ее. Я не кончу, если буду исчислять все признаки, по коим узнал о вашем относительно меня вероломстве. Довольно даже того для беспристрастного наблюдателя, что во всяком письме своем именуете вы меня своим искренним другом и называете любезными именами, что делали, по моему разумению, не для чего иного, как с тем, чтобы усыпить мою совесть.

Приступлю теперь к главному вашему относительно меня обману и вероломству, состоящему именно: в беспрерывном умалчивании в последнее время о всем том, что касается общего нашего интереса, в безбожном похищении письма, в котором, хотя темно и не совсем мне понятно, объяснили вы наши обоюдные условия и соглашения, в варварском насильном займе трехсот пятидесяти рублей серебром, без расписки, сделанном у меня в качестве вашего половинщика; и, наконец, в гнусной клевете на общего знакомого нашего Евгения Николаича. Ясно вижу теперь, что хотелось вам доказать мне, что с него, с позволения сказать, как с козла, нет ни молока, ни шерсти и что он сам ни то ни се, ни рыба ни мясо, что и поставили ему в порок в письме своем от шестого числа сего месяца. Я же знаю Евгения Николаича как за скромного и благонравного юношу, чем именно может он и прельстить, и сыскать, и заслужить уважение в свете. Известно тоже мне, что вы каждый вечер, в продолжение целых двух недель, клали в карман свой по нескольку десятков, а иногда и до сотни рублей серебром, держа палки и банки Евгению Николаичу. Теперь же вы от этого всего отпираетесь и не только не соглашаетесь возблагодарить меня за старания, но даже присвоили безвозвратно собственные деньги мои, соблазнив меня предварительно качеством вашего половинщика и обольстив меня разными выгодами, имеющими быть на долю мою. Присвоив же теперь беззаконнейшим образом себе мои и Евгения Николаича

деньги, возблагодарить меня уклоняетесь, употребляя для сего клевету, которою и очернили безрассудно в глазах моих того, кого я стараниями и усилиями своими ввел в дом ваш. Сами же, напротив, по рассказам приятелей, до сих пор чуть-чуть не лижетесь с ним и выдаете всему свету за первейшего вашего друга, несмотря на то что в свете нет такого последнего дурака, который бы сразу не угадал, к чему клонятся все ваши намерения и что именно значат на деле дружелюбные и приятельские отношения ваши. Я же скажу, что они значат обман, вероломство, забвение приличий и прав человека, богопротивны и всячески порочны. Ставлю себя примером и доказательством. Чем я вас оскорбил и за что вы со мною таким безбожным образом поступили?

Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю: если вы, милостивый мой государь, в наикратчайшее по получении письма сего время не возвратите мне сполна, во-первых, мною вам данной суммы, 350 рублей серебром, и, во-вторых, всех за тем следующих мне по обещанию вашему сумм, то я прибегну ко всевозможным средствам, чтобы принудить вас к отдаче даже открытою силою; во-вторых, к покровительству законов, и, наконец, объявляю вам, что обладаю кое-какими свидетельствами, которые, оставаясь в руках вашего покорнейшего слуги и почитателя, могут погубить и осквернить ваше имя в глазах целого света.

Позвольте пребыть и проч.

## VII

### (*От Петра Иваныча к Ивану Петровичу*)

Ноября 15-го.

Иван Петрович!

Получив ваше мужицкое и вместе с тем странное послание, я в первую минуту хотел было разорвать его в клочки, — но сохранил для редкости. Впрочем, сердечно сожалею о недоразумениях и неприятностях наших. Отвечать вам я было не хотел. Но заставляет необходимость. Именно сими строками объявить вам нужно, что видеть вас когда-либо в доме моем мне будет весьма неприятно, равно и жене моей: она слаба здоровьем и запах дегтя ей вреден.

Жена моя отсылает вашей супруге книжку ее, оставшуюся у нас, — «Дон-Кихота Ламанчского», с благодарностью. Что же касается до ваших калош, будто бы забытых вами у нас во время

последнего посещения, то с сожалением уведомляю вас, что их нигде не нашли. Покамест их ищут; но если их совсем не найдут, тогда я вам куплю новые.

Впрочем, честь имею пребыть и проч.

## VIII

*Шестнадцатого числа ноября Петр Иваныч получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, затейливо сложенную, на бледно-розовой бумажке. Рука жены его. Адресовано к Евгению Николаичу, число 2 ноября. В пакете больше ничего не нашлось. Петр Иванович читает:*

Милый Eugène! Вчера никак нельзя было. Муж был дома весь вечер. Завтра же приезжай непременно ровно в одиннадцать. В половине одиннадцатого муж отправляется в Царское и воротится в полночь. Я злилась всю ночь. Благодарю за присылку известий и переписки. Какая куча бумаги! Неужели это всё она исписала? Впрочем, есть слог; спасибо тебе; вижу, что любишь меня. Не сердись за вчерашнее и приходи завтра, ради Бога.

*А.*

*Петр Иваныч распечатывает второе письмо.*

Петр Иваныч!

Нога моя и без того бы никогда не была в вашем доме; напрасно изволили даром бумагу марать.

На будущей неделе уезжаю в Симбирск; приятелем бесценнейшим и любезнейшим другом останется у вас Евгений Николаич; желаю удачи, а о калошах не беспокойтесь.

# IX

*Семнадцатого числа ноября Иван Петрович получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, небрежно и наскоро написанную. Рука жены его; адресовано к Евгению Николаичу, число 4 августа. В пакете больше ничего не нашлось. Иван Петрович читает:*

Прощайте, прощайте, Евгений Николаич! награди вас Господь и за это. Будьте счастливы, а мне доля лютая; страшно! Ваша воля была. Если бы не тетушка, я бы вам вверилась так. Не смейтесь же ни надо мной, ни над тетушкой. Завтра венчают нас. Тетушка рада, что нашелся добрый человек и берет без приданого. Я в первый раз пристально на него поглядела сегодня. Он, кажется, добрый такой. Меня торопят. Прощайте, прощайте... голубчик мой!! Помяните обо мне когда-нибудь; я же вас никогда не забуду. Прощайте! Подпишу и это последнее, как первое мое... помните?

*Татьяна.*

*Во втором письме было следующее:*

Иван Петрович! Завтра вы получите калоши новые; я ничего не привык таскать из чужих карманов; также не люблю собирать по улицам лоскутки всякой всячины.

Евгений Николаич на днях уезжает в Симбирск, по делам своего деда, и просил меня похлопотать о попутчике; не хотите ли?

# ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН

РАССКАЗ

В квартире Устиньи Федоровны, в уголке самом темном и скромном, помещался Семен Иванович Прохарчин, человек уже пожилой, благомыслящий и непьющий. Так как господин Прохарчин, при мелком чине своем, получал жалованья в совершенную меру своих служебных способностей, то Устинья Федоровна никаким образом не могла иметь с него более пяти рублей за квартиру помесячно. Говорили иные, что у ней был тут свой особый расчет; но как бы там ни было, а господин Прохарчин, словно в отместку всем своим злоязычникам, попал даже в ее фавориты, разумея это достоинство в значении благородном и честном. Нужно заметить, что Устинья Федоровна, весьма почтенная и дородная женщина, имевшая особенную наклонность к скоромной пище и кофею и через силу перемогавшая посты, держала у себя несколько штук таких постояльцев, которые платили даже и вдвое дороже Семена Ивановича, но, не быв смирными и будучи, напротив того, все до единого «злыми надсмешниками» над ее бабьим делом и сиротскою беззащитностью, сильно проигрывали в добром ее мнении, так что не плати они только денег за свои помещения, так она не только жить пустить, но и видеть-то не захотела бы их у себя на квартире. В фавориты же Семен Иванович попал с того самого времени, как свезли на Волково увлеченного пристрастием к крепким напиткам отставного, или, может быть, гораздо лучше будет сказать, одного исключенного человека. Увлеченный и исключенный хотя и ходил с подбитым, по словам его, за храбрость глазом и имел одну ногу, там как-то тоже из-за храбрости сломанную, — но тем не менее умел снискать и воспользоваться всем тем благорасположением, к которому только способна была Устинья Федоровна, и, веро-

ятно, долго бы прожил еще в качестве самого верного ее приспешника и приживальщика, если б не опился наконец самым глубоким, плачевнейшим образом. Случилось же это всё еще на Песках, когда Устинья Федоровна держала всего только трех постояльцев, из которых, при переезде на новую квартиру, где образовалось заведение на более обширную ногу и пригласилось около десятка новых жильцов, уцелел всего только один господин Прохарчин.

Сам ли господин Прохарчин имел свои неотъемлемые недостатки, товарищи ль его обладали таковыми же каждый, — но дела с обеих сторон пошли с самого начала как будто неладно. Заметим здесь, что все до единого из новых жильцов Устиньи Федоровны жили между собою словно братья родные; некоторые из них вместе служили; все вообще поочередно каждое первое число проигрывали друг другу свои жалованья в банчишку, в преферанс и на биксе; любили под веселый час все вместе гурьбой насладиться, как говорилось у них, шипучими мгновениями жизни; любили иногда тоже поговорить о высоком, и хотя в последнем случае дело редко обходилось без спора, но так как предрассудки были из всей этой компании изгнаны, то взаимное согласие в таких случаях не нарушалось нисколько. Из жильцов особенно замечательны были: Марк Иванович, умный и начитанный человек; потом еще Оплеваниев-жилец; потом еще Преполовенко-жилец, тоже скромный и хороший человек; потом еще был один Зиновий Прокофьевич, имевший непременною целью попасть в высшее общество; наконец, писарь Океанов, в свое время едва не отбивший пальму первенства и фаворитства у Семена Ивановича; потом еще другой писарь Судьбин; Кантарев-разночинец; были еще и другие. Но всем этим людям Семен Иванович был как будто не товарищ. Зла ему, конечно, никто не желал, тем более что все еще в самом начале умели отдать Прохарчину справедливость и решили, словами Марка Ивановича, что он, Прохарчин, человек хороший и смирный, хотя и не светский, верен, не льстец, имеет, конечно, свои недостатки, но если пострадает когда, то не от чего иного, как от недостатка собственного своего воображения. Мало того: хотя лишенный таким образом собственного своего воображения, господин Прохарчин фигурою своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенно выгодной для себя точки зрения (к чему любят придраться насмешники), но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чем не бывала; причем Марк Иванович, будучи умным человеком, принял формально защиту Семена Ивановича и объявил довольно удачно и в прекрасном, цветистом слоге, что Прохарчин человек пожилой и солидный и уже давным-давно оставил

за собой свою пору элегий. Итак, если Семен Иванович не умел уживаться с людьми, то единственно потому, что был сам во всем виноват.

Первое, на что обратили внимание, было, без сомнения, скопидомство и скаредность Семена Ивановича. Это тотчас заметили и приняли в счет, ибо Семен Иванович никак, ни за что и никому не мог одолжить своего чайника на подержание, хотя бы то было на самое малое время; и тем более был несправедлив в этом деле, что сам почти совсем не пил чаю, а пил, когда была надобность, какой-то довольно приятный настой из полевых цветов и некоторых целебного свойства трав, всегда в значительном количестве у него запасенный. Впрочем, он и ел тоже совсем не таким образом, как обыкновенно едят всякие другие жильцы. Никогда, например, он не позволял себе съесть всего обеда, предлагаемого каждодневно Устиньей Федоровной его товарищам. Обед стоил полтину; Семен Иванович употреблял только двадцать пять копеек медью и никогда не восходил выше, и потому брал по порциям или одни щи с пирогом, или одну говядину; чаще же всего не ел ни щей, ни говядины, а съедал в меру ситного с луком, с творогом, с огурцом рассольным или с другими приправами, что было несравненно дешевле, и только тогда, когда уже невмочь становилось, обращался опять к своей половине обеда...

Здесь биограф сознается, что он ни за что бы не решился говорить о таких нестоящих, низких и даже щекотливых, скажем более, даже обидных для иного любителя благородного слога подробностях, если б во всех этих подробностях не заключалась одна особенность, одна господствующая черта в характере героя сей повести; ибо господин Прохарчин далеко не был так скуден, как сам иногда уверял, чтоб даже харчей не иметь постоянных и сытных, но делал противное, не боясь стыда и людских пересудов, собственно для удовлетворения своих странных прихотей, из скопидомства и излишней осторожности, что, впрочем, гораздо яснее будет видно впоследствии. Но мы остережемся наскучить читателю описанием всех прихотей Семена Ивановича и не только пропускаем, например, любопытное и очень смешное для читателя описание всех нарядов его, но даже, если б только не показание самой Устиньи Федоровны, навряд ли упомянули бы мы и о том, что Семен Иванович во всю жизнь свою никак не мог решиться отдать свое белье в стирку или решался, но так редко, что в промежутках можно было совершенно забыть о присутствии белья на Семене Ивановиче. В показании же хозяйкином значилось, что «Семен-от Иванович, млад-голубчик, согрей его душеньку, гноил у ней угол два десятка лет, стыда не имея, ибо

не только всё время земного жития своего постоянно и с упорством чуждался носков, платков и других подобных предметов, но даже сама Устинья Федоровна собственными глазами видела, с помощию ветхости ширм, что ему, голубчику, нечем было подчас своего белого тельца прикрыть». Такие толки пошли уже по кончине Семена Ивановича. Но при жизни своей (и здесь-то был один из главнейших пунктов раздора) он никаким образом не мог потерпеть, несмотря даже на самые приятные отношения товарищества, чтоб кто-нибудь, не спросясь, совал свой любопытный нос к нему в угол, хотя бы то было даже и с помощию ветхости ширм. Человек был совсем несговорчивый, молчаливый и на праздную речь неподатливый. Советников не любил никаких, выскочек тоже не жаловал и всегда, бывало, тут же на месте укорит насмешника или советника-выскочку, пристыдит его, и дело с концом. «Ты мальчишка, ты свистун, а не советник, вот как; знай, сударь, свой карман да лучше сосчитай, мальчишка, много ли ниток на твои онучки пошло, вот как!» Семен Иванович был простой человек и всем решительно говорил *ты*. Тоже никак не мог он стерпеть, когда кто-нибудь, зная всегдашний норов его, начнет, бывало, из одного баловства приставать и расспрашивать, что у него лежит в сундучке... У Семена Ивановича был один сундучок. Сундук этот стоял у него под кроватью и оберегаем был как зеница ока; и хотя все знали, что в нем, кроме старых тряпиц, двух или трех пар изъянившихся сапогов и вообще всякого случившегося хламу и дрязгу, ровно не было ничего, но господин Прохарчин ценил это движимое свое весьма высоко, и даже слышали раз, как он, не довольствуясь своим старым, но довольно крепким замком, поговаривал завести другой, какой-то особенный, немецкой работы, с разными затеями и с потайною пружиною. Когда же один раз Зиновий Прокофьевич, увлеченный своим молодоумием, обнаружил весьма неприличную и грубую мысль, что Семен Иванович, вероятно, таит и откладывает в свой сундук, чтоб оставить потомкам, то все, кто тут ни были около, принуждены были в столбняк стать от необыкновенных последствий выходки Зиновья Прокофьевича. Во-первых, господин Прохарчин на такую обнаженную и грубую мысль даже выражений приличных не мог сразу найти. Долгое время из уст его сыпались слова без всякого смысла, и наконец только разобрали, что Семен Иванович, во-первых, корит Зиновья Прокофьича одним его давнопрошедшим скаредным делом; потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что Зиновий Прокофьич ни за что не попадет в высшее общество, а что вот портной, которому он должен за платье, его прибьет, непременно прибьет за то, что долго мальчишка не платит, и что, «наконец, ты, маль-

чишка, — прибавил Семен Иванович, — вишь, там хочешь в гусарские юнкера перейти, так вот не перейдешь, гриб съешь, а что вот тебя, мальчишку, как начальство узнает про всё, возьмут да в писаря отдадут; вот, мол, как, слышь ты, мальчишка!» Потом Семен Иванович успокоился, но, полежав часов пять, к величайшему и всеобщему изумлению, как будто надумался и вдруг опять, сначала один, а потом обращаясь к Зиновию Прокофьичу, начал его вновь укорять и стыдить. Но тем дело опять не кончилось, и повечеру, когда Марк Иванович и Преполовенко-жилец затеяли чай, пригласив к себе в товарищи писаря Океанова, Семен Иванович слез с постели своей, нарочно подсел к ним, дав свои двадцать или пятнадцать копеек, и под видом того, что захотел вдруг пить чаю, начал весьма пространно входить в материю и изъяснять, что бедный человек всего только бедный человек, а более ничего, а что, бедному человеку, ему копить не из чего. Тут господин Прохарчин даже признался, единственно потому, что вот теперь оно к слову пришлось, что он, бедный человек, еще третьего дня у него, дерзкого человека, занять хотел денег рубль, а что теперь не займет, чтоб не хвалился, мальчишка, что вот, мол, как, а жалованье у меня-де такое, что и корму не купишь; и что, наконец, он, бедный человек, вот такой, как вы его видите, сам каждый месяц своей золовке по пяти рублей в Тверь отсылает, и что не отсылай он в Тверь золовке по пяти рублей в месяц, так умерла бы золовка, а если б умерла бы золовка-нахлебница, то Семен Иванович давно бы себе новую одёжу состроил... И так долго и пространно говорил Семен Иванович о бедном человеке, о рублях и золовке, и повторял одно и то же для сильнейшего внушения слушателям, что наконец сбился совсем, замолчал и только три дня спустя, когда уже никто и не думал его задирать и все об нем позабыли, прибавил в заключение что-то вроде того, что когда Зиновий Прокофьич вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому человеку, ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку, и придет Зиновий Прокофьич и скажет: «Дай, добрый человек Семен Иванович, хлебца!» — так не даст Семен Иванович хлебца и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича, и что вот, дескать, как, мол; поди-ка ты с ним!

Всё это, как и следовало тому быть, показалось весьма любопытным и вместе с тем страх как забавным. Долго не думая, все хозяйкины жильцы соединились для дальнейших исследований и, собственно из одного любопытства, решились наступить на Семена Ивановича гурьбою и окончательно. И так как господин Прохарчин в свое последнее время, то есть с самых тех пор, как стал жить в компании, тоже чрезвычайно как полюбил обо всем

узнавать, расспрашивать и любопытствовать, что, вероятно, делал для каких-то собственных тайных причин, то сношения обеих враждебных сторон начинались без всяких предварительных приготовлений и без тщетных усилий, но как будто случаем и сами собою. Для начатия сношений у Семена Ивановича был всегда в запасе свой особый, довольно хитрый, а весьма, впрочем, замысловатый маневр, частию уже известный читателю: слезет, бывало, с постели своей около того времени, как надо пить чай, и, если увидит, что собрались другие где-нибудь в кучку для составления напитка, подойдет к ним как скромный, умный и ласковый человек, даст свои законные двадцать копеек и объявит, что желает участвовать. Тут молодежь перемигивалась и, таким образом согласясь меж собой на Семена Ивановича, начинала разговор сначала приличный и чинный. Потом какой-нибудь повострее пускался, как будто ни в чем не бывал, рассказывать про разные новости, и чаще всего о материях лживых и совершенно неправдоподобных. То, например, что будто бы слышал кто-то сегодня, как его превосходительство сказали самому Демиду Васильевичу, что, по их мнению, женатые чиновники «выйдут» посолиднее неженатых и к повышению чином удобнее, ибо смирные и в браке значительно более приобретают способностей, и что потому он, то есть рассказчик, чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно скорее сочетаться браком с какой-нибудь Февроньей Прокофьевной. То, например, что будто бы неоднократно замечено про разных иных из их братьи, что лишены они всякой светскости и хороших, приятных манер, а следовательно, и не могут нравиться в обществе дамам, и что потому, для искоренения сего злоупотребления, последует немедленно вычет у получающих жалованье и на складочную сумму устроится такой зал, где будут учить танцевать, приобретать все признаки благородства и хорошее обращение, вежливость, почтение к старшим, сильный характер, доброе, признательное сердце и разные приятные манеры. То, наконец, говорили, что будто бы выходит такое, что некоторые чиновники, начиная с самых древнейших, должны для того, чтоб немедленно сделаться образованными, какой-то экзамен по всем предметам держать и что таким образом, прибавлял рассказчик, многое выйдет на чистую воду и некоторым господам придется положить свои карты на стол, — одним словом, рассказывались тысяча таких или тому подобных пренелепейших толков. Для вида все тотчас верили, принимали участие, расспрашивали, на себя смекали, а некоторые, приняв грустный вид, начинали покачивать головами и советов повсюду искать, как будто в том смысле, что, дескать, что же им будет делать, если их постигнет? Само собой разуме-

ется, что и тот человек, который был бы гораздо менее добродушен и смирен, чем господин Прохарчин, смешался и запутался бы от такого всеобщего толка. Кроме того, по всем признакам можно совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович был чрезвычайно туп и туг на всякую новую, для его разума непривычную мысль и что, получив, например, какую-нибудь новость, всегда принужден был сначала ее как будто переваривать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться и наконец разве одолевать ее, но и тут каким-то совершенно особенным, ему только одному свойственным образом... Открылись, таким образом, в Семене Ивановиче вдруг разные любопытные и доселе не подозреваемые свойства... Пошли пересуды и говор, и всё это как было и с прибавлениями дошло наконец своим путем в канцелярию. Способствовало эффекту и то, что господин Прохарчин вдруг, ни с того ни с сего, быв с незапамятных времен почти всё в одном и том же лице, переменил физиономию: лицо стал иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные; стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться и, к довершению всех новых качеств своих, страх как полюбил отыскивать истину. Любовь к истине довел он наконец до того, что рискнул раза два справиться о вероятности ежедневно десятками получаемых им новостей даже у самого Демида Васильевича, и если мы здесь умалчиваем о последствиях этой выходки Семена Ивановича, то не от чего иного, как от сердечного сострадания к его репутации. Таким образом, нашли, что он мизантроп и пренебрегает приличиями общества. Нашли потом, что много в нем фантастического, и тут тоже совсем не ошиблись, ибо неоднократно замечено было, что Семен Иванович иногда совсем забывается и, сидя на месте с разинутым ртом и с поднятым в воздух пером, как будто застывший или окаменевший, походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо. Случалось нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его беглый, мутный и чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, робел и немедленно ставил на нужной бумаге или жида, или какое-нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведения Семена Ивановича смущала и оскорбляла истинно благородных людей... Наконец никто уже более не стал сомневаться в фантастическом направлении головы Семена Ивановича, когда, в одно прекрасное утро, пронесся по всей канцелярии слух, что господин Прохарчин испугал даже самого Демида Васильевича, ибо, встретив его в коридоре, был так чуден и странен, что принудил его отступить... Проступок Семена Ивановича дошел наконец и до него самого. Услышав о нем, он немедленно встал, бережно про-

шел между столами и стульями, достиг передней, собственноручно снял шинель, надел, вышел — и исчез на неопределенное время. Оробел ли он, влекло ль его что другое — не знаем, но ни дома, ни в канцелярии на время его не нашлось...

Мы не будем объяснять судьбы Семена Ивановича прямо фантастическим его направлением; но, однако ж, не можем не заметить читателю, что герой наш — человек несветский, совсем смирный и жил до того самого времени, как попал в компанию, в глухом, непроницаемом уединении, отличался тихостию и даже как будто таинственностью; ибо всё время последнего житья своего на Песках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких. Оба старые его сожителя жили совершенно так же, как он: оба были тоже как будто таинственны и тоже пятнадцать лет пролежали за ширмами. В патриархальном затишье тянулись один за другим счастливые, дремотные дни и часы, и так как всё вокруг тоже шло своим добрым чередом и порядком, то ни Семен Иванович, ни Устинья Федоровна уж и не помнили даже хорошенько, когда их и судьба-то свела. «А не то десять лет, не то уж пятнадцать, не то уж и все те же двадцать пять, — говорила она подчас своим новым жильцам, — как он, голубчик, у меня основался, согрей его душеньку». И потому весьма естественно, что пренеприятно был изумлен непривычный к компании герой нашей повести, когда, ровно год тому назад, очутился он, солидный и скромный, вдруг посреди шумливой и беспокойной ватаги целого десятка молодых ребят, своих новых сожителей и товарищей.

Исчезновение Семена Ивановича наделало немалой суматохи в углах. Одно то, что он был фаворит; во-вторых же, паспорт его, бывший под сохранением хозяйки, оказался на ту пору ненароком затерянным. Устинья Федоровна взвыла, — к чему прибегала во всех критических случаях; ровно два дня корила, поносила жильцов; причитала, что загоняли у ней жильца, как цыпленка, и что сгубили его «всё те же злые надсмешники», а на третий выгнала всех искать и добыть беглеца во что бы ни стало, живого иль мертвого. Повечеру пришел первый писарь Судьбин и объявил, что след отыскался, что видел он беглеца на Толкучем и по другим местам, ходил за ним, близко стоял, но говорить не посмел, а был неподалеку от него и на пожаре, когда загорелся дом в Кривом переулке. Полчаса спустя явились Океанов и Кантарев-разночинец, подтвердили Судьбина слово в слово: тоже недалеко стояли, близко, всего только в десяти шагах от него ходили, но говорить опять не посмели, а заметили оба, что ходил Семен Иванович с попрошайкой-пьянчужкой. Собрались наконец и остальные жильцы и, внимательно выслушав, решили,

что Прохарчин должен быть теперь недалеко и не замедлит прийти; но что они и прежде все знали, что ходит он с попрошайкой-пьянчужкой. Попрошайка-пьянчужка был человек совсем скверный, буйный и льстивый, и по всему было видно, что он как-нибудь там обольстил Семена Ивановича. Явился он ровно за неделю до исчезновения Семена Ивановича, вместе с Ремневым-товарищем, приживал малое время в углах, рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию, что явился он в Петербург и пал в ножки к Порфирию Григорьевичу, что поместили его, по ходатайству, в одну канцелярию, но что, по жесточайшему гонению судьбы, упразднили его и отсюда, затем что уничтожилась сама канцелярия, получив изменение; а в преобразовавшийся новый штат чиновников его не приняли, сколько по прямой неспособности к служебному делу, столько и по причине способности к одному другому, совершенно постороннему делу, — вместе же со всем этим за любовь к правде и, наконец, по козням врагов. Кончив историю, в продолжение которой господин Зимовейкин неоднократно лобызал своего сурового и небритого друга Ремнева, он поочередно поклонился всем бывшим в комнате в ножки, не забыв и Авдотью-работницу, назвал их всех благодетелями и объяснил, что он человек недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый, а чтоб не взыскали добрые люди на его горемычной доле и простоте. Испросив покровительства, господин Зимовейкин оказался весельчаком, стал очень рад, целовал у Устиньи Федоровны ручки, несмотря на скромные уверения ее, что рука у ней подлая, не дворянская, а к вечеру обещал всему обществу показать свой талант в одном замечательном характерном танце. Но назавтра же дело его окончилось плачевной развязкой. Иль оттого, что характерный танец оказался уж слишком характерным, иль оттого, что он Устинью Федоровну, по словам ее, как-то «опозорил и опростоволосил, а ей к тому же сам Ярослав Ильич знаком, и если б захотела она, то давно бы сама была обер-офицерской женой», — только Зимовейкину пришлось уплывать восвояси. Он ушел, опять воротился, был опять с бесчестием изгнан, втерся потом во внимание и милость Семена Ивановича, лишил его мимоходом новых ретуз и наконец явился теперь опять в качестве обольстителя Семена Ивановича.

Лишь только хозяйка узнала, что Семен Иванович был жив и здоров и что паспорта искать теперь нечего, то немедленно оставила горевать и пошла успокоиться. Тем временем кое-кто из жильцов решились сделать торжественный прием беглецу: испортили задвижку и отодвинули ширмы от кровати пропавшего,

немножко поизмяли постель, взяли известный сундук, поместили его на кровати в ногах, а на кровать положили золовку, то есть куклу, форму, сделанную из старого хозяйкина платка, чепца и салопа, но только совершенно наподобие золовки, так что можно было совсем обмануться. Кончив работу, стали ждать, с тем чтоб, по прибытии Семена Ивановича, объявить ему, что пришла из уезда золовка и поместилась у него за ширмами, бедная. Но ждали-ждали, ждали-ждали... Уже в ожидании Марк Иванович прометал и проставил полмесячное жалованье Преполовенке и Кантареву-жильцам; уже весь нос покраснел и вспух у Океанова за игрой в носки и в три листика; уже Авдотья-работница почти совсем выспалась и два раза собиралась вставать, дрова таскать, печку топить, и весь до нитки промок Зиновий Прокофьевич, поминутно выбегая во двор наведываться о Семене Ивановиче; но не явилось еще никого — ни Семена Ивановича, ни попрошайки-пьянчужки. Наконец все спать полегли, оставив на всякий случай золовку за ширмами; и только в четыре часа раздался стук у ворот, но зато такой сильный, что совершенно вознаградил ожидавших за все тяжкие труды, ими понесенные. Это был он, он самый, Семен Иванович, господин Прохарчин, но только в таком положении, что все ахнули и никому и в мысль не пришло о золовке. Пропавший явился без памяти. Его ввели или, лучше сказать, внес его на плечах весь измокший и издрогший, оборванный ночной ванька-извозчик. На вопрос хозяйки, где же он так, горемычный, наклюкался, ванька отвечал: «Да не пьян, и маковой не было; это уж тебя заверяю, а, верно, так, омрак нашел, или столбняком, как там ни есть, прихватило, или, може, кондрашка* пришиб». Стали рассматривать, для удобства прислонив виноватого к печке, и увидели, что действительно хмелю тут не было, да и кондрашка не трогал, а был другой какой ни есть грех, затем что Семен Иванович и языком не ворочал, а как будто судорогой его какой дергало, и только хлопал глазами, в недоумении установляясь то на того, то на другого ночным образом костюмированного зрителя. Стали потом спрашивать ваньку, отколева взял? «Да от каких-то, — отвечал он, — из Коломны, шут их знает, господа не господа, а гулявшие, веселые господа; так-таки вот такого и сдали; подрались они, что ли, или судорогой какой его передернуло, Бог знает какого тут было; а господа веселые, хорошие!» Взяли Семена Ивановича, приподняли на пару-другую дюжих плеч и снесли на кровать. Когда же Семен Иванович, помещаясь на постель, ощупал собою золовку и упер ноги в свой заветный сундук, то вскрикнул благим матом, уселся

* Удар.

почти на корячки и, весь дрожа и трепеща, загреб и заместил сколько мог руками и телом пространства на своей кровати, тогда как, трепещущим, но странно-решительным взором окидывая присутствующих, казалось, изъяснял, что скорее умрет, чем уступит кому-нибудь хоть сотую капельку из бедной своей благостыни...

Семен Иванович пролежал дня два или три, плотно обставленный ширмами и отделенный таким образом от всего Божьего света и всех напрасных его треволнений. Как следует, назавтра же все о нем позабыли; время летело меж тем своим чередом, часы сменялись часами, день другим. Полусон, полубред налегли на отяжелевшую, горячую голову больного; но он лежал смирно, не стонал и не жаловался; напротив, притих, молчал и крепился, приплюснув себя к постели своей, словно как заяц припадает от страха к земле, заслышав охоту. Порой наставала в квартире долгая, тоскливая тишина, — знак, что все жильцы удалялись по должности, и просыпавшийся Семен Иванович мог сколько угодно развлекать тоску свою, прислушиваясь к близкому шороху в кухне, где хлопотала хозяйка, или к мерному отшлепыванию стоптанных башмаков Авдотьи-работницы по всем комнатам, когда она, охая и кряхтя, прибирала, притирала и приглаживала во всех углах для порядка. Целые часы проходили таким образом, дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мерно в кухне с залавка в лохань. Наконец приходили жильцы, поочередно или кучками, и Семен Иванович очень удобно мог слышать, как они бранили погоду, хотели есть, как шумели, курили, бранились, дружились, играли в карты и стучали чашками, собираясь пить чай. Семен Иванович машинально делал усилие привстать и присоединиться законным образом для составления напитка, но тут же впадал в усыпление и грезил, что уже давно сидит за чайным столом, участвует и беседует и что Зиновий Прокофьевич успел уже, пользуясь случаем, вклеить в разговор какой-то проект о золовках и о нравственном отношении к ним различных хороших людей. Тут Семен Иванович поспешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех языков могуче-форменная фраза «неоднократно замечено» окончательно осекла все его возражения, и Семен Иванович ничего не мог придумать лучшего, как начать снова грезить о том, что сегодня первое число и что он получает целковики в своей канцелярии. Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее отделить целую половину из законного возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в сапог, потом, тут же на лестнице и вовсе не обращая внимания на то, что действует на своей постели, во сне, ре-

шил, пришед домой, немедленно воздать что следует за харчи и постой хозяйке своей, потом накупить кой-чего необходимого и показать кому следует, как будто без намерения и нечаянно, что подвергся вычету, что остается ему и всего ничего и что вот и золовке-то послать теперь нечего, причем погоревать тут же о золовке, много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через десять еще повторить мимоходом об ее нищете, чтоб не забыли товарищи. Решив таким образом, он увидел, что и Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно молчаливый лысый человечек, который помещался в канцелярии за целые три комнаты от места сиденья Семена Ивановича и в двадцать лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, тоже считает свои рубли серебром и, тряхнув головою, говорит ему: «Денежки-с!» — «Их не будет, и каши не будет-с, — сурово прибавляет он, сходя с лестницы, и уже на крыльце заключает, — а у меня, сударь, семеро-с». Тут лысый человечек, тоже, вероятно, нисколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в действительности, показал ровно аршин с вершком от полу и, махнув рукой в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию; затем, с негодованием взглянув на Семена Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро, нахлобучил на глаза свою шляпёнку, тряхнул шинелью, поворотил налево и скрылся. Семен Иванович весьма испугался, и хотя был совершенно уверен в невинности своей насчет неприятного стечения числа семерых под одну кровлю, но на деле как будто бы именно так выходило, что виноват не кто другой, как Семен Иванович. Испугавшись, он принялся бежать, ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его и хочет, обшарив, отнять всё возмездие, опираясь на свое неотъемлемое число семерых и решительно отрицая всякое возможное отношение каких бы то ни было золовок к Семену Ивановичу. Господин Прохарчин бежал, бежал, задыхался... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмездиями в задних карманах своих кургузых фрачишек; наконец весь народ побежал, загремели пожарные трубы, и целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый пожар, на котором он присутствовал в последний раз вместе с попрошайкой-пьянчужкой. Пьянчужка, — иначе господин Зимовейкин, — находился уже там, встретил Семена Ивановича, страшно захлопотал, взял его за руку и повел в самую густую толпу. Так же как и тогда наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив меж двумя мостами всю набережную Фонтанки, все окрестные улицы и переулки; так же как и тогда, вынесло Семена Ивановича вместе с

пьянчужкой за какой-то забор, где притиснули их, как в клещах, на огромном дровяном дворе, полном зрителями, собравшимися с улиц, с Толкучего рынка и из всех окрестных домов, трактиров и кабаков. Семен Иванович видел всё так же и по-тогдашнему чувствовал; в вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица. Он припомнил из них кой-кого. Один был тот самый, чрезвычайно внушавший всем господин, в сажень ростом и с аршинными усищами, помещавшийся во время пожара за спиной Семена Ивановича и задававший сзади ему поощрения, когда наш герой, с своей стороны, почувствовав нечто вроде восторга, затопал ножонками, как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожарной работе, которую совершенно видел с своего возвышения. Другой — тот самый дюжий парень, от которого герой наш приобрел тумака в виде подсадки на другой забор, когда было совсем расположился лезть через него, может быть, кого-то спасать. Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморроидальным лицом, в ветхом, чем-то подпоясанном ватном халатишке, отлучившегося было еще до пожара в лавочку за сухарями и табаком своему жильцу и пробивавшегося теперь, с молочником и с четверкой в руках, сквозь толпу, до дома, где горели у него жена, дочка и тридцать с полтиною денег в углу под периной. Но всего внятнее явилась ему та бедная, грешная баба, о которой он уже не раз грезил во время болезни своей, — представилась так, как была тогда — в лаптишках, с костылем, с плетеной котомкой за спиною и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, размахивая костылем и руками, о том, что выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при сем случае тоже два пятака. Дети и пятаки, пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной, глубокой бессмыслице, от которой все отступились после тщетных усилий понять; но баба не унималась, всё кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания ни на пожар, на который занесло ее народом с улицы, ни на весь люд-людской, около нее бывший, ни на чужое несчастие, ни даже на головешки и искры, которые уже начали было пудрить весь около стоявший народ. Наконец господин Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас; ибо видел ясно, что всё это как будто неспроста теперь делается и что даром ему не пройдет. И действительно, тут же недалеко от него взмостился на дрова какой-то мужик, в разорванном, ничем не подпоясанном армяке, с опаленными волосами и бородой, и начал подымать весь Божий народ на Семена Ивановича. Толпа густела-густела, мужик кричал, и, цепенея от ужаса, господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик — тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад

надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки так, как будто бы бежал босиком по раскаленной плите. Отчаянный господин Прохарчин хотел говорить, кричать, но голос его замирал. Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвивает его подобно пестрому змею, давит, душит. Он сделал невероятное усилие и — проснулся. Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол, горят его ширмы, вся квартира горит, вместе с Устиньей Федоровной и со всеми ее постояльцами, что горит его кровать, подушка, одеяло, сундук и, наконец, его драгоценный тюфяк. Семен Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой так, как был, без приличия, босой и в рубашке, его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ширмы, которые, между прочим, совсем не горели, а горела скорее голова Семена Ивановича, — и уложили в постель. Подобно тому укладывает в свой походный ящик оборванный, небритый и суровый артист-шарманщик своего пульчинеля, набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу черту и наконец оканчивающего существование свое до нового представления в одном сундуке вместе с тем же чертом, с арапами, с Петрушкой, с мамзель Катериной и счастливым любовником ее, капитаном-исправником.

Немедленно все обступили Семена Ивановича, старый и малый, поместившись рядком вокруг его кровати и устремив на больного полные ожидания лица. Между тем он очнулся, но, от совести ль, или иного чего, начал вдруг изо всех сил натягивать на себя одеяло, желая, вероятно, укрыться под ним от внимания сочувствователей. Наконец Марк Иванович первый прервал молчание и, как умный человек, начал весьма ласково говорить, что Семену Ивановичу нужно совсем успокоиться, что болеть скверно и стыдно, что так делают только дети маленькие, что нужно выздоравливать, а потом и служить. Окончил Марк Иванович шуточкой, сказав, что больным не означен еще вполне оклад жалованья, и так как он твердо знает, что и чины идут тоже весьма небольшие, то, по его разумению по крайней мере, такое звание или состояние не приносит больших, существенных выгод. Одним словом, видно было, что все принимали действительное участие в судьбе Семена Ивановича и весьма сердобольничали. Но он с непонятною грубостью продолжал лежать на кровати, молчать и упорно всё более и более натягивать на себя одеяло. Марк Иванович, однако, не признал себя побежденным и, скрепив сердце, сказал опять что-то очень сладенькое Семену Ивановичу, зная, что так и должно поступать с больным человеком; но

Семен Иванович не хотел и почувствовать; напротив, промычал что-то сквозь зубы с самым недоверчивым видом и вдруг начал совершенно неприязненным образом косить исподлобья направо и налево глазами, казалось, желая взглядом своим обратить в прах всех сочувствователей. Тут уж нечего было останавливаться: Марк Иванович не вытерпел и, видя, что человек просто дал себе слово упорствовать, оскорбясь и рассердившись совсем, объявил напрямки и уже без сладких околичностей, что пора вставать, что лежать на двух боках нечего, что кричать днем и ночью о пожарах, золовках, пьянчужках, замках, сундуках и черт знает об чем еще — глупо, неприлично и оскорбительно для человека, ибо если Семен Иванович спать не желает, так чтобы другим не мешал и чтоб он, наконец, это всё изволил намотать себе на ус. Речь произвела свое действие, ибо Семен Иванович, немедленно обернувшись к оратору, с твердостью объявил, хотя еще слабым и хриплым голосом, что «ты, мальчишка, молчи! празднословный ты человек, сквернослов ты! слышь, каблук! князь ты, а? понимаешь штуку?» Услышав такое, Марк Иванович вспылил, но, заметив, что действует с больным человеком, великодушно перестал обижаться, а, напротив, попробовал его пристыдить, но осекся и тут; ибо Семен Иванович сразу заметил, что шутить с собой не позволит, даром что Марк Иванович стихи сочинил. Последовало двухминутное молчание; наконец, опомнившись от своего изумления, Марк Иванович прямо, ясно, весьма красноречиво, хотя не без твердости, объявил, что Семен Иванович должен знать, что он меж благородных людей и что, «милостивый государь, должны понимать, как поступают с благородным лицом». Марк Иванович умел при случае красноречиво сказать и любил внушить своим слушателям. С своей стороны, Семен Иванович говорил и поступал, вероятно от долгой привычки молчать, более в отрывистом роде, и кроме того, когда, например, случалось ему вести долгую фразу, то, по мере углубления в нее, каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову, другое слово, тотчас при рождении, по третьему, третье по четвертому и т. д., так что набивался полон рот, начиналась перхота, и набивные слова принимались наконец вылетать в самом живописном беспорядке. Вот почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный вздор. «Врешь ты, — отвечал он теперь, — детина, гулявый ты парень! а вот как наденешь суму, — побираться пойдешь; ты ж вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец!»

— Да вы это всё еще бредите, что ли, Семен Иванович?

— А, слышь, — отвечал Семен Иванович, — бредит дурак, пьянчужка бредит, пес бредит, а мудрый благоразумному слу-

жит. Ты, слышь, дела ты не знаешь, потаскливый ты человек, ученый ты, книга ты писаная! А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь, как голова отгорит, вот, слышал историю?!

— Да... то есть как же... то есть как же вы это говорите, Семен Иванович, что голова отгорит?..

Марк Иванович и не докончил, ибо все увидели ясно, что Семен Иванович еще не отрезвился и бредит; но хозяйка не вытерпела и тут же заметила, что дом в Кривом переулке ономнясь от лысой девки сгорел; что лысая девка там такая была; она свечку зажгла и чулан запалила; а у ней не случится, и что в углах будет цело.

— Да ведь, Семен Иванович! — закричал вне себя Зиновий Прокофьевич, перебивая хозяйку. — Семен Иванович, такой вы, сякой, прошедший вы, простой человек, шутки тут, что ли, с вами шутят теперь про вашу золовку или экзамены с танцами? так оно, что ли? Этак вы думаете?

— Ну, слышь ты теперь, — отвечал наш герой, приподымаясь с постели, собрав последние силы и вконец озлясь на сочувствователей, — шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской человек, а шутки делать по твоему, сударь, приказу не буду; слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга!

Тут Семен Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии упал на постель. Сочувствователи остались в недоумении, все разинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семен Иванович ногой ступил, и не знали с чего начать; вдруг дверь в кухне скрипнула, отворилась и пьянчужка-приятель, — иначе господин Зимовейкин, — робко просунул голову, осторожно обнюхивая, по своему обычаю, местность. Его точно ждали; все разом замахали ему, чтоб шел поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели, поспешно и в полной готовности протолкался к постели Семена Ивановича.

Видно было, что Зимовейкин провел всю ночь в бдении и в каких-то важных трудах. Правая сторона его лица была чем-то заклеена; опухшие веки были влажны от гноившихся глаз; фрак и всё платье было изорвано, причем вся левая сторона одеяния была как будто опрыскана чем-то крайне дурным, может быть грязью из какой-нибудь лужи. Под мышкой у него была чья-то скрипка, которую он куда-то нес продавать. По-видимому, не ошиблись, призвав его на помощь, ибо тотчас, узнав, в чем вся сила, обратился он к накуролесившему Семену Ивановичу и с видом такого человека, который имеет превосходство и, сверх того, знает штуку, сказал: «Что ты, Сенька? вставай! что ты, Сенька, Прохарчин-мудрец, благоразумию послужи! Не то стащу, если куражиться будешь; не куражься!» Такая краткая, но

сильная речь удивила присутствующих; еще более все удивились, когда заметили, что Семен Иванович, услышав всё это и увидав перед собою такое лицо, до того оторопел и пришел в смущение и робость, что едва-едва и только сквозь зубы, шепотом, решился пробормотать необходимое возражение. «Ты, несчастный, ступай, — сказал он, — ты, несчастный, вор ты! слышь, понимаешь? туз ты, князь, тузовый ты человек!»

— Нет, брат, — протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя всё присутствие духа, — нехорошо, ты, брат-мудрец, Прохарчин, прохарчинский ты человек! — продолжал Зимовейкин, немного пародируя Семена Ивановича и с удовольствием озираясь кругом. — Ты не куражься! Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, всё, братец ты мой, расскажу, понимаешь?

Кажется, Семен Иванович всё разобрал, ибо вздрогнул, когда выслушал заключение речи, и вдруг начал быстро и с совершенно потерянным видом озираться кругом. Довольный эффектом, господин Зимовейкин хотел продолжать, но Марк Иванович тотчас же предупредил его рвение и, выждав время, пока Семен Иванович притих, присмирел и почти совсем успокоился, начал долго и благоразумно внушать беспокойному, что «питать подобные мысли, как у него теперь в голове, во-первых, бесполезно, во-вторых, не только бесполезно, но даже и вредно; наконец, не столько вредно, сколько даже совсем безнравственно; и причина тому та, что Семен Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример подает». От такой речи все ожидали благоразумного следствия. К тому же Семен Иванович был теперь совсем тих и возражал умеренно. Начался скромный спор. Адресовались к нему братски, осведомляясь, чего он так заробел? Семен Иванович ответил, но иносказательно. Ему возразили; Семен Иванович возразил. Возразили еще по разу с обеих сторон, а потом уж вмешались все, и старый и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как это всё выразить. Спор наконец дошел до нетерпения, нетерпение до криков, крики даже до слез, и Марк Иванович отошел наконец с пеной бешенства у рта, объявив, что не знал до сих пор такого гвоздя-человека. Оплеваниев плюнул, Океанов перепугался, Зиновий Прокофьевич прослезился, а Устинья Федоровна завыла совсем, причитая, что «уходит жилец и рехнулся, что умрет он, млад, без паспорта, не скажется, а она сирота, и что ее затаскают». Одним словом, все наконец увидели ясно, что посев был хорош, что всё, что ни вздумалось сеять, сторицею взошло, что почва была благодатная и что Семену Ивановичу удалось отработать в их компании свою голову на славу и на самый безвозвратный манер. Все замолчали, ибо если видели, что

Семен Иванович от всего заробел, то на этот раз заробели и сами сочувствователи...

— Как! — закричал Марк Иванович, — да чего ж вы боитесь-то? чего ж вы ряхнулись-то? Кто об вас думает, сударь вы мой? Имеете ли право бояться-то? Кто вы? что вы? Нуль, сударь, блин круглый, вот что! Что вы стучите-то? Бабу на улице придавило, так и вас переедет? пьяница какой-нибудь карман не сберег, так и вам фалды отрежут? Дом сгорел, так и у вас голова отгорит, а? Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка? так ли?

— Ты, ты, ты глуп! — бормотал Семен Иванович. — Нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь...

— Каблук, пусть каблук, — кричал Марк Иванович, не вслушавшись, — каблуковый я человек, пожалуй. Да ведь мне не экзамен держать, не жениться, не танцам учиться; подо мной, сударь, место не сломится. Что, батюшка? Так вам и места широкого нет? Пол там под вами провалится, что ли?

— А что? тебя, что ли, спросят? Закроют, и нет.

— Нет. Что закроют?! Что там еще у вас, а?

— А вот пьянчужку ссадили...

— Ссадили; да ведь то же пьянчужка, а вы да я человек!

— Ну, человек. А она стоит, да и нет...

— Нет! Да кто она-то?

— Да она, канцелярия... кан-це-ля-рия!!!

— Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то...

— Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна. Вот, слышал историю...

— Да ведь вам жалованье ж дадут годовое! Фома, Фома вы такой, неверный вы человек! по старшинству в ином месте уважат...

— Жалованье? А я вот проел жалованье, воры придут, деньги возьмут; а у меня золовка, слышь ты? золовка! гвоздырь ты...

— Золовка! человек вы...

— Человек; а я человек, а ты, начитанный, глуп; слышь, гвоздырь, гвоздыревый ты человек, вот что! А я не по шуткам твоим говорю; а оно место такое есть, что возьмет да и уничтожается место. И Демид, слышь ты, Демид Васильевич говорит, что уничтожается место...

— Ах вы, Демид, Демид! греховодник, да ведь...

— Да, хлоп, да и баста, и будешь без места; поди ты с ним, вот...

— Да вы, наконец, просто врете или ряхнулись совсем! Вы нам просто скажите; уж что? признайтесь, коль грех такой есть! стыдиться-то нечего! ряхнулся, батюшка, а?

— Ряхнулся! с ума сошел! — раздалось кругом, и все ломали руки с отчаяния, а Марка Ивановича уже обхватила в обе руки хозяйка, затем чтоб он не растерзал как-нибудь Семена Ивановича.

— Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты! — умолял Зимовейкин. — Сеня, необидчивый ты человек, миловидный, любезный! ты прост, ты добродетельный... слышал? Это от добродетели твоей происходит; а буйный и глупый-то я, побирушка-то я; а вот же добрый человек меня не оставил небось; честь, вишь, делают; вот им и хозяйке спасибо; видишь ты, вот и поклон земной правлю, вот оно, вот; долг, долг исправляю, хозяюшка! — Тут действительно Зимовейкин и даже с каким-то педантским достоинством исполнил кругом свой поклон до земли. После того Семен Иванович хотел было опять продолжать говорить, но в этот раз ему уже не дали; все вступились, стали его умолять, заверять, утешать и достигли того, что Семен Иванович даже устыдился совсем и наконец слабым голосом попросил объясниться.

— Да вот; оно хорошо, — сказал он, — миловидный я, смирный, слышь, и добродетелен, предан и верен; кровь, знаешь, каплю последнюю, слышь ты, мальчишка, туз... пусть оно стоит, место-то; да я ведь бедный; а вот как возьмут его, слышь ты, тузовый, — молчи теперь, понимай, — возьмут, да и того... оно, брат, стоит, а потом и не стоит... понимаешь? а я, брат, и с сумочкой, слышь ты?

— Сенька! — завопил в исступлении Зимовейкин, покрывая в этот раз голосом весь поднявшийся шум. — Вольнодумец ты! Сейчас донесу! Что ты? кто ты? буян, что ли, бараний ты лоб? Буйному, глупому, слышь ты, без абшида с места укажут; ты кто?!

— Да вот оно и того...

— Что того?!

— Да вот, поди ты с ним!..

— Что поди ты с ним?

— Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь-лежишь, и того...

— Чего?

— Ан и вольнодумец...

— Воль-но-ду-мец! Сенька, ты вольнодумец!!

— Стой! — закричал господин Прохарчин, махнув рукою и прерывая начавшийся крик. — Я не того... Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и несмирный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..

— Да что ж вы? — прогремел наконец Марк Иванович, вскочив со стула, на котором было сел отдохнуть, и подбежав к кровати весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства, — что ж вы? баран вы! ни кола, ни двора. Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..

Но господин Прохарчин уже и не отвечал на этот вопрос. Не то чтоб устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя такую ответственность, — нет, он уж и не мог более ни спорить, ни дела говорить... Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнем серых глаз. Костлявыми, исхудалыми от болезни руками закрыл он свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный, простой человек, что он глупый и темный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили, и Бог знает что еще причитал Семен Иванович. Причитая же, он с диким страхом глядел кругом, как будто ожидая, что вот-вот сейчас потолок упадет или пол провалится. Всем стало жалко, глядя на бедного, и у всех умягчились сердца. Хозяйка, рыдая, как баба, и причитая про свое сиротство, сама уложила больного в постель. Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь. Другие, чтоб что-нибудь в свою очередь сделать, предложили малинный настой, говоря, что он немедленно и от всего помогает и что будет очень приятен больному; но Зимовейкин тотчас же всех опровергнул, включив, что в таком деле нет лучше доброго приема какой-нибудь ромашки забористой. Что же касается до Зиновья Прокофьевича, то, имея доброе сердце, он рыдал и заливался слезами, раскаиваясь, что пугал Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный и чтоб его накормили, пустился созидать подписку, ограничиваясь ею покамест в углах. Все охали и ахали, всем было и жалко и горько, и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть человек? И из чего ж заробел? Добро бы был при месте большом, женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой ни есть притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком, лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку, с пошлого, праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем забояться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело...

А и не рассудил человек, что и всем тяжело! «Прими он вот только это в расчет, — говорил потом Океанов, — что вот всем тяжело, так сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как куда следует». Целый день только и толку было, что о Семене Ивановиче. Приходили к нему, справлялись о нем, утешали его; но к вечеру ему стало не до утешений. Открылся у бедного бред, жар; впал он в беспамятство, так что чуть было уж не хотели пуститься за доктором; жильцы все согласились и дали себе взаимное слово охранять и упокоивать Семена Ивановича поочередно всю ночь, и что случится, то всех будить разом. С этою целью, чтоб не заснуть, засели в картишки, приставив к больному пьянчужку-приятеля, который квартировал весь день в углах, у постели больного, и попросился заночевать. Так как игра велась на мелок и не представляла совсем интереса, то скоро соскучились. Игру бросили, потом о чем-то заспорили, потом начали шуметь и стучать, наконец разошлись по углам, долго еще в сердцах перекликались и переговаривались, и так как вдруг все стали сердиты, то уж не захотели дежурить и заснули. Скоро в углах стало тихо, как в пустом погребе, тем более что был холод ужаснейший. Из последних заснувших был Океанов, «и не то, — как говорил он потом, — во сне, не то было оно наяву, но привиделось мне, что близ меня, этак перед самым утренним часом, разговаривали два человека». Океанов рассказывал, что он узнал Зимовейкина и что Зимовейкин стал возле него будить старого друга Ремнева, что они долго шепотом говорили; потом Зимовейкин вышел, и слышно было, как он пытался отпереть в кухне дверь ключом. Ключ же, уверяла потом хозяйка, лежал у нее под подушками и пропал в эту ночь. Наконец, показывал Океанов, слышалось ему, как будто оба они пошли к больному за ширмы и засветили там свечку. Более, говорит, ничего не знаю, глаза завело; а проснулся потом вместе со всеми, когда все, кто ни были в углах, разом повскочили с постелей, затем что за ширмами раздался такой крик, что встрепенулся бы мертвый, — и тут многим показалось, что вдруг там же свечка потухла. Поднялась суматоха; у всех сердце упало; бросились как ни попало на крик, но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брань и драка. Вздули огонь и увидели, что дерутся друг с другом Зимовейкин и Ремнев, что оба друг друга корят и ругают, а как осветили их, то один закричал: «Не я, а разбойник!», а другой, именно Зимовейкин, закричал: «Не трожь, неповинен; сейчас присягну!» На обоих образа не было человеческого; но в первую минуту не до них было дело: больного не оказалось на прежнем месте за ширмами. Тотчас же разлучили бойцов, оттащили их и увидели, что господин Прохар-

чин лежит под кроватью, должно быть в совершенном беспамятстве, стащив на себя и одеяло и подушку, так что на кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк (простыни же на нем никогда не бывало). Вытащили Семена Ивановича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили, что много хлопотать было нечего, что капут совершенный; руки его костенеют, а сам еле держится. Стали над ним: он всё еще помаленьку дрожал и трепетал всем телом, что-то силился сделать руками, языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным образом, как, говорят, моргает вся еще теплая, залитая кровью и живущая голова, только что отскочившая от палачова топора.

Наконец всё стало тише и тише; замерли и предсмертный трепет и судороги; господин Прохарчин протянул ноги и отправился по своим добрым делам и грехам. Испугался ли Семен Иванович чего, сон ли ему приснился такой, как потом Ремнев уверял, или был другой какой грех — неизвестно; дело только в том, что хотя бы теперь сам экзекутор явился в квартире и лично за вольнодумство, буянство и пьянство объявил бы абшид Семену Ивановичу, если б даже теперь в другую дверь вошла какая ни есть попрошайка-салопница, под титулом золовки Семена Ивановича, если б даже Семен Иванович тотчас получил двести рублей награждения или дом, наконец, загорелся и начала гореть голова на Семене Ивановиче, он, может быть, и пальцем не удостоил бы пошевелить теперь при подобных известиях. Покамест сошел первый столбняк, покамест присутствующие обрели дар слова и бросились в суматоху, предположения, сомнения и крики, покамест Устинья Федоровна тащила из-под кровати сундук, обшаривала впопыхах под подушкой, под тюфяком и даже в сапогах Семена Ивановича, покамест принимали в допрос Ремнева с Зимовейкиным, жилец Океанов, бывший доселе самый недальний, смиреннейший и тихий жилец, вдруг обрел всё присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок ускользнул из квартиры. И когда все ужасы безначалия достигли своего последнего периода в взволнованных и доселе смиренных углах, дверь отворилась и внезапно, как снег на голову, появились сперва один господин благородной наружности с строгим, но недовольным лицом, за ним Ярослав Ильич, за Ярославом Ильичом его причет и все кто следует и сзади всех — смущенный господин Океанов. Господин строгой, но благородной наружности подошел прямо к Семену Ивановичу, пощупал его, сделал гримасу, вскинул плечами и объявил весьма известное, именно, что покойник уже умер, прибавив только от себя, что то же со сна случилось на днях с одним весьма почтенным и большим господином, который тоже взял да и умер. Тут господин с

благородной, но недовольной осанкой отошел от кровати, сказал, что напрасно его беспокоили, и вышел. Тотчас же заместил его Ярослав Ильич (причем Ремнева и Зимовейкина сдали кому следует на руки), расспросил кой-кого, ловко овладел сундуком, который хозяйка уже пыталась вскрывать, поставил сапоги на прежнее место, заметив, что они все в дырьях и совсем не годятся, потребовал назад подушку, подозвал Океанова, спросил ключ от сундука, который нашелся в кармане пьянчужки-приятеля, и торжественно, при ком следует, вскрыл добро Семена Ивановича. Всё было налицо: две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько пуговиц, старые подошвы и сапожные голенища, — одним словом, шильце, мыльце, белое белильце, то есть дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от которой пахло залавком; хорош был один только немецкий замок. Позвали Океанова, сурово переговорили с ним; но Океанов был готов под присягу идти. Потребовали подушку, осмотрели ее: она была только грязна, но во всех других отношениях совершенно походила на подушку. Принялись за тюфяк, хотели было его приподнять, остановились было немножко подумать, но вдруг, совсем неожиданно, что-то тяжелое, звонкое хлопнулось об пол. Нагнулись, обшарили и увидели сверток бумажный, а в свертке с десяток целковиков. «Эге-ге-ге!» — сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфяке одно худое место, из которого торчали волосья и хлопья. Осмотрели худое место и уверились, что оно сейчас только сделано ножом, а было в пол-аршина длиною; засунули руку в изъян и вытащили, вероятно, впопыхах брошенный там хозяйский кухонный нож, которым взрезан был тюфяк. Не успел Ярослав Ильич вытащить нож из изъянного места и опять сказать «эге-ге!» — как тотчас же выпал другой сверток, а за ним поодиначке выкатились два полтинника, один четвертак, потом какая-то мелочь и один старинный здоровенный пятак. Всё это тотчас же переловили руками. Тут увидели, что недурно бы было вспороть совсем тюфяк ножницами. Потребовали ножницы...

Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцов группировалось у кровати в самых живописных костюмах, все неприглаженные, небритые, немытые, заспанные, так, как были, отходя на грядущий сон. Иные были совершенно бледны, у других на лбу пот показывался, иных дрожь пронимала, других жар. Хозяйка, совсем оглупевшая, тихо стояла, сложив руки и ожидая милостей Ярослава Ильича. Сверху, с печки, с испуганным любопытством глядели головы Авдотьи-работницы и хозяйкиной кошки-фаворитки; кругом были разбросаны изорванные и разби-

тые ширмы; раскрытый сундук показывал свою неблагородную внутренность; валялись одеяло и подушка, покрытые хлопьями из тюфяка, и, наконец, на деревянном трехногом столе заблистала постепенно возраставшая куча серебра и всяких монет. Один только Семен Иванович сохранил вполне свое хладнокровие, смирно лежал на кровати и, казалось, совсем не предчувствовал своего разорения. Когда же принесены были ножницы и помощник Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного нетерпеливо тряхнул тюфяк, чтоб удобнее высвободить его из-под спины обладателя, то Семен Иванович, зная учтивость, сначала уступил немножко места, скатившись на бочок, спиною к искателям; потом, при втором толчке, поместился ничком, наконец еще уступил, и так как недоставало последней боковой доски в кровати, то вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз головою, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие кверху, как два сучка обгоревшего дерева. Так как господин Прохарчин уже второй раз в это утро наведывался под свою кровать, то немедленно возбудил подозрение, и кое-кто из жильцов, под предводительством Зиновия Прокофьевича, полезли туда же с намерением посмотреть, не скрыто ли и там кой-чего. Но искатели только напрасно перестукались лбами, и так как Ярослав Ильич тут же прикрикнул на них и велел немедленно освободить Семена Ивановича из скверного места, то двое из благоразумнейших взяли каждый в обе руки по ноге, вытащили неожиданного капиталиста на свет Божий и положили его поперек кровати. Между тем волосья и хлопья летели кругом, серебряная куча росла — и Боже! чего, чего не было тут... Благородные целковики, солидные, крепкие полуторарублевики, хорошенькая монета полтинник, плебеи четвертачки, двугривеннички, даже малообещающая, старушечья мелюзга, гривенники и пятаки серебром, — всё в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. Были и редкости: два какие-то жетона, один наполеондор, одна неизвестно какая, но только очень редкая монетка... Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой древности; истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие крестовики, петровские монеты, екатерининские; были, например, теперь весьма редкие монетки, старые пятиалтыннички, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но с законным количеством точек; даже медь была, но вся уже зеленая, ржавая... Нашли одну красную бумажку — но более не было. Наконец, когда кончилась вся анатомия и, неоднократно встряхнув тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит, сложили все деньги на стол и принялись считать. С первого взгляда можно было даже совсем обмануться и смекнуть прямо на милли-

он — такая была огромная куча! Но миллиона не было, хотя и вышла, впрочем, сумма чрезвычайно значительная, — ровно две тысячи четыреста девяносто семь рублей с полтиною, так что если б осуществилась вчера подписка у Зиновия Прокофьевича, то, может быть, было бы всего ровно две тысячи пятьсот рублей ассигнациями. Денежки забрали, к сундуку покойного приложили печать, хозяйкины жалобы выслушали и указали ей, когда и куда следует представить свидетельство насчет должишка покойного. С кого следовало взяли подписку; заикнулись было тут о золовке; но, уверившись, что золовка была в некотором смысле миф, то есть произведение недостаточности воображения Семена Ивановича, в чем, по справкам, не раз упрекали покойного, — то тут же идею оставили как бесполезную, вредную и в ущерб доброго имени его, господина Прохарчина, относящуюся; тем дело и кончилось. Когда же первый страх поопал, когда схватились за ум и узнали, что́ был такое покойник, то присмирели, притихнули все и стали как-то с недоверчивостью друг на друга поглядывать. Некоторые приняли чрезвычайно близко к сердцу поступок Семена Ивановича и даже как будто обиделись... Такой капитал! Этак натаскал человек! Марк Иванович, не теряя присутствия духа, пустился было объяснять, почему так вдруг заробелось Семену Ивановичу; но его уж не слушали. Зиновий Прокофьевич что-то был очень задумчив, Океанов подпил немножко, остальные как-то прижались, а маленький человечек Кантарев, отличавшийся воробьиным носом, к вечеру съехал с квартиры, весьма тщательно заклеив и завязав все свои сундучки, узелки и холодно объясняя любопытствующим, что время тяжелое, а что приходится здесь не по карману платить. Хозяйка же без умолку выла, и причитая и кляня Семена Ивановича за то, что он обидел ее сиротство. Осведомились у Марка Ивановича, зачем же это покойник свои деньги в ломбард не носил?

— Прост, матушка, был; воображения на то не хватило, — отвечал Марк Иванович.

— Ну да и вы просты, матушка, — включал Океанов, — двадцать лет крепился у вас человек, с одного щелчка покачнулся, а у вас щи варились, некогда было!.. Э-эх, матушка!..

— Ох уж ты мне, млад-млад! — продолжала хозяйка, — да что ломбард! принеси-ка он мне свою горсточку да скажи мне: возьми, млад-Устиньюшка, вот тебе благостыня, а держи ты младого меня на своих харчах, поколе мать сыра земля меня носит, — то, вот тебе образ, кормила б его, поила б его, ходила б за ним. Ах, греховодник, обманщик такой! Обманул, надул сироту!..

Приблизились снова к постели Семена Ивановича. Теперь он лежал как следует, в лучшем, хотя, впрочем, и единственном своем одеянии, запрятав окостенелый подбородок за галстух, который навязан был немножко неловко, обмытый, приглаженный и не совсем лишь выбритый, затем что бритвы в углах не нашлось: единственная, принадлежавшая Зиновию Прокофьевичу, иззубрилась еще прошлого года и выгодно была продана на Толкучем; другие ж ходили в цирюльню. Беспорядок всё еще не успели прибрать. Разбитые ширмы лежали по-прежнему и, обнажая уединение Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть срывает завесу со всех наших тайн, интриг, проволочек. Начинка из тюфяка, тоже не прибранная, густыми кучами лежала кругом. Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с разоренным гнездом «домовитой» ласточки: всё разбито и истерзано бурею, убиты птенчики с матерью, и развеяна кругом их теплая постелька из пуха, перушек, хлопок... Впрочем, Семен Иванович смотрел скорее как старый самолюбец и вор-воробей. Он теперь притихнул, казалось, совсем притаился, как будто и не он виноват, как будто не он пускался на штуки, чтоб надуть и провести всех добрых людей, без стыда и без совести, неприличнейшим образом. Он теперь уж не слушал рыданий и плача осиротевшей и разобиженной хозяйки своей. Напротив, как опытный, тертый капиталист, который и в гробу не желал бы потерять минуты в бездействии, казалось, весь был предан каким-то спекулятивным расчетам. В лице его появилась какая-то глубокая дума, а губы были стиснуты с таким значительным видом, которого никак нельзя было бы подозревать при жизни принадлежностью Семена Ивановича. Он как будто бы поумнел. Правый глазок его был как-то плутовски прищурен; казалось, Семен Иванович хотел что-то сказать, что-то сообщить весьма нужное, объясниться, да и не теряя времени, а поскорее, затем, что дела навязались, а некогда было... И как будто бы слышалось: «Что, дескать, ты? перестань, слышь ты, баба ты глупая! не хнычь! ты, мать, проспись, слышь ты! Я, дескать, умер; теперь уж не нужно; что, заправду! Хорошо лежать-то... Я, то есть, слышь, и не про то говорю; ты, баба, туз, тузовая ты, понимай; оно вот умер теперь; а ну как этак того, то есть оно, пожалуй, и не может так быть, а ну как этак того, и не умер — слышь ты, встану, так что-то будет, а?»

# КАК ОПАСНО ПРЕДАВАТЬСЯ ЧЕСТОЛЮБИВЫМ СНАМ

Фарс совершенно неправдоподобный, в стихах,
с примесью прозы.
Соч. гг. Пружинина, Зубоскалова, Белопяткина и К°

Лет за пятьсот и поболе случилось...
*Жуковский* («Ундина»)

## I

Месяц бледный сквозь щели глядит
Не притворенных плотно ставней...
Петр Иваныч свирепо храпит
Подле верной супруги своей.
На его оглушительный храп
Женин нос деликатно свистит.
Снится ей черномазый арап,
И она от испуга кричит.
Но, не слыша, блаженствует муж,
И улыбкой сияет чело:
Он помещиком тысячи душ
В необъятное въехал село.
Шапки снявши, народ перед ним
Словно в бурю валы на реке...
И подходят один за другим
К благосклонной боярской руке.
Произносит он краткую речь,
За добро обещает добром,
А виновных грозит пересечь
И уходит в хрустальный свой дом.
Там шинель на бобровом меху
Он небрежно скидает с плеча...
«Заварить на шампанском уху

И зажарить в сметане леща!
Да живей!.. Я шутить не люблю!»
(И ногою значительно топ).
. . . . . .
. . . . . .
Всех величьем своим устрашив,
На минуту вздремнуть захотел
И у зеркала (был он плешив)
Снял парик и... как смерть побледнел!
Где была лунолицая плешь,
Там густые побеги волос,
Взгляд убийственно нежен и свеж
И короче значительно нос...
Постоял, постоял — и бежать
Прочь от зеркала, с бледным лицом...
Вот, зажмурясь, подкрался опять...
Посмотрел... и запел петухом!
Ухвативши себя за бока,
Чуть касаясь ногами земли,
Принялся отдирать трепака...
«Ай люли! ай люли! ай люли!
Ну, узнай-ка теперича нас!
Каково? каково? каково?»
. . . . . .
. . . . . .
И, грозя проходившей чрез двор
Чернобровке, лукаво мигнул
И подумал: «У! тонкий ты вор,
Петр Иваныч! Куда ты метнул!..»
Растворилася дверь, и вошла
Чернобровка, свежа и плотна,
И на стол накрывать начала,
Безотчетного страха полна...
Вот уж подан и лакомый лещ,
Но не ест он, не ест, трепеща...
Лещ, конечно, прекрасная вещь,
Но есть вещи и лучше леща...
«Как зовут тебя, милая?.. ась?»
— «Палагеей». — «Зачем же, мой свет,
Босиком ты шатаешься в грязь?»
— «Башмаков у меня, сударь, нет». —
«Завтра ж будут тебе башмаки...
Сядь... поешь-ка со мною леща...
Дай-ка муху сгоню со щеки!..
Как рука у тебя горяча!..
Вот на днях я поеду в Москву
И гостинец тебе дорогой
Привезу...»

## II

Между тем наяву
Всё обычною шло чередой...

Но события таковы, что их решительно не видится необходимости воспевать стихами. В то время как в спальне не слышалось ничего, кроме носового деликатного свиста и не менее гармонического храпа, на кухне заметно уже было движение: кухарка, она же и горничная супруги Петра Иваныча, проснулась, накинула на себя какую-то красноватую кофту и, удостоверившись, через дверную скважину, что господа еще спят, поспешно вышла, затворив за собою дверь задвижкою. Всегда ли она так делала или только на сей раз позабыла прицепить к задвижке замок — неизвестно. Мрак неизвестности покрывает также причину и цель ее отлучки; известно только, что направилась она в который-то из верхних этажей того же дома. С достоверностию можно еще предположить, что отлучилась она искать соответствующей ее званию и наклонностям компании, потому что хотя был еще весьма ранний час утра, но по всей лестнице уже шныряли взад и вперед кухарки, лакеи и горничные, кто с кувшином воды, кто с коробкой угольев, и на всех этажах слышались громкие голоса, веселый визгливый смех и шарканье сапожных щеток. Черная лестница играет важную роль в жизни петербургского дворового человека: на ней проводит он лучшие часы жизни своей, — часы, в которые пугливый слух его не напрягается беспрестанно: не звонит ли барин? а мысль, что барин может появиться нечаянно и схватить его за вихор прежде, чем успеет он подавить веселую улыбку и придать физиономии своей угрюмо-почтительное выражение, так далека, что он даже забывает, что у него есть барин. Здесь обсуживаются добродетели и недостатки господ; рассуждается о том, что такое барыня, и вольно льется песня про барыню, про которую так любит петь русский человек и про которую знает столько прекрасных песен; производится вслух чтение газетных объявлений. Объявления: «Нужен человек, для комнат, красивой наружности, высокого роста и с хорошим аттестатом», и тому подобные особенно интересуют слушателей и бывают поводом жарких продолжительных прений, иногда не лишенных интереса и для тех, кто не ищет места в лакеи. Наконец, любезность дворового человека, столь ему свойственная, разыгрывается здесь во всем просторе своем.

Но будет об лестницах. Не прошло пяти минут по уходе кухарки, как дверь тихонько скрыпнула и в кухню осторожными



шагами вошел человек, несколько измятой, но благонамеренной наружности, вроде тех благородно-бедных существ, которые если и просят милостыню, то не иначе как по документу, напоминающему красноречием своим лучшие страницы тех произведений, которых расходилось по обширному нашему государству по сороку изданий:

«Преданный Вам всеми силами души, благоговеющее перед Вами человеческое существо, которое в настоящее время от невыносимых страданий, от смерти политики, похоронив себя заживо, без средства удержать за собою былое доброе имя и даже самое право на звание человека... Пав ниц, молит кровавою слезою из гроба отчаяния помочь плачь-доле горького бедовика...»

Несомненные признаки их — семь человек детей (непременно семь, ни больше ни меньше), мать на одре страдания, язык, несколько запинающийся при извещении, что третьи сутки (тоже ни больше ни меньше) не было уже маковой росинки во рту, и других уверениях, и чувство собственного достоинства, стоящее тридцать пять копеек, потому что они непременно обидятся подачей меньше гривенника, на что, впрочем, благородство происхождения дает им полное право. Они очень хорошо знают дорогу к кабаку и могут сказать о себе, что в кабаках их знают.

Впрочем, знают они много и других дорог. Если вздумается, входят в квартиру, и колокольчик у вашей двери, приведенный в движение их рукою, издает какой-то особенный, робкий и молящий звук, как будто у него тоже семь человек детей и мать на одре страдания. Входят, иногда и не позвонив, а просто потрогав сначала ручку не запертой на замок двери, — и тогда входят с

особенною осторожностию, и, если не встретят никого в первой комнате, на цыпочках пробираются во вторую, там в третью, — и вздрагивает и бледнеет какой-нибудь задумавшийся или заработавшийся господин, у которого человек ушел в лавочку купить четверку табаку, — увидев перед собою как будто с неба упавшую незнакомую и странную фигуру... Но особенно любят они навещать наезжающих в столицу художников, фокусников, всяких артистов и артисток — московских и заграничных, к которым являются обыкновенно с такими письмами:

«*Милостивейший государь!*

Есть несчастный сирота, обремененный малолетним многочисленным семейством, участь которого заслуживает сострадание всякого, имеющего душу, способную понимать бедствия ближнего. На расцвете лет он потерял добрую, кроткую мать и вслед за тем чадолюбивого отца — оставившего на его попечение семерых малюток. Перенося все страдания с христианским терпением, возвышающим душевное достоинство, он снискивает пропитание как помощию благотворительных лиц, так и самою работою, которая едва дает возможность поддерживать вверенное ему судьбою семейство. Несчастный этот — податель сего письма. Я же, не имея чести знать Вас лично и потому лишаясь права удостоверять преждевременно в истине моего к Вам уважения, надеюсь, что Вы, как артист, понимающий душу угнетенных судьбою людей, не рассердитесь на меня за то, что я решился доставить Вам торжество истинно христианское (крупными буквами): *помочь несчастному*! Десять, пять или даже рубль серебром пожертвовать семерым для Вас ничего не составит, сирот же заставит пролить слезы благодарности как пред образом Христа Спасителя, так и перед общим покровом всех — Пресвятой Богородицей.

Я был постоянным свидетелем Вашего торжества и, соглашаясь с единодушным отголоском просвещенной публики, повторяю еще раз (крупнейшими буквами): *Вы великий артист*! О, признаюсь откровенно, душевно благодарил публику за прием, коим она почтила нежданного дорогого гостя...

Христианское сострадание — не есть ли удел артистов? Помогите несчастному, и новый, спасительный подвиг увековечит Ваше пребывание в Петербурге.

С душевным почтением и таковою же преданностию имею честь быть свидетелем Вашего торжества»

и пр.

Кто им пишет такие письма — Бог знает. Но под ними обыкновенно читаешь подпись: генерал такой-то или генеральша такая-то, — каких, разумеется, сроду никто не слыхивал и каких не увидит и во сне даже благонамеренный человек, весь вечер, накануне Нового года, продумавший, как бы кого не забыть завтра поздравить?

Такой-то человек появился в кухне. Впрочем, может статься, что он был и не совсем такой человек, о каких мы говорили, а просто такой, каких в Москве называют «ширяло», а в Петербурге «мазурик», то есть малый, с детских лет пристрастившийся к легкому промыслу и голодающий по трое суток, чтоб пополам со страхом и трепетом пропить в каком-нибудь «Полуденном» украденную вещь на четвертые; а может быть, он был просто забулдыга-лакей, два дни пропадавший от барина и чувствующий необходимость пред возвращением к нему хватить для куражу и не имеющий на что хватить, — кто бы он ни был, мы просто будем называть его таинственным незнакомцем.

Итак, по мере того как таинственный незнакомец обозревал кухню и укреплялся в уверенности, что в ней никого нет, лицо его теряло неопределенный оттенок, движения становились резче и самоувереннее... Он смело подошел к двери, ведущей в спальню, и, приложив ухо к скважине, долго и чутко прислушивался; затем он снял с себя рыжие, подбитые вершковыми гвоздями сапоги и поотворил несколько дверь, причем она предательски скрыпнула, что заставило его отшатнуться назад и простоять с минуту в неподвижном оцепенении. Но удостоверившись, что всё спало по-прежнему, он смело нагнулся вперед и, просунув голову в отверстие между дверными сторонками, начал обозревать спальню. Нужно полагать, что ему представилось здесь много привлекающих любопытство предметов, потому что, уже не колеблясь долее, он решительно двинул вперед правую сторонку дверей, переждал, пока скрып, произведенный этим движением, совершенно замолк — и смело вошел в спальню. Здесь он сел в покойные и мягкие кресла, потянулся и начал передеваться... передеваться из своего, как легко догадаться, не совсем покойного и красивого платья в платье Петра Ивановича. Нельзя не заметить, что передевался он с достоинством и спокойствием человека, одевающегося в собственное платье и только несколько поспешающего, из опасения опоздать на службу. Петр Иванович обладал значительной полнотою, какой в известные лета достигает всякий благомыслящий человек: таинственный же незнакомец был очень тощ, — почему, поправив чуб перед зеркалом, он захватил кстати со стола два подсвечника из накладного серебра, которые для лучшего сбережения счел нужным за-

вернуть в платье Федосьи Карповны, — после чего так их спрятал, что тотчас же стал походить на Петра Ивановича, ибо очутился с преизрядным солидным брюшком. На возвратном пути от кровати, с поручня которой сдернуто было платье, незнакомец захватил карманные часы (Петр Иванович был человек аккуратный и, опасаясь опоздать на службу, клал обыкновенно подле себя часы) с позолоченной цепочкой, надел их на себя и поспешил к другому зеркалу, где, полюбовавшись на себя, опять мимоходом захватил два подсвечника. Запрятав их в карманы, он начал шарить по всем углам и прибирать с неимоверною быстротою все мелкие вещицы, какие попадались под руку...

## III

Сон причудлив и странно жесток. Часто после великолепной перспективы всего, чем со временем должна увенчаться благонамеренность, человеку, как бы он ни был добродетелен, вдруг, ни с того ни с другого, что-нибудь такое приснится, чего он никак не может пропустить, не закричав тотчас же, что он в штрафах и под судом не бывал и никаких мыслей, противных правилам нравственности, в душе своей не питал...



Петру Ивановичу вдруг приснилась какая-то девушка в шапке, под которой (не под шапкой, а под девушкой) были подписаны два стиха:

А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет?..

которые он когда-то услышал, проходя мимо растворенного окна, — откуда валил густыми волнами табачный дым, летели на улицу слова и виднелись веселые и раскрасневшиеся лица каких-то молодых людей, — и которые у него потом целые три месяца не могли выбиться из головы: писал ли он, рассказывал ли, какую верную игру проиграл в преферанс или какую неверную выиграл, шел ли в департамент, из департамента, обедал ли — всё они на уме — так вот и шумят, и вертятся, и его-



зят-егозят в голове, как будто кроме их уже и нечему прийти в голову. И чем больше старался он от них отделаться, тем упорнее они его преследовали. С ними засыпал он, с ними просыпался, нередко отвечал ими на вопрос совсем не об шапках и девушках, беспрестанно шептал их про себя, даже писал верхними зубами на нижних, даже однажды испортил лист гербовой бумаги рублевого достоинства, включив их совершенно некстати в прошение одной вдовы, приносившей жалобу на какого-то нахлебника-семинариста, похитившего у ней клубок ниток, которые будто бы намотаны были на сторублевую ассигнацию. Словом, от проклятых двух стихов (бывших, между прочим, причиною ненависти его к стихам вообще) ему уже приходилось тошно жить на свете. Но наконец он от них отделался же, и теперь ничего! — девушка в шапке, да притом и недурная собой, — весьма и весьма ничего! Худо то, что вслед за нею приснился ему какой-то человек с огромными усищами, с решительным выраженьем в лице и в таком непостижимом костюме, какого он не только никогда не видал наяву, но даже потом весьма удивлялся, как подобные костюмы могут сниться порядочным людям во сне.

Испуганный, он поспешил залепетать, что он ничего, человек женатый и в правилах тверд, что, впрочем, он никаким оружием владеть не умеет, потому что французского блестящего образования с фехтованьями, танцами и всякими модными пустыми затеями, развращающими, ко всеобщему прискорбию, нынешних молодых людей, не получил и даже не жалел о том, ибо, благодаря Бога, родился в такой стране, где и без шарканья по паркетам, одною благонамеренностию и честным трудом, даже при посредственном достатке, можно приобресть всеобщее уважение; а что, впрочем, он опять-таки ничего, идет своей дорогой и просит только не мешать ему идти своей дорогой, так он и пройдет...

Но вышло, что и странный незнакомец — не беда; напротив, несмотря на невероятные сапоги, он оказался добрейшим малым, предложил сыграть в преферанс и проиграл в одну пулю по копейке восемь рублей серебром, — так что Петру Ивановичу

даже стало немножко совестно, и только тем мог он себя успокоить, что ведь на то игра, не умеешь играть, не садись, а взялся за гуж, так будь дюж...

Беда в том, что по уходе странного незнакомца, о котором Петр Иваныч остался такого мнения, что навещал его какой-нибудь путешествующий англичанин-чудак, которому некуда девать денег, — (об англичанах знал он вообще, что они большие чудаки), — беда в том, что по уходе странного незнакомца Петру Иванычу вдруг приснился весь департамент с шинелями, сторожами, половиками, столами, чернилицами, делами и начальником отделения. Вот начальник отделения приподнялся с каким-то делом, подходит к нему и говорит «перепишите» совершенно таким голосом, как говорится простому писцу. — «Хорошо-с; я вот дам Ефимову», — отвечает немного изумившийся Петр Иваныч, почтительно нагибаясь. — «Какому Ефимову? — говорит сурово начальник, — разве вы забыли, что Ефимову отдано ваше место, а вы за неисполнительность и соблазнительный образ поведения переведены на место Ефимова...»

В ужасе проснулся Петр Иваныч, открыл глаза и прямо наткнулся ими на таинственного незнакомца, который, нагнувшись, шарил в ящике комода. Приняв его за Ефимова, Петр Иванович, озадаченный, переполненный справедливым негодованием, — в первую минуту не вскрикнул, не кашлянул, даже не шелохнулся, но, по какой-то особенной остроте чутья, таинственный незнакомец тотчас понял, что время прекратить посещение, и со всех ног кинулся вон... Тут только догадался герой наш, в чем дело...

Пяткой в ногу супругу толкнул,
Закричал: «Караул! караул!» —
И, вскочивши с постели, в чем был,
За мошенником вслед поспешил,
Пробежал через сени — и вот
Незнакомца настиг у ворот.
Но тот ловко в калитку шмыгнул, —
И опять: «Караул! караул!» —
Петр Иваныч свирепо кричит
И, в калитку ударившись лбом,
За злодеем вприскочку бежит,
Потирая ушиб кулаком.
И бежит он быстрее коня,
И босых его ног топотня
Отзывается резко кругом,
Словно брошенный вскользь по реке
Камешок...

# IV

Петербургские летние ночи светлее петербургских зимних дней. Было еще очень рано, но уже совершенно светло; на улице пусто. Только по другую сторону тротуара шел какой-то парень в шинели, надетой в рукава, из-под которой на целую четверть высовывался пестрединный халат; парень раскачивался во всю ширину тротуара и, увидев бегущих, радостно закричал: «Держи! держи!» — после чего остановился и долго смотрел на них, произнося по временам ободрительные восклицания: «Ишь как улепетывает!», «Молодца́! молодца́!», «Вот люблю!» — очевидно относившиеся к таинственному незнакомцу, который, говоря охотничьим термином, ежеминутно отседал от преследователя своего дальше и дальше. Между тем крик Петра Ивановича был услышан еще двумя лицами, которых мы не хотим назвать. Первое, уже давно и таинственным незнакомцем и Петром Иванычем оставленное позади, отошло несколько вперед и, наблюдая за бегущими, говорило: «Ишь шельма! ишь шельма! ишь шельма!» Второе флегматически вышло на средину улицы, постояло с минуту в нерешительности, задумчиво понюхало табаку и с решимостью принялось переходить другую половину улицы, торопясь поспеть на тротуар так, чтоб угодить прямо на переем таинственному незнакомцу. Второе лицо действительно поспело в пору, но бегущий решительно не обратил на него внимания и только, пробегая мимо с криком «Эх-ма!», сильно толкнул его в плечо, отчего оно тотчас повалилось на тротуар, к немалому смеху веселого парня и первого лица, издали наблюдавшего сцену. Через минуту приспел и Петр Иваныч, запнулся за поверженного и тоже упал, но тотчас же вскочил, сгоряча не почувствовав ушиба, и побежал снова. Дважды пораженный приподнялся, взглянул за бегущими и, сказав: «Есть сила», медленно отправился на старое место... Между тем таинственный незнакомец уже достиг конца улицы и повернул... куда? в которую сторону?.. Петр Иваныч не видал, и потому хотя и продолжал бежать, но уже медленно и нерешительно, как человек, потерявший путеводную звезду свою. Вдруг с конца улицы, до которого не достиг еще Петр Иваныч, показались дрожки, называемые пролетками, то есть такие дрожки, на которые садятся, когда желают сберечь ребра и спину. В дрожках сидел одетый в пальто господин с веселым лицом, доказывавшим, что преферанс, с которого, очевидно, он возвращался, был для него счастлив: лицо просто сияло. Завидев бежавшую встречу ему странную фигуру, господин в пальто рассмеялся, а потом начал пристально вглядываться в нее, и вдруг на лице его

выразилось глубокое изумление. Он как будто не верил глазам своим.

— Здравствуйте, Петр Иваныч! — сказал он несколько иронически, когда дрожки подъехали на довольно близкое расстояние к нашему герою.

Петр Иваныч поднял голову, взглянул и, побледнев как полотно, отвернулся в сторону и побежал шибче.

Но сидевший в дрожках снова повторил: «Здравствуйте, Петр Иваныч!», — и в голосе уже не было прежней благосклонной мягкой иронии; он звучал резко, в нем слышалось приказание, — так что Петр Иваныч увидел себя в необходимости остановиться и поспешно понес руку к голове, но, убедившись в невозможности снять с нее что-нибудь, ибо на ней не было даже



парика, — принужден был ограничиться поклоном. Поклон был такой, какие свидетельствуются только начальникам, из чего и можно с достоверностию заключить, что господин в пальто был его начальник.

— Что это вы... в такую пору... в таком виде... танцуете?..

— Танцую, — мог только проговорить дрожащим голосом дрожащий Петр Иваныч, не привыкший с детских лет противоречить старшим...

Опомнившись, он ничего не слыхал уже, кроме стука удалявшихся дрожек и веселого заливного хохотанья, от которого мороз пробежал у него по жилам...

## V

«Клянусь звездою полуночной
И генеральскою звездой,
Клянуся пряжкой беспорочной
И не безгрешною душой!
Клянусь изрядным капитальцем,
Который в службе я скопил,
И рук усталых каждым пальцем,
Клянуся бочкою чернил!
Клянуся счастьем скоротечным,
Несчастьем в деньгах и в чинах,
Клянусь ремизом бесконечным,
Клянуся десятью в червях, —
Отрекся я соблазнов света,
Отрекся я от дев и жен,
И в целом мире нет предмета,
Которым был бы я пленен!..
Давно душа моя спокойна
От страстных бурь, от бурных снов;
Лишь ты любви моей достойна —
И век любить тебя готов!..
Клянусь, любовию порочной
Давно, давно я не пылал
И на свиданье в час полночной
В дезабилье не выбегал...
Кого еще с тобой мне надо?..
Тобой одной доволен я —
Моя любовь! моя отрада!
Федосья Карповна моя!..»

Он умолк и, «как юный дуб, низринутый грозой», пал к ногам супруги своей.

Но она была неумолима.

— Не поверю! Уж что ты мне ни толкуй, не поверю! Изменник! человеконенавистник! чудовище!

И она зарыдала, а потом впала в совершенное отчаяние и била себя в грудь, повторяя:

— Ах я несчастная! несчастная! несчастная!.. До какого срама дожила я, несчастная!..

— Я, ей-Богу-с, ни в чем не виноват, Федосья Карповна!

Он действительно был ни в чем не виноват, что могут подтвердить и читатели. Намерения его были чисты, даже похваль-

ны: он хотел настичь похитителя и отнять у него свои вещи. Федосья Карповна перетолковала всё совершенно иначе. Проснувшись от толчка в ногу и не нашед подле себя супруга, она прежде всего вскричала: «Изменник!» Через минуту, удостоверившись, что и платья на обычном место не было, — обстоятельство, не оставлявшее ни малейшего сомнения, что изменник ушел на свиданье, — с громким воплем упала она на подушку и воскликнула: «Ах я сирота горемычная!» Потом вскочила и бросилась туда, где вечером оставила платье, но его, как мы знаем, там не было; недолго думая, куда бы оно могло деваться, — ибо женщина в припадке ревности, по уверению опытных людей, лишается всякой способности рассуждать, — она с минуту металась по комнате, но, не нашед ничего, во что бы можно одеться, кроме оставленной таинственным незнакомцем шинели, накинула ее на себя и бросилась вон. Руководимая всё тем же инстинктом ревности, она пустилась по тому направлению, по которому таинственный незнакомец увлек за собою Петра Ивановича. Петр Иванович в то время возвращался уже домой, перепуганный, убитый, весь с головы до ног синий от холода и разных ушибов. Встреча их была страшная; было немного сказано, но успела разыграться трагедия.

Они молчали оба... Грустно, грустно
Она смотрела. Взор ее глубокий
Был полон думы. Он моргал бровями
И что-то говорить хотел, казалось,
Она же покачала головой
И палец наложила в знак молчанья
На синие трепещущие губы...
Потом пошли домой всё так же молча,
И было в их молчанье больше муки
И страшного значенья, чем в рыданьях,
С которыми бросаем горсть земли
На гроб того, кто был нам дорог в жизни,
Кто нас любил, быть может. У ворот
Они кухарку встретили. Кухарка
Смутилась. В ней, быть может, сжалось сердце.
И долго изумленными глазами
Она на них смотрела, но ни слова
Они ей не сказали... Да! ни слова...
И молча продолжали путь... и скрылись...

Но как только переступили они порог спальни, Федосья Карповна тотчас повернула ключ в замке, и узнать, что тут

Дѣйствіе 1.



Дѣйствіе 2.



Дѣйствіе 3.



Дѣйствіе 4.



Дѣйствіе 5.



Дѣйствіе 6.



Финалъ.



происходило в первые минуты, авторы решительно не имели никакой возможности, ибо, к крайнему их сожалению, и самые ставни оставались по-прежнему закрыты, так что нельзя было даже ничего подсмотреть. Впрочем, можно догадываться, что тут происходила драма в пяти или даже в шести актах, с эпилогом, — в какой не дай Бог участвовать женатому читателю! Но достоверно известно только, что тщетно уверял Петр Иванович Федосью Карповну в своей невинности. Какие ни приводил он доказательства, все они обращались на его же голову. Федосья Карповна упорно стояла на том, что ее платье и прочие вещи стащил Петр Иваныч к мерзавке, своей любовнице, а сам очутился на улице без платья потому, что его раздели мазурики, когда он возвращался от мерзавки, своей любовницы, и что, наконец, лохмотья таинственного незнакомца сам же он, Петр Иваныч, подкинул, купив на рынке, чтоб отвлечь от себя всякое подозрение, в случае какой-нибудь неудачи. Как ни нелепо было такое предположение и как ни клялся Петр Иваныч (а он клялся всем дорогим для него в жизни) — ничто не помогло. Не помогло даже и последнее очень сильное доказательство, что парик оставался дома, а невероятно и ни с чем несообразно, чтоб нуждающийся в парике человек позабыл надеть его, идучи на свиданье с любовницей. Ничто не помогло! Таково уже было расположение мыслей Федосьи Карповны. Ревность рвала ее душу на части. К тому же и кухарка, обрадовавшись случаю, решительно утверждала, что ни на минуту не выходила и никто к ним не входил и что хоть и слышались ей впросонках из спальни какие-то шаги, но, рассудив, что оттуда некому выходить, кроме барина или барыни, она не сочла нужным встать и посмотреть... Хоть герой наш звался совсем не Макаром, но мы не можем здесь не заметить, что на бедного Макара и шишки валятся!

## VI

Вот уже и девять часов, время, в которое, бывало, Петр Иваныч, спокойный и счастливый, хлебнув два, три стакана чайку, поцеловав жену, поцеловав дочь, с портфелем под мышкой, отправлялся, несколько согнувшись, смиренным, никого не оскорбляющим, но и не вовсе чуждым самостоятельности шажком в свой департамент... Но не одевается, не пьет даже чайку, не целует жены и дочери и не идет в департамент растерявшийся Петр Иваныч. Мрачно у него на душе; при одной мысли, что надо идти на службу, мороз пробегает у него по коже, от макуш-

ки до пяток. Вся жизнь — от сеченья и греческих спряжений в детстве, голоданья и переписыванья в юности до последнего недавнего распеканья — проходит перед его глазами, — и ничего, кроме смиренномудрия и вечной беспредельной покорности — не видит он в ней; хоть бы слово когда грубое какое сказал, хоть бы недовольную мину выразил на лице — никогда! никогда! Даже покушения на что-нибудь подобное за собой не запомнит! Чист, чист! со всех сторон, как ни поверни, чист! И между тем сердце болезненно съёживается от страха, как будто преступление какое-нибудь совершил человек, как будто начальнику нагрубил! «Что скажет начальник отделения!» — думает Петр Иваныч (несомненно, что господин, ехавший на дрожках, был его начальник отделения). «Что скажет начальник отделения?..» — думает он, большими шагами расхаживая по комнате, и никак не может решить, что скажет начальник отделения, хоть и предчувствует, что он скажет что-то страшное, что-то такое страшное, отчего мало поседеть в один час, отчего мало даже провалиться сквозь землю... И ни убеждение в своей невинности, никакие размышления, никакие доводы ума — ничто не утешает безутешного Петра Иваныча! «Да уж не подать ли мне просто в отставку, — думает он, — так даже и не являться, а просто подать в отставку, и кончено, а покуда выйдет отставка, тиснуть в „Полицейской газете", что вот так и так, дескать, чиновник с одобрительным аттестатом...» Тут он на минуту запнулся... «Ведь уж мне, верно, дадут аттестат одобрительный? — продолжал он с некоторым смущением, — что ж? служил я не хуже других, не хуже других, сударь ты мой, в штрафах и под судом не бывал, зложелателей, благодаря Всевышнего, не имею... подал в отставку... ну, что ж? Вышел случай такой, с кем не случается?.. просто случай вышел такой... Так вот оно хорошо было бы публиковать, что вот де чиновник с одобрительными аттестатами, титулярный советник, — я думаю, даже не худо будет выставить: имеющий такие-то и такие-то знаки отличия... Так вот, мол, такой-то и такой-то чиновник, имеющий такие-то и такие-то знаки отличия, хороший чиновник, дескать, благонадежный чиновник, ищет места управляющего имением, преимущественно в малороссийских губерниях, на выгодных, дескать, для владельца условиях... Да! да! В малороссийских губерниях лучше — климат теплее, да и народ-то попроще... народ-то попроще, вот оно что, главное дело, сударь ты мой, народ-то попроще, вот она штука-то какая! А поди-ка сунься в Костромскую, в Ярославскую... ух! шельма на шельме! Всякий мужик, туда же, грамоте знает и на каждом синий армяк... на каждом на шельмеце-то синий армяк, вот оно что, вот она

штука-то какая, вот она какая штука-то! Избалованные губернии! Нет, вот бы где-нибудь в малороссийских, примерно в Полтавской; три, четыре тысчонки душ, с мельницами, с фруктовыми садами, со всеми угодьями, с господским строением; а барин-то себе где-нибудь за тридевять земель, в Москве, в Петербурге, в Париже... а барин-то себе в Москве, а барин-то в Петербурге, а барин-то себе в Париже, барин-то себе за тридевять земель, как в сказке говорится, как в русской-то сказке сказывается... Ух! раздолье-то! раздолье...» Тут Петр Иваныч потер руки от удовольствия, потому что уже, в самом деле, почувствовал себя управляющим такого имения, — на что русский человек очень скор... «Да только та беда, — продолжал он, вдруг опомнившись и вновь совершенно опешив, как человек, съевший муху, — да только та беда, что никто не возьмет, за фамилию никто не возьмет... Управляющий! уж в одном слове сейчас слышится немец, какой-нибудь Карл Иваныч Бризенмейстер, или еще помудреней, так, чтоб мужик и подумать не смел выговорить как следует, чтобы у него язык поперек глотки стал. Ведь вот, будь немецкая фамилия, хоть подобие немецкой фамилии будь... а то — Блинов! на вот тебе в самый рот — блинов! горячих блинов! подавись!..» И здесь герой наш в первый раз в жизни пожалел, что у него русская фамилия, чему он сорок лет с лишком постоянно был рад и даже благодарил Бога, что и оканчивается она на *ов*, а не на *ский*. «Да опять и то, — продолжал размышлять наш герой, — осанки такой не имею, осанки, соответствующей званию управителя, не имею, вот она какая беда, вот она беда-то какая надо мной, горемычным, осанки, соответствующей званию, не имею, — не имею осанки, званию управителя соответствующей, совсем осанки такой не имею. Наш брат и смотрит-то, как будто всё чего-то боится, и идет-то, как будто просит прощения у половиков, которые недостойными ногами своими попирает, и в лице такое подобострастие, такое подобострастие, что и сказать нельзя, никак нельзя сказать, недостанет слов, как говорится в хорошем слоге, на языке человеческом... вот оно что! вот оно какое дельце-то! вот оно дельце-то казусное какое! Ну уж известно: по какой части пойдешь, с тою и степень значения в лице своем соразмеряешь... степень-то значения с положением своим в свете соразмеряешь... А тут надобно, чтобы орлом глядел человек, чтоб на лице было написано, что ему и черт не брат, чтобы действовал смело, решительно, на открытую ногу действовал бы, и умел бы этак с откровенностию, не лишенною благородства, и словцо-то крепкое кстати пригнуть, ну и там что другое... Вот оно что! Чтобы как выйдет да заговорит ломаным своим языком, так чтобы мужик на него и взглянуть не

смел, а только бы кланялся в пояс да говорил: „Слушаю, батюшка Карл Иваныч!.." Нет, где нашему брату!.. Разве уж заняться хождением по делам...» Но и хождение по делам оказалось неудобным. Думал, думал Петр Иваныч и покончил тем, что, как ни вертись, службу оставить невыгодно, разорительно, словом, неблагоразумно во всех отношениях. Итак, скрепя сердце, решился он идти в департамент. Будь что будет! Может, и никакой беды нет, может, ему только так показалось, а в сущности ничего! Наконец он даже дошел до заключения, что, может быть, оно даже и хорошо, что начальник его увидел на улице, пожалуй, чем черт не шутит, примут участие, вспомоществование единовременное дадут. «Да! да! — повторял Петр Иваныч, — оно в самом деле даже и хорошо», — и между тем чувствовал, что мороз подирает по коже. Три дня употреблено было на залечиванье разных ушибов и синих пятен и на утверждение себя в благородной решимости не унывать, помнить, что испытания ниспосылаются нам в плачевной юдоли сей для возвышения душевного мужества и что не нужна бы человеку и бессмертная душа, если б он уничтожался и падал перед несчастием. На четвертый день решено было идти на службу. Но здесь на Петра Иваныча напал такой страх, что он буквально не мог сдвинуться с места и несколько часов, совсем готовый, умытый, выбритый, во фраке, с портфелем под мышкой, сидел как прикованный к стулу, бессмысленно смотря на три какие-то головы, державшие компанию у противоположных ворот.



Когда опомнился он, был уже двенадцатый час. «Поздно! — сказал он себе с тайной радостью. — Видно, уже завтра!» — и в ту же минуту схватил шапку, надел шинель и калоши и выбежал на улицу. Бежал он чрезвычайно скоро, ни на что не обращая внимания, даже не заглядывая в окна, хотя и любил заглядывать в окна и знал, что, заглянув в окно, иногда можно увидеть много хорошего.



Бежал он на службу...

## VII

В десятом часу того дня, утром которого происходило событие, описанное в четвертой главе, Степан Федорыч Фарафонтов, пришед в должность, направился прямо к столу, где обыкновенно сидел Петр Иваныч, чтоб расспросить его о ночном приключении и, по долгу службы, порядком распечь его. Но Петра Иваныча, как мы знаем, там не было. Так как воспоминание вчерашнего выигрыша всё еще держало его в веселом расположении духа, то, подошед к экзекутору и спросив о здоровье, весьма комически рассказал он ему странную встречу с Петром Ивановичем, особенно распространившись насчет удивительного танца, в котором упражнялся Петр Иваныч, и насчет арии, кажется из «Соннамбулы», которою сопровождал он свои живописные па, после чего оба, и рассказчик и слушатель, долго смеялись, пожимая плечами. Степан Федорыч рассказывал не так тихо, чтоб его никто не мог слышать, кроме экзекутора, а потому история Петра Ивановича сделалась тотчас известною и еще двум-трем чиновникам. Те в свою очередь передали ее с надлежащими дополнениями соседям своим, и таким образом случилось, что историю Петра Иваныча в полчаса узнало всё присутственное место, где служил наш герой... К вечеру узнал ее и весь город, и несколько дней сряду в Петербурге только и говорили о танцующем чиновнике исполинского роста, с лошадиными копытами вместо обыкновенных человеческих ступней. Нетрудно представить, с каким нетерпением ждали его товарищи,

сколько произошло толков и предположений и как выросла, украсилась и изменилась самая история. Но прошел день, прошло два, прошло три, вот уже наступил и четвертый, а Петра Иваныча нет как нет. Любопытство возросло до высочайшей степени.

И вот на четвертый день часу в первом, в минуту всеобщего почтительного молчания, водворившегося по случаю появления самого начальника, который, указывая на дело, толковал что-то с большим жаром Степану Федоровичу, внимавшему начальническим речам с почтительным наклонением головы, — в такую-то торжественную минуту дверь из прихожей вдруг отворилась и появился герой наш. Как ни сильно было уважение подчиненных к начальнику, но естественное движение одолело и прорвалось на всю комнату глухим сдержанным смехом, — как будто вдруг чихнул табун лошадей. Естественно, что начальник с недовольным видом спросил о причине такого неуместного взрыва. Степан Федорыч поднял голову, потому что и сам еще не знал, что бы значила подобная дерзость, но, встретив жалкую фигуру Петра Иваныча, подобно подчиненным своим, не мог удержаться от смеха.

Начальник повторил свой вопрос.

Перетрухнувший Степан Федорыч почувствовал необходимость оправдаться и оправдать своих подчиненных. Для такой цели он не нашел ничего лучше, как рассказать в подробности историю Петра Ивановича, и тотчас рассказал ее, постаравшись не столько о строгом соблюдении исторической достоверности, сколько о том, чтоб от нее действительно нельзя было не захохотать, — в чем и успел совершенно, ибо, по мере изложения событий, лицо слушателя прояснялось, а когда дошло до описания странного танца, в котором упражнялся Петр Иванович, и сопровождавших его мотивов из «Лучии», слушатель уже решительно не нашел в себе сил сохранить строгое выражение почтенной своей наружности и сам засмеялся...

Но смех его, как легко догадаться, был непродолжителен. Приняв строго-решительное выражение, он подошел к Петру Иванычу, оцепеневшему у дверей, и сказал, медленно, важно, делая ударение на каждом слове:

— А что скажете вы?

Но Петр Иваныч не мог ничего сказать, хотя и заметно было, что он хотел что-то сказать...

Тогда начальник, основательно думая, что к пресечению подобных зол должно принимать меры при самом их зародыше, счел нужным распространиться и показать Петру Иванычу всё неприличие его поступка. Он сказал ему, что звание и самые

лета не давали ему права на такое дело; что танцевать, конечно, можно, но в приличном месте, и притом имея на себе одежду, принятую в образованных обществах Европы, которая, по образованию, может вообще почесться первою из всех пяти частей света. Он сказал ему (и, по мере того как он говорил, в голосе его возрастала энергия и наружность более и более одушевлялась), что подобные пассажи простительны только грубым и невежественным дикарям, не знающим употребления огня и одежды, да и те (присовокупил он) прикрывают наготу свою древесными листьями. Наконец, он сказал ему, что подобный поступок срамит не только того, кем сделан, но даже



бросает нехорошую тень на всё звание, что звание чиновника почтенно и не должно быть профанировано, —

Что чиновники то же, что воинство
Для отчизны в гражданском кругу,
Посягать на их честь и достоинство
Позволительно разве врагу,
Что у них все занятья важнейшие —
И торги, и финансы, и суд,
И что служат всё люди умнейшие
И себя благородно ведут.
Что без них бы невинные плакали,
Наслаждался б свободой злодей,
Что подчас от единой каракули
Участь сотни зависит людей,
Что чиновник плохой без амбиции,
Что чиновник не шут, не паяц,

И не след ему без аммуниции
Выбегать на какой-нибудь плац.
А уж если есть точно желание
Не служить, а плясать качучу,
Есть на то и приличное звание —
*Я удерживать вас не хочу*!

Так заключилась речь, имевшая вообще на присутствующих влияние сильное, но действие ее на Петра Иваныча было таково, что, может быть, ни в какие времена никакая речь не производила такого действия. Пораженный ею, из всех способностей, отпущенных ему Богом, сохранил он только одну способность шевелить или, точнее, мямлить губами, да и то делалось с величайшим усилием, и вообще в ту минуту герой наш, страшно синий, походил на умирающего, которому есть сказать нечто важное, но у которого уже отнялся язык...

Только очутившись на улице и глубоко втянув в себя струю свежего воздуха, почувствовал он, что еще жив.

## VIII

«Корабль, обуреваемый
Волнами — жизнь моя!
Судьбою угнетаемый,
В отставку подал я,
Немало тут утрачено —
Убыток — и большой!
А впрочем, предназначено
Уж видно так судьбой.
И есть о чем печалиться.
Нашел чего жалеть!
Смерть ни над кем не сжалится —
Всем должно умереть!
Почетные регалии,
Доходные места,
Награды — и так далее,
Всё прах и суета!
Мы все корпим, стараемся,
Вдаемся в плутовство,
Хлопочем, унижаемся,
А всё ведь из чего?
Умрем, так всё останется! —
На срок пришли мы в свет...

Чем дольше служба тянется,
Тем более сует.
Успел уж я умаяться
В житейском мятеже,
Подумать приближается
Пора и о душе!
Уж лучше здесь быть пешкою,
Чем душу погубить...
А впрочем, что ж я мешкаю?
Уж десять хочет бить!
Есть случай к покровительству!
Тотчас же полечу
К его превосходительству
Ивану Кузьмичу —
Поздравлю с именинами...
Решится, может быть,
Под разными причинами
Блохова удалить
И мне с приличным жительством
Его местечко дать...
Не нужно покровительством
В наш век пренебрегать!..»

# ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ

Роман господина Оноре де Бальзака*

## Глава I

### *Провинциальные типы*

Иногда в провинции встречаешь жилища, с виду мрачные и унылые, как древние монастыри, как дикие грустные развалины, как сухие, бесплодные, обнаженные степи; заглянув под крыши этих жилищ, и в самом деле часто найдешь жизнь вялую, скучную, напоминающую своим однообразием и тишину монастырскую, и скуку обнаженных, диких степей. Право, проходя возле дверей такого дома, невольно сочтешь его необитаемым; но скоро, однако ж, разуверишься: подождав немного, непременно увидишь сухую, мрачную фигуру хозяина, привлеченного к окну шумом шагов на улице.

Такой мрачный вид уныния, казалось, был отличительным признаком одного дома в городе Сомюре. Дом стоял на конце улицы, неровной, кривой, ведущей к старинному замку; улица эта, почти всегда пустая и молчаливая, замечательна звонкостию своей неровной, булыжной мостовой, всегда сухой и чистой, своею теснотою и угрюмым видом домов, прилежащих к старому городу, над которым возвышаются древние, полуразвалившиеся укрепления.

---

* Это один из первых и бесспорно из лучших романов плодовитого Бальзака, который в последнее время заметно *исписался*. Сколько нам известно, роман этот в русском переводе напечатан не был, а потому мы надеемся угодить многим из наших читателей, поместив его в «Репертуаре и Пантеоне». (*Ред.*).

Дома крепки и прочны, хотя большею частию выстроены из дерева, и некоторые существуют уже около трех веков. Странная архитектура придает городу вид древности и оригинальности и обращает на себя внимание художника и антиквария. Например, невольно бросятся в глаза огромные толстые доски, прорезанные хитрою причудливою резьбою и заменяющие карнизы над нижними этажами домов. Потом концы брусьев поперечных стен, покрытые аспидным камнем; они рисуются синими полосами на фасаде строения с высокою, острою кровлею, полусогнившею от действия солнца и дождя, и погнувшеюся под тяжестию годов. Далее подоконники, старые, ветхие, почерневшие от времени, и с сгладившеюся резьбою; вот так и смотришь, что они тотчас рухнут под тяжестию какого-нибудь цветочного горшка, выставленного на окне бедной, трудолюбивой гризетки. Непременно остановят внимание ваше эти массивные двери, убитые тяжелыми гвоздями, испещренные иероглифами и надписями. Смысл надписей различен; здесь одна дышит протестантским фанатизмом; там читаешь проклятие лигёра Генриху IV-му; словом, найдете всё — историю, летописи, предания. Возле бедного, оштукатуренного домика, отделанного стругом и топором незатейливого плотника, возвышаются палаты дворянина; на дверях еще заметны остатки гербов и девизов, разбитых и изломанных в революцию, взволновавшую край в 1789 году.

Подвальные этажи домов купеческих не похожи ни на лавки, ни на магазины; любители древности и средних веков полюбуются лишь старинными *мастерскими* наших предков, стариною простою и наивною. Эти подвалы мрачны, глубоки, без украшений, ни снаружи, ни внутри, без окон, без стекол. Дверь половинчатая, толстая, обита железом; одна половинка неподвижна, другая, с прикрепленным к ней колокольчиком, целый день скрипит, звонит, в движении. Свет и воздух проходят в сырой подвал или сверху, или чрез отверстие, начинающееся от самого свода или потолка. В нем утверждаются по ночам ставни, которые закрепляются толстыми железными полосами; днем ставни снимаются и вместо них раскладываются товары. Товары налицо, обмана нет. Выставленные образчики состоят из двух или трех кадок с соленой треской, из нескольких кусков парусины, веревок, обручей, расставленных вдоль стены, и половинок сукна на полках. Войдите: девушка, опрятно одетая, хорошенькая, молоденькая, в белой косыночке, с пухленькими, красными ручками, оставляет свое рукоделье, встает, зовет отца или мать. Кто-нибудь из них входит и отмеривает вам товару или на два су или на двадцать тысяч франков; купец флегматик услужлив или горд, смотря по своему обыкновению.

Вы встречаете купца у дверей его дома. Ему, кажется, нечего делать, и вот он уже целый час болтает с соседом. Заглянете в его лавку: в ней валяется несколько обручей и кучка бочарных досок; но на пристани магазина его станет на всех бочаров анжуйских. По урожаю винограда он рассчитывает барыш и товар до последней доски. Солнце светит — он богач, дождь — он разорен. Часто в одно утро цена на бочки возвышается вдруг до одиннадцати франков или спадает до 6-ти ливров за штуку. Здесь, как и в Турени, погода — всё в торговле. Виноградчики, помещики, продавцы лесу, бочары, трактирщики, судовщики, — у всех одна тоска, одна забота — погода. Ложась спать, боятся ночного мороза. Проклинают дождь, ветер, засуху, или молят о дожде, о засухе; вечная борьба природы с расчетами человеческими. Барометр сводит с ума или веселит весь город и разглаживает морщины на самых угрюмых лицах.

— Золотое время! — говорит сосед соседу в старой сомюрской улице. — Ни облачка!

— Червонцами задождит, — отвечает сосед, рассчитывая барыш по лучу солнечному.

Летом, в субботу, часов в десять вечера, ни в какой лавке вам не продадут ни на копейку товару. У каждого купца есть какой-нибудь клочок землицы, виноградник, или хоть какой-нибудь огород, и хозяин едет дня на два погостить за городом. Обделав дела свои в городе, покупки, продажу, сладив барыш, купец покоен и выгадывает из 12 почти 10 часов на удовольствия, на пересуды, на толки и на подсматривание за соседом. Хозяйка купит куропатку, кумушки осведомляются у хозяина, хорошо ли ее приготовили? Беда девушке, некстати взглянувшей в окошко; ее оговорят, засмеют, пересудят, осудят. Всё налицо; каждый дом к услугам соседей, и уж как не огораживайся и не запирайся, а из дому успеют вовремя вынести сор.

Здесь живут не под кровлей, а на чистом воздухе: каждое семейство располагается у дверей своего дома, завтракает, обедает, спорит, ссорится. Всякий прохожий замечен. Еще с старых времен умели в провинциальных городках осмеять и оговорить иностранца, но об этом долго рассказывать. Скажу только, что от этого-то и окрестили в *болтливых* жителей Анжера, особенно отличавшихся сплетнями и пересудами.

Палаты дворян, *отели*, некогда ими обитаемые, расположены в старом городе. Дом мрачный и угрюмый, куда сейчас перенесем мы читателей, был из числа этих древних зданий — остаток старых дел, памятник старого времени, времени простого и незатейливого, от которого давно уже мы отреклись и отступились.

Пройдя с вами по дороге, так богатой воспоминаниями, навевающими и грусть, и думу о прошедшем, я укажу вам на это мрачное, скучное здание: *это дом господина Гранде*.

Но мы не поймем всего значения, всего смысла фразы: *дом господина Гранде*. Нужно познакомиться сначала с самим господином Гранде.

Кто не живал в провинции, тому трудно будет объяснить себе мнение и мысли сомюрских жителей насчет господина Гранде. Этот господин, (есть еще в Сомюре люди, которые запросто говорят о нем: старик Гранде, папа Гранде; но они давно уже заметно начали переводиться), так этот-то господин Гранде в 1789 году был ни более, ни менее, как простой бочар; дела его шли нехудо; он умел писать, читать и считать.

Когда Французская Республика объявила о продаже монастырских имений, Гранде, которому было тогда уже лет под сорок, женился на дочери богатого купца, торговавшего лесом. Совокупив свой капитал с приданым жены своей и достав сверх того 2000 луидоров, он положил свои деньги в карман и явился в казначейство округа. Там, сунув оборванному санкюлоту золотую взятку в 200 луидоров, занятых у тестя, законно и справедливо вступил он во владение лучшими плантациями округа, старым аббатством и сколькими-то фермами и арендами.

Сомюрские жители любили тишину и не любили революцию. Между тем Гранде прослыл смелым, отважным республиканцем, патриотом, человеком, понимавшим новое время и новые идеи, тогда как он только и мыслил о торговле да о виноградниках. Его сделали членом управления сомюрского округа, и Гранде удалось оставить впечатление миротворца и в управлении, и в торговле.

В первом отношении он покровительствовал блаженной памяти дворянам и всеми силами старался замедлить и даже уничтожить продажу земель эмигрантов. Что касается до торговли, то ему удалось сделать превыгодный оборот поставкою в армию до двух тысяч бочек белого вина. В уплату он выговорил себе прекрасные луга, принадлежавшие женскому монастырю, хотя правительство берегло эти луга и определило продавать последними.

Наступила эпоха консульства. Почтенный, уважаемый Гранде был сделан мэром; судил хорошо, торговал еще лучше. Во время империи Гранде стал называться *господином Гранде*. Наполеон не любил республиканцев, а так как Гранде был во время оно санкюлотом, то он сменил его, назначив на его место богатого помещика, человека с надеждами, будущего барона Империи. Господин Гранде без сожаления сложил с себя атрибуты власти

гражданской. В правление свое ради казенной выгоды наделал он прекрасных дорог из города в свои поместья; дом и земли его были весьма выгодно кадастрированы; платить налоги приходилось ему самые умеренные. Его огороды и виноградники благодаря неусыпным попечениям стали в первом разряде по достоинству и служили образцами для других хозяев. Чего же более? Оставалось разве попросить орден Почетного легиона.

Всё это было в 1806 году; Гранде было тогда 57 лет; жене его около 36 лет. Их единственная дочь, плод законного супружества, была лет десяти.

В этом году судьба, вероятно хотевшая утешить его в неудачах политических, доставила ему одно за другим три наследства. Сперва после матери госпожи Гранде, урожденной Бертельер; потом от старика дедушки госпожи Гранде; и наконец от госпожи Жантильи, его бабушки по матери. Никто не знал цены этим трем наследствам. Покойные, все трое, были так скупы, что держали в сундуках мертвые капиталы и втайне наслаждались своими сокровищами. Старик Бертельер не хотел ни за что пустить в оборот своих денег, называл все обороты мотовством, расточительностию, и находил более выгоды в созерцании сокровищ своих, нежели отдавая их на проценты.

В Сомюре рассчитали наследство *по солнцу*, то есть по ежегодному доходу с виноградников.

Теперь Гранде, вопреки всевозможным идеям о равенстве, озолотив себя, стал выше всех и сделался важным лицом в своем городе. У него было 140 арпанов земли под виноградниками; в хорошие годы получал он с них от 1000 до 1200 бочек вина; тринадцать ферм; старое аббатство и более 127 арпанов земли под лугами, на которых росли 3000 тополей, посаженных в 1793 году; наконец, дом, в котором он жил, был его собственный. Это было на виду. Что же касается до капиталов, то в целом Сомюре было всего два человека, которые могли что-нибудь знать об этом; то были: господин Крюшо, нотариус, ходок по денежным делам и оборотам господина Гранде, а другой господин де Грассен, богатейший банкир в Сомюре; с ним, потихоньку, старик обработывал кой-какие сделки. Но хотя Крюшо и де Грассен вели дела скрытно и в глубокой тайне, но в обществе они выказывали Гранде такое глубочайшее уважение, что наблюдатели, взяв это уважение за общую меру, могли по пальцам добраться до итогов имущества бывшего мэра.

Словом, в Сомюре не было никого, кто бы не был твердо уверен, что у Гранде спрятан где-нибудь клад, сундучок с червонцами, тайная радость, тайное наслаждение старика. Скупые особенно готовы были присягнуть в этом, изучив взгляд старика,

взгляд, горящий каким-то отблеском заветного металла. Взор человека, привыкшего смотреть на золото, наслаждаться им, блестит каким-то неопределенным, тайным выражением, схватывает известные оттенки, усвоивает необъяснимые привычки, как взгляд развратника, игрока или придворного; взор этот быстр и робок, жаден, таинствен; обычные его знают, научились ему; это условный знак, *франмасонство* страсти.

Итак, Гранде пользовался всеобщим почтением и уважением, как человек, который никогда никому не был должен, как человек ловкий, опытный во всяком деле и во всякой сделке. Например, старый бочар умел с необыкновенною точностию определить, нужно ли ему 1000 бочек или 500 при настоящем сборе. Наконец, как человек, которому удались все спекуляции, у которого всегда было несколько бочонков в продаже в то время, как дешевели деньги; который умел при случае спрятать товар свой в подвалы и выждать время, когда бочонок вина будет стоить 200 франков, тогда как другие продавали свое вино по пяти луидоров за бочку. Так в 1811 году богатый сбор винограда был умно припрятан, медленно продан, и Гранде выиграл 240 000 ливров одной осторожностию. В коммерции он был ловок, жаден, силен, как тигр, как боа. Он умел при случае спрятать свои когти, свернуться в клубок, выждать минуту и наконец броситься на жертву. Потом он растягивал ужасную пасть кошеля своего, сыпал в него червонцы, завязывал, прятал кошель, и всё это самодовольно, холодно, методически.

Никто при встрече с ним не мог освободиться от особенного чувства тайного уважения, удивления и страха. Кто в Сомюре не попробовал его холодных, острых когтей? Тому Крюшо сумел достать денег для покупки земли, да по осьми на сто; тому де Грассен разменял вексель, да с огромным учетом. Не было дня, чтобы имя Гранде не упоминалось или в конторах купцов, или в вечерних собраниях и разговорах горожан. Были люди, которые гордились богатством старика, хвастаясь им как национальною славою. Часто слышали, как какой-нибудь купец или трактирщик с тайным удовольствием говаривал заезжим:

— Да, сударь, водятся и у нас богачи, миллионеры, два, три дома. Что же касается до господина Гранде, так уж вряд ли и сам-то он перечтет свое состояние.

В 1816 году опытные люди рассчитывали недвижимое богатство старика почти в три с половиною миллиона. Но как с 1793 по 1817 одних доходов с земель было ежегодно 100 с чем-то тысяч франков, то можно было заключать, что и наличных было у него на такую же сумму. И когда, бывало, по окончании партии в бостон солидные люди разговорятся о том, о сем, наконец све-

дут на старика Гранде и скажут, например: «У старика Гранде теперь есть верных шесть миллионов...», — то Крюшо и де Грассен, если слышали слова эти, всегда прибавляли с какою-то таинственностию: «Дальновиднее же вы нас! Нам так никогда почти не удавалось свести верных счетов».

Заезжий парижанин скажет, бывало, слово, другое о Ротшильде или о Лафите. Сомюрцы тотчас спросят, «так же ли богаты они, как, например, Гранде?» И ежели им отвечали насмешливою улыбкою, то они покачивали головами в знак недоверчивости.

Дела и слова старика покрывались золотою крышкою, и если в частной жизни его и встречалось что-нибудь смешное, странное, то решительно никто не находил этого ни смешным, ни странным. Гранде был для всех образцом в Сомюре, авторитетом. Его слова, одежда, ухватки, косой взгляд, считались законами, решениями. Из каждого поступка, движения его выводили следствия, и всегда почти верные и безошибочные.

— Зима будет холодная; Гранде надел уже теплые перчатки. Не худо позаботиться о продаже ⟨вина⟩.

Или:

— Гранде закупает много досок. Славное вино будет в этом году!

Никогда Гранде не покупал ни хлеба, ни мяса. Каждую неделю фермеры приносили ему сколько было нужно овощей, кур, яиц, масла и зернового хлеба. У него была своя мельница, и мельник, не в счет договора, должен был в известное время являться к нему за зерном, смолоть и представить его мукою. Длинная Нанета, единственная служанка в целом доме, довольно пожилая, сама пекла по субботам хлеб на всё семейство. Плодов Гранде собирал так много, что продавал их на рынке. Дрова рубились в его заказниках, или употреблялись вместо них старые, полусгнившие изгороди, обходившие кругом поля его. Фермеры же рубили и дрова и, из учтивости, сами складывали их в сараи, за что он обыкновенно был им *благодарен*. Единственные издержки его были: *туалет* жены и дочери, плата за их два места в церкви и за просфоры, свечи, жалованье длинной Нанеты, лужение ее кастрюль, издержки судебные на купчие, квитанции и залоги; наконец, на поправку его строений. У него было 300 арпанов лесу (недавно купленного); надзирали за ним сторожа соседей, за что *обещал* он им дать жалованье. Только после покупки лесу на столе у него стала появляться дичь.

Говорил он мало. Все приемы его были весьма просты и обыкновенны. Изъяснялся он коротко, дельно, голосом тихим. С самой революции, когда впервые он обратил на себя внимание,

чудак начал заикаться, особенно с ним это случалось в каком-нибудь споре, или когда приходилось долго говорить. Но заикание, так же как и многословие, несвязность речи и недостаток в ней логического порядка, были чистым притворством, а не недостатком образования, как полагали некоторые. Мы объясним эту историю впоследствии. Впрочем, он не затруднялся разговором и с него довольно было четырех фраз, словно четырех алгебраических формул, для возможных счетов, расчетов и рассуждений в его частной и домашней жизни; вот они:

— Я не знаю.

— Не могу!

— Не хочу!

— А... а... а... посмотрим.

Ни *да*, ни *нет* — этих слов он особенно не терпел. Весьма не любил также писать. Когда с ним разговаривали, он хладнокровно и внимательно слушал, придерживая одною рукою подбородок, тогда как другая рука придерживала локоть первой. На всё у него было свое мнение, раз принятое и неуступчивое. В ничтожнейших сделках он обыкновенно долго не решался, раздумывал, соображал, и когда противник, считая наконец дело за собою, чуть-чуть проговорится, Гранде отвечает:

— Нет, не могу! нужно посоветоваться с женою; без нее, вы знаете, я ни шагу не делаю.

А жена его, сущая илотка, была доведена им до полнейшей инерции. В сделках, как сейчас заметили мы, она у него была вроде щита. Гранде ни с кем не знакомился, никого не звал к себе, да и сам ни к кому не ходил. Он не любил шума, и скупился даже и на движение. Ни у кого ничего не трогал и никого не беспокоил, из уважения к собственности. Впрочем, несмотря на свое сладкоречие, двусмысленность и осторожность, бочар всегда выказывался настоящим бочаром, в словах и ухватках, особенно дома, где он не любил удерживаться.

С виду Гранде был футов пяти ростом, плотный и здоровый. Ноги его были 12 дюймов в окружности; мускулист и широкоплеч. Лицо круглое и рябоватое. Подбородок его был прямой, губы тонкие и ровные, зубы белые. Взгляд мягкий, ласковый, жадный, взгляд василиска. Лоб, изрезанный морщинами, с замечательными выпуклостями. Волосы его желтели и седели, всё в одно время, — *золото* и *серебро*, по выражению охотников пошутить, вероятно, не знавших, что с Гранде не шутят. На толстом носу его висела красная шишка. Целое выражало тихость сомнительную, холодную честность и эгоизм скупца. Замечали еще в нем одно — привязанность, любовь к своей дочери Евгении, единственной наследнице. Походка, приемы выражали са-

моуверенность, удачу во всем; и действительно, Гранде, хотя тихий и уклончивый, был твердого, железного характера.

Одежда его была всегда одинаковая; в 1820 году он одевался точно так же, как и в 1791 году. Толстые башмаки с медными застежками, нитяные чулки; панталоны короткие, толстого темного сукна с серебряными пуговками; шерстяной жилет с желтыми и темными полосками, застегнутый сверху донизу, и просторный, каштанового цвета сюртук, белый галстук и широкополая квакерская шляпа; перчатки у него были толстые, неуклюжие, — в два года одна пара; всегда методически раскладывал он их на одном и том же месте, на полях своей шляпы.

Более ничего не знали о нем в Сомюре. Шесть лиц имели право посещать его дом.

Самым значительным лицом из первых трех был племянник нотариуса Крюшо. После своего назначения президентом сомюрского суда первой инстанции Крюшо, племянник, к фамилии своей присоединил еще словцо *де Бонфон*, и всеми силами старался называться просто *де Бонфон*, а потому обыкновенно подписывался К. де Бонфон. Неловкий проситель господина *Крюшо*, забывший *де Бонфона*, поздно уже замечал свою ошибку. Президент особенно покровительствовал тем, кто называл его президентом, но льстил, улыбался, дружил тому, кто называл его *де Бонфоном*. Президенту было 33 года. *Бонфон* было название его поместья (Boni Fontis), приносившего ему тысяч до семи ливров дохода. Кроме того он был единственным наследником своего дяди нотариуса и другого дяди, аббата Крюшо; оба они слыли довольно богатыми. Трое Крюшо, поддерживаемые порядочным числом кузенов, кузин и роднею почти двадцати домов сомюрских, составляли свою особую партию, как некогда фамилия *Пази* во Флоренции, и, подобно *Пази*, Крюшо имели противников.

Госпожа де Грассен, мать двадцатитрехлетнего юноши, частенько приходила к госпоже Гранде составлять с нею партию в лото, надеясь непременно женить *своего возлюбленного Адольфа* на девице Евгении Гранде. Господин де Грассен, банкир, помогал жене беспрерывными маленькими услугами старому скупцу и всегда вовремя поспевал на поле битвы. Трое де Грассенов имели тоже верных союзников — кузенов, кузин и т. п.

Со стороны же Крюшо работал их аббатик, Талейран в миньятюре, и, достославно поддерживаемый братом нотариусом, с честию выдерживал бой с банкиршей, в пользу своего племянника, президента. Битвы де Грассенов с тремя Крюшо и их партией за Евгению возбуждали большое внимание в Сомюре.

Кому-то достанется Евгения: президенту или Адольфу де Грассену?

Задачу разрешали тем, что-де не достанется ни тому ни другому, что бочар зазнался и хочет иметь своим зятем не иначе как пэра Франции, который бы решился взять в придачу к 200 000 ливров годового дохода все бочки своего тестюшки.

Другие выставляли на вид дворянство и богатство де Грассенов; говорили, *что Адольф ловок, хорош собою и что кого же и выбрать, ежели не его? Разве уж найдется какой-нибудь папский племянник, — тогда дело другое, а что и теперь уже много чести Гранде, которого весь Сомюр видел с долотом в руке и когда-то санкюлотом.* Наблюдатели заметили, что господин Крюшо де Бонфон мог ходить к старику во всякое время, а Адольф де Грассен только по воскресеньям. Говорили, что госпожа де Грассен не такова, чтоб уступить в деле; им отвечали, что аббат Крюшо претонкая штука и что если сойдутся где аббат да женщина, так силы всегда одинаковы.

Старожилы полагали, что Гранде не захотят выпустить добра из фамилии. По их мнению, Евгения непременно выйдет за своего кузена, сына купца Вильгельма Гранде, богатейшего откупщика в Париже. Обе сомюрские партии возражали им тем, что во-первых, старики уже тридцать лет как не видались друг с другом; во-вторых, что парижанин не так думает устроить судьбу своего сына, что он мэр округа, депутат, полковник национальной гвардии, судья в коммерческом суде; что он давно уже отступился от сомюрских Гранде и ищет сыну дочь какого-нибудь дешевенького наполеоновского герцога.

И много было еще говорено о богатой наследнице почти двадцать миль кругом и даже в омнибусах, ходивших между Блуа и Анжером.

В начале 1818 года победа была совершенно на стороне Крюшо. Имение Фруафонд, славившееся своим великолепным парком, великолепным замком, фермами, прудами, рекою, лесом, поступило в продажу; молодой маркиз де Фруафонд продавал его по необходимости, нуждаясь в деньгах. Крюшо с союзниками упросили маркиза не продавать имения по частям. Нотариус представил ему все невыгоды, все хлопоты продажи по участкам, особенно в получении денег с покупателей, что-де лучше продать всё разом и вот, например, хоть Гранде готов заплатить хоть сейчас. Тогда владение Фруафонд было куплено стариком, и он, к величайшему удивлению сомюрцев, заплатил, не поморщившись, все пять миллионов чистыми деньгами, звонкою монетою. Об этой покупке стали говорить и в Нанте, и в Орлеане.

Гранде сел в тележку, возвращавшуюся по случаю из Сомюра в Фруафонд, и поехал осматривать свои поместья. Он воротился весьма довольный тем, что поместил свои капиталы по пяти на сто, и тут же задумал округлить маркизат Фруафонд, присоединив к нему и свои земли. Но чтобы насыпать снова сундук свой, он решился вырубить свои леса и тополи на лугах аббатства Нойе.

Теперь понятна ли будет вся значительность выражения — *дом господина Гранде*? Дом этот был наружности мрачной, угрюмой, а выстроен был он в самой высшей части города, возле развалин старинных укреплений. Два столба со сводом, составлявшие вход, были построены из белого луарского камня, слабого, мягкого, не выносившего более 200 лет при постройках.

Множество углублений, дыр и трещин неправильной разнообразной формы, изрытых временем в столбах и на своде входа, рисовались на них причудливыми, фантастическими арабесками. Всё в целом походило несколько на крыльцо какой-нибудь городской тюрьмы. Выше свода был барельеф из твердого камня, с почернелыми и попорченными фигурами, изображавшими четыре времени года. Над барельефом тянулся плинт, из-за которого возвышали вершинки свои дикие растения и деревья, случайно зародившиеся в трещинах камня — желтая стенница, павилика, попутник и молоденький вишневник, впрочем, уже довольно высокий.

Толстая дубовая дверь, черная, потрескавшаяся, слабая с виду, была твердо скреплена толстыми железными болтами, симметрически на ней расположенными. Маленькое квадратное окошечко, с толстою заржавевшею решеткою, было прорезано в дверях калитки; в эту решетку колотили молотком, привязанным тут же к кольцу.

Глядя сквозь решетку, сквозь которую когда-то высматривали друга и недруга, можно было заметить в конце длинного, темного свода несколько полуразбитых ступеней; они вели в сад, живописно разбросанный около древних стен укреплений, позеленевших и обросших мхом и плющом. Далее за стенами, над укреплениями, виднелись дома и зеленели сады соседей.

Самая замечательная комната в нижнем этаже этого дома была *зала*. Вход в нее был прямо из ворот. Немногие из обитателей маленьких городков Турени, Анжу и Берри понимали необходимость общей комнаты в доме. Зала в одно и то же время могла служить прихожею, гостиною, кабинетом, будуаром, столовою; зала — это театр, сцена для частной семейной жизни. В зале Гранде происходили все обычные семейные собрания; в этой комнате сосед парикмахер два раза в год приходил стричь

волосы старика Гранде; сюда являлись его фермеры, священник, префект и нарочный из мельницы.

Два окна этой комнаты выходили на улицу. Комната была вся обита темными обоями с старинной разрисовкой; потолок был также расписан в старинном вкусе и под цвет обой; всё было старо и пожелтело от времени.

Комната нагревалась камином, над которым было вделано в стене зеркало зеленоватого стекла и с резанными наискось боками, которые сияли ярко от переломлений лучей света в гранях окраин зеркала.

По бокам камина стояли два жирандоля, медные, позолоченные, с двумя рожками. Когда снимали эти рожки со стержня, на котором укреплен был общий конец их, то мраморный пьедестал с медным стержнем, в него вделанным, годился для каждодневного употребления, как обыкновенный подсвечник. Кресла и стулья старого фасона были обиты старинными обоями, с рисунками, изображавшими сцены из басен Лафонтена; но трудно было уже разобрать эти рисунки: так они были потерты и изношены от времени и употребления. По четырем углам комнаты стояли этажерки, а в простенке между окнами ломберный столик наборной работы; верхняя складная доска его сделана была в виде шашечницы. Над столом, в простенке, висел барометр черного дерева с золочеными каемочками, испачканный и изгаженный кругом мухами. На стене, против камина, висели два портрета, писанные — один с покойного господина Ла Бертельера, изображенного в мундире гвардии лейтенанта; другой портрет изображал покойную госпожу Жантильи в костюме аркадской пастушки. Перед окнами были красиво драпированы красные занавески из турской материи. Толстые шелковые снурки связывали узлы драпировки. Эти роскошные занавески, так неуместные в этом доме, были выговорены господином Гранде в свою пользу при покупке дома, равно как и зеркало, мебели и этажерки.

В амбразуре окна, ближайшего к двери, стояло кресло госпожи Гранде; оно возвышалось на подставке, чтобы можно было смотреть на улицу. Перед креслами стоял простенький рабочий столик. Маленькие кресла Евгении стояли тут же возле окна.

И целые 15 лет прошли день за днем, а мать и дочь постоянно просиживали целые дни на одном и том же месте за своим рукодельем, с апреля месяца до самого ноября. С первого числа ⟨ноября⟩ мать и дочь переселялись к камину, потому что только с этого дня в доме начиналась топка, которая потом и оканчивалась тридцать первого марта, несмотря на холодные дни ранней весны и поздней осени. Тогда длинная Нанета сберегала обыкновенно несколько угольев от кухонной топки и приносила их на

жаровне, над которою мать и дочь могли отогревать свои окостеневшие от холода пальцы.

Всё домашнее белье лежало на руках матери и дочери; весь день уходил у них на эту работу, так что когда Евгении хотелось сделать какой-нибудь подарочек матери из своего рукоделья, то приходилось работать по ночам и выпрашивать у старика свечей. Уже с давних времен скряга начал сам выдавать свечи своей служанке и дочери, равно как хлеб, овощи и всю провизию для обеда и завтрака.

Одна только *длинная Нанета* могла ужиться в услужении у такого деспота, как старик Гранде. Целый город завидовал старику, видя у него такую верную служанку. Длинная Нанета, получившая свое прозвание по богатырскому росту (5 фут. 8 дюймов), служила уже 35 лет у господина Гранде. Она была одною из самых богатейших служанок Сомюра, хотя жалованья получала всего шестьдесят ливров. Накопившуюся сумму, около четырех тысяч ливров, Нанета отдала нотариусу Крюшо на проценты. Разумеется, эта сумма была для нее весьма значительна, и всякая служанка в Сомюре, видя у бедной Нанеты верный кусок хлеба под старость дней ее, завидовала ей, не думая о том, какими кровавыми трудами заработаны эти денежки.

Когда ей было двадцать два года, она была без хлеба и без пристанища; никто не хотел взять ее в услужение, по причине ее необыкновенно уродливой фигуры, и, разумеется, все были несправедливы. Конечно, если бы природа создала ее гвардейским гренадером, то всякий бы назвал молодцом такого гренадера; но, как говорится, всё должно быть кстати. Нанета, потерявшая по причине пожара место на одной ферме, где она ходила за коровами, явилась в Сомюр, и, воодушевленная уверенностию и надеждою, начала искать всюду места и не унывала духом.

В это самое время Гранде собирался жениться и стал задумывать о будущем хозяйстве. Нанета явилась кстати, тут как тут. Как истинный бочар, умея ценить физическую силу в своем работнике, Гранде угадал сразу всю выгоду, какую мог извлечь, имея у себя Геркулеса-работницу; он с наслаждением смотрел на ее высокий рост, жилистые руки, крепкие члены; ни безобразие лица длинной Нанеты, ни рубище, ее прикрывавшее, не устрашили Гранде нисколько. Он принял ее в свой дом, одел, накормил, дал ей работу и жалованье. Крепко привязалось сердце бедного создания к новому господину; Нанета плакала потихоньку от радости. Бочар завалил ее работой. Нанета делала все. Стряпала кушанье, мыла белье, вставала рано, ложилась поздно, во время жатвы готовила обед на всех работников, смотрела за ними как верная собака, стояла горою за соломинку из добра

господского и без ропота исполняла в точности самые странные фантазии чудака Гранде.

После двадцатилетней верной службы Нанеты, в 1811 году, в году счастливом для виноградчиков, Гранде решился наконец подарить свои старинные часы Нанете; это был первый и единственный подарок старика Гранде. Правда, что он дарил иногда ей и старые башмаки свои, но нельзя сказать, чтобы могла быть какая-нибудь выгода от старых башмаков господина Гранде; они были всегда донельзя изношены. Сперва нужда, а потом и привычка сделали Нанету скупою, и старик полюбил свою служанку, полюбил ее, как верную старую собаку; Нанета радовалась, благословляла судьбу и была счастлива.

Она не жаловалась, если, например, старику Гранде приходилось обвесить иногда ее при выдаче хлеба и остальной провизии. Не жалуясь сносила иногда и голод, потому что бочар приучал всегда своих домашних к строжайшей диете, хотя в этом доме никто никогда не был болен. Наконец Нанета стала настоящим членом семейства; она привязалась всею силою души своей ко всем членам этой фамилии; она смеялась, когда смеялся старик Гранде, работала, когда он работал, зябла, когда ему было холодно, и отогревалась, когда ему было жарко. Как отрадно было сердцу Нанеты, привязанному святым, бескорыстным чувством благодарности к благодетелю своему, в свычке с ним, в неограниченной к нему преданности. Никогда, ни в чем не мог упрекнуть сварливый, скупой Гранде свою верную Нанету; ни одна кисть винограда не была взята ею без позволения; ни одна груша, упавшая с дерева, съедена потихоньку; Нанета берегла, хранила всё, заботилась обо всём.

— Ну, ешь, Нанета, полакомься, — говорил иногда Гранде, обходя свой сад, где ветви ломались от изобилия плодов, которые бросали свиньям, не зная куда девать излишек.

Отрадно было бедному созданию, когда старик изволил смеяться, забавляться с ней: это было очень, очень много для бедной девушки, призренной Христа ради, вытерпевшей одни лишения да побои. Сердце ее было просто и чисто, и душа свято хранила чувство благодарности. Живо помнила она, как тридцать пять лет назад она явилась на пороге этого дома, бедная, голодная, в рубище, и с босыми ногами, и как Гранде встретил ее вопросом:

— Ну, что ж тебе нужно, красавица?

И сердце дрожало в груди ее при одном воспоминании об этом дне. Иногда Гранде приходило в мысль, что его бедняжка Нанета в целую жизнь не слыхала от мужчины слова приветливого, не знала, не испытала ни одного наслаждения в жизни, са-

мого невинного, данного в удел женщине — наслаждения нравиться, например, и Гранде в припадке жалости говорил иногда:

— Ах, бедняжка Нанета!

И когда он говорил это, то встречал потом тихий взор служанки своей, взор, блестящий неизъяснимым чувством, благодарностию. Одно это слово, произносимое стариком от времени до времени, составляло, каждое, одно звено из непрерывной цепи бескорыстной преданности и нежной дружбы служанки к своему господину. И это сострадание, явившееся в черством, окаменевшем сердце старого скряги, было как-то грубо, жестко, носило отпечаток беспощадной жестокости. Старику было любо пожалеть Нанету по-своему, а Нанета, не добираясь до настоящего смысла, блаженствовала, видя к себе любовь своего господина.

Много было семейных домов в Сомюре, где слуги содержались лучше, довольнее, но где господа всегда жаловались на слуг своих, а жалуясь, всегда говорили: «Да чем же озолотили эти Гранде свою Нанету, что она за них в воду и в огонь пойти готова?»

Кухня Нанеты была всегда чиста, опрятна; всё в ней было вымыто, вычищено, блестело; всё было, между прочим, заперто и всё мерзло от холода. Кухня Нанеты была кухней настоящего скряги. Когда Нанета кончала мытье посуды и чистку кастрюль, прибирала остатки от обеда и тушила свой огонь, то запирала свою кухню, отделявшуюся от залы одним коридором, являлась в залу с самопрялкою и садилась возле господ своих.

На всё семейство выдавалась одна свечка на целый вечер. Ночью Нанета спала в коридоре, освещенном какою-то жалкою светильнею. Только железное здоровье Нанеты могло выносить все привлекательности ночлега в холодном коридоре, из которого она легко могла слышать малейший шорох в доме, нарушавший тишину ночи. Как дворовая собака, она спала вполглаза и слышала во все уши.

Описание других частей дома встретится вместе с повествованием происшествий этой истории; впрочем, абрис залы, парадной комнаты в целом доме, может служить масштабом нашей догадки об устройстве остальных этажей его.

В 1819 году, в одно из чисел ноября, когда начало уже смеркаться, Нанета затопила в первый раз печку. Осень была весьма хороша. Этот день, 17-е ноября, был зна́ком всем Крюшо и всем де Грассенам: шесть бойцов на жизнь и смерть готовились явиться в залу Гранде, льстить, кланяться, скучать и уверять, что им весело.

Утром, в час обедни, весь Сомюр мог видеть торжественное шествие госпожи Гранде, Евгении и Нанеты в приходскую цер-

ковь, и всякий вспомнил, что этот день праздничный у старика Гранде, что этот день — день рождения его возлюбленной дочери Евгении. Господа Крюшо расчислили по часам время, когда старик отобедает, и в известное мгновение, не потеряв ни минуты, побежали к нему, чтобы явиться пораньше де Грассенов. У всех троих Крюшо было в руках по огромному букету цветов. Букет президента Крюшо был предательски обернут белой атласной ленточкой и перевязан золотыми снурками.

В это утро старик Гранде, по всегдашнему обыкновению, соблюдаемому им каждый год в день рождения Евгении, пришел в ее комнату, разбудил ее своим поцелуем и с приличною торжественностию вручил ей подарок свой — двойной наполеондор; это повторялось уже лет около тринадцати сряду, каждый раз в день рождения Евгении.

Госпожа Гранде дарила ей обыкновенно материи на платье.

Два платья госпожи Гранде (то же было и в именины Евгении) и четыре наполеондора старика, да еще два другие наполеондора, получаемые ею в новый год и в день именин отца своего, составляли весь доход Евгении, в год всего около ста экю; скряга прилежно смотрел за благосостоянием кассы своей дочери и радовался, глядя на ее сокровище. Не всё ли равно было, что давать, что нет такие подарки? Гранде только перекладывал из одной кубышки в другую и по временам иногда поверял все суммы и все сокровища своей дочери; эти сокровища были прежде гораздо значительнее, когда еще старики Бертельеры были в живых и дарили ее в свою очередь, каждый по своему, и всегда приговаривали: «Это на твою *дюжинку*, к свадьбе, жизнёночек».

Давать *дюжину* к свадьбе — старое обыкновение, свято сохранившееся в некоторых провинциях Франции, как то в Берри, Анжу и других. Там ни одна девушка не выходит замуж *без дюжины*. В день свадьбы отец и мать ее дарят ей кошелек, в котором лежат двенадцать червонцев, или двенадцать дюжин червонцев, или двенадцать сотен червонцев, смотря по состоянию. Дочь последнего бедняка не выходит замуж без дюжины, хотя бы медною монетою. Были примеры подарков в 144 португальских червонца. Папа Климент, выдавая племянницу свою Марию Медичи за Генриха Второго, короля французского, подарил ей двенадцать древних медалей, бесценных по редкости и красоте отделки.

За обедом старик, любуясь на дочь свою, похорошевшую в новеньком платьице, закричал в припадке сильнейшего восторга:

— Ну, уж так и быть! Сегодня день рождения Евгении, так затопим-ка печи.

— Ну, выйти вам замуж этот год, моя ласточка, — сказала Нанета, убирая со стола остатки жареного гуся.

— В Сомюре для нее нет приличной партии, — сказала госпожа Гранде, робко взглянув на своего мужа.

Гранде поглядел на свою дочь и радостно закричал: «Милочка моя! Да ей сегодня уж 23 года; нужно, нужно позаботиться, нужно...»

Евгения и мать ее переглянулись друг с другом.

Госпожа Гранде была женщина сухая, худая, желтая, мешковатая, неловкая. У нее были большие глаза, большой нос, большая голова, все черты лица грубые и неприятные. Зубы ее были черные и редкие, губы угловатые, неправильные. Это была предобрая и препростая женщина, *урожденная Ла Бертельер*. Когда-то аббат Крюшо сказал ей, что она совсем недурна собою, и она этому чистосердечно поверила. Все уважали ее за ее редкие христианские добродетели, за ее кротость, и жалели ее за уничижение перед мужем и за жестокости, терпеливо переносимые от него бедной старушкой.

Гранде никогда не давал более шести франков жене своей. Эта женщина, которая принесла ему триста тысяч в приданое, была так глубоко унижена, доведена до такого жалкого илотизма, что не смела просить ни копейки у скряги мужа и не могла требовать ни малейшего объяснения, когда нотариус Крюшо подавал ей Бог знает какие акты для подписи. Будучи так унижена, она была горда в глубине души своей и из одной гордости не жаловалась на судьбу. Она терпеливо вынесла весь длинный ряд оскорблений, нанесенных ей стариком Гранде, и никогда не говорила ни слова — и всё это из безрассудной, но благородной гордости.

Целый год постоянно носила она одно зеленоватое шелковое платье; надевала также белую косыночку и соломенную шляпку для выходов. Выходя редко, она мало носила башмаков. Словом, о себе она никогда ни в чем не заботилась.

Иногда угрызения совести закрадывались в сердце старого скряги, — и, припоминая, как давно не давал он денег жене своей, от последней эпохи, шести франков, он всегда при какой-нибудь сделке, спекуляции, счастливой продаже, оставлял и ей *на булавки*. Эта сумма доходила иногда до четырех и до пяти луидоров и была самою значительною частию доходов госпожи Гранде.

Но только что она получала эти пять луидоров, то раскаявшийся Гранде, при первом расходе, тотчас спрашивал у нее:

— Не дашь ли ты мне какой-нибудь безделицы взаймы, душа моя?

Точно как будто бы их кошелек был общим. Но бедная госпожа Гранде обыкновенно радовалась, когда могла сделать одол-

жение своему мужу, и никогда не отказывала ему в просьбе. Таким образом, из денег на булавки терялась всегда добрая половина.

Когда же Евгения получала свой собственный доход, на булавки, по одному экю в месяц, то каждый раз Гранде, застегивая свой сюртук, прибавлял, смотря на жену свою:

— Ну, а ты, мамаша, не нужно ли и тебе чего-нибудь?

— Я после скажу тебе, друг мой, — отвечала она, одушевленная мгновенно материнским достоинством. Но Гранде не хотел понимать великодушия жены своей и чистосердечно считал себя самого великодушным.

После торжественного обеда, замечательного тем, что Гранде в первый раз в жизни заговорил о том, как бы пристроить Евгению, Нанета, затопив камин, пошла по приказанию Гранде за бутылкою касси в его комнату и чуть-чуть не упала с лестницы.

— Ну, вот еще: этак можно упасть, Нанета, — сказал старик.

— Да там одна ступенька изломана, сударь.

— Это правда, — заметила госпожа Гранде, — ее бы давно нужно было поправить. Вчера Евгения также чуть-чуть не упала.

Гранде посмотрел на Нанету; она еще была бледна от испуга.

— Ну! — сказал развеселившийся бочар, — так как сегодня день рождения Евгении, а ты чуть-чуть не упала, так выпей себе стаканчик касси.

— Ну, да ведь я его заслужила, — отвечала Нанета, — другой непременно разбил бы бутылку, а я бы сама прежде разбилась, а не выпустила бы ее из рук, сударь.

— Бедняжка Нанета! — сказал Гранде, наливая ей касси.

— В самом деле, не ушиблась ли ты Нанета? — с участием спросила ее Евгения.

— Нет, я удержалась сударыня, я не упала.

— Ну, так как сегодня день рождения Евгении, так я вам ее исправлю, эту ступеньку; хоть она еще и теперь годится, да вы неловкие и ходить-то не умеете.

Гранде взял свечку, оставив в потемках дочь, жену и Нанету, и пошел в свою комнату за гвоздями и за досками.

— Не помочь ли вам, сударь? — закричала Нанета, услышав стук топора на лестнице.

— Э, не нужно! ведь недаром же я старый бочар.

Гранде, поправляя свою лестницу, припомнил бывалую работу в молодые годы свои и засвистал, как всегда прежде за работою. В это время постучались у ворот трое Крюшо.

— Это вы, господин Крюшо? — сказала Нанета, отворив гостям двери.

— Да, да, — отвечал президент.

Свет в зале был для них маяком, потому что Нанета была без свечки.

— А, да вы по-праздничному, — сказала Нанета, слыша запах цветов.

— Извините, господа, — кричал Гранде, услышав знакомые голоса друзей своих, — я сойду сейчас к вам. Я не гордец, господа, и вот сам вспоминаю старинку, как, бывало, возился с долотом и топором.

— Да что же вы это, господин Гранде! *И трубочист в своем доме господин*, — сказал президент, смеясь втихомолку.

Госпожа Гранде и Евгения встали, чтоб принять гостей. Президент воспользовался темнотою и, приблизившись к Евгении, сказал ей:

— Позволите ли, сударыня, пожелать вам, в торжественный день рождения вашего, счастия на всю жизнь вашу и доброго драгоценного здоровья.

И он подал ей огромный букет с редкими цветами в Сомюре; потом, взяв ее за руки, поцеловал ее в плечо с таким торжественным и довольным видом, что Евгении стало стыдно. Президент был чрезвычайно похож на заржавевший гвоздь и чистосердечно думал, что и он иногда умеет быть и грациозным, и обворожительным.

Гранде вошел со свечой и осветил всё собрание.

— Не церемоньтесь, господин президент, — сказал он, — да вы сегодня совершенно по-праздничному.

— Но мой племянник всегда готов праздновать день, проводимый с m-lle Евгениею, — сказал аббат, подавая букет свой и целуя у Евгении руку.

— Ну, так вот мы как, — сказал старый нотариус, в свою очередь поздравляя Евгению и целуя ее по-стариковски, в обе щечки. — Растем помаленьку! Каждый год по двенадцати месяцев.

Гранде поставил свечу на стол. Потом, *повторяя свою остроту*, которая, по-видимому, очень ему понравилась, сказал:

— Ну, так как сегодня день рождения Евгении, так зажжем другую свечку.

Осторожно снял он оба рожка с своих канделябр; потом, взяв принесенную Нанетой новую свечку, воткнул ее, уставил перпендикулярно, зажег и, сев подле гостей своих, заботливо посматривал то на гостей, то на дочь свою, то на обе зажженные свечки.

Аббат Крюшо был маленький, кругленький, жирненький человек, в рыжем плоском парике. Протягивая свои ножки, хорошо обутые в башмаки с серебряными застежками, он сказал:

— Де Грассены еще не были у вас сегодня?

— Нет еще, — отвечал Гранде.

— Да будут ли они еще? — спросил старый нотариус, сделав гримаску, выражавшую сомнение.

— Я думаю, что будут, — отвечала госпожа Гранде.

— Удалось ли вам убрать виноград ваш? — спросил президент де Бонфон старика Гранде.

— Как же-с, удалось! — самодовольно отвечал бочар и, встав с своего места, охорашиваясь, начал ходить по комнате.

Остановившись в дверях, которые вели в коридор, он увидел у Нанеты свечку. Не смея быть в зале и скучая без дела, она села в кухне за свою самопрялку.

Гранде пошел на кухню.

— Зачем здесь еще свечка? Затуши ее и ступай к нам в залу! Что тебе тесно там, что ли? достанет места для твоей самопрялки.

— Ах! да у вас, сударь, будет много гостей!

— А ты чем хуже моих гостей? Мы все от ребра Адамова, — ты так же, как и другие.

Воротясь в залу, Гранде спросил президента:

— Вы продали вино, господин президент?

— Нет! берегу, — отвечал президент. — Теперь вино хорошо, через год еще будет лучше. Ведь вы сами знаете, все виноградчики согласились держаться в настоящей цене и не уступать бельгийцам. Уедут, опять воротятся.

— Хорошо, хорошо, — так не уступать же, — сказал Гранде.

— Бьюсь об заклад, что он уж торгуется, — сказал Крюшо потихоньку.

Раздался стук молотка и возвестил прибытие де Грассенов, расстроивших преназидательный разговор аббата с госпожою Гранде.

Госпожа де Грассен была свеженькая, розовенькая, пухленькая, и принадлежала к числу тех женщин, которые и в сорок лет не стареются. Такие женщины похожи на поздние розы. Цветы не ярки, бледны, запах не слышен, но на взгляд они всё еще хороши. Госпожа де Грассен одевалась со вкусом, выписывала моды из Парижа, давала вечера и была образцом всех дам сомюрских.

Муж ее, банкир де Грассен, был отставной квартирмейстер наполеоновской армии. Раненный под Аустерлицем, он вышел в отставку. Он любил выказывать откровенные, грубые приемы старого солдата и даже не оставлял их в разговоре с самим господином Гранде.

— Здравствуйте, Гранде! — сказал он, дружески тряся ему руку, но говоря немного свысока, чего терпеть не могли все трое Крюшо. — А вы, сударыня, — сказал он, обращаясь к Евгении и сперва поклонившись госпоже Гранде, — вы такая всегда умница и хорошенькая, что, право, не знаешь, чего и пожелать вам более.

Потом, взяв у слуги своего, с ним пришедшего, горшок с редкими цветами, он подал их Евгении. Госпожа де Грассен нежно поцеловала Евгению и сказала ей:

— А мой подарок, милая Евгения, представит вам Адольф.

Тогда Адольф, высокий молодой человек, белокурый, недурной наружности, робкий с виду, но промотавший в Париже 10 000 франков свыше своего пансиона, подошел к Евгении, поцеловал ее и представил ей довольно красивый рабочий ящик. И хотя на крышке были довольно красиво выведены буквы Е. Г., ящик, по простенькой работе своей, заставлял сильно подозревать, что он куплен у разносчика.

Но отворив его, Евгения покраснела от удовольствия, от радости, при виде красивых безделок. Робко посмотрела она на отца, как бы спрашивая позволения принять такой богатый подарок.

— Возьми, душенька! — сказал Гранде, тоже каким-то необыкновенным, дрожащим голосом.

Крюшо остолбенели, заметив радостный взгляд, брошенный богатой наследницей на Адольфа де Грассена. Де Грассен попотчевал старика табаком, понюхал потом сам, обтер соринки, упавшие на его ленточку Почетного легиона, и, взглянув на Крюшо, казалось, говорил своим горделивым взглядом:

— Ну, что, каково теперь вам, господа Крюшо?

Госпожа де Грассен с притворным простодушием обернулась взглянуть на подарки троих Крюшо. Букеты были поставлены на окошко, в синие стеклянные кружки с водою.

Аббат Крюшо, находясь в весьма деликатном положении, выждал минуту, когда всё общество уселось по своим местам. Потом, взяв под руку господина Гранде, начал с ним прогуливаться по комнате. Наконец, уведя его в амбразуру окна, он сказал:

— Эти де Грассены бросают за окно свои деньги.

— Да ведь не всё ли равно? Перекладывают из кубышки в кубышку. Их денежки сберегутся, — отвечал бочар.

— Конечно, конечно, таким богачам, как им, да вам, легко дарить дочерям золотые ножницы.

— Ну, да я дарю мою дочь немножко получше, чем вашими золотыми ножницами, — отвечал Гранде.

«Колпак ты, олух, племянничек, — подумал аббат, смотря на разряженного президента. — Не мог выдумать какой-нибудь дорогой безделки?»

— Не сесть ли нам в лото? — сказала госпожа де Грассен, смотря на госпожу Гранде.

— Да нас так много, что можно играть и на двух столах.

— Так как сегодня день рождения Евгении, — закричал Гранде, — то садитесь все вместе и сделайте общее лото. Да и детей возьмите в компанию, — прибавил он, показывая на Адольфа и Евгению. Сам же Гранде не садился играть никогда, ни в какую игру.

— Нанета, поставь-ка стол!

— А мы вам поможем, *мадам Нанета*, — закричала весело госпожа де Грассен, радуясь радости Евгении.

— Мне никогда не было так весело, — сказала ей на ухо Евгения. — Как он красив, этот ящичек!

— Это Адольф привез из Парижа, моя милая; он сам выбирал его.

— Шепчи, шепчи ей там, проклятая! — говорил про себя президент, — случись у тебя процесс — проиграешь!

Нотариус спокойно сидел в углу и хладнокровно смотрел на аббата. Он думал про себя:

«Пусть их интригуют. Наше общее имение стоит, по крайней мере, миллион сто тысяч франков, а у де Грассенов нет и пятисот тысяч. Пусть их дарят золотые ножницы... И невеста и ножницы, всё будет наше!»

Итак, в восемь с половиною часов столы были раскрыты. Госпожа де Грассен сумела посадить Адольфа рядом с Евгенией. Стали играть. Между тем все играли в одной общей комедии, хотя довольно грубой, но весьма замечательной, особенно для актеров. Старый нотариус острил; все смеялись, и почти все в одно и то же время думали о заветных миллионах и богатой наследнице.

Старый бочар хвастливо смотрел вокруг себя, на свежую шляпку госпожи де Грассен, на воинственную фигуру банкира, на Адольфа, президента, аббата и нотариуса, и говорил про себя потихоньку:

«Все вы сюда пришли подличать перед моими миллионами. Скучают и смеются; подбираются к дочери, а не видать никому моей дочери! Ну-тка, рвите с удочки!»

Эта странная радость, веселость, в скучной, темной зале Гранде, этот смех, сопровождаемый гуденьем Нанетиной самопрялки, смех, искренний, неподдельный лишь на устах Евгении да ее матери; все эти мелочи, связанные с огромным интересом и

замыслами, эта бедная девочка, каждое мгновение обманутая ложным любезничаньем и дружбою, — всё это оживляло сцену каким-то грустным, пошлым комизмом. Комедия, как мы сказали, грубая, сюжет ее избитый. Гранде, главное лицо в комедии, обманывал всех своим простодушием и терпел гостей своих только для личных, посторонних видов. Казалось, он изображал в собственном лице своем мамона, божество, которому мы все поклоняемся.

Искренность и добродушие совокупились и нашли приют в сердцах трех персонажей этой комедии. Нанета, Евгения и госпожа Гранде были одни равнодушны, наивны и жалки. Как жалка, в самом деле, была их наивность! Евгения и мать ее ровно ничего не знали о своем богатстве; они не знали ничего в действительной жизни и судили понаслышке, ощупью, по-своему. Эти добрые, чистые души были занимательным исключением здесь, посреди себялюбцев, сребролюбцев и эгоистов. Странный жребий человеческий! Кажется, нет ни одного блаженства у человека, не происходящего от простоты и неведения.

Госпожа Гранде выигрывала значительный куш, шестнадцать су, самый большой в их игре. Нанета смеялась от радости, видя счастие на стороне госпожи своей. Вдруг сильный, звонкий удар молотка раздался в воротах дома. Женщины в испуге вскочили со стульев.

— Ну, этот гость не из наших сомюрцев, — заметил нотариус.

— Да можно ли этак стучать! — закричала Нанета, — да они там дверь хотят выломать.

— Что за черт! — сказал Гранде, вставая с места и уходя с Нанетой, взявшей со стола свечку.

— Гранде! Гранде! — закричала жена его и побежала удержать своего мужа. Все переглянулись.

— Пойдемте все, — сказал де Грассен. — Какой странный стук! К добру ли это?

Но де Грассену удалось только заметить лицо незнакомца, молодого человека, сопровождаемого почтальоном, на руках которого были два огромные чемодана. Гранде быстро обернулся к жене:

— Ступайте, садитесь за ваше лото, госпожа Гранде; я поговорю сам с господином...

Старик захлопнул за собою дверь. Все уселись на свои места, и видимое спокойствие восстановилось.

— Это не из Сомюра? — спросила госпожа де Грассен своего мужа.

— Нет, это приезжий и, если не ошибаюсь, из Парижа.

— И в самом деле, — сказал нотариус, вынимая часы свои, — девять часов. Парижские дилижансы никогда не опаздывают.

— Что это — молодой или старик? — спросил аббат Крюшо де Грассена.

— Да, молодой человек: у него столько чемоданов... весят по крайней мере 300 килограммов.

— Нанета не возвращается, — заметила Евгения.

— Это, верно, кто-нибудь из ваших родственников, — сказал президент.

— Начнемте же играть, господа, — сказала госпожа Гранде, — мой муж, кажется, очень недоволен; я узнала это по его голосу. Он рассердится, если узнает, что мы говорим здесь про дела его.

— Сударыня, — сказал Адольф Евгении, — это, верно, ваш двоюродный братец, прекрасный молодой человек, которого я видел на бале господина маршала Уд...

Но Адольф остановился, потому что госпожа де Грассен сильно наступила ему на ногу; потом сказала ему на ухо:

— Ты так глуп, Адольф! молчи, сделай милость.

В это время вошел Гранде, но уже без Нанеты; слышно было, как почтальон и Нанета тащат что-то вверх по лестнице. За Гранде следовал незнакомец, возбудивший столько догадок, толков и общее удивление, так что появление его можно было сравнить с появлением красивого роскошного павлина на заднем дворе у какого-нибудь мужика.

— Сядьте возле огня, — сказал Гранде своему гостю.

Но прежде, чем последовать приглашению Гранде, молодой незнакомец ловко и благородно поклонился всем. Мужчины встали с мест и отдали ему поклон его. Женщины не встали с мест, но тоже поклонились ему.

— Вы, верно, озябли, сударь, — сказала госпожа Гранде, — вы, верно, приехали...

— Уж пошли, пошли! вот каковы эти бабы, — закричал бочар, перестав читать письмо, которое он держал в руках, — да оставь его в покое...

— Но, батюшка, может быть, им что-нибудь нужно, — сказала Евгения.

— У него есть язык, — отвечал Гранде с заметною досадою.

Только один незнакомец был удивлен таким приемом. Остальные так привыкли к деспотизму старика, что и теперь не обратили на него никакого внимания.

Незнакомец стал возле камина и начал греться, поднимая к огню свои ноги. Потом, обратясь к Евгении, он сказал ей:

— Я благодарен вам, кузина; но не беспокойтесь, я отдыхал и обедал в Туре; мне ничего не нужно, я даже не устал, — прибавил он, посматривая на своего дядюшку.

— Вы приехали из Парижа? — спросила госпожа де Грассен.

Шарль (так назывался сын Вильгельма Гранде, парижского), услышав вопрос госпожи де Грассен, взял свой лорнет, приставил к правому глазу, взглянул на стол, поглядел, что на нем было, взглянул на играющих, на госпожу де Грассен и наконец ответил:

— Да, сударыня, из Парижа.

— Вы играете в лото, тетушка, — продолжал он, — пожалуйста, играйте и не заботьтесь обо мне...

— Уж я была уверена, что это двоюродный братец, — думала госпожа де Грассен, изредка делая глазки Шарлю.

— Сорок семь! — закричал аббат. — Госпожа де Грассен, это ваш нумер; заметьте его!

Де Грассен положил жетон на карту жены своей, потому что та об лото уже не думала, а смотрела на Шарля и Евгению. Предчувствие ее мучило. По временам Евгения робко взглядывала на Шарля, и банкирша могла заметить в ее взглядах возраставшее удивление и любопытство.

## Глава II

### *Парижский кузен*

Шарль Гранде, красавчик, двадцати двух лет, резко отличался от группы окружавших его провинциалов, негодовавших на его надменные, аристократические приемы и старавшихся уловить в нем хоть что-нибудь смешное, чтобы посмеяться в свою очередь. Объясним это.

Двадцать два года не много, не далеко от детства. Из ста юношей, двадцатилетних, девяносто девять на месте Шарля верно бы вели себя так же, как и он, то есть выказались бы изнеженно-кокетливыми и занятыми собою. Несколько дней назад отец объявил Шарлю о поездке в Сомюр, к старику-брату, на несколько месяцев. Целью поездки могла быть Евгения. Шарль в первый раз ехал в провинцию, ему хотелось блеснуть ловкостию, вкусом, модою, изумить Сомюр роскошью, сделать эпоху в жизни сомюрцев и, если можно, преобразовать их, введя парижскую жизнь и привычки. Словом, решено было одеваться с самою роскошною изысканностию моды и чистить ногти часом

долее, чем в Париже, где часто молодой человек бросает щегольство от лени или беспечности, чем, впрочем, мало вредит себе.

Вследствие чего Шарль завелся самым щегольским охотничьим платьем, самым щегольским ружьем, самым красивым охотничьим ножом и самым изящнейшим ягдташем. Взял с собой бездну самых щегольских и разнообразных жилетов: серых, белых, черных, с золотым отливом, двойных, шалевых, с стоячими и откидными воротниками, застегивающихся сверху донизу, с золотыми пуговицами и проч. С ним были всевозможных родов и видов галстухи и шейные платки; два фрака Штауба и самое тонкое белье. Одним словом, он притащил с собою всю сбрую отъявленного *денди*, не забыв также восхитительную маленькую чернильницу, подаренную ему восхитительнейшей женщиной, знатной, блистательной дамой, которую он называл *Анетою*; эта знатная дама путешествовала теперь по Шотландии, чтобы затушить своим отсутствием кое-какие неприятности, подозрения, безо всякого сомнения, самые гнусные и отвратительные. Не позабыл он также нескольких тетрадок изящнейшей, раздушенной бумаги, для переписки с Анетой, аккуратно, чрез каждые пятнадцать дней. Словом, Шарль набрал с собою всевозможных важных мелочей и необходимых игрушек, начиная от хлыста, для начала дуэли, до превосходных пистолетов, для окончания ее. Так как отец не отпустил с ним слуги, то он приехал в почтовой карете, нанятой для него одного; ему не хотелось портить в дороге своей прекрасной почтовой кареты, заказанной для поездки в Баден, где назначена была встреча с Анетой, знатной, блистательной дамой, путешествовавшей, и проч., и проч.

Шарль думал застать по крайней мере сто человек у своего дяди, зажить в его замке, обрыскать с ружьем своим все его поля и леса и никак не ожидал застать всё семейство в Сомюре, где он хотел остановиться для того только, чтоб расспросить о дороге в Фруафонд. Для первого дебюта он оделся блистательно, восхитительно. В Туре парикмахер расчесал его прекрасные, каштановые волосы; там же он переменил белье и надел черный, атласный галстух, что, с выпущенным воротником рубашки, было ему очень к лицу. Щегольской дорожный сюртук, полузастегнутый, стягивал его талию. Из-под сюртука выглядывал щегольской шалевый жилет; под шалевым жилетом был еще другой, белый. Часы, небрежно брошенные в карман, пристегивались коротеньким шелковым снурком к пуговице сюртука. Серые панталоны застегивались с боков на пуговки. В руках его была красивая трость с золотым набалдашником; желтые перчатки были свежие, блестящие; шляпа его была восхитительна. Только парижанин, и притом самого высокого полета, мог бы не насме-

шить людей в таком наряде; впрочем, смех был бы неудачен с юношей, обладающим превосходными пистолетами, метким взглядом и, вдобавок, Анетой.

Теперь, ежели хотите понять почтительное удивление сомюрцев и осветить воображением контраст блистательного денди с сухими, вялыми фигурами гостей в темной, скучной зале Гранде, то взгляните на семейство Крюшо. Все трое нюхали табак и незаметно привыкли к вечному табачному сору на мелких складках своих пожелтелых манишек. Их галстухи мялись и веревкой обвивались около шеи. Огромный запас белья позволял им, ради хозяйственного расчета, мыть его только два раза в год, отчего белье их желтело, без употребления, в ящиках. Всё в них было неловко, некстати, бесцветно; их лица были вялы, сухи и изношены, так же как и их фраки, на которых было столько же складок, как и на панталонах.

Костюмы остальных гостей, неполные и несвежие, как и все вообще костюмы истых провинциалов, отставших от моды и скупящихся на новую пару перчаток, согласовались совершенно с костюмами Крюшо; только в одном этом и сходились вкусы и идеи обеих партий — крюшо- и грассенистов. Только что приезжий брался за лорнет, чтоб разглядеть странность комнатной мебели или подивиться рисункам потолка и обоев, до того испачканных мухами, что этих черненьких, точкообразных пятнушек достало бы зачернить совершенно целый лист «Монитёра», тотчас игроки в лото поднимали носы и смотрели с таким любопытством на Шарля, как будто на жирафа. Де Грассен и сын его, видавшие, впрочем, парижских щеголей, разделяли общее изумление не менее каждого из присутствующих, или потому что заразились им от других, или потому что сами поощряли его, бросая на гостя насмешливые взгляды, которые только что не проговаривали: «Знаем мы вас, парижские молодчики!»

Впрочем, все могли насмотреться на гостя досыта, не боясь досадить хозяину своим любопытством. Гранде унес свечу от своих гостей и углубился в чтение длинного письма, не заботясь об игре и оставив их доигрывать партию почти в потемках.

Евгения, не видавшая доселе ничего подобного Шарлю в совершенстве красоты и щегольства, смотрела на него как на существо воздушное, неземное. Она вдыхала в себя с наслаждением аромат духов, умастивших прелестные кудрявые его волосы; ей хотелось дотронуться до его прекрасных перчаток; она завидовала его стройной маленькой ручке, свежести и нежности лица. Для нее, бедной, невинной девушки, всю жизнь свою провязавшей чулки и проштопавшей старое белье, часто по целым часам не видавшей в окна своей комнаты более одного прохожего со-

мюрца, для нее вид Шарля был источником роскошного, неведомого наслаждения. Это чувство походило на то впечатление, которое невольно родится в вас при взгляде на фантастические образы женщин в английских «кипсеках», рисованные и гравированные так тонко и нежно, что при взгляде на них, кажется, боишься сдунуть с бумаги эти волшебные, очаровательные изображения.

Шарль вынул из кармана платок, вышитый для него прекрасной путешественницей по Шотландии. Евгения не хотела верить глазам своим, что это обыкновенный платок, это совершенство, труд любви для любви.

Приемы, жесты ее кузена, его дерзкий лорнет, презрительное невнимание к дорогому ящичку, только что ей подаренному де Грассенами, который так недавно еще ей нравился и который казался ее кузену или без вкуса или без цены, всё то, наконец, что раздражало Крюшо и де Грассенов, всё это ей так нравилось, что в эту ночь и во сне образ Шарля не покидал ее ни на минуту.

Нумера вынимались медленно, но скоро лото кончилось; вошла длинная Нанета.

— Пожалуйте белья, сударыня; нужно постлать постель молодому барину.

Госпожа Гранде встала и пошла за Нанетой; тогда госпожа де Грассен сказала всем потихоньку:

— Спрячем-ка наши *су* и бросим это лото.

Каждый взял свои два су, положенные на ставку; потом все встали и мало-помалу приблизились к огню.

— Так вы кончили? — сказал Гранде, не отрываясь от письма.

— Кончили, кончили, — отвечала госпожа де Грассен и подошла к Шарлю.

Евгения вышла из залы, движимая одною из тех вдохновенных мыслей, которые рождаются только в сердце женщины, в сердце, впервые забившемся любовию. Она вышла пособить матери и Нанете; но под этой хозяйственной заботливостию таилось другое чувство; она не могла устоять против непонятного искушения, каприза — самой убрать комнату, назначенную Шарлю, поставить в ней каждую вещь на свое место, доглядеть, приглядеть за всем, чтоб сколько-нибудь лучше всё уладить и украсить. Она уже чувствовала в себе и силу, и ловкость разгадать и понимать вкус и привычки своего кузена.

В самом деле она явилась совершенно кстати и успела уверить Нанету и мать свою, что они обе еще ничего не сделали и что нужно всё переделать сызнова. Ей удалось присоветовать

Нанете нагреть постель жаровнею. Сама она вынула чистую скатерть и накрыла ею старый стол, приказав Нанете переменять ее каждый день. Она доказала, что необходимо развесть в камине огонь, и приказала натаскать дров в коридор, потихоньку от отца. Отыскала где-то в шкафу красивый лаковый подносик, доставшийся им по наследству от господина Бертельера, чистый стакан и позолоченную ложечку, старый, разрисованный фарфоровый флакон и с торжеством поставила всё это на камине. В четверть часа в голове ее народилось идей более, нежели во всю ее жизнь.

— Маменька! сальные свечи не годятся для Шарля: если бы купить восковых?

И легкая, как птичка, она вынула из кошелька свой экю, данный ей на месячные расходы:

— Поскорей, поскорее, Нанета, — сказала она, всовывая ей деньги в руки.

— А что скажет отец?

Эти ужасные слова вырвались у госпожи Гранде, когда она увидела в руках своей дочери сахарницу из севрского фарфора, которую старик привез из Фруафондского замка.

— Да где ты достанешь сахару? Да ты позабыла...

— Маменька, Нанета купит и сахару.

— А отец?

— Да прилично ли для нас, что родной племянник в доме своего дяди не найдет и стакана воды с сахаром? Да папенька и не заметит.

— Он? не заметит? Да он видит всё!

Нанета колебалась. Она знала характер своего господина.

— Да ступай же, Нанета; ведь сегодня мое рождение!

Нанета громко расхохоталась шутке своей барышни, первой шутке, услышанной от нее, и отправилась за покупками.

В то время, когда Евгения и госпожа Гранде хлопотали и отделывали комнату Шарля, оставшегося в зале с гостями, госпожа де Грассен повела на него атаку по всем правилам своей тактики и начала с любезностей.

— Вы слишком отважны, — сказала она Шарлю, — бросить удовольствия Парижа зимою, во время веселья и праздников, и приехать в Сомюр, — да это неслыханный подвиг! Но мы постараемся вознаградить вас за всё, и если вас еще не напугали здесь, то увидите, что и к Сомюру можно привыкнуть и, если хотите, даже весело провести здесь время.

И она подарила его взглядом, но взглядом коренной провинциалки. В провинции женщины по привычке смотрят так осторожно, так благоразумно, что невольно заставляют подозревать

в своем взгляде тайное желание, смешанное с какою-то раздражительною завистью.

Шарль после своих разбитых и рассеявшихся мечтаний о великолепном замке и о великолепном житье-бытье своего дядюшки был так смущен, уничтожен, попав в эту залу, в этот круг людей, что поневоле госпожа де Грассен напомнила ему собою, хотя неясно, далекий, восхитительный образ парижанки. Он вежливо ответил на вопрос ее, весьма похожий на приглашение; между ним и провинциалкой завязался разговор, и госпожа де Грассен мало-помалу осторожно понизила голос. Им было о чем говорить в эту минуту, им нужно было говорить, объясниться. Вследствие чего, после нескольких бегло обмененных шуток и кокетливых приветствий, ловкая провинциалка успела между прочим кое-что шепнуть ему, не опасаясь быть подслушанной, за интересным разговором о вине: весь Сомюр говорил тогда о вине.

— Если вы хотите посетить нас, — сказала она Шарлю, — то доставите большое удовольствие мне и моему мужу. В целом городе вы найдете только один дом, где встретите вместе и аристократию и высшее купечество: это у нас; мы принадлежим к средине между двумя обществами, и муж мой, говорю это с гордостию, умел приобрести уважение и той и другой стороны. Мы об вас постараемся. А что бы с вами сталось в этом доме? Да здесь вы умрете со скуки! Ваш дядюшка — старый хлопотун; у него на уме одна торговля, барыши, расчеты. Тётушка ваша — добрая женщина, богомолка, но с нею вам будет не очень весело. А Евгения — простенькая девушка, без воспитания и без приданого; она до сих пор только делала, что штопала белье своих стариков.

«Да это клад, — подумал Шарль, смотря на госпожу де Грассен, — ну, кто бы мог предполагать?»

— Мне кажется, жена, ты хочешь завербовать к нам господина Шарля, — сказал, смеясь, толстый банкир.

Нотариус и президент не упустили прибавить двух-трех желчных острот к замечанию де Грассена. Но аббат тотчас понял всё дело. Вынув табакерку и потчуя всех табаком, он сказал:

— Да где же и приютиться лучше молодому господину Гранде, как не в салоне госпожи де Грассен?

— Что вы хотите сказать, господин аббат? — спросил де Грассен.

— Ничего более, как то, что скажет вам весь Сомюр, милостивый государь: должная справедливость вам, вашему дому и госпоже де Грассен.

Аббат хоть и не подслушивал разговора госпожи де Грассен с Шарлем, но угадал всё.

— Не знаю, вы помните ли обо мне, — сказал в свою очередь Адольф Шарлю, стараясь быть сколь возможно развязнее, — я имел удовольствие быть вашим vis-à-vis на бале у господина маршала Удино.

— О как же, милостивый государь, как же, я припоминаю, — сказал Шарль, удивленный общим к себе вниманием, — это ваш сын, сударыня? — спросил он госпожу де Грассен.

Аббат насмешливо взглянул на нее.

— Да, милостивый государь, — отвечала она.

— Так вы были очень молоды, когда были в Париже? — спросил Шарль, опять обращаясь к Адольфу.

— Да, что делать, — отвечал за него аббат, — мы их отсылаем в Вавилон, только что они оперились.

Госпожа де Грассен внимательно поглядела на аббата.

— Только в провинции, — продолжал аббат, — вы встретите *тридцатилетних* женщин таких свежих и молодых, как например госпожа де Грассен, женщин, у которых дети экзаменуются уже на степень доктора прав. Я как будто теперь вижу, сударыня, когда все дамы и мужчины, бывало, толпились вокруг вас на балах, — продолжал аббат, атакуя своего неприятеля. — Для меня это как будто вчера, сударыня.

— Старый черт! — прошептала госпожа де Грассен, — он как тут, — всё угадал.

«Мне кажется, что я сделаю эпоху в Сомюре», — подумал Шарль, расстегивая сюртук, заложив руку за пуговицу жилета и приняв задумчивый вид, чтобы скопировать лорда Байрона на картине Шантра.

Невнимание старика Гранде к гостям своим, или, лучше сказать, исключительное его внимание к письму, не ускользнуло ни от нотариуса, ни от президента. По изменениям лица старика они в свою очередь угадывали, разгадывали, читали с ним вместе это письмо. Старик с трудом удерживался; всякий поймет его усилия казаться хладнокровным, заглянув в это ужасное письмо; вот его содержание:

«Вот уже скоро двадцать три года, как мы не видались с тобою, любезный брат. Мы не видались с самого дня моей свадьбы и, помнишь, так весело, дружно расстались тогда. Разумеется, я не мог предвидеть, что ты, любезный брат мой, останешься один подпорою семейства, когда-то счастливого и богатого. Когда ты будешь читать эти строки, меня уже не будет на свете. Я не мог перенести моего позора, моего стыда, — банкрутства, любезный брат мой. До последней минуты я крепко держался на краю бездны, хватался за соломинку, чтобы спасти себя, но мне

всё изменило! Банкрутства моего стряпчего и нотариуса отняли у меня всю надежду. Я в отчаянии; я должен три миллиона и не могу предложить кредиторам даже по восьми за сто. Вина мои подешевели от постоянного в несколько лет урожая. Через три дня весь Париж заговорит: „Гранде плут, обманщик!" А я, жертва слепой судьбы, без пятна на совести, буду лежать в опозоренной могиле моей. Я лишил моего сына честного имени и наследства после его матери, а он, бедное дитя мое, он еще ничего не знает. Мы нежно простились с ним; он не предугадывал, что мои объятия были благословением умирающего отца его. Он проклянет своего отца. Брат! брат! проклятие детей наших — ужаснее проклятия отцовского. Отец может простить, снять свое проклятие; проклятие сына невозвратимо. Гранде! ты брат мой, ты старший брат мой; будь моим благодетелем, спаси меня от сыновнего проклятия. Брат! если бы я мог писать к тебе моею кровию и слезами, мне было бы легче; я бы плакал тогда, и горесть не щемила бы моего сердца, не тяготила бы души моей; но мне горько; я стражду, и нет слез утешительных. Итак, ты будешь отцом Шарлю! У него нет родных со стороны матери; ты знаешь отчего. О, для чего я разбил предрассудки света, раздавил его мнение — для любви! Зачем я женился на незаконной дочери вельможи! У него нет родных! бедный, бедный Шарль! Послушай, Гранде: я не просил тебя о себе; к тому же у тебя, верно, нет трех миллионов для моего спасения. Но для сына, брат! для сына моего, — я простираю к тебе умоляющую руку мою. Я вверяю тебе моего сына и спокойно беру пистолет; мой сын найдет в тебе второго отца. О, как он любил меня! Я был так добр до него; я так нежил, баловал его... Нет! он не будет проклинать меня! Он так тих, ласков, нежен; он весь в свою мать; он будет любить тебя; он ничем не огорчит тебя. Бедное дитя! он жил в довольстве, в роскоши; он не знает бедности, которую мы перетерпели некогда вместе с тобою, любезный брат мой... И теперь он один, в нищете, разорен! Все друзья его бросят... и я, я один всему причиною! О, для чего он не умер прежде, для чего он не там, не вместе с своею матерью! Мечты! Он беден, опозорен, несчастлив, нищий. Я посылаю его к тебе, чтоб ты приготовил его к страшному известию с отеческою нежностию. Будь отцом ему! будь добрым, великодушным, нежным отцом! Объяви ему несчастие осторожно, тихо, не убивай его одним ударом. Я умоляю его на коленах не требовать имения своей матери, не вмешиваться в толпу своих кредиторов. Но я напрасно говорю об этом; он честен, благороден; он почувствует, что ему стыдно позорить отца своего. Уговори его, расскажи ему всё, не скрывай от него горькой участи, ожидающей его в будущем.

Если он будет отчаиваться, проклинать меня, скажи, что ему остается еще одна надежда в жизни — труд. Мы оба трудились, мы оба были богаты, и я тоже, я тоже был богат. Еще: если он захочет последовать совету умирающего отца своего, скажи ему, чтобы он оставил Францию и ехал бы в Америку, в Индию. Брат! мой Шарль молод, но он честен, смел и решителен; снабди его всем нужным, дай ему денег; он отдаст тебе всё; он лучше умрет, чем обманет тебя! Гранде, исполни мою просьбу, или совесть твоя восстанет на тебя! Боже! Если мой сын не найдет в твоем доме ни сострадания, ни нежности, о! я буду вечно молить небо о мщении за твою жестокость! — Если бы я мог сберечь хоть сколько-нибудь денег, то я бы в праве был дать что-нибудь моему сыну, взамен имения его матери; но я должен был заплатить проценты в прошлом месяце; у меня ничего не осталось. Мне бы не хотелось умереть в мучительном сомнении о судьбе моего сына... о, если б я мог теперь услышать ответ твой! Я простился с Шарлем, и в то время как он в дороге, тружусь над моими отчетами. Я хочу доказать, что мое несчастие произошло не от вины моей, не от обмана. Не правда ли, это тоже заниматься судьбою Шарля? Прощай, прощай, брат мой! Да снизойдет на тебя благословение Божие за великодушную дружбу твою к моему семейству; о! я не сомневаюсь в ней! Там, в лучшем свете, жаркая, теплая молитва, молитва брата, будет вечно изливаться за тебя пред престолом Всевышнего.

*Виктор-Анж-Вильгельм Гранде*».

— А о чем вы там толкуете? — спросил Гранде, сложив письмо и спрятав его в карман. Потом он бросил на своего племянника тихий, боязливый взгляд, стараясь скрыть свое волнение и свои расчеты.

— Обогрелся ли ты?

— Мне тепло, дядюшка!

— Ну, а где же наша хозяйка и моя именинница! — закричал скупой, забыв, что обе пошли хлопотать об устройстве племянника в доме.

Евгения и госпожа Гранде вошли в эту минуту.

— Ну, что, там всё готово? — спросил добряк, мало-помалу приходя в себя.

— Да, батюшка.

— Ну, племянник, ты, чай, устал с дороги, так вот Нанета покажет тебе твою комнату... ну! комната такая, что не по вас, мои красавчики. Да что же делать? Не осуждать же бедняков; у меня, друг мой, нет ничего, а налогов много; платить тяжело...

— Прощайте, Гранде; мы теперь вам в тягость; вам, верно, нужно потолковать с племянником вашим; прощайте, — добрый вечер!

— До завтра, — сказал банкир.

Все встали и начали откланиваться. Старый нотариус зажег свой дорожный фонарь и предложил де Грассенам проводить их, потому что их слуга еще не пришел за ними, не предвидя несвоевременного окончания вечера.

— Угодно вам сделать мне честь дать мне вашу руку, сударыня? — сказал аббат госпоже де Грассен.

— Но здесь мой сын, — отвечала она сухо.

— Со мною неопасно, — возразил аббат.

— Поди же с господином Крюшо, — сказал сам банкир жене своей.

Аббат ловко подал руку госпоже де Грассен и увел ее вперед всей толпы.

— Мальчик ловок и недурен собой, — сказал аббат, сжимая руку своей дамы, — теперь загадка разрешилась; проститесь с своими надеждами: у Евгении есть жених, и если этот молодец еще не влюблен в какую-нибудь парижанку, то ваш Адольф встретит в нем страшного соперника.

— И, полноте, господин аббат: разве у Шарля нет глаз? Будьте уверены, что он заметит, что Евгения — девушка простенькая, да и некрасива. Вы видели, сегодня она была желта, как воск.

— Кажется, вы уже сообщили об этом господину Шарлю.

— Отчего же и не так?

— Я вам облегчу весь труд прекрасным советом, сударыня: становитесь всегда подле Евгении, и дело кончится в вашу пользу; результат сравнения очевиден.

— Вы еще не знаете: он обещался послезавтра у нас обедать.

— Ага!.. Ах, если б вы захотели, сударыня... — проговорил аббат.

— Чего это, господин аббат? Что это вы мне советуете? Слава Богу! я не для того тридцать девять лет дорожила моим добрым именем, чтобы очернить его на сороковом... я понимаю вас, господин аббат, нам пора понимать друг друга... фи! и вы, аббат, вы мне это советуете? Да это достойно *Фоблаза*, сударь...

— Так вы читали «Фоблаза», — сказал аббат сладким голосом...

— Ах!.. я ошиблась, господин аббат: я хотела сказать «Опасные связи».

— Ну, вот это дело другое! В этой книге гораздо более нравственности, — сказал аббат, засмеявшись, — но напрасно

вы толкуете слова мои в другую сторону; я хотел только сказать...

— Вы еще осмеливаетесь запираться! да не ясно ли это? Если бы Шарль захотел поволочиться за мною, то поневоле забыл бы о Евгении. Я знаю, что в Париже найдутся матери, которые решатся на такие невинные хитрости — для счастия детей своих, господин аббат; но мы не в Париже.

— Да, сударыня, мы не в Париже.

— Да я бы ста миллионов не взяла, если бы взамен потребовали подобной материнской нежности.

— Заметьте, сударыня, что я не говорил о миллионах; может быть, это было бы свыше сил наших. Я хотел только сказать, что благородная и прелестная женщина, с такими прекрасными правилами, как вы, сударыня, могла бы позволить себе немножко самого невинного кокетства, чтоб...

— Вы полагаете, господин аббат?

— Без всякого сомнения, сударыня. Разве не обязанность наша как членов общества нравиться друг другу? Но позвольте мне достать мой платок. — Я уверяю вас, сударыня, что лорнет молодого человека обращался на вас немного чаще, чем на меня; но я прощаю ему, что он предпочитает красоту старости.

— Ясно, — кричал позади их президент, — что парижский Гранде прислал в Сомюр своего сына решительно из видов на Евгению.

— Но, позвольте, — возражал нотариус, — тогда бы его приезд был известен; его бы ожидали у Гранде.

— Это еще ничего не доказывает, — говорил де Грассен, — старик наш скрытен.

— Де Грассен! Я пригласила племянника к нам обедать послезавтра. Попроси-ка тоже Ларсониеров и де Готуа с их хорошенькой дочкой. Как бы ее получше одеть? мать рядит ее как дуру из ревности. Я надеюсь, господа, что вы тоже нам сделаете честь своим посещением, — прибавила она, обращаясь к Крюшо.

— Вот мы уже и пришли, — сказал нотариус. Поклонившись троим де Грассенам, трое Крюшо отправились домой. Все они были заняты странным оборотом своих дел с де Грассенами. Рассудок и расчет заставили их низойти до союза с прежними врагами своими. Нужно было всеми силами предупредить и отвратить любовь Евгении к Шарлю. Но, может быть, молодой человек готов устоять против всего, против сладенькой клеветы, льстивого злословия, наивных откровенностей, словом, против всех невинных средств и способов, которыми готовились атаковать его, окружить, запутать, облепить, как в улье пчелы облеп-

ляют воском несчастную букашку, залетевшую невзначай в их пчелиное царство.

— Пора спать, племянничек, — сказал Гранде по уходе гостей своих; — о делах до завтра, а теперь уже поздно; завтра я скажу тебе, для чего сюда прислал тебя отец твой. Завтракаем мы в восемь часов; в полдень тоже перекусим что-нибудь... немножко, почти ничего, — яблочко, хлебца, так... самую крошечку; стакан вина; потом обедаем в пять часов, по-парижски. Вот и весь порядок дня. Захочешь погулять по городу, в окрестностях, никто не помешает тебе; но меня уж извини; водить тебя не буду; у меня дел куча. Ты, может быть, услышишь про меня сплетни, тебе наговорят, что я миллионер, богач... да ты не верь им, — вздор! Пусть их говорят там; мне хуже не будет. У меня нет ничего; я бедняк, нищий; работаю, как бык, как последний батрак, сколачивая деньгу на пропитание. Ты, может быть, сам скоро узнаешь, как дороги денежки. — Ну-ка, Нанета, дай свечку!

— Надеюсь, милый Шарль, что вы будете всем довольны; но если что-нибудь нужно вам будет, так кликните Нанету.

— О! я никого не обеспокою, тётушка; со мною весь мой багаж. Позвольте же вам пожелать доброй ночи... вам тоже, кузина.

Шарль взял из рук Нанеты восковую свечку, желтую, залежалую в лавке, до того похожую на сальную, что даже сам Гранде, которому, впрочем, никогда и в голову не приходили восковые свечи, не заметил в доме у себя такого великолепия.

— Пойдемте же, я покажу дорогу, — сказал старый чудак.

Вместо того чтобы выйти чрез главную дверь, Гранде пошел чрез коридор, отделявший кухню от залы. Со двора коридор защищен был дверью с вделанным в нее овальным стеклом. Но зимою в нем было холодно, как на дворе; холод проницал даже в залу, где едва-едва было тепло.

Нанета задвинула все задвижки на воротах и спустила с цепи страшную собаку. Дикое животное, потерявшее свой лай, только и слушалось одной Нанеты.

Когда Шарль прошел по лестнице, дрожавшей под тяжелой походкой его дяди, и взглянул на пожелтевшие, закоптелые стены, к которым примыкала лестница, то подумал, что попал в курятник. В удивлении, в изумлении он взглянул на тётку и на кузину, но те, не понимая его, отвечали ему дружескою, простодушною улыбкою; Шарль был в отчаянии.

«Да зачем же это прислал меня батюшка к таким чудакам?»

Когда дошли до первой площадки лестницы, Шарль увидел перед собою три двери; они были выкрашены красною краскою и

поражали взор унылым, грубым видом своим на пыльной, измаранной стене. Все три двери были без наличников, а скобки около замка фальшивые, странной фигуры и рисованные под цвет железа. С первого взгляда можно было удостовериться, что та из трех дверей, которая была прямо над лестницей и которая вела в комнату, расположенную над кухней, была замурована; ход в нее был из комнаты старика Гранде. Эта таинственная комната была кабинетом старого скряги; свет проходил в нее сквозь единственное окно, выходившее на двор и заделанное толстою железною решеткою. Никто, не исключая и госпожи Гранде, не смел входить в кабинет старика. Скряга любил уединение, как алхимик любит его, подле своего очага. Здесь-то, вероятно, была запрятана заветная кубышка, сохранялись бумаги и документы, висели весы, на которых Гранде взвешивал свои червонцы; тут-то повершались все дела и начинания его, сводились счеты, итоги, писались квитанции, векселя; и не диво, что люди, видя, что у Гранде всегда всё готово, всегда всё поспевает к сроку, и не замечая, наконец, когда и где он работает, приписывали это какому-то колдовству, чародейству. Здесь, когда ночью Нанета храпела уже так, что дрожали стены, когда собака бродила по двору, а жена и дочь скряги спали крепким сном, старик раскрывал свою кубышку, пересчитывал свое золото, глядел на него жадно, по целым часам взвешивал его на весах, на руках своих, целовал свое сокровище с любовью, с наслаждением... стены крепки, ставни задвинуты, ключ у него. Старик в тишине своего уединения не ограничивался настоящим, загадывал в будущность, манил грядущие денежки и рассчитывал барыши за плоды, еще не родившиеся и не убранные. Вход в комнату Евгении был напротив замурованной двери. Далее была дверь в спальню обоих супругов. У госпожи Гранде была тоже своя комната, сообщавшаяся с комнатою Евгении стеклянною дверью. Кабинет старика отделялся от жениной комнаты перегородкой, а от таинственной комнатки его толстою стеною.

Скряга отвел Шарлю покой во втором этаже, прямо над своею спальней, чтобы слышать всё, если вздумается племяннику встать, ходить, шевелиться.

Когда Евгения и мать ее пришли каждая к двери своей комнаты, то простились на ночь, поцеловавшись друг с другом. Потом, сказав несколько приветствий Шарлю, холодных в устах, но пламенных в сердце Евгении, они разошлись по своим спальням.

— Ну, вот и твоя норка, — сказал Гранде племяннику, отворяя ему дверь. — Если тебе будет нужно выйти, позови Нанету, а без нее собака разорвет тебя пополам. Ну прощай же; спи хорошенько. А! что это! да здесь развели огонь!

В эту минуту явилась Нанета с нагревалкою.

— Ну! так и есть! — закричал Гранде. — Да что с тобою, мать моя? разве племянник мой баба? Убирайся ты с своими глупостями!

— Да постель холодна, сударь, а молодой барин нежен, как красная девушка.

— Ну так кончай же скорей! — закричал скряга, — да смотри, не запали дома.

Скряга сошел с лестницы, ворча сквозь зубы, а Шарль остался как вкопанный, посреди своей комнаты. Взор его блуждал в изумлении по стенам мансарды, обитым желтой бумагой с цветочками, которою обыкновенно оклеивают кабаки. Безобразный камин, испещренный неуместными прикрасами и некрашенный, повергал в отчаяние Шарля. Лаковые желтенькие стульчики казались в весьма плохом состоянии. Раскрытый огромный стол топорной работы занимал половину всей комнаты; узенький ковер с какими-то цветочками был весь в дырах и изъеден мышами.

Шарль пресерьезно взглянул на длинную Нанету.

— Послушай, душенька, да полно, так ли? Неужели я у господина Гранде, бывшего сомюрского мэра, у брата господина Гранде, парижского негоцианта?

— Как же, сударь, — у доброго, приветливого, милостивого барина. Развязать ваш чемодан, сударь?

— Разумеется, старый мой гренадер! Ты, кажется, служила в гвардейском морском экипаже?

— Ха, ха, ха, ха! в гвардейском морском экипаже! Ха, ха! ха! что это? Гвардейский морской...

— Вот ключ: вынь-ка из чемодана мой шлафрок.

Нанета была вне себя от изумления, видя богатый, шелковый шлафрок, с золотым рисунком по зеленому полю.

— Вы это наденете на ночь, сударь?

— Надену, душа моя.

— О, да какой вы хорошенький в вашем шлафроке; постойте-ка, я позову барышню; пусть она посмотрит на вас...

— Замолчишь ли ты, Нанета, длинная Нанета! Ступай, я лягу теперь спать; все дела до завтра; если мой шлафрок тебе так понравился, то когда я уеду, шлафрок... мой... оставлю тебе...

Нанета остолбенела.

— Как! вы мне дарите такую драгоценность!.. бедняжечка, да он уж бредит: прощайте, сударь!

— Прощай, Нанета...

Шарль засыпал.

«Батюшка не пустил бы меня сюда безо всякой цели, — думал он, — но о делах важных надобно думать поутру, сказал, не помню, какой-то мудрец греческий».

— Святая Дева! какой мой братец хорошенький, — шептала Евгения, прерывая свою молитву, которую она в этот вечер позабыла окончить.

Госпожа Гранде, засыпая, ни о чем не думала. Она слышала, как скряга скрипел, прохаживаясь по своей комнате. Робкая, слабая женщина изучила характер своего властителя и, как ласточка, предузнавала грозу по ей одной знакомым признакам, и тогда, по собственному ее выражению, она притворялась мертвою.

Старик Гранде ворчал, похаживая по своей комнате: «Оставил же мне наследство почтеннейший мой братец; нашел кому! Да что мне дать этому молодчику? что у меня есть про его честь? Да я ему и двадцати экю не дам, а что ему двадцать экю? Красавчик посмотрел на мой барометр так, что я, право, подумал, что он хочет порастопить им камин немного». Словом, раздумывая и ломая голову над завещанием брата, старик беспокоился и тосковал более, чем несчастный самоубийца, когда писал его.

— Так у меня будет золотое платье! — шептала, засыпая, Нанета. Ей снилось, что она уже надела это платье, золотое, с цветами, с драгоценными каменьями. Первый раз в жизни она мечтала о щегольстве и нарядах, как и Евгения в первый раз мечтала о любви.

## Глава III

### *Любовь в провинции*

Есть прекрасный час в тихой, безмятежной жизни девушки, час тайных, несказанных наслаждений, час, в который солнце светит для нее ярче на небе, когда полевой цветок краше и благоуханнее, когда сердце, как птичка, трепещет в волнующейся груди ее, ум горит и мысли расплавляются в тайное, томительное желание. Этот час есть час неопределенной грусти любви, неопределенных, но сладостных мечтаний любви. Когда дитя впервые проглянет на свет Божий, оно улыбается; когда девушка услышит первый удар своего влюбленного сердца, она улыбнется, как дитя. И как свет Божий первый приветствует сладким, теплым лучом пришествие в мир человека, так и любовь торжественно приветствует сердце человеческое, когда оно впервые забьется чувством и страстию. Такой час настал для Евгении.

Как ранняя птичка, она проснулась с зарею и помолилась. Потом начала свой туалет — занятие, отныне для нее важное, получившее свой особенный смысл. Она разобрала свои длинные каштановые волосы, заплела свои косы над головою, бережно, не давая кудрям рассыпаться и вырываться из рук, и гармонически соединила в прическе своей простоту и наивность с красотою и искусством. Умывая свои полные, нежные руки чистою, ключевою водою, она невольно вспомнила стройную ручку своего кузена и невольно подумала: отчего она так нежна, бела, так стройна и красива? Она выбрала чулки как можно белее, башмаки как можно красивее и новее, зашнуровалась и с радостию надела чистое, свежее платьице, выбрав его как можно более к лицу. Как только она кончила одеваться, пробили городские часы; как удивилась Евгения, насчитав только семь! Желая получше одеться и иметь на то побольше времени, она встала раньше обыкновенного. Непосвященная в тайны кокетства, не зная искусства десять раз завить и развить свой локон, выбирая прическу более к лицу, Евгения, от нечего делать, сложила свои руки и села подле окна; вид был небогатый, незатейливый: двор, узкий, тесный сад и над ним высокие террасы городского вала — всё было весьма обыкновенно, но не лишено оригинальной, девственной красоты, свойственной пустынным местам и невозделанной природе.

Возле самой кухни находился колодезь, обнесенный срубом, с бадьею на блоке, в железной обоймице, укрепленной на деревянном шесте. Около этого шеста обвивалась виноградная лоза с завядшими, изжелта-красными листьями; ветви и отпрыски спускались вниз, обвивали почерневший сруб, бежали далее по фасаду здания и оканчивались у деревянного сарая, в котором дрова были разложены с такою же симметрическою точностию, как книги в кабинете любого библиофила. Мостовая двора, разбитая ездою, почерневшая, свидетельствовала о времени густыми клочьями моха и диких трав, пробившихся между каменьями. Толстые, полуразрушенные стены были увиты игривым плющом. Наконец, в углублении дворика возвышались восемь ступеней, которые вели к калитке садика; они были неровны, разбиты временем и почти совершенно скрывались под дикими кустами травы, живописно выбивавшейся из расселин треснувшего камня; издали целое походило на могилу какого-нибудь крестоносца-рыцаря, насыпанную неутешною вдовою его. Над громадою этих камней возвышалась полусгнившая, полуразвалившаяся деревянная решетка садика, живописно оплетенная местами игривою лозою. С обеих сторон садовой калитки две яблони простирали одна к другой свои кривые, коростовые ветви. В садике три

параллельные, усыпанные песком дорожки обрезывали куртины, обведенные плющевою изгородью. В углублении садика старые липы, сплетшись ветвями, образовали беседку. На левой стороне были парники; на правой, возле самого дома, стоял огромный орешник, раскидистые ветви которого сыпались в беспорядке на крышу... Светлые, осенние лучи солнца заблистали на небе, на земле, везде, и мало-помалу разогнали туман, темный грунт ночи, облекавшей еще стены, деревья, сад...

И во всей природе, во всём, что окружало Евгению и что казалось ей так обыкновенным, находила она теперь какую-то необъяснимую, новую прелесть, новое наслаждение. Тысячи неясных ощущений пробудились в душе ее, росли в ней, наполняли ее, по мере того как лучи солнца наполняли вселенную. Какое-то неясное, неизъяснимое удовольствие заиграло в сердце ее. Ее сердце глубоко и сильно сочувствовало всему окружавшему, и мысли девушки гармонически строились под лад всей природы.

Когда солнце дошло до стены, увенчанной дикими цветами, и облило ее морем яркого света, тогда небесный луч надежды проник в душу Евгении. И она полюбила с тех пор эти поблекшие цветы, эти синие колокольчики и увядшую зелень, эту часть стены, всё, наконец, что носило воспоминание, отпечаток настоящих минут ее жизни. Шум листьев, тихий, неясный шелест их падения, всё отвечало на вопросы Евгении, всё разрешало их, и она готова была целый день просидеть у окна своего, не замечая времени.

Но вдруг тревожные мгновения настали для души ее. Евгения встала, подошла к зеркалу, взглянулась в него, и, как художник, боясь за свое произведение, бессознательно хулит и порицает его, так и Евгения невольно сказала про себя:

— Я дурна, я не понравлюсь ему.

Мысль робкая, носящая в себе зародыш глубоких, страшных мучений.

Бедная девушка была к себе несправедлива, но скромность и боязнь за себя — первая добродетель любви. Евгения была типом, идеалом красоты народной. Но если она и походила на Венеру Милосскую, то свежесть, чистота и блеск красоты духовной разливали тайную прелесть на лице ее, прелесть, не знакомую с резцом древних художников. Голова Евгении была большая, лоб мужественной красоты, лоб Фидиасова Юпитера, глаза серые, с девственным, сияющим блеском. Черты круглого лица ее, некогда розового, свежего, были чуть-чуть засажены оспою, почти не оставившею следов, но уничтожившею атласность кожи, впрочем и теперь столь нежной и свежей, что поцелуй госпожи Гранде обыкновенно оставлял розовое пятно на щеках ее возлюбленной

дочери. Нос ее был немного велик, но гармонировал с пурпурными устами, обещавшими страстную негу любви и наслаждения. Шея была стройна, округлена превосходно. Грудь, стан манили взгляд и навевали мечты наслаждения. Ей не доставало грациозности искусства, но девственная легкость стана ее имела особую прелесть. Конечно, свет не признал бы Евгении красавицею, но мощная, величественная красота ее была бы достойно оценена художником. Если он ищет на земле небесного сияния Мадонны, если он ищет тех величественно скромных очей, которые постиг Рафаэль, тех светлых, девственных контуров, которые сохраняются лишь в девственном огне целомудрия тела и мысли, если художник влюблен в этот, почти несбыточный идеал свой, то жадный взор его умел бы открыть в чертах лица Евгении многое, что осуществило бы заветные мечты его. Тайное, величественное благородство было запечатлено на этом девственном лике. Под холодным взглядом пламенный художник угадал бы целый мир любви; в разрезе глаз, в привычном движении ресниц он нашел бы прелесть неуловимую. Эти черты, блистающие свежестию, на которые еще не дохнуло пресыщение тлетворным дыханием своим, эти черты были ясны и светлы, как тихий край горизонта, окаймляющий вдали зеркальную поверхность необозримого озера. Эти черты, безмятежные, облитые райским светом, покоили взор ваш, утишали в сердце вашем неистовые порывы желания и смиряли душу.

Евгения была еще только на берегу шумного океана жизни; еще жизнь не согнала с сердца ее впечатлений детства. Невинная девушка еще с детскою радостию срывала полевую маргаритку, с радостию, не знакомою людям среди бурей жизненных. Не понимая любви, она повторяла: «я нехороша, он и не заметит меня». Тихонько отворила она дверь, выходившую на лестницу, и стала прислушиваться к домашнему шуму.

— Он еще не встает, — сказала она, услышав один лишь кашель пробудившейся Нанеты. Добрая служанка уже ходила, хлопотала, мела комнаты, топила печку, не забыв между прочим привязать на цепь собаку.

Евгения выбежала на двор. Нанета доила в это время корову.

— Нанеточка, душенька, сделай сливок для кофе, на завтрак братцу.

Нанета захохотала во всё горло.

— Об этом нужно было бы сказать еще вчера, сударыня. Да разве самой можно делать сливки? они сами делаются. А знаете ли, сударыня, какой хорошенький ваш братец? Ну уж такой хорошенький, такой хорошенький! Какое у него есть золотое

платье! вы не видали его в золотом платье? Я видела; а белье-то он носит такое же тонкое, как на стихаре у нашего пастора.

— Так сделай нам сладких ватрушек, Нанета.

— А вы дадите дров, да муки, да масла? — (Нанета, в качестве первого министра старика Гранде, любила иногда повеличаться важностию своего сана перед Евгениею и ее матерью.) — Не украсть же мне *у него*, чтоб угодить вашему братцу? Ну-тка, спросите-ка у него сами дров, да муки, да масла; а? вы к нему поближе меня, вы дочь родная... Ну, да вот и он сам, легок на помине... подите-ка, ступайте-ка к нему!..

Но Евгения уже успела спрятаться в сад, заслышав походку своего отца. Она уже ощущала то странное чувство, которое невольно нагоняет краску на лицо наше, ту мысль, которая мучит нас уверенностию, что вот всякий так и узнает сейчас всю нашу тайну, так и отгадает все наши мысли с первого взгляда. Заметив в первый раз скупость и бедность в родительском доме, Евгения стала досадовать на роскошь своего кузена. Ей непременно хотелось что-нибудь сделать самой, чтобы быть в силах потягаться с своим кузеном в роскоши; что-нибудь изобресть наконец, чтобы угодить Шарлю; но что именно, она и сама не знала. Простая, наивная, она не берегла сердца от впечатлений нового, неведомого ей чувства. Образ Шарля взволновал в ее невинном сердце всю страсть, доселе скрывавшуюся в нем, все чувства, все желания женщины, и тем более, что в 23 года мысли ее были ясны и желания не бессознательны. Первый раз в жизни она испугалась своего отца, поняла в нем властелина судьбы своей и в душе признавала себя виновною, тая перед ним свое чувство, свою страсть. В волнении она стала быстро ходить по саду; воздух для нее был чище, лучи солнца играли радостнее, она жила новою жизнию. В то время когда Евгения придумывала, как бы иметь пирожное к завтраку, между скрягою и министром его, Нанетою, начинался спор, домашняя ссора. Междоусобия были такою редкостию в этом чудно́м хозяйстве, как зимою ласточки. С ключами в руках старый чудак пришел обвешивать и обмеривать Нанету, выдавая ей дневную провизию.

— Уж, верно, сколько-нибудь осталось от вчерашнего хлеба?

— Хоть бы одна крошечка, сударь.

Гранде взял из корзины большой хлеб и принялся его разрезывать. Нанета возразила:

— Да ведь нас, сударь, пятеро.

— Ну, что же? всё-таки будут остатки; ведь здесь шесть фунтов. К тому же эти парижские птички не клюют нашего хлеба; вот ты увидишь сегодня, посмотришь.

— А коли не едят хлеба, так едят зато что-нибудь пожирнее.

— Да нет же, и пожирнее не едят; они ничего не едят. Они, как девчонки перед свадьбою, живут воздухом.

Наконец, распорядившись всем, не передав ни волоска лишнего, скупой запер уже свой шкаф и хотел было идти в парник за плодами, но Нанета не дала ему отделаться так дешево.

— Дайте-ка мне сударь муки да масла; я напеку деткам пирожного, — сказала она.

— Господи Боже мой, да они все сговорились ограбить меня для дорогого племянника!!!

— И, Господи, что выдумали... да что мне в вашем племяннике? я об нем столько же забочусь, сколько вы сами. Вот хоть бы сахару выдали вы, сударь, шесть кусков: обсчитали, — нужно восемь?

— Послушай, Нанета, да ты с ума сегодня сошла, что ли? У него будет сахар, — целых два куска, я не буду пить кофе.

— Как! вы не будете пить кофе? на старости отвыкать от привычек трудно, сударь; да я вам на свои деньги куплю сахару.

— А тебе какое дело? молчать!

Хотя сахар давно уже подешевел, но для старика он был так же дорог, как и во время Империи, когда один фунт его покупали за шесть франков. Гранде привык скупиться на сахар, и не ему было отвыкать от своих привычек.

У женщины, умна ли она или нет, всё-таки найдется столько хитрости, чтобы достать, чего захотелось; Нанета бросила сахар и принялась опять за пирожное.

— Сударыня! — закричала она Евгении, — ведь вам, верно, хотелось бы пирожного сегодня к обеду?

— Нет, совсем нет, — отвечала Евгения.

— Ну уж на, возьми себе муки, — сказал Гранде.

Он раскрыл кадочку с мукою, отмерил как можно меньше и прибавил чуть-чуть масла к прежде выданной порции.

— Нужно дров, — продолжала неумолимая Нанета.

— Возьми, сколько нужно будет, — уныло отвечал Гранде, — но уж заразом, чтобы не топить в другой раз, сделаешь нам компот и пораньше состряпаешь весь обед.

— Уж будто и не знаю!.. лишние слова, сударь.

Гранде бросил на верную Нанету взгляд глубокой признательности, отеческой нежности.

— Ну, барышня, будет пирожное, — закричала в восторге Нанета.

Когда старик воротился с плодами и разложил их на столе, Нанета разговорилась с ним, по обыкновению.

— Посмотрите-ка, сударь, какие прекрасные сапоги у молодого барина! Что за кожа, да как она хорошо пахнет. А чем их чистить, сударь? Неужели вашей ваксой?

— Послушай-ка, Нанета, моя вакса их только испортит; скажи ему, что ты вовсе не умеешь чистить таких сапог; пусть сам купит ваксы в городе. Я слышал, что в их ваксу сахару разводят для блеска.

— Так ее есть можно, — сказала Нанета, понюхивая сапоги, — ах, сударь, да они пахнут о-де-колоном, — вот чудеса!

— Чудеса! Хороши чудеса, — ворчал старик, — тратить на сапоги больше денег, чем стоит весь-то их хозяин! глупость!

— Послушайте, сударь, уж, верно, раза два в неделю мы сделаем суп, по случаю приезда...

— Ну да, да, что там еще?

— Да вам, сударь, стало быть, придется сбегать на рынок за говядиной.

— Совсем не нужно; сделай бульону из дичи; тебе принесут дичи; скажи Корнулье, чтобы он настрелял ворон. Вороний бульон всего лучше.

— Ах, сударь, ворон гадкая птица — клюет мертвечину да всякую падаль!

— Дура ты! едят, как и мы, всё, что Бог им пошлет; разве мы сами не щиплем мертвечину? А наследство-то? а наследники-то?

Не было больше никаких приказаний; Гранде взглянул на часы, и видя, что до завтрака осталось еще добрых полчаса, пошел в сад к своей дочери. Поздоровавшись, он сказал ей:

— Пойдем-ка погулять на луга; мне там нужно кое на что посмотреть.

Евгения надела свою соломенную шляпку, подбитую розовою тафтою. Старик и дочь сошли вниз по улице на площадь.

— Что так рано, — сказал Крюшо, нотариус, *попавшись* им навстречу.

— А вот кое на что посмотреть, — отвечал чудак, разгадав встречу с Крюшо.

Когда Гранде шел посмотреть кое на что, так уж нотариус знал наверно, что можно при этом выиграть кое-что. Крюшо присоединился к гуляющим.

— Пойдемте-ка с нами, Крюшо, — сказал Гранде, — вы наш домашний, с вами таиться нечего, пойдемте-ка; я хочу вам доказать, какая страшная глупость — садить тополи на хороших лугах.

Крюшо разинул рот от удивления.

— Так, стало быть, вы позабыли, что за тополи на Луаре получили вы добрых 60 000 франков? что это для вас — так, ничего? Правда и счастие: именно тогда срезали, когда в Нанте нужно было строевого лесу. Продали по тридцати франков штуку!

Евгения слушала равнодушно, не предчувствуя, что настает для нее роковая минута, когда нотариус заставит Гранде высказать свою волю о судьбе своей дочери.

— Слушайте, Крюшо, — сказал Гранде, когда все пришли на прекрасные, заливные луга его, где тридцать работников планировали, очищали и засыпали ямы в тех местах, где были порублены тополи, — слушайте, Крюшо: видите ли сколько места занимало здесь каждое дерево? Жан! — закричал он работнику, — обмеряй-ка поскорее со всех сторон яму.

— Бок 8 футов, — отвечал работник.

— 64 квадратных фута потери, — отвечал Гранде. — У меня в этом ряду было триста тополей, не правда ли? Ну так триста раз трижды шестьдесят четыре фута терялось, да вдвое столько же по бокам, да посредине столько же, всего, положим, три тысячи вязанок сена.

— Стоит 1800 франков, — пособил Крюшо.

— Скажите две тысячи, потому что на три- или на четыреста франков будет отавы. Так, сосчитайте-ка, сколько будет в сорок лет с процентами на проценты.

— Ну, хоть сто тысяч, — сказал нотариус.

— Ну, ну хоть сто тысяч, — переговорил скряга. — Ну, так две тысячи пятьсот сорокалетних тополей не дали бы мне и 75 000 франков. Потеря! Я рассчитал это, — сказал Гранде, охорашиваясь. Всё последнее он проговорил чисто и не заикаясь. — Жан! Засыпь везде ямы, кроме тех, которые у реки; там посадишь молодые тополи, вот что купил я недавно.

— Там у реки они будут на казенном содержании, — продолжал он, обращаясь к Крюшо, причем шишка на носу его стала легонько пошевеливаться, что означало в нем самую едкую иронию.

Изумленный Крюшо смотрел на своего клиента в каком-то обожании.

— Ясно, ясно, — повторял нотариус, — невыгодно садить деревья на заливных лугах.

— Да, сударь, — отвечал бочар.

Евгения не слушала расчетов своего отца и смотрела на величественный вид пышного течения Луары; но вдруг слова Крюшо поразили ее и она стала прислушиваться.

— А что, Гранде, к вам приехал из Парижа зятюшка? А? только и речи в Сомюре, что об вашем племяннике. Не приготовить ли мне контракта... а? Гранде!

— Вы вышли пораньше, чтоб разузнать об этом, Крюшо, — сказал Гранде с насмешкою. — Ну, старый товарищ, нам скрываться нечего, я вам пожалуй скажу... видишь ли: я лучше брошу

дочь в Луару, чем отдам ее за кузена... Можешь всем рассказать. Впрочем, не рассказывай, пусть их еще подурачатся, посплетничают.

Евгения едва устояла на ногах, услыша ответ отца своего. В один миг все надежды, все мечты, едва расцветшие в сердце ее, были смяты, разорваны, уничтожены. Она почувствовала, что уже судьба ее соединена с судьбою Шарля и что начинается для нее время любви, страданий и горести. Не в благородном ли назначении женщины быть величественнее в страдании и бедствии, чем в счастии и роскоши? Как могло чувство родительское исчезнуть в сердце отца ее? Чем виноват бедный Шарль? Для Евгении это было загадкою! Едва возродившаяся любовь ее была окружена страшною таинственностию. Она трепетала от страха; природа не улыбалась ей более; всё дышало грустию, навевало уныние, и старая сомюрская улица, по которой они, все трое, возвращались домой, показалась ей темнее и мрачнее вдвое прежнего.

За несколько шагов от их дома она опередила отца и постучалась в двери. Но Гранде, увидя журнал в руках нотариуса, остановился поговорить с ним.

— Ну, как курсы, Крюшо, как курсы?

— Ах, Гранде, вы не хотите меня послушаться; покупайте скорее, покупайте немедленно; можно еще выиграть по двадцати на сто в два года, не считая пресоблазнительных процентов. 5000 ливров дохода и стоят только 80 000 франков, по 80 франков 50 сантимов!

— А посмотрим, посмотрим, — сказал Гранде, поглаживая подбородок.

— Боже! — закричал нотариус.

— Ну что там, что там? — говорил Гранде, вырывая журнал из рук его.

— Читайте, читайте здесь, Гранде; вот это!..

«Господин Гранде, один из наиболее уважаемых негоциантов парижских, застрелился вчера, после обычного появления своего на бирже. Перед смертию он послал свое отречение президенту палаты депутатов, равно как сложил с себя свое звание в коммерческом суде. Банкрутство Г. Г. и А. С., стряпчего и нотариуса покойного господина Гранде, были причиною его разорения и смерти. Впрочем, уважение и кредит, приобретенные им между своими товарищами, могли бы спасти его. Сожалеют, что человек, всеми уважаемый, как господин Гранде, не устоял против первого порыва отчаяния...» и т. д. и т. д.

— Да, я знал еще вчера, — сказал бочар.

Нотариус был, как и все нотариусы, холодный, расчетливый, деловой человек; но озноб пробежал по всему телу его при мыс-

ли, что самоубийца брат, может быть, тщетно молил о помощи девятимиллионного Гранде сомюрского.

— А сын его? Он был так весел вчера...

— Он еще ничего не знает, — отвечал старик с прежним хладнокровием.

— Прощайте, Гранде, — сказал Крюшо, поспешно раскланиваясь. Он понял всё и побежал к племяннику своему, президенту.

Завтрак был уже подан, когда гулявшие возвратились. Евгения бросилась на шею к своей матери, влекомая избытком ощущений, скопившихся в сердце ее. Госпожа Гранде, по обыкновению, сидела в своих креслах у окна и вязала для себя зимние рукава.

— Завтракайте одни, — сказала Нанета. — Он еще спит, как херувимчик! какой хорошенький! Я взошла к нему, звала, — куда, еще не просыпается!

— Да пусть спит, — сказал Гранде, — беда не за горами, время всегда найдется.

— Что такое? — спросила Евгения, опуская в свой кофе два маленькие кусочка сахару, во сколько-то гранов каждый (работы старика, который в досужные часы сам колол свой сахар).

Госпожа Гранде, не смевшая спросить мужа, с беспокойством ожидала его ответа на вопрос Евгении.

— Отец его застрелился.

— Дядюшка!! — закричала Евгения.

— Бедный молодой человек, — сказала госпожа Гранде.

— Да, бедный, бедняга, бедняк, нищий, — отвечал скряга, — у него нет ни копейки.

— Ну, а он спит, как король, — проговорила сквозь слезы Нанета.

Евгения перестала есть; сердце ее сжалось мучительно, тоскливо, как сжимается сердце влюбленной женщины, трепещущей за жизнь своего любовника. Слезы хлынули из глаз бедной девушки.

— Вот! да разве ты знала своего дядю, — сказал Гранде, бросив на дочь взгляд голодного тигра, — ну, зачем же ты плачешь?

— Да кто же и не заплачет-то, сударь, глядя на этого бедняжку, — сказала Нанета, — спит себе мертвым сном; ему горе и во сне не грезится.

— С тобой не говорят. Молчи.

Тут Евгения узнала, что женщина, которая любит, должна скрывать свои чувства. На вопросы отца она не отвечала.

— Не говорите ему ничего до моего возвращения, — держите язык за зубами; слышите ли вы меня, госпожа Гранде? а мне

нужно еще посмотреть на лугах за работою. Когда я ворочусь, к полднику, так сам поболтаю с ним.

— Ну, а ты, дочка, если ты хнычешь по этом красавчике, так предупреждаю тебя, что напрасный труд; усадим да и пустим его, в Индию, за море, — недолго полюбуемся им... слава Богу!

Старик взял свои перчатки, надел их, расправил на пальцах и вышел.

— А!.. матушка! мне дурно, — закричала Евгения, по уходе своего отца, — я никогда так не мучилась!

Госпожа Гранде поспешно отворила окно, воздух освежил Евгению.

— Мне легче, — сказала она.

Бедная мать испугалась за дочь свою; как мать, она поняла всё, и с каким-то невольным сочувствием смотрела на Евгению. Сказать истину, жизнь и дружба известных венгерских сестриц-близнецов, сросшихся вместе, может быть, не могла бы сравниться с дружбою этих двух женщин, живших вместе, молившихся вместе, спавших вместе, в одной комнате.

— Бедное, бедное дитя! — сказала госпожа Гранде, прижимая дочь к своему сердцу.

Евгения подняла голову, устремила на мать глубокий, вопрошающий взгляд и, разгадав ее мысли, сказала:

— Зачем посылать его в Индию? Он несчастлив, — мы его родные, мы должны будем помочь ему.

— Правда твоя, друг мой; но у отца твоего другие намерения, и мы не должны осуждать их.

Обе замолчали и принялись каждая за свое рукоделье. Но вдруг Евгения, побужденная влечением сердца своего, схватила руку доброй матери и набожно поцеловала ее. Сердце ее кипело любовью.

— Как ты добра, ангел мой, милая, добрая маменька!

Лицо старушки засияло небесною радостию.

— Тебе он понравился, не правда ли? — спросила Евгения мать свою.

Госпожа Гранде улыбнулась; но после минутного молчания она тихо спросила Евгению:

— Ты полюбила его? Ах, друг мой! нехорошо!

— Нехорошо? отчего это? Да он всем нравится; тебе, мне, Нанете; отчего же не любить его? Полно, мамаша! Приготовьте-ка лучше ему завтракать.

Она бросила работу.

— Дурочка, — сказала ей мать, и встала вместе с нею. Евгения кликнула Нанету.

— Ну, что вам еще нужно, хорошенькая барышня?

— Нанета, будут у нас сливки к полднику?

— К полднику? будут; это дело другое.

— Так приготовь кофе как можно крепче; я помню, господин де Грассен говорил когда-то, что в Париже любят пить кофе самый крепкий. Клади его как можно больше, Нанета.

— Хорошо, хорошо! да где взять-то его, сударыня?

— Да купи; вот деньги...

— А если барин меня встретит, что...

— Не встретит, не встретит! Он ушел на луга.

— Бегу, бегу сию минуту. Но знаете ли, сударыня? вчера господин Грондар уже изволил меня спрашивать, когда я пришла за восковою свечкою в его лавку, что, дескать, не остановились ли у нас три царя восточные? Ведь в городе уже заболтали о наших пирах да праздниках.

— Ежели муж заметит что-нибудь, право, он в состоянии будет прибить нас, — сказала госпожа Гранде.

— Да, пожалуй! Я не буду ни плакать, ни жаловаться, мамаша, и на коленях приму его удары.

Госпожа Гранде возвела взоры к небу. Нанета надела чепец и вышла.

Евгения выдала столовое белье и побежала на чердак, взять оттуда несколько кистей винограда, которые она сама развесила там на веревке. Тихо прошла она по коридору, чтобы не разбудить Шарля, но, проходя мимо двери его комнаты, услышала легкое дыхание спящего.

— Горе созрело, а он еще спит, — подумала Евгения.

Она набрала самых свежих виноградных листьев и кокетливо, изящно убрала ими тарелку винограда. Тарелка была торжественно поставлена на столе; после чего взяты были из кухни утром отсчитанные отцом груши: они составили прекрасную пирамиду между виноградными листьями. Евгения ходила, бегала, прыгала. Ей бы очень хотелось похозяйничать в доме по-своему, но всё было приперто и ключи у отца. Нанета, возвратившись, представила Евгении пару свежих яиц. Евгения чуть не вспрыгнула ей на шею.

— Мне предложил эти яйца лаландский фермер из вежливости, а я и взяла их... добрый старик!

Наконец после двухчасовых трудов, в продолжение которых Евгения двадцать раз бросала свое рукоделье, чтобы присмотреть за кофе, чтобы пойти послушать, встает ли кузен ее, кой-как сочинился завтрак, хотя очень, очень скромный, но который мог бы почесться пиршеством, — так резко не гармонировал он со всегдашним обычаем и правилами этого дома. Обыкновенно завтракали они всегда стоя, то есть ели немножко хлеба,

плодов или стакан вина. Но теперь, видя накрытый стол с придвинутыми креслами, видя целых две тарелки с плодами, бутылку белого вина, хлеб и сахар, Евгения невольно вздрогнула, подумав только, что бы всем было, если б старик вошел в эту минуту. Евгения стала беспокойно поглядывать на часы, рассчитывая время до возвращения отца своего.

— Не беспокойся, Евгения, — сказала госпожа Гранде, — если неравно придет отец, то я всё возьму на себя.

Евгения не могла удержаться от слез при словах своей матери.

— Матушка, добрая матушка, — сказала она, — я не умела ценить тебя до сих пор.

Шарль, пройдя несколько раз по комнате, пропев несколько куплетов, явился наконец в залу. К счастию, было только одиннадцать часов. Он оделся так изящно, как будто бы находился в замке своей Анеты, в Шотландии. Он вошел весело и свободно; веселый вид украшает юность, но как-то сердце сжалось у Евгении. Шарль утешился уже насчет анжуйских замков и весело поздоровался с своей тёткой.

— Хорошо ли вы провели ночь, тётушка? здоровы ли вы, кузина?

— Хорошо; а вы? — отвечала госпожа Гранде.

— Я? бесподобно...

— Не угодно ли вам завтракать, братец; садитесь.

— Но я никогда не завтракаю ранее полудня, когда просыпаюсь. Однако я так плохо жил в дороге, что с удовольствием последую вашему совету. Притом...

И он вынул из кармана восхитительные часы Брегета.

— Ага! только одиннадцать часов; я рано встал сегодня.

— Рано! — сказала госпожа Гранде.

— Да! но мне нужно было кой чем заняться. Ну, так я с охотою съем что-нибудь... так что-нибудь, цыпленка или куропатку.

— Пречистая Дева! — вскрикнула Нанета.

— Куропатку, — шептала Евгения; она бы теперь всё отдала за одну куропатку.

— Садитесь же, — сказала госпожа Гранде.

И наш денди развалился на диване, как хорошенькая женщина. Евгения с матерью придвинули поближе к столу свои стулья.

— Вы всегда здесь живете? — сказал Шарль, озирая кругом эту залу, причем комната днем показалась ему еще скучнее, чем при свечах.

— Всегда, — отвечала Евгения, — кроме торгового времени, и тогда мы все поселяемся в Нойеском аббатстве.

— Часто вы прогуливаетесь?

— Иногда, — сказала госпожа Гранде, — в воскресенье после вечерен, когда погода хорошая; тогда мы ходим на мост или на луга, во время сенокоса.

— Здесь есть театр?

— Театр! актеры! — воскликнула госпожа Гранде, — но ведь это смертный грех!

— Ну, вот вам и яйца, — сказала Нанета, поставив тарелку на стол.

— Как! свежие яйца, ба! это бесподобно! — вскричал Шарль, который мигом позабыл о куропатках, подобно всем лакомкам, приученным к роскоши. — Если бы еще немного масла... — прибавил он. — Ну-тка Нанета?

— Масла? — сказала добрая служанка, — ну, тогда проститесь с пирожным.

— Да дай же масла, Нанета, — закричала в нетерпении Евгения. Она смотрела на своего кузена и на завтрак, ею приготовленный, с каким-то тайным, торжественным наслаждением, как парижская гризетка на мелодраму, где торжествует невинность. Правда, что и Шарль, воспитанный умною, нежною матерью, перевоспитанный и усовершенствованный женщиною большого света, был ловок, грациозен, как хорошенькая кокетка.

Есть какой-то магнетизм сочувствия в нежной внимательности молодой девушки. Шарль не мог не заметить, не мог устоять против ласкового, милого внимания своей кузины и бросил на нее взгляд, блистающий нежным, неизъяснимым чувством. Он заметил тогда всю прелесть и гармонию лица ее, невинность приемов, магнетический блеск ее взора, сияющего юной любовию и неведомым желанием.

— Право, прекрасная кузина, если бы вы явились в ложе парижской оперы, и в блестящем наряде, то я вас уверяю, что все мужчины вздрогнули бы от удивления, а женщины от зависти.

Сердце Евгении затрепетало от радости.

— Вы насмехаетесь, кузен, над бедной провинциалкой.

— Если бы вы знали меня, кузина, то не сказали бы этого. Знайте же, что я ненавижу насмешку: она губит сердце, уничтожает всякое чувство...

И он премило проглотил ложечку яйца, приготовленного всмятку.

— Нет, сестрица, я совсем не так остроумен, чтобы быть насмешником, и признаюсь, это мне даже вредит. Видите ли: в Париже есть особенная система, одним словом убить, уничтожить человека. Стоит, например, сказать: у него доброе сердце,

это значит, что бедняга глуп, как носорог. Но так как я, во-первых, богат, а во-вторых, не даю промаху из пистолета, то насмешка поневоле щадит меня...

— Это показывает, милый племянник, что у вас доброе сердце, — сказала госпожа Гранде.

— Какой у вас миленький перстень, — поспешила сказать Евгения, — можно взглянуть на него?

Шарль протянул свою руку, и Евгения покраснела, когда, снимая кольцо, дотронулась до его тонких, длинных, белых пальцев.

— Посмотри, какая работа, маменька.

— И, да сколько тут золота! — сказала Нанета, поставив на стол кофейник.

— Как! что это? — смеясь спросил Шарль, увидев продолговатый глиняный горшок, полированный под фаянс внутри, покрытый пеплом и золою снаружи, и в котором кофе то вскипал на поверхность жидкости, то медленно оседал на дно.

— Кофе кипяченый, — отвечала Нанета.

— А, любезнейшая тётушка, ну, я рад, что, по крайней мере, оставлю здесь по себе добрую память. Да вы отстали на целый век; позвольте же изъяснить вам, как готовят кофе à la Chaptal, любезнейшая тётушка.

И он пустился в объяснения о том, как приготовляется кофе à la Chaptal.

— Ну, уж если тут столько работы, так поздно мне этому учиться, и не пойму, батюшка. Да к тому же некогда; кто будет ходить за коровой, доить, поить ее, покамест я буду возиться с кофеем?

— Я буду ходить за нею, — сказала Евгения.

— Дитя! — сказала госпожа Гранде, взглянув на дочь свою.

И при этом слове вдруг все три, вспомнив о несчастии молодого человека, замолчали и взглянули на него с видом сострадания. Это поразило Шарля.

— Что с вами, кузина?

— Молчи, Евгения, — сказала госпожа Гранде, видя, что дочь готова проговориться, — ты знаешь, что отец твой хочет сам говорить с господином...

— Шарлем, тётушка.

— Ах! вас зовут Шарлем... это прекрасное имя, — сказала Евгения.

Предчувствуемые несчастия почти всегда сбываются.

Нанета, госпожа Гранде и Евгения, с трепетом помышлявшие о возвращении старика, вдруг услышали стук молотка, стук им знакомый, привычный.

— Это батюшка! — сказала Евгения.

Мигом она спрятала сахарницу, оставив несколько кусочков на столе. Нанета унесла яичную скорлупу. Госпожа Гранде выпрямилась, как испуганная серна. Шарль ничего не понимал в этом внезапном припадке комического страха!

— Ну, что же это с вами? — спросил он.

— Батюшка воротился, — отвечала Евгения.

— Так что же?

Старик вошел, жадно взглянул на стол, на Шарля, и понял всё.

— Ага! да у вас здесь пир горой, ради дорогого племянничка? Хорошо, хорошо, очень хорошо, прекрасно! Кот на крышу, мыши в амбар!

«Пир!» — подумал Шарль, не посвященный в таинства этого хозяйства.

— Дай-ка мне мой стакан, Нанета, — спросил старик. Евгения подала ему стакан. Гранде вынул из кармана свой ножик, роговой, с широким лезвием, отрезал тартинку, намазал на нее крошечку масла и принялся есть, стоя. В это время Шарль клал сахару в свой кофе. Гранде увидал на столе куски сахару, взглянул на жену свою, побледневшую от ужаса, и, подошед к ней, сказал на ухо:

— Где ты это набрала столько сахару, мадам Гранде?

— Нанета купила; было мало.

Невозможно описать ужаса трех женщин в продолжение этой нежной сцены. Нанета пришла из кухни взглянуть, чем всё это кончится.

Шарль отведал свой кофе, кофе показался ему горьким, и он стал искать сахару.

— Чего ты там еще ищешь? — спросил чудак.

— Сахару... он был сейчас здесь.

— Прилей молока! всё равно. Кофе и от этого будет сладок.

Евгения встала, взяла сахарницу и поставила ее на стол, хладнокровно смотря на отца. Уж конечно, любовница, поддерживающая одними руками шелковую лестницу, по которой спускается ее любовник, спасающийся от преследования ревнивого мужа, не выказала бы столько великодушия и самоотвержения, как Евгения, подав опять на стол сахар. Любовник, когда гордо покажут ему разбитую, изможденную ручку, омоет слезами язвы, излечит их страстными поцелуями; он наградит свою любовницу. Но Шарлю никогда не суждено было понять страшной тоски и ужаса сердца Евгении, сердца, разбитого одним взглядом, брошенным стариком на дочь свою.

— Ты что-то не ешь, женушка, — сказал Гранде.

Бедная илотка подошла к столу; отрезала чуть-чуть себе хлеба и взяла грушу. Евгения с отчаянною смелостию подала отцу винограду.

— Покушай, папаша, на здоровье, — сказала она. — Братец! вы также, не правда ли? я нарочно для вас выбрала самые лучшие кисти.

— Да уж так, так! не присмотри за ними, так они целый город растащат ради моего дорогого племянника. Когда ты кончишь, племянничек, так мы с тобой пройдемся по саду; мне нужно сообщить тебе одно несчастное известие.

— Несчастное! любезный дядюшка, но после кончины моей доброй матушки...

Тут голос его смягчился, задрожал.

— Трудно найти что-нибудь, что бы огорчило меня более.

— Любезный племянник, кто же может предузнать, какие испытания угодно будет ниспослать на нас Господу Богу нашему? — заметила госпожа Гранде.

— Та, та, та, та! — закричал Гранде. — Нужно тебя тут, с твоим вздором! Знаешь, племянничек, бешусь я, когда посмотрю на твои беленькие ручки!

И он протянул ему свои руки, или, лучше сказать, что-то вроде двух бараньих лопаток, по ширине.

— Вот чем загребаются денежки, — сказал он, — а вы, сударь, свои ножки обувать изволите в кожу, из которой делаются наши бумажники! Да, да!.. Худо, худо, племянничек!

— Но о чем вы говорите, дядюшка! пусть повесят меня, если я хоть одно слово понимаю!

— Пойдем со мною, — сказал Гранде, сложив свой ножичек, выпив остаток вина и отворяя дверь.

— Будьте тверды, братец, — проговорила Евгения. Шарль вздрогнул от этого предостережения и, молча, отправился за своим страшным дядюшкой. Евгения, госпожа Гранде и Нанета вошли в кухню, мучимые печальным любопытством; им хотелось хоть глазами следовать за двумя действующими лицами в драме, начинавшейся в аллее их маленького садика. Старик шел некоторое время молча.

Нетрудно было объявить племяннику о смерти отца его; но Гранде чувствовал какое-то невольное сострадание, зная, что бедняк остался без копейки. Старик искал слов; ему хотелось смягчить жестокость страшного известия.

— *Отец твой умер, племянничек!* это бы еще ничего; отцы всегда умирают прежде детей; но:

— *Ты нищий, братец!* Изобретите-ка что-нибудь ужаснее.

Чудак уже три раза прошелся по аллее взад и вперед, и всё молча.

В радости или в горе, вообще в важных случаях жизни нашей душа наша крепко сживается с малейшими обстоятельствами действия, и с местом, где происходит оно. С каким-то странным, невольным вниманием смотрел Шарль на кусты маленького сада, на бледные, опадающие листья, на ветхие стены, фруктовые деревья... вообще замечал все подробности, все оттенки обстоятельств этой печальной минуты... Эти мгновения остались навсегда в его памяти.

— Тепло! славное, прекрасное время! — сказал Гранде, вдыхая в себя воздух.

— Да, дядюшка, очень тепло... но...

— Ну, видишь ли, мой милый; у меня... у меня есть пренеприятная новость... С твоим отцом случилось несчастие.

— Зачем же я-то здесь! Нанета, — закричал Шарль, — лошадей! прикажи привесть лошадей! Разумеется, здесь можно без труда достать какую-нибудь повозку? — прибавил он, обращаясь к дяде, смотревшему на него с открытым ртом.

— Ни повозок, ни лошадей не нужно, — сказал наконец Гранде.

Шарль остолбенел, побледнел. Глаза его сделались неподвижны.

— Да, бедный друг мой! ты догадываешься! Он умер! Но это бы ничего; а вот что дурно, он застрелился.

— Батюшка!

— Да! но это всё еще ничего; об этом кричат все журналы, как будто бы они имеют на это какое-нибудь право. На, смотри...

И старик подал ему журнал, взятый им на время у Крюшо.

Тут Шарль, еще юноша, еще в возрасте чувства и впечатлений, не выдержал и залился слезами.

— Ну, ну! хорошо!.. вот хорошо; а то меня пугали эти глаза не на шутку. — Он плачет! ну вот он и спасен, слава Богу! Ну, слышишь ли, дружочек, это бы всё ничего, это ничего; ты поплачешь теперь, а потом успокоишься; но...

— О, никогда! никогда! батюшка, батюшка!!!..

— Но ведь он разорил тебя, он ограбил тебя; у тебя нет ничего, ни копейки!

— А что мне до того, что мне до денег? Где батюшка, батюшка, батюшка, где мой батюшка!

Плач и рыдания вырывались из груди его. Женщины, свидетельницы приведенной нами сцены, тоже плакали; слезы, как и смех, заразительны. Шарль, ничего не понимая и не слушая

больше, выбежал из сада, взбежал по лестнице в свою комнату и, рыдая, бросился на постель, склонив голову на подушки.

— Пусть его плачет, пусть первый припадок пройдет, — сказал Гранде, входя в комнаты; Евгения с матерью были уже на своих местах и, отерши наскоро глаза, с дрожащими руками трудились над своей работой.

Тяжело стало сердцу Евгении, когда услышала она равнодушные, сухие слова отца, говорившего о самой святой добродетели и обязанности человека; с этой минуты она невольно стала судить поступки отца в своем сердце. Рыдания Шарля, хотя и заглушаемые им, раздавались по всему дому, и стоны его утихли постепенно только к вечеру.

— Бедный молодой человек, — сказала госпожа Гранде.

Несчастное восклицание! Старик взглянул на жену, потом на дочь, потом на сахарницу; наконец, припомнив необыкновенный торжественный завтрак, приготовленный для их несчастного родственника, он напустился на всех.

— Надеюсь, госпожа Гранде, — начал он с своим обыкновенным хладнокровием, — я надеюсь, что пора вам кончить мотовство и грабеж моего дома. Или вы хотите обсахарить эту куклу на *мои* денежки?

— Матушка ни в чем не виновата, — прервала Евгения, — я одна...

— А не потому ли, что ты уже совершеннолетняя, вздумалось тебе идти наперекор моей воле? Послушай, сударыня...

— Но он нам родственник, — сын брата вашего не мог нуждаться...

— Та, та, та, та! — запел старик на четыре хроматические тона, — и племянник! и родственник! и сын брата вашего!.. Знай же, сударыня, что он для нас нуль, ничего, чужой; у него нет ни копейки; он нищий; отец его обанкрутился, и когда красавчик наплачется здесь вдоволь, так мы с ним по добру, по здорову раскланяемся; не хочу, чтобы весь мой дом пошел вверх дном от него.

— Что такое обанкрутиться, батюшка? — спросила Евгения.

— Обанкрутиться! Это значит сделать самую низкую подлость, самое черное, неблагородное дело, — отвечал старик.

— Должно быть, это ужасный грех, — сказала старушка, — братец будет горько страдать на том свете.

— А ты вечно будешь читать свои проповеди, — сказал, пожимая плечами, Гранде. — Обанкрутиться, Евгения!.. Банкрутство это кража, которая, к несчастию, вне закона. Люди вверили свое имущество Вильгельму Гранде, поверили ему на честное

слово, на его доброе имя; он у них забрал всё и поминай как звали; у бедных остались одни глаза, чтобы плакать! Да разбойник на большой дороге честнее банкрута; разбойник нападает, от него отбиваются; он головой рискует; а банкрут... Брат мой обесчестил навек своего сына.

Страшные слова тяжело отдались в благородном сердце Евгении. Она не имела никакого понятия о свете, о его верованиях и софизмах; она была чиста и невинна сердцем и ничего не знала, расцветая в глуши, как пышный цвет в дремучем лесу. Она поверила жестокому, безжалостному изъяснению банкрутства; и ей не объяснили неизмеримой разницы банкрутства невольного, следствия непредвиденных несчастий, от банкрутства, рассчитанного плутовством и бесстыдством.

— А вы, батюшка, вы никак не могли воспрепятствовать этому несчастию?

— Брат со мной не посоветовался, — отвечал старик, — да и должен-то он был три миллиона.

— А что такое миллион, батюшка? — спросила Евгения, с наивностию дитяти, желающего как можно скорее достать то, чего ему вдруг захотелось.

— Три миллиона? — сказал старик, — это три миллиона монет в двадцать су; нужно пять монет в двадцать су, чтобы вышло пять франков.

— Господи, Боже мой! — вскричала Евгения, — да как это могло быть у дядюшки столько денег! неужели есть еще кто-нибудь во Франции, у кого было бы три миллиона?

Старик потирал свой подбородок, гримасничал, улыбался и, казалось, шишка на носу его шевелилась и двигалась.

— А что будет с братцем?

— Он отправится в Индию; это будет, по крайней мере, по желанию отца его. Там он постарается себе сколотить копейку.

— А есть ли у него деньги на проезд, батюшка?

— Я заплачу за него... до Нанта.

Евгения прыгнула на шею отца.

— Ах, батюшка! ты добр! милый, добрый батюшка!

Она так целовала отца, что скряге стало как-то стыдно; совесть немного щекотала его.

— Много ли нужно времени, чтобы скопить миллион? — спросила она.

— Ну, — сказал бочар, — ты ведь знаешь, что такое луидор? Нужно 50 000 таких луидоров, чтобы набрать миллион.

— Маменька, будем мы справлять поминки? — спросила Евгения госпожу Гранде.

— Я уже думала об этом, — отвечала она.

— Ну, так и есть, тратить деньги. Да что же вы думаете? что у нас — сотни, тысячи, сотни тысяч франков, что ли?

В эту минуту страшный, пронзительный вопль Шарля раздался по всему дому. Мать и дочь затрепетали от ужаса.

— Посмотри там, Нанета, — сказал Гранде, — взгляни, что он там, зарезался, застрелился, что ли? Ну, слушайте вы тут, — продолжал он, оборотясь к жене и дочери, оцепеневшим от слов его, — не проказничать и сидеть смирно, а я пойду, пошатаюсь около наших голландцев. Они едут сегодня; потом зайду к Крюшо; нужно и с Крюшо поболтать.

Он отправился, мать и дочь вздохнули свободнее. Никогда еще Евгения не притворялась, не вынуждала себя перед отцом. Теперь же она принуждена была скрывать свои чувства, говорить о другом и в первый раз в жизни удалиться понемногу от правды.

— За сколько луидоров продается бочка вина, матушка?

— Отец твой продает свое вино по 150, по 200, иногда и по 300 франков, как я слышала.

— Так если батюшка сбирает в год по 1500 бочек вина...

— Не знаю, друг мой, сколько у него доходу; твой отец никогда ничего не говорит о делах со мною.

— Батюшка, кажется, очень богат.

— Может быть. Но господин Крюшо говорил мне, что назад тому два года отец твой купил Фруафонд, и, может быть, теперь у него нет денег.

Евгения, не понимая более ничего, перестала расспрашивать.

— Какое! и не взглянул на меня, мой голубчик, — сказала, возвратившись, Нанета, — лежит себе на кроватке, плачет, заливается, прости Господи.

— Пойдем к нему, мамаша; мы успеем сойти, когда войдет батюшка.

Госпожа Гранде не могла противиться нежной, трогательной просьбе своей Евгении. Дочь ее в эту минуту была хороша, прекрасна; она была женщина.

Обе они вошли к Шарлю потихоньку, но сердце у обеих билось сильно. Дверь была отворена; несчастный ничего не видал и не слыхал; он только обливался слезами.

— Как он любит своего отца, — сказала Евгения шепотом.

Нельзя было ошибиться, не узнать, не прочитать всего в сердце Евгении. Госпожа Гранде взглянула на нее взглядом, в котором отражалась вся материнская нежность ее, потом сказала ей на ухо:

— Берегись, дитя мое! ты уже его любишь, друг мой.

— Его любить! — сказала Евгения, — ах! если бы ты знала, что говорил утром батюшка.

Шарль повернул голову и увидал свою кузину и тётку.

— Я потерял отца! я лишился его, моего бедного, несчастного отца. О, если бы он открылся мне, вверился сыну, своему сыну, то этого не было бы; мы бы вдвоем работали, мы бы исправили несчастие наше. О, Боже мой, Боже мой! Бедный батюшка! Я так был уверен, что расстаюсь с ним ненадолго, что, кажется... я простился с ним холодно!.. — И рыдания заглушили слова его.

— Мы будем молиться за него, — сказала госпожа Гранде, — покоритесь воле Всемогущего.

— Будьте мужественны, братец, — сказала Евгения. — Ваша потеря невозвратима; так подумайте о вас самих, о своей чести...

Ум, проницательность, такт женщины научили говорить Евгению. Она хотела обмануть горесть и отчаяние Шарля, дав им другую пищу.

Шарль привстал на своей кровати.

— Честь моя! — закричал несчастный. (Волосы его стали дыбом). — А! да, это правда, правда!.. дядюшка говорил мне, что он обанкрутился.

Из груди Шарля вырвался пронзительный крик; он закрыл лицо руками.

— Оставьте меня, оставьте, оставьте меня, кузина! Боже, Боже! прости ему! прости самоубийце; он уже и так страдал довольно!..

Это чистое излияние сердца, эта неподдельная грусть, это страшное отчаяние не могли не найти себе отголоска в добрых и простых сердцах Евгении и ее матери; они поняли, что он желал быть один, что нужно оставить его.

Возвратясь в залу, они сели молча на места свои и работали с час, не прерывая молчания. Беглый взгляд Евгении успел заметить в комнате Шарля всё роскошное хозяйство бывшего *денди*, все мелочи его туалета, ноженки, бритвы, и всё, всё обделанное, оправленное в золото. Этот проблеск роскоши, эти следы недавнего, веселого времени делали Шарля еще интереснее в воображении ее; может быть, здесь действовало обыкновенное влияние противуположностей. Никогда еще для обеих обитательниц этого тихого, грустного жилища не было зрелища более ужасного, более драматического, более поразительного среди их безмятежного одиночества.

— Маменька! будем мы носить траур по дядюшке?

— Отец твой решит это, — отвечала госпожа Гранде.

И опять молчание. Евгения работала, не обращая внимания на работу, как-то машинально. Наблюдатель угадал бы глубокую

заботу в ее сердце. Первым желанием этой прекрасной девушки было разделить траур своего кузена.

Около четырех часов раздался сильный удар молотка в двери. Сердце забилось у госпожи Гранде.

— Что это с твоим отцом? — сказала она.

Весело вошел бочар. Он снял перчатки, бросил их; потом потер свои руки, так что едва-едва не содрал с них всей кожи; потом начал ходить взад и вперед, посматривать на часы... Наконец секрет таки вырвался у него.

— Жена, — сказал он не заикаясь, — я надул их всех. Вино наше продано. Голландцы уезжали сегодня утром; я пошел гулять около их трактира, как ни в чем не бывало. Тот, что ты знаешь, подошел ко мне. Все виноградчики прижались, спрятали вино, не продают; хотят подождать. Мне и дела нет; я не мешаю. Голландец был в отчаянии; я всё вижу! Мы торгуемся, сходимся; по сту экю за бочонок, половину на чистые. Заплатили золотом, а на остальное написали билеты; вот тебе шесть луидоров, жена! *Через три месяца цены понизятся.*

Последнее было произнесено тихо, но с такою глубокою, злою иронией, что если бы сомюрцы, собравшиеся в это время на площади и толковавшие о сделке старика Гранде, услышали бы слова его, то задрожали бы от ужаса. Панический страх понизил бы цены на пятьдесят процентов.

— У вас 1000 бочек вина этот год, батюшка?

— Да, *дочечка*! (Словцо, означавшее высший порыв восторга господина Гранде.)

— Триста тысяч франков? — продолжала Евгения.

— Точно так, мадмоазель Гранде.

— Так, стало быть, вы можете теперь помочь Шарлю, батюшка?

Удивление, гнев, столбняк царя Бальтазара, при виде знаменитого «Mané, Tekel, Pharès», были ничтó в сравнении с тяжелым, холодным гневом Гранде, который, позабывши о племяннике, вдруг встретил его в сердце, в голове, в расчетах своей дочери.

— Да это безбожно! да здесь разбой! С тех пор как эта обезьяна у меня в доме, всё пошло вверх дном. Покупается сахар, задаются пиры и обеды! Не хочу этого! Не хочу этого! Я знаю, сударыня, как мне нужно вести себя на старости; ни от кого не приму советов, а от вас и подавно, сударыня. В мои дела не соваться: я знаю, что сделать для моего племянника, знаю без вас!.. А вы, сударыня, извольте молчать, иначе отошлю вас с Нанетой в Нойе посмотреть, всё ли там исправно, и завтра же, завтра же отошлю. А где он? где наш красавчик? где Шарль? Что, он выходил оттуда?

— Нет еще, друг мой, — отвечала полумертвая госпожа Гранде.

— Да что же он там делает?

— Он плачет о своем отце, — отвечала Евгения.

Гранде затих. Он был сам немножко отцом, старик!

Пройдя раза два по комнате, он побежал наверх и заперся в своем кабинете. Там он начал раздумывать, куда бы ему пристроить свои денежки. Две тысячи арпанов срезанного леса дали ему 1 500 000 франков. Прибавив к этой сумме деньги за срезанные тополи, доходы за прошлый и настоящий года, он мог выложить чистыми 2 400 000 франков, кроме 100 000 экю, только что им вырученных. Очень, очень соблазняли его проценты 20 на 100, о которых говорили они вчера с Крюшо. Гранде набросал план своей спекуляции на полях журнала, в котором было напечатано известие о самоубийстве его брата. Стоны племянника долетали между тем до него. Но он лишь слышал, а не слушал.

Наконец Нанета пришла звать его сквозь дверь обедать. В дверях и на последней ступеньке он еще болтал про себя: «По восьми процентов... и если дело удастся... в два года будет у меня четыре миллиона... и чистым золотом! чистым золотом...»

— Ну, где же племянник?

— Да он говорит, что не хочет обедать, сударь, — отвечала Нанета, — ведь это нездорово, сударь.

— Тем лучше, тем лучше; больше экономии.

— Как, экономии! — сказала служанка.

— Ба! Наплачется, проголодается. Голод из лесу волка выживет.

Обед был молчалив и скучен.

— Друг мой, — сказала госпожа Гранде, когда сняли скатерть, — нужно нам надеть траур.

— Право, вы не знаете, наконец, что выдумать, куда бы деньги тратить, госпожа Гранде! Траур должен быть в сердце, а не на платье.

— Но, друг мой, траур по родном брате необходим, и даже церковь приказывает...

— Ну, так управьтесь там на шесть луидоров, вот что я дал, а мне дайте кусок крепу, с меня будет довольно. Евгения молча возвела глаза свои ко небу. В первый раз в жизни все святые и благородные ее верования были унижены и поруганы словами старого скряги.

Хотя наступивший вечер был, по обыкновению, похож на все вечера, проводимые в этом доме, но при всём том он был самый скучный и долгий. Евгения сидела, не отрываясь от работы и не

дотрогиваясь до ящичка, подаренного ей накануне. Мать вязала свои шерстяные рукава. Гранде вертел пальцами битых четыре часа, погруженный в свои расчеты. Результаты расчетов должны были завтра удивить весь Сомюр с его округом.

Из гостей никто не являлся; в это время весь город только и говорил, что о штуке, сыгранной утром господином Гранде, о банкрутстве его брата и приезде племянника. Все были у де Грассенов; все собрались поболтать о делах, о винограде, о голландцах, и тут-то раздавались самые страшные выходки против старого бочара, который преспокойно смеялся в своем углу над всем городом. Нанета пряла, и один шум колеса в самопрялке нарушал семейное безмолвие.

— Мы не теряем слов, нечего сказать, — проговорила Нанета, усмехнувшись и выказав ряд огромных белых зубов своих.

— Ничего не нужно терять, — отвечал Гранде, стряхнув с себя нули, цифры, итоги и расчеты.

В перспективе блистали перед ним четырнадцать миллионов, и не далее как чрез три года; душа его плавала, грелась над кучами золота.

— Пойдем спать! Я за всех пойду прощусь с племянником. Не хочет ли он есть в самом деле?

Госпожа Гранде остановилась в коридоре, чтобы послушать, что будет наверху. Более храбрая Евгения взбежала две ступеньки.

— Ну что, племянничек, плачешь? Плачь, плачь! Что делать! отец всё-таки отец; но нужно всё сносить терпеливо, друг мой. Вот ты здесь плачешь, а я о тебе забочусь; я старый добряк, друг мой. Ну, ну, поободримся немного; не хочешь ли стакан вина?

В Сомюре вино продается даром, — в одной цене, что чай в Китае.

— Но у тебя и свечки-то нет? — продолжал Гранде, — дурно! дурно! нужно, чтобы было светло всегда, везде и во всём.

Гранде подошел к камину.

— Ого! восковые свечи! ну, ну! а где, черт их знает, они отрыли восковые свечи! Они сломают весь пол на дрова, чтобы сварить яичницу этому... негодяю!

Мать и дочь едва услышали последние слова старика, бросились в свою спальню, как испуганные мыши, и забились под одеяла.

— У вас рудники перуанские, мадам Гранде? — сказал старик, входя в спальню жены своей.

— Друг мой, подожди: я читаю молитвы, — сказала она дрожащим от страха голосом.

— А, чтобы черт...

Скупые не веруют в будущую жизнь, в жизнь духовную; для них настоящее всё. Мысль эта в состоянии выказать настоящий характер нашей эпохи, когда деньги составляют всё — законы, политику, нравы. Секты, книги, люди, учения, всё сговорилось против веры, на которую уже восемнадцать веков опирается общество. Теперь худо верят тайнам за могилою, и мысль о будущности, за пределами нашего *requiem*, бледнеет и исчезает, как ложный призрак перед грубою существенностию. Достичь *per fas et nefas* земного рая роскоши, тщеславных наслаждений, иссушить сердце огнем ядовитых страстей и (в параллель обратного сходства) подобно святым мученикам, вытерпевшим казни и пытки, за мысль, идею, за бесплотную будущность, отравить и растлить кровь свою для златой пыли, за скоропреходящие тленные сокровища наши, — вот общее верование, вот общая мысль, проявляющаяся всюду, даже в законах, в положениях жизни общественной. Вас спрашивают: *сколько вы платите?* вместо того, *что вы думаете?* Когда весь народ усвоит подобное учение, что станется с обществом?

— Кончила ли ты, женушка? — спросил наконец бочар.

— Я молюсь о тебе, друг мой.

— Это очень хорошо, так до завтра, мадам Гранде, а покамест прощай.

Бедняжка заснула, как школьник, не доучивший урока, которому снится завтрашний день вместе с розгами и с гневом господина учителя.

В ту минуту, когда она завернулась в одеяло от страха, чтобы ничего не видеть и не слышать, Евгения встала с постели, подошла к ней тихо, ступая босыми ногами, и поцеловала ее.

— Я скажу завтра всё, добрая, милая матушка, я скажу, что это я.

— Нет, Евгения, он отошлет тебя в Нойе. Пусть уж так останется; ведь он же меня не съест.

— Слышишь ли ты, матушка?

— Что такое?

— Он всё еще плачет.

— Ложись, моя милая, ты простудишься с голыми ногами.

Так прошел торжественный день, имевший сильное влияние на судьбу богатейшей невесты Сомюра. Эта ночь была не так тиха и безмятежна для нее, как все прежние.

Весьма часто некоторые черты человеческой жизни нам кажутся совершенно невероятными, хотя они сбылись действительно. При быстрых, необыкновенных переворотах судьбы человеческой исследователи почти всегда забывают осветить неясную

сторону дела светом физиологии, то есть не разбирают в подробности причин, заключающихся не во внешней природе нашей, а глубоко, во внутренней, духовной. Может быть, мучительная страсть Евгении должна быть разобрана в своих тончайших фибрах и нитях, ибо страсть эта, как заметят некоторые, обратилась в болезнь, отравившую всё существование девушки. Но многие исследователи любят лучше отречься от существования дела, чем трудиться, анализируя его, распутывая запутанные узлы и связывая порванные концы происшествий. Для наблюдателей и физиологов довольно будет припомнить для объяснения внезапной страсти, так наивно укоренившейся в сердце Евгении, прежнюю жизнь ее. Это естественно: чем тише и мирнее были протекшие дни ее, тем сильнее воспрянули в сердце ее женское сочувствие и жалость к несчастию и бедствию Шарля.

Взволнованная дневными происшествиями, она не могла заснуть спокойно, просыпалась часто, стараясь прислушаться и угадать, что делалось в комнате Шарля; поминутно чудились ей вздохи и стоны его, так измучившие ее накануне. Он снился ей умирающим от горя, в бедности; под утро явственно услышала она страшное восклицание; она мигом оделась и побежала наверх.

Дверь в комнату Шарля оставалась отворенною. Свечка потухала, догорев до конца. Побежденный внезапно сном, Шарль заснул нераздетый, сидя в креслах и положив голову на постель. Евгения могла тогда вдоволь наплакаться, глядя на него, и налюбоваться на это прекрасное чистое лицо, запечатленное глубокою, тоскливою горестию; глаза его распухли от слез и, смеженные сном, казалось, всё еще плакали. Шарль угадал симпатически присутствие Евгении и, открыв глаза, увидел ее перед собою, всю в слезах.

— Извините, кузина, — сказал он, вероятно, не помня ни настоящего часа, ни места, где был.

— Мы принимаем в вас участие, братец. Мы хотели спросить вас, не нужно ли вам чего-нибудь?.. вам надобно лечь, братец; вы и без того так утомились...

— Правда, кузина, и я...

— Прощайте же, братец!..

И она убежала, краснея от стыда и задыхаясь от радости. Только одна невинность осмеливается на подобные выходки. Евгения, не трепетавшая возле Шарля, едва могла держаться на ногах в своей комнате. Ее жизнь простая, бесхитростная, кончилась. Евгения начала размышлять и упрекать себя.

«Что подумает он теперь обо мне? Он подумает, что я люблю его».

Ничего не желала она более, как того, чтобы Шарль подумал именно это самое.

Какое странное, в самом деле, происшествие, неожиданное в жизни простой, неопытной девушки — войти одной ночью в комнату молодого человека!

Час спустя Евгения, по обыкновению, вошла в комнату своей матери и помогла старушке одеться. Потом обе пошли в залу и сели на своих местах у окна, ожидая Гранде. Обе они были в том странном состоянии духа, когда в ожидании беды, наказания, сомнительной развязки тоска сжимает и холодит сердце: чувство естественное! Даже домашние животные подвержены ему до такой степени, что кричат при самом слабом наказании, тогда как тихо переносят жестокую боль, причиненную собственной неосторожностию. Старик сошел наконец в залу, но чрезвычайно рассеянный, сказал несколько слов жене, поздоровался с Евгениею и сел за стол. Казалось, что вчерашние угрозы были забыты совершенно.

— А что делается у племянника? Смирен малютка, по чистой совести!

— Спит еще, сударь, — отвечала Нанета.

— Ну, тем лучше, так ему не надобно восковых свечей, — сказал бочар, насмешливо подмигивая одним глазом.

Такая неслыханная, неожиданная пощада, такая странная веселость поразили госпожу Гранде; она внимательно взглянула на мужа.

Но чудак...

Здесь, может быть, не худо будет заметить, что в Турени, в Анжу, в Поатье, в Бретони слово *чудак*, которым мы часто означали старика Гранде, равно принадлежит к означению стариков самого сварливого и злого характера, как и самых терпеливых и незатейливых добряков.

Итак, наш чудак встал со стула и взял свою шляпу и перчатки:

— Я пойду побродить, — сказал он, — нужно столкнуться с Крюшо.

— Послушай, Евгения: отец твой непременно задумал что-нибудь сегодня, — сказала госпожа Гранде.

И действительно, привыкши мало спать, Гранде более половины ночей своих проводил за вычислениями и расчетами. Таким образом всякое замечание его, всякое суждение было безошибочно и основано на расчетах заранее. И весь Сомюр удивлялся господину Гранде.

Всё человеческое могущество заключается в двух элементах: в терпении и времени. Могучие хотят и трудятся. Жизнь скупого

есть одно из проявлений всей необъятной воли человеческой в одном частном лице, в индивидууме. Два начала составляют вместе жизнь скупца: самолюбие, жестокое и неумолимое, и твердая самоуверенность; два элемента эти, будучи совокуплены вместе, составляют одно — эгоизм; вот почему лицо скупого в драме или комедии возбуждает огромнейший интерес. Всякий подметит в ловко развитом характере скупого какую-нибудь сторону и своего сердца, часть своего внутреннего *я*. Лицо скупого заключает в себе почти все обстоятельства жизни, почти все мелочи человеческие, все желания общественные. Сыщете человека без желаний? Какое общественное желание не покупается золотом?

Действительно, Гранде *что-то задумал*, по выражению жены своей. Как и у всех скупцов, в характере его, в его природе вечно и неумолкаемо двигалось желание, какая-то ненасытная страсть — законным образом цедить золото в свои сундуки из карманов ближнего. Перехитрить всех и каждого и потом презирать простаков, смеяться над ними — вот жизнь, власть, душа, могущество, гордость скупого. Скупец понимает терзания нищеты и бедности, он их постиг; он *постиг агнца, ведомого на заклание*, эмблему умирающего с голода. Но скупец — он сначала откормит своего агнца, обнежит его, потом его режет, потом его жарит, потом его ест, по правилам, терпеливо, методически. Презрение и золото — вот насущный хлеб для скупого.

Ночью блестящая мысль озарила Гранде, — вот отчего утром переменился ветер. Он выдумал план посмеяться над парижанами, уничтожить их, втоптать их в грязь, раздавить их; он, старый бочар, он заставит трепетать парижан! Поводом ко всему был его племянник. Старику пришла в голову идея спасти честь своего покойного брата и уничтожить его банкрутство, не истратив на всё это сломанной копейки. Капиталы свои он положил на три года, он-таки расстался наконец с своими сокровищами; теперь ему не доставало пищи духу, не доставало занятия, движения; он был без рук; нужно было найти занятие, изобрести его. Банкротство брата доставило ему и повод, и средства. Ему хотелось обеспечить судьбу Шарля, выказаться превосходным братом, преоригинальным чудаком-дядюшкой — и всё это даром, по цене самой умеренной. Честь дома Гранде была в стороне; ей и места не было в спекуляциях старика. Нет! с ним было то же, что бывает с отчаянными игроками, спустившими всё до копейки; они не отходят от стола и, сложа руки, с наслаждением смотрят на игру своих победителей; и это для них счастие, и это забава!

Крюшо необходимы теперь старику, но решено, что он сам к ним не пойдет. Пусть сами придут, тогда вечером начнется зна-

менитая комедия, а послезавтра в целом Сомюре только и речей будет о благодетельном родственнике, о превосходном брате, словом, о господине Феликсе Гранде сомюрском, и, главное, всё это будет даром — не будет стоить ни копейки.

## Глава IV

### *Обещания скряги. Клятвы любви*

В отсутствие отца Евгения могла сколько хотела заниматься своим милым кузеном, могла излить на него все сокровища своего сердца — участие и сострадание. В этих двух добродетелях было всё торжество, всё проявление любви ее, и ей хотелось, чтобы чувствовали эти добродетели.

Три или четыре раза наведывалась она, спит ли Шарль или уже встал. Когда же он стал просыпаться, то опять пошли те же хлопоты, как и накануне. Сама она выдала тарелки, стаканы, сливки, кофе, яйца, фрукты. Потом опять взбежала наверх; опять приостановилась, чтобы послушать в дверях... Что-то он теперь делает? Оделся ли он? Плачет ли он опять? Наконец она постучалась.

— Братец!

— Это вы, сестрица?

— Да, Шарль. Где вы хотите завтракать, внизу или здесь, в вашей комнате?

— Где вам угодно, сестрица.

— Как вы себя чувствуете?

— Признаюсь вам со стыдом, милая сестрица, я голоден.

Этот разговор сквозь замочную скважину был целым эпизодом из романа Евгении; по крайней мере для нее.

— Так мы вам принесем завтракать сюда, чтобы не мешать после батюшке.

Она побежала в кухню.

— Нанета, поди, прибери его комнату.

Ветхая черная лестница вдруг оживилась, заскрипела. Сколько воспоминаний рождала и потом эта лестница в сердце Евгении; как часто она взбегала по ней! Даже сама старушка, добрая и сговорчивая, не в силах была противиться желаниям и маленьким капризам своей дочери, и когда Нанета возвратилась сверху, обе пошли к Шарлю, чтобы утешить бедняжку и потолковать с ним. Посетить Шарля посоветовало им христианское братолюбие, и обе они не замечали, что уже другой день толкуют и вкось и вкривь Евангелие, применяясь к обстоятельствам.

Шарль Гранде мог оценить теперь все заботы, все попечения, на него изливаемые. Его уязвленное сердце узнало теперь сладость дружбы и необходимость сочувствия и сострадания. Евгения и мать ее знали, что такое тоска и страдание, и поспешили осыпать его всеми сокровищами своего сердца, дружбою и утешением. По праву родства Евгения принялась прибирать и устанавливать все вещи Шарля, укладывать его белье, все туалетные принадлежности и могла вдоволь насмотреться на все роскошные безделки и прихоти модного денди, на все золотые игрушки, попадавшиеся ей под руку. Она брала их поочередно и каждую долго рассматривала. С глубоким чувством признательности принимал Шарль целительное участие своей тётки и кузины; он знал, что в Париже он встретил бы везде одну холодность и равнодушие. Он понял тогда всю прелесть сердца и души Евгении. Он удивлялся детской наивности ее характера, над чем еще вчера так бессмысленно насмехался. И когда Евгения, взяв из рук Нанеты фаянсовую чашку с кофеем, поднесла ее своему кузену, со всею прелестию дружеской услуги и приветливо улыбнулась ему, то глаза его наполнились слезами; он схватил ее руку и поцеловал.

— Что, что с вами? — спросила она.

— О, это слезы благодарности, сестрица.

Евгения быстро обернулась к камину, чтобы взять с него подсвечники.

— Возьми, убери их, Нанета.

Когда она опять взглянула на Шарля, то щеки ее горели, как огонь, но глаза уже могли лгать; они не выдавали сердца и радости, заигравшей в нем.

Стук молотка возвестил отбой старушке и дочери, и обе едва успели сойти и усесться на своих местах. Гранде вошел вовремя, но не будь они у окна, у старика тотчас явились бы подозрения.

Чудак наш проглотил щепоточку чего-то, что величалось завтраком. После завтрака явился Корнулье, лесной сторож и егерь господина Гранде; жалованье было ему обещано, но только еще обещано; он явился из Фруафонда, неся в руках зайца и куропаток, застреленных в парке.

— А-а! ну, вот и наш Корнулье! С добычей, дружок? Что же, это вкусно, хорошо? а?

— Да, мой добрый, милостивый господин, свежее, только что застрелил утром.

— Ну, ну, Нанета, вертись скорее! вот тебе провизия; сегодня у меня будут обедать двое Крюшо.

Нанета вытаращила глаза и смотрела на всех с недоумением.

— Ну, а где же я возьму коренья и зелень?

— Жена, дай ей шесть франков, да припомни мне сходить в погреб, выбрать вина получше.

— Так вот что, добрый, милостивый господин мой, — начал Корнулье, между тем приготовивший свою речь и просьбу о жалованье, — так вот что, милостивый и добрый господин мой...

— Та, та, та, та! — заговорил скупой, — знаю, про что ты поёшь; ты, брат, славный малый; я подумаю... но теперь я, видишь сам, занят, теперь некогда. Жена! дай ему экю! — и старик убежал.

Бедная жена рада была, поплатившись одиннадцатью франками за спокойствие и мир. Она знала, что Гранде молчал целых две недели, стянув у ней несколько франков.

— Возьми, Корнулье, — сказала она, подавая ему десять франков, — когда-нибудь мы припомним твои услуги.

Нечего было делать Корнулье; он отправился.

— Вот, сударыня, возьмите эти три франка назад: мне более трех не понадобится, — сказала Нанета, надевая свой темный чепчик и взяв в руки корзину.

— Постарайся получше обед приготовить, Нанета: братец тоже будет вместе с нами обедать.

— Право, сегодня необыкновенный день, — сказала госпожа Гранде, — вот всего третий раз после нашей свадьбы, как муж мой зовет к себе гостей обедать.

Около четырех часов, когда Евгения кончила накрывать на стол, а старик воротился из погреба, неся с собою несколько лучших заветных бутылок, Шарль появился в зале. Он был бледен; его жесты, его походка, взгляд — всё, даже звук голоса, всё носило отпечаток глубокой, благородной грусти и тихой задумчивости. Он не притворялся, он действительно страдал, и страдание, разлитое на лице его, придавало ему какую-то увлекательную прелесть, которая так нравится женщинам. Евгения полюбила его еще более; может быть, их сблизило одно несчастие; и в самом деле, Шарль уже не был более тем щеголеватым, недоступным красавцем, каким он явился к ним в первый раз. Нет! Это был бедный, всеми покинутый родственник, а бедность равняет всех. У женщины то общее с ангелами, что все страдальцы, все мученики принадлежат ее сердцу. Шарль и Евгения взглянулись и объяснились взглядом; сирота, падший денди, стал в углу комнаты спокойный и гордый; от времени до времени ему встречались нежные, ласковые взгляды Евгении, и он успокоивался, он покорно ловил отрадный луч надежды, блиставший ему в этом взоре, улетал далеко воображением и отдыхал в тихих, блестящих мирах неясных грез и мечтаний.

В эту минуту в Сомюре только и говорили, что об обеде у господина Гранде; забыли уже об его вчерашнем предательстве при продаже вина. Если бы хитрец задавал обеды с тою целью, которая стоила хвоста собаке Альцибиадовой, то он прослыл бы, может быть, великим человеком; — но Гранде некогда было и думать о Сомюре.

Де Грассены, услышав про банкрутство и самоубийство Вильгельма Гранде, решились отправиться к старику после обеда, пожалеть его, поскорбеть с ним вместе, утешить, если можно и нужно, и, между прочим, разузнать под рукою, на что позвали обоих Крюшо и зачем скряга тратился, чтобы кормить их обедом.

Ровно в пять часов президент де Бонфон с дядею нотариусом явились, разодетые в пух и в прах, по-парадному. Гости сели за стол и стали преисправно кушать. Гранде был важен и задумчив, Шарль молчалив, Евгения ничего не говорила, госпожа Гранде не сказала ничего лишнего, так что обед был настоящей монастырской трапезой.

Когда встали из-за стола, Шарль сказал дяде и тетке:

— Позвольте мне уйти в мою комнату; мне нужно заняться долгой перепиской...

— Ступай, ступай, племянничек.

Потом, когда чудак рассчитал по пальцам время, нужное Шарлю, чтобы дойти в свою комнату и сесть за свои письма, чудак покосился на жену.

— Госпожа Гранде, что мы теперь будем болтать с приятелями, будет для вас, всё сполна, чистейшая латынь. Уже семь часов с половиною: пора бы вам на боковую, а? Прощай, Евгения. Он поцеловал дочь, и обе они вышли.

Тогда-то началась знаменитая сцена, в которой Гранде выказал всю свою ловкость, искусство и навык справляться с людьми, словом, всё то, за что ему дано было лестное прозвание *старой собаки* теми, которые попробовали его зубов. Если бы старый мэр города Сомюра был честолюбив, если бы притом ему помогли обстоятельства, доведя его до высших степеней государственной администрации, то, бесспорно, Гранде оказал бы много пользы отечеству, когда бы для него употребил хоть половину своей ловкости и сметливости. Впрочем, может быть, чудак был рожден дивить только свой муравейник; может быть, с умами случается то же, что и с некоторыми животными — бесплодие в других климатах.

— Го-госпо-один п-п-резидент! вы го-ого-ворили, что банк-банк-банк-рутство...

Притворное заиканье старика, которому почти все верили за долголетие и естественность, так же, как и глухота, на которую

он жаловался по временам, в сырую погоду, было так несносно в эту минуту нетерпеливым, любопытным Крюшо, что они невольно, в комическом нетерпении, ломались, гримасничали и поводили губами, как будто бы хотели проговорить фразу, завязшую на зубах старика. Здесь необходимо рассказать историю заиканья и глухоты господина Гранде.

Никто в целой провинции не выговаривал и не слышал лучше старика Гранде. Когда-то, несмотря на всю свою хитрость и лукавство, скряга был оплутован одним жидом. Во время торга жид подносил руку к своему уху так натурально и так ловко заикался, что Гранде из сострадания, подобно обоим Крюшо, начал сначала пошевеливать губами, потом помогать жиду, подсказывать слова, фразы, а наконец начал совсем говорить вместо жида, начал сам с собой торговаться вместо жида, сам из Гранде обратился в проклятого жида. Странный бой, из которого первый раз в жизни своей старик вышел не победителем, а побежденным. Но, потеряв барыш, Гранде расчел, что он не в убытке, что он лишь дорогонько заплатил за урок, но уроком положил воспользоваться непременно, при случае.

По сему случаю чудак кончил тем, что благословил жида от чистого сердца, научившись у него искусству утомлять противника, заставлять его говорить за себя, а следовательно, сбиваться с собственного плана, с собственных мыслей. Никогда еще не представлялось ему более удобного случая развернуться вполне, показать в полной силе свои таланты по части заикального искусства и глухоты, как теперь. Во-первых, ему не хотелось ясно высказаться; во-вторых, ему самому хотелось управлять разговором; наконец, в-третьих, скрыть от своих слушателей свои настоящие намерения.

— Господин де Бон-бон-бон-бонфон...

В целые три года второй раз посулил теперь Гранде президенту — *де Бонфона*. Президент думал, что старик, по крайней мере, хочет теперь предложить ему руку своей дочери.

— Так вы говорили, что банк-банк-банк-рутства могли бы быть уничтожены...

— Могут быть уничтожены коммерческими судами; да, это случается почти каждый день, — перебил президент, подхватив оборвавшуюся идею Гранде и думая, что совершенно угадал ее. — Слушайте!

— Слушаю, — смиренно отвечал хитрец, смеясь внутренно, как дитя над учителем своим в школе.

— Вот положим, что человек почтенный и уважаемый, как ваш покойный братец в Париже.

— Мой брат! а? да, да, ну!

— Вот если такой человек видит неминуемое падение своего дома...

— Па-а-адение, вы говорите — па-па-дение?..

— Да; и когда банкрутство неотразимо, то коммерческий суд (слушайте хорошенько), тот коммерческий суд, от которого он ближайшим образом зависит, имеет право назначить для затушения неприятностей переговорщиков. Переговаривать и торговаться еще не значит обанкрутиться, понимаете? банкрут обесславлен, а этот остается честным человеком.

— Ра-разумеется э-это-то лучше, если бы то-только дороже не с-с-с-стои-ло.

— Да! но сговариваться можно и без коммерческого суда. Например, как объявляется банкрутство? — сказал президент, растирая пальцами щепоточку табаку.

— Да-да-я и-и не-не знаю, — проговорил Гранде.

— Во-первых, — начал президент, — сложением баланса в судейскую канцелярию, что делается или через самого купца, или через его уполномоченного; во-вторых, показаниями и доносами кредиторов. Так если сам негоциант не выдает своего баланса, если ни один кредитор не объявляет вышесказанного негоцианта банкрутом, так что же может выйти из такого хода вещей?

— Ну, да, да! что же выйдет?

— Тогда его семейство, его представители, наследники или даже сам негоциант, если он не умер, или друзья, у которых он спрятан, начинают за него переговаривать и торговаться с кредиторами. Может быть, вы желаете устроить дела вашего покойного брата? — спросил старика президент.

— Ах! друг Гранде, — закричал нотариус, — как это будет прекрасно, благородно! Вы докажете, что есть истинное благородство в нашей провинции, когда вы спасете свое имя от позора, потому что здесь страдает и ваше имя, Гранде... О! вы будете тогда, вы будете...

— Великодушным человеком! — закричал президент, перебивая своего дядю.

— Да, конечно, мой б-б-рат на-назывался Гранде, так же, как и я. Э-это п-правда! Не-не-скажу-жу нет. И э-это бу-будет поле-езно моему пле-пле-племяннику во всех отноше-шениях. Но мы по-посмотрим... Я не-не знаю э-этих па-па-рижских собак... Я-я в Со-сомюре... са-сами зна-аете! У-у ме-ня ви-вино, лу-луга, за-занятия; я никогда к тому же не писал векселей; что такое ве-вексель? У-у меня м-много этой бу-бумаги, а сам я не не...пи...пи...сывал их ни-и-икогда, да и небу...у...ду... Во-вот и всё! Я слы-слышал, что можно купить би-би-би-леты.

— Да, да; можно купить векселя на бирже, дав столько-то на сто. Поняли?

Гранде поморщился и приложил ладонь к уху; президент повторил.

— Да, да-ведь мно-ного заботы! В мо-мои лета, что я ту-тут по...нимаю! Я должен смотреть за по...по...лями. Что соберешь с них, так тем и заплатишь, а...сбо...боры п-прежде всего. У меня теперь преза-занимате-тельные дела в Фру... фру...фруафонде. Я, я не могу о-оставить дома для всей этой чер-чер-чертовщины, в которой я ничего не с-смыслю. А вы-вы говорите, что-о мне нужно бы-быть в Па-париже. А разве мо-можно быть в двух места...тах, ка-как пти-ти-ти-тичка?..

— А! понимаю, — закричал нотариус. — Гранде! у вас есть друзья, верные, старые друзья, они вас не выдадут.

«Да ну-же, ну-же, — думал старик, — решайтесь, дураки».

— Так если кто-нибудь поедет за вас в Париж, отыщет главных кредиторов вашего брата и скажет...

— Ми-и-инутку! — прервал чудак. — Что-о такое скажет? Что-то-нибудь такое: Господин Г-Гранде та-такой-то, го-господин Г-г...ран-де сякой-то! лю-любит б-брата. Хо-хо-хорошо тор-тор-торгует. Не объявляйте банк-банкрутст-ва; соберитесь и на-на-значьте сами от себя у-у-полном-м-моченных и пер-пере-переговорщиков. Тогда старик Г-Гранде по-по-посмотрит. Ва-вам же будет вы-выгод-нее, чем напу-пу-стить полиц-ц-цейских. Не-не-не-так-ли?

— Именно так, — отвечал президент.

— По-потому, что вы видите-ли, го-господин де Бо-бо-бо-бо-бонфон, нужно сначала по-посмотреть, а-а-а-а... потом уже реш...шиться. Кто не может, так тому и нельзя. Не-нену-ужно разоряться, забирать-ся с-сверх си-сил. Та, та, так ли?

— Разумеется, — сказал президент, — я думаю, что за известную сумму, разом выплаченную, можно очень скоро сойтись с кредиторами и выкупить бумаги. Покамест банкрутство не объявлено, а вы скупили векселя, бумаги у вас в руках, то вы спасены, дело обделали ловко, сами не замарались и белы, как снег.

— Как снег, — сказал Гранде, приставляя руку к своему уху, — как снег?.. Ч-ч-что-то такое сне-г? я в-вас не-не понимаю.

— Так слушайте же меня, — прокричал ему взбешенный президент.

— Да-с, слушаю.

— Всякое дело товар, у которого своя цена. Так определяет Иеремия Бентам, говоря о ростовщиках. Знаменитый публицист

доказал, что предрассудок, преследующий ростовщиков, — сущий вздор.

— Yes, — отвечал чудак.

— Итак, примем по Бентаму, что деньги тоже товар и что их заменяет тот же товар. Следовательно, если векселя, естественно подверженные влиянию торговых оборотов, плодятся или исчезают на бирже, дорожают или дешевеют, то коммерческий суд может решить... Ну, ведь вот я-то дурак! толкую еще! Да вы просто можете скупить векселя вашего брата с уступкою 75 процентов на сто, то есть всего-то по 25!

— Его зовут Иеремия Бентам?.. А-а-а-нгличанин?

— Этот Иеремия поплачет за нас в этом деле, а нас спасет от лишних слез, — сказал, смеясь, нотариус.

— Э-эти англичане не совсем глу-глупы; так, если следуя Бе-ентаму, ве-ве-векселя мо-мо-его брата стоят... и... или нет или да... я... я я говорю, что-то так это-то ясно, к-кредиторы бу-будут, не-не-нет не будут... П-п-право не-не понимаю.

— Дайте я вам объясню всё это, — сказал президент. — Если у вас в руках все векселя на дом покойного Гранде, то брат ваш или его наследники не должны никому ничего. Так?

— Та-так, — повторил Гранде.

— Теперь, если векселя вашего брата разойдутся на бирже, будут *продаваться* (*продаваться*, заметьте это слово) с значительною уступкою, и если кто из друзей ваших пройдет мимо, поторгуется да купит, то кредиторы, продав векселя добровольно, таким образом отказываются от всех своих требований на дом Гранде парижского?

— П-правда! де-дела делами, — сказал бочар, — это-то так... Но вы по-понимаете, что-то это тт-т-трудно. У меня нет ни де-денег, ни времени.

— Разумеется, вам нельзя самим. Ну, так я к вашим услугам; я поеду за вас в Париж (обойдется в пустяки, — мы сделаем маленький счетец). Я поговорю с кредиторами, прижму их, и всё дело уладится, разумеется, с подбавкою вещественного к переговорам и срочному платежу, который мы им обещаем: всё это, чтобы выкупить векселя.

— Но, но, но, у-увидим; я я не хочу, я я не могу пуститься в де-дело без, без... пони-понимаете... Это-то так. У меня и теперь го-голова разболелась, оттого что вы та-там наговорили. Это пе-первый раз в жизни, что-то я связываюсь с зако-конами.

— Правда, правда, вы *беззаконник*.

— Я, я, я бедный виногра-градчик и не совсем вас понимаю. Нужно бы еще раз по-по-по...

— Так слушайте же, — сказал президент и хотел начать сначала, но дядя остановил его.

— Племянник, — закричал нотариус, покачивая головою.

— Что такое, дядюшка?

— Оставь в покое господина Гранде; пусть он сам объяснит свои намерения. Это вещь нешуточная, и наш друг...

Тут стук молотка возвестил о прибытии де Грассенов; вход и взаимные затем приветствия не дали времени Крюшо окончить своей речи. Нотариус был впрочем весьма доволен, что ему помешали. Он видел, как Гранде бросал на него свирепые взгляды; он предузнавал грозу по судорожному движению его мускулов и шишки на носу его. Благоразумный нотариус, во-первых, находил неприличным для президента суда первой инстанции ехать в Париж, чтобы возиться с кредиторами господина Гранде и вдаваться в дело, не совсем-то праведное. Наконец, Гранде еще не сказал ни полслова, не изъявил ни малейшего желания хоть что-нибудь заплатить; вот почему он внутренно содрогался, видя, как неосторожно племянник его протягивает шею в петлю. Только что вошли де Грассены, он незаметно толкнул президента и отвел его в сторону, в амбразуру окна.

— Полно, не горячись, племянник. Ты и так довольно себя высказал; тебя ослепляет желание богатой невесты. Но не нужно и ходить с завязанными глазами. Теперь я проведу судно сквозь отмелей, а ты только исподволь помогай маневру. Ну, твое ли дело, тебе, президенту суда первой инстанции, ввязываться в такую двусмысленную роль?..

Но он не кончил: говоря, он слышал всё и, следовательно, слышал слова де Грассена:

— Мы слышали, Гранде, ужасное несчастие, постигшее дом Вильгельма Гранде, и смерть. его. Мы пришли сюда изъявить вам всё дружеское участие и соболезнование, которое принимаем в этом деле.

— Другого несчастия нет, как только смерть господина Гранде младшего, — перебил нотариус. — Да и это горе тоже не случилось бы, если б Вильгельм Гранде заблаговременно обратился к почтенному другу нашему, своему брату. Наш друг благороден и великодушен; он хочет заплатить долги покойника. Президент, мой племянник, предлагает ему во избежание судебных издержек и мытарств, отправиться за него в Париж, уговорить кредиторов и всё устроить и уладить, как следует.

Де Грассены были изумлены словами Крюшо, подкрепленными мимикою старика, преспокойно и самодовольно поглаживавшего свой подбородок; де Грассены почти всю дорогу толко-

вали о скупости Гранде сомюрского и обвиняли его едва ли не в братоубийстве.

— Неужели! о, я предчувствовал это, — закричал де Грассен. — Жена! а? что я тебе говорил дорогою? Да! повторяю, наш друг Гранде честен, великодушен; он не потерпит малейшего пятна на своем честном имени! Что богатство бесчестия! Прекрасно, прекрасно, Гранде. Я старый солдат, я не притворщик, я прям! Это превосходно, Гранде, да! превосходно!

— И и пре-превосходно и до-орого, — отвечал старик, покамест банкир с жаром тряс его руку.

— Но знаете ли, мой друг, это дело — прошу извинения у господина Крюшо — это дело чисто торговое; нужно человека, знающего, делового, купца. Нужно, чтобы он знал рассчитывать, не даваться впросак и, если нужно, повернуть дело по-своему. Я на днях еду в Париж по собственному делу, и, право, я не прочь, я возьмусь устроить и ваше.

— Да я бы-бы и сам не прочь; то-только не-не хочу рисковать, нужно по-о-осторожнее. А вот господин президент уж и денег у меня просил на дорогу. — Последнее старик произнес не заикаясь.

— А я бы и сама заплатила за одно удовольствие побывать в Париже! — сказала госпожа де Грассен и мигнула своему мужу, давая знать, чтобы он во чтобы то ни стало отбил поручение; потом она насмешливо взглянула на обоих Крюшо, у которых вытянулись лица.

Гранде схватил де Грассена за пуговицу и потащил его в угол.

— Разумеется, я гораздо больше доверяю вам, чем президенту. Кроме того есть кое-что и другое. Мне нужно купить несколько тысяч франков доходу в государственном банке, а не хочется давать более восьмидесяти за сто. Говорят, что через месяц будет уже поздно. Так вы мне обделаете это? а?

— Так, стало быть, всего-то и дела, что купить вам несколько тысяч франков...

— Правда не много для начала. Между нами сказать, я хочу вести дела в тайне. В месяц-то вы, верно, всё обделаете, а? Только не говорите ничего Крюшо; они, пожалуй, обидятся. Кстати, уж в Париже вы заглянете и в дела моего бедняжки племянника.

— Хорошо, хорошо! Я завтра же возьму почтовых лошадей, — сказал громко де Грассен, — и к вам зайду за последними наставлениями в... в котором часу?

— В пять часов перед обедом, — сказал бочар, потирая руки.

Соперники остались еще несколько времени у Гранде. После некоторого молчания де Грассен потрепал по плечу старика и сказал ему:

— Хорошо иметь таких родственников, как вы, Гранде.

— Да, вот что, — отвечал бочар, — я добрый семьянин, хоть и не тем кажусь. Я любил брата... готов доказать, что люблю... да ведь это будет дорого стоить...

— Прощайте, Гранде, — сказал банкир, к счастию остановив его на недоконченной фразе, — так как я теперь спешу, то есть кое-какие делишки дома.

— Хорошо, хорошо. Я сам хочу пообсудить еще кое-что касательно того, о чем говорил с вами, и удаляюсь в свою *палату совещаний*, по выражению господина *президента Крюшо*.

— Ага! я уже теперь не *де Бонфон*, — подумал убитый президент, и лицо его выразило недовольную мину судьи, утомленного в своих судейских креслах.

Предводители обеих партий отправились вместе. Ни те, ни другие не упоминали уже более о недавнем предательстве Гранде, но выпытывали друг у друга, что затеял теперь старик; потому что из них никто не понимал его.

— Не зайдете ли вы с нами к госпоже Дорюнваль, господа? — сказал де Грассен, обращаясь к нотариусу.

— Мы будем к ней попозже; а теперь, с позволения дядюшки, я зайду сперва к госпоже Грибокур...

— Так до свидания же, господа, — сказала госпожа де Грассен.

Когда Крюшо отошли на несколько шагов, Адольф де Грассен сказал отцу:

— Надули этих Крюшо; они с порядочным носом!

— Полно, Адольф, — отвечала госпожа де Грассен, — они еще могут услышать; да к тому же, мой милый, ты говоришь, как настоящий школьник...

— Что, дядюшка, — закричал президент в свою очередь, — началось с *де Бонфона*, а свели на *президента Крюшо*.

— Знаю, знаю, братец, — отвечал ему дядя. — Де Грассены торжествуют, да пусть их! уж и ты-то, братец, толковал, толковал... Пускай де Грассены верят, как дураки, в его «*увидим*». Будь покоен, друг мой; ты женишься на Евгении!

В минуту слух о великодушном поступке Гранде распространился уже в трех домах.

В целом городе только и говорили, что о примерном братолюбии старика, и всякий от чистого сердца простил ему недавнее вероломство, удивляясь мнимой честности и великодушию. Минутный энтузиазм есть элемент французского характера. Не-

ужели общества, народы, словом, всё собирательное лишено памяти?

Когда Гранде затворил за гостями дверь, то кликнул свою верную Нанету.

— Не спускай собаки, да и сама не ложись! Нужно работать. В одиннадцать часов Корнулье приедет за мной из Фруафонда. Жди его; отопри ему поскорее, чтобы он не стучался долго: во-первых, полиция запрещает шуметь по ночам, а, во-вторых, никто и знать не должен, что я уезжаю.

Сказав это, Гранде поднялся в свою лабораторию, и Нанета услышала, как старик рылся, ходил, считал. Он работал осторожно и тихо, чтобы не разбудить жены и дочери, а главное, спастись от любопытства племянника, которого проклинал он сквозь зубы, увидя свет в его комнате.

В полночь Евгения, мечтавшая о Шарле, вдруг услышала стон, и ей показалось, что это из его комнаты. Уж не убился ли он? он был такой бледный и мрачный... В миг накинула она чепчик, завернулась в мантилью и хотела выйти. Но ее приостановил свет, проникавший сквозь щели дверей ее комнаты; скоро она ободрилась, услышав тяжелую походку Нанеты и голос ее вместе с шумом и ржанием приведенных лошадей.

— Уж не увозят ли Шарля, не уезжает ли он? — подумала Евгения и осторожно отворила дверь в коридор.

Она вздрогнула, встретив взгляд отца, взгляд озабоченный, холодный, рассеянный. Старик и Нанета держали на плечах толстое коромысло, к которому на канате был прикреплен небольшой бочонок, работы самого Гранде в часы отдохновения или безделья.

— Дева Пречистая! да сколько же это весит? — сказала Нанета почти шепотом.

— Да жаль, душа моя, что всё медь, — отвечал старик, — берегись, не задень свечки.

Сцена была освещена одним сальным огарком, поставленным на лестнице.

— С тобой ли пистолеты, Корнулье? — спросил Гранде у своего лесничего.

— Нет, сударь! да чего тут и бояться-то? ведь не деньги.

— Разумеется, разумеется, ничего.

— К тому же я повезу вас скоро; кони знатные! для вас, сударь, выбрали что ни есть лучших лошадей.

— Хорошо, хорошо; а ты же сказал им, куда мы едем.

— Да я и сам-то не знал, сударь.

— Хорошо, хорошо! а крепка ли повозка?

— Повозка-то крепка ли? Еще бы, сударь! Да в ней хоть три тысячи можно увезти медью. Сколько в ваших бочонках-то?

— Я по весу узнала, — сказала Нанета, — здесь верных тысяча восемьсот франков.

— Замолчишь ли ты, Нанета! Жене скажешь, что я отправился в деревню. К обеду я возвращусь. Живее, живее, Корнулье! К девяти часам нужно быть в Анжере.

Повозка покатилась, Нанета заперла ворота, спустила собаку и улеглась.

В городе никто не знал ни про отъезд, ни про цель путешествия старика Гранде, потому что скряга был осторожен донельзя. В доме его никто и копейки не видал, а между тем в доме были кучи золота. Услышав утром на пристани, что золото вздорожало в цене вследствие большого требования в Нанте и что партия спекулянтов скупает его в Анжере, бочар захлопотал, занял лошадей у своих фермеров и отправился ночью продавать свое золото на банковые билеты, которыми уже он распорядился на покупку доходов с государственного банка.

«Батюшка уезжает», — подумала Евгения, видевшая и слышавшая всё с своей лестницы.

Скоро тишина воцарилась по-прежнему; шум колес отъезжающей повозки затихал мало-помалу и наконец затих совершенно; тогда Евгения услышала опять тихий стон; тонкая струя света шла из комнаты Шарля и, прорезывая тьму, лилась на перила лестницы.

«Он тоскует», — подумала Евгения и взбежала наверх.

Второе стенание заставило ее дойти до самой комнаты Шарля, в которую дверь была полуотворена. Евгения отворила еще более. Шарль спал в своих креслах; голова его склонилась на грудь, перо выпало из свесившейся руки его. Прерывистое, тяжелое дыхание спящего устрашило Евгению; она быстро вошла в комнату. Верно, он очень устал, подумала Евгения, взглянув на дюжину запечатанных писем, на которых она прочла лишь адресы: Господину Жану Роберту, седельщику, Господину Бюиссону, портному.

«Он устроивает дела свои; он скоро, стало быть, уезжает».

Вдруг взоры ее остановились на двух незапечатанных письмах; одно из них начиналось словами:

«Бесценная Анета!»

Евгения едва не упала в обморок. Ноги ее приросли к полу.

«Его Анета! Он любит, он любим!! о, нет, нет более надежды! Что же он ей такое пишет?»

Всё это разом пробежало в уме ее. Слова, прочитанные ею, блистали огненными буквами в ее глазах. Она видела, читала всюду слова эти: на столе, на стенах, на полу...

«Как! забыть теперь всё! отказаться от всех надежд! Я уйду, я не прочту; нет, нет! О, если бы я могла прочитать эти письма...»

Она взглянула на Шарля, взяла его за голову и нежно, заботливо приподняла ее на спинку кресел. Как дитя, принимал Шарль ее попечения, как дитя от заботливой матери, не пробуждаясь от привычных ласк ее. И как мать ходила за ним Евгения, бережно приподняла она свесившуюся руку его и поцеловала его волосы.

«Бесценная Анета...» Какой-то демон шептал ей слова эти.

«Я прочту это письмо; я знаю, что это будет дурно...»

Благородная гордость заговорила в ней. Евгения отвернула голову от рокового письма. Это была первая борьба добра и зла в ее сердце; до сих пор она не краснела ни за какой поступок свой, но страсть и ревность превозмогли; она читала, читала и не могла оторваться. При каждом слове сердце кипело и билось в ней — сильнее, и сильнее, и мучительнее чувствовала она боль в бешеном припадке ревности.

«Моя бесценная Анета! Ничто не могло бы меня разлучить с тобою, но несчастие разразилось над головою моею, несчастие, никем не предвиденное: мой отец застрелился, я лишился моего богатства. Я сирота и по образу воспитания моего — ребенок, но я должен выйти победителем из глубокой бездны, куда ввергла меня судьба моя.

Я всю ночь эту размышлял и рассчитывал. Если оставить Францию с именем незапятнанным, на что я решился уже, то у меня не останется и ста франков на то, чтобы начать новую жизнь, попробовать счастия в другой части света, в Индии. Да, бедная моя, я еду туда, где убийственнее климат, где смерть вернее и скорее. Я не в силах остаться в Париже. Я не смогу перенесть хладнокровно обид, оскорблений, тайных или явных, холодности, которыми заклеймят нищего, сына банкрута. Боже мой! быть должным три миллиона!.. но не пройдет и пяти дней, как я буду убит на дуэли. Я не возвращусь в Париж. Даже твоя любовь, твоя нежная, чистая любовь не в силах будет меня завлечь туда. О, друг мой! До чего я дожил? У меня даже нет такой суммы, чтобы прилететь к тебе и у ног твоих вымолить последний, прощальный поцелуй, в котором бы я мог почерпнуть силу, бодрость, — в чем я так нуждаюсь теперь».

— Бедный Шарль, — прошептала Евгения, отирая слезы свои, — я хорошо сделала, что прочла письмо это. У меня есть золото, я всё отдам ему.

Она читала далее:

«Я не знал до сих пор, что такое бедность. У меня осталось еще сто луидоров на переезд в Индию, но ни копейки для того чтобы обзавестись всем нужным. Но что я? Нет; у меня нет ни одного луидора; тогда начну считать, когда заплачу долги свои.

Если у меня ничего не останется, то я дойду пешком до Нанта и там определюсь на корабль простым матросом, начну новую жизнь. С самого сегодняшнего утра я хладнокровно начал смотреть на мое будущее. Да, моя будущность ужасна, ужаснее, чем у последнего несчастливца. Избалованный матерью, меня обожавшею, любимый лучшим из отцов, встретив в весне своей тебя, милая Анета, я, я был знаком только с одним счастием, рвал одни цветы на поле жизни! Но не суждено было мне быть счастливым!.. Однако я благодарю природу, чувствуя теперь в себе силы и мужества более, нежели я надеялся, нежели можно было надеяться беззаботному счастливцу, как я, любимцу прелестнейшей женщины, избалованному счастием семейным, которого все желания были законом для несравненного отца... О! батюшка, батюшка! Его нет, его нет более на свете!

Я размыслил хладнокровно о своем положении и о твоем также, бесценная Анета! Я постарел в эти сутки. Бесценный друг мой! ежели бы ты пожелала не расставаться со мною, если бы ты даже пожертвовала для меня всем, всеми наслаждениями своими, туалетом, ложею в Опере, то и тогда мы не имели бы достаточных средств для жизни нашей; но я не в состоянии принять подобной жертвы... Нам нужно расстаться, Анета, и расстаться с сего же дня навеки».

«Он оставляет ее! Боже, столько счастья!»

Евгения вспрыгнула от радости, но вдруг побледнела от ужасу: Шарль пошевелился; но, к счастию ее, он заснул опять; она продолжала:

«Когда возвращусь я? Я не знаю. Европеец стареется скоро в климате индейском, особенно европеец работящий. Положим, я возвращусь через десять лет. Твоей дочери тогда будет восемнадцать, она будет подругой твоей и твоим соглядатаем. Для тебя жизнь будет ужасна, и дочь, родная дочь ненавистна. Мы видали примеры, знаем, как беспощаден свет, как беспощадны родные дети наши; итак, воспользуемся нашей опытностию. Храни в глубине душевной прекрасное воспоминание четырехлетнего блаженства и будь мне верна, если можешь. Я не могу, я не смею даже требовать этого, милая Анета, потому что сам должен смотреть другим взглядом на жизнь свою. Я должен думать о женитьбе, это необходимо в теперешней жизни моей, и признаюсь тебе, что здесь, в Сомюре, в доме старого дяди моего, я нашел девушку, мою кузину, которой характер и наружность даже тебе бы понравились. К тому же, кажется, у ней есть...»

Здесь Шарль остановился.

«Верно, он очень устал, когда не докончил письма своего», — подумала Евгения.

И она его оправдывала! Но могло ли это невинное создание заметить тонкую холодность, разлитую в каждой строчке письма этого? Для девушек, подобных Евгении, всё сияет, всё блестит любовью, когда забьется она в ее собственном сердце. Тогда они окружены каким-то небесным сиянием; торжественно тиха душа их; и они верят в любовь, они верят в любовника, верят, что и его душа также светла, также чиста, также полна любовью. Заблуждения женщины происходят, и почти всегда, от ее ненарушимой веры в добро и справедливость. Слова «*Бесценная Анета*» звенели страстным, волшебным лепетом для ее слуха и пронзали ее душу, как некогда в детстве святые звуки «*Venite adoremus*», орга́на соборной их церкви. Наконец, и благородная чувствительность Шарля, слезы его на гробе отца выказывали чистоту и невинность сердца; всё это очаровывает молодых девушек.

Могла ли она понять, что если Шарль действительно оплакивает отца своего, могла ли она понять, что сожаление это шло не столько от чистого, уязвленного сердца, сколько от воспоминаний отцовской доброты, отцовского баловства. Видя, с каким нетерпением отец и мать его наперерыв старались утолять его малейшие прихоти и желания, ему некогда было рассуждать и рассчитывать, как делает это бездна парижских молодых людей, увлеченных вихрем роскоши и моды и лишенных средств утолять свои желания и страсти; эти молодые люди рассчитывают обыкновенно на смерть своих родителей. Отец Шарля был нежен и добр к своему сыну до такой степени, что успел вложить в его сердце любовь непритворную, истинную.

И хотя Шарль был еще дитя — но парижанин, уже заразившийся заразою нравов парижских, даже влиянием самой Анеты на свой характер; он знал свет довольно хорошо и сердцем был уже старик, прикрытый цветущею маскою молодости. Много перенял и усвоил он в том обществе, в кругу таких людей, где часто в один вечер, в дружеских собраниях, словами, совершается более преступлений, нежели сколько разбирает их судия в своих заседаниях; и где острота убивает великую идею, где силен тот, кто умеет жить, — а уметь жить значит не верить ни в чувства, ни в людей, ни даже в то, что есть действительно. Уметь жить значит уметь жить на чужой счет, уклоняться и гнуться от беды, ничему не удивляться, ни красотам искусства, ни поступкам великих людей, и обожать одного идола — самого себя.

В промежутках между шутками и любовию Анета учила его мыслить серьёзно. Играя его кудрями, говорила с ним о будущности и, свивая и развивая их, высчитывала ему всю жизнь, как по счетам. Она делала его более и более женоподобным —

разврат вдвойне, но разврат по моде, утонченный и принятый всеми.

— Вы еще ребенок, — говорила она Шарлю, — право, не знаю, как и приняться переделывать вас. Зачем вы дурно обошлись с господином Жеронтом? Знаю, что он не очень-то достоин вашего уважения; но подождите, он еще в силе; после, презирайте его в глаза и сколько угодно.

Шарль был слишком привязан к обществу, слишком балован судьбою, слишком разнежен жизнию, чтобы дать покой и свободу душе своей и развить в ней пышно и величаво благороднейшие чувства и добродетели человеческие. Золотые семена, посеянные матерью в его сердце, не дали прекрасного плода, будучи подавлены и заглушены рассеянностию и развратом парижской жизни. Но ему было всего 21-й год, а в этом юном возрасте чистота и юность души кажутся нераздельными с чистотою и юностию тела. Его голос, взгляд, лицо были еще послушны чувству. Самый строгий судья, самый неумолимый закон, самый жестокий ростовщик поколебались бы поверить разврату и очерствелости сердца и души, смотря на чистое, юное чело Шарля, еще не обезображенное морщинами.

Шарль знал и понимал светские законы и уставы, но доселе не имел случая приложить их к своей жизни и был непорочен, следственно, своею неопытностию. Но в сердце его уже зрел эгоизм. Законы и правила парижского общества были посеяны в нем и ждали только случая развиться вполне, случая, когда Шарль переменит свою роль на жизненной сцене и из зрителя великой драмы сделается сам актером.

Почти все молодые девушки увлекаются наружным блеском. Как же не увлечься и Евгении? И хотя она была не парижанка, хотя сердце ее судило строже и осторожнее, чем сердце девушки в рассеянном и суетливом круге общества, как было не увлечься ей, когда всё, речи, движения, поступки, всё в ее Шарле дышало чувством или под такт сердцу, дышало его теплотою? Наконец случай, злая судьба привела Евгению принять на сердце свое последний отголосок, последний крик его сердца, еще юного и неиспорченного.

Кончив чтение письма этого, для нее полного любви и чувства, она взглянула на спящего Шарля. Для нее лицо его цвело еще отроческою красотою, было воспламенено вдохновенными порывами юности. Сердце ее обреклось навсегда любить его.

Потом она начала читать другое письмо, не останавливаясь в своей нескромности. Но она жаждала новых доказательств, новых примеров благородства и возвышенности чувств своего дру-

га, которого облекла она ослепительным блеском всего великого и прекрасного, как сделала бы всякая любящая женщина.

«Любезный Альфонс! У меня нет более друзей в эту минуту, но, сомневаясь во всех, я ни мало не усомнился в твоей дружбе. Обращаюсь к тебе и прошу последней дружеской услуги — заняться моими делами в Париже и устроить их для меня как можно выгоднее. Тебе, без сомнения, известно мое положение. У меня нет ничего, и я отправляюсь в Индию. Вместе с письмом к тебе отправляю письма ко всем, кому я должен. В письме моем найдешь реестр всех долгов моих; я сделал его на память. Для уплаты долгов, вероятно, станет моей библиотеки, мебелей, экипажа и лошадей. Оставляю себе только одно необходимое и малоценное. В случае запрещений я пришлю доверенность по всей форме. Пришли мне всё мое оружие. Британа дарю тебе; никто не оценит достойным образом это прекрасное животное. Роберт окончил мне прекрасную дорожную карету; но еще не обил ее. Уговори его, чтобы он взял ее назад. Если он не согласится, устрой так, чтобы честь моя нисколько не страдала. Я проиграл 6 луидоров англичанину — отдай ему...»

Она не могла окончить.

— Милый Шарль! — прошептала она и, взяв со стола одну из зажженных свечей, выбежала из комнаты.

Придя в свою спальню, она радостно отперла ящик своего комода из дубового дерева, прекрасной работы, в так называемом вкусе «возрождения». На нем еще виднелась королевская саламандра. Из ящика вынула она туго набитый красный кошелек, вышитый канителью, с золотыми застежками, доставшийся ей от покойной бабушки.

Горделиво свесила она его на руках своих и с наслаждением стала пересчитывать свое сокровище.

Сперва отделила она 20 португальских червонцев, вычеканенных еще при Иоанне V, в 1725 году. Они стоили, по крайней мере, 168 франков 64 сантима, как ценил их старик отец. Но настоящая цена их была в 180 франков, по красоте и редкости монеты.

Потом пять генуэзских червонцев, ходивших по сту ливров в Генуе, стоивших на обмен 87 франков каждая; но для любителей монета ценилась и во сто франков. Они достались Евгении от покойного старичка Ла Бертельера. Далее три золотых испанских кадрюпля, времен Филиппа V-го, вычеканенных в 1729 году; подарок госпожи Жантильи, которая каждый раз, даря их, говорила:

— Этот хорошенький червончик, этот желтенький милушка стоит девяносто восемь ливров. Береги, душенька; это красавчик из твоего сокровища.

Затем, и что наиболее нравилось старику Гранде (потому что золота было в каждой монете 23 карата), 100 голландских червонцев, вычеканенных в 1756 году и ходивших по 12 франков.

Собрание медалей и редкой монеты, драгоценное для нумизматиков и скупых: три рупии со знаками Весов и пять рупий со знаками Девы, цельные, чистого золота, в двадцать четыре карата; каждая из них стоила 37 франков 40 сантимов по весу; но для охотников не менее 50 франков.

Наконец, наполеондор, полученный третьего дня от отца и небрежно брошенный Евгениею в красный кошелек.

Сокровище это состояло из монет чистеньких, светленьких, изящных; старик Гранде часто любовался ими, часто засматривался на них и по целым часам толковал дочери о красоте их; изъяснял ей их редкость, чистоту обреза, блеск поля, изящество букв, еще свежих, блистающих, не изглаженных временем.

Но Евгения и не думала теперь об их редкости и достоинстве, не думала об отце, не думала об опасности вверить свое сокровище Шарлю; она думала только о нужде и бедствиях его.

После нескольких ошибок в счете она наконец добралась до итога: всего было около пяти тысяч восьмисот франков, по ходячей цене, или на охотника около двух тысяч экю.

При виде такого богатства Евгения, как дитя, захлопала в ладоши от радости.

Таким образом, отец и дочь, каждый пересчитывали в эту ночь свое золото: он поехал продавать свое; она бросала свое в море любви и сострадания.

Она вложила свое золото в кошелек, взяла его, понесла наверх. Несчастия Шарля заставили ее позабыть и ночь, и приличия; но она была тверда своею совестию, самоотвержением и счастием.

В ту минуту, как она переступала через порог комнаты, держа в одной руке свечу, в другой кошелек, Шарль вдруг проснулся, увидел Евгению и окаменел от изумления. Евгения приблизилась к нему, поставила подсвечник на стол и сказала ему голосом, дрожащим от внутреннего волнения:

— Я должна просить у вас прощения в важном проступке, братец: мне и Бог простит, ежели вы простите.

— Что такое? — сказал Шарль, протирая глаза.

— Я прочла эти письма.

Шарль вспыхнул.

— Как это сделалось?.. Как я вошла сюда?.. я не знаю, я не помню. Но я не раскаиваюсь, что прочла эти письма; они выказали мне ваше сердце, ваши чувства, и...

— И что еще? — спросил Шарль.

— Ваши намерения... вашу нужду...

— Но, милая кузина...

— Ст! тише, тише, любезный Шарль; вы всех разбудите. Вот, — сказала она, развязывая кошелек, — вот что успела сберечь бедная девушка, которая, право, ни в чем не нуждается; Шарль, примите это. Еще сегодня я не понимала, я не знала цены деньгам; но теперь я знаю: деньги только средство, больше ничего. Вы мне брат, почти брат; вы можете взять взаймы у сестры вашей.

Шарль не отвечал; бедная, неопытная Евгения не предвидела отказа.

— Что ж? — спросила она.

Шарль потупил голову.

— Вы мне откажете? — продолжала она, и сердце ее так билось, что Шарль мог слышать удары его.

Нерешительность Шарля унижала Евгению: она понимала это; но нужда и бедность его представились снова ее сердцу. Она склонила колена.

— Я не встану до тех пор, пока вы не примете, братец, — сказала она. — Братец! Ради Бога, отвечайте же! Чтоб я знала, что вы меня уважаете, что вы великодушны, что...

Благородный крик уязвленного сердца Евгении потряс душу Шарля; он схватил за руки Евгению, чтобы поднять ее, и горячие слезы полились из глаз его.

Евгения схватила кошелек и высыпала на стол свое золото.

— Да, да, не правда ли? — говорила она, и слезы радости задрожали на ее прекрасных ресницах. — О братец, братец! вы будете счастливы, вы разбогатеете. Это золото принесет вам успехи, счастие: вы возвратите мне его когда-нибудь; притом вы не должны так много ценить этого.

Наконец Шарль мог говорить.

— Да, да, Евгения; я бы был очень малодушен, не приняв вашего дара. Впрочем, залог залогом, доверенность доверенностию.

— Что, что такое? — сказала испуганная Евгения.

— Милая Евгения, вот здесь у меня...

Он снял с комода четырехугольный ящичек, в кожаном футляре.

— Эта вещь мне дороже жизни моей. Этот ящичек память, подарок моей доброй матери. Утром еще, сегодня утром я думал, что если бы мать моя могла выйти из гроба, утешить несчастного сына своего, то она сама продала бы золото, которым обделан этот медальон; но *я* не мог, *я* не решался на это.

Евгения сжала в порыве сильного чувства руку Шарля.

— Нет, — продолжал он после минутного молчания, — я не могу ни продать этого золота, ни рисковать потерять эту драгоценность в путешествии. Милая Евгения, сохраните этот залог. Никогда друг не доверял так много своему другу... судите сами, Евгения.

Он вынул медальон из футляра, открыл его и показал удивленной Евгении. Работа была так хороша и изящна, что придавала двойную цену золоту.

— Но это еще ничего, — сказал он, — вот что мне дороже всего на свете. — Шарль пожал пружину.

Открылись два портрета, кисти знаменитой де Мирбель. Они были окаймлены жемчугом.

— О, какая прекрасная дама! неправда ли, это, верно, та, к которой вы писали?

— Нет, это не она, — сказал Шарль, улыбнувшись, — это портрет моей покойной матушки; вот портрет и отца моего. Это ваши дядя и тетка, Евгения; я на коленах умоляю вас сохранить эти изображения. Золото же пусть будет для вас залогом в случае моей смерти. Вы достойны сохранить эти два портрета, и я только одним вам доверяюсь, Евгения. В случае, в несчастном случае, Евгения, вы их сожжете, уничтожите, чтобы они не достались никому, не перешли в чужие руки...

Евгения молчала.

— Да, да? Не правда ли?

Слыша слова, ею же перед этим сказанные, она подняла на своего кузена взор, блистающий страстью, глубокой любовью, взор влюбленной женщины. Шарль взял ее руку и поцеловал.

— Ангел, ангел, Евгения! не правда ли, между нами деньги, золото — ничто. Одно святое чувство, только одна глубокая благодарность будут говорить теперь за мое сердце.

— Вы похожи на матушку вашу, не правда ли? У ней был такой же тихий, нежный голос...

— О гораздо, несравненно нежнее!

— Это для вас, — сказала она, потупив взор свой... — Но вы устали, Шарль; лягте в постель; я хочу, я требую, чтобы вы легли тотчас же. До свидания, Шарль!

И она тихонько высвободила руку свою из руки своего кузена. Шарль взял со стола свечку, чтобы проводить Евгению. Когда она пришла к дверям комнаты, Шарль вскричал:

— О, для чего я теперь беден и разорен!

— Но мой батюшка, кажется, очень богат.

— Нет, сестрица. Тогда не застрелился бы брат его; он, верно, не допустил бы до этого; вы сами жили бы лучше, чем теперь.

— Но батюшка купил Фруафонд.

— А что стоит Фруафонд?

— Не знаю, — но у нас есть еще Нойе.

— Какая-нибудь ферма!

— У него виноградники и луга...

— Пустяки, — сказал Шарль презрительно. — Если бы у отца вашего было хоть 80 000 ливров доходу, то вы бы не жили в таких холодных, голых комнатах.

— Ступайте же спать, — сказала Евгения, не желая допустить Шарля в свою неубранную комнату.

Шарль удалился, простившись улыбкой с Евгениею. Они оба заснули наконец; обоим снились почти одни и те же сны. Отрада познакомилась наконец с измученным сердцем Шарля.

Утром, перед завтраком, госпожа Гранде с изумлением увидела свою дочь и племянника одних, вместе прогуливающихся в саду, в ожидании завтрака. Шарль был еще грустен, как человек, подавленный и разбитый тяжким бременем своих несчастий, как человек, измеривший всю глубину бездны, расступившейся пред его ногами.

— Батюшка воротится не раньше обеда, — сказала Евгения, заметив беспокойство в лице своей матери.

Легко можно было заметить по всему, по выражению голоса, по выражению лица Евгении, что между нею и Шарлем возникла тихая, нежная взаимность. Они привязались уже друг к другу всем сердцем, тогда как, может быть, не успели еще испытать всей силы страсти, возникшей между ними.

Шарль оставался всё утро в зале, по-прежнему грустный и задумчивый. Мать и дочь не тревожили его молчаливой грусти. У всех было свое дело. Так как Гранде уехал, не позаботившись о делах, то в доме явилась куча разного народа. Красильщики, каменщики, столяры, плотники, фермеры; одни для сделок по ремонтной части, другие для уплаты за наем. Госпожа Гранде и Евгения суетились, бегали, выслушивали бесконечные объяснения мастеровых и поселян. Нанета складывала в кухне нанесенные фермерами поборы. Она ничем не располагала самовластно и ожидала решения своего господина, который обыкновенно назначал, что оставлять для дома, что продавать на рынке. Старый чудак, следуя правилу почти всех помещиков, ел только одну гниль из своих плодов, а пил самое дешевое вино.

Около пяти часов Гранде воротился из Анжера, имея с собою на двадцать с чем-то тысяч франков оставшегося золота и бумажник, туго набитый векселями и банковыми билетами. Корнулье остался в Анжере, чтобы дать вздохнуть загнанным лошадям, после чего, не спеша, должен был возвратиться с ними домой.

— Я сейчас из Анжера, жена, — сказал старик. — Есть хочется, так что... обедать, скорее обедать!

Нанета закричала ему из кухни:

— А вы ничего не кушали со вчерашнего дня, сударь.

— Ничего, ничего, Нанета, обедать!

Суп подали. Только что все уселись, явился де Грассен за последними наставлениями. Гранде забыл было совсем о своем племяннике.

— Обедайте, обедайте Гранде; я не помешаю. Поболтаем немного. Знаете ли, почем ходит теперь золото в Анжере? Я сейчас хочу послать.

— Не посылайте, — отвечал Гранде, — и без вашего золота там довольно; я ваш искренний друг и не посоветую вам дурного.

— Да ведь червонец ходит 13 франков 50 сантимов.

— Было так, а теперь...

— Да откуда же так скоро достали столько золота?

— Я ночью ездил в Анжер, — сказал Гранде, понизя голос.

Банкир обомлел от изумления.

Потом они стали разговаривать тихо, ухо на ухо, изредка поглядывая на Шарля. Наконец Гранде просил его позаботиться о покупке двухсот тысяч ливров доходу. Де Грассен был вне себя от изумления.

— Я отправляюсь в Париж, — сказал он Шарлю, — и если у вас есть туда какие-нибудь поручения...

— Никаких, сударь; весьма благодарен вам, — отвечал Шарль.

— Поблагодари-ка получше, племянничек. Господин де Грассен едет хлопотать о делах торгового дома покойного Вильгельма Гранде.

— Как? разве еще есть надежда? — спросил Шарль.

— Как? — закричал бочар с ловко разыгранною гордостию. — Да разве вы не племянник мой? Ваша честь разве не касается моей чести? Разве вы не называетесь так же, как и я, — Гранде?

Шарль бросился к старику, сжал его крепко в своих объятиях и быстро вышел из комнаты, побледнев от внутреннего волнения. Евгения с изумлением смотрела на своего отца.

— Ну-тка, ну-тка, де Грассен, теперь за дела; смотрите же, сдавите мне их хорошенько.

Оба дипломата пожали друг у друга руки.

Бочар проводил банкира до самых дверей; затворив их за ним, он воротился в залу и велел Нанете принесть бутылку *касси*.

После того Гранде протянулся в креслах.

Но слишком взволнованный недавними происшествиями, он вскочил, взглянул на портрет покойного своего тестя Ла Бертельера, запел, засвистал, перебирая в такт ногами, *выделывал танцевальные па*, по определению Нанеты.

Нанета, госпожа Гранде и Евгения переглянулись друг с другом. Восторженная радость старого скряги не раз уже их пугала, когда случалось доходить до такой странной степени исступления.

Вечер прошел очень скоро. Гранде заблагорассудил лечь пораньше, а когда он ложился, так уж всё должно было спать, подобно тому, как в Польше, когда король Август пил, так уж вся Польша должна была быть пьяна. Нанета, Шарль и Евгения тоже едва на ногах держались от усталости. Что же касается до госпожи Гранде, она спала, ела, пила, ходила, двигалась точь-в-точь, как и муж ее. Впрочем, в двухчасовой промежуток между обедом и сном, Гранде, бывший совершенно в духе, наговорил много острот и поучительных вещей, и всё по-своему, на свой лад.

Проглотив стакан касси, он сказал, посматривая на пустое донышко:

— Только к губам приложишь — и пуст! Вот вся наша жизнь; настоящее сменяется будущим. Золото тает в карманах и поминутно выветривается; иначе жизнь была бы очень сладка; жирно бы слишком было.

И весел и милостив был он.

— Ты устала, — сказал он Нанете, — брось-ка свою самопрялку.

— Ну, вот! скучно будет, — отвечала верная Нанета.

— Бедняжка Нанета! хочешь касси, дружочек?

— Ах, касси! дело другое; вот это так не наскучит; барыня делает его лучше, чем продажный у аптекарей; у них он словно микстура.

— Сахару, сахару много кладут у них, — от того и микстура.

Назавтра все, собравшись к завтраку, были дружны, согласны, почти счастливы. Несчастие сблизило Шарля, госпожу Гранде и Евгению. Нанета не была лишнею в этом союзе и невольно разделяла горе и радость господ своих. Что касается до старого чудака, он был счастлив по-своему и равнодушно смотрел на семью свою, не вмешиваясь в чужое счастие; он был рад тому, что избавляется наконец от *красавчика*, поплатившись безделицей, — дав денег на дорогу до Нанта. Итак, он оставил детей, как он называл Шарля и Евгению, совершенно на свободе, вверив их нравственность попечению госпожи Гранде, которую,

в этом отношении, он дарил полною своею доверенностию. Занимали его только планировка лугов, пересадка тополей у Луары, и зимние работы на фермах в Фруафонде. Тогда-то начались для Евгении дни блаженства, дни первой любви. Вместе с золотом, которое она отдала Шарлю, она отдала ему и свою любовь. Секрет их общей тайны сближал их более и более; они увлекались чувством, увлекались более и более во внутреннюю жизнь души своей и вместе забывали целый свет. Родство их помогало им немало. Оно оправдывало и нежность их взглядов и тихую речь. Евгения была счастлива, увлекая своего Шарля в мир любви из бездны страдания.

Не заметят ли люди сходства между началом жизни и началом любви? Дитя лелеют тихою песенкой, нежным взглядом, рассказывают над колыбелью его чудные истории, и над спящим летают золотые сны, и надежда златит волшебным блеском его отдаленную будущность. Вот он вам капризный, своенравный, плачет вдруг за что? — за карточный домик, за цветы, за бумажное государство; он плачет, а тихая радость быстро гонит печаль и уже светится сквозь горькие слезы его. И тужить-то ему некогда, и плакать нет времени. Его тянет будущность, и жадно спешит он в жизнь, в отдаленную, в шумную, в бурную жизнь.

Любовь во всем сходна с детством; любовь тоже детство, тот же счастливый возраст нашего сердца. Он начался для сердец Шарля и Евгении; страсть пришла с своими любовными причудами, с своею очаровательною, детскою радостию. Тем обольстительнее была для них любовь, чем чернее зияла за ними бездна прошедших несчастий. Любовь улыбнулась им отрадою, уврачила сердца их и была чудесна, таинственна в недрах тихой, смиренной их жизни, в их старом, уединенном жилище.

Часто в их маленьком садике обмолвливались два, три слова любви; часто Шарль и Евгения сидели по целым часам, до солнечного заката, на дерновой скамейке, говорили долго, говорили о всем, что свято для любви, чем дорожит она, а вокруг них было всё тихо, торжественно, как под священными сводами величавой старинной церкви. Шарль понимал всю торжественность любви, узнал ее святость, узнал, что прежняя мятежная его страсть в Париже была не любовь, и он забывал эту страсть, кокетливую, капризную и блестящую, теснил ее из своего сердца, для страсти новой, чистой и прекрасной.

Он вставал рано и являлся в сад, сказать два, три слова с Евгенией до прихода Гранде за хозяйством и провизией. Эти утренние свидания, маленькие преступления, даже не известные матери и поощряемые притворною недогадливостию Нанеты, завлекали их простую, невинную любовь заманчивостию опасно-

сти, заманчивостию запрещенного плода. Наконец, когда, после завтрака, старик Гранде отправлялся по полям и по работам, Шарль садился между теткой и кузиною, помогал им в их работе, разматывал нитки, вдевал их в иголки, и с неизъяснимым, сладостным трепетом, по целым часам, глядел на Евгению и заслушивался речей ее. Тихость, безмятежность этой монастырской жизни тронула его душу, и он понял чистую прелесть святой простоты и невинность этих нравов и умов. Он не мог верить, чтобы во Франции могли быть такие характеры: он верил им прежде баснословно, по одним романам Августа Лафонтена, полагал их где-нибудь, в каком-нибудь темном закоулке Германии. Евгения стала для него идеалом Гётевой Маргариты, но еще непорочной, не преступной Маргариты. Наконец со дня на день взгляды и речи увлекали сердце молодой девушки более и более, и она, как-будто несясь в волнах потока, с жадностию хваталась за случай, за минуту блаженства, как утопающий за слабую ветку. Забота и грусть о будущем, о разлуке, мрачили ясные часы коротких, незаметных дней любви. Всякий день что-нибудь напоминало им о разлуке сильнее и сильнее. Сначала, три дня после отъезда де Грассена, Гранде торжественно сводил Шарля в суд первой инстанции, чтобы дать письменное отречение от наследства по матери. Потом у Крюшо нужно было совершить две доверенности, одну для де Грассена, другую для Альфонса, которому была поручена продажа вещей и маленького имущества Шарля. Наконец, когда получено было простое траурное платье из Парижа, Шарль продал весь бывший гардероб свой, гардероб бывшего dandy, сомюрскому портному. Старику чрезвычайно был по сердцу поступок Шарля.

— Ага! ну вот ты теперь человек, как следует, как надобно, когда хотим сколотить копейку, — сказал Гранде, разглядывая редингот Шарля из толстого, прочного сукна. — Это так! люблю! хорошо!

— Смею уверить вас, любезнейший дядюшка, что я понимаю мое положение и чувствую, как мне должно теперь вести себя...

— Ага!... а!... вот! вот... Что это такое?! — запел старик, увидев кучу золота в руках Шарля. Глаза старика сияли, горели...

— Я собрал все мои безделки, кольца, запонки, цепочки, все, что только стоит сколько-нибудь, но... не зная никого в Сомюре... я бы осмелился попросить вас...

— У тебя купить это? — закричал Гранде, прерывая его.

— Нет, дядюшка, чтобы вы мне помогли отыскать честного человека, который бы...

— Да ты дай уж мне, племянник, только дай мне, я там наверху это свешаю, в сантиме не ошибусь; уж ты понадейся на

дядю. Золото для вещей... — продолжал он, рассматривая длинную цепь, — кажется... нет, так, не ошибаюсь, 19 или 20 каратов...

Чудак схватил золото и убежал с ним к себе наверх.

— Сестрица, — сказал Шарль, — позвольте мне предложить вам, в память обо мне, эти две безделки, две запонки... Они могут служить вместо браслетов; такие браслеты теперь очень в моде...

— Я принимаю не отговариваясь, — сказала Евгения, обменявшись с ним значительным взглядом.

— Тётенька, вы мне тоже не откажете: вот наперсток моей покойной матушки; я хранил его, как драгоценность.

Госпожа Гранде уже десять лет мечтала о таком наперстке; подарок был принят с глубокой признательностию.

— Нет слов для изъявления моей благодарности, — сказала старушка, отирая слезы. — Утром и вечером, каждый день, за молитвой, я помяну и об вас, поминая *недугующих и путешествующих*. Когда я умру, Евгения, то пусть к тебе перейдет эта драгоценность...

— Всё это стоит тысячу девятьсот восемьдесят девять франков, семьдесят пять сантимов, — закричал Гранде, отворяя двери. — Но зачем же продавать это? всё лишние хлопоты!.. я отсчитаю тебе эту сумму — *ливрами*.

Слово — *ливрами*, значит, на языке сделок и оборотов, что экю в шесть ливров должен быть взят за шесть франков, без спору и без всякой добавки до настоящей суммы.

— Я не смел вам предложить этого, любезнейший дядюшка, — сказал Шарль, — но, признаюсь, мне было бы очень неловко продавать все эти вещи в здешнем городе. Грязное белье нужно полоскать в своей семье, по словам Наполеона. Весьма благодарен вам за эту услугу, любезнейший дядюшка.

Гранде почесал себя за ухом. Шарль продолжал после минутного безмолвия:

— Любезнейший дядюшка...

Шарль беспокойно поглядывал на дядю, боясь оскорбить его разборчивость.

— Любезнейший дядюшка! тётенька и сестрица были так добры, что не отказались принять от меня две безделки, в память, в знак моего уважения. Не откажите же и вы: вот две булавки для галстуха; они не нужны мне более; примите их. Они напомнят вам бедного Шарля, который всегда будет с любовью вспоминать о милом семействе вашем, о своих единственных родных...

— Душа моя, душечка, ну зачем же так разоряться!.. А что у тебя, жена? — сказал он, жадно оборотившись к госпоже

Гранде, — а! золотой наперсток. А ты, дочечка? ага! брильянтовые аграфы. Ну, душка, так и я возьму твои пуговки, сказал он, сжимая руку Шарля... Но за это ты позволишь мне заплатить за твое путешествие да... да, да, ну хоть... уж пожалуй до Индии. Да, мой друг, я заплачу за твое путешествие. Потому что — видишь ли, друг мой, — я оценил эти вещи только по весу, а, может быть, будет барыш на работе. Ну, так сказано, сделано! Уж я размотаю мошну, дам тебе этак с тысячу экю... *ливрами*. Крюшо дал взаймы; у меня нет ни шелега, друг мой, ей-Богу нет ни шелега; разве Перорре заплатит за ферму; он просрочил; а вот пойду, повидаюсь с ним...

Он схватил перчатки, надел шляпу и вышел из комнаты.

— Так вы от нас едете? — грустно сказала Евгения.

— Надобно, сестрица.

С некоторого времени вид, слова, движения Шарля — всё обнаруживало в нем глубокую, молчаливую грусть; но как человек, обреченный судьбою на тяжкие труды и обязанности, он находил и в самом несчастии своем новые силы. Он уже не плакал, не вздыхал более, он возмужал. Тут только Евгения увидела его характер, идеал своего Шарля. Она любила смотреть на его грубое платье, темный покрой которого шел к его бледному лицу и к мрачной задумчивости. В этот день госпожа Гранде и Евгения надели траур и слушали все вместе в соборе Requiem, исполненный за упокой души покойного Вильгельма Гранде. В полдень Шарль получил из Парижа письма.

— Что, братец, довольны ли вы вашими известиями? — тихо спросила Евгения.

— Этого никогда не должно ни у кого спрашивать, дочка, — сказал Гранде, — заметь себе это. Ведь я же с тобой не болтаю о своих делах, так к чему же соваться в чужие? Оставь его в покое, друг мой.

— Да у меня нет секретов, — сказал Шарль.

— Та, та, та, та, племянничек! поторгуешь, научишься держать язычок на привязи за зубами.

Когда двое любящихся сошлись в саду, Шарль усадил Евгению на дерновую скамью под орешником и сказал ей:

— Альфонс славный малой. Он прекрасно обделал все дела мои. Он повершил всё честно и благоразумно. Я ничего не должен в Париже. Все мои вещи проданы, и на вырученные за всем три тысячи франков Альфонс, по совету одного флотского капитана, сделал мне несколько тюков с безделушками, с европейскими вещицами, заманчивыми для туземцев. Там мне дорого дадут за всё это. Он отправил уже это всё в Нант, где стоит судно, назначенное в Яву. Через пять дней нам нужно расстаться, Евге-

ния, и если не навек, так надолго, очень надолго. Мой товар и 10 000 франков: это хорошо для начала; я возвращусь не скоро, сестрица. Не думайте же обо мне, забудьте меня, ведь я могу умереть... может быть, вам выйдет выгодная партия...

— Любите ли вы меня? — спросила Евгения.

— О! да, да! — отвечал Шарль.

— Так я буду ждать тебя, мой возлюбленный!.. Боже мой! батюшка на нас смотрит из окна, — вскричала она, отводя рукой Шарля, который бросился обнять ее.

Она остановилась в коридоре. Шарль побежал за ней. Заметив это, Евгения взошла на лестницу и отворила дверь. Не зная, что делала, не помня более себя, она очутилась возле комнаты Нанеты, в самом темном углу коридора. Шарль схватил ее за руку, обнял ее и прижал к своему сердцу. Евгения не сопротивлялась более и разменялась с ним самым чистым, самым пламенным поцелуем.

— Ты будешь моею, ты моя, Евгения, — говорил Шарль.

— Аминь! — скрепила Нанета, быстро отворив дверь свою.

Испуганные любовники кинулись в залу; Евгения схватила работу, а Шарль начал читать псалом Пресвятой Богородице в молитвеннике госпожи Гранде.

— Ага! — сказала Нанета, — мы все теперь за молитвами.

Когда был объявлен срок отъезду Шарля, Гранде захлопотал, чтобы выказать всем, как дорог ему племянник. Где не нужно было тратить денег, там он был щедр донельзя. Сыскал Шарлю столяра, потому что потребовалось сколотить несколько ящиков; но под предлогом, что с него запросили дорого, начал сам строгать и точить коробки из гнилых досок. С раннего утра он вставал, резал, точил, стругал, мерял, прикладывал и сработал славные ящики; сам уложил в них все вещи племянника и взялся их отправить на барке вниз по Луаре и к сроку доставить в Нант.

С эпохи поцелуя часы летели, как молния, для бедной Евгении. Иногда ей приходило в голову ехать вместе с Шарлем. Тот, кто испытал пламя страсти на сердце своем, пламя страсти внезапной, которая разом перерождает человека, сгоняет и болезни, и время, и возраст, тот поймет мучения Евгении. Часто, рыдая, бегала она по дорожкам маленького сада; но он был для нее тесен; дом их был для нее тесен, — сердце ее рвалось на свободу, далеко, на беспредельные равнины моря, вслед за своим Шарлем.

Наконец настал и предпоследний день отъезда. Утром, в отсутствие Гранде и Нанеты, драгоценный медальон Шарля был торжественно перенесен в комод Евгении, в котором лежал те-

перь пустой кошелек ее. Нужно ли упоминать, что залог Шарля был омочен слезами и осыпан поцелуями? Когда Евгения спрятала ключ на грудь свою, она не могла воспрепятствовать Шарлю поцеловать место его теперешнего хранилища.

— Здесь ему место, друг мой.

— Вместе с моим сердцем, — отвечал Шарль.

— Ах! братец, братец, — сказала Евгения...

— Разве мы уже не соединены, моя возлюбленная? ты дала мне свое слово, возьми же и мое.

— Навсегда! Навсегда!

Два раза с обеих сторон было произнесено это торжественное слово, и ни один обет не мог быть ни чище, ни святее этого. Целомудренная прелесть Евгении освятила и любовь Шарля.

Грустен был утренний завтрак перед отъездом; даже сама Нанета, добрая, верная Нанета не могла удержаться от слез, несмотря на утешение, то есть на золотой халат и хорошенький крестик, подаренный Шарлем.

— Бедняжечка молодой барин! Шутка ли? ехать за море! Помоги Господи!

В половине двенадцатого все пошли провожать Шарля до нантского дилижанса. Нанета спустила собаку, заперла ворота и отправилась вместе со всеми, неся чемоданы Шарля. Все купцы Старой улицы выбежали смотреть на процессию, к которой присоединился и нотариус Крюшо на площади.

— Смотри, не заплачь, Евгения, — шепнула ей мать.

— Ну, племянник, — сказал Гранде, обняв Шарля, — уезжаешь бедняком, воротись богачом; честь отца твоего будет сохранена, и когда ты воротишься...

— Ах, дядюшка! вы облегчаете мою грусть; вот драгоценный подарок для бедного сироты, за который он ничем не в состоянии заплатить вам.

Не поняв слов старика, прерванного в самом интересном месте, Шарль излил словами всю свою благодарность и оросил слезами руки старого скряги. Евгения судорожно сжимала руки отца и своего двоюродного брата.

Один нотариус улыбался, удивляясь хитрому притворству старика; он один постиг и разгадал его.

Долго еще оставались все четверо возле кареты; наконец она тронулась; вот уже она на мосту, вот уже почти совсем исчезла из виду, и когда гул от колес замер в отдалении, старик Гранде прошептал:

— Счастливый путь!

К счастию, один Крюшо слышал это восклицание. Евгения с матерью пошли далее на набережную, откуда еще виднелся уда-

ляющийся дилижанс, и махали своими платками. Шарль отвечал тем же.

Дилижанс скрылся из глаз.

Теперь, чтобы не прерывать нити нашего рассказа, необходимо бросить взгляд на распоряжения господина Гранде в Париже, через уполномоченного своего, господина де Грассена.

Что касается до дел Вильгельма Гранде, то было всё так, как угадал и рассчитал его почтеннейший братец.

Во французском банке, как всем известно, можно всегда получить самые вернейшие сведения о богатстве и о состоянии богатейших капиталистов, как Парижа, так и всех департаментов. Имена де Грассена и Феликса Гранде были знамениты и пользовались тем уважением, которое оказывается в торговых сношениях преимущественно тем, чьи капиталы обеспечены землями и владениями, нигде не заложенными. Приезд сомюрскаго банкира, взявшего на себя все хлопоты по делам Гранде парижского, приостановил все требования и протесты, постыдные для памяти покойного.

В присутствии кредиторов сняли печати, и нотариус начал реестр всему оставшемуся, движимому и недвижимому. Скоро в собрании всех капиталистов единогласно положено было выбрать в главные распорядители дела, на всё время, сомюрского банкира, придав ему в товарищи главного кредитора Гранде, одного из богатейших парижских капиталистов. Им дали право и полномочие устроить дела упадшего дома, спасти честь его и вместе с тем спасти самих кредиторов.

Немало способствовали делу всем известный кредит Гранде сомюрского и надежда, поданная всем кредиторам через де Грассена; таким образом, никто не противился новому, неожиданному обороту дела. Никто не захотел законным образом предъявить свои требования, и всякий говорил:

— Нам заплатит господин Гранде сомюрский.

Прошло шесть месяцев. Кредиторы скупили все векселя на дом покойного Вильгельма Гранде, ими же прежде выпущенные, и с надеждою набили свои карманы бумагой, в ожидании кое-чего повещественнее. Таков был первый результат операционных действий старого скряги. Его-то и ожидал он.

Через девять месяцев после первого собрания кредиторов каждому из них было выдано в уплату долга по 22 на 100. Де Грассен выручил эту сумму, продав вещи, дом, имение, всё принадлежавшее покойнику, и честно разделил это между кредиторами.

Честность и точность первого дела произвели впечатление: всякий надеялся, хвалил Феликса Гранде. Потом, нахвалившись

досыта, потребовали еще денег. Написали с этою целью письмо в Сомюр от имени всех кредиторов.

— Ну вот, наконец-то, — сказал Гранде, бросив письмо в камин. — Терпение, друзья мои, терпение!

В ответ на это послание Гранде потребовал общей складки всех векселей и всех требований, существующих на дом господина покойного Гранде парижского, в контору одного нотариуса; вместе с тем потребовал и квитанции на выплаченные уже суммы. «С тем намерением, — писал он, — чтобы яснее разобрать и поверить счеты, и яснее изложить состояние дела». Тысячи возражений посыпались со всех сторон.

Вообще кредитор есть какое-то *perpetuum mobile*.

Сегодня он согласен на всё, завтра всё рвет и мечет. Сегодня у него всё так покойно в доме, всё так ладно, хорошо: жена весела и послушна, у маленького прорезались зубки; что же? мой кредитор неумолим; не хочет дать ни копейки. Назавтра дождь, на дворе грязь и слякоть; бедняжка задумчив, печален и на всё соглашается. Послезавтра, пожалуйте залогу, через месяц палач потащит вас на расправу. Кредитор похож на воробья, которому сыплют на хвост соли. То же самое кредитор говорит про свою квитанцию. Там еще хоть хвост есть, а у кредитора — кукушка за морем.

Гранде прилежно следил за всей стаей и знал, откуда ветер. Наконец он всех привел в повиновение. Сначала некоторые раскричались, рассердились и начисто отказались исполнить требования хитрого скряги.

— Славно, чудесно! — говорил Гранде, читая письмо де Грассена и с радости потирая свои руки.

Другие согласились, но с условиями: обеспечить все свои права и требования и, на худой конец, сохранить права объявления банкрутства. Новая переписка.

Наконец Гранде согласился на все условия и обеспечения, и выдача векселей совершилась. Кредиторы сами друг друга уговаривали.

Впрочем, не совсем перестали роптать.

— Да он и над нами и над вами смеется, — говорили они де Грассену.

Почти через два года после смерти Вильгельма Гранде некоторые из кредиторов в вихре спекуляций и коммерческих сделок охладели и даже забыли о всех своих надеждах и требованиях.

— Кажется, — поговаривали они мимоходом, — двадцать-то два на сто было всё, чем они нас полакомили.

Старик расчислял время. Время добрый черт, говорил он, но черт всё-таки черт. К концу третьего года де Грассен уведомил

Гранде, что кредиторы соглашаются выдать все векселя и уничтожить их, если получат только по десяти на сто, на сумму остального долга, то есть двух миллионов четырехсот тысяч франков.

Гранде отвечал, что стряпчий и нотариус его покойного брата, разорившие его, живут припеваючи, что они совершенно поправились и что не худо бы было и их потормошить немножко.

В конце 4-го года успели уменьшить сумму до двух миллионов. Обе стороны говорили и спорили, опять говорили и спорили; всё это продолжалось полгода. Наконец старик был доведен до крайности. Переговоры были кончены, нужно было платить.

Гранде отвечает, что племянник уведомил его о счастливом ходе своих дел, что племянник его обогатился в Индии и что наконец племянник его ревностно желает заплатить долг своего отца *сполна*. «Как же мне-то платить вам, не переписавшись и не посоветовавшись с племянником? — писал Гранде кредиторам, — подождите немного».

И наконец, в половине пятого года, кредиторы всё еще ожидали уплаты *сполна*. А бочар смеялся потихоньку, да изредка приговаривал: «*Уж эти мне парижане!*»

Вот в каком положении застанем мы кредиторов и дела Вильгельма Гранде, когда происшествия нашей повести заставят нас опять обратиться к ним.

Когда фонды покупались по 109, то Гранде свои продал и получил из Парижа четыре миллиона триста тысяч франков золотом. Эти миллионы присоединились к полутору миллиона франков, вырученных за анжерское золото.

Де Грассен жил в Париже безвыездно, и вот по какой причине: во-первых, его выбрали в депутаты; во-вторых, потому что он, де Грассен, банкир, почтенных лет, отец семейства, влюбился по уши в одну премиленькую актрису Театра Герцогини Орлеанской. Поведение его наделало в Сомюре много соблазна и шума; все осудили безнравственность де Грассена. Жене его удалось выхлопотать раздел по имению, и она, к счастию своему, не потерялась в отсутствие мужа, сама занялась делами и мало-помалу поправила состояние, пострадавшее от глупостей главы семейства. Вследствие происков, наговоров и стараний Крюшо с их компанией госпоже де Грассен не удалось порядочно пристроить своей дочери, а о Евгении и думать было нечего.

Адольф отправился к отцу в Париж и сделался порядочным повесою. Крюшо торжествовали.

— Муж ваш с ума сошел, — говорил Гранде госпоже де Грассен, отсчитывая ей взаймы, под верные залоги, какую-то сумму. — Жаль мне вас; а вы, право, предобрая бабёнка.

— Ах, Гранде! Кто бы мог подумать, что в тот день, когда он отправился по делам вашим в Париж, он устремился к своей верной гибели!

— Да ей-Богу же, сударыня, я употреблял все усилия, чтобы отвратить его от этой поездки. Президент Крюшо хотел же, во что бы ни стало, перебить у него... Теперь понятно, отчего вашему мужу так сильно хотелось услужить мне.

Таким образом хитрец отделался от всего, даже от благодарности де Грассенам за услуги.

## Глава V

### *Семейные горести*

Во всех грустных обстоятельствах жизни женщина страдает сильнее и терпит более мужчины. Последний найдет новые силы в своей деятельности; он занят, он думает, рассчитывает, действует; ему улыбается надежда; то же самое было и с Шарлем.

Но чем рассеет, чем разгонит женщина свое горе? Оно перед нею всегда, за нею повсюду, неизменное, безнадежное, ужасное. Робко измеряет взор ее глубины разверстой перед нею бездны, и ей остаются одни стенания и слезы. Вот удел, который достался и Евгении, и она безропотно покорилась судьбе своей. Чувствовать глубоко, любить и почти всегда страдать любовью своей, — вот судьба, вот удел женщины. И Евгении досталась полная чаша скорби, без отрады и утешения; не суждено ей было испытать счастия полного, нераздельного.

Печали и горе были не за горами, и скоро настало грустное время для бедной Евгении.

Всё в доме осталось по-прежнему по отъезде Шарля, только не для одной Евгении. Комнату Шарля оставили в таком же виде, как и во время пребывания его, разумеется, утаив это от отца. Госпожа Гранде и Нанета с охотою вступили в этот маленький заговор.

— Кто знает, может быть, он и скоро воротится? — сказала Евгения.

— Ну, барышня, и я бы порадовалась, — отвечала Нанета, — да что это за добренький, миленький барин, красавчик такой, словно красная девушка.

Евгения взглянула на добрую служанку...

— Ах, Господи! да что это с вами, барышня? как вы этак смотрите? Ну, точно вас тотчас в гроб клади; полноте, полноте барышня!

С этого дня лицо Евгении заблистало новою красотою. Какая-то строгая торжественность сообщилась всем чертам ее, и проникнутая любовию душа светилась в очах.

На другой день по отъезде Шарля Евгения, возвращаясь от обедни, зашла в книжную лавку и купила путевую карту. Она повесила ее в своей комнате возле зеркала и каждый день отмечала мысленно по ней путь своего дорогого Шарля; каждый день мечтала она о нем, встречалась с ним за далекими морями, носилась с ним на одном корабле по бурному океану, говорила с ним, спрашивала его: «Счастлив ли ты, думаешь ли ты обо мне, шлешь ли мне привет с каждым облачком, бегущим в родимую сторону?» По утрам она долго одна просиживала в саду под старым орешником, на той самой старой, источенной червями лавке, где они некогда говорили друг с другом, мечтали, шутили, гадали о будущем. И теперь она мечтала о будущем и грустно глядела на небо, на старую стену, на окно в комнате, прежде занимаемой Шарлем.

Это была страдальческая, уединенная любовь, скрытая глубоко в сердце, сросшаяся с сердцем, с мыслями, с жизнию Евгении; любовь сделалась для нее вещественным началом, силою жизненною.

По вечерам, когда все, кто назывались друзьями старого Гранде, собирались в их темной зале за карточным столиком, Евгения была, как и всегда, весела, разговорчива; по утрам она по целым часам только и говорила, что о Шарле, с своею матерью и Нанетою. Нанета поняла, что была в силах, не изменив, впрочем, старому господину своему, облегчить страдания Евгении, перемолвив с ней слово о Шарле и польстив отдаленной надеждой.

Так прошли два месяца, и жизнь трех женщин, прежде скучная и единообразная, как-то оживилась занимательностию их тайны, их дружеских секретов. Всё в этих скучных, мрачных комнатах, всё еще живо напоминало им Шарля, как будто он и не оставлял их. Утром и вечером Евгения открывала заветный ящичек и по целым часам смотрела на изображения Шарля и родителей его. Раз, в одно воскресенье, мать застала ее в сладком упоении воспоминаний над образом ее суженого; тогда-то открыто было всё госпоже Гранде, обеты Шарля и Евгении и размен залогов.

— Как, ты отдала ему всё свое золото! — вскричала испуганная старушка. — А что скажет твой отец, когда, в новый год, по обыкновению, он захочет посмотреть на твои червонцы?

Евгения окаменела от ужаса. Две бедняжки не смели взглянуть друг на друга целое утро. И до того дошло их смущение,

что они прослушали благовест к ранней обедне и пошли только к поздней.

Через три дня наступало 1-е января 1820; через три дня в этом доме начнется страшная драма, драма мещанская, без крови, без кинжала и яда, но страшнее всех кровавых эпизодов из драматической истории знаменитой фамилии Атридов.

— Что с нами будет? — говорила госпожа Гранде, — и работа выпадала из рук ее.

Происшествия, в два месяца скопившиеся над этой семьею, до такой степени изменили весь образ жизни, а вместе с тем и привычки доброй старушки, что шерстяные зимние рукава ее еще не были окончены. Это, по-видимому, ничтожное обстоятельство было причиною огромного несчастия в семействе. Старушка простудилась и занемогла серьезно во время страшной катастрофы, страшного гнева скупого скряги старика Гранде.

— Я вздумаю, дитя мое, что если бы ты не таилась от меня, а призналась бы мне во всем с самого начала, то у нас, может быть, достало бы еще времени написать в Париж господину де Грассену. Он, верно, отыскал бы нам точно такие же монеты, хоть, правда, трудно было бы и обмануть отца: он очень хорошо знает твое золото.

— А где же мы взяли бы столько денег?

— Я бы дала из *моих собственных*. Притом господин де Грассен должен...

— Уже поздно, — отвечала Евгения дрожащим от тревожного волнения голосом. — Всё решится завтра же утром, когда мы пойдем поздравлять его с новым годом.

— Но, милая моя, не пойти ли посоветоваться с господином Крюшо?

— О нет, ни за что! тогда мы будем от них в тяжкой зависимости. Притом же я решилась; я ни в чем не раскаиваюсь, я хорошо сделала, и Бог меня не оставит; да будет же Его святая воля! Ах! матушка, вы то же бы сделали, если бы тогда, в ту ночь, как и я, прочитали его письма.

На другой день, 1-го января 1820, мать и дочь были в таком ужасе, что не осмелились идти поздравлять старика с новым годом. Зима двадцатого года была очень холодна; снег густо лежал на крышах. Когда Гранде зашевелился в своей комнате, старушка закричала ему из-за перегородки:

— Гранде, сделай милость, прикажи Нанете развести немножко огня в моей комнате; здесь так холодно; я мерзну под одеялом. Уж я стара, друг мой, мне нужно более беречься.

— Притом же, — прибавила она после минутного молчания, — Евгения придет сюда одеваться. Бедненькая простудится

в такой мороз. Потом мы сойдем вниз и поздравим тебя с новым годом.

— Та, та, та, та! Вот язычок-то! Ну, ну! Как ты начинаешь новый год, мадам Гранде! Да ты никогда столько не говорила? а? Уж не покушала ли ты хлебца с вином, душа моя?

Молчание.

— Ну, мадам Гранде, душа моя, я сделаю по-вашему. Ты славная бабенка, и я не хочу, чтоб с тобой приключилась беда на старости. Впрочем, живучи вы все, Ла Бертельеры, гм! не правда ль? Народ не такой, чтоб умирать, не поживши порядком. Но я им прощаю их долгую жизнь, всё-таки наконец мы их наследники.

Старик закашлялся.

— Вы веселы сегодня, сударь, — грустно сказала госпожа Гранде.

— Я как рыба в воде, — прибавил он, входя к жене уже совсем одетый.

— Да, да, правда, здесь-таки порядочно холодно. Брр! Мы славно позавтракаем, женушка. Де Грассен прислал мне пастет из гуся с трюфелями; я пойду за ним в контору дилижансов. Просил также я его прислать червончик для Евгении, душа моя, — сказал он ей на ухо, — что делать? У меня в ящиках ни капли золота. Было недавно сколько-то залежалых, старинных, я могу тебе открыться; да всё отдал на днях в оборот.

И ради торжественного дня старик торжественно поцеловал жену свою в лоб.

— Евгения! — закричала добрая старушка, когда ушел Гранде. — Гранде, видно, встал на правую ногу; он так весел сегодня; ну, дай Бог! может быть, и с рук сойдет.

— Ну, что это с барином сделалось? — сказала Нанета, внося в комнату вязанку дров. — Сперва он мне сказал: «Здравствуй, с новым годом, старая чертовка! Разложи-ка огня у жены; она мерзнет, бедняжка». Потом... да я просто одурела как пень, когда он мне дал целый экю в шесть франков, и такой новенький, светленький! Ну, посмотрите, сударыня, посмотрите! Ох добрый, добрый барин! Ведь вот на других посмотришь, так чем старее, тем злее; а этот такой добрый, такой тихий, такой милостивый... Ну, да уж дай Господи ему здоровья, хорошему барину!

А весь-то секрет веселости старика была радость его об окончании совершенно удавшейся спекуляции. Де Грассен, получив в Париже проценты с капиталов Гранде и вычтя из них те суммы, которые старик был ему должен за размен голландских банковых билетов и за покупку 250 000 ливров доходу, причем

он должен был поплатиться из своего кармана за недостатком надлежащей суммы, отсчитанной ему Гранде, посылал ему остаток, около 30 000 франков серебром. При сем приложил он табличку возвышения фондов, бывших тогда по 89 (и которые через месяц продавались по 92). Таким образом, Гранде брал по 12-ти на сто с своих капиталов и каждый месяц мог получать 1 000 000 франков, без хлопот, без бумаг и без переписки. Он понимал эти обороты совершенно и пользовался ими прекрасно. Итак, в перспективе, лет через пять, через шесть, у него было бы от шести до семи миллионов, нажитых без большого труда; и если прибавить сюда оценку его недвижимого имения, то составилось бы состояние колоссальное. Шесть франков, подаренные Нанете, были плата, довольно худая, за услугу, оказанную своему господину в ночь, когда он ездил в Анжер с своим золотом.

— Ох, ох! Да куда это так рано бежит старик Гранде, словно на пожар, — говорили купцы, отворяя свои лавки. Но когда его видели возвращающегося вместе с почтамтским служителем, нагруженным тугими, толстыми мешками, то всё объяснилось.

— Да он ходил за деньгами, — сказал один из купцов.

— А Бог знает, откуда к нему ни приходят деньги, — примолвил другой, — из Парижа, из Фруафонда, из Бельгии!

— Да он скоро купит Сомюр, — заметил третий.

— Вот видишь! И холод, и жар ему ни по чем: он всегда за работой, — говорила жена своему мужу.

— Эй, послушайте-ка, господин Гранде, — кричал старику толстый сосед его, хозяин суконной лавки, — если тяжелы очень мешки-то, так давайте их сюда, я им найду место.

— Да ведь это всё медь, — отвечал ему скряга.

— Серебро, — сказал про себя навьюченный работник.

— Молчи ты, дурак, держи язык за зубами, — ворчал старик, отворяя калитку.

— Ах ты, старая лисица... а ведь я подумал, что он глух, как тетерев... Или он в мороз только слышит.

— Вот тебе двадцать су за твои труды, болван, и убирайся. Нанета, что, бабы в церкви?

— Да, сударь.

— Так скорее же, скорей за работу, — закричал старик, навваливая мешки на плеча Нанеты.

Потом, когда мешки были перенесены в его кабинет, старик заперся в нем на ключ.

— Когда готов будет завтрак, ты постучись у дверей, — закричал он Нанете.

Завтрак был готов к десяти часам.

— Бог милостив, отец твой не спросит о золоте, — сказала госпожа Гранде своей дочери, — и к дню твоего рождения мы как-нибудь достанем точно такие же деньги.

Только что Гранде вошел в залу, жена и дочь поспешили поздравить его с наступающим годом; Евгения, нежно ласкаясь, бросилась к нему на шею. Госпожа Гранде поздравила его серьезно и с приличною торжественностию.

— Ну, ну, моя красоточка, — сказал скряга, целуя несколько раз свою дочь, — работал и работаю для тебя, для твоей будущности, для твоего счастия, а для счастия нужны деньги, душа моя; без денег *пас*! Вот, на, возьми-ка этот наполеондор; как тут поспел к тебе из Парижа; нарочно выписывал, а здесь у меня нет ни соринки золота. Вот у тебя, так другое дело; ты богатая! у тебя много золота; а покажи-ка мне, жизнёночек, свое золото? а? дружочек, дочечка! Брррр, как холодно; ну, начнемте же завтракать; наш толстяк де Грассен прислал чудесную штуку; кушайте, милые, кушайте, дети, ничего не стоит, даровое! Молодец де Грассен! Славно работает по делу племянника, а что всего лучше, работает даром. У-у-уах! уах! — сказал он, прищелкнув языком. — Славное кушанье! Отведай-ка, женушка, отведай. Этим куском можно, по крайней мере, целых два дня быть сытым. Я сам, впрочем, не голоден; много не ем, всякий знает; кушай же, кушай, мадам Гранде, не бойся, больна не будешь, на здоровье! а Ла Бертельеры-то все здоровяки; вот и ты желтенька немножко, да это ничего; я люблю желтый цвет.

Ожидание позорной казни не могло бы сравниться с тем, что ощущали госпожа Гранде и Евгения, предчувствуя, чем кончится завтрак. Чем веселее и шутливее был Гранде, тем сильнее стучало сердце бедняжек. Евгении было легче; любовь ее воодушевляла и вливала в нее новые силы.

«О, для него, для него, — думала она, — я готова перенести всё на свете...» И при этой мысли взор ее оживлялся и блистал твердостию и неустрашимостию.

— Убери, убери всё это, Нанета, — закричал старик, когда кончили завтракать. — А стол нам оставь. Нам будет здесь лучше, удобнее, — прибавил он, поглядывая на Евгению, — посмотрим-ка теперь твое маленькое сокровище; — маленькое! Боже сохрани! да у тебя золотом на 5959 франков; так, так... да прибавим 40 франков, что я дал сегодня, так выйдет шесть тысяч франков без одного; ну, да, я дам тебе этот франк, мы пополним сумму, потому что, видишь ли, дочечка... А ты что нас слушаешь, Нанета? ну-тка, покажи нам пятки; марш! за работу!

— Послушай, милушечка, малюточка моя, Евгения, отдай-ка мне мое золото, сейчас? ведь ты не откажешь своему папашке, моя дочечка.

Мать и дочь, обе были точно к смерти приговоренные.

— У меня нет больше золота; было, было, не спорю, но теперь нет, ничего нет. Я тебе отдам, дочка, отдам все шесть тысяч франков — *ливрами*, и сам постараюсь повыгоднее поместить их. О *дюжинке* и думать нечего; вот, когда мы замуж выйдем (а мы скоро выйдем замуж, дочечка), тогда женишок подарит тебе такую дюжинку, что вся провинция заболтает. Уж я найду такого женишка. Ну, так что же, душа моя? а? Как же мы решаемся? Видишь ли, ангел мой, есть прекрасный случай в виду; можно положить 6000 франков в государственный банк, и каждые шесть месяцев ты будешь получать 200 франков процентов, почти 200 франков, и без крючков, без бумаг, без обязательств; доход чистоганчиком. Может быть, ты не хочешь расстаться с своим золотом, душечка, ангел мой? Ну, да хоть принеси мне его сюда; видишь ли, я сам после подарю тебе точно такие же монеты. Достану тебе и голландских червонцев, и португальских червонцев, и рупий восточных. Вот увидишь, что в три года я соберу тебе, по крайней мере, половинку нашего крошечного, маленького, миленького золотого сокровища. А? что? что же, дочечка. Подыми же головку, поди, принеси его сюда, нашего малюточку! Да ты бы должна была все глазки выцеловать своему папаше за то, что он так хорошо знает, да и тебе открывает все штучки, проделки, секреты этих злодеев, червончиков. А ведь и вправду, денежки тоже живут, да еще не хуже нашего брата; тоже возятся, катаются, ходят, потеют, работают!

Евгения встала и пошла к дверям; но, вдруг обернувшись к своему отцу, смело сказала, прямо глядя ему в глаза:

— У меня нет более золота.

— Нет золота!!! — завопил старик, вскочив с кресел и вздрогнув, как боевой конь, оглушенный выстрелом из орудия, в десяти шагах, — нет золота?

— Да! У меня уже нет его более.

— Но ты... ты, верно, ошиблась, Евгения...

— Нет, не ошиблась, батюшка.

— Клянусь *серпом моего отца*!

Когда бочар клялся *серпом своего отца*, то даже стены дрожали в его доме.

— Господи, Боже мой! Создатель мой, барыня в обмороке, — закричала вбежавшая Нанета.

— Гранде, я умру, Гранде, — простонала бедная старушка.

— Та! та! та! та! Вздор! вы живучи... Ла Бертельеры не умирают! Евгения! Куда ты девала свое золото?! — закричал он, бросившись к своей дочери.

— Батюшка, — сказала дочь, стоя на коленах возле своей матери, — посмотрите, как страдает бедная матушка; не убивайте ее!

Гранде почти испугался, увидав смертельную бледность на желтом лице старушки.

— Нанета, помоги мне дойти до постели, — сказала госпожа Гранде. — Боже! я умираю.

Нанета и Евгения взяли ее под руки и с величайшим трудом довели ее до постели; всходя на лестнице, она постепенно теряла свои силы.

Гранде остался один в зале; через несколько минут он взбежал шесть или семь ступенек наверх и закричал Евгении:

— Евгения, когда уложишь мать, сойди сюда.

— Хорошо, батюшка.

Она не замедлила прийти, разуверив сначала мать свою.

— Ну, дочка, скажи-ка теперь, где твое золото?

— Батюшка, — хладнокровно отвечала Евгения, взяв с камина подаренный ей наполеондор и отдавая отцу, — батюшка! ежели вы мне делаете подарки, которыми я располагать не властна, то возьмите их назад.

Гранде схватил наполеондор и сунул его в свой карман.

— Да, уж я думаю, что больше ничего тебе не подарю, дружочек, вот столько не подарю, — сказал он, показывая самую маленькую часть на своем мизинце, — так вы презираете отца вашего; вы даже не знаете, что такое отец, сударыня! Да ежели он для вас не всё, сударыня, так он ничего. Где ваше золото, где золото?!!!

— Я люблю и уважаю вас, батюшка, даже и теперь, когда вы на меня сердитесь; но позвольте вам заметить, батюшка, что мне уже 23 года; вы сами очень часто замечали мне, что я давно уже совершеннолетняя. С деньгами я сделала то, что мне было угодно, и поверьте, что прекрасно употребила их.

— Куда употребили вы их, сударыня?

— Это мой секрет, батюшка, важный, священный секрет; ведь у вас есть свои секреты?

— Я глава семейства, сударыня, у меня свои дела, своя политика...

— Точно так же и у меня есть свои дела, батюшка.

— Верно, дурные дела, сударыня, когда вы их отцу родному открыть не можете.

— Дело весьма хорошее, батюшка, и я вам не могу открыть его.

— По крайней мере, когда же ты отдала свое золото?

Евгения сделала отрицательный знак головою.

— Был ли он в доме, в день вашего рождения?

Евгения, наученная любовью, сделалась так же хитра, как и отец ее.

Опять тот же знак головою.

— Да видано ли было такое упрямство? слышал ли кто о подобном воровстве? — закричал Гранде, возвышая более и более свой голос так, что наконец он раздался по целому дому. — Как, здесь, в собственном доме моем, кто-то украл золото, единственное золото в целом доме! И я в стороне, мне не хотят сказать этого! Да, золото дорого, ведь золото не пустячки, сударыня. Ведь ты дала же его кому-нибудь, а?

Евгения была неумолима.

— Да видал ли кто такую упрямицу! Я ли, я ли отец твой? Но если ты отдала деньги куда-нибудь в оборот, так должна же быть у тебя расписка, квитанция?!

— Но ведь золото было мое; разве я не вольна была истратить его на что захочу?

— Да ведь ты дитя!

— Совершеннолетнее.

Пораженный логикою дочери, Гранде бледнел, трясся, онемел от злости; наконец, выйдя из мгновенного остолбенения, он закричал:

— Змея подколодная! Она знает, что я ее люблю, и рада во зло употреблять мою слабость; она готова зарезать отца своего. Но, черт возьми! ежели ты отдала свои деньги этой обезьяне в лакированных сапогах, то клянусь всем, что есть на свете, так как я не могу тебя лишить наследства, то я тебя проклинаю, тебя, детей, твой род и твоего Шарля в придачу; будешь меня помнить! Ну, ежели это Шарль!.. Но нет, не может быть!.. этот тряпичник, лоскутник, дрянь, чтоб он надул меня!

Он взглянул на дочь. Евгения была молчалива и спокойна по-прежнему.

— Она как ни в чем не бывала, не поморщится... да она упрямее меня, Гранде, да и всех Гранде вместе. По крайней мере не даром же ты отдала свои деньги; ну! как же?

Евгения насмешливо взглянула на отца, старик обиделся.

— Знайте, сударыня, что вы здесь в моем доме, в доме отца вашего, сударыня!

Евгения склонила голову в знак согласия.

— Вы меня обижаете, сударыня, а я хочу видеть вас не иначе как покорною и послушною дочерью. Ступайте в свою комнату, извольте оставаться там до тех пор, пока я вас сам не выпу-

щу. Нанета будет приносить вам воду и хлеб... Слышали? ступайте же, сударыня!

Евгения залилась слезами и вышла вон из комнаты.

Гранде побежал в сад. Пройдясь несколько раз взад и вперед, по колена в глубоком снегу, он вздумал, что дочь, верно, не в тюрьме, а у постели больной матери; желая к чему-нибудь придраться, чтобы излить гнев свой, обрадовавшись случаю застать врасплох непослушную дочь свою, он осторожно, на цыпочках, пробрался по лестнице и очутился в спальне жены своей в ту самую минуту, когда госпожа Гранде сжимала дочь в объятиях и целовала ее длинные и прекрасные волосы.

— Утешься, милый друг мой, — говорила старушка, — отец перестанет сердиться...

— Нет у нее отца, — закричал Гранде. — И это наша дочь, госпожа Гранде? Непослушная, непокорная? Прекрасное воспитание, религиозное воспитание, нечего сказать! А вы, сударыня, вы не под замком еще? Под арест, под арест, сударыня, марш, без объяснений!

— Неужели вы хотите отогнать дочь от постели больной матери, Гранде? — сказала старушка; лицо ее пылало лихорадочным жаром.

— А! ежели уж вам так нужна ваша дочь, так возьмите ее, возьмите ее, сударыня, и убирайтесь обе, вон из моего дома! Черт возьми, где деньги? где золото?

Евгения гордо посмотрела на своего отца и ушла в свою комнату. Старик сам запер ее на ключ.

— Нанета! — закричал он, — затуши в зале огонь.

Он сел в креслах и придвинул их к камину. «Она, верно, отдала свои деньги этому низкому обольстителю Шарлю; мошеннику только и нужны были одни деньги».

Госпожа Гранде, страдая за дочь свою и понимая опасность ее положения, нашла довольно в себе силы, чтоб притвориться хладнокровною, глухою и немою.

— Я ничего не знала об этом, — сказала она, не глядя на мужа и уклоняясь от его рысьего взгляда. — О! я так страдаю от ваших жестокостей, что, кажется, если верить предчувствиям, я умру, умру непременно. Хоть бы теперь вы пощадили меня, сударь; я вас никогда так не огорчала, подумайте об этом; ваша дочь любит вас нежно, и я уверена, что она невинна, как пятилетний ребенок; не мучьте ее, смягчите ваш приговор. Теперь холодно, она может простудиться в нетопленой комнате.

— Я не хочу ни видеть, ни слышать ее; она будет под арестом до тех пор, пока не согласится отвечать на мои вопросы.

Черт возьми, кажется, глава семейства должен знать, куда девалось золото, бывшее в доме. У ней были рупии! да в целой Франции не найти теперь ни одной рупии! а генуэзские червонцы! а голландские червонцы!

— Но Евгения, единственное дитя наше, и, право, если бы она в воду бросила деньги...

— В воду!!! — закричал старик. — Деньги бросить в воду? да ты с ума сошла, госпожа Гранде! Нет! сказано, сделано. Если хотите, чтобы всё уладилось, допросите ее, допытайте ее!.. вы, бабы, лучше знаете, как приниматься за это. Ну, отчего не сказать отцу, куда девались деньги? не съем же я ее! Что она — боится меня, что ли? Хоть бы она позолотила своего братца, так что ж мне-то делать? ведь он теперь за морями!

— Вот видишь ли, Гранде...

Но вдруг в ту минуту, как она хотела мужу открыть всю тайну, она заметила по внезапному судорожному движению лица его всю необдуманность своего поступка. Несчастия дочери и любовь к ней удвоили ее осторожность.

— Вот видишь ли, Гранде, посуди сам, послушается ли она меня, когда уже тебя не послушалась.

— Ну, ну, какой у тебя язычок сегодня, мадам Гранде. Та, та, та, та, та, та! да вы меня не обманываете ли, сударыня! вот бьюсь об заклад, что они обе в заговоре.

— Право, Гранде, я умру, если вы будете продолжать таким образом. Но всё равно, хотя бы мне это и жизни стоило, я всё-таки скажу вам, что поведение ваше с Евгенией несправедливо, что она благоразумнее вас, сударь. Деньги были ее собственные, истратила она их, вероятно, на доброе дело, а только один Бог может судить, каковы дела наши. Гранде, умоляю тебя, прости Евгению; ты смягчишь этим жестокость удара, мне нанесенного; может быть, возвратишь мне жизнь и здоровье. Гранде, прости свою дочь, возврати мне мою Евгению...

— Я бегу с поля битвы! — закричал Гранде, — дом мой падает... здание подкопано... заговор... мать и дочь болтают, болтают, болтают... бррр! бррр... Да, Евгения, много горя нанесла ты мне! Да, да, плачь, плачь! тебя замучит угрызение совести... Вот ты увидишь сама, чего стоит твой Шарль с своими лакированными сапогами и с постной рожицей... У него нет ни души, ни сердца; а то мог ли бы он унесть, украсть золото у бедной девушки без согласия ее родителей?

Когда уже было поздно и на ночь заперли ворота, Евгения вышла из своей комнаты и подошла к постели матери.

— Где вы взяли столько твердости, матушка, чтобы вынести столько для вашей бедной дочери?

— Вот видишь ли, дитя мое, к чему ведет нас скрытность и неосторожность; я должна была солгать, чтобы спасти тебя, друг мой.

— О! я приму на себя наказание Господне.

— Правда ли, — сказала испуганная Нанета, вбежавшая в комнату, — что барышня теперь на всю жизнь на воде и на хлебе?

— Ну, что же такое? — спокойно сказала Евгения.

— Как, что такое? Я буду есть как царица, тогда как барышня будет кушать хлеб черный. Нет, нет!

— Полно, замолчи, Нанета.

— Пожалуй; я буду нема как рыба, но вы увидите, увидите.

Гранде обедал один, в первый раз в продолжение тридцати лет своей жизни.

— Вот вы теперь точно вдовец, сударь, — сказала Нанета. — Грустно быть вдовцом, когда есть и жена, и дочь в доме.

— А с тобой говорят, что ли? а? Молчать!.. Или я прогоню тебя. Что это у тебя там кипит в кастрюльке?

— Да это жир, сударь.

— Подай свечу, придут гости сегодня.

И действительно, в восемь часов явились Крюшо и госпожа де Грассен с своим сыном; все удивились, не видя ни госпожи Гранде, ни Евгении.

— Жена больна сегодня, Евгения сидит вместе с нею, — спокойно отвечал старик.

Час спустя, когда гости наговорились досыта, госпожа де Грассен, ходившая наверх навестить больную, возвратилась. Всякий поспешил узнать о здоровье хозяйки.

— Очень, очень плохо: и в ее лета болезнь чрезвычайно опасная. Нужно вам позаботиться, Гранде.

— Посмотрим, посмотрим, — сказал старик рассеянно.

Наконец все откланялись; когда вышли из дому, госпожа де Грассен сказала Крюшо:

— У них какая-то новость и что-то неладно. Матери очень дурно, а дочь с заплаканными глазами. Уж не выдают ли ее замуж против воли?

Когда старик лег спать, Нанета на цыпочках пробралась в комнату Евгении и показала ей готовый пастет в кастрюльке.

— Кушайте-ка, сударыня, — сказала добрая служанка, — Корнулье принес мне зайца, и я сделала из него начинку. Вы так мало кушаете, сударыня, что этого вам на восемь дней достанет; а на таком холоде он и не испортится. По крайней мере не будете на одном хлебе, сударыня, а то заболеете, пожалуй.

— Добрая Нанета! — сказала Евгения, пожимая ей руки.

— Пирог-то я сделала славно, вкусно, сладко, а *он* и не заметил. Зелень, коренья, всё это я купила на свои деньги; вот уж я-то им полная хозяйка.

Нанета выбежала на цыпочках; ей послышался голос старого скряги.

Прошло несколько месяцев. Гранде постоянно приходил к жене, но всё в разное время дня; никогда он не говорил о дочери, никогда не было ни малейшего намека на судьбу ее. Госпожа Гранде не сходила с своей постели; день от дня ей делалось хуже. Ничто не могло разжалобить старика; он был непоколебим, холоден и бесчувствен, как гранит. По-прежнему хлопотал он по делам своим, только уже не заикался более, говорил мало и в сделках был скупее и неумолимее прежнего. Иногда в счетах его проскакивали арифметические ошибки.

— Что-нибудь случилось у них в доме, — говорили в Сомюре.

— Не знаете ли что такое у Гранде? — вот был главный вопрос, главная тема разговоров целого города. Евгения продолжала ходить в церковь, но всегда вместе с Нанетой. Случалось, что госпожа де Грассен заговаривала с Евгенией обиняками при выходе из церкви, но она всегда отвечала общими фразами на все вопросы.

Впрочем, невозможно было скрываться более двух месяцев. Крюшо и де Грассены проведали наконец о заточении Евгении. Бывали случаи, когда старик не находил отговорок беспрерывному отсутствию дочери. Потом вдруг, неизвестно каким образом, весь город узнал, что в первый день нового года Евгения по приказанию отца своего была заперта в холодной комнате на воде и на хлебе, что Нанета тихонько по ночам доставляла ей пищу, и даже узнали, что дочь не смела видеться с больною матерью, когда Гранде был дома.

Поведение господина Гранде осудили торжественно. Весь город отвергнул его единогласно; стали припоминать все его жестокости, хитрости, скупость; когда он проходил по улице, всякий указывал на него пальцем.

Когда же Евгения показывалась на улицах вместе с Нанетой, провожавшей ее к обедне или к вечерне, все бросались к окнам смотреть на бедную девушку, на богатейшую невесту в целой провинции, удивлялись ее постоянству и любопытно смотрели на тихие и спокойные черты лица ее, блиставшего ангельским добродушием. Заключение и гнев отца, всё это переносила она терпеливо; она смотрела на карту, смотрела из окна своего на скамейку в саду, на древнюю стену, и еще на устах ее не остыл поцелуй ее милого Шарля... Несколько времени она не замечала и

не подозревала городских толков, так же как и сам Гранде. С чистою и непорочною совестию она в силах была сносить жестокости отца своего.

Но в глубине ее сердца таился зародыш тяжкого горя, заглушавший все мучения ее. Каждый день ее мать, ее бедная мать видимо угасала, умирала на руках своей возлюбленной дочери. Часто проклинала себя Евгения, упрекала себя, как причину тяжкой, жестокой болезни своей матери. Старушка утешала неутешную дочь свою, мирила ее с совестию, и Евгения более и сильнее чувствовала свою неминуемую потерю. Каждое утро, когда Гранде уходил, Евгения садилась у изголовья своей матери; тут же являлась и Нанета с завтраком. Евгения со слезами указывала Нанете на лицо страдалицы-матери, заливаясь слезами. О Шарле она и говорить не смела. Госпожа Гранде, сама, первая заговорила о нем.

— Где же он? отчего он не пишет к тебе?

Ни мать, ни дочь понятия не имели о расстояниях.

— Будем думать о нем матушка, но говорите меньше, умоляю вас; я вижу, как вы страдаете; вы мне дороже всего.

А всё — это был *он*.

— Я не жалею о жизни, дитя мое. Бог подкрепил меня, и в последние дни моей жизни вдохнул радость и спокойствие в мое сердце.

Слова этой женщины были благочестивы и святы. В первые месяцы года, когда муж в час завтрака приходил в ее комнату, она с ангельскою кротостию, но вместе и с твердостию женщины, доживающей последние часы своей жизни, просила, умоляла своего мужа о прощении своей дочери.

— Благодарю вас за участие ваше в моем здоровье, — говорила она старику, — но если вы хотите облегчить мои страдания, усладить последние минуты моей жизни, то простите бедную Евгению, бедную дочь вашу. Покажите, что и вы хороший отец, супруг и благочестивый христианин.

Когда жена начинала говорить, то Гранде усаживался преспокойно в креслах подле постели госпожи Гранде и смотрел в угол комнаты. В такие минуты он обыкновенно бывал похож на прохожего, который, желая избегнуть грозы и дождя, становится в воротах первого встречного дома и прехладнокровно смотрит, как мокнут другие на улице. И когда самые нежные, самые трогательные просьбы лились из уст умирающей жены его, он обыкновенно отвечал, помолчав немного:

— Да, бедненькая, ты так бледна сегодня.

Казалось, что он совсем забыл о своей дочери. Никакие просьбы, никакие увещания не могли разгладить морщины на-

хмуренного лба его; даже слезы, горькие слезы, текшие по бледному, изнуренному лицу жены его, вызванные холодностию и жестокосердием старика, нимало его не трогали.

— Да простит вас Бог, Гранде, так как я вас прощаю, — говорила умирающая. — Когда-нибудь и вы почувствуете нужду в прощении и сострадании.

Хотя со времени болезни жены своей Гранде не смел уже начинать речей своих страшным «та, та, та!», но деспотизм его нимало не смягчился ангельскою кротостию жены его. Лицо старушки сияло небесною кротостию; прекрасная, тихая душа ее перелилась в изнуренные черты лица ее и украсила их торжественною предсмертною красотою. Казалось, дух ее радостно покидал свою земную оболочку. Молитва смягчала черты лица этого, обыкновенно грубые и резкие. Кто не замечал этого блистательного преображения на лицах мучеников жизни в предсмертные часы их? Зрелище этого видимого перехода из земной обители в лучшую действовало, хотя очень слабо, на старика Гранде; но он не поддавался; он был тверд, как железо, и, отыгрываясь молчанием, отстаивал свое достоинство, достоинство главы семейства.

Едва Нанета появлялась на рынке, тотчас раздавались вокруг нее насмешки, порицания, угрозы ее господину; но хотя общее мнение гласно осуждало старого бочара, верная служанка ревностно отстаивала честь своего господина.

— Ну, так что ж, — говорила она крикунам, — все мы под старость становимся немного потверже; ну, вот так и с моим стариком; а вам какое дело? Молчите-ка лучше и не клевещите на добрых людей. Барышня живет как царица, в добре и довольстве! А что она одна взаперти, так что же? большой беды нет в этом; ей самой хочется сидеть под замком. А притом и не нам с вами судить об этом. У господ есть свои причины, свои тайны, которых вы никогда не узнаете.

Наконец в один вечер госпожа Гранде, изнуренная горем более, чем болезнию, после тщетной попытки поколебать сердце своего мужа, решилась прибегнуть к советам господ Крюшо.

— Как это можно! посадить под замок совершеннолетнюю девушку! — вскричал президент, — и еще без всякой причины? да это самовластие, насилие, и она может протестовать...

— Ну, ну, полно, племянник, брось свое казенное красноречие. А вы, сударыня, будьте покойны; завтра же окончится заточение вашей дочери.

Услышав слова старого нотариуса, Евгения вышла из своей комнаты.

— Господа, — сказала она с благородною гордостию, — прошу вас не вмешиваться в это дело. Мой отец — господин в

своем доме, и до тех пор пока я нахожусь под этой кровлей, я не могу ни в чем противиться воле отца моего. Никто в свете не имеет права осуждать его поступков со мною; один Бог властен судить их. Вашею дружбой к нам умоляю вас молчать обо всем этом. Осуждать отца моего значит обижать нас всех. Благодарю вас, господа, за дружеское участие, принимаемое вами в моем горе; но вы еще более меня обяжете, когда постараетесь опровергнуть обидные слухи, которые носятся по всему городу и о которых я узнала случайно.

— Она правду говорит, — сказала добрая старушка.

— Сударыня, — почтительно отвечал ей старый нотариус, пораженный благородною красотою лица ее, красотою, еще ярче просиявшею среди уединения, грусти и мечтаний любви, — сударыня, лучший способ заставить свет замолчать — есть ваша свобода.

— Да, милое дитя мое, позволь господину Крюшо устроить наши дела; ты слышала, он отвечает за успех. Он знает твоего отца, знает, как нужно взяться за это дело. Если хочешь осчастливить последние минуты моей жизни, то не противься их желанию помирить тебя с отцом твоим.

Утром на другой день Гранде, верный своим привычкам, вышел походить по саду. Для прогулки он всегда выбирал ту минуту, когда Евгения убирала свою голову и расчесывала волосы. Старый чудак прятался за орешник и оттуда смотрел на свою дочь; ему хотелось обнять свое дитя, он колебался, но обыкновенно упрямство побеждало. Часто он садился на маленькую скамеечку, на ту самую, где Шарль и Евгения некогда поклялись друг другу в вечной любви. Евгения замечала всё и в свою очередь поглядывала на своего отца. Если он вставал и начинал прохаживаться, она садилась у окна и смотрела на старые стены, красиво увитые плющом и молодыми растениями. В этот день, в прекрасное июньское утро, Крюшо явился против обыкновения весьма рано и пошел прямо в сад. Старик сидел на скамеечке и смотрел на свою Евгению.

— А Крюшо! что нового? — закричал Гранде, увидав нотариуса.

— Да вот нужно поговорить с вами о делах.

— Ах! вы, верно, достали золота и пришли разменять на серебро.

— Нет, не то; дело-то не в серебре, а в вашей дочери. Все только и говорят, что об ней, да об ней.

— А что за дело всем? *И трубочист господин в своем доме.*

— Правда, правда; что хочет, то и делает; хоть, пожалуй, повесится или, что еще хуже, побросает деньги в воду.

— Деньги в воду... Что это с вами, Крюшо?

— Друг мой, ваша жена очень, очень больна; вам нужно бы посоветоваться с доктором Бержереном. Право, она при смерти, и если, чего Боже сохрани! умрет, так вы, верно, не будете совершенно покойны, не взявши никаких предосторожностей во время болезни ее.

— Та, та, та, та! Да вы сами настоящий доктор. Да знаете ли, что впусти раз к себе этих лекаришек, так их и палкой не выгонишь; будут таскаться по пяти по десяти раз на день.

— Хорошо, хорошо, Гранде, делайте там, как хотите; я должен был предуведомить вас; мы с вами старые друзья, и в целом Сомюре не сыщете человека, вам более преданного. Будь что будет; вы, слава Богу, человек опытный; знаете, как вести себя. Впрочем, цель моего прихода другая. Дело немного поважнее — для вас... может быть. Видно, что вы и не думаете, в каких отношениях вы будете к вашей дочери по смерти госпожи Гранде. Вам нужно будет делиться с Евгенией, потому что вы в имении половинщик с супругою вашей. Ваша дочь, если захочет, может потребовать раздела, может продать Фруафонд. Ведь она наследница после своей матери, а не вы, старый друг мой.

Слова Крюшо как громом поразили Гранде; старик был знаток в коммерции, но не в законах. Никогда и мысль о разделе не приходила в его голову.

— Вот почему я бы вам советовал получше обращаться с своею дочерью.

— Да знаете ли вы, Крюшо, что она наделала?

— А что? — сказал нотариус, обрадовавшись, что наконец-то узнает всю тайну.

— Она отдала свое золото.

— Ну, что же? ведь это была ее собственность.

— Вот они все таковы, — закричал Гранде, трагически опустив свои руки, — все поют одно и то же.

— Так неужели же вы из-за таких пустяков захотите повредить себе по смерти госпожи Гранде?

— А, так для вас пустячки 6000 франков? Гм! пустячки!

— Ах, друг мой Гранде; да знаете ли, что будет стоить одна перепись имения и издержки по разделу, если потребует его Евгения?

— А что будет стоить?

— Да 20 000, 30 000 франков, может быть и 50 000, даже 60 000. Ведь вам нужно же будет представить в палату всю опись имения вашего и платить за казенные издержки, расходы, хлопоты? тогда как в полюбовной сделке...

— Клянусь серпом моего отца! — закричал побледневший старик и бросился в изнеможении на скамью. — Мы увидим, Крюшо. Подождите.

После минутного молчания, после минутной агонии, Гранде начал снова, взглянув на нотариуса.

— Тяжела, горька наша жизнь, Крюшо; много, много в ней тяжких горестей. Крюшо! — сказал старик торжественным голосом, — вы, верно, меня не обманываете? Поклянитесь мне по чистой совести, что всё, что вы сейчас распевали, написано в законах; да, я хочу видеть сам книгу, хочу посмотреть в своде законов! дайте мне свод законов!

— Да неужели же я не знаю моей должности, моего ремесла, Гранде?

— Так это правда? Это правда? Меня обокрадут, убьют, зарежут, съедят, высосут кровь мою, жизнь мою!.. и всё это дочь, всё это родная дочь! Она наследница после матери; да для чего же эти наследники, для чего дочери? Жена — дело другое! Я люблю жену, я обожаю жену мою! Она хорошего здоровья, она крепкого сложения, она урожденная Ла Бертельер!

— Да ей не прожить и месяца.

Гранде ударил себя в лоб, прошел несколько шагов, потом опять воротился и бросил ужасающий взгляд на Крюшо.

— Что делать? — спросил он.

— Видите ли: Евгения, если захочет, может просто и прямо отказаться в вашу пользу от наследства по матери; ведь вы же не захотите потом лишить ее наследства, не правда ли? Но чтобы заставить ее согласиться на это, не нужно поступать с нею жестоко; ведь что я вам теперь говорю против моего же интереса, старый друг мой. Ведь мне же выгода; я буду совершать купчие, делать записки, писать обязательства...

— Хорошо, хорошо, полно об этом Крюшо; вы разрываете мое сердце на части. Что, достали ли вы золота?

— Нет, но у меня есть несколько старых луидоров, — так, с десяток; я, пожалуй, поменяюсь с вами. Ах, друг мой! помиритесь-ка с вашей дочерью; в городе чуть каменьями в вас не бросают.

— Глупцы.

— Фонды теперь по 97, 75. Будьте хоть раз в жизни довольны.

— 97, 75! неужели? Крюшо?

— Да, да!

— 97, 75! ну, ну! — повторял старик, провожая своего друга до ворот.

Сильно взволнованный неожиданною новостию, старик не мог быть спокойным. Он побежал к жене.

— Ну, старушка, я еду в Фруафонд. Прощай! Чтобы тебе было не скучно, позови Евгению. Будьте же без меня умницы, не шалите. Сегодня годовщина нашей свадьбы, милый друг мой; вот возьми-ка себе 10 экю, на престол к празднику Спасителя. Ведь уж как тебе хотелось самой убрать престол к этому дню, старушка; ну, веселитесь же без меня, забавляйтесь, пойте, играйте; ну, прощайте же, милые! да здравствует веселье!

Он высыпал 10 шестифранковых монет на постель жены своей, взял ее за голову, поцеловал.

— Что, бедняжечка, тебе лучше, не правда ли?

— Как можете вы призывать Бога милосердого в дом свой, тогда как сердце ваше закрыто для любви и милосердия, — сказала больная с сильным чувством и упреком.

— Та, та, та, та! — запел Гранде, но уже на новый лад. — Мы посмотрим, старушка, мы и об этом подумаем.

— Господь милосердый! Евгения, Евгения, — закричала бедная мать, и краска выступила на бледном лице ее, — беги, беги сюда; твой отец прощает тебя, Евгения!

Но чудак убежал; он не шел, а летел по полям своим, стараясь собрать, успокоить разбитые мысли.

Гранде начинал 72-й год своей жизни; но только в продолжение двух последних годов его скупость, его ужасающая страсть, достигла в нем крайнего развития, обратилась в неподвижную идею. Следуя наблюдениям над характером скупцов, честолюбцев и, словом, всех тех, чье сердце было опустошаемо сильною страстию, можно сказать утвердительно, что все способности, все чувства его сосредоточились на одном — на золоте.

Блеск золота, обладание золотом — вот что стало предметом всех его желаний, всех помышлений. Деспотизм и упрямство возрастали в его душе вместе с пагубною страстию, и лишиться половины именья своего, отдать кому-нибудь золото казалось ему делом неестественным, противным всем законам природы. Как? ему, Гранде, давать отчеты в коммерческих делах своих, делать расчеты, протоколы, списки всего богатства, движимого и недвижимого!

— Нет! лучше горло перерезать себе, — закричал он в глубоком отчаянии, окидывая взором своим поля и пустоши.

Наконец он решился и явился в Сомюре к обеду.

Он решил: уступить, смириться перед дочерью, польстить ей, поласкаться к ней, поподличать, но умереть на своих миллионах, со скипетром неограниченной власти своей. В ту минуту, когда он на цыпочках взбирался в комнату жены своей, Евгения принесла медальон на постель своей матери. Обе, радуясь своей

свободе, рассматривали портрет Шарля, были довольны, счастливы.

— Это он! как две капли воды! его волосы, лоб, губы, — говорила Евгения.

Старик отворил дверь, госпожа Гранде видела взгляд, брошенный им на золото.

— Господи, сжалься над нами! — закричала она в смертельном испуге.

Старик бросился на медальон, как тигр, и выхватил его из рук Евгении.

— Что, что это такое? — говорил он, унося к окну свою добычу. — Золото! чистое золото! много, много золота! Здесь три или четыре фунта! А-а-а-а!

— Так ты, стало быть, променялась с Шарлем, дочка? хорошо, хорошо! очень хорошо, прекрасно; да зачем же ты прежде мне не сказала об этом? Да это славное дело, да это прекрасная сделка, бесподобная сделка, друг мой, милушечка дочечка! да! я узнаю в этом дочь мою! Это достойно моей дочери! Я узнаю тебя, дитя мое, мое сок-ро-вище!..

Евгения дрожала как лист.

— Не правда ли, ведь это Шарль дал тебе, душечка?

— Да, батюшка, да, это не мое; это моего брата; это залог, священный залог.

— Та, та, та, та! он взял же твои денежки! Нужно и тебе с ним квитаться!

— Батюшка!!

Гранде вынимал из кармана свой ножик, чтобы выломать портреты, и положил медальон на стул. Евгения кинулась к нему, хотела схватить медальон, но отец смотрел на всё разом; на нож, на дочь, на золото, видел все движения Евгении, схватил ящичек и сильно оттолкнул бедную девушку; Евгения упала на постель своей матери.

— Гранде, Гранде, — закричала больная, силясь привстать с кровати. Гранде вынул нож и начал было ломать медальон.

— Батюшка! — закричала Евгения, бросившись перед ним на колена и простирая к нему руки, — именем всех святых, именем Пресвятой Девы и именем Христа, за нас пострадавшего, вашим вечным спасением, жизнию моею, заклинаю вас не трогать медальона! Это вещь не ваша и не моя! она принадлежит Шарлю, бедному Шарлю, он вручил мне ее на сохранение; я должна ее отдать ему!!

— А зачем же смотреть на вещь, когда она священный залог? Смотреть хуже, чем трогать.

— Батюшка! не ломайте медальона! Батюшка! вы обесчестите меня; слышите ли, батюшка?

— Ради Бога, Гранде! — закричала мать.

— Батюшка, батюшка! — повторяла в отчаянии Евгения.

Нанета вбежала вне себя от испуга в комнату.

Вдруг Евгения бросилась на нож, лежавший на столе, и схватила его.

— Что, что? — сказал Гранде, улыбаясь недоверчиво.

— Вы убиваете меня, — закричала госпожа Гранде.

— Батюшка! если вы только дотронетесь до медальона, я заколюсь в глазах ваших. Вы убили уже мать мою; убейте же и дочь! Теперь ломайте, ломайте!

Ножик Гранде лежал на медальоне; старик взглянул нерешительно на дочь свою:

— Неужели ты готова на это, Евгения? — сказал он.

— Да, сударь! она готова, уверяю вас, — сказала несчастная мать.

— Непременно, непременно, — закричала Нанета, — хоть раз в жизни уступите, сударь.

Гранде смотрел то на дочь, то на свою добычу; борьба продолжалась; госпожа Гранде упала в обморок.

— Ах, Боже мой! Боже мой! посмотрите-ка, сударь; барыня, добрая барыня умирает! — закричала Нанета.

Гранде вскочил как сумасшедший и бросил медальон на постель умирающей.

— Возьми, возьми, на, вот возьми его, Евгения; не будем ссориться за пустяки, за дрянь! А ты, Нанета, беги к господину Бержерену. Ну, ну, мамаша, полно, — говорил старик, дрожа от страха, — мы пошутили... вздор; вот мы и помирились; ведь мы помирились, дочка! Теперь кончен пост, — кушай себе всё, что угодно. А! она очнулась, мама, мамаша-мам-мамаша! ну же, ну, душечка, посмотри, вот я обнимаю Евгению, мою дочку, мою милую дочечку; плутовочка любит красавчика Шарля; пусть любит, пусть любит; пусть выйдет за него замуж, я позволяю; я рад, я доволен! Медальон она сбережет; она сбережет свое сокровище! Ну, не умирай же, живи, живи, мамаша. К празднику Спасителя у тебя будет такой жертвенник, что в целом Сомюре не найдешь подобного.

— Боже мой! Боже мой! Как можете вы так жестоко шутить с женою и дочерью?

— Не буду, не буду, мамаша, подожди, вот ты увидишь, сейчас увидишь.

Он побежал в свою комнату и в миг воротился с двумя пригоршнями червонцев. Он бросил их на постель.

— Здесь сто луидоров, сто луидоров, мамаша, сто луидоров, Евгения! Здоровей, веселись, мамаша, купайтесь в довольстве, кончен пост! Вот сто луидоров, Евгения! ведь ты уж их-то не отдашь никому, плутовочка? Никому, плутовочка, дочечка!

Госпожа Гранде и Евгения в изумлении глядели друг на друга.

— Возьмите их назад, батюшка: нам не нужно вашего золота; возвратите нам одну любовь вашу, вашу нежность, батюшка!

— Ну вот и прекрасно, ну вот и чудесно, и именно так! — закричал старик, с жадностию подбирая червонцы. — Зачем деньги между родными; дружба! святая дружба соединит теперь нас; мы заживем теперь как счастливцы; будем обедать вместе, играть в лото каждый вечер по два су фишку! шалить, играть, чудесить, проказничать! А! женушка?

— Рада бы, милый мой, — отвечала больная, — но не встать мне уже более.

— Бедняжечка! — сказал старик, — о, если бы ты знала, как я люблю тебя, и тебя тоже, дочечка, голубушка, красавица, дочечка.

Он целовал Евгению; он сжимал ее в своих объятиях.

— А! как сладко обнять свою дочь, после примирения! дочечка, милочка! Посмотри-ка, мамаша, мы теперь заодно, мы заодно, Евгения; мы с тобой, как рыба с водой, — ангельчик Евгения. Поди, возьми, убери свое сокровище, свой медальон; и не дотронусь до него, и не спрошу о нем более; буду молчать, буду делать, что тебе угодно.

Господин Бержерен, искуснейший врач сомюрский, явился немедленно по призыву. Посмотрев на больную, он отвел старика в сторону и напрямики объявил ему, что жена его не встанет более с постели; умрет непременно! Но что спокойствие, диета и хороший уход могут еще продлить ее жизнь до конца осени.

— А дорого будет стоить? — прервал старик, — много ли нужно лекарства?

— Мало лекарств, — отвечал доктор с усмешкою, которой не в силах был скрыть, — но много попечений, ухода.

— Ну вот, вы честнейший, бескорыстнейший доктор, любезнейший Бержерен, уверяю вас. Вы благороднейший человек! я вверяюсь вам совершенно; приходите к нам, посещайте больную, когда вы рассудите. Сохраните, спасите нашу бедняжку; я люблю мою старушку, доктор, очень люблю; я только так тверд снаружи, не очень чувствителен; но внутри, доктор!.. ах, внутри, мое сердце пополам рвется, кровью обливается. Печаль неотступно со мною, с тех самых пор, как застрелился мой бедный брат. Вот уже сколько я пересыпал-то за него денег, ужас! воло-

сы дыбом! Прощайте, сударь, прощайте; ах! если бы вы спасли мою старушку! Право, ничего не пожалею, ей-Богу! Хоть бы это стоило мне 500, 1000, даже 2000 франков.

Но несмотря на теплые молитвы, усердно воссылаемые господином Гранде о здоровье жены своей; несмотря на старания, на неусыпные, беспрестанные попечения, госпожа Гранде стояла уже над отверстой могилой. Она гасла, слабела каждый день. Ее существование походило на трепетание осеннего, желтого листка, хрупкого, иссохшего, едва держащегося на дереве. И как солнце, пробиваясь лучами сквозь редкие осенние листы, осыпает их златом и пурпуром, так и лучи небесного блаженства и духовного спокойствия озаряли лицо умирающей страдалицы. Такая смерть была достойна увенчать праведную жизнь ее. Это была смерть христианская, кончина славная и торжественная!

В октябре месяце 1820 года ее ангельская кротость, ее примерное терпение приводили в удивление приходивших к болезненному одру ее. Она умирала без стонов, без жалоб. Тихо, как кроткий агнец, душа ее воспарила к небу и только плакала по скорбной подруге земного бытия своего. Мать жалела только дочь свою; она предчувствовала ее муки, несчастия. Она боялась оставить эту овечку одну посреди хищной стаи волков. Люди ждали ее золота, дрожали над ее золотом, и кому было защитить ее?

— Дитя мое, — сказала она, умирая, — ты узнаешь когда-нибудь, что счастие не здесь, а на небе!

По смерти матери новые, нежные связи приковали сердце Евгении к родительскому дому. Эти цепи были вместе и грустные и сладкие, это были воспоминания. Здесь жила, страдала мать ее, и здесь тихо скончалась праведница. Евгения не могла без слез смотреть на опустелую залу, на опустелые кресла старушки. Странными показались ей нежность и заботливость отца ее. Старик неотступно ухаживал за нею, водил ее к столу, смотрел на нее ласковым, нежным взглядом; он не отковывал от нее глаз своих, как будто бы его Евгения была из чистого золота. Так мало походил старик сам на себя, он так дрожал перед своею дочерью, что Нанета и вся секта крюшотистов, заметившие перемену и слабость старика, боялись за его рассудок и странности его приписывали его маститой старости. Но в тот день, когда в доме надели траур, после обеда, на который был приглашен нотариус Крюшо, единственный человек, понимавший Гранде, поведение старика стало открытым, и всё объяснилось.

— Милое дитя! — сказал он Евгении после обеда, когда со стола сняли скатерть и заперли двери, — вот, ты теперь наследница своей матери; у нас с тобой есть маленькие дела, требующие окончания немедленного. Так ли, Крюшо?

Голос старика дрожал от внутреннего волнения.

— Да, — отвечал нотариус, — совершенная правда.

— Но неужели нельзя отложить дела до завтра, батюшка; разве уж так важны они, что и в этот день нельзя обойтись без них?

— Да, да, дочка; да, мое сокровище, необходимы. Ведь ты не захочешь огорчить старика отца твоего, дочь моя?

— О, милый батюшка!

— Так мы сейчас примемся за них, милый друг мой.

— Но что мне нужно делать? Скажите скорее, батюшка.

— Но, душечка, это не мое дело. Друг Крюшо объяснит тебе всё.

— Сударыня, — начал нотариус, — батюшке вашему не хотелось бы ни делиться, ни продавать своих владений, ни тратить напрасно огромных сумм на расходы при разделе имения. Батюшка ваш не желал бы делать никаких отчетов и не выделивать имения, которым вы владеете теперь с ним вместе и нераздельно.

— Крюшо! — закричал старик, — но уверены ли вы, что всё это правда, что всё это законно?..

— Позвольте, позвольте, Гранде...

— Да, да, мой друг, мой старый, верный друг, ни ты, ни моя дочь, примерная, добрая дочь, не захотите вконец разорить меня. Не правда ли, ангел мой?

— Но, сударь, — сказала Евгения, обращаясь к Крюшо, — скажите мне, что нужно делать для этого?

— Вот, — сказал нотариус, — нужно подписать этот акт, которым вы отрекаетесь совершенно от требования на выдел вам наследства после вашей матушки, предоставив всё, без раздела, вашему батюшке в полное управление.

— Право, я не понимаю вас совершенно, — сказала Евгения, — покажите мне место, где подписаться, и дайте перо.

Старик Гранде дрожал всеми членами. Крупный пот катился по лицу его; он терпел адские муки и в тяжкой агонии смотрел попеременно на дочь и на акт, на акт и опять на дочь свою.

— Ангельчик мой, — сказал он, — этот акт дорого обойдется нам. Если бы ты, душечка, прямо захотела подписать совершенное отречение от наследства после нашей бедной покойницы и показать этим всю доверенность, всю любовь к отцу своему, так это было бы гораздо лучше. Тогда, милый друг, каждый месяц я бы выдавал тебе по 100 франков. Послушай, Евгения! сто франков в месяц! подумай-ка, дочечка. Ты тогда будешь в состоянии заказывать столько обеден, сколько душе угодно, молиться вдоволь за всех, за кого ты там молишься. Га! сто франков, верных сто франков — *ливрами*.

— Я согласна, батюшка, на всё, что вам угодно.

— Сударыня, я должен вам заметить, что вы сами себя разоряете...

— Так что же, что же такое?

— Молчи, молчи, Крюшо; молчи, старый друг; кончено, — сказал он торжественно, ударяя рукой по руке своей дочери, — ведь ты не отопрешься, дочка, ты не отдумаешь потом, сдержишь ли свое слово, свое честное слово; ведь ты честная девушка, Евгения.

— О, милый батюшка!

Старик схватил свою дочь, судорожно сжал в своих объятиях, целовал как безумный, чуть-чуть не задушил ее поцелуями.

— Дитя мое! кровь моя! ты спасла жизнь отцу своему; ты отдаешь ему то, что он дал тебе; мы сквитались, ты ничего не должна мне более; вот как делаются дела, Крюшо! Ведь вся жизнь человеческая — сделка и спекуляция, старый друг мой. Благословляю тебя, добродетельная, примерная дочь моя; ты любишь своего папашу. Теперь делай всё, что тебе угодно будет. Так до завтра, Крюшо, — сказал он, взглянув на остолбеневшего от изумления и испуга нотариуса, — до завтра, друг мой; приготовь нам форменный акт, а завтра мы его подпишем.

На другое утро, в полдень, было подписано отречение Евгении от наследства после матери.

Однако Гранде не сдержал своего слова; в конце первого года старик не выдал дочери ни копейки из ста франков, обещанных за каждый месяц. Но когда Евгения в шутку напомнила ему об этом, он покраснел, как ребенок. Тотчас побежал он наверх и воротился, держа в руках около трети золотых вещиц, купленных у Шарля.

— Вот, бедненькая, вот тебе, — сказал он с насмешкою, — хочешь ты это вместо своих 1200 франков?

— Батюшка! как, вы отдаете мне это? вы будете так добры?

Старик высыпал всё в передник Евгении.

— Столько же ты получишь и на будущий год, и наконец у тебя будут все его игрушки, — прибавил он, потирая с радости руки, и довольный тем, что удалась спекуляция с сердцем родной своей дочери.

Впрочем, старик, хотя всё еще здоровый и бодрый, почувствовал наконец необходимость посвятить дочь свою во все тайны домашнего управления. Целых два года учил он ее науке хозяйственной, по собственной своей методе. Евгения стала сама принимать деньги, приносимые фермерами, и мало-помалу выучила все названия отцовских ферм и полей.

Наконец, к концу третьего года после смерти госпожи Гранде, старик так хорошо умел внушить Евгении свои правила домашнего хозяйства, так ловко умел вселить в нее скупость, что скупость обратилась наконец у нее в привычку. Старик посвятил ее сам в звание управительницы и хозяйки дома и торжественно вручил ей ключи свои.

Прошло пять лет, пять лет жизни тихой, спокойной. Всё в доме было заведено в порядке хронометрическом; всё было однообразно и равномерно, как маятник. Глубокая скорбь бедной, любящей Евгении не укрылась от людей; но хотя могли догадываться и на свободе заключать, о чем было угодно, но никогда, ни словом, ни делом, Евгения не подала повода к верному выводу из путаницы толков, слухов и догадок. Домашними по-прежнему были трое Крюшо и несколько их последователей, незаметно введенные в разные сроки в гостиную господина Гранде. Евгения принуждена была выучиться игре в вист и играла почти каждый вечер.

В 1825 году отец ее, чувствуя себя день от дня слабее и немощнее, принужден был наконец открыть Евгении настоящую цену и величину всего своего недвижимого имения и на всякой случай указал на Крюшо, советуя обратиться в затруднительном случае к нему, к своему старому и верному другу, честность которого была им не раз испытана. В конце этого года, когда старику минуло 77 лет, он внезапно был разбит параличом. Бержерен приговорил его к смерти.

Евгения чувствовала, что скоро останется совершенно одинокою на свете, и тем сильнее привязалась к дряхлому и больному старику. С самою нежною заботливостию ухаживала она за ним. Способности старика начали тупеть, ум ослабевать, но скупость была сильнее прежнего. Смерть старика мало различествовала с жизнию.

С раннего утра он приказывал подвозить себя к дверям своего кабинета, где хранилось его золото; здесь он просиживал целые часы и беспокойно посматривал то на входящих в комнату, то на дверь кабинета. Малейший шум в доме тревожил старика, до тех пор пока ему не объясняли причину шума; к величайшему удивлению своего друга Крюшо, старик мог слышать на дворе ворчание своей собаки. В те дни и часы, когда он, бывало, принимал своих фермеров и рассчитывался с ними, он каким-то чудом оживлялся; мысли его яснели, и он выходил из состояния нравственной бесчувственности. Тогда его подвозили к дверям кабинета; он отдавал дочери ключ, та при нем отворяла кабинет, входила в комнату и укладывала, по указанию отца, мешки с деньгами. Потом она запирала дверь и отдавала старику ключ.

Старик поспешно прятал ключ в карман своего жилета и поминутно ощупывал, тут ли он. Нотариус Крюшо понимал, что если Шарль Гранде не явится, то Евгения, по смерти отца, непременно выйдет за президента, и потому, в качестве друга, он удвоил внимание и попечение больному старику. Каждый день сам являлся к нему за приказаниями, ездил в Фруафонд, на пашни, на луга, на виноградники; продавал продукты и обращал получаемые деньги в золото. Это золото полагалось в мешки и присоединялось к другим мешкам таинственного кабинета. Старик чувствовал холод, его укрывали одеялами, и он поминутно говорил с судорожным беспокойством: «Укройте, укройте меня! Нас обокрадут, обокрадут». Когда же он мог открывать глаза свои, то устремлял мутный взор на дверь своего кабинета; ощупывал в кармане свой ключ и поминутно шептал своей дочери: «Цело ли золото, цело ли золото?»

Потом он приказывал приносить себе золота. Тогда Евгения рассыпала перед ним на столе луидоры. Старик смотрел на них по целым часам, словно дитя, едва начинающее видеть, и, как у дитяти, тягостная улыбка слетала с уст его.

— Это греет меня, мне тепло, мне тепло, — шептал он в каком-то бессмысленном самозабвении.

Когда священник пришел к нему с святыми дарами, то почти совсем угасшие взоры его оживились при виде серебряного креста и паникадила. Он пристально посмотрел на всё, и шишка на носу его зашевелилась в последний раз. Наконец, когда священник поднес крест к устам его, старик сделал тяжелое усилие, чтобы вырвать его из рук священника. Это усилие стоило ему жизни. Он вспомнил о Евгении в последние минуты свои, но не мог уже видеть ее. Евгения стояла на коленах и омывала слезами похолодевшую руку его.

— Батюшка! благословите меня, — сказала она.

— Старайся, заботься обо всем, береги золото! береги золото! я потребую у тебя отчета на том свете.

Это были последние слова его. И вот Евгения осталась одна в опустелом доме, одна с Нанетой, единственным существом, которое могло понимать ее горе и заботу, которое любило ее и которому она могла поверить тайну свою. Нанета сделалась другом Евгении.

Когда схоронили Гранде, Крюшо донес Евгении, что у ней было: во-первых, 400 000 ливров ежегодного доходу с земель и недвижимых владений в сомюрском округе; потом 250 000 франков доходу, считая по три на сто, с капитала, приобретенного за 61 франк со ста и который мог быть оценен в эту эпоху в 77 франков. Потом три миллиона золотом и сто тысяч франков сереб-

ром, не считая доходов за непроданные продукты настоящего года. Круглая оценка ее имения была с лишком в 20 миллионов.

«Где же Шарль?» — думала Евгения.

В этот день, после расчетов с господином Крюшо, Евгения и Нанета сели у камина в старой зале, где всё до последней вещицы вызывало тяжкие воспоминания, начиная с кресел, в которых садилась покойница мать ее, до стакана, из которого пил Шарль во время своего у них пребывания.

— Вот мы одни, Нанета!..

— Да, барышня, и если бы я знала, где теперь ваш братец, так пешком бы пошла за ним хоть на край света.

— Между нами море, Нанета.

И в то время, когда бедная сирота плакала одна с верной Нанетой в старом и мрачном доме отца своего, в целом Сомюре, в Нанте и в Орлеане только и было разговоров что о двадцати миллионах девицы Гранде.

Первым делом Евгении, принявшей неограниченное управление имением, было укрепить за Нанетой 1200 франков годового дохода. Нанета, имевшая и без того 600 франков дохода, стала теперь богатой невестой. Через месяц Антон Корнулье провозгласил ее своей супругой и вместе с тем был возведен в звание главного смотрителя всего Фруафонда. Хотя мадам Корнулье было уже 63 года, но на вид ей нельзя было дать и сорока. На ее лице не было морщинки старости, и, благодаря уединенной, затворнической жизни, работе и железному здоровью, вид ее был свежий и веселый. И, может быть, никогда она не была так хороша, как в день своей свадьбы. Плотная, здоровая, веселая Нанета возбудила зависть к судьбе Корнулье.

— Да какой у ней цвет лица, — говорил один.

— Да у них, чего доброго, и дети пойдут, — говорил другой.

— Она богата, и плут Корнулье знает, где раки зимуют, — говорил третий.

Выходя из дома в церковь, Нанета получала от всех искренние, радостные поздравления; так ее любили и уважали во всём околотке. Свадебный подарок госпожи ее состоял из двух дюжин серебряных приборов. Корнулье, вне себя от изумления, со слезами на глазах, уверял, что отдаст жизнь за госпожу свою. Итак, госпожа Корнулье стала поверенною Евгении и вышла замуж; и вот на руках ее всё хозяйство; она выдает по утрам провизию; она покупает, запирает, отпирает шкафы, одним словом, владычествует в доме, как некогда сам покойник Гранде. Она же и управляет всем домом. У нее под командой кухарка и горничная, которая в то же время и прачка на целый дом. Уже нечего говорить, что служанки, выбранные Нанетою, просто две жем-

чужины. Итак, в доме было четверо слуг, беспредельно привязанных к госпоже своей. Корнулье нетрудно было ладить с фермерами и работниками, потому что старик Гранде оставил во всём такой порядок и дисциплину, что и по смерти его всё осталось, как было, по-прежнему.

## Глава VI

### *И так всё на свете!*

В тридцать лет Евгения не испытала еще ни одной радости. Скучные, вялые годы ее юности протекли в сообществе матери, бедной, никем не понятой страдалицы. С радостию покидая земную жизнь, покойница жалела только дочь свою, предугадывая ей годы мучений и горестей. Смерть матери оставила неизгладимые воспоминания в сердце Евгении. Любовь ее, первая, единственная любовь, отравила сердце ее и наполнила его беспредельною грустию. Ее милый явился перед нею на несколько дней; два поцелуя, данные украдкой, скрепили обеты любви; потом он уехал далеко, на край света... Наконец, эта любовь, проклятая отцом Евгении, стоившая ей незабвенной матери, томила, тяготила сердце ее одною болью и горечью, а в будущем едва блистала отдаленною, шаткою надеждою. Евгения устремилась к любви всеми силами своего сердца, и это сердце утомилось без взаимности. В нравственной жизни, так же как и в физической, существует тот же процесс вдыхания и выдыхания; душа требует сочувствия другой души, этой пищи, этого воздуха, необходимого в нравственной жизни; она вдыхает в себя, как аромат, любовь подруги своей, и возвращает эту любовь в прогрессии страсти. Сердце не могло бы жить без этого прекрасного нравственного феномена; оно бы завяло и иссохло в страдании и одиночестве.

Евгения страдала; для нее мало значили ее сокровища, ее несметное богатство. Она жила в будущем идеею, верою, любовию — своей религией. Любовь, как уверяло сердце ее, существовала и в вечности. И семь лет, семь лет любви заняли всю ее жизнь, все надежды, все стремления. Не двадцать миллионов, оставленные отцом ее, были ее сокровищами, но медальон Шарля, но два портрета, висевшие над ее постелью, но бриллианты и золотые вещи его, выкупленные у отца и теперь горделиво блиставшие в великолепном ящике; наконец, наперсток покойницы матери, подаренный Шарлем. И каждый день садилась Евгения за работу, за нескончаемую работу свою только для того, чтобы подержать на пальцах этот наперсток...

Так как истинное благочестие Евгении было всем известно, то и не было вероятно, чтобы она захотела во время траура помышлять о замужстве, и потому Крюшо, предводимые своим аббатиком, удовольствовались только тем, что мало-помалу сомкнули тесный круг около богатой наследницы.

Каждый вечер зала Евгении наполнялась ревностнейшими крюшотистами, которые все истощались в поклонах, искательствах и лести. У ней был доктор из этой партии, кассир, капеллан, наперсница, первый министр, и, главное, секретарь, секретарь, важнейшая особа ее штата. Лесть есть удел интересанов, низких или маленьких душ, которые обыкновенно весьма охотно уменьшаются до какой угодно величины, если это только бывает нужно.

Лица, окружавшие Евгению Гранде, возвеличили ее, называя госпожою де Фруафонд, хваля ее в глаза и превознося всегда и везде. Сначала Евгения краснела, обданная вдруг нежданным потоком лести; но так как говорится, что какова бы ни была лесть, груба ли, тонка ли она, но *в сердце льстец всегда отыщет уголок*, то и Евгения мало-помалу привыкла к похвалам как к должной дани. И если бы теперь ей сказали, что она дурна собою, то, верно, она не приняла бы этого так хладнокровно, как прежде, восемь лет назад. Кончилось тем, что сердце Евгении не возмущалось более против грубой лести всех ее окружавших и что она принимала должную дань своим миллионам.

Героем и главным лицом в толпе искателей был президент де Бонфон. Партия превознесла его до небес, вывела из ничтожества, создала его. Замечали при всём этом, что президент весьма небеден; что одно поместье Бонфон приносит ему 10 000 дохода, прибавляли также, что все поместья Крюшо находятся посреди земель Евгении.

— Знаете ли сударыня, — говорил кто-то Евгении, — у Крюшо троих вместе сорок тысяч ливров доходу?

— Да, правда; но они-таки бережливы и умеют жить, — отвечала отчаянная крюшотистка, девица де Грибокур.

— Кто-то, парижанин, предлагал нотариусу купить его контору; давали 200 000 франков. Он продает, ежели его выберут мирным судьею.

— Нет, кажется, он займет место президента в суде первой инстанции, место своего племянника, а племянник будет советником, потом и старшим президентом; это очевидно, он на прекрасной дороге.

Это было мнением госпожи Дорсонваль, тоже, как видно, отчаянной крюшотистки.

— Да, прекрасный человек президент, — заключал кто-то.

— Не находите ли и вы, сударыня?

Президент тоже действовал, сам, в свою очередь. Несмотря на то, что ему уже было под сорок, несмотря на свою неловкую судейскую фигуру, президент щеголял, одевался, как денди, носил трость и не нюхал табаку при Евгении. В гостиной он был как домашний, как друг дома, и, обращаясь к Евгении, всегда говорил «наша милая Евгения».

Впрочем, всё было то же, что и прежде, то же, что было и при жизни стариков Гранде; разве только в том была перемена, что лото заменилось вистом и что стая льстецов и искателей была еще жаднее и многочисленнее, чем когда-нибудь. Если бы Шарль явился теперь из Индии, то встретил бы прежних актеров старой, пошлой, прежней комедии; потому что и госпожа де Грассен не изменила своей роли и по-прежнему тягалась с крюшотистами. Но как и прежде, посреди этих жалких лиц, взор Шарля отыскал бы свою Евгению, светлую, чистую, не запятнанную прикосновением жалкого отребья, ее окружавшего.

Впрочем, президент де Бонфон сделал кой-какие успехи. Знаменитый букет цветов, некогда поднесенный им Евгении, сделался периодическим. Его получали благосклонно, ставили в кружку с водою и потом выбрасывали на задний двор.

В начале весны госпожа де Грассен взволновала крюшотистов, заговорив о маркизе де Фруафонд. Нужно знать, что маркиз разорился вконец и был не прочь от союза с Евгениею. Госпожа де Грассен заговорила о дворе, о почестях, о титлах и, приняв презрительную улыбку Евгении за полусогласие, прозвонила везде, что успех президента еще сомнителен.

— Хоть маркизу и 50 лет, — говорила она, — но на вид он не старее президента. Он беден, вдов, имеет детей, это правда, но он будет пэром Франции, а в наше время не все выходят за пэров Франции. Ведь и покойник Гранде еще думал об этом; я это знаю наверное; он об этом сам поговаривал; старик был хитер...

— Ах, Нанета, ни одного письма, ни одного известия в семь лет! в семь лет! — в отчаянии восклицала Евгения.

Вот что было в Сомюре. Но поговорим о Шарле. Во-первых, он прекрасно продал свой маленький товар в Индии; он получил 6000 долларов. Потом мало-помалу он облегчил свою совесть — от *кой-каких предрассудков* и расчел, что если нужно обогатиться, так уж всего выгоднее торговать неграми. Торговля началась; Шарль был смел, предприимчив, деятелен. Одна мысль, одна идея его преследовала — явиться в Париж с миллионами и блистательнее, чем когда-нибудь.

Мнения его переменились во многом, он заразился скептицизмом. Вера в права и справедливость исчезла из его сердца,

потому что в жизни, которую вел он, поминутно встречалось противное. Сердце его сначала поостыло, потом похолодело, потом окаменело совершенно. В ремесле своем Шарль стал жесток и настойчив. Он торговал китайцами, неграми, птичными гнездами, детьми, женщинами; он не останавливался ни на чем. У пиратов он покупал за бесценок их добычу, а продавал дорого.

Если чистый, небесный образ Евгении и носился перед ним в первые дни странствования, если успех и надежду свою он и приписывал влиянию молитв ее, то и это воспоминание начало мало-помалу бледнеть и исчезать из его сердца. Позднее негритянки, мулатки, белые и черные женщины всех наций, всех цветов, интриги и приключения совершенно изгнали из его памяти и Сомюр, и старый дом, и скамейку под орешником, и поцелуй, похищенный у Евгении. Он припоминал только маленький сад и прогулку со стариком Гранде, минуту, в которую началось его поприще.

Старик Гранде был, по его мнению, старая собака; Шарль помнил, как старик надул его, покупая вещи. Евгения занимала место не в сердце Шарля, а в счетной книге, *как кредиторша шести тысяч франков.*

Вот отчего происходило молчание Шарля. Для безопасности и во избежание грядущих неприятностей Шарль переменил свою фамилию. Он назвался *Шипарром*. Он работал неутомимо; являлся то в Индии, то в Лиссабоне, то в Соединенных Штатах и спешил всеми силами разделаться с этою жизнию, опасною, трудною и почти всегда неправедною. Он наживал свои миллионы как попало, только чтобы нажить. Успел совершенно, и вот в 1826 году он возвращается в Бордо, на прекрасном бриге *Мария Каролина*, принадлежавшем одному богатому торговому дому. Шарль вез с собою три бочонка с золотым песком, ценою на 1 600 000 франков. Он надеялся еще взять по 8 на сто барыша, отдав свое золото на монетный двор в Париже.

Вместе с ним находился на бриге камергер двора Е⟨го⟩ В⟨еличества⟩ Карла X, некто господин д'Обрион, добрый старик, когда-то сделавший глупость, женившись на ветренице и кокетке. Всё его состояние было во французских колониях. Для поправки обстоятельств домашних он ездил за море, продал имение и так же, как и Шарль, возвращался в Париж. У д'Обриона была дочь, дурная собою и без приданого. Девица д'Обрион была сухая, тонкая, длинная, с неправильным ртом и с длинным носом, красневшим после обеда — феномен из человеческой природы, отвратительный на бледном лице этой девушки. Но маркиза д'Обрион, ея мать, сумела хорошо воспитать ее; она хорошо одевалась, кокетничала, умела кстати выставить хорошень-

кую ножку, когда нос начинал краснеть, а чтобы нос не краснел, мать морила дочь свою голодом. Госпожа д'Обрион, находившаяся тоже на бриге вместе с мужем своим, познакомилась с Шарлем и начала осаждать его. Шарль не уклонялся нимало; оба они имели свои выгоды в общем союзе. Явившись в Бордо, а потом и в Париже, Шарль и д'Обрионы поселились в одном отеле, отеле д'Обрионов, который был выкуплен Шарлем из заклада. Согласились и предложили условия. Маркиза потребовала осьмидесяти тысяч ливров доходу, за что обещала выхлопотать у доброго короля Карла X титул маркиза д'Обрион своему будущему зятю, потому что Шарль должен был в заключение жениться на безобразной девице д'Обрион.

— Прекрасно иметь 100 000 доходу, иметь имя, титул, фамилию, являться при дворе и быть камергером, а там посланником и чем угодно. Карл X любит маркиза; они товарищи с детства.

Эти слова пали как семя на добрую землю. И вот Шарль мечтал уже о Сен-Жерменском предместье, куда всякий теснился в то время и где он должен был явиться д'Обрионом, как некогда Шабо явились Роганами. Ослепленный успехом Реставрации, которую он оставил неверною и шаткою, воспламененный честолюбивою эгоисткою, маркизою, он решился употребить все усилия, чтобы достигнуть высших степеней при дворе и насытить свое честолюбие.

Он виделся с Анетой; как женщина, знающая свет, она советовала Шарлю не оставлять принятого намерения и обещала свое содействие. Анета была в восторге: Шарль похорошел, сделался привлекательнее прежнего и женится на уроде — что же было лучше для Анеты?

Де Грассен, узнав о приезде Шарля, о его богатстве и о его будущей женитьбе, явился к нему, чтобы поговорить о 200 000 франках, за которые можно было скупить все векселя покойного отца его. Он застал Шарля в совещании с ювелиром, которому было заказано работы на сто тысяч франков для свадебной корзинки девицы д'Обрион.

Шарль не узнал де Грассена и принял его довольно невежливо, с дерзкою самоуверенностию человека, добившегося в люди, и вдобавок счастливого дуэлиста.

Де Грассен являлся уже в третий раз: в первые два раза ему отказывали. Шарль хладнокровно его выслушал и еще хладнокровнее отвечал:

— Дела и долги моего отца не мои; весьма благодарен вам за всё ваше старание о них, сударь; но позвольте вам объяснить: ежели я и добыл кровавым потом несколько сот тысяч франков,

так вовсе не для того чтобы кормить ими собак, кредиторов моего батюшки.

— Ну, а если вашего батюшку объявят завтра банкрутом?

— Во-первых, милостивый государь, завтра, может быть, я буду маркизом д'Обрион, следовательно, банкрутство батюшки, господина негоцианта Гранде, до меня не касается; а во-вторых, позвольте вам сказать, сударь, что, впрочем, вы очень хорошо сами знаете, что у кого есть сто тысяч франков доходу, у того отец никогда не был банкрутом.

И Шарль, впрочем весьма учтиво, указал господину де Грассену двери.

В один прекрасный день, в начале августа этого года, Евгения сидела в своем маленьком саду, на той скамейке и под тем орешником, где впервые разменялась она обетами любви с Шарлем. Она мечтала о былом, она припоминала все мелочи, все обстоятельства былой любви. Солнце обливало своим светом листья, деревья и старую ветхую стену, склонявшуюся уже в развалины. Вдруг постучались в калитку, явился почталион и вручил мадам Корнулье письмо. Нанета побежала в сад; она держала письмо в руках и издали еще кричала Евгении:

— Письмо, сударыня, письмо! Это то самое, барышня, которого вы так долго дожидались.

Евгения почувствовала сильный удар в своем сердце.

— *Париж*... Это он, он возвратился!

Евгения побледнела, она не распечатывала письма, она боялась его, судьбы, будущего; она не могла читать. Возле нее стояла Нанета, и радость светилась на лице ее.

— Читайте же, сударыня!

— Ах, Нанета, зачем же он пишет из Парижа, когда отправился из Сомюра?

— Читайте, узнаете!

Евгения распечатала письмо дрожащею рукою. Из конверта выпал вексель на имя *госпожи де Грассен и Корре в Сомюре*. Нанета подняла его.

— *Любезная сестрица*... «Как! я уже не Евгения!» — Сердце сжалось у бедной девушки.

— *Вы* — «Да он мне говорил *ты!*»

Она сложила руки, не смотрела на письмо, слезы брызнули из глаз ее.

— Уж не умер ли он? — закричала Нанета.

— Да он не писал бы тогда. — Наконец она прочла:

«Любезная сестрица!

Вы, верно, порадуетесь моему счастию; я возвратился богачом, помня напутствие и наставления покойного дядюшки, о кон-

чине которого уведомил меня господин де Грассен. Что же делать? Смерть неотразима. Я думаю, что вы уже утешились, сестрица; время — чудовище, и я это сам испытываю. Да, сестрица, к несчастию моему, время юношеских порывов уже прошло для меня; на деле изучил я искусство жизни и из дитяти сделался человеком. Вы свободны, я тоже: ничто не мешает осуществить нам наши детские замыслы, но я довольно благороден, чтобы скрывать от вас что-нибудь; я принадлежу еще моим клятвам; помню ваш маленький садик, деревянную скамейку...»

Евгения встала со скамьи как бы испугавшись чего-то и села на ступеньку лесенки, ведущей из сада на двор.

«...деревянную скамейку, где разменялись мы нашими клятвами, коридор, вашу темную залу и мой чердачок, и ту ночь, когда вы так нежно обязали меня. Эти воспоминания питали, поддерживали жизнь мою, и я часто думал о вас; не знаю, думали ли вы обо мне? Смотрели ли вы в урочный час на облака, как мы некогда условились с вами? Да, не правда ли? Да, я не должен изменять дружбе, обманывая вас, сестрица. Вот в чем дело:

Мне предстоит выгодная партия, совершенно оправдывающая все мои надежды. Любовь в замужестве — это несбыточная мечта. Опытность заставила меня подклониться под иго общественных мнений и слушаться ее советов. Во-первых, любезная сестрица, неравенство годов наших в вашу невыгоду; я уже и говорить не буду, что ни привычки, ни образ жизни, ни воспитание ваше не согласны с порядком и правилами парижской жизни. Мне, например, непременно нужно держать открытый дом, принимать общество, а я припоминаю, что вы любите тишину и уединение. Я буду с вами еще откровеннее — вы имеете право судить меня. У меня 60 000 ливров доходу; состояние мое позволяет мне жениться на дочери маркиза д'Обрион. Ей восьмнадцать лет: в приданое она приносит мне титул, имя, почести. Признаюсь вам, сестрица, что я терпеть не могу мою невесту; но у меня и у детей моих будет звание, место в обществе, что довольно выгодно, потому что день ото дня, более и более утверждается престол и возвращаются к прежнему порядку вещей. Через двадцать лет мой сын, маркиз д'Обрион, имея майорат в тридцать тысяч ливров доходу, может занять какую угодно должность в государстве. Мы принадлежим нашим детям, сестрица. Вы видите, я с вами откровенен. Вероятно, вы позабыли наши шалости после семилетней разлуки — время дело великое, — но я не забыл ничего, ни вашей благосклонности, ни своего слова. Но говоря вам о своей женитьбе чисто по расчету, не значит ли, что я совершенно предаю себя вашей воле и что если вы пожелаете, чтоб я отказался от всех надежд моих, то я с радостию буду

довольствоваться одною чистою, истинною любовью, которую, некогда вы сами предложили мне».

— Тап, та, та! Тап, та, ти, та, та, та, тап, топ, туп, — (песенка, которую пел господин Шарль Гранде, подписываясь)

«Любящий брат ваш
Шарль».

— Ах, черт возьми; да и тут еще нужны извинения. Он взял вексель, приложил его к письму и приписал:

«P. S. Прилагаю к письму моему вексель на дом госпожи де Грассен. Его заплатят вам золотом, всего 8100 франков, то есть капитал и проценты суммы, данной некогда вами бедному Шарлю. Я жду из Бордо моей поклажи; там есть кое-какие вещицы, которые вы, верно, не откажете принять от меня в знак памяти. Вы же пришлите мне *по почте* медальон, который я вверил вам при прощании. Адрес мой: Отель д'Обрион, в улице Илери-Бертен».

— *По почте!* — сказала Евгения, — а я тысячу раз жизнию пожертвовала бы за его медальон.

Полное, ужасное сокрушение. Корабль надежд разбился, и не оставалось ни веревки, ни утлой доски для спасения. Всё погибло.

Иная женщина, когда изменяют ей, убивает соперницу в объятиях изменника и сама погибает самоубийством или на эшафоте. Другая терпит, страдает и молчит: это истинная любовь, это любовь оскорбленного ангела, любовь величественная, гордая, любовь питающаяся слезами своими, без жалоб и без роптаний. Так любила и Евгения, и она начала страдать молча. Она вспомнила слова умирающей матери и возвела свой взор к небу; воспоминая пророчество своей матери, Евгения в одно мгновение измерила свою будущность, всю земную жизнь свою; но что оставалось ей на земле?! Оставалось желать смерти, неба, и молиться.

— Страдать и умереть. Матушка сказала правду.

Она пошла тихими шагами в дом, но не через коридор, как всегда она делывала; в зале ей приготовлен был завтрак. Фарфоровая чаша, стаканы, сахарница, всё это ее памятники о Шарле... больно от воспоминаний! Куда деваться от них!

Это утро чревато происшествиями. Нанета доложила о приходе духовника Евгении.

Старый священник был родственник Крюшо, и, следовательно, крюшотист. Аббат Крюшо уговорил его поговорить с Евгенией о необходимости вступить в брак, указывая на требования

религии. Евгения думала, что старик пришел за 500-ми франков на бедных, которые, по желанию Евгении, в разные сроки, были выдаваемы на бедных. Нанете приказано было сходить за деньгами; но священник, улыбнувшись, сказал ей:

— Сударыня! я пришел поговорить с вами о бедной девушке, о которой жалеет весь город и которая, заботясь о всех несчастных, но не заботясь о самой себе, не исполняет всех христианских обязанностей.

— Батюшка! я не в состоянии думать о ближнем в эту минуту; я сама очень несчастна и жажду от вас утешений религии, слышать слова Божии и насладиться пищей Христовой.

— Так, сударыня; но, говоря о той бедной девице, мы в то же время будем говорить и об вас. Слушайте: чтобы спасти себя, нужно вам или отречься от мира или жить по законам его.

— Ах! батюшка! Да будет благословен приход ваш в дом мой и поучения ваши; да, я оставлю мир и буду жить для Всевышнего.

— Но много о чем нужно подумать, прежде чем примете одно из двух решений; вам нельзя умереть для общества, вы не должны, не имеете права. Разве не поставила вас судьба быть матерью несчастных, кормить, одевать их, согревать их зимою, давать им работу летом. Ваше огромное богатство — ваш долг, — вы должны отдать его братьям Христовым. Пойти в монахини — значит показать себя себялюбивою. Остаться же старой девушкой тоже невозможно. Вам не управить огромным богатством своим; у вас расхитят его нарасхват. Поверьте мне, дочь моя, супруг для вас необходим. Он необходим для счастия вашего в этой жизни, что будет способствовать вам обрести его и в будущей.

В эту минуту доложили о госпоже де Грассен. Мщение и надежда привели ее к Евгении.

— Сударыня, начала она... но здесь ваш духовник, и я молчу; я хотела говорить о делах житейских, но...

— Сударыня! я уступаю вам, — сказал старый священник.

— О, батюшка! приходите скорее, как можно скорее; мне нужно, я требую вашей помощи.

— Да, бедная Евгения, вы нуждаетесь в ней.

Евгения и священник с изумлением взглянули на госпожу де Грассен.

— Но я уже слышала, Евгения, о вашем братце Шарле, о женитьбе его на девице д'Обрион... Согласитесь, Евгения, что женщина всё узнает, если захочет.

Евгения покраснела и не могла выговорить ни слова. В эту минуту она решилась надевать всегда личину равнодушия в силь-

ных порывах чувств или переворотов судьбы, одним словом, решилась подражать отцу.

— Но я не понимаю вас, сударыня: говорите перед моим почтенным наставником; вы знаете, у меня нет для него ничего скрытного.

— Сударыня, вот что пишет мне господин де Грассен. Читайте.

Евгения прочла следующее письмо:

«Любезный друг!

Уведомляю тебя, что Шарль Гранде воротился из Индии; уже с месяц, как он в Париже...»

— Месяц в Париже! — вскричала Евгения.

«Два раза отказывали мне, прежде чем я мог добраться до этого будущего д'Обриона. Хотя в Париже все толкуют о его женитьбе...»

— Но он писал мне в то время...

Она не докончила; она не вскрикнула, как парижанка: *«шалун!»* Но глубокое презрение изобразилось на лице ее.

«Но этому браку не бывать. Маркиз не отдаст своей дочери за сына банкрута. Я рассказал ему все хитрости, проделки и попечения, посредством которых я и покойник Гранде удерживали кредиторов в повиновении до сих пор. Но мальчишка отвечал мне, неусыпно старавшемуся пять лет о его же выгодах, что „дела и долги моего отца не мои". Ему предлагали векселя за сумму, в сравнении с долгом, маловажную. Но теперь я настою на своем; он законно должен два миллиона — расплатись или отец его банкрут! Я поверил слову этого старого крокодила Гранде, и я заверил им всех кредиторов, но если господин д'Обрион не хочет позаботиться о своей чести, то моя страдает в таком случае. Я объяснюсь с кредиторами. Впрочем, я не буду действовать до тех пор, пока ты не расскажешь всё госпоже Гранде; я имею к ней слишком много уважения, и к тому же, во времена более счастливые, мы мечтали о союзе...»

Евгения отдала письмо, не окончив.

— Благодарю вас, — сказала она госпоже де Грассен, — *мы посмотрим...*

— Я как будто слышу вашего батюшку, когда вы говорите так, любезная Евгения.

— Вы должны отсчитать нам 8100 франков золотом, сударыня, — сказала Нанета.

— Да, госпожа Корнулье, угодно вам будет прийти за ними?

Священник удалился.

Евгения пошла в кабинет своего отца и не выходила оттуда целый день, не слушая Нанеты, упрашивавшей ее сойти вниз

обедать. Она явилась вечером, тогда как стали сбираться ее гости. Никогда темненькая зала в доме Гранде не была так полна, как теперь. Новость о приезде Шарля и об его глупом отказе распространилась по всему городу. Но любопытство гостей не было удовлетворено. На лице Евгении не заметно было ни малейшего следа слез и горести. Кто подходил к ней с постным лицом, желая подделаться под настоящую минуту, того встречала Евгения весело, с улыбкою. Чувство не светилось сквозь ледяную кору приличий и холодной вежливости. В 9 часов обыкновенно кончались партии. В 9 часов все встали из-за ломберных столов, спорили, шумели, расплачивались, и когда вся толпа стала откланиваться, тогда-то кончилась долгая драма неожиданною катастрофою, которая зашумела здесь, в Сомюре, и кругом в четырех префектурах.

— Господин де Бонфон, останьтесь, — сказала Евгения президенту, который брался за трость свою.

Не было никого во всем обществе, кто бы хладнокровно принял такую новость; президент побледнел и принужден был опуститься на стул в сильном волнении.

— Двадцать один миллион президенту, — сказала девица де Грибокур.

— Ясно! господин де Бонфон женится на девице Гранде, — заметила госпожа д'Орсонваль.

— Сударыня, — сказал кроткий аббатик, — это самый лучший выход в нашей нынешней партии.

— И большой шлем к тому же! — заметил старый нотариус.

И всякий прибавил что-нибудь острое и поучительное, всякий отдал должную дань 20-ти миллионам госпожи девицы Гранде.

Наконец пятый акт драмы кончился. Сказать президенту «останьтесь» в глазах целого Сомюра не значило ли обнаружить свое решительное намерение? В маленьких провинциальных городках приличия соблюдаются так строго, что подобный поступок Евгении не мог быть и растолкован в другую сторону.

— Господин президент, — сказала дрожащим голосом Евгения, когда оба остались одни, — я знаю, что вам во мне нравится... Вот вам рука моя. О! — сказала она, видя, что президент становится на колена, — я еще не всё сказала; я не должна обмануть вас. Господин де Бонфон, мое сердце принадлежать вам не может; оно подарит вам только одну дружбу, одну бескорыстную дружбу. Еще: мое богатство и рука моя ваши, но вы мне должны оказать сначала большую услугу.

— Я готов, приказывайте, сударыня.

— Вот два миллиона и несколько сот тысяч франков, — сказала она, вынимая билеты из-за пазухи. — Поезжайте в Париж, не завтра, не в эту ночь, но сию минуту. Отыщите господина де Грассена, узнайте от него число и имена кредиторов моего покойного дяди, соберите их и заплатите весь долг с процентами, по пяти на сто, считая со дня совершения займа, и получите квитанции. Вы знаете эти дела, и я могу на вас положиться; вы благородный человек, и я поверю слову вашему, принимая ваше имя. Мы можем иметь друг к другу доверенность; мы так давно знаем друг друга, что теперь почти родные.

Президент, дрожа от радости, упал к ногам Евгении.

— Я буду вашим рабом, — закричал он.

— Когда вы получите квитанции, сударь, — сказала она, наградив его довольно холодным взглядом, — то отнесите их в Отель д'Обрион, господину Шарлю Гранде, и вручите ему это письмо. Когда вы исполните всё, я сдержу свое слово.

Президент понял очень хорошо, что оскорбленная любовь могла внушить Евгении желание выйти за него замуж. Он не шел, а летел; он трепетал, чтобы как-нибудь не отдумали, чтобы как-нибудь любовники не помирились.

Когда президент вышел, Евгения упала на стул и зарыдала. Всё совершилось.

Президент сел в дилижанс и прибыл в Париж на другой день вечером. На другое утро он явился к де Грассену. Банкир созвал кредиторов к нотариусу, которому вверены были все бумаги по этому делу.

Все явились, и тогда президент де Бонфон от имени фамилии Гранде заплатил капитал и проценты. Кредиторы остолбенели от изумления.

Когда президент получил квитанцию и выдал господину де Грассену пятьдесят тысяч франков в награду за труды от имени Евгении, то отправился в отель д'Обрион. Он нашел Шарля в самом затруднительном положении. Старый маркиз объявил ему начисто, что дочь его никогда не будет за сыном банкрута и что нужно заплатить всем кредиторам Вильгельма Гранде.

Президент вручил ему сначала письмо Евгении, следующего содержания:

«Любезный братец!

Господин президент де Бонфон вручит вам квитанции в уплате всех долгов моего дядюшки. Я слышала, что хотели объявить банкрутство, и подумала, что сыну банкрута как-то неловко жениться на девице д'Обрион. Да, братец, вы правы были, говоря, что я не люблю света и светской жизни; вы правы были тоже, когда говорили, что не ожидаете никаких выгод от союза

со мною. Итак, будьте счастливы под гнётом цепей, добровольно вами на себя налагаемых. Чтобы совершенно упрочить ваше счастие, я возвращаю вам честь вашего дома. Прощайте; будьте уверены, что вы всегда найдете друга в вашей *Евгении Гранде*».

Президент улыбнулся, когда Шарль вскрикнул от удивления, получая квитанции.

— Итак, нам остается только объявить о наших женитьбах, — сказал президент.

— А, вы женитесь на Евгении? О! я весьма рад: это добрая девушка. Но, — почти вскрикнул Шарль, — она, стало быть, богата?

— У ней было, — отвечал насмешливо президент, — три дня назад двадцать один миллион; теперь у ней девятнадцать.

Шарль остолбенел, потерялся, оглупел от удивления...

— Де... де... девятнадцать миллионов!

— Да, сударь, девятнадцать миллионов; соединив имения наши, мы будем получать вместе восемьсот тысяч ливров доходу.

— Послушайте, любезнейший братец, — сказал Шарль, немного оправившись, — мы еще можем побороться с вами.

— Попробуйте, — сказал президент. — Да, я и позабыл было, — прибавил он, — вот вам медальон.

— Так что же, друг мой, — сказала маркиза д'Обрион, вошедши в комнату Шарля, — вы, верно, внимания не обратите на бедняжку маркиза, которому что-то понапела сегодня герцогиня Маржансай. Я даю вам слово, что вы будете д'Обрионом.

— Буду, сударыня, — отвечал Шарль. — Три миллиона долгу были заплачены еще вчера.

— Чистыми деньгами, — закричала маркиза.

— Даже с процентами.

— Какая глупость! Кто это такой? — сказала она на ухо своему зятю, заметив Крюшо.

— Мой стряпчий, — отвечал Шарль.

Она небрежно поклонилась президенту и вышла.

— Мы начинаем уже, — сказал президент, взявшись за шляпу. — Прощайте, братец.

«Он чуть ли не насмехается надо мной, это сомюрское чучело. Хороший удар шпаги, право, был бы для него не лишним уроком».

Президент отправился. Три дня потом, господин де Бонфон объявил о своей женитьбе на девице Евгении Гранде, а шесть месяцев спустя он сделался советником Королевского суда в Анжере.

Уезжая из Сомюра, Евгения приказала вылить из вещей Шарля и из 8000 франков золотом, полученных от него, золо-

тую чашу, которую она подарила в церковь бывшего своего прихода.

Иногда она приезжала из Анжера в Сомюр.

Муж ее, оказавший в одном политическом обстоятельстве много рвения и самоотвержения, был сделан президентом в Палате и, наконец, спустя три года, Первым президентом. Теперь он метил на стул в Палате... А там пэрство... а там...

## *Заключение*

Господин первый президент де Бонфон (наконец-то он избавился от ненавистного прозвания Крюшо) не умел осуществить ни одной из своих блистательных надежд. Восемь дней спустя после своего выбора депутатом Сомюра, он вдруг скоропостижно умер.

Без сомнения, Бог, всегда справедливый и никогда напрасно не карающий, хотел наказать его за коварные и низкие расчеты его на золото Евгении. В свадебном контракте, его же сочинения, находилась статья, по которой каждый из супругов, в случае смерти одного из них, делался прямым, неоспоримым и неограниченным наследником другого, если, разумеется, не будет законных детей.

Евгения, наученная несчастием верному взгляду и тонкому суждению, понимала совершенно своего мужа. Она ясно видела, что тот ждал ее смерти, чтобы поскорее обладать одному страшным богатством Евгении, увеличенным двумя миллионами дяди его, аббата, который наконец в свою очередь предстал перед Бога. Евгения жалела президента. Провидение отмстило ее за низкое поведение президента, слишком свято державшего свое слово, данное бедной девушке, взявшей его в припадке отчаяния. Президенту не хотелось иметь наследника. Ему хотелось почестей и миллионов.

Бог пролил золото и блага земные перед бедным ангелом, которого Он послал на землю заслужить свою долю небесную.

Евгения жила мыслию, молитвами, помогала бедным, утешала несчастных...

Госпожа де Бонфон овдовела в 37 лет от роду. Имение ее считалось в 25-ть миллионов; она еще была хороша, но хороша, как женщина около сорока лет. Черты лица ее нежные, тихие; вокруг нее лучезарный венец благородства, мученичества; она уберегла свою душу от тлетворного дыхания света; но вместе со всем этим в ней заметны сухость и привычки старой девы. Несмотря на свой миллион доходу, она живет так же, как жила

бедняжка Евгения Гранде; топить начинают у ней в те дни, как топили при отце ее. Одета она так же, как и мать ее. Ее бы могли прозвать скупою, если бы не было известно всем, на что употреблялись ее доходы. Она основала несколько школ, богадельню, публичную библиотеку. Церкви Сомюра приходят в цветущее состояние. Все почитают, уважают Евгению. И это благородное сердце не награждено было ни любовью, ни дружбою, ни всем, чего жаждало, просило оно.

— Только ты одна меня любишь, — говорила Нанете Евгения.

Тайно рука этой женщины простерта для врачевания ран жизненных. Она стремится к небу, напутствуемая хором благословений несчастных и слезами благодарности. Великая душа ее уничтожает и покрывает недостатки ее образования и прежние привычки. Вот повесть, вот картина жизни бедного создания, женщины, которая «*не от мира сего*», которая создана была быть нежнейшею супругою и не знала мужа, которая была бы образцом матерей и не насладилась счастием быть матерью.

В судьбе человеческой жизнь Евгении Гранде может считаться образцом страдальческого самоотвержения, кротко противуставшего людям и поглощенного их бурною, нечистою массой. Она вышла... как из руки вдохновенного художника Древней Греции выходит божественная статуя; но во время переезда в чужую землю мрамор упадает в море и навеки скрывается от людских восторгов, похвал и удивления.

# ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

## ПРИНЦИПЫ ПОДАЧИ РЕДАКЦИЙ И ВАРИАНТОВ

Основные принципы подачи отдельных редакций и вариантов (печатных и рукописных) в данном издании таковы:

Рукописный или первопечатный, цензурный и т. п. текст, существенно отличающийся от окончательного (основного) и образующий самостоятельную редакцию, печатается целиком с приведением в подстрочных сносках предшествующих вариантов. В случаях, когда этот текст представляет собой завершенную правкой редакцию, он воспроизводится по последнему слою правки с предшествующими вариантами под строкой. В случаях, когда правка не завершена и содержит не согласующиеся между собой разночтения, окончательный текст не реконструируется, а печатается первоначальный вариант с указанием порядка исправлений под строкой.

Полностью печатаются планы, конспекты, программы и все иные подготовительные материалы, предшествовавшие написанию произведения, а также фрагменты чернового (в некоторых случаях и первопечатного) текста, значительно отличающиеся от окончательного.

В конце воспроизводимого текста каждой рукописной страницы указывается в угловых скобках ее архивный порядковый номер, под которым она значится в рукописи.

Варианты к основному тексту печатаются вслед за указанием отрывка, к которому они относятся, с обозначением слева на поле номеров страниц и строк основного текста. Вслед за цифрой, обозначающей номер строки (или строк), печатается соответствующий отрывок основного текста, правее — после косой черты — предшествующий ему вариант; ряд последующих вариантов обозначается, от самого раннего к самому позднему, буквами *а.*, *б.*, *в.* и т. д.

Если последний (не зачеркнутый в рукописи или вообще окончательный для данного текста) вариант не совпадает с основным текстом, после него ставится знак ◇ (ромбик). В случаях совпадения

последнего варианта с основным текстом указывается предпоследний вариант, а последний опускается. Промежуточный вариант, совпадающий с основным текстом, заменяется словами: *Как в тексте.*

В больших по объему отрывках основного или вариантного текста неварьирующиеся части внутри отрывка опускаются и заменяются знаком ~ (тильда).

Введенные в тексты зачеркнутые в автографах слова заключаются в прямые скобки.

Редакторские добавления недописанных или поврежденных в рукописи слов, восстановленные по догадке (конъектуры), заключаются в ломаные скобки; недописанная часть слова, не поддающаяся раскрытию, обозначается: ⟨...⟩.

Слова, чтение которых предположительно, сопровождаются знаком вопроса в ломаных скобках: ⟨?⟩.

Не разобранные в автографе слова обозначаются: ⟨*нрзб.*⟩; если не разобрано несколько слов, отмечается их число, например: ⟨*2 нрзб.*⟩.

Слова рукописного текста, неудобные для печати, обозначаются тремя черточками (дефисами) в ломаных скобках, независимо от количества букв в слове или выражении.

Варианты, извлеченные из разных источников текста, но совпадающие между собой, приводятся один раз с указанием (в скобках) всех источников текста, где встречается данный вариант.

Рукописные и печатные источники текста каждого произведения обозначаются в разделах «Другие редакции» и «Варианты» сокращенно. Их сокращенные обозначения (сиглы) приводятся в перечне источников текста в начале примечаний к каждому произведению. Те же сокращения применяются для них и в самих примечаниях. Остальные сокращения (названий упоминаемых в томе несколько раз изданий классиков, журналов, мемуаров, литературоведческих работ и т. д.), применяемые в примечаниях, раскрываются в особом списке условных сокращений в конце тома. При ссылках на настоящий том указываются только страницы.

Одну из характерных особенностей записных книжек и рабочих тетрадей Достоевского составляет то, что в них не отделены друг от друга тексты, относящиеся к разным творческим замыслам, как не разделены материалы к художественным и публицистическим произведениям и заметки, сделанные для памяти, записи дневникового (или бытового) назначения. В настоящем издании, ставящем своей задачей не механическое воспроизведение каждой записной и рабочей тетради Достоевского как целостной единицы, но аналитическое воспроизведение отраженных в них творческих замыслов, разные записи рабочих тетрадей писателя разделяются и воспроизводятся в соответствии со своим содержанием не в одном месте, а в разных томах. Так, при воспроизведении черновых набросков «Двойника» в настоящем томе из текста соответствующих страниц записных книжек опущено всё, не относящееся к «Двойнику».

# ДВОЙНИК

## Приключения господина Голядкина

*⟨Журнальная редакция 1846 г.⟩*

### *Глава I*

О том, как проснулся титулярный советник Голядкин. О том, как он снарядил себя и отправился туда, куда ему путь лежал. О том, как оправдывался в собственных глазах своих господин Голядкин и как потом вывел правило, что лучше всего действовать на смелую ногу и с откровенностию, не лишенною благородства. О том, куда наконец заехал господин Голядкин.

Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек не вполне еще уверенный, проснулся ли он совершенно или всё еще спит, наяву ли и в действительности ли всё то, что около него теперь совершается, или продолжение его беспорядочных сонных грез. Вскоре, однако ж, чувства господина Голядкина стали яснее и отчетливее принимать свои привычные, обыденные впечатления. Знакомо глянули на него зелено-грязноватые, закоптелые, пыльные стены его маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное дерево, стол, окрашенный красною краскою, клеенчатый турецкий диван красноватого цвета с зелененькими цветочками и, наконец, вчера впопыхах снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в Шестила-

вочной улице, в четвертом этаже одного весьма большого, капитального дома, в собственной квартире своей. Сделав такое важное открытие, господин Голядкин судорожно закрыл глаза, как бы сожалея о недавнем сне и желая его воротить на минутку. Впрочем, через минуту господин Голядкин одним скачком выпрыгнул из постели своей, вероятно попав наконец в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, не приведенные в надлежащий порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоявшему на комоде. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничьего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале. «Вот бы штука была, — сказал господин Голядкин вполголоса, — вот бы штука была, если б я сегодня манкировал в чем-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь да не так, — прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность; впрочем, покамест недурно; покамест всё идет хорошо». Очень обрадовавшись тому, что всё идет хорошо, господин Голядкин поставил зеркало на прежнее место, а сам, несмотря на то что был босиком и сохранял на себе тот костюм, в котором имел обыкновение отходить ко сну, подбежал к окошку и с большим участием начал что-то отыскивать глазами на дворе дома, на который выходили окна квартиры его. По-видимому, и то, что он отыскал на дворе, совершенно его удовлетворило; лицо его просияло самодовольной улыбкою. Потом, — заглянув, впрочем, сначала за перегородку в каморку Петрушки, своего камердинера, и уверившись, что в ней нет Петрушки, — на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем уголку этого ящика, вынул наконец из-под старых пожелтевших бумаг и кой-какой дряни зеленый истертый бумажник, открыл его осторожно, бережно и с наслаждением заглянул в самый дальный, потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, серененьких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед собою на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. Наконец, он вынул ее, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, и, в сотый раз впрочем, считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и указательным пальцами. «Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями! — окончил он наконец полушепотом. — Семьсот пятьдесят рублей... знатная сумма! Это приятная сумма, — продолжал он дрожащим, немного расслабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно, — это весьма приятная сумма! Хоть кому приятная сумма! Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожною суммою? Такая сумма может да-

леко повести человека... А любопытно было бы знать, куда бы меня, например, могла повести эта сумма, — заключил господин Голядкин, — если б я, например, так, от каких бы то ни было причин, вдруг, по какому там ни есть случаю, вышел в отставку и таким образом остался бы без всяких доходов?» Сделав себе такой важный вопрос, господин Голядкин серьезно задумался. Заметим здесь, кстати, одну маленькую особенность господина Голядкина. Дело в том, что он очень любил иногда делать некоторые романические предположения относительно себя самого; любил пожаловать себя подчас в герои самого затейливого романа, мысленно запутать себя в разные интриги и затруднения и наконец вывести себя из всех неприятностей с честию, уничтожая все препятствия, побеждая затруднения и великодушно прощая врагам своим. Очнувшись от своих размышлений, господин Голядкин с серьезной, значительной миной положил свои деньги в бумажник, бумажник в стол, на прежнее место, и взглянул на часы. Часы приготовлялись бить. Было ровно восемь часов.

«Однако что же это такое? — подумал господин Голядкин, — да где же Петрушка?» Всё еще сохраняя тот же костюм, заглянул он другой раз за перегородку. Петрушки опять не нашлось за перегородкой, а сердился, горячился и выходил из себя лишь один поставленный там на полу самовар, беспрерывно угрожая сбежать, и что-то с жаром, быстро болтал на своем мудреном языке, картавя и шепелявя господину Голядкину, — вероятно, то, что, дескать, возьмите же меня, добрые люди, ведь я совершенно поспел и готов.

«Черти бы взяли! — подумал господин Голядкин. — Эта ленивая бестия может наконец вывесть человека из последних границ; где он шатается?» В справедливом негодовании своем вошел он в переднюю, состоявшую из маленького коридора, в конце которого находилась дверь в сени, крошечку приотворил эту дверь и увидел своего служителя, окруженного порядочной кучкой всякого лакейского, домашнего и случайного сброда. Петрушка что-то рассказывал, прочие слушали. По-видимому, ни тема разговора, ни самый разговор не понравились господину Голядкину. Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату совсем недовольный, даже расстроенный. «Эта бестия ни за грош готова продать человека, а тем более барина, — подумал он про себя, — и продал, непременно продал, пари готов держать, что ни за копейку продал».

— Ну, что?

— Ливрею принесли, сударь.

— Надень и пошел сюда.

Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно донельзя. На нем была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея, с золотыми обсыпавшимися галунами и, по-видимому, шитая на человека ростом на целый аршин выше Петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с галунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакейский меч в кожаных ножнах.

Наконец, для полноты картины, Петрушка, следуя любимому своему обыкновению ходить всегда в неглиже, по-домашнему, был и теперь босиком. Господин Голядкин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался доволен. Ливрея, очевидно, была взята напрокат для какого-то торжественного случая. Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Голядкина.

— Ну, а карета?

— И карета приехала.

— На весь день?

— На весь день. Двадцать пять ассигнацией.

— И сапоги принесли?

— И сапоги принесли.

— Болван! не можешь сказать принесли-с. Давай их сюда.

Изъявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин Голядкин спросил чаю, умываться и бриться. Обрился он весьма тщательно и таким же образом вымылся, хлебнул чаю наскоро и приступил к своему главному, окончательному облачению: надел панталоны почти совершенно новые; потом манишку с бронзовыми пуговками, жилетку с весьма яркими и приятными цветочками; на шею повязал пестрый шелковый галстух и, наконец, натянул вицмундир, тоже новехонький и тщательно вычищенный. Одеваясь, он несколько раз с любовью взглядывал на свои сапоги, поминутно приподымал то ту, то другую ногу, любовался фасоном и что-то всё шептал себе под нос, изредка подмигивая своей думке выразительною гримаскою. Впрочем, в это утро господин Голядкин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счет помогавшего ему одеваться Петрушки. Наконец, справив всё, что следовало, совершенно одевшись, господин Голядкин положил в карман свой бумажник, полюбовался окончательно на Петрушку, надевшего сапоги и бывшего таким образом тоже в совершенной готовности, и, заметив, что всё уже сделано и ждать уже более нечего, торопливо, суетливо, с маленьким трепетанием сердца сбежал с своей лестницы. Голубая извозчичья карета, с какими-то гербами, с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету; непривычным голосом и едва сдерживая дурацкий смех, крикнул: «Пошел!», вскочил на запятки, и всё это, с шумом и громом, звеня и треща, покатилось на Невский проспект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Голядкин судорожно потер себе руки и залился тихим, неслышным смехом, как человек веселого характера, которому удалось сыграть славную штуку и которой штуке он сам рад-радехонек. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменился каким-то странным озабоченным выражением в лице господина Голядкина. Несмотря на то что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал высматри-

вать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. На повороте с Литейной на Невский проспект он вздрогнул от одного самого неприятного ощущения и, сморщась, как бедняга, которому наступили нечаянно на мозоль, торопливо, даже со страхом прижался в самый темный уголок своего экипажа. Дело в том, что он встретил двух сослуживцев своих, двух молодых чиновников того ведомства, в котором сам состоял на службе. Чиновники же, как показалось господину Голядкину, были тоже, с своей стороны, в крайнем недоумении, встретив таким образом своего сотоварища; даже один из них указал пальцем на господина Голядкина. Господину Голядкину показалось даже, что другой кликнул его громко по имени, что, разумеется, было весьма неприлично на улице. Герой наш притаился и не отозвался. «Что за мальчишки! — начал он рассуждать сам с собою. — Ну что же такого тут странного? Человек в экипаже; человеку нужно быть в экипаже, вот он и взял экипаж. Просто дрянь! Я их знаю, — просто мальчишки, которых еще нужно посечь! Им бы только в орлянку при жалованье да где-нибудь потаскаться, вот это их дело. Сказал бы им всем кое-что, да уж только...» Господин Голядкин не докончил и обмер. Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Голядкину, запряженных в щегольские дрожки, быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин, сидевший на дрожках, нечаянно увидев лицо господина Голядкина, довольно неосторожно высунувшего свою голову из окошка кареты, тоже, по-видимому, крайне был изумлен такой неожиданной встречей и, нагнувшись сколько мог, с величайшим любопытством и участием стал заглядывать в тот угол кареты, куда герой наш поспешил было спрятаться. Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения в том служебном месте, в котором числился и господин Голядкин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. «Поклониться иль нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? — думал в неописанной тоске наш герой, — или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! — говорил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз. — Я, я ничего, — шептал он через силу, — я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и только». Скоро, однако ж, дрожки обогнали карету, и магнетизм начальнических взоров прекратился наконец над господином Голядкиным. Однако он все еще краснел, улыбался, что-то бормотал про себя... «Дурак я был, что не отозвался, — подумал он наконец, — следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишенною благородства: дескать, так и так, Андрей Филиппович, тоже приглашен на обед, да и только!» Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул как огонь, на-

хмурил брови и бросил страшный вызывающий взгляд в передний угол кареты, взгляд, так и назначенный с тем, чтоб испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец, вдруг, по вдохновению какому-то, дернул он за снурок, привязанный к локтю извозчика-кучера, остановил карету и приказал поворотить назад на Литейную. Дело в том, что господину Голядкину немедленно понадобилось, для собственного же спокойствия вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу. И хотя с Крестьяном Ивановичем был он знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе, вследствие кой-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник, — скрываться было бы глупо, а знать пациента — его же обязанность. «Так ли, впрочем, будет всё это, — продолжал наш герой, выходя из кареты у подъезда одного пятиэтажного дома в Литейной, возле которого приказал остановить свой экипаж, — так ли будет всё это? Прилично ли будет? Кстати ли будет? Впрочем, ведь что же, — продолжал он, подымаясь на лестницу, переводя дух и сдерживая биение сердца, имевшего у него привычку биться на всех чужих лестницах, — что же? ведь я про свое, и предосудительного здесь ничего не имеется... мне кажется, что ничего не имеется. Скрываться было бы глупо. Я вот таким-то образом и сделаю вид, что я ничего, а что так, мимоездом... Он и увидит, что так тому и следует быть».

Так рассуждая, господин Голядкин поднялся до второго этажа и остановился перед квартирою пятого нумера, на дверях которого помещена была красивая медная дощечка с надписью:

*Крестьян Иванович Рутеншпиц*
*Доктор Медицины и Хирургии.*

Остановившись, герой наш поспешил придать своей физиономии приличный, развязный, не без некоторой любезности вид и приготовился дернуть за снурок колокольчика. Приготовившись дернуть за снурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати рассудил, что не лучше ли завтра и что теперь покамест надобности большой не имеется, совсем никакой не имеется. Но так как господин Голядкин услышал вдруг на лестнице чьи-то шаги, то немедленно переменил новое решение свое и уже так, заодно, впрочем с самым решительным видом, позвонил у дверей Крестьяна Ивановича.

## *Глава II*

О том, каким образом вошел господин Голядкин к Крестьяну Ивановичу. О чем именно он с ним трактовал; как потом прослезился; как потом ясно доказал, что обладает некоторыми и даже весьма значительными добродетелями, необходимыми в практической жизни, и что некоторые люди умеют иногда поднести *коку с соком*, как по пословице говорится; как наконец он попросил позволения удалиться и, выпросив его, вышел, оставив в изумлении Крестьяна Ивановича. Мнение господина Голядкина о Крестьяне Ивановиче.

Доктор медицины и хирургии, Крестьян Иванович Рутешпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми седеющими бровями и бакенбардами, выразительным, сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни, и, наконец, значительным орденом, сидел в это утро у себя в кабинете, в покойных креслах своих, пил кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей, курил сигару и прописывал от времени до времени рецепты своим пациентам. Прописав последний пузырек одному старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив страждущего старичка в боковые двери, Крестьян Иванович уселся в ожидании следующего посещения. Вошел господин Голядкин.

По-видимому, Крестьян Иванович нисколько не ожидал, да и не желал видеть пред собою господина Голядкина, потому что он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже, можно сказать, недовольную мину. Так как, с своей стороны, господин Голядкин почти всегда как-то некстати опадал и терялся в те мгновения, в которые случалось ему абордировать кого-нибудь ради собственных делишек своих, то и теперь, не приготовив первой фразы, бывшей для него в таких случаях настоящим камнем преткновения, сконфузился препорядочно, что-то пробормотал, — впрочем, кажется, извинение, — и, не зная, что далее делать, взял стул и сел. Но, вспомнив, что уселся без приглашения, тотчас же почувствовал свое неприличие и поспешил поправить ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав с занятого им без приглашения места. Потом, опомнившись и смутно заметив, что сделал две глупости разом, решился, нимало не медля, на третью, то есть попробовал было принести оправдание, пробормотал кое-что, улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал и наконец сел окончательно и уже не вставал более, а так только, на всякий случай, обеспечил себя тем же самым вызывающим взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять в прах всех врагов господина Голядкина. Сверх того, этот взгляд вполне выражал независимость господина Голядкина, то есть говорил ясно, что господин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба во всяком случае с краю. Крестьян Иванович кашлянул, крякнул,

по-видимому в знак одобрения и согласия своего на всё это, и устремил инспекторский, вопросительный взгляд на господина Голядкина.

— Я, Крестьян Иванович, — начал господин Голядкин с улыбкою, — пришел вас беспокоить вторично и теперь вторично осмеливаюсь просить вашего снисхождения... — Господин Голядкин очевидно затруднялся в словах.

— Гм... да! — проговорил Крестьян Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол, — но вам нужно предписаний держаться; я ведь вам объяснял, я ведь вам прошедший раз объяснял, что пользование ваше должно состоять в изменении привычек... Ну, развлечения; ну, там, друзей и знакомых должно посещать, а вместе с тем и бутылки врагом не бывать; равномерно держаться веселой компании.

Господин Голядкин, всё еще улыбаясь, поспешил заметить, что ему кажется, что он, как и все, что он у себя, что развлечения у него, как и у всех... что он, конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как и все, средства имеет, что днем он в должности, а вечером у себя, что он совсем ничего; даже заметил тут же мимоходом, что он, сколько ему кажется, не хуже других, что он живет дома, у себя на квартире, и что, наконец, у него есть Петрушка. Тут господин Голядкин запнулся.

— Гм, нет, такой порядок не то, и я вас совсем не то хотел спрашивать. Я вообще знать интересуюсь, что вы большой ли любитель веселой компании, пользуетесь ли весело временем... Ну, там, меланхолический или веселый образ жизни теперь продолжаете?

— Я, Крестьян Иванович...

— Гм, я говорю, — перебил доктор, — что вам нужно коренное преобразование всей вашей жизни иметь и в некотором смысле переломить свой характер. (Крестьян Иванович сильно ударил на слово «переломить» и остановился на минуту с весьма значительным видом.) Не чуждаться жизни веселой; спектакли и клуб посещать и во всяком случае бутылки врагом не бывать. Дома сидеть не годится... вам дома сидеть никак невозможно.

— Я, Крестьян Иванович, люблю тишину, — проговорил господин Голядкин, бросая значительный взгляд на Крестьяна Ивановича и, очевидно, ища слов для удачнейшего выражения мысли своей, — в квартире только я да Петрушка... я хочу сказать, мой человек, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, Крестьян Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой, Крестьян Иванович. Я себе особо и, сколько мне кажется, ни от кого не завишу. Я, Крестьян Иванович, тоже гулять выхожу.

— Как?.. Да! Ну, нынче гулять не составляет никакой приятности; климат весьма нехороший.

— Да-с, Крестьян Иванович. Я, Крестьян Иванович, хоть и смирный человек, как я уже вам, кажется, имел честь объяснить, но дорога моя отдельно идет, Крестьян Иванович. Путь жизни широк... Я хочу... я хочу, Крестьян Иванович, сказать этим... Извините меня, Крестьян Иванович, я не мастер красно говорить.

— Гм... вы говорите...

— Я говорю, чтоб вы меня извинили, Крестьян Иванович, в том, что я, сколько мне кажется, не мастер красно говорить, — сказал господин Голядкин полуобиженным тоном, немного сбиваясь и путаясь. — В этом отношении я, Крестьян Иванович, не так, как другие, — прибавил он с какою-то особенною улыбкою, — и много говорить не умею; придавать слогу красоту не учился. Зато я, Крестьян Иванович, действую; зато я действую, Крестьян Иванович!

— Гм... Как же это... вы действуете? — отозвался Крестьян Иванович. Затем, на минутку, последовало молчание. Доктор как-то странно и недоверчиво взглянул на господина Голядкина. Господин Голядкин тоже в свою очередь довольно недоверчиво покосился на доктора.

— Я, Крестьян Иванович, — стал продолжать господин Голядкин всё в прежнем тоне, немного раздраженный и озадаченный крайним упорством Крестьяна Ивановича, — я, Крестьян Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно уметь паркеты лощить сапогами... (тут господин Голядкин немного пришаркнул по полу ножкой), там это спрашивают-с, и каламбур тоже спрашивают... комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с... вот что там спрашивают. А я этому не учился, Крестьян Иванович, — хитростям этим всем я не учился; некогда было, Крестьян Иванович. Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного нет во мне. В этом, Крестьян Иванович, я полагаю оружие; я кладу его, говоря в этом смысле. — Всё это господин Голядкин проговорил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, что герой наш вовсе не жалеет о том, что кладет в этом смысле оружие и что он хитростям не учился, но что даже совершенно напротив. Крестьян Иванович, слушая его, смотрел вниз с весьма неприятной гримасой в лице и как будто заранее что-то предчувствовал. За тирадою господина Голядкина последовало довольно долгое и значительное молчание.

— Вы, кажется, немного отвлеклись от предмета, — сказал наконец Крестьян Иванович вполголоса, — я, признаюсь вам, не мог вас совершенно понять.

— Я не мастер красно говорить, Крестьян Иванович; я уже вам имел честь доложить, Крестьян Иванович, что я не мастер красно говорить, — сказал господин Голядкин, на этот раз резким и решительным тоном.

— Гм...

— Крестьян Иванович! — начал опять господин Голядкин тихим, но многозначащим голосом, отчасти в торжественном роде и останавливаясь на каждом пункте. — Крестьян Иванович! вошедши сюда, я начал извинениями. Теперь повторяю прежнее и опять прошу вашего снисхождения на время. Мне, Крестьян Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами вы знаете; но, к счастию моему, не жалею о том, что я маленький человек. Даже напротив, Крестьян

Иванович; и, чтоб всё сказать, я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький. Не интригант — а этим тоже горжусь. Действую не втихомолку, а открыто, без хитростей, и хотя бы мог вредить в свою очередь, и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как это сделать, Крестьян Иванович, но не хочу замарать себя и в этом смысле умываю руки мои. В этом смысле, говорю, я их умываю, Крестьян Иванович! — Господин Голядкин на мгновение выразительно замолчал; говорил он с кротким одушевлением.

— Иду я, Крестьян Иванович, — стал продолжать наш герой, — прямо, открыто и без окольных путей, потому что их презираю и предоставляю это другим. Не стараюсь унизить тех, которые, может быть, нас с вами почище... то есть я хочу сказать нас с ними, Крестьян Иванович, нас с ними. Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалую; клеветою и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Крестьян Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, — тому, кого бы вы считали таким? — заключил господин Голядкин, бросив вызывающий взгляд на Крестьяна Ивановича.

Хотя господин Голядкин проговорил всё это донельзя отчетливо, ясно, с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая на вернейший эффект, но между тем с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел теперь на Крестьяна Ивановича. Теперь он обратился весь в зрение и робко, с досадным, тоскливым нетерпением ожидал ответа Крестьяна Ивановича. Но, к изумлению и к совершенному поражению господина Голядкина, Крестьян Иванович что-то пробормотал себе под нос; потом придвинул кресла к столу и довольно сухо, но, впрочем, учтиво объявил ему что-то вроде того, что ему время дорого, что он как-то не совсем понимает; что, впрочем, он, чем может, готов служить, по силам своим, но что всё дальнейшее и до него не касающееся он оставляет. Тут он взял перо, придвинул бумагу, выкроил из нее докторской формы лоскутик и объявил, что тотчас пропишет что следует.

— Нет-с, не следует, Крестьян Иванович! нет-с, это вовсе не следует! — проговорил господин Голядкин, привстав с места и хватая Крестьяна Ивановича за правую руку, — этого, Крестьян Иванович, здесь вовсе не надобно...

А между тем, покамест говорил это всё господин Голядкин, в нем произошла какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то странно блеснули, губы его задрожали, все мускулы, все черты лица его заходили, задвигались. Сам он весь дрожал. Последовав первому движению своему и остановив руку Крестьяна Ивановича, господин Голядкин стоял теперь неподвижно, как будто сам не доверяя себе и ожидая вдохновения для дальнейших поступков.

Тогда произошла довольно странная сцена.

Немного озадаченный, Крестьян Иванович на мгновение будто прирос к своему креслу и, потерявшись, смотрел во все глаза господи-

ну Голядкину, который таким же образом смотрел на него. Наконец Крестьян Иванович встал, придерживаясь немного за лацкан вицмундира господина Голядкина. Несколько секунд стояли они таким образом оба, неподвижно и не сводя глаз друг с друга. Тогда, впрочем необыкновенно странным образом, разрешилось и второе движение господина Голядкина. Губы его затряслись, подбородок запрыгал, и герой наш заплакал совсем неожиданно. Всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левой схватив тоже за лацкан домашней одежды Крестьяна Ивановича, хотел было он говорить и в чем-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец Крестьян Иванович опомнился от своего изумления.

— Полноте, успокойтесь, садитесь! — проговорил он наконец, стараясь посадить господина Голядкина в кресла.

— У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть враги; у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись... — отвечал господин Голядкин боязливо и шепотом.

— Полноте, полноте; что́ враги! не нужно врагов поминать! это совершенно не нужно. Садитесь, садитесь, — продолжал Крестьян Иванович, усаживая господина Голядкина окончательно в кресла.

Господин Голядкин уселся наконец, не сводя глаз с Крестьяна Ивановича. Крестьян Иванович с крайне недовольным видом стал шагать из угла в угол своего кабинета. Последовало долгое молчание.

— Я вам благодарен, Крестьян Иванович, весьма благодарен и весьма чувствую всё, что вы для меня теперь сделали, Крестьян Иванович. По гроб не забуду я ласки вашей, Крестьян Иванович, — сказал наконец господин Голядкин, с обиженным видом вставая со стула.

— Полноте, полноте! я вам говорю, полноте! — отвечал довольно строго Крестьян Иванович на выходку господина Голядкина, еще раз усаживая его на место.

— Ну, что́ у вас? расскажите мне, что́ у вас есть там теперь неприятного, — продолжал Крестьян Иванович, — и о каких врагах говорите вы? Что́ у вас есть там такое?

— Нет, Крестьян Иванович, мы лучше это оставим теперь, — отвечал господин Голядкин, опустив глаза в землю, — лучше отложим всё это в сторону, до времени... до другого времени, Крестьян Иванович, до более удобного времени, когда всё обнаружится, и маска спадет с некоторых лиц, и кое-что обнажится. А теперь, покамест, разумеется, после того, что с нами случилось... вы согласитесь сами, Крестьян Иванович... Позвольте пожелать вам доброго утра, Крестьян Иванович, — сказал господин Голядкин, в этот раз решительно и серьезно вставая с места и хватаясь за шляпу.

— А, ну... как хотите... гм... (Последовало минутное молчание.) — Я, с моей стороны, вы знаете, что могу... и искренно вам добра желаю.

— Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю; я вас совершенно понимаю теперь... Во всяком случае, извините меня, что я вас обеспокоил, Крестьян Иванович.

— Гм... Нет, я вам не то хотел говорить. Впрочем, как угодно. Медикаменты по-прежнему. Продолжайте...

— Буду продолжать медикаменты, как вы говорите, Крестьян Иванович, буду продолжать и в той же аптеке брать буду... Нынче и аптекарем быть, Крестьян Иванович, уже важное дело...

— Как? в каком смысле вы хотите сказать?

— В весьма обыкновенном смысле, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, что нынче так свет пошел...

— Гм...

— И что всякий мальчишка, не только аптекарский, перед порядочным человеком нос задирает теперь.

— Гм. Как же вы это понимаете?

— Я говорю, Крестьян Иванович, про известного человека... про общего нам знакомого, Крестьян Иванович, например хоть про Владимира Семеновича...

— А!..

— Да, Крестьян Иванович; и я знаю некоторых людей, Крестьян Иванович, которые не слишком-то держатся общего мнения, чтоб иногда правду сказать.

— А!.. Как же это?

— Да уж так-с; это, впрочем, постороннее дело; умеют этак иногда поднести коку с соком.

— Что? что поднести?

— Коку с соком, Крестьян Иванович; это пословица русская. Умеют иногда кстати поздравить кого-нибудь, например; есть такие люди, Крестьян Иванович.

— Поздравить?

— Да-с, поздравить, Крестьян Иванович, как сделал на днях один из моих коротких знакомых...

— Один из ваших коротких знакомых... а! как же это? — сказал Крестьян Иванович, внимательно взглянув на господина Голядкина.

— Да-с, один из моих близких знакомых поздравил с чином, с получением асессорского чина, другого весьма близкого тоже знакомого, и вдобавок приятеля, как говорится, сладчайшего друга. Этак к слову пришлось. «Чувствительно, дескать, говорит, рад случаю принести вам, Владимир Семенович, мое поздравление, *искреннее* мое поздравление в получении чина. И тем более рад, что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые ворожат». Тут господин Голядкин плутовски кивнул головой и, прищурясь, посмотрел на Крестьяна Ивановича...

— Гм. Так это сказал...

— Сказал, Крестьян Иванович, сказал, да тут же и взглянул на Андрея Филипповича, на дядю-то нашего нещечка, Владимира Семеновича. Да что мне, Крестьян Иванович, что он асессором сделан? Мне-то что тут? Да жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло. Так-таки и сказал. Дескать, говорю, Владимир Семенович! Я теперь всё сказал; позвольте же мне удалиться.

— Гм...

— Да, Крестьян Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. Да тут, чтоб уж разом двух воробьев одним камнем убить, — как срезал молодца-то на бабушках, — и обращаюсь к Кларе Олсуфьевне (дело-то было третьего дня у Олсуфья Ивановича), — а она только что романс пропела чувствительный, — говорю, дескать, «чувствительно пропеть вы романсы изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердца». И намекаю тем ясно, понимаете, Крестьян Иванович, намекаю тем ясно, что ищут-то теперь не в ней, а подальше...

— А! ну что же он?..

— Лимон съел, Крестьян Иванович, как по пословице говорится.

— Гм...

— Да-с, Крестьян Иванович. Тоже и старику самому говорю, — дескать, Олсуфий Иванович, говорю, я знаю, чем обязан я вам, ценю вполне благодеяния ваши, которыми почти с детских лет моих вы осыпали меня. Но откройте глаза, Олсуфий Иванович, говорю. Посмотрите. Я сам дело начистоту и открыто веду, Олсуфий Иванович.

— А, вот как!

— Да, Крестьян Иванович. Оно вот как...

— Что ж он?

— Да что он, Крестьян Иванович! мямлит; и того, и сего, и я тебя знаю, и что его превосходительство благодетельный человек — и пошел, и размазался... Да ведь что ж? от старости, как говорится, покачнулся порядком.

— А! так вот как теперь!

— Да, Крестьян Иванович. И все-то мы так, чего! старикашка! в гроб смотрит, дышит на ладан, как говорится, а сплетню бабью заплетут какую-нибудь, так он уж тут слушает; без него невозможно...

— Сплетню, вы говорите?

— Да, Крестьян Иванович, заплели они сплетню. Замешал свою руку сюда и наш медведь, и племянник его, наше нещечко; связались они с старухами, разумеется, и состряпали дело. Как бы вы думали? Что они выдумали, чтоб убить человека?..

— Чтоб убить человека?

— Да, Крестьян Иванович, чтоб убить человека, нравственно убить человека. Распустили они... я всё про моего близкого знакомого говорю...

Крестьян Иванович кивнул головою.

— Распустили они насчет его слух... Признаюсь вам, мне даже совестно говорить, Крестьян Иванович...

— Гм...

— Распустили они слух, что он уже дал подписку жениться, что он уже жених с другой стороны... И как бы вы думали, Крестьян Иванович, на ком?

— Право?

— На кухмистерше, на одной неблагопристойной немке, у которой обеды берет; вместо заплаты долгов руку ей предлагает.

— Это они говорят?

— Верите ли, Крестьян Иванович? Немка, подлая, гадкая, бесстыдная немка, Каролина Ивановна, если известно вам...

— Я, признаюсь, с моей стороны...

— Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю и с своей стороны это чувствую...

— Скажите мне, пожалуйста, где вы живете теперь?

— Где я живу теперь, Крестьян Иванович?

— Да... я хочу... вы прежде, кажется, жили...

— Жил, Крестьян Иванович, жил, жил и прежде. Как же не жить! — отвечал господин Голядкин, сопровождая слова свои маленьким смехом и немного смутив ответом своим Крестьяна Ивановича.

— Нет, вы не так это приняли; я хотел с своей стороны...

— Я тоже хотел, Крестьян Иванович, с своей стороны, я тоже хотел, — смеясь, продолжал господин Голядкин. — Но, однако ж, я, Крестьян Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь... пожелать вам доброго утра...

— Гм...

— Да, Крестьян Иванович, я вас понимаю; я вас теперь вполне понимаю, — сказал наш герой, немного рисуясь перед Крестьяном Ивановичем... — Итак, позвольте вам пожелать доброго утра...

Тут герой наш шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем изумлении Крестьяна Ивановича. Сходя с докторской лестницы, он улыбался и радостно потирал себе руки. На крыльце, дохнув свежим воздухом и почувствовав себя на свободе, он даже действительно готов был признать себя счастливейшим смертным и потом прямо отправиться в департамент, — как вдруг у подъезда загремела его карета; он взглянул и всё вспомнил. Петрушка отворял уже дверцы. Какое-то странное и крайне неприятное ощущение охватило всего господина Голядкина. Он как будто бы покраснел на мгновение. Что-то кольнуло его. Он уже стал было заносить свою ногу на подножку кареты, как вдруг обернулся и посмотрел на окна Крестьяна Ивановича. Так и есть! Крестьян Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой свои бакенбарды и довольно любопытно смотрел на героя нашего.

«Этот доктор глуп, — подумал господин Голядкин, забиваясь в карету свою, — крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных лечит, а все-таки... глуп, как бревно». Господин Голядкин уселся, Петрушка крикнул: «Пошел!» — и карета покатилась опять на Невский проспект.

## *Глава III*

О том, на сколько именно рублей сторговал господин Голядкин и на сколько купил. Что доказал он потом двум своим сослуживцам. Что такое частная и что такое официальная жизнь господина Голядкина. О том, как наконец господин Голядкин собирался обедать сан-фасон, как между порядочными людьми говорится, и чем наконец всё это кончилось.

Всё это утро прошло в страшных хлопотах у господина Голядкина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у Гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побежал он под аркаду, в сопровождении Петрушки, и пошел прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по одному виду господина Голядкина, что у него хлопот полон рот и дела страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз с лишком на тысячу пятьсот рублей ассигнациями и выторговав себе в эту же сумму затейливой формы сигарочницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись наконец еще к кое-каким в своем роде полезным и приятным вещицам, господин Голядкин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня прислать за сторгованным, взял нумер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое время и задаточек. После чего он поспешно распростился с недоумевавшим купцом и пошел вдоль по линии, преследуемый целой стаей сидельцев, поминутно оглядываясь назад на Петрушку и тщательно отыскивая какую-то новую лавку. Мимоходом забежал он в меняльную лавочку и разменял всю свою крупную бумагу на мелкую, и хотя потерял на промене, но зато все-таки разменял, и бумажник его значительно потолстел, что, по-видимому, доставило ему крайнее удовольствие. Наконец остановился он в магазине разных дамских материй. Наторговав опять на знатную сумму, господин Голядкин и здесь обещал купцу зайти непременно, взял нумер лавки и, на вопрос о задаточке, опять повторил, что будет в свое время и задаточек. Потом посетил и еще несколько лавок; во всех торговал, приценялся к разным вещицам, спорил иногда долго с купцами, уходил из лавки и раза по три возвращался, — одним словом, оказывал необыкновенную деятельность. Из Гостиного двора герой наш отправился в один известный мёбельный магазин, где сторговал мёбели на шесть комнат, полюбовался одним модным и весьма затейливым дамским туалетом в последнем вкусе и, уверив купца, что пришлет за всем непременно, вышел из магазина, по своему обычаю, с обещанием задаточка, потом заехал еще кое-куда и поторговал кое-что. Одним словом, не было, по-видимому, конца его хлопотам. Наконец всё это, кажется, сильно стало надоедать самому господину Голядкину. Даже и Бог знает по какому случаю стали его терзать ни с того ни с сего угрызения совести. Ни за что бы не согласился он теперь встретиться, например, с Андреем Филипповичем или хоть с Крестьяном Ивановичем. Нако-

нец городские часы пробили три пополудни. Когда господин Голядкин сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалась в действительности лишь одна пара перчаток и стклянка духов в полтора рубля ассигнациями. Так как для господина Голядкина было еще довольно рано, то он и приказал своему кучеру остановиться возле одного известного ресторана на Невском проспекте, о котором доселе он знал лишь понаслышке, вышел из кареты и побежал закусить, отдохнуть и выждать известное время.

Закусив так, как закусывает человек, у которого в перспективе богатый званый обед, то есть перехватив кое-что, чтобы, как говорится, червячка заморить, и выпив одну рюмочку водки, господин Голядкин уселся в креслах и, скромно осмотревшись кругом, мирно пристроился к одной тощей национальной газетке. Прочтя строчки две, он встал, посмотрелся в зеркало, оправился и огладился; потом подошел к окну и поглядел, тут ли его карета... потом опять сел на место и взял газету. Заметно было, что герой наш был в крайнем волнении. Взглянув на часы и видя, что еще только четверть четвертого, следовательно, еще остается порядочно ждать, а вместе с тем и рассудив, что так сидеть неприлично, господин Голядкин приказал подать себе шоколаду, к которому, впрочем, в настоящее время большой охоты не чувствовал. Выпив шоколад и заметив, что время немного подвинулось, вышел он расплатиться. Вдруг кто-то ударил его по плечу.

Он обернулся и увидел пред собою двух своих сослуживцев-товарищей, тех самых, с которыми встретился утром в Литейной, — ребят еще весьма молодых и по летам и по чину. Герой наш был с ними ни то ни се, ни в дружбе, ни в открытой вражде. Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон; дальнейшего же сближения не было, да и быть не могло. Встреча в настоящее время была крайне неприятна господину Голядкину. Он немного поморщился и на минутку смешался.

— Яков Петрович, Яков Петрович! — защебетали оба регистратора, — вы здесь? по какому...

— А! это вы, господа! — перебил поспешно господин Голядкин, немного сконфузясь и скандализируясь изумлением чиновников и вместе с тем короткостию их обращения, но, впрочем, делая развязного и молодца поневоле. — Дезертировали, господа, хе-хе-хе!.. — Тут даже, чтоб не уронить себя и снизойти до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных границах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу; но популярность в этом случае не удалась господину Голядкину, и, вместо прилично короткого жеста, вышло что-то совершенно другое.

— Ну, а что, медведь наш сидит?..

— Кто это, Яков Петрович?

— Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?.. — Господин Голядкин засмеялся и отвернулся к приказчику взять с него сдачу. — Я говорю про Андрея Филипповича, господа, — продолжал он, кончив с приказчиком и на этот раз с весьма серьезным видом об-

ратившись к чиновникам. Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом.

— Сидит еще и вас спрашивал, Яков Петрович, — отвечал один из них.

— Сидит, а! В таком случае пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, а?

— Спрашивал, Яков Петрович; да что это с вами, Яков Петрович, раздушены, распомажены, франтом таким?..

— Так, господа, это так! Полноте... — отвечал господин Голядкин, смотря в сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, что господин Голядкин улыбается, чиновники расхохотались. Господин Голядкин немного надулся.

— Но, однако же, Яков Петрович?..

— Я вам скажу, господа, по-дружески, — отвечал, немного помолчав, наш герой, как будто (так уж и быть) решившись открыть что-то чиновникам, — вы, господа, все меня знаете, но до сих пор знали только с одной стороны. Пенять в этом случае не на кого, и отчасти, сознаюсь, я был сам виноват.

Господин Голядкин сжал губы и значительно взглянул на чиновников. Чиновники снова перемигнулись.

— До сих пор, господа, вы меня знали только отчасти и не совсем... Объясняться теперь и здесь будет не совсем-то кстати. Скажу вам только кое-что мимоходом и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят окольных путей и маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видят прямого человеческого назначения в ловком уменье лощить паркет сапогами. Есть и такие люди, господа, которые не будут говорить, что счастливы и живут вполне, когда, например, на них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, люди, которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают... Я, господа, сказал почти всё; позвольте ж мне теперь удалиться...

Господин Голядкин остановился. Так как господа регистраторы были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне неучтиво покатились со смеха. Господин Голядкин вспыхнул.

— Смейтесь, господа, смейтесь покамест! Поживете — увидите, — сказал он с чувством оскорбленного достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь к дверям.

— Но скажу более, господа, — прибавил он, обращаясь в последний раз к господам регистраторам, — скажу более, господа, — оба вы здесь со мной глаз на глаз. Вот, господа, мои правила: не удастся — креплюсь, удастся — держусь и во всяком случае никого не подкапываю. Не интригант — и этим горжусь. В дипломаты бы я не годился. Говорят еще, господа, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться: но кто здесь охотник, кто птица? Это еще вопрос, господа!

Господин Голядкин красноречиво умолк и с самой значительной миной, то есть подняв брови и сжав губы донельзя, раскланялся с

господами чиновниками и потом вышел, оставя их в крайнем изумлении.

— Куда прикажете? — спросил довольно сурово Петрушка, которому уже наскучило, вероятно, таскаться по холоду, — куда прикажете? — спросил он господина Голядкина, встречая его страшный, всеуничтожающий взгляд, — тот самый взгляд, которым герой наш уже два раза обеспечивал себя в это утро и к которому прибегнул теперь в третий раз, сходя с лестницы.

— К Измайловскому мосту!

— К Измайловскому мосту! Пошел!

«Обед у них начнется не раньше как в пятом или даже в пять часов, — думал господин Голядкин, — не рано ль теперь? Впрочем, ведь я могу и пораньше; да к тому же и семейный обед. Я этак могу сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Отчего же бы мне нельзя сан-фасон? Медведь наш тоже говорил, что будет всё сан-фасон, а потому и я тоже...» Так думал господин Голядкин; а между тем волнение его всё более и более увеличивалось. Заметно было, что он готовился к чему-то весьма хлопотливому, чтоб не сказать более, шептал про себя, жестикулировал правой рукой, беспрерывно поглядывал в окна кареты, так что, смотря теперь на господина Голядкина, право бы никто не сказал, что он сбирается хорошо пообедать, запросто, да еще в своем семейном кругу, — сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Наконец у самого Измайловского моста господин Голядкин указал на один дом; карета с громом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Голядкин послал ей рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что решительно был ни жив ни мертв в эту минуту. Из кареты он вышел бледный, растерянный; взошел на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице.

— Олсуфий Иванович? — спросил он отворившего ему человека.

— Дома-с, то есть нет-с, их нет дома-с.

— Как? что ты, мой милый? Они у себя; я — я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь?

— Как не знать-с! Принимать вас не велено-с.

— Ты... ты, братец... ты, верно, ошибаешься, братец. Это я; ты видишь, что это я. Я, братец, приглашен; я на обед, — проговорил господин Голядкин, сбрасывая шинель и показывая очевидное намерение отправиться в комнаты.

— Позвольте-с, нельзя-с. Не велено принимать-с, вам отказывать велено. Вот как!

Господин Голядкин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась и вошел Герасимыч, старый камердинер Олсуфия Ивановича.

— Вот они, Емельян Герасимович, войти хотят, а я...

— А вы дурак, Алексеич. Ступайте в комнаты, а сюда пришлите подлеца Семеныча. Нельзя-с, — сказал он учтиво, но решительно обращаясь к господину Голядкину. — Никак невозможно-с. Просят извинить-с; не могут принять-с.

— Они так и сказали, что не могут принять? — нерешительно спросил господин Голядкин. — Вы извините, Герасимыч. Отчего же никак невозможно?

— Никак невозможно-с. Я докладывал-с; сказали: проси извинить. Не могут, дескать, принять-с.

— Отчего же? как же это? как... Герасимыч... я...

— Позвольте, позвольте!..

— Однако как же это так? Так нельзя. Доложите... Как же это так? я на обед...

— Позвольте, позвольте!..

— А, ну, впрочем, это дело другое, если извинить просят; но, однако ж, позвольте, Герасимыч, как же это, Герасимыч?

— Позвольте, позвольте! — возразил Герасимыч, весьма решительно отстраняя рукой господина Голядкина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую. Входившие господа были Андрей Филиппович и племянник его, Владимир Семенович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Голядкина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин Голядкин уже решился; он уже выходил из прихожей Олсуфия Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией.

— Я зайду после, Герасимыч; я объяснюсь; я надеюсь, что всё это не замедлит своевременно объясниться, — проговорил он на пороге и отчасти на лестнице...

— Яков Петрович, Яков Петрович!.. — послышался голос последовавшего за господином Голядкиным Андрея Филипповича.

Господин Голядкин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро оборотился к Андрею Филипповичу.

— Что вам угодно, Андрей Филиппович? — сказал он довольно решительным тоном.

—Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?..

— Ничего, Андрей Филиппович, я ничего. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппович, это моя частная жизнь.

— Что такое-с?

— Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь и что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосудительного касательно официальных отношений моих.

— Как! касательно официальных... что?.. что с вами, сударь, такое?

— Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего; дерзкая девчонка, больше ничего...

— Что!.. что?! — Андрей Филиппович почти потерялся от изумления. Господин Голядкин, который доселе, разговаривая с низу лест-

ницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза, — видя, что начальник отделения немного смешался, сделал, почти неведомо себе, шаг вперед. Андрей Филиппович подался назад. Господин Голядкин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Голядкин вдруг быстро поднялся на лестницу. Еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Голядкин остался один. В глазах у него потемнело. Он сбился совсем и стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье, как будто припоминая о каком-то тоже крайне бестолковом обстоятельстве, весьма недавно случившемся. «Эх, эх!» — прошептал он, улыбаясь с натуги. Между тем на лестнице, внизу, послышались голоса и шаги, вероятно новых гостей, приглашенных Олсуфьем Ивановичем. Господин Голядкин отчасти опомнился, поскорее поднял повыше свой енотовый воротник, прикрылся им по возможности и стал, ковыляя, семеня, торопясь и спотыкаясь, сходить с лестницы. Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение. Смущение его было в такой сильной степени, что, вышед на крыльцо, он не подождал и кареты своей, а сам пошел прямо через грязный двор до своего экипажа. Подойдя к своему экипажу и приготовляясь в нем поместиться, господин Голядкин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю или спрятаться хоть в мышиную щелочку вместе с каретой своей. Ему казалось, что всё, что ни есть в доме Олсуфия Ивановича, вот так и смотрит теперь на него из всех окон. Он знал, что непременно тут же на месте умрет, если обернется назад.

— Что ты смеешься, болван? — сказал он скороговоркой Петрушке, который приготовился было его подсадить в карету.

— Да что мне смеяться-то? я ничего; куда теперь ехать?

— Ступай домой, поезжай...

— Пошел домой! — крикнул Петрушка, взмостясь на запятки.

«Экое горло воронье!» — подумал господин Голядкин. Между тем карета уже довольно далеко отъехала за Измайловский мост. Вдруг герой наш из всей силы дернул снурок и закричал своему кучеру немедленно воротиться назад. Кучер поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор к Олсуфию Ивановичу. «Не нужно, дурак, не нужно; назад!» — прокричал господин Голядкин, — и кучер словно ожидал такого приказания. Не возражая ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, выехал снова на улицу.

Домой господин Голядкин не поехал, а, миновав Семеновский мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, герой наш расплатился с извозчиком и таким образом избавился наконец от своего экипажа. Петрушке приказал идти домой и ждать его возвращения. Сам же вошел в трактир, взял особенный нумер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал он себя весьма дурно, а голову свою в полнейшем разброде и в хаосе. Долго ходил он в волнении

по комнате; наконец сел на стул, подпер себе лоб руками и начал всеми силами стараться обсудить и разрешить кое-что относительно настоящего своего положения...

## *Глава IV*

Какой именно обед и какой именно бал давались статским советником Берендеевым. Нечто о пользе черных лестниц. О том, как господин Голядкин показывает, что знаком с бывшим французским министром Виллелем. Мнение господина Голядкина о иезуитах. О том, как господин Голядкин, вспомоществуемый иезуитами, достигает наконец своей цели, как потом ищет средины и социального своего положения и стремится снискать благорасположение хозяина. Как при сем удобном случае вспоминает о безволосых головах и о арабских эмирах. Полька и заключение этой совершенно правдоподобной главы.

День, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, в оно время благодетеля господина Голядкина, — день, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом, таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста и около, — обедом, который походил более на какой-то пир вальтасаровский, чем на обед, — который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, с шампанским-клико, с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновною табелью о рангах, — этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блистательным балом, семейным, маленьким, родственным балом, но все-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. Конечно, я совершенно согласен, такие балы бывают, но редко, весьма редко бывают. Такие балы, более похожие на семейные радости, чем на балы, могут лишь даваться в таких домах, как например дом статского советника Берендеева. Скажу более: я даже сомневаюсь, чтоб у всех статских советников могли даваться такие балы. О, если бы я был поэт! — разумеется, по крайней мере такой, как Гомер или Пушкин; с меньшим талантом соваться нельзя — я бы непременно изобразил вам яркими красками и широкою кистью, о читатели! весь этот высокоторжественный день. Нет, я бы начал свою поэму обедом и особенно бы налег на то поразительное и вместе с тем торжественное мгновение, когда поднялась первая заздравная чаша в честь царицы праздника. Я изобразил бы вам, во-первых, этих гостей, погруженных в благоговейное молчание и ожидание, более похожее на демосфеновское красноречие, чем на молчание. Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными седине своей

орденами, вставшего с места и поднявшего над головою заздравный бокал с искрометным вином, — вином, нарочно привозимым из одного отдаленного королевства, чтоб запивать им подобные мгновения, — вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино. Я изобразил бы вам гостей и счастливых родителей царицы праздника, поднявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филипповичем и устремивших на него полные ожидания очи. Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие... Но, сознаюсь, вполне сознаюсь, не мог бы я изобразить всего торжества — той минуты, когда сама царица праздника, Клара Олсуфьевна, краснея, как вешняя роза, румянцем блаженства и стыдливости, от полноты чувств упала в объятия нежной матери, как прослезилась нежная мать и как зарыдал при сем случае сам отец, маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребления ног на долговременной службе и вознагражденный судьбою за таковое усердие капитальцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью, — зарыдал как ребенок и провозгласил сквозь слезы, что его превосходительство благодетельный человек. Я бы не мог, да, именно не мог бы изобразить вам и неукоснительно последовавшего за сей минутой всеобщего увлечения сердец, — увлечения, ясно выразившегося даже поведением одного юного регистратора (который в это мгновение походил более на статского советника, чем на регистратора), тоже прослезившегося, внимая Андрею Филипповичу. В свою очередь Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, — нет, он казался чем-то другим... я не знаю только, чем именно, но не коллежским советником, нет! Он был выше! Наконец... о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога торжественного, для изображения всех этих прекрасных и назидательных моментов человеческой жизни, как будто нарочно устроенных для доказательства, как иногда торжествует добродетель над неблагонамеренностью, вольнодумством, пороком и завистью! Я ничего не скажу, но молча — что будет лучше всякого красноречия — укажу вам на этого счастливого юношу, вступающего в свою двадцать шестую весну, — на Владимира Семеновича, племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что всё в этом юноше, — который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгодном для него отношении, — всё, начиная с цветущих ланит до самого асессорского, на нем лежавшего чина, всё это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонравие довести человека! Я не буду опи-

сывать, как, наконец, Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента, сослуживец Андрея Филипповича и некогда Олсуфия Ивановича, вместе с тем старинный друг дома и крестный отец Клары Олсуфьевны, — старичок, как лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и проговорил веселые вирши; как он таким приличным забвением приличия, если можно так выразиться, рассмешил до слез целое общество и как сама Клара Олсуфьевна за таковую веселость и любезность поцеловала его, по приказанию родителей. Скажу только, что, наконец, гости, которые после такого обеда, естественно, должны были чувствовать себя друг другу родными и братьями, встали наконец из-за стола; как потом старички и люди солидные, после некоторого времени, употребленного на дружеский разговор и даже на кое-какие, разумеется, весьма приличные и любезные откровенности, чинно прошли в другую комнату и, не теряя золотого времени, разделившись на партии, с чувством собственного достоинства сели за столы, обтянутые зеленым сукном; как дамы, усевшись в гостиной, стали вдруг все необыкновенно любезны и начали разговаривать о разных матерьях; как, наконец, сам высокоуважаемый хозяин дома, лишившийся употребления ног на службе верою и правдою и награжденный за это всем, чем выше упомянуто было, стал расхаживать на костылях между гостями своими, поддерживаемый Владимиром Семеновичем и Кларой Олсуфьевной, и как, вдруг сделавшись тоже необыкновенно любезным, решился импровизировать маленький скромный бал, несмотря на издержки; как для сей цели командирован был один расторопный юноша (тот самый, который за обедом более похож был на статского советника, чем на юношу) за музыкантами; как потом прибыли музыканты в числе целых одиннадцати штук и как, наконец, ровно в половине девятого раздались призывные звуки французской кадрили и прочих различных танцев... Нечего уже и говорить, что перо мое слабо, вяло и тупо для приличного изображения бала, импровизированного необыкновенною любезностью седовласого хозяина. Да и как, спрошу я, как могу я, скромный повествователь весьма, впрочем, любопытных в своем роде приключений господина Голядкина, — как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солидности и солидной любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, — говоря в выгодном для них отношении, — с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резво-игривыми, гомеопатическими, говоря высоким слогом, ножками? Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, веселых и солидных, юношей и степенных, радостных и прилично-туманных, курящих в антрактах между танцами в маленькой отдаленной зеленой комнате трубку и не курящих в антрактах трубки, — кавалеров, имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и фамилью, — кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного и чувством собственного достоинства, — кавалеров, говорящих большею частию на

французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, — кавалеров, разве только в трубочной позволявших себе некоторые любезные отступления от языка высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной короткости, вроде таких, например: «что дескать ты такой-сякой Петька славно польку откалывал», или: «что дескать ты такой-сякой Вася пришпандорил-таки свою дамочку как хотел». На всё это, как уже выше имел я честь объяснить вам, о читатели! недостает пера моего, и потому я молчу. Обратимся лучше к господину Голядкину, единственному, истинному герою весьма правдивой повести нашей.

Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтоб не сказать более, положении. Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь — даже странно сказать — стоит он теперь в сенях, на черной лестнице квартиры Олсуфья Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стоит в уголку, забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь; он, господа, тоже ведь может войти... почему же не войти? Стоит только шагнуть, и войдет, и весьма ловко войдет. Сейчас только, — выстаивая, впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между всяким хламом, дрязгом и рухлядью, — цитовал он, в собственное оправдание свое, одну фразу блаженной памяти французского министра Виллеля, что «всё, дескать, придет своим чередом, если выждать есть сметка». Фразу эту вычитал господин Голядкин когда-то из какой-то книжки, из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел ее себе на память. Фраза, во-первых, очень хорошо шла к настоящему его положению, а во-вторых, чего же не придет в голову человеку, выжидающему счастливой развязки обстоятельств своих почти битые три часа в сенях, в темноте и на холоде? Цитовав, как уже сказано было, весьма кстати фразу бывшего французского министра Виллеля, господин Голядкин тут же, неизвестно только почему, припомнил и о бывшем турецком визире Марцимирисе, равно как и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых читал он тоже когда-то в книжке. Потом пришло ему на память, что иезуиты поставили даже правилом своим считать все средства годящимися, лишь бы цель могла быть достигнута. Обнадежив себя немного подобным историческим пунктом, господин Голядкин сказал сам себе, что, дескать, что́ иезуиты? Иезуиты все до одного были величайшие дураки, что он сам их всех заткнет за пояс, что вот только бы хоть на минуту опустела буфетная (та комната, которой дверь выходила прямо в сени, на черную лестницу, и где господин Голядкин находился теперь), так он, несмотря на всех иезуитов, возьмет да прямо и пройдет сначала из буфетной в чайную, потом в ту

комнату, где теперь в карты играют, а там прямо в залу, где теперь польку танцуют. И пройдет, непременно пройдет, ни на что не смотря пройдет, проскользнет — да и только, и никто не заметит; а там уж он сам знает, что ему делать. Вот в таком-то положении, господа, находим мы теперь героя совершенно правдивой истории нашей, хотя, впрочем, трудно объяснить, что именно делалось с ним в настоящее время. Дело-то в том, что он до сеней и до лестницы добраться умел, по той причине, что, дескать, почему ж не добраться, что все добираются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел... не потому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому что сам не хотел, потому что ему лучше хотелось бы втихомолочку. Вот он, господа, и выжидает теперь тихомолочки, и выжидает ее ровно два часа с половиною. Отчего ж и не выждать? И сам Виллель выжидал. «Да что тут Виллель! — думал господин Голядкин, — какой тут Виллель? А вот как бы мне теперь того... и проникнуть, этак... взять да и проникнуть?.. Эх ты, фигурант ты этакой! — сказал господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею рукою за окоченевшую щеку, — дурашка ты этакой, Голядка ты этакой, — фамилия твоя такова!..» Впрочем, это ласкательство собственной особе своей в настоящую минуту было лишь так себе, мимоходом, без всякой видимой цели. Вот было он сунулся и подался вперед; минута настала; буфетная опустела, и в ней нет никого; господин Голядкин видел всё это в окошко; в два шага очутился он у двери и уже стал отворять ее. «Идти или нет? Ну, идти или нет? Пойду... отчего ж не пойти? Смелому дорога везде!» Обнадежив себя таким образом, герой наш вдруг и совсем неожиданно ретировался за ширмы. «Нет, — думал он, — а ну как войдет кто-нибудь, а ну как войдет? Так и есть, вошли; чего ж я зевал, когда народу-то не было? Этак бы взять да и проникнуть... да и проникнуть! Нет, уж что проникнуть, когда характер у человека такой! Эка ведь тенденция подлая! Струсил, как курица. Струсить-то наше дело, вот оно что! Нагадить-то всегда наше дело: об этом вы нас и не спрашивайте. Вот и стой здесь теперь, как чурбан, да и только! Дома бы чаю теперь выпить чашечку... право, выпить бы чашечку. Оно бы и приятно этак было выпить бы чашечку. Позже прийти, так Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти ли домой? Черти бы взяли всё это! Иду, да и только!» Разрешив таким образом свое положение, господин Голядкин быстро подался вперед, словно пружину какую кто тронул в нем; с двух шагов очутился в буфетной, сбросил шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это всё в уголок, оправился и огладился; потом... потом двинулся в чайную, из чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками; потом... потом... тут господин Голядкин позабыл всё, что вокруг него делается, и прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу.

Как нарочно, в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами. Мужчины сбивались в кружки или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Голядкин не замечал этого ничего.

Видел он только Клару Олсуфьевну; возле нее Андрея Филипповича, потом Владимира Семеновича, да еще двух или трех офицеров, да еще двух или трех молодых людей, тоже весьма интересных, подающих или уже осуществивших, как можно было по первому взгляду судить, кое-какие надежды... Видел он и еще кой-кого. Или нет; он уже никого не видал, ни на кого не глядел... а двигаемый тою же самой пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед; наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдавил ему ногу; кстати уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и еще кой-кого и, не заметив всего этого или, лучше сказать, заметив, но уж так, заодно, не глядя ни на кого, пробираясь всё далее и далее вперед, вдруг очутился перед самой Кларой Олсуфьевной. Без всякого сомнения, глазком не мигнув, он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но что сделано было, того не воротишь... ведь уж никак не воротишь. Что же было делать? Не удастся — держись, а удастся — крепись. Господин Голядкин, уж разумеется, был не интригант и лощить паркет сапогами не мастер... Так уж случилось. К тому же и иезуиты как-то тут подмешались... Но не до них, впрочем, было господину Голядкину! Всё, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как бы по мановению какому, затихло и мало-помалу столпилось около господина Голядкина. Господин Голядкин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал, он не мог смотреть... он ни за что не мог смотреть; он опустил глаза в землю да так и стоял себе, дав себе, впрочем мимоходом, честное слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Голядкин мысленно сказал себе: «Была не была!» — и, к собственному своему величайшему изумлению, совсем неожиданно начал вдруг говорить.

Начал господин Голядкин поздравлениями и приличными пожеланиями. Поздравления прошли хорошо; а на пожеланьях герой наш запнулся. Чувствовал он, что если запнется, то всё сразу к черту пойдет. Так и вышло — запнулся и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом и — и обмер... Всё стояло, всё молчало, всё выжидало; немного подальше зашептало; немного поближе захохотало. Господин Голядкин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину Голядкину таким взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, — если б это было только возможно. Молчание длилось.

— Это более относится к домашним обстоятельствам и к частной жизни моей, Андрей Филиппович, — едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Голядкин, — это не официальное приключение, Андрей Филиппович...

— Стыдитесь, сударь, стыдитесь! — проговорил Андрей Филиппович полушепотом, с невыразимою миной негодования, — прогово-

рил, взял за руку Клару Олсуфьевну и отвернулся от господина Голядкина.

— Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович, — отвечал господин Голядкин также полушепотом, обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе средины и социального своего положения.

— Ну, и ничего, ну, и ничего, господа! ну, что ж такое? ну, и со всяким может случиться, — шептал господин Голядкин, сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошел между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. Рок увлекал его. Господин Голядкин сам это чувствовал, что рок-то его увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность находиться теперь, без нарушения приличий, на прежней стоянке своей в сенях, возле черной лестницы; но так как это было решительно невозможно, то он и начал стараться улизнуть куда-нибудь в уголок да так и стоять себе там — скромно, прилично, особо, никого не затрогивая, не обращая на себя исключительного внимания, но вместе с тем снискав благорасположение гостей и хозяина. Впрочем, господин Голядкин чувствовал, что его как будто бы подмывает что-то, как будто он колеблется, падает. Наконец он добрался до одного уголка и стал в нем как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель, опершись руками на спинки двух стульев, захватив их таким образом в свое полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на сгруппировавшихся около него гостей Олсуфья Ивановича. Ближе всех стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый малой, пред которым господин Голядкин почувствовал себя настоящей букашкой.

— Эти два стула, поручик, назначены: один для Клары Олсуфьевны, а другой для танцующей здесь же княжны Чевчехановой; я их, поручик, теперь для них берегу, — задыхаясь проговорил господин Голядкин, обращая умоляющий взор на господина поручика. Поручик молча и с убийственной улыбкой отворотился. Осекшись в одном месте, герой наш попробовал было попытать счастье где-нибудь с другой стороны и обратился прямо к одному важному советнику с значительным крестом на шее. Но советник обмерил его таким холодным взглядом, что господин Голядкин ясно почувствовал, что его вдруг окатили целым ушатом холодной воды. Господин Голядкин затих. Он решился лучше смолчать, не заговаривать, показать, что он так себе, что он тоже так, как и все, и что положение его, сколько ему кажется по крайней мере, тоже приличное. С этою целью он приковал свой взгляд к обшлагам своего вицмундира, потом поднял глаза и остановил их на одном весьма почтенной наружности господине. «На этом господине парик, — подумал господин Голядкин, — а если снять этот парик, так будет голая голова, точь-в-точь как ладонь моя голая». Сделав такое важное открытие, господин Голядкин вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять с головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего с пророком Мухаммедом, то останется тоже го-

лая, безволосая голова. Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господин Голядкин дошел и до туфлей турецких и тут же кстати вспомнил, что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги. Заметно было, что господин Голядкин отчасти освоился с своим положением. «Вот если б эта люстра, — мелькнуло в голове господина Голядкина, — вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Олсуфьевну. Спасши ее, сказал бы ей: „Не беспокойтесь, сударыня; это ничего-с, а спаситель ваш я". Потом...» Тут господин Голядкин повернул глаза в сторону, отыскивая Клару Олсуфьевну, и увидел Герасимыча, старого камердинера Олсуфия Ивановича. Герасимыч с самым заботливым, с самым официально-торжественным видом пробирался прямо к нему. Господин Голядкин вздрогнул и поморщился от какого-то безотчетного и вместе с тем самого неприятного ощущения. Машинально осмотрелся кругом: ему пришло было на мысль как-нибудь, этак под рукой, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак взять да и стушеваться, то есть сделать так, как будто бы он ни в одном глазу; как будто бы вовсе не в нем было дело. Однако, прежде чем наш герой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним.

— Видите ли, Герасимыч, — сказал наш герой, с улыбочкой обращаясь к Герасимычу, — вы, знаете ли? вы возьмите да и прикажите, — вот видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, — она сейчас упадет: так вы, знаете ли, прикажите поправить ее; она, право, сейчас упадет, Герасимыч...

— Свечка-с? нет-с, свечка прямо стоит-с; а вот вас кто-то там спрашивает-с.

— Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч?

— А уж, право, не знаю-с, кто именно-с. Человек от каких-то-с. Здесь, дескать, находится Яков Петрович Голядкин? Так вызовите, говорит, его по весьма нужному и спешному делу... вот как-с.

— Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь; в этом вы, Герасимыч, ошибаетесь.

— Сумнительно-с...

— Нет, Герасимыч, не сумнительно; тут, Герасимыч, ничего нет сумнительного. Никто меня не спрашивает, Герасимыч, меня некому спрашивать, а я здесь у себя, то есть на своем месте, Герасимыч.

Господин Голядкин перевел дух и осмотрелся кругом. Так и есть! Всё, что ни было в зале, все так и устремились на него взором и слухом в каком-то торжественном ожидании. Мужчины толпились поближе и прислушивались. Подальше тревожно перешептывались дамы. Сам хозяин явился в весьма недальнем расстоянии от господина Голядкина, и хотя по виду его нельзя было заметить, что он тоже в свою очередь принимает прямое и непосредственное участие в обстоятельствах господина Голядкина, потому что всё это делалось на деликатную ногу, но тем не менее всё это дало ясно почувствовать герою повести нашей, что минута для него настала решительная. Господин Голядкин

ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его. Господин Голядкин был в волнении. Господин Голядкин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Герасимычу:

— Нет, мой друг, меня никто не зовет. Ты ошибаешься. Скажу более, ты ошибался и утром сегодня, уверяя меня... осмеливаясь уверять меня, говорю я (господин Голядкин возвысил голос), что Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца родительского. (Господин Голядкин самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слезы.) Повторяю, мой друг, — заключил наш герой, — ты ошибался, ты жестоко, непростительно ошибался...

Минута была торжественная. Господин Голядкин чувствовал, что эффект был вернейший. Господин Голядкин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий Олсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение; даже сам непоколебимый и ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумнительно-с»... как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку. Всё пропало, всё на ветер пошло. Господин Голядкин вздрогнул. Герасимыч отшатнулся назад, всё, что ни было в зале, заволновалось, как море, и Владимир Семенович уже несся в первой паре с Кларой Олсуфьевной, а красивый поручик с княжной Чевчехановой. Зрители с любопытством и восторгом теснились взглянуть на танцующих польку — танец интересный, новый, модный, круживший всем головы. Господин Голядкин был на время забыт. Но вдруг всё заволновалось, замешалось, засуетилось; музыка умолкла... случилось странное происшествие. Утомленная танцем, Клара Олсуфьевна, едва переводя дух от усталости, с пылающими щеками и глубоко волнующеюся грудью упала наконец в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили наперерыв приветствовать ее и благодарить за оказанное удовольствие, — вдруг перед нею очутился господин Голядкин. Господин Голядкин был бледен, крайне расстроен; казалось, он тоже был в каком-то изнеможении, он едва двигался. Он отчего-то улыбался, он просительно протягивал руку. Клара Олсуфьевна в изумлении не успела отдернуть руки своей и машинально встала на приглашение господина Голядкина. Господин Голядкин покачнулся вперед, сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся... Клара Олсуфьевна вскрикнула; все бросились освобождать ее руку из руки господина Голядкина, и разом герой наш был оттеснен толпою едва ли не на десять шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Послышался визг и крик двух старух, которых господин Голядкин едва не опрокинул в ретираде. Смятение было ужасное; всё спрашивало, всё кричало, всё рассуждало. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально, отчасти улыбаясь, что-то бор-

мотал про себя, что, «дескать, отчего ж и нет и что, дескать, полька, сколько ему по крайней мере кажется, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам... Но что если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться». Но согласия господина Голядкина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какою-то особенною заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец он заметил, что идет прямо к дверям. Господин Голядкин хотел было что-то сказать, что-то сделать... Но нет, он уже ничего не хотел. Он только машинально отсмеивался. Наконец он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу; что — наконец он почувствовал себя в сенях, в темноте и на холоде, наконец и на лестнице. Наконец он споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было вскрикнуть — и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него, он на минутку приостановился; в самое это мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. Господин Голядкин вдруг вспомнил всё; казалось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят...

## *Глава V*

### Совершенно необъяснимое происшествие.

На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь, когда господин Голядкин вне себя выбежал на набережную Фонтанки, близ самого Измайловского моста, спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, на него занесенных, от крика встревоженных старух, от оханья и аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея Филипповича. Господин Голядкин был убит, — убит вполне, в полном смысле слова, и если сохранил в настоящую минуту способность бежать, то единственно по какому-то чуду, по чуду, которому он сам, наконец, верить отказывался. Ночь была ужасная, ноябрьская, — мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов — одним словом, всеми дарами петербургского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки и задорно потрогивая тощие фонари набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям тоненьким, пронзительным скрипом, что составляло бесконечный, пискливый, дребезжащий концерт, весьма знакомый каждому петербургскому жителю. Шел дождь и снег разом. Прорываемые ветром струи дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, словно из пожарной трубы, и кололи и секли лицо несчастного господина Голядкина, как тысячи булавок и шпилек. Среди ночного безмолвия, прерыва-

емого лишь отдаленным гулом карет, воем ветра и скрипом фонарей, уныло слышались хлест и журчание воды, стекавшей со всех крыш, крылечек, желобов и карнизов на гранитный помост тротуара. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, да казалось, что и быть не могло в такую пору и в такую погоду. Итак, один только господин Голядкин, один с своим отчаянием, трусил в это время по тротуару Фонтанки своим обыкновенным мелким и частым шажком, спеша добежать как можно скорее в свою Шестилавочную улицу, в свой четвертый этаж, к себе на квартиру.

Хотя снег, дождь и всё то, чему даже и имени не бывает, когда разыграется вьюга и хмара под петербургским ноябрьским небом, разом, вдруг атаковали и без того убитого несчастиями господина Голядкина, не давая ему ни малейшей пощады и отдыха, пронимая его до костей, залепляя глаза, продувая со всех сторон, сбивая с пути и с последнего толка, хоть всё это разом опрокинулось на господина Голядкина, как бы нарочно сообщась и согласясь со всеми врагами его отработать ему денек, вечерок и ночку на славу, — несмотря на всё это, господин Голядкин остался почти нечувствителен к этому последнему доказательству гонения судьбы: так сильно потрясло и поразило его всё происшедшее с ним несколько минут назад у господина статского советника Берендеева! Если б теперь посторонний, неинтересованный какой-нибудь наблюдатель взглянул бы так себе, сбоку, на тоскливую побежку господина Голядкина, то и тот бы разом проникнулся всем страшным ужасом его бедствий и непременно сказал бы, что господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет. Да! оно было действительно так. Скажем более: господин Голядкин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимал ничего, что вокруг него делается, и смотрел так, как будто бы для него не существовало на самом деле ни неприятностей ненастной ночи, ни долгого пути, ни дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой непогоды. Калоша, отставшая от сапога с правой ноги господина Голядкина, тут же и осталась в грязи и снегу, на тротуаре Фонтанки, а господин Голядкин и не подумал воротиться за нею и не приметил пропажи ее. Он был так озадачен, что несколько раз, вдруг, несмотря ни на что окружающее, проникнутый вполне идеей своего недавнего страшного падения, останавливался неподвижно, как столб, посреди тротуара; в это мгновение он умирал, исчезал; потом вдруг срывался как бешеный с места и бежал, бежал без оглядки, как будто спасаясь от чьей-то погони, от какого-то еще более ужасного бедствия... Действительно, положение было ужасное!.. Наконец, в истощении сил, господин Голядкин остановился, оперся на перила набережной в положении человека, у которого вдруг, совсем неожиданно, потекла носом кровь, и пристально стал смотреть на мутную, черную воду Фонтанки. Неизвестно, сколько именно времени проведено было им

в этом занятии. Известно только, что в это мгновение господин Голядкин дошел до такого отчаяния, так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа, что позабыл обо всем: и об Измайловском мосте, и о Шестилавочной улице, и о настоящем своем... Что ж в самом деле? ведь ему было всё равно? дело сделано, кончено, решение скреплено и подписано; что ж ему?.. Вдруг... вдруг он вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага на два в сторону. С неизъяснимым беспокойством начал он озираться кругом; но никого не было, ничего не случилось особенного, — а между тем... между тем ему показалось, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь, около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной, и — чудное дело! — даже что-то сказал ему, что-то скоро сказал, отрывисто, не совсем понятно, но о чем-то весьма к нему близком, до него относящемся. «Что ж, это мне почудилось, что ли? — сказал господин Голядкин, еще раз озираясь кругом. — Да я-то где же стою?.. Эх, эх!» — заключил он, покачав головою, а между тем с беспокойным, тоскливым чувством, даже со страхом стал вглядываться в мутную, влажную даль, напрягая всеми силами зрение и всеми силами стараясь пронзить близоруким взором своим мокрую средину, перед ним расстилавшуюся. Однако ж ничего не было нового, ничего особенного не бросилось в глаза господину Голядкину. Казалось, всё было в порядке, как следует, то есть снег валил еще сильнее, крупнее и гуще; на расстоянии двадцати шагов не было видно ни зги; фонари скрипели еще пронзительнее прежнего, и ветер, казалось, еще плачевнее, еще жалостнее затягивал тоскливую песню свою, словно неотвязчивый нищий, вымаливающий медного гроша на свое пропитание. «Эх, эх! да что ж это со мною такое?» — повторил опять господин Голядкин, пускаясь снова в дорогу и всё слегка озираясь кругом. А между тем какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина: тоска не тоска, страх не страх... лихорадочный трепет пробежал по жилам его. Минута была невыносимо неприятная! «Ну, ничего, — проговорил он, чтоб себя ободрить, — ну, ничего; может быть, это и совсем ничего и чести ничьей не марает. Может быть, оно так и надобно было, — продолжал он, сам не понимая, что говорит, — может быть, всё это в свое время устроится к лучшему, и претендовать будет не на что, и всех оправдает». Таким образом говоря и словами себя облегчая, господин Голядкин отряхнулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившие густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстух, на сапоги и на всё, — но странного чувства, странной темной тоски своей всё еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. «Эка погодка, — подумал герой наш, — чу! не будет ли наводнения? видно, вода поднялась слишком сильно». Только что сказал или подумал это господин Голядкин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего, тоже, вероятно, как и он, по какому-нибудь там случаю запоздалого. Дело бы, кажется,

пустое, случайное; но неизвестно почему господин Голядкин смутился и даже струсил, потерялся немного. Не то чтоб он боялся недоброго человека, а так, может быть... «Да и кто его знает, этого запоздалого, — промелькнуло в голове господина Голядкина, — может быть, и он то же самое, может быть, он-то тут и самое главное дело, и недаром идет, а с целью идет, дорогу мою переходит и меня задевает». Может быть, впрочем, господин Голядкин и не подумал именно этого, а так только ощутил мгновенно что-то подобное и весьма неприятное. Думать-то и ощущать, впрочем, некогда было; прохожий уже был в двух шагах. Господин Голядкин тотчас, по всегдашнему обыкновению своему, поспешил принять вид совершенно особенный, вид, ясно выражавший, что он, Голядкин, сам по себе, что он ничего, что дорога для всех довольно широкая и что ведь он, Голядкин, сам никого не затрогивает. Вдруг он остановился, как вкопанный, как будто молнией пораженный, и быстро потом обернулся назад, вслед прохожему, едва только его минувшему, — обернулся с таким видом, как будто что его дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер. Прохожий быстро исчезал в снежной метелице. Он тоже шел торопливо, тоже, как и господин Голядкин, был одет и укутан с головы до ног и так же, как и он, дробил и семенил по тротуару Фонтанки частым, мелким шажком, немного с притрусочкой. «Что, что это?» — шептал господин Голядкин, недоверчиво улыбаясь, но, однако ж, дрогнул всем телом. Морозом подернуло у него по спине. Между тем прохожий исчез совершенно, не стало уже слышно и шагов его, а господин Голядкин всё еще стоял и глядел ему вслед. Однако ж наконец он мало-помалу опомнился. «Да что ж это такое, — подумал он с досадою, — что ж это я, с ума, что ли, в самом деле, сошел?» — обернулся и пошел своею дорогою, ускоряя и частя более и более шаги и стараясь уж лучше вовсе ни о чем не думать. Даже и глаза наконец закрыл с сею целью. Вдруг, сквозь завывания ветра и шум непогоды, до слуха его долетел опять шум чьих-то весьма недалеких шагов. Он вздрогнул и открыл глаза. Перед ним опять, шагах в двадцати от него, чернелся какой-то быстро приближавшийся к нему человечек. Человечек этот спешил, частил, торопился; расстояние быстро уменьшалось. Господин Голядкин уже мог даже совсем разглядеть своего нового запоздалого товарища, — разглядел и вскрикнул от изумления и ужаса; ноги его подкосились. Это был тот самый знакомый ему пешеход, которого он, минут с десять назад, пропустил мимо себя и который вдруг, совсем неожиданно, теперь опять перед ним появился. Но не одно это чудо поразило господина Голядкина, — а поражен господин Голядкин был так, что остановился, вскрикнул, хотел было что-то сказать и пустился догонять незнакомца, даже закричал ему что-то, вероятно желая остановить его поскорее. Незнакомец остановился действительно, так, шагах в десяти от господина Голядкина, и так, что свет близ стоявшего фонаря совершенно падал на всю фигуру его, — остановился, обернулся к господину Голядкину и с нетерпеливо-озабоченным видом

ждал, что он скажет. «Извините, я, может, и ошибся», — дрожащим голосом проговорил наш герой. Незнакомец молча и с досадою повернулся и быстро пошел своею дорогою, как будто спеша нагнать потерянные две секунды с господином Голядкиным. Что же касается до господина Голядкина, то у него задрожали все жилки, колени его подогнулись, ослабли, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. Впрочем, действительно, было от чего прийти в такое смущение. Дело в том, что незнакомец этот показался ему теперь как-то знакомым. Это бы еще всё ничего. Но он узнал, почти совсем узнал теперь этого человека. Он его часто видывал, этого человека, когда-то видывал, даже недавно весьма; где же бы это? уж не вчера ли? Впрочем, и опять не в том было главное дело, что господин Голядкин его видывал часто; да и особенного-то в этом человеке почти не было ничего, — особенного внимания решительно ничьего не возбуждал с первого взгляда этот человек. Так, человек был, как и все, порядочный, разумеется, как и все люди порядочные, и, может быть, имел там кое-какие и даже довольно значительные достоинства. Одним словом, был сам по себе человек. Господин Голядкин не питал даже ни ненависти, ни вражды, ни даже никакой самой легкой неприязни к этому человеку, даже напротив, казалось бы, — а между тем (и в этом-то вот обстоятельстве была главная сила), а между тем ни за какие сокровища мира не желал бы встретиться с ним и особенно встретиться так, как теперь, например. Скажем более: господин Голядкин знал вполне этого человека; он даже знал, как зовут его, как фамилия этого человека; а между тем ни за что, и опять-таки ни за какие сокровища в мире, не захотел бы назвать его, согласиться признать, что вот, дескать, его так-то зовут, что он так-то по батюшке и так по фамилии. Много ли, мало ли продолжалось недоразумение господина Голядкина, долго ли именно он сидел на тротуарном столбу, — не могу сказать; но только, наконец, маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки, что силы в нем было; дух его занимался; он споткнулся два раза, чуть не упал — и при этом обстоятельстве осиротел другой сапог господина Голядкина, тоже покинутый своею калошею. Наконец, господин Голядкин сбавил шагу немножко, чтоб дух перевести, торопливо осмотрелся кругом и увидел, что уже перебежал, не замечая того, весь свой путь по Фонтанке, перешел Аничков мост, миновал часть Невского и теперь стоит на повороте в Литейную. Господин Голядкин поворотил в Литейную. Положение его в это мгновение походило на положение человека, стоящего над страшной стремниной, когда земля под ним обрывается, уж покачнулась, уж двинулась, в последний раз колышется, падает, увлекает его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости духа отскочить назад, отвесть свои глаза от зияющей пропасти; бездна тянет его, и он прыгает наконец в нее сам, сам ускоряя минуту своей же погибели. Господин Голядкин знал, чувствовал и был совершенно уверен, что с ним непременно совершится дорогой еще что-то недоброе, что разразится над ним еще ка-

кая-нибудь неприятность, что, например, он встретит опять своего незнакомца; но — странное дело, он даже желал этой встречи, считал ее неизбежною и просил только, чтоб поскорее всё это кончилось, чтоб положение-то его разрешилось хоть как-нибудь, но только б скорее. А между тем он всё бежал да бежал, и словно двигаемый какою-то постороннею силою; ибо во всем существе своем чувствовал какое-то ослабление и онемение; думать ни о чем он не мог, хотя идеи его цеплялись за всё, как терновник. Он понял наконец, что теряется совершенно, что падает в бездну. Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господином Голядкиным и тоже бежала около него бочком, торопливо, поджав хвост и уши, по временам робко и понятливо на него поглядывая. Какая-то далекая, давно уж забытая идея, — воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве, — пришла теперь ему в голову, стучала, словно молоточком, в его голове, досаждала ему, не отвязывалась прочь от него. «Эх, эта скверная собачонка!» — шептал господин Голядкин, сам не понимая себя. Наконец он увидел своего незнакомца на повороте в Итальянскую улицу. Только теперь незнакомец уже шел не навстречу ему, а в ту же самую сторону, как и он, и тоже бежал, несколько шагов впереди. Наконец вошли в Шестилавочную. У господина Голядкина дух захватило. Незнакомец остановился прямо перед тем домом, в котором квартировал господин Голядкин. Послышался звон колокольчика и почти в то же самое время скрип железной задвижки. Калитка отворилась, незнакомец нагнулся, мелькнул и исчез. Почти в то же самое мгновение поспел и господин Голядкин и, как стрелка, влетел под ворота. Не слушая заворчавшего дворника, запыхавшись, вбежал он на двор и тотчас же увидал своего интересного спутника, на минуту потерянного. Незнакомец мелькнул при входе на ту лестницу, которая вела в квартиру господина Голядкина. Господин Голядкин бросился вслед за ним. Лестница была темная, сырая и грязная. На всех поворотах нагромождена была бездна всякого жилецкого хлама, так что чужой, не бывалый человек, попавши на эту лестницу в темное время, принуждаем был по ней с полчаса путешествовать, рискуя сломать себе ноги и проклиная вместе с лестницей и знакомых своих, неудобно так поселившихся. Но спутник господина Голядкина был словно знакомый, словно домашний; взбегал легко, без затруднений и с совершенным знанием местности. Господин Голядкин почти совсем нагонял его; даже раза два или три подол шинели незнакомца ударил его по носу. Сердце в нем замирало. Таинственный человек остановился прямо против дверей квартиры господина Голядкина, стукнул, и (что, впрочем, удивило бы в другое время господина Голядкина) Петрушка, словно ждал и спать не ложился, тотчас отворил дверь и пошел за вошедшим человеком со свечою в руках. Вне себя вбежал в жилище свое герой нашей повести; не снимая шинели и шляпы, прошел он коридорчик и, словно громом пораженный, остановился на пороге своей комнаты. Все предчувствия господина Голядкина сбылись со-

вершенно. Всё, чего опасался он и что предугадывал, совершилось теперь наяву. Дыхание его порвалось, голова закружилась. Незнакомец сидел перед ним, тоже в шинели и в шляпе, на его же постели, слегка улыбаясь, и, прищурясь немного, дружески кивал ему головою. Господин Голядкин хотел закричать, но не мог, — протестовать каким-нибудь образом, но сил не хватило. Волосы встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на месте от ужаса. Да и было от чего, впрочем. Господин Голядкин совершенно узнал наконец своего ночного приятеля. Ночной приятель его был не кто иной, как он сам, — сам господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, — одним словом, что называется, двойник его во всех отношениях . . . . . .

. . . . . .

## *Глава VI*

О том, как господин Голядкин силится объяснить необъяснимое происшествие и как наконец отчасти объясняет его. Решение господина Голядкина. Нечто о сиамских близнецах. О том, как господин Голядкин почти примиряется с сиамскими близнецами и соглашается, между прочим, что Крылов — баснописец великий. Встреча и затруднительное положение господина Голядкина.

На другой день, ровно в восемь часов, господин Голядкин очнулся на своей постели. Тотчас же все необыкновенные вещи вчерашнего дня и вся невероятная, дикая ночь, с ее почти невозможными приключениями, разом, вдруг, во всей ужасающей полноте, явились его воображению и памяти. Такая ожесточенная, адская злоба врагов его и особенно последнее доказательство этой злобы оледенили сердце господина Голядкина. Но и вместе с тем всё это было так странно, непонятно, дико, казалось так невозможным, что действительно трудно было веру дать всему этому делу; господин Голядкин даже сам готов был признать всё это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображения, отемнением ума, если б, к счастию своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба может довести человека, — до чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за честь и амбицию. К тому же разбитые члены господина Голядкина, чадная голова, изломанная поясница и злокачественный насморк сильно свидетельствовали и отстаивали всю вероятность вчерашней ночной прогулки, а частию и всего прочего, приключившегося во время этой прогулки. Да и, наконец, господин Голядкин уже давным-давно знал, что у них там что-то приготовляется, что-то недоброе стряпается, что у них там есть кто-то другой. Ясное и несомненное дело, что всё это было не сон и не бред. Но, однако ж, что же? Хорошенько раздумав, господин Голядкин решился смолчать, покориться и

не протестовать по этому делу до времени. С своей стороны, он твердо уверен был во всей несомненности дела; он только не знал, с чьей именно стороны шел удар. «Да и Бог знает, — думал он, — ведь если так разобрать, так кто их там знает? Может быть, это и совсем ничего; так, может быть, только попугать меня вздумали, а как увидят, что я ничего, не протестую и совершенно смиряюсь, с смирением переношу и стыд свой и горе, так и отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся. Они, может быть, кто их знает, может быть, и добра мне желают. Пройдет! авось на добрых людей нападу!» Таким образом раздумывал господин Голядкин о своем положении и во всяком случае решился ожидать смирно последствий и со временем, потом, когда, например, уже слишком будет угрожать опасность, так только тогда разве идти к его превосходительству.

Так вот такие-то мысли были в голове господина Голядкина, когда он, потягиваясь в постели своей и расправляя разбитые члены, ждал этот раз обычного появления Петрушки в своей комнате. Ждал он уже с четверть часа; слышал, как ленивец Петрушка возится за перегородкой с самоваром, а между тем никак не решался позвать его. Скажем более: господин Голядкин даже немного боялся теперь очной ставки с Петрушкою. «Ведь Бог знает, — думал он, — ведь Бог знает, как теперь смотрит на всё это дело этот мошенник, как он там судит об этом деле по-своему. Он там молчит-молчит, а сам себе на уме». У господина Голядкина даже явилось какое-то тайное, отдаленное подозрение, что, дескать, не с этой ли стороны нужно искать ключа, разрешения загадки. Наконец дверь заскрипела и явился Петрушка с подносом в руках. Господин Голядкин робко на него покосился, с нетерпением ожидая, что будет, ожидая, не скажет ли он наконец чего-нибудь насчет известного обстоятельства. Но Петрушка ничего не сказал, а напротив, был как-то молчаливее, суровее и сердитее обыкновенного, косился на всё исподлобья; вообще видно было, что он чем-то крайне недоволен; даже ни разу не взглянул на своего барина, что, мимоходом сказать, немного кольнуло господина Голядкина; поставил на стол всё, что принес с собой, повернулся и ушел молча за свою перегородку. «Знает, знает, всё знает, бездельник! — ворчал господин Голядкин, принимаясь за чай. — Его бы нужно порасспросить хорошенько, повыведать кое-что от него, этак отдаленно начать, тонким образом, проговориться заставить его. Он, шельма, упрям... да ведь ласковым образом. Этак сначала польстить ему, вот как, и уж после приступить к расспросам». Однако ж герой наш ровно ничего не расспросил у своего человека, хотя Петрушка несколько раз потом входил в его комнату за разными надобностями. В самом тревожном положении духа был господин Голядкин. «Только бы скорее разрешилось-то всё, — думал он, — уж как бы там ни было, а только бы пускай разрешилась-то вся эта кутерьма поскорее». Жутко было еще идти в департамент. Сильное предчувствие было, что вот именно там-то что-нибудь да не так. «Ведь вот пойдешь, — думал он, — да как наткнешься на что-нибудь. Не лучше ли теперь потерпеть? Не

лучше ли теперь подождать? Они там пускай себе как хотят; а я бы сегодня здесь подождал, собрался бы с силами, оправился бы, размыслил получше обо всем этом деле, да потом улучил бы минутку, да всем им как снег на голову, а сам ни в одном глазу». Раздумывая таким образом, господин Голядкин выкуривал трубку за трубкой; время летело, было уже почти половина десятого. «Ведь вот уже половина десятого, — думал господин Голядкин, — и являться-то поздно. Да к тому же я болен, разумеется болен, непременно болен; кто же скажет, что нет? Что мне! А пусть пришлют свидетельствовать, а пусть придет экзекутор; да и что же мне в самом деле? У меня вот спина болит, кашель, насморк; да и наконец, и нельзя мне идти, никак нельзя по этой погоде; я могу заболеть, а потом и умереть, пожалуй; нынче особенно смертность такая...» Такими резонами господин Голядкин успокоил наконец вполне свою совесть и заранее оправдался сам перед собою в нагоняе, ожидаемом от Андрея Филипповича за нерадение по службе. Вообще во всех подобных обстоятельствах крайне любил наш герой оправдывать себя в собственных глазах своих разными неотразимыми резонами и успокоивать таким образом вполне свою совесть. Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, набил ее и, только что начал порядочно раскуривать, быстро вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, натянул на себя вицмундир и всё прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент.

Вошел господин Голядкин в свое отделение робко, с трепещущим ожиданием чего-то весьма нехорошего, — ожиданием хотя бессознательным, темным, но вместе с тем и весьма неприятным; робко присел он на свое всегдашнее место возле столоначальника, Антона Антоновича Сеточкина. Ни на что не глядя, не развлекаясь ничем, вникнул он в содержание лежавших перед ним бумаг. Решился он и дал себе слово как можно сторониться от всего вызывающего, от всего могущего сильно его компрометировать, как-то: от нескромных вопросов, от чьих-нибудь шуточек и неприличных намеков насчет всех обстоятельств вчерашнего вечера; решился даже отстраниться от обычных учтивостей с сослуживцами, то есть вопросов о здоровье и прочее. Впрочем, господин Голядкин знал и ясно понимал, что обстоятельства его плохо идут и что дело проиграно. Вот почему какое-то внутреннее, глубокое беспокойство ни на минуту не оставляло его, но всё глубже и глубже пускало ядовитые корни в душе его и всё более и более разрасталось, так что он, как ни бился, никак не мог войти в свою обычную служебную форму, то есть, отложив попечение о всем постороннем и согнувшись как следует, не отрывая головы от стола, безмятежно, часов пять и более, водить пером по бумаге. Очевидно, что так оставаться было нельзя, невозможно. Беспокойство и неведение о чем-нибудь, близко его задевающем, всегда его мучило более, нежели самое задевающее. И вот почему, несмотря на данное себе слово не входить ни во что, что бы ни делалось, и сторониться от всего, что бы ни было, господин Голядкин изредка, украдкой, тихонько-тихонько приподымал

голову и исподтишка поглядывал на стороны, направо, налево, заглядывал в физиономии своих сослуживцев и по ним уже старался заключить, нет ли чего нового и особенного, до него относящегося и от него с какими-нибудь неблаговидными целями скрываемого. Предполагал он непременную связь всего своего вчерашнего обстоятельства со всем теперь его окружающим, мысленно старался распутать все узлы сомнений своих, проникнуть, раскусить всю интригу и все эти разные закавычки, его окружавшие. Наконец, в тоске своей, он начал желать, чтоб хоть Бог знает как, да только разрешилось бы всё поскорее; хоть и бедой какой-нибудь — нужды нет! а только бы поскорее. Как тут судьба поймала господина Голядкина: не успел он пожелать, как сомнения его вдруг разрешились, но зато самым странным и самым неожиданным образом.

Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула тихо и робко, как бы рекомендуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочем весьма знакомая господину Голядкину, застенчиво явилась перед самым тем столом, за которым помещался герой наш. Герой наш не подымал головы, — нет, он наглядел эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, но уже всё узнал, понял всё, до малейших подробностей. Он сгорел от стыда и уткнул в бумагу свою победную голову, совершенно с тою же самою целью, с которою страус, преследуемый охотником, прячет свою в горячий песок. Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу и вслед за тем послышался голос форменно-ласковый, такой, каким говорят начальники во всех служебных местах с новопоступившими подчиненными. «Сядьте вот здесь, — проговорил Андрей Филиппович, указывая новичку на стол Антона Антоновича, — вот здесь, напротив господина Голядкина, а делом мы вас тотчас займем». Андрей Филиппович заключил тем, что сделал новоприбывшему скорый прилично-увещательный жест, а потом немедленно углубился в сущность разных бумаг, которых перед ним была целая куча.

Господин Голядкин поднял наконец глаза, и если не упал в обморок, то единственно оттого, что уже сперва всё дело предчувствовал, что уже сперва был обо всем предуведомлен, угадав пришельца в душе. Первым движением господина Голядкина было быстро осмотреться кругом, — нет ли там какого шушуканья, не отливается ли на этот счет какая-нибудь острота канцелярская, не искривилось ли чье лицо удивлением, не упал ли, наконец, кто-нибудь под стол от испуга. Но, к величайшему удивлению господина Голядкина, ни в ком не обнаружилось ничего подобного. Поведение господ товарищей и сослуживцев господина Голядкина поразило его. Оно казалось вне здравого смысла. Господин Голядкин даже испугался такого необыкновенного молчания. Существенность за себя говорила; дело было странное, безобразное, дикое. Было от чего шевельнуться. Всё это, разумеется, только мелькнуло в голове господина Голядкина. Сам же он горел на мелком огне. Да и было от чего, впрочем. Всё, что ни ощущал господин Голядкин, вполне оправдывалось обстоятельствами настоящей ми-

нуты. Тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был — ужас господина Голядкина, был — стыд господина Голядкина, был — вчерашний кошмар господина Голядкина, одним словом, был сам господин Голядкин, — не тот господин Голядкин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и с застывшим пером в руке; не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника; не тот, который любит стушеваться и зарыться в толпе; не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает: «Не троньте меня, и я вас трогать не буду», или: «Не троньте меня, ведь я вас не затрогиваю», — нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, — такого же роста, такого же склада, так же одетый, с такой же лысиной, — одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто для совершенного сходства, так что если б взять да поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который именно настоящий Голядкин, а который поддельный, кто старенький и кто новенький, кто оригинал и кто копия.

Герой наш, если возможно сравнение, был теперь в положении человека, над которым забавляется проказник какой-нибудь, для шутки наводя на него исподтишка зажигательное стекло. «Что ж это, сон или нет, — думал господин Голядкин, — настоящее или продолжение вчерашнего? Да как же? по какому же праву всё это делается? кто разрешил такого чиновника, кто дал право на это? Сплю ли я, грежу ли я?» Господин Голядкин попробовал ущипнуть самого себя, даже попробовал вознамериться ущипнуть другого кого-нибудь... Нет, не сон, да и только; он, он сам сидел пред собою, как будто перед ним поставили зеркало. Господин Голядкин почувствовал, что пот с него градом льется, что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное, и по тому самому, к довершению несчастия, неприличное, ибо господин Голядкин понимал и ощущал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым примером. Он даже стал наконец сомневаться в собственном существовании своем, и хотя заранее был ко всему приготовлен и сам желал, чтоб хоть каким-нибудь образом разрешились его сомнения, но самая-то сущность обстоятельства уж конечно стоила неожиданности. Тоска его давила и мучила. Порой он совершенно лишался и смысла и памяти. Очнувшись после такого мгновения, он замечал, что машинально и бессознательно водит пером по бумаге. Не доверяя себе, он начинал поверять всё написанное — и не понимал ничего. Наконец другой господин Голядкин, сидевший до сих пор чинно и смирно, встал и исчез в дверях другого отделения за каким-то делом. Господин Голядкин оглянулся кругом, — ничего, всё тихо; слышен лишь скрип перьев, шум переворачиваемых листов и говор в уголках поотдаленнее от седалища Андрея Филипповича. Господин Голядкин взглянул на Антона Антоновича, и так как, по всей вероятности, физиономия нашего героя вполне отзывалась его настоящим и гармонировала со всем смыслом дела, следовательно, в некотором отношении была весьма замечательна, то добрый Антон Антонович, от-

ложив перо в сторону, с каким-то необыкновенным участием осведомился о здоровье господина Голядкина.

— Я, Антон Антонович, слава Богу, — заикаясь, проговорил господин Голядкин. — Я, Антон Антонович, совершенно здоров; я, Антон Антонович, теперь ничего, — прибавил он нерешительно, не совсем еще доверяя часто поминаемому им Антону Антоновичу.

— А! А мне показалось, что вы нездоровы; впрочем, немудрено, чего доброго! Нынче же особенно всё такие поветрия. Знаете ли...

— Да, Антон Антонович, я знаю, что существуют такие поветрия... Я, Антон Антонович, не оттого, — продолжал господин Голядкин, пристально вглядываясь в Антона Антоновича, — я, видите ли, Антон Антонович, даже не знаю, как вам, то есть, я хочу сказать, с которой стороны за это дело приняться, Антон Антонович...

— Что-с? Я вас... знаете ли... я, признаюсь вам, не так-то хорошо понимаю; вы... знаете, вы объяснитесь подробнее, в каком именно отношении вы здесь затрудняетесь, — сказал Антон Антонович, сам затрудняясь немножко, видя, что у господина Голядкина даже слезы на глазах выступили.

— Я, право... здесь, Антон Антонович... тут — чиновник, Антон Антонович...

— Ну-с! Всё еще не понимаю.

— Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник.

— Да-с, есть-с; однофамилец ваш.

— Как? — вскрикнул господин Голядкин.

— Я говорю: ваш однофамилец; тоже Голядкин. Не братец ли ваш?

— Нет-с, Антон Антонович, я...

— Гм! скажите, пожалуйста, а мне показалось, что, должно быть, близкий ваш родственник. Знаете ли, есть такое, фамильное в некотором роде, сходство.

Господин Голядкин остолбенел от изумления, и на время у него язык отнялся. Так легко трактовать такую безобразную, невиданную вещь, вещь действительно редкую в своем роде, вещь, которая поразила бы даже самого неинтересованного наблюдателя. Говорить о фамильном сходстве тогда, как тут видно, как в зеркале!

— Я, знаете ли, что посоветую вам, Яков Петрович, — продолжал Антон Антонович. — Вы сходите-ка к доктору да посоветуйтесь с ним. Знаете ли, вы как-то *выглядите* совсем нездорово. У вас глаза особенно... знаете, особенное какое-то выражение есть.

— Нет-с, Антон Антонович, я, конечно, чувствую... то есть я хочу всё спросить, как же этот чиновник?

— Ну-с?

— То есть вы не замечали ли, Антон Антонович, чего-нибудь в нем особенного... слишком чего-нибудь выразительного?

— То есть?

— То есть я хочу сказать, Антон Антонович, поразительного сходства такого с кем-нибудь, например, то есть со мной, например.

Вы вот сейчас, Антон Антонович, сказали про фамильное сходство, заметили этак, замечание вскользь сделали... Знаете ли, этак иногда близнецы бывают, то есть совершенно как две капли воды, так что и отличить нельзя? Ну, вот, я про это-с.

— Да-с, — сказал Антон Антонович, немного подумав и как будто в первый раз пораженный таким обстоятельством, — да-с! справедливо-с. Сходство в самом деле разительное, и вы безошибочно рассудили, так что и действительно можно принять одного за другого, — продолжал он, более и более открывая глаза. — И знаете ли, Яков Петрович, это даже чудесное сходство, фантастическое, как иногда говорится, то есть совершенно, как вы... Вы заметили ли, Яков Петрович? Я даже сам хотел просить у вас объяснения, да, признаюсь, не обратил должного внимания сначала. Чудо, действительно чудо! А знаете ли, Яков Петрович, вы ведь не здешний родом, я говорю?

— Нет-с.

— Он также ведь не из здешних. Может быть, из одних с вами мест. Ваша матушка, смею спросить, где большею частию проживала?

— Вы сказали... вы сказали, Антон Антонович, что он не из здешних?

— Да-с, не из здешних мест. А и в самом деле, как же это чудно, — продолжал словоохотливый Антон Антонович, которому поболтать о чем-нибудь было истинным праздником, — действительно способно завлечь любопытство; и ведь как часто мимо пройдешь, заденешь, толкнешь его, а не заметишь, слона-то, как говорится, и не заметишь, Яков Петрович. Впрочем, вы не смущайтесь, этим-то обстоятельством особенным вы не смущайтесь. Это бывает. Это, знаете ли, — вот я вам расскажу,— то же самое случилось с моей тетушкой с матерней стороны; она тоже пред смертию себя вдвойне видела...

— Нет-с, я, — извините, что прерываю вас, Антон Антонович, — я, Антон Антонович, хотел бы узнать, как же этот чиновник, то есть на каком он здесь основании?

— А на место Семена Ивановича покойника, на вакантное место; вакансия открылась, так вот и заместили теперь. Ведь вот, право, сердечный этот Семен-то Иванович покойник троих детей, говорят, оставил мал мала меньше. Вдова падала к ногам его превосходительства. Говорят, впрочем, она таит: у ней есть деньжонки, да она их таит...

— Нет-с, я, Антон Антонович, я вот всё о том обстоятельстве.

— То есть? Ну, да! да что же вы-то так интересуетесь этим? Говорю вам: вы не смущайтесь. Это всё временное отчасти. Что ж? ведь вы сторона; это уж так сам Господь Бог устроил, это уж Его воля была, и роптать на это грешно. На этом Его премудрость видна. А вы же тут, Яков Петрович, сколько я понимаю, не виноваты нисколько. Мало ли чудес есть на свете! Мать-природа щедра; а с вас за это ответа не спросят, отвечать за это не будете. Ведь вот, для примера, кстати сказать, слыхали, надеюсь, как их, как бишь их там, да, сиамские близнецы, срослись себе спинами, так и живут, и едят, и спят вместе; деньги, говорят, большие берут.

— Позвольте, Антон Антонович...

— Понимаю вас, понимаю! Да! ну да, что ж? — ничего! Я говорю, по крайнему моему разумению, что смущаться тут нечего. Что ж? Он чиновник как чиновник, кажется, что деловой человек. Говорит, что Голядкин; не из здешних мест, говорит. Титулярный советник. Лично с его превосходительством объяснялся.

— А ну, как же-с?

— Ничего-с; говорят, что достаточно объяснился, резоны представил; говорит, что вот, дескать, так и так, ваше превосходительство, и что нет состояния, а желаю служить и особенно под вашим лестным начальством... ну, и там всё, что следует, знаете ли, ловко всё выразил. Умный человек, должно быть. Ну, разумеется, явился с рекомендацией; без нее ведь нельзя...

— Ну-с, от кого же-с... то есть я хочу сказать, кто тут именно в это срамное дело руку свою замешал?

— Да-с. Хорошая, говорят, рекомендация; его превосходительство, говорят, посмеялись с Андреем Филипповичем.

— Посмеялись с Андреем Филипповичем?

— Да-с; только так улыбнулись и сказали, что хорошо, и пожалуй, и что они с их стороны не прочь, только бы верно служил...

— Ну-с, дальше-с. Вы меня оживляете отчасти, Антон Антонович; умоляю вас — дальше-с.

— Позвольте, я опять что-то вас... Ну-с, да-с; ну, и ничего-с; обстоятельство немудреное; вы, я вам говорю, не смущайтесь, и сумнительного в этом нечего находить...

— Нет-с. Я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что, его превосходительство ничего больше не прибавили... насчет меня, например?

— То есть как же-с! Да-с! Ну, нет, ничего; можете быть совершенно спокойны. Знаете, оно, конечно, разумеется, обстоятельство довольно разительное и сначала... да вот я, например, сначала я и не заметил почти. Не знаю, право, отчего не заметил до тех пор, покамест вы не напомнили. Но, впрочем, можете быть совершенно спокойны. Ничего особенного, ровно ничего не сказали, — прибавил добренький Антон Антонович, вставая со стула.

— Так вот-с я, Антон Антонович...

— Ах, вы меня извините-с. Я и так о пустяках проболтал, а вот дело есть важное, спешное. Нужно вот справиться.

— Антон Антонович! — раздался учтиво-призывный голос Андрея Филипповича, — его превосходительство спрашивал...

— Сейчас, сейчас, Андрей Филиппович, сейчас иду-с. — И Антон Антонович, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала к Андрею Филипповичу, а потом в кабинет его превосходительства.

«Так как же это? — думал про себя господин Голядкин, — так вот у нас игра какова! Так вот у нас какой ветерок теперь подувает... Это недурно; это, стало быть, наиприятнейший оборот дела приняли. Молодцом, да и только! — говорил про себя герой наш, потирая руки

и не слыша под собою стула от радости. — Так вот оно как! Так дело-то наше обыкновенное дело. Так всё пустячками кончается, ничем разрешается. В самом деле, никто ничего, и не пикнут, разбойники, сидят и делами занимаются; славно, славно! я доброго человека люблю, любил и всегда готов уважать... Впрочем, ведь оно и того, как подумать, этот Антон-от Антонович... доверяться-то страшно: сед чересчур и от старости покачнулся порядком. Самое, впрочем, славное и громадное дело то, что его превосходительство ничего не сказали и так пропустили; оно хорошо! одобряю! Только Андрей-то Филиппович чего ж тут с своими смешками мешается? Ему-то тут что? Старая петля! всегда на пути моем, всегда черной кошкой норовит перебежать человеку дорогу, всегда-то поперек да в пику человеку; человеку-то в пику да поперек...»

Господин Голядкин опять оглянулся кругом и опять оживился надеждой. Чувствовал он, впрочем, что его все-таки смущает одна отдаленная мысль, какая-то недобрая мысль. Ему даже пришло было в голову самому как-нибудь подбиться к чиновникам, забежать вперед зайцем, даже (там как-нибудь при выходе из должности или подойдя как будто бы за делами), между разговором, и намекнуть — что вот, дескать, господа, так и так, вот такое-то сходство разительное, обстоятельство странное, комедия пашквильная — то есть подтрунить самому над всем этим да и сондировать таким образом глубину опасности. «А то ведь в тихом-то омуте черти водятся!» — мысленно заключил наш герой. Впрочем, господин Голядкин это только подумал; зато одумался вовремя. Понял он, что это значит махнуть далеко. «Натура-то твоя такова! — сказал он про себя, щелкнув себя легонько по лбу рукою, — сейчас заиграешь, обрадовался! душа ты правдивая! Нет, уж лучше мы с тобой потерпим, Яков Петрович, подождем да потерпим!» Тем не менее, и как мы уже упомянули, господин Голядкин возродился полной надеждой, точно из мертвых воскрес. «Ничего, — думал он, — словно пятьсот пудов с груди сорвалось! Ведь вот обстоятельство! А ларчик-то просто ведь открывался. Крылов-то и прав, Крылов-то и прав... дока, петля этот Крылов и баснописец великий! А что до того, так пусть его служит, пусть его служит себе на здоровье, лишь бы никому не мешал и никого не затрогивал; пусть его служит, — согласен и аппробую!»

А между тем часы проходили, летели, и незаметно стукнуло четыре часа. Присутствие закрылось; Андрей Филиппович взялся за шляпу, и, как водится, все последовали его примеру. Господин Голядкин помедлил немножко, нужное время, и вышел нарочно позже всех, самым последним, когда уже все разбрелись по разным дорогам. Вышед на улицу, он почувствовал себя точно в раю, так что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Невскому. «Ведь вот судьба! — говорил наш герой, — неожиданный переворот всего дела. И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку, славно уживается с морозом русский человек! Я люблю русского человека. И снежочек и первая пороша, как

сказал бы охотник; вот бы тут зайца по первой пороше! Эхма! да ну, ничего!»

Так-то выражался восторг господина Голядкина, а между тем что-то всё еще щекотало у него в голове, тоска не тоска — а порой так сердце насасывало, что господин Голядкин не знал, чем утешить себя. «Впрочем, подождем-ка мы дня и тогда будем радоваться. А впрочем, ведь что же такое? Ну, рассудим, посмотрим. Ну, давай рассуждать, молодой друг мой, ну, давай рассуждать. Ну, такой же, как и ты, человек, во-первых, совершенно такой же. Ну, да что ж тут такого? Коли такой человек, так мне и плакать? Мне-то что? Я в стороне; свищу себе, да и только! На то пошел, да и только! Пусть его служит! Ну, чудо и странность, там говорят, что сиамские близнецы... Ну, да зачем их, сиамских-то? положим, они близнецы; но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Суворов пел петухом... Ну, да он там это всё из политики; и великие полководцы... да, впрочем, что ж полководцы? А вот я сам по себе, да и только, и знать никого не хочу, и в невинности моей врага презираю. Не интригант, и этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, приятен, незлобив...»

Вдруг господин Голядкин умолк, осекся и как лист задрожал, даже закрыл глаза на мгновение. Надеясь, впрочем, что предмет его страха просто иллюзия, открыл он наконец глаза и робко покосился направо. Нет, не иллюзия!.. Рядом с ним семенил утренний знакомец его, улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор. Разговор, впрочем, не начинался. Оба они прошли шагов пятьдесят таким образом. Всё старание господина Голядкина было как можно плотнее закутаться, зарыться в шинель и нахлобучить на глаза шляпу до последней возможности. К довершению обиды даже и шинель и шляпа его приятеля были точно такие же, как будто сейчас с плеча господина Голядкина.

— Милостивый государь, — произнес наконец наш герой, стараясь говорить почти шепотом и не глядя на своего приятеля, — мы, кажется, идем по разным дорогам... Я даже уверен в этом, — сказал он, помолчав немножко. — Наконец, я уверен, что вы меня поняли совершенно, — довольно строго прибавил он в заключение.

— Я бы желал, — проговорил наконец приятель господина Голядкина, — я бы желал... вы, вероятно, великодушно извините меня... я не знаю, к кому обратиться здесь... мои обстоятельства, — я надеюсь, что вы извините мне мою дерзость, — мне даже показалось, что вы, движимые состраданием, принимали во мне сегодня утром участие. С своей стороны, я с первого взгляда почувствовал к вам влечение, я... — Тут господин Голядкин мысленно пожелал своему новому сослуживцу провалиться сквозь землю. — Если бы я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, меня снисходительно изволите выслушать...

— Мы — мы здесь — мы... лучше пойдемте ко мне, — отвечал господин Голядкин, — мы теперь перейдем на ту сторону Невского,

там нам будет удобнее с вами, а потом переулочком... мы лучше возьмем переулочком. Переулочком ближе...

— Хорошо-с. Пожалуй, возьмем переулочком-с, — робко сказал смиренный спутник господина Голядкина, как будто намекая тоном ответа, что где ему разбирать и что, в его положении, он и переулочком готов удовольствоваться. Что же касается до господина Голядкина, то он совершенно не понимал, что с ним делалось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего изумления.

## *Глава VII*

Оба господина Голядкина. О том, как они трактовали о разных материях. О том, как один господин Голядкин плакал, а другой сочинял стихи. Господин Голядкин находит себя совершенно счастливым и дает себе слово вести себя вперед хорошо. Мнение господина Голядкина-младшего о дружеском крове. Господин Голядкин-старший протестует и восстановляет несколько замаранную репутацию пророка Мухаммеда. Неприличное поведение Петрушки. О том, как господин Голядкин-старший отходит наконец ко сну.

Опомнился он немного на лестнице, при входе в квартиру свою. «Ах я баран-голова! — ругнул он себя мысленно, — ну, куда ж я веду его? Что же скажет он мне? сам я голову в петлю кладу. Что же подумает Петрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? а он подозрителен...» Но уже поздно было раскаиваться; господин Голядкин постучался, дверь отворилась, и Петрушка начал снимать шинели с гостя и барина. Господин Голядкин посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на Петрушку, стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его мысли. Но, к величайшему своему удивлению, увидел он, что служитель его и не думает удивляться и даже, напротив, словно ждал чего-то подобного. Конечно, он и теперь смотрел волком, косил на сторону и как будто кого-то съесть собирался. «Шутка-то шутка, — думал герой наш, — уж не околдовал ли их кто всех сегодня, — бес какой-нибудь обежал! Непременно что-нибудь особенное должно быть во всем этом народе сегодня. Да только прикидывается бестия, просто прикидывается. Знает, всё знает! Черт возьми, экая мука какая!» Вот всё-то таким образом думая и раздумывая, господин Голядкин ввел своего гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень робел, покорно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его, так что он, если позволят сравнение, довольно походил в эту минуту на того человека, который, за неимением своего платья, оделся в чужое: рукава лезут наверх, талия почти на затылке, а он то поминутно оправляет на себе короткий жилетишко, то виляет

бочком и сторонится, то норовит куда-нибудь спрятаться, то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его, — и краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция... Господин Голядкин поставил свою шляпу на окно; от неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тотчас же бросился ее поднимать, счистил всю пыль, бережно поставил на прежнее место, а свою на полу, возле стула, на краюшке которого смиренно сам поместился. Это маленькое обстоятельство открыло отчасти глаза господину Голядкину; понял он, что нужда в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как начать с своим гостем, предоставив это всё, как и следовало, ему самому. Гость же, с своей стороны, тоже не начинал ничего, робел ли, стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начина хозяйского, — неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошел Петрушка, остановился в дверях и уставился глазами в сторону, совершенно противоположную той, в которой помещались и гость и барин его.

— Обеда две порции прикажете брать? — проговорил он небрежно и сиповатым голосом.

— Я, я не знаю... вы — да, возьми, брат, две порции.

Петрушка ушел. Господин Голядкин взглянул на своего гостя. Гость его покраснел до ушей. Господин Голядкин был добрый человек и потому, по доброте души своей, тотчас же составил теорию: «Бедный человек, — думал он, — да и на месте-то всего один день; в свое время пострадал, вероятно; может быть, только и добра-то, что приличное платьишко, а самому и пообедать-то нечем. Эк его, какой он забитый! Ну, ничего; это отчасти и лучше...»

— Извините меня, что я, — начал господин Голядкин, — впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас?

— Я... я... Яков Петровичем, — почти прошептал гость его, словно совестясь и стыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже Яков Петровичем.

— Яков Петрович! — повторил наш герой, не в силах будучи скрыть своего смущения.

— Да-с, точно так-с... Тезка вам-с, — отвечал смиренный гость господина Голядкина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее. Но тут же и оселся назад, приняв вид самый серьезный и немного, впрочем, смущенный, замечая, что хозяину его теперь не до шуточек.

— Вы... позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь...

— Зная ваше великодушие и добродетели ваши, — быстро, но робким голосом прервал его гость, немного приподымаясь со стула, — зная добродетели ваши, осмелился я обратиться к вам и просить вашего... знакомства и покровительства... — заключил его гость, очевидно затрудняясь в своих выражениях и выбирая слова не слишком льстивые и унизительные, чтоб не окомпрометировать себя в отношении ам-

биции, но и не слишком смелые, отзывающиеся неприличным равенством. Вообще можно сказать, что гость господина Голядкина вел себя как благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует протягивать руку.

— Вы смущаете меня, — отвечал господин Голядкин, оглядывая себя, свои стены и гостя, — чем же я мог бы... я, то есть, хочу сказать, в каком именно отношении могу я вам услужить в чем-нибудь?

— Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого взгляда и, простите меня великодушно, на вас понадеялся, — осмелился понадеяться, Яков Петрович. Я... я человек здесь затерянный, Яков Петрович, бедный, пострадал весьма много, Яков Петрович, и здесь еще внове. Узнав, что вы, при обыкновенных, врожденных вам качествах вашей прекрасной души, однофамилец мой...

Господин Голядкин поморщился.

— Однофамилец мой и родом из одних со мной мест, решился я обратиться к вам и изложить вам затруднительное мое положение.

— Хорошо-с, хорошо-с; право, я не знаю, что вам сказать, — отвечал смущенным голосом господин Голядкин, — вот, после обеда мы потолкуем...

Гость поклонился; обед принесли. Петрушка собрал на стол, и гость вместе с хозяином принялись насыщать себя. Обед продолжался недолго; оба они торопились — хозяин потому, что был не в обыкновенной тарелке своей, да к тому же и совестился, что обед был дурной, — совестился же отчасти оттого, что хотелось гостя хорошо покормить, а частию оттого, что хотелось показать, что он не как нищий живет. С своей стороны, гость был в крайнем смущении и крайне конфузился. Взяв один раз хлеба и съев свой ломоть, он уже боялся протягивать руку к другому ломтю, совестился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден, что обед был прекрасный и что он, с своей стороны, совершенно доволен и по гроб будет чувствовать. Когда еда кончилась, господин Голядкин закурил свою трубочку, предложил другую, заведенную для приятеля, гостю, оба уселись друг против друга, и гость начал рассказывать свои приключения.

Рассказ господина Голядкина-младшего продолжался часа три или четыре. История приключений его была, впрочем, составлена из самых пустейших, из самых мизернейших, если можно сказать, обстоятельств. Дело шло о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-каких канцелярских интригах, о развратe души одного из повытчиков, о ревизоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Голядкин-второй пострадал совершенно безвинно; о престарелой тетушке его, Палагее Семеновне; о том, как он, по разным интригам врагов своих, места лишился и пешком пришел в Петербург; о том, как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, как бес-

плодно долгое время места искал, прожился, исхарчился, жил чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими, спал на голом полу и, наконец, как кто-то из добрых людей взялся хлопотать о нем, рекомендовал и великодушно к новому месту пристроил. Гость господина Голядкина плакал, рассказывая, и утирал слезы синим клетчатым платком, весьма походившим на клеенку. Заключил же он тем, что открылся вполне господину Голядкину и признался, что ему не только нечем покамест жить и прилично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на что; что вот, включил он, даже на сапожишки не мог сколотиться и что вицмундир взят им у кого-то на подержание на малое время.

Господин Голядкин был в умилении, был истинно тронут. Впрочем, и даже несмотря на то, что история его гостя была самая пустая история, все слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная. Дело в том, что господин Голядкин забывал последние сомнения свои, разрешил свое сердце на свободу и радость и, наконец, мысленно сам себя пожаловал в дураки. Всё было так натурально! И было от чего сокрушаться, бить такую тревогу! Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство, — да ведь оно не беда: оно не может замарать человека, амбицию его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват человек, когда сама природа сюда замешалась. К тому же гость просил покровительства, гость плакал, гость судьбу обвинял, казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, ничтожным и, кажется, сам теперь совестился, хотя, может быть, и в другом отношении, странным сходством лица своего с хозяйским лицом. Вел он себя донельзя благонадежно, так и смотрел угодить своему хозяину и смотрел так, как смотрит человек, который терзается угрызениями совести и чувствует, что виноват перед другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением господина Голядкина. Если же как-нибудь, по ошибке, заходил мнением своим в контру господину Голядкину и потом замечал, что сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся и давал немедленно знать, что он всё разумеет точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и смотрит на всё совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, гость употреблял всевозможные усилия «найти» в господине Голядкине, так что господин Голядкин решил наконец, что гость его должен быть весьма любезный человек во всех отношениях. Между прочим, подали чай; час был девятый. Господин Голядкин чувствовал себя в прекрасном расположении духа, развеселился, разыгрался, расходился понемножку и пустился наконец в самый живой и занимательный разговор с своим гостем. Господин Голядкин под веселую руку любил иногда рассказать что-нибудь интересное. Так и теперь: рассказал гостю много о столице, об увеселениях и красотах ее, о театре, о клубах, о картине Брюллова; о том, как два англичанина приехали нарочно из Англии в Петербург, чтоб посмотреть на решетку Летнего сада, и тотчас уехали; о службе, об Олсуфье Ивановиче и об

Андрее Филипповиче; о том, что Россия с часу на час идет к совершенству и что «тут

Словесные науки днесь цветут»;

об анекдотце, прочитанном недавно в «Северной пчеле», и что в Индии есть змея удав необыкновенной силы; наконец, о бароне Брамбеусе и т. д. и т. д. Словом, господин Голядкин вполне был доволен, во-первых, потому, что был совершенно спокоен; во-вторых, что не только не боялся врагов своих, но даже готов был теперь всех их вызвать на самый решительный бой; в-третьих, что сам своею особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе дело. Сознавался он, впрочем, в душе своей, что еще не совсем счастлив в эту минуту, что сидит в нем еще один червячок, самый маленький впрочем, и точит даже и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере у Олсуфья Ивановича. Много бы дал он теперь, если б не было кой-чего из того, что было вчера. «Впрочем, ведь оно ничего!» — заключил наконец наш герой и решился твердо в душе вести себя вперед хорошо и не впадать в подобные промахи. Так как господин Голядкин теперь расходился вполне и стал вдруг почти совершенно счастлив, то вздумалось ему даже и пожуировать жизнию. Принесен был Петрушкою ром, и составился пунш. Гость и хозяин осушили по стакану и по два. Гость оказался еще любезнее прежнего и с своей стороны показал не одно доказательство прямодушия и счастливого характера своего, сильно входил в удовольствие господина Голядкина, казалось, радовался только одною его радостью и смотрел на него как на истинного и единственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек бумажки, он попросил господина Голядкина не смотреть на то, что он будет писать, и потом, когда кончил, сам показал хозяину своему всё написанное. Оказалось, что это было четверостишие, написанное довольно чувствительно, впрочем прекрасным слогом и почерком, и, как видно, сочинение самого любезного гостя. Стишки были следующие:

Если ты меня забудешь,
Не забуду я тебя;
В жизни может все случиться,
Не забудь и ты меня!

Со слезами на глазах обнял своего гостя господин Голядкин и, расчувствовавшись наконец вполне, сам посвятил своего гостя в некоторые секреты и тайны свои, причем речь сильно напиралась на Андрея Филипповича и на Клару Олсуфьевну. «Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, — говорил наш герой своему гостю, — мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся; будем жить, как рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику им... в пику-то им интригу вести. Мы с тобой теперь заодно, а им-то ты никому не вверяйся.

Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю; ведь ты как раз всё расскажешь, душа ты правдивая! Ты, брат, сторонись от них всех». Гость вполне соглашался, благодарил господина Голядкина и тоже наконец прослезился. «Ты, знаешь ли, Яша, — продолжал господин Голядкин дрожащим, расслабленным голосом, — ты, Яша, поселись у меня на время, или навсегда поселись. Мы сойдемся. Что, брат, тебе, а? А ты не смущайся и не ропщи на то, что вот между нами такое странное теперь обстоятельство: роптать, брат, грешно; покорись и смирись; это природа! А мать-природа щедра, вот что, брат Яша! Любя тебя, братски любя тебя, говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы им утрем». Пунш наконец дошел до третьих и четвертых стаканов на брата, и тогда господин Голядкин стал испытывать два ощущения: одно то, что необыкновенно счастлив, а другое — что уже не может стоять на ногах и качается. Гость, разумеется, был приглашен ночевать. Кровать была кое-как составлена из двух рядов стульев. Господин Голядкин-младший объявил, что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что, с своей стороны, он заснет, где придется, с покорностью и признательностью; что теперь он в раю и что, наконец, он много перенес на своем веку несчастий и горя, на всё посмотрел, всего перетерпел, и — кто знает будущность? — может быть, еще перетерпит. Господин Голядкин-старший протестовал против этого и начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на Бога. Гость вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как Бог. Тут господин Голядкин-старший заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая даже во сне имя Божие. Потом, не соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеветах, взводимых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая его в своем роде великим политиком, господин Голядкин перешел к весьма интересному описанию алжирской цирюльни, о которой читал в какой-то книжке, в «Смеси». Гость и хозяин много смеялись над простодушием турков; впрочем, не могли не отдать должной дани удивления их фанатизму, возбуждаемому опиумом... Гость стал наконец раздеваться, а господин Голядкин вышел за перегородку, частию по доброте души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочной нет, так чтоб не сконфузить и без того уже пострадавшего человека, а частию для того, чтоб увериться по возможности в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человека, чтоб уж так, чтоб уж все были счастливы и чтоб не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка всё еще немного смущал господина Голядкина.

— Ты, Петр, ложись теперь спать, — кротко сказал господин Голядкин, входя в отделение своего служителя, — ты теперь ложись спать, а завтра в восемь часов ты меня и разбуди. Понимаешь, Петруша?

Господин Голядкин говорил необыкновенно мягко и ласково. Но Петрушка молчал. Он в это время возился около своей кровати и даже не обернулся к своему барину, что бы должен был сделать, впрочем, из одного к нему уважения.

— Ты, Петр, меня слышал? — продолжал господин Голядкин. — Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и разбуди меня в восемь часов; понимаешь?

— Да уж помню, уж что тут! — проворчал себе под нос Петрушка.

— Ну то-то, Петруша; я это только так говорю, чтоб и ты был спокоен и счастлив. Вот мы теперь все счастливы, так чтоб и ты был спокоен и счастлив. А теперь спокойной ночи желаю тебе. Усни, Петруша, усни; мы все трудиться должны... Ты, брат, знаешь, не думай чего-нибудь...

Господин Голядкин начал было, да и остановился. «Не слишком ли будет, — подумал он, — не далеко ли я замахнул? Так-то всегда; всегда-то я пересыплю». Герой наш вышел от Петрушки весьма недовольный собою. К тому же грубостью и неподатливостью Петрушки он немного обиделся. «С шельмецом заигрывают, шельмецу барин честь делает, а он не чувствует, — подумал господин Голядкин. — Впрочем, такая уж тенденция подлая у всего этого рода!» Отчасти покачиваясь, воротился он в комнату и, видя, что гость уже улегся совсем, присел на минутку к нему на постель. «А ведь признайся, Яша, — начал он шепотом и курнякая головой, — ведь ты, подлец, предо мной виноват? ведь ты, тезка, знаешь, того...» — продолжал он, довольно фамильярно заигрывая с своим гостем. Наконец, распростившись с ним дружески, господин Голядкин отправился спать. Гость между тем захрапел. Господин Голядкин в свою очередь начал ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя: «Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты такой, Голядка ты этакой, — фамилья твоя такова!! Ну, чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая, что мне делать с тобой!» Тут довольно странное ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина, что-то похожее на сомнение или раскаяние. «Расходился ж я, — думал он, — ведь вот теперь шумит в голове и я пьян; и не удержался, дурачина ты этакая! и вздору с три короба намолол да еще хитрить, подлец, собирался. Конечно, прощение и забвение обид есть первейшая добродетель, но всё ж оно плохо! вот оно как!» Тут господин Голядкин привстал, взял свечу и на цыпочках еще раз пошел взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. «Картина неприятная! пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом!»

Наконец господин Голядкин улегся совсем. В голове у него шумело, трещало, звонило. Он стал забываться — забываться... силился было о чем-то думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрешить что-то такое весьма важное, какое-то щекотливое дело, — но не мог. Сон налетел на его победную голову, и он заснул так, как обыкновенно спят люди, с непривычки употребившие вдруг пять стаканов пунша на какой-нибудь дружеской вечеринке.

## *Глава VIII*

О том, что случилось с господином Голядкиным по пробуждении. О том, как господин Голядкин струсил отчасти. Встреча обоих Голядкиных. Как один господин Голядкин пускает пыль в глаза другому господину Голядкину. Адская измена господина Голядкина-младшего. Неприличие и необразованность господина Голядкина-младшего. Безобразие господина Голядкина-младшего. Мнение господина Голядкина-старшего о ветошках, амбициях и репутациях. О том, каким образом эта глава кончается.

Как обыкновенно, на другой день господин Голядкин проснулся в восемь часов; проснувшись же, тотчас припомнил все происшествия вчерашнего вечера, — припомнил и поморщился. «Эк я разыгрался вчера таким дураком!» — подумал он, приподымаясь с постели и взглянув на постель своего гостя. Но каково же было его удивление, когда не только гостя, но даже и постели, на которой спал гость, не было в комнате! «Что ж это такое? — чуть не вскрикнул господин Голядкин, — что ж бы это было такое? Что же означает теперь это новое обстоятельство?» Покамест господин Голядкин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опустелое место, скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным подносом. «Где же, где же?» — проговорил чуть слышным голосом наш герой, указывая пальцем на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел на своего барина, а поворотил свои глаза в угол направо, так что господин Голядкин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка сиповатым и грубым голосом ответил — «что барина, дескать, дома нет».

— Дурак ты; да ведь я твой барин, Петрушка, — проговорил господин Голядкин прерывистым голосом и во все глаза смотря на своего служителя.

Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Голядкина, что тот покраснел до ушей, — посмотрел с какою-то оскорбительною укоризною, похожею на чистую брань. Господин Голядкин и руки опустил, как говорится. Наконец Петрушка объявил, что *другой* уж часа с полтора как ушел, что он не хотел дожидаться и что обещал своевременно увидеться, поговорить и объясниться решительно. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен; видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слово *другой*, употребленное им, тоже оскорбительное для чести героя нашего, были лишь следствием всего известного гнусного обстоятельства, что, наконец, Петрушка некоторым образом был в своем праве, говоря и поступая таким образом, и что претендовать на него или распекать его за это нельзя; следовательно, на этот счет господин Голядкин мог, по-видимому, оставаться совершенно спокойным, — но все-таки он понимал, хоть и смутно, что тут что-нибудь да не так и что судьба готовит

ему еще какой-то гостинец, не совсем-то приятный. «Хорошо, мы посмотрим, — думал он про себя, — мы увидим, мы своевременно раскусим всё это... Ах ты, Господи Боже мой! — простонал он в заключение уже совсем другим голосом, — и зачем я это приглашал его, на какой конец я всё это делал? ведь истинно сам голову сую в петлю их воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты голова, голова! ведь и утерпеть-то не можешь ты, чтоб не провраться, как мальчишка какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь, тряпка, ветошка гнилая какая-нибудь, сплетник ты этакой, баба ты этакая!.. Святые вы мои! И стишки, шельмец, написал и в любви ко мне изъяснился! Как бы этак того... Как бы ему, шельмецу, приличнее на дверь указать, коли воротится? Разумеется, много есть разных оборотов и способов. Так и так, дескать, при моем ограниченном жалованье... Или там припугнуть его как-нибудь, что, дескать, взяв в соображение вот то-то и то-то, принужден изъясниться... дескать, нужно в половине платить за квартиру и стол и деньги вперед отдавать. Гм! нет, черт возьми, нет! Это меня замарает. Оно не совсем деликатно! Разве как-нибудь там вот этак сделать: взять бы да и надоумить Петрушку, чтоб Петрушка ему насолил как-нибудь, неглижировал бы с ним как-нибудь, подчас бы сгрубил ему, да и выжить его таким образом? Стравить бы их этак вместе... Нет, черт возьми, нет! Это опасно, да и опять, если с этакой точки зренья смотреть — ну, да, вовсе нехорошо! Совсем нехорошо! А ну, если он не придет? что тогда будет? проврался я ему вчера вечером!.. Эх, плохо, плохо! Эх, дело-то наше как плоховато! Ах я голова, голова окаянная! взубрить-то ты чего следует не можешь себе, резону то вгвоздить туда не можешь себе! Ну, как он не придет и откажется? А дай-то Господи, если б пришел! весьма был бы рад я, если б пришел он; много бы дал я, если б пришел...» Так рассуждал господин Голядкин, глотая свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. «Без четверти девять теперь; ведь вот уж пора идти. А что-то будет такое, что-то тут будет? Желал бы я знать, что здесь именно особенного такого скрывается, — этак цель, направление и разные там закавыки. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы и каков-то будет их первый шаг...» Господин Голядкин не мог долее вытерпеть, бросил недокуренную трубку, оделся и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. А опасность была: это уж он сам знал, что опасность была. «А вот мы ее... и раскусим, — говорил господин Голядкин, снимая шинель и калоши в передней, — вот мы и проникнем сейчас во все эти дела». Решившись таким образом действовать, герой наш оправился, принял вид приличный и форменный и только что хотел было проникнуть в соседнюю комнату, как вдруг, в самых дверях, столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель его. Господин Голядкин-младший, кажется, не замечал господина Голядкина-старшего, хотя и сошелся с ним почти носом к носу. Господин Голядкин-младший был, кажется, занят, куда-то спешил, запыхался; вид имел такой официальный, та-

кой деловой, что, казалось, всякий мог прямо прочесть на лице его — «командирован по особому поручению...»

— Ах, это вы, Яков Петрович! — сказал наш герой, хватая своего вчерашнего гостя за руку.

— После, после, извините меня, расскажете после, — закричал господин Голядкин-младший, порываясь вперед...

— Однако позвольте; вы, кажется, хотели, Яков Петрович, того-с...

— Что-с? Объясните скорее-с. — Тут вчерашний гость господина Голядкина остановился как бы через силу и нехотя и подставил ухо свое прямо к носу господина Голядкина.

— Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему... приему, какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать.

— На всё есть известная форма-с. Явитесь к секретарю его превосходительства и потом отнеситесь, как следует, к господину правителю канцелярии. Просьба есть?..

— Вы, я не знаю, Яков Петрович! вы меня просто изумляете, Яков Петрович! вы, верно, не узнаете меня или шутите, по врожденной веселости характера вашего.

— А, это вы! — сказал господин Голядкин-младший, как будто только что сейчас разглядел господина Голядкина-старшего, — так это вы? Ну, очень рад, что это вы! Ну, что ж, хорошо ли вы почивали? — Тут господин Голядкин-младший, улыбнувшись немного, официально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало (потому что ведь во всяком случае он одолжен же был благодарностью господину Голядкину-старшему), — и так улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он с своей стороны весьма рад, что господин Голядкин хорошо почивал; потом наклонился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только и видел его наш герой.

— Вот-те и штука!.. — прошептал наш герой, остолбенев на мгновение, — вот-те и штука! Так вот такое-то здесь обстоятельство!.. — Тут господин Голядкин почувствовал, что у него отчего-то заходили мурашки по телу. — Впрочем, — продолжал он про себя, пробираясь в свое отделение, — впрочем, ведь я уже давно говорил о таком обстоятельстве; я уже давно предчувствовал, что он по особому поручению, — именно вот вчера говорил, что непременно по чьему-нибудь особому поручению употреблен человек... Однако ж как же всё это?.. Если так рассудить, оно выходит и не совсем такое необыкновенное дело. Здесь, во-первых, вероятно, есть недоразумение какое-нибудь, а во-вторых, ведь то же самое и со всеми случается; оно, может быть, то же самое и со всеми случится...

— Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу? — спросил Антон Антонович Сеточкин усевшегося подле него господина Голядкина, — у вас здесь она?

— Здесь, — прошептал господин Голядкин, смотря на своего столоначальника отчасти с потерявшимся видом.

— То-то-с. Я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два раза спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потребует...

— Нет-с, она кончена-с...

— Ну-с, хорошо-с.

— Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует и радею о порученных мне начальством делах-с, занимаюсь ими рачительно.

— Да-с. Ну-с, что же вы хотите этим сказать-с?

— Я ничего-с, Антон Антонович. Я только, Антон Антонович, хочу объяснить, что я... то есть я хотел выразить, что иногда неблагонамеренность и зависть не щадят никакого лица, ища своей повседневной отвратительной пищи-с...

— Извините, я вас не совсем-то понимаю. То есть на какое лицо вы теперь оборотом смысла ваших речей нарицание делаете?

— То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я иду прямым путем, а окольным путем ходить презираю, что я не интригант и что сим, если позволено только будет мне выразиться, могу весьма справедливо гордиться...

— Да-с. Это всё так-с, и, по крайнему моему разумению, отдаю полную справедливость рассуждению вашему; но позвольте же и мне вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хорошем обществе не совсем позволительны-с; что за глаза я, например, готов снести, — потому что за глаза и кого ж не бранят! — но в глаза, воля ваша, а я, сударь мой, например, себе дерзостей говорить не позволю. Я, сударь мой, поседел на государевой службе и дерзостей на старости лет говорить себе не позволю-с...

— Нет-с, я, Антон Антонович-с, вы, видите ли, Антон Антонович, вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то в смысле речей моих уразумели-с. А я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороны могу только за честь поставить-с...

— Да уж и нас тоже прошу извинить-с. Учены мы по-старинному-с. А по-вашему, по-новому, учиться нам поздно. На службе отечеству разумения доселе нам, кажется, доставало. У меня, сударь мой, как вы сами знаете, есть знак за двадцатипятилетнюю беспорочную службу-с...

— Я чувствую, Антон Антонович, я с моей стороны совершенно всё это чувствую-с. Но я не про то-с, я про маску говорил, Антон Антонович-с...

— Про маску-с?

— То есть вы опять... я опасаюсь, что вы и тут примете в другую сторону смысл, то есть смысл речей моих, как вы сами говорите, Антон Антонович. Я только тем развиваю, то есть пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали не редки-с и что теперь трудно под маской узнать человека-с...

— Ну-с, знаете ли-с, оно не совсем-то и трудно-с. Иногда и довольно легко-с, иногда и искать недалеко нужно ходить-с.

— Нет-с, знаете ли-с, я, Антон Антонович, говорю-с, про себя говорю, что я, например, маску надеваю, лишь когда нужда в ней бывает, то есть единственно для карнавала и веселых собраний, говоря в прямом смысле, но что не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, более скрытном смысле-с. Вот что я хотел сказать, Антон Антонович-с.

— Ну, да мы покамест оставим всё это; да мне же и некогда-с, — сказал Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кой-какие бумаги для доклада его превосходительству. — Дело же ваше, как я полагаю, не замедлит своевременно объясниться. Сами же увидите вы, на кого вам пенять и кого обвинять, а затем прошу вас покорнейше уволить меня от дальнейших частных и вредящих службе объяснений и толков-с...

— Нет-с, я, Антон Антонович, — начал побледневший немного господин Голядкин вслед удаляющемуся Антону Антоновичу, — я, Антон Антонович, того-с, и не думал-с. «Что же это такое? — продолжал уже про себя наш герой, оставшись один, — что же это за ветры такие здесь подувают и что означает этот новый крючок? Господи Боже мой! да не сплю ли уж я?..» В то самое время, как потерянный и полуубитый герой наш готовился было разрешить этот новый и довольно интересный вопрос, в соседней комнате послышался шум, обнаружилось какое-то деловое движение, дверь отворилась, и Андрей Филиппович, только что перед тем отлучившийся по делам в кабинет его превосходительства, запыхавшись, появился в дверях и кликнул господина Голядкина. Зная в чем дело и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, господин Голядкин вскочил с своего места и, как следует, немедленно засуетился на чем свет стоит, обготовляя и обхоливая окончательно требуемую тетрадку, да и сам приготовляясь отправиться, вслед за тетрадкой и Андреем Филипповичем, в кабинет его превосходительства. Вдруг, и почти из-под руки Андрея Филипповича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату господин Голядкин-младший, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе, с важным решительно-форменным видом, и прямо подкатился к господину Голядкину-старшему, менее всего ожидавшему подобного нападения...

— Бумаги, Яков Петрович, бумаги... его превосходительство изволили спрашивать, готовы ль у вас? — защебетал вполголоса и скороговоркой приятель господина Голядкина-старшего. — Андрей Филиппович вас ожидает...

— Знаю и без вас, что ожидают, — проговорил господин Голядкин-старший тоже скороговоркой и шепотом.

— Нет, я, Яков Петрович, не то; я, Яков Петрович, совсем не то; я сочувствую, Яков Петрович, и подвигнут душевным участием.

— От которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, позвольте-с...

— Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович, а третью-то страничку вы заложите закладкой, позвольте, Яков Петрович...

— Да позвольте же вы, наконец...

— Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович, чернильное пятнышко; вы заметили ль чернильное пятнышко?..

Тут Андрей Филиппович второй раз кликнул господина Голядкина.

— Сейчас, Андрей Филиппович; я вот только немножко, вот здесь... Милостивый государь, понимаете ли вы русский язык?

— Лучше всего будет ножичком снять, Яков Петрович; вы лучше на меня положитесь; вы лучше не трогайте сами, Яков Петрович, а на меня положитесь, и я же отчасти тут ножичком...

Андрей Филиппович третий раз кликнул господина Голядкина.

— Да, помилуйте, где же тут пятнышко? Ведь, кажется, вовсе нету здесь пятнышка?

— И огромное пятнышко, вот оно! вот, позвольте, я здесь его видел; вот, позвольте... вы только позвольте мне, Яков Петрович, вы только позвольте, я отчасти здесь ножичком, я из участия, Яков Петрович, я ножичком от чистого сердца... вы только позвольте; вот так, вот и дело с концом...

Тут, и совсем неожиданно, господин Голядкин-младший, вдруг ни с того ни с сего, осилив господина Голядкина-старшего в мгновенной борьбе, между ними возникшей, и во всяком случае совершенно против воли его, овладел требуемой начальством бумагой и, вместо того чтоб поскоблить ее ножичком от чистого сердца, как вероломно уверял он господина Голядкина-старшего, быстро свернул ее, сунул под мышку, в два скачка очутился возле Андрея Филипповича, не заметившего ни одной из проделок его, и полетел с ним в директорский кабинет. Господин Голядкин-старший остался как бы прикованным к месту, держа в руках ножичек и как будто приготовляясь что-то скоблить им...

Герой наш еще не совсем понимал свое новое обстоятельство. Он еще не опомнился. Он почувствовал удар, но думал, что это что-нибудь так, а между тем шептал про себя: «Сейчас, Андрей Филиппович; я сейчас; я вот тотчас же буду готов...» Однако через мгновение он понял, хотя как-то смутно понял, хотя всё еще думал, что это что-нибудь так, ничего... В страшной, неописанной тоске сорвался он наконец с места и бросился прямо в директорский кабинет, моля, впрочем, небо дорогою, чтоб это устроилось всё как-нибудь к лучшему и было бы так, ничего... В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он, прямо нос с носом, с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались: господин Голядкин посторонился. Андрей Филиппович говорил улыбаясь и весело. Однофамилец господина Голядкина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Фи-

липпович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш всё положение дел. Дело в том, что работа его (как он после узнал) почти превзошла ожидания его превосходительства и поспела действительно к сроку и вовремя. Его превосходительство были крайне довольны. Говорили даже, что его превосходительство сказали спасибо господину Голядкину-младшему, крепкое спасибо, сказали, что вспомнят при случае и никак не забудут... Разумеется, что первым делом господина Голядкина было протестовать, протестовать всеми силами, до последней возможности. Почти не помня себя и бледный как смерть, бросился он к Андрею Филипповичу. Но Андрей Филиппович, услышав, что дело господина Голядкина было частное дело, отказался слушать решительно, замечая, что у него нет ни минуты свободной и для собственных надобностей.

Сухость тона и резкость отказа поразили господина Голядкина. «Это ничего, это, кажется, ничего, — подумал он, — а вот лучше я как-нибудь с другой стороны... вот я лучше к Антону Антоновичу». К несчастию господина Голядкина, и Антона Антоновича не оказалось в наличности: он тоже где-то был чем-то занят. «А ведь не без намерения просил уволить себя от объяснений и толков! — подумал герой наш. — Вот куда метил он — старая петля! Впрочем, и это также ведь всё ничего. В таком случае я просто дерзну умолять его превосходительство».

Всё еще бледный и чувствуя в совершенном разброде всю свою голову, крепко недоумевая, на что именно нужно решиться, присел господин Голядкин на стул. Существенность дела вконец убивала господина Голядкина. «Гораздо было бы лучше, если б всё это было лишь так только, — думал он про себя. — Действительно, подобное темное дело было даже невероятно совсем. Это, во-первых, и вздор, а во-вторых, и случиться не может. Это, вероятно, как-нибудь там померещилось, или вышло что-нибудь другое, а не то, что действительно было; или, верно, это я сам ходил... и себя как-нибудь там принял совсем за другого... одним словом, это совершенно невозможное дело».

Только что господин Голядкин решил, что это совсем невозможное дело, как вдруг в комнату влетел господин Голядкин-младший с бумагами в обеих руках и под мышкой. Сказав мимоходом какие-то нужные два слова Андрею Филипповичу, перемолвив и еще кое с кем, полюбезничав кое с кем, пофамильярничав кое с кем, господин Голядкин-младший, по-видимому не имевший лишнего времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, выйти из комнаты, но, к счастию господина Голядкина-старшего, остановился в самых дверях и заговорил мимоходом с двумя или тремя случившимися тут же молодыми чиновниками. Господин Голядкин-старший бросился прямо к нему. Только что увидел господин Голядкин-младший маневр господина Голядкина-старшего, тотчас же начал с большим беспокойством осматриваться, куда бы ему поскорей улизнуть. Но герой наш уже держался за рукава своего вчерашнего гостя. Чиновники, окружавшие двух титулярных советников, расступились и с любопытством ожидали, что

будет. Старый титулярный советник понимал хорошо, что доброе мнение теперь не на его стороне, понимал хорошо, что под него интригуют: тем более нужно было теперь поддержать себя. Минута была решительная.

— Ну-с? — проговорил господин Голядкин-младший, довольно дерзко смотря на господина Голядкина-старшего.

Господин Голядкин-старший едва дышал.

— Я не знаю, милостивый государь, — начал он, — каким образом вам теперь объяснить странность вашего поведения со мною.

— Ну-с. Продолжайте-с. — Тут господин Голядкин-младший оглянулся кругом и мигнул глазом окружавшим их чиновникам, как бы давая знать, что вот именно сейчас и начнется комедия.

— Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со мною в настоящем случае еще более вас обличают... чем все слова мои. Не надейтесь на вашу игру: она плоховата...

— Ну, Яков Петрович, теперь скажите-ка мне, каково-то вы почивали? — отвечал господин Голядкин-младший, прямо смотря в глаза господину Голядкину-старшему.

— Вы, милостивый государь, забываетесь, — сказал совершенно потерявшийся титулярный советник, едва слыша пол под собою, — я надеюсь, что вы перемените тон...

— Душка моя!! — проговорил господин Голядкин-младший, скорчив довольно неблагопристойную гримасу господину Голядкину-старшему, и вдруг, совсем неожиданно, под видом ласкательства, ухватил его двумя пальцами за довольно пухлую правую щеку. Герой наш вспыхнул как огонь... Только что приятель господина Голядкина-старшего приметил, что противник его, трясясь всеми членами, немой от исступления, красный как рак и наконец доведенный до последних границ, может даже решиться на формальное нападение, то немедленно и самым бесстыдным образом предупредил его в свою очередь. Потрепав его еще раза два по щеке, пощекотав его еще раза два, поиграв с ним, неподвижным и обезумевшим от бешенства, еще несколько секунд таким образом, к немалой утехе окружающей их молодежи, господин Голядкин-младший с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно господина Голядкина-старшего по крутому брюшку и с самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой проговорил ему: «Дескать, шалишь, братец, Яков Петрович; шалишь! хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить». Потом, и прежде чем герой наш успел мало-мальски прийти в себя от последней атаки, господин Голядкин-младший вдруг (предварительно отпустив только улыбочку окружавшим их зрителям) принял на себя вид самый занятой, самый деловой, самый форменный, опустил глаза в землю, съежился, сжался и, быстро проговорив «по особому поручению», лягнул своей коротенькой ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату. Герой наш не верил глазам и всё еще был не в состоянии опомниться...

Наконец он опомнился. Сознав в один миг, что погиб, уничтожился в некотором смысле, что замарал себя и запачкал свою репутацию,

что осмеян и оплеван в присутствии посторонних лиц, что предательски поруган тем, кого еще вчера считал первейшим и надежнейшим другом своим, что срезался, наконец, на чем свет стоит, господин Голядкин бросился в погоню за своим неприятелем. В настоящее мгновение он уже и думать не хотел о свидетелях своего поругания. «Это всё в стачке друг с другом, — говорил он сам про себя, — один за другого стоит и один другого на меня натравляет». Однако ж, сделав десять шагов, герой наш ясно увидел, что все преследования остались пустыми и тщетными, и потому воротился. «Не уйдешь, — думал он, — попадешь под сюркуп своевременно, отольются волку овечьи слезы». С яростным хладнокровием и с самою энергическою решимостью дошел господин Голядкин до своего стула и уселся на нем. «Не уйдешь!» — сказал он опять. Теперь дело шло не о пассивной обороне какой-нибудь: пахнуло решительным, наступательным, и кто видел господина Голядкина в ту минуту, как он, краснея и едва сдерживая волнение свое, кольнул пером в чернильницу и с какой яростью принялся строчить на бумаге, тот мог уже заранее решить, что дело так не пройдет и простым, каким-нибудь бабьим образом не может окончиться. В глубине души своей сложил он одно решение и в глубине сердца своего поклялся исполнить его. По правде-то, он еще не совсем хорошо знал, как ему поступить, то есть, лучше сказать, вовсе не знал; но всё равно, ничего! «А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго». Несмотря на это последнее обстоятельство, господин Голядкин положил ждать до тех пор, покамест маска спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Для сего нужно было, во-первых, чтоб кончились как можно скорее часы присутствия, а до тех пор герой наш положил не предпринимать ничего. Потом же, когда кончатся часы присутствия, он примет меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, приняв эту меру, как расположить весь план своих действий, чтоб сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия. Позволить же затереть себя, как ветошку, об которую грязные сапоги обтирают, господин Голядкин не мог. Согласиться на это не мог он, и особенно в настоящем случае. Не будь последнего посрамления, герой наш, может быть, и решился бы скрепить свое сердце, может быть, он и решился бы смолчать, покориться и не протестовать слишком упорно; так, поспорил бы, попретендовал бы немножко, доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил немножко, потом, может быть, и еще немножко бы уступил, потом согласился бы совсем, потом, и особенно тогда, когда противная сторона признала бы торжественно, что он в своем праве, потом, может быть, и помирился бы даже, даже умилился бы немножко, даже, — кто бы мог знать, — может быть, возродилась бы новая дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, чем вчерашняя дружба, так что эта дружба совершенно могла бы затмить, наконец, неприятность до-

вольно неблагопристойного сходства двух лиц, так что оба титулярные советника были бы крайне как рады и прожили бы, наконец, до ста лет, и т. д. Скажем всё, наконец: господин Голядкин даже начинал немного раскаиваться, даже сильно раскаиваться, что вступился за себя и за право свое и тут же получил за то неприятность. «Покорись он, — думал господин Голядкин, — скажи, что пошутил, простил бы ему, даже более простил бы ему, только бы в этом громко признался. Но, как ветошку, себя затирать я не дам. И не таким людям не давал я себя затереть, тем более не позволю покуситься на это человеку развращенному. Я не ветошка; я, сударь мой, не ветошка!» Одним словом, герой наш решился. «Сами вы, сударь вы мой, виноваты!» Решился же он протестовать, и протестовать всеми силами до последней возможности. Такой уж был человек! Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более дозволить себя затереть, как ветошку, и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку. Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если б кто захотел, если б уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в ветошку господина Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказанно (господин Голядкин сам в иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин, — так, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы с амбицией, ветошка-то эта была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией и с безответными чувствами и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами...

Часы длились невероятно долго; наконец пробило четыре. Спустя немного все встали и вслед за начальством двинулись к себе, по домам. Господин Голядкин вмешался в толпу; глаз его не дремал и не упускал кого нужно из виду. Наконец наш герой увидал, что приятель его подбежал к канцелярским сторожам, раздававшим шинели, и, по подлому обыкновению своему, юлит около них в ожидании своей. Минута была решительная. Кое-как протеснился господин Голядкин сквозь толпу и, не желая отставать, тоже захлопотал о шинели. Но шинель подалась сперва приятелю и другу господина Голядкина, затем что и здесь успел он по-своему подбиться, приласкаться, нашептать и наподличать.

Накинув шинель, господин Голядкин-младший, иронически взглянув на господина Голядкина-старшего, действуя таким образом открыто и дерзко ему в пику, потом с свойственною ему наглостью осмотрелся кругом, посеменил окончательно, вероятно чтоб оставить выгодное по себе впечатление, около чиновников, сказал словцо одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбку четвертому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. Господин Голядкин-старший за ним и, к неописанному своему удовольствию, таки нагнал его на последней ступеньке и схватил за воротник его шинели. Казалось, что господин Голядкин-младший немного оторопел и посмотрел кругом с потерянным видом.

— Как понимать мне вас? — прошептал он наконец слабым голосом господину Голядкину.

— Милостивый государь, если вы только благородный человек, то надеюсь, что вспомните про вчерашние дружеские наши сношения, — проговорил наш герой.

— А, да. Ну, что ж? хорошо ли вы почивали-с?

Бешенство отняло на минуту язык у господина Голядкина-старшего.

— Я-то почивал хорошо-с... Но позвольте же и вам сказать, милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана...

— Кто это говорит? Это враги мои говорят, — отвечал отрывисто тот, кто называл себя господином Голядкиным, и вместе с словом этим неожиданно освободился из слабых рук настоящего господина Голядкина. Освободившись, он бросился с лестницы, оглянулся кругом, увидев извозчика, подбежал к нему, сел на дрожки и в одно мгновение скрылся из глаз господина Голядкина-старшего. Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, уничтожившись, съежившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди тротуара. Казалось, что всё разом опрокинулось на господина Голядкина; казалось, что всё погибло для господина Голядкина...

## *Глава IX*

Решение господина Голядкина. Разные рассуждения господина Голядкина, преимущественно же о близнецах и о разных на свете существующих подлецах. Каким образом господин Голядкин съедает одиннадцать пирожков-расстегайчиков и не находит в этом обстоятельстве ничего оскорбительного для своей репутации. Письмо господина Голядкина к известному своим безобразием и пасквильностию своего направления человеку. О том, как потом господин Голядкин бегал, устал и лег спать. Как проснулся потом и доказал Петрушке, что он плут в благородном значении этого слова. Переписка и окончательное решение господина Голядкина.

Всё, по-видимому, и даже природа сама вооружилась против господина Голядкина; но он еще был на ногах и не побежден; он это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такою энергией потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина Голядкина заключить можно было, что он не уступит, что он никак не уступит, что «если, дескать, сударь мой, не хотите на деликатную ногу, то мы и за крутые меры возьмемся. Что, дескать, вот как-с, что, дескать, вот оно как-с, милостивый мой государь!» Господин Голядкин чувствовал даже, что

обязанность его была восстать всеми силами против угрожавшего бедствия, сломить рог гордыни и посрамить неблагопристойную злонамеренность. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; господин Голядкин и это чувствовал; да как за нее взяться, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, «что, дескать, не оставить ли всё это так, не отступиться ли запросто? Ну, что ж? ну, и ничего. Я буду особо, как будто не я, — думал господин Голядкин, — пропускаю всё мимо; не я, да и только; он тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как! Я смирением возьму. Да и где же опасность? ну, какая опасность? Желал бы я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом деле опасность? Плёвое дело! обыкновенное дело!..» Здесь господин Голядкин осекся. Слова у него на языке замерли; он даже ругнул себя за эту мысль; даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль; однако дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что решиться на что-нибудь в настоящую минуту было для него сущею необходимостью; даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно нужно решиться. Ну, да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. Знал он только, что так оставаться нельзя, никак нельзя, непременно нельзя, никаким образом невозможно, что непременно нужно что-нибудь сделать. На всякий случай, чтоб времени не терять, чтоб дорогого-то времени своего не терять, нанял он извозчика и полетел домой. «Нет, брат, — подумал он сам в себе, — теперь, брат, не цветочки, а ягодки. Что? каково-то ты теперь себя чувствуешь? Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков Петрович? Что-то ты сделаешь? что-то сделаешь ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь!» Так поддразнивал себя господин Голядкин, подпрыгивая на тряском экипаже своего ваньки. Поддразнивать себя и растравлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Голядкина, даже чуть ли не сладострастием. «Ну, если б там теперь, — думал он, — волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь этак пришлось, да сказали бы: дай, Голядкин, палец с правой руки — и квиты с тобой; не будет другого Голядкина, и ты будешь счастлив, Голядкин, только пальца не будет, — так отдал бы палец, непременно бы отдал, не поморщась бы отдал. Черти бы взяли всё это! — вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник, — ну, зачем всё это? ну, надобно было всему этому быть; вот непременно этому, вот именно этому, как будто нельзя было другому чему! И всё было хорошо сначала, все были довольны и счастливы; так вот нет же, надобно было! Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь. Нужно действовать, — заключил он, подымаясь на лестницу своей квартиры, — нужно действовать, и, чтоб всё сказать наконец, нужно сильнее, беспощаднее действовать этак прямым, открытым, благородным путем...»

Итак, почти решившись на что-то, господин Голядкин, войдя в свою квартиру, нимало не медля схватился за трубку и, насасывая ее из всех сил, раскидывая клочья дыма направо и налево, начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. Между тем Петрушка стал сбирать на стол. Наконец господин Голядкин решился совсем, вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал вон из квартиры. На лестнице нагнал его, запыхавшись, Петрушка, держа в руках забытую им шляпу. Господин Голядкин взял шляпу, хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, чтоб не подумал чего Петрушка особенного, — что вот, дескать, такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл и т. д., — но так как Петрушка и глядеть не хотел и тотчас ушел, то и господин Голядкин без дальнейших объяснений надел свою шляпу, сбежал с лестницы и, приговаривая, что всё, может быть, к лучшему будет и что дело устроится как-нибудь, хотя чувствовал, между прочим, даже у себя в пятках озноб, вышел на улицу, нанял извозчика и полетел к Андрею Филипповичу. «Впрочем, не лучше ли завтра? — думал господин Голядкин, хватаясь за снурок колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича, — не лучше ли завтра? Да и что же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. Дело-то такое мизерное, да оно, наконец, и действительно мизерное, плёвое, то есть почти плёвое дело... ведь вот оно, как это всё, обстоятельство-то...» Вдруг господин Голядкин дернул за колокольчик, колокольчик зазвенел, изнутри послышались чьи-то шаги... Тут господин Голядкин даже проклял себя отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Голядкин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филипповичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было поздно: дверь отворилась. К счастию господина Голядкина, ответили ему, что Андрей Филиппович и домой не приезжал из должности, и не обедает дома. «Знаю, где он обедает: он у Измайловского моста обедает», — подумал герой наш и страх как обрадовался. На вопрос слуги, как об вас доложить, сказал, что, дескать, я, мой друг, хорошо, что, дескать, я, мой друг, после, и даже с некоторою бодростью сбежал вниз по лестнице. Выйдя на улицу, он решился отпустить экипаж и расплатился с извозчиком. Когда же извозчик попросил о прибавке, — дескать, ждал, сударь, долго и рысачка для вашей милости не жалел, — то дал и прибавочки пятачок, и даже с большою охотою; сам же пешком пошел.

«Дело-то оно, правда, такое, — думал господин Голядкин, — что ведь так оставить нельзя, никак нельзя, — решено, что нельзя, и говорить об этом более нечего, но, однако ж, если так рассудить, этак здраво рассудить, так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну, нет, однако ж, я буду всё про то говорить, из чего же мне хлопотать? из чего мне маяться, биться, мучиться, себя убивать? Во-первых, дело сделано, и его не воротишь... ведь не воротишь! Рассудим так: является человек, — является человек с достаточной рекомендацией, дескать, способный чиновник, хорошего поведения, только беден и потер-

пел разные неприятности, — передрязги там этакие, — ну, да ведь бедность не порок; стало быть, я в стороне. Ну, в самом деле, что ж за вздор такой? Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился так человек, что две капли воды похож на другого человека, что совершенная копия с другого человека: так уж его за это и не принимать в департамент?! Коли уж судьба, коли одна судьба, коли одна слепая фортуна тут виновата, — так уж его и затереть, как ветошку, так уж и служить ему не давать... да где же тут после этого справедливость-то будет? Что ж я-то вру, дурак дураком! Из чего же я бьюсь, чего же я-то хочу? Человек же он бедный, затерянный, запуганный; тут сердце болит, тут сострадание его призреть велит! Да! нечего сказать, хороши бы были начальники, если б так рассуждали, как я, забубённая голова! Эка ведь башка у меня! На десятерых подчас глупости хватит! Нет, нет! и сделали хорошо, и спасибо им, что призрели бедного горемыку... Ну, да, положим, например, что мы близнецы, что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, да и только, — вот оно как! Ну, что же такое? Ну, и ничего! Можно всех чиновников приучить... а посторонний кто, войдя в наше ведомство, уж верно не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умилительное; что вот, дескать, мысль-то какая: что, дескать, промысл Божий создал двух совершенно подобных, а начальство благодетельное, видя промысл Божий, приютило двух близнецов. Оно, конечно, — продолжал господин Голядкин, переводя дух и немного понизив голос, — оно, конечно... оно, конечно, лучше бы было, кабы не было ничего этого, кабы всё так и оставалось по-прежнему, и не было бы ничего умилительного, и близнецов никаких тоже бы не было... Черт бы побрал всё это! И на что это нужно было? И что за надобность тут была такая особенная и никакого отлагательства не терпящая?! Господи Бог мой! Впрочем, ведь, однако ж, не предосудительно? ведь не предосудительно? чести ведь ничьей не марает? Ну, так и ничего; ну, так и всё хорошо; ну, так и всё тут по-прежнему, и все тут молчать должны... и тем удовольствоваться... и ничего не должны говорить... и никак не должны прекословить... Эк ведь черти заварили кашу какую! Вот ведь, однако ж, у него и характер такой, нрава он такого игривого, скверного, — подлец он такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюд, Голядкин он этакой! Пожалуй, еще дурно себя поведет да фамилью мою замарает, мерзавец. Вот теперь и смотри за ним и ухаживай! Эк ведь наказание какое! Впрочем, что ж? ну, и нужды нет! Ну, он подлец, — ну, пусть он подлец, а другой зато честный. Ну, вот он подлец будет, а я буду честный, — и скажут, что вот этот Голядкин подлец, на него не смотрите и его с другим не мешайте; а этот вот честный, добродетельный, кроткий, незлобливый, весьма надежный по службе и к повышению чином достойный; вот оно как! Ну, хорошо... а как того... А как они там того... да и перемешают! От него ведь всё станется! Ах ты, Господи Боже мой!.. И подменит человека, подменит, подлец он такой, — как ветошку, человека подменит и не рассудит, что

человек не ветошка. Ах ты, Господи Боже мой! Эко несчастие какое!..»

Вот таким-то образом рассуждая и сетуя, бежал господин Голядкин, не разбирая дороги и сам почти не зная куда. Очнулся он на Невском проспекте, и то по тому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко и плотно, что только искры посыпались. Господин Голядкин, не поднимая головы, пробормотал извинение, и только тогда, когда прохожий, проворчав что-то не слишком лестное, отошел уже на расстояние значительное, поднял нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив, что находится именно возле того ресторана, у которого отдыхал, приготовляясь к званому обеду у Олсуфия Ивановича, герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку, вспомнил, что не обедал, званого же обеда не предстояло нигде, и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по лестнице к ресторану перехватить что-нибудь поскорее и как можно торопясь не замешкать. И хотя у ресторана было всё дорогонько, но это маленькое обстоятельство не остановило на этот раз господина Голядкина; да и останавливаться-то теперь на подобных безделицах некогда было. В ярко освещенной комнате, у прилавка, на котором лежала разнообразная груда всего того, что потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, сдавать и принимать деньги. Господин Голядкин подождал своей очереди и, выждав, скромно протянул свою руку к пирожку-расстегайчику. Отойдя в уголок, оборотясь спиною к присутствующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром и положил на прилавок монетку, ловя взгляда конторщика, чтоб указать ему: «что вот, дескать, монетка лежит; один расстегайчик» и т. д.

— С вас рубль десять копеек, — процедил сквозь зубы конторщик.

Господин Голядкин порядочно изумился.

— Вы мне говорите?... Я... я, кажется, взял один пирожок.

— Одиннадцать взяли, — с уверенностью возразил конторщик.

— Вы... сколько мне кажется... вы, кажется, ошибаетесь... Я, право, кажется, взял один пирожок.

— Я считал; вы взяли одиннадцать штук. Когда взяли, так нужно платить; у нас даром ничего не дают.

Господин Голядкин был ошеломлен. «Что ж это, колдовство, что ль, какое надо мной совершается? — подумал он. — Что ж это значит такое?..» Между тем конторщик ожидал решения господина Голядкина; господина Голядкина обступили; господин Голядкин уже полез было в карман, чтоб вынуть рубль серебром, чтоб расплатиться немедленно, чтоб от греха-то подальше быть. «Ну, одиннадцать, так одиннадцать, — думал он, краснея как рак, — ну, что же такого тут, что съедено одиннадцать пирожков? ну, голоден человек, так и съел одиннадцать пирожков; ну, и пусть ест себе на здоровье; ну, и дивить-

ся тут нечему, и смеяться тут нечему...» Вдруг как будто что-то кольнуло господина Голядкина; он поднял глаза и — разом понял загадку, понял всё колдовство; разом разрешились все затруднения... В дверях в соседнюю комнату, почти прямо за спиною конторщика и лицом к господину Голядкину, в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человечек, — стоял он, стоял сам господин Голядкин, — не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин. Другой господин Голядкин находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. Он улыбался господину Голядкину первому, кивал ему головою, подмигивал глазками, семенил немного ногами и глядел так, что чуть что, — так он и стушуется, так он и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того... и все преследования останутся тщетными, — дескать, отложи-ка попечение, сударь мой, да и только. В руках его был последний кусок десятого расстегая, который он, в глазах же господина Голядкина, отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия и чуть не проговаривая, что, дескать, хороши на чужой счет расстегайчики! «Подменил, подлец! — подумал господин Голядкин, вспыхнув как огонь от стыда, — не постыдился публичности! Видят ли его? Кажется, не замечает никто...» Господин Голядкин бросил рубль серебром так, как будто бы об него все пальцы обжег, и, не замечая значительно-наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выдрался из толпы и бросился вон без оглядки. «Спасибо за то, что хоть не компрометировал окончательно человека! — подумал старший господин Голядкин. — Спасибо разбойнику, и ему и судьбе, что еще хорошо всё уладилось. Нагрубил лишь конторщик. Да что ж, ведь он был в своем праве! Рубль десять следовало, так и был в своем праве. А то бы можно было его и того... Дескать, без денег у нас никому не дают! Хоть бы был поучтивей, бездельник!..»

Всё это говорил господин Голядкин, сходя с лестницы на крыльцо. Однако же на последней ступеньке он остановился как вкопанный и вдруг покраснел так, что даже слезы выступили у него на глазах от припадка страдания амбиции. Простояв с полминуты столбом, он вдруг решительно топнул ногою, в один прыжок соскочил с крыльца на улицу и без оглядки, задыхаясь, не слыша усталости, пустился к себе домой, в Шестилавочную улицу. Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, вопреки привычке своей быть у себя по-домашнему, не взяв даже предварительно трубки, уселся он немедленно на диване, придвинул чернильницу, взял перо, достал лист почтовой бумаги и принялся строчить дрожащею от внутреннего волнения рукой следующее послание:

«Милостивый государь мой,
Яков Петрович!

Никак бы не взял я пера, если бы обстоятельства мои и вы сами, милостивый государь мой, меня к тому не принудили. Верьте, что не-

обходимость одна понудила меня вступить с вами в подобное объяснение, и поэтому прежде всего прошу считать эту меру мою не как умышленным намерением к вашему, милостивый государь мой, оскорблению, но как необходимым следствием связующих нас теперь обстоятельств».

«Кажется, хорошо, прилично, вежливо, хотя не без силы и твердости?.. Обижаться ему тут, кажется, нечем. К тому же я в своем праве», — подумал господин Голядкин, перечитывая написанное.

«Неожиданное и странное появление ваше, милостивый государь мой, в бурную ночь, после грубого и неприличного со мною поступка врагов моих, коих имя умалчиваю из презрения к ним, было зародышем всех недоразумений, в настоящее время между нами существующих. Упорное же ваше, милостивый государь, желание стоять на своем и насильственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни выступает даже за пределы, требуемые одною лишь вежливостью и простым общежитием. Я думаю, нечего упоминать здесь о похищении вами, милостивый государь мой, бумаги моей и собственного моего честного имени для приобретения ласки начальства, — ласки, не заслуженной вами. Нечего упоминать здесь и об умышленных и обидных уклонениях ваших от необходимых по сему случаю объяснений. Наконец, чтобы всё сказать, не упоминаю здесь и о последнем странном, можно сказать, непонятном поступке вашем со мною в кофейном доме. Далек от того, чтоб сетовать о бесполезной для меня утрате рубля серебром; но не могу не выказать всего негодования моего при воспоминании о явном посягательстве вашем, милостивый мой государь, в ущерб моей чести и вдобавок в присутствии нескольких персон, хотя незнакомых мне, но вместе с тем весьма хорошего тона...»

«Не далеко ли я захожу? — подумал господин Голядкин. — Не много ли будет; не слишком ли это обидчиво,— этот намек на хороший тон, например?.. Ну, да ничего! Нужно показать ему твердость характера. Впрочем, ему можно, для смягчения, этак польстить и подмаслить в конце. А вот мы посмотрим».

«Но не стал бы я, милостивый государь мой, утомлять вас письмом моим, если бы не был твердо уверен, что благородство сердечных чувств и открытый, прямодушный характер ваш укажут вам самому средства поправить все упущения и восстановить всё по-прежнему.

В полной надежде я смею оставаться уверенным, что вы не примете письма моего в обидную для вас сторону, а вместе с тем и не откажетесь объясниться нарочито по этому случаю письменно, через посредство моего человека.

В ожидании, честь имею пребыть,
милостивый государь,
покорнейшим вашим слугою
*Я. Голядкиным*».

«Ну, вот и всё хорошо. Дело сделано; дошло и до письменного. Но кто ж виноват? Он сам виноват: сам доводит человека до необходимости требовать письменных документов. А я в своем праве...»

Перечитав последний раз письмо, господин Голядкин сложил его, запечатал и позвал Петрушку. Петрушка явился, по обыкновению своему, с заспанными глазами и на что-то крайне сердитый.

— Ты, братец, вот, возьмешь это письмо... понимаешь?

Петрушка молчал.

— Возьмешь его и отнесешь в департамент; там отыщешь дежурного, губернского секретаря Вахрамеева. Вахрамеев сегодня дежурный. Понимаешь ты это?

— Понимаю.

— Понимаю! не можешь сказать: понимаю-с. Спросишь чиновника Вахрамеева и скажешь ему, что, дескать, вот так и так, дескать, барин приказал вам кланяться и покорнейше попросить вас справиться в адресной нашего ведомства книге — где, дескать, живет титулярный советник Голядкин?

Петрушка промолчал и, как показалось господину Голядкину, улыбнулся.

— Ну, так вот ты, Петр, спросишь у них адрес и узнаешь, где, дескать, живет новопоступивший чиновник Голядкин?

— Слушаю.

— Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо; понимаешь?

— Понимаю.

— Если там... вот куда ты письмо отнесешь, — тот господин, кому письмо это дашь, Голядкин-то... Чего ты смеешься, болван?

— Да чего мне смеяться-то? Что мне! Я ничего-с. Нечего нашему брату смеяться...

— Ну, так вот... если тот господин будет спрашивать, дескать, как же твой барин, как же он там; что, дескать, он того... ну, там, что-нибудь будет выспрашивать, — так ты молчи и отвечай, дескать, барин мой ничего, а просят, дескать, ответа от вас своеручного. Понимаешь?

— Понимаю-с.

— Ну, так вот, дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, дескать, и здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается; а от вас, дескать, они ответа просят письменного. Понимаешь?

— Понимаю.

— Ну, ступай.

«Ведь вот еще с этим болваном работа! смеется себе, да и кончено. Чему ж он смеется? Дожил я до беды, дожил я вот таким-то образом до беды! Впрочем, может быть, оно обратится всё к лучшему... Этот мошенник, верно, часа два будет таскаться теперь, пропадет еще где-нибудь. Послать нельзя никуда. Эка беда ведь какая!.. эка ведь беда одолела какая!..»

Чувствуя, таким образом, вполне беду свою, герой наш решился на пассивную двухчасовую роль в ожидании Петрушки. С час времени ходил он по комнате, курил, потом бросил трубку и сел за какую-то книжку, потом прилег на диван, потом опять взялся за трубку, потом опять начал бегать по комнате. Хотел было заняться чем-нибудь, да нечем было заняться. Хотел было он рассуждать, но рассуждать не мог решительно ни о чем. Наконец агония пассивного состояния его возросла до последнего градуса, и господин Голядкин решился принять одну меру. «Петрушка придет еще через час, — думал он, — можно ключ отдать дворнику, а сам я покамест и того... исследую дело, по своей части исследую дело». Не теряя времени и спеша исследовать дело, господин Голядкин взял свою шляпу, вышел из комнаты, запер квартиру, зашел к дворнику, вручил ему ключ вместе с гривенником, — господин Голядкин стал как-то необыкновенно щедр, — и пустился, куда ему следовало. Господин Голядкин пустился пешком, сперва к Измайловскому мосту. В ходьбе прошло с полчаса. Дойдя до цели своего путешествия, он вошел прямо во двор своего знакомого дома и взглянул на окна квартиры статского советника Берендеева. Кроме трех завешенных красными гардинами окон, остальные все были темны. «У Олсуфья Ивановича сегодня, верно, нет гостей, — подумал господин Голядкин, — они, верно, все одни теперь дома сидят». Постояв несколько времени на дворе, герой наш хотел было уже на что-то решиться. Но решению не суждено было состояться, по-видимому. Господин Голядкин отдумал, махнул рукой и воротился на улицу. «Нет, не сюда мне нужно было идти. Что же я буду здесь делать?.. Спрашивается, что же я буду здесь делать? А вот я лучше теперь того... и собственнолично исследую дело». Приняв такое решение, господин Голядкин пустился в свой департамент. Путь был не близок, вдобавок была страшная грязь и мокрый снег валил самыми густыми хлопьями. Но для героя нашего в настоящее время затруднений, кажется, не было. Измок-то он измок, правда, да и загрязнился немало, «да уж так, заодно, зато цель достигнута». И действительно, господин Голядкин уже подходил к своей цели. Темная масса огромного казенного строения уже зачернела вдали перед ним. «Стой! — подумал он, — куда ж я иду и что я буду здесь делать? Положим, узнаю, где он живет; а между тем Петрушка уже, верно, вернулся и ответ мне принес. Время-то я мое дорогое только даром теряю, время-то я мое только так потерял. Ну, ничего; еще всё это можно исправить. Однако, и в самом деле, не зайти ль к Вахрамееву? Ну, да нет! я уж после ... Эк! выходить-то было вовсе не нужно. Да нет, уж характер такой! Сноровка такая, что нужда ли, нет ли, вечно норовлю как-нибудь вперед забежать. Гм... который-то час? уж верно, есть девять. Петрушка может прийти и не найдет меня дома. Сделал я чистую глупость, что вышел... Эх, право, комиссия!»

Искренно сознавшись таким образом, что сделал чистую глупость, герой наш побежал обратно к себе в Шестилавочную. Добежал он усталый, измученный. Еще от дворника узнал он, что Петрушка и не

думал являться. «Ну, так! уж я предчувствовал это, — подумал герой наш, — а между тем уже девять часов. Эк ведь негодяй он какой! Уж вечно где-нибудь пьянствует! Господи Бог мой! Экой ведь денек выдался на долю мою горемычную!» Таким-то образом размышляя и сетуя, господин Голядкин отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил трубку и, истощенный, усталый, разбитый, голодный, прилег на диван в ожидании Петрушки. Свеча нагорала тускло, свет трепетал на стенах... Господин Голядкин глядел-глядел, думал-думал, да и заснул наконец как убитый.

Проснулся он уже поздно. Свеча совсем почти догорела, дымилась и готова была тотчас совершенно потухнуть. Господин Голядкин вскочил, встрепенулся и вспомнил всё, решительно всё. За перегородкой раздавался густой храп Петрушки. Господин Голядкин бросился к окну — нигде ни огонька. Отворил форточку — тихо; город словно вымер, спит. Стало быть, часа два или три; так и есть: часы за перегородкой понатужились и пробили два. Господин Голядкин бросился за перегородку.

Кое-как, впрочем после долгих усилий, растолкал он Петрушку и успел посадить его на постель. В это время свечка совершенно потухла. Минут с десять прошло, покамест господин Голядкин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть сызнова. «Мерзавец ты этакой, негодяй ты такой! — проговорил господин Голядкин, снова его расталкивая, — встанешь ли ты, проснешься ли ты?» После получасовых усилий господин Голядкин успел, однако же, расшевелить совершенно своего служителя и вытащить его из-за перегородки. Тут только увидел герой наш, что Петрушка был, как говорится, мертвецки пьян и едва на ногах держался.

— Бездельник ты этакой! — закричал господин Голядкин, — разбойник ты этакой! голову ты срезал с меня! Господи, куда же это он письмо-то сбыл с рук? Ахти, Создатель мой, ну, как оно... И зачем я его написал? и нужно было мне его написать! Расскакался, дуралей, я с амбицией! Туда же полез за амбицией! Вот тебе и амбиция, подлец ты этакой, вот и амбиция!.. Ну, ты! куда же ты письмо-то дел, разбойник ты этакой? кому же ты отдал его?..

— Никому я не отдавал никакого письма; и не было у меня никакого письма... вот как!

Господин Голядкин ломал руки с отчаяния.

— Слушай ты, Петр... ты послушай, ты слушай меня...

— Слушаю...

— Ты куда ходил? — отвечай...

— Куда ходил... к добрым людям ходил! что мне!

— Ах ты, Господи Боже мой! Куда сначала ходил? был в департаменте?.. Ты послушай, Петр; ты, может быть, пьян?

— Я пьян? Вот хоть сейчас с места не сойти, мак-мак-маковой — вот...

— Нет, нет, это ничего, что ты пьян... Я только так спросил; это хорошо, что ты пьян; я ничего, Петруша, я ничего... Ты, может быть,

только так позабыл, а всё помнишь. Ну-ка, вспомни-ка, был ты у Вахрамеева, чиновника, — был или нет?

— И не был, и чиновника такого не бывало. Вот хоть сейчас...

— Нет, нет, Петр! нет, Петруша, ведь я ничего. Ведь ты видишь, что я ничего... Ну, что ж такое! Ну, на дворе холодно, сыро, ну, выпил человек маленько, ну, и ничего. Я не сержусь. Я сам, брат, выпил сегодня... Ты признайся, вспомни-ка, брат: был ты у чиновника Вахрамеева?

— Ну, как теперь, вот этак пошло, так право слово — вот был же, вот хоть сейчас...

— Ну, хорошо, Петруша, хорошо, что был. Ты видишь, я не сержусь... Ну, ну, — продолжал наш герой, еще более задабривая своего служителя, трепля его по плечу и улыбаясь ему, — ну, клюкнул, мерзавец, маленько... на гривенник, что ли, клюкнул, плутяга ты этакой? Ну, и ничего; ну, ты видишь, что я не сержусь... я не сержусь, братец, я не сержусь...

— Нет, я не плут, как хотите-с... К добрым людям только зашел, а не плут, и плутом никогда не бывал...

— Да нет же, нет, Петруша! ты послушай, Петр: ведь я ничего, ведь я тебя не ругаю, что плутом называю. Ведь это я в утешение тебе говорю, в благородном смысле про это говорю. Ведь это значит, Петруша, польстить иному человеку, как сказать ему, что он петля этакая, продувной малой, что он малой не промах и никому надуть себя не позволит. Это любит иной человек. Это льстит ему. Это я в благородном отношении тебя плутом называю... Ну, ну, ничего! ну, скажи же ты мне, скажи же ты мне, Петруша, теперь, без утайки, откровенно, как другу... ну, был ты у чиновника Вахрамеева и адрес он дал тебе?

— И адрес дал, тоже и адрес дал. Хороший чиновник! И барин твой, говорит, хороший человек, очень хороший, говорит, человек; я, дескать, скажи, говорит, кланяйся, говорит, своему барину, благодари и скажи, что я, дескать, люблю, вот, дескать, как уважаю твоего барина! за то, что, говорит, ты, барин твой, говорит, Петруша, хороший человек, говорит, и ты, говорит, тоже хороший человек, Петруша, — вот...

— Ах ты, Господи Боже мой! А адрес-то, адрес-то, Иуда ты этакой? — Последние слова господин Голядкин проговорил почти шепотом.

— И адрес... и адрес дал; тоже и адрес дал.

— Дал? Ну, где же живет он, Голядкин, чиновник Голядкин, титулярный советник?

— А Голядкин будет тебе, говорит, в Шестилавочной улице. Вот как пойдешь, говорит, в Шестилавочную, так направо, на лестницу, в четвертый этаж. Вот тут тебе, говорит, и будет Голядкин...

— Мошенник ты этакой! — закричал наконец вышедший из терпения герой наш, — разбойник ты этакой! да это ведь я; ведь это ты про меня говоришь. А то другой есть Голядкин; я про другого говорю, мошенник ты этакой!

— Ну, как хотите! что мне! Вы как хотите — вот!..

— А письмо-то, письмо...

— Какое письмо? и не было никакого письма, и не видал я никакого письма.

— Да куда же ты дел его — шельмец ты такой!?..

— Отдал его, отдал письмо. Кланяйся, говорит, благодари; хороший твой, говорит, барин. Кланяйся, говорит, твоему барину.

— Да кто же это сказал? это Голядкин сказал?

Петрушка помолчал немного и усмехнулся во весь рот, глядя прямо в глаза своему барину.

— Слушай ты, разбойник ты этакой! — начал господин Голядкин, задыхаясь, теряясь от бешенства, — что ты сделал со мной! Говори ты мне, что ты сделал со мной! Срезал ты меня, злодей ты такой! Голову с плеч моих снял, Иуда ты этакой!

— Ну, теперь как хотите! что мне! — сказал решительным тоном Петрушка, ретируясь за перегородку.

— Пошел сюда, пошел сюда, разбойник ты этакой!..

— И не пойду я к вам теперь, совсем не пойду. Что мне! Я к добрым людям пойду... А добрые люди живут по честности, добрые люди без фальши живут и по двое никогда не бывают...

У господина Голядкина и руки и ноги оледенели, и дух занялся...

— Да-с, — продолжал Петрушка, — их по двое никогда не бывает, они честно живут; Бога и честных людей не обижают...

— Ты бездельник, ты пьян! Ты спи теперь, разбойник ты этакой! А вот завтра и будет тебе, — едва слышным голосом проговорил господин Голядкин. Что же касается до Петрушки, то он пробормотал еще что-то; потом слышно было, как он налег на кровать, так что кровать затрещала, протяжно зевнул, потянулся и наконец захрапел сном невинности, как говорится. Ни жив ни мертв был господин Голядкин. Поведение Петрушки, намеки его весьма странные, хотя и отдаленные, на которые сердиться, следственно, нечего было, тем более что пьяный человек говорил, и, наконец, весь злокачественный оборот, принимаемый делом, — всё это потрясло до основания господина Голядкина, ясно показав ему, какие глубокие корни пустила клевета, измена, интрига, наушничество и, наконец, как много выиграл поля известный своим неблагопристойным направлением человек в мнении частных людей, а тем более в общественном мнении. А улика — Петрушка и тон, сообщенный шельмецу недоброжелателями господина Голядкина. «И дернуло меня его распекать среди ночи, — говорил наш герой, дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения. — И подсунуло меня с пьяным человеком связаться! Какого толку ждать от пьяного человека! что ни слово, то врет. На что это, впрочем, он намекал, разбойник он этакой? Господи Боже мой! И зачем я все эти письма писал, я-то, душегубец; я-то, самоубийца я этакой! Нельзя помолчать! Надо было провраться! Ведь уж чего: погибаешь, ветошке подобишься, так ведь нет же, туда же с амбицией, дескать, честь моя страждет, дескать, честь тебе свою нужно спасать! Самоубийца я эта-

кой! И какая тенденция у всего этого рода, тенденция-то какая у разбойника! Видит, что человек споткнулся, что человек впросак попал, что человек по уши в болото залез, так вот он тотчас и в пику ему: дескать, в болото залез, так вот тебе за это еще на придачу, и уколет человека, и заденет человека!.. Сострадания-то нет! И я-то, я-то каков? у самого-то тенденция какая скверная! натурка-то подлая!.. И честь свою так уж непременно нужно спасать, — необходимость была! И с пьяным человеком мы готовы связаться! Как будто и пятилетнему ребенку неведомо, что пьяный человек на том и стоит, что врет да грубости делает. И делает их, потому что пьян, потому что тенденция такая у пьяного человека подлая, чтоб грубости делать, потому что и по натуре человеческой именно вот так, а не иначе должно оно выходить. Следственно, он в одном отношении и прав; следственно, он и прав во всех отношениях, и претендовать на это нельзя. Претендовать же нужно на того дурака, который с пьяным человеком связаться готов. Вот оно как! Вот оно как по правде, по истине должно выходить! Напился, так и грубить начинает; оно так и следует, на этом уж человек и стоит, уж в этом натура его, уж в этом не я виноват — вот оно как!..» Так говорил господин Голядкин, сидя на диване своем и не смея пошевелиться от страха. Вдруг глаза его остановились на одном предмете, в высочайшей степени возбудившем его внимание. В страхе — не иллюзия ли, не обман ли воображения предмет, возбудивший внимание его, — протянул он к нему руку, с надеждою, с робостию, с любопытством неописанным... Нет, не обман! не иллюзия! Письмо, точно письмо, непременно письмо, и к нему адресованное... Господин Голядкин взял письмо со стола. Сердце в нем страшно билось. «Это, верно, тот мошенник принес, — подумал он, — и тут положил, а потом и забыл; верно, так всё случилось; это, верно, именно так всё случилось... Впрочем, как же оно? кто же это письмо... Кто же это, вот таким образом, письмо ко мне написал?.. Дорого бы я дал, чтоб узнать, что именно в этом письме, просто узнать, не читавши узнать!.. Господи, Господи!..» Господин Голядкин отложил на время письмо, вынул платок и отер себе пот, выступивший у него на лбу; потом... потом сложил свои руки и долго с необыкновенным усердием что-то шептал про себя; потом, не в силах будучи сдержать своего нетерпения, сломил печать, обернул страницу и прочел подпись. Письмо было от чиновника Вахрамеева, молодого сослуживца и некогда приятеля господина Голядкина. «Впрочем, я всё это заранее предчувствовал, — подумал герой наш, — я всё это вчера непременно предчувствовал, и всё то, что в письме теперь будет, также предчувствовал... Что же? Заодно! На то пошел... Ну!.. Ничего...» Господин Голядкин начал читать. Письмо было следующее:

«Милостивый государь,
Яков Петрович!

Человек ваш пьян, и путного от него не дождешься; по сей причине не предпочитаю отвечать письменно. Спешу вам объявить, что поруче-

ние, вами на меня возлагаемое и состоящее в передаче известной вам особе через мои руки письма, согласен исполнить во всей верности и точности. Квартирует же сия особа, весьма вам известная и теперь заменившая мне друга, коей имя при сем умалчиваю (затем что не хочу напрасно чернить репутацию совершенно невинного человека), вместе с нами, в квартире Каролины Ивановны, в том самом нумере, где прежде еще, в бытность вашу у нас, квартировал заезжий из Тамбова пехотный офицер. Впрочем, особу сию можете найти везде между честных и искренних сердцем людей, чего об иных особах сказать невозможно. Связи мои с вами намерен я с сего числа прекратить; в дружественном же тоне и в прежнем согласном виде товарищества нашего нам оставаться нельзя, и потому прошу вас, милостивый государь мой, немедленно по получении сего откровенного письма моего выслать следуемые мне два целковых за бритвы иностранной работы, проданные мною, если запомнить изволите, семь месяцев тому назад, в долг, еще во время жительства вашего с нами у Каролины Ивановны, женщины, которую я от всей души моей уважаю. Действую же я таким образом потому, что вы, по рассказам умных людей, потеряли амбицию и репутацию и стали опасны для нравственности невинных и незараженных людей, ибо некоторые особы живут не по правде и, сверх того, слова их — фальшь и благонамеренный вид подозрителен. Вступиться же за обиду Каролины Ивановны, которая всегда была благонравного поведения, а во-вторых, честная женщина и вдобавок девица, хотя не молодых лет, но зато хорошей иностранной фамилии, — людей способных можно найти всегда и везде, о чем просили меня некоторые особы упомянуть в сем письме моем мимоходом и говоря от своего лица. Во всяком же случае вы всё узнаете своевременно, если теперь не узнали, несмотря на то что ославили себя, по рассказам умных людей, во всех концах нашей многолюдной столицы и, следовательно, уже во многих местах могли получить надлежащие о себе, милостивый мой государь, сведения. В заключение же письма моего объявляю вам, милостивый мой государь, что известная вам особа, коей имя не упоминаю здесь по известным благородным причинам, весьма уважаема людьми благомыслящими; сверх того, характера веселого и приятного, успевает как на службе, так и между всеми здравомыслящими людьми, верна своему слову и дружбе и не обижает заочно тех, с кем в глаза находится в приятельских отношениях.

Во всяком случае пребываю
покорным слугою вашим

*Н. Вахрамеевым.*

P. S. Вы вашего человека сгоните: он пьяница и приносит вам, по всей вероятности, много хлопот, а возьмите Евстафия, служившего прежде у нас и находящегося на сей раз без места. Теперешний же служитель ваш не только пьяница, но, сверх того, вор, ибо еще на прошлой неделе продал фунт сахару, в виде кусков, Каролине Ива-

новне за уменьшенную цену, что, по моему мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным образом, по-малому и в разные сроки. Пишу вам сие, желая добра, несмотря на то что некоторые особы умеют только обижать и обманывать всех людей, преимущественно же честных и обладающих добрым характером; сверх того, заочно поносят их и представляют их в обратном смысле, единственно из зависти и потому, что сами себя не могут назвать таковыми.

*В.*»

Прочтя письмо Вахрамеева, герой наш долго еще оставался в неподвижном положении на диване своем. Какой-то новый свет пробивался сквозь весь неясный и загадочный туман, уже два дня окружавший его. Герой наш отчасти начинал понимать... Попробовал было он встать с дивана и пройтись раз и другой по комнате, чтоб освежить себя, собрать кое-как разбитые мысли, устремить их на известный предмет и потом, поправив себя немного, зрело обдумать свое положение, решиться на что-нибудь непременно и твердо и сообразно с решением действовать. Но только что хотел было он привстать, как тут же в немощи и бессилии упал опять на прежнее место. «Оно, конечно, я это всё заранее предчувствовал; соглашаюсь, что и должно было быть так, непременно должно было быть так, чтоб я это всё заране предчувствовал; но, однако же, как же он пишет и каков прямой смысл этих слов? Смысл-то я, положим, и знаю; но куда это поведет? Господи Боже мой! куда это всё поведет?.. Сказали бы прямо: вот, дескать, так-то и так-то и требуется то-то и то-то, я бы и исполнил и угодное сделал бы им, и всё дело повернулось бы к лучшему, и все были бы довольны и счастливы. Турнюра-то, оборот-то, принимаемый делом, такой неприятный выходит! Ах, как бы поскорее добраться до завтра и поскорее добраться до дела! теперь же я знаю, что делать, очень хорошо знаю, что именно теперь мне надобно делать. Дескать, так и так, скажу, на резоны согласен, чести моей не продам, а того... пожалуй; впрочем, он-то, особа-то эта известная, лицо-то неблагоприятное как же сюда подмешалось? и зачем именно подмешалось сюда? Ах, как бы до завтра скорей! Ославят они меня до тех пор, интригуют они, в пику работают! Главное — времени не нужно терять, а теперь, например, хоть письмо написать и только пропустить, что, дескать, то-то и то-то и вот на то-то и то-то согласен. А завтра чем свет отослать, и самому пораньше того... и с другой стороны им в контру пойти, и предупредить их, голубчиков... Ославят они меня, да и только!»

Господин Голядкин подвинул бумагу, взял перо и написал следующее послание в ответ на письмо губернского секретаря Вахрамеева:

«Милостивый государь,
Нестор Игнатьевич!

С прискорбным сердцу моему удивлением прочел я оскорбительное для меня письмо ваше, ибо ясно вижу, что под именем некоторых неблагопристойных особ и иных с ложною благонамеренностью людей

разумеете вы меня. С истинною горестию вижу, как скоро, успешно и какие далекие корни пустила клевета, в ущерб моему благоденствию, моей чести и доброму моему имени. И тем более прискорбно и оскорбительно это, что даже честные люди, с истинно благородным образом мыслей и, главное, одаренные прямым и открытым характером, отступают от интересов благородных людей и прилепляются лучшими качествами сердца своего к зловредной тле, к несчастию в наше тяжелое и безнравственное время расплодившейся сильно и крайне неблагонамеренно. Я говорю вообще; о частных же лицах упоминать здесь считаю излишним, хотя священным долгом своим почитаю предостеречь неопытную и незараженную невинность от тлетворных и одаренных ядовитым дыханием чудовищ, ложно и фальшиво принявших на себя человеческий образ и выдающих себя, с возмущающею душу наглостию, за других, совершенно посторонних людей, живущих открыто и благородно, идущих прямою дорогою, без маски, с открытым лицом, презирающих кривыми путями и интригами и тем справедливо гордящихся. В заключение скажу, что вами означенный долг мой, два рубля серебром, почту святою обязанностию возвратить вам во всей его целости.

Что же касается до ваших, милостивый государь мой, намеков насчет известной особы женского пола, насчет намерений, расчетов и разных замыслов этой особы, то скажу вам, милостивый государь мой, что я смутно и неясно понял все эти намеки. Позвольте мне, милостивый государь мой, благородный образ мыслей моих и честное имя мое сохранить незапятнанными. Во всяком же случае готов снизойти до объяснения лично, предпочитая верность личного письменному, и, сверх того, готов войти в разные миролюбивые, обоюдные разумеется, соглашения. На сей конец прошу вас, милостивый мой государь, передать сей особе готовность мою для соглашения личного и, сверх того, просить ее назначить время и место свидания. Горько мне было читать, милостивый государь мой, намеки на то, что будто бы вас оскорбил, изменил нашей первобытной дружбе и отзывался о вас с дурной стороны. Приписываю всё сие недоразумению, гнусной клевете, зависти и недоброжелательству тех, коих справедливо могу наименовать ожесточеннейшими врагами моими. Но они, вероятно, не знают, что невинность сильна уже своею невинностью, что бесстыдство, наглость и возмущающая душу фамильярность иных особ, рано ли, поздно ли, заслужит себе всеобщее клеймо презрения и что эти особы погибнут не иначе как от собственной неблагопристойности и развращенности сердца. В заключение прошу вас, милостивый государь мой, передать сим особам, что странная претензия их и неблагородное фантастическое желание вытеснять других из пределов, занимаемых сими другими своим бытием в этом мире, и занять их место, заслуживают изумления, презрения, сожаления и, сверх того, сумасшедшего дома; что, сверх того, такие отношения запрещены строго законами, что, по моему мнению, совершенно справедливо; ибо всякий должен быть доволен своим собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то шутка неблагопристойная, скажу более: совершенно безнравственная;

ибо смею уверить вас, милостивый государь мой, что идеи мои, выше распространенные насчет *своих мест*, чисто нравственные.

Во всяком случае честь имею пребыть
Вашим покорным слугою

*Я. Голядкин*».

## *Глава X*

Мнение господина Голядкина о том, что такое игра с козырями и игра бескозырная. Развращенный человек занимает место господина Голядкина в практической жизни. О том, как смотрят на всё это обстоятельство разные извозчики и согласившийся с ними Петрушка. Господин Голядкин просыпается, пишет письмо и несколько задевает репутацию Гришки Отрепьева. Господин Голядкин начинает интриговать. Писаря. О том, как покончил свои интриги и на что окончательно решился господин Голядкин.

Вообще можно сказать, что происшествия вчерашнего дня до основания потрясли господина Голядкина; всего же страшнее было последнее слово врагов его. Конечно, это последнее слово было еще не досказано... Всё это было в каком-то таинственном, угрожающем сумраке; но это-то самое обстоятельство, что всё-то это было в сумраке и таинственно, и подрывало господина Голядкина. «Играй они в открытую игру, — думал господин Голядкин сквозь сон, в минуту своего пробуждения, — то я не допустил бы их так козырять; я бы показал им тогда игру бескозырную». Всего же более мучило господина Голядкина письмо Вахрамеева. Что значили все эти намеки? что означает этот до странности резкий и угрожающий тон? Конечно, господин Голядкин всё это заранее предчувствовал... то есть вовсе не то, но оно так всё как-то странно удалось и случилось, что вышло именно это, а не другое; следовательно, господин Голядкин и это тоже предчувствовал. — Почивал наш герой не весьма хорошо, то есть никак не мог даже на пять минут заснуть совершенно: словно проказник какой-нибудь насыпал ему резаной щетины в постель. Всю ночь провел он в каком-то полусне, полубдении, переворачиваясь со стороны на сторону, с боку на бок, охая, кряхтя, на минутку засыпая, через минутку опять просыпаясь, и всё это сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями, — одним словом, всем, что только можно найти неприятного... То появлялась перед ним в каком-то странном, загадочном полусвете фигура Андрея Филипповича, — сухая фигура, сердитая фигура, с сухим, жестким взглядом и с черство-учтивой побранкой... И только что господин Голядкин начинал было подходить к Андрею Филипповичу, чтоб перед ним каким-нибудь образом, так или этак, оправдаться и доказать ему, что он вовсе не таков, как его враги расписали, что он вот такой-то да

сякой-то и даже обладает, сверх обыкновенных, врожденных качеств своих, вот тем-то и тем-то, но как тут и являлось известное своим неблагопристойным направлением лицо и каким-нибудь самым возмущающим душу средством сразу разрушало все предначинания господина Голядкина, тут же, почти на глазах же господина Голядкина, очерняло досконально его репутацию, втаптывало в грязь его амбицию и потом немедленно занимало место его на службе и в обществе. То чесалась голова господина Голядкина от какого-нибудь щелчка, недавно благоприобретенного и уничиженно принятого, полученного или в общежитии, или как-нибудь там по обязанности, на который щелчок протестовать было трудно... И между тем как господин Голядкин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчок, — между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь другую форму, — в форму какой-нибудь известной маленькой или довольно значительной подлости, виденной, слышанной или самим недавно исполненной, — и часто исполненной-то даже и не на подлом основании, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, а так, — иногда, например, по случаю, — из деликатности, другой раз из ради совершенной своей беззащитности, ну и, наконец, потому... потому, одним словом, уж это господин Голядкин знал хорошо *почему*! Тут господин Голядкин краснел сквозь сон и, подавляя краску свою, бормотал про себя, что, дескать, здесь, например, можно бы показать твердость характера, значительную бы можно было показать в этом случае твердость характера... а потом и заключал, что, «дескать, что же твердость характера!.. дескать, зачем ее теперь поминать!..» Но всего более бесило и раздражало господина Голядкина то, что как тут, и непременно в такую минуту, звали ль, не звали ль его, являлось известное безобразием и пасквильностью своего направления лицо и тоже, несмотря на то что уже, кажется, дело было известное, — тоже туда же бормотало с неблагопристойной улыбочкой, что, «дескать, что уж тут твердость характера! какая, дескать, у нас с тобой, Яков Петрович, будет твердость характера!..» То грезилось господину Голядкину, что находится он в одной прекрасной компании, известной своим остроумием и благородным тоном всех лиц, ее составляющих; что господин Голядкин в свою очередь отличился в отношении любезности и остроумия, что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших тут же, его полюбили, что очень приятно было господину Голядкину; что все ему отдали первенство и что, наконец, сам господин Голядкин с приятностью подслушал, как хозяин тут же, отведя в сторону кой-кого из гостей, похвалил господина Голядкина... и вдруг, ни с того ни с сего, опять явилось известное своею неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо, в виде господина Голядкина-младшего, и тут же, сразу, в один миг, одним появлением своим Голядкин-младший разрушал всё торжество и всю славу господина Голядкина-старшего, затмил собою Голядкина-старшего, втоптал в грязь Голядкина-старшего и, наконец, ясно доказал, что Голядкин-старший и вместе с тем настоящий — вовсе не

настоящий, а поддельный, а что он настоящий, что, наконец, Голядкин-старший вовсе не то, чем он кажется, а такой-то и сякой-то, и, следовательно, не должен и не имеет права принадлежать к обществу людей благонамеренных и хорошего тона. И всё это до того быстро сделалось, что господин Голядкин-старший и рта раскрыть не успел, как уже все и душою и телом предались безобразному и поддельному господину Голядкину и с глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного господина Голядкина. Не оставалось лица, которого мнения не переделал бы в один миг безобразный господин Голядкин по-своему. Не оставалось лица, даже самого незначительного из целой компании, к которому бы не подлизался бесполезный и фальшивый господин Голядкин по-своему, самым сладчайшим манером, к которому бы не подбился по-своему, перед которым бы он не покурил, по своему обыкновению, чем-нибудь самым приятным и сладким, так что обкуриваемое лицо только нюхало и чихало до слез в знак высочайшего удовольствия. И, главное, всё это делалось мигом: быстрота хода подозрительного и бесполезного господина Голядкина была удивительная! Чуть успеет, например, полизаться с одним, заслужить благорасположение его, — и глазком не мигнешь, как уж он у другого. Полижется-полижется с другим втихомолочку, сорвет улыбочку благоволения, лягнет своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, дубоватенькой ножкой, — и вот уж и с третьим, и куртизанит уж третьего, и с ним тоже лижется по-приятельски; рта раскрыть не успеешь, в изумление не успеешь прийти, — а уж он у четвертого, и с четвертым уже на тех же кондициях, — ужас, колдовство, да и только! И все рады ему, и все любят его, и все превозносят его, и все провозглашают хором, что любезность и сатирическое ума его направление не в пример лучше любезности и сатирического направления настоящего господина Голядкина, и стыдят этим настоящего и невинного господина Голядкина, и отвергают правдолюбивого господина Голядкина, и уже гонят в толчки благонамеренного господина Голядкина, и уже сыплют щелчки в известного любовию к ближнему настоящего господина Голядкина!.. В тоске, в ужасе, в бешенстве выбежал многострадательный господин Голядкин на улицу и стал нанимать извозчика, чтоб прямо лететь к его превосходительству, а если не так, то уж по крайней мере к Андрею Филипповичу, но — ужас! извозчики никак не соглашались везти господина Голядкина, «дескать, барин, нельзя везти двух совершенно подобных; дескать, ваше благородие, хороший человек норовит жить по честности, а не как-нибудь, и вдвойне никогда не бывает». В исступлении стыда оглядывался кругом совершенно честный господин Голядкин и действительно уверялся, сам, своими глазами, что извозчики и стакнувшийся с ними Петрушка все в своем праве; ибо развращенный господин Голядкин находился действительно тут же, возле него, не в дальнем от него расстоянии, и, следуя подлым обычаям нравов своих, и тут, и в этом критическом случае, непременно готовился сделать что-то весьма неприличное и нисколько не обличавшее особенного благородства характера, получаемого обыкновенно

при воспитании, — благородства, которым так величался при всяком удобном случае отвратительный господин Голядкин второй. Не помня себя, в стыде и в отчаянии, бросился погибший и совершенно справедливый господин Голядкин куда глаза глядят, на волю судьбы, куда бы ни вынесло; но с каждым шагом его, с каждым ударом ноги в гранит тротуара выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно, совершенно подобному и отвратительному развращенностию сердца господину Голядкину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим и длинною цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убежать от совершенно подобных, — так что дух захватывало всячески достойному сожаления господину Голядкину от ужаса, — так что народилась наконец страшная бездна совершенно подобных, — так что вся столица запрудилась наконец совершенно подобными, и полицейский служитель, видя таковое нарушение приличия, принужден был взять их всех совершенно подобных за шиворот и посадить в случившуюся у него под боком будку... Цепенея и леденея от ужаса, просыпался герой наш и, цепенея и леденея от ужаса, чувствовал, что и наяву-то едва ли веселее проводится время... Тяжело, мучительно было!.. Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди...

Наконец господин Голядкин не мог долее вытерпеть. «Не будет же этого!» — закричал он, с решимостью приподымаясь с постели, и вслед за этим восклицанием совершенно очнулся.

День, по-видимому, уже давно начался. В комнате было как-то не по-обыкновенному светло; солнечные лучи густо процеживались сквозь заиндевевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по комнате, что немало удивило господина Голядкина; ибо разве только в полдень заглядывало к нему солнце своим чередом; прежде же таких исключений в течении небесного светила, сколько по крайней мере господин Голядкин сам мог припомнить, почти никогда не бывало. Только что успел подивиться на это герой наш, как зажужжали за перегородкой стенные часы и таким образом совершенно приготовились бить. «А, вот!» — подумал господин Голядкин и с тоскливым ожиданием приготовился слушать... Но, к совершенному и окончательному поражению господина Голядкина, часы его понатужились и ударили всего один раз. «Это что за история?» — вскричал наш герой, выскакивая совсем из постели. Так, как был, не веря ушам своим, бросился он за перегородку. На часах был действительно час. Господин Голядкин взглянул на кровать Петрушки; но в комнате даже не пахло Петрушкой: постель его, по-видимому, давно уже была прибрана и оставлена; сапогов его тоже нигде не видать было, — несомненный признак, что Петрушки действительно не было дома. Господин Голядкин бросился к дверям: двери заперты. Не отлагая в долгий ящик дела, господин Голядкин вбежал опять в свою комнату, бросился на постель, завернулся в одеяло и крепко зажмурил глаза...

С минутку времени пролежал наш герой недвижимо; потом осторожно, боязливо, тихо открыл оба глаза: нет! перемены нет никакой; всё было то же, по-прежнему. «Стало быть, даже и не сон! — вскрикнул господин Голядкин, — стало быть, это я действительно, в сущности, и наяву проспал за полдень! Да где же Петрушка?» — продолжал он пошептом, весь в страшном волнении и чувствуя довольно значительную дрожь во всех членах... Вдруг одна мысль пронеслась в голове его... Господин Голядкин бросился к столу своему, оглядел его, обшарил кругом, — так и есть: вчерашнего письма его к Вахрамееву не было... Петрушки за перегородкой тоже теперь совсем не было; на стенных часах бил час, а во вчерашнем письме Вахрамеева были введены какие-то новые пункты, весьма, впрочем, с первого взгляда неясные пункты, но теперь совершенно объяснившиеся пункты, лично и фамильно до господина Голядкина относящиеся... Наконец, и Петрушка, хотя и в пьяном виде (и следственно, был в своем праве, и потому с него и спрашивать нечего), объявил же вчера, что другие вдвойне не живут, а живут по честности... Стало быть, это всё было так! Намек был ясный, козни врагов обнаружены, и игра почти открывалась; игра-то шла, стало быть, теперь на открытую... Ясное дело, что подкапывались теперь под самое сердце его благоденствия; ясное дело, что подкупали, шныряли, колдовали, гадали, шпионничали, что, наконец, хотели окончательной гибели господина Голядкина; может быть, уже назначили день... может быть, уже назначили час... Стало быть, Петрушка подкуплен и тоже теперь на их стороне переметчиком; стало быть, вот как! Стало быть, вот такую-то турнюру начали теперь дела принимать!.. Иначе чем же объяснить исчезновение Петрушки, вчерашнее поведение Петрушки, письмо Вахрамеева с обвинительными пунктами, сухость и жесткость отношений с начальством, наконец, исчезновение письма и то, что господин Голядкин проспал за полдень, — чем же всё это объяснить, как не присутствием, как не злонамеренным участием во всех неудачах его нового неблагопристойного лица, как не скрытными и подпольными кознями этого лица для нанесения всяческого безбожного ущерба господину Голядкину... И господин Голядкин знал, какое это было лицо, знал, какая новая особа подмешалась, — и знал, почему подмешалась. Потому, что у Измайловского моста дело началось, потому и подмешалась. «И этого довольно для дальнейшего уразумения, — подумал господин Голядкин. — Да и дело-то ясное было! Да и как, впрочем, такая простая мысль еще вчера миновала меня! как это я сразу давно обо всем не смекнул! Оттого всё и сделалось; и хотя это и сплетня, хотя всё это не более как выдумка бабья, старушья, выдумка известных старух, стакнувшихся с известными лицами, чтоб людей обморочить, чтоб окончательно дорезать в нравственном отношении человека, — но всё это было именно так! Так это там-то главный узел завязывался! — вскричал господин Голядкин, ударив себя по лбу и всё более и более открывая глаза, — так это в гнезде этой скаредной немки кроется теперь вся главная нечистая сила! Так это, стало быть, она только стра-

тегическую диверсию делала, указывая мне на Измайловский мост, — глаза отводила, мой покой отравляла, смущала меня (негодная ведьма!) и вот таким-то образом подкопы вела!!! Да, это так! это так! Если только с этой стороны на дело взглянуть, то всё это и будет вот именно так! Непременно должно быть так! И появление мерзавца тоже теперь объясняется, вполне объясняется; это всё одно к одному. Они его давно уж держали, приготовляли и на черный день припасали. Он у них закваска всей этой неблагопристойной интриги и ими же сделан для содействия их главным и самым неблагонамеренным целям. Ведь вот оно как теперь, как сказалось-то всё! как разрешилось-то всё! Так вот чего прихватило дельце-то наше теперь! Стало быть, маска упадает теперь, стало быть, открывается всё! Стало быть, бесстыдство, разврат и распутство не стыдятся теперь своей наготы и решаются среди бела дня идти открыто и с поднятой головой... Но на этом-то они и опешатся; вот на этом-то они и коленку сшибут! — вскричал наш герой, припомнив себе при сем затруднительном случае, что невинность сильна уже одною своею невинностью... — И дивно, как это я вчера оплошал и ничего не заметил! А ну, ничего! Еще не потеряно время; еще, слава Богу, его немного ушло и время еще совсем почти не потеряно!..» Тут господин Голядкин с ужасом вспомнил, что уже час пополудни. «Что, если они теперь и успели!.. — Стон вырвался у него из груди... — Да нет же, врут, не успели, — посмотрим... а вот мы теперь возьмем да и посмотрим, дескать, того, на чистую ногу... да и посмотрим...» — бормотал господин Голядкин, не слишком-то себя понимая, растерявшись, бледнея и трепеща от тоски и волнения. Наконец наш герой, схватясь за платье, стал как можно скорей одеваться...

Кое-как он оделся; не теряя времени, отпер другим ключом квартиру, сбежал с лестницы и, уже не останавливаясь расспросить дворника о своем человеке, зная, что всё это лишнее, что всё это в стачке и один на другом выезжает, выбежал за ворота и побежал в департамент. Впрочем, на углу Итальянской и Шестилавочной улиц герой наш успел еще вовремя благоразумно одуматься, переменить решение свое и положил на время воротиться домой. «Оно и нужды нет, — думал он, — что приопоздаю маленько. Недосказанного же слова ведь так нельзя оставлять. В должность-то я, во-первых, успею рано ли, поздно ли, — развязка всё та же. Всё это кругом этого ходит. Я же могу и того... так и сделаю... К его-то превосходительству я могу и позавечерком побывать; дескать, того, так и так, дескать... экспра, — вверяюсь, — и при сем представляю, того... Оно вот и будет всё так! Что же касается до главного дела, то к худшему, кажется, его уж испортить нельзя; уж и так всё исправно, всё благополучнейшим образом обстоит. Во всяком же случае тому необходимо еще написать, и поскорей написать, предуведомить, дурака припугнуть — именно припугнуть, непременно припугнуть; дескать, так и так, сударь мой, а вас того... припугнуть! Я вам, милостивый мой государь, глаза открываю, а впрочем, желаю всем сердцем остаться с вами в дружеских и

т. д., — это непременно нужно. А тому объявить решительно, прямо, что игра его очень запутана, дескать, крайне запутана, я вас уверяю... Что так или этак на дело смотреть, милостивый вы мой государь и мерзавец, а распутать вашу игру мы предоставим повыше кому-нибудь, почище нас с вами кому-нибудь, — дескать, перенесем в другую инстанцию, — махнем, дескать, и повыше куда-нибудь; дескать, сударь вы мой, и у нас губа не дура; дескать, сударь вы мой, всякий человек собственный свой нос бережет, лелеет и охраняет его, а мы, сударь, свой сморкаем не левой ногой и т. д. Вот как мы сделаем; вот оно как; то есть на смелую ногу, заговорим языком прямым, благородным, с стальною, как говорится в хорошем слоге, решимостью и с железною твердостью, чего, как всему свету известно, боится всякий подлец, и т. д. Или оно, может быть, и так можно сделать... то есть того... то есть делу дать другой оборот, то есть этак энтого, и — под-ли-сить... то есть нет, зачем подлисать... это подло, подлисить! а так тоже можно — языком прямым, благородным и совершенно на смелую ногу, то есть того... так и так, дескать, — дескать, если есть какая вина на мне, то я готов на соглашение-то, пожалуй, готов, виноват, дескать... а впрочем, и того... — ну, там благородным образом, разумеется...»

Тут господин Голядкин остановился и заметил, что он бросает свой известный, страшный, вызывающий взгляд на гравированный портрет шута Балакирева, висевший в его комнате над постелью. Балакирев же только зубы скалил, посматривая на господина Голядкина. В смущенье огляделся кругом наш герой и тут только увидел, что уже давным-давно воротился в свою комнату, чего было сначала совсем не заметил, углубясь в свои рассуждения... Плюнув с досады, господин Голядкин сбросил с себя шинель и всё прочее, ненужное в комнате, сел за стол, схватил перо и, много не медля, настрочил два нижеследующие послания, — одно Вахрамееву, а другое неблагородному господину Голядкину-младшему. Письмо к Вахрамееву было следующего содержания:

«Милостивый государь мой,
Нестор Игнатьевич!

Сохранив в неприкосновенности и целости благородство души, неразвращенное сердце и спокойную совесть (истинное богатство и счастие всякого смертного!), принужден я, милостивый государь мой, вторично и не ожидая вашего ответа на вчерашнее письмо мое, объясниться с вами и окончательно сказать теперь мое последнее слово. Стыжусь вчерашнего письма моего; ибо в невинности моей и моем простосердечии — качествах, заключающих в себе настоящие признаки истинно благородного основания, получаемого преимущественно воспитанием (чем так ложно и нагло гордятся некоторые фальшивые и во всяком случае бесполезные люди), — в невинности моей и простосердечии моем, повторяю, говорил я с вами, милостивый мой государь, в последнем письме моем языком не ухищрений и не подпольных

скрытных козней, но открытым, благородным, внушенным мне истинным убеждением в чистоте моей совести и в презрении, питаемом мною к отвратительному и во всех отношениях сожаления достойному лицемерству. Переменяю язык и вместе с тем убедительнейше прошу вас, милостивый мой государь, считать вчерашнее, воровски приобретенное Петрушкою письмо мое к вам как бы не полученным вами, как бы не существовавшим вовсе или, если невозможно всё это, то по крайней мере умоляю вас, милостивый мой государь, читать его совершенно наоборот, в обратном смысле, то есть нарочито толкуя смысл речей моих в совершенно им обратную сторону. Ибо я не только не желаю теперь свидания с известною вам особою женского пола, но вполне отвергаю, ради собственной, личной и интереса моего безопасности, даже какие-либо отдаленнейшие и невиннейшие с нею сношения. Отвергал же сию особу и чуждался ее и тогда, когда без всякого с моей стороны повода к нарушению приличий жил я, в сообществе вашем и других, сердцу моему навеки милых людей, в квартире этой особы, пользуясь ее столом и прислугою. Так же точно намерен я чуждаться ее и теперь, когда известился из писанного вами от **— сего месяца письма о незаконном и во всяком случае бесчестном для особы благонадежного воспитания приобретении фунта сахара, в виде кусков, чрез вора Петрушку, чему даже рад; ибо имею теперь в руках письменный и подлинный документ о фальшивых ее добродетелях. Наконец, и надеюсь, что вы в прямоте вашего истинно откровенного характера вполне согласитесь, что подкуп Петрушки, переманка его к себе в услужение и подсовывание с вашей, милостивый мой государь, стороны Евстафия как способного, по вашим хитрым словам, к услужению холостому и благонравного поведения молодому человеку, — а между тем негодяя, какого даже и свет не производил до сих пор, — говорят в мою пользу даже более, чем следует. Верьте, милостивый мой государь (если еще не удалось вам доселе увериться), что на всё в свете существует расправа и что над нашим братом существует также начальство. Лживых же писем моих к сей особе, как несправедливо уверяете вы, милостивый государь, в вашем письме, не существовало никогда, и, следовательно, документов против меня никаких не имеется. Известному же, постыдному своим направлением и вместе с тем несчастному лицу, играющему теперь жалкую и, кроме того, опасную роль подставного и самозванца, скажите, что, во-первых, 1) самозванство и паче всего бесстыдство и наглость никогда и никого не приводили к чему-нибудь хорошему и нравственному; 2) что Отрепьевы в нашем веке невозможны; 3) что четверостишие, будто им самим сочиненное и написанное им в бытность у меня с крокодиловыми и, следовательно, обманчивыми слезами умиления, я берегу у себя как свидетельство перед целым светом против возмущающего душу разврата и бесстыдства, — качеств, ведущих к погибели, — и что, наконец, 4) близнецом я ничьим не именовался и никогда не бывал, что претензия эта заслужит ему скорее осмеяние и позор со стороны всех людей, чем какое-либо исполнение его гнусных желаний, и что шутить, нако-

нец, я с собой не позволю. Скажите им всем, милостивый мой государь, что я не из тех людей, которые боятся суда или очной ставки, чувствуя, что и сами-то прихватили на душу немного грешка, и посему зайцем вперед забегают; что я не из тех людей, которые всячески готовы протянуть свой нос под щелчок, да потом еще и благодарят за него; что я, наконец, не из тех людей, которые, если сошьют, например, себе у портного панталоны по моде, с хорошими штрипками, то, по глупости своей и подобно дуракам, чувствуют себя на весь день уже совершенно счастливыми. В заключение скажу, что деньги, следуемые вам, милостивый государь мой, за продажу мне бритв, почту священнейшим для меня долгом возвратить все сполна и с нижайшею при сем благодарностью.

Впрочем, пребываю к вам в уважении
и остаюсь вашим,
Милостивого государя моего,
покорнейшим слугою
*Я. Голядкин*».

Письмо к господину Голядкину-младшему было следующего содержания:

«Милостивый государь мой,
Яков Петрович!

Либо вы, либо я, а вместе нам невозможно! И потому объявляю вам, что странное, смешное и вместе с тем вполне невозможное желание ваше казаться моим близнецом и выдавать себя за такового послужит не к чему иному, как к совершенному вашему бесчестию и поражению. Я не знаю или, лучше сказать, не помню хорошенько, из каких вы земель, но христиански предупреждаю вас, что самозванством здесь, у нас, и в наш век не возьмешь и что мы живем не в лесу. И потому прошу вас, ради собственной же выгоды вашей, сбросить маску свою, посторониться и дать путь людям истинно благородным и с целями благонамеренными. В противном же случае готов буду решиться даже на самые крайние меры; тогда маска сама собою спадет и кое-что само собой обнажится; из сожаления же к вам вас уведомляю об этом. Во всяком же случае предупреждаю вас теперь в последний раз. Потом будет поздно. Кладу перо и ожидаю... Впрочем, пребываю во всяком случае готовым на услуги

*Я. Голядкин*».

Энергически потер себе руки герой наш, когда кончил свои оба письма. Господин Голядкин был заметно в сильном волнении, как будто бы уже и совсем разгромил всех врагов своих и окончательно разрушил все их отвратительные и низкие козни. Особенно же разгорячился он, дописывая свои последние строки. Дело в том, что сам он сильно почувствовал наконец, что находится в праве своем. С любовью

и с надеждой взглянул он еще раз на горячие, уже остывавшие, впрочем, строки, потом свернул оба письма и запечатал в два разные конверта. «А теперь и за работу, — не медля сказал господин Голядкин, вставая с своего дивана, — теперь я им в контру и как можно скорее. Предупредить же их можно, очень возможно; если бы только не поздно. Эх, эх, да уже третий в начале!»

Действительно, уже четверть третьего показывали часы господина Голядкина, когда пришлось ему окончить свою переписку. Несмотря на то что оба письма были весьма небольшие, слог их достался нашему герою весьма нелегко. Особенно нужно было сильно работать вначале, на первых страницах. Молча взял господин Голядкин свою шляпу и довольно медленно стал натягивать шинель на плеча. Дело-то было действительно странное. Шутка-то, впрочем, выходила опять весьма нехорошая! Оно, конечно, впрочем, если так судить, с одной стороны на дело смотреть, то и ничего, пожалуй, — ну, да; а если этак взяться с другой стороны, оно и не так выходило, так глядело-то оно совершенно другим. Дело было в том, что и теперь, написав свои два письма, полюбовавшись ими и наконец совсем запечатав, герой наш всё еще был в каком-то раздумье. «Впрочем, зачем я их написал, эти письма-то? — говорил он сам про себя, взяв свою шляпу и вторично выходя из квартиры, — зачем же это по-настоящему-то я их написал? Оно, конечно, и того... да не рано ли? Не лучше ли выждать? — так... этак благоразумно умолчать до времени; показать вид, что не хочу вызывать, что сам на неприятность не хочу выходить, покамест мимо ушей пропускаю, — вот оно как! А то ведь это будет решительный шаг — шаг смелый, — шаг даже уж и слишком решительный, если этак всё начать говорить, — шаг, который за собою может повлечь — повлечь что-нибудь весьма неприятное... Гм... эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то наше как теперь плоховато... гм! Весьма, впрочем, плохо и то, что я так опоздал непростительно; — как мне теперь? Заходить туда как-то жутко; к тому же почти и смеркается... Эх, плохо, плохо!.. Впрочем, любопытно бы знать, как там того, и на какой он ноге теперь... Дескать, на какой-то вы там ноге, милостивый мой государь? — бормотал господин Голядкин, приехав и слезая с извозчика. — Дескать, на что вы решились и что-то вы теперь поделываете, желательно знать?.. — продолжал он бормотать, расплачиваясь с извозчиком и отчасти не помня себя от волнения. — Да ну! ничего, впрочем, — сказал он наконец в заключение, — а вот, однако ж, я всё про то... Плохо, и действительно плохо, что я эти два письма написал; и таким слогом, наконец, написал; гораздо бы лучше было, если бы написать их более в дружеском, в приятельском тоне... Вахрамееву, например, там, между прочим... дескать, так и так, милый друг, помню приятные минуты, проведенные вместе с тобою, и особенно тот незабытый вечер и т. д., и тут, между прочим, так, попенять ему только... дескать, посылаю тебе, милый друг, два целковых за бритвы; спасибо, что напомнил, а между прочим, позволь тебе сказать по-дружески, милый друг, что я, так и так, прочел письмо твое (тут отчасти

можно и шуточкой) и вижу, что ты, волокита и коварный изменник (такой ты сякой), стоишь рыцарем за германскую красотку с бельмом на глазу, то есть за известную нам особу женского пола... Впрочем, о бельме-то и умолчать не мешает. Дурак, действительно, имеет виды на ту сторону... да ну, ничего, это лишнее, а вот: итак, милый друг, объяснив тебе то-то и то-то, заключаю письмо и пребываю твоим вернейшим Голядкиным и т. д. — вот оно как! Впрочем, так или этак, а оно все-таки и того... Эх, плохо, плохо! Остеречься бы нужно, выждать было бы нужно до времени, когда бы еще более обнаружилось дело... Э, да ну, ничего! Поживешь — попривыкнешь; а вот мы теперь и того, и исследуем дело; это действительно по нашей части исследовать дело; оно и всегда, наконец, было по нашей части исследовать дело какое-нибудь... Так-таки взять да проникнуть... — говорил господин Голядкин, остановившись в раздумье у департаментской лестницы. — Дело-то в том, что действительно войти или нет? Оно, конечно, с одной стороны, пожалуй, и того, но, с другой стороны, оно, пожалуй, и опять то же самое. Эх, плохо, плохо! эх, дельце-то наше как теперь плоховато!..» Наконец господин Голядкин решился немножко. Впрочем, решившись немножко, господин Голядкин тут же открыл, что не лучше ли после, что не лучше ли этак, каким-нибудь там и того, дескать, после; а теперь на смелую ногу, да и другим путем как-нибудь; а то ведь это значило обнаруживать слишком игру и самому в петлю лезть. А оно и всегда бывает не совсем-то хорошо обнаруживать много; если уж всё говорить, если на то пошло, чтоб уж всё говорить, так оно и не всегда бывает хорошо свой нос далеко выставлять и в карты свои позволять заглядывать. Дело было в том, что господин Голядкин действительно и весьма верно предчувствовал, что наступает минута решительная, что дело развязывается, что интрига, коварство и измена работают, и что, наконец, враги совершенно предупредили его, взяли верх, и что, наконец, развязка теперь на носу. «Конечно, — думал герой наш, — конечно, это всё можно преждевременно разузнать под рукою, обо всем этом можно разузнать предварительно, можно узнать, например, и в передней, каков он действительно там-то и на какой он ноге; а носу своего далеко не выставлять; дескать, нос-то свой нужно теперь поберечь, потому что оно ко вреду человека бывает далеко свой нос выставлять, — дескать, вот оно как, и т. д.»

Вот таким-то образом опадал и терялся герой наш, недоумевая, что сделать и как ему поступать в своем затруднительном обстоятельстве. Вдруг одно, по-видимому, весьма маловажное обстоятельство разрешило некоторые сомнения господина Голядкина и хотя только отчасти помогло ему, но по крайней мере поставило на битую дорогу, на истинный путь. Из-за угла департаментского здания вдруг показалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся, вероятно от скорой ходьбы, фигурка и украдкой, крысиной походкой шмыгнула на крыльцо и потом тотчас же в сени. Это был писарь Остафьев, человек весьма знакомый господину Голядкину, человек отчасти нужный и за гривенник готовый на всё. Зная нежную струнку Остафьева и смекнув, что он,

после отлучки за самонужнейшей надобностью, вероятно, стал еще более прежнего падок на гривенники, герой наш решился их не жалеть и тотчас же шмыгнул на крыльцо, а потом и в сени вслед за Остафьевым, кликнул его и с таинственным видом пригласил в сторонку, в укромный уголок, за огромную железную печку. Заведя его туда, герой наш начал расспрашивать.

— Ну, что, мой друг, как этак там, того... ты меня понимаешь?..

— Слушаю, ваше благородие, здравия желаю вашему благородию.

— Хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя после поблагодарю, милый друг. Ну, вот видишь, как же, мой друг?

— Что изволите спрашивать-с? — Тут Остафьев попридержал немного рукою свой нечаянно раскрывшийся рот.

— Я, вот видишь ли, мой друг, я того... а ты не думай чего-нибудь... Ну что, Андрей Филиппович здесь?..

— Здесь-с.

— И чиновники здесь?

— И чиновники тоже-с, как следует-с.

— И его превосходительство тоже?

— И его превосходительство тоже-с. — Тут писарь еще другой раз попридержал свой опять раскрывшийся рот и как-то любопытно и странно посмотрел на господина Голядкина. Герою нашему по крайней мере так показалось.

— И ничего особенного такого нету, мой друг?

— Нет-с; никак нет-с.

— Этак обо мне, милый друг, нет ли чего-нибудь там, этак чего-нибудь только... а? только так, мой друг, понимаешь?

— Нет-с, еще ничего не слышно покамест. — Тут писарь опять попридержал свой рот и опять как-то странно взглянул на господина Голядкина. Дело в том, что герой наш старался теперь проникнуть в физиономию Остафьева, прочесть на ней кое-что, не таится ли чего-нибудь. И действительно, как будто что-то такое таилось; дело в том, что Остафьев становился всё как-то грубее и суше и не с таким уже участием, как с начала разговора, входил теперь в интересы господина Голядкина. «Он отчасти в своем праве, — подумал господин Голядкин, — ведь что ж я ему? Он, может быть, уже и получил с другой стороны, а потому и отлучился по самонужнейшей-то. А вот я ему и того...» Господин Голядкин понял, что время гривенников наступило.

— Вот тебе, милый друг...

— Чувствительно благодарен вашему благородию.

— Еще более дам.

— Слушаю, ваше благородие.

— Теперь, сейчас еще более дам и, когда дело кончится, еще столько же дам. Понимаешь?

Писарь молчал, стоял в струнку и неподвижно смотрел на господина Голядкина.

— Ну, теперь говори: про меня ничего не слышно?

— Кажется, что еще покамест... того-с... ничего нет покамест-с. — Остафьев отвечал с расстановкой, тоже, как и господин Голядкин, наблюдая немного таинственный вид, подергивая немного бровями, смотря в землю, стараясь попасть в надлежащий тон и, одним словом, всеми силами стараясь наработать обещанное, потому что данное он уже считал за собою и окончательно приобретенным.

— И неизвестно ничего?

— Покамест еще нет-с.

— А послушай... того... оно, может быть, будет известно?

— Потом, разумеется, может быть, будет известно-с.

«Плохо!» — подумал герой наш. — Послушай, вот тебе еще, милый мой.

— Чувствительно благодарен вашему благородию.

— Вахрамеев был вчера здесь?..

— Были-с.

— А другого кого-нибудь не было ли?.. Припомни-ка, братец?

Писарь порылся с минутку в своих воспоминаниях и надлежащего ничего не припомнил.

— Нет-с, никого другого не было-с.

— Гм. — Последовало молчание.

— Послушай, братец, вот тебе еще; говори всё, всю подноготную.

— Слушаю-с. — Остафьев стоял теперь точно шелковый: того и надобно было господину Голядкину.

— Объясни мне, братец, теперь, на какой он ноге?

— Ничего-с, хорошо-с, — отвечал писарь, во все глаза смотря на господина Голядкина.

— То есть как хорошо?

— То есть так-с. — Тут Остафьев значительно подернул бровями. Впрочем, он решительно становился в тупик и не знал, что ему еще говорить. «Плохо!» — подумал господин Голядкин.

— Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахрамеевым-то?

— Да и всё как и прежде-с.

— Подумай-ка.

— Есть, говорят-с.

— А ну, что же такое?

Остафьев попридержал рукою свой рот.

— Письма оттудова нет ли ко мне?

— А сегодня сторож Михеев ходил к Вахрамееву на квартиру, туда-с, к немке ихней-с, так вот я пойду и спрошу, если надобно.

— Сделай одолжение, братец, ради Создателя!.. Я только так... Ты, брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, братец, разузнай, не приготовляется ли что-нибудь там на мой счет. Он-то как действует? вот мне что нужно; вот это ты и узнай, милый друг, а я тебя потом и поблагодарю, милый друг...

— Слушаю-с, ваше благородие, а на вашем месте Иван Семеныч сели сегодня-с.

— Иван Семеныч? А! да! неужели?

— Андрей Филиппович указали им сесть-с...

— Неужели? по какому же случаю? Разузнай это, братец; ради Создателя, разузнай это, братец; разузнай это всё — а я тебя поблагодарю, милый мой; вот что мне нужно... А ты не думай чего-нибудь, братец...

— Слушаю-с, слушаю-с, тотчас сойду сюда-с. Да вы, ваше благородие, разве не войдете сегодня?

— Нет, мой друг; я только так, я ведь так только, я посмотреть только пришел, милый друг, а потом я тебя и поблагодарю, милый мой.

— Слушаю-с. — Писарь быстро и усердно побежал вверх по лестнице, а господин Голядкин остался один.

«Плохо! — подумал он. — Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то наше... как теперь плоховато! Что бы это значило всё? чего это они там еще прихватили? что именно значили некоторые намеки этого пьяницы, например, и чья эта штука? А! я теперь знаю, чья это штука. Это вот какая штука. Они, верно, узнали да и посадили... Впрочем, что ж посадили? это Андрей Филиппович его посадил, Ивана-то Семеновича; да, впрочем, зачем же он его посадил и с какою именно целью посадил? Вероятно, узнали... Это Вахрамеев работает, то есть не Вахрамеев, он глуп, как простое осиновое бревно, Вахрамеев-то; а это они все за него работают, да и шельмеца-то за тем же самым сюда натравили; а немка нажаловалась, одноглазая! Я всегда подозревал, что вся эта интрига неспроста и что во всей этой бабьей, старушьей сплетне непременно есть что-нибудь; то же самое я и Крестьяну Ивановичу говорил, что, дескать, поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, человека да и ухватились за Каролину Ивановну. Нет, тут мастера работают видно! тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахрамеев какой-нибудь. Уже сказано, что глуп Вахрамеев, а это... я знаю теперь, кто здесь за них всех работает: это шельмец работает, самозванец работает! На этом одном он и лепится, что доказывает отчасти и успехи его в высшем обществе. А действительно, желательно бы знать было, на какой он ноге теперь... что-то он там у них? Только зачем же они там взяли Ивана-то Семеновича? на какой им черт было нужно Ивана Семеновича? точно нельзя уж было достать другого кого. Впрочем, кого ни посади, всё было бы то же самое; а что я только знаю, так это то, что он, Иван-то Семенович, был мне давно подозрителен, я про него давно замечал: старикашка такой скверный, гадкий такой, — говорят, на проценты дает и жидовские проценты берет. А ведь это всё медведь мастерит. Во всё-то обстоятельство медведь замешался. Началось-то оно таким образом. У Измайловского моста оно началось; вот оно как началось...» Тут господин Голядкин сморщился, словно лимон разгрыз, вероятно припомнив что-нибудь весьма неприятное. «Ну, да ничего, впрочем! — подумал он. — А вот только я всё про свое. Что же это Остафьев нейдет? Вероятно, засел или был остановлен там как-нибудь. Это ведь и хорошо отчасти, что я так интригую и с своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривенник нужно дать, так он и того... и на моей стороне. Только вот дело в чем:

точно ли он на моей стороне; может быть, они его тоже с своей стороны... и, с своей стороны согласясь с ним, интригу ведут. Ведь разбойником смотрит, мошенник, чистым разбойником! Таится, шельмец! „Нет, ничего, говорит, и чувствительно, дескать, вам, ваше благородие, говорит, благодарен". Разбойник ты этакой! Это всё именно так; и, как говорил сейчас, непременно один на другом выезжает; а может быть, и не так... впрочем, может быть, оно и совсем не так, а просто другим каким скрытным делается образом. Эх, плохо, плохо! Эх, плохо, плохо! ну, да всё ничего! оно, может быть, и всё ничего, а только бы вот он-то пришел, только бы ко мне-то пришел! Что-то он там? А то бы вышла интрига хорошая, в пику им вышла бы; дескать, дела мои, пускай вы там и так, и этак, и по-своему, а вот, дескать, у нас здесь есть и по-нашему. Вот оно как, сударь мой; в пику, дескать, вам интригу ведем, на благородную, открытую ногу интригу ведем...»

Послышался шум... господин Голядкин съежился и прыгнул за печку. Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. «Кто бы это так отправлялся теперь?» — подумал про себя наш герой. Через минутку послышались опять чьи-то шаги... Тут господин Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего бруствера маленький-маленький кончик носу, — высунул и тотчас же осекся назад, словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил известно кто, то есть шельмец, интригант и развратник, — проходил по обыкновению своим подленьким частым шажком, присеменивая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то лягнуть. «Подлец!» — проговорил про себя наш герой. Впрочем, господин Голядкин не мог не заметить, что у подлеца под мышкой был огромный зеленый портфель, принадлежавший его превосходительству. «Он это опять по особому», — подумал господин Голядкин, покраснев и съежившись еще более прежнего от досады. Только что господин Голядкин-младший промелькнул мимо господина Голядкина-старшего, совсем не заметив его, как послышались в третий раз чьи-то шаги, и на этот раз господин Голядкин догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку; фигурка, впрочем, была не Остафьева, а другого писаря, Писаренки по прозванию. Это изумило господина Голядкина. «Зачем же это он других в секрет замешал? — подумал герой наш, — экие варвары! святого у них ничего не имеется!»

— Ну, что, мой друг? — проговорил он, обращаясь к Писаренке, — ты, мой друг, от кого?..

— Вот-с, по вашему дельцу-с. Ни от кого известий покамест нет никаких-с. А если будут, уведомим-с.

— А Остафьев?..

— Да ему, ваше благородие, никак нельзя-с. Его превосходительство уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь некогда.

— Спасибо, милый мой, спасибо тебе... Только ты мне скажи...

— Ей-Богу же, некогда-с... Поминутно нас спрашивают-с... А вот вы извольте здесь еще постоять-с, так если будет что-нибудь относительно вашего дельца-с, так мы вас уведомим-с...

— Нет, ты, мой друг, ты скажи...

— Позвольте-с; мне некогда-с, — говорил Писаренко, порываясь от ухватившего его за ногу господина Голядкина, — право, нельзя-с. Вы извольте здесь еще постоять-с, так мы и уведомим.

— Сейчас, сейчас, друг мой! сейчас, милый друг! Вот что теперь: вот два письма, мой друг; а я тебя поблагодарю, милый мой.

— Слушаю-с.

— Вот это письмо ты возьмешь, милый мой; потом возьмешь сторожа или рассыльного, кого-нибудь, и вручишь ему, чтоб доставил по адресу губернскому секретарю Вахрамееву; а я тебя поблагодарю, милый мой...

— Понимаю-с. Вот как уберусь, так снесу.

— А вот это другое письмо, милый мой, ты постарайся отдать, милый мой, господину Голядкину.

— Голядкину?

— Да, мой друг, господину Голядкину. Тут, видишь ли, мой друг, есть два господина Голядкина. Это так уже случилось... история странная, милый ты мой, — прибавил, усмехнувшись через силу, для приличия, наш герой, с тою целью, чтобы Писаренко не подумал чего-нибудь и чтоб ясно дать ему знать, что это всё ничего и что господин Голядкин сам ничем не смущается.

— Хорошо-с; вот как уберусь, так снесу-с. А вы здесь стойте покамест. Здесь никто не увидит...

— Нет, я, мой друг, ты не думай... я ведь здесь стою не для того, чтоб кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь...

— Слушаю, слушаю...

— А я, мой друг, буду вот здесь в переулочке. Кофейная есть здесь одна; так я там буду ждать, а ты, если случится что, и уведомляй меня обо всем, понимаешь?

— Хорошо-с. Пустите только; я понимаю...

— А я тебя поблагодарю, милый мой! — кричал господин Голядкин вслед освободившемуся наконец Писаренке... «Шельмец, кажется, грубее стал после, — подумал герой наш, украдкой выходя из-за печки. — Тут еще есть крючок. Это ясно... Сначала был и того и сего... Впрочем, он и действительно торопился; может быть, дела там много. И его превосходительство два раза ходили по отделению... По какому бы это случаю было?.. Ух! да ну, ничего! оно, впрочем, и ничего, может быть; а вот мы теперь и посмотрим...»

Тут господин Голядкин отворил было дверь и хотел уже выйти на улицу, как вдруг в это самое мгновение у крыльца загремела карета его превосходительства. Не успел господин Голядкин опомниться, как отворились изнутри дверцы кареты и сидевший в ней господин выпрыгнул на крыльцо. Приехавший был не кто иной, как тот же господин Голядкин-младший, минут десять тому назад отлучившийся. Господин Голядкин-старший вспомнил, что квартира директора была в двух шагах. «Это он по особому», — подумал наш герой про себя. Между тем господин Голядкин-младший, захватив из кареты толстый

зеленый портфёль и еще какие-то бумаги, приказав, наконец, что-то кучеру, отворил дверь, почти толкнув ею господина Голядкина-старшего, и, нарочно не заметив его и, следовательно, действуя таким образом ему в пику, пустился скоробежкой вверх по департаментской лестнице. «Плохо! — подумал господин Голядкин, — эх, дельце-то наше чего прихватило теперь! Ишь его, Господи Бог мой!» С полминутки еще простоял наш герой неподвижно; наконец он решился. Долго не думая, чувствуя, впрочем, сильное трепетание сердца и дрожь во всех членах, побежал он вслед за приятелем своим вверх по лестнице. «А! была не была; что же мне-то такое? я сторона в этом деле, — думал он, снимая шляпу, шинель и калоши в передней. — Штука, впрочем, еще впереди, а пусть ее, право! а я вот теперь и на смелую ногу, этак решительно-смело, благородным путем, — маску снимая, — человек же притом в своем праве... того — и т. д. — да ну, ничего!»

## *Глава XI*

Враги господина Голядкина идут на открытую, причем маска спадает с некоторых лиц окончательно и многое, — совершенно, впрочем, ненужное, — обнажается. Господин Голядкин доказывает при сем удобном случае, что есть такие движения души, которым всякое начальство должно бы было донельзя сочувствовать; но Антон Антонович Сеточкин, передавшись на сторону врагов господина Голядкина, доказывает совершенно противное. О том, до какой степени благонамеренно направление господина Голядкина. Несмотря на это, никто не сочувствует господину Голядкину, и он решительно не может ни с кем объясниться.

Когда господин Голядкин вошел в свое отделение, были уже полные сумерки. Ни Андрея Филипповича, ни Антона Антоновича не было в комнате. Оба они находились в директорском кабинете с его докладами; директор же, как по слухам известно было, в свою очередь спешил к его высокопревосходительству. Вследствие таковых обстоятельств, да еще потому, что и сумерки сюда подмешались и кончалось время присутствия, некоторые из чиновников, преимущественно же молодежь, в ту самую минуту, когда вошел наш герой, занимались некоторого рода бездействием, сходились, разговаривали, толковали, смеялись, и даже кое-кто из самых юнейших, то есть из самых бесчиновных чиновников, втихомолочку и под общий шумок составили орлянку в углу у окошка. Зная приличие и чувствуя в настоящее время какую-то особенную надобность приобресть и найти, господин Голядкин немедленно подошел кой к кому, с кем ладил получше, чтоб пожелать доброго дня и т. д. Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие господина Голядкина. Неприятно был он поражен какою-то всеобщею холодностью, сухостью, даже, можно сказать, какою-то строгостью приема. Руки ему не дал никто. Иные просто ска-

зали «здравствуйте» и прочь отошли; другие лишь головою кивнули, кое-кто просто отвернулся и показал, что ничего не заметил; наконец, некоторые, — и что было всего обиднее господину Голядкину, некоторые из самой бесчиновной молодежи, ребята, которые, как справедливо выразился о них господин Голядкин, умеют лишь в орлянку при случае да где-нибудь потаскаться, — мало-помалу окружили господина Голядкина, сгруппировались около него и почти заперли ему выход. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любопытством.

Знак был дурной. Господин Голядкин чувствовал это и благоразумно приготовился с своей стороны ничего не заметить. «Это ничего, впрочем; это, может быть, всё и к лучшему будет», — думал он в неописанном смущении своем и совсем теряясь. Вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство совсем, как говорится, доконало и уничтожило господина Голядкина.

В кучке молодых окружавших его сослуживцев вдруг, и, словно нарочно, в самую тоскливую минуту для господина Голядкина, появился господин Голядкин-младший, веселый по-всегдашнему, с улыбочкой по-всегдашнему, вертлявый тоже по-всегдашнему, одним словом: шалун, прыгун, лизун, хохотун, легок на язычок и на ножку, как и всегда, как прежде, точно так, как и вчера, например, в одну весьма неприятную минутку для господина Голядкина-старшего. Осклабившись, вертясь, семеня, с улыбочкой, которая так и говорила всем «доброго вечера», втерся он в кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу потрепал, третьего обнял слегка, четвертому объяснил, по какому именно случаю был его превосходительством употреблен, куда ездил, что сделал, что с собою привез; пятого, и, вероятно, своего лучшего друга, чмокнул в самые губки — одним словом, всё происходило точь-в-точь как во сне господина Голядкина-старшего. Напрыгавшись досыта, покончив со всяким по-своему, обделав их всех в свою пользу, нужно ль, не нужно ли было, нализавшись всласть с ними со всеми, господин Голядкин-младший вдруг, и, вероятно, ошибкой, еще не успев заметить до сих пор своего старейшего друга, протянул руку и господину Голядкину-старшему. Вероятно, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить неблагородного господина Голядкина-младшего, тотчас же жадно схватил наш герой простертую ему так неожиданно руку и пожал ее самым крепким, самым дружеским образом, пожал ее с каким-то странным, совсем неожиданным внутренним движением, с каким-то слезящимся чувством. Был ли обманут герой наш первым движением неблагопристойного врага своего, или так, не нашелся, или почувствовал и сознал в глубине души своей всю степень своей беззащитности — трудно сказать. Факт тот, что господин Голядкин-старший, в здравом виде, по собственной воле своей и при свидетелях, торжественно пожал руку того, кого называл смертельным врагом своим. Но каково же было изумление, исступление и бешенство, каков же был ужас и стыд господина Голядкина-старшего, когда неприятель и смертельный враг его, неблагородный

господин Голядкин-младший, заметив ошибку свою, тут же, в собственных же глазах преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека, без всякого стыда, без чувств, без сострадания и совести, вдруг с нестерпимым нахальством и с грубостию вырвал свою руку из руки господина Голядкина-старшего; мало того, — стряхнул свою руку, как будто замарал ее через то в чем-то совсем нехорошем; мало того, — плюнул на сторону, сопровождая всё это самым оскорбительным жестом; мало того, — вынул платок свой и тут же самым бесчиннейшим образом вытер им все пальцы свои, побывавшие на минутку в руке господина Голядкина-старшего. Действуя таким образом, господин Голядкин-младший, по подленькому обыкновению своему, нарочно осматривался кругом, делал так, чтоб все видели его поведение, заглядывал всем в глаза и очевидно старался о внушении всем всего самого неблагоприятного относительно господина Голядкина. Казалось, что поведение отвратительного господина Голядкина-младшего возбудило всеобщее негодование окружавших чиновников; даже ветреная молодежь показала свое неудовольствие. Кругом поднялся ропот и говор. Всеобщее движение не могло миновать ушей господина Голядкина-старшего; но вдруг кстати подоспевшая шуточка, накипевшая, между прочим, в устах господина Голядкина-младшего, разбила и уничтожила последние надежды героя нашего и наклонила баланс опять в пользу смертельного и бесполезного врага его.

— Это наш русский Фоблаз, господа; позвольте вам рекомендовать молодого Фоблаза, — запищал господин Голядкин-младший, с свойственною ему наглостью семеня и вьюня меж чиновниками и указывая им на оцепеневшего и вместе с тем исступленного настоящего господина Голядкина. «Поцелуемся, душка!» — продолжал он с нестерпимою фамильярностию, подвигаясь к предательски оскорбленному им человеку. Шуточка бесполезного господина Голядкина-младшего, кажется, нашла отголосок, где следовало, тем более что в ней заключался коварный намек на одно обстоятельство, по-видимому уже гласное и известное всем. Герой наш тяжко почувствовал руку врагов на плечах своих. Впрочем, он уже решился. С пылающим взором, с бледным лицом, с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы и неровными, учащенными шагами направил свой путь прямо к кабинету его превосходительства. В предпоследней комнате встретился с ним только что выходивший от его превосходительства Андрей Филиппович, и хотя тут же в комнате было порядочно всяких других, совершенно посторонних в настоящую минуту для господина Голядкина лиц, но герой наш и внимания не хотел обратить на подобное обстоятельство. Прямо, решительно, смело, почти сам себе удивляясь и внутренно себя за смелость похваливая, абордировал он, не теряя времени, Андрея Филипповича, порядочно изумленного таким нечаянным нападением.

— А!.. что вы... что вам угодно? — спросил начальник отделения, не слушая запнувшегося на чем-то господина Голядкина.

— Андрей Филиппович, я... могу ли я, Андрей Филиппович, иметь теперь, тотчас же и глаз на глаз разговор с его превосходительством? — речисто и отчетливо проговорил наш герой, устремив самый решительный взгляд на Андрея Филипповича.

— Что-с? конечно нет-с. — Андрей Филиппович с ног до головы обмерил взглядом своим господина Голядкина.

— Я, Андрей Филиппович, всё это к тому говорю, что удивляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца.

— Что-о-с?

— Подлеца, Андрей Филиппович.

— О ком же это угодно вам таким образом относиться?

— Об известном лице, Андрей Филиппович. Я, Андрей Филиппович, на известное лицо намекаю; я в своем праве... Я думаю, Андрей Филиппович, что начальство должно было бы поощрять подобные движения, — прибавил господин Голядкин, очевидно не помня себя. — Андрей Филиппович... вы, вероятно, сами видите, Андрей Филиппович, что это благородное движение и всяческую мою благонамеренность означает — принять начальника за отца, Андрей Филиппович, принимаю, дескать, благодетельное начальство за отца и слепо вверяю судьбу свою. Так и так, дескать... вот как... — Тут голос господина Голядкина задрожал, лицо его раскраснелось, и две слезы набежали на обеих ресницах его.

Андрей Филиппович, слушая господина Голядкина, до того удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. Потом с беспокойством осмотрелся кругом... Трудно сказать, чем бы кончилось дело... Но вдруг дверь из кабинета его превосходительства отворилась, и он сам вышел, в сопровождении некоторых чиновников. За ним потянулись все, кто ни были в комнате. Его превосходительство подозвал Андрея Филипповича и пошел с ним рядом, заведя разговор о каких-то делах. Когда все тронулись и пошли вон из комнаты, опомнился и господин Голядкин. Присмирев, приютился он под крылышко Антона Антоновича Сеточкина, который сзади всех ковылял в свою очередь и, как показалось господину Голядкину, с самым строгим и озабоченным видом. «Провралсяя и тут; нагадил и тут, — подумал он про себя, — да ну, ничего».

— Надеюсь, что по крайней мере вы, Антон Антонович, согласитесь прослушать меня и вникнуть в мои обстоятельства, — проговорил он тихо и еще немного дрожащим от волнения голосом. — Отверженный всеми, обращаюсь я к вам. Недоумеваю до сих пор, что значили слова Андрея Филипповича, Антон Антонович. Объясните мне их, если можно...

— Своевременно всё объяснится-с, — строго и с расстановкою отвечал Антон Антонович и, как показалось господину Голядкину, с таким видом, который ясно давал знать, что Антон Антонович вовсе не желает продолжать разговора. — Узнаете в скором времени всё-с. Сегодня же форменно обо всем известитесь.

— Что же такое форменно, Антон Антонович? почему же так именно форменно-с? — робко спросил наш герой.

— Не нам с вами рассуждать, Яков Петрович, как начальство решает.

— Почему же начальство, Антон Антонович, — проговорил господин Голядкин, оробев еще более, — почему же начальство? Я не вижу причины, почему же тут нужно беспокоить начальство, Антон Антонович... Вы, может быть, что-нибудь относительно вчерашнего хотите сказать, Антон Антонович?

— Да нет-с, не вчерашнее-с. А то, что на худое решились вы, Яков Петрович; тут кое-что другое хромает-с у вас.

— Что же хромает, Антон Антонович? мне кажется, Антон Антонович, что у меня ничего не хромает.

— А хитрить-то с кем собирались? — резко пересек Антон Антонович совершенно оторопевшего господина Голядкина. Господин Голядкин вздрогнул и побледнел как платок.

— Конечно, Антон Антонович, — проговорил он едва слышным голосом, — если внимать голосу клеветы и слушать врагов наших, не приняв оправдания с другой стороны, то, конечно... конечно, Антон Антонович, тогда можно и пострадать, Антон Антонович, безвинно и ни за что пострадать.

— То-то-с; а неблагопристойный поступок ваш во вред репутации благородной девицы того добродетельного, почтенного и известного семейства, которое вам благодетельствовало?

— Какой же это поступок, Антон Антонович?

— То-то-с. А относительно другой девицы, хотя бедной, но зато честного иностранного происхождения, похвального поступка своего тоже не знаете-с?

— Позвольте, Антон Антонович... благоволите, Антон Антонович, выслушать...

— А вероломный поступок ваш и клевета на другое лицо — обвинение другого лица в том, в чем сами грешка прихватили? а? это как называется?

— Я, Антон Антонович, не выгонял его, — проговорил, затрепетав, наш герой, — и Петрушку, то есть человека моего, подобному ничему не учил-с... Он ел мой хлеб, Антон Антонович; он пользовался гостеприимством моим, — прибавил выразительно и с глубоким чувством герой наш, так что подбородок его запрыгал немножко и слезы готовы были опять навернуться.

— Это вы, Яков Петрович, только так говорите, что он хлеб-то ваш ел, — отвечал, осклабляясь, Антон Антонович, и в голосе его было слышно лукавство, так что по сердцу скребнуло у господина Голядкина. — Это вы, Яков Петрович, только так, чтоб только что-нибудь сказать, говорите.

— Конечно, Антон Антонович... вы правы, Антон Антонович, — сказал оскорбленный герой наш. — Теперь добродетели падают и гостеприимство уже не ставится в счет.

— Вот в том-то вы и ошибаетесь, Яков Петрович. Это уж и вольнодумством, сударь мой, называется.

— Совсем не вольнодумством, Антон Антонович; я бегу вольнодумства, Антон Антонович. Это Петрушка, Антон Антонович, он всегда пьянствует, и на него ни в чем нельзя полагаться-с.

— Да тут не Петрушка-с. Совсем не в Петрушке и дело-то тут.

— Конечно, не в Петрушке и дело, Антон Антонович; это вы справедливо изволите говорить. Позвольте еще вас, Антон Антонович, нижайше спросить: известны ли обо всем этом деле его превосходительство?

— Как же-с! Впрочем, вы теперь пустите меня-с. Мне с вами тут некогда... Сегодня же обо всем узнаете, что вам следует знать-с.

— Позвольте, ради Бога, еще на минутку, Антон Антонович...

— Да нет-с, мне некогда с вами-с... после-с, пожалуй...

— Одну минуту, одно только слово, Антон Антонович...

— После расскажете-с...

— Нет-с, Антон Антонович; я-с, видите-с, прислушайте только, Антон Антонович... Я совсем не вольнодумство, Антон Антонович; я бегу вольнодумства; я совершенно готов с своей стороны и даже пропускал ту идею...

— Хорошо-с, хорошо-с. Я уж слышал-с...

— Нет-с, этого вы не слыхали, Антон Антонович. Это другое, Антон Антонович, это хорошо, право хорошо, и приятно слышать... Я пропускал, как выше объяснил, ту идею, Антон Антонович, что вот промысл Божий создал двух совершенно подобных, а благодетельное начальство, видя промысл Божий, приютило двух близнецов-с. Это хорошо, Антон Антонович. Вы видите, что это очень хорошо, Антон Антонович, и что я далек вольнодумства. Принимаю благодетельное начальство за отца. Так и так, дескать, благодетельное начальство, а вы того... дескать... молодому человеку нужно служить... Поддержите меня, Антон Антонович, заступитесь за меня, Антон Антонович... Я ничего-с... Антон Антонович, ради Бога, еще одно словечко... Антон Антонович...

Но уже Антон Антонович был далеко от господина Голядкина... Герой же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним сделалось и что еще будут делать с ним, — так смутило его и потрясло всё им слышанное и всё с ним случившееся.

Умоляющим взором отыскивал он в толпе чиновников Антона Антоновича, чтоб еще более оправдаться в глазах его и сказать ему что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благородное и приятное относительно себя самого... Впрочем, мало-помалу, новый свет начинал пробиваться сквозь смущение господина Голядкина, новый ужасный свет, озаривший перед ним вдруг, разом, целую перспективу совершенно неведомых доселе и даже нисколько не подозреваемых обстоятельств... В эту минуту кто-то толкнул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он оглянулся. Перед ним стоял Писаренко.

— Письмо-с, ваше благородие.

— А!.. ты уже сходил, милый мой?

— Нет, это еще утром в десять часов сюда принесли-с. Сергей Михеев, сторож, принес-с с квартиры губернского секретаря Вахрамеева.

— Хорошо, мой друг, хорошо, а я тебя поблагодарю, милый мой.

Сказав это, господин Голядкин спрятал письмо в боковой карман своего вицмундира и застегнул его на все пуговицы; потом осмотрелся кругом и, к удивлению своему, заметил, что уже находится в сенях департаментских, в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончалось присутствие. Господин Голядкин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоятельства, но даже не заметил и не помнил того, каким образом он вдруг очутился в шинели, в калошах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том, что его превосходительство остановился в низу лестницы, в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа, и вел весьма интересный разговор с двумя советниками и с Андреем Филипповичем. Немного поодаль от двух советников и Андрея Филипповича стоял Антон Антонович Сеточкин и кое-кто из других чиновников, которые весьма улыбались, видя, что его превосходительство изволят шутить и смеяться. Столпившиеся на верху лестницы чиновники тоже улыбались и ждали, покамест его превосходительство опять засмеются. Не улыбался лишь только один Федосеич, толстопузый швейцар, державшийся у ручки дверей, вытянувшийся в струнку и с нетерпением ожидавший порции своего обыденного удовольствия, состоявшего в том, чтоб разом, одним взмахом руки, широко откинуть одну половинку дверей и потом, согнувшись в дугу, почтительно пропустить мимо себя его превосходительство. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг господина Голядкина. Он в это мгновение даже позабыл всех чиновников, даже оставил вьюнить и семенить между ними, по своему подленькому обыкновению, даже позабыл, пользуясь случаем, подлизаться к кому-нибудь в это мгновение. Он обратился весь в слух и зрение, как-то странно съежился, вероятно чтоб удобнее слушать, не спуская глаз с его превосходительства, и изредка только подергивало его руки, ноги и голову какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внутренние, сокровенные движения души его.

«Ишь его разбирает! — подумал герой наш, — фаворитом смотрит, мошенник! Желал бы я знать, чем он именно берет в обществе высокого тона? Ни ума, ни характера, ни образования, ни чувства... везет шельмецу! Господи Боже! ведь как это скоро может пойти человек, как подумаешь, и найти во всех людях! И пойдет человек, клятву даю, что пойдет далеко, шельмец, доберется, — везет шельмецу! Желал бы я еще узнать, что именно такое он всем им нашептывает? Какие тайны у него со всем этим народом заводятся и про какие секреты они говорят? Господи Боже! Как бы мне этак того... и с ними бы тоже немножко... дескать, так и так, попросить его разве... дескать, так и так, а я больше не буду; дескать, я виноват, а молодому человеку,

ваше превосходительство, нужно служить в наше время; обстоятельством же темным моим я отнюдь не смущаюсь, — вот оно как! протестовать там каким-нибудь образом тоже не буду и всё с терпением и смирением снесу, — вот как! Вот разве так поступить?.. Да, впрочем, его не проймешь, шельмеца, никаким словом не пробьешь; резону-то ему вгвоздить нельзя в забубённую голову... А впрочем, попробуем. Случится, что в добрый час попаду, так вот и попробовать...»

В беспокойстве своем, в тоске и смущении, чувствуя, что так оставаться нельзя, что наступает минута решительная, что нужно же с кем-нибудь объясниться, герой наш стал было понемножку подвигаться к тому месту, где стоял недостойный и загадочный неприятель его; но в это самое время у подъезда загремел давно ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рванул дверь и, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство мимо себя. Все ожидавшие разом хлынули к выходу и оттеснили на мгновение господина Голядкина-старшего от господина Голядкина-младшего. «Не уйдешь!» — говорил наш герой, прорываясь сквозь толпу и не спуская глаз с кого следовало. Наконец толпа раздалась. Герой наш почувствовал себя на свободе и ринулся в погоню за своим неприятелем.

## *Глава XII*

Кофейная. О том, каким образом выразилась крайняя степень безнравственности господина Голядкина-младшего и каким образом защищал себя господин Голядкин-старший. Обман и вероломство. Вихрь, вьюга, метель и — падение господина Голядкина-старшего. Сравнение господина Голядкина-старшего с кулем муки; господин Голядкин-старший решает, впрочем, что это еще всё ничего и что всё может еще устроиться к лучшему. Каким образом посредством двух баб, одного полового и одного господина, читавшего «Полицейские ведомости», господин Голядкин открыл, что его хотят отравить. Последний удар господину Голядкину.

Дух занимался в груди господина Голядкина; словно на крыльях летел он вслед за своим быстро удалявшимся неприятелем. Чувствовал он в себе присутствие какой-то страшной энергии. Впрочем, несмотря на присутствие страшной энергии, господин Голядкин мог смело надеяться, что в настоящую минуту даже простой комар, если б только он мог в такое время жить в Петербурге, весьма бы удобно перешиб его крылом своим. Чувствовал он еще, что опал и ослаб совершенно, что несет его какою-то совершенно особенною и постороннею силою, что он вовсе не сам идет, что, напротив, его ноги подкашиваются и служить отказываются. Впрочем, это всё было еще совсем ничего и, несмотря ни на что, непременно могло бы устроиться к лучшему. «К лучшему — не к лучшему, — думал господин Голядкин, почти зады-

хаясь от скорого бега, — но что дело проиграно, так в том теперь и сомнения малейшего нет; что пропал я совсем, так уж это известно, определено, решено и подписано». Несмотря на всё это, герой наш словно из мертвых воскрес, словно баталию выдержал, словно победу схватил, когда пришлось ему уцепиться за шинель своего неприятеля, уже заносившего одну ногу на дрожки куда-то только что сговоренного им ваньки. Впрочем, несмотря на выигранную баталию, герой наш до того потерялся в настоящее мгновение, что, вцепившись в шинель злейшего врага своего, так и остался с раскрытым ртом, без слов, без движения, едва переводя дух. «Милостивый государь! милостивый государь! — закричал он наконец настигнутому им неблагородному господину Голядкину-младшему, — милостивый государь, я надеюсь, что вы...»

— Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не надейтесь, — уклончиво отвечал бесчувственный неприятель господина Голядкина, стоя одною ногою на одной ступеньке дрожек, а другою изо всех сил порываясь попасть на другую сторону экипажа, тщетно махая ею по воздуху, стараясь сохранить эквилибр и вместе с тем стараясь всеми силами отцепить шинель свою от господина Голядкина-старшего, за которую тот, с своей стороны, уцепился всеми данными ему природою средствами.

— Яков Петрович! только десять минут...

— Извините, мне некогда-с.

— Согласитесь сами, Яков Петрович... пожалуйста, Яков Петрович... ради Бога, Яков Петрович... так и так — объясниться... на смелую ногу... Секундочку, Яков Петрович!..

— Голубчик мой, некогда, — отвечал с неучтивою фамильярностью, но под видом душевной доброты, ложно благородный неприятель господина Голядкина, — в другое время, поверьте, от полноты души и от чистого сердца; но теперь — вот право ж, нельзя.

«Подлец! — подумал герой наш, — еще и от чистого сердца, шельмец ты такой!..»

— Яков Петрович! — закричал он тоскливо, — я вашим врагом никогда не бывал. Злые же люди несправедливо меня описали... С своей стороны я готов... Яков Петрович, угодно, мы с вами, Яков Петрович, вот тотчас зайдем?.. И там от чистого сердца, как справедливо сказали вы тотчас, и языком прямым, благородным... вот в эту кофейную; тогда всё само собой объяснится, — вот как, Яков Петрович! Тогда непременно всё само собой объяснится...

— В кофейную? хорошо-с. Я не прочь, зайдем в кофейную, с одним только условием, радость моя, с единым условием, — что там всё само собой объяснится. Дескать, так и так, душка, — проговорил господин Голядкин-младший, слезая с дрожек и бесстыдно потрепав героя нашего по плечу, — дружище ты этакой; для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком (как справедливо в оно время вы, Яков Петрович, заметить изволили). Ведь вот плут, право, что захочет, то и делает с человеком! — продолжал ложный друг господина Голядкина, с легкой улыбочкой вертясь и увиваясь около него, заглядывая под

шляпу к нему и, одним словом, фальшиво, всеми средствами стараясь изобразить собою остроумца и любезного человека, но между тем действуя со всем бесстыдством безнравственности прямо в пику господину Голядкину-старшему, единственно с тою целью, чтоб каким-нибудь новым бесстыдным способом его обмануть и потом в дружеской компании, где-нибудь за бокалом вина, для острого слова, насмеяться над ним.

Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Голядкина, была в эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая немка появилась у прилавка, едва только заслышался звон колокольчика. Господин Голядкин и недостойный неприятель его прошли во вторую комнату, где одутловатый и остриженный под гребенку мальчишка возился с вязанкою щепок около печки, силясь возобновить в ней погасавший огонь. По требованию господина Голядкина-младшего подан был шоколад.

— А пресдобная бабенка, — проговорил господин Голядкин-младший, плутовски подмигнув господину Голядкину-старшему.

Герой наш покраснел и смолчал.

— А, да, позабыл, извините. Знаю ваш вкус. Мы, сударь, лакомы до тоненьких немочек; мы, дескать, душа ты правдивая, Яков Петрович, лакомы с тобою до тоненьких, хотя, впрочем, и не лишенных еще приятности немочек; квартиры у них нанимаем, их нравственность соблазняем, за бир-суп да мильх-суп наше сердце им посвящаем да разные подписки даем, — вот что мы делаем, Фоблаз ты такой, предатель ты этакой!

Всё это проговорил господин Голядкин-младший, делая таким образом совершенно бесполезный, хотя, впрочем, и злодейски хитрый намек на известную особу женского пола, увиваясь около господина Голядкина, улыбаясь ему под видом любезности, ложно показывая таким образом радушие к нему и радость при встрече с ним. Замечая же, что господин Голядкин-старший вовсе не так глуп и вовсе не до того лишен образованности и манеров хорошего тона, чтоб сразу поверить ему, неблагородный человек решился переменить свою тактику и повести дела на открытую ногу. Тут же проговорив свою гнусность, фальшивый господин Голядкин заключил тем, что с возмущающим душу бесстыдством и фамильярностью потрепал солидного господина Голядкина по плечу и, не удовольствовавшись этим, пустился заигрывать с ним совершенно неприличным в обществе хорошего тона образом, именно вознамерился повторить свою прежнюю гнусность, то есть, несмотря на сопротивление и легкие крики возмущенного господина Голядкина-старшего, ущипнуть его за щеку. При виде такого разврата герой наш вскипел и смолчал... до времени, впрочем.

— Это речь врагов моих, — ответил он наконец, благоразумно сдерживая себя, трепещущим голосом, — это речь врагов моих, — с достоинством прибавил герой наш, чувствуя себя, между прочим, совершенно в праве своем и задетый заживо фамильярностью и бес-

стыдством недостойного врага своего... В то же самое время герой наш с беспокойством оглянулся на дверь. Дело в том, что господин Голядкин-младший был, по-видимому, в превосходном расположении духа и в готовности пуститься на разные шуточки, непозволительные в общественном месте и, вообще говоря, не допускаемые законами света, и преимущественно в обществе высокого тона.

— Ну, ну, ну, не буду, не буду! — проговорил господин Голядкин-младший, примирительно отстраняясь от господина Голядкина-старшего, лукавя и фальшивя перед ним таким образом, надевая маску и тонким обманом, под видом смирения, маня его в новые сети. Впрочем, герой наш понимал, ясно понимал, что безнравственный близнец его здесь, с ним, на очную ставку, на открытую и смелую ногу и с откровенностью, не лишенною благородства, немного возьмет. Дескать, так и так, а ты срежешься, дескать, так и так, а ты, милостивый мой государь и мерзавец, немного возьмешь, дескать, того, и т. д.

— А, ну, в таком случае, как хотите, — серьезно возразил господин Голядкин-младший на мысль господина Голядкина-старшего, поставив свою опустелую чашку, выпитую им с неприличною жадностью, на стол. — Ну-с, мне с вами долго нечего, впрочем... Ну-с, каково-то вы теперь поживаете, Яков Петрович?

— Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович, — хладнокровно и с достоинством отвечал наш герой, — врагом вашим я никогда не бывал.

— Гм... ну, а Петрушка? как бишь! Петрушка ведь, кажется? — ну, да! Что, каков он у вас? Хорошо, по-прежнему?

— И он тоже по-прежнему, Яков Петрович, — отвечал немного изумленный господин Голядкин-старший. — Я не знаю, Яков Петрович... с моей стороны... с благородной, с откровенной стороны, Яков Петрович, согласитесь сами, Яков Петрович...

— Да-с. Но вы сами знаете, Яков Петрович, — отвечал тихим и выразительным голосом господин Голядкин-младший, фальшиво изображая собою таким образом грустного, полного раскаяния и сожаления достойного человека, — сами вы знаете, время наше тяжелое... Я на вас пошлюсь, Яков Петрович; человек вы умный и справедливо рассудите, — включил господин Голядкин-младший, подло льстя господину Голядкину-старшему, — вы справедливо рассудите, что иначе и поступать мне было нельзя. Жизнь не игрушка, сами вы знаете, Яков Петрович, — многозначительно заключил господин Голядкин-младший, прикидываясь таким образом умным и ученым человеком, который может рассуждать о высоких предметах.

— С своей стороны, Яков Петрович, — с одушевлением отвечал наш герой, — с своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благородным и поставив всё дело на благородную доску, скажу вам, могу открыто и благородно утверждать, Яков Петрович, что я чист совершенно и что, сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное заблуждение, — всё может

быть, — суд света, мнение раболепной толпы... Я говорю откровенно, Яков Петрович, всё может быть. Еще скажу, Яков Петрович, если так судить, если с благородной и высокой точки зрения на дело смотреть, то смело скажу, без ложного стыда скажу, Яков Петрович, мне даже приятно будет открыть, что я заблуждался, мне даже приятно будет сознаться в том, что я заблуждался, Яков Петрович. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того благородный, готов сознаться в этом. Без стыда, без ложного стыда готов в этом сознаться... — с достоинством и благородством заключил наш герой.

— Рок, судьба! Яков Петрович... но оставим всё это, — со вздохом проговорил господин Голядкин-младший. — Употребим лучше краткие минуты нашей встречи на более полезный и приятный разговор, как следует между двумя сослуживцами... Право, мне как-то не удавалось с вами двух слов сказать во всё это время... В этом не я виноват, Яков Петрович...

— И не я, — с жаром перебил наш герой, — и не я! Сердце мое говорит мне, Яков Петрович, что не я виноват во всем этом. Будем обвинять судьбу во всем этом, Яков Петрович, — прибавил господин Голядкин-старший совершенно примирительным тоном. Голос его начинал мало-помалу слабеть и дрожать.

— Ну, что? как вообще ваше здоровье? — произнес заблудшийся сладким голосом.

— Немного покашливаю, — отвечал еще слаще герой наш.

— Берегитесь. Теперь всё такие поветрия, немудрено схватить жабу, и я, признаюсь вам, начинаю уже кутаться во фланель.

— Действительно, Яков Петрович, немудрено схватить жабу-с... Яков Петрович! — произнес после кроткого молчания герой наш. — Яков Петрович! я вижу, что я заблуждался... Я с умилением вспоминаю о тех счастливых минутах, которые удалось нам провести вместе под бедным, но, смею сказать, радушным кровом моим...

— В письме вашем вы, впрочем, не то написали, — отчасти с укоризною проговорил совершенно справедливый (впрочем, единственно только в этом одном отношении совершенно справедливый) господин Голядкин-младший.

— Яков Петрович! я заблуждался... Ясно вижу теперь, что заблуждался и в этом несчастном письме моем. Яков Петрович, мне совестно смотреть на вас, Яков Петрович, вы не поверите... Дайте мне это письмо, чтоб разорвать его, в ваших же глазах разорвать его, Яков Петрович, или если уж этого никак невозможно, то умоляю вас читать его наоборот, — совсем наоборот, то есть нарочно с намерением дружеским, давая обратный смысл всем словам письма моего. Я заблуждался. Простите меня, Яков Петрович, я совсем... я горестно заблуждался, Яков Петрович.

— Вы говорите? — довольно рассеянно и равнодушно спросил вероломный друг господина Голядкина-старшего.

— Я говорю, что я совсем заблуждался, Яков Петрович, и с моей стороны я совершенно без ложного стыда...

— А, ну, хорошо! Это очень хорошо, что вы заблуждались, — грубо отвечал господин Голядкин-младший.

— У меня, Яков Петрович, даже идея была, — прибавил благородным образом откровенный герой наш, совершенно не замечая ужасного вероломства своего ложного друга, — у меня даже идея была, что, дескать, вот, создались два совершенно подобные...

— А! это ваша идея!.. Хороша, хороша, нечего сказать, весьма хороша; впрочем, несмотря на то что она хороша, мы ее... знаете, идею-то вашу, — нагло и бесстыдно проговорил господин Голядкин-младший, прищуриваясь, улыбаясь и кивая головою господину Голядкину-старшему, — мы ее до другого времени идею-то вашу, а теперь...

Тут известный своею бесполезностью господин Голядкин-младший встал и схватился за шляпу. Всё еще не замечая обмана, встал и господин Голядкин-старший, простодушно и благородно улыбаясь своему лжеприятелю, стараясь, в невинности своей, его приласкать, ободрить и завязать с ним таким образом новую дружбу...

— Мы ее до завтра, идею-то вашу, а теперь, употребляя справедливое выражение ваше, Яков Петрович, мы все трудиться должны, — прибавил господин Голядкин-младший, очевидно говоря всякий вздор в насмешку господину Голядкину-старшему. — Мы все трудиться должны, понимаешь, Петрушка?!.. Ну, да ничего, ничего, не смущайтесь... Ну, да прощайте, Яков Петрович, довольно мне с вами покамест... Удастся сойтись как-нибудь, выпьем бутылочку-другую винца, сладка полпивца, как говорит мужичье (между прочим всё это), поговорим, покалякаем, потолкуем друг с другом, — продолжал безнравственный человек, удивляя господина Голядкина своей безнравственностию и развращенностию сердца, — приласкаем, пожалуй, Петрушку и скажем ему, что мы все трудиться должны, — прибавил заблудшийся безнравственно, подмигнув господину Голядкину-старшему, всё вертясь и семеня около него и с ним отчасти заигрывая, — восстановим, между прочим, несколько замаранную, посредством разных немецких ученых, репутацию общего нашего друга Мухаммеда, пророка турецкого, — решился присовокупить еще с большею, чем прежде, бесстыдною наглостью всячески развращенный человек, развратным образом улыбаясь достойному господину Голядкину-старшему и таким образом постыдно насмехаясь над ним, — и наконец, наконец, дайте руку вашу, герой, дайте руку!

Дайте руку на разлуку
и т. д.

Тут безбожный и ни во что не верующий господин Голядкин-младший, вероятно воображая уязвить гордого героя повести нашей, сделал в его же глазах неприличное антраша, лягнул ножкой и, к довершению своего посрамления, щелкнул посредством пальца и языка ртом, желая показать таким образом, что как будто бы он откупо-

ривает бутылку шампанского, а между тем очевидно тешась самым бесполезным образом, как пятилетний ребенок, не имея, однако ж, его невинности. Наконец, чтоб окончить полную, отвратительную картину своего всяческого безобразия, с самой наглой, язвительной и вакхической улыбкой протянул он руку свою к целомудренному, говоря в выгодном для него отношении, господину Голядкину-старшему и крикнул неистовым и вместе с тем насмешливым голосом: «Прощайте, ваше превосходительство!»

При виде такого олицетворенного фанатизма к разврату, герой наш невольно отшатнулся назад... Но развращенное дитя природы, бесполезный господин Голядкин-младший, казалось, дал себе слово идти до конца в оскорблении настоящего господина Голядкина. Чтоб только отвязаться, сунул герой наш в простертую ему руку фанатика два пальца своей руки; но тут... тут бесстыдство господина Голядкина-младшего превзошло всяческую человеческую меру. Схватив два пальца руки господина Голядкина-старшего и сначала пожав их, недостойный тут же, в глазах же господина Голядкина, решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. Мера человеческого терпения была истощена...

Он уже прятал платок, которым обтер свои пальцы, в карман, когда господин Голядкин-старший опомнился.

— Подлый и развратный человек! — закричал наш герой полушепотом, боязливо оглядываясь на дверь в соседнюю комнату, весь дрожа в каком-то болезненно тоскливом волнении и, очевидно, окончательно расстроенный неистощимым бесстыдством врага своего.

Тогда произошла довольно странная сцена. Господин Голядкин-младший, сделав неблагопристойность и, по скверной привычке своей, спеша уже улизнуть в соседнюю комнату, быстро обернулся к господину Голядкину-старшему с самым зловещим выражением в лице. Герой наш невольно отступил назад два шага. Безнравственный сделал вперед два шага; герой наш отступил еще два шага, благоразумно стараясь выбрать целью ретирады своей такой уголок, из которого бы не было видно в соседнюю комнату, где были посторонние люди, ни в зеркало, посредством которого люди, находившиеся в соседней комнате, могли бы всё видеть; должно было опасаться какой-нибудь новой неблагопристойности и отвратительной шуточки, от которой могла бы пострадать амбиция в присутствии посторонних людей. Наконец господин Голядкин-старший добрался до своего уголка. Враги стояли теперь совершенно носом к носу, причем наш герой старался всеми силами прямо, решительно и не смигнув глазом смотреть в глаза недостойного врага своего, чтоб показать ему таким образом, что он его совсем не боится и даже напротив. Молчание и ожидание длилось. «Зачем я привел его сюда! — пронеслось в голове господина Голядкина. — Ведь вот мы теперь стоим носом к носу, — кстати подумал герой наш, — что, если б носы наши нераздельно срослись...» Тут же припомнил он сказку, в которой говорилось о колбасе, приросшей к носу одной неблагоразумной в желаниях своих

жены одного старика. «Жадность к стяжанию и неблагоразумие желаний губит нас», — подумал господин Голядкин, решительно, бесстрашно и не смигнув глазом продолжая смотреть в глаза врагу своему.

— Фоблаз? — проговорил наконец безнравственный полутаинственным шепотом и вопросительным тоном.

Герой наш тоскливо посмотрел на соседнюю дверь.

— Ведь Фоблаз? — продолжал еще настойчивее господин Голядкин-младший, наступая донельзя на господина Голядкина-старшего.

— Опомнитесь — мы не одни; выйдемте, Яков Петрович, на улицу; на улице лучше нам будет, Яков Петрович...

Герой наш не докончил и осекся; мера оскорблений превзошла все тоскливые ожидания его. . . . . .

. . . . . .

Обеспамятев от изумления, стоял наш герой, покамест не двигаясь с места... Наконец он опомнился. Дело в том, что господин Голядкин-младший, окончив последнюю гнусность, которую он вероломно называл шуточкой, ринулся со всех ног в соседнюю комнату; а безнаказанно же нельзя было оставлять вероломства! Но когда наш герой прибыл в исступлении своем в соседнюю комнату, безнравственный приятель его, как будто ни в одном глазу, стоял себе у прилавка, ел пирожки и преспокойно, как добродетельный человек, любезничал с немкой-кондитершей. «При дамах нельзя», — подумал герой наш и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения.

— А ведь действительно бабенка-то недурна! Как вы думаете? — снова начал свои неприличные выходки господин Голядкин-младший, вероятно рассчитывая на бесконечное терпение господина Голядкина. Толстая же немка, с своей стороны, смотрела на обоих своих посетителей оловянно-бессмысленными глазами, очевидно не понимая русского языка и приветливо улыбаясь. Герой наш вспыхнул как огонь от слов не знающего стыда господина Голядкина-младшего и, не в силах владеть собою, бросился наконец на него с очевидным намерением растерзать его и повершить с ним таким образом окончательно; но господин Голядкин-младший, по подлому обыкновению своему, уже был далеко: он дал тягу, он уже был на крыльце. Само собой разумеется, что после первого мгновения столбняка, естественно нашедшего на господина Голядкина-старшего, он опомнился и бросился со всех ног за обидчиком, который уже садился на поджидавшего его и, очевидно, во всем согласившегося с ним ваньку. Но в это самое мгновение толстая немка, видя бегство двух посетителей, взвизгнула и позвонила что было силы в свой колокольчик. Герой наш почти на лету обернулся назад, бросил ей деньги за себя и за незаплатившего бесстыдного человека, не требуя сдачи, и, несмотря на то что промешкал, все-таки успел, хотя и опять на лету только, подхватить своего неприятеля. Уцепившись за крыло дрожек всеми данными ему природою средствами, герой наш несся некоторое время по улице, карабкаясь на экипаж, отстаиваемый из всех сил господином Голядкиным-младшим.

Извозчик между тем и кнутом, и вожжой, и ногой, и словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась вскачь как вихрь, закусив удила и лягаясь, по скверной привычке своей, задними ногами на каждом третьем шагу. Наконец наш герой успел-таки взмоститься на дрожки, лицом к своему неприятелю, спиной упираясь в извозчика, коленками в коленки бесстыдного, а правой рукой своей всеми средствами вцепившись в весьма скверный меховой воротник шинели развратного и ожесточеннейшего своего неприятеля...

Враги неслись и некоторое время молчали. Герой наш едва переводил дух; дорога была прескверная, и он подскакивал на каждом шагу с опасностию сломить себе шею. Сверх того, ожесточенный неприятель его всё еще не соглашался признать себя побежденным и старался спихнуть в грязь своего противника. К довершению всех неприятностей погода была ужаснейшая. Снег валил хлопьями и всячески старался, с своей стороны, каким-нибудь образом залезть под распахнувшуюся шинель настоящего господина Голядкина. Кругом было мутно и не видно ни зги. Трудно было отличить, куда и по каким улицам несутся они... Господину Голядкину показалось, что сбывается с ним что-то знакомое. Одно мгновение он старался припомнить, не предчувствовал ли он чего-нибудь вчера... во сне, например... Наконец тоска его доросла до последней степени своей агонии. Налегши на беспощадного противника своего, он начал было кричать. Но крик его замирал у него на губах... Была минута, когда господин Голядкин всё позабыл и решил, что всё это совсем ничего, и что это так только, как-нибудь, необъяснимым образом делается, и протестовать по этому случаю было бы лишним и совершенно потерянным делом... Но вдруг, и почти в то самое мгновение, как герой наш заключал это всё, какой-то неосторожный толчок переменил весь смысл дела. Господин Голядкин, как куль муки, свалился с дрожек и покатился куда-то, совершенно справедливо сознаваясь в минуту падения, что действительно и весьма некстати погорячился немного и что всё из того и вышло, что он погорячился немного. Вскочив наконец, он увидел, что куда-то приехали; дрожки стояли среди чьего-то двора, и герой наш с первого взгляда заметил, что это двор того самого дома, в котором квартирует Олсуфий Иванович. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его пробирается уже на крыльцо и, вероятно, к Олсуфью Ивановичу. В неописанной тоске своей бросился было он догонять своего неприятеля, но, к счастию своему, благоразумно одумался вовремя. Не забыв расплатиться с извозчиком, бросился господин Голядкин на улицу и побежал что есть мочи куда глаза глядят. Снег валил по-прежнему хлопьями; по-прежнему было мутно, мокро и темно. Герой наш не шел, а летел, опрокидывая всех на дороге, — мужиков, и баб, и детей, и сам в свою очередь отскакивая от баб, мужиков и детей. Кругом и вслед ему слышался пугливый говор, визг, крик... Но господин Голядкин, казалось, был без памяти и внимания ни на что не хотел обратить... Опомнился он, впрочем, уже у Семеновского моста,

да и то по тому только случаю, что успел как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб с их каким-то походным товаром, а вместе с тем и сам повалиться. «Это ничего, — подумал господин Голядкин, — всё это еще весьма может устроиться к лучшему», — и тут же полез в свой карман, желая отделаться рублем серебра за просыпанные пряники, яблоки, горох и разные разности. Вдруг новым светом озарило господина Голядкина; в кармане ощупал он письмо Вахрамеева. Бросив рубль серебром, побежал он опять, не останавливаясь и ни на что не оглядываясь. Вспомнив, между прочим, дорогою, что есть у него недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, не медля ни минуты пристроился к столику, освещенному сальною свечкою, и, не обращая ни на что внимания, не слушая полового, явившегося за приказаниями, сломал печать и начал читать нижеследующее, окончательно его поразившее:

«Милостивый государь мой,
Яков Петрович.

В последнем письме моем, милостивый мой государь, ясным образом давал я вам знать, что дальнейшие между нами сношения не только будут мне весьма неприятны, но даже повредят моим личным выгодам. Ибо всему свету известно, что сообщество особ, не дорожащих мнением людей благонамеренных, особ отверженных, наконец, обществом хорошего тона, может быть не только пагубным для людей неразвращенных и не зараженных в невинности своей тлетворным дыханием порока, но даже довести их до окончательной гибели. Несмотря на всё это, вы не унялись и продолжаете искать моей дружбы! Ясным же доказательством мнения моего о тлетворном яде, сообщаемом вами, служит, во-первых, замаранная репутация ваша у Измайловского моста и около. Во-вторых, огласка и всеобщая официальная публикация вашей беспорядочной жизни; в-третьих, беспрерывное подсовывание ваше на место себя совершенно посторонних лиц и, в-четвертых, обиды и ухищрения, предпринимаемые вами против особ, известных благонамеренностью и откровенностью своего характера и прямотою души. Ибо некоторые люди в глаза фальшиво уверяют в дружбе своей, а за глаза имеют пагубную привычку поносить нареченных друзей своих не только позорнейшим образом, но даже бранными и обидными словами, как например названием *свища*, вероятно объясняя сим словом, что друзья их глупы и ничего в голове не имеют, а следовательно, голова их уподобляется пустому ореху, что по-мужицки и называется *свищом*. Всё это сделали вы, милостивый мой государь, ровно пять месяцев тому назад, в бытность вашу у общего нам знакомого, Николая Сергеевича Скороплёхина, и вдобавок при посторонних лицах. Далек от того, чтоб себя перед вами оправдывать, но, между прочим, всему свету известно, что излишнее остроумие не только не есть главнейшая необходимость человеческая, но даже вредит в практической жизни, чему сами служите сожаления достойным примером, ибо погибаете не от чего иного, как от излишнего своего остроумия. Я же

еще неопытен, недавно из Вятской губернии, обычаев здешних не знаю и потому благоразумно от излишнего остроумия уклоняюсь, стараясь, наоборот, прославиться одним моим добродушием и прямотою характера, — качествами, которыми справедливо горжусь. Пишете вы наконец, милостивый мой государь, как будто в свое оправдание, что самозванством в наш век, деловой и промышленный (преимущественно посредством пароходов и железных дорог), не возьмешь и, как справедливо изволите утверждать, что Гришка Отрепьев другой раз не может явиться. Справедливо, и готов согласиться; но опять, и сим пунктом письма своего, вы, милостивый государь, не только не принесли ничего в свое оправдание, но даже на себя самого обратили свое обвинение, ибо тем доказали, во-первых, что вы человек образованный и историю драгоценного нам отечества нашего знаете, а следовательно, во-вторых, и будучи образованным и остроумным человеком, не уберегли и впали в те самые недостатки, которые теперь в других порицаете. Говорю же я сие, милостивый мой государь, потому что сами действуете обманом и самозванством, намекая на известных лиц, слагая на них все преступления свои и тем стараясь спасти себя от неумолимой строгости законов. Грубые же и ожесточенные поступки ваши против особы женского пола, о имени которой умалчиваю из уважения к ней, заслуживают одного лишь презрения и обращаются к собственному вашему, милостивый мой государь, позору и посрамлению. Но если вы, милостивый мой государь, забыв честь и долг, сделав сию особу навеки несчастною, и отвергли теперь всякие дальнейшие с нею сношения, то есть и существуют еще люди с прямым и нелживым характером, которые почтут за честь взять на себя, милостивый мой государь, весь ущерб, нанесенный вами, чтоб окончательно и благородным образом загладить его. Ибо здесь все говорят, что хлопотать о руке сей особы и честно и выгодно; ибо сия особа происхождения не постыдного и не холопского и сделала бы вам честь, предлагая вам руку. Ибо уже известно вам, что родитель ее служил юнкером в германской конной артиллерии. Сверх того, на Обуховском проспекте имеет она короткого знакомого и приятеля своего, занимающегося слесарным искусством, который, по словам самой известной вам и всячески обиженной вами особы, совершенно непохож на какого-нибудь подлого мужика слесаря, а, следовательно, человек образованный; потом троюродного своего братца, человека искреннего, благочестивого и известного мне с весьма хорошей стороны, — булочника в Большой Подьяческой; потом еще бывшего кондитера, человека хотя бедного, но с весьма солидным и твердым характером, и, наконец, родного дядю своего, господина ученого, и сверх того химика, содержащего собственную свою аптеку в Сергиевской улице. Наконец, и известный вам доктор медицины и хирургии, Крестьян Иванович Ротеншпиц, не откажется всем сильным влиянием своим содействовать к пользе и защите оскорбленной своей соотечественницы. В заключение скажу вам, что просьба Каролины Ивановны относительно вашего дела уже давно подана, что ходит по этому делу в пользу Каролины

Ивановны общий знакомый наш, Николай Сергеевич Скороплёхин, что дело ее уже вошло во всеобщую огласку и публикацию, что на квартирах вас не будут нигде держать, что лишились вы всякого кредита и доверенности, что проиграете по службе; ибо еще сегодня утром предупреждены и разрушены были все ваши козни просьбами и молениями Каролины Ивановны перед вашим начальством, что, наконец, все ваши надежды и вздорные бредни насчет Измайловского моста и около должны будут при всеобщей огласке и публикации о вашей развратной жизни разрушиться сами собою и вы, отверженный всеми, терзаясь угрызениями совести, не будете знать, где голову свою преклонить, будете скитаться по целому свету и тщетно кормить в своем сердце змею своего разврата и мщения. Засим пребываю,

милостивый государь, вашим покорным слугою
*Н. Вахрамеевым*».

Прочтя письмо Вахрамеева, герой наш остался на несколько минут как бы пораженный громом. Итак, всё объяснилось, всё, всё! Всё обнаружилось, и безбожье адской интриги взяло верх над невинностью. Впрочем, господин Голядкин еще не всё понимал совершенно; он еще не мог опомниться от нашедшего на него столбняка. В страшной тоске, в страшном волнении, бледный как платок, с письмом в руках, прошелся он несколько раз по комнате; к довершению бедствия своего положения, герой наш не заметил, что был в настоящую минуту предметом исключительного внимания всех находящихся в комнате. Вероятно, беспорядок костюма его, несдерживаемое волнение, ходьба или, лучше сказать, беготня, жестикуляция обеими руками, может быть, несколько загадочных слов, сказанных на ветер и в забывчивости, — вероятно, всё это весьма плохо зарекомендовало господина Голядкина в мнении всех посетителей; и даже сам половой начинал поглядывать на него подозрительно. Очнувшись, герой наш заметил, что стоит посреди комнаты и почти неприличным, невежливым образом смотрит на одного весьма почтенной наружности старичка, который, пообедав и помолясь перед образом Богу, уселся опять и, с своей стороны, тоже не сводил глаз с господина Голядкина. Смутно оглянулся кругом наш герой и заметил, что все, решительно все смотрят на него с видом самым зловещим и подозрительным. Вдруг один отставной военный, с красным воротником, громко потребовал «Полицейские ведомости». Господин Голядкин вздрогнул и покраснел. Письмо Вахрамеева и официальная публикация мелькнули в уме его. В то же самое мгновение герой наш как-то нечаянно опустил глаза в землю и увидел, что был в таком неприличном костюме, в котором и у себя дома ему быть нельзя, не только в общественном месте. Сапоги, панталоны и весь левый бок его были совершенно в грязи, штрипка на правой ноге оторвана, а фрак даже разорван во многих местах. В неистощимой тоске своей подошел наш герой к столу, за которым читал, и увидел, что к нему подходит трактирный служитель с каким-то странным и дерзко-настоятельным выражением в лице. Потерявшись и опав совершен-

но, герой наш начал рассматривать стол, за которым стоял теперь. На столе стояли неубранные тарелки после чьего-то обеда, лежала замаранная салфетка и валялись только что бывшие в употреблении нож, вилка и ложка. «Кто ж это обедал? — подумал герой наш. — Неужели я? А всё может быть! Пообедал, да так и не заметил себе; как же мне быть?» Подняв глаза, господин Голядкин увидел опять подле себя полового, который собирался ему что-то сказать.

— Сколько с меня, братец? — спросил наш герой трепещущим голосом.

Громкий смех раздался кругом господина Голядкина; сам половой усмехнулся. Господин Голядкин понял, что и на этом срезался и сделал какую-то страшную глупость. Поняв всё это, он до того сконфузился, что принужден был полезть в карман за платком своим, вероятно чтобы что-нибудь сделать и так не стоять; но, к неописанному своему и всех окружавших его изумлению, вынул вместо платка стклянку с каким-то лекарством, дня четыре тому назад прописанным Крестьяном Ивановичем. «Медикаменты в той же аптеке», — пронеслось в голове господина Голядкина... Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проливался... На ярлычке стояло: «аптекарь ***, в Сергиевской». Не обращая ни на что остальное внимания, схватил господин Голядкин письмо Вахрамеева и — о ужас! — из старавшихся за Каролину Ивановну были, кроме других остальных, Крестьян Иванович и аптекарь в Сергиевской. В письме же было сказано, что сегодняшним утром дела его приняли другой оборот и он предупрежден перед высшим начальством. Сегодняшним же утром исчез Петрушка, и, наконец, господин Голядкин проспал за полдень. «Может быть, яд! и я действием яда проспал за полдень», — пронеслось в голове господина Голядкина; машинально сболтал он лекарство и поднес на свет пузырек...

Темная, красновато-отвратительная жидкость зловещим отсветом блеснула в глаза господину Голядкину... Пузырек выпал у него из рук и тут же разбился. Герой наш вскрикнул и отскочил шага на два назад от пролившейся жидкости... Герой наш дрожал всеми членами, и пот пробивался у него на висках и на лбу. «Стало быть, жизнь в опасности!» Между тем в комнате произошло движение, смятение; все окружали господина Голядкина, все говорили господину Голядкину, некоторые даже хватали господина Голядкина. Но герой наш был нем и недвижим, не видя ничего, не слыша ничего, не чувствуя ничего... Наконец, как будто с места сорвавшись, бросился он вон из трактира, растолкал всех и каждого из стремившихся удержать его, почти без чувств упал на первые попавшиеся ему извозчичьи дрожки и полетел на квартиру.

В сенях квартиры своей встретил он Михеева, сторожа департаментского, с казенным пакетом в руках. «Знаю, друг мой, всё знаю, — отвечал слабым, тоскливым голосом изнуренный герой наш, — это официальное...» В пакете действительно было предписание господину Голядкину, за подписью Андрея Филипповича, сдать

находившиеся у него на руках дела Ивану Семеновичу. Взяв пакет и дав сторожу гривенник, господин Голядкин пришел в квартиру свою и увидел, что Петрушка готовит и собирает в одну кучу весь свой дрязг и хлам, все свои вещи, очевидно намереваясь оставить господина Голядкина и переехать от него к переманившей его Каролине Ивановне, чтоб заменить ей Евстафия. Молча снял Петрушка шинель с своего барина, хотел было прибрать калоши, но калош не было, потому что господин Голядкин их потерял; проводил своего барина в его комнату, подал свечу и молча указал ему на пакет, лежавший на столике. Пакет пришел по городской почте. Машинально и почти не помня себя, распечатал его наш герой и прочел, к величайшему своему изумлению и окончательному своему уничтожению, нижеследующее:

«Благородный, за меня страдающий и навеки милый сердцу моему человек!

Я страдаю, я погибаю, — спаси меня! Клеветник, интригант и известный бесполезностью своего направления человек опутал меня сетями своими, и я погибла! (Но он мне противен, а ты!..) Нас разлучали, мои письма к тебе перехватывали — и всё это сделал безнравственный, воспользовавшись одним своим лучшим качеством — сходством с тобою. Во всяком же случае можно быть дурным собою, но пленять умом, сильным чувством и приятными манерами... Я погибаю! Меня отдают против воли, насильно, и всего более интригует здесь родитель, благодетель мой и статский советник Олсуфий Иванович, вероятно желая занять мое место и мои отношения в обществе высокого тона... Но я решилась и протестую всеми данными мне природою средствами. Дескать, так и так, а я протестую, дескать, так и так... а вы, милостивый мой государь и мерзавец, того... и Отрепьевы в наш век невозможны... Дескать, спаси меня, милый сердцу моему человек! Не дай мне погибнуть и жди меня с каретой своей сегодня, ровно в девять часов, у окон квартиры господина Берендеева. У нас бал. Я выйду, и мы полетим, полетим... и будем жить в хижине на берегу Хвалынского моря. К тому же есть другие места служебные, как-то: повытчиком в палате, в губернии. Престарелой же тетушки нашей Пелагеи Семеновны мы с собой не возьмем: она не соглашается ехать. Но во всяком случае вспомни, мой друг, что невинность сильна уже своею невинностью. Хороша еще одна нравственная идея насчет своих мест и историческая идея о том, что Отрепьевы в наш век невозможны. Прощай, вспоминай обо мне и, ради неба, жди меня с каретой своей у подъезда. Я же, с своей стороны, брошусь под защиту объятий твоих ровно в два часа пополуночи.

Твоя до гроба
*Клара Олсуфьевна*».

## *Глава XIII*

О том, как господин Голядкин решается похитить Клару Олсуфьевну, замечая, впрочем, что безнравственность воспитания губит неопытных девушек. Нечто об испанских серенадах и о разных разностях, неудобных в суровом климате нашем. О том, как господин Голядкин так и так объяснялся. Нечто о мастерских художников и о благородных фамилиях, вышедших из Малороссии. Господин Голядкин едет к Измайловскому мосту.

Лица, как говорится, не было на господине Голядкине, когда пришлось ему кончить неожиданное письмо, ужасное и страшное уже тем одним, что оно было совсем неожиданное. Столько разноречивых обстоятельств, столько ударов, столько один другому противоречащих ужасов! Бледный, потрясенный, встревоженный, приподнялся господин Голядкин со стула. В глазах у него зеленело; с ним делалось дурно. Чрез минуту он, однако, опомнился и позвал Петрушку. Петрушка вошел, покачиваясь, держась как-то странно-небрежно и с какой-то холопски-торжественной миной в лице. Видно было, что Петрушка что-то задумал, чувствовал себя вполне в своем праве и смотрел совершенно посторонним человеком, то есть чьим-то другим служителем, но только никак не прежним служителем господина Голядкина.

— Ну, вот видишь, мой милый, — начал, задыхаясь, герой наш, — который теперь час, милый мой?

Петрушка молча отправился за перегородку, потом воротился и довольно независимым тоном объявил, что уж скоро половина восьмого.

— Ну, хорошо, мой милый, хорошо. Ну, видишь, мой милый... позволь тебе сказать, милый мой, что между нами, кажется, теперь кончено все.

Петрушка молчал.

— Ну, теперь, как уж всё между нами кончилось, скажи ты мне теперь откровенно, как другу скажи, где ты был, братец?

— Где был? между добрых людей-с.

— Знаю, мой друг, знаю. Я тобою был постоянно доволен, мой милый, и аттестат тебе дам... Ну, что же ты у них теперь?

— Что же, сударь! сами изволите знать-с. Известно-с, добрый человек худому тебя не научит.

— Знаю, мой милый, знаю. Нынче добрые люди редки, мой друг; цени их, мой друг. Ну, как же они?

— Известно-с, как-с... Только я у вас, сударь, больше служить теперь не могу-с; сами изволите знать-с.

— Знаю, милый мой, знаю; твою ревность и усердие знаю; я видел всё это, друг мой, я замечал. Я, мой друг, тебя уважаю. Я доброго и честного человека, будь он и лакей, уважаю.

— Что ж, известно-с! Известно, сударь, что уж между добрым человеком хорошо находиться-с. Разное ведь случается, сударь, на кого нападешь... Наш брат, конечно, сами изволите знать-с, где лучше, там и хлеб себе добывает-с. Уж так оно-с. Что мне! Известно, сударь, что уж без доброго человека нельзя-с. Говорят: «Что тебе там, добрый человек, делать? тебе там, добрый человек, у него, говорят, тебе нечего делать-с». Известно, что уж оно так, того-с... не нами началось, не нами и кончится; а нашему брату везде череда... известно-с.

— Ну, хорошо, братец, хорошо; я это чувствую, друг мой, я это чувствую... Ну, вот твои деньги и вот твой аттестат. Теперь поцелуемся, братец, простимся с тобою...

— Ну, теперь, милый мой, я у тебя попрошу одной услуги, последней услуги, — сказал господин Голядкин торжественным тоном. — Видишь ли, милый мой, вот оно как. Всякое бывает. Горе, друг мой, кроется и в позлащенных палатах, и от него никуда не уйдешь. Ты знаешь, мой друг, я, кажется, с тобою всегда ласков был...

Петрушка молчал.

— Я, кажется, с тобой всегда ласков был, милый мой... Ну, сколько у нас теперь белья, милый мой?

— Да всё налицо-с. Рубашек холстинковых шесть-с; карпеток три пары; четыре манишки-с; фуфайка фланелевая; ну, из нижнего платья две штуки-с. Сами знаете, всё-с. Я, сударь, вашего ничего-с... Я, сударь, барское добро берегу-с. Я вами, сударь, того-с... известно-с... а греха какого за мной — никогда, сударь; уж это сами знаете, сударь...

— Верю, друг мой, верю. Я не про то, мой друг, не про то; видишь ли, вот что, мой друг...

— Известно, сударь-с. Уж это мы знаем-с. Я вот когда еще у генерала Столбнякова служил-с, так отпускали меня, уезжали сами в Саратов... вотчина там у них...

— Нет, мой друг, не про то; я ничего... ты не думай чего, милый друг мой...

— Известно-с. Что уж нашего брата-с, сами изволите знать-с, долго ли поклепать человека-с. А мною были довольны везде-с. Были министры, генералы, сенаторы, графы-с. Бывал у всех-с, у князя Свинчаткина-с, у Переборкина, полковника-с, у Недобарова, генерала, тоже ходили-с, в вотчину ездили к нашим-с. Известно-с...

— Да, мой друг, да; хорошо, мой друг, хорошо. Вот и я теперь, мой друг, уезжаю... Путь всякому разный лежит, милый мой, и неизвестно, на какую дорогу каждый человек попасть может. Ну, мой друг, дай же ты мне одеться теперь; да, ты вицмундир мой тоже положишь... брюки другие, простыни, одеяла, подушки...

— В узел прикажете всё завязать-с?

— Да, мой друг, да; пожалуй, и в узел... Кто знает, что может с нами случиться. Ну, теперь, милый мой, сходишь и приищешь карету...

— Карету-с?..

— Да, мой друг, карету, просторнее и на известное время. А ты, мой друг, не думай чего-нибудь...

— А далеко уезжать хотите-с?

— Не знаю, мой друг, этого тоже не знаю. Перину тоже, я думаю, туда же положить нужно будет. Как ты сам думаешь, друг мой? я на тебя полагаюсь, мой милый...

— Нешто сейчас изволите уезжать-с?

— Да, мой друг, да! Обстоятельство вышло такое, вот странное дело такое... вот оно как, милый мой, вот оно как...

— Известно, сударь; вот у нас в полку с поручиком то же самое было-с; там у помещика-с... увезли-с...

— Увез?.. Как! милый мой, ты...

— Да-с, увезли-с и в другой усадьбе венчались. Всё было заране готово-с. Погоня была-с; князь тут только-с вступились, покойник-с, — ну, и уладили дело-с...

— Венчались, да... ты как же, мой милый? ты-то каким же образом, милый мой?..

— Да уж известно-с, что-с! Слухом земля, сударь, полнится. Знаем, сударь, мы всё-с...

— Так вот, так и ты тут же, мой милый? как же это ты так?.. Ну, хорошо, хорошо... я на тебя полагаюсь. Видишь ли, друг мой, обстоятельство тут вышло такое... Нечего, я думаю, тебе объяснять...

— Знаю, сударь, известно, что, уж конечно, с кем же греха не бывало. Только я вам скажу теперь, сударь, позвольте мне попросту, сударь, по-холопски сказать; уж коль теперь на то пошло, так уж я вам скажу, сударь: есть у вас враг, суперника вы, сударь, имеете, сильный суперник, вот-с...

— Знаю, мой друг, знаю; сам ты, милый мой, знаешь... Ну, так вот я на тебя полагаюсь. Как же нам теперь делать, мой друг?.. Как же нам теперь вот это таким-то образом сделать?

— А вот, сударь, если вы так теперь, таким, примерно сказать, манером пошли, сударь, так вот вам понадобится там что покупать-с, — ну, там простыни, подушки, перину-другую-с, одеяло хорошее-с, — так вот здесь у соседки-с, внизу-с: мещанка, сударь, она; лисий салоп есть хороший; так можно его посмотреть и купить, сударь, можно сейчас сходить посмотреть-с. Оно же вам надобно, сударь, теперь-с; хороший салоп-с, атласом крытый-с, на лисьем меху-с...

— Ну, хорошо, мой друг, хорошо; я согласен, мой друг, я на тебя полагаюсь, вполне полагаюсь; пожалуй, хоть и салоп, милый мой... Только поскорей, поскорей! ради Бога, скорей! Я и салоп куплю, только, пожалуйста, поскорей! Скоро восемь часов, скорей, ради Бога, мой друг! поторопись, поскорее, мой друг!..

Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяла, простынь и всякого дрязгу, что стал было вместе сбирать и увязывать, и

стремглав бросился вон из комнаты. Господин Голядкин между тем схватился еще раз за письмо... но читать его он не мог. Схватив в обе руки свою победную голову, он в изумлении прислонился к стене. Думать ни о чем он не мог, делать что-нибудь тоже не мог; он и сам не знал, что с ним делается. Наконец, видя, что время проходит, а ни Петрушки, ни салопа еще не являлось, господин Голядкин решился пойти сам. Растворив дверь в сени, он услышал внизу шум, говор, спор и толки... Несколько соседок болтали, кричали, судили, рядили о чем-то, — уж это господин Голядкин знал, о чем именно. Слышался голос Петрушки; потом послышались чьи-то шаги. «Боже ты мой! Они сюда весь свет созовут!» — простонал господин Голядкин, ломая руки в отчаянии и бросаясь назад в свою комнату. Прибежав в свою комнату, он упал, почти не помня себя, на диван, лицом в подушку. С минутку полежав таким образом, он вскочил и, не дожидаясь Петрушки, надел свои калоши, шляпу, шинель, захватил свой бумажник и побежал стремглав с лестницы. «Ничего, не нужно ничего, милый мой! я сам, я всё сам. Тебя покамест не нужно, а между тем дело, может быть, и уладится к лучшему», — пробормотал господин Голядкин Петрушке, встретив его на лестнице; потом выбежал на двор и вон из дому; сердце его замирало; он еще не решался... Как ему быть, что ему делать, как ему в настоящем и критическом случае поступить...

— Ведь вот как поступить, Господи Бог мой! И нужно же было быть всему этому! — вскричал он наконец в отчаянии, куда глаза глядят, наудачу ковыляя по улице, — нужно же было быть всему этому! Ведь вот не будь этого, вот именно этого, так всё бы уладилось; разом, одним ударом, одним ловким, энергическим, твердым ударом уладилось бы! Палец даю на отсечение, что уладилось бы! И даже знаю, каким именно образом уладилось бы. Оно бы вот как всё сделалось: я бы тут и того — дескать, так и так, а мне, сударь мой, с позволения сказать, ни туда ни сюда; дескать, дела так не делаются; дескать, сударь вы мой, милостивый мой государь, дела так не делаются и самозванством у нас не возьмешь; самозванец, сударь вы мой, человек того... бесполезный и пользы отечеству не приносящий. Понимаете ли вы это? Дескать, понимаете ли вы это, милостивый мой государь?! Вот бы как оно и того... Да нет, впрочем, что же... оно вовсе ведь не того, совсем не того... Я-то что вру, дурак дураком! я-то, самоубийца я этакой! Оно, дескать, самоубийца ты этакой, совсем не того... Вот, однако, развращенный ты человек, вот оно как теперь делается!.. Ну, куда я денусь теперь? ну, что я, например, буду делать теперь над собой? ну, куда я гожусь теперь? ну, куда ты, примером сказать, годишься теперь, Голядкин ты этакой, недостойный ты этакой! Ну, что теперь? карету брать нужно; возьми, дескать, да подай ей карету сюда; дескать, ножки замочим, если кареты не будет... И вот, кто бы подумать мог? Ай да барышня, ай сударыня вы моя! ай да благонравного поведения девица! ай да хваленая наша. Отличились, сударыня, нечего сказать, отличились!.. А это всё происходит от без-

нравственности воспитания; а я, как теперь порассмотрел да пораскусил это всё, так и вижу, что это не от иного чего происходит, как от безнравственности. Чем бы смолода ее того... да и розгой подчас, а они ее конфектами, а они ее сластями разными пичкают, и сам старикашка нюнит над ней: дескать, ты такая моя да сякая моя, ты хорошая, дескать, за графа отдам тебя, моя сиятельная!.. А вот она и вышла у них сиятельная! Такая-то да сякая-то наша, — вот она и показала нам теперь свои карты; дескать, вот у нас игра какова! чем бы дома держать ее смолода, а они ее в пансион, к мадам француженке, к эмигрантке Фальбала там какой-нибудь; а она там добру всякому учится у эмигрантки-то Фальбала, — вот оно и выходит таким-то всё образом. Дескать, подите, порадуйтесь! дескать, будьте в карете вот в таком-то часу перед окнами и романс чувствительный по-испански пропойте; жду вас, и знаю, что любите, и убежим с вами вместе и будем жить в хижине; а сами вы, сударь мой, повытчиком будете!.. Да, наконец, оно и нельзя; оно, сударыня вы моя, — если на то уж пошло, — так оно и нельзя, так оно и законами запрещено честную и невинную девицу из родительского дома увозить без согласия родителей! Да, наконец, и зачем, почему и какая тут надобность? Ну, вышла бы там себе за кого следует, за кого судьбой предназначено, так и дело с концом. А я человек служащий; а я место мое могу потерять из-за этого; я, сударыня вы моя, под суд могу попасть из-за этого! вот оно что! коль не знали. И это я знаю всё, раскусил это всё, знаю, откудова всё происходит, кто над этим работает! Это немка работает. Это от нее, ведьмы, всё происходит; все сыры-боры от нее загораются. Потому что оклеветали человека, потому что выдумали на него сплетню бабью, небылицу в лицах, по совету Андрея Филипповича, оттого и происходит! Иначе почему же Петрушке тут вмешиваться? ему-то что тут? шельмецу-то какая тут надобность? Нет, я не могу, сударыня, никак не могу, ни за что не могу... А вы меня, сударыня, на этот раз уж как-нибудь там извините. Это от вас, сударыня, всё происходит, это не от немки всё происходит, вовсе не от ведьмы, а чисто от вас, потому что ведьма добрая женщина, потому что ведьма не виновата ни в чем, а вы, сударыня вы моя, виноваты, — вот оно как! Вы, сударыня, вы меня в напраслину вводите... Тут человек пропадает, тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдержать, — какая тут свадьба! И как это кончится всё? и как это теперь устроится и кончится всё? Дорого бы я дал, чтоб узнать это всё!..

Так рассуждал в отчаянии своем наш герой. Очнувшись вдруг, заметил он, что где-то стоит на Литейной. Погода была ужасная: была оттепель, валил снег, шел дождь, — ну точь-в-точь, как в то незабвенное время, когда, в страшный полночный час, начались все несчастия господина Голядкина. «Какой тут вояж! — думал господин Голядкин, смотря на погоду, — тут смерть, тут всеобщая смерть... Господи Бог мой! ну где мне, например, здесь карету сыскать? Вон там на углу, кажется, что-то чернеется. Посмотрим, исследуем... Господи

Бог мой! — продолжал наш герой, направив слабые и шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то похожее на карету. — Нет, я вот как сделаю: отправлюсь, паду к ногам, если можно, униженно буду испрашивать. Дескать, так и так; в ваши руки судьбу свою предаю, в руки начальства; дескать, ваше превосходительство, защитите и облагодетельствуйте человека; так и так, дескать, вот то-то и то-то, противозаконный поступок; не погубите, принимаю вас за отца, не оставьте... амбицию, честь, имя и фамилию спасите... и от злодея, развращенного человека, спасите... Он другой человек, ваше превосходительство, а я тоже другой человек; он особо, и я тоже сам по себе; право, сам по себе, ваше превосходительство, право, сам по себе; дескать, вот оно как. Дескать, походить на него не могу: перемените, благоволите, велите переменить — и безбожный самовольный подмен уничтожить... не в пример другим, ваше превосходительство. Принимаю вас за отца; начальство, конечно, благодетельное и попечительное начальство подобные движения должно поощрять... Тут есть даже несколько рыцарского. Дескать, принимаю вас, благодетельное начальство, за отца и вверяю судьбу свою и прекословить не буду, вверяюсь и сам отстраняюсь от дел... дескать, вот оно как!»

— Ну, что, мой милый, извозчик?

— Извозчик...

— Карету, брат, на вечер...

— А далеко ли ехать изволите-с?

— На вечер, на вечер; куда б ни пришлось, милый мой, куда б ни пришлось.

— Нешто за город ехать изволите?

— Да, мой друг; может, и за город. Я еще сам наверно не знаю, мой друг, не могу тебе наверно сказать, милый мой. Оно, видишь ли, милый мой, может быть, всё и уладится к лучшему и переменится к лучшему, когда маска спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Известно, мой друг...

— Да уж известно, сударь, конечно; дай Бог всякому веселья и счастья...

— Да, мой друг, да; благодарю тебя, милый мой; ну, что же ты возьмешь, милый мой?..

— Сейчас изволите ехать-с?

— Да, сейчас, то есть нет, подождешь в одном месте... так, немножко, недолго подождешь, милый мой...

— Да если уж на всё время берете-с, так уж меньше шести целковых, по погоде, нельзя-с...

— Ну, хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый мой. Ну, так вот ты меня и повезешь теперь, милый мой.

— Садитесь; позвольте, вот я здесь оправлю маленько; извольте садиться теперь. Куда ехать прикажете?

— К Измайловскому мосту, мой друг.

Извозчик-кучер взгромоздился на козла и тронул было пару тощих кляч, которых насилу оторвал от корыта с сеном, к Измайловско-

му мосту. Но вдруг господин Голядкин дернул снурок, остановил карету и попросил умоляющим голосом поворотить назад, не к Измайловскому мосту, а в одну другую улицу. Кучер поворотил в другую улицу, и через десять минут новоприобретенный экипаж господина Голядкина остановился перед домом, в котором квартировал его превосходительство. Господин Голядкин вышел из кареты, попросил своего кучера убедительно подождать и сам взбежал с замирающим сердцем вверх, во второй этаж, дернул за снурок, дверь отворилась, и наш герой очутился в передней его превосходительства.

— Его превосходительство дома изволят быть? — спросил господин Голядкин, адресуясь таким образом к отворившему ему человеку.

— А вам чего-с? — спросил лакей, оглядывая с ног до головы господина Голядкина.

— А я, мой друг, того... Голядкин, чиновник, титулярный советник Голядкин. Дескать, так и так, объясниться...

— Обождите; нельзя-с...

— Друг мой, я не могу обождать: мое дело важное, не терпящее отлагательства дело...

— Да вы от кого? Вы с бумагами?..

— Нет, я, мой друг, сам по себе... Доложи, мой друг, дескать, так и так, объясниться. А я тебя поблагодарю, милый мой...

— Нельзя-с. Не велено принимать; у них гости-с. Пожалуйте утром в десять часов-с...

— Доложите же, милый мой; мне нельзя, невозможно мне ждать... Вы, милый мой, за это ответите...

— Да ступай, доложи; что тебе: сапогов жаль, что ли, даром топтать? — проговорил другой лакей, развалившийся на залавке и до сих пор не сказавший ни слова.

— Сапогов топтать! Не велел принимать, знаешь? Ихняя череда по утрам.

— Доложи. Язык, что ли, отвалится?

— Да я-то доложу; язык не отвалится. Не велел, сказано, не велел. Войдите в комнату-то.

Господин Голядкин вошел в первую комнату; на столе стояли часы. Он взглянул: половина девятого. Сердце у него заныло в груди. Он было уже хотел воротиться; но в эту самую минуту долговязый лакей, став на пороге следующей комнаты, громко провозгласил фамилью господина Голядкина. «Эко ведь горло! — подумал в неописанной тоске наш герой... — Ну, сказал бы ты: того... дескать, так и так, покорнейше и смиренно пришел объясниться, — того... благоволите принять... А теперь вот и дело испорчено, вот и всё мое дело на ветер пошло; впрочем... да, ну — ничего...» Рассуждать, впрочем, нечего было. Лакей воротился, сказал «пожалуйте» и ввел господина Голядкина в кабинет.

Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, ибо решительно ничего не видал. Мелькнули, впрочем, две-три фигуры в глазах: «Ну, да это гости», — мелькнуло у господина Голядкина

в голове. Наконец наш герой стал ясно отличать звезду на черном фраке его превосходительства, потом, сохраняя постепенность, перешел и к черному фраку, наконец получил способность полного созерцания.

— Что-с? — проговорил знакомый голос над господином Голядкиным.

— Титулярный советник Голядкин, ваше превосходительство.

— Ну?

— Пришел объясниться...

— Как?.. Что?

— Да уж так. Дескать, так и так, пришел объясниться, ваше превосходительство-с...

— Да вы... да кто вы такой?..

— Го-го-господин Голядкин, ваше превосходительство, титулярный советник.

— Ну, так чего же вам нужно?

— Дескать, так и так, принимаю его за отца; сам отстраняюсь от дел, и от врага защитите, — вот как!

— Что такое?..

— Известно...

— Что известно?

Господин Голядкин молчал; подбородок его начинало понемногу подергивать...

— Ну?

— Я думал, рыцарское, ваше превосходительство... Что здесь, дескать, рыцарское, и начальника за отца принимаю... дескать, так и так, защитите, сле...слезно м...молю, и что такие дви...движения долж...но по... по...поощрять...

Его превосходительство отвернулся. Герой наш несколько мгновений не мог ничего разглядеть своими глазами. Грудь его теснило. Дух занимался. Он не знал, где стоял... Было как-то стыдно и грустно ему. Бог знает, что было после... Очнувшись, герой наш заметил, что его превосходительство говорит с своими гостями и как будто резко и сильно рассуждает с ними о чем-то. Одного из гостей господин Голядкин тотчас узнал. Это был Андрей Филиппович; другого же нет; впрочем, лицо было как будто тоже знакомое, — высокая, плотная фигура, лет пожилых, одаренная весьма густыми бровями и бакенбардами и выразительным, резким взглядом. На шее незнакомца был орден, а во рту сигарка. Незнакомец курил и, не вынимая сигары изо рта, значительно кивал головою, взглядывая по временам на господина Голядкина. Господину Голядкину стало как-то неловко; он отвел свои глаза в сторону и тут же увидел еще одного весьма странного гостя. В дверях, которые герой наш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случилось с ним, появился *он*... известно кто, весьма короткий знакомый и друг господина Голядкина. Господин Голядкин-младший действительно находился до сих пор в другой маленькой комнатке и что-то спешно писал; теперь, видно, понадобилось — и он явился, с

бумагами под мышкой, подошел к его превосходительству и весьма ловко, в ожидании исключительного к своей особе внимания, успел втереться в разговор и совет, заняв свое место немного по-за спиной Андрея Филипповича и отчасти маскируясь незнакомцем, курящим сигарку. По-видимому, господин Голядкин-младший принимал крайнее участие в разговоре, который подслушивал теперь благородным образом, кивал головою, семенил ножками, улыбался, поминутно взглядывал на его превосходительство, как будто бы умолял взором, чтоб и ему тоже позволили ввернуть свои полсловечка. «Подлец!» — подумал господин Голядкин и невольно ступил шаг вперед. В это время генерал оборотился и сам довольно нерешительно подошел к господину Голядкину.

— Ну, хорошо, хорошо; ступайте с Богом. Я порассмотрю ваше дело, а вас велю проводить... — Тут генерал взглянул на незнакомца с густыми бакенбардами. Тот, в знак согласия, кивнул головою.

Господин Голядкин чувствовал и понимал ясно, что его принимают за что-то другое, а вовсе не так, как бы следовало. «Так или этак, а объясниться ведь нужно, — подумал он, — так и так, дескать, ваше превосходительство». Тут в недоумении своем опустил он глаза в землю и, к крайнему своему изумлению, увидел на сапогах его превосходительства значительное белое пятно. «Неужели лопнули?» — подумал господин Голядкин. Вскоре, однако ж, господин Голядкин открыл, что сапоги его превосходительства вовсе не лопнули, а только сильно отсвечивали, — феномен, совершенно объяснившийся тем, что сапоги были лакированные и сильно блестели. «Это называется *блик*, — подумал герой наш, — и особенно же сохраняется это название в мастерских художников; в других же местах этот отсвет называется *светлым ребром*». Тут господин Голядкин поднял глаза и увидел, что пора говорить, потому что дело весьма могло повернуться к худому концу... Герой наш ступил шаг вперед.

— Дескать, так и так, ваше превосходительство, — сказал он, — а самозванством в наш век не возьмешь.

Генерал ничего не отвечал, а сильно позвонил за снурок колокольчика. Герой наш еще ступил шаг вперед.

— Он подлый и развращенный человек, ваше превосходительство, — сказал наш герой, не помня себя, замирая от страха и при всем том смело и решительно указывая на недостойного близнеца своего, семенившего в это мгновение около его превосходительства, — так и так, дескать, а я на известное лицо намекаю.

Последовало всеобщее движение за словами господина Голядкина. Андрей Филиппович и незнакомая фигура закивали своими головами; его превосходительство дергал в нетерпении из всех сил за снурок колокольчика, дозываясь людей. Тут господин Голядкин-младший выступил вперед в свою очередь.

— Ваше превосходительство, — сказал он, — униженно прошу позволения вашего говорить. — В голосе господина Голядкина-млад-

шего было что-то крайне решительное; всё в нем показывало, что он чувствует себя совершенно в праве своем.

— Позвольте спросить вас, — начал он снова, предупреждая усердием своим ответ его превосходительства и обращаясь в этот раз к господину Голядкину, — позвольте спросить вас, в чьем присутствии вы так объясняетесь? перед кем вы стоите, в чьем кабинете находитесь?.. — Господин Голядкин-младший был весь в необыкновенном волнении, весь красный и пылающий от негодования и гнева; даже слезы на его глазах показались.

— Господа Бассаврюковы! — проревел во всё горло лакей, появившись в дверях кабинета. — «Хорошая дворянская фамилья, выходцы из Малороссии», — подумал господин Голядкин и тут же почувствовал, что кто-то весьма дружеским образом налег ему одной рукой на спину; потом и другая рука налегла ему на спину; подлый близнец господина Голядкина юлил впереди, показывая дорогу, и герой наш ясно увидел, что его, кажется, направляют к большим дверям кабинета. «Точь-в-точь как у Олсуфия Ивановича», — подумал он и очутился в передней. Оглянувшись кругом, он увидел подле себя двух лакеев его превосходительства и одного близнеца.

— Шинель, шинель, шинель, шинель друга моего! шинель моего лучшего друга! — защебетал развратный человек, вырывая из рук одного человека шинель и набрасывая ее, для подлой и неблагоприятной насмешки, прямо на голову господину Голядкину. Выбиваясь из-под шинели своей, господин Голядкин-старший ясно услышал смех двух лакеев. Но, не слушая ничего и не внимая ничему постороннему, он уж выходил из передней и очутился на освещенной лестнице. Господин Голядкин-младший за ним.

— Прощайте, ваше превосходительство! — закричал он вслед господину Голядкину-старшему.

— Подлец! — проговорил вне себя герой.

— Ну, и подлец...

— Развратный человек!

— Ну, и развратный человек... — отвечал таким образом достойному господину Голядкину недостойный неприятель его и, по свойственной ему подлости, глядел с высоты лестницы, прямо и не смигнув глазом, в глаза господину Голядкину, как будто прося его продолжать. Герой наш плюнул от негодования и выбежал на крыльцо. Выбежав на крыльцо, он был так убит, что совершенно не помнил, кто и как посадил его в карету. Очнувшись, увидел он, что его везут по Фонтанке. «Стало быть, к Измайловскому мосту? — подумал господин Голядкин... Тут господину Голядкину захотелось еще о чем-то подумать, но нельзя было; а было что-то такое ужасное, чего и объяснить невозможно... — Ну, ничего!» — заключил наш герой и поехал к Измайловскому мосту.

## *Глава XIV*

О том, как господин Голядкин похищает Клару Олсуфьевну. О том, как случилось всё то, что господин Голядкин заранее предчувствовал. Конец всей этой совершенно неправдоподобной истории.

...Казалось, что погода хотела перемениться к лучшему. Действительно, мокрый снег, валивший доселе целыми тучами, начал малопомалу редеть, редеть и наконец почти совсем перестал. Стало видно небо, и на нем там и сям заискрились звездочки. Было только мокро, грязно, сыро и удушливо, особенно для господина Голядкина, который и без того уже едва дух переводил. Вымокшая и отяжелевшая шинель его пронимала все его члены какою-то неприятно теплою сыростью и тяжестью своею подламывала и без того уже сильно ослабевшие ноги его. Какая-то лихорадочная дрожь гуляла острыми и едкими мурашками по всему его телу; изнеможение точило из него холодный, болезненный пот, так что господин Голядкин позабыл уже при сем удобном случае повторить с свойственною ему твердостью и решимостью свою любимую фразу, что оно и всё-то авось, может быть, как-нибудь наверное непременно возьмет да и уладится к лучшему. «Впрочем, это всё еще ничего покамест», — прибавил крепкий и не унывающий духом герой наш, отирая с лица своего капли холодной воды, струившейся по всем направлениям с полей круглой и до того взмокшей шляпы его, что уже вода не держалась на ней. Прибавив, что это всё еще ничего, герой наш попробовал было присесть на довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся возле кучи дров на дворе Олсуфья Ивановича. Конечно, об испанских серенадах и о шелковых лестницах нечего уже было думать; но об укромном уголке, хотя и не совсем теплом, но зато уютном и скрытном, нужно же было подумать. Сильно соблазнял его, мимоходом сказать, тот самый уголок в сенях квартиры Олсуфья Ивановича, где прежде еще, почти в начале сей правдивой истории, выстаивал свои два часа наш герой, между шкафом и старыми ширмами, между всяким домашним и ненужным дрязгом, хламом и рухлядью. Дело в том, что и теперь господин Голядкин стоял и выжидал уже целые два часа на дворе Олсуфья Ивановича. Но относительно укромного и уютного прежнего уголка существовали теперь некоторые неудобства, прежде не существовавшие. Первое неудобство — то, что, вероятно, это место теперь замечено и приняты насчет его некоторые предохранительные меры со времени истории на последнем бале у Олсуфья Ивановича; а во-вторых, должно же было ждать условного знака от Клары Олсуфьевны, потому что непременно должен же был существовать какой-нибудь этакой знак условный. Так всегда делалось, и, «дескать, не нами началось, не нами и кончится». Господин Голядкин тут же кстати мимоходом припомнил какой-то роман, уже давно им прочитанный, где героиня подала условный знак Альфреду совершенно в подобном же обстоятельстве, при-

вязав к окну розовую ленточку. Но розовая ленточка теперь, ночью, и при санкт-петербургском климате, известном своею сыростью и ненадежностью, в дело идти не могла и, одним словом, была совсем невозможна. «Нет, тут не до шелковых лестниц, — подумал герой наш, — а я лучше здесь так себе, укромно и втихомолочку... я лучше вот, например, здесь стану», — и выбрал местечко одно на дворе, против самых окон Олсуфья Ивановича, около кучи складенных дров. Конечно, на дворе ходило много посторонних людей, форейторов, кучеров; к тому же стучали колеса и фыркали лошади и т. д.; но все-таки место было удобное: во-первых, можно было тут действовать втихомолочку, а во-вторых, заметят ли, не заметят ли, а теперь по крайней мере выгода та, что дело-то происходит некоторым образом в тени и господина Голядкина не видит никто; сам же он мог видеть решительно всё. Окна были сильно освещены; был какой-то торжественный съезд у Олсуфья Ивановича. Музыки, впрочем, еще не было слышно. «Стало быть, это не бал, а так, по какому-нибудь другому случаю съехались, — думал, отчасти замирая, герой наш. — Да сегодня ли, впрочем? — пронеслось в его голове, — не ошибка ли в числе? Может быть, всё может быть... Оно вот это как может быть всё... Оно еще, может быть, вчера было письмо-то написано, а ко мне не дошло, и потому не дошло, что Петрушка сюда замешался, шельмец он такой! Или завтра написано, то есть, что́ я... что завтра нужно было всё сделать, то есть с каретой-то ждать...» Тут герой наш похолодел окончательно и полез в свой карман за письмом, чтоб справиться. Но письма, к удивлению его, не оказалось в кармане. «Как же это? — прошептал полумертвый господин Голядкин, — где же это я оставил его? Стало быть, я его потерял? — этого еще недоставало! — простонал он наконец в заключение. — Ну, если я его таким-то образом потерял? Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет? (Да, может, попало уже!) Господи! что из этого всего воспоследует? Да, что воспоследует! Будет такое, что уж... Ах ты, судьба ты моя ненавистная!» Тут господин Голядкин как лист задрожал при мысли, что, может быть, неблагопристойный близнец его, набрасывая ему шинель на голову, имел именно целью похитить письмо, о котором как-нибудь там пронюхал от врагов господина Голядкина. «К тому же он перехватывает, — подумал герой наш, — доказательством же... да что доказательством!..» После первого припадка и столбняка ужаса кровь бросилась в голову господина Голядкина. Со стоном и скрежеща зубами схватил он себя за горячую голову, опустился на свой обрубок и начал думать о чем-то... Но мысли как-то ни о чем не вязались в его голове. Мелькали какие-то лица, припоминались то неясно, то резко какие-то давно забытые происшествия, лезли в голову какие-то мотивы каких-то глупых песен... Тоска, тоска была неестественная! «Боже мой! Боже мой! — подумал, несколько очнувшись, герой наш и подавляя глухое рыдание в груди, — подай мне твердость духа в неистощимой глубине моих бедствий! Что пропал я, исчез совершенно — в этом уж нет никакого сомнения, и это всё в порядке вещей, ибо и быть не мо-

жет никаким другим образом. Во-первых, я места лишился, непременно лишился, никак не мог не лишиться... Ну, да положим, оно и уладится как-нибудь там. Деньжонок же моих, положим, и достанет на первый раз; там квартиренку другую какую-нибудь, мёбелишки какой-нибудь нужно же... Петрушки же, во-первых, не будет со мной. Я могу и без шельмеца... этак от жильцов; ну, хорошо! И входишь, и уходишь, когда мне угодно, да и Петрушка не будет ворчать, что поздно приходишь, — вот оно как; вот почему от жильцов хорошо... Ну, да положим, это всё хорошо; только как же я всё не про то говорю, вовсе не про то говорю? это будет вот как... оно вот как будет...» Тут мысль о настоящем положении озарила память господина Голядкина. Он оглянулся кругом. «Ах ты, Господи Бог мой! Господи Бог мой! да о чем же это я теперь говорю?» — подумал он, растерявшись совсем и хватая себя за свою горячую голову...

— Нешто скоро, сударь, изволите ехать? — произнес голос над господином Голядкиным. Господин Голядкин вздрогнул; но перед ним стоял его извозчик, тоже весь до нитки измокший и продрогший, от нетерпения и от нечего делать вздумавший заглянуть к господину Голядкину за дрова.

— Я, мой друг, ничего... я, мой друг, скоро, очень скоро, а ты подожди...

Извозчик ушел, ворча себе под нос. «Об чем же он это ворчит? — думал сквозь слезы господин Голядкин, — ведь я его нанял же на вечер, ведь я того... в своем праве теперь... вот оно как! на вечер нанял, так и дело с концом; дескать, милый ты мой, и дело с концом. Хоть и так простоишь, все равно. Всё в моей воле. Волен ехать и волен не ехать. Дескать, вот оно как! И что вот здесь за дровами стою, так и это совсем ничего... и не смеешь ничего говорить; дескать, барину хочется за дровами стоять, вот он и стоит за дровами... и чести ничьей не марает, — вот оно как! Вот оно как, сударыня вы моя, если только это вам хочется знать. А в хижине, сударыня вы моя, дескать, так и так, в наш век никто не живет. Оно вот что! А без благонравия в наш промышленный век, сударыня вы моя, не возьмешь, чему сами теперь служите пагубным примером... Дескать, повытчиком нужно служить и в хижине жить, на морском берегу. Во-первых, сударыня вы моя, на морских берегах нет повытчиков, а во-вторых, и достать его нам с вами нельзя, повытчика-то. Ибо, положим, примерно сказать, вот я просьбу подаю, являюсь — дескать, так и так, в повытчики, дескать, того... и от врага защитите... а вам скажут, сударыня, дескать, того... повытчиков много и что вы здесь не у эмигрантки Фальбала, где вы благонравию учились, чему сами служите пагубным примером. Благонравие же, сударыня, значит дома сидеть, отца уважать и не думать о женишках прежде времени. Женишки же, сударыня, в свое время найдутся, — вот оно как! Конечно, разным талантам бесспорно нужно уметь, как-то: на фортепьянах иногда поиграть, по-французски говорить, истории, географии, закону Божию и арифметике, — вот оно как! — а больше не нужно. К тому же и кухня;

непременно в область ведения всякой благонравной девицы должна входить кухня! А то что тут? во-первых, красавица вы моя, милостивая моя государыня, вас не пустят, а пустят за вами погоню, и потом под сюркуп, в монастырь. Тогда что, сударыня вы моя? тогда мне-то что делать прикажете? прикажете мне, сударыня вы моя, следуя некоторым глупым романам, на ближний холм приходить и таять в слезах, смотря на хладные стены вашего заключения, и наконец умереть, следуя привычке некоторых скверных немецких поэтов и романистов, так ли, сударыня? Да, во-первых, позвольте сказать вам по-дружески, что дела так не делаются, а во-вторых, и вас, да и родителей-то ваших посек бы препорядочно за то, что французские-то книжки вам давали читать; ибо французские книжки добру не научат. Там яд... яд тлетворный, сударыня вы моя! Или вы думаете, позвольте спросить вас, или вы думаете, что, дескать, так и так, убежим безнаказанно, да и того... дескать, хижинку вам на берегу Хвалынского моря; а я, с моей стороны, буду повытчиком, да и ворковать начнем и об чувствах разных рассуждать, да так и всю жизнь проведем, в довольстве и счастии; да потом заведется птенец, так мы и того... дескать, так и так, родитель наш и статский советник, Олсуфий Иванович, вот, дескать, птенец завелся, так вы по сему удобному случаю снимите проклятие да благословите чету? Нет, сударыня, и опять-таки дела так не делаются, и первое дело то, что воркования не будет, не извольте надеяться. Нынче муж, сударыня вы моя, господин, и добрая, благовоспитанная жена должна во всем угождать ему. А нежностей, сударыня, нынче не любят, в наш промышленный век; дескать, прошли времена Жан-Жака Руссо. Муж, например, нынче приходит голодный из должности, — дескать, душенька, нет ли чего закусить, водочки выпить, селедочки съесть? так у вас, сударыня, должна быть сейчас наготове и водочка, и селедочка. Муж закусит себе с аппетитом, да на вас и не взглянет, а скажет: поди-тка, дескать, на кухню, котеночек, да присмотри за обедом, да разве-разве в неделю разок поцелует, да и то равнодушно... Вон оно как по-нашему-то, сударыня вы моя! Вот оно как будет, если так рассуждать, если уж на то пошло, что таким-то вот образом начать на дело смотреть... Да и я-то тут что? меня-то, сударыня, в ваши капризы зачем подмешали? „Дескать, благодетельный, за меня страждущий и всячески милый сердцу моему человек и т. д.". Да, во-первых, я, сударыня вы моя, я для вас не гожусь, сами знаете, комплиментам не мастер, дамские там разные раздушенные пустячки говорить не люблю, селадонов не жалую, да и фигурою, признаться, не взял. Ложного-то хвастовства и стыда вы в нас не найдете, а признаемся вам теперь во всей искренности. Дескать, вот оно как, обладаем лишь прямым и открытым характером да здравым рассудком; интригами не занимаемся. Не интригант, дескать, и этим горжусь, — вот оно как!.. Хожу без маски между добрых людей и, чтоб всё вам сказать...»

Вдруг господин Голядкин вздрогнул. Рыжая и взмокшая окончательно борода его кучера опять глянула к нему за дрова...

— Я сейчас, мой друг; я, мой друг, знаешь, тотчас; я, мой друг, тотчас же, — отвечал господин Голядкин трепещущим и изнывающим голосом.

Кучер почесал в затылке, потом погладил свою бороду, потом шагнул шаг вперед... остановился и недоверчиво взглянул на господина Голядкина.

— Я сейчас, мой друг; я, видишь... мой друг... я немножко, я, видишь, мой друг, только секундочку здесь... видишь, мой друг...

— Нешто совсем не поедете? — сказал наконец кучер, решительно и окончательно приступая к господину Голядкину...

— Нет, мой друг, я сейчас. Я, видишь, мой друг, дожидаюсь...

— Так-с...

— Я, видишь, мой друг... ты из какой деревни, мой милый?

— Мы господские...

— И добрых господ?..

— Нешто́...

— Да, мой друг; ты постой здесь, мой друг. Ты, видишь, мой друг, ты давно в Петербурге?

— Да уж год езжу...

— И хорошо тебе, друг мой?

— Нешто́.

— Да, мой друг, да. Благодари Провидение, мой друг. Ты, мой друг, доброго человека ищи. Нынче добрые люди стали редки, мой милый; он обмоет, накормит и напоит тебя, милый мой, добрый-то человек... А иногда ты видишь, что и через золото слезы льются, мой друг... видишь плачевный пример; вот оно как, милый мой...

Извозчику как будто стало жалко господина Голядкина.

— Да извольте, я подожду-с. Не́што долго ждать будете-с?

— Нет, мой друг, нет; я уж, знаешь, того... я уж не буду ждать, милый мой. Как ты думаешь, друг мой? Я на тебя полагаюсь. Я уж не буду здесь ждать...

— Не́што совсем не поедете?

— Нет, мой друг; нет, а я тебя поблагодарю, милый мой... вот оно как. Тебе сколько следует, милый мой?

— Да уж за что рядились, сударь, то и пожалуете. Ждал, сударь, долго; уж вы человека не обидите, сударь.

— Ну, вот тебе, милый мой, вот тебе. — Тут господин Голядкин отдал все шесть рублей серебром извозчику и, серьезно решившись не терять более времени и заключив, что всё это, верно, так было и что лучше всего его так и оставить, то есть уйти подобру-поздорову, тем более что уже окончательно решено было дело и извозчик отпущен был и, следовательно, ждать более нечего, пустился сам со двора, вышел за ворота, поворотил налево и без оглядки, задыхаясь и радуясь, пустился бежать. «Оно, может быть, и всё устроится к лучшему, — думал он, — а я вот таким-то образом беды избежал». Действительно, как-то вдруг стало необыкновенно легко в душе господина Голяд-

кина. «Ах, кабы устроилось к лучшему! — подумал герой наш, сам, впрочем, мало себе на слово веря. — Вот я и того... — думал он. — Нет, я лучше вот как, и с другой стороны... Или лучше вот этак мне сделать?..» Таким-то образом сомневаясь и ища ключа и разрешения сомнений своих, герой наш добежал до Семеновского моста, а добежав до Семеновского моста, благоразумно и окончательно положил воротиться. «Оно и лучше, — подумал он. — Я лучше с другой стороны, то есть вот как. Я буду так — наблюдателем посторонним буду, да и дело с концом; дескать, я наблюдатель, лицо постороннее — и только; а там, что ни случись, — не я виноват. Вот оно как! Вот оно таким-то образом и будет теперь».

Положив воротиться, герой наш действительно воротился, тем более что, по счастливой мысли своей, ставил себя теперь лицом совсем посторонним. «Оно же и лучше: и не отвечаешь ни за что, да и увидишь, что следовало... вот оно как!» То есть расчет был вернейший, да и дело с концом. И так как дело было совершенно с концом, и претендовать уже более некому, и так как все должны были быть совершенно довольны и счастливы, то и герой наш в свою очередь тоже совсем успокоился. Успокоившись, забрался он опять под мирную сень своей успокоительной и охранительной кучи дров и внимательно стал смотреть на окна. В этот раз смотреть и дожидаться пришлось ему недолго. Вдруг во всех окнах разом обнаружилось какое-то странное движение, замелькали фигуры, открылись занавесы, целые группы людей толпились в окнах квартиры Олсуфия Ивановича, все искали и выглядывали чего-то на дворе. Обеспеченный своею спасительною кучею дров, герой наш тоже в свою очередь с любопытством стал следить за всеобщим движением и с участием вытягивать направо и налево свою голову, сколько по крайней мере позволяла ему короткая тень от дровяной кучи, его прикрывавшая. Вдруг он оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса. Дело-то было вот как... Дело-то всё вот таким-то образом происходило теперь... Искали-то не что-нибудь и не кого-нибудь: искали просто его, господина Голядкина. Да оно и действительно так, и сомнения более нет никакого. Дескать, вот оно как, дескать, так и так, а ищут господина Голядкина. Все смотрят в его сторону, все указывают в его сторону. Бежать было невозможно: увидят... Оторопевший господин Голядкин прижался как можно плотнее к дровам и тут только заметил, что предательская тень изменяла, что прикрывала она не всего его. С величайшим удовольствием согласился бы наш герой пролезть теперь в какую-нибудь мышиную щелочку между дровами, да там и сидеть себе смирно, если б только это было возможно. Но было решительно невозможно. В агонии своей наш герой стал наконец решительно и прямо смотреть на все окна разом; оно же и лучше... И вдруг сгорел со стыда окончательно. Его совершенно заметили, все разом заметили, все манят его руками, все кивают ему головами, все зовут его; вот щелкнуло и отворилось несколько форточек; несколько голосов разом что-то начали кричать ему... «Удивляюсь, как этих девчонок не секут еще с детства», —

бормотал про себя наш герой, совсем потерявшись. Вдруг с крыльца сбежал *он* (известно кто), в одном вицмундире, без шляпы, запыхавшись, загонявшись, юля, семеня и подпрыгивая, вероломно изъявляя ужаснейшую радость о том, что увидел наконец господина Голядкина.

— Яков Петрович, — защебетал известный своей бесполезностью человек, — Яков Петрович, вы здесь? Вы простудитесь. Здесь холодно, Яков Петрович. Пожалуйте в комнату.

— Яков Петрович! Нет-с, я ничего, Яков Петрович, — покорным голосом пробормотал наш герой.

— Нет-с, нельзя, Яков Петрович; просят, покорнейше просят, ждут нас. «Осчастливьте, дескать, и приведите сюда Якова Петровича». Вот как-с.

— Нет, Яков Петрович; я, видите ли, я бы лучше сделал... Мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович... — говорил наш герой, горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса, всё в одно время.

— Ни-ни-ни-ни! — защебетал отвратительный человек. — Ни-ни-ни, ни за что! Идем! — сказал он решительно и потащил к крыльцу господина Голядкина-старшего. Господин Голядкин-старший хотел было вовсе не идти; но так как смотрели все и сопротивляться и упираться было бы глупо, то герой наш пошел, — впрочем, нельзя сказать, чтоб пошел, потому что решительно сам не знал, что с ним делается. Да уж так ничего, заодно!

Прежде нежели герой наш успел кое-как оправиться и опомниться, очутился он в зале. Он был бледен, растрепан, растерзан; мутными глазами окинул он всю толпу, — ужас! Зала, все комнаты — всё, всё было полным полнехонько. Людей было бездна, дам целая оранжерея; всё это теснилось около господина Голядкина, всё это стремилось к господину Голядкину, всё это выносило на плечах своих господина Голядкина, весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону. «Ведь не к дверям», — пронеслось в голове господина Голядкина. Действительно, упирали его не к дверям, а прямо к покойным креслам Олсуфия Ивановича. Возле кресел с одной стороны стояла Клара Олсуфьевна, бледная, томная, грустная, впрочем пышно убранная. Особенно бросились в глаза господину Голядкину маленькие беленькие цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семенович, в черном фраке, с новым своим орденом в петличке. Господина Голядкина вели под руки, и, как сказано было выше, прямо на Олсуфия Ивановича — с одной стороны господин Голядкин-младший, принявший на себя вид чрезвычайно благопристойный и благонамеренный, чему наш герой донельзя обрадовался, с другой же стороны руководил его Андрей Филиппович с самой торжественной миной в лице. «Что бы это?» — подумал господин Голядкин. Когда же он увидал, что ведут его к Олсуфию Ивановичу, то его вдруг как будто молнией озарило. Мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его... В неистощимой агонии

предстал наш герой перед кресла Олсуфия Ивановича. «Как мне теперь? — подумал он про себя. — Разумеется, этак всё на смелую ногу, то есть с откровенностью, не лишенною благородства; дескать, так и так и т. д.». Но чего боялся, по-видимому, герой наш, то и не случилось. Олсуфий Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина Голядкина и, хотя не протянул ему руки своей, но по крайней мере, смотря на него, покачал своею седовласою и внушающею всякое уважение головою, — покачал с каким-то торжественно-печальным, но вместе с тем благосклонным видом. Так по крайней мере показалось господину Голядкину. Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Олсуфия Ивановича; он поднял глаза и увидел, что и на ресницах Клары Олсуфьевны, тут же стоявшей, тоже как будто бы блеснула слезинка, — что и в глазах Владимира Семеновича тоже как будто было что-то подобное, — что, наконец, ненарушимое и спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общего слезящегося участия, — что, наконец, юноша, когда-то весьма походивший на важного советника, уже горько рыдал, пользуясь настоящей минутой... Или это всё, может быть, только так показалось господину Голядкину, потому что он сам весьма прослезился и ясно слышал, как текли его горячие слезы по его холодным щекам... Голосом, полным рыданий, примиренный с людьми и судьбою и крайне любя в настоящее мгновение не только Олсуфия Ивановича, не только всех гостей, взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего, который теперь, по-видимому, вовсе был не зловредным и даже не близнецом господину Голядкину, но совершенно посторонним и крайне любезным самим по себе человеком, обратился было герой наш к Олсуфию Ивановичу с трогательным излиянием души своей, но от полноты всего, в нем накопившегося, не мог ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча указал на свое сердце... Наконец Андрей Филиппович, вероятно желая пощадить чувствительность седовласого старца, отвел господина Голядкина немного в сторону и оставил его, впрочем, кажется, в совершенно независимом положении. Улыбаясь, что-то бормоча себе под нос, немного недоумевая, но во всяком случае почти совершенно примиренный с людьми и судьбою, начал пробираться герой наш куда-то сквозь густую массу гостей Олсуфия Ивановича. Все ему давали дорогу, все смотрели на него с каким-то странным любопытством и с каким-то необъяснимым, загадочным участием. Герой наш прошел в другую комнату — то же внимание везде; он глухо слышал, как целая толпа теснилась по следам его, как замечали его каждый шаг, как втихомолку все между собою толковали о чем-то весьма занимательном, качали головами, говорили, судили, рядили и шептались. Господину Голядкину весьма бы хотелось узнать, о чем они все так судят, и рядят, и шепчутся. Он, впрочем, знал очень хорошо о чем. Оглянувшись, герой наш заметил подле себя господина Голядкина-младшего. Почувствовав необходимость схватить его руку и отвести его в сторону, господин Голядкин убедительнейше попросил другого Якова Петровича содействовать ему при всех будущих начи-

наниях и не оставлять его в критическом случае. Господин Голядкин-младший важно кивнул головою и крепко сжал руку господина Голядкина-старшего. Сердце затрепетало от избытка чувств в груди героя нашего. Впрочем, он задыхался, он чувствовал, что его так теснит-теснит; что все эти глаза, на него обращенные, как-то гнетут и давят его... Господин Голядкин увидал мимоходом того советника, который носил парик на голове. Советник глядел на него строгим, испытующим взглядом, вовсе не смягченным от всеобщего участия... Герой наш решился было идти к нему прямо, чтоб улыбнуться ему и немедленно с ним объясниться; но дело как-то не удалось. На одно мгновение господин Голядкин почти забылся совсем, потерял и память, и чувства... Очнувшись, заметил он, что вертится в широком кругу его обступивших гостей. Кое-как выбрался наш герой из широкого круга и стал было пробираться к дверям. Вдруг из другой комнаты крикнули господина Голядкина; крик разом пронесся по всей толпе. Всё заволновалось, всё зашумело, все ринулись к дверям первой залы; героя нашего почти вынесли на руках, причем твердосердый советник в парике очутился бок о бок с господином Голядкиным. Наконец он взял его за руку и посадил возле себя, напротив седалища Олсуфия Ивановича, в довольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, кто ни были в комнатах, все уселись в нескольких рядах кругом господина Голядкина и Олсуфия Ивановича. Всё затихло и присмирело, все наблюдали торжественное молчание, все взглядывали на Олсуфия Ивановича, очевидно ожидая чего-то не совсем обыкновенного. Господин Голядкин заметил, что возле кресел Олсуфия Ивановича, и тоже прямо против советника, поместился другой господин Голядкин с Андреем Филипповичем. Молчание длилось; чего-то действительно ожидали. «Точь-в-точь как в семье какой-нибудь, при отъезде кого-нибудь из членов этой семьи в дальний путь; стоит только встать да помолиться теперь», — подумал герой наш. Вдруг обнаружилось необыкновенное движение и прервало все размышления господина Голядкина. Случилось что-то давно ожидаемое. «Едет, едет!» — пронеслось по толпе. «Кто это едет?» — пронеслось в голове господина Голядкина, и он вздрогнул от какого-то странного ощущения. «Пора!» — сказал советник, внимательно посмотрев на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович, с своей стороны, взглянул на Олсуфия Ивановича. Важно и торжественно кивнул головой Олсуфий Иванович. «Встанем», — проговорил советник, подымая господина Голядкина. Все встали. Тогда советник взял за руку господина Голядкина-старшего, а Андрей Филиппович господина Голядкина-младшего, и оба торжественно свели двух совершенно подобных среди обставшей их кругом и устремившейся в ожидании толпы. Герой наш с недоумением осмотрелся кругом, но его тотчас остановили и указали ему на господина Голядкина-младшего, который протянул ему руку. «Это мирить нас хотят», — подумал герой наш и с умилением протянул свою руку господину Голядкину-младшему; потом, потом протянул к нему свою голову. То же сделал и другой господин Голядкин... Тут господину Голядкину-стар-

шему показалось, что вероломный друг его улыбается, что он бегло и плутовски мигнул всей окружавшей их толпе, что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного господина Голядкина-младшего, что даже он отпустил гримаску какую-то в минуту иудина своего поцелуя... В голове зазвонило у господина Голядкина, в глазах потемнело; ему показалось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Голядкиных с шумом вламывается во все двери комнаты; но было поздно... Звонкий предательский поцелуй раздался, и...

Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство... Двери в залу растворились с шумом, и на пороге показался человек, которого один вид оледенил господина Голядкина. Ноги его приросли к земле. Крик замер в его стесненной груди. Впрочем, господин Голядкин знал всё заране и давно уже предчувствовал что-то подобное. Незнакомец важно и торжественно приближался к господину Голядкину... Господин Голядкин эту фигуру очень хорошо знал. Он ее видел, очень часто видал, еще сегодня видал... Незнакомец был высокий, плотный человек, в черном фраке, с значительным крестом на шее и одаренный густыми, весьма черными бакенбардами; недоставало только сигарки во рту для дальнейшего сходства... Зато взгляд незнакомца, как уже сказано было, оледенил ужасом господина Голядкина. С важной и торжественной миной подошел страшный человек к плачевному герою повести нашей... Герой наш протянул ему руку; незнакомец взял его руку и потащил за собою... С потерянным, с убитым лицом оглянулся кругом наш герой...

— Это, это Крестьян Иванович Рутеншпиц, доктор медицины и хирургии, ваш давнишний знакомец, Яков Петрович! — защебетал чей-то противный голос под самым ухом господина Голядкина. Он оглянулся: то был отвратительный подлыми качествами души своей близнец господина Голядкина. Неблагопристойная, зловещая радость сияла в лице его; с восторгом он тер свои руки, с восторгом повертывал кругом свою голову, с восторгом семенил кругом всех и каждого; казалось, готов был тут же начать танцевать от восторга; наконец он прыгнул вперед, выхватил свечку у одного из слуг и пошел вперед, освещая дорогу господину Голядкину и Крестьяну Ивановичу. Господин Голядкин слышал ясно, как всё, что ни было в зале, ринулось вслед за ним, как все забегали вперед, теснились, давили друг друга и все вместе в голос начинали повторять за господином Голядкиным: «что это ничего; что не бойтесь, Яков Петрович, что это ведь старинный друг и знакомец ваш, Крестьян Иванович Рутеншпиц...» Наконец вышли на парадную, ярко освещенную лестницу; на лестнице была тоже куча народа; с шумом растворились двери на крыльцо, и господин Голядкин очутился на крыльце вместе с Крестьяном Ивановичем. У подъезда стояла карета, запряженная четверней лошадей, которые фыркали от нетерпения. Злорадственный господин Голядкин-младший в три прыжка сбежал с лестницы и сам отворил карету. Крестьян Иванович увещательным жестом попросил садиться господина Голядкина. Впрочем, увещательного жеста было вовсе не нужно; было до-

вольно народу подсаживать... Замирая от ужаса, оглянулся господин Голядкин назад: вся ярко освещенная лестница была унизана народом; любопытные глаза глядели на него отвсюду; сам Олсуфий Иванович председал на самой верхней площадке лестницы, в своих покойных креслах, и внимательно, с сильным участием, смотрел на всё совершавшееся. Все ждали. Ропот нетерпения пробежал по толпе, когда господин Голядкин оглянулся назад.

— Я надеюсь, что здесь нет ничего... ничего предосудительного... или могущего возбудить строгость... и внимание всех касательно официальных отношений моих? — проговорил, потерявшись, герой наш. Говор и шум поднялся кругом; все отрицательно закивали головами своими. Слезы брызнули из глаз господина Голядкина.

— В таком случае я готов, я вверяюсь, я вверяюсь вполне... так и так, дескать, сам отступаюсь от дел и вручаю судьбу мою Крестьяну Ивановичу...

Только что проговорил господин Голядкин, что он вручает вполне свою судьбу Крестьяну Ивановичу, как страшный, оглушительный, радостный крик вырвался у всех окружавших его и самым зловещим откликом прокатился по всей ожидавшей толпе. Тут Крестьян Иванович с одной стороны, а с другой Андрей Филиппович взяли под руки господина Голядкина и стали сажать в карету; двойник же, по подленькому обыкновению своему, хлопотал и подсаживал сзади. Несчастный господин Голядкин-старший бросил свой последний, мутный взгляд на всех и на всё и, дрожа, как котенок, которого окатили холодной водой, — если позволят сравнение, — влез в карету; за ним тотчас же сел и Крестьян Иванович. Карета захлопнулась; послышался удар бича по лошадям; лошади рванули экипаж с места... всё ринулось вслед за господином Голядкиным; пронзительные, неистовые крики всех врагов его покатились ему вслед в виде напутствия. Некоторое время еще мелькали кое-какие лица кругом кареты, уносившей господина Голядкина; но наконец и они стали отставать-отставать и наконец исчезли совсем. Долее всех оставался неблагопристойный близнец господина Голядкина; заложа руки в боковые карманы своих форменных зеленых панталон, бежал он с довольным видом, подпрыгивая то с одной, то с другой стороны экипажа, иногда забегал и вперед лошадей; иногда же, схватившись за рамку окна и повиснув всем телом своим, просовывал в окно свою голову и умильно поглядывал на господина Голядкина-старшего, улыбаясь ему, прощаясь с ним, кивал ему головою и поминутно посылал ему рукой поцелуйчики... Наконец и он как будто устал, реже и реже стал появляться по сторонам кареты и наконец исчез совершенно. Глухо занывало сердце в груди господина Голядкина, кровь горячим ключом била ему в голову; ему было душно, ему хотелось расстегнуть свою одежду, обнажить свою грудь, обсыпать ее всю снегом и облить холодной водой... Он впал наконец в забытье... Когда же очнулся, то увидел, что лошади несут его по какой-то ему почти незнакомой дороге; направо и налево чернелись какие-то леса; было глухо и пусто. Кругом ни души живой. Пошел снег.

Тоска давила кошмаром грудь господина Голядкина-старшего. Ему стало страшно... Весь в изнеможении, в тоске, в агонии, весь оробевший, убитый, прижался он плечом своим к плечу молчаливого Крестьяна Ивановича... Но вдруг в ужасе от него отшатнулся и прижался в другой угол кареты. Волосы его поднялись дыбом. Холодный пот катился по его вискам. Он взглянул — и обмер от ужаса... Два огненные глаза смотрели на него в темноте, и зловещею, адскою радостию блистали эти два глаза... Глаза эти близились-близились к господину Голядкину... Он уже слышал чье-то прикосновение к себе, чье-то жгучее дыхание на лице своем, чьи-то распростертые над ним и готовые схватить его руки. Это не Крестьян Иванович! Кто это?.. Или это он?.. он! это Крестьян Иванович, но только не прежний, это другой Крестьян Иванович. «Нужно бутылки врагом не бывать», — пронеслось в голове господина Голядкина... Впрочем, он ничего уж не думал. Медленно, трепетно закрыл он глаза свои. Омертвев, он ждал чего-то ужасного — ждал... он уже слышал, чувствовал и — наконец...

Но здесь, господа, кончается история приключений господина Голядкина.

## *Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести ($ЧН_1$)*

### *В Голядкина*

— Г. Голядкин погибает под чашей[1] горестей и пишет письмо к Голядк⟨ину⟩[2]-младшему, своему смертельному врагу, о *руке помощи* (рыцарское письмо). (Я у Бекетовы⟨х⟩. Иду к Тург⟨еневу⟩.)

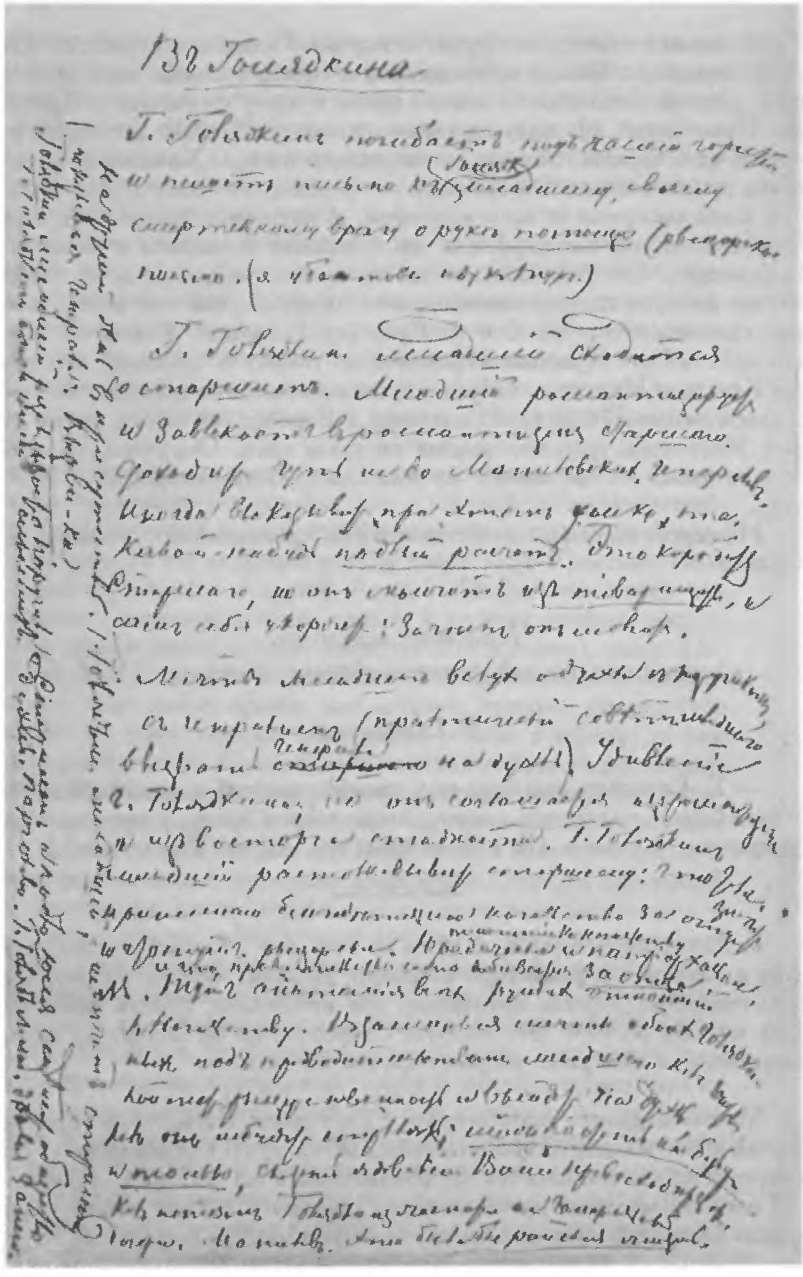
---

Г. Голядкин-младший сходится со старшим. Младший романтизирует и завлекает в романтизм старшего. Доходит чуть не до маниловских генералов. Иногда выказывает при этом *ушко*, то есть какой-нибудь *подлый расчет*. Это коробит Старшего, но он молчит *из товарищества*, и сам себя укоряет: Зачем он молчит.

Мечты младшего вслух о дуэли с поручиком, с генералом (практический совет младшего вызвать генерала[3] на дуэль). Удивление г. Голядкина, но он соглашается из романтизма и из восторга стадности. Г. Голядкин-младший растолковывает старшему: что так, значит, принимаю благодетельное начальство за отца и что тут рыцарское. Юри-

---

[1] *Было*: ношей
[2] *Слово*: Голядк⟨ину⟩ — *вписано*.
[3] *Было*: старшего



«Двойник». Автограф черновых набросков к предлагавшейся переработке повести. 1861—1862 гг.
Российская государственная библиотека (Москва).

дическое и патриархальное отношение к начальству и что правительство само добивается *за отца*.[1]

№. Тут анатомия всех русских отношений к начальству. Взаимные мечты обоих Голядкиных под предводительством младшего, как генерал поймет рыцарственность и выйдет на дуэль, как он не будет стрелять; *можно стать на барьер и только*, сказать: «Я доволен, Ваше превосходительство». Как потом Голядкин женится на генеральской дочери. Манилов. Это *была бы райская жизнь*.

На другой день в присутствии. Г. Голядкин-младший шепчет старшему, показывая генерала: «*Вызови-ка*».

Голядкин-младший рассказывает о поручике, о Старшем и, подло юля, смешит общество. Г. Голядкин-старший слышит. Дуэль. Парголово. Г. Голядкин-млад⟨ший⟩ дрался за него.[2] ⟨*с. 61*⟩

## *В Голядкина*

— Эли де Бомон. На другой день взял за ухо: «Ученые мы люди с тобой, Яков Петрович, Эли де Бомон».

---

— Г. Голядкин с ненавистью смотрел на *младшего*, как он фыркал плескаясь, в умывальнике.

— Грубости Петрушки насчет умывальника, Г. Голядкин стыдится, что у него нет хорошего умывальника.

---

— Г. Голядкин с извозчиком: «Через золото слезы текут». Извозчик и говорит: «Да уж коли человек, так уж оно видно хорошего человека. *Намеднись у Захарки корову увели*».

— Фырканье Петрушки (развить). Голядкин Петрушке про младшего: «Он раскаивается», опять фырканье.

— Как он фыркал и плескался в рукомойнике. Ему казалось, что он нарочно[3] фыркал с тем, чтоб его обидеть.

---

№. Юридически начальство только по законам поступает; это только грубая подчиненность и послушание начальству. Но если за отца, тут семейственность, тут подчинение всего себя и всех домашних своих вместо начальства. Начало детских отношений к отцу. *Детский*

---

[1] *Было*: Юридическое и патриархальное. — *Продолжение фразы приписано между строк.*

[2] *Текст*: На другой день ~ дрался за него. — *вписан на полях слева.*

[3] *Было*: напрасно

*лепет невинности, а это приятнее начальству.*[1] Это теория *младшего.* Младший олицетворение подлости.[2]

Сокровеннейшие тайны чиновничьей души à la Толстой. ⟨*с. 62*⟩

## *В*[3] *Голядкина*

## *Их мечты*[4]

Голядкин накануне дуэли. Младший, секундант, дал тягу[5] утром рано. Воровски надул. Секундант дрался за дуэлиста.

---

Пети-жё у Клары Олсуфьевны. Голядкин за шута. Тут-то вызов поручика.

---

Вдвоем с *младшим.* Мечты сделаться Наполеоном, Периклом, предводителем русского восстания. Либерализм и революция, восстановляющая со слезами Louis XVI и слушающаяся его (от доброты).[6]

---

— Г. Голядкин-младший укоряет старшего за то, что он прячет от него куски обеда.

— Младший рассказывает про старшего в обществе все те штучки (таинственные и сокровенные, которые есть у каждого и которые каждый прячет как тайны от всех)[7], смешные мелочи, которые Голядк⟨ин⟩-старший ревниво прятал от младшего и вполне был уверен, что тот не узнает, но тот узнал. Г. Голядкин-*младший* всё знает про старшего и всё узнаёт. Сверхъестественное могущество.

— Младший сказывается, что знает все тайны старшего,[8] точно он олицетворенная совесть старшего. ⟨*с. 63*⟩

---

[1] *Текст*: NB. Юридически начальство ~ приятнее начальству. — *приписан на левом поле страницы после ее заполнения; в конце поставлен условный знак* (х), *соединяющий текст с продолжением, написанным в другом месте и так же помеченным.*

[2] *Текст*: Это теория ~ олицетворение подлости. — *приписан внизу страницы, нижним краем вверх, как продолжение предыдущего и помечен соответствующим знаком* (х).

[3] *Было начато*: Ст⟨арший?⟩

[4] *Заголовок*: Их мечты — *вписан.*

[5] *Было*: Младший дал тягу

[6] *Было*: и слушающаяся его.

[7] *В рукописи закрывающая скобка отсутствует.*

[8] *Далее было*: так

— В *Голядкина*, большая и *самая капитальная* сцена:

— Младший решается помогать старшему насчет Клары Олсуфьевны. *Petits je⟨ux⟩* иносан, их принимают как *игру природы*. Г. Голядкин смутно понимает, что его примут в общество как *игру природы*, и не хочет того. Видит, что и младший *проговаривается*, что их зовут как *игру природы*, но по стадности молчит.

— Младший перед *пети-жё* вырывает у старшего признание в любви к Кларе Олсуфьевне (младший уже знает это и без старшего). Он начинает учить его, как победить Клару Олсуфьевну, подучивает, как быть развязным, теория о том, как *странно руки торчат бесполезные*. О необходимости сказать *bon mot*, подыскивают, какое бы сказать *bon mot*. Выдумывают каламбуры à la Кузьма Прутков. Подыскали *bon mot*. Г. Голядкин-старший уже на вечере (видит смутно, что он как игра природы и что, когда он начинает говорить, все замолкают, но шушукаются, смеясь, ожидая, что он скажет глупость) старается вставить свое *bon mot* и не умеет. Младший помогает ему, но[1] по-настоящему мешает высказать; всё не удается.

— Наконец младший жестоко высказывает всё и рассказывает, как они подыскивали *bon mot*, хотели ⟨*с. 65*⟩ пленить девицу и проч., — одним словом, всё, что было у Голядкина, даже рукомойник и Петрушку. Хохот. *Эли де Бомон* и проч.

Тирада патетическая г-на Голядкина, он убегает. Дома: весь фрак истыкан конфетными бумажками.

И потом уж письмо *патетическое* к *младшему*. Дуэль с поручиком и *падение окончательное*, то есть *сумасшедший дом*.

---

NB. «Когда ты (в 1-й главе) пригласил[2] Клару Олсуфьевну на *польку*, ты восстал против общества», — говорит младший старшему, патетически утешая его.

---

Мечты старшего: мы бы жили, близнецы, в дружбе, общество бы умилительно смотрело на нас, и мы бы умерли, могилы рядом.

— Можно бы даже в одном гробе, — замечает *небрежно* младший.

— Зачем ты заметил это *небрежно*? — придирается старший.

---

NB. Бедная, очень бедная хромоногая немка, отдающая комнаты внаймы, которая когда-то помогала Голядкину и которую младший

---

[1] *Далее было*: как будто

[2] *Далее было*: Голяд⟨кина⟩

проследил, которую боится признать старший. История его с ней, патетически рассказанная младшему. Тот изменяет и выдает. ⟨*с. 66*⟩

## *Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести (ЧН₂)*

— Голядкин. Двери в департаменте, их ужасный стук и гул наводили всегда тоску на г-на Голядкина и обращали его в тряпку.
— Г. Голядкин был *стыдлив*. ⟨*с. 16*⟩
— Г. Голядкин зовет директора в секунданты.
— Проект о благоденствии России, сочиненный Г. Голядкиным.
— Г. Голядкин сближается с почвой у писарей.
— Директор на Невском ночью. Калоши, фантастическая сцена.
— Красивый поручик.
— Обвинение Голядкина в том, что он Гарибальди.
— Г. Голядкин у графини в высшем обществе.
— Г. Голядкин вступает в прогрессисты. Кислород и водород.
— Г. Голядкин подслушивает и за перегородкой слышит рассказ о перепелах (у Ломовского).
— Котяты. ⟨*с. 17*⟩

Г. Голядкин у [Петрашевского]. Младший говорит речи. Тимковский как приехавший. Система Фурье. Благородные слезы. Обнимаются. Он донесет.

На другой день Г. Голядкин идет к [Петрашевскому]. Застает, что тот читает дворнику и мужикам своим систему Фурье. Уведомляет его, что *тот* донесет.[1]
— Не понимаю.
— Да ведь нас двое.
— Протестуйте.
— Да как протестовать?
— Да вот, ⟨н⟩априм⟨ер⟩, мальчиков секут в школах розгами.
— Да и всё это не ответ на вопрос.
— Ну-с, я вам скажу, что всё это изменится,[2] когда наступят новые экономические отношения, а больше ничего не скажу.

---

П⟨етрашевс⟩кий уже предупрежден младшим, что этот донесет, да и говорит: «Вы-то и есть доносчик».[3] ⟨*с. 18*⟩

---

[1] *Было*: На другой день Г. Голядкин идет к Петрашевскому и уведомляет его, что *тот* донесет.

[2] *Вместо*: Ну-с ~ изменится — *было*: ⟨*1 нрзб.*⟩. Всё это изменится

[3] *Текст*: П-кий ~ доносчик. — *заключен в скобки, обозначенные вертикальными чертами. Далее было (на с. 19 рукописи)*: ⟨*2 нрзб.*⟩ с

— Важнейший психологический случай поэмы:

— Замечательно, что Г. Голядкин-старший во всех своих ужасах и затруднительных состояниях кончает тем, что прибегает всегда[1] к совету и, если возможно, к покровительству *Младшего*, тогда как сам против него интригует, а потому и свидания (даже назначает свидания заране: в кондитерской, у немки и т. д.).

Наконец, последний совет *Младшего*: «Просите прощения».

— (Головоломное известие, во-1-х,[2] о Гарибальди, а во-2-х, о кислороде и водороде. Кислород и водород перевертывают ему голову. Нет более Всевышнего Существа.) Что же будет с министерством и с начальством ⟨?⟩[3] *Сон*. Всё упразднено. Люди вольные. Все *бьют друг друга*, явно на улице. *Обеспечивают себя* (откладывают копейку). ⟨*с. 19*⟩

Голядкин, продолжение. 24 июля.

---

*Голядк*⟨ин:⟩[4] Позвольте же спросить, что всё это означает? Я вот всё добиваюсь, мне бы хоть капельку узнать, что это всё означает.

Младш⟨ий:⟩[5] Зачем всё добиваетесь? Пребывайте покойны, и всё будет ладно.

— Мне бы хоть только капельку.

— Да зачем? И притом это, может быть, ровно ничего не означает.

— Как-с?

— Так-с. Всё может случиться и ровно ничего не означать.

---

— О появлении знаменитого в городе разбойника Гарибальди.

---

— В Голядкине видно, как человек путается, потому что, кроме администрации, никто ничего не знает. (Ну что, есть вот Гарибальди, а я о нем ничего не знаю.) ⟨*с. 21*⟩

---

*закрывающей скобкой (чтение Акад. ПСС (Т. 1. С. 435)*: [Петрашевский ⟨?⟩ ⟨*1 нрзб.*⟩] — *сомнительное)*.

[1] *Было*: во всех своих ужасах и затруднительных состояниях прибегает [наприме⟨р⟩] всегда

[2] *Здесь поставлена закрывающая скобка.*

[3] *В рукописи точка.*

[4] *Слово*: Голядк⟨ин⟩ — *вписано.*

[5] *Слово*: Младш⟨ий⟩ — *вписано.*

— Справляется о Гарибальди в разных министерствах. Секрет-с. За гривенник достает адресс: статский советник в отставке, в Кирпичном переулке, № 31-й.

---

— Идет в Кирпичный переулок, ждет. Лакей выпроваживает. (Я у Гайбурского.)[1]

— Затем глава — ночь, рассвет, мертвецы.

---

— Г. Голядкин думает: «Как можно быть без отца; я не могу не принять кого-нибудь за отца».

---

Мы не общество. Простой народ общество, а *мы публика* (в проект).

---

— Г. Голядкин вызвал[2] на дуэль, разговаривает с Петрушкой о законах чести и учит его (ударил 1-й — моя инициатива). Петрушка же, из самолюбия, перебивает его, не дает ему сказать и его учит законам чести. ⟨*с. 22*⟩

---

[1] *Фраза*: Я у Гайбурского. — *обведена кругом. Местоимение*: Я — *вписано.*

[2] *Было*: вызвав

# ВАРИАНТЫ

## БЕДНЫЕ ЛЮДИ

(С. 22)

*Варианты прижизненных изданий*

С. 22.

[2] *Подзаголовка*: Роман — *нет вследствие наличия на шмуцтитуле* (*Пс*, *БЛ*, *1860*) *и на титульном листе* (*БЛ*)

[23—24] к горшку с бальзамином /к горшочку с бальзаминчиком (*БЛ*)

С. 23.

[5] точно такое ощущение / точно такое же ощущение (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

[10] придумочка насчет занавески / придумочка насчет занавесочки (*Пс*)

[13—14] занавеску / занавесочку (*Пс*)

[25—26] таким ясным соколом / таким соколиком (*Пс*)

[43—44] желание в стишках и пишет / желание в стишках; дескать (*Пс*)

С. 24.

[5] из комнаты / из комнатки (*Пс*)

[11] как вы с нею там живете / как вы там с нею живете (*Пс*, *БЛ*)

[21] Прежде ведь я жил / Прежде я ведь жил (*Пс*, *БЛ*)

[24—26] Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена / Вот этак, примерно, длинный коридор, такой темный и по правде немного нечистый. По правую руку глухая стена (*Пс*)

[27] эти нумера / эти номера (*Пс*, *БЛ*)

[36—38] как они там сами по себе ~ и нечистая старушонка / как они там сами-то по себе, поподробнее их опишу. И хозяйка-то наша, уж такая она, право, — она, знаете ли, такая маленькая, нечистая старушонка (*Пс*)

[39—40] или гораздо правильнее будет сказать вот как / т. е. что́ я? обмолвился! не в кухне, совсем не в кухне, а знаете вот как (*Пс*)

[42] комнатка небольшая / ну так вот, как я вам сказал, есть одна небольшая комнатка (*Пс*)

42—43 т. е., или еще лучше сказать, кухня большая / вот видите ли, кухня большая (*Пс*)

С. 26.

3 всё удобное / совершенно удобное (*Пс*, *БЛ*)

4—5 чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был / чтобы тут что-нибудь такое; чтобы тут тайный смысл какой был (*Пс*)

7 ото всех особняком / ото всех особнячком (*Пс*)

8—9 комод, стульев парочку / комодец, стульчиков парочку (*Пс*)

11 для удобства, и вы не думайте / для удобства, а вы не думайте (*Пс*)

13 узенький / узенькой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

27 парочку горшков с бальзаминчиком / бальзаминчиков парочку (*Пс*)

30—31 не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я / не думайте чего-нибудь, маточка, обо мне-то, что я (*Пс*)

32 удобство заставило, и одно удобство / удобство заставило, одно удобство (*Пс*)

33 у меня денежка водится / у меня денежка-то водится (*Пс*)

34 тихонький / тихонькой (*Пс*, *БЛ*, *1860*, *1865*; *ср. вариант к стр. 59, строкам 30—31*)

35—37 Нет, маточка ~ человеку / Нет, маточка, я про себя-то не промах. Ну, так вы насчет меня и успокойтесь, родная моя, и не полагайте чего-нибудь предосудительного (*Пс*)

37 Прощайте, мой ангельчик / Прощайте же, прощайте, мой ангельчик (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 27.

2—3 фунтик конфект / фунтик конфеток (*Пс*); фунтик конфет (*БЛ*, *1860*)

8 Знаете ли, что придется / Знаете ли, что мне придется (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

16 об этой герани / об этой гераньке (*Пс*)

17 цветы / цветочки (*Пс*)

20 поставлю скамейку, а на скамейку / поставлю скамеечку, а на скамеечку (*Пс*)

22 в комнате / в комнатке (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

25 Что это, я думаю / Что это, думаю (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

28 Про занавеску и не думала / Про занавеску же и не думала (*Пс*)

С. 28.

26—27 угол загну / уголок загну (*Пс*)

С. 29.

1 а выходит такая дрянь / а такая дрянь выходит (*Пс*)

3 я вам написал / я вам-то написал (*Пс*)

41—42 на старой квартире моей / на старой квартирке моей (*Пс*)

С. 30.

1 да всё старой жаль / да всё старой-то жаль (*Пс*)

4—5 ну, да что говорить! ~ и дело / ну, да что говорить-то! — стены как стены, не в стенах и дело (*Пс*)

6—7 Странное дело — тяжело, а воспоминания как будто приятные / И странное дело — всё приятные такие воспоминания (*Пс*)

16 ребенком / ребеночком (*Пс*)

27 жмется к старушке / жмется к старушке-бабушке (*Пс*, *БЛ*)

29 метель метет / метелью метет (*Пс*)

32 не так-то легко, — особливо теперь / не так-то легко. Особливо теперь (*Пс*, *БЛ*)

С. 31.

9—10 зубы скалить / зубы-то скалить (*Пс*)

10 и надо мной засмеются, по русской пословице / и надо мной засмеются, коли я других начну пересмеивать. Знаете, по русской пословице (*Пс*, *БЛ*)

11 так тот... и сам туда же / так тот, того... и сам туда же (*Пс*)

С. 32.

6 чтоб не выходили / чтоб вы не выходили (*Пс*)

С. 32—33.

43—1 кто в службе / кто на службе (*Пс*, *БЛ*)

С. 33.

1—2 Самовары у нас / Самовары-то у нас (*Пс*)

3 со своим чайником / с своим чайником (*Пс*, *БЛ*) / своим чайником (*1860*, *возможная опечатка — пропуск предлога*)

4—5 да... впрочем, что же писать / да... ну, да уж что (*Пс*)

17 по правде, рад был тому / по правде, и рад был тому (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

25 хозяйский слуга / хозяйской слуга (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

37—38 перегородкою / перегородочкою (*Пс*)

39—40 седенький, маленький / седенькой, маленькой (*Пс*, *БЛ*)

41 Жалкий, хилый / Жалкой, хилой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 34.

2 чахлый / чахлой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

10 в комнате / в комнатке (*Пс*)

12 *После*: худой знак. — Стало быть, в семье что-нибудь да непрочно. (*Пс*)

22 теплого салопа нет / тепленького салопчика-то нет (*Пс*).

29 даже и не на медные деньги / я и на медные деньги не учился (*Пс*)

С. 35.

2 *После*: на вашем содержании... — Она бранит меня, укоряет меня в неблагодарности!.. (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

28 винограду / винограду (*Пс*)

31—32 так вот я вам их теперь посылаю / вот я горшочек купил и теперь посылаю (*Пс*)

32 *После*: душечка — есть ли у вас аппетит (*Пс*)

33—34 что всё прошло ~ совершенно оканчиваются / что всё прошло, что всё это кончилось, что несчастия-то наши окончились все совершенно (*Пс*)

34—35 благодарение Небу / благодарение небу (*Пс*, *БЛ*)

38 Я просил / Я попросил (*Пс*)

41 вам, верно, всё стихотворство надобно / вам всё стихов надобно (*Пс*)

С. 36.

12 говорит вам / говорил вам (*Пс*, *БЛ*)

14 по горло / по горлышко (*Пс*, *БЛ*)

30—31 Что-то они подумают и что они скажут тогда / Что-то они подумают? что-то они скажут тогда (*Пс*)

32—33 а мы потом уж так вне дома, где-нибудь рандеву дадим / а мы потом уж там вне дома где-нибудь рандеву дадим (*Пс*, *БЛ*)

С. 37.

9 Всё это писано в разные сроки / Всё это я писала в разные сроки (*Пс*)

10—11 Мне ужасно скучно теперь, и меня часто мучит бессонница / Мне ужасно скучно теперь; меня часто мучит бессонница (*Пс*)

16 *После*: в глуши — и так счастливо началось! (*Пс*)

27 *После*: а мне и ничего. — И зачем, бывало, бежишь далеко от селенья, гуляешь где-нибудь одна-одинешенька, так что самые строжайшие приказания матушки не уходить одной и без позволения и ограничивать прогулку одним садом не останавливали меня?.. Я и сама не знала; я с детства любила быть в уединении, а между тем была страшная трусиха. Я помню, у нас в конце сада была роща, густая, зеленая, тенистая, раскидистая, обросшая тучною опушкой. Эта роща была любимым гуляньем моим, а заходить в ней далеко я боялась. Там щебетали такие веселенькие пташки, деревья так приветно шумели, так важно качали раскидистыми верхушками, кустики, обегавшие опушку, были такие хорошенькие, такие веселенькие, что, бывало, невольно позабудешь запрещение, перебежишь лужайку как ветер, задыхаясь от быстрого бега, боязливо оглядываясь кругом, и вмиг очутишься в роще, среди обширного, необъятного глазом моря зелени, среди пышных, густых, тучных, широко разросшихся кустов. Между кустами чернеют кое-где дикие порубленные пни, тянутся высокие неподвижные сосны, раскидывается березка с трепещущими говорливыми листочками, стоит вековой вяз с сочными, тучными, далеко раскидывающимися ветвями, — трава так гармонически шелестит под ногой, так весело-весело звенят хоры вольных, радостных птичек — что и самой, неведомо отчего, станет так хорошо, так радостно, — но не резво-радостно, а

как-то тихо, молчаливо, задумчиво... Осторожно пробираешься в чащу; — и как будто кто зовет туда, как будто кто туда манит, туда, где деревья чаще, гуще, синее, чернее, где кустарник мельчает и мрачнее становится лес, чернее и гуще пестрят гладкие пни дерев, где начинаются овраги, крутые, темные, заросшие лесом, глубокие, так что верхушки дерев наравне с краями приходятся; — и чем дальше идешь, тем тише, темнее, беззвучнее становится. Сделается и жутко и страшно, кругом тишина мертвая; сердце дрожит от какого-то темного чувства, а идешь, всё идешь дальше, осторожно, боязливо, тихо; и только и слышишь, как хрустит под ногами валежник, или шелестят засохшие листья, или тихий, отрывистый стук скачков белки с ветки на ветку... Резко напечатлелся в памяти моей этот лес, эти прогулки потихоньку, и эти ощущения — странная смесь удовольствия, детского любопытства и страха... (*Пс*)

[28] И мне кажется / Мне кажется (*Пс*)

[37] дела этого требовали / дела того требовали (*Пс*, *БЛ*)

С. 38.

[7] всё было так ясно и весело, а здесь / крестьянин весело запевал свою бесконечную песню, а здесь (*Пс*)

[22] После каждого посещения / После каждого их посещения (*Пс*)

С. 39.

[1] Как к завтра / К завтраму (*Пс*, *БЛ*)

[13] рассказы / россказни (*Пс*, *БЛ*)

[22] долгов было пропасть / долгов была пропасть (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

[23] слова сказать боялась / слово сказать боялась (*Пс*, *БЛ*)

[23] чтобы не рассердить / чтоб не рассердить (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

[36] Чего не причиталось / Чего не говорилось, чего не причиталось (*Пс*, *БЛ*)

С. 40.

[38] помню утро / помню то утро (*Пс*)

С. 41.

[8—9] Потом в одной комнате ~ помещался один / В остальных же двух комнатах, в одной жили мы, а в другой, рядом с нашей, один (*Пс*)

[26] До сих пор для меня тайна / До сих пор для меня тайною (*Пс*, *БЛ*)

[29] как увидала, что мы совершенно беспомощны / когда увидала, что мы совершенно бесполезны (*Пс*)

С. 42.

[18] В нашей комнате / В нашей комнатке (*Пс*, *БЛ*)

С. 43.

[38] маленький, седенький / маленькой, седенькой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

[44] да стоит в сенях / да и стоит в сенях (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 44.

[9] Потом я узнала подробно всю историю / Покровский рассказал мне подробно всю историю (*Пс*)

[31] после замужества / после своего замужства (*Пс*, *БЛ*)

С. 45.

[16] от поминутного болтания / от поминутного болтанья (*Пс*, *БЛ*)

С. 46.

[9] галстух / галстук (*1860*)

[20] краснел / краснел как рак (*Пс*)

[25] галстух / галстук (*1860*)

[27] яблоков / яблочков (*Пс*)

С. 47.

[6] Комната / Комнатка (*Пс*)

[31] сплотнились / сплотились (*ПС*, *БЛ*, *1860*)

С. 48.

[39] матери / матушки (*Пс*)

С. 49.

[17] решившись / твердо решившись (*Пс*)

[25—26] вряд ли я тогда в нее заглянула / вряд ли я и тогда в нее заглянула (*Пс*)

[32—33] и я знала / я и знала (*Пс*, *БЛ*)

[33] загадывала о будущем вечере / загадывала о следующем вечере (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 50.

[1] с тайною радостию / с тайною радостью (*Пс*)

[14] *После*: грустно — страшно (*Пс*, *БЛ*)

[16—17] сама себя удержать не могла / я сама себя удержать не могла (*Пс*)

[32] *После*: он всё это видел — всё это замечал (*Пс*)

С. 51.

[3] я еще продолжала / я всё еще продолжала (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

[4] давал мне книги / давал мне книг (*Пс*, *БЛ*)

[11] всю душу / всю душу мою (*Пс*)

С. 52.

[27—28] обстоятельство помогло мне в моем горе / обстоятельство помогло мне совсем неожиданно (*Пс*)

С. 53.

[2] *После*: дорого — очень дорого (*Пс*, *БЛ*)

[25] с улыбкой / с улыбочкой (*Пс*, *БЛ*)

[40] Видите: вы / Видите ли: вы (*Пс*, *БЛ*)

С. 54.

[5] уж это так / уж так, уж это так (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

[14] и выпью иногда лишнее / и выпью, иногда и лишнее выпью (*Пс*)
[21] вот он увидит / вот он и увидит (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[23] ужасно жаль старика / ужасно как жаль старика (*Пс*, *БЛ*)
[24] Да слушайте / Да послушайте (*Пс*, *БЛ*)
[25] вы подарите их ему все. / вы подарите их ему все! (*Пс*, *БЛ*)

С. 55.

[14] исчислил даже / исчислил далее (*Пс*)
[42] с надеждою жить очень долго / с надеждою жить еще очень долго (*Пс*, *БЛ*)

С. 56.

[4] Подступила осень / Подступала осень (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[31] в комнату сына / в комнату к сыну (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[31—32] Он поминутно входил / Он поминутно ходил (*Пс*)
[36] с ума сойдет с горя / с ума сойдет от горя (*Пс*)

С. 57.

[9—10] начинающийся день / начинавшийся день (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[23] все три дни / все три дня (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 58.

[17] что я умереть должна и что умру непременно / что я умереть должна, что я умру непременно (*Пс*)
[34—35] Это доказывает / Это показывает (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[38—39] Не забывайте меня, заходите почаще / Не забывайте меня, то есть заходите почаще (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 59.

[11—12] ко вреду ближнего неспособный / ко вреду ближнего своего неспособный (*Пс*, *БЛ*)
[30—31] А оттого, что я смирненький, а оттого, что я тихонький, а оттого, что добренький / А оттого, что я смирненькой, а оттого что я тихонькой, а оттого, что я добренькой (*Пс*, *БЛ*) / А оттого, что я смирненькой, а оттого, что я тихонькой, а оттого, что добренькой (*1860*)
[31] Не пришелся им по нраву / Не пришелся я им по нраву (*Пс*)

С. 61.

[6] новехонький / новехонькой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 62.

[14] *После*: маточка — в покое-то меня оставьте (*Пс*)
[34] маленький / маленькой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 63.

[1] в одной комнате / в одной комнатке (*Пс*)
[3] простенький, но довольно хорошенький / простенькой, но довольно хорошенькой (*Пс*, *БЛ*)

14—15 прислонившись к гробу / прислонившись к гробику (*Пс*)
33 прочел несколько / прочел несколько страничек (*Пс*)

С. 64.

37 можно было бы / можно бы было (*Пс*, *БЛ*)
41 и по пяти писывал / и по пяти листов писывал (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 65.

7—8 Увертливый / Увертливой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
20—21 мою истомленную грудь / мою истомленную, страдальческую грудь (*Пс*, *БЛ*)

С. 66.

11 Они будут гнать / Они будут гнать нас (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
16 и свистнет / и присвистнет (*Пс*, *БЛ*)

С. 67.

8 на Невский не смел бы показаться / на Невский не смел показаться (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
23 *После*: Петля этот Ратазяев! — Нет, вот я всё про свое. Что бы у нас-то в ведомстве сказали тогда? Что бы Евстафий Иванович сказали? «Как, и ты, братец?» — сказали бы. — «Точно так-с, и я, Евстафий Иванович». — «Ну, ну, — сказали бы, — молодец, молодец! Продолжай и вперед таким образом. Спасибо тебе, спасибо!» Одним словом, зашиб бы я себе славу, Варенька. (*Пс*)
25 потешить / посмешить (*Пс*, *БЛ*)

С. 68.

12 в привычном угле / в привычном углу (*Пс*)
20 Вы точно как я / Вы тоже, как я (*Пс*)
20—21 А ведь я вам почти родная / А ведь я вам почти что родная (*Пс*, *БЛ*)
24 вспоминаешь всё старое / вспомянешь всё старое (*Пс*, *БЛ*)
33 в чужом угле / в чужом углу (*Пс*)

С. 69.

6 если он что-нибудь напечатал / если он что-нибудь и когда-нибудь напечатал (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
23 *После*: маточка — отчего же мне ничего не делается. (*Пс*)
25 Исправьтесь / Исправьтесь, ради Бога, поправьтесь (*Пс*, *БЛ*)
28 вам думается такое / вам думается такое, маточка (*Пс*)

С. 70.

6 из пустяков / из пустячков (*Пс*)
6 Я к вам приду / Я к вам приду, непременно приду (*Пс*, *БЛ*)
11 *После*: воля ваша — а я заступлюсь (*Пс*)
13—14 Не соглашаюсь я с вами и никак не могу согласиться / Не соглашаюсь я с вами; никак не могу согласиться (*Пс*)
18 с чувством, получше / с чувством, с особенным чувством, получше (*Пс*, *БЛ*)

21—22 Я не спорю (кто же против этого), есть и лучше Ратазяева писатели / Я не спорю (кто же против этого), я вовсе не спорю, — есть и лучше Ратазяева писатели (*Пс*)

С. 71.

31—32 но только, а не творить добро / но только любить, а не творить добро (*Пс*, *БЛ*)

С. 72.

31 не случалось мне читать / мне не случалось читать (*Пс*)

34—35 ровно ничего не знаю! совсем ничего не знаю! / ровно ничего, совсем ничего не знаю! (*Пс*, *БЛ*)

42 живешь, а не знаешь / живешь-живешь, а не знаешь (*Пс*, *БЛ*)

С. 73.

30 и со мною / и со мной (*Пс*, *БЛ*)

35 слабенький / слабенькой (*Пс*, *БЛ*)

С. 74.

11 жилетку / жилеточку (*Пс*)

19 не по достаткам жить начали / не по доходам жить начали (*Пс*, *БЛ*)

23 я спешу / я так спешу (*Пс*, *БЛ*)

С. 75.

6 всякий / всякой (*Пс*, *БЛ*, *1860*, *1865*; *ср. варианты к с. 76, строке 9 и с. 77, строке 6*)

10 краешек / краюшек (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

11 хорошенький, — звонкий / хорошенькой; — звонкой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 76.

7—8 *После*: они довольны. — Письмо мое довольно четкое и красивое, так, не слишком крупное, но и не слишком мелкое, более на курсив сбивающееся, но при каждом случае удовлетворительное; у нас разве-разве только один Иван Прокофьевич так напишет. (*Пс*)

9 Всякий / Всякой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

29 что чаю не пьет / что он чаю не пьет (*Пс*, *БЛ*)

33 *После*: Варвара Алексеевна — вот вам пример (*Пс*)

37 пасквиль / пашквиль (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

42 Но я все-таки истинно удивляюсь / Но все-таки я истинно удивляюсь (*Пс*)

С. 77.

6 всякий / всякой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

22 пасквиль / пашквиль (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

35 *После*: отыскалась — чтобы Федор Федорович, то есть, что я! (*Пс*)

36—38 перепросил бы его ~ хороший оклад жалованья / перепросили бы его в свою канцелярию, повысили бы чином и дали бы хороший оклад жалованья (*Пс*)

С. 78.

2—3 Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться / Нет, я буду жаловаться, Варенька, просто буду жаловаться (*Пс*)

36 Я заметила / Я замечала (*Пс*)

С. 79.

39 скажу я вам, маточка / скажу я вам, маточка, вот что (*Пс*)

С. 80.

2—3 и всех этих беспорядках / и о всех этих беспорядках (*Пс*)

6 хозяйка кричит / хозяйка только кричит (*Пс, БЛ, 1860*)

33 и о приключении с офицерами / и приключении с офицерами (*Пс*)

37 Эх, Варенька, Варенька! / Маточка, Варенька! Эх, Варенька, Варенька! (*Пс*)

С. 81.

5—6 я должен вас любить, так вы бы не то сказали / я должен вас любить так, то вы бы не то сказали (*Пс*)

13 да и дома тоже / да и дома-то тоже (*Пс*)

31—32 *После*: маточка — тут-то я и пал (*Пс*)

34 Он уж, я и не знаю, что делает / Он уж я не знаю, что делает (*Пс*)

С. 82.

4 то есть оно не то чтобы совсем / то есть они не то чтобы совсем (*Пс*)

5—6 вот оно и всё / ну и всё тут, вот оно и всё (*Пс*)

19—20 я, Варенька, с вами спорить не смею / я, Варенька, с вами не спорю (*Пс*)

25 так в ту же пору / так в ту ж пору (*Пс*)

34 оба письма, да так / оба письма, Макар Алексеевич, да так (*Пс*)

С. 83.

11—12 верю, Варенька / верю, Варенька, верю (*Пс*)

12—13 и не в укор вам говорю / а не в укор вам говорю (*Пс*)

30 А отчего же так и будет / А отчего так и будет (*Пс, БЛ, 1860*)

С. 84.

9 пасквиланты / пашквиланты (*Пс, БЛ, 1860*)

27 сквозь одежду / сквозь одежу (*Пс*)

44 *После*: оно выползло — да и приползло (*Пс, БЛ*)

С. 85.

17 пасквиля / пашквиля (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 87.

19—20 Я к тому вам и писал / Я к тому вам и написал (*Пс*, *БЛ*)

22—23 рекомендовать одному человеку / рекомендовать одному человечку (*БЛ*)

36 займите сколько-нибудь / займите хоть сколько-нибудь (*Пс*, *БЛ*)

С. 88.

6—7 племянник его мальчишка / племянник-то его мальчишка (*Пс*)

15 гадкий / гадкой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 89.

1—2 на вас одного вся надежда моя / на вас одних вся надежда моя (*Пс*)

11—12 И изведут / И изведут, изведут (*Пс*)

12—13 умереть готов / умирать готов (*Пс*, *БЛ*)

30 *После*: писцов — ищут (*Пс*)

С. 90.

4 а остальное назначено / а остальное назначаю (*Пс*)

5 Видите ли / Видите ли, маточка (*Пс*)

11 Платочек шейный / Платочек шейной (*Пс*, *БЛ*)

13 платок / платочек (*Пс*)

13—14 о платке / о платочке (*Пс*)

14 платок есть / платочек есть (*Пс*)

15 Теперь пуговки, дружок мой / Теперь пуговки, дружок мой, пуговки (*Пс*)

23—24 я без табаку-то жить не могу / я без табачку-то жить не могу (*Пс*)

28 чтобы угрызения совести не мучили / чтобы угрызения совести после не мучили (*Пс*)

33—34 теперь, маточка / теперь, — теперь, маточка (*Пс*)

36 сторонюсь от всех / сторонюсь ото всех (*Пс*)

42—43 да нет, уж я / да нет, нет, уж я (*Пс*)

43 я просто сгину / а просто сгину (*Пс*, *БЛ*)

С. 91.

20 так мучаетесь / так мучитесь (*Пс*)

29 так к сердцу и если так / так к сердцу, если так (*Пс*, *БЛ*)

С. 92.

5 меня, старика, не покидаете / меня-то, старика, не покидаете (*Пс*)

13 Да, ангельчик мой / Да я, ангельчик мой (*Пс*)

19—20 я перетерплю и всё вынесу / я перетерплю, я за нуждой перетерплю и всё вынесу (*Пс*)

20—21 маленький / маленькой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

30—31 А того я натерпелся / А того я натерпелся, маточка (*Пс*)
35 в шинель-то закутался / в шинельку-то закутался (*Пс*)
41—42 занятые, озабоченные / занятые, сердитые, озабоченные (*Пс*, *БЛ*)

С. 93.

6—7 эх, братец, подумал я / эк, братец, подумал я (*Пс*, *БЛ*)
12—13 дом деревянный, желтый, с мезонином вроде бельведера / домик деревянный, желтенькой, с мезонином, вроде бельведерчика (*Пс*)
16—17 спросил-таки будочника / спросил-таки у будочника (*Пс*)
25 не даст, ни за что не даст / не даст, не даст, ни за что не даст (*Пс*, *БЛ*)

С. 94.

4 Вошел я. Комната ничего / Вошел я, комнатка ничего (*Пс*) / Вошел я, комната ничего (*БЛ*)
11 седенький / седенькой (*Пс*, *БЛ*)
12 веревкой / веревочкой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
12 Осведомился к чему и как / Осведомился в чем и как (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
18 Выслушав всё / Выслушал всё (*Пс*, *БЛ*)
25 если б в другом случае / если б в другом таком случае (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 95.

8—9 Вам хотелось угодить / Вам хотел угодить (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
14 всё потеряно / всё замарано, всё потеряно (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 96.

30 страшные вещи говорят / странные вещи говорят (*Пс*, *БЛ*)

С. 97.

3 когда я всё это узнала / когда всё это узнала (*Пс*)
7 Ведь я для вас одного / Ведь я для вас для одного (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
20—21 совсем застыдился / совсем стыдно (*Пс*)
33 В заключение желаю вам / В заключение же желаю вам (*Пс*)

С. 98.

4—5 провинился пред вами / провинился перед вами (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
13 так же как и ни сердце, ни мысли мои / так же как ни сердце, ни мысли мои (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
18 чтоб я табаку купил / чтоб я табачку купил (*Пс*)
27 *После*: падение — неминуемое падение (*Пс*, *БЛ*)

С. 99.

12 то я умоляю вас / то я и умоляю вас (*Пс*, *БЛ*)
13—14 и горько, тягостно / и мне становится и горько, и тягостно (*Пс*, *БЛ*)

[26] впечатления / впечатленья (*Пс*)
[31—32] здоровье мое и без того / здоровье мое без того (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[33] блестящее утро, каких / блестящее утро, утро, каких (*Пс*, *БЛ*)
[39] *После*: широкое — ровное (*Пс*)
[41] не шелохнет / листком не шелохнет (*Пс*, *БЛ*)

С. 100.

[9] легонького ветерка, или рыба / легонького ветерочка, или рыбка (*Пс*)
[10] тонкий / тонкой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[41—42] страшные сказки / старинные сказки (*Пс*)

С. 101.

[8—9] как стекло / в стекло (*Пс*)
[9—10] трещит огонь / трещит огонек (*Пс*)
[13] *После*: так веселы!.. — На гумнах запасено много-много хлеба; на солнце золотятся крытые соломой скирды большие-большие; отрадно смотреть! И все спокойны, все радостны; всех Господь благословил урожаем; все знают, что будут с хлебом на зиму; мужичок знает, что семья и дети его будут сыты; — оттого по вечерам и не умолкают звонкие песни девушек и хороводные игры, оттого все с благодарными слезами молятся в доме Божием в праздник Господень!.. (*Пс*)
[13—14] Ах, какое золотое было / Ах, какое золотое-золотое было (*Пс*)

С. 102.

[13] слесарский ученик / слесарской ученик (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[15] *После*: в сажень ростом, — поджидавший купца на перочинный ножичек или колечко бронзовое (*Пс*)

С. 103.

[5—6] во чреве матери / в чреве матери (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[22] какая-нибудь там дрянь, забулдыга / какой-нибудь там дрянь, забулдыга (*Пс*, *БЛ*)
[24—25] ему всё с рук сходит / ему всё с рук сходи (*Пс*)
[26] А отчего же это всё / А отчего это всё (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[32] шарманщик / ширманщик (*Пс*, *БЛ*)
[44] шарманщик / ширманщик (*Пс*, *БЛ*)

С. 104.

[1—2] в благородном-то, в дворянском-то отношении / в благородном-то, дворянском-то отношении (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[5] про шарманщика / про ширманщика (*Пс*, *БЛ*)
[7] на шарманщика / на ширманщика (*Пс*, *БЛ*)
[10] Шарманщик / Ширманщик (*Пс*, *БЛ*)
[11] лет десяти / лет двенадцати (*Пс*)
[11—12] хорошенький / хорошенькой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[12] чахленький / чахленькой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

17 бросил шарманщику / бросил ширманщику (*Пс*, *БЛ*)
18 ящик / ящичек (*Пс*)
29 бедненький / бедненькой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
43 бедненький / бедненькой (*Пс*, *БЛ*, *1860*)

С. 106.

33—34 присел к столу, нагрел себе чайник / присел к столику, нагрел себе чайничек (*Пс*)

С. 107.

1 стакан / стаканчик (*Пс*)
2—3 долго спорил, отказываясь / долго спорил, отказывался (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
30 свои двадцать копеек / свои двадцать копеечек (*Пс*)

С. 108.

15 сын заболел / старшенькой заболел (*Пс*) / сынок заболел (*БЛ*, *1860*)
21 запутанный /запуганный (*Пс*)
30 Пишу вам / Пишу к вам (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
31—32 всё кругом меня вертится / всё вокруг меня вертится (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
32 расскажу вам теперь / расскажу-то вам теперь (*Пс*)
34 заранее / заране (*Пс*)

С. 109.

7 я принялся переписывать / я и принялся переписывать (*Пс*, *БЛ*)
19 Вот точно так сегодня / Вот точно так и сегодня (*Пс*, *БЛ*)
22 сидите таким / сидите сегодня таким (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
26 *После*: отстают. — Итак, я уткнулся носом в бумагу и вожу пером (*Пс*)

С. 110.

36 *После*: отличился! — в полном смысле слова отличился! (*Пс*, *БЛ*)
39 «Ну, облегчить его как-нибудь / «Ну, облегчите его как-нибудь (*Пс*)

С. 111.

6 считайте, как хотите / считайте, как хотите, возьмите (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
11 взял да потряс / взял да и потряс (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
31 И я сам, как-то весь, как будто ослаб. / И я сам как-то весь как будто ослаб. (*Пс*) / И я сам как-то весь, как будто ослаб. (*БЛ*)

С. 112.

16—17 Я писала бы вам / Я написала бы вам (*Пс*, *БЛ*)
35—36 всё это был вздор / всё это было вздор (*Пс*)
38 Ловласом / Ловеласом (*Пс*)

С. 113.

[1] он мне объяснил / он мне объяснял (*Пс*)

[4] Я-то, неуч / А я-то, неуч (*Пс*, *БЛ*)

[8] Ничего / Но ничего, это всё ничего (*Пс*)

[10—12] Да! про главное ~ Видите ли что / Да! Так вот что; я главное-то и позабываю. Займемся-ка теперь делами, родная моя. Я, маточка, рассчитал сегодня, как мне будет лучше и удобнее его превосходительству долг отдать. А отдать-то как можно поскорее нужно; непременно нужно, Варенька. Они и сами-то человек небогатый. Они мне сами в этом во всем признались. Конечно, у них здесь и домик свой есть, и даже два домика есть, и деревенька-другая есть, но как же вы хотите, маточка, как же вы это так хотите, они ведь и жить-то должны не по-нашему. Ведь они, ангельчик мой, лицо. Они человек не простой, не наш брат темный человек. Они, там, по-своему должны фигурировать. У них, вон, звезда есть, дескать, знай наших — вот что! Так вот и отдать им, по сему случаю, нужно как можно скорее. Да и для меня-то самого хорошо будет. Исправность мою заметят, одобрением своим осчастливят. Вот какой я расчет сделал, Варенька, слушайте-ка: при первом жалованье, в ноябре месяце, вручить им, голубчику, два рубля серебром, с всенижайшим извинением, что не более. Потом каждый месяц отдавать по пяти руб. ассигнациями. Таким образом, если благословит Господь и к Святой я получу обычное награждение, то уж разом и вручу им всё остальное, с всенижайшей благодарностию. Но как вы думаете, не будут ли они, мой голубчик, сердиться за такую медленность в отдаче? Но ведь и обстоятельства-то мои каковы! Сами о том посудите, маточка! Как вы думаете? Вы, пожалуйста, мысли ваши на этот счет мне во всей подробности опишите и, что теперь предпринять на сей конец, посоветуйте. (*Пс*)

[15—16] не одного меня облагодетельствовали / не одного меня благодетели (*Пс*, *БЛ*); не одного меня благодетельствовали (*1860*)

[36] *После*: этого сделать. — Они бы этого не сделали; я уверен в этом. (*Пс*)

[39—40] этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Варенька? / этого никак они не могли сделать (*Пс*) / этого никак они не могли сделать. Не правда ли, Варенька? (*БЛ*, *1860*)

С. 114.

[15] либеральные мысли / либеральности (*Пс*)

[29—30] *После*: мой бесценный друг — вот что было такое (*Пс*)

С. 115.

[5] в комнату / в комнатку (*Пс*)

С. 116.

[19—20] неудовольствие высказал / неудовольствие выказал (*Пс*, *БЛ*)

[24] унижение / уничижение (*Пс*)
[26] не во мне тут и дело / не во мне тут и дело-то (*Пс*)
[29–30] поделикатнее и пообильнее / поделикатнее, пообильнее (*Пс*, *БЛ*)
[37–38] «Нет, говорит, ведь я так, я, говорит, это только так» / «Нет, говорит, ведь я так, я это только так!» (*Пс*)

С. 117.

[2–3] оборотился к жене: «А что ж Петенька? Петя наш, говорит, Петенька?..» / оборотился к жене: дескать, а что ж Петенька? Петя наш, Петенька?.. (*Пс*)
[7–8] «Да, хорошо, я сейчас... я немножко» / «Да, говорит, я сейчас... я немножко» (*Пс*)
[16] она позабыла об муже / она и позабыла об муже (*Пс*)
[37–38] привез к нему такую толстую рукопись / привез такую толстую рукопись (*Пс*, *БЛ*)
[40] всё об таком писано / всё об таком написано (*Пс*, *БЛ*)

С. 118.

[3] *После*: деньги. — Таким образом я теперь его превосходительству разом рублей 25 выплачу; — оно всё благороднее как-то белую ассигнацию вручить, — а? Как вы думаете? Так вот я к тому и пишу. (*Пс*)
[12–13] куда-то ходила / куда-то уходила (*Пс*)
[13–14] увидела / увидала (*Пс*)
[25] от слова и до слова / от слова до слова (*Пс*, *БЛ*)

С. 119.

[12–13] что про всё слышал / что он про всё слышал (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[17] что всё вздор / что всё это вздор (*Пс*, *БЛ*)
[29] оставил насильно / насильно оставил (*Пс*, *БЛ*)
[30] конфекты / конфетки (*Пс*)

С. 120.

[28–29] *После*: соглашаетесь. — Как же вы это так соглашаетесь, Варвара Алексеевна? (*Пс*, *БЛ*)

С. 121.

[3] причины-то эти / все причины-то эти (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[8] *После*: описывал — как я его всё описывал (*Пс*)
[8–9] Как же вы / Как же это вы (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[10] Ведь вам нужно / Ведь вам будет нужно (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[11] да и экипаж заводить / да экипаж заводить (*Пс*, *БЛ*, *1860*)
[19] совершенная правда / правда, совершенная правда (*Пс*, *БЛ*)
[20] пусть уж он лучше / пусть он лучше (*Пс*)
[24] на часочек приду / на часочек забегу (*Пс*)
[25] как он уйдет, так тогда / как он уйдет, так я и забегу (*Пс*)

С. 122.

19 насчет канзу / насчет канезу (*Пс, БЛ, 1860*)
32 что это будет / что это будет, что это будет (*Пс, БЛ, 1860*)
35 чего-нибудь / что-нибудь (*Пс*)

С. 123.

9 Только помню, очень много / Только помню, что очень много (*Пс, БЛ, 1860*)

С. 126.

2 *После*: меня. — Прощайте! (*Пс, БЛ, 1860*)
18 об вас и поплакать будет некому / об вас и поплакать-то будет некому (*Пс*)
23 Чего я тут / Чего я-то тут (*Пс*)
29 под колеса брошусь; я вас / под колеса брошусь, а вас (*Пс, БЛ, 1860*)
35 там степь, голая степь / там степь, чистая, голая степь (*Пс, БЛ, 1860*)

С. 127.

2 письма буду писать / письма-то буду писать (*Пс*)
3 возьмите-ка в соображение / возьмите-ка в соображение-то (*Пс*)
4 письма будет писать? / письма-то будет писать? (*Пс*)
4 маточкой называть буду / маточкой-то называть буду (*Пс*)
19 нарочно сломается / она непременно сломается, нарочно сломается (*Пс*)
20 Я и каретников этих / Я и каретников-то этих (*Пс*)
24 *После*: докажите — всё ему докажите (*Пс, БЛ*)
28 уж это я знаю почему / уж это я знаю (*Пс*)
29—30 Чем он для вас вдруг мил сделался / Чем он для вас так вдруг мил сделался (*Пс*)
40 письмецо / письмо (*Пс*)

С. 128.

5 только бы вам написать / только бы вам написать-то (*Пс*)

## ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН

(С. 275)

*Варианты первопечатного текста (ОЗ)*

С. 275.

2 *Подзаголовка*: Рассказ — *нет*.

С. 278.

28—29 какой-то особенный, немецкой работы / какой-то особенной немецкой работы

[30] Прокофьевич / Прокофьич
[35] Прокофьевича / Прокофьича

С. 279.

[2] не перейдешь / не перейдешь, нарочно не перейдешь
[19] не займет / не займет, нарочно не займет
[24] умерла бы / умерла
[36] Прокофьевича / Прокофьича

С. 280.

[27] манер / манеров

С. 289.

[12] так чтобы / так чтоб
[17] празднословный / празднословый

С. 291.

[2] увидав / увидев
[23—24] и причина тому / а причина тому
[31—32] речь началась вдруг / речь начиналась вдруг

С. 292.

[7—8] карман не сберег / кармана не сберег

С. 296.

[33] ускользнул из квартиры / скользнул из квартиры

С. 297.

[27] взрезан был / был взрезан

С. 300.

[37—38] теперь; а ну как этак того / теперь; а ну, как того

# ПРИМЕЧАНИЯ

В первом томе второго издания академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатаются художественные произведения 1846—1847 гг.: роман «Бедные люди», петербургская поэма «Двойник», рассказы «Роман в девяти письмах» и «Господин Прохарчин». Повесть «Хозяйка», последняя хронологически в этом ряду и соответственно замыкавшая его в первом издании, перенесена вынужденно (из соображений объема книги) во второй том. В отделе «Другие редакции» публикуются первая (журнальная) редакция «Двойника», а также наброски, связанные с замыслом начатой Достоевским в начале 1860-х гг., но неосуществленной переработки этой повести. В отделе «Коллективное» печатается написанный совместно Ф. М. Достоевским, Н. А. Некрасовым и Д. В. Григоровичем юмористический рассказ «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (1846); две главы этого рассказа (III и VI), которые мы можем на основании стилистического анализа приписать Достоевскому, выдержаны в манере, близкой «Двойнику» и «Господину Прохарчину»; представление читателя о стиле молодого Достоевского без знакомства с ними осталось бы неполным. В качестве «Приложения» помещен не включенный в первое издание принадлежащий Достоевскому перевод повести О. де Бальзака «Евгения Гранде».

Рукописные тексты произведений, вошедших в данный том (кроме набросков начала 1860-х гг. к переработке «Двойника»), до нас не дошли: они были, вероятно, частично уничтожены самим Достоевским перед его арестом по делу петрашевцев (в ночь с 22 на 23 апреля 1849 г.), частично — в соответствии с предписанием об аресте — отобраны у него вместе с другими находившимися в его комнате бумагами, переданы в опечатанном виде в III Отделение и там уничтожены после просмотра и окончания следствия по делу петрашевцев.[1] Поэтому все произведения, вошедшие в состав тома, воспроизводятся по печатным источникам на основе общих правил публикации, принятых в данном издании вслед за первым; характеристику и оценку этих источников см. во вступительной статье «От редакции» и в комментариях к

[1] См. об этом: *Нечаева В. С.* Рукописное наследие Ф. М. Достоевского // *Описание*. С. 3.

каждому произведению. В список источников текста не включены выпускавшиеся Ф. Т. Стелловским издания отдельных произведений Достоевского, входивших в собрание сочинений *1865—1866*, так как они печатались с того же набора и поэтому не могут рассматриваться как самостоятельные источники текста.

Литературные дебюты Достоевского сразу же привлекли к молодому писателю внимание публики и вызвали острую борьбу вокруг его имени в русской критике. Но художественные произведения, завершенные и напечатанные Достоевским в 1846—1847 гг., составляют лишь часть его творческих замыслов названного периода. По свидетельствам мемуаристов, его выступлению в печати в качестве автора романа «Бедные люди» предшествовала интенсивная работа над другими — неосуществленными — замыслами и произведениями.

По признанию Достоевского, «сочинять» он начал еще в родительском доме, в Москве. По дороге из Москвы в Петербург, куда братья Достоевские ехали в мае 1837 г. вместе с отцом для поступления в Главное инженерное училище, оба они мечтали «только о поэзии и о поэтах»; М. М. Достоевский «писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой», а его младший брат, которому в это время было «всего лишь около пятнадцати лет отроду», под влиянием Жорж Санд «беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни».[1]

Несмотря на неблагоприятные условия, Достоевский продолжал писать и в Инженерном училище, где, как вспоминал ротный офицер А. И. Савельев, нередко просиживал ночи над своими тетрадками.[2] По свидетельству А. Е. Ризенкампфа, в 1840—1842 гг. он работал над двумя драматическими опытами — «Марией Стюарт» и «Борисом Годуновым».[3] Возможно, что в училище была начата и последняя известная нам по названию юношеская драма Достоевского «Жид Янкель», которую в письме к брату от января 1844 г. он называет «оконченной».[4]

Таким образом, первые известные нам по названию литературные опыты Достоевского были драматическими, а сюжеты их имели исторический характер. Обращение будущего великого романиста в юношеские годы к драматической форме трудно признать случайным: с ранних лет Достоевскому был свойствен обостренный интерес к дра-

---

[1] *ДП.* 1876. Январь. Гл. 3, § 1 // *Акад. ПСС.* Т. 22. С. 27.

[2] См.: *Биография.* С. 43; *Достоевский в воспоминаниях, 1990.* Т. 1. С. 549.

[3] *Биография.* С. 41; *Достоевский в воспоминаниях, 1990.* Т. 1. С. 179, 185—186.

[4] Об этом и о других ранних драматических замыслах Достоевского см.: *Алексеев.* С. 21—22; *Алексеев М. П.* О драматических опытах Достоевского // *Творчество Достоевского, 1921.* С. 45—54; *Гозенпуд, 1971.* С. 22—24 (то же: *Гозенпуд, 1981.* С. 43—50); *Д, Словарь-справочник, 2008.* С. 283—284, 291, 308—309.

матическим сторонам человеческой жизни и психологии, он воспринимал жизнь как столкновение и борьбу противоположных сил, характеров и идей. Не случайно поэтому и в его юношеских письмах к брату особенно большое место уделено Шекспиру, Корнелю, Шиллеру и вообще трагедии. И все же истинным призванием Достоевского, как показало его последующее писательское развитие, было поприще не драматурга, а романиста. И притом его всегда занимало не столько отдаленное прошлое, сколько собственная его трагическая и противоречивая эпоха, воспринятая во всей ее внутренней драматической сложности.

Писем Достоевского за последние три года его пребывания в училище до нас дошло очень мало. К тому же свои литературные занятия этих лет, он, по единодушному свидетельству мемуаристов, тщательно скрывал почти от всех окружающих. Этим объясняется относительная скудость дошедших до нас сведений о первых литературных опытах Достоевского. Лишь с конца 1843 г., — после того как Достоевский (12 августа 1843 г.) окончил «полный курс наук» в верхнем офицерском классе училища и был зачислен в чертежную Инженерного департамента, — положение несколько меняется. По письмам его к брату М. М. Достоевскому мы получаем теперь возможность проследить движение главных, быстро сменяющихся литературных замыслов будущего писателя.

В последних числах декабря 1843 г., во время рождественских праздников, и в начале января 1844 г. Достоевский переводит «Евгению Гранде» Бальзака; перевод этот, напечатанный в том же году в июньской и июльской книжках журнала «Репертуар и Пантеон», явился для Достоевского не только средством заработка, но и серьезной литературной школой (об отношении Достоевского к Бальзаку и влиянии на него французского писателя см. далее, в комментарии к «Евгении Гранде», с. 783, 787). Отказ от завершения своих юношеских драматических опытов и обращение к переводу «Евгении Гранде» были симптоматичны для Достоевского. Драматическая история любви и страданий молодой девушки, дочери провинциального скряги, обнаружившей в борьбе за чувство к недостойному кузену незаурядную стойкость и силу сопротивления, — история, разыгрывающаяся в обстановке прозаической современности, на глазах жителей ничтожного провинциального городка, стала во многом прообразом искомой Достоевским формы современного «романа-трагедии», к которой начинающего писателя вел путь его длительных художественных исканий. Перевод «Евгении Гранде» подготовил Достоевского к созданию своего оригинального опыта социально-философского и психологического романа-трагедии, построенного на материале уже не французской, а русской жизни. Подобным опытом явился первый роман Достоевского «Бедные люди».

Вслед за «Евгенией Гранде» (еще не кончив перевода этого романа) Достоевский в конце декабря 1843—январе 1844 г. замышляет втроем — вместе со старшим братом и бывшим товарищем по училищу О. П. Паттоном — перевести роман Э. Сю «Матильда». После

выяснившегося в феврале крушения этого замысла (по вине Паттона) Достоевский один в апреле—мае 1844 г. переводит роман Ж. Санд «Последняя Альдини», но, по собственному признанию, почти закончив этот перевод, бросает его, так как узнает, что названный роман был уже переведен на русский язык в 1837 г.

Неудача с проектами переводов Э. Сю и Ж. Санд отрезвляет молодого Достоевского и побуждает его отказаться от дальнейшей переводческой работы. Это дает ему возможность всецело отдаться писанию романа «Бедные люди», интенсивная работа над которым продолжается в течение всего 1844 и первых месяцев 1845 г. В ходе этой работы Достоевский окончательно самоопределился как писатель, и с этого времени начинается новая глава его литературной биографии.

Завершение «Бедных людей», знакомство с Григоровичем, Некрасовым, Белинским, ставшее широко известным уже в течение первых недель после окончания романа признание Белинским и его кругом общественного значения «Бедных людей» и большого таланта начинающего писателя (см. об этом далее в комментариях к роману) определили будущее Достоевского.

«У меня бездна идей; и нельзя мне рассказать что-нибудь из них хоть Тургеневу например, чтобы назавтра почти во всех углах Петербурга не знали, что Достоевский пишет вот то-то и то-то», — писал Достоевский старшему брату 16 ноября 1845 г.[1] И в письме от 1 апреля 1846 г. снова: «Идей бездна и пишу беспрерывно».[2] Из этих разнообразных «идей» лишь немногие успели получить в 1846—1847 гг. литературное воплощение; некоторые другие, неосуществленные, известны нам по письмам Достоевского. Вот главные из них.

8 октября 1845 г. молодой писатель с увлечением сообщал брату о задуманном Некрасовым юмористическом альманахе «Зубоскал», который должен был выходить под редакцией Григоровича, Достоевского и Некрасова,[3] но был запрещен цензурой. Отзвуками увлечения Достоевского этим проектом Некрасова явились написанное им тогда же объявление об издании «Зубоскала» (*ОЗ*. 1845. № 11) и участие в создании коллективного рассказа-фельетона «Как опасно предаваться честолюбивым снам», который, вероятно, предназначался первоначально для этого же альманаха. Достоевский собирался написать для «Зубоскала» и другой рассказ, оставшийся неосуществленным, — «Записки лакея о своем барине».[4]

Позднее, весной 1846 г., в связи с решением В. Г. Белинского оставить «Отечественные записки» и выпустить альманах «Левиафан», Достоевский приступает к работе над двумя повестями, предназначавшимися для названного альманаха. О них он пишет брату 1 апреля

---

[1] *Акад. ПСС*. Т. 28, кн. 1. С. 116.

[2] Там же. С. 119.

[3] Там же. С. 113—114.

[4] См. письмо к М. М. Достоевскому от 8 октября 1845 г. (*Акад. ПСС*. Т. 28, кн. 1. С. 114).

1846 г.: «Я пишу ему ⟨Белинскому⟩ две повести: 1-е) „Сбритые бакенбарды", 2-я) „Повесть об уничтоженных канцеляриях", обе с потрясающим трагическим интересом и — уже отвечаю — сжатые донельзя. Публика ждет моего с нетерпением. Обе повести небольшие ⟨...⟩. „Сбритые бакенбарды" я кончаю».[1]

Судьба обеих указанных повестей сложилась по-разному. О «Повести об уничтоженных канцеляриях» Достоевский в дальнейших письмах к брату не упоминает. Отзвуки этого замысла, им оставленного, есть в рассказе «Господин Прохарчин» (см. об этом ниже, в комментариях к названному рассказу). Над «Сбритыми бакенбардами» Достоевский, как видно из писем к брату, продолжал работать до конца октября 1846 г., когда отказался от завершения повести, по-видимому под влиянием определившегося к этому времени неуспеха «Господина Прохарчина», заставившего писателя искать в творчестве новых путей: «...не состоялось ни одной из тех повестей, о которых я тебе говорил, — сообщал Достоевский брату в 20-х числах октября 1846 г. — Я не пишу и „Сбритых бакенбард". Я всё бросил: ибо всё это есть не что иное, как повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу. Когда я дописал „Сбритые бакенбарды" до конца, всё это представилось мне само собою. В моем положении однообразие гибель».[2]

Восстановить сюжет «Сбритых бакенбард» помогает один из эпизодов повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (1859; наст. изд., т. 3). «Мне положительно известно, — заявляет здесь рассказчик, — что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству» (ч. I, гл. 1). Приведенный отрывок делает вероятным предположение В. Я. Кирпотина, что фабула «Сбритых бакенбард» была связана с имевшими место при Николае I гонениями на бороды, усы и бакенбарды, ношение которых считалось проявлением дворянского и чиновничьего «вольномыслия»[3] и было запрещено гражданским чиновникам специальным указом от 2 апреля 1837 г.[4] За ношение, вопреки указу, длинных волос и бороды одно время преследовался во время службы переводчиком в Министерстве иностранных дел и Петрашевский, вынужденный в конце концов их сбрить.[5] Это

---

[1] *Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 120.

[2] Там же. С. 131. См. также в т. 2 начальный абзац комментария к «Хозяйке».

[3] См.: *Кирпотин.* С. 545; *Лорер Н. И.* Записки. М.: Соцэкгиз, 1931. С. 218.

[4] См.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1838. Т. 12. С. 206.

[5] См.: *Семенов-Тян-Шанский П. П.* Мемуары. Пг., 1917. Т. 1. С. 196; *Веселовский К. С.* Воспоминания о некоторых лицейских товарищах // *РС.* 1900. № 9. С. 450—451; *Бельчиков.* С. 207.

позволило М. С. Альтману высказать догадку, что сюжет повести «Сбритые бакенбарды» мог быть прямо или косвенно связан с соответствующим эпизодом из биографии Петрашевского,[1] с которым Достоевский познакомился как раз весной 1846 г.[2] Эта гипотеза справедливо оспорена на том основании, что повесть «Сбритые бакенбарды» упоминается в письме Белинского к Герцену от 6 февраля 1846 г.,[3] то есть до знакомства Достоевского с Петрашевским, которое состоялось в апреле—мае (до 24).[4]

Чтобы исчерпать те неполные сведения о творческих замыслах Достоевского 1846—1847 гг., какими мы располагаем, следует упомянуть еще о повести, обещанной Достоевским в августе—сентябре 1847 г. Некрасову (вместо этой повести для Некрасова был написан рассказ «Ползунков» — наст. изд., т. 2), и о задуманной им осенью 1846 г. переработке «Двойника» (см. наст. том, с. 704—705).

Наконец, нужно отметить и одну особенность ранних произведений Достоевского: в различных его повестях 1840-х гг. нередко фигурируют одни и те же персонажи, переходящие из одного произведения в другое. Так, спившийся чиновник Емельян Ильич, скатившийся на «дно» (который впервые появляется в романе «Бедные люди»), снова всплывает в рассказе «Честный вор» (1848); жандармский офицер Ярослав Ильич фигурирует в «Господине Прохарчине» и «Хозяйке», а несколько позднее чиновник-карьерист Юлиан Мастакович — в повести «Слабое сердце» и рассказе «Елка и свадьба» (1848), и т. д. Это дает основание полагать, что у молодого Достоевского возникала идея (возможно, подсказанная опытом Бальзака) объединить свои ранние произведения в один повествовательный цикл, связав их образами персонажей, которые, переходя из одного произведения в другое, освещались бы в них с разных сторон, в разные моменты своей биографии. Однако замысел этот, если он действительно существовал, не был доведен до конца.

В первом издании данного тома (1972) текст и варианты «Бедных людей» были подготовлены Т. И. Орнатской, остальные произведения — Г. М. Фридлендером, которому принадлежали также настоящая вводная статья, комментарий и общая редакция тома. Т. И. Орнатская занималась и подготовкой тома к печати. В работе над томом участвовали также Н. В. Измайлов, являвшийся консультантом по текстологическим вопросам в данном издании, и редактор французских текстов Н. Н. Тетеревникова.

Для второго издания текст и варианты «Бедных людей» и текст второй редакции «Двойника» подготовлены Т. И. Орнатской, текст

---

[1] *Альтман, О неосуществленных замыслах.* С. 318—319; *Альтман.* С. 204—206.

[2] См.: *Бельчиков.* С. 124.

[3] *Белинский.* Т. 12. С. 261.

[4] *Летопись.* Т. 1. С. 117 (см.: *Д, Словарь-справочник,* 2008. С. 335).

«Евгении Гранде» — П. Р. Заборовым, текст коллективного сочинения «Как опасно предаваться честолюбивым снам» — С. В. Березкиной. Ввиду острой полемики, поднятой вокруг текстологических принципов академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, и необходимости практической оценки выдвигаемых возражений все тексты тома прошли дополнительную фронтальную сверку с их источниками, осуществленную редактором тома В. Д. Раком. Текстологическим рецензентом «Евгении Гранде» и «Бедных людей» выступила Н. А. Тарасова, чьи замечания, при всех наметившихся расхождениях точек зрения, были чрезвычайно полезны и плодотворны.

Обновление и дополнение комментариев выполнили: К. А. Баршт («Бедные люди» — построчный комментарий, с редакторскими изменениями и дополнениями), С. В. Березкина («Как опасно предаваться честолюбивым снам»), Н. А. Кашурников («Двойник — построчный комментарий, «Роман в 9 письмах», «Господин Прохарчин»), В. Д. Рак («Бедные люди» — статейная часть комментария), А. В. Тоичкина («Двойник» — статейная часть комментария). Впервые публикуемый комментарий к «Евгении Гранде» составили П. Р. Заборов (статейная часть) и И. А. Кравчук (построчный комментарий). Справки о театральных постановках и экранизациях произведений Ф. М. Достоевского, входящих в данный том, составила Н. И. Коваленко; она же занималась подготовкой тома к печати.

## БЕДНЫЕ ЛЮДИ

(С. 22)

### Источники текста

*Пс* — Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846. С. 1—166.

*БЛ* — Бедные люди. Роман Ф. Достоевского. СПб., 1847.

*1860*. Т. 1. С. 3—152.

*1865*. Т. 1. С. 195—245.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано в «Петербургском сборнике», 1846, с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 12 января 1846 г.; дата выхода в свет — 21 января 1846 г.).

Печатается по тексту *1865* со следующими исправлениями по *Пс*, *БЛ* и *1860*:

*С. 23, строка 2*: «слезы текут, так что даже совестно» вместо «слезы текут, что даже совестно» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 23, строка 12*: «просыпаюсь ли и уж знаю» вместо «просыпаюсь ли уж знаю» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 26, строка 27*: «Я вам там купил» вместо «Я там купил» (по *Пс*, *БЛ*).

*С. 29, строки 23—24*: «единственно чистая» вместо «единственная чистая» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 29, строка 36*: «я не брюзглив» вместо «я не брезглив» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 31, строка 24*: «вы ошибетесь» вместо «вы ошибаетесь» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 31, строка 29*: «Небо» вместо «небо» (*Ред.*, по аналогии со с. 35, строкой 35).

*С. 34, строка 34*: «Сегодня я двоюродную сестру» вместо «Сегодня двоюродную сестру» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 37, строка 36*: «говорили, что надобно» вместо «говорила, что надобно» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 38, строка 3*: «Как тяжело было мне привыкать» вместо «Как тяжело мне привыкать» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 42, строка 14*: «и каждый новый день» вместо «и каждый день» (по *Пс, БЛ*).

*С. 45, строки 26—27*: «Пишет ли, читает ли» вместо «Пишет ли» (по *Пс, БЛ*).

*С. 46, строка 17*: «Покровский попросил его» вместо «Покровский просил его» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 47, строка 10*: «странная мысль» вместо «страшная мысль» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 48, строки 24—25*: «Мысли самые странные» вместо «Мысли самые страшные» (по *Пс, БЛ*).

*С. 59, строки 17—18*: «А вот прислушайте меня» вместо «А вот прослушайте меня» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 60, строки 20—21*: «Он, дескать, переписывает!» «Эта, дескать, крыса чиновник переписывает!» вместо «Он, дескать, переписывает!» (по *Пс*).

*С. 62, строка 6*: «с чего и начать» вместо «с чего начать» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 64, строка 6*: «часов по пяти» вместо «часов до пяти» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 66, строка 6*: «обвинить меня» вместо «обвинять меня» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 70, строка 32*: «Июля 1.» (по *Пс, БЛ*; в *1860* и *1865* дата пропущена).

*С. 71, строки 23—24*: «но потом что будет, потом» вместо «но потом» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 74, строка 7*: «Июля 6.» (по *Пс, БЛ*; в *1860* и *1865* дата пропущена).

*С. 74, строка 25*: «В. Д.» (по *Пс, БЛ*; в *1860* и *1865* подпись пропущена).

*С. 75, строка 16*: «Так как бы вы думали» вместо «Так как вы думали» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 83, строка 10*: «Рады вы, маточка» вместо «Рады вы, матушка» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 83, строки 19—20*: «чувствовал, а теперь еще более почувствовал» вместо «чувствовал» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 89, строка 16*: «заклевать собрались» вместо «заклевать собирались» (по *Пс, БЛ*).

*С. 92, строка 30*: «всё было сегодня, чего я натерпелся сегодня» вместо «всё было сегодня» (по *Пс, БЛ*).

*С. 94, строка 2*: «вышла и дочка» вместо «вошла и дочка» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 95, строка 35*: «сказал ему дурака» вместо «сказал ему дурак» (по *Пс, БЛ, 1860*).

*С. 96, строка 29*: «нашей» вместо «вашей» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 98, строки 6—7*: «прежде проступка моего» вместо «прежде поступка моего» (по *Пс*).

*С. 98, строка 29*: «Тут уж всё пришлось» вместо «Тут уж всё пришло» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 98, строка 30*: «и погода холодная» вместо «а погода холодная» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 99, строка 9*: «Ну, а теперь, почувствовав, что я» вместо «Ну, а теперь почувствовал, что я» (по *Пс*, *БЛ*).

*С. 99, строка 11*: «и упал духом» вместо «я упал духом» (по *Пс*, *БЛ*).

*С. 100, строки 17—18*: «чудно хорошо было мне» вместо «чудно мне» (по *Пс*, *БЛ*).

*С. 100, строка 18*: «А я еще была ребенок, дитя» вместо «А я еще была ребенком, дитя» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 101, строка 29*: «такое большое письмо» вместо «такое письмо» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 105, строка 15*: «да таким отрывистым, грубым голосом» вместо «да таким грубым голосом» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 106, строка 35*: «Вдруг, смотрю, входит ко мне» вместо «Вдруг смотрит ко мне» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 108, строки 13—14*: «а между тем жить было нужно; а между тем ни с того ни с сего» вместо «а между тем ни с того ни с сего» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 111, строка 31*: «И я сам, как-то весь, как будто ослаб» вместо «И я сам, так-то весь, как будто ослаб» (по *1860*).

*С. 112, строка 39*: «это вовсе не брань» вместо «это всё не брань» (по *Пс*, *БЛ*).

*С. 113, строка 31*: «и про хозяйку мою» вместо «а про хозяйку мою» (по *Пс*).

*С. 115, строка 30*: «В. Д.» (по *Пс*, *БЛ*; в *1860* и *1865* подпись пропущена).

*С. 116, строки 2—3*: «вышло самое полное исполнение желания» вместо «вышло самое исполнение желания» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 117, строка 14*: «что она работала с полчаса» вместо «что она с полчаса» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 117, строки 21—22*: «умер Горшков, внезапно умер, словно его громом убило! А отчего умер — Бог его знает» вместо «умер Горшков, внезапно умер, Бог его знает» (по *Пс*, *БЛ*).

*С. 118, строки 33—34*: «повелевали ему не умалчивать» вместо «повелевали ему умалчивать» (по *Пс*, *БЛ*).

*С. 119, строка 2*: «что это главная причина» вместо «что эта главная причина» (по *Пс*, *БЛ*).

*С. 119, строки 4—5*: «хоть месяц еще так останусь» вместо «хоть месяц так останусь» (по *Пс*, *БЛ*).

*С. 119, строка 22*: «поразмыслила хорошенько» вместо «поразмыслила» (по *Пс*, *БЛ*).

*С. 120, строка 22*: «В. Д.» (по *Пс*, *БЛ*; в *1860* и *1865* подпись пропущена).

*С. 120, строка 40*: «да и я-то теперь» вместо «да я-то теперь» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 122, строка 28*: «что я всё вас мучаю» вместо «что всё вас мучаю» (по *Пс*, *БЛ*, *1860*).

*С. 124, строки 21—22*: «счеты из магазина в Гороховой я проверил» вместо «счеты из магазина я в Гороховой проверил» (по *Пс*, *БЛ*).

Употребляемые в письмах переменно наряду с полными формами слов их сокращения: «ассигн.» и «ассигнац.» (ассигнациями), «г.» и «Г-н» (господин), «напр.» и «наприм.» (например), «М. Г.» и «М. г.» (Милостивый государь, Милостивая государыня), «руб.» (рублей), «т. е.» (то есть) рассматриваются как отражающие бессистемную в этих случаях манеру письма персонажей произведения и в отличие от *Акад. ПСС* в полную форму не развертываются. Это правило распространяется и на обозначение денежных сумм цифрами.

В тексте *Пс* в нескольких письмах Варвары Доброселовой (8 и 9 апреля, 27 июня, 6 и 27 июля, 2 и 5 августа, 27 сентября) и одном Макара Девушкина (12 апреля) начальное обращение к адресату завершалось точкою, которая в издании *1865* была заменена восклицательным знаком во всех случаях, кроме письма от 6 июля. В настоящем издании она в этом письме сохранена, хотя и допустимо предполагать вероятность того, что ее замена не была произведена в *1865* по недосмотру.

О времени замысла и начале работы Достоевского над «Бедными людьми» высказывались разноречивые мнения.

Некоторые мемуаристы, К. А. Трутовский например, предполагали, что замысел «Бедных людей» возник у Достоевского еще в Инженерном училище (*РО*. 1893. № 1. С. 215; *Достоевский в воспоминаниях, 1990*. Т. 1. С. 173), а А. И. Савельев, служивший в училище ротным офицером, ссылаясь на позднейшее (устное) признание самого писателя, утверждал, что Достоевский «начал писать ⟨...⟩ роман еще до поступления своего в училище» и продолжал работать над ним там по ночам (см.: *Биография*. С. 43). Опираясь на это свидетельство, А. Л. Бем высказал предположение, что в работе над «Бедными людьми» Достоевский использовал «более старые записи, свои юношеские опыты» (*Бем, Первые шаги*. С. 69—70).

Однако в январе и ноябре 1877 г. Достоевский дважды заявил в «Дневнике писателя», что «Бедные люди» «были начаты ⟨...⟩ в 1844 году» (*ДП*. 1877. Ноябрь. Гл. 1, § 2 — *Акад. ПСС*. Т. 26. С. 65) «вдруг», «в начале зимы» (*ДП*. 1877. Январь. Гл. 2, § 4 — *Акад. ПСС*. Т. 25. С. 28), и эти свидетельства нужно признать более достоверными, так как ни в письмах к старшему брату М. М. Достоевскому, которому писатель в юности привык поверять свои литературные

замыслы, ни в мемуарах людей, наиболее близко знавших его в начале 1840-х гг. (А. Е. Ризенкампфа, Д. В. Григоровича), мы не находим никаких фактов, которые позволили бы нам датировать начало работы Достоевского над «Бедными людьми» временем до 1844 г. Как видно из письма Достоевского к брату от 30 сентября 1844 г., последний до этого был знаком лишь с его драматическими замыслами, и сообщение о работе младшего брата над романом должно было явиться для М. М. Достоевского неожиданным.

Предпочесть указанный самим Достоевским 1844 год как исходный для работы над «Бедными людьми», в противовес заявлениям мемуаристов, заставляет не только отсутствие документальных свидетельств, которые устанавливали бы существование более раннего замысла «Бедных людей», но и самый характер этого замысла. До 1843—1844 гг. Достоевский, испытавший в юные годы, как свидетельствуют его ранние письма, сильное влияние романтической эстетики со свойственным ей тяготением к «возвышенным» образам и сюжетам и лирически приподнятому, эмоциональному стилю, вряд ли мог взяться за разработку реалистического по своему духу социального романа из жизни «бедных людей» столицы, несущего на себе заметный отпечаток гоголевских традиций и воздействия идей «натуральной школы» 1840-х гг. Недаром Достоевский в январском номере «Дневника писателя» 1877 г. подчеркнул, что он начал свой роман «вдруг», т. е. круто изменив свои прежние планы.

Однако резкий поворот в творческом сознании Достоевского не повлек немедленно за собою начало работы над «Бедными людьми». Употребленные в «Дневнике писателя» слова «вдруг» и «в начале зимы» относились, вероятно, не собственно к написанию романа, а к зарождению первых, еще расплывчатых очертаний замысла произведения нового рода. Справедливо предполагается (*Бем, Первые шаги.* С. 77—86; *Якубович, 1991.* С. 49), что толчок этому процессу дало описанное Достоевским в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» (1861) «фантастическое видение на Неве» «в зимний январский вечер», которое, по признанию писателя, сообщило ему «прилив могущественного, но доселе незнакомого впечатления», прозрение «во что-то новое, совершенно в новый мир, ⟨...⟩ незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам». Именно тогда, по словам Достоевского в тех же «Петербургских сновидениях», ему «замерещилась» и «глубоко разорвала сердце» «другая ⟨т. е. в ином, чем все его предшествующие литературные опыты, роде. — *Ред.*⟩ история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная» (см.: *Акад. ПСС.* Т. 19. С. 69, 71).

Занятый намеченными переводческими проектами (см. с. 639—640), Достоевский вряд ли мог сразу приступить к осуществлению складывавшегося у него замысла. Но к апрелю одни из них были завершены, другие оставлены, и тогда-то, по всей вероятности, все твор-

ческое внимание Достоевский сосредоточил на своем романе. Два первых письма Макара Девушкина и ответное Варвары Доброселовой помечены 8 апреля, приходившимся, как явствует из контекста, вероятнее всего, на субботу (см. с. 685, коммент. к с. 30); субботою было и календарное 8 апреля 1844 г. Совпадение представляется не случайным и дает основание предположить, что именно этот день был начальной датою систематической работы над «Бедными людьми» (см.: *Якубович, 1991.* С. 39, 49—50). Именно весной 1844 г. (а не 1843 г., как утверждает К. А. Трутовский) Достоевский мог говорить последнему об уже начатом романе, о котором, по свидетельству мемуариста, в это время еще «никто не знал» (*РО.* 1893. № 1. С. 215; *Достоевский в воспоминаниях, 1990.* Т. 1. С. 173).

Проработав над романом весну и лето 1844 г. и считая в этот момент свою работу близкой к окончанию, Достоевский 30 сентября решился наконец раскрыть свою тайну брату, которому писал: «У меня есть надежда. Я кончаю *роман* в объеме „Eugénie Grandet". Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в „О⟨течественные⟩ з⟨аписки⟩" ⟨...⟩. Я бы тебе более распространился о моем романе, да некогда...» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 100).

Однако надежда окончить и даже отдать в редакцию роман к 14 октября не осуществилась, и интенсивная творческая работа над ним продолжалась до начала мая 1845 г. Д. В. Григорович, поселившийся с Достоевским осенью (в конце сентября) 1844 г. на одной квартире, так вспоминает о происходившей у него на глазах работе Достоевского над «Бедными людьми»: «Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера, точно бисер, точно нарисованные ⟨...⟩. Усиленная работа и упорное сиденье дома крайне вредно действовали на его здоровье...» (см.: *Григорович, 1987.* С. 81—82).

24 марта 1845 г. Достоевский писал о романе брату: «Кончил я его совершенно чуть ли еще не в ноябре месяце, но в декабре вздумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен. Но тут другая история: цензора не берут менее чем на месяц. Раньше отцензировать нельзя. Они-де работой завалены. Я взял назад рукопись, не зная, на что решиться ⟨...⟩. Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 106—107).

Как видно из цитированного письма, роман имел не менее двух черновых редакций, первая из которых, законченная в ноябре 1844 г., была в декабре коренным образом переработана. Вторая редакция

подверглась в феврале—марте 1845 г. и позднее, после ее переписки набело, в период с середины марта по начало мая, новым исправлениям. Отсутствие рукописей не позволяет судить о характере этих редакций, и наши суждения об общем направлении творческой работы Достоевского над романом могут быть лишь гипотетическими. К. К. Истоминым было высказано предположение, что первоначально роман был написан в форме дневника Вареньки и что эпистолярная форма его возникла лишь во второй редакции (см.: *Истомин*. С. 13—15). Но предположение это, возникшее в результате попытки механически отделить друг от друга различные стилистические пласты романа и отнести их к разным стадиям авторской работы, было подвергнуто справедливой критике В. Л. Комаровичем (см.: *Комарович В.* Достоевский: Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925. С. 24—29) и не может быть признано убедительным (ср.: *Чулков*. С. 22—23).

По мнению И. С. Абрамовской, к основательной переработке второй редакции Достоевского побудило знакомство с переводом романа Поля де Кока «Женни, или Три цветочные рынка в Париже» (М., 1844), который оказал на него сильное впечатление и стал «источником для „Бедных людей" в разработке сюжета, в характеристике персонажей, в обращении к отдельным „приемам"», что привело к возникновению третьей редакции (*Абрамовская И. С.* «Бедные люди» в художественном мире Достоевского и Поля де Кока // Русская литература и философия: Материалы Второй Всерос. науч. конф. (Липецк, 6—8 октября 2003 г.). Липецк, 2004. Ч. 1. С. 76—82). В обоснование этой гипотезы не приведено никаких веских аргументов, ее подтверждение строится исключительно на предполагаемом упоминании этого произведения в одном из писем Макара Девушкина (см. с. 67) и на параллелях, которые носят явно выраженный характер типологических совпадений.

Лишь к 4 мая 1845 г. роман был наконец закончен. В этот день Достоевский сообщал брату: «Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что если бы знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переправлять, и, ей-Богу, к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрогиваться» (*Акад. ПСС*. Т. 28, кн. 1. С. 108). Здесь же Достоевский писал, что намерен отдать роман в «Отечественные записки», а затем перепечатать его на свой счет отдельным изданием.

О дальнейшей судьбе романа Достоевский позднее рассказал в уже упомянутом январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г., причем его рассказ дополняют (а отчасти и корректируют) известные мемуарные свидетельства Д. В. Григоровича, П. В. Анненкова и И. И. Панаева (см.: *Григорович, 1987*. С. 81—85; *Анненков, 1989*. С. 258—260; *Панаев*. С. 308—309).

Окончив в конце мая 1845 г. переписку романа набело, Достоевский прочитал его Григоровичу «в один присест и почти что не оста-

навливаясь» (см.: *Григорович, 1987.* С. 82; сам Достоевский излагает этот эпизод иначе, утверждая, что он отдал Григоровичу рукопись романа). «Восхищенный донельзя» и понявший, насколько роман Достоевского был выше того, что «сочинял до сих пор» он сам, Григорович, который незадолго до этого напечатал свой первый очерк «Петербургские шарманщики» в альманахе Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга» (1844), передал рукопись «Бедных людей» Некрасову, рекомендовав ее для задуманного последним нового альманаха. Не отрываясь, они ночью вместе прочли «Бедных людей», закончив чтение под утро, и вдвоем прибежали в четыре часа утра к Достоевскому, чтобы, под свежим впечатлением прочитанного, сообщить ему о своем восторге и о принятии романа Некрасовым для альманаха. На следующий день Некрасов передал рукопись Белинскому со словами: «Новый Гоголь явился!», вызвавшими в первый момент естественное недоверие критика. Однако после чтения «Бедных людей» недоверие это рассеялось, и Белинский, встретив вечером Некрасова, «в волнении, просил сразу же привести к нему автора „Бедных людей"», которого при первом свидании, состоявшемся на следующий день (около 1 июня — см.: *Белинский, Летопись.* С. 407; *Летопись.* Т. 1. С. 98), горячо приветствовал. Еще до личного знакомства с Достоевским, утром того же дня, Белинский заявил Анненкову, рекомендуя ему «Бедных людей» как произведение «начинающего таланта»: «...роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому ⟨...⟩. Это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит» (см.: *Анненков, 1989.* С. 258). Художническую «бессознательность», непосредственную силу таланта молодого Достоевского Белинский отметил, по воспоминаниям писателя, и при первом свидании с ним: «Он заговорил пламенно, с горящими глазами: „Да вы понимаете ль сами-то ⟨...⟩ что это вы такое написали! ⟨...⟩ Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? ⟨...⟩ А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!.."» (*ДП.* 1877. Январь. Гл. 2, § 4 — *Акад. ПСС.* Т. 25. С. 30—31).

К впечатлениям, произведенным «Бедными людьми» на Белинского и других первых читателей романа, Достоевский впоследствии,

уже после каторги, вернулся и художественно воспроизвел их в гл. V—VI первой части романа «Униженные и оскорбленные» (1861; наст. изд., т. 3). Пародийное изображение отношения Белинского и его кружка к «Бедным людям» дал в 1855—1856 гг. Н. А. Некрасов в неоконченной повести-памфлете, сохранившийся черновой автограф которого начинается словами «В тот же день часов в одиннадцать утра...» (*Некрасов, 1981—2000.* Т. 8. С. 411—438).

Высоко оцененный Белинским и Некрасовым роман Достоевского уже 7 июня 1845 г. был передан Некрасовым цензору А. В. Никитенко (которого он просил взять на себя цензуру «Петербургского сборника») с просьбой просмотреть рукопись «хоть к сентябрю месяцу». В письме к цензору Некрасов попутно рекомендовал ему роман как «чрезвычайно замечательный» (см.: *Некрасов, 1981—2000.* Т. 14, кн. 1. С. 52). Однако, как видно из письма Достоевского к брату от 8 октября 1845 г., к этому времени роман еще не был отцензурован. Сообщая здесь, что Некрасов после широкого успеха «Бедных людей» в литературном кругу еще до напечатания романа обещал повысить плату за него со 150 (как было условлено первоначально) до 250 руб. серебром, Достоевский тут же прибавляет, «что еще ровнешенько ничего не слыхать из цензуры насчет „Бедных людей"». «Такой невинный роман, — пишет он, — таскают, таскают, и я не знаю, чем они кончат» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 112—113). Дальнейшая цензурная история романа неизвестна.

После выхода «Петербургского сборника» Достоевский трижды возвращался к работе над текстом романа — в 1847, 1860 и 1865 гг. Как установил Б. В. Томашевский (см.: *1926.* Т. 1. С. 517), наиболее значительной правке текст романа подвергся при подготовке первого отдельного издания (*БЛ*). Достоевский в этом издании заменил полными часть уменьшительных форм, употребляемых героями («горшок» вместо «горшочек», «бальзамин» вместо «бальзаминчик» и др.); число их в «Петербургском сборнике» было значительно больше, что вызывало упреки критики в однообразии. Кроме того, он внес в текст ряд исправлений, рассчитанных на то, чтобы ослабить впечатление стилизации и сделать язык героев психологически более достоверным, устранил повторения отдельных слов и сделал несколько более крупных сокращений (наиболее значительные из них — лирически окрашенные воспоминания Вареньки в дневнике о любимых местах ее деревенских прогулок, в письме от 3 сентября слова о довольстве «мужичков» после сбора урожая и размышления Макара Алексеевича в письме от 11 сентября о «его превосходительстве»). Как справедливо отметил Г. И. Чулков, последние два места в 1847 г., вероятно, казались Достоевскому не только замедляющими действие, но и «фальшивыми», слащавыми по тону (см.: *Чулков.* С. 23—24). В последующих изданиях (*1860* и *1865*) Достоевский внес в текст еще кое-какие стилистические исправления.

Достоевский был подготовлен к созданию «Бедных людей» своим жизненным опытом. Уже в детские годы в Москве, живя вместе с ро-

дителями на Божедомке (ныне ул. Достоевского), на одной из тогдашних городских окраин, во флигеле Мариинской больницы для бедных, где его отец служил врачом, он мог наблюдать жизнь бедноты и столичного мелкого люда, знакомился с различными городскими типами (см.: *Достоевский А. М., 1992.* С. 33—34; *РС.* 1918. № 1/2. С. 16). Эти наблюдения Достоевский расширил и дополнил позднее в Петербурге, в особенности в первые годы после окончания Инженерного училища (1843), в период службы в чертежной Инженерного департамента и затем после выхода в отставку (1844), когда он вел жизнь начинающего, необеспеченного литератора. Поселившись в сентябре 1843 г. на одной квартире с врачом А. Е. Ризенкампфом, Достоевский, по воспоминаниям последнего, горячо интересовался жизнью его пациентов, принадлежавших к «пролетариату столицы», «терпеливо выслушивал» и записывал рассказы одного из них — фортепьянного мастера Келера «о столичных пролетариях» (см.: *Биография.* С. 51—52; *Достоевский в воспоминаниях, 1990.* Т. 1. С. 190). Живя на Владимирском проспекте, поблизости от Фонтанки, Достоевский любил бродить по ней, наблюдая, как и его герой, различные городские сцены (см. письмо Девушкина от 5 сентября). Получили в романе отзвуки и некоторые текущие события жизни автора, а также вызванные ими перемены его душевного состояния, что выявляет сопоставление писем Макара Девушкина с близкими по датам письмами Достоевского к брату Михаилу Михайловичу и их опекуну П. А. Карепину (1796—1850) (см.: *Якубович, 2001.* С. 50—53).

Личными впечатлениями Достоевского подсказаны не только «городские» эпизоды «Бедных людей». Не случайно героиня романа носит имя сестры Достоевского Варвары Михайловны (1822—1893) и в ее воспоминаниях всплывает образ няни Достоевских Алены Фроловны (письмо Вареньки к Девушкину от 3 сентября) (*Нечаева, Ранний Достоевский.* С. 143; о различии между сестрой писателя и Вареньки Доброселовой см.: Там же. С. 147). Отражение личных воспоминаний писателя присутствует и в описании характера отца Вареньки (напоминающего характер М. А. Достоевского). Деревенский пейзаж в дневнике Вареньки соответствует окрестностям села Дарового (Каширского уезда Тульской губернии), где в детстве писатель проводил летние месяцы в имении отца (см. подробнее: *Нечаева, Ранний Достоевский.* С. 143—144; *Федоров.* С. 136—137). Исследователями отмечалась также близость стиля и языка героев «Бедных людей» к стилю и языку писем родителей Достоевского, насыщенных уменьшительными формами и проявлениями сентиментальной чувствительности.[1] По предположению исследователя быта семьи родителей Достоевского и их московского окружения Г. А. Федорова, антагонизм

---

[1] См. об этом: *Нечаева В.* С. 1) Из литературы о Достоевском // Новый мир. 1926. № 3. С. 129—130; 2) *Нечаева, В семье и усадьбе.* С. 28—29; 3) *Нечаева, Ранний Достоевский.* С. 143—144; *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского. М., 1933. С. 77.

между отцом Вареньки и Анной Федоровной воспроизводит реальные отношения между гордым и независимым М. А. Достоевским и сестрой его жены Александрой Федоровной Куманиной (1796—1871), в богатом купеческом доме которой воспитывались сестры Достоевского Варвара, Вера и Александра, выданные ею замуж. Прототипом Быкова является, по-видимому, муж сестры писателя Варвары Михайловны и опекун молодых Достоевских после смерти отца П. А. Карепин (см.: *Комарович В. Л.* Литературное наследство Достоевского // ЛН. Т. 15. С 272—273; *Чулков*. С. 27).[1]

Таким образом, первый роман Достоевского пронизан реальными впечатлениями жизни. Но автор смог взяться за него лишь после того, как его юношеские романтические художественные идеалы испытали ломку под воздействием движения русской литературы 1830—1840-х гг. от романтизма к реализму. Замысел «Бедных людей» не был бы возможен без усвоения художественного опыта прозы Пушкина и Лермонтова, петербургских повестей Гоголя (и других «повестей о бедном чиновнике», прямо или косвенно связанных с гоголевской традицией), физиологического очерка о Петербурге 1840-х гг. В романе ощущается также живое воздействие эстетических идей Белинского (статьи которого Достоевский «читал уже несколько лет с увлечением» — см.: *ДП*. 1877. Январь. Гл. 2, § 4 — *Акад. ПСС*. Т. 25. С. 28), углубленный интерес к социальной мысли 1840-х гг., к творчеству Бальзака, Ж. Санд и вообще к европейскому социальному роману.

Уже критика 1840-х гг. проводила параллель между Макаром Алексеевичем, с одной стороны, и гоголевскими образами Поприщина и Акакия Акакиевича — с другой, отмечая историко-генетическую связь «Бедных людей» с гоголевской «Шинелью». Она же указала и на более широкое воздействие гоголевской поэтики, стиля и языка на Достоевского — автора «Бедных людей» (см.: *Григорович, 1987*. С. 85—86). Связь с гоголевской традицией, подчеркнутая самим Достоевским в «Бедных людях» и позднейших автобиографических признаниях, получила широкое и разностороннее освещение в литературе о романе как в отношении усвоения начинающим писателем художественного опыта своего предшественника, так и касательно отмечавшегося уже современниками полемического от этого опыта отталкивания в поисках своих, иных средств и способов разработки характеров персонажей и реалистического изображения жизни (см.: *Виноградов*,

---

[1] Возражения против указанных предположений относительно прототипов Анны Федоровны и Быкова см.: *Нечаева, Ранний Достоевский*. С. 144—145. Составители авторитетных биографических справок о П. А. Карепине игнорировали соображение В. Л. Комаровича о нем как прототипе Быкова (*Д, Письма*. Т. 4. С. 448; *Белов, Достоевский и его окружение*. Т. 1. С. 365—366). Г. А. Федоров остался при своем мнении и дважды повторил в печати утверждение, что прототипом Анны Федоровны была А. Ф. Куманина (*Федоров Г. А.* Петербург. 1837 год // Знание — сила. 1981. № 2. С. 45—47; *Федоров*. С. 127—128), оба раза обойдя молчанием аргументы оппонента.

*Поэтика*. С. 187; *Бем, У истоков*. С. 492—500;[1] замечания в общих монографиях о Достоевском: *Ермилов*. С. 37—58; *Кирпотин*. С. 227—261; *Фридлендер*. С. 54—60; специальное исследование, освещающее историю вопроса и предлагающее его современную трактовку: *Бочаров*; *Террас В.* «Шинель» Гоголя в критике молодого Достоевского // Записки Русской академической группы в США. Нью Йорк, 1984. Т. 17. С. 75—81; *Ковач Арп.* К эволюции жанровых принципов: Гоголь и Достоевский. 1. Модель инерции мышления в «Шинели»; 2. Элементы прозрения в «Бедных людях» // Ковач Арп. Роман Достоевского: Опыт поэтики жанра. Budapest, 1985. С. 291—326). Обращение Достоевского к разработке в романе образа бедного чиновника и его социальной трагедии, наряду с «Записками сумасшедшего» и «Шинелью», было подготовлено развитием массовой повествовательной и очерковой литературы на эту тему, занявшей к 1840-м гг. значительное место в русских журналах. В дальнейшем же молодой Достоевский, в свою очередь, оказал заметное воздействие на развитие темы бедного чиновника у писателей «натуральной школы» второй половины 1840-х гг.[2]

Под прямым воздействием повестей Гоголя, статей Белинского, идей русской и западноевропейской демократической и социалистической мысли 1840-х гг.[3] Достоевский ставит в центр «Бедных людей»

---

[1] См. также: *Бем А. Л.* 1) К вопросу о влиянии Гоголя на Достоевского. Прага, 1928; 2) Il superamento di Gogol: (Per la comprensione delle prime opere del Dostojevski) // La Cultura. 1931. Т. 10. P. 151—170.

[2] См.: *Белецкий А. И.* Достоевский и натуральная школа в 1846 году // 1) Наука на Украине. Харьков, 1922. № 4. С. 332—342; 2) *Білецький О. І.* Зібрання праць. Київ, 1966. Т. 4. С. 327—342; *Цейтлин*. С. 1—54; см. также: *Цейтлин А. Г.* Становление реализма в русской литературе: (Русский физиологический очерк). М.: Наука, 1965. С. 289—290; *Виноградов, Поэтика*. С. 142—162.

[3] Вопрос о восприятии Достоевским в период работы над «Бедными людьми» идей утопического социализма и их отражении в романе решался во время подготовки и выхода в свет первого тома *Акад. ПСС* (как видно из поясняемой фразы) и еще позднее исключительно в положительном смысле, выраженном, например, в следующих репрезентативных суждениях: «Принципы изображения человека в „Бедных людях" соответствуют социальной педагогике петрашевцев, которые основывали успех социалистического учения на воспитании в людях любви и сострадания к ближнему» (*Щенников Г. К.* Эволюция сентиментального и романтического характеров в творчестве раннего Достоевского // *Д, Материалы и исследования*. Т. 5. С. 91—92). Ср.: «В „Бедных людях" в художественной форме Достоевский воплотил те идеи, которые Белинский пропагандировал в своих статьях» (*Кийко Е. И.* Белинский и Достоевский об утопическом социализме // Там же. Т. 14. С. 235). Эта точка зрения подверглась радикальному пересмотру. Согласно иному прочтению «Бедных людей» в конце 1980-х гг., Достоевский, полностью разделяя положения утопического социализма о неблагополучии социальной организации современного общества и о необходимости его решительного

двух «париев общества» (если пользоваться позднейшим его определением из редакционного предисловия к переводу во «Времени» «Собора Парижской богоматери» В. Гюго — *Акад. ПСС.* Т. 20. С. 28) — полунищего чиновника и девушку, ставшую жертвой социального неблагополучия. Но, в отличие от Гоголя с его обобщенными характеристиками лиц и обстановки действия, Достоевский, опираясь на традицию физиологического очерка, насыщает свою повесть многочисленными пространными описаниями различных районов Петербурга, отмеченными печатью своеобразной строгой «документальности», проводит перед взором читателя целую вереницу сменяющихся социальных типов — от уличного нищего до ростовщика и от департаментского сторожа до «его превосходительства». Это позволяет писателю обрисовать взаимоотношения и судьбу главных героев на широком, тщательно выписанном фоне повседневной жизни столицы и, в особенности, ее демократических кварталов, густо заселенных различным мелким людом. Достоевский окружает также фигуры главных героев романа рядом их социально-психологических «двойников», история каждого из которых дает как бы еще один типический, возможный «поворот» судьбы центральных персонажей, подчеркивая тем самым общественную закономерность и всеобщность их трагической социальной судьбы (отец и сын Покровские, Горшков, Емельян Иванович, двоюродная сестра Вареньки Саша и др.). «Аналитический» характер построения «Бедных людей» (в отличие от «синтетического» метода повестей Гоголя) был, как свидетельствует письмо Достоевского к брату от 1 февраля 1846 г., замечен уже Белинским («Во мне находят новую, оригинальную струю (Белинский и прочие), — писал здесь Достоевский, — состоящую в том, что я действую Анализом, а не

---

переустройства, вступил уже в первом своем романе в полемику с представлявшейся ему чистой фантазией мечтой об общем счастье на основе благодеяния и ответной благодарности, показав художественно-психологическим анализом отношений Макара Девушкина и Варвары Доброселовой неизбежное в условиях существующей социальной иерархии (структуры неравенства) искажение лучших, благородных человеческих чувств и поступков, в результате чего благодеяния ведут благодетеля к деспотизму, а облагодетельствованного — к рабству и чувство собственного достоинства подменяет и замещает «амбиция», навязанная человеку неизбежным сопоставлением себя с другими людьми на лестнице социальных отношений (см.: 1) *Ветловская*; 2) *Ветловская В. Е.* Идеи Великой Французской революции в социальных воззрениях молодого Достоевского // Великая Французская революция и русская литература. Л., 1990. С. 292—313). Дальнейшее обоснование этой интерпретации романа: *Смирнова Л. Н.* Полемический подтекст романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Кострома, 2004. Об отношении Достоевского к утопическому социализму, как оно отразилось в «Бедных людях», см. также: *Лебедев Ю. В.* Диалог Ф. М. Достоевского с утопическим социализмом в творчестве 1840-х годов // Литература в школе. 2007. № 2. С. 2—5.

Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое...» — *Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 118).[1]

Авторы «физиологических» очерков изображали каждый раз лишь один из многочисленных «типов» населения столицы. Молодой Достоевский же, пользуясь материалом столичной «физиологии», строит на этой основе роман с единой, развивающейся фабулой. И при этом он хочет не только обрисовать в нем социальную судьбу «бедных людей», окружающую их обстановку и среду, но и предельно полно выразить их внутренний мир. Это побудило Достоевского избрать для своего первого произведения форму романа в письмах, которая давала автору возможность объединить в нем описательный, «физиологический» материал с эмоциональным, лирическим тоном изложения, глубоким психологическим раскрытием души «бедных людей». Обращение к эпистолярной форме позволило Достоевскому воспользоваться для анализа психологии обоих главных героев теми разнообразными приемами тонкого «микроанализа» человеческой души, которые были разработаны создателями сентиментального («Новая Элоиза» Руссо, «Страдания юного Вертера» Гете; в России — «Письма Эрнеста и Доравры» Ф. А. Эмина) и романтического («Жак» Ж. Санд; русский перевод — 1844) романа в письмах, а также психологического романа-исповеди 1830—1840-х гг. (см. о традиции «романа в письмах» в «Бедных людях»: *Виноградов. Поэтика.* С. 163; *Шкловский.* С. 19—49; *Фридлендер.* С. 62—64; *Ветловская.* С. 50—54; см. также далее, с. 686, коммент. к с. 33). Определенную, немаловажную роль в освоении Достоевским этого романного жанра сыграл его собственный эпистолярный опыт, накопленный личной глубоко эмоциональной перепиской со старшим братом и отцом.[2]

Эпистолярная форма позволяла передать в романе слово самим персонажам и при этом, по примеру Гоголя, сделать их язык и стиль своеобразным масштабом, отражающим уровень их духовной жизни, выявляющим их силу и слабость, их ограниченность и нравственные потенции. О том, что выбрать форму романа в письмах его побудило желание, нигде не выказывая «рожи сочинителя», передать слово са-

---

[1] Характеристику «аналитического» изображения Достоевским в «Бедных людях» «очеловеченного» (humanised) мира с «психологическим проникновением в самую глубину души своих персонажей», сформировавшегося в полемическом противоположении «неодушевленному» (inanimate), вещному миру «Шинели» и других произведений Гоголя, см.: *Peace R. A.* 'The analytical genius': «Bednye liudi» and the Russian prose tradition // From Pushkin to «Palisandriia»: Essays on the Russian Novel in Honour of Richard Freeborn / Ed. by A. McMillin. London, 1990. P. 52—69.

[2] См.: *Баршт К. А.* Две переписки: Ранние письма Ф. М. Достоевского и его роман «Бедные люди» // *Достоевский и мировая культура.* № 3. С. 77—93.

мим героям, предоставив им полную свободу выявления своего отношения к окружающему миру и своего «слога», Достоевский писал в цитированном письме к брату от 1 февраля 1846 г., возражая критикам «Иллюстрации» и «Северной пчелы»: «Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может».[1] Здесь же, отвергая упрек в растянутости романа, Достоевский мотивировал ее также особенностями избранной им формы, рассчитанной на изображение не столько внешних событий, сколько их отражения в сознании героев, взятом в движении и смене душевных состояний («Роман находят растянутым, а в нем слова лишнего нет» — *Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 117—118). Как показал М. М. Бахтин, особенностью речи Девушкина является его постоянная, скрытая оглядка на «чужую речь» (см.: *Бахтин, 1963.* С. 274—282), а В. В. Виноградов тонко уловил в его языке отзвуки «голоса» автора-рассказчика (см.: *Виноградов, О языке.* С. 477—492).[2]

---

[1] О полифонизме в «Бедных людях» см.: *Этов В. И.* У истоков полифонизма Достоевского: («Голоса» в «Бедных людях», земные и небесные) // *Достоевский и современность.* Чт. 14 (1999). С. 116—125.

[2] Сделанный В. В. Виноградовым из указанной особенности эпистолярного стиля Макара Девушкина вывод о двух литературных ипостасях, содержащихся в этом образе («персонаж демократического „натурального" романа, литературный символ „бедного человека" из среды городской, мелкочиновничьей буржуазии, и вместе с тем он — сам писатель-реалист, обличитель социальных противоречий и экономических несоответствий современной ему общественной жизни» — *Виноградов, О языке.* С. 489), получил развитие в исследовании С. Г. Бочарова, посвятившего несколько страниц своей статьи «Переход от Гоголя к Достоевскому» анализу раздвоения Девушкина «на героя и сочинителя» (*Бочаров.* С. 49—55). У позднейших исследователей наблюдается тенденция оттеснять первую, главную ипостась Девушкина в тень второй, дополнительной, и видеть в нем прежде всего человека, проникнутого стремлением реализовать себя как личность на литературном поприще, «начинающего писателя», что приводит к заключению, согласно которому «все пространство повести заключено в рамки стадий развития литературных способностей Девушкина» и «собственно, „Бедные люди" ⟨...⟩ есть повесть скорее не о бедном чиновнике, а о бедном писателе» (*Трофимов Е. А.* Культурная символика «Бедных людей» и проблема литературной позиции Ф. М. Достоевского // Документальное и художественное в литературном произведении: Межвуз. сб. науч. ст. Иваново, 1994. С. 28). Согласно другому сторонникy подобной интерпретации «подоплеки эпистолярного пристрастия Девушкина», ее составляла «настоящая писательская работа, смысл которой заключается в формировании индивидуальной точки зрения на мир в форме описания видимого с этой точки мира, предназначенного для восприятия сознанием другого», «авторство для Девушкина, как и для самого Достоевского, — не занятие, но форма бытия личности, имеющая этико-онтологический характер...» (*Баршт К. А.* «Бедные люди» Достоевского в литературном и истори-

Но и очеловечивая гоголевского «смешного» героя, Достоевский опирается на традицию Гоголя. Последний в «Записках сумасшедшего» и «Ревизоре» показал, что пошлый чиновничий мир Поприщиных и Хлестаковых имеет свое псевдоидеальное дополнение в статьях булгаринской «Северной пчелы» и сочинениях Брамбеуса-Сенковского, представляющих как бы его литературную атмосферу. Это позволило Гоголю объединить в своих повестях и «Ревизоре» критику бюрократической системы Николая I с полемическими выпадами против того лагеря в литературе и журналистике 1830-х гг., который не принимал развивавшееся в них новое направление. Опираясь на пример Гоголя, Достоевский знакомит читателя с теми литературными произведениями, которые сформировали душевный мир его героев, дает им возможность установить и высказать свои литературные симпатии и антипатии. При этом литературная среда, в которую погружены герои Достоевского, оказывается значительно более сложной, чем у Гоголя: благородный студент Покровский изображен в романе в качестве горячего поклонника Пушкина; поэтический мир последнего оказал воздействие и на нравственное формирование Вареньки. В отличие от Вареньки Макар Алексеевич, так же как гоголевские чиновники, — читатель «Северной пчелы», повестей Брамбеуса, сентиментальных («сказочных», по терминологии Белинского) романов со счастливым концом (вроде упоминаемого им романа Дюкре-Дюминиля: см. ниже, с. 693—694, примеч. к с. 72). Описание его впечатлений от литературных чтений у его соседа Ратазяева дает автору возможность пародировать в романе излюбленные литературные жанры и произведения тех писателей 1840-х гг., которые противостояли пушкинской и гоголевской реалистической традиции. Из этих пародий одна («Ермак и Зюлейка») направлена против псевдоисторических повестей и романов, в том числе романов Ф. В. Булгарина и Н. В. Кукольника, две

---

ко-культурном контексте // *Д, Материалы и исследования*. Т. 19. С. 280—281). Следствием превращения переписчика в писателя отмечают «духовное перерождение человека в слове и словом» (*Захаров, Дебют гения*. С. 623), «чудо воскрешения души словом ⟨...⟩ Макар Девушкин становится писателем — и этот эстетический акт необратим» (*Захаров В. Н.* Христианский реализм в русской литературе: (Постановка проблемы) // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков. Петрозаводск, 2001. Вып. 3. С. 17—18). В стремлении переписчика стать автором видят развертывание Достоевским в реальной плоскости гротескно-фантастического мотива, заданного Гоголем формой записок Поприщина и сочиненной тем же Поприщиным перепиской собачек (*Викторович В. А.* Гоголь в творческом сознании Достоевского // *Д, Материалы и исследования*. Т. 14. С. 226). См. также: *Зелянская Н. Л.* Персонаж-писатель как конструктивный центр художественного мира в произведениях Ф. М. Достоевского 1840-х годов // Художественный текст: варианты интерпретации. Труды XII Всероссийской научно-практической конференции (Бийск, 18—19 мая 2007 г.): В 2 ч. / Отв. ред. В. А. Акимов. Бийск, 2007. Ч. 1. С. 249—254.

остальные («Итальянские страсти» и «Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза?») — против подражателей А. А. Бестужева-Марлинского и Гоголя, разменивающих их образы и приемы на мелкую, ходячую монету. Наконец, эпизод чтения Макаром Алексеевичем «Повестей Белкина» и гоголевской «Шинели» позволяет Достоевскому показать живое воздействие на душу простого человека настоящей, большой литературы, правдиво и проникновенно изображающей его трагическую судьбу и душевные переживания. При этом между Пушкиным и Гоголем проведено различие: гуманизм Пушкина и его глубокое участие к Самсону Вырину находят в душе Девушкина благодарный отзвук, а суровая и безжалостная по отношению ко всяческим спасительным иллюзиям правда Гоголя вызывает у Макара Алексеевича протест и вместе с тем способствует уяснению им безнадежности своего положения.

Одна из черт писательского своеобразия Достоевского, многократно отмечавшаяся исследователями, состоит в том, что, решая в своих произведениях проблемы, поставленные перед ним текущей общественной жизнью, писатель остро ощущал преемственную связь этих проблем с проблемами, поставленными предшествующей русской и мировой литературой. Отсюда частые у Достоевского сопоставления своих героев с героями предшествующей литературы, вскрывающие психологическое сходство и различие между ними. Эта особенность стилистики Достоевского проявилась уже в «Бедных людях». С помощью ряда историко-литературных ассоциаций, отраженных в тексте романа (имена героев, прозвища слуг — Тереза и Фальдони и т. д.), он сложным образом соотносит героев и жанр своего первого романа с традиционными героями и жанром сентиментального «романа в письмах» конца XVIII—начала XIX в. (см. об этом выше, с. 657). Точно так же сопоставление Девушкина с пушкинским Выриным и гоголевским Акакием Акакиевичем не только служит средством обрисовки различных граней духовного мира главного героя, но и выявляет сложное отношение автора к творчеству и традициям его предшественников (об отношении молодого Достоевского к Пушкину и Гоголю, кроме названных выше работ Виноградова, Бема и др.,[1] см. замечание Страхова: *Биография*. С. 61—62 третьей пагинации, а также: *Истомин*. С. 19—20; *Гроссман, Биография*. С. 54; *Житкова О. Н.* Пушкинское направление // *Д, Словарь-справочник, 1997*. С. 37).

Толки о «Бедных людях» и о появлении в литературе «нового Гоголя» начались почти сразу же после знакомства Белинского с романом — под влиянием устных отзывов о нем самого критика, Григоровича, Некрасова и других лиц, которым роман стал известен в рукописи или авторском чтении. В письме к брату от 8 октября 1845 г. Достоевский писал: «...о „Бедных людях" говорит уже пол-Петербурга», а в следующем письме от 16 ноября, сообщая о знакомстве с В. Ф. Одоевским, В. А. Соллогубом и И. С. Тургеневым, замечал:

[1] См. выше, с. 654—655.

«...никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 113, 115). Приведенные слова автора «Бедных людей» подтверждает и позднейшее свидетельство В. Н. Майкова: «Еще в ноябре и декабре 1845 года все литературные дилетанты ловили и перебрасывали отрадную новость о появлении нового огромного таланта» (*ОЗ.* 1847. № 1. Отд. V. С. 2; *Майков, 1985.* С. 179).

По предположению Е. И. Кийко, впечатления Белинского от чтения «Бедных людей» получили отражение (без упоминания имени Достоевского) в рецензии на стихотворения П. Штавера (Г. Г. Перетца), предвосхищающей многие положения последующих отзывов критика о романе и напечатанной в июльской книжке «Отечественных записок» 1845 г. (см.: *Белинский.* Т. 9. С. 170—178; ср.: *Кийко Е. И.* Белинский о «Бедных людях» // Проблемы реализма русской литературы. М.; Л., 1961. С. 356—358). Но оповестить читателей печатно о появлении в литературе нового выдающегося дарования Белинский получил возможность лишь непосредственно перед выходом романа в свет. «Наступающий год, — мы знаем это наверное, — писал он в январе 1846 г., — должен сильно возбудить внимание публики одним новым литературным именем, которому, кажется, суждено играть в нашей литературе одну из таких ролей, какие даются слишком немногим. Что это за имя, чье оно, чем занимательно, — обо всем этом мы пока умолчим, тем более что всё это сама публика узнает на днях» (см.: *Белинский.* Т. 9. С. 407—408). Через месяц, в феврале 1846 г., приветствуя выход «Петербургского сборника», Белинский писал в рецензии на него: «...в „Петербургском сборнике" напечатан роман „Бедные люди" г. Достоевского — имя совершенно неизвестное и новое, но которому, как кажется, суждено играть значительную роль в нашей литературе». И далее, выделяя талант Достоевского из разряда «обыкновенных» (ибо «*такими* произведениями», как «Бедные люди» и «Двойник», «обыкновенные таланты не начинают своего поприща»), Белинский продолжал: «Разбирать подобное произведение искусства — значит выказать его сущность, значение, причем легко можно обойтись и без похвал, ибо дело слишком ясно и громко говорит за себя; но сущность и значение подобного художественного создания так глубоки и многозначительны, что в рецензии нельзя только намекнуть на них. Это заставляет нас отложить подробный критический разбор ⟨...⟩ до следующей книжки „Отечественных записок"...» (см.: *Белинский.* Т. 9. С. 475—476). Критика, противостоявшая новому направлению русской литературы, встретила роман крайне враждебно. Как установил Н. И. Мордовченко, именно в извещении о выходе «Петербургского сборника» (*СП.* 1846. 26 января, № 22) Булгарин «в целях унижения новой литературной школы впервые презрительно назвал ее „натуральной"» (см.: *Мордовченко.* С. 225; ср.: *Белинский.* Т. 9. С. 544). «Бедные люди», занимавшие в «Петербургском сборнике» по своему художественному и общественному зна-

чению центральное место, были восприняты Булгариным и его единомышленниками как произведение, программное для «натуральной школы», воплотившее в жизнь важнейшие принципы руководимого Белинским демократического направления в литературе 1840-х гг., развивающего гоголевские реалистические и социально-критические традиции. Поэтому в развернувшейся сразу же после выхода «Петербургского сборника» полемике вокруг «Бедных людей» дело шло не только об оценке романа Достоевского, но и об отношении к «натуральной школе». Этим объясняется крайняя ожесточенность борьбы вокруг романа в 1846—1847 гг.

В один день с извещением Булгарина издевательская рецензия на «Петербургский сборник» появилась в кукольниковской «Иллюстрации». Анонимный рецензент писал о «Бедных людях»: «Роман ⟨...⟩ не имеет никакой формы и весь основан на подробностях утомительно однообразных, наводит такую скуку, какой нам еще испытывать не удавалось. Подробности да подробности в романе похожи на обед, в котором вместо супа сахарный горошек, вместо говядины, соуса, жаркого и десерта сахарный горошек. Оно, может быть, и сладко, может быть, и полезно, но в таком смысле, в каком подчивают сластями кондитерских учеников: чтобы поселить отвращение к сахарным произведениям». Относя «Бедных людей» к «сатирическому роду» и выражая свое недовольство его успехами в литературе 1840-х гг., рецензент отдавал предпочтение перед «Бедными людьми» вышедшим незадолго до этого «Петербургским вершинам» Я. П. Буткова (*И.* 1846. 26 января, № 4. С. 59). Через четыре дня после «Иллюстрации» появилась рецензия на «Петербургский сборник» Я. Я. Я. (Л. В. Бранта) в «Северной пчеле», где о романе говорилось: «...уверяли, что в этом альманахе явится произведение нового, необыкновенного таланта, произведение высокое, едва ли не выше творений Гоголя и Лермонтова. Стоустая молва мигом разнесла приятную весть по „стогнам Петрограда": любопытство, ожидание, нетерпение были ловко задеты. Душевно радуясь появлению нового дарования среди бесцветности современной литературы русской, мы с жадностию принялись за чтение романа г. Достоевского и, вместе со всеми читателями, жестоко разочаровались ⟨...⟩. Содержание романа нового автора чрезвычайно замысловато и обширно: из ничего он вздумал построить поэму, драму, и вышло *ничего*, несмотря на все притязания создать нечто глубокое, нечто высокопатетическое, под видом наружной, *искусственной* (а не искусной) простоты». Рецензент возлагал вину за неудачу романа на Белинского и его влияние: «...не скажем, — писал он, — чтоб новый автор был совершенно бездарен, но он увлекся пустыми теориями „принципиальных" критиков, сбивающих у нас с толку молодое, возникающее поколение» (*СП.* 1846. 30 января, № 25. С. 99).

Сразу же после Л. В. Бранта его суждения повторил и сам Булгарин, который писал: «...по городу разнесли вести о новом гении, г. Достоевском (не знаем наверное, псевдоним или подлинная фамилия), и стали превозносить до небес роман „Бедные люди". Мы прочли этот

роман и сказали: бедные русские читатели!» И далее: «Г-н Достоевский — человек не без дарования, и если попадет на истинный путь в литературе, то может написать что-нибудь порядочное. Пусть он не слушает похвал *натуральной* партии и верит, что его хвалят только для того, чтоб унижать других. Захвалить — то же, что завалить дорогу к дальнейшим успехам» (*СП.* 1846. 1 февраля, № 27. С. 107).

Свои нападки на автора «Бедных людей» «Северная пчела» продолжила и в следующих номерах, где Достоевский характеризовался как «рассказчик не без таланта, но безнадежно увлеченный пустыми и жалкими теориями» (Л. В. Брант; *СП.* 1846. 1 марта, № 48. С. 191), а «Бедные люди» и появившийся вслед за ними «Двойник» — как «весьма слабые повести», «мелочные рассказцы», «какие появляются сотнями в Германии и Франции, не находя читателей» (Ф. В. Булгарин; *СП.* 1846. 9 марта, № 55. С. 218).

Под свежим впечатлением от этих выступлений против «Бедных людей» Достоевский 1 февраля писал брату: «„Бедные люди" вышли еще 15-го. Ну, брат! Какою ожесточенною бранью встретили их везде! В „Иллюстрации" я читал не критику, а ругательство. В „Северной пчеле" было черт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина». В то же время, рисуя реакцию читателей, писатель сообщал М. М. Достоевскому, что «публика в остервенении», читатели «ругают, ругают, ругают» роман, «а все-таки читают», и «альманах расходится неестественно, ужасно». «Зато какие похвалы слышу я, брат! — продолжал он. — Представь себе, что наши все, и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя. В „Библиотеке для чтения", где критику пишет Никитенко, будет огромнейший разбор „Бедных людей" в мою пользу. Белинский подымает в марте месяце трезвон. Одоевский пишет отдельную статью о „Бедных людях". Соллогуб, мой приятель, тоже» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 117).

Статьи В. Ф. Одоевского и В. А. Соллогуба, о которых говорит в этом письме Достоевский, не появились (если не считать одного из них автором анонимной заметки о романе в газете «Русский инвалид» — см. о ней ниже). Зато Белинский, еще до того как он поднял «трезвон» о романе в статье о «Петербургском сборнике», во второй книжке журнала не только рекомендовал читателям его автора в цитированной выше рецензии, но и в особой заметке «Новый критикан» дал отпор Л. В. Бранту, в связи с его оценкой «Бедных людей» заявив, что оба первые произведения Достоевского — «произведения, которыми для многих было бы славно и блистательно даже и закончить свое литературное поприще», — свидетельствуют о «явлении нового необыкновенного таланта» (см.: *Белинский.* Т. 9. С. 493). Вскоре после этого за роман вступился и рецензент «Русского инвалида». Характеризуя Достоевского как «молодого писателя, еще впервые выступающего на литературное поприще, но уже обнаружившего огромное дарование», он сочувственно писал о романе: «В страшной, сжимающей сердце картине представляет он несчастия, претерпеваемые

бедным классом нашего общества ⟨...⟩. Читаешь эти полузабавные, полупечальные страницы: иногда улыбка навернется на уста; но чаще защемит и заноет сердце и глаза оросятся слезами. Вы кончите роман, и в душе вашей остается тяжкое, невыразимо скорбное ощущение, — такое, какое наводит на вас предсмертная песня Дездемоны» (*РИ*. 1846. 10 февраля, № 34. С. 133—134). Заявляя, что «у г. Достоевского много наблюдательности и сердце, исполненное теплою любовью к добру и благородным негодованием ко всему, что мы зовем малодушным и порочным», а также «слог весьма оригинальный, ему одному только свойственный», газета замечала, что уже самое наличие у него «восторженных поклонников» и «запальчивых порицателей» — «лучшее доказательство его талантливости» (*РИ*. 1846. 12 февраля, № 35. С. 137—138).

Иначе, чем рецензент «Русского инвалида»,[1] с консервативных литературных позиций, подошел к роману П. А. Плетнев, писавший Я. К. Гроту 30 января 1846 г.: «Я купил „Петербургский сборник", чтобы сказать о нем слова два в № 2 „Современника". Это альманах, изданный Некрасовым, где вся шайка Соллогуба, Краевского и Белинского. Там и хваленый роман Достоевского „Бедные люди". Он мне почти не понравился, кроме одного места. Всё на тон Гоголя и Квитки. Так утомительно...» (см.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1890. Т. 2. С. 663—664). Этот свой отзыв Плетнев развил в рецензии на «Петербургский сборник»: «В этом романе два элемента поэзии: серьезный и комический. Первый гораздо более второго носит на себе той *художнической истины*, которая так высоко ценится в произведениях таланта. Комическое же здесь как-то изысканно и составляет заметное подражание тону, краскам и даже языку Гоголя и Квитки. Места, где автор говорит серьезно, восхитительны, например „Описание осеннего вечера и озера" на стран. 121—124. Нам особенно понравились, как чисто романическое, „Записки бедной девушки", рассказывающей сперва о своем детстве и после о первой любви своей ⟨...⟩. Другие части этого же романа не произвели на нас столь приятного действия. Нам даже показалось, когда мы проходили длинный ряд этих шуточных сцен, картин и прочих украшений, этих карикатур не без претензии на характер трогательного, нам показалось, что г-н Достоевский все это вызвал к жизни усиленно, теоретически, без сердечного разделения описанных ощущений» (*С*. 1846. № 2. С. 273—274).

О широком читательском интересе, возбужденном «Бедными людьми» к тому времени, когда появилась статья Белинского о «Петербургском сборнике» (*ОЗ*. 1846. № 3; ценз. разр. — 28 февраля 1846 г.; дата выхода в свет — 2 марта 1846 г.), свидетельствуют следующие негодующие строки «Северной пчелы»: «На Невском проспекте, в многолюдной кондитерской Излера, всенародно вывешено великолепно-картинное объявление о „Петербургском сборнике". На вершине

[1] Им мог быть и близкий Достоевскому А. Н. Плещеев.

сего отлично расписанного яркими цветами объявления, по сторонам какого-то бюста, красуются, спиною друг к другу, большие фигуры Макара Алексеевича Девушкина и Варвары Алексеевны Доброселовой, героя и героини романа г. Достоевского „Бедные люди". Один пишет на коленах, другая читает письма, услаждавшие их горести. Нет сомнения, что подвигнутый этим картинным объявлением „Петербургский сборник" воспользуется успехом, отнятым у него покамест *завистию и несправедливостию*» (*СП.* 1846. 1 марта, № 48. С. 191).

В этой обстановке всеобщего внимания публики к роману и ожесточенных споров вокруг него появилась статья Белинского о «Петербургском сборнике», где критик отвел нападки на роман идеологических противников и литературных староверов, дав развернутую оценку его общественного и литературного значения.

Белинский характеризовал талант Достоевского как «в высокой степени творческий», «необыкновенный и самобытный, который сразу, еще первым произведением своим, резко отделился от всей толпы наших писателей, более или менее обязанных Гоголю направлением и характером, а потому и успехом своего таланта». Указав, что Достоевский многим «обязан Гоголю» и что в «Бедных людях» и «Двойнике» «видно сильное влияние Гоголя, даже в обороте фразы», критик в то же время отверг мнение о том, что он всего лишь «подражатель Гоголя». «...Гоголь, — писал Белинский, — только первый навел всех (и в этом его заслуга, которой подобной уже никому более не оказать) на эти забитые существования в нашей действительности, но ⟨...⟩ г. Достоевский сам собою взял их в той же самой действительности». Назвав «Бедных людей» и «Двойника» «произведениями необыкновенного размера», Белинский дал подробный разбор «Бедных людей». Он указал на горячее сочувствие автора его бедным героям, глубокое понимание им «трагического элемента» изображаемой жизни, внутренней красоты и благородства души бедняков, на «простоту» и «обыкновенность» построения романа без каких бы то ни было «мелодраматических пружин» и «театральных эффектов». Подчеркнув, что в лице Макара Алексеевича изображен не человек, «у которого ум и способности придавлены, приплюснуты жизнью», но натура, в которой заключено «много прекрасного, благородного и святого», Белинский, приветствуя эту «гуманную мысль» «Бедных людей», писал: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: „Ведь это тоже люди, ваши братья!"». Сочувственно выделив в своем изложении образы старика Покровского, эпизоды с нищим, с шарманщиком, сцену в кабинете «его превосходительства», последнее письмо Девушкина, раскрывающие всю меру униженности и социальных страданий бедных людей, Белинский тонко охарактеризовал самую манеру Достоевского (он писал, что в «Бедных людях» трагический элемент «передается читателю не только словами, но и понятиями Макара Алексеевича») и смело предрек молодому автору великое будущее. Отметив, что лицо Вареньки, в противоположность Девушкину,

«как-то не совсем определенно и окончено», Белинский даже и этот недостаток стремился извинить тем, что, кроме Пушкина, никто из русских писателей еще не сумел справиться с задачей изображения русской женщины. «Растянутость» же романа, на которую жаловались читатели, он объяснил «чрезмерной плодовитостью» молодого автора (см.: *Белинский*. Т. 9. С. 550—564).

Совершенно иную позицию, чем Белинский, занял по отношению к роману С. П. Шевырев, который отвел «Бедным людям» и «Двойнику» центральное место в своей статье о «Петербургском сборнике» во второй книжке «Москвитянина» (ценз. разр. — 3 марта 1846 г.). Признавая, что «„Бедные люди" есть явление, конечно, замечательное» и что автор их «первостепенный повествователь», Шевырев писал, что задачей Достоевского в его первой повести было «изобразить в бедном чиновнике человека с благороднейшими сочувствиями ко всему бедному». Но при этом главный недостаток романа Шевырев увидел именно в его «филантропическом», т. е. социальном, направлении. «Повесть эта, — писал он, — сочинена с явными видами филантропическими», и «филантропическая сторона» в ней заметнее, чем «художественная». Тем не менее Шевырев признал, что «многое в Макаре Алексеевиче подмечено очень верно». «Все эпизоды о бедных людях проникнуты чувством; особенно рассказ о студенте Покровском и об отце его — едва ли не лучше всей повести. Письмо Девушкина о смерти сына у Горшковых заставит больше чем задуматься», — говорил он (*М.* 1846. № 2. Критика. С. 164—169; *Шевырев*. С. 227—229). Шевырев отказался на основании «Бедных людей» высказать суждение о будущем Достоевского, так как на романе, по его мнению, лежала «неотразимая печать влияния Гоголя».

С оценкой Шевырева (а не Белинского) была во многом созвучна, по существу, и оценка романа в статье А. В. Никитенко в «Библиотеке для чтения». Правда, в отличие от Шевырева Никитенко сочувственно отзывался об основном, социально-аналитическом, по его определению, направлении романа: «Направление романа господина Достоевского, — писал он, — именно отличается духом этого умного, неодностороннего анализа, — анализа, который в людях на всех ступенях общества и во всех изменениях жизни видит предмет, достойный изучения, и который изучает его не в отдельных бросающихся в глаза случаях и качествах, а в стихиях его и отношениях многосторонних ⟨...⟩. Но этот маленький чиновник, этот бедняк, которому общество и не может уделить более благ, как сколько следует существу переписывающему, он вне своей общественной сферы, посреди отношений человеческих, является уже с полным правом на наше уважение и сочувствие». И в то же время Никитенко повторил жалобы противников «Бедных людей» на «злоупотребление анализа», растянутость, «пошлые мелочи», «излишества», «скучные повторения» в романе и в качестве вывода признал, что его достоинства заключены скорее в «прекрасных замыслах», чем в «исполнении» (*БдЧт.* 1846. № 3. Отд. V. С. 18—36; ценз. разр. — 28 февраля 1846 г.). К тому же

впечатление читателя от статьи Никитенко должно было по замыслу О. И. Сенковского умеряться его собственным ироническим отзывом о «Бедных людях» в той же книжке журнала, где похвалы автору романа были смешаны с откровенным глумлением над ним («премиленький талантик»), с нападками на «рассчитанные восторги» Белинского по его адресу и опасениями, что автор в будущем «утонет в длиннотах — в наводнении подробностей, мелочности и многословия» (Там же. Отд. VI. С. 2—5).

Вслед за Шевыревым и Никитенко с оценкой «Бедных людей» выступил в «Финском вестнике» А. А. Григорьев, развивший здесь более подробно суждения, зерно которых было сформулировано им уже раньше — вскоре после выхода «Бедных людей» — в «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции» (1846. 9 февраля, № 3).[1]

Возражая Булгарину и признавая «громадное художественное дарование» автора, создавшего два «в высокой степени интересные» лица, «которым нельзя не сочувствовать», и сумевшего, несмотря на «всё однообразие их ощущений», основать на этом «целую внутреннюю драму», Григорьев в то же время в своих статьях о «Бедных людях» дал общую оценку романа, противоположную по своему духу оценке Белинского. В основу этой оценки Григорьев положил характерную для него в это время идею нравственно-религиозного назначения искусства, в свете которой он рассматривал творчество Гоголя. Гоголь, по мнению Григорьева, руководствуясь идеалом христианской любви, обрисовал в лице Акакия Акакиевича и других своих героев «степени падения человечности» «во всем их страшном безобразии», но лишь «для того, чтобы сильнее, божественнее, благодатнее отпечатлелось на них христианское озарение». Достоевский же в «Бедных людях», хотя и «анализирует явления больше, пожалуй, Гоголя» (и притом, в отличие от последнего, «более плачет, нежели смеется»), не только остался чужд религиозному идеалу, но «поклонился» изображаемым им «мелочным личностям», отчего самая его любовь к ним приобрела ложный, «эгоистический» характер. Результатом этого явились опасный уклон к «ложной сентиментальности» и «апотеоза *мещанских добродетелей*» (*ФВ*. 1846. № 9. Отд. V. С. 23—30; ценз. разр. — 30 апреля 1846 г.). Эту идею о полярной противоположности творчества Гоголя и «сентиментального натурализма» его продолжателей, прежде всего молодого Достоевского, Григорьев продолжал последовательно развивать в своих статьях 1840-х—начала 1850-х гг. (см. ниже, с. 670—672, 718—719).

Несмотря на свое общее отрицательное отношение к «сентиментальному натурализму», Григорьев высоко оценил ряд образов и эпизодов романа — в частности, образ Покровского-отца (восходящий, по его мнению, к бальзаковскому отцу Горио), «эпизод Горшковых» и

---

[1] См. об этой рецензии: *Мордовченко Н. И.* Неизвестная рецензия Ап. Григорьева // Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Л., 1948. Т. 67. С. 114—119.

последнее письмо Макара Алексеевича. По поводу этого письма он писал, сопоставляя его с финалом «Записок сумасшедшего»: «...всё, что у Гоголя возводится в едино-слитный, сияющий перл создания, у Достоевского дробится на искры».

В своей статье Григорьев намекал на охлаждение Белинского к Достоевскому ко времени появления его статьи о «Петербургском сборнике», в которой, по словам Григорьева, «проглядывает ⟨...⟩ более умеренности, нежели сколько можно было ожидать, судя по предшествовавшим фактам».

После появления статьи Григорьева печатная полемика вокруг «Бедных людей» на время прекратилась (если не считать продолжавшихся и далее выпадов «Северной пчелы»: *СП.* 1846. 8 октября, № 226. С. 903). Но роман продолжал читаться и оживленно обсуждаться. В мае 1846 г. его прочел Гоголь, писавший А. М. Вьельгорской из Генуи 14 мая 1846 г.: «В авторе „Бедных людей" виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе: всё бы оказалось гораздо живей и сильней, если бы было более сжато» (см.: *Гоголь.* Т. 13. С. 66). Сам Достоевский 17 сентября писал брату об успехе романа у провинциальных читателей: «Я слышал от двух господ, именно от ⟨...⟩ Бекетова и Григоровича, что „Петербур⟨гский⟩ сборник" в провинции не иначе называется как „Бедными людьми". Остального и знать не хотят, хотя нарасхват берут его там...» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 126). 26 ноября он же сообщал М. М. Достоевскому: «„Бедные люди" иллюстрируются здесь в двух местах — кто сделает лучше. Бернардский говорит, что не прочь начать со мной переговоры...» (Там же. С. 133). Были ли начаты эти иллюстрации и какова их судьба — неизвестно (см. об этом: *Нечаева В. С.* Иллюстраторы Достоевского // *Творчество Достоевского, 1959.* С. 475).

Новая вспышка полемики вокруг «Бедных людей» относится к началу 1847 г., когда — почти одновременно — появляются годичные обзоры русской литературы за 1846 г. В. Г. Белинского, В. Н. Майкова и Э. И. Губера.

Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (*С.* 1847. № 1) ограничился кратким отзывом о романе. Назвав «Бедных людей» на первом месте среди «замечательных явлений беллетристической прозы», появившихся в сборниках и журналах, и повторив свое прежнее суждение о «силе, глубине и оригинальности таланта» Достоевского, он сослался на уже появившиеся многочисленные статьи о нем. Тем не менее после неуспеха «Двойника», появления разочаровавших его «Романа в девяти письмах» и «Господина Прохарчина» и (см. ниже, с. 757, 766) углубившихся идейно-художественных расхождений с Достоевским, Белинский отнесся к роману заметно строже, чем прежде. Указав, что почти все читатели нашли «Бедных людей» утомительными, критик писал, что роман был бы «безукоризненно художественным», если бы автор «имел ⟨...⟩ предусмотритель-

ность поочистить» его «от излишних повторений одних и тех же фраз и слов», хотя и характеризовал это как «извинительные для первого опыта недостатки» (см.: *Белинский*. Т. 10. С. 39—40).

В отличие от Белинского В. Н. Майков в своей статье «Нечто о русской литературе в 1846 году» отвел «Бедным людям» и «Двойнику» центральное место. «Главным достоинством» «Бедных людей» он считал «оригинальный прием в изображении действительности», непривычный для публики и поэтому не понятый ею. Достоевский, по мнению Майкова, «упрочивает господство эстетических начал, внесенных в наше искусство Гоголем», но вместе с тем его индивидуальная манера «противоположна» манере Гоголя. «...Гоголь, — писал Майков, — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский по преимуществу психологический. Для одного индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга; для другого самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума ⟨...⟩. Собрание сочинений Гоголя можно решительно назвать художественной статистикой России. У г. Достоевского также встречаются поразительно художественные изображения общества; но они составляют у него фон картины и обозначаются большею частию такими тонкими штрихами, что совершенно поглощаются огромностью психологического интереса». С «поразительно глубоким психологическим анализом» Достоевского Майков связывал то, что после прочтения романа читатель продолжает открывать в нем новые, не замеченные прежде тонкие психологические штрихи; так, он считал, что в глубине души Варвара Алексеевна «томилась преданностью» Девушкина; этим объясняется «холодный деспотизм», сквозящий в ее последних письмах, где она не могла «не вступиться за поруганную самостоятельность своей симпатии» (*ОЗ*. 1847. № 1. Отд. V. С. 2—4; ценз. разр. — 31 декабря 1846 г.; *Майков, 1985*. С. 180—181). Выдвижение в романе на первое место интереса к человеческой личности и анализа влияния на нее общества верно определяло существенные стороны творческого метода Достоевского, получившие развитие позднее, и могло быть в какой-то мере подсказано Майкову самим автором, с которым критик был близок и, вероятно, часто беседовал в это время.

Автор третьего обзора литературы за 1846 г. Э. И. Губер также высоко оценил «Бедных людей». Но неуспех следующих произведений Достоевского он использовал для нападок на Белинского, заявляя, что его «восторженные похвалы» вскружили автору голову и что в этом — причина дальнейших «неудач» «молодого, сильного, но еще шаткого, незрелого дарования». «Это была, — писал Губер о «Бедных людях», — прекрасная книга, в которой рассказывалась трогательная история бедного труженика, с чистым и любящим сердцем, осужденного на унижение, голод и нужды. Это была простая повесть из действительной жизни, которая повторяется, может быть, каждый день в одном из темных закоулков нашего шумного, холодного, равнодушного города ⟨этим определением Губера Достоевский позднее воспользовался почти дословно в «Униженных и оскорбленных» — ч. II,

гл. 11. — *Г. Ф.*⟩, — повесть, переданная с глубоким чувством и с верным знанием дела; но в то же время со всеми ошибками первого опыта, с длиннотами и повторениями, с вычурными уменьшительными именами и с утомительным однообразием в рассказе. Новая критика жадно ухватилась за эту книгу, рассыпалась в восторженных похвалах, пожаловала молодого литератора в гении первой степени и вознесла его на такую высоту, на которой поневоле голова закружится, что и случилось на самом деле: промахи, простительные в первом произведении, сделались грубыми ошибками во втором; недостатки выросли; что было сперва однообразно, потом сделалось скучным до утомления...» (*СПбВ.* 1847. 5 января, № 4. С. 14).

В статье «Современные заметки» (*С.* 1847. № 2) Белинский категорически отвел обвинения Губера по адресу «новой критики». При этом он назвал Достоевского «человеком с решительным талантом» (см.: *Белинский.* Т. 10. С. 98). Эту оценку он повторил три месяца спустя (*С.* 1847. № 5) в ответ на выпад Булгарина, обращенный против него и Достоевского (*СП.* 1847. 12 апреля, № 81. С. 322), охарактеризовав попутно «Бедных людей» как «первую (и лучшую)» повесть последнего (см.: *Белинский.* Т. 10. С. 180).

Последний шумный эпизод борьбы вокруг «Бедных людей» был связан с появлением статьи о «Петербургском сборнике» Имярека (К. С. Аксакова), опубликованной в славянофильском «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год» (ценз. разр. — 21 февраля 1847 г.). Автор ее хотя и признал «талант» Достоевского, но нашел, что в романе его есть лишь «отдельные места, истинно прекрасные» (характер Вареньки, история студента Покровского). В целом же Аксаков, исходя из романтической теории непосредственного, «бесцельного» творчества, давал роману отрицательную оценку: «...Достоевский, — писал он, — не явил в своей повести, как в целом, художественного таланта. Это, конечно, первая его повесть, но в первых попытках истинного художника почти всегда уже виден его талант и свойство этого таланта, — эта искренность творчества, которая так неотъемлемо принадлежит ему. Но этого мы не видим в повести вообще у г. Достоевского; в ней нет этого бесцельного творчества ⟨...⟩. Картины бедности являются во всей своей случайности, не очищенные, не перенесенные в общую сферу. Впечатление повести тяжелое и частное, потому проходящее и не остающееся навсегда в вашей душе» (*МСб, 1847.* Критика. С. 27—29).

Отрицательная оценка «Бедных людей» в статье К. С. Аксакова вызвала новый отпор Белинского, который, отвечая ему, назвал «Бедных людей» «превосходной повестью» (см.: *Белинский.* Т. 10. С. 206). С возражениями Аксакову выступил также анонимный рецензент, который писал, что «Бедные люди» — «произведение, замечательное неотъемлемым, самобытным дарованием и многообещающее в будущем» (*ФВ.* 1846. № 12. Отд. V. С. 77; ценз. разр. — 30 ноября 1846 г.). Наконец, А. А. Григорьев, продолжавший в своих статьях 1847 г. развивать ту общую концепцию «Бедных людей» и «сентимен-

тального натурализма» Достоевского в его соотношении с Гоголем, которую он наметил в цитированной выше статье 1846 г., также отказался согласиться с Аксаковым в том, что главный недостаток «Бедных людей» — производимое ими «тяжелое впечатление», находя, что такое же впечатление «оставляют и все почти создания Гоголя» (*МГЛ.* 1847. 17 июня, № 131. С. 524; ср.: 17 марта, № 62. С. 249—250).

Свою оценку автора «Бедных людей» как одного из крупнейших «талантов» «натуральной школы» Белинский вновь повторил, возражая славянофилу Ю. Ф. Самарину в статье «Ответ „Москвитянину"» (*С.* 1847. № 11; *Белинский.* Т. 10. С. 257). Вскоре он в последний раз вернулся и к развернутому анализу этого романа — в рецензии на первое отдельное издание «Бедных людей» (*С.* 1848. № 1), единственном печатном отклике на него. Белинский писал здесь: «„Бедные люди" доставили своему автору громкую известность, подали высокое понятие о его таланте и возбудили большие надежды — увы! — до сих пор не сбывающиеся. Это, однако ж, не мешает „Бедным людям" быть одним из замечательных произведений русской литературы. Роман этот носит на себе все признаки первого, живого, задушевного, страстного произведения. Отсюда его многословность и растянутость, иногда утомляющие читателя, некоторое однообразие в способе выражаться, частые повторения фраз в любимых автором оборотах, местами недостаток в обработке, местами излишество в отделке, несоразмерность в частях. Но всё это выкупается поразительною истиною в изображении действительности, мастерскою обрисовкою характеров и положений действующих лиц и, — что, по нашему мнению, составляет главную силу таланта г. Достоевского, его оригинальность, — глубоким пониманием и художественным, в полном смысле слова, воспроизведением трагической стороны жизни» (см.: *Белинский.* Т. 10. С. 363—364).

Этот последний и итоговый отзыв Белинского тем более замечателен, что, как мы знаем из его письма к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г., после «Хозяйки» Белинский временами испытывал настолько серьезные сомнения в гении Достоевского и в верности своей первоначальной оценки «Бедных людей», что не решался снова перечитать этот роман.[1]

После 1848 г. критика долгое время не возвращалась к новым развернутым оценкам «Бедных людей». Мимоходом о «Бедных людях» несколько раз упоминал в 1850-х гг. А. А. Григорьев, повторяя при этом сжато свою оценку школы «сентиментального натурализма», сложившуюся еще в 1840-е гг. (см., например: *Григорьев А.* И. С. Тургенев

---

[1] См.: *Белинский.* Т. 12. С. 467; об оценке «Бедных людей» критикой 1840-х гг. см.: *Мордовченко.* С. 224—236, 242—243, а также: *Мордовченко Н. И.* Белинский в борьбе за натуральную школу // *ЛН.* Т. 55. С. 213—220; *Николаев П. А.* Творчество Ф. М. Достоевского и современная ему русская журналистика // Вестн. Моск. ун-та. Сер. ист.-филол. 1957. № 1. С. 81—83.

и его деятельность: По поводу романа «Дворянское гнездо» // *РСл.* 1859. № 5. Отд. II. С. 22). А. И. Герцен в книге «О развитии революционных идей в России» (1850—1851) отнес роман «Бедные люди» к числу произведений русской литературы 40-х годов, проникнутых «социалистическими тенденциями и одушевлением» (*Герцен.* Т. 7. С. 252). Близкую оценку «Бедных людей» Герцен дал и в письме «В редакцию „Польского демократа"» (1853) (Там же. Т. 12. С. 77). Н. Г. Чернышевский, как свидетельствуют его воспоминания «Мои встречи с Ф. М. Достоевским», видел в нем прежде всего «автора „Бедных людей"» (*Чернышевский.* Т. 1. С. 776; *Достоевский в воспоминаниях, 1990.* Т. 2. С. 5).

Вновь вернулся к ранним произведениям Достоевского, впервые попытавшись постигнуть их внутреннее единство и связь, Н. А. Добролюбов в 1861 г. в статье «Забитые люди», в связи с оценкой «Униженных и оскорбленных» и других произведений, созданных писателем после каторги. Признав, вслед за Белинским, основной, сквозной мыслью произведений Достоевского «боль о человеке», защиту достоинства и прав «забитой» человеческой личности, Добролюбов справедливо показал, что в «Бедных людях» заложены истоки основных тем и образов позднейших его произведений. «В „Бедных людях", — отмечал Добролюбов, — написанных под свежим влиянием лучших сторон Гоголя и наиболее жизненных идей Белинского, г. Достоевский со всею энергией и свежестью молодого таланта принялся за анализ поразивших его аномалий нашей бедной действительности и в этом анализе умел выразить свой высоко-гуманный идеал»; «...в забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда не заглушимые потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души запрятанный протест личности против внешнего, насильственного давления и представляет его на наш суд и сочувствие ⟨...⟩ от него не ускользнула правда жизни, и он чрезвычайно метко и ясно положил грань между официальным настроением, между внешностью, форменностью человека и тем, что составляет его внутреннее существо, что скрывается в тайниках его натуры и лишь по временам, в минуты особенного настроения, мельком проявляется на поверхности» (см.: *Добролюбов.* Т. 7. С. 242—255). Впервые рассмотрев «Бедных людей» в общей перспективе развития Достоевского-художника, Добролюбов подготовил почву для позднейшей оценки «Бедных людей» в посмертной критической и научной литературе о Достоевском.

Взгляд на «Бедных людей», сложившийся под преимущественным влиянием революционно-демократической критики, доминировал в отечественном литературоведении вплоть до двух последних десятилетий XX века, но в 1980-е гг. начался его глубокий пересмотр в русле наступавшей генеральной ревизии многих общих и частных концепций советского достоевсковедения. К середине 1990-х гг. составилось и было заявлено мнение о неудовлетворительной содержательности этого взгляда в современной культурно-исторической обстановке. «На

„Бедных людях" натерт такой „хрестоматийный глянец", что современный живой смысл романа просто теряется в общих словах об историко-литературном значении дебюта Достоевского, в „общих местах" о гуманизме автора по отношению к „маленькому человеку". Они верны, но не объясняют главного, что выразилось не в слове (*а «Бедные люди» до сих пор не поняты*[1]), но в поведении и в эмоциях многих искушенных в литературе читателей» (*Захаров, Дебют гения*. С. 621). В поиске иного, более глубокого, близкого содержательно и эмоционально восприятию человека конца XX—начала XXI в. идейно-художественного смысла первого романа Достоевского исследовательская и литературно-критическая мысль переключается с его социального аспекта на социально-психологический (*Ветловская*), а затем постепенно на преимущественно чисто психологический.[2] Главным предметом изучения становится художественный анализ в «Бедных людях» самосознания героя романа, его самоопределение в мире и обществе. «Амбиция», открытая Достоевским у бедного человека, рассматривается как проявление оскорбленной гордости, уязвленного достоинства и жажды самооправдания с целью самозащиты. Главною ипостасью Макара Девушкина представляется «мечтатель с позывами к сочинительству», который «живет воображением» и для которого «собственная фантазия дороже действительности» (ср. выше, с. 658—659, примеч. 2), так что фиксировать на бумаге свои любовные страдания для него становится важнее, чем видеться с любимой девушкой. Погруженный мыслями и чувствами в создаваемый им самим свой мир любовно-литературного романа, Девушкин от литературы (именно от гоголевской «Шинели») получает и удар, приводящий его к духовному срыву с последующим осознанием пагубности для людей их разобщенности, сосредоточенности каждого на себе одном.

Изменившаяся трактовка главного персонажа «Бедных людей» вызвала к жизни разнообразные новые интерпретации ряда общих и частных вопросов, касающихся содержания и художественной структуры романа.[3] В том числе, например, предложены толкования концепта «бедность», наполняющие его, в дополнение к материальному и социальному значениям, смыслом духовным и психологическим, расширяющим содержание заглавия и углубляющим образы персонажей.[4] Прочтение

---

[1] Курсив ред.

[2] Наиболее последовательно и емко трактовка «Бедных людей» под этим углом зрения изложена обобщенно в статье: *Щенников Г. К.* «Бедные люди» // *Д, Словарь-справочник, 2008*. С. 13—16.

[3] См. приложенный к указанной в предыдущей сноске статье Г. К. Щенникова библиографический список работ, посвященных «Бедным людям». Краткий обзор, иллюстрирующий разнообразие предлагаемых интерпретаций, см.: *Степанян, Тайна человека*. С. 180.

[4] См.: *Баршт К. А.* Две переписки: Письма Ф. М. Достоевского и его роман «Бедные люди» // *Достоевский и мировая культура*. № 3. С. 82—83; *Недзвецкий*. С. 34—35; *Ястребов А. Л.* Богатство и бедность:

«во вселенском масштабе» (т. е. в понятиях мифологического направления в литературоведении) страниц, на которых Девушкин пишет о впечатлении, произведенном на него «Станционным смотрителем» и «Шинелью», позволило увидеть в этом эпизоде творимый Достоевским «некий зашифрованный миф — нечто вроде глубинного мифа русской литературы», «неповторимым образом соотносящ(ий)ся с главным мифом истории человечества», рассказанным во второй и третьей главах книги Бытия: через понятие «стыд», связанное с фамилией Девушкина, разрушение творчеством «колоссального демона» русской литературы (Гоголя), как назвал его Достоевский во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» (*Акад. ПСС.* Т. 18. С. 59), ее золотого, пушкинского, века ассоциируется с утратой первыми людьми рая и познанием ими своей наготы.[1]

В работах, касающихся мировоззренческих основ раннего художественного творчества Достоевского, как они проявились в «Бедных людях», внимание сосредоточилось на христианских (православных) убеждениях начинавшего писателя. В отличие от советского литературоведения, признававшего ведущей составляющей мировоззрения Достоевского в период создания «Бедных людей» его интерес к западно-европейскому утопическому социализму, новейшие исследования утвердили точку зрения, согласно которой Достоевский всегда, с первых своих шагов по литературной стезе, был писателем «христианской традиции» (*Захаров, Дебют гения.* С. 617),[2] формировался как художник «в лоне религиозно-христианских воззрений с центральным для них положением о божественной и поэтому фантастически-таинственной, неограниченной и свободной сущности человека» (*Недзвецкий.* С. 39). Творческое открытие в «Бедных людях» «маленького человека», «создания Божиего», равного в этом «всем и всяким представителям общества и человечества» и «в этом смысле Личности», состоялось потому, что «Достоевский-художник был неразделен с Достоевским-христианином» (Там же. С. 37). Отражение христианского мировосприятия Достоевского обнаруживается в «Бедных людях» в жизненных представлениях, которыми руководствуется Макар Девуш-

---

Поэзия и проза денег. М., 1999. С. 319—320; *Сокол Е. М.* «Маленький человек» в творчестве русских писателей 1840-х годов в свете христианской традиции (от Гоголя к Достоевскому). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2003. С. 17—18; *Степанян, Тайна человека.* С. 180.

[1] *Бочаров С. Г.* Холод, стыд и свобода: (История литературы sub specie Священной истории) // Вопросы литературы. 1995. № 5. С. 126—157 (То же // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 121—151).

[2] *Этов В. И.* У истоков полифонизма Достоевского: («Голоса» в «Бедных людях», земные и небесные) // *Достоевский и современность.* Чт. 14 (1999). С. 120; *Кунильский А. Е.* Христианские основы мировосприятия и изображения героя в произведениях Ф. М. Достоевского. Автореф. дис. ... доктора филол. наук. Петрозаводск, 2006. С. 6.

кин, в противопоставлении внушаемых и поддерживаемых верою его «радости» и «веселья» романтическим «грусти» и «унынию», овладевающим Варварою Доброселовой, в многочисленных реминисценциях из Священного Писания в речи Девушкина,[1] в обильном употреблении главными персонажами романа слов-клише типа «Бог знает», «ради Христа», «ради Бога» и т. п., имеющих для них глубокий смысл и значение и необходимых им «как и регулярные посещения всенощной»,[2] в различных других особенностях и деталях содержания и художественной формы произведения. Корректируя односторонние представления, сложившиеся и доминировавшие в советскую эпоху, признается, что утопии западно-европейских социалистов оказались привлекательными Достоевскому именно своей христианской окраской — проповедью идей, близких христианской идее братства, при том что вызванный у него этим «новым христианством» интерес был избирательным и настороженным, полным сомнений и полемики, выплеснувшейся, в частности, на страницах романа «Бедные люди».[3] Вместе с тем чтение «Бедных людей» под углом зрения взглядов молодого Достоевского на двойственную природу человека, высказанных в его мировоззренческих письмах к брату от 9 августа и 31 октября 1838 г. (см.: *Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 50, 53—54), позволило проведшему этот анализ ученому заключить, что в романе «борьба добра и зла в душе человека показана как неизбежный, труднопостижимый и загадочный процесс» (*Степанян, Тайна человека.* С. 181), а само христианство автора, несшее в этот период в себе «идеалистический дуализм, некоторое манихейство миропонимания» (Там же. С. 193), «не было еще достаточно стойким и укорененным», так что при встрече с Белинским молодой писатель не отвергнул решительно его учение, но принял его «страстно» и полностью (Там же. С. 190); хотя признание «раздвоенности человека, в котором борются возвышенные устремления с низменными», вступало в конфликт «с фурьеристскими теориями о возможности использовать во благо человека все стороны его натуры и утвердить взаимную любовь между людьми — как детьми единого Отца» (Там же. С. 181).

В трудах иностранных ученых представлены фрейдистский и психопатологический анализы романа.[4]

---

[1] См.: *Кунильский А. Е.* Смех, радость и веселость в романе «Бедные люди» // Новые аспекты в изучении Достоевского. Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1994. С. 144—170 (То же // Кунильский А. Е. «Лик земной и вечная истина»: О восприятии мира и изображении героя в произведениях Ф. М. Достоевского. Петрозаводск, 2006. С. 71—100.

[2] *Этов В. И.* Указ. Соч. С. 122.

[3] См.: *Ветловская В. Е.* Религиозные идеи утопического социализма и молодой Ф. М. Достоевский // Христианство и русская литература. СПб., 1994. С. 224—269. См. также выше, с. 655—656, сноску 3.

[4] Из позднейших: *Andrew J.* The seduction of the daughter: Sexuality in the early Dostoevsky and the case of «Poor Folk» // Polyfunktion und

Закономерные и неизбежные в движении времени и смене эпох переосмысления художественного произведения и поиски новыми поколениями читателей и исследователей иных его общих и частных интерпретаций, соответствующих их складу мышления, не должны заслонять и тем более вытеснять — по крайней мере, в академическом издании — исконное содержание «Бедных людей», вложенное в свое творение автором.[1]

Уже в год появления в печати первого романа Достоевского большая статья о нем на немецком языке появилась в газете «Sankt-Petersburgische Zeitung»: «Die armen Leute». Roman (In Briefen) von F. M. Dostojewski (1846. 15—18 (27—30) August, № 183—186. S. 737—751). Автором этой статьи (напечатанной без подписи) был, по-видимому, известный пропагандист русской литературы в Германии Вильгельм Вольфзон (W. Wolfsohn, 1820—1865). Значение «Бедных людей» для русской литературы критик сопоставил со значением гётевского «Вертера» для немецкой и подчеркнул «гениальность» и «христианский характер» главной идеи романа — представить всеми «презираемого», забитого Макара Алексеевича человеком с большим сердцем, способным к нравственному возрождению. Вслед за тем газета, желая познакомить с романом немецкого читателя, поместила в переводе Вольфзона дневник Вареньки: Warinka's Tagebuch. Aus den «Armen Leuten» von Dostojewski (Там же. 20—26 сентября (2—8 октября), № 212—217. S. 853—875).[2] Оценка «Бедных людей» в

---

Metaparodie: Aufsätze zum 175 Geburstag von Fedor Michajlovič Dostojevskiy / IX. Internationales Dostojevskij-Symposium; hrsg. von R. Neuhäuser. Dresden, 1998. S. 173—188 (Dostoevsky Studies Supplements. № 1); *Flath C. A.* «Poor Folk»: An allegory of body and mind // Dostoevsky Studies. 1998. Vol. 2. № 2. P. 44—61 (антагонизм ума и тела, сознательного и бессознательного как центральная идея романа, усилия ума замаскировать бессознательное).

[1] Отметив, что на фоне последовавших великих романов Достоевского и общего развития реалистической литературы первозданные краски «Бедных людей» потускнели и для современного читателя роман не содержит «тематических сюрпризов», американский достоевист Джозеф Франк справедливо подчеркнул непреходящую достоверность «традиционного» восприятия этого произведения: «Он (Достоевский. — *Ред.*) выступил поэтом оскорбленных и обиженных, униженных и угнетенных — сострадательным летописцем жизни петербургских „бедных людей", задавленных нищетою и неимоверной тяжестью всего общественного устройства. Таким его видел Белинский, таким его продолжает видеть большинство исследователей и критиков; и эту гуманистическую суть произведения нельзя игнорировать или умалять в значении» (*Frank J.* Dostoevsky: The Seeds of Revolt, 1821—1849. Princeton Univ. Press, 1976. P. 138, 148).

[2] В диссертации: *Hauswedell E.* Die Kenntnis von Dostojewsky und seinem Werke im deutschen Naturalismus und der Einfluß seines «Raskolnikoff» auf die Epoche von 1880 bis 1895 (München, 1924) — перевод от-

статье немецкой газеты вызвала возражения неизвестного русского читателя, приславшего в редакцию письмо, которое (в немецком переводе) было помещено газетой в одном из следующих номеров вместе с примечаниями, защищавшими точку зрения редакции на роман: Brief an die Redaktion der Sankt-Petersburgischen Zeitung (Russisch eingesandt) (Там же. 19—20 ноября (1—2 декабря), № 263—264. S. 1057—1063). Автор указанного письма, принадлежавший, очевидно, к кругу радикально настроенной молодежи, возражал против сравнения забитого, неспособного к действенному протесту Макара Алексеевича с мятежником-протестантом Вертером. Он с горечью указывал, что реальные условия тогдашней жизни русского общества, получившие отражение в «Бедных людях», не создали еще предпосылок, необходимых для превращения героя романа Достоевского в активного борца с политическим и общественным злом.

В том же 1846 г. в издававшемся в Лейпциге славянским ученым и общественным деятелем сербо-лужичанином Я. П. Иорданом журнале «Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft» (1846. Jg. 4. Hf. 11—12. S. 434—435) была напечатана большая статья о «Бедных людях», в которой излагалось содержание романа и давалась высокая оценка его. В том же номере журнала была помещена корреспонденция Вольфзона «Литературные известия из России» (S. 443—447), где кратко рассказывалось о впечатлении, которое произвел роман на И. И. Панаева, Н. А. Некрасова, В. Ф. Одоевского, В. А. Соллогуба, А. А. Краевского, и излагались отзывы о нем русской критики (см. об этом: *Алексеев М. П.* Белинский и славянский литератор Я. П. Иордан // *ЛН*. Т. 56. С. 458—461, 469).

В 1850 г. немецкая печать еще раз вернулась к «Бедным людям». Автор анонимного обзора «Русская литература 1848 года» в издававшихся Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге библиографических листках «Blätter für literarische Unterhaltung» (1850. Bd. 1. № 148. 21 Juni. S. 592) писал о романе: «Внимание широкого круга читателей привлек занимательный и написанный с редким талантом роман Достоевского „Бедные люди". Вернее всего его можно было бы назвать картиной нравов, представляющей нам верный, истинный образ внешнего вида русской столицы, черты из жизни беднейшего класса ее обитателей». В доказательство большого интереса, вызванного «Бедными людьми», автор обзора ссылался на отрывки из романа, появившиеся в польском переводе в журнале «Варшавская библиотека».[1]

---

рывка из «Бедных людей» и статья о нем в «Sankt-Petersburgische Zeitung» приписаны члену редакции и сотруднику этой газеты Ф. фон Лёве. Однако перепечатка того же перевода в 1863 г. В. Вольфзоном под своим именем делает более вероятным предположение, что не только переводчиком отрывка из «Бедных людей», но и автором предпосланной переводу статьи в газете был он, а не Лёве.

[1] Ср. там же краткий положительный отзыв о романе (Biblioteka warszawska. 1850. T. 1. S. 576).

В 1855 г. французский перевод отрывка из «Бедных людей» под названием «La brodeuse» («Вышивальщица») был помещен в сборнике: Le Decameron russe. Histoires et nouvelles traduites des meilleurs auteurs par M. P. Douhaire (Paris, 1855).

В 1859 г. в Киеве была издана повесть польского писателя Антония Марцинковского (1823—1880) «Старый канцелярист» («Stary biuralista»), в которой ощутимо влияние «Бедных людей».[1]

В 1863 г. в статье, посвященной «Запискам из Мертвого дома» («Theodor Dostojewsky und seine sibirischen Memoiren»), Вольфзон вернулся к оценке «Бедных людей» и перепечатал свой перевод «Дневника Вареньки»: Arme Leute. Bruchstück (Russische Revue. 1863. Jg. 1. № 1. S. 141—166; здесь же см. о знакомстве Вольфзона с романом, о толках, вызванных «Бедными людьми» в Петербурге в 1846 г. в доме В. Ф. Одоевского, и о первой публикации перевода). «Бедные люди» переводчик охарактеризовал в названной статье как произведение с яркой «социально-поэтической тенденцией», сочувственно изображающее «пролетариат чиновничества и мелкого мещанства». Последующие переводы романа на иностранные языки относятся, как и переводы других произведений данного тома, к 1880—1890-м гг.

В апреле 1846 г. на публичном концерте в московском доме Самариных М. С. Щепкин прочитал отрывок из только что вышедшего в «Петербургском сборнике» романа «Бедные люди». Это чтение традиционно считается началом сценической истории произведений Ф. М. Достоевского.

За рубежом инсценировка романа впервые была показана в 1905 г. в Венеции, в театре К. Гольдони, труппой знаменитого итальянского актера Э. Новелли (E. Novelli); он же исполнил главную мужскую роль.

В советское время режиссер Е. Табачников поставил «Бедных людей» в своей (в соавторстве с Ю. Волчек) инсценировке в Москве (1971 г.; Литературно-драматический театр ВТО) и Владивостоке (1977; Театр драмы им. М. Горького). Последний из названных спектаклей был записан и выпущен в свет на CD в 2006 г.

«Театральную фантазию» А. Родионовой «Фальбала» (по роману «Бедные люди») показал в ноябре 1996 г. московский Театр Александра Филиппенко. Этот камерный спектакль поставил режиссер М. Мокеев.

Наибольший успех сопутствовал инсценировке В. Семеновского «Ловелас». В постановке Г. Козлова она была осуществлена на сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева в Петербурге (2006 г.), в постановке А. Галибина на сцене театра под руководством О. Табакова (2007 г.) и в постановке П. Южакова в Новосибирском городском драматическом театре под руководством С. Афанасьева (2007 г.).

---

[1] См.: *Mucha B.* Pod urokiem «Biednych ludzi» Fiodora Dostojewskiego: uwagi komparatystyczne o powieści epistolarnej Antoniego Marcinkowskiego «Stary Biuralista» (1859) // Przegląd humanistyczny. 2003. T. 47. № 1. S. 1—13.

Исполнительница из Сербии З. Йованович (Z. Jovanovic) представила моноспектакль по роману «Бедные люди» на фестивале Достоевского в Старой Руссе (2009 г.).

Музыкальный театр также не обошел вниманием первый роман Ф. М. Достоевского: на закрытии фестиваля «Визит в Петербург» в 2003 г. канадскими артистами был показан балет на музыку В. Сидорова «Варенька, Варенька» в хореографии Л. Лемье (L. Lemieux). Одноактная «опера в 13 письмах» Г. Седельникова «Бедные люди»,[1] впервые исполненная в Малом зале Московской консерватории 14 мая 1974 г., в том же году была поставлена на сцене московского Камерного музыкального театра режиссером Б. Покровским. Оперу ставили и в других городах России, а также в Чехии, Болгарии и Германии. В 1978 г. сочинение было удостоено первой премии на Международном конкурсе в Праге. В 1979 г. осуществлена его запись на CD.

С. 22. *Ох уж эти мне сказочники!..* — Эпиграф взят из рассказа В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» (*ОЗ*. 1844. Т. 32. Февраль. С. 331—332 (выпуск в свет — 3 февраля); *Одоевский В. Ф.* Соч. СПб., 1844. Ч. 3. С. 140 (поступил в продажу в августе)). Сопоставление разночтений эпиграфа с журнальным и книжным текстами отрывка обнаруживает, что «Достоевский воспользовался первым, журнальным вариантом и затем, по выходе „Сочинений" Одоевского в свет, его не скорректировал» (*Турьян М. А.* Об эпиграфе к «Бедным людям»: Модификации рефлектирующего / «разорванного» сознания // *Д, Материалы и исследования*. Т. 14. С. 89). В эпиграфе допущено несколько нарушений исходного текста: в фразе «Ох уж мне эти сказочники» переставлены два слова, глагол «задумываешься» изменен на «задумаешься», и в конце отрывка слово «запретить» дважды переделано на «запретил».

С. 22. *Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут...* — Параллель рассказу М. И. Воскресенского «Замоскворецкие Тереза и Фальдони» (*ЛГ*. 1843. № 7. С. 127—134; № 8. С. 147—158), герои которого также живут в квартирах, расположенных напротив, «так что из окон одной половины можно всегда глазами хозяйничать в другой, если только окно не завесилось занавескою» (Там же. № 7. С. 128; указано: *Альтман*. С. 159, 265; *Якубович, 2001*. С. 82—83). Ср. с. 686, коммент. к с. 33.

С. 22. *Не радость старость...* — Первая часть русской пословицы: «Старость не радость, а молодость (горб) не корысть» (*Даль*. Т. 4. С. 8, 316).

С. 23. *...ясным соколом...* — мо́лодцем (фольклорное выражение).

С. 23. *...и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастию небесных*

---

[1] См.: *Седельников Г.* Рождение оперы: Об истории создания оперы «Бедные люди» // *Достоевский и мировая культура*. № 4. С. 125—147.

*птиц...* — Аллюзия на изречение из Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их» (Мф. 6, 26).

С. 24. *Зачем я не птица, не хищная птица!* — Слова, открывающие комментируемую цитату, совпадают буквально с первым полустихом начальной строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Желание» («Зачем я не птица, не ворон степной...», 29 июля 1831), что дало основание сопоставлять оба стиха и видеть в приводимом Девушкиным свободную вариацию лермонтовского, принадлежащую автору «Бедных людей» (*Белецкий А. И.* Достоевский и натуральная школа в 1846 году // 1) Наука на Украине. Харьков, 1922. № 4. С. 334; 2) Білецький О. І. Зібрання праць: У 5 т. Київ, 1966. Т. 4. С. 330; *Belknap R. L.* The Genesis of The Brothers Karamazov: The Aesthetics, Ideology and Psychology of Text Making. Evanston, Ill.: Northwestern Univ. Press, 1990. P. 32—33; *Баршт К. А.* «Бедные люди» Достоевского в литературном и историко-культурном контексте // *Д, Материалы и исследования*. Т. 19. С. 265). Однако в 1844 г. Достоевский не мог знать этого произведения: оно было напечатано впервые пятнадцатью годами позднее (*ОЗ*. 1859. Т. 127. № 11. Отд. I. С. 259—260), а знакомство с ним в устной передаче или в списке убедительно отводится тем обстоятельством, что своим источником Девушкин определенно называет имеющуюся у него «книжку» (см.: *Ветловская В. Е.* Анализ эпического произведения: Проблемы поэтики. СПб., 2002. С. 191—192). Таким образом, совпадение полустихов «Зачем я не птица...» случайное.

При отсутствии прямых достоверных фактических доказательств в подтверждение вышеуказанной противоположной точки зрения в ее обоснование выстраивается цепь косвенных доказательств (см.: *Баршт К. А.* «Птица», но не «ворон степной» Макара Алексеевича Девушкина («Бедные люди» Ф. М. Достоевского) // *РЛ*. 2012. № 3. С. 132—145), из которых, однако, ни одно в отдельности, ни все вместе в совокупности не могут служить достаточным основанием для заключения о знакомстве Достоевского в период написания «Бедных людей» с данным стихотворением М. Ю. Лермонтова.

Высказано предположение, что комментируемая строка представляет собою вольный перевод стиха «Чому я не сокіл, чому не літаю...» из стихотворения украинского поэта М. Н. Петренко (1817—1862) «Недоля» («Дивлюсь я на небо та й думку гадаю...») (Сніп: Украинський новорочник. Харьков, 1841. С. 175—176) (*Якубович, 1991*. С. 54). Однако знакомство Достоевского с этим провинциальным альманахом ничем не подтверждается, а русского перевода «Недоли» к 1844 г. не существовало.

Согласно другому предположению (см.: *Ветловская В. Е.* «Зачем я не птица, не хищная птица!» // *РЛ*. 2011. № 3. С. 80—91), стих «Зачем я не птица, не хищная птица» написан Достоевским как пародийная перифраза «мысли» В. Г. Бенедиктова, состоявшей в устойчивом уподоблении любовного желания кровожадному терзанию хищной

птицей своей жертвы и получившей наиболее яркое выражение в стихотворении «Порыв» («Поклонник чистых муз — желаньем не сгорал Удава кольцами вкруг милой обвиваться, Когтями ястреба в пух лебедя впиваться»), напечатанном в третьем томе собрания «Сто русских литераторов» (СПб., 1845; ценз. разр. — 25 мая). Это предположение требует недоказуемого допущения, «что Достоевский работал над „Бедными людьми" и после первой встречи с Белинским — почти до самого выхода (или даже до самого выхода) своего романа в свет» и что именно в этот период в тексте появился фрагмент, содержащий комментируемый стих.

С. 24. *А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я еще и в должность не сбирался...* — Рабочий день государственного служащего в 1840-е гг. начинался в 9—10 часов утра и продолжался до 3—4 часов дня (*Писарькова Л. Ф.* Чиновник на службе в конце XVII—середине XIX века // Отеч. зап. 2004. № 2. С. 360).

С. 24. *Затирает ее в работу словно ветошку какую-нибудь.* — Первое употребление Достоевским дважды повторенного далее в «Бедных людях» (с. 83, 94) и неоднократно в других его произведениях: «Двойнике» (с. 186, 194—195, 199, 208), «Честном воре», «Записках из Мертвого дома» — слова «ветошка» в значении забитого и униженного человека. В «Двойнике» оно получает синонимическую связь со словами «бесчиновная дрянь», «тряпка», «гниль» и «сплетник». Формула «человек-ветошка» могла быть в известной мере подсказана Достоевскому романом И. И. Лажечникова «Ледяной дом», где в гл. III ветошкой Бирона назван его любимец Кульковский: «трещотка, ветошка, плевательный ящик Бирона» (*Лажечников И. И.* Ледяной дом. Л.: Худож. лит-ра, 1982. С. 55); о знакомстве Достоевского с этим романом см.: *Достоевский А. М., 1992.* С. 70; *Достоевский в воспоминаниях, 1990.* Т. 1. С. 238 (воспоминания С. Д. Яновского). Достоевский наполнил эту формулу глубоким трагическим содержанием, превратив ее в обобщенное выражение судьбы забитого и униженного человека, страдающего от потери своих человеческих прав и собственно духовной сущности своего «я». Согласно предположению И. Л. Волгина, источником формулы служил приведенный в «Повести временных лет» под годом 6579 (1071) и в сокращении цитированный по Ростовской летописи в хорошо известной Достоевскому «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина (т. 2, гл. 4, примеч. 141) рассказ волхвов о сотворении человека: «Бог мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на Землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил» (Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1. С. 217; ср.: *Карамзин, История, 1989.* Т. 2/3. С. 245) (*Волгин И. Л.* Хомо субститутус: человек подмененный. Достоевский и языческий миф // Октябрь. 1996. № 3. С. 172—181; см. также: *Чижевский.* С. 58—59; *Осипов.* С. 81—82; *Новиков А. А.* Диалектика мысли, характер и слово в

«Двойнике» Достоевского // Русская речь. 1981. № 5. С. 30; *Недзвецкий.* С. 35—36; *Башкиров Д. Л.* Метасемантика «ветошки» у Достоевского // *Достоевский и мировая культура.* № 12. С. 145—154).

С. 24. *Прежде ведь я жил таким глухарем...* — Глухарь — человек, ведущий замкнутый образ жизни, сторонящийся общества (подобно тому как птица глухарь живет одиночкою, кроме периодов токования).

С. 24. *Ноев ковчег!* — Восходящее к Библии крылатое выражение, означающее скученность людей в ограниченном помещении, подобную тесноте, которая царила на корабле, построенном библейским праведником Ноем для спасения своей семьи и «каждой твари по паре» во время Всемирного потопа (Быт. 6, 7). В этом же смысле выражение употреблено в рассказе М. И. Воскресенского (см. выше с. 679, коммент. к с. 22), где герои живут в доме, который «внизу доверху набит, как Ноев ковчег, разнородными обитателями» (*ЛГ.* 1843. № 7. С. 128; указано: *Якубович, 2001.* С. 82). На протяжении всего XIX в. перенаселенность петербургских «доходных домов» была одной из постоянных тем русской публицистики (*Юхнева.* С. 114—119, 150—151).

С. 24. *Чиновник один есть (он где-то по литературной части), человек начитанный...* — Ратазяев мог быть либо одним из сотрудников младшего персонала Цензурного комитета, либо литератором, имевшим там дополнительную службу. Кроме цензоров, в Петербургском цензурном комитете «был небольшой штат низших чиновников для канцелярской работы» (*Фут П.* Санкт-Петербургский цензурный комитет, 1828—1905: Персональный состав // Цензура в России: история и современность. Сб. науч. тр. СПб., 2001. Вып. 1. С. 51; *Гринченко Н. А.* История цензурных учреждений в России в первой половине XIX века // Там же. С. 17—19).

С. 24. *...о Брамбеусе...* — Барон Брамбеус — псевдоним О. И. Сенковского (1800—1858), редактора журнала «Библиотека для чтения», статьи и повести которого сделали его (что отметил еще Гоголь в «Ревизоре») одним из кумиров чиновничества и вообще малообразованной публики. Намекая на эту же особенность популярности Сенковского, Достоевский не имел в виду иронической оценки самого журнала, читателем которого сам ко времени работы над «Бедными людьми» был уже долгое время. С 1835 г. в семье Достоевских была подписка на «Библиотеку для чтения», причем, как отмечает брат писателя Андрей Михайлович, это издание было «исключительным достоянием» старших братьев, Михаила и Федора (*Достоевский А. М., 1992.* С. 71). В 1843 г. Достоевский брал в кондитерской свежие номера журнала на дом (*Достоевский в воспоминаниях, 1990.* Т. 1. С. 181—182). «Библиотеку для чтения» выделял среди литературных журналов преподаватель литературы в Инженерном училище В. Т. Плаксин (*Якубович, 1991.* С. 44).

С. 24. *Два офицера живут и всё в карты играют.* — Как вспоминал А. М. Достоевский, в годы, непосредственно предшествующие написанию «Бедных людей», Ф. М. Достоевский «увлекался игрою в

карты» с офицерами, товарищами по обучению в Главном инженерном училище (*Достоевский А. М., 1992.* С. 120).

С. 24. *...в шлафроке ходит...* — Шлафрок (нем. Schlafrock) — разновидность домашнего халата без пуговиц; обычно подпоясывался толстым шнуром с кистями.

С. 24—26. *...у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната...* — В подобного рода помещении, во флигеле Мариинской больницы для бедных, жил в раннем детстве Ф. М. Достоевский: «...в задней части этой довольно глубокой передней отделялось помощию дощатой столярной перегородки, не доходящей до потолка, полутемное помещение для детской» (*Достоевский А. М., 1992.* С. 33).

С. 26. *Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку...* — При найме жилья в Петербурге существовала возможность получения в аренду мебели из запасов домовладельца.

С. 26. *...35 руб. ассигн. стоит.* — Ассигнации — бумажные деньги, имевшие хождение в России в 1769—1849 гг. параллельно с серебряным рублем. Денежные расчеты в «Бедных людях» и других произведениях Достоевского этого периода осуществляются по действовавшему в то время курсу 1 рубль серебром — 3 рубля 50 копеек ассигнациями.

С. 26. *...пять целковых...* — Целковый — монета достоинством рубль.

С. 26. *...чай пивал не всегда ~ ну, сапожишки какие-нибудь...* (Ср. с. 76: *...нуждается, что чаю не пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить!*; с. 92: *Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь.*) — В письмах Достоевского к отцу с просьбами о материальной помощи, в период учебы в Главном инженерном училище (например, от 5—10 мая 1839 г.), в числе первоочередных назывались расходы на чай и приобретение сапог; в качестве аргументов, подтверждающих обоснованность просьб, выставлялся подобный тому, который приводит Макар Девушкин: «...не пив чаю, не умрешь с голода. Проживу как-нибудь! Но я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери ⟨...⟩ Неужели Вы можете думать, что сын Ваш, прося от Вас денежной помощи, просит у Вас лишнего ⟨...⟩ Волей или неволей, а я должен сообразоваться вполне с уставами моего теперешнего общества» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 58, 60). О теме сапогов в «Бедных людях» см.: *Альтман, Пестрые заметки.* С. 191.

С. 27. *...отвечайте мне, ангельчик мой, как можно подробнее.* — Такого рода просьбами в годы, предшествовавшие написанию романа «Бедные люди», Достоевский обычно завершал свои письма к брату Михаилу: «Пиши же, сделай одолженье, утешь меня и пиши как можно чаще. Отвечай немедля на это письмо ⟨...⟩ Пиши же или ты меня замучаешь» (9 августа 1838 г.); «...пиши мне ради Бога хоть что-нибудь» (19 июля 1840 г.); «Желаю тебе счастия и жду длинных писем» (22 декабря 1841 г.) и др.

С. 27. *...фунтик...* — русский фунт равен 0,41 кг.

С. 27. *Пунсовые* — пунцовые.

С. 27. *...могли гораздо лучше жить, судя по жалованью вашему...* — См. далее, с. 687, коммент. к с. 36.

С. 28. *...и скучно, и грустно!* — Начальные слова стихотворения М. Ю. Лермонтова: «И скучно, и грустно, и некому руку подать...» (1840). Об этом мотиве в «Бедных людях» см.: *Ветловская.* С. 178—180.

С. 29. *...выходит такая дрянь, что убереги меня, Господи!* (См. с. 103: *Это какая-то дрянь, а не люди, просто дрянь; так себе, только числятся...*) — Аллюзия на характерную особенность стиля Н. В. Гоголя. Например, в «Тяжбе»: «Вся дрянь, какая ни есть на душе — у него на языке» (*Гоголь.* Т. 5. С. 111); в «Мертвых душах» (*Гоголь.* Т. 6. С. 36, 41, 78). В «Петербургской летописи» Достоевский подтверждает аллюзивный характер этого словоупотребления: «Всё, всё, какая ни есть внутри дрянь, как говорит Гоголь, всё летит с языка в дружеское сердце» (*Акад. ПСС.* Т. 18. С. 13) (Указано: *Ветловская В. Е.* Из комментария к произведениям Достоевского // *Д, Материалы и исследования.* Т. 14. С. 288).

С. 29. *...в холодной шинели пошел.* — Согласно уставу гражданской службы, государственный служащий в классном чине обязан был иметь несколько мундиров и шинелей, соответствующих разным временам года.

С. 29. *Родитель мой был не из дворянского звания...* — Фамилия Девушкин встречается в 1498 г. в Обонежье как крестьянская (*Веселовский С. Б.* Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974. С. 93), происходившая предположительно от одной из «комнатных, дворовых, сенных и других „девушек"», чьи «прижитые ⟨...⟩ дети получали матронимичные прозвания, которые переходили в разряд худородных фамилий» (*Владимирцев.* С. 87).

С. 30. *...вязала из лоскутков разных одеяла на аршинных спицах...* — Речь идет о заимствованном из Англии модном в первой половине XIX в. виде рукоделия «пэтчворк»: одеяла и пледы изготавливались из разноцветных шерстяных или хлопчатобумажных лоскутов, которые соединялись между собой вязаным швом. Аршин — русская мера длины, равная 16 вершкам, т. е. 71,12 см.

С. 30. *...сказки, бывало, начнет сказывать. И какие сказки-то были ~ чуть страшная сказка, так жмется, жмется к старушке.* (См. также с. 38: *...сама всё думаю ~ про мою старушку няню, про нянины сказки...*) — Отражение личных впечатлений Достоевского, который в детстве слушал русские народные сказки от крестьянских кормилиц Дарьи, Лукерьи и Катерины, а также няни Алены Фроловны Крюковой; сказки рассказывались «часа по три, по четыре» в «темной (неосвещенной) зале», и «некоторые сказки казались ⟨...⟩ очень страшными» (*Достоевский в воспоминаниях, 1990.* Т. 1. С. 60—61; *Летопись.* Т. 1. С. 16—17). См. также с. 697, коммент. к с. 101.

С. 30. *...завтра у всенощной увижу...* — Всенощная (всенощное бдение) — вечерняя служба православной церкви накануне воскресений и праздников, состоящая из вечерни, утрени и 1-го часа. Следовательно, 8 апреля, которым датировано письмо Девушкина, было или пятницей (если речь идет о встрече во время вечерни), или субботой (если подразумевается утреня, что более вероятно, так как 8 апреля 1844 г. приходилось именно на этот день недели). В обоих случаях попадает под сомнение поддерживаемая рядом ученых интерпретация исходной даты переписки Макара Девушкина и Варвары Доброселовой как аллюзии на восьмой день творения, напоминающей «о счастливом начале общей человеческой судьбы, о ее блаженно-райском истоке» (*Ветловская*. С. 62—65, 76; *Захаров В. Н.* 1) Символика христианского календаря в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 38—39; 2) Дебют гения // *1995*. Т. 1. С. 636; *2003—2004*. Т. 1. С. 689 (коммент. Т. А. Касаткиной). Библейская аллюзия, если бы она действительно подразумевалась, не могла бы нарушить последовательность дней творения, как она указана в Священном Писании (Быт. 2, 3), где восьмой день следовал после дня, в который «Бог почил от всех дней своих» (*Якубович, 1991*. С. 39).

С. 31. *...кто, дескать, другому яму роет, так тот... и сам туда же.* — Русская пословица «Кто другому яму роет, сам в нее ввалится» (*Даль*. Т. 4. С. 676), парафраз Библии: «Кто копает яму, тот упадет в нее» (Екк. 10, 8).

С. 32. *...на чистом входе, лестницы весьма посредственные...* — Чистый вход — передний вход в дом; посредственные — (здесь) вполне приличные.

С. 32. *Зато уж про черную и не спрашивайте: винтовая, сырая, грязная ~ одним словом, нехорошо.* — Параллель «Шинели» Н. В. Гоголя, где черная лестница «умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов» (*Гоголь*. Т. 3. С. 148; указано: *Бем, У истоков*. С. 494).

С. 32. *У нас чижики так и мрут... не живут в нашем воздухе...* — Чиж не выносит шума и отсутствия свежего воздуха. Хорошее самочувствие этих птиц, которое выражается в пении, свидетельствовало о благоприятных условиях в жилище горожанина (*Венцеславский А.* О певчих птицах и содержании их. СПб., 1851. С. 27).

С. 33. *...про сестрицу, что за тульским заседателем...* — Упоминание о «тульском заседателе», возможно, навеяно пушкинскими «Отрывками из путешествия Онегина» («Зачем, как тульский заседатель, Я не лежу в параличе?..»).

С. 33. *...и про город Кронштадт.* — Кронштадт — военно-морская база, основанная Петром I в 1704 г. на острове Котлин в Финском заливе.

С. 33. *...всё на тонкой ноге.* — Деликатно, с достоинством.

С. 33. *...Тереза да Фальдони...* — Имена несчастных героев-любовников популярного в конце XVIII—начале XIX в. сентиментального романа французского писателя Н.-Ж. Леонара (Léonard; 1744—1793) «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живших в Лионе» (1783; русский перевод М. Т. Каченовского — М., 1804; 2-е изд. 1816) в 1840-е гг. употреблялись в качестве нарицательных. В упоминавшемся выше рассказе М. И. Воскресенского «Замоскворецкие Тереза и Фальдони» добродетельные герои уподоблялись героям Леонара (см. с. 679, коммент. к с. 22). О связи «Бедных людей» с романом Леонара см.: *Якубович, 2001.*

С. 33. *...чухна какая-то...* — Пренебрежительное именование финнов (полная форма «чухонец» употреблялась в Петербурге и без этого насмешливого оттенка).

С. 34. *...места лишился... процесс не процесс, под судом не под судом, под следствием каким-то, что ли...* — Чиновник, оказавшийся под следствием, уходил в бессрочный отпуск без сохранения содержания. В случае оправдания период вынужденного отпуска засчитывался как оплачиваемое рабочее время, денежную компенсацию за этот период он получал немедленно после решения суда. Проигрыш дела в суде означал полную невозможность получения каких-либо премий, наград и других поощрений начальства, а также возможное увольнение или понижение в должности.

С. 34. *...у вас теплого салопа нет.* — Салоп (фр. salope) — длинное и широкое женское пальто с пелериной, иногда с капюшоном, обычно подбитое мехом или на вате, с прорезами для рук или с небольшими рукавами, с бархатным или меховым отложным воротником, скреплявшееся лентами или шнурами. Вышедший еще в 1830-е гг. из моды, салоп оставался в употреблении женщин из малоимущих слоев населения, в мелкокупеческой, чиновничьей и мещанской среде (*Кирсанова Р. М.* Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. М., 1989. С. 202—203).

С. 34. *...благорастворение воздухов...* — Выражение из «Великой Ектеньи» (литургия Иоанна Златоуста), молитвы «о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временах мирных...». Употребляется в значении: тишина, спокойствие, чудесная погода.

С. 34. *...как я учился? даже и не на медные деньги.* — Речь идет о самых началах образования, полученных под руководством малосведущего учителя, в роли которого чаще всего подвизался за малую плату местный дьячок. Ср.: «Мы, бедные, учимся на медные, а богачи на рублевички»; «Он учился на медные деньги» (*Даль.* Т. 2. С. 367).

С. 35. *...что господин Быков прав совершенно...* — Об ассоциациях, навеявших Достоевскому выбор фамилии этого персонажа, см. далее, с. 688, коммент. к с. 41.

С. 35. *...простудилась немного вчера, когда ходила на Волково к матушке панихиду служить.* — Комментируемая фраза содержится в письме от 25 апреля; следовательно на православное Волково (Вол-

ковское) кладбище (название возникло от общего названия кладбищ, заложенных в XVIII в. по обоим берегам р. Волковка, в районе Волковой Деревни) героиня ходила 24 апреля. На это число в 1845 г. приходился родительский день, день поминовения усопших и посещения кладбищ, называемый Радоницей (Радуницей) и отмечаемый на девятый день после Пасхи. См.: *Владимирцев В. П.* Дополнения к комментарию // *Д, Материалы и исследования.* Т. 10. С. 142.

С. 35. *Вам розанчиков намедни захотелось...* — Ро́зан (ро́занчик) — булочка с верхом в виде сходящихся лепестков.

С. 36. *Я нового вицмундира совсем не продавал.* — Вицмундир — форменный фрак гражданских чиновников; его внешнее отличие от обычного мундира заключалось в том, что он имел «один только шитый кант» особого рисунка. В 1830-е гг. из-за резкой девальвации рубля ассигнациями множество чиновников низших классов впали в бедность и оказались не в состоянии выполнять строгие нормативы соблюдения формы одежды. Используя лазейку, которая содержалась в указе Николая I от 27 февраля 1834 г. о форменной одежде, они стали пользоваться только вицмундиром. Причина заключалась в его дешевизне (в Петербурге около 25 рублей ассигнациями — см.: *Сумароков П.* Старый и новый быт // Маяк современного просвещения и образованности. СПб., 1841. Ч. 16. С. 35) и универсальности (он мог служить одеждой и для «будней», и для официального присутственного места). Ношение вицмундира указывало на низкий чин его владельца.

С. 36. *...сорок рублей серебром награждения выходит...* — Чиновникам гражданской службы предусматривалось единовременное денежное поощрение «третным, полугодовым или годовым окладом жалованья» («Положения о наградах гражданских чиновников во время прохождения службы», от 3 июня 1842 г.). Указанная Девушкиным сумма награждения — 40 рублей серебром (140 руб. ассигнациями) — это примерно треть его годового оклада (так, в «Шинели» Акакий Акакиевич Башмачкин, равный Девушкину в чине и выполняющий ту же работу, имеет 400 рублей годового жалования; см.: *Гоголь.* Т. 3. С. 146).

С. 36. *...теперь и ночей-то почти не бывает...* — Конец мая в Петербурге — время белых ночей.

С. 36. *Рандеву* (фр. rendez-vous) — свидание.

С. 37. *Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка.* — Возраст сестры писателя Варвары Михайловны Достоевской (род. 5 декабря 1822 г.) ко времени смерти матери, Марии Федоровны Достоевской (ум. 27 февраля 1837 г.).

С. 37. *...Т—й губернии.* — Возможно, имеется в виду Тульская губерния. Там находилось имение Достоевских — село Даровое и деревня Черемошня, куда выезжала летом их семья в 1830-е гг. (см. выше, с. 653).

С. 38. *...на Петербургской стороне...* — Одна из частей Петербурга, расположенная на четырех островах (Петербургский (ныне

Петроградский), Аптекарский, Петровский и Заячий) между Невой, Малой Невой, Большой и Малой Невками; в те годы одна из наиболее дешевых для проживания частей города (*Юхнева*. С. 150).

С. 38. *...сижу себе за разговорами или вокабулами...* — За заучиванием французских вопросов и ответов («разговоры») или русских переводов слов («вокабулы»).

С. 39. *...о грамматике Ломонда...* — Широко употреблявшаяся в России, выдержавшая в период между 1808 и 1845 гг. (в разных переводах) более 20 изданий, в полном и сокращенном для учебных целей виде, грамматика французского языка педагога Шарля-Франсуа Ломона (Lhomond; 1727—1794); например, «Полная французская грамматика, содержащая в себе произведение, сочинение и правописание слов, сочиненная Ломондом, исправленная и дополненная Летелье» (М., 1830; 1831; 1834).

С. 39. *...Запольского гораздо лучше...* — «Новая учебная книга для французского языка, содержащая в себе букварь, этимологию, синтаксис и христоматию», издал В. Запольский. М., 1817 (2-е изд. — М., 1824).

С. 40. *Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам как из земли, нахлынули гурьбою.* — Автобиографическая деталь: в семье писателя такая ситуация возникла летом 1839 г., после трагической смерти отца семейства, Михаила Андреевича Достоевского, в селе Даровом.

С. 41. *...в Шестой линии.* — Линиями называются стороны пятнадцати улиц (всего 30 линий) Васильевского острова, пересекающих его с севера на юг. Выбор Шестой линии как места пребывания Анны Федоровны был подсказан Достоевскому личными семейными ассоциациями: здесь находился дом его петербургского родственника, купца 3-й гильдии Ивана Тимофеевича Нечаева (1759—после 1811) — двоюродного деда по матери (*Федоров*. С. 127). На той же линии был дом, принадлежавший купцу Быкову; эту фамилию, очевидно также по ассоциации, Достоевский присвоил персонажу своего романа, связанному общими неблаговидными замыслами с Анной Федоровной (Там же. С. 128). Иное предположение о выборе фамилии Быков см.: *Ветловская*. С. 198.

С. 41. *...один бедный студент Покровский...* — Автобиографическая реминисценция: М. А. Достоевский называл «Покровскими» своих родственников, Александра Алексеевича и Александру Федоровну Куманиных (см. с. 654), имевших богатый дом в Москве на Покровке (*Нечаева. В семье и усадьбе*. С. 11; *Нечаева. Ранний Достоевский*. С. 145).

С. 43. *...он прошептал: «Злые дети»*. — Реминисценция стихов 108—109 второй части «Медного всадника»:

...Злые дети
Бросали камни вслед ему.
(*Пушкин*. Т. 5. С. 146).

(Указано: *Касаткина Т. А.* «Бедные люди» и «злые дети»: (Достоевский — наследник творческого метода Пушкина) // *Достоевский и мировая культура.* № 20. С. 102).

С. 45. *...он был ужасно любопытен ~ являлся иногда в нетрезвом виде.* — По мнению А. Е. Ризенкампфа (не подтверждаемому какими-либо другими свидетельствами), одним из прототипов старика Покровского был «брат фортепианного мастера Келлера», человек «вертлявый, угодливый», «в сущности — приживалка». Он охотно пользовался добротой писателя и почти каждый день приходил к нему обедать, снабжая Достоевского рассказами о «столичных пролетариях» (*Достоевский в воспоминаниях, 1990.* Т. 1. С. 190).

С. 46. *...давал ему на прощанье по четвертачку...* — Четвертачек — серебряная монета достоинством двадцать пять копеек.

С. 51. *...полное собрание сочинений Пушкина, в последнем издании...* — Посмертное издание «Сочинений» А. С. Пушкина в одиннадцати томах (СПб., 1838—1841).

С. 51. *Цена всех одиннадцати книг, присовокупив сюда издержки на переплет, была по крайней мере рублей шестьдесят.* — До 1845 г. все одиннадцать томов, на простой бумаге, без переплетов, продавались за 50 руб. ассигнациями, с начала 1845 г. была установлена цена 8 руб. серебром (28 руб. асс.). Последние три тома «Сочинений» Пушкина вышли в 1841 г.; события, описываемые Варварой Доброселовой, произошли за 2—3 года до «романного» времени (ее переписки с Девушкиным), т. е. в 1841—1842 гг. (См.: *Кошелев В. А.* Пушкин и Записки Вареньки Доброселовой // Пушкин и Достоевский: Международ. науч. конф. 21—24 мая 1998 года. Новгород Великий; Ст. Русса, 1998. С. 80).

С. 57. *...оправлял венчик на покойнике...* — Венчик — полоска бумаги или ткани с изображением Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи, которую, согласно православному обычаю, возлагают на лоб умершего во время похорон.

С. 58. *...увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха.* — Ср. в «Невском проспекте» Н. В. Гоголя: «...ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела» (*Гоголь.* Т. 3. С. 34).

С. 58. *...на острова...* — Крестовский, Елагин и Каменный острова, любимые места петербужцев для загородных прогулок.

С. 59. *...скоро тридцать лет стукнет моему служебному поприщу.* — Тридцать лет должен был прослужить гражданский чиновник, чтобы заслужить право на пенсию.

С. 59. *...меня хотели даже раз к получению креста представить.* — Имеется в виду орден Св. Станислава III степени, первый (низший) из орденов, которыми мог быть награжден гражданский чиновник.

С. 59. *...в пословицу ввели Макара Алексеевича...* — Сослуживцы Девушкина соотносили его с Макаром — персонажем пословиц,

лубочных картинок и скоморошьего театра. Например: «Вчера Макар гряды копал, ныне Макар в воеводы попал»; «Я тебя туда спроважу, куда Макар телят не гонял!»; «Комар да мошка, Макар да кошка»; «Макара дву-раз не женят»; «На бедного Макара шишки валятся» (см.: *Даль*. Т. 2. С. 290; *Альтман*. С. 11; *Владимирцев*. С. 85—86). Ко времени работы Достоевского над романом «Бедные люди» имя Макар носил ряд персонажей произведений, в которых описывались злоключения чиновников при их попытках сделать служебную карьеру, в том числе: *Булгарин Ф. В.* Бедный Макар, или Кто за правду горой, тот истый герой // Сев. архив. 1825. № 23. С. 277—306, переизд.; *Некрасов Н. А.* Макар Осипович Случайный / Н. Перепельский // Пантеон русского и всех европейских театров. 1840. № 5. С. 36—61.

С. 60. *Кабалу стряпал, что ли, какую-нибудь?* — Кабалу стряпать (нем. die Kabale — коварство, козни) — строить козни, плести интригу.

С. 60. *...крыса чиновник переписывает!* — Крыса (канцелярская крыса) — презрительное прозвище мелкого чиновника. Ср. в «Ревизоре» (д. III, явл. 6) хвастливое заявление Хлестакова: «Я только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так, а там уж чиновник для письма, эдакая крыса, пером только: тр, тр... пошел писать» (*Гоголь, 2001*. Т. 4. С. 42).

С. 60. *Письмо такое четкое, хорошее, приятно смотреть ~ Ну, слогу нет ~ вот потому-то я и службой не взял...* — Важнейшими профессиональными навыками чиновника, от которых зависела его служебная карьера, были наряду с хорошим почерком «простота слога», ясный стиль изложения (см.: Сборник исторических материалов, извлеченных из Архива Собственной его императорского величества канцелярии. СПб., 1895. Вып. 7. С. 124—128).

С. 62. *...сочинительские вечера бывают.* — В 1830—1840-е гг. литературные объединения и салоны самого разного уровня играли важную роль в общественной и культурной жизни России (см.: Литературные салоны и кружки: Первая половина XIX века / Под ред. Н. Л. Бродского. М., 2001; *Аронсон М., Рейсер С.* Литературные кружки и салоны. СПб., 2001). Стремление к формированию «своего слога» естественным образом приводит Макара Девушкина в составившийся из его соседей литературный кружок.

С. 64. *...вырос, а ума не вынес.* — Пословица: «Вырасти вырос, а ума не вынес» (*Даль*. Т. 1. С. 310).

С. 64—65. *Что ему лист написать? Да он в иной день и по пяти писывал, а по триста рублей, говорит, за лист берет ~ семь тысяч, маточка, семь тысяч просит...* — Хвастливые заявления Ратазяева о своих гонорарах отражают ходившие в 1830—1840-е гг. в русском обществе слухи о баснословных доходах Ф. В. Булгарина и О. И. Сенковского, первых писателей, обогатившихся с помощью печатного слова. Говоря о доходах Ратазяева, Девушкин называет цифры, близкие к гонорарам Сенковского в «Библиотеке для чтения» —

400 руб. ассигнациями за печатный лист оригинальной статьи, 200 руб. за печатный лист переводной статьи; это были максимальные расценки, «рядовые сотрудники журнала получали вдвое меньше» (*Вишневецкий Л. М., Иванов Б. И., Левин Л. Г.* Формула приоритета: Возникновение и развитие авторского и патентного права. Л., Наука, 1990. С. 52).

С. 65. *...дом капитальный!* (См. с. 105: *...разглядите-ка, что в этих черных, закоптелых, больших капитальных домах делается...*) — Капитальный — здесь: доходный, приносящий капитал.

С. 65. *...из «Итальянских страстей» местечко.* — Выписка Девушкина из произведения Ратазяева представляет собой пародию на эпигонскую, в духе А. А. Бестужева-Марлинского, литературу «в романтическом вкусе», по насмешливой характеристике современника (*СО.* 1839. Т. 9. Отд. I. С. 59). Одним из непосредственных объектов пародии Достоевскому могла служить, в частности, страстная сцена объяснения в любви между капитаном Травиным и княгиней Верой в повести Бестужева-Марлинского «Фрегат „Надежда"» (1833), в продолжение которой, случившейся «поутру», следует отделенный от нее типографским пробелом («отбивкой») разговор «ввечеру» между мужем княгини и врачом, начинающийся с того, что князь Петр выходит из столовой «с озабоченным видом, но с салфеткою в руке» и, «вытирая губы», осведомляется: «Ну что, любезный доктор ⟨...⟩ какова моя Верочка?» (*Бестужев-Марлинский А. А.* Соч.: В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 116—121).

С. 65—66. *...казак Ермак, дикий и грозный завоеватель Сибири, влюблен в Зюлейку, дочь сибирского царя Кучума ~ бросается в Иртыш, и тем всё кончается.* — Пародия на псевдоисторические повести и романы (см. выше, с. 659). Ермак выбран персонажем пародии как один из постоянных героев предромантической и романтической литературы, изображенный во многих произведениях разных жанров (трагедии П. А. Плавильщикова «Ермак, покоритель Сибири» (1806) и А. С. Хомякова «Ермак» (соч. 1825—1826, пост. 1829, изд. 1832), стихотворение И. И. Дмитриева «Ермак» (1794), дума К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака» (1822), поэма А. А. Шишкова «Ермак» (1828), и др.), в том числе в повестях и романах: «Жизнь и деяния Ермака, завоевателя Сибири, выбранные из разных писателей, как российских, так и иностранных / Изд. И. Д.» (М., 1807; 2-е изд. М., 1827 под загл. «Ермак, завоеватель Сибири: Историческая повесть»), негативно встреченный критикой роман П. П. Свиньина «Ермак, или Покорение Сибири» (Ч. 1—4. СПб., 1834), анонимный лубочный роман «Ермак, покоритель Сибири» (Ч. 1—2. М., 1839; 6-е изд. М., 1848). Последний, представляющий собою переработку повести, издававшейся в 1807 и 1827 гг., вышел третьим изданием незадолго до начала работы Достоевского над «Бедными людьми». В этом произведении описывается страстная любовь Ермака и Велики, дочери гетмана, сцены их встреч изобилуют сентиментально-романтическими клише: «Он бросился перед ней на колени. Радость влюбленного была

неизъяснима. Восторг не давал свободы его языку... „Прекраснейшая из дев! Прости дерзости того, который осмелился простирать на дочь знаменитого гетмана взоры любви. Вини не меня, но любовь и мое сердце, против которых я не в силах противоборствовать". „Храбрый воин! — отвечала Велика, — я почла бы себя недостойною, если б презрела таким храбрым и честным воином, каков ты..." ⟨...⟩ Их пламенный и нежный разговор, а вместе с тем неизъяснимое беспокойство занимали все их внимание. Страстный юноша обнимал страстную Велику; ее голова лежала на его груди, орошаемой ее слезами...» (Ермак, покоритель Сибири. М., 1843. Ч. 1. С. 51—52, 75). Клишированное многочисленными текстами имя восточной красавицы Зюлейки Достоевский, вероятно, встречал в одноименном стихотворении И.-В. Гете («Suleika» (Nimmer will ich dich verlieren...), цикл «Книга Зюлейки», сб. «Западно-восточный диван»), известном в русском переводе А. А. Бестужева (1828), и в стихотворении В. Г. Бенедиктова «Не верю» («Говорят: султанша ты / Ты, Зюлейка, одалиска, / Верх восточной красоты...») (*Мельник В. И.* Пародия на В. Г. Бенедиктова в «Бедных людях» // *РЛ*. 1994. № 4. С. 178—179).

С. 66. *...Каменный Пояс!* — Уральские горы.

С. 66. *Любо мне шаркать железом о камень!* — Реминисценция из стихотворения В. Г. Бенедиктова «Возвратись» («О, весело шаркать железом о камень, И думать: вот скоро взыграет оно! Вот скоро при взмахе блеснет и присвистнет!»), впервые опубликованного: *БдЧ*. 1836. Т. 16. С. 161—163. Это стихотворение затем неоднократно перепечатывалось в «Стихотворениях Владимира Бенедиктова» (СПб., 1836, 1838, 1842). (Указано: *Мельник В. И.* Пародия на В. Г. Бенедиктова в «Бедных людях» // *РЛ*. 1994. № 4. С. 178).

С. 66. *«Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот самый, что укусил за ногу Прокофия Ивановича ~ всегда юбку надевает наизнанку»*. — Пародия на подражателей Н. В. Гоголя (см. выше, с. 660), обыгрывающая вступление к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и подсказанная Достоевскому, возможно, анонимными пародийными «Отрывками из повестей в современном вкусе», одним из которых была «юмористически-шутливая повесть» (*СО*. 1839. Т. 9. С. 85— 92), очевидным образом связанная с тем же произведением Гоголя.

С. 66. *...Ратазяев прекрасного поведения и потому превосходный писатель, не то что другие писатели.* — Возможная аллюзия на литературное и общественное кредо Ф. В. Булгарина, который своими печатными выступлениями создавал образ идеального «верноподданного писателя», ревностно служащего своей литературной деятельностью правительству (*Кузовкина Т. Д.* Феномен Булгарина: проблема литературной тактики: Дис. ... докт. филол. наук. Тарту, 2007. С. 122).

С. 67. *...контесса-дюшесса...* — Контесса (фр. comtesse) — графиня; дюшесса (фр. duchesse) — герцогиня.

С. 67. *Петля этот Ратазяев!* — Петля — здесь: плут, хитрец, проныра.

С. 67. *...пустили в ход такой романеи...* — Романея (устар.) — сладкое виноградное вино.

С. 67. *Ходит здесь по рукам Поль де Кока одно сочинение ~ он всех критиков петербургских в благородное негодование приводит.* — Поль де Кок (Paul de Kock, 1793—1871) — французский романист-бытописатель, чьи произведения имели большой успех в России, но консервативной критикой 1840-х гг. осуждались как «грязные». В своем биографическом очерке о писателе (*ЛГ.* 1842. 8 марта, № 10. С. 208—210) Н. А. Некрасов писал: «Журналы наши прокричали Поль де Кока безнравственным, тривиальным, грязным; они иногда даже отказывались говорить о его произведениях, опасаясь обвинения в дурном тоне. И вот мы начали припрятывать романы Поль де Кока ⟨...⟩ Мы доставали их ⟨...⟩ только украдкой, читали втихомолку, втихомолку смеялись, наслаждались и поучались, объявляя решительно, что не читаем и презираем Поль де Кока» (*Некрасов, 1981—2000.* Т. 11, кн. 1. С. 52). Девушкин, по всей видимости, говорит о романе «Женни, или Три цветочные рынка в Париже» (рус. пер.: М., 1844) (см. выше, с. 650).

С. 68. *Федора мне достала книжку — «Повести Белкина»...* — «Повести Белкина» до 1846 г. издавались трижды — в 1831, 1834 (в составе «Повестей, изданных Александром Пушкиным») и в 1838 г. (в томе VIII посмертного издания его «Сочинений»). Судя по приводимому Варварой Алексеевной заглавию, она посылала Девушкину первое из этих изданий.

С. 72. *Пойду к Неве, да и дело с концом ~ что же мне без вас делать останется!* — Завершив свой роман, Достоевский 4 мая 1845 г. написал брату М. М. Достоевскому: «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву. Что же делать?» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 110).

С. 72. *...ломовой извозчик...* — Извозчик, перевозивший тяжелые грузы.

С. 72. *...какая-нибудь там нищая старуха-пошлепница...* — Пошлепница — идущая шаркающей походкой, шлепая.

С. 72. *«Картину человека»...* — Имеется в виду изложение университетского курса философии А. И. Галича (1783—1848), лицейского преподавателя Пушкина, психолога и философа-идеалиста: «Картина человека, опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий, начертанный А. Галичем» (СПб., 1834). Отрывки из «Картины человека» читались, вероятно, отцом писателя на «семейных чтениях» в годы детства Достоевского. В 1840-х гг. и эта книга, и два другие произведения, перечисляемые Макаром Алексеевичем, воспринимались как символ отошедших в прошлое сентиментально-романтических представлений о человеке и литературных вкусов. Вместе с тем нравственные проблемы, поднятые в книге Галича, получили свое отражение в романе «Бедные люди» (см.: *Жилякова.* С. 20—26).

С. 72. *...«Мальчика, наигрывающего разные штучки на колокольчиках»...* — В романе французского писателя Ф. Г. Дюкре-Дю-

миниля (F. G. Ducray-Duminil; 1761—1819) «Маленький звонарь» (1809; русский перевод («Мальчик, наигрывающий разные штуки колокольчиками», тт. 1—4) — М., 1810 и 1820) изображена несчастная судьба мальчика, выросшего в нищете. Кончается роман счастливо: герой находит родных и из бродячего музыканта становится знатным графом.

С. 72. *«Ивиковы журавли»* — Баллада Ф. Шиллера (1797) в переводе В. А. Жуковского (1813).

С. 73. *...теперь всё пошли книжки с картинками и с разными описаниями...* — 1840-е годы — время широкого распространения в России «физиологического очерка». Подобного типа очерки («описания») сопровождались обычно гравированными изображениями («картинками») соответствующих «типов», т. е. представителей различных сословий и профессий. Например: альманах А. П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими» (СПб., 1841—1842. Вып. 1—14; факсимильное издание: М., 1986); «Картинки русских нравов» (СПб., 1842—1843. Кн. 1—6); альманах Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов» (СПб., 1844—1845. Ч. 1—2; переизд.: М., 1991).

С. 74. *Посылаю вам одну книжку ~ под названием «Шинель».* — Имеется в виду третий том «Сочинений» Н. В. Гоголя, вышедший в начале 1843 г. В нем была впервые опубликована повесть «Шинель».

С. 75. *...этому служить титулярным советником...* — Титулярный советник — согласно «Табели о рангах», гражданский чиновник 9-го класса, самый высокий из «низших чинов».

С. 76. *...в больших проступках и продерзостях никогда не замечен...* — Канцеляризм; подобного рода формулировки употреблялись при увольнении, награждении или переводе чиновника на новую должность.

С. 76. *...крестик выходил...* — См. с. 689, коммент. к с. 59.

С. 77. *...вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит...* — В 1830—1840-е гг. чиновник стал одной из центральных фигур на тематическом поле русской литературы, публицистики и театра. «Финский вестник» в 1846 г. писал: «...существо, известное у нас под общим названием *чиновник*, играет весьма страдательную роль и в литературе, и на сцене. Жалоба, что на бедных чиновников не нападает только разве ленивый, стала в последнее время повторяться во всех уголках читающего мира ⟨...⟩ и всякий писака ездит на бедном чиновнике как ему заблагорассудится; и, особенно, мелким, безответным чиновникам беда!» (*ФВ*. 1846. Т. 11. Отд. V. С. 45—46).

С. 77. *...того пункта, как ему бумажки на голову сыпали...* — В «Шинели» «...сыпали на голову ему ⟨Акакию Акакиевичу Башмачкину⟩ бумажки, называя это снегом» (*Гоголь*. Т. 3. С. 143).

С. 82. *...тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно не то чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали.* — Подобный

эпизод есть в «Станционном смотрителе» А. С. Пушкина, где Самсона Вырина «вытолкнули» «на лестницу» (*Пушкин*. Т. 8. С. 104). В романе Ф. В. Булгарина «Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни» (СПб., 1835) главного героя Вениамина Чухина сталкивают с парадной лестницы в доме князя Туманина (Ч. 1. С. 37).

С. 84. *...соте-папильйот...* — Мясо, приготовленное в обертке из пергаментной бумаги (фр. sauté en papillote).

С. 85. *И роман вздор, и для вздора написан ~ и Шекспир вздор, всё это сущий вздор, и всё для одного пасквиля сделано!* — См. с. 699, коммент. к с. 119.

С. 85. *...у вас слог чрезвычайно неровный.* — Ср. в «Записках сумасшедшего» замечание Поприщина по поводу переписки собачек: «Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал» (*Гоголь*. Т. 3. С. 203; отмечено: *Бочаров*. С. 53).

С. 86. *...жизнёночек вы мой...* — Этот эпитет встречается в письмах М. А. Достоевского, отца писателя, к жене М. Ф. Достоевской: «Прощай, душа моя, голобице моя, радость моя, жизненочек мой...» (*Нечаева. В семье и усадьбе*. С. 81; *Нечаева. Ранний Достоевский*. С. 151). Это устарелое для 1840-х гг. слово (см.: Словарь русского языка XVIII века. СПб., 1992. Вып. 7. С. 133) Достоевский употребил и в переводе «Евгении Гранде» (см. с. 339, 429).

С. 86. *...перо у него — чистый английский почерк...* — Согласно представлениям, царившим в эти годы в канцеляриях России, в отличие от «французского» стиля, предполагавшего мелкое написание букв, «испанского», с характерными вычурными завитушками, и угловатого «немецкого», «английский» стиль письма отличался сдержанностью и простотой, без росчерков и завитушек, предоставляя максимум удобства для текущего канцелярского делопроизводства. Ср. в «Идиоте»: «Ну, вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт: дальше уж изящество не может идти, тут всё прелесть, бисер, жемчуг; это законченно» (ч. 1, гл. 3).

С. 87. *...на Выборгской...* — Выборгская сторона — в 1840-е гг. окраинный район Петербурга на северо-западе города, расположен на правом берегу рек Нева и Большая Невка.

С. 87. *...14-го класса какой-то.* — Коллежский регистратор, низший класс Табели о рангах.

С. 90. *На рубль серебром куплю сапоги...* — По свидетельству современника, обычная стоимость пары простых сапог в Петербурге была два рубля ассигнациями; один рубль серебром (3 руб. 50 коп. асс.) стоила обувь высокого качества (*Сумароков П.* Старый и новый быт // Маяк современного просвещения и образованности. СПб., 1841. Ч. 16. С. 35).

С. 90. *...мне без пуговок быть нельзя ~ его превосходительство могут такой беспорядок заметить да скажут — да что скажут!* — На однобортном гражданском мундире 1830—1840-х гг., независимо от чина и ведомства, полагалось двадцать пять круглых

металлических пуговиц. Отсутствие пуговиц на мундире было грубейшим нарушением формы одежды.

С. 93. *...Воскресенского моста...* — Воскресенский наплавной мост, соединявший Литейную часть с Выборгской стороной, находился в створе Воскресенского пр. (ныне — пр. Чернышевского).

С. 93. *...спросил-таки будочника...* — Будочник — полицейский чин, выполнявший функции часового и следивший за порядком на вверенном ему участке города. Для защиты от непогоды для них на перекрестках улиц ставили небольшие деревянные постройки, где, сменяя друг друга, дежурили два будочника. Эти же помещения предназначались и для содержания задержанных ими лиц.

С. 93. *Будочник такой грубиян, говорит нехотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цедит ~ Будочники эти все такие нечувствительные...* — Ср. в «Шинели» Н. В. Гоголя: «...натолкнулся на будочника, который ⟨...⟩ натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку ⟨...⟩ будочник сказал: „Чего лезешь в самое рыло..."» (*Гоголь*. Т. 3. С. 152; указано: *Бем, У истоков*. С. 493).

С. 95. *...конкетами разными занимаюсь ~ вы, дескать, Ловелас...* — Конкет (фр. conquête) — завоевание, победа; Ловелас — обольститель женщин, нарицательное употребление имени героя романа английского писателя С. Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу» (1747—1748) (см. также ниже, с. 698—699, коммент. к с. 112).

С. 96. *...точно оглашенный какой-нибудь...* — Оглашенный — готовящийся к крещению и наставляемый в основах веры; допускаемый в церковь не далее притвора, он при возгласе на литургии дьякона «Оглашенные, изыдите!» обязан из нее выйти. Здесь: потерявший свое место в жизни, отверженный, изгой.

С. 97. *...помните, что бедность не порок.* — Первая часть ряда пословиц, например: «Бедность не стыд, не порок», «Бедность не порок, а несчастье» (*Даль*. Т. 1. С. 152).

С. 97. *И мудрецы греческие без сапог хаживали...* — Имеются в виду античные философы Сократ и Диоген Синопский, которые, по сохранившимся о них биографическим сведениям, ходили босыми и зимой, и летом.

С. 99. *...мое детство, мое золотое детство!* — В следующем далее описании детства как «золотого века» содержится аллюзия на литературные традиции идиллии, а также на личные впечатления писателя от жизни в селе Даровом в 1830-е гг. (См.: *Седельникова О. В.* Об антологической природе социальной утопии в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди» // Проблемы литературных жанров. Томск, 1999. С. 273—279).

С. 100. *...посиделки...* — «Сборище крестьянской молодежи, по осенним и зимним ночам, под видом рукоделья, пряжи, а более для рóсказней, забав и песен» (*Даль*. Т. 3. С. 864—865).

С. 100. *...чей-то голос, как будто кто-то шепчет: «Беги, беги, дитя, не опаздывай; страшно здесь будет тотчас, беги, дитя!» — ужас пройдет по сердцу, и бежишь-бежишь так, что дух*

*занимается.* — Воспоминание детства Ф. М. Достоевского, связанное с его жизнью в Даровом летом 1832 г., описанное в «Дневнике писателя» за 1876 год: «Мне припомнился август месяц в нашей деревне ⟨...⟩ Я прошел за гумна ⟨...⟩ забился гуще в кусты ⟨...⟩ Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: „Волк бежит". Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика» (*ДП.* 1876. Февраль. Гл. 1, § 3 — *Акад. ПСС.* Т. 22. С. 47—48).

С. 100. *...старая няня Ульяна...* — Ее прототипом была Ульяна Ивановна Чеботарева, коллежская секретарша, рано овдовевшая, около шести лет служившая няней в семействе Достоевских (*Федоров Г. А.* Фроловна и Ульяна // Лит. Россия. 1987. 20 ноября, № 47; *Федоров.* С. 64).

С. 100—101. *...это гудит самопрялка...* — Самопрялка — устройство для прядения ниток из шерсти, льна или хлопка, вошедшее в русский быт с начала XIX в. От обычной прялки отличалось наличием ножного привода и вращающейся посредством его вилки с зубцами, с помощью чего готовая нить равномерно наматывалась на бобину.

С. 101. *...у старой Фроловны...* — См. с. 684, коммент. к с. 30. В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский отметил ее талант сказочницы (*ДП.* 1876. Апрель. Гл. 1, § 3); за доброту и бескорыстие писатель считал ее «святой» (*Акад. ПСС.* Т. 24. С. 181).

С. 102. *В шестом часу уж смеркается...* — 5 сентября 1844 г., по действовавшему в России юлианскому календарю (17 сентября по новому стилю), заход солнца в Санкт-Петербурге происходил в 6 ч. 12 мин. (Месяцеслов на (високосный) 1844 год. СПб., 1843. С. 25), что соответствует в современном принятом в России в 2011 году времяисчислении 8 ч. 12 мин. вечера.

С. 102. *Сажень* — мера длины, равная 2,134 м; применялась также «маховая сажень», равная 176 см.

С. 103. *...зачем одному еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит?* — Ворона-судьба — зооморфный образ, характерный для народно-поэтической орнитологии, означает фатальный характер обстоятельств, управляющих жизнью человека (см.: *Сумцов Н. Ф.* Ворон в народной словесности // Этнографическое обозрение. 1890. № 1. С. 61—86). Воспитательный дом — государственный приют для брошенных детей и сирот.

С. 103. *...холстинковом ветхом платьице...* — Холстинка — льняное или хлопчатобумажное полотно, обычно кустарного изготовления.

С. 104. *...в своем смысле, в благородном-то, в дворянском-то отношении...* — Как чиновник 9 класса по Табели о рангах (титулярный советник; см. с. 86 и с. 694, коммент. к с. 75) Макар Девушкин имел право личного (не передаваемого по наследству) дворянства.

С. 106. *...этажом выше или ниже, в позлащенных палатах...* — В петербургских доходных домах самые дорогие квартиры с высокими

потолками располагались на втором этаже, в то время как первый и верхние этажи занимала публика менее состоятельная.

С. 108. *Дело это его замарало немного; его исключили из службы...* — См. с. 686, коммент. к с. 34.

С. 108. *...всё в крючках ~ купец еще крючок...* — Крючок — умышленное затягивание, запутывание судебного дела; крючкотвор.

С. 110. *...Как же это вы, сударь!* — В канцеляриях России вплоть до конца 1830-х гг. было принято обращение к подчиненным на «ты». В начале 1840-х Николай I, руководствуясь идеей «возвысить гражданскую службу», потребовал использовать более вежливые формы обращения начальников к своим подчиненным. В связи с этим уже повсеместно в 1840-х гг. в министерских департаментах было принято обращение на «вы» (см.: *Строев В. Н.* Столетие Собственной его императорского величества канцелярии. СПб., 1912. С. 185).

С. 110. *...пуговка, что висела у меня на ниточке, — вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась...* — Д. В. Григорович вспоминал, что, слушая в его авторском чтении еще не опубликованный очерк «Петербургские шарманщики», Достоевский сделал замечание, которое явилось для Григоровича «целым откровением»: «У меня было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. „Не то, не то, — раздраженно заговорил вдруг Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, *звеня* и *подпрыгивая*...“ ⟨...⟩ этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым, художественно-литературным приемом» (*Достоевский в воспоминаниях, 1990*. Т. 1. С. 205). В сцене, где Макар Девушкин неловко старается поднять оторвавшуюся у него в присутствии начальника пуговицу, Григорович отметил влияние сцены из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя, в которой «дочь директора роняет платок и Поприщин, бросившись подымать его, скользит на паркете и чуть не разбивает себе нос» (Там же. С. 210; см.: *Гоголь*. Т. 3. С. 197).

С. 111. *...поспешно вынимают книжник...* — Книжник (устар.) — бумажник.

С. 111. *...соломе...* — здесь: о слабом, зависимом от обстоятельств человеке; ср. в Библии: «Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром» (Пс. 82, 14).

С. 111. *Бог видит всё...* — Парафраз библейских текстов: «Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги Его» (Иов 34, 21); «Потому Господь совершенно ясно видит все дела ваши» (3 Езд. 16, 65).

С. 112. *А что тогда Ловласом-то он меня назвал...* — Изменение в *1847* и последующих изданиях употребленной Девушкиным в письме от 11 августа (см. с. 95) и повторенной в *Пс* и в комментируемом письме (см. варианты, с. 630) формы «Ловелас» на

«Ловлас» могло быть вызвано реминисценцией пушкинских стихов из «Евгения Онегина»:

Не потому чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла

(Гл. 2, строфа 30. 3—4)

и

Ловласов обветшала слава

(Гл. 4, строфа 7. 12).

С. 113. *«Пчелку» прочел.* — Имеется в виду газета «Северная пчела», издававшаяся в 1825—1864 гг. в Петербурге Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем. Н. В. Гоголь в «Записках сумасшедшего» (1835) иронически изобразил «Северную пчелу» как «классическое» чтение мелкого чиновника (*Гоголь.* Т. 3. С. 196).

С. 116. *«Что, батюшка, честь, когда нечего есть...»* — Пословицы: «Велика честь, да нечего есть»; «И честь не в честь, коли нечего есть»; «Худая честь, коли нечего есть»; «Нелюба и честь (пропадай и честь), как нечего есть» (*Даль.* Т. 4. С. 599).

С. 117. *...ни дня, ни часа не ведаешь...* — Реминисценция Евангелия от Матфея: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Мф. 25, 13).

С. 119. *...он сказал мне, что всё вздор, что всё это романы ~ что книги только нравственность портят...* — Вероятный отзвук переписки с П. А. Карепиным, опекуном Ф. М. Достоевского, не разрешавшим подопечному отставку из Инженерной команды и занятий литературным трудом. Так, в письме от 5 сентября 1844 г. П. А. Карепин увещевал Достоевского следующими доводами: «Вам ли оставаться при софизмах портических, в отвлеченной лени и неге шекспировских мечтаний? На что они, что в них вещественного, кроме распаленного, раздутого, распухлого — преувеличенного, но пузырного образа? Тогда как в вещественности Вам указан и открыт путь чести, труда уважительного, пользы общественной не в рабских подражаниях чужому видению, но в произведениях собственного ума и знания...» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 421—422). Достоевский отвечал Карепину 19 сентября 1844 г., и в частности писал: «Странно: за что так больно досталось от Вас Шекспиру. Бедный Шекспир!» (Там же. С. 98). Комментируемый фрагмент содержится в письме Варвары Доброселовой от 23 сентября; между тем еще письмо Макара Девушкина от 1 августа, т. е. сочиненное Достоевским месяцем ранее получения возмутивших его наставлений П. А. Карепина, заканчивалось тирадой, близкой к комментируемой: «И роман вздор, и для вздора написан, так, праздным людям читать: поверьте мне, маточка, опытности моей многолетней поверьте. И что там, если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, в литературе Шекспир есть, — так и Шекспир вздор, всё это сущий вздор, и всё для одного пасквиля сделано!» (См. выше, с. 85).

С. 121. *...у нас недостает блонд...* — Блонды (фр. blonde) — шелковое кружево.

С. 122. *...к мадам Шифон в Гороховую...* — В имени модистки обыгрывается французское слово «chiffon» — тряпка, лоскут, клок ткани.

С. 122. *...вчера побил приказчика дома...* — Приказчик дома (старший дворник, помощник домовладельца) нанимался для исполнения функций домоуправителя.

С. 122. *...насчет канзу ~ широкой фальбалой.* — Канзу (канезу, фр. canezou) — косынка или платок из легкой ткани или кружев с длинными концами, который носили, перекрестив концы на груди и завязывая их на талии; крошь (фр. crochet — вязальный крючок), тамбур (фр. tambour à broder — круглые пяльцы), кордонне (фр. cordonnet — шнурок, тесьма), гладь — различные способы вышивки; фальбала (фр. falbala) — оборка.

С. 125. *Сентября 30.* — Дата прощального письма Вареньки совпадает с датою письма, в котором Ф. М. Достоевский сообщал брату Михаилу Михайловичу о скором окончании первой редакции романа «Бедные люди» (см. выше, с. 649).

С. 126. *Там степь, родная моя, там степь, голая степь...* — В романе Н.-Ж. Леонара (см. с. 686, коммент. к с. 33) Тереза сравнивает жизнь в разлуке с Фальдони со «степью необитаемой» (*Леонар Н.-Ж.* Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живших в Лионе. 2-е изд. М., 1816. Т. 1. С. 7; указано: *Жилякова.* С. 56).

## ДВОЙНИК

(С. 129, 471)

### Источники текста

*ЧН*$_1$ — Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести в записной книжке № 1. 1861—1862 (?). Хранится в отделе рукописей *РГБ*, ф. 93, I.2.6, с. 61—63, 65, 66 (см.: *Описание*, с. 53).

*ЧН*$_2$ — Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести в записной книжке № 2. 1862—1864 (?). Хранится в отделе рукописей *РГБ*, ф. 93, I.2.7, с. 16—19, 21, 22 (см.: *Описание*, с. 54; здесь же факсимиле с. 21 этой записной книжки).

*ОЗ.* 1846. № 2. Отд. I. С. 274—428.

*1866.* Т. 3. С. 64—128.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *ОЗ.* 1846. № 2, с подзаголовком «Приключения господина Голядкина» и подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 24 января 1846 г.).

Печатается по тексту *1866* с устранением явных опечаток, не замеченных Достоевским, и со следующими исправлениями по *ОЗ* и одним редакторским:

*С. 172, строка 38*: «неинтересованного» вместо «неинтересного».

*С. 178, строка 24*: «позволят» вместо «позволит».

*С. 210, строка 20*: «обворовав» вместо «обворовать».

*С. 213, строка 14*: «уничиженно» вместо «униженно».

*С. 213, строка 33*: «поминать» вместо «понимать».

*С. 215, строка 1*: «правдолюбивого» вместо «правдоподобного».

*С. 216, строка 35*: «там-то» вместо «так-то».

*С. 216, строка 42*: «то всё это» вместо «это, всё это».

*С. 222, строка 35*: «был и того, и сего» вместо «было и того, и сего».

*С. 224, строки 42—44*: «заметив ошибку свою, тут же, в собственных же глазах преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека» вместо «заметив ошибку преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека».

*С. 225, строки 25—26*: «и вместе с тем исступленного настоящего» вместо «и вместе с тем настоящего».

*С. 227, строка 36*: «не знаете-с» вместо «знаете-с».

*С. 242, строка 7*: «заране» вместо «заранее».

*С. 244, строка 12*: «сударыня вы моя» вместо «сударыня моя, вы моя» (*Ред.*).

*С. 252, строка 3*: «то есть, что́ я...» вместо «то есть, что я...».

*С. 255, строка 24*: «что и» вместо «и что».

*С. 262, строка 4*: «под руки» вместо «под руку».

Текст *ОЗ* печатается в разделе «Другие редакции» на с. 471—607 со следующими исправлениями по *1866* и одним редакторским:

*С. 513, строка 29*: «То есть как же-с! Да-с!» вместо «Т. е. Как же-с? Да-с?»

*С. 571, строка 27*: «чувствовал удовольствие» вместо «чувствовал удовольствия».

*С. 589, строка 46*: «хваленая наша» вместо «хваленая каша».[1]

*С. 590, строка 16*: «сударыня вы моя» вместо «сударыня моя, вы моя» (*Ред.*).

В тексте *1866* наряду с формами «этак», «этакой», перешедшими в него из текста *ОЗ* (где они употреблены во всех случаях), многократно набрано «эдак», «эдакой», причем оба написания образуют внутри текста массивы (*1866*. Т. 3. С. 69—103: «этак», с единичным вкраплением на с. 69 «эдак»; с. 105—126: «эдак», с единичным

---

[1] Вариант *ОЗ* может быть опечаткой или подразумевать намек на пословицу «каша сама себя хвалит»; последний, однако, содержит смысловую неточность (девица, хваленая сама собою), замеченную и устраненную исправлением в *1866*.

вкраплением на с. 124 «этак»). Эта особенность, в сочетании с общим преобладанием в томе формы «эдак», указывает на непоследовательное вмешательство корректора. Тем же объясняется и написание «штрибка» вместо употребленного в *ОЗ* «штрипка». В настоящем издании приняты написания текста *ОЗ*: «этак», «этакой», «штрипка».

Слова, обозначенные сокращениями «г.», «г-н» и «т. е.», печатаются в обеих редакциях везде в полном виде: «господин» и «то есть». В первой редакции сокращение «г.» встречается (на фоне множественного употребления полной формы слова) лишь 4 раза в тексте и 13 раз в заголовках, излагающих содержание глав, причем в ряде заголовков соседствует с полными написаниями, а в некоторых вообще отсутствует, что свидетельствует о его чисто механическом применении. Во второй редакции на трех последних страницах текста (*1866*. Т. 3. С. 126—128, в диапазоне, соответствующем настоящему тому, с. 258.19—261.28) употреблено последовательно, с единичными исключениями, сокращение «г-н» с очевидною целью вместить окончание текста на с. 128, не дав ему перейти на следующую, где начинается рассказ «Елка и свадьба». О механическом использовании при письме сокращения «т. е.» говорит многократное употребление его в прямой речи, в том числе начальным элементом реплик персонажей (например, в позициях, соответствующих в наст. томе с. 175.1 и 219.27 и 28).

Сохранены различные написания иностранных слов, отражающие вариативность их произношения («портфель» — «портфёль», «мебель» — «мёбель», «пасквиль» — «пашквиль» и др.).

В тексте первой редакции имя тетушки Голядкина-младшего воспроизведено по тексту *ОЗ* в обеих его формах: просторечной (Палагея) и литературной (Пелагея).

Сохранены пунктуационные различия между текстами первой и второй редакций в случаях, когда иная расстановка знаков препинания существенно меняет интонацию и смысл фразы (ср., например, с. 514.42 и 176.23).

4 мая 1845 г., после окончания «Бедных людей», Достоевский писал старшему брату: «Есть у меня много новых идей, которые, если 1-й роман пристроится, упрочат мою литературную известность» (*Акад. ПСС*. Т. 28, кн. 1. С. 109). Можно предполагать, что в числе этих «идей» имелся в виду и замысел «Двойника». Но к писанию повести Достоевский приступил, по собственному его свидетельству, несколько позднее — «летом» 1845 г., «уже после знакомства с Белинским» (*ДП*. 1877. Ноябрь. Гл. 1, § 2 — *Акад. ПСС*. Т. 26. С. 65). Скорее всего, работа над «Двойником» была начата уже после отъезда Достоевского из Петербурга в Ревель, куда он прибыл 9 июня и где провел лето в семье М. М. Достоевского (см.: *Летопись*. Т. 1. С. 98—99). Как видно из письма к брату, датированного началом сентября, тотчас же по возвращении в Петербург, Достоевский, живя у брата и обдумывая план «Двойника», делился с М. М. Достоевским своими замыслами и читал ему написанные страницы повести. Назы-

вая себя в указанном письме «настоящим Голядкиным», Достоевский обещает брату «завтра же» заняться «Двойником». И далее, возвращаясь к проходящей через всё письмо теме плохого настроения, овладевшего им на обратном пути морем в Петербург и усилившегося по приезде в столицу, он добавляет: «Голядкин выиграл от моего сплина. Родились две мысли и одно новое положение» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 112).

Работа над «Двойником», начатая летом 1845 г., возобновилась в сентябре и продолжалась в течение всей осени и начала зимы. Белинский, с нетерпением ожидавший следующего — после «Бедных людей» — произведения Достоевского, по словам писателя, «с самого начала осени 45-го года, очень интересовался этой новой моей работой» (*ДП.* 1877. Ноябрь. Гл. 1, § 2 — *Акад. ПСС.* Т. 26. С. 65).

8 октября 1845 г. Достоевский пишет брату: «*Яков Петрович Голядкин* выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему; никак не хочет вперед идти, претендуя, что еще ведь он не готов, а что он теперь покамест сам по себе, что он ничего, ни в одном глазу, а что, пожалуй, если уж на то пошло, то и он тоже может, почему же и нет, отчего же и нет? Он ведь такой, как и все, он только так себе, а то такой, как и все. Что ему! Подлец, страшный подлец! Раньше половины ноября никак не соглашается окончить карьеру. Он уж теперь объяснился с е⟨го⟩ превосходительством и, пожалуй (отчего же нет), готов подать в отставку. А меня, своего сочинителя, ставит в крайне невыгодное положение ⟨...⟩. Белинский понукает меня дописывать Голядкина. Уж он разгласил о нем во всем литературн⟨ом⟩ мире и чуть не запродал Краевскому...» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 113).

Как можно судить, сопоставив приведенное письмо с позднейшим рассказом Достоевского в «Дневнике писателя», около этого времени Белинский не только «запродал» Краевскому еще не оконченного «Двойника», но и познакомил с Краевским самого Достоевского, который «уговорился» с издателем «Отечественных записок» о предоставлении ему повести «для первых месяцев наступающего 46-го года» (*ДП.* 1877. Ноябрь. Гл. 1, § 2 — *Акад. ПСС.* Т. 26. С. 65).

Несмотря на обещание, данное брату (а, вероятно, также и Краевскому), кончить повесть к 15 ноября, Достоевскому не удалось завершить ее к этому сроку. В связи с этим 16 ноября он писал М. М. Достоевскому: «Голядкин до сей поры еще не кончен; а нужно кончить непременно к 25-му числу ⟨...⟩. Голядкин выходит превосходно; это будет мой chef-d'oeuvre» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 115, 116). Но 25 ноября повесть не была закончена, и работа над ней продолжалась вплоть до 28 января 1846 г., т. е. почти до самого выхода в свет книжки «Отечественных записок». Книжка эта вышла через четыре дня (1 февраля). Достоевский сообщал в день ее выхода брату: «...я до самого последнего времени, т. е. до 28-го числа, *кончал моего подлеца Голядкина*. Ужас! Вот каковы человеческие расчеты: хотел было кончить до августа и протянул до февраля!». И далее: «Сегодня

выходит Голядкин. *4 дня* тому назад я еще писал его. В „Отечестве⟨нных⟩ записках" он займет 11 листов. Голядкин в 10 раз выше „Бедных людей". Наши говорят, что после „Мертвых душ" на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное и чего-чего не говорят они! ⟨...⟩ Действительно, Голядкин удался мне донельзя» (Там же. С. 117, 118).

Еще до окончания «Двойника», в начале декабря 1845 г., Достоевский на вечере у Белинского прочитал в присутствии И. С. Тургенева и других членов кружка Белинского первые главы повести, имевшие в его чтении большой успех: «...в начале декабря 45-го года Белинский, — писал он об этом, — настоял, чтоб я прочел у него хоть две-три главы этой повести. Для этого он устроил даже вечер (чего почти никогда не делывал) и созвал своих близких. На вечере, помню, был Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь половину того, что я прочел, похвалил и уехал, очень куда-то спешил. Три или четыре главы, которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Белинский не знал конца повести и находился под обаянием „Бедных людей"» (*ДП*. 1877. Ноябрь. Гл. 1, § 2 — *Акад. ПСС*. Т. 26. С. 65—66).

Однако после появления на страницах «Отечественных записок» «Двойник» вызвал в кругу Белинского разочарование, и это заставило автора переоценить его. Об этом Достоевский сообщал старшему брату 1 апреля 1846 г.: «Но вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский и все мною недовольны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе — критика. Именно: все, все с общего говору, т. е. *наши* и вся публика, нашли, что до того Голядкин скучен и вял, до того растянут, что читать нет возможности. Но что всего комичнее, так это то, что все сердятся на меня за растянутость и все до одного читают напропалую и перечитывают напропалую. ⟨...⟩ Что же касается до меня, то я даже на некоторое мгновение впал в уныние. ⟨...⟩ Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении. 1-я половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя» (*Акад. ПСС*. Т. 28, кн. 1. С. 119—120).

Отрицательные отзывы о «Двойнике» побудили Достоевского уже в октябре 1846 г. думать о переработке повести. Об этом он писал брату в конце октября («...я решаюсь издать „Бедных людей" и обделанного „Двойника" отдельными книжками» — *Акад. ПСС*. Т. 28, кн. 1. С. 131). Но задуманные Достоевским новые издания повестей, как он сообщил 26 ноября 1846 г., «лопнули и не состоялись» (Там же. С. 133). Да и отношение автора к повести в это время окончательно еще не определилось и, по-видимому, колебалось под влиянием читательских отзывов. Так в письме от января—февраля 1847 г. Достоевский писал брату: «О Голядкине я слышу исподтишка (и от многих)

такие слухи, что ужас. Иные прямо говорят, что это произведение *чудо* и не понято. Что ему страшная роль в будущем, что если б я написал одного Голядкина, то довольно с меня, и что для иных оно интереснее дюмасовского интереса» (Там же. С. 139). В связи с этим об издании «перед⟨еланного⟩» «Двойника» Достоевский снова писал брату в апреле 1847 г. (Там же. С. 141). Но арест по делу петрашевцев помешал писателю приступить к осуществлению планов переделки «Двойника», и он смог вернуться к ним только после окончания сибирской ссылки, находясь в Твери, осенью 1859 г. В написанном здесь письме к брату от 1 октября 1859 г. Достоевский, излагая проект издания своих сочинений, сообщает ему о своем желании включить в это издание «совершенно переделанного „Двойника"», которого он намеревается сдать в цензуру в декабре (Там же. С. 339—340). Но уже 9 октября Достоевский отказывается от мысли о переработке «Двойника» для задуманного издания сочинений и, посылая брату его новый, уточненный план (без «Двойника»), пишет по этому поводу: «„Двойник" исключен, я издам его впоследствии, *при успехе*, отдельно, совершенно переделав и с предисловием» (Там же. С. 350).

В результате переработка «Двойника» была снова отложена, и он не вошел в первое двухтомное собрание сочинений Достоевского, вышедшее в 1860 г. в Москве в издании Н. А. Основского.

Лишь после выхода в свет издания Основского Достоевский вернулся к мысли о переработке «Двойника». О том, что мысль эта не была им оставлена, свидетельствуют черновые записи в двух его записных книжках (№ 1 и 2; *РГБ*, ф. 93, I.2.6 и 7), первая из которых относится, по-видимому, к 1861—1862, а вторая — к 1862—1864 гг. Записи эти, впервые изученные, частично опубликованные и прокомментированные Р. И. Аванесовым в статье «Достоевский в работе над „Двойником"» (см.: *Аванесов*. С. 161—169) и позднее, уже после выхода *Акад. ПСС*, т. 1, заново проанализированные Л. М. Розенблюм (см.: *Розенблюм*. С. 89—98) воспроизводятся в наст. томе в разделе «Другие редакции» на с. 607—614. В них отражены новые идеи, дополнительные сцены и эпизоды, которые рождались в сознании писателя в 1861—1864 гг.: в процессе обдумывания переработки «Двойника» он многократно мысленно возвращался в ходе работы к одним и тем же ситуациям, фиксируя их в своих записях для памяти каждый раз с новыми подробностями и уточнениями. Поэтому мы встречаемся в записях Достоевского с несколькими последовательными этапами разработки одних и тех же основных сцен и сюжетных положений, каждый раз обраставших при повторном обращении к ним новыми смысловыми оттенками и впечатляющими деталями.

Главная особенность задуманной в это время редакции «Двойника» (коренным образом отличающая ее от редакции *ОЗ*) состояла в намерении ввести в текст повести многочисленные остро злободневные публицистические мотивы. Следует напомнить, что новая редакция «Двойника» обдумывалась и планы ее отдельных эпизодов набрасыва-

лись Достоевским вскоре после того, как он стал журналистом, в период интенсивной работы над статьями для «Времени» и «Эпохи». В самом тексте записных книжек памятные заметки для новой редакции «Двойника» набросаны среди записей к публицистике Достоевского, а также к «Скверному анекдоту» и другим произведениям начала 1860-х гг. (характерными чертами последних являются та же острая публицистичность и широта идеологической проблематики, что и в записях для будущего «Двойника»).

Заметки Достоевского к «Двойнику» в его записных книжках можно разбить на две группы. Одна из них — это планы новых ситуаций и эпизодов, связанных с основной сюжетной линией повести — неудачным сватовством героя к Кларе Олсуфьевне и превращением Голядкина-младшего из его мнимого друга в предателя и врага, издевающегося над ним и выбалтывающего те робкие, затаенные признания и мечты, которые герой доверил ему при первом посещении гостем его дома (сюда относятся обещание младшего Голядкина помогать старшему в борьбе за руку Клары Олсуфьевны, их «пети жё», «мечты» и сентиментальные признания, разговоры героя с Петрушкой, дуэль с генералом и поручиком, на которой Голядкин-младший выступает в роли секунданта и замещает старшего, и т. д.). Другая группа эпизодов переносит действие на общественную арену и насыщает его злободневными мотивами. Вложенные в первой редакции повести в уста старшего Голядкина мысли об отношении к начальникам как к «отцам» и «благодетелям» Достоевский теперь хочет передать младшему Голядкину, превращая их в одно из орудий психологического «соблазна» в его устах. В то же время, характеризуя эти мысли иронически как «анатомию всех русских отношений к начальству», Достоевский собирается, по-видимому, значительно шире развернуть анализ этих отношений. В числе сцен, намеченных для новой редакции, имеются сцены вступления героя в «прогрессисты», его появления «в высшем обществе» и на собрании у Петрашевского, где младший Голядкин выступает с речью о «системе Фурье», а затем играет роль доносчика. В соответствии с этим для сцены признаний старшего Голядкина младшему намечается новый поворот: «Мечты сделаться Наполеоном, Периклом, предводителем русского восстания». В числе других психологических «соблазнов», которые смущают Голядкина, упоминаются естественные науки и связанный с ними атеизм («кислород и водород»). Наконец, Голядкина в результате наветов его вероломного друга обвиняют в том, что он «Гарибальди», и это побуждает его «справляться о Гарибальди в разных министерствах». В последних из приведенных записей отчетливо отражены характерные черты мировоззрения и творческой манеры Достоевского уже не 1840-х, а 1860-х гг. — замысел его обрастает полемическими аллюзиями, насыщаясь мотивами полемики с «нигилизмом» и атеизмом.

Мысль о расширении границ первоначального замысла и насыщении «Двойника» новой сложной, идеологической и политической, проблематикой, вероятно, сильно занимала Достоевского в 1861—

1865 гг. Тем не менее задуманная переработка повести не была осуществлена и, кроме фрагментарных записей в записных книжках, мы не располагаем никакими другими свидетельствами об его творческих замыслах, к ней относящихся. По-видимому, к писанию новой редакции повести или хотя бы к более тщательной разработке конспективно намеченных им эпизодов Достоевский в это время так и не приступил. Лишь летом или осенью 1866 г., готовя третий том нового издания своих сочинений, Достоевский наконец смог осуществить свой давнишний замысел и переделать «Двойника». Отказавшись от разработки намеченных им новых тем (и, по-видимому, придя к выводу, что включение их в повесть не могло быть осуществлено успешно без ломки всего ее замысла и композиции, нарушило бы ее художественное единство), Достоевский постарался вместо этого более четко выявить основные линии своего прежнего замысла. Для этого он освободил повесть от ряда второстепенных эпизодов и мотивов, замедлявших действие и отвлекавших внимание читателя от ее основной социальной и нравственно-психологической проблематики (так, Достоевским были ослаблены более подробно развитые в первой редакции размышления героя о «самозванстве» двойника, изъявления его «вольнодумства», выпущен ряд диалогов между обоими Голядкиными, сокращена воображаемая переписка Голядкина с Вахрамеевым, переделана концовка повести и т. д.). Следуя советам Белинского и других критиков, Достоевский постарался освободить повесть от многочисленных повторений, затруднявших ее читательское восприятие. Были сняты комические заголовки отдельных глав первой редакции (близкие по своему стилю аналогичным заголовкам глав у Жан-Поля, Гофмана, Диккенса) и перенумерованы самые главы (в *ОЗ* вслед за гл. X следовала глава, помеченная ошибочно как XII (в самом же деле — XI); в издании 1866 г. обе эти главы сокращены и объединены в одну). Наконец, вместо «Приключения господина Голядкина» во второй редакции повесть получила подзаголовок «Петербургская поэма». Это позволило автору соотнести ее по жанру с «Мертвыми душами» и в то же время еще больше подчеркнуть ключевую для нее, в понимании Достоевского 1860-х гг., тему Петербурга, связанную с размышлениями писателя о «петербургском периоде русской истории» и о характерных для него социально-психологических призраках и фантомах (более подробный анализ отличий редакций *ОЗ* и *1866* см.: *Аванесов*. С. 169—191). С редакцией *1866* совпадает вышедший тогда же текст отдельного издания повести: Двойник. Петербургская поэма Ф. М. Достоевского. Новое, переделанное издание. Издание и собственность Ф. Стелловского. СПб., 1866.

Вопрос, какая редакция: *ОЗ* или *1866* — должна помещаться в корпусе произведений Ф. М. Достоевского, окончательного решения, по-видимому, не имеет. Каждая имеет сторонников, выдвигающих в обоснование своей точки зрения серьезные аргументы. В данном издании, где, в соответствии с принятым в *Акад. ПСС* правилом, основными признаются последние прижизненные публикации, текст 1866 г.

печатается в корпусе произведений, составляющих том, а журнальный (*ОЗ*) вынесен в отдел «Другие редакции».

Так же как «Бедные люди», «Двойник» генетически во многом связан с художественным миром Гоголя и с поэтикой гоголевских петербургских повестей. На это указывала уже прижизненная критика (см. об этом ниже). Основные сюжетные узлы повести — поражение бедного чиновника (фамилия Голядкин образована от «голядá, голядка», что, по Далю, значит: голь, нищета — см.: *Даль*. Т. 1. С. 372[1]) в

---

[1] В позднейших исследованиях фамилия Голядкина получила иное толкование, а также были предложены мифопоэтические, символические и другие объяснения его имени и отчества, как и фамилий прочих персонажей. В. Н. Топоров, с опорой на наблюдения Г. А. Федорова (*Федоров*. С. 250), поставил образ героя «Двойника» в связь с темой голяди и берендеев в русских летописях раннемосковской истории (Достоевский мог знать о них из «Истории» Карамзина) (*Топоров, «Умышленность» Достоевского*). Представленные В. Н. Топоровым наблюдения оказались значимы для В. Н. Захарова, который расширил сопоставление и пришел к выводу о воплощении в конфликте Голядкина и Берендеева идеи противостояния Петербурга и Москвы, открыв в теме двойничества новые смыслы. Замысел повести прочитывается в этом контексте как замысел «поэмы о человеке в исторических судьбах России» (*Захаров В. Н.* Система жанров Достоевского: Типология и поэтика. Л., 1985. С. 93). В. Е. Ветловская в контексте исследования повести с установкой на народную сказку высказала интересное, но не окончательное предположение, что имя героя «прежде всего пословичной природы» (*Ветловская, Ф. М. Достоевский*. С. 63). В. Н. Захаров нашел для «Двойника» новый интерпретационный нюанс в Священном Писании, предположив, что имя героя повести подразумевает отсылку к библейскому Иакову — легендарному предку «двенадцати колен Израиля», родившемуся вторым после брата-близнеца Исава. Сюжет из книги Бытия привлечен исследователем «как один из близнечных мифов и как сюжетный архетип „Двойника"». То, что оба Голядкины носят имя Яков, имеет, в толковании В. Н. Захарова, свой художественный смысл: «Они оба Якова в буквальном смысле: оба не имеют „первородства", оба хотят достичь успеха в жизни, но разными путями: один — „благородным образом", второй — „подлым расчетом"» (*Захаров В. Н.* Библейский архетип «Двойника» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 1991. С. 100, 103). Отчество «Петровичи» несет в себе, согласно В. Н. Захарову, указание на происхождение русского двойничества, подразумевая Петра I и его реформы (Там же. С. 103; ср. ниже, с. 724). Развивая заданный В. Н. Топоровым и В. Н. Захаровым ход мысли, О. Г. Дилакторская нашла в имени и отчестве Голядкина дополнительные сложные ветхо- и новозаветные аллюзии, а также намеки на личности и реалии отечественной истории и современности, в частности на П. Я. Чаадаева и его слугу-двойника Ивана Яковлевича (*Дилакторская О. Г.* Почему Голядкина зовут «Яков Петрович»? // Рус. речь. 1998. № 2. С. 111—115). Для объяснения фамилии Голядкина выстроен, в соответствии с методикой так называемого «пристального» или «медленного» чтения (close reading), большой ряд всевозможных виртуозных

неравной борьбе с более богатым, поставленным выше него на иерархической лестнице соперником в борьбе за сердце и руку дочери «его превосходительства» и развивающееся на этой почве безумие героя — непосредственно продолжают сходные ситуации «Записок сумасшедшего» (см.: *Переверзев, 1982.* С. 201—203). Фабульная схема приключений Голядкина (позор — уживчивость с ситуацией) восходит и к истории поручика Пирогова в «Невском проспекте» (*Михновец.* С. 111). Другой главный мотив повести — столкновение героя со своим фантастическим «двойником» — также (хотя и в зародышевой форме) уже содержится в гоголевском «Носе» (см.: *Бем, У истоков.* С. 500—517: «„Нос" и „Двойник"»). В гоголевские иронические тона окрашен — по-видимому, вполне сознательно — ряд отдельных эпизодов повести (так, разговор героя с лакеем Петрушкой по поводу кареты в гл. I напоминает начальные сцены «Женитьбы», а описание бала в начале гл. IV выдержано в стиле гоголевских комических описаний — ср. описание вечеринки у губернатора в гл. I первого тома «Мертвых душ»[1]).

Так же как гоголевские чиновники, господин Голядкин — усердный читатель «Библиотеки для чтения» Сенковского и булгаринской «Северной пчелы». Из них он почерпнул сведения об иезуитах и министре Виллеле (с. 154), о нравах турок, об арабских эмирах и пророке Мухаммеде (с. 157—158, 183—184; издатель «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковский был ученым-востоковедом и печатал в своем журнале материалы о Востоке), «анекдотцы» о «змее удаве необыкновенной силы» и двух англичанах, приехавших нарочно в Петербург, чтобы «посмотреть на решетку Летнего сада» (с. 181—182), которые составляют любимую тему его размышлений и разговоров. Пародируя в рассказах Голядкина материалы «Северной пчелы» и «Библиотеки для чтения», рассчитанные на обывательский вкус, Достоевский, следуя примеру Гоголя, соединяет в «Двойнике» изображение призрачного духовного мира человека-«ветошки» с сатирическими выпадами против Сенковского и Булгарина.

Наконец, к Гоголю восходят имена многих персонажей «Двойника» (Петрушка, Каролина Ивановна, господа Бассаврюковы и др.) и даже самый метод образования имен и фамилий героев со скрытым значением (Голядкин) или нарочитым подчеркиванием их комического фонетического неблагозвучия (княжна Чевчеханова).[2]

---

и даже вычурных ассоциаций, через которые якобы раскрываются скрытые в ней семантические оттенки (см.: *Демина Е.* Семантика имени главного героя повести Достоевского «Двойник» // Сборник студенческих научных работ: Литературоведение. Ижевск, 1998. С. 45—52).

[1] О сопоставлении Голядкина и Чичикова см. ниже, с. 732, 734, 737, коммент. соответственно к с. 137, 147, 154—155; *Шкловский.* С. 62—63; *Дилакторская.* С. 195—203.

[2] О лексических и стилистических элементах гоголевской поэтики в «Двойнике» см.: *Виноградов, Поэтика.* С. 101—104, 106—107, 116—120;

Изучение контекста и влияния творчества Гоголя было и остается одним из главных направлений на протяжении всей истории исследования «Двойника», и большое внимание всегда обращалось на художественное переосмысление Достоевским гоголевских подходов к изображению мира и человека. Так уже А. И. Кирпичников писал о том, что Достоевский «задумал поправить Гоголя» (*Кирпичников*. С. 332). Позже В. Ф. Переверзев в книге «Творчество Достоевского» (1912; 1922) провел сопоставление «Двойника» и «Записок сумасшедшего» и пришел к заключению, что вся повесть Достоевского «кажется переделкой на новый лад сюжета, данного Гоголем» (*Переверзев, 1982*. С. 203). Андрею Белому «Двойник» напомнил «лоскутное одеяло, сшитое из сюжетных, жестовых и слоговых ходов Гоголя» (*Белый, 1996*. С. 304). В. В. Виноградов в статье «Стиль петербургской поэмы „Двойник"» (1922) проанализировал «различие художественных заданий и стилистическое их выполнение в обоих произведениях», указав, что в отличие от Гоголя «Достоевский в „Двойнике" сделал сумасшествие Голядкина „натуралистической" темой». Он переключает действие повести в иной — трагико-фантастический — план, придает развертыванию событий значительно более динамический характер, чем это было у Гоголя, сближая точки зрения героя и рассказчика и изображая события в том фантастическом преломлении, какое они получают в потрясенном и лихорадочно возбужденном воображении главного героя. Сюжетом повести становятся не только реальные события, но и «роман сознания» Голядкина (см.: *Виноградов, Поэтика*. С. 102—104, 135—140; ср.: *Бем, У истоков*. С. 500—517; *Кирай*). М. М. Бахтин отметил в «Двойнике» «пародийную стилизацию „высокого стиля" из „Мертвых душ"; по всему „Двойнику" рассеяны пародийные и полупародийные реминисценции различных произведений Гоголя» (*Бахтин, 1929*. С. 126). А. Л. Бем в статье «„Нос" и „Двойник"» рассмотрел «Двойника» как «художественную отповедь Гоголю», как пересмотр идеи образа человека: «Гоголь „пропустил идею", не почувствовал жути при мысли о возможности воплощения в другом человеке всего того, что скрыто в глубине своего „я", что боится выйти наружу и даже в собственное сознание прорывается лишь в сновидениях и при душевных заболеваниях. Достоевский именно эту мысль подчеркивает, делая ее навязчивой идеей душевнобольного Голядкина» (*Бем, У истоков*. С. 515). Эту мысль А. Л. Бема развил К. В. Мочульский, в чьем толковании, представленном в монографии «Достоевский: Жизнь и творчество» (Париж, 1947), «Двойник» знаменовал переосмысление Достоевским гоголевского ви́дения и понимания человека. Обнаруженное им противоречие формы и содержания повести Мочульский объяснил преодолением ее автором Гоголя, а в Голядкине увидел продукт русского «просветительства», первую карикатуру на

---

*Бем, Личные имена*. С. 424; *Альтман, Гоголевские традиции*. С. 452—457; *Белый, 1996*. С. 304—306.

ненавистного Достоевскому рационализированного «общечеловека» (*Мочульский, 1995*. С. 242).[1]

Уже в «Бедных людях» молодым Достоевским были намечены две социально-психологические темы, получившие дальнейшее развитие в «Двойнике». Это тема низведения дворянско-чиновничьим обществом человека до степени грязной и затертой «ветошки»[2] и являющаяся ее оборотной стороной тема «амбиции» человека-«ветошки», задавленного обществом, но при этом не чуждого сознания своих человеческих прав, которое проявляется у него нередко в форме болезненной обидчивости и мнительности.[3] Оба названных мотива получили углубленную психологическую разработку в истории помешательства Голядкина. Изгнанный из сердца Клары Олсуфьевны и из дома своего покровителя Олсуфия Ивановича, Голядкин внезапно ощущает непрочность своего положения — и его потрясенное воображение рисует ему возможность замещения не только его места на службе, но и самой его личности другим, более ловким искателем, во всем подобным ему и отличающимся от него лишь своей моральной беззастенчивостью. С трагической темой заместимости одного обезличенного обществом человека-«ветошки» другим в повести сплетается другая — тема мучений совести Голядкина, вызванных растущим у него вместе с развитием безумия чувством нравственной вины перед собой и другими, вины, делающей его самого в какой-то мере психологически подобным ненавистному ему «двойнику», а потому и ответственным за поступки последнего (отсюда мучающие героя воспоминания о его собственном «предательстве» — обмане Каролины Ивановны, которой он когда-то обещал жениться на ней, но которую потом оставил в надежде на более выгодный брак с Кларой Олсуфьевной).

---

[1] Кроме названных в тексте статьи работ на эту тему, укажем также следующие: *Тынянов, Достоевский и Гоголь*; *Бицилли П. М.* К вопросу о внутренней форме романа Достоевского [1946] // Бицилли П. М. Избр. труды по филологии. М., 1996. С. 486, 493—494, 528—530; *Ермилов*. С. 67—70; *Шкловский В. Б.* Двойники о «Двойнике» // *Шкловский*. С. 60—63; *Инютин В. В.* О поэтике гротеска в «Записках сумасшедшего» Гоголя и «Двойнике» Достоевского // Изв. Воронеж. ун-та. 1973. С. 47—53; *Бочаров*. С. 17—30; *Поддубная Р. Н.* Двойничество и самозванство: (Голядкин, Хлестаков, Поприщин) // *Д, Материалы и исследования*. Т. 11. С. 30—33; *Пис Р.* Гоголь и «Двойник» Достоевского // Достоевский в конце XX века. М., 1996. С. 501—517; *Джоунс М.* Достоевский после Бахтина: Исследование фантастического реализма Достоевского. СПб., 1998. С. 61, 80; *Дрыжакова*. С. 37, 48—49.

[2] Предположение о генезисе формулы «человек-ветошка» у Достоевского см. выше, в комментарии к «Бедным людям», с. 681—682.

[3] О теме амбиции см.: *Кирпотин, Молодой Достоевский*. С. 241—251; *Удодов А. Б.* К спорам о повести Ф. М. Достоевского «Двойник» // Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. Воронеж, 1978. С. 39—53; *Дрыжакова*. С. 34—37.

Чувствуя свою беззащитность перед лицом враждебного мира, грозящего превратить его в «ветошку», Голядкин хочет найти опору в самом себе, в сознании своих прав как «частного» человека, свободного вне службы и хотя бы здесь никому не обязанного отчетом за свои действия. Но именно тут-то его и ждет комическое и унизительное поражение. Самая личность героя обманывает его, оказывается лишь непрочным, иллюзорным прибежищем, неспособным противостоять окружающим его «подлецам» и «интригантам» (см.: *Анненский*. С. 21—24; *Евнин*. С. 11—15, 19).[1]

Оказавшиеся в центре внимания Достоевского в «Двойнике» мотивы обезличения человека в чиновничьем мире (вследствие чего он может быть легко замещен другим чиновником — «двойником») и его внутреннего раздвоения, вытекающего из борьбы противоположных нравственных побуждений, получили разработку не только в творчестве Гоголя, но и в творчестве ряда других русских и западноевропейских предшественников и современников Достоевского. В особенности широко эти мотивы были разработаны Э. Т. А. Гофманом, который в своих романах («Эликсиры сатаны», «Житейские воззрения кота Мурра») и новеллах («Выбор невесты», «Крошка Цахес», «Двойники» и др.) дал блестящие и разнообразные образцы гротескно-романтической трактовки темы двойников, связав ее с мотивами безумия (и шире — потрясенного сознания) героев. Отсюда многократно отмечавшиеся «переклички» между «Двойником» и новеллистикой Гофмана; многие ее образы и ситуации, хорошо известные молодому Достоевскому, должны были возникать у него в памяти и творчески учитывались им при работе над «Двойником».[2]

В русской литературе психологический мотив встречи героя с его двойником был разработан А. Погорельским (А. А. Перовским) в обрамлении его известного новеллистического сборника «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (СПб., 1828), а тема раздвоения нравственного сознания (правда, не героя, а героини) — в романе А. Ф. Вельтмана «Сердце и думка» (М., 1838), — произведениях, хорошо известных Достоевскому (см.: *Достоевский, А. М., 1992*. С. 71) и, воз-

---

[1] Обзор предлагавшихся в разные исторические периоды интерпретаций двойничества Голядкина см. ниже, с. 721 и след.

[2] О гофмановских мотивах в «Двойнике» см.: *Кирпичников*. С. 332—333; *Гроссман Л. П.* Гофман, Бальзак и Достоевский // София: Журнал литературы и искусства. 1914. № 5. С. 91—93; *Родзевич*. С. 222—230; *Reber*; *Евнин*. С. 17—19; *Ботникова*. С. 158—174; *Дилакторская*. С. 209—212; *Михновец*. С. 112—131; *Михалева А. А.* Герой-двойник и структура произведения: (Э. Т. Гофман и Ф. М. Достоевский). Дис. ... канд. филол. наук. М., 2006; *Дрыжакова*. С. 40—49; *Щенников Г. К.* «Двойник» Достоевского как творческий диалог с Э. Т. А. Гофманом // *Достоевский и мировая культура*. № 24. С. 58—65.

О параллелях к «Двойнику» в творчестве Э. По см.: *Виднэс*.

можно, также повлиявших на рождение его замысла, хотя и не имевших прямых сюжетных совпадений с повестью о Голядкине.[1]

М. С. Альтман указал на совпадение имени и отчества Голядкина (Яков Петрович) с именем и отчеством автора «Петербургских вершин» (1846) Я. П. Буткова — писателя «натуральной школы» 1840-х гг., также разрабатывавшего в своих повестях тему бедного чиновничества (см.: *Альтман*. С. 14—16; о Буткове и его отношениях с Достоевским см.: *Достоевский в воспоминаниях, 1990*. Т. 1. С. 236—238, 243—244 (воспоминания С. Д. Яновского); *Милюков*. С. 105—131). Отмечена вероятная параллель между Я. П. Голядкиным и П. Я. Чаадаевым (*Дилакторская*. С. 152). В научной литературе многократно делались указания на отдельные черты (мнительность, обидчивость, болезненная застенчивость), позволяющие в той или иной мере психологически сблизить главного героя «Двойника» с создателем этой повести.

По мнению Г. А. Федорова, описание квартиры Берендеевых в определенной степени навеяно воспоминаниями о доме богатых московских родных Достоевских — Куманиных; Герасимычем — как и слугу Берендеева — звали доверенного слугу А. А. Куманина (*Федоров*. С. 250).[2]

Врач С. Д. Яновский, познакомившийся с писателем вскоре после появления в печати «Двойника», в мае 1846 г., вспоминает об интересе Достоевского уже в эти годы к специальной медицинской литературе «о болезнях мозга и нервной системы, о болезнях душевных и о развитии черепа по старой, но в то время бывшей в ходу системе Галля» (см.: *Достоевский в воспоминаниях, 1990*. Т. 1. С. 239). Интерес этот, отразившийся в «Двойнике», позволил Достоевскому, как многократно отмечали специалисты-психиатры (см.: *Чиж*. С. 12—15, 26—33; *Бехтерев В. М.* Достоевский и художественная психопатология // *РЛ*. 1962. № 4. С. 135—141), предельно точно воспроизвести ряд явлений расстроенной психики.[3] В то же время уже в «Двойнике»

---

[1] О разработке темы «двойников» в 1830—1840-х гг. (у Е. П. Гребенки, В. И. Даля, А. Н. Майкова и др.) см.: *Ломагина*. С. 10; *Михновец*.

[2] Спорными представляются наблюдения Г. А. Федорова касательно отражения архитектурной символики Петербурга в поэтике «Двойника» (см.: *Федоров Г. А.* Петербург «Двойника» // Знание — сила. 1974. № 5. С. 43—46; расширенный вариант: Санкт-Петербург. Год 1846 // Страницы минувшего. М.: Сов. писатель, 1991. С. 374—417; обе статьи включены в кн.: *Федоров*. С. 194—210, 211—253).

[3] По заключению Б. Криста, вынесенному на основании аналитического описания семиотических маркеров (место действия, погода, одежда, деньги), при помощи которых Достоевский изображает нарастающее безумие героя, «Двойник» «представляет собой совершенно убедительную историю болезни шизофреника. Наиболее важная черта ее не раздвоение личности и не появление двойника, но неспособность различать между субъективными иллюзиями больного ума и феноменами объективной реальности» (*Криста Б.* Семиотическое описание распада личности

душевное расстройство Голядкина изображается Достоевским как следствие социальной и нравственной деформации личности, обусловленной ненормальным устройством общественной жизни. Мысль о ненормальности обособления и разобщения людей, критика необеспеченности и шаткости положения личности в существующем мире, стремление обнаружить деформирующее влияние склада современных общественных отношений на нравственный мир отдельного человека связывают проблематику «Двойника» с аналогичными идеями социалистов-утопистов 1830—1840-х гг. (см.: *Евнин*. С. 22—24; *Ветловская, Ф. М. Достоевский*. С. 35; *Дилакторская*. С. 158—159).

Признав неудачу «Двойника», Достоевский и после того, как он отказался от задуманной им переработки этой повести, не раз указывал на ее большое значение для подготовки ряда тем своего позднейшего творчества. «Я изобрел или, лучше сказать, ввел одно только слово в русский язык, и оно принялось, все употребляют: глагол „стушеваться" (в Голядкине)», — заметил он в записной тетради 1872—1875 гг. И здесь же, вспоминая, что слово это приняли на чтении «Двойника» у Белинского, «*в восторге, слишком известные литераторы*», Достоевский записал об образе Голядкина-младшего: «...мой главнейший подпольный тип (надеюсь, что мне простят это хвастовство ввиду собственного сознания в художественной неудаче типа)» (*Акад. ПСС*. Т. 21. С. 264).

К рассказу о том, как он впервые ввел в литературный язык в «Двойнике» словечко «стушеваться» (заимствованное из полушутливого жаргона учащихся Главного инженерного училища) и как оно

---

в «Двойнике» Достоевского // XXI век глазами Достоевского: перспективы человечества: Материалы Междунар. конф., состоявшейся в Ун-те Тиба (Япония) 22—25 авг. 2000 г. / Сост. Тоефуса Киносита. М.: Грааль: Корнеев, 2002. С. 235—250, цитата с. 249—250). Американский славист М. Джоунс исследовал, с опорой на М. М. Бахтина и психопатологические наблюдения специалистов, сложную структуру текста «Двойника», в частности повествовательную стратегию в ее соотношении со словом героя. Особое место уделено проблеме читательского восприятия повести и воздействия на него художественных приемов Достоевского (*Джоунс М.* Достоевский после Бахтина: Исследование фантастического реализма Достоевского. СПб.: Акад. проект, 1998. С. 57—82. Оригинал: *Jones M. V.* Dostoevsky after Bakhtin: Reading in Dostoevsky's Fantastic Realism. Cambridge [England]; New York: Cambridge Univ. Press, 1990). Анализ «Двойника» в психопатологическом аспекте см. также в работах: *Мертен С.* Психопатология и проблема человеческой личности в «Двойнике» Достоевского: патологический случай и литературный текст // Литературоведение XXI века. Тексты и контексты русской литературы: Материалы Третьей Междунар. конф. молодых ученых-филологов. СПб.; Мюнхен: РХГИ, 2001. С. 74—86; *Кадыров И. М.* «Двойник» Ф. М. Достоевского: попытка психоаналитической интерпретации // Московский психотерапевтический журнал. 2002. № 1. С. 120—140.

было принято слушателями на чтении первых глав повести у Белинского, Достоевский вернулся в 1877 г. (*ДП*. Ноябрь. Гл. 1, § 2). В связи с этим он развил печатно и намеченную в приведенной записи оценку «Двойника»: «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно ⟨...⟩ если б я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму; но в 46-м году этой формы я не нашел и повести не осилил» (*Акад. ПСС*. Т. 26. С. 65).

Охарактеризовав Голядкина как свой «главнейший подпольный тип», Достоевский проницательно указал на мотивы, связывающие «Двойника» с психологической проблематикой его позднейших повестей и романов. Впервые намеченная Достоевским в «Двойнике» тема душевного «подполья» Голядкина получила в дальнейшем, в условиях последующего периода идейной и творческой эволюции Достоевского, углубленную разработку и иную интерпретацию в «Записках из подполья»[1] и романах 1860—1870-х гг. вплоть до «Братьев Карамазовых» (сцена беседы Ивана с чертом в главе «Кошмар Ивана Федоровича» — см. *Переверзев, 1982*. С. 153; *Бахтин, 1929*. С. 120—121; *Чижевский*. С. 64—65), а мотив двойника, стоявший в центре ранней повести Достоевского, предвосхитил тему тех более низменных психологических «двойников» (сближенных с главным героем одними своими чертами и противопоставленных другими), которые обычно окружают в больших романах Достоевского образ героя (Раскольников — Лужин — Свидригайлов в «Преступлении и наказании», Иван — Смердяков — черт в «Братьях Карамазовых» и др. — см.: *Бем, У истоков*. С. 505).

Выше упоминалось, что еще до окончания повести, в декабре 1845 г., Достоевский, по желанию Белинского, прочел ближайшим членам его кружка первые главы «Двойника». По свидетельству Д. В. Григоровича, Белинский во время этого чтения «жадно ловил» каждое слово автора «и местами не мог скрыть своего восхищения, повторяя, что только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей» (см.: *Григорович, 1987*. С. 84). П. В. Анненков рассказывает также, что «Двойник» нравился Белинскому «по силе и полноте разработки оригинально странной темы» (см.: *Анненков, 1989*. С. 259). Еще в рецензии на «Петербургский сборник», рекомендуя вниманию читателей «Бедных людей» и их молодого автора, критик писал: «В этой книжке „Отечественных записок" русская публика прочтет и еще роман г. Достоевского „Двойник", — этого слишком достаточно для ее убеждения, что *такими* произведениями обыкновенные таланты не начинают своего поприща». И Белинский обещал поговорить подробно о «Бедных людях» и

---

[1] О «Двойнике» в сопоставлении с «Записками из подполья» см., например: *Розенблюм*. С. 92—98; *Станюта А. А.* Трагедия двойственности // Станюта А. А. Постижение человека. Минск, 1976. С. 77—87.

«Двойнике» в следующей книжке журнала (см.: *Белинский*. Т. 9. С. 476). Высокую оценку «Двойника» как произведения, каким «для многих было бы славно и блистательно даже и закончить свое литературное поприще», Белинский повторил в феврале 1846 г., отражая нападки на Достоевского булгаринской «Северной пчелы» (см.: Там же. Т. 9. С. 493). Наконец, в мартовской книжке журнала, в статье о «Петербургском сборнике», критик дал развернутый отзыв о «Двойнике». Он писал: «Как талант необыкновенный, автор нисколько не повторился во втором своем произведении, — и оно представляет у него совершенно новый мир. Герой романа — г. Голядкин — один из тех обидчивых, помешанных на *амбиции* людей, которые так часто встречаются в низших и средних слоях нашего общества. Ему всё кажется, что его обижают и словами, и взглядами, и жестами, что против него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тем смешнее, что он ни состоянием, ни чином, ни местом, ни умом, ни способностями решительно не может ни в ком возбудить к себе зависти. Он не умен и не глуп, не богат и не беден, очень добр и до слабости мягок характером; и жить ему на свете было бы совсем недурно; но болезненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демон его жизни, которому суждено сделать ад из его существования. Если внимательнее осмотреться кругом себя, сколько увидишь господ Голядкиных, и бедных и богатых, и глупых и умных! Г-н Голядкин в восторге от одной своей добродетели, которая состоит в том, что он ходит не в маске, не интриган, действует открыто и идет прямою дорогою. Еще в начале романа, из разговора с доктором Крестьяном Ивановичем, немудрено догадаться, что г. Голядкин расстроен в уме. Итак, герой романа — сумасшедший! Мысль смелая и выполненная автором с удивительным мастерством! ⟨...⟩ Для всякого, кому доступны тайны искусства, с первого взгляда видно, что в „Двойнике" еще больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в „Бедных людях"» (*Белинский*. Т. 9. С. 563—564). Стремясь опровергнуть мнение читателей и критики о растянутости «Двойника», Белинский доказывал, что самое это впечатление растянутости происходит от «богатства» и «чрезмерной плодовитости» «еще не созревшего» дарования его автора: «...„Двойник" носит на себе отпечаток таланта огромного и сильного, но еще молодого и неопытного: отсюда все его недостатки, но отсюда же и все его достоинства». Как на особенность авторской манеры, свидетельствовавшую об «избытке юмора» и «способности объективного созерцания явлений жизни» и в то же время сделавшую «неясными многие обстоятельства в романе», Белинский указал на то, что «автор рассказывает приключения своего героя от себя, но совершенно его языком и его понятиями». Недостатки «Двойника» критик увидел в «частом и, местами, вовсе ненужном повторении одних и тех же фраз» и в том, что «почти все лица в нем, как ни мастерски, впрочем, очерчены их характеры, говорят почти одинаковым языком». Но «знатоки искусства, — писал он в заключение, — даже и несколько утомляясь чтением „Двойника", все-таки не оторвутся от

этого романа, не дочитав его до последней строки» (Там же. С. 564—566).

Оппозиционные Белинскому и «натуральной школе» критика и журналистика 1840-х гг. дали резко отрицательную оценку «Двойнику».

«Нельзя представить себе ничего бесцветнее, однообразнее, скучнее длинного, бесконечно растянутого, смертельно утомительного рассказа о незанимательных „приключениях господина Голядкина", который с самого начала и до конца повести является помешанным, беспрестанно делает разные промахи и глупости, не смешные и не трогательные, несмотря на все усилия автора представить их таковыми, в притязаниях какого-то „глубокого", неудобопонятного юмора. Нет конца многословию, тяжелому, досадному, надоедающему, повторениям, перифразам одной и той же мысли, одних и тех же слов, очень понравившихся автору, — писала о «Двойнике» «Северная пчела». — Искренне сожалеем о молодом человеке, так ложно понимающем искусство и, очевидно, сбитом с толку литературною „котериею", из видов своих выдающею его за гения» (Я. Я. Я. ⟨Л. В. Брант⟩; *СП.* 1846. 28 февраля, № 47. С. 187; ср. позднейший отзыв Ф. В. Булгарина о «Двойнике» как о «весьма слабой» повести — *СП.* 1846. 9 марта, № 55. С. 218).

Отрицательно отнесся к «Двойнику» и С. П. Шевырев в «Москвитянине»: «...мы не понимаем, — писал он, — как автор „Бедных людей", повести все-таки замечательной, мог написать „Двойника" ⟨...⟩. Это грех против художественной совести, без которой не может быть истинного дарования. Вначале тут беспрерывно кланяешься знакомым из Гоголя: то Чичикову, то Носу, то Петрушке, то индейскому петуху в виде самовара, то Селифану; но чтение всей повести, если вы захотите непременно до конца дочитать ее, произведет на вас действие самого неприятного и скучного кошмара после жирного ужина». Признавая, что в повести все же обнаруживаются «мысль» о власти над русским человеком «амбиции», происхождение которой Шевырев, следуя историческим воззрениям славянофилов, стремился связать с петровской табелью о рангах, и «талант наблюдателя», Шевырев далее писал: «Но беда таланту, если он свою художественную совесть привяжет к срочным листам журнала, и типографские станки будут из него вытягивать повести. Тогда рождаться могут одни кошмары, а не поэтические создания. Г. Достоевский поймет нас, если дарование его истинно» (*М.* 1846. № 2. С. 172—174; ценз. разр. — 3 марта 1846 г.; *Шевырев.* С. 230—231).

Шевыреву вторил в том же журнале А. Е. Студитский, восклицавший по поводу «Двойника»: «...бедный Гоголь!» — и так излагавший его сюжет: «Дело всё в том, что был-жил г. Голядкин, чиновник министерства, никогда не бывалый не только в действительности, но и в возможности — даже в воображении, как бы *бизарно* и *дементивно* оно ни было» (*М.* 1846. № 3. С. 194; ценз. разр. — 19 марта 1846 г.).

Наиболее пространную оценку «Двойника» со славянофильских позиций дал К. С. Аксаков: «В этой повести, — писал он, — видим

мы уже не влияние Гоголя, а подражание ему ⟨...⟩. В ней г. Достоевский постоянно передразнивает Гоголя, подражает часто до такой степени, что это выходит уже не подражание, а заимствование». Завершая свой разбор повести пародией на стиль «Двойника» («Приемы эти схватить нетрудно; приемы-то эти вовсе нетрудно схватить; оно вовсе нетрудно и незатруднительно схватить приемы-то эти...» и т. д.), в которой он утверждал, что у автора нет «поэтического таланта», К. С. Аксаков отмечал: «Говоря о повести г. Достоевского „Двойник", можно повторить слова, которые часто повторяет у него г. Голядкин: „Эх, плохо, плохо! Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то наше как плоховато! Эх, дельце-то наше чего прихватило!" Да, точно, нехорошо и нехорошего прихватило. Если бы не первая повесть г. Достоевского, мы никак не имели бы терпения прочесть его вторую; но мы сделали это по обязанности, желая что-нибудь найти в его повести, и ничего не нашли; она так скучна, что много раз оставляли мы книгу, и принимались снова, и насилу-насилу прочли ее. Конечно, судя по первой повести, мы никак не ожидали, чтоб была такова вторая. Где талант, который видели мы в первой повести? Или его стало только на одну? Недолго польстил надеждою г. Достоевский; скоро обнаружил он себя» (см.: [*Аксаков К. С.*]. Петербургский сборник, изданный Некрасовым / Имярек // *МСб, 1847*. Критика. С. 33—36).

Идейно и эстетически неприемлемым «Двойник» оказался и для А. А. Григорьева. Подойдя к оценке повести с позиций идеалистической, романтической эстетики, Григорьев истолковал ее как наиболее последовательное и крайнее утверждение в искусстве современной «мелочной личности» и ее «дурных» претензий, в чем в 1840-е гг. он видел основной порок всей «натуральной школы», противопоставляя ее позиции с этой точки зрения гоголевскому нравственному осуждению «ничтожного героя» (см. выше, с. 667). Наметив впервые указанную оценку «Двойника» еще в 1846 г., Григорьев развил ее дальше в ряде своих последующих печатных отзывов об этой повести (*МГЛ*. 1847. 17 марта, № 62. С. 250; 17 июня, № 131. С. 524). «„Двойник", — отмечал Григорьев, — по грешному разумению нашему, сочинение патологическое, терапевтическое, но нисколько не литературное: это история сумасшествия, разанализированного, правда, до крайности, но тем не менее отвратительного, как труп. Больше еще: по прочтении „Двойника" мы невольно подумали, что если автор пойдет дальше по этому пути, то ему суждено играть в нашей литературе ту роль, какую Гофман играет в немецкой ⟨...⟩ г. Достоевский до того углубился в анализ чиновнической жизни, что скучная, нагая действительность начинает уже принимать для него форму бреда, близкого к сумасшествию. Увы! поневоле вспомнишь мысль гоголевского „Портрета"!..» (см.: [*Григорьев А. А.*]. Петербургский сборник // *ФВ*. 1846. № 9. Отд. V, с. 30). «...Вы вчитываетесь в это чудовищное создание, уничтожаетесь, мелеете, сливаетесь с его безмерно ничтожным героем — и грустно становится вам быть человеком, и вы убеждаетесь, как будто, что человек только таков и может быть. Какая же тут вина,

ответственность, какой суд над собою? Жил червем и умер червем, и дело кончено: „Une foi mort, on est bien mort"», — писал Григорьев Гоголю 17 ноября 1848 г. (см.: *Григорьев*. Вып. 8. С. 26—27).

Из других отрицательных суждений о «Двойнике» можно отметить еще краткий отзыв в «Журнале Министерства народного просвещения»: «Что касается повести г. Достоевского „Двойник" («От⟨ечественные⟩ зап⟨иски⟩», № 2), то желали бы мы не встречать более подобных злоупотреблений таланта и трудов. Нельзя видеть без удивления, как в этой повести разговор действующих лиц зашел за все границы приличия и обратился в какую-то смесь ругательств, нетерпимых для круга образованных читателей» (см.: Обозрение русских газет и журналов за первое трехмесячие 1846 года // *ЖМНП*. 1846. Ч. 51. Июль. Отд. VI. С. 104).

Нападки К. С. Аксакова на «Двойника» побудили Белинского в начале 1847 г. к ответному выступлению, в котором он взял Достоевского и его повесть под свою защиту (см.: *Белинский*. Т. 10. С. 98). В то же время в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский, подводя итоги полемики вокруг «Двойника», дал свою завершающую оценку повести. Признав, что «Двойник» не имел никакого успеха в публике, Белинский повторил свою прежнюю мысль об основной причине этого неуспеха: «В „Двойнике" автор обнаружил огромную силу творчества, характер героя принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература, ума и истины в этом произведении бездна, художественного мастерства — тоже; но вместе с этим тут видно страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил. Всё, что в „Бедных людях" было извинительными для первого опыта недостатками, в „Двойнике" явилось чудовищными недостатками, и это всё заключается в одном: в неумении слишком богатого силами таланта определять разумную меру и границы художественному развитию задуманной им идеи». В связи с этим Белинский выражал уверенность, что, если бы автор «укоротил своего „Двойника" по крайней мере целою третью, не жалея выкидывать хорошего, успех его был бы другой». Как на другой «существенный» недостаток повести Белинский теперь указал на ее «фантастический колорит». «Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов», — писал он; поэтому повесть Достоевского, высоко оцененная отдельными «дилетантами искусства», не случайно осталась чужда интересам широкой публики (см.: *Белинский*. Т. 10. С. 40—41). Резкость последних замечаний была усугублена впечатлением Белинского от «Господина Прохарчина», вызвавшего его глубокое разочарование и заставившего искать корни творческих неудач Достоевского после «Двойника» в самой этой повести (см. ниже, с. 766).

Одновременно со статьей Белинского в январе 1847 г. появилась и статья В. Н. Майкова «Нечто о русской литературе в 1846 году», содержащая наиболее глубокую интерпретацию «Двойника» в критике

1840-х гг. Исходя из близких Достоевскому идей утопического социализма, Майков дал исключительно высокую оценку социальной и нравственно-психологической проблематики «Двойника». «„Двойник", — писал он, — развертывает перед вами анатомию души, гибнущей от сознания разрозненности частных интересов в благоустроенном обществе». Этой «разрозненностью интересов» в современном обществе вызваны, по мнению критика, трагический страх перед ним Голядкина, владеющее им чувство своей социальной незащищенности, его робкая готовность «обрезывать свои претензии на личность», постоянная боязнь врагов, «подкапывающихся» под его интересы. В этом — широкая психологическая общезначимость повести, заставляющей читателя с болью ощутить в себе нечто «голядкинское». Столь же сочувственно Майков оценил психологическое искусство повести: «В „Двойнике" манера г. Достоевского и любовь его к психологическому анализу выразились во всей полноте и оригинальности. В этом произведении он так глубоко проник в человеческую душу, так бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную машинацию человеческих чувств, мыслей и дел, что впечатление, производимое чтением „Двойника", можно сравнить только с впечатлением любознательного человека, проникающего в химический состав материи» (см.: [*Майков В. Н.*]. Нечто о русской литературе в 1846 году // *ОЗ*. 1847. № 1. Отд. V. С. 4—5; *Майков В. Н., 1985*. С. 181—182).[1]

Повести Достоевского, написанные после «Двойника», уже не привлекали столь пристального внимания критики и не вызывали такой острой полемики, как «Бедные люди» и «Двойник». В связи с этим и толки о «Двойнике» в критике к 1847 г. утихли.[2] Лишь появление произведений Достоевского 1859—1861 гг. и выход первого издания его сочинений вновь пробудили интерес критики к его раннему творчеству. Отражением его явилась статья Добролюбова «Забитые люди» (1861). Несмотря на то что «Двойник» не вошел в издание Основского, Добролюбов отвел этой повести значительное место в ряду разбираемых им произведений писателя, посвященных изображению «забитых личностей» и проникнутых гуманной «болью о человеке». Признав сумасшествие Голядкина формой «мрачнейшего протеста» человека-«ветошки» против унижающей и обезличивающей его действительности, Добролюбов впервые определил как центральную для повести тему «раздвоения слабого, бесхарактерного и необразованного человека между робкою прямотою действий и платоническим стремлением к интриге, раздвоения, под тяжестью которого сокрушается наконец рассудок бедняка». В связи с этим Добролюбов подчерк-

---

[1] Об оценке «Двойника» критикой 1840-х гг., см.: *Кирпотин, Молодой Достоевский*. С. 231—236; *Мордовченко*. С. 226, 232—234; *Евнин*. С. 6—9, 20—21.

[2] В 1850 г. появилась повесть А. Чернова (Н. Д. Ахшарумова) «Двойник», написанная под влиянием Достоевского, который обратил на нее внимание в письме к брату от 22 февраля 1854 г.

нул, что Голядкин-младший — лишь психологическая проекция тех робких и нерешительных мечтаний об «интриганстве», которые рождаются в голове героя под влиянием успеха окружающих его реальных интриганов: «...отчасти практическая робость, отчасти остаток где-то в далеких складках скрытого нравственного чувства препятствуют ему принять все придуманные им пронырства и гадости на себя, — писал Добролюбов, — и его фантазия создает ему „двойника"». Указывая на «недостаточно искусное» развитие этой темы в повести как на ее недостаток, Добролюбов писал: «При хорошей обработке из г. Голядкина могло бы выйти не исключительное, странное существо, а тип, многие черты которого нашлись бы во многих из нас» (см.: *Добролюбов*. Т. 7. С. 256—260).

Позднейшая критика при жизни писателя к «Двойнику» не обращалась. С 1880-х гг. начинается историко-литературное осмысление этой повести, а также появляются первые анализы «Двойника» со специальной, психиатрической точки зрения (*Чиж*). Позднее, в эпоху символизма, а за рубежом в 1920—1950-х гг. возникает и усиливается интерес к философской проблематике «Двойника». Важную роль в истории изучения этого аспекта повести сыграла ее интерпретация в статье И. Ф. Анненского «Виньетка на серой бумаге к „Двойнику" Достоевского» из его первой «Книги отражений» (1906), где была намечена основная философская проблема повести — проблема «своего места» героя в жизни, которое непосредственно зависит от онтологической целостности его «я»; здесь же была обозначена и сложность повествовательной техники Достоевского в этом произведении (соотношение фантастического и реального, восприятие читателем максимально приближенной к сходящему с ума герою точки зрения повествователя) (*Анненский, 1979*. С. 24).

В 1920—1930-е гг. трудами живших в эмиграции русских ученых в изучении «Двойника» сформировались философское (*Чижевский*), психопатологическое (*Осипов*) и этико-онтологическое (оказавшееся в дальнейшем значимым для мифологического) направления. Иностранные ученые большое внимание уделяли интерпретациям «Двойника» в экзистенциальном и фрейдистском ключах (обзор работ см.: *Reber*. S. 18—34). В осмыслении «Двойника» советским достоевсковедением безусловно значимую роль на этом этапе сыграл социологический подход В. Ф. Переверзева.

Среди разнообразных вопросов и явлений, которые постоянно находились в поле внимания ученых и освещены на своем месте выше: этико-онтологическая проблематика повести и эволюция самой идеи двойничества в творчестве Достоевского; сопоставление двух редакций и определение жанра произведения; отражение в повести литературных влияний — русского (прежде всего Гоголя) и западного (Э. Т. А. Гофман и др.); морфология жанра повести о чиновнике; язык и стиль «Двойника», повествовательная техника автора, слово героя; и многое другое — важнейшее место неизменно занимала тема двойственности Голядкина, получавшая в разные периоды различные интерпретации.

В 1940—1950-е гг. В. Я. Кирпотин и В. В. Ермилов предложили разные варианты социологических интерпретаций основного конфликта произведения. Отправной точкой анализа был вопрос о соотнесенности «светлой идеи»[1] Достоевского и художественного целого повести. Кирпотин выделял главным в ней вопрос о сущности природы человека («пошлость пошлого человека»). В его интерпретации, Голядкин-младший олицетворяет объективацию целей и желаний Голядкина-старшего: «Человеческие качества, подавленные обстоятельствами в Голядкине-старшем, не выпрямляются в Голядкине-младшем, что дает возможность судить об истинной сущности Голядкина в целом» (*Кирпотин, Молодой Достоевский*. С. 245—257). В. В. Ермилов определил центральный конфликт повести как конфликт личности и среды, человека и общества. С его точки зрения, перенесение основной темы произведения из области социальной в область психопатологии привело Достоевского к отходу от реалистических традиций гоголевской школы, к уклону в психопатологический натурализм (*Ермилов*. С. 64—77).[2] Особое место в этом контексте занимала интерпретация «Двойника» В. Б. Шкловского в его книге «За и против» (1957): «Полное повторение в Голядкине втором, может быть, и было „светлой" мыслью автора. Она делала жизнь чиновника безысходной и лишенной какой бы то ни было мечты, а тем самым и оправдания». Для Шкловского основа «Двойника» — «безысходность жизни» (*Шкловский*. С. 61). Заключительный его вывод: «Достоевский считает своего героя мертвым. Достоевский не хочет переделывать мир Голядкина. Он этот мир хочет уничтожить» (*Шкловский*. С. 63).

В течение 1960—1970-х гг. оценка «Двойника» в отечественном литературоведении начинает меняться, интерпретация обретает гуманистически-социологическое звучание. Если в раздвоении героя В. Б. Шкловский видел в 1957 г. лишь «удвоение ничтожества» (*Шкловский*. С. 60), М. С. Гус нашел раздвоение «на честность и подлость», где «последняя одерживает верх». Для него конфликт двух начал в человеке носит нравственно-психологический характер, будучи притом обусловлен социальными отношениями. «Светлая идея» Достоевского и состояла, по мнению М. С. Гуса, в том, чтобы воспеть «положительный идеал личности».[3] В итоговой монографии Л. П. Гроссмана (1962; 1965) основная проблема «Двойника», т. е. проблема интерпретации художественного решения в повести темы двойничества, рассматривалась как социальная, историческая и душевная трагедия

---

[1] См. выше, с. 715, цитату из *ДП*. 1877. Ноябрь. Гл. 1, § 2.

[2] Ср. также аналогичные концепции «Двойника»: *Белкин А. А.* Достоевский. М., 1956. С. 16; *Заславский Д. И.* Ф. М. Достоевский. М., 1956. С. 20. Вывод советской критики этого периода о «реакционном» по содержанию характере повести исходил из понимания центральной ее проблемы как религиозной по сути проблемы двойственной природы человека.

[3] *Гус М. С.* Идеи и образы Ф. М. Достоевского. 2-е изд., доп. М.: Худож. лит-ра, 1971. С. 74—76. 1-е изд.: 1962.

«маленького человека» (*Гроссман, Биография*. С. 70—71). В 1964 г. в своей монографии «Реализм Достоевского» Г. М. Фридлендер подчеркнул асоциальность «Двойника», выразившуюся в том, что Достоевский сосредоточился на изображении «внутренней противоречивости сознания своего героя» (*Фридлендер*. С. 69, 71—72). Н. С. Трубецкой тоже видел в «Двойнике» проблему главного героя в том, что трагедия раздвоения «разыгрывается в душе самого Голядкина».[1]

Дальнейший пересмотр трактовки «петербургской поэмы», продолженный Ф. И. Евниным, состоял в отрицании внутренней природы конфликта и перенесении его вовне, в социум: «...смысл двойничества Голядкина не во внутреннем раздвоении, а во внешнем замещении, вытеснении его из занимаемого им места в жизни» (*Евнин*. С. 12). Таким образом с повести Достоевского снималось обвинение в ее асоциальном и реакционном характере, а безумие героя оказывалось целиком порожденным «социальным конфликтом»: «Двойник Голядкина действует в повести как нечто внешнее по отношению к герою и претендует не на душу его, а лишь на его место в жизни» (Там же. С. 16). Соответственно Евнин пришел к отрицанию связи «Двойника» с последующим романным творчеством писателя. Идея повести в контексте данной интерпретации прочитывается как «подспудная мысль о праве каждого на твердое положение в жизни, на незыблемое, защищенное „место под солнцем"» (Там же. С. 13). Евнину возразил Е. П. Порошенков, настаивавший на правомерности «традиционного» прочтения образа «двойника» героя как объективации внутреннего кризиса его личности, а не как равноправного герою субъекта действия.[2]

Следующим выступил В. Н. Захаров, с утверждением, что «не психопатологическая установка, а установка на действительное существование двойника реализуется в художественной структуре текста повести» (*Захаров, Трагедия Голядкина*. С. 120). Голядкин рассматривается как первый идеологический герой Достоевского. Концепция

---

[1] *Трубецкой Н. С.* Ранний Достоевский // Новый журнал. 1960. № 61. С. 137.

[2] *Порошенков Е. П.* Об одной идее повести Ф. М. Достоевского «Двойник» // Учен. зап. Моск. гос. пед. ин-та. 1967. № 256: Очерки по истории русской литературы. Ч. 1. С. 128—150. Продолжение полемики см.: *Бунин В. Н.* О реализме раннего Достоевского // *РЛ*. 1969. № 2. С. 147—156; *Ковач Алб.* 1) О художественной структуре повести Ф. М. Достоевского «Двойник» // Canadian-American Slavic Studies. 1974. Vol. 8. No 3. P. 408—426; 2) О смысле и художественной структуре повести Достоевского «Двойник» // *Д, Материалы и исследования*. Т. 2. С. 57—65; *Нечаева, Ранний Достоевский*. С. 153—154; *Удодов А. Б.* К спорам о повести Ф. М. Достоевского «Двойник» // Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. Воронеж, 1978. С. 37—45. По замечанию В. Н. Захарова, «концепция Ф. И. Евнина после статьи В. Н. Бунина все чаще рассматривается как углубление традиционного представления о двойничестве в повести» (*Захаров, Трагедия Голядкина*. С. 118).

В. Н. Захарова заключалась в том, что «в образах Голядкина и двойника выявлены две тенденции общественно-политического развития России сороковых годов: с одной стороны — Голядкин, наивно уверовавший, несмотря на груз своих бюрократических привязанностей, в идею социального равенства людей; с другой стороны — беспринципный его двойник, во главу дела ставящий свой „подлый" интерес, бесстыдно глумящийся над идеалами французской революции» (Там же. С. 124). Сюжет повести, в этой ее трактовке, составляет прозрение героя, осознание им несостоятельности своей идеи, приводящее к трагической развязке — его сумасшествию.[1]

Преодоление социологической трактовки «Двойника» оформилось и стало набирать силу в 1970-е гг. Характерным в этом смысле был, например, вывод Е. Б. Магазанника, согласно которому художественное решение темы безумия у Достоевского позволяет вывести «Двойника» за рамки социальной и конкретно-исторической проблематики в область общечеловеческого.[2] В 1980-е гг. А. М. Панченко вернулся к поднятому в свое время С. П. Шевыревым (см. выше, с. 717) и позднее Г. И. Чулковым (*Чулков*. С. 34) вопросу о понимании Достоевским двойничества как следствия петровских реформ. Рассмотрение этого явления в широкой исторической перспективе привело ученого к заключению, что Достоевский справедливо видел в раздвоении личности проблему, завещанную русской историей, но ошибался, считая Петра I родоначальником раздвоения и двойничества, так как «корни этих явлений восходят к XVI в.» (*Панченко*. С. 145). Общий вывод А. М. Панченко из исторического экскурса применительно к герою повести Достоевского состоял в том, что «отщепенец, наделенный непомерными амбициями и попавший в ситуацию двойничества, зря рассчитывает на удачу. Его печальный конец неотвратим. Двойник — поистине ложный помощник, соблазнитель, которому доверяются лишь простаки». Сумасшедший дом в финале повести одновременно и пекло, а доктор медицины «преобразуется в наказующего беса» (Там же. С. 159). Г. К. Щенников указал на значимость и пагубность для сознания Голядкина сложившегося к 40-м гг. XIX в. романтического стереотипа отношений и общественного поведения; отметил влияние «Героя нашего времени» Лермонтова на «Двойника» (в част-

---

[1] В расширенном и углубленном варианте эта же концепция «Двойника» была изложена В. Н. Захаровым в его монографии «Система жанров Достоевского» (Л., 1985. С. 72—95). Позднее в статье «Библейский архетип „Двойника"» (1991) В. Н. Захаров внес в свою концепцию новый акцент.

[2] *Магазанник Е. Б.* Заметки о многозначности образа в «Двойнике» Достоевского // Тр. Самарканд. ун-та. 1974. Вып. 254. С. 52. См. также: *Ломагина*; *Иванов А. Ф.* «Двойник» и рассказы о чиновниках Ф. М. Достоевского: (К проблеме общечеловеческого и типического в раннем творчестве писателя) // Вопросы русской и зарубежной литературы. Хабаровск, 1972. С. 26—46; *Розенблюм*. С. 89—98.

ности, пародирование отношений Печорина и Грушницкого в линии противостояния Голядкина и его двойника); обратил внимание на «байронический комплекс» героя Достоевского. Привлеченный исследователем материал привел его к выводу о том, что исток трагедии героя лежит в его ложном самосознании, псевдоромантическом складе души.[1] В. Н. Белопольский рассмотрел проблему «Двойника» в контексте философии истории Фихте и философии истории Достоевского. Основной конфликт между Голядкиным и его двойником, в трактовке Белопольского, составляет обусловленное историческим развитием столкновение патриархальной системы ценностей с индивидуалистическим образом действия. «Идея двойничества получила в повести наиболее „чистое" и в то же время драматическое воплощение»; Достоевский «материализует» в теме двойников заветную тему братства и показывает, что «следование принципу вытеснения человека с его места самоубийственно».[2] Иной поворот в интерпретации «Двойника» наметила Г. В. Бамбуляк. Анализируя смешение в повести фантастического и реального, исследовательница пришла к заключению, что «„Двойник" — не бред сумасшедшего, записанный им самим, и не история болезни, записанная со стороны, а история вторжения в духовную жизнь индивида иной формы бытия — возможной». Двойника следует принимать как реальность, «потому что он часть реального сознания героя». «Светлая идея» Достоевского, по мнению Г. В. Бамбуляк, состояла в открытии свободы внутреннего самоопределения человека: «Духовная жизнь представилась как неустанная борьба с духовным хаосом, и если нет у человека достаточной силы в такой борьбе, то он раздваивается, перестает существовать как личность. „Двойник" в этом смысле и есть история борьбы и поражения слабого человека».[3]

---

[1] *Щенников Г. К.* Достоевский и русский реализм. Свердловск, 1987. С. 36—40; см. также: *Щенников Г. К.* Эволюция сентиментального и романтического характеров в творчестве Достоевского // *Д, Материалы и исследования*. Т. 5. С. 90—100. Проблема двойника и двойничества в творчестве Достоевского занимает большое место в исследовании темы «романтизм и Достоевский». См.: *Порошенков Е. П.* Проблема освоения и преодоления романтизма в творчестве молодого Достоевского. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1968; *Тюнькин К. И.* Романтическая культура и ее отражение в творчестве Достоевского // Романтизм в славянских литературах. М., 1973. С. 278—306; *Назиров Р. Г.* Достоевский и романтизм // Проблемы теории и истории литературы. М., 1979. С. 346—356; *Соколовская А. И.* Достоевский и романтизм. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1979; *Гражис П. Й.* Достоевский и романтизм. Вильнюс: Мокслас, 1979.

[2] *Белопольский В. Н.* Достоевский и философская мысль его эпохи: Концепция человека. Ростов, 1987. С. 45, 46. См. также: *Тусичишный А. П.* О конфликте в повести «Двойник» в контексте философии Макса Штирнера // Болгарская русистика. 2009. № 3/4. С. 111—122.

[3] *Бамбуляк Г. В.* Идея человека в раннем творчестве Достоевского // Литература и время: Межвуз. сб. Кишинев, 1987. С. 84—85.

В 1990-е гг. происходит поворот к религиозным трактовкам проблемы раздвоения. Изданная впервые в 1991 г. в составе посмертного собрания запрещенных в советское время сочинений православного богослова и духовного писателя С. И. Фуделя (1900—1977) книга «Наследство Достоевского», написанная в 1950—1963 гг., содержала в третьей главе («40-е годы и начало „Двойника"») собственно религиозную, христианскую, трактовку основного конфликта повести, несущего «великую идею борьбы света и тьмы в человеке и в мире», которая «легла с этого времени в основу его (Достоевского. — *Ред.*) художественного творчества, и скелет „Двойника" стал постепенно одеваться плотью его произведений».[1] О. Г. Дилакторская, вслед за А. М. Панченко (см. выше, с. 724), интерпретировала сюжет повести как историю гибели грешника при непосредственном участии беса (двойник) и дьявола (Крестьян Иванович) (*Дилакторская*. С. 201—203).

Одновременно с религиозным осмыслением «Двойника» поле исследований этого произведения Достоевского расширялось в 1990-е и 2000-е годы неограниченно и в других направлениях.

Р. Н. Поддубная рассмотрела на новом концептуальном уровне тему самозванства в повестях Достоевского, основав свой к ней подход на сопоставительном анализе очерка В. Г. Короленко «Современная самозванщина» (1906). В частности, о «Двойнике» говорится: «В истории Голядкина предельно заострено важнейшее звено в психологии самозванства — столь катастрофичное переживание личностью своей „безликости" и „нулевого" положения, когда их полнота воспринимается как единственная возможность самосохранения. ⟨...⟩ Полнота самоотчуждения, вплоть до исчезновения реального „я" — это и есть психологическая почва для самозваных замещений личности двойниками». Исследовательница пришла к выводу о ролевом характере двойника в повести Достоевского, т. е. воплощении «в двойнике не дурного или подсознательного начал души Голядкина, а *поведенческого инобытия личности*, не укладывающейся в свою судьбу и не желающей быть равной ей». Самозванство оказывается проявлением «тяжелой болезни „русской личности"». Идея «Двойника», состоящая в художественном исследовании проблемы двойничества, рассматривается Р. Н. Поддубной как подступ «к осмыслению „настоящего человека русского большинства", подталкиваемого самой общественной историей к личностно-поведенческой нецельности, которая грозит стать природной».[2] К. А. Степанян понял основную проблему «Двойника» как проблему двойственности природы человека и рассматривает эту проблему в контексте гностической традиции истолкования (через

---

[1] *Фудель С. И.* Наследство Достоевского / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Л. И. Сараскиной. М.: Рус. путь, 1998. С. 61.

[2] *Поддубная Р. Н.* Двойничество и самозванство: (Голядкин, Хлестаков, Поприщин) // *Д, Материалы и исследования*. Т. 11. С. 30—31, 32, 36.

связь с теорией утопического социализма); концепция пути Достоевского в освоении темы двойничества выстраивается как преодоление от «Двойника» к «Братьям Карамазовым» соблазнов гностицизма.[1] Т. А. Касаткина вернулась к тезису Добролюбова об объективации в двойнике мечтаний героя. Сравнение «двойников», появляющихся в поздних романах Достоевского, с Голядкиным-младшим приводит исследовательницу к выводу, состоящему в констатации онтологической сущности самого явления двойничества как объективации наших желаний, «в которых мы не хотим себе отказывать».[2] Н. Г. Михновец рассмотрела взаимосвязь социального и онтологического пластов повести. С ее точки зрения, «образ Голядкина-младшего многофункционален и многомерен, соотношение двух его ипостасей — как воображаемого и как реального — подвижно» (*Михновец*. С. 116), образ двойника «несет собою семантику иного пути, перспективу метаморфозы для Голядкина-старшего» (Там же. С. 117), Достоевский в повести выявил невозможность для человека преодолеть двойственность. Будущее, полагает исследовательница, принадлежит Голядкину-младшему, который, «оставаясь жить, не должен свернуться до Голядкина-старшего» (Там же. С. 130). По мнению Г. К. Щенникова, вопрос о сути феномена двойничества остается открытым: не соглашаясь ни с трактовкой О. Г. Дилакторской, ни с трактовкой Н. Г. Михновец, исследователь не оспаривает тезис о реальности двойника, но видит во взаимоотношениях двух Голядкиных «явление не только психологическое, но и гносеологическое: познание себя через другого, узнавание себя в другом, реальном человеке. Голядкин-старший, придумывая интриги младшего, разыгрывает самого себя, захвачен галлюцинацией „удвоения"». «Светлую идею» Достоевского Г. К. Щенников находит в открытии писателем факта «этической раздвоенности самооценки вместе с неутолимой жаждой духовной цельности и, стало быть, однозначной, позитивной самоидентификации» человека.[3] Е. Н. Дрыжакова определяет основную проблему повести как внутренний личностный конфликт в сознании героя: «собственное Я ссорится с самим собою» (*Дрыжакова*. С. 45). Открытие Достоевского («величайший тип») состоит, по мнению исследовательницы, в создании принципиально нового, еще не воплощенного в литературе того времени типа «будущего раздвоенного экзистенциального сознания, когда субъект, противопоставляя себя чужому и враждебному миру, вместе с тем хочет

---

[1] *Степанян К. А.* Тема двойничества в понимании человеческой природы у Достоевского // XXI век глазами Достоевского: перспективы человечества. М., 2002. С. 177—191.

[2] *Касаткина Т. А.* «Двойник» Достоевского: психопатология и онтология // Pro memoria: Памяти акад. Г. М. Фридлендера. СПб.: Наука, 2003. С. 134.

[3] *Щенников Г. К.* «Двойник» Достоевского как творческий диалог с Э. Т. А. Гофманом // *Достоевский и мировая культура*. №. 24. С. 61, 64.

остаться в этом мире, быть как все и требовать своего права на свободу воли» (Там же. С. 49).

Определенную лепту в изучение «Двойника» внесло его осмысление под углом зрения мифологического (мифопоэтического) направления в литературоведении. В. Н. Топоров видит в двойничестве принцип сюжетного «расположения» по критерию «функции»;[1] Ю. М. Лотман рассматривал проблему «двойничества» в аспекте генезиса литературных сюжетов, т. е. в переносе с мифологического (циклического) текста на художественный (линейный);[2] В. Н. Захаров связал имя героя повести и его двойника с «близнечным мифом» книги Бытия (см. с. 708, примеч. 1). Мифологический (мифопоэтический) разбор повести Достоевского, проведенный Ким Юн Кюн, включает установление ее связей с фольклором, поиск библейских и античных истоков/параллелей, анализ мифологических мотивов, структуралистские исследования, в частности исследования структурной архитектоники «двойничества», т. е. осмысление проблемы «двойничества» в сюжетном плане.[3]

Сопоставительный контекст «Двойника» неизменно расширялся и продолжает расширяться за счет выявления не замеченных ранее нюансов уже известных фактов и вовлечения в поле внимания новых авторов, в чьих произведениях обнаруживается непосредственная связь с повестью Достоевского или, по крайней мере, типологические с нею совпадения.[4]

Из выработанных советскими литературоведами в 1920—1930-е годы основных подходов к изучению проблемы автора и повествовательной стратегии в «Двойнике» предпочтительной для позднейших исследователей надолго, с 1960-х гг., оказалась предложенная в 1929 г. М. М. Бахтиным концепция полифонического романа Достоевского, согласно которой в повести точки зрения героя и повествователя соотносятся как диалог, разворачивающийся в процессе эволюции самосознания героя (*Бахтин, 1929*. С. 116—120). В 1970-е годы М. Ф. Ломагина, следуя за Бахтиным, рассмотрела соотношение повествователя и героя в повести как авторское противопоставление двух речевых систем, за каждой из которых стоит сознание субъекта действия; слово повествователя необходимо автору для воплощения своей позиции

---

[1] *Топоров В. Н.* Поэтика Достоевского и архаичные схемы мифологического мышления: («Преступление и наказание») // Топоров В. Н. Петербургский текст. М., 2009. С. 433.

[2] *Лотман Ю. М.* Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 226.

[3] *Ким Юн Кюн.* Типология двойников в творчестве Ф. М. Достоевского и повесть «Двойник» (1846/1866). Дис. ... канд. филол. наук. М., 2003.

[4] См., например: *Марзил Яхьякур, Джополах Карими-Мотаххар.* «Двойник» Ф. М. Достоевского и «Слепая сова» С. Хедаята // *РЛ.* 2006. № 3. С. 185—189; *Ільницький М.* Поєдинок із собою: проблема двійництва в «Поєдинку» І. Франка та «Двійнику» Ф. Достоєвського // Слово і час. 2006. № 8. С. 18—27.

(оценки героя) в произведении (*Ломагина*. С. 3—10). С. Г. Бочаров (также вслед за Бахтиным) определил специфику преодоления влияния Гоголя в своеобразии образов героев ранних произведений Достоевского: «герой дан как *слово*» (*Бочаров*. С. 55). В это же время В. Н. Захаров оспорил утверждение В. В. Виноградова о сближении и отождествлении в повествовательной стратегии автора позиции героя и рассказчика (*Захаров, Трагедия Голядкина*. С. 119 и след).[1] Анализ нарратологической структуры повести является принципиально важным направлением в зарубежных исследованиях «Двойника».[2] Структуралистская методика исследования поэтики повести Достоевского была применена в работах Д. Кирая (*Кирай*).

В рамках лексикографической работы с текстами Достоевского, проводимой Институтом русского языка им. В. В. Виноградова, проанализирована семантика и определена частотность употребления в них слова «двойник» (см.: *Словарь языка Достоевского, 2001*. Вып. 1. С. 121—123; автор статьи — М. М. Коробова).

Историю изучения повести Достоевского обобщила Н. Н. Арсентьева, обозначив приоритетные положения и приложив к своей статье обстоятельную библиографию.[3]

Сценическая история «Двойника» началась недавно. В феврале 1988 г. его поставили в московском театре «Малая драматическая труппа» режиссер А. Титов и художник Д. Комиссаров. 25 февраля 2005 г. на сцене Александринского театра в Петербурге состоялась премьера спектакля В. Фокина в оформлении А. Боровского (переложение для театра А. Завьялова и В. Фокина).

Экранизация «Петербургской поэмы» принадлежит знаменитому итальянскому кинорежиссеру Бернардо Бертолуччи (Bernardo Bertolucci, «Партнер» (Partner), 1968 г.), оператор — Уго Пикконе (Ugo Piccone), композитор — Эннио Морриконе (Ennio Morricone).

Кроме того, в 2011 г. вышел в свет диск с записью моноспектакля «Двойник» (исполнитель — С. Гармаш, режиссер — М. Осипов, композитор — А. Попов. Издательство: Радио Культура).

---

[1] По Виноградову, эволюция точки зрения повествователя состоит в ее максимальном приближении к точке зрения героя; повествователь оказывается своего рода «двойником» героя, т. е. «человека с его языком и понятиями» (*Виноградов, Поэтика*. С. 129, 135).

[2] См., например: *Джоунс*. С. 60—61 и далее; *Connolly J. W.* The ethical implications of narrative point of view in Dostoevskij's *The Double* // Достоевский. Философское мышление, взгляд писателя: Тезисы / XIV Международный симпозиум Общества Достоевского. Неаполь, 13—20 июня 2010 г. Б. м., б. г. С. 39.

[3] *Арсентьева Н. Н.* Двойник // *Д, Словарь-справочник, 2008*. С. 55—64.

С. 129 (471)[1]. *...титулярный советник...* — См. с. 694, коммент. к с. 75.

С. 129 (471). *...в Шестилавочной улице...* — Шестилавочная улица (официальное название — Средний проспект) находилась в Литейной части Петербурга между улицами Кирочной и Малой Итальянской (с 1902 г. — ул. Жуковского); ей соответствует участок нынешней ул. Маяковского в тех же границах.

С. 129 (471—472). *...одного весьма большого, капитального дома...* — См. с. 691, коммент. к с. 65.

С. 130 (472). *Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу ~ «Вот бы штука была ~ если б вышло, например, что-нибудь не так, — прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность...»* — Ср. в повести Н. В. Гоголя «Нос» (1836): «Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе, зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место!» (*Гоголь.* Т. 3. С. 52—53; указано: С. П. Шевырев (*М.* 1846. № 2. С. 173; *Шевырев.* С. 230); *Тынянов, Поэтика.* С. 199).

С. 130 (472). *...пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек...* — Принятые в бытовом обиходе названия ассигнаций (см. с. 683, коммент. к с. 26) по их цвету: зелененькая — 3 рубля, серенькая — 50 и 200 (одна сторона этих ассигнаций была покрыта сеткой серого цвета), синенькая — 5, красненькая — 10; пестренькая — вероятно 100 (обычное название — «радужная») рублей.

С. 131 (473). *...самовар ~ что-то с жаром, быстро болтал на своем мудреном языке ~ вероятно, то, что, дескать, возьмите же меня, добрые люди, ведь я совершенно поспел...* — Ср. в «Мертвых душах» (1842): «...индейский петух ⟨...⟩ заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно „желаю здравствовать"...» (*Гоголь.* Т. 6. С. 48; указано: С. П. Шевырев (*М.* 1846. № 2. С. 173; *Шевырев.* С. 230); *Виноградов, Поэтика.* С. 117).

С. 131 (473). *...на целый аршин выше Петрушки.* — См. с. 684, коммент. к с. 30.

С. 131 (473). *В руках он держал шляпу, тоже с галунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакейский меч в кожаных ножнах.* — Петрушка одет (в понимании Голядкина) как гайдук — у знатных дворян стоящий на запятках кареты выездной лакей высокого роста, в военной венгерской, гусарской или казачьей одежде.

С. 132 (474). *...вицмундир...* — См. с. 687, коммент. к с. 36.

---

[1] В скобках указывается страница первой (журнальной) редакции 1846 г., на которой находится комментируемый фрагмент.

С. 132 (475). *На повороте с Литейной...* — Литейная улица — сохранявшееся в употреблении до 1854 г. (в литературе — до 1930-х гг.) первоначальное название Литейного проспекта.

С. 133 (475). *Им бы только в орлянку...* — Орлянка — игра, в которой выигрывает тот, кто угадает, легла ли подброшенная монета «орлом» или «решкой», т. е. гербовой (лицевой) или оборотной стороной.

С. 133 (475). *...пара казанских лошадок...* — Казанская лошадь (казанка, татарка) — порода быстрых, приземистых, с длинной гривой лошадей, преимущественно саврасой или бурой масти.

С. 133 (475). *...в качестве помощника своего столоначальника.* — Столоначальник — чиновник (обычно VII класса), в чьем ведении находится какой-либо определенный узкий круг дел («стол») и в подчинении помощник и писцы.

С. 133—134 (476). *...бросил страшный вызывающий взгляд ~ взгляд, так и назначенный с тем, чтобы испепелить разом в прах всех врагов его.* — Ср. в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834): «Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд — и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича» (*Гоголь.* Т. 2. С. 274; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 119).

С. 134 (476). *...доктору его, Крестьяну Ивановичу.* — Доктор с таким же именем и отчеством (Христиан Иванович Гибнер) выступает действующим лицом в комедии Гоголя «Ревизор» (1836). (Указано: *Альтман.* С. 146).

С. 134 (476). *...но ведь доктор, как говорят, что духовник...* — Ср. в романе В. Т. Нарежного «Бурсак» (1824): «...врачей столько же надобно слушаться, как и духовных отцов. Одни указывают путь ко спасению, а другие направляют тело ко храму здравия» (*Нарежный В. Т.* Славенские вечера. Запорожец. Бурсак. Гаркуша, малороссийский разбойник / Сост., вступ. ст. и примеч. Н. Ф. Шахмагонова. М., 1990. С. 347). А. М. Достоевский вспоминал: «Любил также брат Федор и повести Нарежного, из которых „Бурсак" перечитывал неоднократно» (*Достоевский А. М., 1992.* С. 71). (Указано: *Ветловская, Из комментария 2.* С. 451).

С. 134 (476). *...Рутеншпиц...* — Фамилия доктора представляет собою анаграмму слова «шпицрутен» (длинный гибкий прут или палка, которыми били наказываемых, главным образом солдат, прогоняя их сквозь строй; от нем. Spießrute).

С. 134 (476). *...доктор медицины и хирургии.* — «Учено-практическое» медицинское звание, согласно «Правилам врачей, фармацевтов, ветеринаров, дантистов и повивальных бабок», утвержденным в 1845 г. Для его получения нужно было выдержать соответствующий экзамен, проведя публично две сложные операции.

С. 134 (477). *Доктор ~ весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми седеющими бровями и бакенбарда-*

*ми...* — Ср. в повести Гоголя «Нос»: «Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды...» (*Гоголь.* Т. 3. С. 68; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 117).

С. 135 (477). *...значительным орденом...* — Вероятнее всего, это орден Св. Станислава II степени; знаком ордена был крест на шее на ленте (ср. ниже о Крестьяне Ивановиче: «На шее незнакомца был орден...» (с. 248 (593)), «...с значительным крестом на шее...» (с. 260 (605)). Именно этим орденом был награжден в 1835 г. главный доктор Московской Мариинской больницы для бедных (где служил отец Достоевского), немец А. А. Рихтер (см.: *Нечаева, В семье и усадьбе.* С. 98), а также доктор-немец в романе «Униженные и оскорбленные» (ср.: Нелли «смотрела на его огромный Станислав, качавшийся у него на шее» (ч. 2, гл. 8)). Возможно, однако, что Крестьян Иванович был награжден орденом Св. Анны II степени.

С. 135 (477). *...абордировать...* — (фр. aborder) подойти к кому-либо, заговорить с кем-либо.

С. 136 (478). *...пользование ваше должно состоять в изменении привычек...* — Пользование — лечение.

С. 136 (478). *...бутылки врагом не бывать...* — Выражение «враг бутылки» — калька с французского фразеологизма «l'ennemi de la bouteille». Ср. в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836): «К тому же не был он (Бопре. — *Ред.*) (по его выражению) и *врагом бутылки*, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее» (*Пушкин.* Т. 8. С. 280).

С. 136 (478). *...он у себя...* — т. е. на своем месте, занимает свое определенное место в обществе. Ср. слова Голядкина в квартире Берендеевых: «...я здесь у себя, то есть на своем месте...» (с. 158 (498)).

С. 136 (478). *Путь жизни широк...* — Эта фраза, отражающая, в толковании В. Е. Ветловской, фольклорный мотив «пути-дороги», восходит, по предположению исследовательницы, к словам из Нагорной проповеди Христа: «Входи́те тесными вратами, потому что широки́ врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 13—14; *Ветловская, Ф. М. Достоевский.* С. 18).

С. 137 (479). *...господин Голядкин немного пришаркнул по полу ножкой...* (С. 160 (499): *...поднял ножку, потом как-то пришаркнул...*; с. 164 (503): *...дробил и семенил ~ частым, мелким шажком, немного с притрусочкой*; с. 221 (563): *...шельмец, интригант и развратник, — проходил по обыкновению своим подленьким частым шажком, присеменивая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то лягнуть*). — Ср. в «Мертвых душах»: Чичиков «...подходил ~ дробным, мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками ~. Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой, в виде коротенького хвостика или наподобие запятой (*Гоголь.* Т. 6. С. 165; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 117).

С. 139 (480—481). *...остановив руку Крестьяна Ивановича, господин Голядкин стоял теперь неподвижно ~ стояли они таким образом оба, неподвижно и не сводя глаз друг с друга.* — Реминисценция немой сцены в «Ревизоре» (д. 5, явл. послед.), в которой Добчинский и Бобчинский неподвижно стоят «с устремившимися движеньями рук друг к другу ⟨...⟩ и выпученными друг на друга глазами» (*Гоголь, 2001.* Т. 4. С. 86).

С. 140 (482). *...поднести коку с соком.* — Кока (коко) — яйцо, лакомство, гостинец. Кока с соком — шутливая поговорка, обозначающая здесь: нежданное «угощение», неприятность.

С. 141 (482). *...с получением асессорского чина...* — Имеется в виду чин коллежского асессора, гражданский чин VIII класса.

С. 141 (482). *...нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые ворожат»* (ср. с. 142 (483): *...связались они с старухами, разумеется, и состряпали дело*). — Обыгрывается поговорка: «Бабушка ворожит»; о человеке, которому все удается вследствие покровительства, протекции (ср.: «Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит» (*Даль.* Т. 1. С. 243; указано: *Ветловская, Ф. М. Достоевский.* С. 72)).

С. 141 (482). *...нашего нещечка...* — Нещечко — сокровище.

С. 142 (484). *...немка, Каролина Ивановна...* — Персонаж с таким же именем и отчеством («дама, кажется, немецкого происхождения», являющаяся «для дружеских отношений приятельницей» «значительного лица») фигурирует в повести Гоголя «Шинель» (1842) (*Гоголь.* Т. 3. С. 171—172; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 120).

С. 144 (485). *...пошел вдоль по линии...* — Линиями назывались торговые ряды Большого Гостиного Двора.

С. 144 (485). *...преследуемый целой стаей сидельцев...* — Сиделец — лицо, торгующее в лавке (или кабаке) по доверенности от хозяина.

С. 144 (486). *...одного известного ресторана на Невском проспекте...* — Этот ресторан ниже назван Голядкиным «кофейным домом» (с. 202 (539)). В то время на Невском проспекте и во всем Петербурге было два «кафе-ресторанта» — трактирных заведений нового типа, разрешенных к учреждению в 1841 г. и объединявших особенности как «ресторацій» (ресторанов), так и кофейных домов (кофеен): «Доминик» (по имени владельца) в здании церкви Святых Петра и Павла (д. 24) и кафе-ресторант Излера (д. 42). В кафе-ресторантах предлагались, в основном, прохладительное, сласти и легкая закуска; напитки подавались не порциями, как в трактирах, а в чашках и стаканах, спиртное — в рюмках. Посетители имели возможность просматривать русские и зарубежные газеты, играть в бильярд, кегли, домино, шахматы, шашки. Оба кафе-ресторанта пользовались большой популярностью. (См.: *Три века Санкт-Петербурга.* Т. 2, кн. 2. С. 339—340, 533—534). Голядкин, по всей видимости, зашел в кафе-ресторант Излера, славившийся своими расстегаями (см. с. 200 (537)).

С. 144 (486). *...пристроился к одной тощей национальной газетке.* — Имеется в виду «Северная пчела» (см. также с. 699, коммент. к с. 113.

С. 145 (486). *...оба регистратора...* — См. с. 695, коммент. к с. 87.

С. 145 (486). *...скандализируясь изумлением чиновников...* — Скандализироваться — находиться в неловком положении.

С. 146 (487). *...не удастся — креплюсь, удастся — держусь...* — Перефразируется пословица: «Не дав слова, крепись, а дав слово, держись» (см.: *Даль.* Т. 4. С. 222).

С. 147 (488). *К Измайловскому мосту.* — Измайловский мост — мост через Фонтанку в створе Вознесенского и Измайловского проспектов.

С. 147 (488). *Сан-фасон* (фр. sans façon) — без церемоний, запросто.

С. 147 (488). *...у подъезда правого фаса.* — Фас — фасад.

С. 147 (488). *Как? что ты, мой милый? Я — я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь? ~ Позвольте-с, нельзя-с. Не велено принимать-с, вам отказывать велено.* — Ср. в «Мертвых душах»: «Уже стал он было в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар поразил его совершенно неожиданными словами: „Не приказано принимать!"

— Как, что ты, ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо! — говорил ему Чичиков.

— Как не узнать, ведь я вас не впервой вижу, — сказал швейцар. — Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно» (*Гоголь.* Т. 6. С. 212; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 117).

С. 147 (488). *...Герасимыч, старый камердинер Олсуфия Ивановича.* — См. с. 713.

С. 148 (489). *...на первой забежной площадке.* — Забежная площадка — площадка на повороте лестницы с одного этажа на другой.

С. 149 (490). *...смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза...* — Ср. в «Мертвых душах»: «...учитель ⟨...⟩ казалось, хотел ему вскочить в глаза...» (*Гоголь.* Т. 6. С. 30; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 117).

С. 150 (490). *...Семеновский мост...* — однотипный с Измайловским (см. выше, коммент. к с. 147) мост через Фонтанку по Гороховой улице.

С. 150 (490). *...поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности.* — Имеется в виду Апраксин переулок в 3-й Адмиралтейской части, проходивший от набережной Фонтанки, по которой ехал Голядкин, до набережной Екатерининского (ныне Грибоедова) канала (после 1849 г. до Садовой ул.). (Указано: *Федоров.* С. 243). «Трактиром скромной наружности» мог быть находившийся там трактир купца 2-й гильдии А. А. Дурдина.

С. 150 (490). *...Петрушке приказал идти домой и ждать его возвращения...* — Согласно «Положению о трактирных заведениях и местах для продажи напитков в столице» от 1835 г., в трактиры запрещался вход женщинам, солдатам, крестьянам и слугам в ливреях.

С. 150 (491). *Статский советник* — гражданский чин V класса.

С. 150 (491). *...походил более на какой-то пир вальтасаровский...* — По библейскому рассказу (Книга пророка Даниила, гл. 5), во время пира у халдейского царя Валтасара таинственная рука начертала на стене письмена, предвещавшие гибель хозяину, убитому в ту же ночь. Вальтасаровский — роскошный и беспечный. В символическом смысле может быть понято как «намек на таинственную недоброжелательность „пира вальтасаровского" по отношению к Голядкину, для которого пир и бал окончатся крахом, „гонением судьбы" (наст. том, с. 161) и появлением двойника. С этого момента действие повести переключается в трагико-фантастический план» (см.: *Якубович И. Д.* Поэтика ветхозаветной цитаты и аллюзии у Достоевского: бытование и контекст // *Д, Материалы и исследования*. Т. 17. С. 44—45).

С. 150 (491). *...отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия...* — Аллюзия на «блистательность», «великую роскошь» и «блудодеяние» гибнущего Вавилона, описываемого в Откровении ап. Иоанна Богослова (Апокалипсисе) (гл. 18).

С. 150 (491). *...с шампанским-клико, с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок...* — Имеются в виду известные высоким качеством товаров гастрономические магазины купцов 1-й гильдии Степана, Сергея и Григория Елисеевых (лавка по продаже вина и фруктов на Невском проспекте, д. 18, и магазин колониальных товаров на Биржевой линии, д. 10) и славившиеся изысканными деликатесами (в частности, устрицами) и дороговизной Милютины лавки (Милютинские, Милютины ряды) на Невском проспекте, д. 27.

С. 150 (491). *...со всякими упитанными тельцами...* — Евангельский образ: в притче о блудном сыне (Лк. 15, 11—32) отец заколол упитанного тельца (в русском переводе Библии «откормленного теленка») в честь вернувшегося сына.

С. 150 (491). *...чиновною табелью о рангах...* — Имеется в виду, что на званом обеде гости рассаживаются за столом соответственно чинам по «Табели о рангах».

С. 150 (491). *О, если бы я был поэт! — разумеется, по крайней мере такой, как Гомер или Пушкин ~ я бы начал свою поэму обедом...* — Подразумеваются описания пиров в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера и отсылающее к ним празднование именин Татьяны в романе в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 5, строфа 36):

...речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках.
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

С. 151 (492). *...вином, нарочно привозимым из одного отдаленного королевства...* — Имеется в виду Франция — родина бургундских и шампанских вин.

С. 151 (492). *...полные ожидания очи.* — Иронически использованная цитата из «Мертвых душ»: «...зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» (*Гоголь.* Т. 6. С. 221; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 117).

С. 151 (492). *...коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте...* — Коллежский советник — гражданский чин VI класса.

С. 152 (493). *...Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента...* — Выведен в качестве действующего лица также в «Записках из подполья» (ч. 2).

С. 153 (493). *...резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам...* — Возможно, скрытая цитата из третьей книги поэмы И. Ф. Богдановича (1743—1803) «Душенька» (1783):

> Сей свет, где ты досель равнялась с божеством,
> Отныне в скорбь тебе наполнен будет злом
> ⟨...⟩ твои утехи,
> Забавы, игры, смехи
> ⟨...⟩ прошли, как будто сон.

С. 153 (493). *...с их резво-игривыми, гомеопатическими, говоря высоким слогом, ножками?* — Гомеопатический — очень маленький (неологизм 1830-х гг.). Ср. в романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом» (1835) о героине произведения Мариорице Лелемико при первом ее появлении: «...в другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьянный сапожок» (*Лажечников И. И.* Ледяной дом. Л., Худож. лит-ра, 1982. С. 49). О знакомстве Достоевского с этим романом см. выше, с. 681, коммент. к с. 24. (Указано: *Ветловская, Из комментария 2.* С. 452).

С. 153 (494). *...пришпандорил-таки свою дамочку...* — Пришпандорить — здесь: заставить танцевать партнершу сообразно своим желаниям, подчинить ее себе в танце.

С. 153 (494). *...между всяким дрязгом, хламом и рухлядью...* — Дрязг — сор, мусор, хлам.

С. 154 (494). *...фразу блаженной памяти французского министра Виллеля, что «всё, дескать, придет своим чередом, если выждать есть сметка».* — Виллель Жан-Батист (1773—1854) — граф, французский политический деятель, роялист. В 1822—1827 гг. — глава кабинета министров Людовика XVIII и Карла X; впоследствии — член палаты пэров; после Июльской революции 1830 г. отошел от политической деятельности. Цитируемая Голядкиным фраза была своего рода политическим девизом Виллеля.

С. 154 (494). *...о бывшем турецком визире Марцимирисе, равно как и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых читал он тоже когда-то в книжке.* — Имеется в виду лубочный роман М. Комарова (ум. 1812) «Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фредерике Луизе с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезии» (1782). В 1840 г. вышло его восьмое издание. Об «Английском милорде» как об излюбленном чтении русского малообразованного читателя писал начиная с 1839 г. Белинский (см.: *Белинский.* Т. 3. С. 206—210), а в 1860-е годы Н. А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (ч. 1, гл. 2).

С. 154 (494). *...иезуиты поставили даже правилом своим считать все средства годящимися, лишь бы цель могла быть достигнута.* — Католическому монашескому ордену иезуитов (официальное название «Общество Иисуса» (лат. Societas Jesu)), основанному в 1534 г. Игнатием Лойолой, приписывается девиз: «Цель оправдывает средства».

С. 154 (495). *Фигурант* — актер, исполняющий роль без слов, статист.

С. 154—155 (495). *...сказал господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею рукою за окоченевшую щеку, — дурашка ты этакой...* — Ср. в «Мертвых душах»: «...он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: „Ах ты мордашка эдакой!"...» (*Гоголь.* Т. 6. С. 161; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 117).

С. 155 (495). *...Голядка ты этакой, — фамилия твоя такова!..*» — См. выше, с. 708—709, примеч. 1.

С. 155—156 (496). *...подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед; наткнулся мимоходом на какого-то советника ~ он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но что сделано было, того не воротишь... ~ покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом и — и обмер...* — Отрывок представляет собою параллель описанию в повести «Невский проспект» (1835) встречи художника Пискарева во сне на балу в изысканном обществе с очаровавшей его днем девушкой, оказавшейся проституткою: «...он не смел податься вперед ⟨...⟩ опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. ⟨...⟩ Он покраснел до ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда: камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенною стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял глаза посмотреть, не глядит ли она на него: Боже! она стоит перед ним...» (*Гоголь.* Т. 3. С. 25).

С. 155 (496). *...какого-то советника...* — Советник — общее наименование чиновников IX—II классов «Табели о рангах» (кроме коллежского асессора), от титулярного советника до действительного тайного советника. Здесь имеется в виду советник высокого ранга.

С. 157 (497). *...поручик..* — В русской армии второй обер-офицерский чин (см. ниже, с. 769, коммент. к с. 283), соответствовавший XII классу «Табели о рангах».

С. 157—158 (497—498). *...вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять с головы зеленую чалму ~ то останется тоже голая, безволосая голова.* — Ср. в романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом»: «Случалось и то в подобных изъявлениях особенного ее (Мариорицы. — *Ред.*) благоволения, что шаловливая ножка, будто ненарочно, сваливая чалму с головы старика (хотинского паши. — *Ред.*), обнажала таким образом огромную сияющую лысину» (*Лажечников И. И.* Ледяной дом. Л.: Худож. лит-ра, 1982. С. 59). (Указано: *Ветловская, Из комментария 2.* С. 452).

С. 158 (498). *...стушеваться...* — См. с. 714

С. 159 (499). *...настало время удара смелого, время посрамления врагов его.* — Вероятная аллюзия на повесть Н. М. Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (1803): «Настало время мести, время славы и торжества христианского. Еще удар последний не совершился, но Иоанн, избранный Богом, не опустит державной руки своей, доколе не сокрушит врагов и не смешает их праха с земною перстию» (*Карамзин Н. М.* Избр. соч.: В 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 685).

С. 159—160 (499). *...музыка умолкла... ~ Он отчего-то улыбался, он просительно протягивал руку.* — Ср. во сне Пискарева: «Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание ⟨...⟩ Танец длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала ⟨...⟩ Она села, грудь ее воздымалась ⟨...⟩ означил яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее — и ничего больше! ⟨...⟩ Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать» (*Гоголь.* Т. 3. С. 25—26).

С. 160 (499). *...в ретираде.* — Ретирада (фр. retirade) — отступление.

С. 161 (500). *Жаба* — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся воспалением зева и небных миндалин; ангина.

С. 161 (500). *...вздымая выше колец черную воду Фонтанки...* — На гранитных набережных рек и каналов Петербурга у спусков к воде в стены встраивались кольца для причаливания лодок.

С. 162—164 (502—503). *...ему показалось, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь, около него, рядом с ним ~ пустился догонять незнакомца, даже закричал ему что-то...* — Ср. эпизод в романе Э. Т. А. Гофмана «Эликсиры дьявола» (1816): «Когда в ночной темноте я поспешал назад в резиденцию, я не мог отделаться от ощущения, будто кто-то сопутствует мне бегом и неотвязный шепот преследует меня:

— Всю-ду... всюду я с то...бой... с то-бой, ... бра-тец мой... братец мой Медардус!

Мои глаза уверяли меня, что призрак двойника колобродит лишь в моей собственной фантазии, но я не мог отделаться от этого страшного

морока и не прочь был даже, в конце концов, покалякать с ним...» (*Гофман.* Т. 2. С. 183; указано: *Родзевич.* С. 227).

С. 163 (502). *...медный грош...* — После денежной реформы 1839—1843 гг. название медной монеты достоинством в 1/2 копейки.

С. 163 (502). *...и претендовать будет не на что...* — Претендовать — жаловаться, обижаться.

С. 163 (502). *Где-то далеко раздался пушечный выстрел. «Эка погодка, — подумал герой наш, — чу! не будет ли наводнения? видно, вода поднялась слишком сильно».* — Согласно указу 1777 г., выстрелами из пушки, а также сигнальными огнями и барабанным и колокольным боем в Петербурге извещали об угрозе наводнения.

С. 164 (503—504). *Вдруг он остановился, как вкопанный ~ Незнакомец молча и с досадою повернулся...* — Параллель к повести Гоголя «Нос»: «Вдруг он стал как вкопанный ⟨...⟩ Каков же был ужас и вместе с тем изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! ⟨...⟩ Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. ⟨...⟩ Он побежал за каретою ⟨...⟩ Наконец увидел его стоявшего в стороне. ⟨...⟩ „Милостивый государь..." — сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться ⟨...⟩ — „Вы ошибаетесь, милостивый государь" ⟨...⟩. Сказавши это, нос отвернулся...» (*Гоголь.* Т. 3. С. 55—56; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 118).

С. 165 (504). *...Аничков мост...* — однотипный с Измайловским и Семеновским мост через Фонтанку на Невском проспекте (см. с. 734, коммент. к с. 147, 150).

С. 166 (505). *...затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господином Голядкиным ~ Наконец, он увидел своего незнакомца...* — Вероятно, реминисценция из трагедии И. В. Гете «Фауст» (ч. 1, сц. «У ворот»): Мефистофель впервые появляется перед Фаустом в виде черного пуделя (указано: *Осипов.* С. 87).

С. 166 (505). *...на повороте в Итальянскую улицу.* — Имеется в виду Малая Итальянская улица (см. с. 730, коммент. к с. 129).

С. 169 (508). *«Ведь вот уже половина десятого ~ и являться-то поздно.* — См. с. 681, коммент. к с. 24.

С. 169 (508). *...экзекутор...* — чиновник, ведавший хозяйственными делами и надзором за внешним порядком в канцелярии.

С. 170 (509). *...победную голову...* — Победная голова — устойчивое словосочетание, характерное для народных причитаний (отмечено: *Ветловская, Ф. М. Достоевский.* С. 36—37, 73).

С. 171 (510). *«Что ж это, сон или нет ~ ощущал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым примером.* — Реминисценция из повести «Нос»: «Это, верно, или во сне снится, или просто грезится ⟨...⟩ майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу ⟨...⟩ отскочил назад, сказавши: „экой пасквильный вид!"» (*Гоголь.* Т. 3. С. 65; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 118).

(С. 512). *...слона-то, как говорится, и не заметишь...* — Выражение, восходящее к басне Крылова «Любопытный» (1814).

С. 173 (512). *...перед смертию себя вдвойне видела...* — По народному поверью, увидеть двойника — к смерти: «Если человек себя другого увидит, то неотменно должен ожидать себе смерти, особливо ежели привидение кого к себе зовет или манит» (Новый сонник, или Истолкователь снов. СПб., 1817. С. 310); «Есть особый род видений ⟨...⟩, это *двойники*, т. е., человек видит самого себя ⟨...⟩ Иногда видят его также другие люди ⟨...⟩ Если двойника застанешь у себя в комнате, или вообще, если он предшествует человеку, идет наперед, то это означает близкую кончину....» (*Даль В. И.* О повериях, суевериях и предрассудках русского народа: Материалы по русской демонологии. СПб.: Литера, 1996. С. 115; указано: *Ветловская, Ф. М. Достоевский.* С. 70—71).

С. 174 (512). *...сиамские близнецы, срослись себе спинами, так и живут, и едят, и спят вместе; деньги, говорят, большие берут.* — Сиамские близнецы Ханг и Энг (1811—1874) демонстрировались за деньги в различных странах Европы и Америки.

С. 175 (514). *Старая петля!* — См. с. 692, коммент. к с. 67.

С. 175 (514). *...забежать вперед зайцем...* — подольститься.

С. 176 (514). *А ларчик-то просто ведь открывался.* — Выражение, восходящее к басне И. А. Крылова «Ларчик» (соч. 1807, опубл. 1808).

С. 176 (514). *...аппробую...* — Аппробовать (фр. approber) — одобрять.

С. 176 (515). *...из истории известно, что знаменитый Суворов пел петухом...* — См.: Анекдоты князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, изданные Е. Фуксом. СПб., 1827. С. 75, 78.

С. 179 (518). *...благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане...* — Благородный паспорт — диплом на дворянство.

С. 180 (518). *...одного из повытчиков...* — Повытчик — должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде.

С. 181 (519). *...любезный человек во всех отношениях.* — Возможно, корреспондирует с неоднократно употребленным в девятой главе «Мертвых душ» выражением «дама приятная во всех отношениях».

С. 181 (519). *...о картине Брюллова...* — Картина К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» была выставлена в Академии художеств в Петербурге в 1834 г. и вызвала множество откликов в заграничной и русской печати. См.: Собрание описаний картины К. Брюллова «Последний день Помпеи». СПб., 1834; ср.: *БдЧт.* 1834. Т. 1, отд. 3. С. 119—138, Т. 3, отд. 7. С. 49—50, Т. 4, отд. 7. С. 32—35; *СП.* 1834, 17 августа, № 184, 1 ноября, № 248; статью Н. В. Гоголя «Последний день Помпеи. (Картина Брюллова)», включенную в его «Арабески» (1835) (*Гоголь, 2001.* Т. 3. С. 171—172).

С. 181—182 (519). *...два англичанина приехали нарочно из Англии в Петербург, чтоб посмотреть на решетку Летнего сада, и тотчас уехали...* — Неточный пересказ петербургской легенды о богатом англичанине, приехавшем в Петербург только для того, чтобы увидеть построенную в 1770—1780-х гг. чугунную ограду Летнего сада со стороны Невы, — после чего, потрясенный ее красотой, он сразу уплыл домой. Сходные анекдоты см.: *Хвостов Д. И.* Разные стихотворения. СПб., 1827. Т. 5. С. 277; *Бурнашев В. П.* Прогулка с детьми по С.-Петербургу и его окрестностям / Соч. В. Бурьянова. СПб., 1838. Ч. 2. С. 263—264. См. также с. 709.

С. 182 (520). *...Россия с часу на час идет к совершенству...* — Намек на имевшую широкое, но только устное распространение фразу А. Х. Бенкендорфа, главы III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, шефа корпуса жандармов: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно; что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение...».

С. 182 (520). *...«тут Словесные науки днесь цветут»...* — Цитата из драматического произведения А. П. Сумарокова «Новые лавры: Пролог...» (1759):

> Не тем уж местом ты, Петрополь, ныне зрим;
> Где прежде жили финны:
> На сих брегах поставлен Древний Рим
> И Древние Афины.
> Тут
> Словесные науки днесь цветут.

С. 182 (520). *...прочитанном недавно в «Северной пчеле»...* — «Северная пчела» — см. с. 699, коммент. к с. 113.

С. 182 (520). *...о бароне Брамбеусе...* — Барон Брамбеус — см. с. 682, коммент. к с. 24.

С. 182 (520). *Если ты меня забудешь ~ Не забудь и ты меня!* — Альбомные стихи, распространенные в России в XIX в., особенно среди институток.

С. 183 (521). *...никто таков, как Бог.* — От выражения в Евангелии: «Никто не благ, как только один Бог» (Мф. 19, 17; Мк. 10, 18; Лк. 18, 19).

С. 183 (521). *...не соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеветах, взводимых на турецкого пророка Мухаммеда...* (ср. с. 577: *...восстановим, между прочим, несколько замаранную, посредством разных немецких ученых, репутацию общего нашего друга Мухаммеда, пророка турецкого...*) — В рассуждениях Голядкина отражены, по-видимому, глухие отголоски споров в тогдашней печати вокруг ислама и личности Мухаммеда. В 1841 г. появились на английском языке лекции Т. Карлейля «О героях, культе героев и героическом в истории» с резко отрицательной оценкой Мухаммеда (рус.

пер.: С. 1856. № 2. С. 102—103), а в 1843 г. — книга немецкого ориенталиста Г. Вейля (1808—1889) «Мухаммед-пророк, его жизнь и учение» (*Weil G.* Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre. Stuttgart, 1843). В обсуждении вопросов философии религии в эти годы принимали также живейшее участие французские социалисты-утописты и немецкие левогегельянцы. Возможно, что Достоевскому уже в 1840-х гг. был известен Коран во французском или русском переводе. Ряд переводов его на русский язык (с французского) был сделан в XVIII в. (см. о них в кн.: Коран / Предисл. и коммент. И. Ю. Крачковского. М., 1963. С. 3). Позднее, в 1850-е годы, в Семипалатинске Достоевский специально изучал Коран. Интерес к личности Мухаммеда проходит через все зрелое творчество писателя («Преступление и наказание», «Подросток») — в том числе (после того как у Достоевского в 1850-х гг. обнаружилась эпилепсия), к «священной болезни» Мухаммеда, вызванных ею видениях и галлюцинациях («Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»).

С. 184 (521). *...чтоб не оставалось на столе просыпанной соли.* — Согласно народной примете, нечаянно просыпать соль — к ссоре (см.: *Даль.* Т. 4. С. 268).

С. 184 (522). *...курныкая головой...* — Курныкать — мурлыкать; петь про себя, вполголоса. Здесь, вероятно: трясти головой, словно бы мурлыча, напевая что-то под нос.

С. 185 (522). *...прощение и забвение обид есть первейшая добродетель...* — Восходит к Нагорной проповеди Христа: «...если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14—15; ср.: Мк. 11, 25—26).

С. 186 (524). *Канцелярист* — низшее должностное лицо в государственных учреждениях, не имевшее классного чина.

С. 186 (524). *...ветошка гнилая какая-нибудь...* — см. с. 681, коммент. к с. 24.

С. 186 (524). *...неглижировал бы с ним...* — Неглижировать (фр. négliger) — относиться без надлежащего усердия, внимания; пренебрегать.

С. 186. *Ну, как он придет и откажется?* — В первой редакции «Двойника» фраза имела противоположный смысл: «Ну, как он не придет и откажется?» (с. 524).

С. 187 (524—525). *...столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель его ~ Что-с? Объясните скорее-с.* — Ср. в повести «Нос» сцену встречи коллежского асессора Ковалева с собственным носом (*Гоголь.* Т. 3. С. 55—56; указано: *Дилакторская.* С. 190—191).

С. 189 (526). *...знак за двадцатилетнюю беспорочную службу-с...* — Знак отличия беспорочной службы, учрежденный в 1827 г., давался за нахождение в классных чинах 15 и более лет (по пятилетиям). Знак представлял собой позолоченную серебряную квадратную сквозную пряжку с изображением на ней дубового венка и числа лет

службы (римской цифрой) (см.: *Шепелев Л. Е.* Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л.: Наука, 1991. С. 199).

С. 189 (526). *...тем развиваю...* — Тем (фр. thème, м. р.) — тема.

С. 189—190 (527). *...что означает этот новый крючок?* — Крючок — здесь: поворот дела.

С. 191 (529). *...работа его (как он после узнал) почти превзошла ожидания его превосходительства ~ отказался слушать...* — Ср. эпизод из 5-й главы повести Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (1819; русский перевод — 1844), где князь Барсануф хвалит Цахеса за слог и почерк в бумагах, переписанных одним молодым чиновником. Когда чиновник пробует объясниться, князь его прогоняет (указано: *Ботникова*. С. 160).

С. 194 (531). *...попадешь под сюркуп...* (Ср. с. 253 (599): *...под сюркуп, в монастырь.*) — Сюркуп (от фр. surcouper) — перекрывание карты старшей картой.

С. 194 (531). *...сокрушить рог гордыни...* — Восходит к Ветхому Завету: «Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника» (Пс. 74, 11).

С. 194 (531). *...раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия.* — Образ заимствован из первой сцены маленькой трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (соч. 1830, опубл. 1831):

> Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
> Когда-нибудь завистником презренным,
> Змеей, людьми растоптанною, вживе
> Песок и пыль грызущею бессильно?
>
> (*Пушкин*. Т. 7. С. 124).

С. 196 (533). *Это враги мои говорят...* (Ср. далее с. 233 (574): *Это речь врагов моих...*) — Ср. в Ветхом Завете: «...враги мои говорят против меня...» (Пс. 70, 10).

С. 196 (533). *Отчаянный и покинутый всеми...* — Отчаянный — в отчаянии, проникнутый отчаянием.

С. 197 (534). *...на тряском экипаже своего ваньки.* — Ванька — дешевый извозчик; как правило, приехавший на заработки крестьянин на одноконной пролетке — легком открытом четырехколесном двухместном экипаже. Примеры употребления в литературных произведениях этого прозвища см.: *Ветловская, Из комментария 2*. С. 453.

(С. 538). *...дескать, отложи-ка попечение, сударь мой, да и только.* — Насмешливый намек на «Херувимскую песнь», исполняемую хором во время Литургии верных — основной части суточного цикла церковных богослужений: «Иже херувимы тайно образующе, и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение» (указано: *Ветловская, Из комментария 2*. С. 452).

С. 203 (540). *Губернский секретарь* — гражданский чин XII класса.

С. 205 (541). *Эх, право, комиссия!*» — Комиссия (фр. commission — поручение) — затруднение, хлопоты, беспокойство.

С. 206 (542). *Разбойник ты этакой! голову ты срезал с меня!* — Ср. в «Мертвых душах» слова Чичикова, обращенные к его слуге Селифану: «На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник...» (*Гоголь*. Т. 6. С. 217).

С. 207 (543). *Хороший чиновник! И барин твой, говорит, хороший человек ~ уважаю твоего барина! ~ вот...* — Ср. слова выпившего «с хорошим человеком» Селифана: «Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. ⟨...⟩ Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает...» (*Гоголь*. Т. 6. С. 41).

(С. 545). *...и претендовать на это нельзя.* — См. с. 739, коммент. к с. 163.

С. 209 (546). *...два целковых...* — См. с. 683, коммент. к с. 26.

С. 210 (546). *...возьмите Евстафия, служившего прежде у нас и находящегося на сей раз без места.* — По воспоминаниям С. Д. Яновского, персонаж назван по имени служившего у братьев Достоевских в 1846 г. отставного унтер-офицера Евстафия (*РВ*. 1885. № 4. С. 811; *Достоевский в воспоминаниях, 1990*. Т. 1. С. 244).

С. 210 (546). *...фунт сахару...* — См. с. 684, коммент. к с. 27.

С. 212 (548). *...всякий должен быть доволен своим собственным местом.* — Ср. слова Ковалева носу в повести Гоголя «Нос»: «...вы должны знать свое место» (*Гоголь*. Т. 3. С. 55; указано: *Бем, У истоков*. С. 516).

С. 214 (551). *...куртизанит уж третьего...* — Куртизанить (фр. courtiser) — ухаживать, угодничать, льстить.

С. 215 (552). *...народилась наконец страшная бездна совершенно подобных ~ в случившуюся у него под боком будку...* — Ср. эпизод в новелле Гофмана «Выбор невесты» (1819), в котором пожилой, невзрачный, плешивый правитель канцелярии Тусман возвращается домой после того, как увидел красавицу Альбертину (на которой мечтал жениться) танцующей в подвенечном платье с молодым соперником, — и видит под воздействием злых чар, что «...вокруг кишмя кишело правителями канцелярии Тусманами...». Он просит: «Будочник, ⟨...⟩ отгоните от дверей этого мошенника правителя канцелярии Тусмана, дабы честный правитель канцелярии Тусман, каковым являюсь я, мог попасть домой» (*Гофман*. Т. 4, кн. 2. С. 49, 48; указано: *Евнин*. С. 19).

С. 215 (552). *...будку...* — См. с. 696, коммент. к с. 93.

(С. 554). *...так и так, дескать... экстра, — вверяюсь...* — Экстра (нем. Extra) — здесь: особое, важное дело.

(С. 555). *...всякий человек собственный свой нос бережет, лелеет и охраняет его...* — Аллюзия на повесть «Нос» (указано: *Бем, У истоков*. С. 507).

(С. 555). *...подлисить...* — лукаво подольститься.

(С. 555). *... гравированный портрет шута Балакирева...* — Балакирев Иван Алексеевич (1699—1763) — доверенный слуга Пет-

ра I, впоследствии шут при дворе Анны Иоанновны, прославившийся остроумием и смелостью. Изданное К. А. Полевым апокрифическое «Собрание анекдотов Балакирева» (Берлин, 1830), выдержавшее множество переизданий (в том числе в 1840-е годы) в разном составе и под разными заглавиями, сделало образ Балакирева популярным в широкой читательской среде. О «всеобщей известности» и «народности» Балакирева — «лица исторического и очень важного» — писал в 1839 г. В. Г. Белинский в рецензии на очередное переиздание сборника (см.: *Белинский*. Т. 3. С. 116). До нас дошло два гравированных портрета Балакирева (см.: *Ровинский Д. А.* Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1889. Т. 1. С. 319).

С. 217 (559). *...человек отчасти нужный...* — Каламбур: нужный — полезный; нуждающийся.

С. 219 (561). *...сторож Михеев...* — В «Ревизоре» департаментский сторож Михеев упоминается Хлестаковым в письме Тряпичкину (д. 5, явл. 8) (*Гоголь, 2001*. Т. 4. С. 80; указано: *Альтман*. С. 147).

С. 220 (562). *...немка нажаловалась, одноглазая!* — Быть одноглазой, кривой — по народным поверьям, признак злых женских демонических образов (лихо, кикимор).

С. 222—223 (564—565). *...хотел уже выйти на улицу ~ не кто иной, как тот же господин Голядкин-младший ~ пустился скоробежкой вверх по департаментской лестнице.* — Ср. в повести Гоголя «Нос»: «...вышел он из кондитерской ⟨...⟩ Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома ⟨...⟩ перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. ⟨...⟩ это был собственный его нос!» (*Гоголь*. Т. 3. С. 55).

С. 225 (567). *Это наш русский Фоблаз...* — Фоблаз — коварный и ловкий соблазнитель (от имени героя романа французского писателя Ж.-Б. Луве де Куврe (J.-B. Louvet de Couvray; 1760—1797) «Любовные похождения кавалера де Фобласа» («Les amours du chevalier de Faublas»; 1790; рус. пер.: М., 1792—1796. Ч. 1—13; изд. 2-е — М., 1805).

С. 226 (568). *...удивляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца.* — Ср. в повести Гоголя «Нос»: Ковалев «оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец...» (*Гоголь*. Т. 3. С. 57; указано: *Бем, У истоков*. С. 514).

С. 227 (569). *Он ел мой хлеб...* — Восходит к Ветхому Завету: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (Пс. 40, 10). Ср. в Евангелии от Иоанна 13, 18: «...ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою».

С. 231 (573). *...стараясь сохранить экилибр...* — Экилибр (фр. équilibre) — равновесие.

С. 232 (574). *...за бир-суп да мильх-суп наше сердце им посвящаем...* — Бир-суп (нем. Biersuppe) — суп из пива, воды и крахмала с пряностями; мильх-суп (нем. Milchsuppe) — молочный суп.

(С. 577). *Дайте руку на разлуку...* — Измененная цитата из второй части (строфа LIII, стихи 1223—1224) поэмы И. С. Тургенева «Андрей» (*ОЗ*. 1846. Т. 44. № 1), составленная из смежных конечных рифмующих полустиший:

Андрей, прощайте. Дайте руку
Не на свиданье — на разлуку

(*Тургенев, Сочинения*. Т. 1. С. 167).

Номер «Отечественных записок», в котором была напечатана поэма Тургенева, вышел в свет 2 января 1846 г. (*Боград В. Э.* Журнал «Отечественные записки», 1839—1848: Указатель содержания. М., 1985. С. 290), а в том же месяце (*Некрасов, 1981—2000*. Т. 1. С. 688), вероятно в самом его начале (*Тургенев, Сочинения*. Т. 1. С. 607; Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева (1818—1858) / Сост. Н. С. Никитина. СПб., 1995. С. 108), Тургенев и Некрасов написали сатирическое стихотворение «⟨Послание Белинского Достоевскому⟩» («Витязь горестной фигуры...»), в котором с язвительной насмешкой упоминался еще не опубликованный «Двойник». Если верна датировка этого стихотворения началом января (*Летопись* (Т. 1. С. 107) относит его, без подробного обоснования, к концу месяца), то допустимо предположение, что цитата была вставлена оскорбленным Достоевским в текст «Двойника» на последнем этапе работы над ним с намерением придать ей пародийно-полемический смысл, который должен был быть понятым в кругу насмешников.

Вместе с тем цитата из поэмы Тургенева могла нести в себе реминисценцию стихов из шестой главы поэмы Е. А. Баратынского «Наложница» (1831; в изд. 1835 г. загл. «Цыганка»):

Бегите, Вера! дайте руку!..
Не на ужасную разлуку,
С которой не сживуся я,
Но на союз живой и вечный.

(Баратынский Е. А. Полн. собр. соч. /
Под ред. и с примеч. М. Л. Гофмана.
СПб., 1915. Т. 2. С. 113;
стихи 1078—1081).

(С. 578—579). *...сказку ~ жены одного старика.* — Сюжет этот (восходящий к средневековому фаблио) разработан в ставших известными русскому читателю еще в XVIII в. (в переводах и оригинале) сказке Ш. Перро (1628—1703) «Потешные желания» и «Сказке о трех желаниях» М. Лепренс де Бомон (1711—1780), входившей в ее «Детское училище, или Беседы разумной гувернантки со своими воспитанницами» (1756; первый рус. пер.: 1761—1767). В 1845 г. в Петербурге вышел сборник «Шесть сказок для детей. Перевод с французского», где был в очередной раз помещен перевод сказки Ш. Перро.

С. 237 (581). *...успел как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб ~ желая отделаться рублем серебра за просыпанные пряники, яблоки, горох и разные разности.* — Вероятная аллюзия на начальный эпизод повести Гофмана «Золотой горшок» (1814; русский перевод ее был издан в 1839 г.), в котором «стремительно шедший» Ансельм просыпает яблоки и пирожки из корзины торговки и расплачивается за это.

С. 237 (581). *...походным товаром...* — Походный — продаваемый в разнос.

(С. 582). *...на Обуховском проспекте...* — Обуховскому проспекту, находившемуся в 3-й Адмиралтейской части Петербурга, соответствует участок современного Московского проспекта от Сенной площади до Фонтанки.

(С. 582). *...с Большой Подьяческой...* — Большая Подъяческая улица, относившаяся к 3-й Адмиралтейской части Петербурга, проходила между Екатерининским каналом (ныне канал Грибоедова) и Фонтанкой; сохранилась с тем же названием и в тех же границах.

(С. 582). *...в Сергиевской улице.* — Сергиевская улица (ныне ул. Чайковского) находилась в Литейной части Петербурга между Таврической (с 1871 г. Потемкинской) улицей и Фонтанкой.

С. 238 (583). *...один отставной военный, с красным воротником...* — По завершении беспорочной службы военные, выходя в отставку, получали право продолжать носить воинский мундир, частью которого мог быть красный воротник.

С. 238 (583). *...«Полицейские ведомости».* — Имеется в виду газета «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции», выходившая в Петербурге в 1839—1917 гг.

(С. 585). *...на берегу Хвалынского моря.* — Хвалынское море — древнерусское название Каспийского моря.

С. 241 (587). *Рубашек холстинковых шесть-с...* — См. с. 697, коммент. к с. 103.

С. 241 (587). *...карпеток три пары...* — Карпетка (польск. skarpetka) — носок, короткий чулок.

С. 241 (587). *...из нижнего платья две штуки-с.* — Нижнее платье — все виды штанов (панталоны, брюки и др.).

С. 242 (588). *...лисий салоп...* — См. с. 686, коммент. к с. 34.

С. 244 (590). *...в пансион, к мадам француженке, к эмигрантке Фальбала там какой-нибудь...* — Фальбала — имя содержательницы пансиона, француженки (фр. falbala — оборка; ср. с. 122 и коммент. к ней), из поэмы Пушкина «Граф Нулин» (1827):

...не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала.

(*Пушкин.* Т. 5. С. 4; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 140).

С. 244 (590). *...романс чувствительный по-испански пропойте...* — Имеется в виду серенада.

С. 244. *«Какой тут вояж! думал господин Голядкин, смотря на погоду, — тут всеобщая смерть...»* (С. 590. *«Какой тут вояж! думал господин Голядкин, смотря на погоду, — тут смерть, тут всеобщая смерть...»*) — Размышления Голядкина в связи с предстоящим «свадебным путешествием» контрастно обыгрывают сказанное персонажами «Женитьбы»: «Яичница. Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совсем другое дело — не скучно; а если в одиночестве — так это просто... Жевакин. О, смерть, совершенная смерть» (д. 1, явл. 19; *Гоголь.* Т. 5. С. 33), (Коммент. В. Е. Ветловской; см.: *Ветловская, Из комментария 2.* С. 452—453).

С. 246 (592). *...на залавке...* — Залавок — длинный сундук, употребляемый как скамья или стол.

С. 247 (592). *...всё мое дело на ветер пошло...* — Ср. пословицу: «С ветра пришло, на ветер и пошло» (*Даль.* Т. 1. С. 334).

С. 247 (593). *...звезду на черном фраке его превосходительства...* — Восьмиугольная звезда на груди была знаком орденов Св. князя Владимира II и I степени и Св. Анны I степени.

С. 248 (594). *...генерал оборотился...* — Высшие гражданские чины было принято называть равными воинскими званиями; согласно «Табели о рангах», гражданский чин «его превосходительства» (IV и III класса — действительный статский и тайный советник) равнялся генерал-майору и генерал-лейтенанту или генерал-кригскомиссару (до 1868 г.) соответственно.

С. 249 (594—595). *Ваше превосходительство, — сказал он, — униженно прошу позволения вашего говорить ~ позвольте спросить вас, в чьем присутствии вы так изъясняетесь? перед кем вы стоите...* — Ср. в «Шинели»: «„Но, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, — я, ваше превосходительство, осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ..." ⟨...⟩ „Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю"» (*Гоголь.* Т. 3. С. 166—167; указано: *Федоров.* С. 227; *Дилакторская.* С. 192).

С. 249 (595). *Господа Бассаврюковы! ~ «Хорошая дворянская фамилья, выходцы из Малороссии»...* — Фамилия образована от прозвища персонажа повести Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» (1830) Басаврюка (указано: *Виноградов. Поэтика.* С. 120; *Осипов.* С. 82), олицетворяющего, в соответствии с народными верованиями, нечистую силу, «дьявола в человеческом образе» (*Гоголь, 2001.* Т. 1. С. 101).

С. 249—250 (595). *...его, кажется, направляют к большим дверям кабинета. ~ Но, не слушая ничего и не внимая ничему по-*

*стороннему, он уж выходил из передней...* — Ср. в были Е. П. Гребенки «Двойник» (1836; на русском языке — 1837) изгнание «раздвоившегося» впоследствии казака Андрея со двора дома пана, на дочке которого герой мечтал жениться: «...с хохотом бросилась на несчастного голодная челядь пана и, осыпая его толчками и насмешками, повлекла со двора ⟨...⟩ он шел машинально ⟨...⟩ не понимая, что с ним делают...» (*Гребенка Е. П.* Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1902. Т. 1. С. 16; указано: *Виноградов, Поэтика.* С. 105).

С. 251 (596). *...не нами началось, не нами и кончится».* — Русская пословица; ср.: «Не нами свет начался, не нами и кончится» (*Даль.* Т. 4. С. 157).

С. 251 (597). *...форейторов...* — Форейтор (нем. Vorreiter) — кучер, сидящий верхом на одной из передних лошадей при запряжке их цугом, т. е. гуськом или в две, три пары одна за другой.

С. 252 (597). *Со стоном и скрежеща зубами...* — Восходит к выражению из Евангелия: «...там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 8, 12; 13, 42, 50 и др.).

С. 252 (597). *...мысли как-то ни о чем не вязались в его голове ~ подай мне твердость духа в неистощимой глубине моих бедствий!* — Ср. в Ветхом Завете: «...душа их истаевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их» (Пс. 106, 26—28).

С. 252 (598). *...этак от жильцов...* — Снимать у жильца часть нанимаемого им у хозяина дома помещения.

С. 253 (598). *...в хижине жить, на морском берегу...* — Один из центральных мотивов сентиментального романа Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера (J.-H. Bernardin de Saint-Pierre; 1737—1814) «Поль и Виргиния» («Paul et Virginie», 1788; первый рус. пер.: 1793).

С. 253 (599). *...следуя некоторым глупым романам, на ближний холм приходить и таять в слезах ~ следуя привычке некоторых скверных немецких поэтов и романистов...* — Подразумеваются подобные ситуации из баллады Ф. Шиллера «Рыцарь Тогенбург» (1797; рус. пер. В. А. Жуковского: 1818) и нашумевшего в свое время сентиментального романа И. М. Миллера (J. M. Miller, 1750—1814) «Зигварт» («Siegwart», 1776).

С. 254 (599). *...ворковать начнем ~ да так и всю жизнь проведем, в довольстве и счастии; да потом заведется птенец...* — Образы и сюжет характерны для идиллии сентименталистов. Ср., например, в идиллии А. Х. Востокова (1781—1864) «Шишак» (опубл.: «Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах. Ч. 2» (1806) и «Стихотворения» (1821)).

. . . . . .

Гнездо двух нежных горлиц. —
Они под сенью крылий
Усыпили птенцов.

Друг друга милованье
И сладко воркованье —
Троякая любовь!

С. 254 (599). *А нежностей, сударыня, нынче не любят ~ прошли времена Жан-Жака Руссо.* — Подразумевается сентиментальный эпистолярный роман Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» («Julie, ou la Nouvelle Héloïse», 1761; первый рус. пер.: 1769).

С. 254 (599). *...селадонов не жалую...* — Селадон (фр. Celadon) — нежный, томящийся влюбленный; от имени героя пасторального романа О. д'Юрфе (d'Urfé; 1568—1625) «Астрея» («Astrée») — в нарицательном смысле первоначально: нежный, томящийся влюбленный; здесь в более позднем параллельном значении: дамский угодник.

С. 255 (600). *...через золото слезы льются...* — Русская пословица (см.: *Даль*. Т. 4. С. 219).

С. 257 (602). *...очутился он в зале. Он был бледен, растрепан, растерзан; мутными глазами окинул он всю толпу, — ужас!* — Ср. в «Невском проспекте»: после отказа красавицы уйти из публичного дома и выйти за него замуж «помутившийся умом», «бродивший весь день» Пискарев: «...зашел ⟨...⟩ на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице» (*Гоголь*. Т. 3. С. 33).

С. 257 (602). *...с новым своим орденом в петличке.* — По всей видимости, имеется в виду орден Св. князя Владимира IV степени, который носили в петлице (петле, пришитой к мундиру); «своим» он был для Владимира Семеновича по имени в его названии (указано: *Дилакторская*. С. 145).

С. 262. *...зеленых форменных брюк...* (С. 606. *...форменных зеленых панталон...*) — Согласно «Положению о гражданских мундирах» от 1834 г. чиновники IX класса в холодное время года должны были носить «сверх сапогов» темно-зеленые суконные панталоны (брюки) под цвет вицмундира.

С. 262. *...с лихт...* — Лихт (нем. Licht) — освещение.

## *Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести (ЧН$_1$, ЧН$_2$)*

С. 607. *Я у Бекетовы(х).* — Алексей Николаевич Бекетов (р. 1823), брат деда А. А. Блока, ботаника Андрея Николаевича Бекетова (1825—1902), старший товарищ Достоевского по Инженерному училищу, окончивший его в 1844 г. В последующие годы Достоевский часто бывал у Алексея Николаевича Бекетова, который жил вместе с другим своим братом, Николаем Николаевичем (1827—1911), позднее академиком, известным физико-химиком. По свидетельству мемуариста, у Бекетовых собирался кружок образованной, настроенной в демократическом и социалистическом духе молодежи; на со-

браниях этого кружка громко звучал ее «негодующий благородный порыв против угнетения и несправедливости» (см.: *Григорович, 1987.* С. 86—87). С октября 1846 г. по весну 1847 г. Достоевский жил с братьями Бекетовыми на одной квартире, где, под влиянием социалистов-утопистов, они учредили род социалистической «ассоциации» с общим хозяйством, которое велось в складчину (см. письмо Достоевского к М. М. Достоевскому от 26 ноября 1846 г. — *Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 134). В начале 1847 г. кружок Бекетовых распался вследствие переезда братьев в Казань. См.: *Поддубная Р. Н.* 1) Кружок Бекетовых в идейных исканиях Ф. М. Достоевского // Вопросы русской литературы. Львов, 1974. Вып. 2 (24). С. 3—10; 2) Бекетовско-майковский круг в идейных исканиях Достоевского 1840-х годов // Освободительное движение в России. Саратов, 1978. Вып. 8. С. 23—41.

С. 607. *Иду к Тург⟨еневу⟩.* — Достоевский намеревался здесь, по-видимому, использовать эпизод из своей жизни, описанный Д. В. Григоровичем в его воспоминаниях и связанный с ухудшением отношений между Достоевским и кружком «Современника», в котором сыграла роль и сочиненная И. С. Тургеневым при участии Н. А. Некрасова эпиграмма на Достоевского «Послание Белинского к Достоевскому» («Витязь горестной фигуры...») (см.: *Тургенев, Сочинения.* Т. 1. С. 360, 607—609, где эпиграмма датирована январем 1846 г. (повторено: *Некрасов, 1981—2000.* Т. 1. С. 688; *Тургенев, Сочинения (2-е изд.).* Т. 1. С. 544; *Летопись.* Т. 1. С. 107); не исключено, однако, что она относится к лету или даже осени того же года): «При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию ⟨...⟩. Не помню, что послужило поводом к такой выходке; речь между ними шла, кажется, о Гоголе ⟨...⟩. После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю, которому он должен был бы в ножки кланяться...» (см.: *Григорович, 1987.* С. 84—85; о ссоре между Достоевским и Тургеневым и эпиграммах последнего на Достоевского см. также: *Панаева А. Я.* Воспоминания. М., 1956. С. 145—146).

С. 607. *Доходит чуть не до маниловских генералов.* — Намек на заключительные строки гл. 2 «Мертвых душ», где Манилов после отъезда Чичикова представляет в мечтах, как «государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами» (см.: *Гоголь.* Т. 6. С. 39).

С. 609. *Это была бы райская жизнь.* — Слова Чичикова в той же главе по поводу проекта его совместной жизни с Маниловыми (см.: *Гоголь.* Т. 6. С. 37).

С. 609. *Парголово.* — Дачная местность под Петербургом, где Достоевский жил летом 1847 г.

С. 609. *Эли де Бомон* (Elie de Beaumont) — фамилия двух французских ученых-однофамильцев: Жана-Батиста-Армана (1798—1874), геолога, выдвинувшего гипотезу о том, что горные цепи образовались при охлаждении земной коры, и Жана-Батиста-Жака (1732—1786) — юриста, принимавшего участие в качестве адвоката в деле Каласа (1698—1762), торговца из Тулузы, ставшего жертвой судебной расправы за принадлежность к протестантству. По-видимому, Голядкин-младший, называя эту фамилию, сближает обоих Бомонов как «двойников», подобных ему и Голядкину-старшему.

С. 610. *Сокровеннейшие тайны чиновничьей души à la Толстой.* — Представители противоположных направлений в критике 1850-х гг., дававшие различное истолкование произведений молодого Толстого, — А. В. Дружинин и Н. Г. Чернышевский — единодушно отмечали глубину и тонкость психологического анализа как отличительную черту его таланта. Достоевский, познакомившийся с «Детством» Толстого в 1856 г. (см. его письмо к А. Н. Майкову от 18 января этого года — *Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 210), позднее также писал о свойственных Толстому — повествователю и романисту — «огромной психологической разработке души человеческой» и «небывалом доселе у нас реализме художественного изображения» (*ДП.* 1877. Июль—август. Гл. 2, § 3 — *Акад. ПСС.* Т. 25. С. 201). Сводку отзывов Достоевского о Толстом и Толстого о Достоевском см. в статье: *Гусев Н. Н.* Толстой и Достоевский // Яснополянский сборник: Год 1960. Тула, 1960. С. 108—128.

С. 610. *Мечты сделаться Наполеоном, Периклом, предводителем русского восстания.* — Эти пункты наброска позволяют рассматривать неосуществленную переработку «Двойника» как определенный этап на пути формирования замысла «Преступления и наказания» (1866), где изображена трагическая судьба современного человека, «глядящего в Наполеоны». Перикл (490—429 до н. э.) — знаменитый государственный деятель Афин, с чьим именем связано представление о расцвете греческой демократии, литературы и искусства.

С. 610. *Louis XVI...* — Людовик XVI (1754—1793) — французский король, казненный во время революции. Постоянные напряженные размышления Достоевского над событиями первой французской революции, которые в мечтах героя «Двойника» получают наивно-сентиментальное, идиллическое завершение, отражены в записных тетрадях к «Преступлению и наказанию» и «Подростку», в «Братьях Карамазовых» и публицистических статьях «Дневника писателя». Из них видно, что Достоевский держался мнения о невозможности примирения между революцией и силами «старого порядка» (см.: *Фридлендер.* С. 20—23). В то же время образы Людовика XVI, Марии-Антуанетты и их сына, погибшего в тюрьме малолетнего Людовика XVII (как и образ Наполеона), в истолковании Достоевского приобретали широкое символическое значение и вели его к более общим размышлениям философско-исторического порядка, в частности о цене прогресса в истории человечества, — вопросу, по которому До-

стоевский расходился с русской революционной мыслью своей эпохи (см., в частности: *Кийко Е. И.* Достоевский и Гюго: (Из истории создания «Братьев Карамазовых») // *Д, Материалы и исследования.* Т. 3. С. 166—172; *Буданова Н. Ф.* Ребенок, замученный «для блага нации» // Sub specie tolerantiae. Памяти В. А. Туниманова. СПб., 2008. С. 118—122).

С. 611. *Пети-жё* (фр. petit jeu) — игра, развлечение (ср. эпизод *пети жё* в романе Достоевского «Идиот» (1868), ч. 1, гл. 13—14 — наст. изд., т. 8).

С. 611. *Иносан* (фр. innocent) — невинный.

С. 611. *Bon mot* (фр.) — меткое словцо, острота.

С. 611. *Выдумывают каламбуры à la Кузьма Прутков.* — В «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоевский проанализировал ряд анекдотов К. Пруткова и охарактеризовал его как «замечательнейшего писателя, красу нашего времени» (наст. изд., т. 5). Интерес Достоевского к К. Пруткову, его поэзии и афоризмам засвидетельствован также обращениями к ним в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) и в двух фельетонах: «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861), «Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга» (1878).

С. 612. *Г. Голядкин сближается с почвой у писарей.* — Сближение образованного русского общества с народной «почвой» — главный тезис той литературно-общественной программы, которую Достоевский (вместе со своими единомышленниками — А. А. Григорьевым, Н. Н. Страховым и др.) развивал в 1861—1865 гг. и которая легла в основу журналов «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865), издававшихся им в эти годы совместно со старшим братом М. М. Достоевским (см. объявления об издании «Времени», где сформулирована программа «почвенничества», и статьи Достоевского указанного периода — наст. изд., т. 18—20). Пункт плана о сближении Голядкина с «почвой» у «писарей», т. е. чиновников (воплощавших в глазах Достоевского оторванный от народа бюрократический мир, созданный Петром I), представляет, таким образом, по-видимому, проект комического эпизода, близкого к эпизоду сближения пьяного «генерала» с подчиненным в рассказе «Скверный анекдот» (1862).

С. 612. *Гарибальди* (Garibaldi; 1807—1882) Джузеппе — герой итальянского национально-освободительного движения, имя которого было широко популярно в России в начале 1860-х гг. В фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» Достоевский обрисовал фантастическую фигуру чиновника, который, сойдя с ума, вообразил себя Гарибальди и стал расспрашивать окружающих «об итальянских делах, как Поприщин об испанских».

С. 612. *Г. Голядкин вступает в прогрессисты.* — С этого пункта записей начинает четко обозначаться направление второй стадии разработки плана незавершенной редакции «Двойника»: под влиянием полемики с революционно-демократической критикой и журналистикой 1860-х гг. у Достоевского возникает мысль ввести в ткань повести

ряд эпизодов из истории кружка М. В. Петрашевского, сделав Голядкина посетителем его собраний и заставив героя играть роли то энтузиаста импонирующих ему своей смелостью и новизной убеждений кружка, то доносчика-предателя. Отраженная в планах памфлетная обрисовка Петрашевского и его кружка имеет двойственный характер: с одной стороны, Достоевским намечена сцена изложения Петрашевским «системы Фурье» не понимающим его «дворнику и мужикам»; с другой же стороны, в заметках налицо мотивы, ведущие не к воспоминаниям о петрашевцах, а к злободневным темам 1860-х годов. В 1850—1860-е (а не 1840-е) годы переносят действие многочисленные эпизоды, в которых имя героя по-разному соотнесено с именем Гарибальди (с последним героя то отождествляют, то герой разыскивает Гарибальди через полицию, как в «Носе» Гоголя майор Ковалев исчезнувший нос; к Гоголю ведет и заметка «О появлении в городе знаменитого разбойника Гарибальди», навеянная «Повестью о капитане Копейкине»). О 1860-х годах как реальном времени действия говорят и многократно варьируемые далее слова «кислород и водород»; последние расшифровываются как символы атеистических идей, с которыми герой знакомится в кружке «прогрессистов» и которые разрушают его прежнюю веру во «Всевышнее Существо». Наконец, разговор о мальчиках, которых «секут в школе розгами», является отзвуком журнальной полемики об употреблении розги в дореформенной школе, которая была вызвана статьями Н. А. Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (1860) и «От дождя да в воду» (1861), направленными против непоследовательной позиции в школьном вопросе Н. И. Пирогова и других педагогов-либералов; в этой полемике принимал участие и журнал Достоевского «Время» (1862, № 4). С нею же связан ряд заметок в первой записной книжке ($ЧН_1$), где находятся планы переработки «Двойника» (л. 72—85, 93, 98, 99, 102—110, 114). Такие особенности комментируемых заметок, как соединение при обрисовке кружка «прогрессистов» черт психологического склада петрашевцев и позднейшей революционной молодежи, памфлетная характеристика Петрашевского, расщепление Голядкина на энтузиаста, проливающего «благородные слезы», и доносчика, в какой-то мере предвосхищают сложившийся в другой исторической обстановке позднейший замысел романа «Бесы» (1871—1872).

С. 612. *...(у Ломовского).* — Ломовский Александр Михайлович (ум. 1893) — товарищ Достоевского по пансиону Л. И. Чермака в Москве, где М. М. и Ф. М. Достоевские учились в 1834—1835 гг. Достоевский бывал у Ломовского в 1860-е годы (см. письмо к брату Михаилу Михайловичу от 20 марта 1864 г. — *Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 2. С. 71).

С. 612. *Тимковский как приехавший.* — Тимковский Константин Иванович (1814—1881) — участник кружков М. В. Петрашевского и Н. А. Спешнева, отставной флотский офицер. Живя постоянно в Ревеле, где он организовал социалистический кружок, идейно связанный с кружком Петрашевского, Тимковский лишь изредка, во время наез-

дов в Петербург, бывал на собраниях у последнего. Достоевский встречался с ним здесь, согласно показаниям писателя на следствии, 4—5 раз и охарактеризовал Тимковского как страстного фурьериста, горячо увлеченного «изящной стороной» идей Фурье (см.: *Акад. ПСС.* Т. 18. С. 152; *Бельчиков.* С. 229).

С. 612. *Система Фурье.* — Сводку материалов о восприятии и пропаганде идей Фурье Петрашевским и его кружком см. в кн.: *Бельчиков.* С. 207—215; показания Достоевского об его оценке Фурье и фурьеризма см.: Там же. С. 110—112; *Акад. ПСС.* Т. 18. С. 133—134.

С. 612. *...тот читает дворнику и мужикам своим систему Фурье.* — Что Петрашевский «как пропагатор фурьеризма», неудобного «для нашей почвы», был — в силу утопичности учения Фурье и его удаленности от ближайших непосредственных задач русской жизни — «смешон, а не вреден», Достоевский утверждал еще в мае 1849 г. в своем объяснении Следственной комиссии по делу петрашевцев (см.: *Акад. ПСС.* Т. 18. С. 134).

С. 614. *...в Кирпичном переулке, № 31-й.* — В Кирпичном переулке, между Большой и Малой Морскими улицами, жил недолгое время весною 1846 г. сам Достоевский (см.: *Саруханян Е. П.* Достоевский в Петербурге. Л., 1972. С. 270).

С. 614. *(Я у Гайбурского.)* — Гайбурский — неустановленное лицо.

## РОМАН В ДЕВЯТИ ПИСЬМАХ

(С. 263)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: С. 1847. № 1, отд. IV. С. 45—54, с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 30 декабря 1846 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *1882.* Т. 2. С. 295—308.

Печатается по тексту первой публикации с устранением явной опечатки:

*С. 271, строка 24*: «в безбожном похищении письма» вместо «о безбожном похищении письма».

«Роман в девяти письмах» был написан Достоевским для неосуществленного по цензурным причинам юмористического альманаха «Зубоскал», который был задуман в начале октября 1845 г. Н. А. Некрасовым и должен был выходить под редакцией Некрасова, Д. В. Григоровича и Достоевского регулярно два раза в месяц (см. о проекте и предполагаемом содержании первого номера этого альманаха в письме Достоевского к брату М. М. Достоевскому от 8 октября 1845 г. — *Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 113—114). В октябре—ноябре 1845 г. Достоевский (см., кроме упомянутого, также следующее письмо к брату от 16 ноября 1845 г. — Там же. С. 115—116) был горячо

увлечен идеей этого издания. Написанное Достоевским, может быть при участии Григоровича, объявление об издании альманаха «Зубоскал», которое, по его словам во втором из перечисленных писем, «наделало шуму», было напечатано в «Отечественных записках» (1845. № 11. Библиографическая хроника, С. 44—48).

Как видно из письма Достоевского от 8 октября, он предполагал вначале написать для первого номера «Зубоскала» «Записки лакея о своем барине». Но уже вскоре, по-видимому, проект этот был оставлен и сменился другим. О возникновении замысла «Романа в девяти письмах», который был написан «в одну ночь» в первой половине ноября 1845 г., автор в письме от 16 ноября сообщает брату следующее: «Итак, на днях, не имея денег, зашел я к Некрасову. Сидя у него, у меня пришла идея романа в 9 письмах. Придя домой, я написал этот роман в одну ночь; величина его 1/2 печатного листа. Утром отнес к Некрасову и получил за него 125 руб. ассиг⟨нациями⟩, т. е. мой лист в „Зубоскале" ценится в 250 руб. асс⟨игнациями⟩. Вечером у Тургенева читался мой роман во всем нашем круге, т. е. между 20 челов⟨ек⟩ по крайней мере, и произвел фурор. Напечатан он будет в 1-м номере „Зубоскала". Я тебе пришлю книгу к 1-му декабря, и вот ты сам увидишь, хуже ли это, н⟨а⟩п⟨ример⟩, „Тяжбы" Гоголя? Белинский сказал, что он теперь уверен во мне совершенно, ибо я могу браться за совершенно различные элементы ⟨...⟩. С будущим письмом пришлю „Зубоскала". Белинский говорит, что я профанирую себя, помещая свои статьи в „Зубоскале"».

Ввиду того что издание «Зубоскала» не было разрешено цензурой (см. об этом: *Григорович, 1987.* С. 76), «Роман в девяти письмах» был передан автором Некрасову для «Современника», в первом номере которого он и появился.

Рассказ был написан Достоевским вскоре после недавнего успеха «Бедных людей», в момент непрекращающихся споров об этом романе в кругу Белинского, в публике и в журнальной критике. Этим, вероятно, объясняется выбор Достоевским для своего нового произведения формы «романа в письмах», — с целью показать разнообразные, полярно-противоположные художественно-стилистические возможности, заложенные в этом жанре. Некоторое влияние на форму рассказа и тон вошедшей в него переписки героев мог оказать опубликованный незадолго до его написания и приписываемый в настоящее время Некрасову «Роман в письмах» (см.: Литературная газета. 1845. 25 января, № 4; *Некрасов, 1981—2000.* Т. 12, кн. 2. С. 209—213; см. об этом: *Цейтлин.* С. 27—29). Как и в произведении Некрасова, персонажи Достоевского в переписке ориентируются на устойчивые канцелярские формулы и трафареты, отображенные в «письмовниках» конца XVIII—середины XIX в. — например, в «Кабинетском и купеческом секретаре, или Собрании наилучших и употребительных писем...» И. Сокольского (М., 1788; 1795) или в «Образцовом Письмовнике, или Хрестоматии писем, содержащем в себе письма на разные случаи жизни общественной» (М., 1845) (см. об этом: *Белкнап Р.*

О традиции эпистолярного романа в «Романе в девяти письмах» Достоевского // *Д, Материалы и исследования*. Т. 13. С. 24—26).

Название рассказа, вероятно, было рассчитано автором на живые еще в 1840-е годы литературные ассоциации: оно вызывало у тогдашнего читателя воспоминание о «Романе в семи письмах» А. А. Бестужева-Марлинского (см.: *Бестужев А. А.* Русские повести и рассказы. СПб., 1832. Ч. 4. С. 197—216).[1] Но романтической новелле Марлинского, написанной в форме лирической исповеди молодого пылкого любовника, переходящего от упоения любовью к мукам ревности и убивающего на дуэли своего более счастливого соперника, Достоевский противопоставил трезво-прозаическую «переписку шулеров», подготовленную образами гоголевских «Игроков» и «Тяжбы» (а более отдаленно и «Повестью о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). К поэтике Гоголя восходят также характерные фамилии-клички ряда второстепенных персонажей рассказа (Чистоганов, Перепалкин, Толоконов), тема «обманутого обманщика», а также прием называния героев сходными именами (у Гоголя — Иван Иванович и Иван Никифорович, Кифа Мокиевич и Мокий Кифович и др. — см. об этом: *Бем, Личные имена*. С. 424; *Альтман*. С. 15; *Trubetzkoy*. P. 53—55).

В то же время рассказ продолжает ту своеобразную линию в разработке темы социальной «физиологии Петербурга», которая характерна для Достоевского 1840-х гг., объединяя его творчество с общими исканиями «натуральной школы». Трагический образ чистой, обманутой девушки, который возникает в конце рассказа, в письме Татьяны Петровны (стилистически резко контрастирующем со стилем других писем — ср. «а мне доля лютая», «ваша воля была»), вносит в юмористический рассказ[2] скорбную ноту, связывая его с трагическими эпизодами других ранних повестей и рассказов Достоевского.

Встреченный с энтузиазмом при первом авторском чтении на вечере у И. С. Тургенева, «Роман в девяти письмах» после появления в печати вызвал разочарование у Белинского и других членов его кружка. 19 февраля 1847 г. Белинский писал о нем И. С. Тургеневу: «Достоевского переписка шулеров, к удивлению моему, мне просто не понравилась — насилу дочел. Это общее впечатление» (см.: *Белинский*. Т. 12. С. 335). Иным был отзыв А. А. Григорьева — единственный печатный отклик на публикацию «Романа в девяти письмах». «Из

---

[1] Одновременно появился и «Роман в двух письмах» О. М. Сомова (Альциона: Альманах на 1832 год. Издан бароном Розеном. СПб., 1832. С. 191—254).

[2] В. Террас называет «Роман в девяти письмах» «бурлескным» рассказом (*Terras V.* The Young Dostoevsky (1846—1849). The Hague; Paris, 1969. P. 45), а И. А. Аврамец — новеллой (*Аврамец И. А.* Эпистолярная новелла Достоевского // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1987. Вып. 822. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. С. 22).

произведений этой школы ⟨Гоголя⟩, — писал он в „Обозрении журнальных явлений" за январь и февраль 1847 г., — обращает внимание прекрасный рассказ Достоевского — „Роман в девяти письмах"» (*МГЛ.* 1847. 5 марта. № 52. С. 208).

С. 263. *...неглижируете...* — Неглижировать — см. с. 742, коммент. к с. 186.

С. 263. *...не в клубе ли вы Соединенного общества на бале?* — Клуб Соединенного общества был основан в 1783 г. и первоначально именовался «Американским»; Клубом Соединенного общества он стал называться после того, как к нему присоединилось танцевальное заведение Квятковского (см.: *Георги И. Г.* Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга... СПб., 1794. С. 635; *Пыляев М. И.* Старый Петербург. 2-е изд. СПб., 1889. Репринт. изд.: Л., 1990; М., 1990; С. 228; *Три века Санкт-Петербурга.* Т. 2, кн. 3. С. 287—288). В отличие от аристократического Английского клуба, членами Клуба Соединенного общества состояли чиновники, купцы первой и второй гильдии, артисты. См. ироническую характеристику в статье В. Г. Белинского «Петербургская литература» (1845): «...петербургская публика средней руки больше всего ценит в писателе изображение сильных страстей на манер Марлинского и хороший тон вроде того, который блестит в бесподобных творениях ее сочинителей, набравшихся хорошего тона в Клубе соединенного общества» (*Белинский.* Т. 8. С. 558). Ср. также высказывание Достоевского об И. А. Гончарове: «Джентльмен из Соединенного общества, где он членом, с душою чиновника, без идей и с глазами вареной рыбы, которого Бог будто на смех одарил блестящим талантом» (письмо к А. Е. Врангелю от 9 ноября 1856 г.).

С. 263. *...от пачули с резедою...* — Пачули — духи, изготовленные из растения, от которого получили свое название.

С. 263. *...на «Горе от ума» в Александрынском театре.* — Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824) в 1840-е годы входила в постоянный репертуар Александринского театра. В 1844 г. она давалась 13 раз, в 1845 г. — 3 раза. В 1845 г. пьеса шла в последний раз 30 октября (см.: *Вольф А. И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб., 1877. Ч. 2. С. 108—117; История русского драматического театра. М.: Искусство, 1978. Т. 3. С. 236).

С. 264. *...ассюрируете...* — Ассюрировать (фр. assurer) — обеспечивать.

С. 264. *Падам до ног...* — (польск. padam do nóg) — честь имею кланяться. Здесь: падаю с просьбой к вашим ногам, нижайше прошу.

С. 264. *...не взял ~ на фасоне...* — не соответствует правилам приличия, хорошему вкусу, моде.

С. 265. *...бархатный капот по модному вкусу.* — Капот — женская верхняя домашняя одежда широкого покроя, с рукавами и разрезом спереди.

С. 265. *...на осьмистах рублях ассигнациями...* — Ассигнации — см. с. 683, коммент. к с. 26.

С. 266. *...с тетушкой худо.* — По наблюдению К. В. Мочульского, мотив болезни, а затем смерти «тетушки» заимствован из драматического отрывка Н. В. Гоголя «Тяжба» (1842) (*Мочульский, 1995.* С. 239).

С. 266. *...претекстую...* — Претекстовать (фр. prétexter) — выставлять в качестве предлога.

С. 266. *...удрученный телесною и душевною немощью...* — Отсылка к молитве Таинства Соборования (Елеосвящения) «Отче Святый», во время которой совершается помазание елеем и испрашивается исцеление болящего «от обдержащие его телесные и душевные немощи».

С. 266. *...разуверил жену...* — Здесь: объяснил жене что к чему, успокоил.

С. 266. *...прописал ему ревеньку.* — Корень ревеня, крупного многолетнего травянистого растения, широко использовался в России как слабительное средство; в XIX в. во многих домах хранились деревянные коробочки с порошком из него (см.: *Тихонов В. А* Былое (из семейной хроники) // Ист. вестн. 1900. Т. 79. № 2. С. 537).

С. 267. *...скаредного обстоятельства.* — Скаредное — здесь: дрянное, гадкое.

С. 269. *...под цветами иногда таится змея.* — Использованное здесь образное выражение подсказано словами Юлии (Джульетты) «Змея, змея, сокрытая в цветах!» из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1597) (д. 3, сц. 8) в переводе М. Н. Каткова (Пантеон русских и всех европейских театров. 1841. Ч. 1. Кн. 1. С. 37). Это же выражение повторяется позднее в романе «Идиот»: «...напуганный Тоцкий ⟨...⟩ долго боялся, нет ли и тут змеи под цветами» (см.: *Левин Ю. Д.* Достоевский и Шекспир // *Д, Материалы и исследования.* Т. 1. С. 129).

С. 270. *...скрывающих яд в своем сердце...* — Ср. ставший афоризмом (русский вариант: «Зависть — яд для сердца») стих Вольтера:

> De l'émulation distinguez bien l'envie:
> L'une mene à la gloire, et l'autre au deshonneur;
> L'une est l'aliment du génie,
> Et l'autre est le poison du coeur.
>
> (Stances, ou Quatrains, pour tenir lieu
> de ceux de Pibrac, qui ont un peu vielli).

(Пер.: Хорошо различайте соперничество и зависть: / Первое ведет к славе, вторая к бесчестию; / Первое — это пища гения, / Вторая — яд для сердца).

С. 271. *...держа палки и банки Евгению Николаичу.* — Обыгрывая его в карты. Палки и банк — карточные игры.

С. 272. *...запах дегтя ей вреден.* — Развитие обвинения в том, что Иван Петрович уподобил себя мужику своим «странным послани-

ем»; ср., например: «Мажь мужика маслом, а он все дегтем пахнет» (*Даль*. Т. 1. С. 425).

С. 272. *...«Дон-Кихота Ламанчского»...* — Имеется, вероятно, в виду издание: Дон-Кихот Ламанчский. Сочинение М. Сервантеса Саведры. Перевел с испанского К. Масальский. СПб.: Изд. Плюшара, 1838.

С. 273. *...отправляется в Царское...* — В Царское Село (современное название — г. Пушкин).

С. 274. *Будьте счастливы, а мне доля лютая...* — Возможно, отсылка к «Песне» («Наяву и в сладком сне...», 1825) А. А. Дельвига, получившей под названием «Кудри» широкую известность благодаря романсам М. Л. Яковлева (1825) и А. А. Алябьева (1831):

Уж не быть счастливым мне
На груди моей прекрасной.
Я твержу по вечерам
Светлым взорам и устам:
Замолчите, замолчите!
С лютой долей я знаком.

С. 274. *Ваша воля была. Если бы не тетушка, я бы вам вверилась так. ~ Подпишу и это последнее, как первое мое... помните? Татьяна.* — Использованы мотивы романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: имена главных героев (Евгений и Татьяна), замужество героини за нелюбимым человеком по «воле» Евгения (*Альтман*. С. 144; *Загидуллина М. В.* Роман в девяти письмах // *Д, Словарь-справочник, 2008*. С. 162).

С. 274. *...собирать по улицам лоскутки всякой всячины.* — Ср. о Плюшкине в «Мертвых душах» (1842) Н. В. Гоголя: «...он ходил ⟨...⟩ каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — все тащил к себе...» (*Гоголь*. Т. 6. С. 117).

С. 274. *...похлопотать о попутчике...* — Речь идет о выборе спутника для разделения расходов при дальней поездке на почтовых лошадях.

## ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН

(С. 275)

### Источники текста

*ОЗ*. 1846. № 10, отд. 1. С. 151—178.
*1865*. Т. 1. С. 39—51.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *ОЗ*. 1846. № 10, с подписью: Ф. Достоевский (ценз. разр. — 30 сентября 1846 г.).

Печатается по тексту *1865* со следующими исправлениями по *ОЗ* и редакторской конъектурой:

*С. 278, строка 22*: «Сундук этот стоял» вместо «Этот стоял».

*С. 286, строка 32*: «Господин Прохарчин бежал» вместо «Прохарчин бежал».

*С. 288, строка 2*: «подбирая под себя на бегу» вместо «подбирая под себя на беду».

*С. 288, строки 35—36*: «чины идут тоже весьма небольшие» вместо «чины идут весьма небольшие».

*С. 289, строка 1*: «промычал» вместо «промычав».

*С. 290, строка 19*: «шутовской человек» вместо «шутовский человек».

*С. 290, строка 30*: «поспешно» вместо «и поспешно».

*С. 290, строка 42*: «Что ты, Сенька?» вместо «Что ты, Сенька!»

*С. 292, строки 7—8*: «карман не сберег» вместо «кармана не сберег».

*С. 293, строки 32—33*: «— Что того?!
— Да вот, поди ты с ним!..»
вместо
«— Что того?! Да вот, поди ты с ним!..» (*по распределению реплик между говорящими, определяемому упоминаниями фамилий участников диалога в строках 26 и 40*; см.: *Чернова, 1997*. С. 101).

*С. 299, строка 9*: «взяли» вместо «взял».

История создания рассказа «Господин Прохарчин» на основании сохранившихся свидетельств рисуется в следующем виде: 1 апреля 1846 г., через 2 месяца после выхода в свет «Двойника», Достоевский писал брату, что для задуманного Белинским (в связи с его предстоящим разрывом с Краевским и уходом из «Отечественных записок») альманаха «Левиафан» он пишет две повести: «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об уничтоженных канцеляриях» (*Акад. ПСС*. Т. 28, кн. 1. С. 120). С замыслом второго из названных произведений, которое в последующих письмах к брату (в отличие от повести «Сбритые бакенбарды») уже не упоминается, и связан сюжетно рассказ «Господин Прохарчин», являющийся, как установил впервые А. Л. Бем, либо видоизменением, либо осколком прежнего замысла. Об этом свидетельствует один из его центральных мотивов — рассказ об «уничтожении» канцелярии, в которой, по его словам, служил лишившийся вследствие этого места товарищ героя, «попрошайка-пьянчужка» Зимовейкин. Вызванные этим тревожные мысли Прохарчина о возможности закрытия и его канцелярии обнаруживают для героя всю непрочность его положения бедняка. «А она стоит, да и нет... — Нет! Да кто она-то? — Да она, канцелярия... кан-це-ля-рия!!! — Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то... — Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна...» (с. 292; ср.: *Бем, У истоков*. С. 466—468).

Впервые — как об уже начатом к этому времени произведении — Достоевский упоминает о рассказе «Господин Прохарчин» в письме к брату от 26 апреля 1846 г., где, сообщая о своем скором приезде к нему в Ревель, пишет: «Я должен окончить одну повесть до отъезда небольшую, за деньги, которые я забрал у Краевского, и тогда уже взять вперед денег» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 123). Однако до отъезда (24 мая) повесть не была закончена. В следующем письме от 16 мая 1846 г. Достоевский сообщал брату о ней: «Я пишу и не вижу конца работе». В связи с этим, высказывая сомнение в том, что ему удастся получить от Краевского необходимые для отъезда из Петербурга деньги, он писал, что и самая поездка вряд ли состоится (Там же). Тем не менее Достоевскому удалось получить деньги у Краевского и провести лето в семье брата. Но работа над начатой повестью, по-видимому, продолжалась и в Ревеле. Такой вывод можно сделать, по крайней мере, из письма Достоевского к брату от начала (января—февраля) 1847 г., где, вспоминая о «Прохарчине» и противопоставляя его «Хозяйке», писатель замечает, что «Прохарчиным» он «страдал все лето», так как работа над ним шла трудно, без «родника вдохновения, выбивающегося прямо из души» (Там же. С. 139—140). В Ревеле, в июне—августе 1846 г., рассказ «Господин Прохарчин» был наконец закончен, прочитан брату и, возможно еще до возвращения писателя в Петербург, выслан Краевскому для напечатания в «Отечественных записках». Об этом свидетельствует письмо Достоевского к брату от 5 сентября 1846 г., где он пишет о «Прохарчине» как о вещи хорошо известной М. М. Достоевскому и сообщает о дальнейшей ее судьбе: «Был я и у Краевского. Он начал набирать „Прохарчина"; появится он в октябре» (Там же. С. 125).

Уже после сдачи в набор «Прохарчин» в составе материалов, предназначенных для октябрьской книжки «Отечественных записок», в первой половине сентября 1846 г. прошел через цензуру и при этом пострадал от цензурного вмешательства. Об этом Достоевский сообщал брату 17 сентября: «„Прохарчин" страшно обезображен в известном месте. Эти господа известного места запретили даже слово *чиновник*, и Бог знает из-за чего; уж и так все было слишком невинное, и вычеркнули его во всех местах. Все живое исчезло. Остался только скелет того, что я читал тебе. Отступаюсь от своей повести» (Там же. С. 126).

Ввиду отсутствия в нашем распоряжении автографа (или корректуры) мы можем в настоящее время судить об отличиях первоначального текста рассказа от печатного и о характере искажений, внесенных в него цензором, только на основании этого письма, так как, перепечатывая рассказ в 1865 г., Достоевский не восстановил цензурных купюр, ограничившись отдельными незначительными стилистическими поправками. Впрочем, возможно, что хотя бы некоторые из тех мест, которые были первоначально исключены цензурой и которые Достоевский имел в виду, жалуясь брату на то, что рассказ «страшно обезображен», ему все же удалось отстоять еще до напечатания его в «Оте-

чественных записках». Такое предположение было впервые высказано И. Ф. Анненским, обратившим внимание на то, что слово «чиновник», на исключение которого «во всех местах» жалуется Достоевский, встречается в печатном тексте рассказа (с. 280, 283; см.: *Анненский*. С. 44).

В. С. Нечаева указала, что второй главный сюжетный мотив рассказа — образ полунищего чиновника, откладывающего свои деньги в «старый истертый тюфяк», — мог быть подсказан Достоевскому заметкой «Необыкновенная скупость» (*СП*. 1844. 9 июня. № 129. С. 513) о коллежском секретаре Н. Бровкине, нанимавшем, «за пять рублей ассигнациями в месяц, весьма тесный уголок у солдатки» на Васильевском острове и питавшемся «куском хлеба, с редькой или луком, и стаканом воды»; после смерти Бровкина, вызванной постоянным недоеданием, в его тюфяке хозяйкой был найден «капитал 1035 рублей 70 $^{3}/_{4}$ коп. серебром», представленный «местной полиции» (см.: *Нечаева В. С.* К истории рассказа Достоевского «Господин Прохарчин» // РЛ. 1965. № 1. С. 157—158; *Нечаева, Ранний Достоевский*. С. 164—166). Позднее другие аналогичные эпизоды, также извлеченные из газет и рисующие «призрачно-фантастические», по его «определению», образы «нового Гарпагона» или «нового Плюшкина», Достоевский пересказал в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (о чиновнике Соловьеве, нанимавшем «грязный угол» за ширмой и оставившем после себя 169 022 рубля кредитными билетами) и в романе «Подросток» (ч. I, гл. 5; о «нищем, ходившем в отрепье», после смерти которого на волжском пароходе нашли 3000 кредитными билетами, и о другом, у которого полиция нашла 5000 рублей).

Образ нищего чиновника-скупца, навеянный газетной хроникой, Достоевский, как не раз отмечалось исследователями, психологически углубил, соотнеся его в своем художественном преломлении с другими классическими образами русской и мировой литературы — не только Гарпагоном и Плюшкиным, названными им в фельетоне 1861 г., но и пушкинским Скупым рыцарем, а также отцом Горио и папашей Гранде Бальзака (см.: *Гроссман, Библиотека*. С. 46; *Бем, У истоков*. С. 433—436, 464—472; *Нечаева, Ранний Достоевский*. С. 163—164, *Туниманов, Некоторые особенности*. С. 205—206). В то же время, связав зародившуюся у Прохарчина мысль упрочить свое положение с помощью накопления капитала с трагическим ощущением им непрочности положения «маленького человека», на которого со всех сторон ежеминутно надвигаются грозные опасности, вроде экзаменов, «уничтоженной» канцелярии или сдачи его в солдаты за вольнодумство, Достоевский продолжил в «Прохарчине» разработку того комплекса социально-психологических проблем (в значительной степени связанных с идеями утопического социализма), который стоял в центре его внимания уже в «Бедных людях» и «Двойнике». Связь между социально-гуманистическими настроениями молодого Достоевского, возникшими под влиянием социализма 1840-х гг., и проблематикой «Прохарчина» была раскрыта Добролюбовым (см. ниже) и позднее

И. Ф. Анненским, писавшим: «Представьте себе канцелярию 40-х годов не такою, какой начертали ее Сперанские, а в том виде, как она отображалась в фантазии гениального юноши, поклонника Жорж Санд и Гюго, который только что с радостной болью вкусил запретного плода социализма, и притом не столько доктрины, сколько именно поэзии, утопии социализма» (см.: *Анненский*. С. 50).

Николаю I молва приписывала слова о том, что его бюрократическая система основана на правлении 5000 столоначальников. По предположению, высказанному М. С. Альтманом, если вспомнить эту популярную в 1840-х гг. фразу царя, напрашивается вывод, что за слухами о близости закрытия «канцелярий», в которых служат герои, в рассказе скрыта мысль о непрочности не только их личного существования, но также и самого николаевского режима. Это объясняет огромность страха Прохарчина, вызванного его «вольнодумством», которое потенциально заложено в мыслях о возможности предстоящего закрытия «канцелярий», а вместе с тем — те цензурные затруднения, с которыми автору пришлось столкнуться при печатании рассказа (см.: *Альтман, О неосуществленных замыслах*. С. 318; *Альтман*. С. 207—208). При этом кульминационный момент рассказа — пожар дома в Кривом переулке, приведший к болезни и смерти героя и представленный через сон-бред Прохарчина, может рассматриваться как символ бунта героя против общественных устоев (см., в частности: *Туниманов, Некоторые особенности*. С. 209; *Топоров, «Господин Прохарчин»*. С. 145—150; *Ветловская, Проблемы нового времени*. С. 128—133; *Иванов В. В.* С. 40—41), а также как символ социальной революции и Страшного суда (*Ветловская, Проблемы нового времени*. С. 134—135). С другой стороны, это не только символическое вовлечение проведшего жизнь в «усыплении» и «грезах» Прохарчина в круговерть жизни (*Чернова, 1996*. С. 37—38), но и некоторое духовное пробуждение героя. Последнее позволило А. Л. Бему определить идею рассказа как «трагедию совести маленького человека» (*Бем А. Л.* Проблема вины в художественном творчестве Достоевского // Жизнь и смерть: Сб. памяти Н. Е. Осипова. Прага, 1936. Ч. 2. С. 13).

Фамилия Прохарчин — намек на это есть в самом рассказе (с. 277 и 286) — образована от слова «харчи» и, вероятно, содержит иронический намек на трагическую судьбу героя: «прохарчился» (см.: *Нечаева, Ранний Достоевский*. С. 164). В то же время она должна была в 1840-е годы, как и имена других постояльцев «углов», восприниматься в контексте аналогичных имен гоголевских героев (Поприщин и др.) и имен других персонажей писателей «натуральной школы». Исследователями зафиксированы и некоторые другие стилистические параллели между «Прохарчиным» и поэтикой гоголевских повестей, а также справедливо отмечено, что от «Прохарчина» тянутся разнообразные нити не только к предшествующим этому рассказу повестям Достоевского 1840-х гг. (особенно к «Двойнику» — см. мотивы постоянно грызущего героя страха за свое положение, его робости

и болезненного бреда, чувства виновности перед «лысым человечком», которому нечем прокормить семерых детей, обманутым им извозчиком и т. д.)[1], но и к более поздним романам Достоевского 1860-х гг. Некоторые из мотивов, намеченных в «Прохарчине», возрождаются здесь в значительно углубленном и видоизмененном, в связи с новой обстановкой и новыми художественными задачами, виде («наполеоновские» мечты у Прохарчина и Раскольникова, робкое «скопидомство» Прохарчина и психологически иная по своей окраске гордая «ротшильдовская» идея героя «Подростка»; см. об этом: *Бем, У истоков.* С. 462—472; *Гроссман, Биография.* С. 91—92; *Туниманов, Некоторые особенности.* С. 212).

Особую роль в произведении, по наблюдению исследователей, играет так называемый «петрушечный слой», проявляющийся в сравнении рассказчиком Прохарчина с Пульчинелем, в восходящих к разговорам Пульчинеля и Петрушки диалогах Прохарчина и Зимовейкина, в «проваливании» умершего героя под кровать, в петрушечных брани и верещании в речи героев и др. (см. о связи произведения с народной кукольной комедией «Петрушка»: *Туниманов, Некоторые особенности.* С. 211; *Топоров, «Господин Прохарчин».* С. 124—126; *Иванов В. В.* С. 41; *Чернова, 1996.* С. 38—58; *Чернова, 1997.* С. 104—106[2]). В то же время при сопоставлении рассказа с очерком Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики», написанного для изданной Н. А. Некрасовым «Физиологии Петербурга» (1844) и прочитанного автором Достоевскому в рукописи (*Григорович, 1987.* С. 78—79), выявляется, что реалистические образы зрителей петрушечного спектакля в очерке Григоровича трансформируются у Достоевского в фантасмагорическую толпу на пожаре во сне Прохарчина. Ср., например, в «Петербургских шарманщиках»: «толпа волновалась и шумела», «баба с необыкновенно красным лицом и веником под мышкою», денщик «с четверкой вакштаба»; в «Господине Прохарчине» соответственно — толпа «гремела и гудела», «бедная, грешная баба», старик с четверкой табака и др. (см.: *Чернова, 1996.* С. 38—45).

Вскоре после выхода в свет книжки «Отечественных записок», где был помещен рассказ, Достоевский 17 октября 1846 г. писал бра-

---

[1] О перекличках между «Господином Прохарчиным» и «Двойником» см. также: *Топоров, «Господин Прохарчин».* С. 162—165; *Чернова, 1996.* С. 40—41.

[2] См. также: *Чернова Н. В.* 1) «...а ну, как этак, того?»: («Господин Прохарчин» Ф. М. Достоевского и народный кукольный театр Петрушки) // *Достоевский и современность.* 10-е чтения (1995). 1996. С. 136—147; 2) «Господин Прохарчин»: (символика огня) // *Д, Материалы и исследования.* Т. 13. С. 36—48; 3) «Мусью под шинелью»: (о «петрушечном слое» в «Господине Прохарчине» // Невельский сборник: Статьи и воспоминания. СПб., 1996. Вып. 1. С. 36—49; 4) «Господин Прохарчин» Ф. М. Достоевского и народная праздничная площадь XIX века // Филол. зап.: Вестн. литературоведения и языкознания. Воронеж, 2000. Вып. 14. С. 26—40.

ту: «„Прохарчина" очень хвалят. Мне рассказывали много суждений» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 130). Однако печатные отзывы критики 1840-х гг. о «Прохарчине» были менее благоприятны. Наиболее развернуто высказался о рассказе Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Критик писал: «В десятой книжке „Отечественных записок" появилось третье произведение г. Достоевского, повесть „Господин Прохарчин", которая всех почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное изумление. В ней сверкают яркие искры большого таланта, но они сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю... Сколько нам кажется, не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде... как бы это сказать? — не то умничанья, не то претензии... Может быть, мы ошибаемся, но почему ж бы в таком случае быть ей такою вычурною, манерною, непонятною, как будто бы это было какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие, а не поэтическое создание? ⟨...⟩ Мы не говорим уже о замашке автора часто повторять какое-нибудь особенно удавшееся ему выражение (как, например: *Прохарчин мудрец!*) и тем ослаблять силу его впечатления, это уже недостаток второстепенный и, главное, поправимый. Заметим мимоходом, что у Гоголя нет таких повторений. Конечно, мы не вправе требовать от произведений г. Достоевского совершенства произведений Гоголя, но тем не менее думаем, что большому таланту весьма полезно пользоваться примером еще большего» (*Белинский.* Т. 10. С. 41—42).

Отрицательным был и отзыв Э. И. Губера. Полемизируя против данной Белинским оценки «Бедных людей» и «Двойника», последний в оценке рассказа «Господин Прохарчин», в сущности, лишь варьировал основные упреки Белинского: «...что было сперва однообразно, потом сделалось скучно до утомления, и только немногие прилежные читатели, да и те по обязанности, прочитали до конца ⟨...⟩ „Прохарчина". Это горькая, но чистая правда, которая должна была опечалить человека с таким решительным дарованием, как г. Достоевский» (*СПбВ.* 1847. 3 января. № 4. С. 14).

С отзывом Губера совпадал и отзыв «Москвитянина»: «... видно, что г. Достоевский не без таланта, но талант этот, по признанию даже самых жарких поклонников его, принял какое-то утомительное для читателя направление, юмор автора большею частию не в мысли, а в словах, в беспрерывном и несносном повторении одних и тех же выражений, сплошь и рядом скопированных с манеры гоголевского рассказа (недостаток, общий, впрочем, всем последователям так называемой натуральной школы)» ([*Пежемский П. И.* ?]. Русская словесность в 1846 году / П. П. // *М.* 1847. № 1, отд. IV. С. 152; ценз. разр. — 24 июня 1847 г.).

Наконец, А. А. Григорьев в связи с выходом «Господина Прохарчина» и «Петербургских вершин» Я. П. Буткова, исходя из своей — охарактеризованной выше (с. 667) — концепции, подвел такой своеобразный итог развитию Достоевского от «Бедных людей» до «Про-

харчина»: «Акакий Акакиевич гоголевской „Шинели" сделался родоначальником многого множества микроскопических личностей: микроскопические печали и радости, мелочные страдания, давно уже вошедшие в обыкновение у повествователей, под пером г. Достоевского и г. Буткова доведены до крайнего предела ⟨...⟩. Мелочная личность поражена тем, что существование ее не обеспечено, и вследствие этой чрез меру развившейся заботливости утрачивает человечность — таков *Прохарчин*». Достоевский и Бутков — по оценке критика — «до того углубились в мелочные проявления рассматриваемого ими нравственного недуга, что умышленно или неумышленно отложили всякую заботливость о художественности своих описаний, стараясь исключительно только о том, чтобы с возможною верностию и подробностию передать прелести того угла, где жили г. Прохарчин и Оплевенко-жилец, и едва ли не для большей отчетливости употребляют при этом и слог деловой» ([*Григорьев А. А.*] Обозрение журналов за апрель / А. Г. // *МГЛ*. 1847. 30 мая. № 116. С. 465).

Единственным сочувственным из отзывов критики 1840-х гг. о «Прохарчине» было суждение В. Н. Майкова. Объясняя толки публики и критики о «неясности идеи рассказа» тем, что автор, испуганный «жалобами на растянутость его произведений», пожертвовал ясностью основной мысли в пользу той «драгоценной *краткости*», какую от него требовали, Майков постарался разъяснить его социально-психологическую идею. Он указал, что в «Господине Прохарчине» автор «хотел изобразить страшный исход силы господина Прохарчина в скопидомство, образовавшееся в нем вследствие мысли о *необеспеченности*». Сожалея, что на «выпуклое изображение» личности Прохарчина Достоевским не употреблена «хоть третья часть труда, с которым обработан Голядкин», критик выражал пожелание, чтобы в будущем писатель «более доверялся силам своего таланта» и не портил своих произведений под влиянием критики и других «посторонних соображений» (*Майков В.* Нечто о русской литературе в 1846 году // *ОЗ*. 1847. № 1, отд. V. С. 5; *Майков В. Н., 1985*. С. 182—183).

Итоговую оценку рассказа при жизни писателя дал Добролюбов в статье «Забитые люди» (1861). Имея перед собой произведения Достоевского уже не только 1840-х, но и конца 1850—начала 1860-х гг., Добролюбов мог в отличие от своих предшественников поставить фигуру Прохарчина в один ряд с другими образами «забитых людей», обрисованными писателем, и указать на связь их с общим «истинно гуманическим» направлением его творчества, проникнутого сознанием «аномалий» современной ему русской действительности и идеалом «уважения к человеку». Доказывая, что судьба Прохарчина, который «двадцать лет скряжничает и бедствует, всё от мысли о необеспеченности, и наконец от этой мысли захварывает и умирает», обусловлена объективными, политическими и социальными, условиями жизни, Добролюбов указал на своеобразие характера Прохарчина по сравнению с Девушкиным и Голядкиным: сознание необеспеченности и запуганность довели Прохарчина, по словам критика, до того, что он «не

только в прочность места, но даже в прочность собственного смирения перестал верить», «точно будто вызвать на бой кого-то хочет...» (*Добролюбов*. Т. 7. С. 246, 260—262).

С. 275. *...свезли на Волково...* — Волково — см. с. 686, коммент. к с. 35.

С. 276. *Случилось же это всё еще на Песках...* — Пески — историческое (по характеру почвы), вышедшее из употребления название района Рождественских (ныне Советских) улиц, между Невой и Невским пр., от Набережной Лиговского канала (ныне Лиговский пр.) и Таврической (ныне Потемкинской) ул., по обе стороны Слоновой ул. (ныне Суворовский пр.).

С. 276. *...на биксе...* — Бикса — маленький наклонный («китайский») бильярд.

С. 277. *...Семен Иванович употреблял только двадцать пять копеек медью...* — Т. е. платил набором мелких монет. Медными с 1832 г. чеканились монеты достоинством 10, 5, 2, 1 копеек.

С. 278. *...всякого случившегося хламу и дрязгу...* — См. с. 736, коммент. к с. 153.

С. 278. *...скаредным делом...* — См. с. 759, коммент. к с. 267.

С. 279. *...в гусарские юнкера перейти...* — Юнкер (нем. Junker) — нижний чин русской армии, который носили рядовые или унтер-офицеры из дворян.

С. 279. *...гриб съешь...* — Гриб съесть — не получить ожидаемого, обмануться. Ср., например, название одной из глав рассказа Н. А. Некрасова «Капитан Кук» (1841): «Глава вторая, о том, какой гриб съел капитан после завтрака»; использование той же идиомы в рассказе «Помещик двадцати трех душ» (1843) (*Некрасов, 1981—2000*. Т. 7. С. 149, 301). (Указано: *Ветловская, Из комментария 2*. С. 453, где приведены и другие примеры употребления этого идиоматического выражения).

С. 279. *...своей золовке...* — Золовки, сестры мужа, у Прохарчина быть не может; она — «миф», созданный его воображением.

С. 279. *...Зиновий Прокофьич вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому человеку, ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку ~ и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича...* — Использованы мотивы «Повести о капитане Копейкине» из «Мертвых душ» (1842) (указано: *Топоров, «Господин Прохарчин»*. С. 155).

С. 280. *...некоторые чиновники, начиная с самых древнейших, должны ~ какой-то экзамен по всем предметам держать...* — По указу 1809 г., подготовленному М. Н. Сперанским, чиновники должны были сдавать экзамен для получения гражданских чинов. Однако указ этот практически не применялся и существовал только на бумаге.

С. 281. *...ставил на нужной бумаге или жида...* — Жид — жидкое пятно, клякса. Подробно о семантике выражения «жид —

клякса на бумаге» см.: *Богданов К. А.* «Жид на бумаге»: Историко-филологический комментарий к одному выражению в «Господине Прохарчине» Ф. М. Достоевского // Новое литературное обозрение. 2010. № 104. С. 62—78.

С. 282. *...видел он беглеца на Толкучем...* — Толкучий рынок в Петербурге находился на Садовой улице, внутри Апраксина двора.

С. 282. *...в Кривом переулке.* — Речь идет о Кривом переулке, находившемся в Московской части Петербурга, между Фонтанкой и Загородным проспектом (современные Большой и Малый Казачьи переулки).

С. 283. *...рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию...* — Ср. слова Чичикова в «Мертвых душах»: «...испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его...» (*Гоголь.* Т. 6. С. 13) (см.: *Туниманов, Некоторые особенности.* С. 205).

С. 283. *...опростоволосил...* — Опростоволосить женщину — нанести ей оскорбление. В русской традиции прилюдно сорвать головной убор или платок с женщины, в особенности замужней, означало ее опозорить.

С. 283. *...сам Ярослав Ильич знаком...* — Полицейский чиновник Ярослав Ильич является действующим лицом также в повести «Хозяйка».

С. 283. *...обер-офицерской женой...* — Обер-офицер (нем. Oberoffizier) — в русской армии и на флоте низший офицерский чин XIV—IX классов «Табели о рангах», от прапорщика до капитана включительно.

С. 284. *...салопа...* — См. с. 686, коммент. к с. 34.

С. 284. *...прометал и проставил полмесячное жалованье...* — Речь идет об игре в банк, в которой Марк Иванович выступил поочередно банкометом (банкиром) и понтером (игроком, ставящим деньги на карту).

С. 284. *...уже весь нос покраснел и вспух у Океанова за игрой в носки и в три листика...* — Игра в носки и игра в три листика (другое название — свара) — карточные игры. При игре в носки победитель бьет проигравшего — в случае отсутствия у того средств — столько раз картами по носу, сколько тот должен ему денег.

С. 284. *...ночной ванька-извозчик.* — См. с. 743, коммент. к с. 197.

С. 284. *...из Коломны...* — Коломна — район Петербурга между реками Мойкой, Пряжкой, Фонтанкой и Крюковым каналом.

С. 285. *...в кухне с залавка в лохань.* — См. с. 748, коммент. к с. 246.

С. 285. *...получает целковики в своей канцелярии.* — См. с. 683, коммент. к с. 26.

С. 286. *...ровно аршин с вершком от полу...* — Аршин — см. с. 684, коммент. к с. 30. Вершок — русская мера длины, равная 4,445 сантиметрам.

С. 287. *...в сажень ростом...* — См. с. 697, коммент. к с. 102.

С. 287. *...с геморроидальным лицом...* — Геморроидальный — серо-желтый, изможденный.

С. 287. *...с четверкой в руках...* — Четверка — четверка табака, т. е. заполненный на четверть мешочек из толстой оберточной («картузной») бумаги (называемый картузом), в который обычно насыпался табак (см.: *Чернова, 1996.* С. 43).

С. 287—288. *...тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от него до расплаты в сквозные ворота...* — Сквозные ворота — проходной двор. Ср. рассуждение Осипа в «Ревизоре» (д. 2, явл. 1): «Наскучило идти — берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему, — изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет» (*Гоголь, 2001.* Т. 4. С. 24; указано: *Бем, Проблема вины.* С. 8; *Ветловская, Из комментария 2.* С. 453—454).

С. 288. *Отчаянный господин Прохарчин...* — См. с. 743, коммент. к с. 196.

С. 288. *...своего пульчинеля...* — Пульчинель (ит. pulchinella) и другие перечисляемые далее лица — традиционные персонажи кукольной комедии, разыгрывавшейся петербургскими шарманщиками (см. выше, с. 765).

С. 288. *...устремив на больного полные ожидания лица.* — Ср. в «Мертвых душах»: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?» (*Гоголь.* Т. 6. С. 221) (см.: *Топоров, «Господин Прохарчин».* С. 155).

С. 289. *...желая взглядом своим обратить в прах всех сочувствователей.* — Ср. в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд — и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича» (*Гоголь.* Т. 2. С. 274).

С. 289. *...пес бредит...* — Ср.: «пес врет» в комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» (1842) (д. 1, явл. 8; *Гоголь.* Т. 5. С. 12; указано: *Ветловская, Из комментария 2.* С. 454).

С. 290. *...дом в Кривом переулке ономнясь от лысой девки сгорел...* — Ономнясь — недавно, несколько дней назад.

С. 291. *...не знал до сих пор такого гвоздя-человека.* — Гвоздь-человек — упорный человек, настойчиво твердящий одно и то же.

С. 292. *Нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь...* — Аллюзия на повесть «Нос»: исчезнувший нос майора Ковалева впоследствии был обнаружен запеченным в хлебе цирюльника Ивана Яковлевича (см.: *Гоголь.* Т. 3. С. 50; указано: *Тынянов, Поэтика.* С. 199).

С. 292. *Фома, Фома вы такой, неверный вы человек!..* — Фома — один из двенадцати апостолов Христа, который поверил

рассказам других апостолов о Воскресении Иисуса, лишь когда сам увидел воскресшего Христа. Выражение «Фома неверный» («Фома неверующий») употребляется по отношению к недоверчивому человеку.

С. 293. *...без абшида с места укажут...* (С. 296: *...объявил бы абшид Семену Ивановичу...*) — Абшид (нем. Abschied) — отставка, увольнение; здесь: письменное свидетельство об увольнении, отставке.

С. 293. *...пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..* — Пряжка — в просторечии означает солдатскую службу.

С. 294. *Наполеон вы, что ли, какой?..* — Здесь впервые в творчестве Достоевского появляется наполеоновская тема. В «Господине Прохарчине» она выражает «вольнодумное» сомнение в прочности общественных устоев и, следовательно, бунт против них, направленный не на разрушение существующего социального порядка, а на укрепление собственного положения в нем путем накопления денег — силы, которая дает не зыбкую, а реальную устойчивость в мире, где «канцелярия» в любой момент может быть упразднена (см.: *Ветловская, Проблемы нового времени.* С. 128—129; обзор литературы по данной теме: *Подосокорский Н. Н.* Наполеоновская тема в «Господине Прохарчине» // *Достоевский и современность.* 22-е чтения (2007). 2008. С. 176—185).

С. 294. *...какой-нибудь ромашки забористой.* — Настой из аптечной (ободранной) ромашки применялся в России, в том числе, как успокаивающее средство при бессоннице и нервных расстройствах.

С. 295. *...игра велась на мелок...* — Играть на мелок — играть в карты на деньги в долг; иногда по договоренности не платить при этом проигрышей (мелок использовался игроками для записи картежных выигрышей).

С. 296. *...языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным образом, как, говорят, моргает вся еще теплая, залитая кровью и живущая голова, только что отскочившая от палачова топора.* — Ср. заметку «Продолжение жизни после обезглавливания» (*БдЧт.* 1834. Т. 2, отд. VII. С. 7—9), взволновавшую, по предположению В. А. Туниманова, Достоевского в юности (см.: *Туниманов, Некоторые особенности.* С. 212). О том, что отрубленная голова некоторое время продолжает жить, писал О. Бальзак в анонимной рецензии на роман Жюля Жанена (Jules Janin; 1804—1874) «Мертвый осел и гильотинированная женщина» («L'Ane mort et la femme guillotinée», 1829). Рецензия была опубликована в газете «Волер» («Voleur») от 5 февраля 1830 г. и сопровождалась сочиненной самим Бальзаком будто бы последней 30-й главой «Мертвого осла». О гильотинированной героине здесь сказано: «...в четыре часа пять минут она жила, она думала, она страдала ⟨...⟩, несмотря на то, что ее обезглавили ⟨...⟩. И вы только что видели, что, судя по состоянию органов мозга, ничто не могло помешать этой девушке мыслить в продолжение одной, двух, трех, четырех, — почем я знаю, может быть, и пяти, — минут после отделения головы от туловища. Я бы даже осме-

лился сказать, что тело не умирает hic et nunc (лат. сразу же. — *Ред.*)» (*Жанен Ж.* Мертвый осел и гильотинированная женщина / Изд. подгот. С. Р. Брахман. М: Науч.-изд. центр «Ладомир»: Наука, 1996. С. 279—280). О Жанене и его восприятии русскими писателями (в частности, Гоголем и Достоевским) см.: *Виноградов, Поэтика.* С. 76—100; *Брахман С. Р.* Судьба первого романа Жюля Жанена в России // Жанен Ж. Мертвый осел... С. 317—344. (Подробнее см. коммент. В. Е. Ветловской: *Ветловская, Из комментария 2.* С. 454—455).

С. 296. *...хотя бы теперь сам экзекутор явился в квартире...* — См. с. 739, коммент. к с. 169.

С. 296. *...попрошайка-салопница...* — Салопница — нищая, ходящая в оборванном салопе.

С. 296. *...попал на свой дар и талант...* — Намек на связь «смиреннейшего и тихого жильца» с полицией, на обычные его услуги «кому следует» в виде доносов (указано: *Ветловская, Из комментария 2.* С. 455; см. также: *Нечаева, Ранний Достоевский.* С. 172).

С. 296. *... ужасы безначалия...* — Цитата из «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина (*Карамзин, 1989.* Т. 1, гл. 4. С. 95).

С. 296. *...за Ярославом Ильичом его причет...* — Причет (причт) — священно- и церковнослужители одного прихода; употребляется также в значении паства, приход. Здесь имеются в виду сопровождающие Ярослава Ильича помощники, мелкие официальные лица.

С. 297. *...Ярослав Ильич ~ торжественно, при ком следует, вскрыл добро Семена Ивановича.* — Проводимая далее ревизия пожитков героя, при внешней бедности заключающих в себе, как выяснится позже, богатое содержание, напоминает финал рассказа Н. А. Некрасова «Ростовщик» (1841): «Квартальный, осматривая вещи, беспрестанно приходил в удивление. Он, например, распорол подушку ветхого стула, для того чтоб удостовериться, чем она набита, а оттуда посыпалось золото. Далее, он расшил истасканный тюфяк, по той же причине, и увидел, что в нем с угла пучками положены были ассигнации. Он толкнул ногой старые медвежьи галоши, — они издали металлический звук; оказалось, что и в них под кожей деньги» и т. д. (*Некрасов, 1981—2000.* Т. 7. С. 143—144). (Указано: *Ветловская, Из комментария 2.* С. 455).

С. 297. *...шильце, мыльце, белое белильце...* — В русском фольклоре символизируют ненужные вещи, хлам. Например, в народной игре в куму: «Дай нам шильце да мыльце, белое белильце да зеркальце, грош да денежку, красную девушку, сорок амбаров сухих тараканов, сорок кадушек соленых лягушек» (см.: *Слепцова И. С.* Народные игры и использования их в воспитании // Русские народные традиции и современность. М., 1995. С. 57). С другой стороны, это и символ некоторого достатка: «На шильце, на мыльце, на алые румяна, на белые белила» (*Даль.* Т. 1. С. 156); «Молодым на шильце, на мыльце, на бело белильце» (*Даль.* Т. 2. С. 364).

С. 297. *...что-то тяжелое, звонкое хлопнулось об пол. Нагнулись, обшарили и увидели сверток бумажный, а в свертке с десяток целковиков.* — Ср. в повести Н. В. Гоголя «Портрет» (1835; 1842) «...с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу и на каждом было выставлено: 1000 *червонных*» (*Гоголь*. Т. 3. С. 90) (см.: *Топоров, «Господин Прохарчин»*. С. 154—155).

С. 297. *...один четвертак...* — Четвертак — название серебряной монеты достоинством в 25 копеек.

С. 298. *...двугривеннички...* — Монеты достоинством 20 коп. (два гривенника).

С. 298. *...наполеондор...* — золотая французская монета достоинством в 20 франков.

С. 298. *...истертые и изрубленные елизаветинские...* — Части разрубленных серебряных и золотых монет, в том числе «рублевиков» времени правления императрицы Елизаветы I (1741—1761), использовались в XVIII в. в качестве разменных денег.

С. 298. *...немецкие крестовики...* — австрийские серебряные талеры, имевшие на обороте изображение креста.

С. 298. *...старые пятиалтынники, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но с законным количеством точек...* — Алтын (алтынник) — медная монета достоинством в три копейки, после длительного перерыва вновь введенная в оборот в 40-х гг. XIX в. Пятиалтынником (пятиалтынным) называли серебряную монету достоинством в 15 копеек, чеканка которой началась в 1760 г. Серебряные монеты использовались женщинами, в основном в деревнях, для ношения в ушах в качестве украшений; на некоторых серебряных и медных монетах номинал обозначался как словом (для грамотных), так и соответствующим количеством точек или черточек (для неграмотных).

С. 298. *...одну красную бумажку...* — См. с. 730, коммент. к с. 130.

С. 300. *...этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с разоренным гнездом «домовитой» ласточки...* — Последние два слова — цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Ласточка» (1792), начинающегося строкою: «О, домовитая ласточка!».

С. 300. *Правый глазок его был как-то плутовски прищурен...* — Ср. в «Пиковой даме» (1833) А. С. Пушкина: «...показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом» и «...ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась» (*Пушкин*. Т. 8. С. 247, 251) (см.: *Туниманов, Некоторые особенности*. С. 205).

## КАК ОПАСНО ПРЕДАВАТЬСЯ ЧЕСТОЛЮБИВЫМ СНАМ

(С. 301)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано Н. А. Некрасовым в издании «Первое апреля: Комический иллюстрированный альманах, составленный из рассказов в стихах и прозе, достопримечательных писем, куплетов, пародий и пуфов» (СПб., 1846. С. 81—128; ценз. разр. — 5 марта 1846 г.), где рассказ сопровождается иллюстрациями А. А. Агина, П. А. Федотова и др. Дата выхода альманаха устанавливается по билету на его выпуск из типографии, полученному Некрасовым 27 марта 1846 г. (см.: *Мельгунов*. С. 54); объявления о выходе альманаха см.: *СП*. 1846. 1 апреля. № 73. С. 292 (без подписи, написано Некрасовым[1]); *ВСП*. 1846. 1 апреля. № 73. С. 4.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *1926*. Т. 13. С. 479—496.

Печатается по тексту первой публикации с устранением явных опечаток и следующими исправлениями:

*С. 304, строка 12*: «помочь плачь-доле горького бедовика» вместо «помочь плачь доле горького бедовика».

*С. 305, строка 28*: «пролить слезы благодарности» вместо «пролить слезы благородности».

*С. 306, строка 11*: «трое суток» вместо «трои суток».[2]

*С. 307, строка 7*: «цепочкой» вместо «цепоцкой».

*С. 317, строки 13—14*: «как человек, съевший муху» вместо «как человек, съевший муку».

*С. 319, строка 2*: «VII» вместо «VI».

*С. 322, строка 18*: «VIII» вместо «VII».

Рассказ написан совместно Д. В. Григоровичем (гл. II, IV, V и VII), Достоевским (гл. III и VI) и Н. А. Некрасовым (последнему принадлежат, вероятно, не только стихи, но и часть прозаического текста); стихотворение «Они молчали оба... Грустно, грустно...» написано, по-видимому, И. И. Панаевым (см. подробнее с. 780, коммент. к с. 313). Авторство рассказа раскрыто и участие Достоевского в его

---

[1] См.: *Некрасов, 1981—2000*. Т. 13, кн. 1. С. 44.

[2] Возможно другое исправление: «трои сутки». Эта форма приведена в словаре Даля в статье на слово «Три» (см.: *Даль*. Т. 4. С. 432); согласно Далю, форма «трои» употребляется в словосочетаниях типа: «трои двери», «трои гусли» (Там же. Т. 4. С. 431). См. об этом: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1952. Т. 7. С. 559.

написании установлено К. И. Чуковским в статье «Неизвестное произведение Ф. М. Достоевского» (см.: Жизнь искусства. 1922. 10 января. № 2 (825). С. 5—6).

Участие Достоевского в написании рассказа доказывает запись на листке, найденном Чуковским в бумагах Некрасова:[1]

*За «Честол⟨юбивые⟩ сны»:*
Григор⟨овичу⟩ 50
Дост⟨оевскому⟩ 25.

Кроме этой записи, на листке находится и набросок (рукой Некрасова) двух стихов, вошедших в рассказ (наст. том, с. 302):

Лещ, конечно, отличная вещь,
Но есть вещи и лучше леща.

Таким образом, записи Некрасова позволяют установить трех авторов рассказа «Как опасно предаваться честолюбивым снам».

Основываясь на стилистических наблюдениях (совпадение ряда фразеологических оборотов с «Двойником» и «Господином Прохарчиным»),[2] Чуковский первоначально приписал Достоевскому одну — шестую — главу рассказа (см. указанную выше статью, а также его примечание в изд.: *Некрасов Н. А.* Полн. собр. стихотворений: В 2 т. М.; Л.: Academia, 1934. Т. 1. С. 626—627). Позднее Б. Я. Бухштаб, исходя из аналогичных наблюдений, распространил вывод Чуковского на главу третью (см.: *Некрасов, 1948—1953.* Т. 5. С. 638—639). Творческий вклад Некрасова в рассказ «Как опасно предаваться...», а также обстоятельства его написания прояснены в примечании Б. В. Мельгунова в изд.: *Некрасов, 1981—2000.* Т. 7. С. 616—620; здесь же, на с. 617, высказано предположение о том, что гл. VII была написана Некрасовым совместно с Достоевским (см. также: *Мельгунов.* С. 50—53). Как справедливо подчеркивает Т. Ю. Хмельницкая, при решении вопроса о доле участия в написании рассказа каждого из авторов следует принимать во внимание «момент импровизации». Поэтому участие Достоевского, возможно, не ограничивалось написанием третьей и шестой глав: «Некоторые ситуации ⟨других глав⟩, напр., появление вора, на глазах у хозяина и кухарки крадущего вещи, с небольшими вариантами использовано Достоевским в его собственной повести „Честный вор"». В итоге Т. Ю. Хмельницкая считает, что

---

[1] В настоящее время автограф утрачен. О нем впервые упомянул К. И. Чуковский в статье «Забытое и новое о Достоевском» (Речь. 1914. 6 апреля. № 94. С. 3).

[2] Совпадение приемов Чуковский видел в «нагнетании постоянно повторяемых слов» и «трепете маленького человека перед той катастрофой, которая непременно случится» (см.: Жизнь искусства. 1922. 10 января. № 2 (825). С. 5).

«можно говорить только о преобладании одного из соавторов в разных главах повести. ⟨...⟩ Яснее же всего в коллективной вещи проступает не преобладание какого-нибудь из соавторов, а откровенная установка их всех на Гоголя» (см.: *Фельетоны*. С. 366—367).

По предположению К. И. Чуковского (см.: *Некрасов Н. А.* Полн. собр. стихотворений. Т. 1. С. 627), две строчки точек в двух местах первой главы отмечают стихи, выброшенные цензурой, причем в первом случае «была изображена расправа барина с крепостным холопом».

Иллюстрированный альманах «Первое апреля» был издан Некрасовым после цензурного запрещения задуманного им совместно с Григоровичем и Достоевским периодического альманаха «Зубоскал» (см. об этом выше, с. 755—756, а также: *Григорович, 1987*. С. 76—77; *Некрасов, 1981—2000*. Т. 13, кн. 1. С. 350—353). Достоевским была написана статья-объявление «Зубоскал», в которой был эскизно обозначен под тем же именем «Петр Иванович» герой рассказа «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (см.: *Акад. ПСС*. Т. 18. С. 8—9; *Мельгунов*. С. 51), а затем, совместно с Григоровичем, «Вступление» к альманаху «Первое апреля» (см.: *Акад. ПСС*. Т. 18. С. 108—110, 301—302). В альманах вошли, в числе других, и материалы, предназначавшиеся для запрещенного «Зубоскала», что можно понять из письма Некрасова к Н. Х. Кетчеру от 2 декабря 1845 г.: «...оригинал, для него приготовленный, напечатается под другим заглавием и выйдет не выпусками (чего нельзя), а целой книгой» (*Некрасов, 1981—2000*. Т. 14, кн. 1. С. 56). Вероятно, это относится и к рассказу «Как опасно предаваться честолюбивым снам». В пользу такого предположения говорит упоминание среди его авторов «г. Зубоскалова» (два других псевдонима: «Белопяткин» и «Пружинин» — принадлежат Некрасову; таким образом, псевдоним «Зубоскалов» является скорее всего коллективным псевдонимом Григоровича и Достоевского).

Юмористический рассказ Григоровича, Достоевского и Некрасова по тематике и общему колориту родствен социально-нравоописательным, «физиологическим» очеркам писателей «натуральной школы» 1840-х гг. В то же время психологически углубленные описания сна, кошмара и мучений совести героя в принадлежащих Достоевскому (третьей и шестой) главах связывают эти главы не только в стилистическом, но и в более широком — идейно-тематическом — плане с хронологически наиболее близкими им произведениями молодого Достоевского — «Двойником» и «Господином Прохарчиным».

Немаловажную роль в создании рассказа сыграли иллюстрации, в том числе клише из старых переводных изданий. Третья глава с описанием «причудливого» сна Петра Ивановича писалась под такие клише, изображавшие «девушку в семнадцать лет» и «человека с огромными усищами ⟨...⟩ и в таком непостижимом костюме» (см.: *Фельетоны*. С. 367; *Некрасов, 1981—2000*. Т. 7. С. 618). Шестая глава

сопровождалась двумя иллюстрациями, дополнявшими текст Достоевского. Первая иллюстрация предварялась в рассказе словами о «трех каких-то головах, державших компанию у противоположных ворот» (это портрет грустной девушки в платочке и двух мужиков, алчно смотрящих на нее), — именно их «головы» «бессмысленно» рассматривает Петр Иванович, после чего решается бежать на службу (с. 318). Вторая иллюстрация относилась к привычному заглядыванию героя в окна, в которых можно «увидеть много хорошего» (с. 319): это снимающая папильотки женщина, которой, пользуясь невниманием старухи, подсовывает записку молодой человек. Описания самих сценок в тексте Достоевского не даны. Иллюстрации к другим главам, выполнявшиеся по заказу Некрасовым, точно отражают сюжетный ход рассказа. Например, в пятой главе упоминалась в связи со встречей Петра Ивановича его разъяренной супругой «драма в пяти или даже в шести актах, с эпилогом» (с. 315) — ей соответствует проясняющая происшествие в спальне серия рисунков с подписями «действие 1—6» и «епилог» (седьмой рисунок).

На выход книги немедленно откликнулся Белинский (*ОЗ*. 1846. № 4; ценз. разр. — 31 марта 1846 г.), который, рекомендуя альманах читателю, отнес рассказ «Как опасно предаваться честолюбивым снам» к числу наиболее удачных среди помещенных в нем материалов, о которых критик писал, что это «болтовня живая и веселая, местами даже лукавая и злая» (см.: *Белинский*. Т. 9. С. 604, 608). В анонимной рецензии «Финского вестника» (1846. Т. 9. Отд. V. С. 86; ценз. разр. — 30 апреля 1846 г.) отмечались «большое остроумие, забавный вымысел и легкий и игривый язык»: «...иные из рассказов ⟨...⟩ так смешны и при этом изложены так комически-важно, что и самый серьезный читатель едва удержится от смеха, в особенности же читая рассказ „Как опасно предаваться честолюбивым снам"».

С другой стороны, альманах «Первое апреля» и помещенный в нем «драматический фарс» Григоровича, Достоевского и Некрасова вызвали резкие нападки критики 1840-х гг., боровшейся с «натуральной школой». Выходившая под редакцией Н. В. Кукольника «Иллюстрация» писала об этом альманахе: «„Первое апреля" грубая шутка, от начала до конца»; и далее: «Есть у нас книги для образованного класса, есть и для крестьян — но вот появился новый род: *для лакейских*. Такую прозу еще прискорбнее читать после стихов хороших, хотя немногих, но встречающихся-таки в этом альманахе!» (*И*. 1846. 4 мая. № 16. С. 251). Еще бóльшим негодованием был проникнут рецензент «Северной пчелы», который, характеризуя альманах в целом как «*новое* произведение ⟨...⟩ так называемой *натуральной* школы» и приписывая все опубликованные в нем произведения Некрасову («самородному гению, который не соблаговолил выставить своего имени на заглавном листе»), писал о рассказе «Как опасно предаваться честолюбивым снам»: «...грубый язык, грязные картины униженного человечества, анатомия чувствований развращенного сердца, выходки бессильной зависти и вообще нравственный и литературный цинизм,

перед которым надобно жмурить глаза и затыкать уши! И это называется литературою!» (*СП.* 1846. 12 апреля. № 80. С. 319). На протяжении ближайших месяцев альманах упоминался на страницах «Северной пчелы» как символ всего самого низкопробного в современной литературе, причем с особым возмущением газета касалась отзыва на него, данного в «Отечественных записках» (см. в фельетонах Булгарина под рубрикой «Журнальная всякая всячина»: *СП.* 1846. 13 апреля. № 81. С. 322; 20 апреля. № 87. С. 347; в рецензии Л. В. Брандта (подпись: Я. Я. Я.) на альманах «Новоселье», ч. 3: *СП.* 1846. 24 апреля. № 90. С. 358; в «Ливонских письмах» Булгарина: *СП.* 1846. 9 июля. № 151. С. 605). Хвалебный отзыв Белинского задел П. А. Плетнева, который писал в рецензии на «Первое апреля»: «...мы желали бы знать, для кого все это печатается? Ужели есть жалкие читатели, которым понравится собрание столь грязных и отвратительных исчадий праздности? Это последняя ступень, до которой могла упасть в литературе шутка, если только не преступление называть шуткою то, чего нельзя назвать публично собственным его именем» (*С.* 1846. Т. 42. № 5. С. 218; выход из печати 1 мая 1846 г.); см. также: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 853 (письмо Плетнева от 13 ноября 1846 г.). Большую проницательность проявил в рецензии на «Первое апреля» О. И. Сенковский (Барон Брамбеус), который связал главу VI в рассказе «Как опасно предаваться честолюбивым снам» с именем Достоевского: «Вы помните, этот миленький, уменьшительный талантик, который, для начала, сочинил вам романчик, под названьицем „Бедные люди". Некогда, тоже для начала, сочинил он еще кое-что, именуемое „Похождения господина Голядкина". Посмотрите, как его бедный ум наши пародисты ⟨т. е. авторы альманаха⟩ переделали себе в великолепное остроумие ⟨далее цитируется гл. VI⟩» (*БдЧ.* 1846. Т. 76. № 5. Отд. VI. С. 17; ценз. разр. — 30 апреля 1846). Подробнее о рецензиях на «Первое апреля» см.: *Мельгунов.* С. 53—59; *Летопись Некрасова.* Т. 1. С. 214—220, 225, 230. Возможно, именно из-за негативных отзывов Григорович, говоря в воспоминаниях об альманахе «Первое апреля», преуменьшил степень своего участия в нем и не упомянул о коллективном рассказе (*Григорович, 1987.* С. 76—77).

С. 303. *Мрак неизвестности покрывает также причину и цель ее отлучки...* — О происхождении фразеологизма «покрыт(а, о, ы) мраком неизвестности», который приобрел широкое распространение благодаря одному из риторических оборотов, употребленному в учебнике И. К. Кайданова по всеобщей истории (1-е изд. — 1817—1821), см.: *Виноградов В. В.* История слов. [2-е изд.]. М., 1999. С. 502—505.

С. 303. *...песня про барыню, про которую так любит петь русский человек и про которую знает столько прекрасных песен...* — Вероятнее всего, намек на народные песни о барыне неприличного содержания (например, «Барыня» и «Камаринская», которые известны

и в записях с непристойными характеристиками героини). Тот же подтекст присутствует и в «прениях» дворовых по поводу газетного объявления: *Нужен человек, для комнат, красивой наружности, высокого роста...* (с. 303).

С. 304. *...от смерти политики.* — Слово «политика» употреблено в старинном значении: вежливое, учтивое обращение.

С. 304. *...помочь плачь-доле горького бедовика...* — Существительное «плачь-доля», не зарегистрированное, по-видимому, ни в одном из словарей русского языка, образовано по тому же принципу, что и существительные «перекати-поле» и «гуляй-город». Впервые исправлено (вместо «помочь плачь доле») в изд.: *Некрасов, 1981—2000.* Т. 7. С. 474.

С. 304. *...семь человек детей (непременно семь, ни больше ни меньше)...* — Этот мотив присутствует в «Господине Прохарчине» (с. 286), но без ироничного подтекста.

С. 307. *...в штрафах и под судом не бывал...* — Служба чиновника (офицера) Российской империи отражалась в формулярном (послужном) списке, в котором была следующая графа: «Бывал ли в штрафах или под судом» (вариант: «Не был ли в штрафах и под судом и если был, то за что именно, когда и чем дело кончено»); ответ в графе давался краткий, например: «Не был». В аттестатах, выдававшихся чиновникам при разного рода переменах судьбы, этот пункт обязательно цитировался по формулярному списку.

С. 307. *А девушке ~ не пристанет?..* — Цитата (с заменой восклицательного знака на вопросительный) из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (песнь 3).

С. 308. *...проиграл в одну пулю по копейке восемь рублей серебром...* — Пуля (пулька; фр. poule) — партия игры в преферанс. О рубле серебром см. с. 683, коммент. к с. 26.

С. 309. *Чернилица* — чернильница.

С. 310. *...еще двумя лицами, которых мы не хотим назвать.* — Имеются в виду постовые полицейские — будочники.

С. 310. *...дрожки, называемые пролетками, то есть такие дрожки, на которые садятся, когда желают сберечь ребра и спину.* — Имеются в виду рессорные дрожки, появившиеся в российских городах в 1840-х гг. Как нововведение «дрожки-пролетки» упомянуты в «Петербургской летописи» (1 июня 1847 г.) Достоевского (см.: *Акад. ПСС.* Т. 18. С. 24). Иллюстрация (см. выше, с. 311) наглядно демонстрирует это нововведение: две рессоры крепились сзади выгнутыми дугами к оси и сиденью и действительно предохраняли от толчков спину и ребра пассажира.

С. 312. *«Клянусь звездою полуночной ~ Федосья Карповна моя!»* — Комическая перелицовка монолога Демона «Клянусь я первым днем творенья...» из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (ч. 2, гл. 10).

С. 312. *И генеральскою звездой...* — Знак в виде звезды имели высшие ордена, которыми награждались чины не ниже IV класса по Табели о рангах.

С. 312. *Клянуся пряжкой беспорочной...* — См. с. 742, коммент. к с. 189.

С. 312. *Клянусь ремизом бесконечным...* — Ремиз (фр. remise) — в карточной игре недобор установленного числа взяток.

С. 312. *В дезабилье не выбегал...* — Дезабилье (фр. déshabille) — домашнее платье.

С. 312. *Он умолк и, «как юный дуб, низринутый грозой», пал к ногам супруги своей.* — Видоизмененная цитата из эротической поэмы «Поп» (1844) И. С. Тургенева, не печатавшейся при его жизни: «И пал к ногам супруги величавой, / Как юный дуб, низринутый грозой...» (*Тургенев, Сочинения.* Т. 1. С. 430). Это было первое косвенное упоминание поэмы в русской печати.

С. 313. *Они молчали оба ~ и скрылись...* — Автором стихотворения был, по-видимому, И. И. Панаев. С пропуском ст. 14—15 оно вошло в его сборник «Собрание стихотворений Нового поэта» (СПб., 1855. С. 56), а затем в посмертное «Первое полное собрание сочинений Ивана Панаева» (СПб., 1889. Т. 5. С. 39—40). В пользу принадлежности стихотворения «Они молчали оба...» Некрасову высказывался Б. Я. Бухштаб (см., например: *Бухштаб Б. Я.* Некрасов в стихах «Нового поэта» // Некрасовский сборник. М.; Л., 1956. Т. 2. С. 434—444), противоположную точку зрения, с отнесением стихов к Панаеву, отстаивал Б. В. Мельгунов (см.: *Некрасов, 1981—2000.* Т. 7. С. 616; *Мельгунов.* С. 99—101). По предположению Л. А. Федорова (см.: *Фельетоны.* С. 364), поддержанному К. И. Чуковским (см.: *Некрасов Н. А.* Полн. собр. стихотворений. Т. 1. С. 627), это была пародия на стихотворение Я. П. Полонского «Встреча» (1840), вошедшее в его сборник «Гаммы» (М., 1844).

С. 315. *Хоть герой наш звался совсем не Макаром, но мы не можем здесь не заметить, что на бедного Макара и шишки валятся!* — См. с. 689—690, коммент. к с. 59.

С. 316. *...в „Полицейской газете"...* — Имеются в виду «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции», где наряду с официальными сообщениями и распоряжениями печатались частные объявления (см. с. 747, коммент. к с. 238).

С. 316. *Всякий мужик, туда же, грамоте знает и на каждом синий армяк...* — В русской литературе середины XIX в. «синий армяк» в качестве элемента крестьянской одежды был связан с представлением о зажиточном, добротно одетом мужике. Один из персонажей пьесы Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии» (1842) обозначен как «синий армяк». К его словам, сказанным «серому армяку», прислушивается «очень скромно одетый человек»: «Что скажет народ?» Именно «синий армяк» произносит резкое суждение о «воеводах», увиденных им на сцене (*Гоголь.* Т. 5. С. 146).

С. 317. *...герой наш в первый раз в жизни пожалел, что у него русская фамилия, чему он сорок лет с лишком постоянно был рад ~ что и оканчивается она на ов, а не на ский.* — Вероятнее всего,

намек на выходцев из бывших польских провинций. О негативных стереотипах в восприятии поляков накануне и после восстания 1830—1831 гг. см.: *Хорев В. А.* Польша и поляки глазами русских литераторов. М., 2005. С. 35—59.

С. 319. *...из «Соннамбулы»...* — «Сомнамбула» (1831) — опера итальянского композитора В. Беллини (1801—1835), входившая в 1840-е годы в постоянный репертуар петербургской Итальянской оперы. По свидетельству С. Д. Яновского, Достоевский в молодые годы «восхищался „Нормой"» — другой оперой этого композитора — с итальянскими певицами Т. де Джиули-Борси и Дж. Гризи в главной роли (см.: *Достоевский в воспоминаниях, 1990.* Т. 1. С. 247; *Гозенпуд.* С. 22—34).

С. 320. *...мотивов из «Лучии»...* — «Лючия ди Ламмермур» (1835) — опера итальянского композитора Г. Доницетти (1797—1848), также входившая в постоянный репертуар петербургской Итальянской оперы.

С. 322. *...плясать качучу...* — Качуча — испанский танец с кастаньетами. Упоминание этого танца в связи со скандальным появлением героя в дезабилье было связано с широкой популярностью на театральной сцене в конце 1830-х—1840-х гг. пародийного исполнения качучи мужчиной-комиком (см. примечание Л. М. Лотман к водевилю Некрасова «Актер» (1841) в изд.: *Некрасов, 1981—2000.* Т. 6. С. 671—672). Об этом же напоминала иллюстрация к рассказу, на которой герой был изображен в похожей на балетную тунику короткой рубашке (см. с. 311).

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ

Роман господина Оноре де Бальзака

(С. 324)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: Репертуар и Пантеон. 1844. Т. 6 (ценз. разр. — 31 марта). С. 386—457; т. 7 (ценз. разр. — 30 июня). С. 44—125; без указания имени Достоевского.

В собрание сочинений впервые включено Л. П. Гроссманом в издании: *1918.* Т. 23. С. 363—525.

Печатается по тексту первой публикации с устранением явных опечаток (список см.: *1995* — Т. 1. С. 670—676) и с исправлением по французскому оригиналу следующих погрешностей различного происхождения:

*С. 332, строка 24*: «Boni Fontis» вместо «Bonae Fontis».

*С. 334, строка 23*: «попутник» вместо «попушник» (в подлиннике: plantain — подорожник).

*С. 335, строки 39—42*: «С первого числа ⟨ноября⟩ мать и дочь переселялись к камину ~ оканчивалась тридцать первого марта» вместо «С первого числа мать и дочь переселялись к камину ~ оканчивалась тридцатого ноября».

*С. 348, строка 16*: «Сорок семь» вместо «Сорок восемь».

*С. 364, строки 35—36*: «походила на Венеру Милосскую» вместо «Походила на Венеру Милонскую».

*С. 375, строка 24*: «Шарль не мог не заметить» вместо «Карл не мог не заметить».

*С. 384, строка 32*: «Mané, Tekel, Pharès» вместо «Mani, Fakel, Pharès».

*С. 390, строки 10—11*: «Сыщете человека без желаний?» вместо «Сыщите человека без желаний?».

*С. 397, строка 21*: «Не объявляйте банк-банкрутст-ва» вместо «Не объявляете банк-банкрутства».

*С. 408, строка 3*: «Любезный Альфонс!» вместо «Любезный Адольф».

*С. 414, строки 17—18*: После слов «и всё по-своему, на свой лад» исключено постороннее слово «Пример.».

*С. 415, строка 5*: «которое она отдала Шарлю» вместо «которое она отдала Карлу».

*С. 455, строка 23*: «Он назвался Шипарром» вместо «Он назвался Щипарром» (фр. Shippart).

Сохранены вариантные формы слов с неустоявшимся написанием (галстух — галстук, банкрутство — банкротство). Унифицированы написания неоднократно употребленных иностранных имен собственных, причем из разных использованных в тексте форм одного слова принимается в качестве основной наиболее соответствующая современным правилам транскрипции и транслитерации, как то: (в) Турени (в *РиП*: Туренни, Туррени; фр. Touraine), Луара (в *РиП*: Луара, Лоара; фр. Loire), Ла Бертельер (в *РиП*: Лабертельер, ла-Бертельер, Ла-Бертельер, Бертельер (эта форма сохранена); фр. (de) la Bertelliere). Сохраняются не отвечающие современным правилам транскрипции и транслитерации написания иностранных собственных имен, употребленных один раз или повторенных в одинаковой форме, например: Жантильи (фр. Gentillet), Нанета (Nanon), Перорре (фр. Perrottet), Поатье (фр. Poitou), «...на картине Шантра» (англ., фр. Chantrey) и др. Опущены проставленные в большом числе во многих отрезках текста тире между предложениями (например: «Самая замечательная комната в нижнем этаже этого дома была *зала*. — Вход в нее был прямо из ворот. — Немногие из обитателей маленьких городков Турени, Анжу, и Берри понимали необходимость общей комнаты в доме. — Зала в одно и то же время могла служить прихожею, гостиною, кабинетом, будуаром, столовою; зала — это театр, сцена для частной семейной жизни. — В зале Гранде происходили все обычные семейные собрания...» (*РиП*. Т. 6. С. 397; ср. наст. том, с. 334)); к

настоящему времени эти тире полностью утратили свое специфическое значение, если они таковое имели, а не были техническими значками типографского набора. Сокращения «г.», «г-н», «г-жа» заменены словами «господин» и «госпожа» как относящиеся исключительно к технике письма, что явствует из их неоднократного употребления в прямой речи персонажей, где возможна только полная форма. Сокращение «г.» употреблено также один раз в значении «год» и соответственно заменено. В двух местах (с. 378, 443) воспроизведена верстка текста в *РиП*, повторившая, по всей видимости, расположение фраз в рукописи Достоевского, прибегнувшего к «перебою» речи героя для акцентирования ее экспрессивности.

Перевод романа Бальзака «Евгения Гранде» явился первым — из дошедших до нас — значительным литературным опытом Достоевского. Он был предпринят в конце 1843 г. и увидел свет весной и летом следующего года в петербургском журнале «Репертуар и Пантеон: Театральное обозрение, издаваемое В. Межевичем и И. Песоцким».

Интерес к творчеству французского романиста возник у Достоевского очень рано. Так, в письме к брату от 9 августа 1838 г. он сообщал, что им прочитан «почти весь Бальзак», и далее восклицал: «Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека» (*Акад. ПСС*. Т. 28, кн. 1. С. 51). Об этом же, много лет спустя, вспоминал Д. В. Григорович, по свидетельству которого они с Достоевским в то время ставили Бальзака «неизмеримо выше всех французских писателей» (*Григорович, 1987*. С. 80—81). «Бальзак, — справедливо отмечал в данной связи Л. П. Гроссман, — оказался для юноши Достоевского самым родным и близким писателем. Он принес пробуждающейся фантазии нервного семнадцатилетнего мечтателя какие-то новые наслаждения и широко раскрыл ему еще неизвестные пути творческих достижений. Он надолго остался для него, как Вергилий для Данте, lo maestro e l'autore — учителем, приобщившим к тайнам своего искусства, и верным руководителем по всем его темным и опасным переходам. Со всей горячностью неокрепшего гения Достоевский бросился в этот болезненный мир бальзаковского романа и до конца уже не мог забыть своих первых впечатлений от чтения Человеческой Комедии» (*Гроссман, Библиотека*. С. 27).[1]

---

[1] Кроме этой цитируемой здесь статьи (*Гроссман Л. П.* Бальзак // *Гроссман, Библиотека*. С. 27—63; переизд.: Бальзак и Достоевский // Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. М., 1925. С. 64—115 (История и теория искусств. Вып. 4); Гроссман Л. П. Собр. соч. М., 1928. Т. 2. Вып. 2. Творчество Достоевского), об отношении Достоевского к Бальзаку см.: *Лапшин И. И.* «Красный кабачок» Бальзака и «Братья Карамазовы» Достоевского // Воля России. Прага, 1927. Кн. 2. С. 66—77; *Д, Письма*. Т. 1. С. 465—466 (в примечаниях А. С. Долинина); *Fanger D.* Dostoevsky and Romantic Realism: A Study of Dostoevsky in Relati-

Хотя с переводом «Евгении Гранде» Достоевский, несомненно, связывал надежду несколько улучшить свое — весьма бедственное — материальное положение, к стоявшей перед ним творческой задаче он отнесся с большой серьезностью и был вполне доволен тем, как ему удалось с ней справиться: извещая брата в письме от второй половины января 1844 г., что «на праздниках» он перевел «Евгению Гранде», и восторженно при этом характеризуя самый роман («Чудо, чудо!»), он без ложной скромности заметил, что «перевод бесподобный» (*Акад. ПСС.* Т. 28, кн. 1. С. 86).[1]

Роман Бальзака появился в декабре 1833 г.; на титульном листе значилось: Eugénie Grandet. Scènes de la vie de province par H. de Balzac. Premier volume. Paris. Madame Charles-Béchet, éditeur. 1834. В 1839 г. Бальзак подверг текст романа некоторой правке и предпослал ему посвящение Марии (по-видимому, своей возлюбленной Марии дю Френе). Наконец, в 1843 г. Бальзак внес в текст новые изменения, а по вине издателя для экономии места в нем было уничтожено деление на главы, и в таком виде роман был включен писателем в первый том «Сцен провинциальной жизни», в свою очередь составивший пятый том Человеческой Комедии.[2]

В этой редакции «Евгения Гранде» неизменно публиковалась в дальнейшем; как правило, с нее делались и переводы романа на иностранные языки. Достоевский же пользовался только изданием 1834 г. и о его последующей трансформации, скорее всего, даже не подозревал; вряд ли он обратил на это внимание и позднее, хотя в его библиотеке находилось брюссельское (1837—1843) издание собрания сочинений французского писателя (*Библиотека.* С. 210). Следовательно, авторизованным можно считать лишь текст перевода, опубликованный в «Репертуаре и Пантеоне», а все его переиздания — в журнале «Изящная литература» и отдельно (1883), в Собрании сочинений Бальзака, т. 9 (1897), Полном собрании сочинений Достоевского (1911—

---

on to Balzac, Dickens and Gogol. Cambridge, Mass., 1965; *Резник Р. А.* Достоевский и Бальзак // Реализм в зарубежных литературах XIX—XX веков: Межвуз. науч. сб. Саратов, 1975. Вып. 4. С. 153—203; *Biron V.* Balzac et Dostoïevski // Balzac dans l'Empire russe. Paris, 1993. P. 99—120; *Чернова Н. В.* «Красная гостиница» Бальзака: Мотивы и реминисценции в текстах Достоевского // *Д, Материалы и исследования.* Т. 16. С. 188—198; *Туниманов В. А.* Отзвуки романа О. Бальзака «Отец Горио» в творчестве Ф. М. Достоевского // Художественное сознание и действительность: К 100-летию со дня рождения Б. Г. Реизова. СПб., 2004. С. 302—322.

[1] Сообщение Григоровича в тех же «Литературных воспоминаниях» о том, что по вине редакции журнала (он ошибочно считал, что это была «Библиотека для чтения») «„Евгения Гранде" явилась едва ли не на треть в сокращенном виде против подлинника» (*Григорович, 1987.* С. 81), скорее всего, было вызвано аберрацией памяти.

[2] *Lovenjoul Ch. de.* Histoire des œuvres de H. de Balzac. Paris, 1876. P. 66.

1918), т. 24 и в Сочинениях Бальзака (1935)[1] — результатом большего или меньшего издательского произвола, вызванного, правда, благим намерением — приблизить перевод Достоевского к каноническому тексту французского романа.

Особенно энергично действовал в этом направлении Л. П. Гроссман, редактор и комментатор перевода Достоевского в соответствующем томе Сочинений Бальзака, вышедшем в издательстве Academia в 1935 г. Он не только исправил всевозможные опечатки и модернизировал орфографию и пунктуацию, но и попытался восстановить те места перевода, которые выпали из него вследствие «цензурно-редакционных сокращений» и «собственных соображений переводчика» (как правило, они касались религии и нравственности).[2]

Более того, Гроссман счел необходимым «восполнить» вообще все «пропуски» Достоевского при сравнении его перевода с дефинитивным французским текстом. Показательно, что приведенный им перечень таких «пропусков» (по его определению — «вариантов к тексту „Репертуара и Пантеона"», хотя фактически он пользовался изданием 1897 г.) занял несколько более тридцати страниц.[3]

Впоследствии на недопустимость подобного эксперимента указала В. С. Нечаева, посвятившая переводу «Евгении Гранде» специальную главу в книге, посвященной начальному периоду творчества Достоевского (*Нечаева, Ранний Достоевский*. С. 95—129). Проследив с большой тщательностью историю публикаций перевода, она пришла к вполне обоснованному выводу, что «контаминированный текст в издании „Academia" не передал ни творческий труд Достоевского над переводом, ни окончательный авторский, ставший каноническим текст романа Бальзака» (Там же. С. 110).

Решительно возражала Нечаева против утверждения Гроссмана о том, что «перевод Достоевского совершенно свободен»: по ее наблюдениям, «точная передача текста всегда преследовалась переводчиком», что иногда даже «приводило его к буквализмам, не свойственным русскому языку». Но при этом она не могла не констатировать, что в переводе встречается немало сокращений, произведенных Достоевским вполне сознательно, а также разного рода изъятий и ошибок, допущенных им «вследствие недостаточной внимательности или понимания языка оригинала» (Там же. С. 113), и не признать, что хотя «почти каждую фразу Достоевский начинает по Бальзаку, ⟨...⟩ в его переложении она усложняется, обрастает новыми образами, новыми признаками образов, и бальзаковский текст тонет в плоти, которой одевает его Достоевский» (Там же. С. 115).

---

[1] Вышел лишь один том: *Бальзак О.* Евгения Гранде. М.; Л.: Academia, 1935.

[2] См.: *Гроссман Л.* Бальзак в переводе Достоевского // Бальзак О. Евгения Гранде. М.; Л.: Academia, 1935. С. LIX—LXXXVII.

[3] Там же. С. 275—306.

Впрочем, последнее было, с ее точки зрения, скорее достоинством, равно как и «введение новых синонимов или выражений, близких к ним», и «повторение в различных формах и видах, которое усиливает утверждение, его эмоциональное звучание» (Там же. С. 116—117).

«Особый колорит придает переводу романа, — полагала Нечаева, — частое употребление уменьшительных и ласкательных имен, которых сравнительно мало в подлиннике. У Достоевского они встречаются в изобилии, как в прямой, так и в косвенной речи» (Там же. С. 118). Отмечала она также более интенсивное использование Достоевским, по сравнению с Бальзаком, «выражений и оборотов простонародной речи» и вместе с тем «высокой лексики», которую Достоевский усиливал, облекая ее в «застывшие формулы церковно-славянского красноречия» (Там же. С. 119—120).

Если все эти наблюдения Нечаевой над стилем перевода Достоевского были несравненно более достоверными и точными, чем у ее предшественника,[1] то в общей его характеристике и в своих конечных выводах они вполне сходились, а в чем-то они друг друга дополняли.

«Единство и цельность превосходной художественной прозы на всем протяжении русского текста, — подводил итог изучению перевода Л. П. Гроссман, — творческая устремленность живописующей и будящей внимание речи, замечательная живость и характерность всех разговоров, уже предвещающая в переводчике будущего мастера диалога, чудесно воспроизведенные характеристики-портреты (старика Гранде, Евгении, Шарля) — всё это сохраняет за первой русской версией „Евгении Гранде" значение крупного события нашей переводной литературы».[2]

Между тем В. С. Нечаева считала, что Достоевский «чрезвычайно чутко подхватил заложенные Бальзаком в романе элементы драмы. Игра контрастом характеров, света и тени, указания на скрытый драматизм, обилие диалогов — все это он воспринял, по-своему развил и усилил при переводе. Он еще чаще и более отчетливо, чем Бальзак, старается выявить читателю драму, заключенную в романе». По ее мнению, Достоевский «отталкивался от натуралистической бытовой живописи Бальзака и шел по пути углубления психологии персонажей,

---

[1] К этой теме В. С. Нечаева обратилась еще в середине 1920-х гг., и тогда же ее исследование привлекло внимание выдающегося французского слависта Андре Мазона, который намеревался сообщить о нем в руководимом им журнале «Revue des études slaves», но по неизвестной причине этого не сделал. Почти одновременно с Нечаевой обследование перевода Достоевского осуществил Г. Н. Поспелов, вскоре опубликовавший обширную статью на эту тему в «Ученых записках РАНИОН» (М., 1928. Т. 2. С. 103—136). Однако, в отличие от нее, он сопоставлял поздние издания романа и перевода, что в немалой степени обесценивало его в целом добросовестно выполненный и не лишенный интересных мыслей труд.

[2] *Бальзак О.* Евгения Гранде. С. LXXXIV.

отдавая дань сентиментализму: повышенному эмоциональному, иногда мелодраматическому звучанию в передаче переживаний своих героев» (*Нечаева, Ранний Достоевский.* С. 121, 126).[1]

Наконец, оба исследователя высоко оценили «литературный дебют» Достоевского как начальный этап его писательской деятельности. «Этот перевод, — полагал Гроссман, — послужил Достоевскому литературной школой, во многом сформировавшей его собственную писательскую манеру. Обдумывание с пером в руках каждой фразы знаменитого французского романа глубоко ввело этого литературного новичка в технику бальзаковского повествования и широко раскрыло перед ним целый ряд еще неведомых ему творческих тайн. В этом смысле перевод „Евгении Гранде" сказывается до конца на писаниях Достоевского» (*Гроссман, Библиотека.* С. 43). Такой же точки зрения он придерживался и в дальнейшем, утверждая, что «перевод „Евгении Гранде" оказался подлинной школой для Достоевского, практическим семинарием по искусству романа», и что «некоторые страницы „Евгении Гранде" непосредственно навеяли Достоевскому отдельные мысли и детали его последующих описаний».[2]

В свою очередь, В. С. Нечаева находила нечто общее в сюжетных линиях и центральных образах «Евгении Гранде» и романа «Бедные люди», при всем различии «идейного звучания» этих произведений, и, кроме всего прочего, даже обнаружила почти текстуальное совпадение первых строк в письме Макара Девушкина (помеченного «Август 3») и обращения Гранде к Евгении в главе «Семейные горести» (*Нечаева, Ранний Достоевский.* С. 126, 148—149).

В академическое Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского перевод «Евгении Гранде» не вошел, но о значении этого раннего труда для становления писателя речь шла во вводной статье Г. М. Фридлендера к примечаниям первого тома (см. наст. том, с. 639). В то время, когда он готовился к выходу в свет, в Колумбийском университете была выполнена диссертация, посвященная исследованию особенностей переводческой манеры Достоевского.[3]

Частные наблюдения опубликованы в статье японского исследователя Гинга Кобаяси.[4] Интертекстуальный анализ перевода, проведенный С. А. Кибальником, привел ученого к существенно скорректированному по отношению к выводу Л. П. Гроссмана заключению, согласно которому Достоевский «вписывал» создаваемый им русский текст «Евгении Гранде» «не только, а может быть, и не столько в го-

---

[1] В этой связи см. также: *Лешневская А.* Три «Гранде» // Иностранная литература. 2008. № 4. С. 285.

[2] *Бальзак О.* Евгения Гранде. С. LXXXVI.

[3] *Nakeev D. G.* The Earliest Dostoevsky: Style and Meaning in His Translation of «Eugénie Grandet». Michigan, 1972.

[4] *Гинга Кобаяси.* Вокруг слова «индивидуум»: (Из заметок о переводе Достоевским романа Бальзака «Евгения Гранде») // Поэтика Достоевского: Ст. и заметки. Рига, 2007. С. 4—13.

голевскую, сколько в пушкинскую языковую и литературную традицию».[1]

В своей исходной версии перевод «Евгении Гранде» воспроизведен (впрочем, с не всегда оправданными, на наш взгляд, уточнениями) и прокомментирован в *1995*. Т. 1. С. 413—577, 669—685). Для настоящего издания текст проверен, подготовлен к печати и прокомментирован заново.

С. 324. *...в городе Сомюре.* — Названный город (фр. Saumur) находится на западе Франции, в исторической области Анжу (Anjou), приблизительно соответствующей современному департаменту Мэн и Луара; расположен на левом берегу Луары.

С. 325. *...концы брусьев поперечных стен, покрытые аспидным камнем...* — Имеется в виду аспидный (глинистый, кровельный, грифельный) сланец — отделочный камень серо(синевато)-черного цвета.

С. 325 *...на окне бедной, трудолюбивой гризетки.* — Гризетка (от фр. grisette — легкая дешевая серая ткань, гризет) — простая городская девушка, живущая своим трудом (белошвейка, хористка, цветочница и т. п.).

С. 325. *...проклятие лигёра Генриху IV-му...* — Лигёр — член Католической (Священной) Лиги, учрежденной в 1576 году герцогом Генрихом де Гизом для борьбы с гугенотами (протестантами) и низвержения короля Генриха III, который пошел им на уступки. Искавший сильного союзника в борьбе с партией Гизов Генрих III передал Сомюр Генриху Наваррскому (будущему королю Франции Генриху IV), сторонникy гугенотов, и город стал их оплотом. Конец существованию Лиги был положен торжественным отречением от протестантизма Генриха IV в 1594 году, а в следующем местные лигёры захватили один из замков, примыкавших к Сомюру. Религиозные столкновения в Сомюре и его окрестностях продолжались и в XVII веке.

С. 325. *...половинок сукна на полках.* — Половинка сукна — старинная приблизительная мера длины, в разное время и для разных сукон составлявшая примерно от 17 до 44 аршин (12—31 м). Возникновение этого названия связано с обычаем отмерять и продавать штуки сукна попарно.

С. 325. *...отмеривает вам товару или на два су или на двадцать тысяч франков...* — Су (фр. sou) — монета достоинством $^1/_{20}$ фунта, ходившая во Франции в XIII—XVIII вв. В 1795 г., в связи с переходом к десятичной системе счисления, монета су была заменена монетой в 5 сантимов ($^1/_{20}$ франка), за которой до сих пор сохранилось простонародное название «су».

С. 326. *...или спадает до 6-ти ливров за штуку.* — Ливр (фр. livre — фунт) — денежно-счетная единица Франции с IX в. до

---

[1] *Кибальник С. А.* «Eugénie Grandet» О. де Бальзака в переводе Достоевского // *Достоевский и мировая культура.* № 29. С. 27—40.

1795 г. достоинством 20 су. После ее официальной отмены (окончательно в 1799 г.) это название продолжало использоваться при оценке величины денежных сумм.

С. 326. *...как и в Турени...* — Турень (Touraine) — историческая область и бывшая провинция Франции, расположенная к западу от Анжу.

С. 326. *...от этого-то и окрестили в болтливых жителей Анжера...* — Анжер (Анже, Angers) — главный город Анжу.

С. 327. *...достав сверх того 2000 луидоров...* — Луидор (фр. Louis d'or — золотой Луи) — золотая монета, чеканившаяся в 1640—1794 гг. Стоимость луидора времен Республики («республиканского луидора») составляла 25 ливров.

С. 327. *...сунув оборванному санкюлоту золотую взятку в 200 луидоров...* — Санкюлот (фр. sans culotte) — презрительное прозвище, данное в эпоху Великой французской революции аристократами-республиканцами революционно настроенным выходцам из городской бедноты, не носившим приличествовавшие мужчинам из состоятельных слоев общества кюлоты (короткие обтягивающие штаны) с чулками. Постепенно название «санкюлоты» распространилось на всех радикально настроенных республиканцев.

С. 328. *У него было 140 арпанов земли под виноградниками...* — Арпан (фр. arpent) — мера площади, составлявшая 0,42 га («обычный» арпан) и 0,51 га («узаконенный» арпан, применявшийся при межевании лесов и других государственных имуществ).

С. 329. *...разменял вексель, да с огромным учетом.* — В подлиннике речь идет об учете (покупке до истечения срока) векселя со взиманием большого процента. Употребив, возможно, именно в этом смысле или по недопониманию французского текста обиходное, вероятно, в быту выражение «разменять вексель», Достоевский обозначил иную финансовую операцию — размен векселя на несколько векселей меньшей стоимости с уплатой учетного процента.

С. 330. *...о Лафите.* — Жак Лаффит (Laffitte; 1767—1844) — французский банкир и государственный деятель; в 1814—1819 гг. — управляющий Государственным банком Франции, в 1830—1831 — глава правительства и министр финансов.

С. 331. *...сущая илотка...* — Илоты (ед. ч. др.-греч. εἵλώτης) — в древней Спарте бесправные земледельцы, происходившие из окрестных ахейских и дорийских племен, прикрепленные к земельным участкам спартиатов и подвергавшиеся моральному и физическому террору, унижениям и расправам.

С. 331. *...футов пяти ростом...* — Французский фут составлял примерно 0,3248 м, т. е. Гранде был ростом около 162 см.

С. 331. *...12 дюймов в окружности...* — Французский дюйм был равен приблизительно 2,706 см, т. е. ноги Гранде в окружности были примерно 32,5 см.

С. 331. *...взгляд василиска.* — Василиск (от греч. βασιλίσκος — царёк) — мифическое существо, обладающее способностью убивать дыханием и взглядом.

С. 331. *Лоб, изрезанный морщинами, с замечательными выпуклостями.* — По-видимому, здесь присутствует отсылка к френологии — учению, разработанному врачом и физиологом Францем Иосифом Галлем (Gall; 1758—1828). Галль локализовал психические особенности и способности человека в различных частях мозга и полагал, что формирование мозга влияет на строение черепной коробки у человека, по выпуклостям которой можно определять умственные и духовные черты личности.

С. 332. *...широкополая квакерская шляпа...* — Квакеры — протестантская община, возникшая в середине XVII в. в Великобритании. Одна из квакерских традиций — постоянное ношение широкополых шляп с высокими зауженными тульями.

С. 332. *Boni Fontis* — у Бальзака в первом издании «Евгении Гранде» ошибка, воспроизведенная и Достоевским: Bonae Fontis.

С. 332. *...как некогда фамилия Пази во Флоренции...* — Речь идет о флорентийском патрицианском роде Пацци (Pazzi), чьи представители получили историческую известность благодаря неудавшейся попытке заговора в 1478 г. против Лоренцо и Джулиано Медичи, правителей Флоренции.

С. 332. *...их аббатик, Талейран в миньятюре...* — Шарль-Морис де Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord; 1754—1838) — знаменитый французский политик и дипломат, чье имя стало нарицательным для обозначения лживости, хитрости и беспринципности; начинал карьеру с духовного звания.

С. 333. *...богатейшего откупщика в Париже.* — Откупщик — частное лицо, пользующееся за установленную плату правом сбора с населения государственных доходов. Институт генеральных откупщиков во Франции был упразднен в годы революции. Не зная, вероятно, об этом и не поняв здесь французского текста (marchand de vin engras — оптовый торговец вином), Достоевский счел ему эквивалентом слово «откупщик», отражавшее русскую реалию (в России откупная система продержалась до 1861 г.).

С. 333. *...ищет сыну дочь какого-нибудь дешевенького наполеоновского герцога.* — В 1789 г. аристократия во Франции была упразднена. После провозглашения Наполеона императором в 1804 г. аристократическая титулатура была восстановлена, но без возвращения аристократических привилегий.

С. 333. *...в омнибусах, ходивших между Блуа и Анжером.* — Блуа (фр. Blois) — город на правом берегу Луары, ныне входящий в департамент Луар и Шер, в исторической области Турень, к востоку от Анжера и Сомюра.

С. 333. *Об этой покупке стали говорить и в Нанте, и в Орлеане.* — Оба упоминаемых крупных города расположены на реке Луаре, первый вниз и второй вверх по течению от Сомюра, на расстоянии по прямой один от другого 270 км.

С. 334. *Над барельефом тянулся плинт...* — Плинт (от греч. πλίνθος — кирпич) — квадратная плита, здесь в значении

«карниз» (см.: *Бальзак О. де.* Собр. соч.: В 15 т. М., 1952. Т. 4. С. 18).

С. 334. *Берри* (Berry) — историческая провинция на месте нынешних департаментов Эндр и Шер, к юго-западу от Анжу, в районе слияния рек Луары и Шеры.

С. 335. *Жирандоль* (фр. girandole) — фигурный подсвечник для нескольких свечей.

С. 335. *...красные занавески из турской материи.* — Турская материя, или гродетур — вид плотной, тяжелой шелковой ткани.

С. 339. *...двойной наполеондор...* — Наполеондор — золотая монета достоинством в 20 франков, введенная в обращение в 1803 г.; чеканились также двойные наполеондоры (40 франков).

С. 339. *...а покажи-ка мне, жизнёночек, свое золото?* — См. с. 695, коммент. к с. 86.

С. 339. *Папа Климент, выдавая племянницу свою Марию Медичи за Генриха Второго, короля французского...* — Ошибка Достоевского: в подлиннике, в соответствии с исторической действительностью, речь идет не о Марии, а о Екатерине Медичи (1519—1589), королеве и регентше Франции, племяннице Климента VII.

С. 341. *...за бутылкою касси...* — Кассис (фр. cassis) — французский черносмородинный ликёр.

С. 347. *...прекрасный молодой человек, которого я видел на бале господина маршала Уд...* — Имеется в виду Никола-Шарль Удино (Oudinot; 1767—1847), маршал Империи (1809), 1-й герцог Реджо (1809). В отличие от многих наполеоновских маршалов Удино сохранял лояльность Бурбонам во время Ста дней и был произведен Людовиком XVIII в пэры Франции. В дальнейшем Удино был последним генеральным инспектором Национальной гвардии, командовал французскими войсками во время испанской кампании 1823 г., а в 1842 г. был назначен начальником Дома инвалидов. Вероятно, упоминание именно Удино, считавшегося одним из наиболее благонадежных деятелей Первой Империи, призвано подчеркнуть провинциализм сомюрцев: госпожа де Грассен заставляет сына замолчать, не будучи уверена, что упоминание наполеоновского полководца в 1819 г. еще уместно. Примечательно, что сын Удино, Шарль-Никола-Виктор (1791—1863) в 1822—1830 гг. занимал пост начальника кавалерийской школы в Сомюре.

С. 350. *...этих черненьких, точкообразных пятнушек достало бы зачернить совершенно целый лист «Монитёра»...* — «Монитёр» (фр. Le Moniteur Universel) — официальная французская газета (1789—1901), имевшая большой формат.

С. 351. *...фантастические образы женщин в английских «кипсеках»...* — Кипсек (англ. keepsake — подарок на память) — роскошно изданный альбом со стихотворениями и изящными портретными и другими иллюстрациями, либо с одними картинками. Кипсеки были весьма популярны в Англии в XIX в., нередко в виде кипсеков издавались поэтические альманахи.

С. 354. *...приняв задумчивый вид, чтобы скопировать лорда Байрона на картине Шантра.* — Перевод неточный: речь идет о скульптурном портрете Байрона работы знаменитого английского скульптора Фрэнсиса Чантри (Chantry; 1781—1841).

С. 357. *...Да это достойно Фоблаза...* — См. с. 745, коммент. к с. 225.

С. 357. *...я хотела сказать «Опасные связи».* — «Опасные связи» («Les liaisons dangereuses», 1782) — эпистолярный роман французского писателя Пьера-Амбруаза-Франсуа Шодерло де Лакло (Choderlos de Laclos; 1741—1803), состоящий из 175 писем, в которых раскрываются сложные взаимоотношения героев, представителей французского света XVIII столетия, интригующих друг против друга, проявляя развращенность ума и полнейшую беспринципность в достижении своих целей. Пользовавшийся огромной популярностью роман Шодерло де Лакло имел репутацию книги безнравственной и воплощающей циничный дух XVIII века.

С. 362. *...но о делах важных надобно думать поутру, сказал, не помню, какой-то мудрец греческий».* — Вероятно, Бальзак имеет в виду греческую поговорку «Дела — до завтра!», происхождение которой объяснено Плутархом в трактате «О демоне Сократа». Плутарх приписывает это восклицание фиванскому тирану Архию, получившему за ужином письмо, в котором сообщалось о готовящемся против него заговоре. Демонстрируя спокойствие и невозмутимость, Архий не стал вскрывать письмо в тот же день, а на следующий был убит.

С. 364. *...лоб Фидиасова Юпитера...* — Имеется в виду статуя Зевса в Олимпии работы древнегреческого художника Фидия (ок. 490 до н. э.—ок. 430 до н. э.), признанная одним из семи чудес света.

С. 372. *...жизнь и дружба известных венгерских сестриц-близнецов, сросшихся вместе...* — Имеются в виду венгерские близнецы Елена и Юдифь (1701—1723), описанные Ж.-Л. Бюффоном (Buffon; 1707—1788) в «Естественной истории» (глава «О чудовищах»).

С. 373. *...Мне предложил эти яйца лаландский фермер...* — Неточный перевод у Достоевского. В подлиннике: «le fermier de la Lande» — фермер с Пустоши (см.: *Бальзак О.* Собр. соч.: В 15 т. М., 1952. Т. 4. С. 67). Французское слово lande означает ланды — малопригодный для земледелия ландшафт, образованный песчаными и болотистыми почвами.

С. 374. *...восхитительные часы Брегета.* — Часы швейцарской фирмы Breguet, основанной в 1775 г. Авраамом-Луи Бреге, пользовались особенным спросом у французской знати, также в светском обществе и у богатых людей.

С. 384. *Удивление, гнев, столбняк царя Бальтазара, при виде знаменитого «Mané, Tekel, Farès»...* — См. с. 735, коммент. к с. 150. Русский перевод толкования пророком Даниилом начертанных слов см.: Дан. 5, 25—28.

С. 387. *Requiem* — начальное слово католической заупокойной службы.

С. 387. *Per fas et nefas* — правдами и неправдами (лат.), во что бы то ни стало, латинское крылатое изречение.

С. 389. *Поатье* — историческая область Пуату (фр. Poitou) на западе Франции, южнее Анжу.

С. 389. *Бретонь* — историческая область Бретань (фр. Bretagne) на одноименном полуострове на северо-западе Франции.

С. 394. *Если бы хитрец задавал обеды с тою целью, которая стоила хвоста собаке Альцибиадовой, то он прослыл бы, может быть, великим человеком...* — Речь идет об афинском полководце и политике Алкивиаде (ок. 450—404 до н. э.). Согласно Плутарху, отрубив своей удивительно красивой и дорогой собаке хвост, бывший ее главным украшением, он ответил упрекавшим его за это друзьям: «...все складывается так, как я хочу. А хочу я, чтобы афиняне болтали именно об этом, — иначе как бы они не сказали обо мне чего-нибудь похуже!» (*Плутарх.* Сравнительные жизнеописания: В 3 т. / Изд. подгот. С. П. Маркиш и С. И. Соболевский. М., 1961. Т. 1. С. 277).

С. 397—398. *Всякое дело товар, у которого своя цена. Так определяет Иеремия Бентам, говоря о ростовщиках. Знаменитый публицист доказал, что предрассудок, преследующий ростовщиков, — сущий вздор.* — Имеется в виду сочинение английского философа, экономиста и теоретика права Иеремии Бентама (Bentham; 1748—1832) «В защиту ростовщического процента» («Defense of Usury», 1787), в котором демонстрировалась несостоятельность законов, ограничивавших взимание роста.

С. 406. *Venite adoremus* — Приидите, поклонимся (лат.), слова из рождественского гимна «Adeste fideles...» (Придите к младенцу, верные...), об авторстве которого существуют различные предположения (исходный текст дополнялся позднее двумя другими лицами). Наиболее вероятный автор исходного текста, содержащего и комментируемый стих, — английский учитель латыни и переписчик нот Джон Фрэнсис Уэйд (Wade; 1711—1786).

С. 407. *Зачем вы дурно обошлись с господином Жеронтом?* — В оригинале у Бальзака: «m. de Gérente» (вероятно, французский политический деятель Жан-Франсуа-Оливье де Жерант; 1750—1837). Возможно, Достоевский ассоциировал фамилию с персонажем комедии Мольера «Плутни Скапена» — пожилым купцом Жеронтом. В комедии Мольера Скапен, слуга Леандра, сына Жеронта, мстит отцу своего хозяина за незаслуженную обиду, сажая того с помощью хитрости в мешок и жестоко побивая палкой.

С. 411. *Открылись два портрета, кисти знаменитой де Мирбель.* — Эме Зое де Мирбель (Mirbel; 1796—1846) — французская художница, придворный живописец Людовика XVIII и Карла X.

С. 414. *...когда король Август пил, так уж вся Польша должна была быть пьяна.* — Имеется в виду получившая широкую известность цитата из «Послания к сыну» прусского короля Фридриха II

«Когда пил Август, то пьяна была вся Польша» («Quand Auguste buvait, la Pologne était ivre»), воспроизведенная Вольтером в «Послании к императрице России Екатерине II» (Épître à l'Impératrice de Russie, Catherine II, 1771). Речь шла о курфюрсте Саксонии (1697—1706, 1709—1733) и короле Речи Посполитой (под именем Фридриха Августа I) Августе II Сильном (1670—1733).

С. 416. *...по одним романам Августа Лафонтена...* — Август Генрих Юлий Лафонтен (Lafontaine; 1758—1831) — немецкий писатель, автор более двухсот романов и повестей, представитель сентиментального семейного романа.

С. 417. *Грязное белье нужно полоскать в своей семье, по словам Наполеона.* — Имеется в виду высказывание Наполеона в адрес членов комиссии Законодательного корпуса 1 января 1814 г.: «Если б я был виноват, вы не должны упрекать меня публично... Грязное белье надобно мыть тайно...». Замечание касалось попытки обнародовать донесение члена комиссии, предлагавшего наложить определенные условия на требования императора, касавшиеся защиты Франции от войск коалиции. Афоризм был зафиксирован в книге французского адвоката, публициста и историка Поля-Матье Лорана де л'Ардеш (Laurent de l'Ardèche; 1793—1877) «История Наполеона» (Histoire de l'empereur Napoléon, 1828).

С. 418. *... у меня нет ни шелега...* — Шелег — вышедшая из оборота монета, равная $^1/_8$ копейки; удачный переводческий эквивалент употребленного слова «лиар» (liard), обозначающего старинную французскую мелкую монету.

С. 426. *...страшнее всех кровавых эпизодов из драматической истории знаменитой фамилии Атридов.* — Атриды — в древнегреческой мифологии потомки царя Микен Атрея, чей род был весь обречен богами на бедствия за страшное преступление Атрея против брата Фиеста. Наиболее известные Атриды, герои греческого эпоса и античных трагедий — Агамемнон, Менелай, Эгисф, Орест, Ифигения, Электра.

С. 453. *...но в сердце льстец всегда отыщет уголок...* — Достоевский вставляет в перевод стих из басни И. А. Крылова «Ворона и лисица» (1808).

С. 456. *...как некогда Шабо явились Роганами.* — Роган (фр. Rohan) — один из наиболее крупных баронских родов Бретани. Представители одной из ветвей Роганов, Роган-Жье, считались вождями гугенотов и союзниками Генриха Наваррского. При восшествии на престол король Генрих IV пожаловал их герцогскими титулами. После смерти короля герцог Анри де Роган-Жье вступил в открытое противостояние с парижским двором. Другие ветви дома никак его не поддержали, и его единственная дочь и наследница, помня нанесенную отцу обиду, вышла замуж, вопреки фамильному обычаю, не за Рогана, а за небогатого дворянина из Пуату Анри Шабо (Chabot). Их потомки приняли титул герцога и фамилию Роган-Шабо. Впоследствии их право на титул неоднократно оспаривалось в судебном порядке другими Роганами.

# СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ[1]

## Места хранения рукописей

*РГАЛИ* — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

*РГБ* — Российская государственная библиотека (Москва).

## Собрания сочинений Ф. М. Достоевского

*Акад. ПСС* — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. / Акад. наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Л.: Наука, 1972—1990.

*Акад. $ПСС_2$* — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 35 т. / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. СПб.: Наука, 2013. (Издание продолжается).

*Акад. Собр. соч. (15)* — Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. / Акад. наук СССР; Рос. Акад. наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Л.; СПб.: Наука, 1988—1996.

*1860* — Достоевский Ф. М. Соч.: В 2 т. М.: Изд. Н. А. Основского, 1860.

*1865* — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. / Вновь просмотренное и дополненное самим автором издание. СПб.: Изд. Ф. Стелловского, 1865. Т. 1.

*1866* — То же издание. СПб., 1866. Т. 3.

*1882* — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 14 т. СПб.: Изд. А. Г. Достоевской, 1882—1883.

*1918* — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. С многочисл. прилож.: В 23 т. Пг.: Просвещение, 1911—[1918]. Т. 22—23.

---

[1] В список не включены сокращения, совпадающие с сиглами, указанными в перечне источников текста к каждому произведению.

*1926* — Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произведений: В 13 т. / Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. М.; Л.: Госиздат, 1926—1930.

*1995* — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: Изд. в авт. орфографии и пунктуации: Канон. тексты / Под ред. В. Н. Захарова. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995—2013. Т. 1—10. (Издание продолжается).

*2003—2004* — Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 9 т. / Подгот. текстов, сост., примеч., вступ. ст., коммент. Т. А. Касаткиной. М.: Астрель: АСТ, 2003—2004.

## Печатные источники

*Аванесов — Аванесов Р. И.* Достоевский в работе над «Двойником» // Творческая история. Исследования по русской литературе / Под ред. Н. К. Пиксанова. М.: Никитинские субботники, 1927. С. 154—191.

*Алексеев — Алексеев М. П.* Ранний друг Ф. М. Достоевского. Одесса, 1921.

*Альтман — Альтман М. С.* Достоевский: По вехам имен. Саратов, 1975.

*Альтман, Гоголевские традиции — Альтман М. С.* Гоголевские традиции в творчестве Достоевского // Slavia. 1961. Т. 30. Вып. 3. С. 443—461.

*Альтман, О неосуществленных замыслах — Альтман М. С.* О неосуществленных замыслах двух повестей Достоевского // Вопросы литературы. 1973. № 10. С. 315—319.

*Альтман, Пестрые заметки — Альтман М. С.* Пестрые заметки // *Д, Материалы и исследования*. Т. 3. С. 184—195.

*Анненков, 1989 — Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989.

*Анненский, 1979 — Анненский И. Ф.* Книги отражений / Изд. подгот. Н. Т. Ашимбаева и др. М.: Наука, 1979. (Лит. памятники).

*Бахтин, 1929 — Бахтин М. М.* Проблемы творчества Достоевского // Собр. соч.: В 7 т. / Коммент. С. Г. Бочаров и др. М.: Рус. словари, 2000. Т. 2. С. 5—175.

*Бахтин, 1963 — Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского / 2-е изд., переработ. и доп. М.: Сов. писатель, 1963.

*БдЧт* — «Библиотека для чтения» (журнал).

*Белинский — Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953—1959.

*Белов, Достоевский и его окружение — Белов С. В.* Ф. М. Достоевский и его окружение: Энциклопедический словарь / Рос. нац. б-ка. СПб: Алетейя, 2001. Т. 1—2.

*Белый, 1996 — Белый А.* Мастерство Гоголя. М.: МАЛП, 1996.

*Бельчиков — Бельчиков Н. Ф.* Достоевский в процессе петрашевцев. М.: Наука, 1971.

*Бем, Личные имена — Бем А. Л.* Личные имена у Достоевского // Сборникъ въ честъ на Проф. Л. Милетичъ за седемдесетгодишнината отъ рождението му (1863—1933). София, 1933. С. 409—434.

*Бем, Первые шаги — Бем А. Л.* Первые шаги Достоевского: (Генезис романа «Бедные люди») [1931—1939] // Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе / Сост. С. Г. Бочарова; предисл. и коммент. С. Г. Бочарова и И. З. Сурат. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 58—94. (Studia philologica).

*Бем, У истоков — Бем А. Л.* У истоков творчества Достоевского: Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский // *Вокруг Достоевского.* Т. 1. С. 411—551. Первое изд.: Прага: Петрополис, 1936. (*О Достоевском.* Вып. 3).

*Библиотека* — Библиотека Ф. М. Достоевского. Опыт реконструкции, науч. описание / Отв. ред. Н. Ф. Буданова. СПб.: Наука, 2005.

*Биография* — Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883. (Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Т. 1).

*Ботникова — Ботникова А. Б.* Э. Т. А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века): К проблеме русско-немецких литературных связей. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977.

*Бочаров — Бочаров С. Г.* Переход от Гоголя к Достоевскому // Смена литературных стилей. На материале рус. литературы XIX—XX века. М.: Наука, 1974. С. 17—57. (То же // Бочаров С. Г. О литературных мирах. М.: Сов. Россия, 1985. С. 161—209).

*Ветловская — Ветловская В. Е.* Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Л.: Худож. лит., 1988.

*Ветловская, Из комментария 2 — Ветловская В. Е.* Из комментария к произведениям Достоевского. 2 // *Д, Материалы и исследования.* Т. 19. С. 451—457.

*Ветловская, Проблемы нового времени — Ветловская В. Е.* Проблемы нового времени в трактовке молодого Достоевского: (Рассказ «Господин Прохарчин». Тема денег) // Литература и история. (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей XVIII—XX вв.) / Отв. ред. Ю. В. Стенник. СПб.: Наука, 1992. С. 117—143.

*Ветловская, Ф. М. Достоевский — Ветловская В. Е.* Ф. М. Достоевский // Русская литература и фольклор: (Вторая половина XIX в.). Л.: Наука, 1982. С. 12—75.

*Виднэс — Виднэс М.* Достоевский и Э. А. По // Scandoslavica. 1968. Т. 14. P. 21—32.

*Виноградов, О языке — Виноградов В. В.* О языке художественной литературы. М.: Гослитиздат, 1959.

*Виноградов, Поэтика — Виноградов В. В.* Избр. труды: Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976. С. 3—187: Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский. (Первое изд.: Л.: Academia, 1929).

*Владимирцев* — *Владимирцев В. П.* Опыт фольклорно-этнографического комментария к роману «Бедные люди» // *Д, Материалы и исследования*. Т. 5. С. 74—89.

*Вокруг Достоевского* — Вокруг Достоевского: В 2 т. / Сост., вступ. ст. М. Магидовой / Коммент. М. Магидовой при участии П. Е. Фокина. М.: Рус. путь, 2007. Т. 1: О Достоевском: Сб. ст.: Прага, 1929/1933/1936/ под ред. А. Л. Бема.

*ВСП* — Ведомости С.-Петербургской городской полиции (газета).

*Герцен* — *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР; Наука, 1954—1966.

*Гоголь* — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1937—1952.

*Гоголь, 2001* — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М.: Наследие, 2001—2012. Т. 1, 3—4, 7 (кн. 1—2). (Издание продолжается).

*Гофман* — *Гофман Э.-Т.-А.* Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1991—2000.

*Григорович, 1987* — *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. М.: Худож. лит-ра, 1987.

*Григорьев* — *Григорьев А. А.* Собр. соч. М., 1915. Вып. 1—14.

*Гроссман, Библиотека* — *Гроссман Л. П.* Библиотека Достоевского. По неизданным материалам. С приложением каталога библиотеки Достоевского. Одесса, 1919.

*Гроссман, Биография* — *Гроссман Л. П.* Достоевский. 2-е изд., испр. и доп. М.: Молодая гвардия, 1965.

*Д, Материалы и исследования* — Достоевский: Материалы и исследования /Акад. наук СССР; Рос. Акад. наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Л.; СПб.: Наука, 1974—2010. Т. 1—19. (Издание продолжается).

*Д, Письма* — *Достоевский Ф. М.* Письма / Под ред. и с примеч. А. С. Долинина. М.; Л.: ГИЗ; Academia; Гослитиздат, 1928—1959. Т. 1—4.

*Д, Словарь-справочник, 1997* — Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-справочник / Челяб. гос. ун-т; сост.: Г. К. Щенников, А. А. Алексеев; науч. ред. Г. К. Щенников. Челябинск: Металл, 1997.

*Д, Словарь-справочник, 2008* — Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник / Сост. и науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб.: Пушкинский дом, 2008.

*Даль* — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Рус. яз., 1989—1991.

*Дилакторская* — *Дилакторская О. Г.* Петербургская повесть Достоевского. СПб.: Дм. Буланин, 1999. (Studiorum Slavicorum Monumenta. Т. 17).

*Добролюбов* — *Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9 т. М.; Л.: Гослитиздат, 1961—1964.

*Достоевский А. М., 1992* — *Достоевский А. М.* Воспоминания / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. С. В. Белова. СПб.: Андреев и сыновья, 1992.

*Достоевский в воспоминаниях, 1990* — Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. / Вступ. ст., сост. и коммент. К. Тюнькина. М.: Худож. лит-ра, 1990.

*Достоевский и мировая культура* — Достоевский и мировая культура: Альманах / О-во Достоевского, Лит.-мемориал. музей Ф. М. Достоевского в С.-Петербурге. СПб.; М., 1993—2013. № 1—30, вып. 1. (Издание продолжается).

*Достоевский и современность* — Достоевский и современность: Материалы Международных Старорусских чтений / Новгород. гос. объед. музей-заповедник, Дом-музей Ф. М. Достоевского. Великий Новгород; Старая Русса, 1994—2010. Чтения 8-е (1993). 1994 — 26-е (2011). 2012. (Издание продолжается. В библиографических справках указываются после серийного названия сборника порядковый номер чтений, год их проведений (в скобках) и год издания сборника).

*ДП* — Дневник писателя.

*Дрыжакова* — *Дрыжакова Е. Н.* По живым следам Достоевского: Факты и размышления. СПб.: Дм. Буланин, 2008.

*Евнин* — *Евнин Ф. И.* Об одной историко-литературной легенде (повесть Достоевского «Двойник») // *РЛ*. 1965. № 3. С. 3—26.

*Ермилов* — *Ермилов В. В.* Ф. М. Достоевский. М.: Гослитиздат, 1956.

*Жилякова* — *Жилякова Э. М.* Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844—1849). Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1989.

*Захаров, Дебют гения* — *Захаров В. Н.* Дебют гения // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: Издание в авт. орфографии и пунктуации: Канон. тексты / Под ред. В. Н. Захарова. Петрозаводск, 1995. Т. 1. С. 609—637.

*Захаров, Трагедия Голядкина* — *Захаров В. Н.* Трагедия Голядкина: (О повести Ф. М. Достоевского «Двойник: Петербургская поэма») // О традициях и новаторстве в литературе. Уфа, 1976. С. 117—127.

*И* — «Иллюстрация» (еженедельный журнал).

*Иванов В. В.* — *Иванов В. В.* Безобразие красоты. Достоевский и русское юродство. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1993.

*Истомин* — *Истомин К. К.* Из жизни и творчества Достоевского в молодости // Творческий путь Достоевского: Сб. ст. / Под ред. Н. Л. Бродского. Л.: Сеятель, 1924. С. 3—48.

*Карамзин, История, 1989* — *Карамзин Н. М.* История Государства Российского: В 12 т. / Отв. ред. А. Н. Сахаров. М.: Наука, 1989—1998. Т. 1—6. (Издание не завершено).

*Кирай* — *Кирай Д.* Структура романа Достоевского «Двойник» // Studia slavica Hungarica. 1970. Т. 16. С. 259—300.

*Кирпичников* — *Кирпичников А. И.* Очерки по истории новой русской литературы. Изд. 2-е, доп. М., 1903. Т. 1.

*Кирпотин* — *Кирпотин В. Я.* Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821—1859). М.: Гослитиздат, 1960.

*Кирпотин, Молодой Достоевский* — *Кирпотин В. Я.* Молодой Достоевский. М.: Гослитиздат, 1947.

*Летопись* — Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского: В 3 т. / Под ред. Н. Ф. Будановой и Г. М. Фридлендера. СПб.: Академический проект, 1993—1995.

*Летопись Некрасова* — Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова: В 3 т. / Отв. ред. Б. В. Мельгунов. СПб.: Наука, 2006—2009.

*ЛН* — Литературное наследство. М.: Журн.-газ. об-ние; изд-во АН СССР; Наука; ИМЛИ, Наследие, 1931—2011. Т. 1—103. (Издание продолжается).

*Ломагина* — *Ломагина М. Ф.* К вопросу о позиции автора в «Двойнике» Достоевского // Науч. доклады высшей школы. Филол. науки. 1971. № 5. С. 3—14.

*М* — «Москвитянин» (журнал).

*Майков В. Н., 1985* — *Майков В. Н.* Литературная критика: Статьи. Рецензии / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Ю. С. Сорокина. Л.: Худож. лит-ра, 1985.

*МГЛ* — «Московский городской листок» (газета).

*Мельгунов* — *Мельгунов Б. В.* Некрасов-журналист: (Малоизученные аспекты проблемы). Л.: Наука, 1989.

*Милюков* — *Милюков А. П.* Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890.

*Михновец* — *Михновец Н. Г.* «Двойник» в историко-литературной перспективе // *Достоевский и мировая культура.* № 20. С. 105—131.

*Мордовченко* — *Мордовченко Н. И.* Белинский и русская литература его времени. М.; Л.: Гослитиздат, 1950.

*Мочульский, 1995* — *Мочульский К. В.* Гоголь. Соловьев. Достоевский / Сост. и послесл. В. М. Толмачева; примеч. К. А. Александровой. М.: Республика, 1995.

*МСб, 1847* — Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847.

*Недзвецкий* — *Недзвецкий В. А.* Право на личность и ее тайну: (христианский аспект творчества молодого Ф. М. Достоевского) // *Достоевский и мировая культура.* № 8. С. 31—40.

*Некрасов, 1948—1953* — *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. М.: Гослитиздат, 1948—1953.

*Некрасов, 1981—2000* — *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л.; СПб.: Наука, 1981—2000.

*Нечаева, В семье и усадьбе* — *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. М.: Соцэкгиз, 1938.

*Нечаева, Ранний Достоевский* — *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский: 1821—1849. М.: Наука, 1979. С. 153—162.

*О Достоевском* — О Достоевском: Сб. ст. / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929, 1933, 1936. Вып. 1—3. См.: *Вокруг Достоевского.* Т. 1.

*ОЗ* — «Отечественные записки» (журнал).

*Описание* — Описание рукописей Ф. М. Достоевского / Библиотека СССР им. В. И. Ленина; Центр. гос. архив литературы и искусства СССР; Институт русской литературы / Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957.

*Осипов — Осипов Н. Е.* «Двойник». Петербургская поэма Достоевского (Заметки психиатра) // *Вокруг Достоевского.* Т. 1. С. 74—90. Впервые: *О Достоевском.* Вып. 1. С. 39—64.

*Панаев — Панаев И. И.* Литературные воспоминания / Ред. текста, вступ. ст. и примеч. И. Ямпольского. М.: Худож. лит-ра, 1950.

*Панченко — Панченко А. М.* Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. С. 143—161: Двойничество. (То же // Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь: Россия: История и культура. СПб.: Звезда, 2005. С. 244—267).

*Переверзев, 1982 — Переверзев В. Ф.* Гоголь. Достоевский. Исследования. М.: Сов. писатель, 1982.

*Пушкин — Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959.

*РВ* — «Русский вестник» (журнал).

*РИ* — «Русский инвалид» (журнал).

*РиП* — «Репертуар и Пантеон» (журнал).

*РЛ* — «Русская литература» (журнал).

*Родзевич — Родзевич С. И.* К истории русского романтизма (Э. Т. Гофман и 30—40-е гг. в нашей литературе) // Рус. филол. вестн. 1917. Т. 77. № 1—2. Отд. 1. С. 194—237.

*Розенблюм — Розенблюм Л. М.* Творческие дневники Достоевского. М.: Наука, 1981.

*РС* — «Русская старина» (журнал).

*РСл* — «Русское слово» (журнал).

*С* — «Современник» (журнал).

*Словарь языка Достоевского, 2001* — Словарь языка Достоевского: Лексический строй идиолекта / Рос. акад. наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова; Авт.-сост. Е. Л. Гинзбург и др.; Гл. ред. Ю. Н. Караулов. М.: Азбуковник, 2001—2003. Вып. 1—3.

*Словарь языка Достоевского, 2008* — Словарь языка Достоевского: Идиоглоссарий / Учреждение Рос. акад. наук Институт русского языка им. В. В. Виноградова; Авт.-сост. Е. Л. Гинзбург и др.; Гл. ред. Ю. Н. Караулов. М.: Азбуковник, 2008. [Т.] А—В. (Издание продолжается).

*СП* — «Северная пчела» (газета).

*СПбВ* — «Санкт-Петербургские ведомости» (газета).

*Степанян, Тайна Человека — Степанян К. А.* Тайна человека в романе «Бедные люди» // Вопросы литературы. 2004. № 6. С. 179—194 (То же // Степанян К. А. «Сознать и сказать». М., 2005. С. 71—86).

*Творчество Достоевского, 1921* — Творчество Ф. М. Достоевского: 1821—1881—1921: Сб. ст. и материалов / Под ред. Л. П. Гроссмана. Одесса, 1921.

*Творчество Достоевского, 1959* — Творчество Ф. М. Достоевского / Акад. наук СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького; Ред.: Н. Л. Степанов (отв. ред.) и др. М.: Изд-во АН СССР, 1959.

*Топоров, «Господин Прохарчин»* — *Топоров В. Н.* «Господин Прохарчин»: К анализу петербургской повести Достоевского // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: избранное. М.: Издательская группа «Прогресс» — «Культура», 1995. С. 112—192. Впервые отд. изд.: Иерусалим, 1982.

*Топоров, «Умышленность» Достоевского* — *Топоров В. Н.* Еще раз об «умышленности» Достоевского // Топоров В. Н. Петербургский текст. М., 2009. С. 453—457. Впервые: Finitis duodecim Lustris: Сб. ст. к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. Таллин, 1982. С. 126—132.

*Три века Санкт-Петербурга* — Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: В 3 т. СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2001—2006. Т. 1—2, кн. 5. (Издание продолжается).

*Туниманов, Некоторые особенности* — *Туниманов В. А.* Некоторые особенности повествования в «Господине Прохарчине» Ф. М. Достоевского // Поэтика и стилистика русской литературы: Памяти акад. В. В. Виноградова. Л.: Наука, 1971. С. 203—212.

*Тургенев, Сочинения* — *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Сочинения: В 15 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР; Наука, 1960—1968.

*Тургенев, Сочинения (2 изд.)* — *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. М.: Наука, 1978—1986.

*Тынянов, Поэтика* — *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 198—226: Достоевский и Гоголь (к теории пародии). (Первое изд.: Пг.: ОПОЯЗ, 1921).

*ФВ* — «Финский вестник» (журнал).

*Федоров* — *Федоров Г. А.* Московский мир Достоевского: Из истории русской художественной культуры XX века / Предисл. С. Г. Бочарова, В. Н. Топорова. М.: Языки славянской культуры, 2004.

*Фельетоны* — Фельетоны 40-х годов / Под ред. Ю. Г. Оксмана. М.; Л.: Academia, 1930.

*Фридлендер* — *Фридлендер Г. М.* Реализм Достоевского. М.; Л.: Наука, 1964.

*Цейтлин* — *Цейтлин А. Г.* Повести о бедном чиновнике Достоевского: (К истории одного сюжета). М., 1923.

*Чернова, 1996* — *Чернова Н. В.* Сон господина Прохарчина: Фантастичность реальности // *Достоевский и мировая культура.* № 6. С. 34—61.

*Чернова, 1997* — *Чернова Н. В.* Господин Зимовейкин в диалогах с господином Прохарчиным // *Д, Материалы и исследования.* Т. 14. С. 96—107.

*Чиж* — *Чиж В. Ф.* Достоевский как психопатолог. М., 1885.

*Чижевский* — *Чижевский Д. И.* К проблеме «Двойника» (Из книги «О формализме в этике») // *Вокруг Достоевского.* Т. 1. С. 54—73.

*Чулков* — *Чулков Г. И.* Как работал Достоевский. М.: Сов. писатель, 1939.

*Шевырев* — *Шевырев С. П.* Об отечественной словесности / Сост., вступ. ст., коммент. В. М. Марковича. М.: Высшая школа, 2004.

*Шкловский* — *Шкловский В. Б.* За и против: Заметки о Достоевском. М.: Сов. писатель, 1957.

*Юхнева* — *Юхнева Е. Д.* Петербургские доходные дома: Очерки из истории быта. М.: Центрполиграф; СПб.: МиМ-Дельта, 2008.

*Якубович, 1991* — *Якубович И. Д.* Достоевский в работе над романом «Бедные люди» // *Д, Материалы и исследования.* Т. 9. С. 39—55.

*Якубович, 2001* — *Якубович И. Д.* Поэтика романа «Бедные люди» в свете европейской традиции эпистолярного романа: Н. Леонар — Пушкин — Достоевский // *Д, Материалы и исследования.* Т. 16. С. 80—96.

*Reber* — *Reber N.* Studien zum Motiv des Doppelgängers bei Dostojevskij und E. T. A. Hoffmann. Gießen, 1964.

*Trubetzkoy* — *Trubetzkoy N. S.* Dostojevskij als Kunstler. The Hague: Mouton & C°, 1964. (Slavistic Printings and Reprintings; ed. by C. M. van Schooneveld, Stanford University).

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*


Абрамовская И. С. 650
Аванесов Р. И. 705, 707, 796
Август II Сильный 414, 793, 794
Аврамец И. А. 757
Агин А. А. 774
Акимов В. А. 659
Аксаков В. А. 670, 671, 717—719
Александрова К. А. 800
Алексеев А. А. 14, 798
Алексеев М. П. 638, 796
Алена Фроловна см. Крюкова А. Ф.
Алкивиад 793
Альтман М. С. 642, 679, 683, 690, 710, 713, 731, 745, 757, 760, 764, 796
Алябьев А. А. 760
Андо А. 14
Андрющенко В. М. 14
Анна Иоанновна 745
Анненков П. В. 650, 651, 671, 715, 796
Анненский И. Ф. 712, 721, 763, 764, 796
Аронсон М. 690
Арсентьева Н. Н. 729
Архий 792
Архипова А. В. 16, 17
Астров-Савелов В. К. 7
Афансьев С. Н. 678
Ашимбаева Н. Т. 796

Багно В. Е. 4, 12
Базанов В. Г. 4
Байрон Дж. 354, 791, 792
Балакирев И. А. 555, 744, 745
Бальзак О. де 7, 324, 637, 639, 642, 654, 667, 695, 712, 763, 771, 781, 783—787, 791, 792
Бамбуляк Г. В. 725
Баратынский Е. А. 746
Баршт К. А. 4, 643, 657, 658, 673, 680
Бахтин М. М. 658, 710, 711, 714, 715, 728, 729, 796
Башкиров Д. Л. 682
Башуцкий А. П. 694
Бекетов Алексей Н. 607, 750, 751
Бекетов Андрей Н. 607, 750, 751
Бекетов Н. Н. 750, 751
Бекетовы 668
Белецкий А. И. 655, 680
Белинский В. Г. 640—642, 651, 652, 654—656, 659—672, 675, 681, 702—704, 707, 714—717, 719, 737, 745, 746, 751, 756—758, 761, 766, 777, 778, 796


* Сост. Н. И. Коваленко.

Белкин А. А. 722
Белкнап Р. 756
Беллини В. (Bellini V.) 781
«Сомнамбула» 319, 781
Белов С. В. 14, 654, 796, 799
Белопольский В. Н. 725
Белый А. (Бугаев Б. Н.) 710, 796
Бельчиков Н. Ф. 9, 10, 641, 642, 755, 797
Бем А. Л. 647, 648, 655, 660, 685, 696, 709, 710, 715, 744, 745, 757, 761, 763—765, 770, 797, 800
Бенедиктов В. Г. 680, 692
Бенкендорф А. Х. 741
Бентам И. (Bentham J.) 397, 398, 793
Березкина С. В. 4, 19, 643
Бернарден де Сен-Пьер Ж.-А. (Bernardin de Saint-Pierre J.-H.) 749
Бернардский Е. Е. 668
Бертолуччи Б. (Bertolucci B.) 729
Бестужев-Марлинский А. А. 660, 691, 692, 757, 758
Бехтерев В. М. 713
Білецький О. І. см. Белецкий А. И.
Бирон Э.-И. 681
Битюгова И. А. 4
Бицилли П. М. 711
Блок А. А. 750
Богданов К. А. 769
Богданович И. Ф. 736
Боград В. Э. 746
Боровский А. Д. 729
Ботникова А. Б. 712, 743, 797
Бочаров С. Г. 655, 658, 674, 695, 711, 729, 796, 797, 802
Брамбеус, барон см. Сенковский О. И.
Брант Л. В. 662, 663, 717, 778
Брахман С. Р. 772
Бреге А.-Л. 374, 792
Бровкин Н. 763
Бродский Н. Л. 690, 799
Брокгауз Ф. А. 677
Брюллов К. П. 181, 519, 740
Брянцев А. А. 678
Буданова Н. Ф. 4, 12, 13, 15, 753, 797, 800
Буланин Д. М. 798, 799
Булгарин Ф. В. 659, 661—663, 667, 670, 690, 692, 695, 699, 709, 715, 717, 778
Бунин В. Н. 723
Бурнашев В. П. 741
Бутков Я. П. 662, 713, 766. 767
Бухштаб Б. Я. 775, 780
Бюффон Ж.-Л. (Buffon G.-L.) 792

Вагнер Н. П. 11
Вейль Г. 742
Вельтман А. Ф. 712
Венцеславский 685
Вергилий 783
Веселовский К. С. 641
Веселовский С. Б. 684
Ветловская В. Е. 12, 656, 657, 673, 675, 680, 684, 685, 688, 708, 714, 731—733, 736, 738—740, 743, 748, 764, 768, 770—772, 797
Виднэс М. 712, 797
Викторович В. А. 659
Виллель Ж.-Б. (Villèle J.-B.) 154, 491, 494, 495, 709, 736
Виноградов В. В. 4, 10, 654, 655, 657, 568, 660, 709, 710, 729—734, 736, 737, 739, 747—749, 772, 778, 797, 801
Вишневецкий Л. М. 691
Владимирцев В. П. 684, 687, 690, 798
Волгин И. Л. 681
Волков А. А. 11
Волоцкий М. В. 653
Волчек Ю. 678
Вольтер (Voltaire, наст. имя Arouet M.-Fr.) 759, 793
Вольф А. И. 758
Вольфзон В. (Wolfsohn W.) 676—678
Воскресенский М. И. 679, 682, 686

Востоков А. Х. 749
Врангель А. Е. 758
Вьельгорская А. М. 668

Гайбурский 614, 755
Галибин А. В. 678
Галич А. И. 693
«Картина человека, опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий, начертанный А. Галичем» 72, 693
Галль Ф. И. (Gall F. J.) 713, 790
Гарибальди Д. (Garibaldi G.) 612—614, 706, 753, 754
Гармаш С. Л. 729
Генрих II 339, 791
Генрих III 788
Генрих IV 325, 788, 794
Георги И. Г. 758
Герцен А. И. 642, 672, 798
Гёте И.-В. 416, 657, 676, 692, 739
Гиз Г. де (Guise H. de) 788
Гинзбург Е. Л. 14, 801
Гливенко И. И. 9, 10
Гоголь Н. В. 609, 654—657, 659, 660, 662—669, 671—674, 682, 684, 685, 687, 689, 690, 692, 694—696, 698, 699, 707—710, 717—719, 721, 726, 729—734, 736—740, 742, 744, 745, 748, 750, 751, 753, 754, 756—760, 763, 764, 766—770, 772, 773, 776, 780, 796—798, 800—802
Шинель 74, 75—77
Гозенпуд А. А. 638, 781
Гольдони К. 678
Гомер 24, 150, 491, 735
Гончаров И. А. 758
Гофман М. Л. 746
Гофман Э.Т.А. (Hoffmann E.T.A.) 707, 712, 718, 721, 727, 738, 739, 743, 744, 747, 797, 798, 801, 803
Гражис П. Й. 725
Гребенка Е. П. 713, 749
Греч Н. И. 699
Грибоедов А. С. 758, 797
«Горе от ума» 263, 758
Григорович Д. В. 637, 640, 648—651, 654, 660, 668, 698, 715, 751, 755, 756, 765, 774—778, 783, 784, 798
Григорьев А. А. 667, 668, 670, 671, 718, 719, 753, 757, 766, 767, 798
Гризи Дж. 781
Гринченко Н. А. 682
Гроссман Л. П. 7, 9—11, 660, 712, 722, 723, 763, 765, 781, 783, 785—787, 798, 801
Грот Я. К. 664, 778
Губер Э. И. 668—670, 766
Гус М. С. 722
Гусев Н. Н. 752
Гюго В. 656, 753, 764

Даль В. И. 679, 685, 686, 690, 696, 699, 708, 713, 733, 734, 740, 742, 748—750, 760, 772, 774, 798
Данте Алигьери 783
Дарья, кормилица 684
Дельвиг А. А. 760
Демина Е. 709
Державин Г. Р. 773
Джоунс М. 711, 714, 729
Диккенс Ч. 707
Дилакторская О. Г. 708, 709, 712—714, 726, 727, 742, 748, 750, 798
Диоген Синопский 696
Дмитриев И. И. 691
Добролюбов Н. А. 672, 720, 721, 754, 763, 767, 768, 798
Докиули-Борси Т. де 781
Долинин А. С. 8—12, 783, 798
Доницетти Г. 781
«Лючия ди Ламмермур» 320, 781
Достоевская А. Г. 6, 7, 9, 18

Достоевская А. М. 654, 799
Достоевская Варвара М. 653, 654, 687
Достоевская Вера М. 654
Достоевская М. Ф. 687, 695
Достоевский А. М. 653, 681—683, 731
Достоевский М. А. 653, 654, 657, 688, 695, 732
Достоевский М. М. 6, 638—641, 647—650, 652, 653, 656, 657, 660, 663, 668, 675, 682, 683, 693, 700, 702—705, 720, 751, 753—756, 761, 762, 783
Дружинин А. В. 752
Дрыжакова Е. Н. 711, 712, 727, 799
Дурдин А. А. 734
Дюкре-Дюминиль Ф.-Г. (Ducray-Duminil F.-G.) 659, 693, 694
«Мальчик, наигрывающий разные штучки на колокольчиках» 72, 693, 694

Евнин Ф. И. 712, 714, 720, 723, 744, 799
Евстафий 744
Екатерина II 794
Елизавета I 773
Елисеевы, купцы 150, 491, 735
Ермак Тимофеевич 65, 66, 691
Ермилов В. В. 12, 655, 711, 722, 799

Жанен Ж. (Janin J.) 771, 772
Жан-Поль (Richter J.-P.-F.) 707
Жерант Ж.-Ф.-О. де 407, 793
Жилякова Э. М. 693, 700, 799
Житкова О. Н. 660
Жуковский В. А. 301, 694, 749
«Ивиковы журавли» 72, 694

Заборов П. Р. 4, 643
Завьялов А. В. 729
Загидуллина М. В. 760
Запольский В. И. 39, 688
Заславский Д. И. 11, 722
Захаров В. Н. 15, 19, 659, 673, 674, 685, 708, 723, 724, 728, 729, 796, 799
Зелянская Н. Л. 659

Иван Грозный 65
Иван Яковлевич, юродивый 708
Иванов А. Ф. 724
Иванов Б. И. 691
Иванов В. В. 764, 765, 799
Игнатова Н. И. 10
Излер И. И. (И.-Л.) 664, 733
Измайлов Н. В. 642
Инютин В. В. 711
Имярек см. Аксаков К. С.
Иоанн V, Папа Римский 408
Иордан Я. П. 677
Истомин К. К. 650, 660, 799
Ільницький М. 728

Йованович З. (Jovanovic Z.) 679

Кадыров И. М. 714
Кайданов И. К. 778
Карамзин Н. М. 681, 708, 738, 772, 799
Караулов Ю. Н. 14, 801
Карепин П. А. 653, 654, 699
Карими-Мотаххар Д. 728
Карл X 455, 456, 737, 793
Карлейль Т. (Carlyle Th.) 741
Касаткина Т. А. 15, 19, 685, 689, 727, 796
Катерина, кормилица 684
Катков М. Н. 759
Каченовский М. Т. 686
Кашурников Н. А. 4, 643
Квитка Г. Ф. 664
Квятковский, содержатель танцевального заведения 758
Келлер, фортепианный мастер 653, 689
Кетчер Н. Х. 776
Кибальник С. А. 787, 788
Кийко Е. И. 655, 661, 753
Ким Юн Кюн 728

Киносита Т. 714
Кирай Д. 710, 729, 799
Кирпичников А. И. 710, 712, 799
Кирпотин В. Я. 641, 655, 711, 720, 722, 799, 800
Кирсанова Р. М. 686
Климент VII, Папа Римский 339, 791
Кобаяси Г. 787
Коваленко Н. И. 643
Ковач Алб. 723
Ковач Арп. 655
Козлов Г. М. 678
Кок П.-Ш. де (Kock P.-Ch.) 67, 650, 693
Комаров М. 737
«Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фредерике Луизе с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезии» 154, 494, 737
Комарович В. Л. 7, 9, 650, 654
Комиссаров Д. 729
Коншина Е. Н. 9, 10
Корвин-Круковская А. А. 6
Корнель П. 639
Коробова М. М. 729
Короленко В. Г. 726
Кошелев В. А. 689
Кравчук И. А. 4, 643
Краевский А. А. 664, 703, 761, 762
Крачковский И. Ю. 742
Криста Б. 713
Крылов И. А. 176, 506, 514, 740, 794
Крюкова А. Ф. 653, 684
Кузовкина Т. Д. 692
Кукольник Н. В. 659, 662, 777
Куманин А. А. 688, 713
Куманина А. Ф. 654, 688
Кунильский А. Е. 674, 675
Лажечников И. И. 736, 738
Лакло П.-А.-Ф. Шодерло де (Laclos P.-A.-F. Choderlos de) 792
«Опасные связи» 357, 792
Лапшин И. И. 783
Лафонтен А. Г. Ю. (Lafontaine A. H. J.) 416, 794
Лафонтен Ж. де (La Fontaine J. de) 335
Лаффит Ж. (Laffitte J.) 330, 789
Лебедев Ю. В. 656
Лёве Ф. фон 677
Левин Л. Г. 691
Левин Ю. Д. 759
Лемье Л. (Lemieux L.) 679
Леонар Ню-Ж. (Léonard N.-G.) 686, 700, 803
Лепренс де Бомон М. 746
Лермонтов М. Ю. 654, 662, 680, 684, 779
«Герой нашего времени» 725
Лешневская А. Ю. 787
Лойола И. (Loyola I.) 737
Ломагина М. Ф. 713, 724, 728, 729, 800
Ломовский А. М. 612, 754
Ломон Ш.-Ф. (Lhomond Ch.-F.) 39, 688
Ломоносов М. В. 774
Лоран дел л'Ардеш П.-М. (Laurent de l'Ardèche P.-M.) 794
Лорер Н. И. 641
Лотман Л. М. 781
Лотман Ю. М. 728, 802
Луве де Кувре Ж.-Б. (Louvet de Couvray J.-B.) 745
«Любовные похождения кавалера де Фобласа» 225, 232, 357, 567, 574, 579
Лукерья, кормилица 684
Людовик XVI 752
Людовик XVII 752
Людовик XVIII 736, 791, 793

Магазанник Е. Б. 724
Магидов М. 798

Магомет см. Мухаммед
Мазон А. 786
Майков А. Н. 713, 752
Майков В. Н. 661, 668, 669, 719, 720, 767, 800
Мария-Антуанетта 752
Маркиш С. П. 793
Маркович В. М. 803
Марлинский см. Бестужев-Марлинский А. А.
Марцинковский А. 678
Масальский К. П. 760
Медичи Дж. 790
Медичи Е. 791
Медичи Л. 790
Медичи М. 339, 791
Межевич В. С. 783
Мельгунов Б. В. 774—776, 778, 780, 800
Мельник В. И. 692
Мертен С. 714
Милетичъ Л. 797
Миллер И. М. (Miller J. M.) 749
Миллер О. Ф. 6, 7
Милюков А. П. 713, 800
Мирбель Э.-З. де (Mirbel A.-Z. de) 411, 793
Михалева А. А. 712
Михновец Н. Г. 709, 712, 713, 727, 800
Мокеев М. Д. 678
Мольер (Поклен Ж.-Б.) 793
«Скупой» 763
Мордовченко Н. И. 661, 667, 671, 720, 800
Морриконе Э. (Morricone E.) 729
Михизуки Т. 14
Мочульский К. В. 710, 711, 759, 800
Мухаммед (Магомет) 158, 183, 497, 516, 521, 577, 709, 741, 742

Назиров Р. Г. 725
Наполеон Бонапарт 294, 333, 417, 610, 706, 752, 765, 771, 790, 794
Нарежный В. Т. 731
Недзвецкий В. А. 673, 674, 682, 800
Некрасов Н. А. 637, 640, 642, 644, 651, 652, 660, 664, 690, 693, 694, 737, 746, 751, 755, 756, 765, 768, 772, 774—781, 800
Нечаев И. Т. 688
Нечаева В. С. 10, 647, 653, 654, 668, 688, 695, 723, 732, 763, 764, 772, 785—787, 800, 801
Никитенко А. В. 652, 663, 666, 667
Никитина Н. С. 746
Николаев П. А. 671
Николай I 641, 659, 687, 698, 764
Новелли Э. (Novekki E.) 678
Новиков А. А. 681

Одоевский В. Ф. 22, 660, 663, 678, 679
Оксман Ю. Г. 802
Орнатская Т. И. 4, 642
Осипов М. 729
Осипов Н. Е. 681, 721, 739, 748, 764, 801
Основский Н. А. 5, 705, 720, 795
Отрепьев Г. (Лжедмитрий I) 194, 531, 549, 582, 585

Пази см. Пацци
Панаев И. И. 650, 774, 780, 801
Панаева А. Я. 751
Панченко А. М. 724, 726, 801
Паншев Н. В. 6
Паттон О. П. 639, 640
Пацци (Pazzi), дворянский род 332, 790
Пежемский П. И. 766
Переверзев В. Ф. 709, 710, 715, 721, 801
Перетц Г. Г. см. Штавер П.
Перикл 610, 706, 752
Перро Ш. 746
Песоцкий И. П. 783

Петр I 685, 708, 724, 745
Петрашевский М. В. 612, 613, 641, 642, 706, 754, 755
Петренко М. Н. 680
Пикконе У. (Piccone U.) 729
Пиксанов Н. К. 796
Пирогов Н. И. 754
Пис Р. 711
Писарькова Л. Ф. 681
Плавильщиков П. А. 691
Плаксин В. Т. 682
Плетнев П. А. 664, 778
Плещеев А. Н. 664
Плутарх 792, 793
Плюшар А. А. 760
По Э. А. 712
Погорельский А. (Перовский А. А.) 712
Поддубная Р. Н. 711, 726, 751
Подосокорский Н. Н. 771
Покровский Б. А. 679
Полевой К. А. 745
Полонский Я. П. 780
Попов А. Г. 729
Порошенков Е. П. 723, 725
Поспелов Г. Н. 786
Потапов К. 11
Прийма Ф. Я. 4
Прутков К. (Толстой А. К., Жемчужниковы А. М. и В. М.) 611, 753
Пушкин А. С. 51, 52, 55, 69, 70, 73, 150, 491, 654, 569, 660, 663, 666, 685, 688, 689, 693, 695, 699, 732, 735, 743, 747, 760, 763, 773, 779, 797, 801, 803
«Повести Белкина» 68, 72, 73, 124, 674
«Руслан и Людмила» 307
Пыляев М. И. 758

Рак В. Д. 4, 12, 643
Рафаэль Санти 365
Ребецкая Н. А. 14
Резник Р. А. 784
Реизов Б. Г. 784
Рейсер С. А. 690
Ренанский А. Л. 14
Ризенкампф А. Е. 638, 648, 653, 689
Рихтер А. А. 732
Ричардсон С. (Richardson S.) 696
«Кларисса Гарлоу» 95, 112, 630
Ровинский Д. А. 745
Роган-Жье, дворянский род 794
Роган-Жье А. де 794
Роган-Шабо, дворянский род 456, 794
Родзевич С. И. 712, 739, 801
Родионова А. 678
Розен Е. Ф. 757
Розенблюм Л. М. 705, 715, 724, 801
Ротшильд М.-А. 330
Руссо Ж.-Ж. 254, 599, 657, 750
Рылеев К. Ф. 691

Савельев А. И. 638, 647
Сакулин П. Н. 9, 10
Самарин Ю. Ф. 671
Санд Ж. (Sand, наст. имя Dupin A.-A.-L.) 638, 640, 654, 657, 764
Сараскина Л. И. 726
Саруханян Е. П. 755
Сахаров А. Н. 799
Свиньин П. П. 691
Седельников Г. С. 679
Седельникова О. В. 696
Семеновский В. О. 678
Семенов-Тян-Шанский П. П. 641
Сенковский О. И. 24, 182, 520, 659, 667, 682, 690, 709, 741, 778
Сервантес Сааведра М. де 760
«Дон-Кихот Ламанчский» 272, 760
Сидоров В. 679
Скатов Н. Н. 11, 16
Слепцова И. С. 772
Смирнова Л. Н. 656
Соболевский С. И. 793

Сокол Е. М. 674
Соколовская А. И. 725
Сокольский И. 756
Сократ 696, 792
Соллогуб В. А. 660, 663, 664
Соловьев Вл. С. 800
Соловьев, чиновник-скряга 763
Сомов О. М. 757
Сорокин Ю. С. 800
Сперанский М. Н. 764, 768
Спешнев Н. А. 754
Станюта А. А. 715
Стелловский Ф. Т. 5, 6, 638, 707, 795
Стенник Ю. В. 797
Степанов Н. Л. 802
Степанян К. А. 16, 673—675, 726, 727, 801
Страхов Н. Н. 6, 7, 660, 753
Строев В. Н. 698
Студитский А. Е. 717
Суворов А. В. 176, 515, 740
Сумароков А. П. 182, 520, 741
Сумароков П. И. 687, 695
Сумцов Н. Ф. 697
Сурат И. З. 797
Сю Э. (Sue M.-J.-E.) 639, 640

Табаков О. Н. 678
Табачников Е. Д. 678
Талейран-Перигор Ш.-М. (Talleyrand-Périgord Ch.-M.) 332, 790
Тарасова Н. А. 643
Террас В. 655, 757
Тетеревникова Н. Н. 642
Тимковский К. И. 612, 754, 755
Титов А. 729
Тихомиров Б. Н. 12, 14, 798
Тихонов В. А. 759
Тоичкина А. В. 4, 643
Толмачев В. М. 800
Толстой Л. Н. 610, 752, 797
Томашевский Б. В. 7, 8, 15, 652, 796
Топоров В. Н. 708, 728, 764, 765, 758, 770, 773, 802
Трофимов Е. А. 658
Трубецкой Н. С. 723
Трутовский К. А. 647, 649
Туниманов В. А. 12, 753, 763—765, 769, 771, 773, 784, 802
Тургенев И. С. 607, 640, 660, 671, 704, 746, 751, 756, 757, 780, 802
Турьян М. А. 679
Тусичишный А. П. 725
Тынянов Ю. Н. 711, 730, 770, 802
Тюнькин К. И. 725, 799

Удино Н.-Ш. (Oudinot N.-Ch.) 347, 791
Удино Ш.-Н.-В. 791
Удодов А. Б. 711, 723
Ураи Я. 14
Уэйд Дж. Ф. (Wade J. F.) 793

Федоров Г. А. 653, 688, 697, 708, 713, 734, 748, 802
Федоров Л. А. 780
Федотов П. А 774
Фидий 364, 792
Филипп V 408
Филиппенко А. Г. 678
Фихте И. Г. (Fichte J. G.) 725
Фокин В. В. 729
Фокин П. Е. 798
Франк Д. (Frank J.) 676
Френе М. дю 784
Фридлендер Г. М. 4, 5, 11, 13, 16, 18, 19, 642, 655, 657, 670, 723, 727, 752, 787, 800, 802
Фридрих II 793
Фудель С. И. 726
Фукс Е. Б. 740
Фурье Ф.-М.-Ш. 612, 675, 706, 754, 755
Фут П. 682

Халабаев К. И. 7, 8, 796
Хвостов Д. И. 741

Хедаят С. 728
Хмельницкая Т. Ю. 775
Хомяков А. С. 691
Хорев В. А. 781
Храпченко М. Б. 4

Цейтлин А. Г. 655, 756, 802

Чаадаев П. Я. 708, 713
Чантри Ф. (Chantry F.) 354, 782, 791, 792
Чеботарева У. И., няня 697
Чермак Л. И. 754
Чернов А. (Ахшарумов Н. Д.) 720
Чернова Н. В. 761, 764, 765, 770, 784, 802
Чернышевский Н. Г. 672, 752
Чиж В. Ф. 713, 721, 802
Чижевский Д. И. 681, 715, 721, 802
Чуковский К. И. 775, 776, 780
Чулков Г. И. 650, 652, 654, 724, 802

Шабо А. (Chabot A.) 794
Шайкевич А. Я. 14
Шантр см. Чантри Ф.
Шахмагонов Н. Ф. 731
Шевырев С. П. 666, 667, 717, 724, 730, 802
Шекспир У. 85, 639, 699, 759
«Отелло» 664
Шепелев Л. Е. 743
Шиллер Ф. 639, 694, 749
«Ивиковы журавли» 72, 694
Шишков А. А. 691
Шкловский В. Б. 567, 709, 711, 722, 803
Штавер П. (Перетц Г. Г.) 661
Штирнер М. 725

Щенников Г. К. 14, 655, 673, 712, 724, 725, 727, 798
Щепкин М. С. 678

Эли де Бомон (Elie de Beaumont) (Жан-Батист-Арман и Жан-Батист-Жак) 609, 611, 752
Эмин Ф. А. 657
Этов В. И. 658, 674, 675

Южаков П. В. 678
Юрфе О. д' (Urfé H. d') 750
Юхнева Е. Д. 682, 688, 803

Я. Я. Я. см. Брант Л. В.
Яковлев М. Л. 760
Якубович И. Д. 4, 12, 19, 648, 649, 653, 679, 680, 682, 685, 686, 735, 803
Ямпольский И. Г. 801
Яновский С. Д. 681, 713, 744, 781
Ястребов А. Л. 673
Яхьякур М. 728

Ando A. 14
Andrew J. 675

Belknap R. L. 680
Biron V. 784

Connolly J. W. 729

Fanger D. 783
Flath C. A. 676

Hauswedell E. 676

Jones M. V. 14

Komarowitsch W. 9

Louis XVI 610, 752
Lovenjoul C. de 784

Mochizuki T. 14
Mucha B. 678

Nakeev D. G. 787
Neuhäuser R. 676

Peace R. A. 657

Reber N. 712, 721, 803

Terras V. 757

Trubetzkoy N. S. 757, 803

Urai Y. 14

Weil G. 742

# СОДЕРЖАНИЕ


| | Текст | Варианты | Примечания |
|---|---|---|---|
| От редакции | 5 | | |
| Бедные люди. *Роман* | 22 | 617 | 644 |
| Двойник. *Петербургская поэма* | 129 | | 700 |
| Роман в девяти письмах | 263 | | 755 |
| Господин Прохарчин. *Рассказ* | 275 | 633 | 760 |
| Коллективное | | | |
| Как опасно предаваться честолюбивым снам | 301 | | 774 |
| Приложение | | | |
| Евгения Гранде. *Роман господина Оноре де Бальзака* ⟨Перевод Ф. М. Достоевского⟩ | 324 | | 781 |
| Другие редакции | | | |
| Принципы подачи редакций и вариантов | 469 | | |
| Двойник. Приключения господина Голядкина ⟨*Журнальная редакция 1846 г.*⟩ | 471 | | |
| Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести ($ЧН_1$) | 607 | | 750 |
| Черновые наброски к предполагавшейся переработке повести ($ЧН_2$) | 612 | | 753 |
| Варианты | 615 | | |
| Примечания | 635 | | |
| Список условных сокращений | 795 | | |
| Указатель имен | 804 | | |

*Научное издание*

# ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ТРИДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

**Том 1**

## БЕДНЫЕ ЛЮДИ
## ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 1844—1846

*Утверждено к печати*
*Ученым советом Института русской литературы*
*(Пушкинский Дом) Российской Академии наук*

Редактор издательства *И. Е. Петросян*
Художник *Л. А. Яценко*
Технический редактор *И. М. Кашеварова*
Корректоры *Н. И. Журавлева, Л. Д. Колосова* и *А. К. Рудзик*
Компьютерная верстка *Л. Н. Напольской*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Подписано к печати 24.12.2012.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Академическая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 51.1. Уч.-изд. л. 56.7.
Тираж 5000 экз. (1-й завод 1—3000 экз.). Тип. зак. № 3712. С 197

Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука»
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
main@nauka.nw.ru
www.naukaspb.com

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-038289-3



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ИЗДАТЕЛЬСКО-КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА «НАУКА»
ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

# Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В ТРИДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ 2-Е ИЗДАНИЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

### Том второй

### Повести и рассказы 1847—1859 гг.

В очередном томе второго Полного академического собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатаются художественные произведения 1847—1859 гг.

Повесть «Хозяйка», рассказы «Ползунков», «Чужая жена и муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», повесть «Слабое сердце», «сантиментальный роман» «Белые ночи» и оставшаяся незаконченной «Неточка Незванова» создавались в Петербурге и были опубликованы в 1847—1849 гг., до осуждения Достоевского по делу петрашевцев. В основной раздел тома помещены в порядке хронологии, написанные в Семипалатинске в 1854—1856 гг. и печатавшиеся ранее в разделе «Приложение» стихотворения Достоевского не публиковавшиеся при жизни писателя. Рассказ «Маленький герой», написанный в Петропавловской крепости в 1849 г., был напечатан М. М. Достоевским без указания имени автора в 1857 г. «Дядюшкин сон», замысел которого возник и осуществлялся в Семипалатинске, был опубликован в 1859 г.

В разделе «Незавершенные замыслы» печатается беловой автограф наброска очерка «Домовой», в разделе «Другие редакции» рукописный отрывок ранней редакции «Неточки Незвановой».

Для настоящего издания все тексты прошли дополнительную сверку с их источниками, что позволило внести исправления в текст и уточнить раздел «Варианты». Тексты для этого издания, а также обновленные и дополненные комментарии подготовили: С. В. Березкина, Т. И. Орнатская, М. Д. Андрианова, Т. С. Соколова, Т. Б. Трофимова и И. Д. Якубович.